СИМОНА
ДЕ БОВУАР



МАНДАРИНЫ

Мандарины
Симона де Бовуар

Аннотация
Симона де Бовуар. Мандарины
ГЛАВА ПЕРВАЯ
I
II
ГЛАВА ВТОРАЯ
I
II
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Приложения
Симона де Бовуар и ее роман «Мандарины»
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Примечания (составила Н.И. Полторацкая)

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Примечания к статье Н.И. Полторацкой «Симона де Бовуар и ее роман «Мандарины»»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Аннотация

«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа, «исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время» (Ф. Миттеран).

События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр). Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея — в этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в

женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире.

Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится наконец достоянием и русского читателя.

Симона де Бовуар. Мандарины

ГЛАВА ПЕРВАЯ
I

Анри в последний раз взглянул на небо: черный хрусталь. Тысяча самолетов, взрывающих тишину, — такое даже трудно вообразить; между тем в голове с каким-то радостным гулом сталкивались слова: наступление остановлено, разгром немцев, я смогу уехать. Он свернул на углу набережной. На улицах будет пахнуть растительным маслом и апельсиновым цветом, освещенные террасы заполнятся болтающими людьми, под звуки гитар он выпьет настоящий кофе. Его глаза, руки, кожа изголодались: какой затянувшийся пост! Не спеша он поднялся по выстуженной лестнице.

— Наконец-то! — Поль сжимала его в объятиях, как после долгой, полной опасностей разлуки; за ее плечами сверкала украшенная елка, до бесконечности отражавшаяся в больших зеркалах; на столе стояли тарелки, стаканы, бутылки; у стремянки вперемешку лежали охапки омелы и остролиста.

— Ты слушала радио? Есть хорошие новости.

— Ах! Расскажи поскорее.

Она никогда не слушала радио, новости ей хотелось узнавать лишь от него.

— Заметила, какой нынче ясный вечер? Говорят о тысяче самолетов в тылу фон Рундштедта{2}.

— Боже мой! Неужели они не вернутся?!

Сказать по правде, такая же мысль пришла в голову и ему:

— Об их возвращении пока не слышно. Поль загадочно улыбнулась.

— А я приняла меры предосторожности.

— Какие еще меры?

— Попросила консьержку освободить в подвале чулан, чтобы ты, в случае чего, мог спрятаться там.

— Не следовало говорить об этом с консьержкой: так вот и рождается паника.

Левой рукой, словно заслоняя сердце, Поль сжимала концы шали.

— Они могут расстрелять тебя, — испуганно произнесла она. — Мне каждую ночь чудится: стучат, я открываю и вижу их.

Застыв с полузакрытыми глазами, Поль, казалось, действительно слышала голоса.

— Этого не случится, — весело успокоил ее Анри. Она открыла глаза и уронила руки.

— Война в самом деле окончена?

— Ждать осталось недолго. — Анри поставил стремянку под большой потолочной балкой. — Давай я помогу тебе.

— Мне обещали помочь Дюбреи.

— Зачем дожидаться их прихода?

Он взял молоток; Поль коснулась его руки:

— Работать не собираешься?

— Только не сегодня.

— Я слышу это каждый вечер. Уже больше года ты ничего не пишешь.

— Не тревожься: мне хочется писать.

— Газета отнимает у тебя слишком много времени; посмотри, в котором часу ты приходишь. Я уверена, ты ничего не ел. Хочешь поесть?

— Не сейчас.

— Устал, наверное?

— Да нет же.

Под ее взглядом, участливо обволакивавшим его, он ощущал себя бесценным сокровищем, хрупким и внушающим опасение: вот от чего он уставал. Анри влез на стремянку и принялся осторожно вбивать гвоздь: дом был далеко не новым.

— Я даже открою тебе, что именно собираюсь написать: это будет веселый роман.

— Что ты говоришь? — В голосе Поль снова засквозила тревога.

— Повторяю, что хочу написать веселый роман.

Забавно было бы тут же придумать этот роман, поразмышлять о нем вслух, но Поль устремила на него такой пристальный взгляд, что он умолк.

— Дай мне побольше омелы.

Он осторожно повесил зеленый шар, усеянный маленькими белыми точками, и Поль протянула ему другой гвоздь. Да, война кончилась: по крайней мере для него; сегодня настоящий праздник; наступал мир, и все возвращалось: праздники, развлечения, удовольствия, путешествия, быть может, счастье и наверняка свобода. Анри развесил вдоль балки омелу, остролист, гирлянды елочного дождя.

— Ну как? — спросил он, спускаясь со стремянки.

— Великолепно. — Она подошла к елке, поправила одну из свечей. — Если опасность миновала, ты поедешь в Португалию?

— Разумеется.

— И опять не будешь работать во время путешествия.

— Полагаю, что нет.

Она в нерешительности крутила один из висевших золотых шаров, и он сказал слова, которых

она дожидалась:

— Жаль, что нельзя взять тебя с собой.

— Я прекрасно знаю, что это не твоя вина. Не расстраивайся: мне все меньше хочется колесить по свету. Зачем? — Она улыбнулась. — Ждать, когда ты вне опасности, совсем не тяжело.

Анри чуть было не рассмеялся от этого ее «зачем?». Что за вопрос! Лиссабон. Порто. Синтра. Коимбра. В каждом слове — праздник. Чтобы почувствовать, как радость переполняет тебя, даже не надо произносить их. Довольно сказать себе: меня здесь не будет; я буду в другом месте. «В другом месте» — это еще более прекрасные слова.

— Ты собираешься переодеваться? — поинтересовался он.

— Иду.

Поль поднялась по внутренней лестнице, а он подошел к столу. Честно говоря, Анри был голоден, но стоило ему признаться в этом, как на лице Поль появлялась тревога; он положил кусок паштета на хлеб и откусил, решив окончательно: «После возвращения из Португалии перееду в гостиницу». До чего приятно приходить по вечерам в комнату, где тебя никто не ждет! Даже во времена влюбленности в Поль Анри стремился иметь собственные четыре стены. Однако между

1939 и 1940 годами Поль каждую ночь мысленно падала замертво на его страшно изуродованный труп, когда же Анри возвращали ей живым, разве мог он осмелиться в чем-либо отказать ей? Да и комендантский час способствовал такому положению вещей. «Ты всегда можешь уйти отсюда», — говорила она, но пока он так и не смог. Взяв бутылку, Анри воткнул штопор в заскрипевшую пробку. За месяц Поль привыкнет обходиться без него, а не привыкнет — тем хуже. Франция уже не тюрьма, границы открываются, и жизнь не должна больше быть тюрьмой. Четыре года подчиняться суровой необходимости, четыре года заниматься только другими: это много, даже чересчур. Настало время подумать немного о себе. А для этого надо остаться одному и обрести свободу. Не так-то просто во всем разобраться по прошествии четырех лет; нужно выяснить кучу всяких вещей. Каких? Он и сам толком не знал, но там, разгуливая по маленьким улочкам, пропахшим растительным маслом, он попытается подвести итоги. И снова сердце подпрыгнуло: небо будет голубым и в окнах будет колыхаться развешенное белье. Словно турист, сунув руки в карманы, станет он вышагивать среди не говорящих на его языке людей, заботы которых его не

касаются. Он даст себе волю жить и ощутит, что живет: этого, возможно, достаточно, чтобы все прояснилось.

— Как это мило: открыть все бутылки! — Поль спускалась с лестницы мелкими шелестящими шажками.

— Фиолетовое ты решительно предпочитаешь всему остальному, — улыбнулся Анри.

— Но ты ведь обожаешь фиолетовое! — удивилась она. Он обожал фиолетовое вот уже десять лет: десять лет, это немало. — Тебе не нравится мое платье?

— О! Очень красивое, — поспешно заверил Анри. — Я только подумал, что есть и другие цвета, которые наверняка пошли бы тебе: например, зеленый, — бросил он наугад.

— Зеленый? Ты видишь меня в зеленом?

С растерянным видом она остановилась у одного из зеркал; как это все теперь не нужно! В зеленом или желтом никогда уже Поль не станет для него такой желанной, как десять лет назад, когда впервые небрежно протянула ему свои длинные фиолетовые перчатки.

Анри снова улыбнулся:

— Давай потанцуем.

— Да, потанцуем, — сказала она с жаром, от

которого Анри оледенел. За последний год их совместная жизнь сделалась до того нудной, что даже Поль, казалось, почувствовала к ней отвращение; и вдруг в начале сентября все переменилось; теперь в каждом слове, в каждом поцелуе или взгляде Поль ощущался страстный трепет. Когда он обнял ее, она, прильнув к нему, прошептала:

— Помнишь, как мы танцевали с тобой в первый раз?

— Да, в «Пагоде»; тогда ты сказала, что танцую я хуже некуда.

— Это было в тот день, когда я открыла для тебя музей Гревена;[3] ты не знал о музее Гревена, ты вообще ничего не знал, — сказала она растроганно. Поль прислонилась лбом к щеке Анри. — Я как сейчас нас вижу.

Он тоже, тоже видел себя. Они поднялись тогда на цоколь Дворца миражей, их пара, отражаясь в зеркалах, до бесконечности множилась среди леса колонн: «Скажи, что я самая красивая женщина, — Ты самая красивая женщина. — А ты будешь самый знаменитый мужчина в мире». Вот и теперь он обратил взгляд к одному из больших зеркал: их обнявшаяся пара до бесконечности повторялась вдоль аллеи елей, и Поль восторженно

улыбалась ему. Неужели не понимает, что они уже совсем не та пара?

— Стучат, — сказал Анри и поспешил к двери; это пришли Дюбреи, нагруженные корзинками и кошелками; Анна держала в руках букет роз, а Дюбрей перебросил через плечо огромную связку красного перца; за ними с хмурым видом следовала Надин.

— Счастливого Рождества!

— Счастливого Рождества!

— Знаете новость? В бой наконец вступила авиация.

— Да, тысяча самолетов!

— Они сметены.

— Им конец.

Дюбрей положил на диван груду красных плодов:

— Это для украшения вашего бордельчика.

— Спасибо, — довольно холодно ответила Поль. Ее раздражало, когда Дюбрей называл ее квартирку борделем: из-за всех этих зеркал и красных обоев, говорил он.

— Надо повесить их в центре балки, — сказал Дюбрей, оглядев комнату, — будет гораздо красивее, чем омела.

— Мне нравится омела, — твердо заявила

Поль.

— Дурацкая омела, что-то круглое и допотопное, к тому же это растение-паразит.

— Повесьте перец наверху лестницы, вдоль перил, — предложила Анна.

— Здесь было бы намного лучше, — настаивал Дюбрей.

— Я дорожу своей омелой и остролистом, — возразила Поль.

— Хорошо, хорошо, это ваш дом, — согласился Дюбрей и подал знак Надин: — Иди помоги мне.

Анна выкладывала паштеты, масло, сыры, пирожные.

— Это для пунша, — сказала она, поставив на стол две бутылки рома. Потом вручила пакет Поль: — Держи, твой подарок; а это для вас, — добавила она, протягивая Анри глиняную трубку в виде когтя, сжимавшего маленькое яичко; в точности такую же трубку курил Луи пятнадцать лет назад.

— Потрясающе: о такой я мечтаю пятнадцать лет, как вы догадались?

— Вы мне об этом говорили!

— Килограмм чая! Ты спасаешь мне жизнь! — воскликнула Поль. — А как хорошо пахнет: настоящий!

Анри начал резать ломтики хлеба, Анна намазывала их маслом, а Поль — паштетами, с тревогой поглядывая на Дюбрея, который вбивал гвозди, размахивая молотком.

— А знаете, чего здесь недостает? — крикнул он Поль. — Большой хрустальной люстры. Я найду ее вам.

— Но я не хочу никакой люстры!

Дюбрей развесил связки перца и спустился с лестницы.

— Неплохо! — сказал он, окидывая свою работу критическим взглядом. Подойдя к столу, он открыл пакетик с пряностями; уже не одни год при каждом удобном случае он готовил пунш, рецепт которого узнал на Гаити. Облокотившись на перила, Надин жевала перец; в восемнадцать лет, несмотря на скитания по французским и американским постелям, она все еще, казалось, не вышла из переходного возраста.

— Перестань есть декорацию, — крикнул ей Дюбрей. Вылив бутылку рома в салатницу, он повернулся к Анри: — Позавчера я встретил Самазелля и остался очень доволен. Похоже, он готов действовать заодно с нами. Вы свободны завтра вечером?

— Я не могу уйти из редакции раньше одинна-

дцати часов, — отозвался Анри.

— Приходите в одиннадцать, — предложил Дюбрей, — нужно все обсудить, и мне очень хотелось бы, чтобы вы тоже были.

Анри улыбнулся:

— Не понимаю зачем.

— Я сказал ему, что вы работаете со мной, но ваше личное присутствие придаст встрече большую весомость.

— Не думаю, что для такого человека, как Самазелль, это столь уж важно, — ответил, по-прежнему улыбаясь, Анри. — Он должен знать, что я не политик.

— Но он так же, как я, полагает, что нельзя больше оставлять политику — политикам, — возразил Дюбрей. — Приходите, хоть совсем ненадолго; за Самазеллем стоит интересная группа, молодые люди, они нам нужны.

— Хватит говорить о политике! — рассердилась Поль. — Ведь сегодня праздник.

— Ну и что? — возразил Дюбрей. — Разве в праздничные дни запрещается говорить о том, что вас интересует?

— Но зачем втягивать в эту историю Анри! — не унималась Поль. — Он и без того устает и двадцать раз уже говорил вам, что политика

нагоняет на него тоску.

— Я знаю, вы считаете меня распутником, который пытается совратить своих друзей-приятелей, — усмехнулся Дюбрей. — Но политика не порок, моя красавица, и не светская забава. Если через три года разразится новая война, вы первая станете жаловаться.

— Это шантаж! — возмутилась Поль. — Когда эта война наконец закончится, никто не захочет снова начать другую.

— Вы полагаете, что кто-то считается с желаниями людей! — парировал Дюбрей.

Поль собиралась ответить, но Анри не дал ей говорить.

— В самом деле, — заметил он, — вне зависимости от желания у меня просто нет времени.

— Времени всегда хватает, — гнул свое Дюбрей.

— Вам — да, — засмеялся Анри, — но я нормальный человек и не могу работать по двадцать часов кряду или обходиться без сна в течение месяца.

— Я тоже! — воскликнул Дюбрей. — Мне уже не двадцать лет. От вас так много и не просят, — добавил он, с тревогой пробуя пунш.

Анри весело посмотрел на него: двадцать или

восемьдесят лет, какая разница, Дюбрей всегда будет выглядеть молодо из-за своих огромных, все жадно вбирающих, смеющихся глаз. Настоящий фанатик! По сравнению с ним Анри подчас чувствовал себя легкомысленным, ленивым, несостоятельным. Однако принуждать себя бесполезно. В двадцать лет он так восхищался Дюбреем, что во всем стремился подражать ему; результат: ему вечно хотелось спать, он пичкал себя лекарствами, тупел. Приходилось мириться: лишенный удовольствий, он терял вкус к жизни и одновременно желание писать, превращался в машину. В течение четырех лет он был машиной, теперь прежде всего хотелось снова стать человеком.

— Я задаюсь вопросом, как моя неопытность может послужить вам?

— Неопытность имеет свои хорошие стороны. К тому же, — добавил Дюбрей с едва заметной улыбкой, — в настоящий момент у вас есть имя, которое для многих значит многое. — Его улыбка стала явной: — До войны Самазелль мотался по разным фракциям и группировкам от фракций, но я не поэтому хочу заполучить его, а потому, что он герой маки, у него громкое имя.

Анри рассмеялся; Дюбрей казался особенно на-

ивным как раз в те минуты, когда хотел выглядеть циничным; Поль права, обвиняя его в шантаже: если бы он верил в неизбежность третьей войны, то не пребывал бы в таком хорошем настроении. Суть в другом: он видит открывающиеся возможности и горит желанием воспользоваться ими. Анри не разделял его увлеченности. Разумеется, с 1939 года он и сам изменился. Прежде был левым, всех людей считал братьями, буржуазия вызывала у него отвращение, а несправедливость возмущала: прекрасные, благородные, ни к чему не обязывавшие чувства. Теперь он знал: чтобы действительно отмежеваться от своего класса, надо не щадить себя. Мальфилатр, Бургуен, Пикар сложили свою жизнь на опушке лесочка, но Анри всегда будет думать о них как о живых. За одним столом он ел с ними рагу из кролика, они пили белое вино и говорили о будущем, не слишком в это веря; четверо солдат; но после окончания войны один вновь стал бы буржуа, другой крестьянином, двое металлургами; в эту минуту Анри понял, что в глазах тех троих и в своих собственных он выглядел бы человеком привилегированным, более или менее совестливым, но соглашателем, он уже был бы не из их числа; существовал лишь один способ остаться

их товарищем: продолжать действовать вместе с ними. Еще лучше во всем разобраться ему довелось в 1941 году, работая с группой из Буа-Коломб; поначалу дело не слишком ладилось. Фламан приводил его в отчаяние, то и дело повторяя: «Пойми, я рабочий и рассуждаю как рабочий». Но благодаря ему Анри осознал то, чего раньше не ведал: ненависть. И отныне угрозу эту будет ощущать всегда. Он сумел ее обезоружить: в общем деле они признали его своим товарищем; но если когда-нибудь он вновь станет равнодушным буржуа, ненависть возродится — и по праву. Если он не докажет обратного, то станет врагом тысяч миллионов людей, врагом человечества. Ничего подобного он не хотел и готов был доказать это. Несчастье в том, что действие изменило свой облик. Сопротивление — это одно, политика — совсем другое. Анри политика не вдохновляла. И он знал, что представляет собой движение вроде того, какое предполагает создать Дюбрей: комитеты, конференции, конгрессы, митинги, разговоры, разговоры; и надо бесконечно маневрировать, договариваться, идти на ошибочные компромиссы; потерянное время, яростные уступки, угрюмая досада — что может быть противнее. Руководить газетой, эту рабо-

ту он любил; хотя, разумеется, одно не мешало другому и даже дополняло друг друга; нельзя использовать «Эспуар»[4] как алиби. Нет, Анри не считал себя вправе уклоняться; он только попытается уменьшить издержки.

— Я не могу вам отказать использовать мое имя и даже обещаю иногда приходить, — пообещал он. — Но не требуйте от меня большего.

— Я наверняка потребую от вас большего, — заявил Дюбрей.

— Во всяком случае, не теперь. До отъезда у меня уйма работы. Дюбрей заглянул в глаза Анри:

— План вашего путешествия по-прежнему остается в силе?

— Более чем когда-либо. Я еду самое позднее через три недели.

— Это несерьезно! — сердито воскликнул Дюбрей.

— Ах! Тут я спокойна! — заметила Анна, насмешливо глядя на него. — Если бы вам захотелось прогуляться, вы бы не отказались и еще объяснили бы, что это единственно разумная вещь, которую следует сделать.

— Но я не хочу, и в этом мое преимущество, — возразил Дюбрей.

— Должна признаться, что путешествия мне

кажутся мифом, — сказала Поль и улыбнулась Анне: — Роза, которую ты приносишь мне, значит для меня больше, чем сады Альгамбры[5] после пятнадцати часов поезда.

— О! Путешествие может быть увлекательным, — возразил Дюбрей. — Однако в настоящий момент куда увлекательней находиться здесь.

— Ну а мне до того хочется оказаться в ином месте, что при необходимости я готов идти пешком даже в набитых сухим горохом ботинках, — признался Анри.

— А «Эспуар»? Бросите газету просто так на целый месяц?

— Люк прекрасно справится без меня, — ответил Анри.

Он с удивлением оглядел собравшихся. «Они не отдают себе отчета!» Все те же лица, та же обстановка, те же разговоры, те же проблемы, и чем больше перемен, тем на деле все однообразнее: в конце концов начинаешь чувствовать себя живым мертвецом. Дружба, великие исторические переживания, все это он оценил по достоинству; однако теперь требовалось совсем иное, причем так настоятельно, что было бы смешно пытаться что-либо объяснить.

— Счастливого Рождества!

Дверь распахнулась: Венсан, Ламбер, Сезенак, Шансель — вся команда газеты с раскрасневшимися от холода щеками. Они принесли бутылки, пластинки и распевали во все горло припев августовских дней:

Не видать их больше нам. Крышка им, и по домам.

Анри радостно улыбнулся; он ощущал себя таким же молодым, как они, и в то же время у него было чувство, будто он всех их отчасти создал. Он запел вместе с ними; внезапно электричество погасло, раздалось потрескивание рождественских огней, Ламбер с Венсаном осыпали Анри их искрами; Поль зажгла на елке маленькие свечи.

— Счастливого Рождества!

Они подходили парами, группами; слушали гитару Джанго Рейнхардта{6}, танцевали, пили, смеялись. Анри обнял Анну, и она взволнованно сказала:

— В точности как накануне высадки;{7} то же место, те же люди!

— Да. И теперь все позади.

— Для нас, — добавила она.

Он знал, о чем она думала: в эту минуту горели бельгийские деревни, море обрушивалось на голландские поля. А здесь — праздничный вечер:

первое мирное Рождество. Ведь праздник порой бывает необходим, иначе зачем победы? То был праздник; Анри узнавал этот запах спиртного, табака и рисовой пудры, запах долгих ночей. Тысячи радужных вихрей кружили в его памяти; сколько таких ночей было у него до войны: в разных кафе Монпарнаса, где они упивались кофе со сливками и словами, в мастерских художников, где пахло масляной краской, в маленьких дансингах, где он сжимал в объятиях самую красивую женщину — Поль; и всегда на заре, пронизанной скрежетом, в душе его тихо звучал исступленный голос, нашептывая, что книга, которую он пишет, будет хорошей и что важнее нет ничего на свете.

— А знаете, — сказал Анри, — я решил написать веселый роман.

— Вы? — Анна с любопытством взглянула на него. — И когда собираетесь начать?

— Завтра.

Да, ему вдруг страшно захотелось вновь стать тем, кем он был, кем всегда хотел быть, — писателем. И он опять ощущал эту тревожную радость: я начинаю новую книгу. Обо всем, что сейчас вновь приходит в жизнь: о рассветах, о долгих ночах, о путешествиях, о радости.

— У вас нынче, похоже, очень хорошее настро-

ение, — заметила Анна.

— Так оно и есть. Кажется, будто я выхожу из длинного туннеля. А вам не кажется?

Она задумалась.

— Не знаю. Ведь были все-таки и хорошие моменты в этом туннеле.

— Разумеется.

Он улыбнулся Анне. Она была сегодня красива и в своем строгом костюме выглядела очень романтичной. Анри с удовольствием поухаживал бы за ней, не будь она старым другом и женой Дюбрея. Он танцевал с ней несколько раз подряд, потом пригласил Клоди де Бельзонс; увешанная фамильными драгоценностями, в платье с большим декольте, она пришла пообщаться с интеллектуальной элитой. Он пригласил Жаннетту Канж, Люси Лену ар. Всех этих женщин он слишком хорошо знал: но будут другие праздники, и будут другие женщины. Анри улыбнулся Престону, передвигавшемуся по комнате слегка пошатываясь; это был первый знакомый американец, с которым Анри встретился в августе, и они бросились в объятия друг другу.

— Я хотел непременно отпраздновать с вами! — заявил Престон.

— Отпразднуем, — согласился Анри.

Они выпили, и Престон с чувством стал рассказывать о нью-йоркских ночах. Он был немного пьян и опирался на плечо Анри.

— Вы должны приехать в Нью-Йорк, — настойчиво повторял он. — Гарантирую вам большой успех.

— Разумеется, я поеду в Нью-Йорк, — сказал Анри.

— И обязательно возьмите напрокат маленький самолет, это лучший способ посмотреть страну, — советовал Престон.

— Но я не умею управлять самолетом.

— О! Это легче, чем водить машину.

— Я научусь, — пообещал Анри.

Да, Португалия только начало; затем будут Америка, Мексика, Бразилия и, возможно, СССР, Китай:{8} все. Анри снова будет водить машины, управлять самолетами. Серо-голубой воздух таил много обещаний, будущее простиралось до бесконечности.

Внезапно стало тихо. Анри с удивлением увидел, что Поль садится за пианино. Она запела. Как давно с ней этого не случалось. Анри попытался слушать ее беспристрастно: никогда ему не удавалось в точности оценить достоинство этого голоса; голос, безусловно, не был лишен

выразительности: казалось, за его бархатистостью можно порой различить отзвук бронзового колокола. И Анри в который раз задался вопросом: «Почему в самом деле она все бросила?» Поначалу он усмотрел в ее жертве волнующее доказательство любви, но позже удивлялся, почему Поль уклоняется от любой возможности попытать счастья, и спрашивал себя, а не избрала ли она предлогом их любовь, чтобы не подвергаться испытанию.

Раздались аплодисменты; он аплодировал вместе с другими.

— Голос все такой же красивый, — прошептала Анна. — Я уверена, появись она снова на публике, ее ждет успех.

— Вы думаете? А не поздно ли? — спросил Анри.

— Отчего же? Если взять несколько уроков... — Анна в нерешительности взглянула на Анри: — Мне кажется, для нее это благо. Вам следовало бы вдохновить ее.

— Возможно, — согласился он.

Анри смотрел на Поль, с улыбкой внимавшую восторженным комплиментам Клоди де Бельзонс. Разумеется, ее жизнь переменилась бы; праздность не идет ей на пользу. «А для меня

это все упростило бы!» — сказал он себе. Почему бы и нет, в конце-то концов? Этим вечером все казалось возможным. Поль прославится, карьера увлечет ее, он будет свободен, станет разъезжать повсюду, то тут, то там ему будет встречаться любовь, радостная и недолгая. Почему бы нет? Он с улыбкой подошел к Надин, которая, стоя у печки, с хмурым видом жевала жевательную резинку.

— Отчего вы не танцуете? Она пожала плечами:

— С кем?

— Со мной, если хотите.

Она была некрасивой, чересчур уж похожей на своего отца, и было как-то неловко видеть это угрюмое лицо над девичьим телом; глаза голубые, как у Анны, но до того холодные, что казались одновременно и видавшими виды, и детскими; меж тем под шерстяным платьем талия была более гибкой и груди более определенными, чем думал Анри.

— Мы в первый раз танцуем вместе, — сказал он.

— Да. Вы хорошо танцуете, — добавила она.

— Вас это удивляет?

— Пожалуй. Никто из этих сопляков не умеет танцевать.

— У них не было случая научиться.

— Знаю, — сказала она. — У них ни для чего не было случая.

Он улыбнулся ей; даже некрасивая молодая женщина всегда остается женщиной; ему нравился строгий запах ее туалетной воды, свежего белья. Танцевала она плохо, да это и не важно, ведь были вокруг эти молодые голоса, и этот смех, зов джазовой трубы, вкус пунша, в глубине зеркал эти елки, расцвеченные язычками пламени, чистое темное небо за занавесками. Дюбрей как раз показывал фокус: резал на куски газету и одним движением руки собирал ее; Ламбер и Венсан сражались на дуэли пустыми бутылками, Анна и Лашом пели что-то из оперы; по земле и над землей кружили поезда, самолеты, корабли и можно было сесть на них.

— Вы неплохо танцуете, — любезно сказал Анри.

— Я танцую как корова; но мне плевать: не люблю танцевать. — Она подозрительно взглянула на него: — Пижончики, джаз, погребки, где разит табаком и потом, вам это нравится?

— Иногда. А что нравится вам? — спросил он.

— Ничего.

Она ответила с такой яростью в голосе, что он

взглянул на нее с любопытством; он задавался вопросом, что толкало ее в такое множество объятий: разочарование или удовольствие? Быть может, волнение смягчало суровые черты ее лица. Как это выглядит: голова Дюбрея на подушке?

— Подумать только, вы едете в Португалию, вам здорово повезло, — с обидой сказала она.

— Путешествовать скоро станет опять легко, — заметил он.

— Скоро! Вы хотите сказать — через год, через два! Как вы изловчились?

— Службы французской пропаганды попросили меня прочитать лекции.

— Ну конечно, — прошептала она, — меня-то никто не попросит читать лекции. И много их у вас будет?

— Пять или шесть.

— И можно разгуливать целый месяц!

— Нужны же старым людям какие-то компенсации, — весело сказал он.

— А молодым не полагаются? — спросила Надин и тяжело вздохнула: — Если бы, по крайней мере, хоть что-то происходило.

— Что именно?

— Сколько времени длится эта так называемая

революция, а ничего и с места не сдвинулось.

— В августе немного все-таки сдвинулось, — заметил Анри.

— В августе уверяли, будто все переменится, а все остается как было: те, кто больше всех работает, ест меньше всех, и все вокруг продолжают считать, что так и надо.

— Никто здесь не считает, что так и надо, — возразил Анри.

— Но всех это устраивает, — сердито продолжала Надин. — Довольно и того, что приходится тратить свое время на работу, а если при этом еще и не есть досыта — я предпочла бы стать гангстером.

— Совершенно согласен, мы все с этим согласны, — сказал Анри. — Но подождите немного, не следует торопиться.

— Вы думаете, — прервала его Надин, — дома мне не объясняли на все лады, что надо подождать; но я не доверяю словам. — Она пожала плечами. — По-настоящему никто ничего не пытается сделать.

— А вы? — с улыбкой спросил Анри. — Вы сами пытаетесь?

— Я? У меня не тот возраст, — сказала Надин, — я не в счет. Анри откровенно рассмеялся.

— Не отчаивайтесь, нужный возраст придет, и очень быстро!

— Быстро! Чтобы прошел год, нужно триста шестьдесят пять дней! — сказала Надин. Опустив голову, она с минуту молча что-то обдумывала, потом внезапно подняла глаза: — Возьмите меня с собой.

— Куда? — удивился Анри.

— В Португалию. Он улыбнулся.

— Мне кажется, это не очень возможно.

— Достаточно, чтобы это было хоть чуточку возможно. — Он не ответил, и она настойчиво спросила: — Почему это невозможно?

— Прежде всего, мне не дадут два командировочных предписания.

— Да будет вам! Вы со всеми знакомы. Скажите, что я ваша секретарша. — Губы Надин смеялись, но горящие глаза были серьезны. И он серьезно ответил:

— Если бы я взял кого-то, то, конечно, Поль.

— Она не любит путешествий.

— Зато она будет рада сопровождать меня.

— Вот уже десять лет она видит вас каждый день, и это еще не конец: месяцем больше или меньше — какая ей разница?

Анри снова улыбнулся:

— Я привезу вам апельсины.

Лицо Надин стало суровым, и Анри увидел перед собой вселяющую робость маску Дюбрея.

— Вы знаете, что мне уже не восемь лет.

— Знаю.

— Нет, для вас я всегда буду скверной девчонкой, которая била ногами по камину.

— Вовсе нет, и вот вам доказательство: я же пригласил вас танцевать.

— О, это семейный вечер. Но вы ведь не пригласите меня пойти куда-нибудь с вами.

Он взглянул на нее с симпатией. Ей-то, по крайней мере, хотелось бы изменить обстановку; ей много всего хотелось: всего другого. Бедная девочка! И то верно: у нее ни для чего не было случая. По Иль-де-Франс на велосипеде — вот примерно и все ее путешествия; суровая юность, а потом тот парень умер; она, похоже, быстро утешилась, и все-таки, должно быть, хранит тягостное воспоминание.

— А вот и ошибаетесь, — сказал он. — Я вас приглашаю.

— Правда? — Глаза Надин блестели. На нее было гораздо приятнее смотреть, когда лицо ее оживлялось.

— В субботу вечером я не пойду в редакцию:

встретимся в восемь часов в Красном баре.

— И что будем делать?

— Решайте сами.

— У меня никаких идей.

— К тому времени они появятся у меня. Пойдем выпьем по стаканчику.

— Я не пью, но охотно бы съела еще один бутерброд.

Они подошли к столу; там, как обычно, спорили Ленуар и Жюльен. Каждый упрекал другого в измене надеждам юности. Когда-то, посчитав экстравагантность сюрреализма чересчур сдержанной, они совместно основали «парагуманитарное» движение. Ленуар стал преподавателем санскрита и писал герметические стихи; Жюльен был библиотекарем и перестал писать, возможно, потому, что после скороспелых успехов опасался зрелой посредственности.

— Как ты думаешь, — спросил Ленуар, — не следует ли принять меры против писателей-коллаборационистов?

— Сегодня вечером я ни о чем не думаю! — весело отвечал Анри.

— Скверная тактика — не давать им печататься, — заметил Жюльен. — Пока вы станете состязаться друг с другом в сочинении пасквилей, они

спешить не будут и напишут хорошие книги.

Чья-то властная рука опустилась на плечо Анри: Скрясин[9].

— Посмотри, что я принес: американское виски, удалось привезти две бутылки; первая парижская встреча Рождества: прекрасный случай выпить.

— Великолепно! — сказал Анри. Он наполнил бурбоном стакан и протянул Надин.

— Я не пью, — с обиженным видом напомнила она и отошла.

Анри поднес стакан к губам; совсем забытый вкус. По правде говоря, раньше он предпочитал шотландское виски, но так как и его вкус тоже был забыт, никакой разницы не ощущалось.

— Кто хочет настоящего виски?

Подошел Люк, волоча большие подагрические ноги, за ним наполнили свои стаканы Ламбер и Венсан.

— Мне больше нравится хороший коньяк, — неуверенно сказал Ламбер и вопросительно взглянул на Скрясина: — Там в Америке они и правда пьют виски по дюжине стаканов в день?

— Они, кто это они? — не выдержал Скрясин. — В Америке сто пятьдесят миллионов, и не все из них похожи на героев Хемингуэя. — Его голос звучал неприятно; Скрясин не часто бывал лю-

безен с теми, кто моложе него; он решительно повернулся к Анри: — Я только что серьезно говорил с Дюбреем и крайне обеспокоен.

Вид у него был озабоченный, обычный для него вид; казалось, все, что происходит там, где он находится, и даже там, где его нет, касается его лично. У Анри не было ни малейшего желания разделять тревоги Скрясина. Он спросил едва слышно:

— Чем же?

— Да взять хотя бы движение, которое он сейчас создает. Я полагал, что главная его цель в том, чтобы оторвать пролетариат от компартии. А это, судя по всему, совсем не то, к чему стремится Дюбрей, — мрачно пояснил Скрясин.

— Нет, совсем не то.

Анри охватило уныние, и он подумал: «Вот какие разговоры меня ждут на протяжении всего дня, если я позволю Дюбрею втянуть меня». И он опять почувствовал, как его с ног до головы охватывает жгучее желание очутиться где-нибудь еще.

Скрясин посмотрел ему прямо в глаза.

— Ты с ним заодно?

— Только отчасти, — сказал Анри. — В политике я не силен.

— Ты наверняка не понял, что затевает Дюбрей, — продолжал Скрясин, устремив на Анри осуждающий взгляд. — Он собирает левые силы, так называемые независимые, но согласные на единство действий с коммунистами.

— Да, я знаю, — подтвердил Анри. — Ну и что?

— А то, что он играет им на руку; есть множество людей, которых коммунизм пугает и которых Дюбрей сблизит с коммунистами.

— Только не говори, что ты против единства действий, — сказал Анри. — Хорошо будет, если у левых начнется раскол!

— Левые в подчинении у коммунистов! Это мистификация, — заявил Скрясин. — Если вы решили идти с ними, вступайте в компартию, так будет честнее.

— И речи быть не может. По множеству вопросов мы с ними не согласны! — возразил Анри.

Скрясин пожал плечами:

— В таком случае через три месяца сталинисты разоблачат вас как социал-предателей.

— Посмотрим, — сказал Анри.

У него не было ни малейшего желания продолжать разговор, но Скрясин посмотрел на него в упор:

— Мне сказали, что у «Эспуар» много читателей

из рабочего класса. Это правда?

— Правда.

— Стало быть, у тебя в руках единственная некоммунистическая газета, которая находит отклик у пролетариата! Ты понимаешь свою ответственность?

— Понимаю.

— Если ты поставишь «Эспуар» на службу Дюбрею, то станешь сообщником в отвратительной махинации, — предупредил Скрясин. — Пускай Дюбрей твой друг, — добавил он, — но надо противостоять ему.

— Послушай, что касается газеты, то она никогда не будет ни у кого на службе: ни у Дюбрея, ни у тебя, — запротестовал Анри.

— В ближайшие дни «Эспуар» придется все-таки определить свою политическую программу, — настаивал Скрясин.

— Нет. У меня никогда не будет заданной программы, — возразил Анри. — Я хочу говорить то, что думаю, и так, как думаю, не позволяя куда-либо вовлекать меня.

— Чушь какая-то, — не соглашался Скрясин.

И тут вдруг раздался невозмутимый голос Люка:

— Мы не хотим политической программы,

потому что стремимся сохранить единство Сопротивления.

Анри налил себе стакан бурбона. «Все это ерунда!» — пробормотал он сквозь зубы. У Люка с языка не сходят слова: дух Сопротивления, единство Сопротивления. А Скрясин впадает в ярость, стоит заговорить с ним об СССР. Не лучше ли каждому из них предаваться бреду по отдельности? Анри осушил стакан. Он не нуждается в советах, у него свои собственные идеи по поводу того, какой должна быть газета. Разумеется, «Эспуар» придется принимать политическое решение, но совершенно независимое. Если Анри сохранил газету, то вовсе не для того, чтобы сделать из нее листок, похожий на довоенные; в ту пору пресса заведомо надувала публику, а результат известен: лишенные своего ежедневного оракула, люди были совершенно сбиты с толку. Сегодня все более или менее согласны в главном, закончились полемические споры и партизанские кампании: надо воспользоваться этим, чтобы сформировать читателя, вместо того чтобы морочить ему голову. Не навязывать людям свои мнения, а научить их судить обо всем самостоятельно. Это было непросто; читатели нередко требовали ответов; нельзя было создавать впечатления незнания,

сомнения, противоречивости. Но именно тут и следовало идти на риск: заслужить их доверие, вместо того чтобы красть его. И вот доказательство того, что метод оправдал себя: «Эспуар» покупали почти везде. «Стоит ли упрекать коммунистов в сектантстве, если мы сами такие же точно догматики», — подумал Анри. И прервал Скрясина:

— Тебе не кажется, что можно перенести эту дискуссию на другой день?

— Согласен, назначим встречу, — с готовностью произнес Скрясин. Он достал из кармана записную книжку. — Думаю, надо срочно сверить наши позиции.

— Подождем, пока я вернусь из поездки, — предложил Анри.

— Ты куда-то едешь? Что за поездка? Для сбора информации?

— Нет, развлекательная.

— В такое время?

— Вот именно, — сказал Анри.

— Разве это не дезертирство? — не отставал Скрясин.

— Дезертирство? — весело отозвался Анри. — Я не солдат. — Он указал подбородком на Клоди де Бельзонс: — Тебе следовало бы пригласить на

танец Клоди, вон ту весьма обнаженную даму, всю увешанную драгоценностями; это настоящая светская женщина, и она обожает тебя.

— Светские женщины — один из моих пороков, — с усмешкой заметил Скрясин и тряхнул головой: — Признаться, я не понимаю тебя.

Он пошел приглашать Клоди; Надин танцевала с Лашомом, Дюбрей с Поль кружились вокруг рождественской елки: Поль не любила Дюбрея, однако ему нередко удавалось рассмешить ее.

— Ты здорово шокировал Скрясина! — весело заметил Венсан.

— Они шокированы тем, что я еду путешествовать, — подхватил Анри. — И в первую очередь Дюбрей.

— До чего же странные люди! — вмешался Ламбер. — Ты сделал больше, чем они, разве не так? У тебя полное право устроить себе каникулы!

«С молодыми мне определенно легче поладить», — подумал Анри. Надин завидовала ему, Венсан и Ламбер понимали его: они тоже, при первой же возможности, поспешили отправиться посмотреть, что происходит в других местах, и сразу же записались в военные корреспонденты.

Он надолго задержался с ними, и они в сотый раз рассказывали друг другу о тех незабываемых

днях, когда заняли помещение газеты, когда «Эспуар» продавали под носом у немцев, в то время как Анри писал передовую статью с револьвером в ящике стола. Этим вечером он находил особое очарование в старых историях, потому что слушал их из далекого далека: он лежал на мягком песке, море было голубым, он беспечно предавался мыслям о минувших временах, о далеких друзьях и радовался тому, что теперь один и свободен; он был счастлив.

Анри очнулся в красной комнате в четыре часа утра. Многие уже ушли или собирались уходить, и он останется с Поль. Придется говорить с ней, ласкать ее.

— Милочка, твой вечер — верх совершенства, — сказала Клоди, целуя Поль. — И у тебя дивный голос. Если захочешь, ты станешь одной из послевоенных львиц.

— Я о таком и не мечтаю, — весело отвечала Поль.

Нет, такого рода амбиций у нее не было. Она знала, чего хочет: вновь оказаться самой красивой женщиной в объятиях самого знаменитого в мире мужчины; и это будет нелегкой работой — заставить ее изменить мечте. Последние гости ушли: комната вдруг опустела; послышался шум

на лестнице, шаги нарушили уличную тишину, и Поль стала собирать забытые под креслами стаканы.

— Клоди права, — сказал Анри. — Голос у тебя все такой же красивый. Я так давно тебя не слышал! Почему ты больше не поешь?

Лицо Поль просияло:

— Тебе нравится мой голос? Хочешь, чтобы я пела иногда для тебя?

— Разумеется. — Он улыбнулся. — А знаешь, что мне сказала Анна: тебе следовало бы снова петь на публике.

Поль посмотрела на него с возмущением:

— Ах, нет! Не говори мне об этом. Это давно решенное дело.

— Но почему? — спросил Анри. — Ты же видела, как тебе аплодировали. Они все были взволнованы. Сейчас открывается множество кабаре, и людям нужны новые звезды...

— Нет, — перебила его Поль, — прошу тебя, не настаивай. Выставлять себя напоказ на публике: для меня это было бы ужасно. Не настаивай, — повторила она умоляющим голосом.

Анри в недоумении посмотрел на нее.

— Ужасно? — переспросил он растерянно. — Я не понимаю: раньше это не было для тебя ужасно,

а ты не постарела, знаешь, ты даже еще больше похорошела.

— Это было другое время в моей жизни, — ответила Поль, — время, навсегда похороненное. Я буду петь для тебя, и ни для кого другого, — добавила она с такой страстью, что Анри умолк. Но обещал себе, что постарается переубедить ее. После некоторого молчания она сказала: — Пошли наверх?

— Пошли.

Поль села на кровать, отстегнула серьги и сняла кольца.

— Знаешь, — умиротворенно произнесла она, — если вышло так, будто я осуждаю твое путешествие, прошу извинить меня.

— Да перестань! Ты имеешь полное право не любить путешествия и говорить об этом вслух, — возразил Анри. Ему стало не по себе при мысли, что на протяжении всего вечера она мучилась угрызениями совести.

— Я прекрасно понимаю, что тебе хочется уехать, — продолжала Поль, — и даже более того: понимаю, что ты хочешь уехать без меня.

— Не потому что хочу. Поль жестом остановила его:

— Тебе не обязательно быть вежливым. — По-

ложив ладони на колени, с остановившимся взглядом и неестественно прямой спиной она была похожа на бесстрастную прорицательницу. — Я никогда не собиралась делать тюрьму из нашей любви. Ты не был бы самим собой, если бы не стремился к новым горизонтам, не искал новой пищи для ума. — Наклонившись вперед, она остановила на нем неподвижный взгляд. — Мне достаточно быть необходимой тебе.

Анри ничего не ответил. Он не хотел ни огорчать ее, ни поощрять. «Если бы я мог хотя бы сердиться на нее!» — думал он. Но нет, ни единого упрека.

Поль с улыбкой встала; лицо ее вновь стало человечным; она положила руки на плечи Анри и, прижавшись щекой к его щеке, сказала:

— Ты мог бы обойтись без меня?

— Ты прекрасно знаешь, что нет.

— Да, знаю, — весело заявила она. — И даже если бы ты сказал обратное, я бы тебе не поверила.

Она направилась в ванную; невозможно было хотя бы иногда не подарить ей обрывок фразы или улыбку; она хранила эти реликвии в своем сердце и творила из них чудеса, если случалось, что вера ей изменяла. «Но, несмотря ни на что, в глубине души она ведь знает, что я ее больше

не люблю», — сказал он себе, чтобы как-то успокоиться. Он начал раздеваться, натянул пижаму. Пусть так, она это знала, но какой толк, если она с этим не соглашается. Он услыхал шорох смятого шелка, затем шум воды, звон хрусталя: когда-то эти звуки приводили его в смятение. «Нет, только не сегодня», — в смущении подумал он. В дверном проеме появилась обнаженная Поль с распущенными по плечам волосами; она была почти так же безупречна, как прежде, только для Анри вся эта красота ничего уже не значила. Она скользнула под одеяло и молча прижалась к нему: он не нашел предлога, чтобы оттолкнуть ее; а она уже восторженно вздыхала, все теснее прижимаясь к нему; он стал гладить плечо, знакомые бока и почувствовал, как кровь послушно приливает к низу: тем лучше; Поль была не в том настроении, чтобы удовольствоваться поцелуем в висок, да и для ее удовлетворения потребуется гораздо меньше времени, чем на объяснения. Он поцеловал горячие губы, открывшиеся по привычке навстречу его губам; но через мгновение Поль отняла губы, и он в замешательстве услышал, как она шепчет старинные слова, которые он давно уже не говорил ей:

— Я по-прежнему твоя прекрасная кисть гли-

цинии?

— Конечно.

— И ты любишь меня? — спросила она, положив руку на его набухший член. — Это правда, что ты по-прежнему любишь меня?

Анри не чувствовал в себе мужества спровоцировать драму; он готов был на любые признания, и она это знала.

— Правда.

— Ты мой?

— Я твой.

— Скажи мне, что любишь меня, скажи это.

— Я люблю тебя.

Она захлебнулась доверчивым всхлипом; он с силой сжал ее, закрыл ей рот губами и сразу овладел ею: чтобы поскорее покончить с этим. Внутри у нее все пылало, как в чересчур красной комнате внизу, и она начала стонать и вслух произносить какие-то слова, как прежде. Но прежде ее хранила любовь Анри; ее крики, стоны, смех, укусы были священными дарами; теперь же это была потерянная женщина, говорившая непристойные слова, и ее когти причиняли боль. Ему были отвратительны и она, и сам он. С запрокинутой головой, закрытыми глазами, стиснутыми зубами Поль отдавалась без остатка, так ужасно

теряя себя, что ему захотелось отхлестать ее по щекам, чтобы вернуть на землю и сказать: это ты, это я, мы занимаемся любовью, вот и все. Анри казалось, будто он насилует мертвую или безумную, и ему никак не удавалось кончить. Когда же он без сил упал на Поль, то услышал торжествующий стон.

— Ты счастлив? — прошептала она.

— Конечно.

— Я так счастлива! — сказала Поль.

Она смотрела на него горящими глазами, в которых блестели слезы. Он прикрыл плечом это невыносимо сиявшее лицо. «Миндаль будет в цвету... — говорил он себе, закрывая глаза. — А на апельсиновых деревьях — апельсины».

II

Нет, не сегодня дано мне узнать свою смерть; не сегодня и ни в какой другой день. Я умру для других, но сама не увижу, как умираю.

Я опять закрыла глаза, однако заснуть уже не смогла. Почему смерть снова посетила мои сны? Она бродит вокруг, я чувствую ее где-то рядом. Почему?

Я не всегда знала, что умру. Ребенком я вери-

ла в Бога. Белое платье и два блестящих крыла ожидали меня в преддверии небес: мне хотелось разорвать тьму. Сложив руки, я вытягивалась на своем пуховике и отдавалась неземному блаженству. Иногда во сне я говорила себе: «Я умерла», и мой недремлющий голос гарантировал мне вечность. С несказанным ужасом открыла я для себя безмолвие смерти. Сирена испускала дух на берегу моря; ради любви к юноше она отказалась от своей бессмертной души, и от нее не осталось ничего—ни воспоминания, ни голоса, лишь немного белой пены. Я старалась успокоить себя: «Это сказка!»

Но то была не сказка. Сирена — это я сама. Бог превратился в абстрактную идею где-то в глубине небес, и однажды вечером я вычеркнула его из памяти. О Боге я никогда не сожалела: он отнимал у меня землю. Но в один прекрасный день я поняла, что, отрекшись от него, я обрекла себя на смерть; мне было пятнадцать лет; в пустой квартире я закричала от ужаса. А придя в себя, задалась вопросом: «Как поступают другие люди? И как следует поступить мне? Неужели мне предстоит жить с этим страхом?»

С того момента, как я полюбила Робера, я уже никогда не боялась, никогда и ничего. Стоило

мне произнести его имя, и я чувствовала себя в безопасности. Он работает в соседней комнате: я могу встать и открыть дверь... Но я остаюсь лежать: я не уверена, что и он тоже не слышит этот смутный шорох. Земля проваливается у нас под ногами, а над головой зияет бездна, и я уже не знаю ни кто мы, ни что нас ждет.

Я рывком поднялась, открыла глаза: как смириться с тем, что Робер в опасности? Как это вынести? Он не сказал мне ничего по-настоящему тревожного, не сказал ничего нового. Я просто устала, слишком много выпила, это всего лишь легкое умопомрачение в четыре часа утра. Но кто с уверенностью может сказать, в котором часу светлеет разум? А если помрачением было все еще считать себя в безопасности? Да и верила ли я в это на самом деле?

Не могу хорошенько вспомнить; мы не очень внимательно относились к собственной жизни. Значение имели только события: массовое бегство, возвращение, вой сирен, бомбы, очереди, наши собрания, первые номера газеты «Эспуар». В маленькой квартирке Поль от почерневшей свечи летели искры, из двух консервных банок мы соорудили горелку, где жгли бумагу, чтобы согреться, от дыма щипало глаза. А на улице —

лужи крови, свист пуль, грохот пушек и танков; и все у нас было общим: молчание, голод, надежда — одна на всех. Каждое утро мы просыпались с одним и тем же вопросом: все ли еще развевается свастика над Сенатом? И все мы ощущали один и тот же праздник в душе, когда на перекрестке Монпарнас танцевали вокруг веселого огня. А потом наступила и прошла осень, и вот вчера, когда при свете свечей рождественской елки мы окончательно забывали своих мертвых, я вдруг поняла, что каждый из нас начинает существовать сам по себе. «Ты думаешь, прошлое может воскреснуть?» — спрашивала Поль, а Анри сказал мне: «Я хочу написать веселый роман». Они снова могут говорить во весь голос, публиковать свои книги, они спорят, налаживают жизнь, строят планы, и потому все они счастливы, ну или почти все. Неудачное время выбрала я для терзаний. Сегодня — праздник, первое мирное Рождество; последнее Рождество в Бухенвальде, последнее Рождество на истерзанной земле и первое Рождество, на котором не было Диего. Мы танцевали и обнимались вокруг сверкающей обещаниями елки, хотя многих — ах, как многих — с нами не было! Никто не слышал их последних слов, и никто нигде их не похоронил: их поглотила пустота.

Через два дня после Освобождения Женевьева получила гроб: но тот ли это? Тело Жака так и не нашли; один приятель утверждал, будто он закопал под деревом записные книжки: какие книжки? Под каким деревом? Где теперь кости Рашели и красавицы Розы? Ламбер, который столько раз сжимал в объятиях нежное тело Розы, обнимает теперь Надин, а Надин смеется, как смеялась в ту пору, когда ее обнимал Диего. Я смотрела на отражающуюся в глубине больших зеркал аллею елей и думала: вот свечи, остролист, омела, которых они не видят; все, что мне дано, я краду у них. «Их убили». Кого первым? Отца или Диего? Смерть не входила в его планы: понял ли он, что должен умереть, а если понял, то восстал или смирился? Как знать? Да и какое значение имеет это теперь, когда он умер?

Ни годовщины, ни могилы: не потому ли я все еще пытаюсь разобраться наугад в той жизни, которую он так страстно любил. Я протягиваю руку к выключателю, но тут же отказываюсь от своего намерения: в моем секретере лежит фотография Диего, однако, сколько бы я ни вглядывалась в нее, пусть даже целыми часами напролет, мне ни за что не отыскать под шапкой густых волос его лица во плоти, лица, где все было чересчур

большим: глаза, нос, уши, рот. Он сидел в кабинете у Робера, и тот спрашивал его: «Что вы станете делать в случае победы нацистов?» Он отвечал: «Победа нацистов не входит в мои планы». Его планы — жениться на Надин и стать великим поэтом. Возможно, ему бы все удалось: в шестнадцать лет он уже умел превращать слова в горящие угли; быть может, ему требовалось совсем немного времени: пять лет, четыре года. Он так спешил жить. Мы теснились возле электронагревателя, и я с восторгом наблюдала, как он пожирал Гегеля или Канта, торопливо переворачивая страницы, словно листал полицейский роман; тем не менее он все понимал. И лишь мечты его были медлительны.

Почти все свое время он проводил у нас. Отец его был испанским евреем, упорствующим в своем стремлении зарабатывать деньги в торговых делах; он уверял, что находится под защитой испанского консула. Диего ставил ему в вину пристрастие к роскоши и пышную любовницу-блондинку. Ему нравился наш суровый быт. И потом он был в том возрасте, когда испытывают потребность в обожании, он обожал Робера: однажды принес ему свои стихи, так мы с ним и познакомились. С той минуты, как Диего уви-

дел Надин, он безоглядно отдал ей свою любовь, свою первую и единственную любовь; она была взволнована, почувствовав наконец себя кому-то нужной. Надин поселила Диего у нас в доме. Он был привязан ко мне, хотя и находил меня слишком благоразумной. По вечерам Надин требовала, чтобы я, как прежде, поправляла ей на ночь одеяло, и, лежа рядом с ней, он спрашивал: «А меня? Меня вы не поцелуете?» Я целовала его{10}. В тот год мы с дочерью были подругами. Я ценила ее способность искренне любить; она была признательна мне за то, что я не препятствовала зову ее сердца. Да разве я могла? Правда, ей было всего семнадцать лет, но мы с Робером считали, что счастье никогда не приходит слишком рано.

Они так отдавались своему счастью! Рядом с ними я вновь обретала молодость. «Пошли ужинать, сегодня у нас праздник», — говорили они, и каждый тащил меня за руку. В тот день Диего выкрал у отца золотую монету: ему больше нравилось брать, чем получать, что вполне соответствовало его возрасту; он без труда обратил в наличные деньги свое сокровище, и после полудня они с Надин отправились в Луна-парк на американские горки. Когда вечером я встретила их на улице, они пожирали огромный сладкий

пирог, купленный тайком у какого-то булочника: то была их манера возбуждать аппетит. Робер, которого они пригласили по телефону, отказался бросить работу, а я пошла с ними. Их лица были перепачканы вареньем, руки покрылись ярмарочной пылью, а глаза светились гордостью удачливых преступников; метрдотель наверняка подумал, что они спешат истратить деньги, добытые нечестным путем. Он указал нам столик в самой глубине и с ледяной учтивостью спросил: «Месье без пиджака?» Надин набросила на старый дырявый свитер Диего свой собственный пиджак, оставшись в помятой грязной кофточке, нас тем не менее обслужили. Для начала они заказали мороженое и сардины, потом бифштекс, жареную картошку, устрицы и опять мороженое. «Все равно в желудке все смешается», — объясняли они мне, набивая рот маслом и кремом. Они были до того счастливы наесться досыта! Несмотря на все мои старания, мы всегда были немножко голодны. «Ешьте, ешьте», — авторитетно говорили они мне. И складывали в карманы куски пирога с мясом для Робера.

Вскоре после этого ранним утром немцы позвонили к месье Серра: испанского консула сменили, а его никто не предупредил. В ту ночь Диего спал

у отца. Блондинку не потревожили. «Скажите Надин, чтобы она не опасалась за меня, — попросил Диего. — Я вернусь, потому что хочу вернуться». То были последние слова, которые от него услышали, все остальные — канули в вечность, а он так любил говорить.

Стояла весна, небо было ослепительно голубым, а персиковые деревья — розовыми. Когда мы с Надин катили на велосипедах между цветущими садами, грудь нашу наполняла веселость мирных уикэндов. Высокое здание лагеря политзаключенных в Дранси внезапно разрушило этот обман. Блондинка вручила три миллиона одному немцу по имени Феликс, который передавал нам послания от узников и обещал устроить их побег; дважды у далекого окна удалось разглядеть в бинокль Диего; его густые кудри сбрили, и нам улыбался вроде бы он и в то же время не он; его изуродованный образ парил где-то за пределами мира.

И вот однажды майским днем мы нашли казармы пустыми; соломенные тюфяки проветривались на подоконниках открытых в пустые камеры окон. В кафе, где мы оставляли свои велосипеды, нам сказали, что три состава покинули ночью вокзал. Мы долго всматривались, стоя у за-

граждения из колючей проволоки. И вдруг вдали, очень высоко, различили два, наклонявшихся к нам, одиноких силуэта. Младший из двух узников торжествующе размахивал беретом: Феликс не обманул, Диего не увезли. Радость душила нас, когда мы возвращались в Париж.

«Они в лагере американских пленных, — сказала нам блондинка, — чувствуют себя хорошо, загорают». Но сама она их не видела; мы послали им свитера, шоколад: они поблагодарили нас устами Феликса, но никаких писем мы больше не получали; Надин потребовала какого-нибудь доказательства: кольца Диего, пряди волос; но узников как раз перевели в другой лагерь, куда-то далеко от Парижа. Мало-помалу их отсутствие перестало определяться каким-либо местом: они просто отсутствовали, и все тут. Находиться неизвестно где или вообще больше не существовать — разница невелика. И ничего по сути не изменилось, когда Феликс с раздражением сказал: «Их давно уже убили».

Надин выла ночи напролет. С вечера до утра я держала ее на руках. Потом к ней вернулся сон; поначалу Диего являлся ей ночью во сне; вид у него был недобрый. А спустя некоторое время даже его видение исчезло. Она права, и я ее не

осуждаю. Что делать с трупом? Я знаю, их используют для изготовления знамен, щитов, ружей, наград, рупоров, а также домашних безделушек, но не лучше ли оставить их прах в покое? Памятники или пыль — не все ли равно, а ведь они были нашими братьями. Но у нас нет выбора: почему они исчезли? Так пускай и нас оставят в покое. Забудем их. Станем жить дальше. У нас слишком много дел, надо разобраться со своей собственной жизнью. Мертвые мертвы; для них не существует больше проблем, зато нам, живым, предстоит проснуться{11} после этой праздничной ночи и решать, как мы будем жить...

Надин смеялась с Ламбером, крутилась пластинка, пол дрожал у нас под ногами, дрожали голубые язычки пламени. Я смотрела на Сезенака, который вытянулся во всю свою длину на ковре: наверняка ему снились славные дни, когда он разгуливал по Парижу с ружьем через плечо. Я смотрела на Шанселя, немцы приговорили его к смерти и в последнюю минуту обменяли на одного из своих пленных; и на Ламбера, отец которого донес на его невесту, и Венсана, своей рукой прикончившего дюжину ополченцев. Как им быть с этим прошлым, столь тяжким и столь коротким, каким будет их будущее, такое неопре-

деленное? Сумею ли я помочь им? Помогать — моя профессия: я могу уложить их на диван и заставить рассказать их сны; но я не воскрешу ни Розу, ни дюжину ополченцев, которых Венсан прикончил собственной рукой. И даже если мне удастся сгладить их прошлое, какое будущее могу я им предложить? Я смягчаю страхи, шлифую сны, усмиряю желания, приспосабливаю, приспосабливаю, но к чему я их приспособлю? Я не вижу больше вокруг себя ничего стоящего.

Нет, я и правда слишком много выпила; не я создала небо и землю, и никто не требует с меня отчета, так почему же я все время занимаюсь другими? Не лучше ли хоть немного заняться собой? Я прижимаюсь щекой к подушке: я здесь, это действительно я, только вот беда — я не представляю собой особого интереса. О, если меня спросят, кто я такая, я могу показать свою карточку: чтобы стать психоаналитиком, мне самой пришлось подвергнуться анализу; у меня нашли ярко выраженный комплекс Эдипа, объясняющий мой брак с человеком, старше меня на двадцать лет, а также очевидную агрессивность по отношению к моей матери, кое-какие гомосексуальные наклонности, надлежащим образом ликвидированные. Католическому воспитанию я обязана

сильно развитым Сверх-Я, чем объясняется мое пуританство и нехватка у меня нарциссизма. Двойственность моих чувств к дочери проистекает из неприязни к моей матери и безразличия по отношению к самой себе. История моя самая что ни на есть обычная, она полностью вписывается в привычные рамки. В глазах католиков мой случай тоже вполне банален: я перестала верить в Бога, когда открыла для себя соблазны чувственности, а брак с неверующим окончательно погубил меня. В социальном плане мы с Робером левые интеллектуалы. Причем нельзя сказать, что все это совершенно неверно. Таким образом, место мое в точности определено, и, соглашаясь с этим, я, стало быть, полностью соответствую своему мужу, своему ремеслу, жизни, смерти, миру, его ужасам. Это я, действительно я, то есть иными словами — никто.

Впрочем, быть никем — это, по сути, привилегия. Я смотрела на гостей, как они ходят туда-сюда по квартире, у каждого было громкое имя, но я им не завидовала. С Робером все ясно, его судьба предопределена, но другие — как они осмеливаются? Насколько надо быть горделивым или легкомысленным, чтобы бросить себя на съедение неведомой своре! Их имена треплет

тысячеустая молва, любопытствующие завладевают их мыслью, сердцем, их жизнью: если бы и я тоже была отдана на откуп алчности всех этих старьевщиков, я сочла бы себя в конце концов кучей отбросов. Оставалось поздравить себя с тем, что я не являюсь некой персоной и ничем не примечательна.

Я подошла к Поль; война не одолела ее вызывающую элегантность; на ней была длинная шелковая юбка с фиолетовыми отливами, а в ушах — аметистовые гроздья.

— Ты сегодня очень красива, — сказала я.

Она бросила взгляд на одно из больших зеркал.

— Да, я красива, — с грустью согласилась она.

Она была красива, но под глазами у нее залегли круги под стать цвету ее туалета; в глубине души она прекрасно знала, что Анри мог бы взять ее с собой в Португалию, она знала об этом больше, чем говорила.

— Ты должна быть довольна, твой рождественский вечер удался на славу!

— Анри так любит праздники, — сказала Поль. Ее руки, унизанные кольцами с аметистами, машинально гладили переливчатый шелк платья.

— Ты не споешь нам что-нибудь? Мне так хоте-

лось бы тебя послушать.

— Спеть? — удивилась она.

— Да, спеть, — со смехом повторила я. — Ты забыла, что раньше пела?

— Раньше — это так далеко, — сказала она.

— Теперь уже нет, теперь все снова как раньше.

— Ты думаешь? — Она пытливо заглянула мне в глаза, и можно было подумать, что взгляд ее вопрошает стеклянный шар за моей головой. — Ты думаешь, прошлое может воскреснуть?

Я знала, какого ответа она ждет от меня, и, немного смутившись, засмеялась:

— Я не прорицательница.

— Надо попросить Робера объяснить мне, что такое время, — задумчиво молвила она.

Поль готова была скорее отринуть пространство и время, чем согласиться с тем, что любовь не может быть вечной. Я боялась за нее. За эти четыре года она поняла, что стала для Анри всего лишь наскучившей привязанностью; но после Освобождения в ее сердце проснулась уж не знаю какая безумная надежда.

— Ты не помнишь negro spiritual {12}, который я так любила? Может, споешь нам его?

Она подошла к пианино, подняла крышку. Ее

голос звучал глуховато, но по-прежнему волнующе. Я сказала Анри: «Ей следовало бы снова появиться на публике». Он удивился. Когда стихли аплодисменты, он подошел к Надин и они стали танцевать: мне не понравилось, как она смотрит на него. И ей тоже я ничем не в силах помочь. Я отдала ей единственное свое приличное платье и одолжила самое красивое колье: это все, что я могла сделать. Бесполезно копаться в ее снах: я и так знаю. Все, что ей нужно, это любовь, которую Ламбер готов подарить ей; но как помешать ей разрушить ее? Меж тем, когда Ламбер вошел, она вприпрыжку спустилась по маленькой лестнице, с верха которой осуждающе наблюдала за нами; на последней ступеньке она замерла, смутившись своего порыва; он подошел к ней и с серьезной улыбкой сказал:

— Я счастлив, что ты пришла.

— Я пришла, чтобы увидеть тебя, — резким тоном ответила она.

В этот вечер он действительно был красив в своем элегантном темном костюме; одевается он как сорокалетний — со строгой утонченностью; манеры у него чопорные, голос степенный, он не расточает улыбок; однако смятение взгляда, мягкость губ выдают его молодость. Надин льстит

его серьезность и успокаивает его слабость. Она взглянула на него с какой-то глуповатой снисходительностью:

— Ты хорошо провел время? Говорят, в Эльзасе так красиво!

— Знаешь, военный пейзаж выглядит мрачно.

Присев на ступеньку лестницы, они поговорили, затем какое-то время танцевали и смеялись, а потом для разнообразия должны были поссориться: с Надин всегда этим кончается. Ламбер с сердитым видом сел возле печки, нельзя же было идти за ними в разные концы комнаты, чтобы заставить их взяться за руки.

Я подошла к буфету и выпила рюмку коньяка. Мой взгляд опустился вдоль черной юбки и остановился на моей ноге: забавно было думать, что у меня есть нога, никто об этом не подозревал, даже я сама; она была тонкой и решительной в своем шелковом одеянии цвета подгоревшего хлеба, не хуже любой другой; и вот в один прекрасный день она будет похоронена, не успев заявить о своем существовании: это казалось несправедливым. Я была поглощена ее созерцанием, когда ко мне подошел Скрясин.

— Непохоже, чтоб вы сильно веселились.

— Делаю, что могу.

— Слишком много молодых людей, а молодые никогда не бывают веселыми. И чересчур много писателей. — Движением подбородка он показал на Ленуар а, Пеллетье, Канжа: — Ведь все они пишут, не так ли?

— Все.

— А вы, вы не пишете?

— Слава Богу, нет! — со смехом ответила я.

Мне нравились его резкие манеры. Когда-то я, как и все, прочла его знаменитую книгу «Красный рай»[{12}], но особенно меня взволновала его книга о нацистской Австрии: это было намного лучше, чем репортаж, скорее страстное свидетельство. Он бежал из Австрии так же, как из России, и принял французское гражданство; однако последние четыре года он провел в Америке, и в первый раз мы его встретили этой осенью. Он сразу же стал говорить Роберу и Анри «ты», но, казалось, вовсе не замечал моего существования. Скрясин отвел взгляд в сторону:

— Я вот думаю, что с ними станется?

— С кем?

— С французами вообще и с этими в частности.

Я, в свою очередь, внимательно посмотрела на него: это треугольное лицо с выдающимися скулами, с живым, жестким взглядом, с тонкими,

почти женскими губами — не французское лицо; СССР был для него враждебной страной, Америку он не любил: ни одного места на земле, где бы он чувствовал себя дома.

— Я возвращался из Нью-Йорка на английском пароходе, — заговорил он с усмешкой. — И стюард сказал мне однажды: «Бедные французы не знают, выиграли они войну или проиграли». Думается, это довольно точное определение ситуации.

Снисходительность, звучавшая в его голосе, рассердила меня.

— Как называют прошлые события, не имеет значения, — сказала я, — весь вопрос в будущем.

— Вот именно, — с живостью откликнулся он, — но, чтобы добиться успеха в будущем, надо смотреть в лицо настоящему; а у меня такое впечатление, что люди здесь не отдают себе ни в чем отчета. Дюбрей говорит мне о каком-то литературном журнале, Перрон — о развлекательном путешествии: они, похоже, воображают, что смогут жить как до войны.

— И небо послало вас, чтобы открыть им глаза? Сухость моего тона заставила Скрясина улыбнуться.

— Вы умеете играть в шахматы?

— Очень плохо.

Он продолжал улыбаться, и все ученое педантство исчезло с его лица: казалось, мы были старыми добрыми друзьями, сообщниками. «Ну вот, — подумала я, — теперь он пускает в ход славянские чары». Но чары действовали, я тоже улыбнулась.

— В шахматах если я слежу за партией со стороны, то гораздо яснее, чем игроки, вижу ходы, даже если я и не сильнее их. Так вот, здесь то же самое: я прибыл со стороны, и я вижу.

— Что?

— Тупик.

— Какой тупик?

Я спрашивала его с беспокойством; мы так долго жили в своем кругу, бок о бок, без свидетелей: этот взгляд со стороны внезапно растревожил меня.

— Французские интеллектуалы в тупике. Настал их черед, — добавил он не без удовлетворения. — Их искусство, их мысль сохранят смысл лишь в том случае, если сумеет удержаться определенная цивилизация; а если они захотят спасти ее, то у них не останется ни сил, ни времени ни для искусства, ни для мысли.

— Робер не в первый раз активно занимается политикой, — возразила я. — Но это никогда не

мешало ему писать.

— Да, в тридцать четвертом году Дюбрей уделял много времени антифашистской борьбе, — учтиво согласился Скрясин, — но это казалось ему морально совместимым с литературными занятиями. — И не без гнева добавил: — Во Франции вы никогда не ощущали во всей неотвратимости давления истории; в СССР, в Австрии, в Германии от нее нельзя было скрыться. Вот почему я, например, не писал.

— Вы писали.

— Думаете, я тоже не мечтал о других книгах? Но об этом и речи не могло быть. — Он пожал плечами. — Надо было иметь за собой незыблемую традицию гуманизма, чтобы интересоваться проблемами культуры перед лицом Сталина и Гитлера. Разумеется, — продолжал он, — в стране Дидро, Виктора Гюго, Жореса воображают, что культура и политика шагают рука об руку. Париж долгое время считал себя Афинами. Афины больше не существуют, все кончено.

— Что касается ощущения давления истории, думаю, что Робер мог бы поспорить с вами.

— Я не нападаю на вашего мужа, — сказал Скрясин с усмешкой, означавшей, что он не принимает в расчет мои слова; он сводил их к

всплеску супружеской лояльности. — Кстати, — добавил он, — на мой взгляд, два самых великих ума нашего времени — это Робер Дюбрей и Томас Манн. И если я предсказываю, что он оставит литературу, то как раз потому, что верю в его прозорливость.

Я пожала плечами; если он хотел задобрить меня, то ошибся: я терпеть не могла Томаса Манна.

— Никогда Робер не откажется писать, — заявила я.

— Самое примечательное в творчестве Дюбрея, — сказал Скрясин, — это то, что он сумел сочетать высокие эстетические требования с революционным вдохновением. И в жизни он претворил аналогичное равновесие: организовывал комитеты бдительности и писал романы. Но дело в том, что такое прекрасное равновесие стало невозможно.

— Робер придумает другое, положитесь на него, — возразила я.

— Он пожертвует эстетическими требованиями, — сказал Скрясин. Лицо его просияло, и он спросил с торжествующим видом: — Что вы знаете о доисторическом периоде?

— Не больше, чем о шахматах.

— Но, может быть, вам известно, что в тече-

ние длительного времени стенная роспись и предметы, найденные при раскопках, свидетельствовали о непрерывном художественном развитии. Потом внезапно рисунки и скульптуры исчезают, на протяжении нескольких веков отмечается упадок, совпадающий с развитием новой техники. Так вот, мы вступаем в эпоху, когда в силу разных причин человечество столкнется с проблемами, которые лишат его роскоши самовыражения.

— Рассуждения по аналогии мало что доказывают, — сказала я.

— Оставим это сравнение, — терпеливо продолжал Скрясин. — Полагаю, вы пережили войну в непосредственной близости и потому не в силах хорошенько осмыслить ее; это не просто война, тут другое: сокрушение некоего общества и даже мира; начало уничтожения. Развитие науки и техники, перемены в экономике до такой степени потрясут землю, что даже наша манера мыслить и чувствовать в корне изменится: нам будет трудно вспомнить, какими мы были прежде. Наряду с прочим, искусство и литература покажутся нам не более чем устаревшими забавами{13}.

Я покачала головой, а Скрясин с жаром продолжал:

— Судите сами, сохранит ли значение послание французских писателей в тот день, когда господство над миром будет принадлежать СССР или США? Никто их уже не поймет, даже такой язык выйдет из употребления.

— Похоже, вас подобная перспектива радует, — заметила я. Он пожал плечами.

— Ничего не скажешь, замечание, достойное женщины; вы не способны сохранять объективность.

— Попробуем сохранить ее, — ответила я. — Объективно вовсе не доказано, что мир должен стать американским или русским.

— Однако это неизбежно произойдет по истечении более или менее длительного времени. — Он остановил меня жестом и наградил чарующей славянской улыбкой: — Я вас понимаю. Освобождение только что наступило; вас захлестнула эйфория; за четыре года вы достаточно настрадались и думаете, что расплатились сполна, а расплачиваться каждый раз приходится заново, — сказал он с внезапным ожесточением и посмотрел мне прямо в глаза. — Известно ли вам, что в Вашингтоне существует весьма могущественная группировка, которая хотела бы продолжить немецкую кампанию вплоть

до Москвы? С их точки зрения, они правы. Американскому империализму точно так же, как русскому тоталитаризму, требуется безграничная экспансия: кто-то из них двоих должен взять верх. — Голос его стал печальным: — Вы думаете, что празднуете сейчас немецкое поражение, на деле же это начало Третьей мировой войны.

— Это ваш личный прогноз, — возразила я.

— Я знаю, что Дюбрей верит в мир и в возможности Европы, — сказал Скрясин и снисходительно улыбнулся: — Даже великим умам случается ошибаться. Нас аннексирует Сталин или превратит в колонию Америка.

— Стало быть, нет никакого тупика, — весело ответила я. — И нечего беспокоиться: тем, кому нравится писать, остается лишь продолжать свое дело.

— Писать, когда некому вас читать, что за идиотская игра!

— Когда все летит в тартарары, не остается ничего другого, как играть в идиотские игры.

Скрясин умолк, однако на лице его тут же появилась лукавая улыбка.

— И все-таки некоторые ситуации окажутся менее неблагоприятными, чем другие. В случае, если выиграет СССР, никаких проблем: это ко-

нец цивилизации и наш общий конец. В случае победы Америки бедствие будет не столь радикальным. Если мы сумеем заставить ее принять определенные ценности, поддержать некоторые из наших идей, можно надеяться, что грядущие поколения восстановят когда-нибудь связь с нашей культурой и нашими традициями, но для этого следует предусмотреть полную мобилизацию всех наших возможностей.

— Только не говорите мне, что в случае конфликта вы станете желать победы Америки! — сказала я.

— В любом случае история неизбежно приведет к созданию бесклассового общества, — продолжил Скрясин, — это дело двух или трех веков. Во имя счастья человечества, которое будет жить в этом промежутке, я горячо желаю, чтобы революция произошла в мире под властью Америки, а не СССР.

— Мне почему-то представляется, что в мире под властью Америки революция довольно долго заставит себя ждать, — возразила я.

— А вы представляете себе, какой будет революция, совершенная сталинистами? Где-то около тысяча девятьсот тридцатого года революция была необычайно прекрасной во Франции. Ручаюсь

вам, что в СССР она была менее прекрасной. — Он пожал плечами. — Вы готовите себе странные сюрпризы! В тот день, когда русские оккупируют Францию, для вас многое прояснится. К несчастью, будет уже поздно!

— Русская оккупация... Да вы сами в это не верите, — сказала я.

— Увы! — молвил Скрясин. И вздохнул: — Ну хорошо, будем оптимистами. Согласимся, что у Европы есть шансы. Однако спасти ее можно лишь неустанной, каждодневной борьбой. Какая уж тут работа для себя.

Теперь я в свою очередь умолкла; все, чего хотел Скрясин, — это заставить замолчать французских писателей, я прекрасно понимала почему; и его пророчества были неубедительны; тем не менее его трагический голос находил во мне отклик: «Как мы будем жить?» Вопрос мучил меня с начала вечера, а до этого сколько уже дней и недель?

Скрясин угрожающе смотрел на меня.

— Одно из двух: либо такие люди, как Дюбрей и Перрон, трезво оценив ситуацию, приступят к действию, которому придется отдаться целиком, либо станут плутовать, упорствуя в своем желании писать: их произведения будут оторваны от действительности и начисто лишены

перспективы; это будут труды слепых, столь же удручающие, как александрийская поэзия{14}.

Трудно спорить с собеседником, который, ведя разговор о мире и других людях, непрестанно говорит о самом себе. Я не могла успокоить себя, не обидев его. И все-таки сказала:

— Пустое дело ставить людей в безвыходное положение, жизнь всегда заставит найти выход.

— Только не в этом случае. Александрия или Спарта — другого выхода нет. Лучше сказать себе об этом сейчас, — добавил он, несколько смягчившись, — жертвы становятся менее мучительными, когда оказываются позади.

— Я уверена, что Робер ничем не пожертвует.

— Вернемся к этому разговору через год, — сказал Скрясин. — Через год он либо дезертирует, либо перестанет писать; я не думаю, что он дезертирует.

— Он не перестанет писать. Лицо Скрясина оживилось.

— На что спорим? На бутылку шампанского?

— Никаких споров.

— Вы похожи на всех женщин, — улыбнулся он, — вам нужны неподвижные звезды в небе и километровые столбы на дорогах.

— Знаете, — возразила я, пожав плечами, — за

минувшие четыре года они немало поплясали, эти неподвижные звезды.

— Да, но вы, однако, не теряете уверенности, что Франция останется Францией, а Робер Дюбрей — Робером Дюбреем, иначе вы сочтете себя погибшей.

— Послушайте, — весело отвечала я, — ваша объективность кажется мне сомнительной.

— Я вынужден следовать вашему примеру: вы противопоставляете мне лишь субъективные убеждения, — сказал Скрясин. Улыбка согрела его испытующий взгляд. — Вы смотрите на вещи слишком серьезно, не так ли?

— Когда как.

— Меня предупреждали, — признался он, — но мне нравятся серьезные женщины.

— Кто вас предупреждал?

Неопределенным жестом он указал на всех и ни на кого в частности:

— Люди.

— И что же они вам сказали?

— Что вы сдержанны и суровы, но я этого не нахожу.

Я сжала губы, чтобы не задавать других вопросов; ловушки зеркал я сумела избежать, но взгляды — кто может устоять перед этой голо-

вокружительной бездной? Я одеваюсь в черное, говорю мало, не пишу, все это создает мой облик, который видят другие. Легко сказать: я — никто, я — это я. И все-таки кто я? Где меня встретить? Следовало бы очутиться по другую сторону всех дверей, но, если постучу именно я, мне не ответят. Внезапно я почувствовала, что лицо мое горит, мне хотелось содрать его, словно маску.

— Отчего вы не пишете? — спросил Скрясин.

— Книг и без того много.

— Это не единственная причина. — Он уставился на меня своими маленькими пронизывающими глазами. — Истина заключается в том, что вы не желаете подвергать себя опасности.

— Какой опасности?

— Вы кажетесь весьма уверенной в себе, но в глубине души вы крайне застенчивы. Вы из тех людей, кто вкладывает свою гордость в то, чего не делает.

— Не пытайтесь проникнуть в мою психологию, — прервала я его, — я знаю ее досконально, ведь я психолог.

— Слышал. — Он улыбнулся. — Не могли бы мы как-нибудь поужинать вместе в ближайшее время? Чувствуешь себя таким потерянным в этом темном Париже, где никого уже не знаешь.

«Так, так, — подумала я вдруг, — похоже, в его глазах у меня имеются ноги». Я достала свою записную книжку. У меня не было никаких причин отказываться.

— Давайте поужинаем вместе, — согласилась я. — Хотите третьего января?

— Прекрасно. В восемь часов в баре «Рица», идет?

— Идет.

Мне стало не по себе; что он обо мне думает, мне в общем-то было все равно; когда я угадываю в глубине чужого сознания мое собственное отражение, меня неизбежно охватывает паника, но ненадолго, я вскоре перестаю обращать на это внимание; однако меня смущало то, что я увидела Робера не своими, а чужими глазами. Неужели он и правда в тупике? Робер подхватил Поль за талию и стал кружить ее по комнате, рисуя что-то в воздухе другой рукой; возможно, он объяснял ей бег времени, во всяком случае, она смеялась, он тоже, по виду не скажешь, что ему грозит опасность; если бы ему грозила опасность, он это знал бы: он нечасто ошибается и никогда не лжет себе. Я спряталась за красной занавеской в проеме окна. Скрясин наговорил много глупостей, но зато поставил определенные вопросы, от

которых мне нелегко было отделаться. В течение всех последних недель я старалась не задаваться вопросами; мы так ждали этого момента: Освобождение, победа, я хотела насладиться ими; придет время, и можно будет подумать о завтрашнем дне, — мнилось мне. И вот я о нем задумалась, спрашивая себя, что думает по этому поводу Робер. Его сомнения никогда не вызывали у него уныния, а напротив, кончались кипучей деятельностью: что, если все эти разговоры, письма, телефонные звонки, безудержная работа по ночам скрывают некое беспокойство? Он ничего от меня не утаивает, однако ему случается временно хранить некоторые заботы про себя. «К тому же, — с раскаянием подумала я, — даже этой ночью разве не сказал он Поль: "Мы на перепутье". Он часто повторял это, а я из трусости не хотела придавать истинного значения его словам. «Перепутье». Стало быть, в глазах Робера миру грозит опасность. Для меня мир — это он: значит, он в опасности! И пока, возвращаясь в привычных сумерках, мы шли, взявшись за руки, вдоль набережных, его несмолкающий голос не в силах был успокоить меня. Он слишком много выпил и был очень весел; после проведенных взаперти дней и ночей любой выход становится

событием; минувший вечер приобретал в его рассказах такие яркие очертания, что мне почудилось, будто я прожила его вслепую. Зато он глядел во все глаза и внимательно прислушивался ко всему, что говорилось: я слушала его, но невольно продолжала задаваться все теми же вопросами. Мемуары, которые он с такой страстью писал всю войну, остались незаконченными, почему? Был ли то некий признак? Но чего?

— Несчастная Поль! Сущая катастрофа для женщины быть любимой литератором, — говорил Робер. — Она поверила всему, что Перрон рассказывал ей о ней.

Я попробовала сосредоточить свои мысли на Поль.

— Боюсь, что Освобождение вскружило ей голову, — сказала я. — В прошлом году она почти не строила себе иллюзий, а теперь вдруг снова начинает играть в безумную любовь; только играет-то она одна.

— Ей во что бы то ни стало хотелось заставить меня сказать, что времени не существует, — заметил Робер. И добавил: — Лучшая часть ее жизни осталась позади. И теперь, когда война кончилась, она надеется вновь обрести прошлое.

— Мы все на это надеялись, разве не так? —

спросила я. Мой голос показался мне веселым, но Робер сжал мою руку.

— Что случилось?

— Ничего, все прекрасно, — непринужденным тоном ответила я.

— Ну, ну! Знаю я, что означает этот тон великосветской дамы, — сказал Робер. — Я уверен, что в эту минуту голова у тебя идет кругом. Сколько стаканов пунша ты выпила?

— Наверняка меньше, чем вы, и пунш тут ни при чем.

— Ага! Признаешься! — торжествовал Робер. — Что-то все-таки есть, и пунш тут ни при чем. Так в чем же дело?

— Это все Скрясин, — со смехом отвечала я, — он внушал мне, что французским интеллектуалам конец.

— Ему этого так хочется!

— Знаю, и все-таки он напугал меня.

— Такая взрослая девочка, и вдруг поддается влиянию первого встречного пророка! Мне нравится Скрясин; он суетится, несет чепуху, кипятится, все вокруг него бурлит; однако не следует принимать его всерьез.

— Он говорит, что политика поглотит вас, что вы не сможете больше писать.

— И ты ему поверила? — весело спросил Робер.

— Однако вы не собираетесь заканчивать свои воспоминания, — заметила я. Робер на секунду задумался, потом сказал:

— Это особый случай.

— Почему же?

— В своих мемуарах я даю такое оружие против себя!

— В этом и заключается ценность книги, — с живостью возразила я. — Человек, который осмеливается раскрыться, — это такая редкость! Но если он в конце концов решается, то одерживает победу.

— Да, если к тому времени уже мертв, — сказал Робер. Он пожал плечами: — Я вернулся к политической жизни, теперь у меня куча врагов: представляешь, как они возрадуются в тот день, когда появятся эти воспоминания?

— Враги всегда найдут оружие против вас, не то, так другое, — возразила я.

— Представь себе эти мемуары в руках Лафори, или Лашома, или еще малыша Ламбера. А то и в руках какого-нибудь журналиста, — сказал Робер.

Отрезанный от всякой политической жизни, от будущего, от публики, не ведая даже, будет

ли когда-либо напечатана эта книга, работая над ней, Робер словно вновь обрел безвестное одиночество дебютанта, который отваживается на приключение без всяких ориентиров и страховок. На мой взгляд, это лучшее из всего, что он когда-либо написал.

— Значит, — в нетерпении спросила я, — когда занимаешься политикой, уже не имеешь права писать искренние книги?

— Почему же, — ответил Робер, — но только не скандальные. А ты прекрасно знаешь, что сегодня существует тысяча вещей, о которых человек не может говорить, не вызвав скандала. — Он улыбнулся. — По правде говоря, все личное грозит скандалом.

Несколько шагов мы сделали молча.

— Три года вы писали эти воспоминания, и вам ничего не стоит бросить их в дальний ящик?

— Я о них больше не думаю. Я думаю о другой книге.

— О какой?

— Я расскажу тебе об этом через несколько дней. Я подозрительно взглянула на Робера.

— И вы полагаете, что найдете время писать ее?

— Уверен.

— А я далеко не уверена: у вас нет для себя ни минуты.

— В политике самое трудное — начало, дальше все утрясется.

Голос его показался мне чересчур ровным, я продолжала настаивать:

— А если не утрясется? Вы бросите свое движение или перестанете писать?

— Знаешь, ничего трагичного не случится, если на какое-то время и перестану, — с улыбкой сказал Робер. — Я столько бумаги перепачкал за свою жизнь!

Сердце мое сжалось.

— Недавно вы говорили, что ваше творчество впереди.

— Я и теперь так думаю; но оно может подождать.

— Подождать сколько: месяц, год, десять лет? — спросила я.

— Послушай, — сказал Робер примирительным тоном, — одной книгой больше или меньше на земле, какая разница? А ситуация захватывающая; ты только подумай: впервые левые держат судьбу в своих руках, впервые можно попытаться создать объединение, независимое от коммунистов, не рискуя при этом сыграть на руку правым:

нельзя упускать такой шанс! Я ждал его всю жизнь.

— А я считаю ваши книги очень важными, — возразила я. — Они дают людям нечто неповторимое. В то время как политической работой не вы один можете заниматься.

— Но только я один могу вести ее так, как считаю нужным, — весело отвечал Робер. — Ты должна понять: комитеты бдительности, Сопротивление — все это было необходимо, но то было отрицанием. Сегодня же речь идет о созидании: это намного интереснее.

— Я прекрасно понимаю, но ваше творчество интересует меня куда больше.

— Мы всегда считали, что пишем не для того, чтобы писать, — сказал Робер. — В определенные моменты более неотложными становятся иные формы деятельности.

— Но не для вас, — настаивала я. — Вы прежде всего писатель.

— Ты прекрасно знаешь, что нет, — с упреком возразил Робер. — Революция — вот что для меня главное.

— Да, — согласилась я. — Но лучший способ для вас служить революции — это писать книги{15}.

Робер покачал головой.

— Это зависит от обстоятельств. Мы подошли к критическому моменту: сначала надо выиграть партию на политическом поле.

— А что случится, если не выиграем? — спросила я. — Вы ведь не думаете, что нам грозит новая война?

— Я не думаю, что новая война разразится завтра, — ответил Робер. — Но необходимо избежать того, чтобы в мире создалась военная ситуация: в подобном случае рано или поздно начнется избиение друг друга. Необходимо также помешать капитализму воспользоваться этой победой. — Он пожал плечами. — Есть множество вещей, которым следует помешать, прежде чем позволить себе удовольствие писать книги, которые никто, возможно, никогда не прочтет.

Я остановилась посреди шоссе как вкопанная.

— Что? И вы тоже считаете, что люди перестанут интересоваться литературой!

— Думаю, у них будут дела поважнее! — отвечал Робер.

Голос его и в самом деле звучал чересчур ровно. Я с возмущением сказала:

— Похоже, вас это не волнует. Но мир без литературы и искусства — это ведь страшно печально.

— В любом случае в настоящее время для миллионов людей литература — это ноль! — заявил Робер.

— Да, но вы очень рассчитывали, что такое положение изменится.

— Я по-прежнему на это рассчитываю, а ты как думала? — сказал Робер. — Но если мир действительно отважится измениться, нам наверняка предстоит пережить период, когда вопрос о литературе даже не будет возникать.

Мы вошли в кабинет, и я присела на ручку кожаного кресла; да, я выпила слишком много пунша, стены вокруг кружились. Я смотрела на стол, за которым в течение двадцати лет Робер писал день и ночь. Теперь ему уже шестьдесят; если этот период затянется, он рискует так и не увидеть конца: не может он относиться к этому совершенно безразлично.

— Послушайте, вы считаете, что ваше творчество еще впереди; пять минут назад вы говорили, что собираетесь начать новую книгу: это предполагает, что есть люди, которые станут читать вас...

— О! Вероятнее всего, что так оно и есть, — отвечал Робер. — Однако не стоит оставлять без внимания и другую гипотезу. — Он сел в крес-

ло рядом со мной. — Она не так ужасна, как ты говоришь, — весело добавил он. — Литература создана для людей, а не люди для литературы.

— Для вас это было бы очень грустно, — заметила я. — Если вы перестанете писать, то уже не сможете быть счастливым.

— Не знаю, — сказал Робер. И улыбнулся: — У меня нет воображения.

У него оно есть; я вспоминала, как он был встревожен в тот вечер, когда сказал мне: «Мое творчество еще впереди!» Ему хочется, чтобы это творчество было весомо, чтобы оно осталось. И сколько бы он ни протестовал, он прежде всего писатель. Возможно, вначале он думал лишь о том, как служить революции, и литература была для него всего лишь средством, но она стала целью, он любит ее ради нее самой, это доказывают все его книги и, в частности, те самые мемуары, которые он больше не хочет публиковать: он писал их ради удовольствия писать. Нет, истина в том, что говорить о себе самом для него неприятно, и подобное отвращение — недобрый знак.

— А у меня есть воображение, — сказала я.

Стены кружились, но я ощущала необычайную ясность ума, гораздо большую, чем на трезвую голову. У трезвых слишком много защиты, они

умудряются не ведать того, что доподлинно знают. Внезапно все прояснилось. Войне приходит конец, грядут новые времена, и все теперь кажется шатким. Будущее Робера неопределенно: возможно, он перестанет писать, мало того, все его прошлое творчество канет в пустоту.

— Что вы на самом деле думаете? — спросила я. — Что все обернется хорошо или плохо?

Робер рассмеялся:

— Ну, я ведь не пророк! Тем не менее в руках у нас много козырей, — добавил он.

— Но сколько шансов выиграть?

— Хочешь играть по крупному? Или предпочитаешь кофейную гущу?

— Не стоит насмехаться надо мной, — возразила я. — Время от времени не вредно задаваться вопросами.

— А я задаюсь, — сказал Робер.

Конечно, он задавался вопросами, причем гораздо серьезнее меня; я не действовала и потому легко впадала в патетику; я понимала, что не права, но с Робером мне так легко быть неправой!

— Вы задаетесь только такими, на которые можете ответить, — заметила я. Он снова засмеялся.

— Предпочтительно да. Остальные мало что

дают.

— Это не причина, чтобы их не ставить, — сказала я. Мой голос звучал агрессивно, но сердилась я не на Робера, скорее на себя, на свою слепоту в последние недели. — Мне все-таки хотелось бы иметь представление о том, что с нами будет, — добавила я.

— А тебе не кажется, что уже слишком поздно, что мы выпили много пунша и что завтра утром наши мысли прояснятся? — спросил Робер.

Завтра утром стены перестанут раскачиваться, мебель и безделушки станут по своим местам, строго определенным местам, мои мысли тоже, и я начну жить день за днем, не оглядываясь назад, а устремляясь только вперед, и перестану прислушиваться к мелким всплескам в своей душе. Утомительная гигиена. Я взглянула на подушку у камина, на которой обычно сидел Диего. «Победа нацистов не входит в мои планы», — говорил он. А потом его убили.

— Мысли всегда чересчур ясны! — сказала я. — Война выиграна, уж куда яснее. Так вот, сегодняшний праздник показался мне странным, если вспомнить всех мертвых, которых там не было!

— Есть все-таки разница: говорить себе, что их

смерть послужила чему-то или нет, — заметил Робер.

— Смерть Диего ничему не послужила, — возразила я. — Но даже если и послужила? — И с раздражением добавила: — Это вполне устраивает живых, та самая система, при которой все устремляются к чему-то иному, обгоняя друг друга, но мертвые остаются мертвыми; их предают, а не обгоняют.

— Не обязательно предают, — сказал Робер.

— Предают, когда забывают их или когда используют, — продолжала я. — Сожаление должно быть бесполезным, иначе оно перестает быть истинным.

Робер помолчал в нерешительности.

— Думается, я не склонен к сожалениям, — с недоуменным видом сказал он. — Вопросы, на которые я не могу дать ответа, события, в которых я ничего не могу изменить, — все это меня не слишком занимает. Не скажу, что я прав, — добавил он.

— О! — молвила я. — Я тоже не говорю, что вы не правы. В любом случае мертвые мертвы, а мы, мы живы, и сожаления тут ничего не изменят.

Робер положил свою руку на мою.

— Не мучайся угрызениями совести. Знаешь,

мы тоже умрем, это сближает нас с ними.

Я отняла руку; в эту минуту любое участие казалось мне враждебным; я не хотела утешения, пока еще нет.

— И то верно, ваш проклятый пунш разбередил мне душу, — сказала я. — Пойду спать.

— Ступай. А завтра мы зададим себе все вопросы, какие пожелаешь, даже те, которые ничего не дают, — сказал Робер.

— А вы? Вы не пойдете спать?

— Думаю, мне лучше принять душ и поработать.

«Разумеется, Робер лучше меня вооружен против сожалений, — говорила я себе, ложась спать. — Он работает, действует, поэтому для него главное — будущее, а не прошлое. И он пишет: все, что выходит за рамки его деятельности, несчастье, неудача, смерть — этому он отводит место в своих книгах и этого ему довольно. У меня же нет прибежища, моим потерям нет замены, и ничто не может искупить моего предательства». Внезапно я заплакала. «Это плачут мои глаза, — подумала я. — Он тоже все видит, но только не моими глазами».

Я плакала и впервые за двадцать лет чувствовала себя одинокой, один на один со своими

угрызениями совести и страхом. Потом заснула, мне снилось, что я умерла. Вздрогнув, я проснулась, страх не покидал меня. Вот уже час я стараюсь побороть его, а он все еще здесь, и смерть неустанно бродит вокруг. Я включаю и выключаю свет; если Робер увидит у меня под дверью свет, он встревожится: напрасно, этой ночью он не в силах помочь мне. Когда я пыталась поговорить сегодня с ним, он уклонился от ответа на мои вопросы: он чувствует себя в опасности. Я боюсь за него. До сих пор я всегда верила в его судьбу и никогда не пыталась оценивать его: он сам был мерилом всего; я жила с ним как с самой собой, нас ничто не разделяло. И вдруг я утратила веру — во все. Робер не звезда на незыблемом небосклоне и не километровый столб, а просто человек, способный ошибаться и уязвимый, шестидесятилетний человек, которого уже не защищает прошлое и которому угрожает будущее. С открытыми глазами я прислоняюсь спиной к подушке. Чтобы понять его, надо попробовать посмотреть на него со стороны, так, словно я не любила его безоглядно все эти двадцать лет.

Это трудно. Было время, когда я видела его на расстоянии; но я была слишком молода и смотрела на него из далекого далека. Приятели

показали мне его пальцем в Сорбонне, о нем чрезвычайно много говорили, мешая восхищение и возмущение. Шептались, что он пьет и бегает по борделям. Ну это-то меня скорее привлекло бы; я еще не совсем излечилась от своего набожного детства; порок в моих глазах с пафосом свидетельствовал об отсутствии Бога, и, если бы мне сказали, что Дюбрей насилует маленьких девочек, я приняла бы его за своего рода святого. Однако пороки его были ничтожны, а чересчур прочно утвердившаяся слава вызывала у меня раздражение. Когда я начала посещать его лекции, то была полна решимости держать его за псевдовеликого человека. Разумеется, он отличался от всех других профессоров; он врывался вихрем, всегда опаздывая на четыре-пять минут, какое-то время внимательно разглядывал нас своими огромными хитрыми глазами, потом начинал говорить очень дружеским или очень агрессивным тоном. Было что-то вызывающее в его хмуром лице, резком голосе, громком хохоте, казавшемся нам порой немного безумным. Он носил ослепительно белое белье, руки у него были ухоженные, он был безупречно выбрит, так что его куртки, свитера, огромные ботинки не могла оправдать небрежность. Он предпочитал

удобство благопристойности с непринужденностью, которую я объявила наигранной. Я прочитала его романы, и они мне, можно сказать, не понравились; я ожидала найти в них некое захватывающее послание, а они рассказывали о самых обычных людях, о неглубоких чувствах, о куче вещей, казавшихся мне несущественными. Что касается его лекций, да, они были интересны, но в конце концов ничего гениального он не говорил; и он до того был уверен в своей правоте, что это вызывало у меня непреодолимое желание сказать что-либо против. О, я тоже была уверена, что истина у левых; с детских лет я ощущала у буржуазной мысли запах глупости и лжи, очень скверный запах; к тому же из Евангелия я узнала, что все люди равны, что все они братья, и твердо продолжала в это верить.

Но беда в том, что для моей души, долгое время питавшейся абсолютом, небесная пустота любую мораль делала смехотворной, а Дюбрей воображал, будто можно обрести спасение на этой земле; я объяснилась на сей счет в своем первом сочинении. «Революция, ладно, — говорила я, — а что дальше?» Возвратив мне через неделю мою работу после лекции, он порядком посмеялся надо мной: по его словам, мой абсолют

был отвлеченной мечтой представительницы мелкой буржуазии, неспособной смотреть в лицо реальности. У меня не было возможности противостоять ему, он неизбежно одерживал верх по всем пунктам, но это ничего не доказывало, и я ему об этом сказала. Мы продолжили свой спор на следующей неделе, и на этот раз он пытался убеждать, а не обвинять меня. Пришлось признать, что с глазу на глаз он совсем не похож на того, кто считает себя великим человеком. Он стал часто говорить со мной после лекций, иногда провожал до дома, делая большой крюк, а потом мы начали выходить вместе после обеда, по вечерам и уже не говорили ни о морали, ни о политике, ни о каких возвышенных предметах. Он рассказывал мне разные истории, а главное, водил меня гулять; показывал улицы, скверы, набережные, каналы, кладбища, зоны, склады, пустыри, бистро, множество парижских уголков, неведомых мне; и я обнаружила, что никогда не видела того, что полагала, будто знаю. С ним все обретало тысячу смыслов: лица, голоса, одежда людей, дерево, афиша, неоновая вывеска — все, что угодно. Я перечитала его романы. И поняла, что раньше не разобралась в них. На первый взгляд, Дюбрей писал причудливо, ради

собственного удовольствия, причем, казалось, вещи, совершенно необоснованные; а между тем, закрыв книгу, вы ощущали прилив гнева, отвращения, возмущения, у вас появлялось желание перемен. Прочитав отдельные пассажи его произведений, Дюбрея можно было принять за чистого эстета: у него есть вкус к словам, и без всякой задней мысли он проявляет интерес к дождю и ясной погоде, к игре любви и случая, ко всему; но на этом не останавливается: внезапно вы оказываетесь в гуще толпы людей, чьи проблемы касаются и вас тоже. Вот почему мне так хочется, чтобы он продолжал писать. Я по себе знаю, что дает он читателям. Его политическая мысль неотделима от поэтических эмоций. Именно потому, что он так любит жизнь, ему хочется, чтобы все люди получили положенную им долю; и он любит людей, поэтому его волнует все связанное с их жизнью.

Я перечитывала его книги, слушала его, расспрашивала и была так занята этим, что даже не подумала спросить себя, а почему ему нравится быть со мной: мне уже не хватало времени, чтобы разобраться в том, что происходит в моем собственном сердце. Когда однажды ночью он обнял меня посреди садов площади Карусель, я

с возмущением сказала: «Я не поцелую никого другого, кроме человека, которого полюблю». Он спокойно ответил: «Но вы любите меня!» И я сразу поняла, что это правда. Если же я не заметила этого раньше, то потому, что все произошло слишком быстро: с ним все происходило так быстро! Это-то прежде всего и покорило меня; другие люди были слишком медлительны, да и жизнь — такая неторопливая. А у него время мчалось, он гнал вовсю. С той минуты, как я поняла, что люблю его, я с восторгом следовала за ним от сюрприза к сюрпризу. Я узнавала, что можно жить без мебели и расписания, обходиться без обеда, не ложиться ночью, спать после обеда, любить в лесу не хуже, чем в постели. Мне показалось это простым и радостным — стать женщиной в его объятиях; если наслаждение пугало меня, то его улыбка успокаивала. Единственная тень в моем сердце: близились каникулы, и мысль о разлуке неотступно преследовала меня. Робер, разумеется, все понимал: из-за этого он и предложил жениться на мне? В ту пору такая мысль даже не приходила мне в голову: в девятнадцать лет быть любимой человеком, которого любишь, кажется столь же естественным, как быть любимой почтенными родителями или всемогущим

Господом.

«Но я любил тебя!» — ответит мне Робер много позже. Что означали в действительности эти слова в его устах? Полюбил бы он меня годом раньше, когда целиком, душой и телом, увлечен был политической схваткой? А в этом году, чтобы найти утешение от бездействия, не мог ли он выбрать другую? Вот вопросы, которые ничего не дают, так что лучше оставить их. Однако не вызывает сомнений то, что он отчаянно хотел моего счастья, и он не ошибся. До той поры несчастливой я не была, нет, но и счастливой тоже. Чувствовала я себя хорошо, и у меня бывали минуты радости, но большую часть времени я сокрушалась. Глупость, ложь, несправедливость, страдание: меня окружал страшнейший хаос. И что за нелепость эти дни, которые повторяются из недели в неделю, из века в век и никуда не ведут! Жить — это значит ждать смерти в течение сорока или шестидесяти лет, увязая в суете сует. Вот почему я с таким рвением училась: устоять могли лишь книги да идеи, они одни казались мне реальными.

Благодаря Роберу идеи спустились на землю, и земля стала понятной, как книга — книга, которая начинается плохо, но заканчивается

хорошо; человечество куда-то двигалось, история имела определенный смысл, и мое собственное существование — тоже; угнетение, нищета заключали в себе обещание своего исчезновения; зло уже было побеждено, скандал сметен. Небо снова сомкнулось у меня над головой, и старые страхи покинули меня. Робер избавил меня от них не теориями: он доказал мне, что жизнь самодостаточна сама по себе. До смерти ему не было никакого дела, и его деятельность не была забавой: он любил то, что любил, хотел того, чего хотел, и ни от чего не бежал. Словом, я стремилась лишь к одному: походить на него. Если я ставила жизнь под сомнение, то в основном потому, что скучала дома: теперь я уже не скучала. Робер извлек из хаоса мир насыщенный, упорядоченный, очищенный тем будущим, которое он готовил, и этот мир был моим. Единственный вопрос, который возникал, — найти там свое собственное место. Быть просто женой Робера мне было недостаточно; никогда до того, как выйти за него замуж, я не собиралась делать карьеру супруги. С другой стороны, я ни на минуту ни задумывалась о том, чтобы активно заняться политикой. В этой области теории могут увлечь меня и вызвать кое-какие сильные чувства, но практика

отталкивает. Должна признаться, что мне не хватает терпения: революция надвигается, но так медленно, такими мелкими, неверными шажками! Для Робера если какое-то решение лучше другого, значит, оно хорошее, наименьшее из зол он считает благом. И он, разумеется, прав, но я-то, видимо, не совсем распростилась со своими старыми мечтами об абсолюте:{16} меня это не удовлетворяет. К тому же будущее кажется таким далеким, мне трудно проявлять интерес к людям, еще не родившимся, гораздо больше хочется помочь тем, кому выпало жить именно сейчас. Потому-то меня и привлекала эта профессия. О, я никогда не думала, что можно извне принести кому-то заранее заготовленное спасение, но зачастую людей отделяет от счастья какая-нибудь ерунда, глупость, и мне хотелось избавить их от этого. Робер поддерживал меня; тут он расходится с ортодоксальными коммунистами: он считает, что можно найти достойное применение психоанализу в буржуазном обществе и что, возможно, ему предстоит еще сыграть определенную роль в обществе бесклассовом; Ро-беру даже казалось, что это захватывающая работа — пересмотреть классический психоанализ в свете марксизма. Но главное, я сама увлеклась. Дни мои были запол-

нены не меньше, чем земля вокруг меня. Каждое утро просыпалась радость предыдущего дня, а к вечеру я оказывалась обогащенной огромным количеством новизны. Большая удача получать в двадцать лет мир из любимых рук! Большая удача занимать в этом мире свое собственное место! Роберу удалось и еще одно чудо: он защитил меня от одиночества, не лишив при этом уединения. Все у нас было общим, а между тем были у меня свои привязанности, удовольствия, работа, свои заботы. Я могла по собственной воле провести ночь в нежной близости или, как сегодня, одна у себя в комнате, девушкой. Я гляжу на стены, на полоску света под дверью: сколько раз выпадала мне вот такая тихая радость — засыпать, пока он работает, зная, что он может меня услышать? Уже много лет как желание наше иссякло; но мы были слишком тесно связаны, чтобы слияние наших тел могло иметь решающее значение; отказавшись от него, мы, пожалуй, ничего не потеряли. И сейчас я могла бы подумать, что это одна из довоенных ночей. Даже тревога, не дающая мне уснуть, далеко не нова. Нередко будущее мира казалось мрачным. Что же все-таки изменилось теперь? Почему снова вернулась смерть? Она бродит опять: почему?

Что за неистовое упрямство! Мне стыдно. В течение этих четырех лет, несмотря ни на что, я была убеждена, что после войны мы вновь обретем довоенное время. Вот и сегодня я опять говорила Поль: «Теперь все будет как раньше». А сейчас пытаюсь убедить себя: раньше все было в точности как теперь. Но нет, я лгу: это не так, и ничего уже никогда не будет как раньше. Раньше во время самых тревожных кризисов в глубине души я была уверена, что мы из них выберемся; Робер неизбежно должен был выбраться; его судьба гарантировала мне судьбу мира, и наоборот. Но как полагаться на будущее с тем прошлым, что осталось у нас за спиной? Диего умер, было слишком много смертей, скандал вернулся на землю, и слово «счастье» уже не имеет смысла: вокруг меня снова хаос. Быть может, мир с ним справится, но когда? Два или три века — это слишком долго, ведь наши-то дни сочтены: если жизнь Робера закончится поражением, сомнением и отчаянием, этого ничто и никогда не исправит.

В его кабинете легкий шорох; он читает, размышляет, строит планы. Добьется ли он успеха? А если нет, что тогда? Незачем предполагать худшее, нас никто не проглотил; мы просто прозябаем на обочине уже не нашей истории,

и Робер обречен на роль пассивного наблюдателя: что он сделает со своею жизнью? Я знаю, революция вошла в его душу, она стала его абсолютом: юность наложила на него неизгладимый отпечаток. В течение всех этих лет, когда он рос среди домов и жизней цвета сажи, социализм был его единственной надеждой; он поверил в него не из благородства и не по логике, а по необходимости. Стать человеком означало для него стать активистом, как отец. Понадобилось много всего, чтобы отторгнуть его от политики: бурное разочарование 1914 года, разрыв с Кашеном через два года после Тура{17}, невозможность разжечь в социалистической партии былое революционное пламя. При первом же случае он снова включился в борьбу и теперь, как никогда, увлечен ею. Успокаивая себя, я говорю, что он далеко не исчерпал своих возможностей. После нашей свадьбы в течение тех лет, когда он отошел от активной деятельности, он много писал и был счастлив. Да, впрочем, был ли? Меня устраивало так думать, и вплоть до этой ночи я никогда не решалась доискиваться, что думает он сам, оставаясь с собой наедине: я уже не чувствую себя уверенной в нашем прошлом. Если он так быстро захотел ребенка, то наверняка потому,

что меня было мало для оправдания его существования; к тому же, возможно, он искал реванша над будущим, на которое не мог уже влиять. Да, это стремление к отцовству кажется мне весьма красноречивым. Не менее красноречива и горечь нашего паломничества в Брюэ. Мы бродили по улицам его детства, он показывал мне школу, где преподавал его отец, и мрачное строение, где в девять лет он слушал Жореса;{18} он рассказывал мне о своих первых встречах с повседневным несчастьем, с работой без надежды; он говорил слишком быстро и слишком отстраненно, потом вдруг сказал взволнованным голосом: «Ничего не изменилось; ну а я пишу романы». Мне хотелось верить в мимолетность его волнения; Робер был слишком весел, чтобы я могла заподозрить у него серьезные сожаления. Но после Амстердамского конгресса{19}, в течение всего периода, когда он организовывал комитеты бдительности, я увидела, что он может быть гораздо веселее, и вынуждена была признать одну истину: раньше он с трудом сдерживался. Если он опять будет обречен на бессилие, на одиночество, ему все покажется тщетным, даже литература, в особенности — литература. Между 1925 и 1932 годами, с трудом сдерживаясь, он, правда, писал. Но это

было совсем другое дело. Он поддерживал связь с коммунистами и некоторыми социалистами; он хранил надежду на рабочее единство и конечную победу; я наизусть знаю слова Жореса, которые он повторял при всяком удобном случае: «Человек завтрашнего дня будет гораздо сложнее и духовно богаче всех тех, кто известен доныне истории». Он был убежден, что его книги помогают строить будущее и что человек завтрашнего дня прочтет их, потому-то, разумеется, он и писал. Перед лицом перечеркнутого будущего это утратит всякий смысл. Если современники его уже не слушают, если потомки его не понимают, ему остается лишь умолкнуть.

И что же? Что с ним станется? Живое существо, превратившееся в пену, это ужасно, но есть судьба пострашнее: судьба паралитика, лишенного дара речи. Уж лучше смерть. Неужели когда-нибудь я дойду до того, что буду желать смерти Роберу? Нет. Такое немыслимо. На его долю уже выпадали жестокие удары, он всегда с ними справлялся, справится и теперь. Не знаю как, но он что-нибудь придумает. Не исключено, например, что в один прекрасный день он вступит в коммунистическую партию; разумеется, сейчас он об этом не думает и слишком резко их критикует;

но предположим, их линия изменится, предположим, что кроме коммунистов не останется иных сплоченных левых сил, и вот тогда, спрашиваю я себя, вместо того чтобы бездействовать, не присоединится ли в конечном счете к ним Робер? Мне такая идея не нравится. Ему будет труднее, чем кому бы то ни было, подчиняться призывам, с которыми он не согласен. У него всегда были собственные мысли относительно тактики, которой следует придерживаться. Да и потом, сколько бы он ни пытался приспособиться к цинизму, я прекрасно знаю, что он навсегда сохранит верность своей старой морали; идеализм других вызывает у него улыбку, но своему собственному он не изменит и никогда не сможет смириться с некоторыми методами коммунистов. Нет, такое решение не годится. Слишком многое разделяет его с ними; его гуманизм иной, чем у них. Он не только не сможет больше писать ничего искреннего, но обязан будет вообще отречься от своего прошлого.

«Ничего не поделаешь!» — скажет он мне. Только что он говорил: «Одной книгой больше или меньше, какая разница?» Но думает ли он так на самом деле? Лично я придаю большое значение книгам, возможно, даже чересчур. Во времена

моей собственной предыстории я отдавала предпочтение им, а не реальному миру: что-то от этого во мне еще осталось; книги сохранили для меня привкус вечности. Да, это одна из причин, заставляющих меня принимать творчество Робера так близко к сердцу: если оно погибнет, мы оба снова станем тленны, и впереди тогда ничего, кроме могилы. Роберу все видится иначе, но и он тоже далеко не образцовый борец, полностью забывающий о себе самом; он, конечно, надеется оставить после себя имя, имя, которое многое значит для многих людей. К тому же больше всего на свете он любит писать, это его радость, его потребность, его сущность. И отказаться от этого было бы самоубийством.

Что ж, ему останется лишь смириться и писать по заказу, другие это делают: другие, но только не Робер. На худой конец я представляю его себе борцом против воли, но писать — это совсем другое дело; если он не сможет выражать себя по собственному усмотрению, перо выпадет из его рук.

Ах, вот он тупик, теперь я вижу! Робер твердо придерживался определенных идей, и до войны мы были уверены, что когда-нибудь они воплотятся, станут реальностью; он не жалел сил, чтобы обогатить их и претворить в жизнь: а если

предположить, что этого никогда не произойдет? Или взять гуманизм, который всегда отстаивал Робер, предположим, что революция свершится, поправ его? Что может сделать Робер? Если он будет содействовать строительству будущего, враждебного всем дорогим его сердцу ценностям, его деятельность абсурдна; но если он станет упорствовать, поддерживая ценности, которые никогда не станут реальностью, он превратится в одного из тех старых мечтателей, на которых сам ни в коем случае не хочет походить. Нет, при такой альтернативе выбор практически невозможен, это в любом случае поражение, бессилие; для Робера это означает умереть заживо. Вот почему он с такой страстью погружается в борьбу: он сказал мне, что ситуация предлагает ему шанс, которого он ждал всю жизнь, пусть так; но она же таит в себе опасность гораздо более серьезную, чем все предыдущие, и он это знает. Да, я в этом уверена, все, что я говорю себе, он говорит себе тоже. Он говорит себе, что для него будущее — это, возможно, могила, что он исчезнет в ней, не оставив следа, подобно Розе и Диего. И даже еще хуже: быть может, люди завтрашнего дня будут смотреть на него как на отставшего от времени, будут считать его жертвой иллюзий, мистифи-

катором, бесполезным или виновным, словом, лишним. И может статься, что в один прекрасный день он поддастся искушению взглянуть на себя их жестокими глазами: тогда он кончит свою жизнь в отчаянии. Отчаявшийся Робер — это еще более нестерпимый скандал, чем сама смерть. Я вполне могу смириться со своей смертью, и даже с его, но не с его отчаянием. Нет. Мне не вынести завтрашнего пробуждения и пробуждения во все последующие дни с той огромной угрозой, которая маячит на горизонте. Нет. Но я могу хоть сто раз повторить: нет, нет и нет, это ничего не изменит. Завтра и во все последующие дни я буду просыпаться с ощущением этой угрозы. Уверенность — дело другое, из-за нее можно, по крайней мере, умереть; но этот бездонный страх — с ним предстоит жить.

ГЛАВА ВТОРАЯ
I

На следующее утро радио подтвердило разгром немцев. «Действительно наступает мир», — повторил про себя Анри, садясь за свой стол. «Наконец я могу писать!» Он решил: «Я постараюсь непременно писать каждый день». Что именно? Он не знал и был доволен этим; в другие разы он слишком хорошо все знал. На этот раз он попробует обратиться к читателю непосредственно, как пишут другу, и, возможно, сумеет сказать ему все то, для чего не находилось места в его чересчур выстроенных книгах. Столько всяких вещей, которые теряются, хотелось бы удержать при помощи слов! Подняв голову, он поглядел в окно на холодное небо. Обидно думать, что утро будет потеряно; сегодня все казалось таким драгоценным: чистая бумага, запах спиртного и невыветрившегося табака, арабская музыка, доносившаяся из соседнего кафе; собор Парижской Богоматери был холоден, под стать небу, клошар в огромном воротнике из синих петушиных перьев пританцовывал посреди улочки, две нарядные девицы со смехом смотрели на него.

Наступило Рождество, а вместе с тем и разгром немцев, и что-то начиналось вновь. Да, все эти утра и вечера, которые он упустил за минувшие четыре года, за тридцать лет — Анри попробует наверстать их; нельзя сказать всего, пусть так, и все-таки можно попытаться передать истинный вкус своей жизни: у каждой жизни есть вкус, свой собственный, и надо рассказать о нем, иначе не стоит и писать. «Поведать о том, что я любил, что я люблю, о том, кто я есть». Он нарисовал букет. Так кто же он такой на самом деле? И кого обретет после столь долгого отсутствия? Это трудно — изнутри дать себе определение и отвести границы. Он не маньяк от политики, не фанатик письма и не пламенный борец; скорее он ничем не отличается от других, но его это в общем-то не смущало. Обычный человек, который искренне поведает о себе, будет говорить от имени всех и для всех. Искренность — это и есть та самобытность, к которой должно стремиться, единственный наказ самому себе, которому необходимо следовать. Он добавил цветов к своему букету. Быть искренним не так-то просто. Он не собирался исповедоваться. Ну а если роман, значит, неизбежна ложь. А, да ладно, там видно будет. Пока же главное — не обременять себя проблемами, двигаться

наугад, начать с чего придется, хотя бы с садов Эль-Уэда{20} в лунном свете. Бумага была чистой, следовало воспользоваться этим.

— Ты начал свой веселый роман? — спросила Поль.

— Не знаю.

— Как это не знаешь? Не знаешь, что ты пишешь?

— Я готовлю себе сюрприз, — со смехом сказал он.

Поль пожала плечами; а между тем то была правда: он не хотел знать; в беспорядке он запечатлевал на бумаге разные моменты своей жизни, его это страшно занимало, а большего он и не требовал. Вечером, собравшись на встречу с Надин, он с сожалением оставил свою работу. Поль он сказал, что встречается со Скрясиным: за последний год он научился бережно обращаться со своей откровенностью; самые простые слова «Я встречаюсь с Надин» вызвали бы столько вопросов и комментариев, что он предпочел другие, хотя это страшно нелепо — скрывать встречу со столь непривлекательной девушкой, и еще большей нелепостью было назначать ей свидание. Он толкнул дверь Красного бара и подошел к столу, где она сидела с Лашомом и Венсаном.

— Сегодня без стычек?

— По нулям, — с досадой ответил Венсан.

Молодежь набивалась в эту красную кишку не для того, чтобы провести время с товарищами, а скорее для того, чтобы встретить своих противников: там были представлены все политические группировки. Анри часто заглядывал сюда ненадолго; ему очень бы хотелось присесть и поболтать о том о сем с Лашомом и Венсаном, посмотреть на окружающих, но Надин сразу же поднялась.

— Вы поведете меня ужинать?

— За этим я и пришел.

На улице было темно, тротуар покрывала замерзшая грязь: что же ему все-таки делать с Надин?

— Куда вы хотите пойти? — спросил он. — К «Итальянцу»?

— К «Итальянцу».

Она ни в чем ему не перечила, предоставила выбрать для них столик, как и он, заказала peperoni {11} и ossobuco; {Тушеное мясо на косточке (ит.)} [empty link] со всем, что он говорил, она соглашалась с радостным видом, показавшимся вскоре Анри подозрительным: на самом деле она его не слушала, ела с невозмутимой торопливостью,

улыбаясь своей тарелке; он оборвал разговор, а она, похоже, даже и не заметила этого. Проглотив последний кусок, Надин бесцеремонно вытерла рот и спросила:

— А теперь куда вы меня поведете?

— Вы не любите ни джаз, ни танцы?

— Нет.

— Можно заглянуть в «Тропик Рака».

— Это забавно?

— А вам известны забавные кабаки? В «Тропике Рака» можно неплохо поговорить.

Она пожала плечами:

— Для разговора вполне подойдут скамейки в метро. — Ее лицо просияло. — Есть заведения, которые мне очень нравятся, те, где показывают обнаженных дам.

— Не может быть! Вас это забавляет?

— О да! В турецких банях интереснее, но и в кабаре неплохо.

— А вы, случаем, чуточку не порочны? — со смехом спросил Анри.

— Возможно, — сухо ответила она. — Вы хотите предложить что-нибудь получше?

Смотреть на обнаженных женщин в обществе этой взрослой девицы — ни девственницы, ни женщины, трудно вообразить себе что-либо бо-

лее неуместное; но ведь Анри взялся развлекать ее, а ему не хватало вдохновения. Они сели «У А старты» перед ведерком с шампанским; в зале было еще пусто; возле бара болтали танцовщицы. Надин долго разглядывала их.

— Если бы я была мужчиной, каждый вечер я приводила бы другую женщину.

— Каждый вечер другая женщина: под конец все сведется к одной и той же.

— Ничего подобного; взять хотя бы маленькую брюнетку и вон ту рыжую с такими хорошенькими накладными грудями, под своими платьями они ничуть не похожи. — Опершись подбородком на ладонь, Надин взглянула на Анри: — Женщины вас не интересуют?

— Не таким образом.

— А каким?

— Ну, я люблю смотреть на них, если они красивы, танцевать с ними или беседовать.

— Для беседы больше подходят мужчины, — заявила Надин; ее взгляд стал подозрительным. — А вообще-то почему вы меня пригласили? Я некрасива, танцую плохо да и говорю не очень хорошо.

Он улыбнулся.

— Вы не помните? Вы упрекали меня, что я

никогда вас не приглашаю.

— Каждый раз, когда вас упрекают в том, чего вы не делаете, вы это делаете?

— А почему вы приняли мое приглашение? — спросил Анри.

Она бросила на него столь простодушно вызывающий взгляд, что он смутился; неужели правда, как уверяет Поль, что, завидев мужчину, Надин готова сразу предложить ему себя?

— Ни от чего не следует отказываться, — сказала она поучительным тоном. Какое-то время Надин молча пила свое шампанское, потом разговор кое-как

возобновился, но иногда Надин многозначительно умолкала, пристально глядя на Анри, и при этом лицо ее выражало недоуменный упрек. «Не могу же я пойти с ней», — думал он. Не так уж она ему нравилась, Анри слишком хорошо ее знал, это было чересчур просто, к тому же его бы это стесняло — из-за Дюбрея; он пытался заполнить паузы, но она дважды нарочито зевала. Для него тоже время тянулось медленно. Несколько пар танцевали: в особенности американцы с наемными танцовщицами, и еще одна — две лжесупружеские пары из провинции. Анри решил уйти, как только танцовщицы покажут свой

номер, и почувствовал облегчение, когда они наконец появились. Их было шесть — в покрытых блестками лифчиках и трусиках, в цилиндрах цветов французского и американского флагов; они танцевали ни хорошо, ни плохо и были не слишком уродливы: неинтересное зрелище не располагало к веселью, так почему у Надин был такой радостный вид? Когда девушки расстегнули лифчики, обнажив свои парафинированные груди, она украдкой бросила взгляд на Анри:

— Которая вам больше нравится?

— Все одинаковы.

— Блондинка слева, вы не находите, что у нее прелестный маленький пупок?

— И очень грустная физиономия.

Надин умолкла; она рассматривала женщин взглядом немного пресыщенного знатока; когда они, пятясь, ушли, размахивая трусиками в одной руке, а другой прикрывая трехцветным цилиндром причинное место, Надин спросила:

— Что важнее: иметь хорошенькую мордашку или быть хорошо сложенной?

— Это зависит от разных обстоятельств.

— От каких?

— От общего целого, а также от вкусов.

— Какой оценки я заслуживаю в общем и на

ваш вкус? Он смерил ее взглядом.

— Я скажу вам это года через три-четыре: вы еще не сформировались окончательно.

— Окончательного ничего не бывает до самой смерти, — сердито сказала она. Ее взгляд блуждал по залу и остановился на танцовщице в черном платьице с грустным лицом, которая подошла и села у стойки. — У нее и правда печальный вид. Вы должны пригласить ее танцевать.

— Вряд ли ее это сильно развеселит.

— Ее подружки с кавалерами, а она вроде осталась на бобах. Пригласите же ее, ну что вам стоит? — попросила Надин с внезапной горячностью; голос ее смягчился, стал умоляющим: — Всего-то один раз!

— Если вам так хочется, — сказал Анри.

Блондинка без восторга последовала за ним на площадку; она была обыкновенной дурочкой, и он никак не мог понять, почему Надин интересуется ею; по правде говоря, капризы Надин начали надоедать ему. Когда он, вернувшись, подсел к ней, она задумчиво созерцала два наполненных ею бокала шампанского.

— Вы очень милы, — сказала она, глядя на него влюбленными глазами, и вдруг улыбнулась: — Вы бываете смешным, когда выпьете?

— Когда выпью, я кажусь себе очень смешным.

— А другие, что они об этом думают?

— Когда я пьян, мне все равно, что думают другие. Она показала на бутылку:

— Напейтесь.

— С шампанским я далеко не уеду.

— Сколько бокалов вы можете выпить не опьянев?

— Много.

— Больше трех?

— Конечно.

Она взглянула на него с недоверием:

— Хотелось бы посмотреть на это. Вы выпьете залпом два бокала — и с вами ничего не будет?

— Решительно ничего.

— Тогда попробуйте.

— Зачем?

— Люди всегда хвастают: надо ставить их на место.

— После этого вы попросите меня пройтись на голове? — спросил Анри.

— После вы сможете пойти спать. Пейте, один за другим.

Он выпил один бокал и почувствовал удар под ложечкой; она сунула ему в руку второй бокал:

— Договорились один за другим. Он выпил

второй бокал.

Проснулся он в кровати, голый, рядом с обнаженной женщиной, которая трясла его, схватив за волосы.

— Кто это?

— Надин. Просыпайся, уже поздно.

Он открыл глаза и увидел при электрическом свете незнакомую комнату — гостиничный номер; вспомнил регистратуру, лестницу; до этого он выпил шампанского, страшно болела голова.

— Что произошло? Я не понимаю.

— Твое шампанское, оно было разбавлено коньяком, — с громким смехом сказала Надин.

— Ты вбухала коньяк в шампанское?

— Немного! Таким трюком я часто пользуюсь с американцами, когда мне надо, чтобы они напились. — Она улыбнулась: — Это был единственный способ заполучить тебя.

— И что, заполучила?

— Если можно так выразиться. Он потрогал голову.

— Я ничего не помню.

— О! И вспоминать нечего.

Она спрыгнула с кровати, достала из сумочки расческу и, обнаженная, начала причесываться перед зеркальным шкафом. Какое юное у нее

тело! Неужели он и правда прижимал к себе этот тонкий стан с округлыми плечами и изящной грудью? Она поймала его взгляд.

— Не смотри на меня так!

Схватив комбинацию, она поспешно натянула ее.

— Ты очень красива!

— Не говори глупостей! — надменным тоном сказала она.

— Зачем ты одеваешься, иди ко мне.

Она покачала головой, и он спросил с некоторым беспокойством:

— Ты чем-то недовольна? Знаешь, я был пьян.
Она подошла к кровати и поцеловала Анри в щеку:

— Ты был очень мил. Но я не люблю начинать все заново, — добавила она, отходя, — во всяком случае, в тот же день.

Какая досада совсем ничего не помнить; она натягивала носки, и он почувствовал смущение, лежа голый под простыней.

— Я встаю, отвернись.

— Ты хочешь, чтобы я отвернулась?

— Пожалуйста.

Она встала в угол, носом к стене, руки за спину, словно наказанная школьница; и тут же спроси-

ла насмешливым тоном:

— Этого недостаточно?

— Достаточно, — ответил он, застегивая ремень брюк. Она с критическим видом смотрела на него.

— До чего же ты мудреный!

— Я?

— Устраиваешь трудности, чтобы лечь в постель и встать с нее.

— Ну и наградила ты меня головной болью! — сказал Анри.

Он сожалел, что она не захотела начать все заново. У нее было красивое тело, и сама она была занятной девчонкой.

Когда они сели перед двумя чашками суррогата кофе в маленьком бистро, просыпавшемся по соседству с Монпарнасским вокзалом, он весело спросил:

— А все-таки почему тебе так хотелось переспать со мной?

— Чтобы познакомиться поближе.

— Ты всегда так знакомишься?

— Когда спишь с кем-нибудь, это разбивает лед; теперь нам вместе гораздо лучше, чем раньше, правда?

— Лед сломан, — со смехом сказал Анри. — Но

почему тебе хотелось познакомиться со мной поближе?

— Я хотела понравиться тебе.

— Ты мне очень нравишься.

Она посмотрела на него с лукавым и вместе с тем смущенным видом.

— Я хочу настолько понравиться тебе, чтобы ты взял меня в Португалию.

— Ах, вот оно что! — Он положил ладонь на руку Надин. — Я же говорил тебе, что это невозможно.

— Из-за Поль? Но раз она не едет с тобой, почему бы не поехать мне?

— Потому что это сделает ее очень несчастной.

— Не говори ей.

— Это будет крупная ложь. — Он улыбнулся. — Тем более что она все равно узнает.

— Значит, чтобы не огорчать ее, ты лишаешь меня того, чего мне очень хочется.

— А тебе действительно очень этого хочется?

— Страна, где есть солнце и что поесть, да я бы душу продала, чтобы туда поехать.

— Ты голодала во время войны?

— Еще как! Заметь, что мама в этом отношении творила чудеса; она отмахивала по восемь—десять километров на велосипеде, чтобы привезти нам кило грибов или кусок тухлятины, но все

равно. Я чуть с ума не сошла, когда первый американец отдал мне свой ящик с пайками.

— И потому ты так полюбила американцев?

— Да, и потом вначале они меня забавляли. — Надин пожала плечами. — Теперь они слишком организованны, и это уже не смешно. Париж снова стал мрачным. — Она посмотрела на Анри с умоляющим видом: — Возьми меня с собой.

Ему очень хотелось бы доставить ей удовольствие: подарить кому-то истинное счастье — до чего утешительно! Но как заставить примириться с этим Поль?

— Тебе уже случалось заводить романы, — сказала Надин, — и Поль пережила это.

— Кто тебе сказал?

Надин засмеялась с заговорщическим видом:

— Когда женщина рассказывает о своей любви другой женщине, она не скупится на откровения.

Да, Анри признавался Поль в своих изменах, которые она великодушно прощала; теперь же трудность заключалась в том, что любое объяснение неизбежно заставит его либо увязнуть во лжи, которой он не желал больше, либо безжалостно потребовать свободы, а на это у него не хватало мужества.

— Месяц путешествия — это другое дело, — прошептал он.

— Но после возвращения мы расстанемся, я не хочу отнимать тебя у Поль! — Надин дерзко рассмеялась. — Я только хочу прогуляться, вот и все.

Анри заколебался. Разгуливать по незнакомым улицам, сидеть на террасах кафе с женщиной, которая будет смеяться ему в лицо; обретать вечерами в комнате гостиницы ее молодое горячее тело — да, это было соблазнительно. И раз уж он решил покончить с Поль, что он выиграет, выжидая? Время ничего не уладит, напротив.

— Послушай, — сказал он, — я ничего не могу обещать тебе. Запомни хорошенько, что это не обещание, но я попробую поговорить с Поль, и если мне покажется возможным взять тебя с собой, что ж, я согласен.

II

Я обескураженно смотрела на маленький рисунок. Два месяца назад я сказала мальчику: «Нарисуй дом», и он нарисовал виллу с крышей, трубой и дымом; ни одного окна, ни одной двери, а вокруг — высокая черная решетка с остроконечными прутьями. «Теперь нарисуй семью», и он

нарисовал мужчину, который протягивал руку маленькому мальчику. И вот сегодня он опять нарисовал дом без двери, окруженный черными острыми прутьями: мы никуда не продвинулись. Был ли то особенно трудный случай, или это я не умела его лечить? Я положила рисунок в папку. Не умела или не хотела? Быть может, сопротивление ребенка отражало то, что я чувствовала в себе: незнакомец, который умер два года назад в Дахау, какой ужас — изгнать его из сердца сына. «В таком случае мне следует отказаться от этого курса лечения», — подумала я. И осталась стоять возле рабочего стола. У меня было два свободных часа, я могла бы разобрать свои записи, но все никак не решалась. Разумеется, я всегда задавала себе кучу вопросов; вылечить — это зачастую означает искалечить; чего стоит индивидуальное равновесие в несправедливом обществе? Но меня увлекала необходимость изобретать ответ в каждом отдельном случае. Моей целью было не обеспечить больным обманчивый внутренний комфорт: если я стремилась избавить их от личных химер, то для того лишь, чтобы они обрели способность не бояться истинных проблем, возникающих в этом мире, и всякий раз, как мне это удавалось, я полагала, что сделала

полезную работу; задача необычайно обширна, она требует объединенных усилий: так я думала еще вчера. Но это предполагало, что любому разумному человеку предстояло сыграть свою роль в истории, направлявшей человечество к счастью. В эту прекрасную гармонию я больше не верю. Будущее ускользает, оно свершится без нас. А если ограничиваться настоящим, в чем преимущество того, что маленький Фернан станет веселым шалопаем, как другие дети? «Плохи мои дела, — подумала я. — Если и дальше так пойдет, мне ничего не останется, как закрыть свой кабинет». Я пошла в ванную, принесла оттуда таз и охапку старых газет и опустилась на колени перед камином, где вяло горели комки бумаг; смочив печатные листки, я стала скатывать их. К такого рода работе я испытывала меньше отвращения, чем прежде; с помощью Надин, а иногда и консьержки я кое-как содержала в порядке дом. Перебирая старые газеты, я, по крайней мере, была уверена, что делаю нечто полезное. К сожалению, это занимало лишь мои руки. Мне удалось не думать больше ни о маленьком Фернане, ни о моем ремесле, но это мало что дало; в голове опять крутилась все та же пластинка: «В Ставло[21] не хватает гробов, чтобы похоронить

всех детей, убитых эсэсовцами...» Самим нам удалось избежать худшего, но где-то оно случилось. Там наспех спрятали знамена, утопили оружие, мужчины бежали в поля, женщины забаррикадировались в своих домах, и на залитых дождем улицах послышались хриплые голоса; на этот раз они пришли не как великодушные завоеватели, они возвращались с ненавистью и смертью в сердцах. Потом они опять ушли; но от праздничной деревни осталась лишь выжженная земля и груды маленьких трупов.

Струя холодного воздуха заставила меня вздрогнуть: это Надин внезапно открыла дверь.

— Почему ты не позвала меня помочь тебе?

— Я думала, ты одеваешься.

— Я уже давно готова. — Она встала на колени рядом со мной и схватила газету. — Боишься, что я не сумею? Такое, однако, мне по силам.

Делала она это плохо: слишком сильно мочила бумагу и недостаточно прессовала ее; и все-таки мне следовало бы позвать ее. Я оглядела ее.

— Давай я кое-что подправлю, — сказала я.

— Для кого это? Для Ламбера?

Я достала из своего шкафа шарф и старинную брошку и протянула ей туфли на кожаной подошве, которые мне подарила одна пациентка,

полагавшая, что вылечилась. Надин заколебалась:

— Но у тебя же вечером встреча, что ты сама наденешь?

— Никто не станет смотреть на мои ноги, — со смехом сказала я.

— Спасибо, — проворчала она, взяв туфли.

«Не за что!» — хотела ответить я. Мои заботы и моя щедрость приводили Надин в замешательство, потому что она не чувствовала настоящей признательности и корила себя за это; пока она неловко скатывала комки, я ощущала ее колебания между благодарностью и подозрительностью. Опасения ее были оправданны; моя самоотверженность, моя щедрость — это самая несправедливая из моих хитростей: на деле я обвиняла ее, хотя стремилась всего лишь избавиться от угрызений совести. Угрызений совести за то, что Диего умер, за то, что у Надин нет праздничного платья, что она не умеет смеяться и что угрюмость делает ее некрасивой. Угрызений совести за то, что я не сумела заставить ее слушаться меня, и за то, что недостаточно любила ее. Честнее было бы не ошеломлять ее моими благодеяниями. Быть может, я доставила бы ей облегчение, если бы просто обняла и

сказала: «Моя бедная девочка, прости, что я не так сильно люблю тебя». Если бы я держала ее в своих объятиях, то, возможно, защитила бы себя от маленьких трупов, которых нет возможности похоронить.

Надин подняла голову:

— Ты поговорила еще раз с папой о секретарстве?

— С позавчерашнего дня — нет. Журнал выходит только в апреле, еще есть время, — поспешно добавила я.

— Но мне надо знать, что делать, — возразила Надин. Она бросила бумажный ком в огонь. — Я решительно не понимаю, почему он против.

— Он же сказал тебе: ему кажется, что ты только потеряешь время. Ремесло, обязанности взрослого человека — на мой взгляд, это пошло бы

Надин на пользу, но Робер был более честолюбив.

— А химия — разве это не потерянное время? — сказала она, пожав плечами.

— Никто тебя не заставляет заниматься химией.

Химию Надин выбрала, чтобы досадить нам, и сама себя жестоко этим наказала.

— Меня тошнит не от химии, — возразила она,

— а оттого, что я студентка. Папа не отдает себе отчета: я гораздо старше, чем была ты в моем возрасте; я хочу делать что-то реальное.

— Ты прекрасно знаешь, что я согласна, — сказала я. — И будь спокойна, если твой отец увидит, что ты не переменила решение, он в конце концов скажет да.

— Он скажет да, и я знаю, каким тоном! — ворчливо заметила она.

— Мы его убедим, — сказала я. — Знаешь, что бы я сделала на твоем месте: сразу же научилась бы печатать на машинке.

— Сразу я не могу, — ответила она. И, поколебавшись, взглянула на меня с некоторым вызовом. — Анри берет меня с собой в Португалию.

Известие застало меня врасплох.

— Вы решили это вчера? — спросила я, плохо скрывая свое огорчение.

— Я давно уже это решила, — сказала Надин и добавила агрессивным тоном: — Ты меня, конечно, осуждаешь? Осуждаешь из-за Поль?

Я катала в ладонях мокрый шар.

— Думаю, что ты сделаешь себя несчастной.

— Это мое дело.

— Действительно.

Я ничего не прибавила; я знала, что мое мол-

чание сердит ее, но меня раздражает, когда она резким тоном отталкивает объяснение, которого сама желает; она хочет, чтобы я навязала ей свою волю, а мне противно подыгрывать ей. И все-таки я сделала усилие.

— Анри не любит тебя, — сказала я, — он не в том настроении, чтобы любить.

— В то время как Ламбер может свалять дурака и жениться на мне? — с неприязнью сказала она.

— Я никогда не толкала тебя к замужеству, — возразила я, — но Ламбер любит тебя, вот в чем дело.

— Прежде всего он меня не любит, — прервала меня Надин, — он ни разу даже не попросил меня переспать с ним, хотя в ту ночь, на Рождество, я делала ему авансы, но он послал меня.

— Потому что ожидает от тебя другого.

— Если я ему не нравлюсь, это его дело; впрочем, я понимаю: после такой девушки, как Роза, становишься привередливым; и уж поверь, мне на это чихать. Только не говори, что он влюблен в меня.

Надин повысила голос. Я пожала плечами, сказав:

— Делай что хочешь. Я предоставляю тебе свободу, что тебе еще надо? Она кашлянула, как

всегда, когда чувствовала себя смущенной.

— Между Анри и мной ничего серьезного, мимолетное приключение. После возвращения мы расстанемся.

— Если откровенно, Надин, ты в это веришь?

— Да, верю, — сказала она с излишней убежденностью.

— После месяца, проведенного с Анри, ты привяжешься к нему.

— Ничего подобного. — В глазах ее снова вспыхнул вызов. — Если хочешь знать, я спала с ним вчера, и он не произвел на меня впечатления.

Я отвела взгляд: мне не хотелось ничего знать. Я только заметила, не показывая своего смущения:

— Это ни о чем не говорит. Я уверена, что после возвращения ты захочешь удержать его, а он этого не захочет.

— Посмотрим, — молвила она.

— Выходит, ты признаешься: ты надеешься удержать его. Это ошибка: все, чего он сейчас желает, это свободы.

— Предстоит игра: меня это позабавит.

— Взвешивать, маневрировать, подстерегать, выжидать — и это тебя забавляет! Ведь ты его даже не любишь!

— Может, и не люблю, — сказала она, — но

хочу его.

Она бросила на решетку пригоршню бумажных шариков.

— С ним я буду чувствовать, что живу, понимаешь?

— Чтобы жить, не нужен никто, — в сердцах ответила я. Она посмотрела вокруг.

— И ты называешь это жить! Бедная моя мама, ты действительно думаешь, что жила? Полдня беседовать с папой, а другую половину лечить чокнутых, вот это, я понимаю, существование! — Она встала и отряхнула колени; в голосе ее звучало раздражение: — Я не отрицаю, мне случается делать глупости; но я предпочла бы оказаться в борделе, чем разгуливать по жизни в лайковых перчатках: ты никогда их не снимаешь, этих перчаток. Все свое время ты проводишь, давая советы, а что ты знаешь о людях? И я уверена, что ты никогда не глядишься в зеркало и у тебя никогда не бывает кошмаров.

Это ее обычная тактика — нападать на меня всякий раз, когда она бывает не права или просто сомневается в себе; я ничего не ответила, и она пошла к двери; на пороге она остановилась и спросила уже спокойнее:

— Ты придешь выпить с нами чашку чаю?..

— Как только позовешь.

Я поднялась, закурила сигарету. Что я могла поделать? Я уже ничего не решалась предпринимать. Когда Надин, пытаясь обрести Диего и вместе с тем избавиться от него, начала бегать из постели в постель, я пробовала вмешаться, но она слишком внезапно столкнулась с несчастьем и совсем растерялась от возмущения и отчаяния, чтобы можно было повлиять на нее. Как только я пыталась поговорить с ней, она затыкала уши, начинала кричать и убегала, домой возвращалась лишь на рассвете. По моей просьбе Робер попробовал образумить ее; в тот вечер она не пошла к своему американскому капитану, заперлась у себя в комнате, но на следующий день исчезла, оставив записку: «Я ухожу». Всю ночь, весь день и опять всю ночь Робер искал ее, а я дожидалась дома. Ужасное ожидание! Около четырех часов утра позвонил монпарнасский бармен. Я нашла Надин лежащей на диване бара, мертвецки пьяную, с синяком под глазом. «Предоставь ей свободу. Не надо возбуждать ее упорство», — посоветовал мне Робер. У меня не было выбора. Если бы я продолжала бороться, Надин возненавидела бы меня и стала бы нарочно изводить. Но она знает, что уступила я против воли и осуждаю ее, за это она

и сердится на меня. Быть может, не так уж она не права; если бы я больше любила ее, наши отношения сложились бы иначе, возможно, я сумела бы помешать ей вести жизнь, которую осуждаю. Я долго стояла, глядя на пламя и повторяя про себя: «Я недостаточно ее люблю».

Я не хотела ее; это Робер сразу пожелал ребенка. Я сердилась на Надин за то, что она нарушила наше уединение. Я слишком любила Робера и не очень интересовалась собой, чтобы растрогаться, отыскав его или свои черты у этой маленькой вторженки. Я без снисхождения смотрела на ее голубые глаза, ее волосы, нос. Я бранила ее как можно реже, но она чувствовала мои недомолвки: я всегда вызывала у нее подозрение. Ни одна девочка не вкладывала столько ожесточения в борьбу за сердце отца со своей соперницей; и она так и не смирилась с тем, что принадлежит к той же породе, что и я; когда я объяснила ей, что скоро у нее начнется менструация и что это означает, она выслушала меня с растерянным вниманием, а потом разбила об пол свою любимую вазу. После первых месячных ее охватил такой гнев, что в течение восемнадцати месяцев у нее не было менструации. Диего создал у нас новую атмосферу: наконец-то она владела

сокровищем, принадлежавшим только ей, она почувствовала себя ровней мне, и между нами родилась дружба. Зато после все стало только хуже; теперь — еще хуже.

— Мама.

Меня звала Надин. Идя по коридору, я соображала: если остаться надолго, она скажет, что я завладеваю ее друзьями; если же уйти слишком быстро, она подумает, что я их презираю. Я толкнула дверь; там были Ламбер, Сезенак, Венсан, Лашом — ни одной женщины: у Надин не было подруг. Они пили американский кофе возле электрического обогревателя; Надин протянула мне чашку черной терпкой жидкости.

— Убит Шансель, — сказала она внезапно.

Я мало знала Шанселя, но десять дней назад я видела, как он смеялся вместе с другими у рождественской елки; Робер, возможно, прав: дистанция между живыми и мертвыми не так уж велика; однако у этих будущих мертвецов, которые молча пили кофе, вид был пристыженный: вроде меня, они стыдились быть такими живыми. Глаза Сезенака казались еще более пустыми, чем обычно, он походил на лишенного рассудка Рембо{22}.

— Как это случилось? — спросила я.

— Неизвестно, — ответил Сезенак. — Его брат получил известие, что он погиб на поле боя.

— А он не нарочно это сделал? Сезенак пожал плечами:

— Возможно.

— Возможно также, что его мнения не спрашивали, — сказал Венсан. — Они не скупятся на человеческий материал, наши генералы, такие важные господа.

На его мертвенно-бледном лице налитые кровью глаза напоминали две раны; рот походил на шрам; поначалу обычно не замечали, что черты лица у него были тонкими и правильными. Лицо Лашома, напротив, казалось невозмутимым, будто высеченное из камня.

— Вопрос престижа! — сказал он. — Если мы все еще хотим изображать великую державу, нам требуется пристойное число убитых.

— К тому же, сам подумай, разоружить ФФИ{23} — конечно, неплохо, но, если можно ликвидировать их потихоньку, еще лучше для этих господ, — заметил Венсан; его шрам раскрылся в некоем подобии улыбки.

— Что ты выдумываешь? — спросил Ламбер строгим голосом, глядя Венсану в глаза. — Де Голль отдал де Латтру{24} приказ избавиться от

коммунистов? Если ты это хочешь сказать, говори: имей, по крайней мере, смелость.

— Приказа и не надо, — ответил Венсан. — Они понимают друг друга с полуслова.

Ламбер пожал плечами:

— Ты сам в это не веришь.

— Возможно, это правда, — воинственным тоном заметила Надин.

— Конечно, неправда.

— Где доказательства? — спросила она.

— А! Ты усвоила метод, — сказал Ламбер. — Из ничего сочиняется какой-то факт, а потом вас просят доказать, что он ложный! Разумеется, я не могу засвидетельствовать, что Шансель не получил пулю в спину.

— Венсан и не говорил этого, — улыбнулся Лашом.

Все было как всегда. Сезенак молчал; Венсан с Ламбером цапались, и в подходящий момент вмешивался Лашом; как правило, он упрекал Венсана за его левачество, а Ламбера — за мелкобуржуазные предрассудки. Надин присоединялась то к одному, то к другому лагерю, в зависимости от настроения. Я старалась не ввязываться в их споры; на этот раз они были горячее обычного, верно, потому, что смерть Шанселя их так или

иначе взволновала. Но в любом случае Венсан с Ламбером не могли поладить. В Ламбере чувствовался отпрыск из хорошего дома, тогда как Венсан скорее походил на хулигана; было в его глазах что-то не слишком внушающее доверие, и все-таки я никак не могла поверить, что он убивал живых людей из настоящего револьвера. Каждый раз, как я его видела, я думала об этом, но так и не поверила. Впрочем, возможно, Лашом тоже убивал, только никому не говорил, и его это не беспокоило.

Ламбер повернулся ко мне.

— Даже с приятелями теперь трудно разговаривать, — сказал он. — Да, в Париже сейчас невесело. Я вот думаю, а может, Шансель прав — не потому, что погиб, а потому, что пошел сражаться.

Надин сердито посмотрела на него:

— Тебя никогда нет в Париже!

— Я тут бываю достаточно часто, чтобы понять: здесь довольно мрачно. Но и на фронте гордости я не испытываю.

— Однако ты все сделал, чтобы стать военным корреспондентом! — заметила она кислым тоном.

— Я предпочитаю находиться там, чем оставаться здесь; но это полумера.

— О! Если тебе противно в Париже, никто тебя не держит, — заявила Надин с выражением нескрываемой ярости на лице. — Говорят, де Латтр любит красивых мальчиков. Ступай, поиграй в герои, давай.

— Это не хуже других игр, — проворчал Ламбер, остановив на ней полный намеков взгляд.

Надин внимательно посмотрела на него и сказала:

— Ты будешь неплохо выглядеть тяжелораненым, весь в бинтах. — Она усмехнулась. — Только не рассчитывай, что я стану навещать тебя в госпитале. Через две недели я буду в Португалии.

— В Португалии?

— Перрон берет меня в качестве секретарши, — небрежным тоном сказала она.

— Что ж, ему везет, — ответил Ламбер, — он на целый месяц получит тебя для себя одного!

— Не всем все опротивело, вроде тебя, — сказала Надин.

— Да, в наше время мужчины доступны, — сквозь зубы заметил Ламбер, — доступны, как женщины.

— До чего же ты груб!

Я с раздражением спрашивала себя, как они ухитряются попадаться на свои детские уловки!

А между тем я была уверена, что они могли бы помочь друг другу возродиться; вместе им удалось бы преодолеть воспоминания, которые связывали и разъединяли их. Но, быть может, именно поэтому они и терзались: каждый ненавидел в другом свою неверность. Во всяком случае, вмешаться было бы непростительной ошибкой. Я оставила их цапаться и вышла из комнаты. Сезенак последовал за мной в прихожую.

— Могу я сказать вам два слова?

— Конечно.

— Речь идет об услуге, — сказал он, — я хотел попросить вас об одной услуге.

Я помнила, какой внушительный вид был у него 25 августа: борода, ружье, красный платок на шее — настоящий солдат 1848 года{25}. Сейчас его голубые глаза погасли, лицо опухло, и, пожимая ему руку, я заметила, что ладони у него влажные.

— Я плохо сплю, — сказал он. — У меня... у меня боли. Однажды друг дал мне свечу эбина, и это мне очень помогло. Вот только в аптеке требуют рецепт...

Он смотрел на меня с умоляющим видом.

— Какого рода боли?

— О! Везде. В голове. Особенно кошмары...

— Кошмары не лечат с помощью эбина. Лоб его стал мокрым, как ладони.

— Я все вам скажу. У меня есть подружка, подружка, которую я очень люблю, я хотел бы жениться на ней, но... я ничего не могу с ней, если не приму эбин.

— Эбин на базе опиума, — сказала я. — Вы часто его принимаете? Он смутился.

— О нет, только иногда, когда провожу ночь с Люси.

— Тем лучше, иначе недолго получить интоксикацию. Он умоляюще смотрел на меня, на лбу его выступил пот.

— Приходите завтра утром, — сказала я, — посмотрим, смогу ли я дать вам такой рецепт.

Я вернулась к себе в комнату; наверняка он уже более или менее интоксицирован; когда он начал принимать наркотик? И почему? Я вздохнула. Еще один, кого я уложу на диван и попробую выпотрошить. Порой они выводили меня из себя, те, кто лежал здесь; на воле, на своих ногах они кое-как играли роль взрослых людей, а тут вновь становились грудными младенцами с грязными задами, и мне приходилось отмывать их от детства. Между тем я говорила безликим голосом, голосом разума и здоровья. Их настоящая жизнь

проходила не здесь, моя — тоже; ничего удивительного, что я устала от них и от себя.

Я устала. «Лайковые перчатки», — говорила Надин. «Сдержанна и сурова», — сказал Скрясин; именно такой я им представляюсь? Такая ли я на самом деле? Я припомнила свои детские вспышки гнева, стук сердца в отрочестве и горячку минувшего августа; но все это уже далеко позади. Дело в том, что внутри у меня ничто не шелохнется. Я провела расческой по волосам, поправила макияж. Нельзя до бесконечности упорствовать в страхе, в конце концов устаешь; и потом, Робер начал писать книгу, он в прекрасном настроении; я уже не просыпалась по ночам, взмокнув от ужаса, и все-таки оставалась подавленной. Я не видела никаких причин для печали, нет; беда в том, что я делаюсь несчастной оттого, что не чувствую себя счастливой, я, верно, чересчур избалована. Взяв сумочку и перчатки, я постучала к Роберу. У меня не было ни малейшего желания никуда уходить.

— Вам не слишком холодно? Не хотите немного бумажного огонька? Он с улыбкой отодвинул кресло.

— Мне очень хорошо.

Разумеется. Роберу всегда было хорошо. В те-

чение двух лет он радостно питался варевом из репы и брюквы и никогда не чувствовал холода: можно было подумать, будто он сам производит свое тепло на манер йога; когда я вернусь около полуночи, он все еще будет писать, закутавшись в шотландский плед, и удивится: «Сколько же сейчас времени?» О своей книге он рассказывал мне пока еще смутно, но у меня сложилось впечатление, что он ею доволен. Я села.

— Надин только что сообщила мне странную новость, — сказала я, — она едет с Перроном в Португалию.

Он с живостью поднял на меня глаза:

— Тебя это расстраивает?

— Да. Перрон не тот человек, которого подбирают и бросают: она слишком сильно привяжется к нему.

Робер положил свою руку на мою:

— Не беспокойся за Надин. Прежде всего меня удивит, если она привяжется к Перрону, в любом случае она быстро утешится.

— Не станет же она всю свою жизнь искать утешения! — возразила я. Робер засмеялся:

— Ничего не поделаешь! Тебя всегда будет шокировать, что твоя дочь спит с кем придется, словно парень. В ее возрасте я поступал точно

так же.

Никогда Робер не желал считаться с тем, что Надин — не парень.

— Это не одно и то же, — сказала я. — Надин цепляется за мужчин, потому что, оставшись одна, не чувствует, что живет; это-то меня и беспокоит.

— Послушай, легко понять, что она боится оставаться одна, еще так свежа история с Диего.

Я покачала головой:

— Дело не только в Диего.

— Я знаю, ты считаешь, что в этом есть и наша вина, — сказал он с сомнением в голосе и пожал плечами. — Она изменится, у нее уйма времени, чтобы измениться.

— Будем надеяться. — Я пристально смотрела на Робера. — Знаете, для нее было бы крайне важно иметь занятие, которое ее по-настоящему интересовало бы. Дайте ей должность секретаря; она опять только что говорила мне об этом; ей очень этого хочется.

— Но что же тут интересного, — возразил Робер. — Печатать конверты и вести картотеку изо дня в день: для такой умницы, как она, это преступление.

— Она почувствует себя нужной, ее это воодушевит, — сказала я.

— Она способна на большее! Пускай продолжит свою учебу.

— В данный момент ей необходимо что-то делать, она будет хорошей секретаршей. Не следует требовать от людей слишком многого, — добавила я.

Для меня требования Робера всегда были тонизирующими, а у Надин они в конце концов подорвали уверенность в себе. Он не давал ей указаний, доверял ей, ждал, и она загоралась, входила в азарт; в слишком юном возрасте она читала чересчур суровые книги, слишком рано принимала участие в разговорах взрослых. А потом устала от такого уклада жизни и обратила досаду прежде всего на себя, теперь же она брала своего рода реванш, стараясь разочаровать Робера. Он посмотрел на меня в растерянности, как всегда, когда чувствовал упрек в моих словах.

— Если ты действительно думаешь, что это ей подходит... — молвил он. — Ты знаешь лучше меня.

— Я действительно так думаю, — ответила я.

— Хорошо, пусть будет так.

Он уступил чересчур легко: это доказывало, что Надин преуспела в своем стремлении обмануть его ожидания; если он не может безраздельно

отдаться какому-то чувству или делу, Робер сразу же теряет к нему интерес.

— Разумеется, было бы еще лучше, если бы она овладела профессией, которая позволила бы ей не зависеть от нас, — сказала я.

— Но это не то, к чему она стремится: она хочет всего лишь играть в независимость, — сухо заметил Робер. У него не было больше желания говорить о Надин, а я не могла вдохнуть в него энтузиазм по поводу плана, который он не одобрял. И потому оставила этот разговор. А он, вдруг оживившись, сказал:

— Я в самом деле не понимаю, зачем Перрону понадобилась эта поездка.

— Ему хочется каникул, и я его понимаю, — ответила я. И с жаром добавила: — Мне кажется, он имеет полное право немного отдохнуть, он столько всего сделал...

— Анри сделал больше меня, — согласился Робер, — но суть не в этом. — Взгляд его отражал властную настойчивость. — Чтобы движение СРЛ{26} набрало силу, нам нужна газета.

— Знаю, — сказала я. И в нерешительности добавила: — Вот только...

— Что?

— Уступит ли вам когда-нибудь Анри свою

газету, он так дорожит ею.

— Речь не о том, чтобы он уступил ее нам, — возразил Робер.

— Речь о том, чтобы он полностью отдал себя в распоряжение СРЛ.

— Но он входит в нашу группу, и в его собственных интересах принять четкую программу: газета без политической программы — такое не выдерживает критики.

— Но это их идея.

— И ты называешь это идеей! Робер пожал плечами.

— «Увековечить дух Сопротивления, невзирая на группировки!..» — такого рода мешанина хороша для бедного Люка. Дух Сопротивления, ну как тут не вспомнить о духе Локарно[27]. Перрон не склонен к спиритизму. Я спокоен, в конечном счете он согласится; только, выжидая, мы теряем время.

Я опасаюсь, что Робер готовит себе неприятный сюрприз; упрямо настраиваясь на какой-то проект, он принимает людей за простые орудия. Анри прикипел к своей газете душой и телом, это его великое приключение, вряд ли он позволит диктовать себе программы.

— Почему вы с ним до сих пор не поговорили?

— спросила я.

— Он только и думает о своей прогулке.

У Робера был такой недовольный вид, что я предложила:

— Попробуйте убедить его остаться.

Из-за Надин меня бы устроило, если бы Анри отказался от путешествия, но за него я бы огорчилась: он так этому радовался.

— Ты ведь знаешь его! — сказал Робер. — Уж если он упрется, так упрется! Лучше подождать его возвращения. — Он набросил на колени плед. — Я тебя не гоню! — весело добавил он. — Но обычно ты не любишь опаздывать...

Я встала.

— Вы правы, мне пора. Вы уверены, что не хотите пойти?

— О нет! У меня нет ни малейшего желания говорить со Скрясиным о политике, а тебя он, может быть, пощадит.

— Будем надеяться, — ответила я.

В те периоды, когда Робер запирался, мне нередко случалось выходить без него, но этим вечером, ринувшись навстречу холоду и темноте, я пожалела, что приняла приглашение Скрясина. О! Я себя понимала: мне немного надоело все время видеть одни и те же лица; друзей я слишком хо-

рошо знала, мы прожили с ними бок о бок четыре года, это нас согревало; теперь наша дружба охладела, от нее веяло рутиной и не было большого прока; я поддалась на привлекательность новизны. Но что мы со Скрясиным можем сказать друг другу? У меня тоже не было никакого желания говорить о политике. В вестибюле «Рица» я остановилась и взглянула на себя в зеркало; чтобы оставаться элегантной, несмотря на карточки на текстиль, надо было постоянно об этом думать; я предпочла вовсе ни о чем не заботиться: в моем поношенном приталенном пальто и башмаках на деревянной подошве вид у меня и впрямь был неважный. Друзья принимали меня такой, какая я есть, но Скрясин приехал из Америки, где женщины ухоженны, он заметит мои сабо. «Мне не следовало так опускаться», — подумала я.

Разумеется, улыбка Скрясина не выдала его. Он поцеловал мне руку, чего я терпеть не могу: рука обнажена больше, чем лицо, мне неприятно, когда ее видят так близко.

— Что будете пить? — спросил он. — Мартини?

— Пусть будет мартини.

В баре полно было американских офицеров и хорошо одетых женщин; тепло, запах сигарет, терпкий вкус джина сразу же вскружили мне

голову, и я уже не жалела, что пришла. Скрясин четыре года провел в Америке, великой стране-освободительнице, стране, где из фонтанов бьют охлажденные сливки и фруктовый сок: я жадно расспрашивала его. Он охотно отвечал, пока я пила вторую порцию мартини. Ужинали мы в маленьком ресторане, где я без стеснения насыщалась мясом и пирожными с кремом. Скрясин, в свою очередь, спрашивал меня: было трудно отвечать на его чересчур прямые вопросы. Когда я пыталась вспомнить повседневное ощущение тех дней — запах капустного супа в доме, наглухо запертом комендантским часом, и замирание сердца, когда Робер долго не возвращался с тайного собрания, — он властно прерывал меня; слушал он очень хорошо, чувствовалось, что слова находили у него глубокий отклик, но говорить надо было для него, а не для себя; он спрашивал о вещах практических: как удавалось изготавливать поддельные документы, печатать «Эспуар», распространять ее? И еще он требовал обширных полотен: в каком моральном климате мы жили? Я старалась удовлетворить его интерес, но мне это плохо удавалось: все было хуже или гораздо терпимее, чем ему представлялось; истинные несчастья выпали не на мою долю, хотя они не

давали мне покоя, преследуя меня: как рассказать ему о смерти Диего? Слова звучали слишком патетично для моих уст и слишком сухо для памяти о нем. Ни за что на свете я не хотела бы вновь пережить это прошлое, а между тем со временем оно обретало тягостную сладость. Я понимала, почему Ламбер скучал в мирные дни, вернувшие нас к жизни, но не вернувшие ее смысла для нас. Столкнувшись у двери ресторана с холодом и мраком, я вспоминала, с какой гордостью мы противостояли им тогда; теперь же мне хотелось тепла и света: я тоже нуждалась в чем-то другом; без злого умысла Скрясин выступил с резкой критикой, и мне не терпелось, чтобы он поскорее сменил тему: он яростно упрекал де Голля за его поездку в Москву{28}.

— И самое главное, — говорил он обвиняющим тоном, — это то, что вся страна, похоже, одобряет его. Видеть Перрона и Дюбрея, людей честных, идущими рука об руку с коммунистами, — невыразимая мука для того, кто знает.

— Робер не с коммунистами, — возразила я, чтобы успокоить его. — Он пытается создать независимое движение.

— Он говорил мне об этом; однако уточнил, что не собирается выступать против сталинистов.

Рядом с ними, но не против них! — удрученно молвил Скрясин.

— Не хотите же вы, в самом деле, чтобы в настоящий момент он занимался антикоммунизмом! — сказала я.

Скрясин сурово посмотрел на меня.

— Вы читали мою книгу «Красный рай»?

— Конечно.

— В таком случае вы имеете представление о том, что с нами случится, если мы подарим Европу Сталину.

— Речь идет не об этом, — ответила я.

— Именно об этом идет речь.

— Да нет! Нужно выиграть партию против реакции, а если среди левых начнется раскол, мы проиграем.

— Левые! — с усмешкой сказал Скрясин, резко махнув рукой. — Ах, не будем говорить о политике, я страшно не люблю говорить о политике с женщинами.

— Не я первая начала, — возразила я.

— Верно, — согласился он неожиданно серьезно, — прошу прощения.

Мы вернулись в бар «Рица», и Скрясин заказал две порции виски. Этот вкус мне нравился, потому что был новым, и величайшая заслу-

га Скрясина заключалась в том, что он не был моим близким знакомым. Этот вечер был неожиданным, вот почему от него повеяло прежним ароматом юности: раньше бывали вечера, не похожие на другие; встречались незнакомые люди, говорившие неожиданные слова, и порой что-то происходило. За пять лет произошло множество всяких вещей: в мире, во Франции, в Париже, у других — но не у меня. Неужели у меня никогда уже ничего не произойдет?

— Как странно находиться здесь, — сказала я.

— Почему странно?

— Тепло, виски, и этот шум, эти мундиры... Скрясин оглянулся вокруг.

— Не люблю этого места; у меня отобрали одну комнату, потому что я корреспондент журнала «Франция — Америка». — Он улыбнулся: — К счастью, для меня это скоро станет слишком дорого, и я вынужден буду отсюда съехать.

— А если не вынудят, вы уехать не можете?

— Нет. Вот почему, на мой взгляд, деньги — вещь пагубная. — От взрыва веселья лицо его помолодело. — Как только они у меня появляются, я спешу от них избавиться.

— Виктор Скрясин, не так ли?

К нашему столу подошел маленький лысый

старичок с мягким взглядом.

— Да.

В глазах Скрясина я читала недоверие и в то же время некую надежду.

— Вы меня не узнаете? Со времен Вены я сильно постарел. Манес Гольдман; я дал себе слово сказать вам спасибо, если когда-нибудь встречу вас: спасибо за вашу книгу.

— Манес Гольдман! Ну конечно! — с жаром воскликнул Скрясин. — Теперь вы живете во Франции?

— С тридцать пятого года. Год я провел в лагере Гурс, но вовремя оттуда вышел... — Голос у него был еще мягче, чем взгляд, и такой тихий, что казался неживым. — Я не хочу мешать вам; я рад, что пожал руку человеку, написавшему «Коричневую Вену».

— Я рад был снова повидать вас, — ответил Скрясин.

Маленький австриец уже удалялся неслышными шагами; он вышел через застекленную дверь вслед за американским офицером. Скрясин следил за ним глазами, потом вдруг сказал:

— Еще одно упущение!

— Упущение?

— Мне следовало пригласить его сесть, погово-

рить с ним; ему что-то было нужно, а я не знаю его адреса и не дал ему своего.

В голосе Скрясина слышался гнев.

— Если он захочет вас найти, то обратится сюда.

— Он не осмелится; это я должен был взять на себя инициативу, расспросить его, ведь это совсем не трудно! Год в Гурсе, а в течение еще четырех лет, полагаю, он скрывался. Он мой ровесник, а выглядит стариком. Наверняка он на что-то надеялся, а я позволил ему уйти!

— По виду не скажешь, что он был разочарован. Возможно, он и правда хотел всего лишь поблагодарить вас.

— Для него это был только предлог. — Скрясин залпом осушил свой стакан. — И ведь как просто было предложить ему сесть. Как подумаешь обо всем, что можно было бы сделать и чего не сделал! Все эти упущенные возможности! Ни мысли, ни порыва, вместо открытости — замкнутость. Вот он, самый тяжкий грех — грех упущения. — Скрясин говорил, не приобщая меня к своему монологу, весь во власти угрызений совести: — А я все эти четыре года провел в Америке, в тепле, безопасности, сытости.

— Вы не могли оставаться здесь, — возрази-

ла я.

— Я тоже мог бы скрываться.

— Не вижу в этом пользы.

— Когда моих товарищей сослали в Сибирь, я находился в Вене; других убили в Вене «коричневые рубашки», а я находился в Париже; во время оккупации Парижа я был в Нью-Йорке. Возникает вопрос: в чем польза остаться живым?

Тон Скрясина меня тронул; когда мы думаем о депортированных, нам тоже становится стыдно: мы ни в чем себя не упрекаем, но мы недостаточно страдали.

— За несчастья, которых не разделяешь, испытываешь чувство вины, — сказала я и добавила: — Это невыносимо — чувствовать себя виновным.

Скрясин внезапно улыбнулся с заговорщическим видом:

— Когда как.

С минуту я всматривалась в его хитрое, измученное лицо.

— Вы хотите сказать, что есть определенные угрызения совести, которые защищают нас от других угрызений?

Он в свою очередь посмотрел на меня.

— Вы и правда неглупы. Обычно мне не нра-

вятся умные женщины: возможно, потому, что они недостаточно умны и хотят в чем-то убедить самих себя, говорят непрестанно и ничего не понимают. Что меня больше всего поразило, когда я в первый раз вас увидел, так это ваша манера молчать.

Я рассмеялась.

— У меня не было другого выбора.

— Мы все много говорили: Дюбрей, Перрон да и я сам; вы же спокойно слушали...

— Видите ли, — сказала я, — слушать — мое ремесло.

— Да, но слушать можно по-разному. — Он покачал головой. — Вы, должно быть, очень хороший психиатр; был бы я моложе лет на десять, отдал бы себя в ваше распоряжение.

— Хотите рискнуть — подвергнуть себя анализу?

— Теперь уже слишком поздно, сложившийся человек — это человек, который, созидая себя, воспользовался своими пороками и недостатками; его можно разрушить, но не вылечить.

— Смотря от какой болезни.

— Значение имеет лишь одна: быть самим собой, именно самим собой. Лицо его внезапно обнаружило почти невыносимую искренность;

доверчивая печаль его голоса тронула мое сердце.

— Есть люди, которые больны серьезнее вас.

— Как это?

— При виде таких людей задаешься вопросом: как они могут выносить себя? Думаешь, если они не в маразме, то должны внушать себе ужас. Вы такого впечатления не производите.

Лицо Скрясина оставалось серьезным.

— А вы никогда не внушаете себе ужаса?

— Нет, — улыбнулась я. — Но я крайне редко общаюсь сама с собой.

— Вот почему вы такая умиротворенная, — заметил Скрясин. — Я сразу распознал ваше успокаивающее действие: вы были похожи на хорошо воспитанную девушку, которая не вмешивается в беседу взрослых.

— У меня дочь восемнадцати лет, — возразила я.

— Это ни о чем не говорит. Впрочем, я терпеть не могу юных девушек. Но женщина, похожая на девушку, — это очаровательно.

С минуту он разглядывал меня.

— Странно, в той среде, где вы живете, женщины лишены всяких предрассудков, а глядя на вас, невольно спрашиваешь себя: случалось ли вам

когда-нибудь изменять мужу?

— Изменять — какое ужасное слово! Мы с Робером свободны и ничего не скрываем друг от друга.

— Но вы никогда не пользовались этой свободой?

— При случае, — сказала я не без смущения. Чтобы придать себе твердости, я выпила свой стакан мартини. Случаев было не так много; в этом отношении я сильно отличалась от Робера; ему казалось нормальным подобрать в каком-нибудь баре хорошенькую шлюху и провести с ней час. Я же никогда не решилась бы взять в любовники мужчин, которых не могла бы сделать своими друзьями, а дружба моя была требовательной. В течение последних пяти лет я жила целомудренно, не сожалея об этом и полагая, что так будет теперь всегда; казалось естественным, что моя женская жизнь кончена: со столькими другими вещами было покончено, и навсегда...

Скрясин молча смотрел на меня.

— Во всяком случае, готов пари держать, что в вашей жизни было не много мужчин.

— Верно, — согласилась я.

— Почему?

— Не нашлось.

— Если не нашлось, значит, вы просто не искали.

— Для всех я жена Дюбрея или доктор Анна Дюбрей: это внушает лишь уважение.

— Я не так уж склонен уважать вас, — засмеялся он. Помолчав немного, я сказала:

— Почему женщина, лишенная предрассудков, должна спать со всеми подряд?

Он сурово взглянул на меня:

— Если бы мужчина, к которому вы испытывали бы некоторую симпатию, предложил вам вдруг провести с ним ночь, что бы вы сделали?

— Это зависит от...

— От чего?

— От него, от меня, от обстоятельств.

— Предположим, что я вам предлагаю это сейчас.

— Не знаю.

Я уже давно догадалась, куда он клонит, и все-таки это застало меня врасплох.

— Итак, я вам предлагаю, ваш ответ: да или нет?

— Вы слишком торопитесь, — сказала я.

— Всякое притворство приводит меня в ужас: ухаживать за женщиной — это унизительно и для себя, и для нее. Не думаю, что вам нравится

жеманство...

— Нет. Но я люблю подумать, прежде чем принять решение.

— Думайте.

Он заказал еще две порции виски. Нет, у меня не было желания спать с ним или с каким-либо другим мужчиной; тело мое слишком давно погрузилось в себялюбивую дремоту: не извращение ли с моей стороны нарушать его покой? Впрочем, это казалось невозможным. Я всегда поражалась тому, что Надин с такой легкостью отдается незнакомцам; между моей одинокой плотью и мужчиной, одиноко пьющим рядом со мной, не было ни малейшей связи. Представить себя обнаженной в его голых руках было столь же нелепо, как вообразить в таком положении мою старую мать.

— Подождем, посмотрим, как обернется этот вечер, — сказала я.

— Глупо, — возразил он. — Вы хотите, чтобы мы говорили о политике или психологии в то время, как в голове у нас будут бродить совсем иные мысли? Вы должны знать, на что решитесь, так скажите это прямо сейчас.

Его нетерпение убедило меня в том, что в конечном счете я — не моя старая мать; приходилось

верить, что я, пускай хоть на один час, желанна, раз он меня желал. Надин утверждала, что лечь в постель — это все равно что сесть за стол: она, возможно, права; она обвиняла меня в том, что я иду по жизни в лайковых перчатках, так ли это? Что произойдет, если я сниму свои перчатки? А если я не сниму их этим вечером, сумею ли я вообще когда-нибудь их снять? «Моя жизнь кончена», — резонно говорила я себе; но вопреки всякому резону мне оставалось убить еще много лет.

— Хорошо, — сказала я вдруг, — пусть будет да.

— А! Вот это хороший ответ, — молвил он ободряющим тоном врача или преподавателя. Он хотел взять мою руку, но я отказалась от подобного вознаграждения.

— Мне хотелось бы кофе. Боюсь, я слишком много выпила. Скрясин улыбнулся.

— Американка попросила бы еще виски, — сказал он. — Но вы правы: не годится, чтобы один из нас потерял рассудок.

Он заказал два кофе, наступило неловкое молчание. Я сказала «да» в значительной степени из симпатии к нему, по причине той мимолетной близости, которую он сумел создать меж нами, а теперь это «да» остудило мою симпатию. Как только наши чашки опустели, он сказал:

— Поднимемся ко мне в комнату.

— Прямо сейчас?

— А почему нет? Вы же видите, что нам нечего больше сказать друг другу. Мне хотелось бы побольше времени, чтобы свыкнуться со своим решением;

я надеялась, что в результате нашего пакта постепенно возникнет взаимопонимание. Но факт оставался фактом: мне нечего было больше сказать.

— Поднимемся.

Комната была заставлена чемоданами; там стояли две медные кровати, на одной из которых лежали бумаги и одежда; на круглом столе — пустые бутылки из-под шампанского. Он обнял меня, я почувствовала на своих губах радостные, неистовые губы; да, это оказалось возможно, и это было легко; со мной что-то происходило: что-то другое. Я закрыла глаза, погружаясь в сон, столь же тяжелый, как действительность, после которого я проснусь на заре с легким сердцем. И тут я услышала его голос: «Похоже, девушка оробела. Мы не причиним девушке зла; мы лишим ее невинности, но не причиним зла». Эти слова, адресованные не мне, жестоко пробудили меня. Я пришла сюда не для того, чтобы играть роль

изнасилованной девственницы или какую-либо другую. Я вырвалась из его объятий.

— Подождите.

Я скрылась в ванной комнате и наспех занялась туалетом, отбросив всякие думы: думать было слишком поздно. Он присоединился ко мне в постели, прежде чем в голове у меня зародилась хоть какая-то мысль, и я уцепилась за него: теперь он был моей единственной надеждой. Руки его сорвали с меня комбинацию, ласкали мой живот, и меня захлестнула темная волна желания; подхваченная качкой, затопленная зыбью, вознесенная, низринутая, порой я падала с кручи в пустоту; я готова была погрузиться в беспамятство, в ночь — какое плавание! Его голос отбросил меня на кровать: «Я должен проявить осторожность?» — «Если можно». — «Ты не приняла меры?» Вопрос прозвучал столь неожиданно, что я вздрогнула. «Нет», — сказала я. «Ну почему?» Снова тронуться в путь было нелегко; и опять я собралась с духом в его объятиях, насыщаясь молчанием, прижималась к нему, всеми порами впитывая его жар: мои кости, мускулы плавились в этом огне, и покой обвивал меня мягкими спиралями, когда он властно сказал: «Открой глаза».

Я приподняла веки, но они были тяжелыми и

сами собой вновь опустились, потому что резал свет. «Открой глаза, — повторил он. — Это ты, это я». Он был прав, и я не собиралась прятаться. Однако прежде надо было привыкнуть к столь необычному факту: существованию моей плоти; смотреть на его чужое лицо и под его взглядом погружаться в себя — все сразу это было чересчур. Я смотрела на него, ибо он того требовал, остановившись на полпути к смятению, где-то в краю без света и тьмы, где я была бестелесной, бесплотной. Он откинул простыню, и в ту же минуту я подумала, что в комнате не так тепло и что тело у меня уже не девичье; я представила его любопытству останки, которым было ни жарко ни холодно. Его губы припали к моей груди, поползли по животу и спустились к лону. Я снова поспешно закрыла глаза, всем своим существом ища прибежища в наслаждении, к которому он вынуждал меня: наслаждении отчужденном, одиноком, словно срезанный цветок; а там истерзанный цветок воспламенялся, осыпался, и для него одного он бормотал слова, которых я пыталась не слышать; но я, я томилась. Он вернулся ко мне, на какое-то мгновение его пыл оживил меня; он властно вложил мне в руку свой член, я гладила его без воодушевления, и Скрясин с

упреком сказал:

— Ты не любишь по-настоящему мужскую плоть.

На этот раз он попал в точку. «Как любить этот кусок мяса, — подумалось мне, — если я не люблю мужчину целиком? И где мне взять нежности для этого мужчины?» В глазах его светилась враждебность, которая обескураживала меня, хотя я и не была виновата перед ним, даже по упущению.

Когда он проник в меня, ничего особенного я не почувствовала, а он сразу же снова начал говорить всякие слова. Мой рот был запаян цементом, и даже вздох не мог бы раздвинуть мои стиснутые зубы. На мгновение он умолк, потом сказал: «Посмотри». Я слабо покачала головой: то, что происходило там, меня почти не касалось, и если бы я посмотрела, то сочла бы себя любительницей подсматривать эротические сцены. «Тебе стыдно! — сказал он. — Девушка стыдится!» Такое достижение отвлекло его на минуту, затем он заговорил снова: «Скажи мне, что ты чувствуешь? Скажи мне». Я безмолвствовала. Я угадывала присутствие в себе, по-настоящему не чувствуя его, — так с удивлением ощущают сталь дантиста в онемевшей десне. «Тебе хорошо? Я хочу, чтобы ты испытала наслаждение». В голосе

его звучало раздражение, он требовал отчета: «Ты его не испытываешь? Ничего, ночь длинная». Ночь будет слишком короткой и вечность — слишком короткой: я знала, партия проиграна. Я спрашивала себя, как с этим покончить: чувствуешь себя безоружной, когда ночью одна находишься во вражеских руках. Разжав зубы, я выдавила из себя несколько слов. «Не обращайте на меня внимания, оставьте меня...»

— А ведь ты не холодная, — сердито сказал он. — Ты сопротивляешься головой. Но я заставлю тебя...

— Нет, — возразила я. — Нет...

Мне было очень трудно что-либо объяснить. В глазах его отражалась самая настоящая ненависть, и я устыдилась того, что позволила себе поддаться сладостному миражу плотского удовольствия: я поняла, мужчина — это не хаммам {Баня (араб.)} [empty link].

— Ах, ты не хочешь! — говорил он. — Не хочешь! Упрямая голова!

Он легонько ударил меня в подбородок; я слишком устала, чтобы искать прибежище в гневе, меня охватила дрожь: кулак опускается, тысяча кулаков... «Насилие всюду», — думалось мне; я задрожала, и потекли слезы.

Теперь он целовал мои глаза, нашептывая: «Я пью твои слезы», лицо Скрясина выражало покоряющую нежность, возвращавшую его в детство, и мне стало жалко и его, и себя: мы оба одинаково были потеряны, одинаково разочарованы. Я гладила его волосы, заставляя себя, согласно заведенному обычаю, говорить «ты»:

— Почему ты меня ненавидишь?

— Ах, это неизбежно, — с сожалением отвечал он. — Неизбежно.

— Я тебя не ненавижу. Мне нравится быть в твоих объятиях.

— Это правда?

В каком-то смысле это была правда; что-то произошло: пускай неудачно, печально, смешно, но зато реально. Я улыбнулась:

— Ты заставил меня провести странную ночь: никогда у меня не было такой ночи.

— Никогда? Даже с молодыми людьми? Ты не лжешь? Слова солгали за меня: я взяла на себя их ложь.

— Никогда.

Он с жаром прижал меня к себе, потом снова проник в меня. «Я хочу, чтобы ты наслаждалась одновременно со мной, — сказал он. — Хочешь? Ты мне скажешь! Это теперь...»

Я подумала с раздражением: вот что они нашли — синхронизацию! Как будто это что-то доказывает или может заменить взаимопонимание. Даже если мы вместе испытаем наслаждение, разве от этого мы будем меньше разделены? Я прекрасно знаю, что мое наслаждение не найдет отклика в его сердце, и если с нетерпением жду его собственного, то для того лишь, чтобы получить избавление. Меж тем я была побеждена: я соглашалась вздыхать, стонать; полагаю, не слишком умело, потому что он спросил:

— Ты не испытала наслаждения?

— Напротив, уверяю тебя.

Он тоже был побежден, ибо больше не настаивал. Почти сразу же он заснул рядом со мной, я тоже заснула. Меня разбудила его рука, обхватившая меня поперек груди.

— А! Ты здесь! — молвил он, открывая глаза. — Мне снился кошмар, мне всегда снятся кошмары. — Он говорил со мной из дальнего далека, из глубины мрака. — У тебя нет места, где бы ты могла спрятать меня?

— Спрятать тебя?

— Да. Хорошо было бы исчезнуть; нельзя ли нам вместе исчезнуть на несколько дней?

— У меня нет такого места, и я не могу исчез-

нуть.

— Жаль, — сказал он и тут же спросил: — А тебе никогда не снятся кошмары?

— Не часто.

— Ах! Завидую тебе. Мне нужно, чтобы ночью со мной рядом кто-то был.

— Но мне пора идти, — сказала я.

— Не сейчас. Не уходи. Не оставляй меня.

Он схватил меня за плечо: я была спасательным кругом, вот только в каком крушении?

— Я подожду, пока ты заснешь, — ответила я. — Хочешь, увидимся снова завтра?

— Конечно. Я буду в полдень в кафе рядом с тобой. Идет?

— Договорились. Постарайся спокойно заснуть.

Когда дыхание его стало тяжелым, я соскользнула с кровати; трудно было вырваться из этой ночи, которая липла к моей коже, но я не хотела пробуждать подозрений у Надин; у каждой из нас была своя манера обманывать другую: она говорила мне все, я ей не говорила ничего. Поправляя перед зеркалом маску благопристойности, я в то же время думала о том, что Надин оказала давление на мое решение, и сердилась на нее за это. В каком-то смысле я ни о чем не жалела. О

мужчине столько всего узнаешь в постели! Гораздо больше, чем заставляя его неделями нести чепуху на диване. Только вот беда: для такого рода опытов я слишком уязвима.

Все утро я была очень занята; Сезенак не пришел, но у меня было много других пациентов. О Скрясине я могла думать лишь урывками: мне необходимо было снова увидеть его. Эта ночь, незаконченная, нелепая, камнем легла мне на сердце, и я надеялась, что, поговорив друг с другом, мы сумеем завершить ее, спасти. Я пришла первой в кафе: маленькое кафе, слишком красное, с гладкими столиками, где я часто покупала сигареты, но ни разу не присела; в боксах шептались парочки; я заказала суррогат портвейна; мне казалось, будто я нахожусь в чужом городе, и я уже не знала хорошенько, чего жду. Скрясин ворвался вихрем:

— Прошу прощения, у меня был десяток встреч.

— Мило, что вы все-таки пришли. Он улыбнулся:

— Хорошо спали?

— Очень хорошо.

Он тоже заказал суррогат портвейна и наклонился ко мне, в лице его не было больше никакой

враждебности.

— Я хотел бы задать вам один вопрос.

— Задавайте.

— Почему вы так легко согласились подняться ко мне в комнату?

— Из симпатии, — улыбнувшись, ответила я.

— Но вы не были пьяны?

— Ни капельки.

— И вы не пожалели?

— Нет.

Он колебался; я чувствовала, что для своего интимного каталога ему хотелось получить подробную критическую оценку.

— Я хотел бы знать: в какой-то момент вы сказали, что никогда не проводили подобной ночи, это правда?

Немного смутившись, я засмеялась:

— И да, и нет.

— А! Так я и думал, — разочарованно сказал он. — Это никогда не бывает правдой.

— В тот момент это правда, а на другой день правда, но чуть поменьше. Он залпом выпил липкое вино, а я продолжала:

— Знаете, отчего я оледенела? Временами вид у вас становился таким враждебным.

Он пожал плечами:

— Этого нельзя было избежать!

— Почему? Борьба полов?

— Мы принадлежим к разным мирам. Я хочу сказать, политически. На мгновение я остолбенела.

— Политика занимает так мало места в моей жизни!

— Равнодушие — это тоже позиция, — сухо сказал он. — Видите ли, в этой области если кто-то не со мной, значит, очень далек от меня.

— В таком случае вам не следовало просить меня подняться к вам в комнату, — с упреком заметила я.

Глаза его сощурились в лукавой улыбке:

— Но если я желаю женщину, мне безразлично, далека она мне или нет, я прекрасно мог бы переспать и с фашисткой.

— Вам это небезразлично, раз вы проявили враждебность. Он опять улыбнулся:

— В постели вовсе не плохо слегка ненавидеть друг друга.

— Какой ужас! — сказала я, вглядываясь в него. — Вас не так легко расшевелить! Вы можете разделить с людьми жалость, угрызения совести, но не симпатию.

— Ах, так сегодня вы решили заняться моей

психикой, — сказал он. — Продолжайте, я обожаю это.

В глазах его отразилась такая же маниакальная ненасытность, как ночью, когда он разглядывал меня: выдержать ее я могла бы лишь от ребенка или больного.

— Вы считаете, что одиночество можно нарушить силой: в любви нет ничего более неуместного.

Он получил по заслугам!

— В общем, эта ночь окончилась поражением?

— Более или менее.

— Ты готова ее повторить? Я задумалась.

— Да. Не люблю мириться с поражением. Лицо его стало суровым.

— Это слабый довод, — сказал он, пожав плечами. — Нельзя любить головой. Я была того же мнения: если его слова и его желания ранили меня, то потому, что шли от рассудка.

— Полагаю, мы оба слишком разумны, — заметила я.

— В таком случае лучше не начинать все заново, — сказал он.

— Я тоже так думаю.

Да, второе поражение было бы еще хуже, а успех — недостижим: мы нисколько не любили

друг друга; слова и те были бесполезны, спасать было нечего, история эта не требовала заключения; мы вежливо обменялись еще несколькими пустыми словами, и я вернулась домой{29}.

Я на него не сердилась, да и на себя едва ли. К тому же, как мне сразу сказал Робер, это не так уж важно: всего лишь воспоминание, которое остается в памяти и никого, кроме нас, не касается. Однако, поднявшись в свою комнату, я дала себе обещание, что никогда более не стану пытаться сорвать свои лайковые перчатки. «Слишком поздно, — прошептала я, бросив взгляд в зеркало. — Теперь мои перчатки вросли в кожу, чтобы снять их, пришлось бы содрать и ее». Нет, не один только Скрясин виноват, что все так обернулось, тут есть и моя вина. Я легла в эту постель из любопытства, от усталости, чтобы бросить вызов и доказать себе сама не знаю что, но доказала, безусловно, обратное. Я застыла перед зеркалом. И смутно думала о том, что могла бы иметь другую жизнь; могла бы одеваться, привлекать к себе внимание, познать маленькие радости тщеславия и большую горячку чувств. Но все было слишком поздно. И вдруг я поняла, почему мое прошлое кажется мне порой чужим: я сама стала теперь другой — женщиной тридцати девяти лет,

женщиной в годах!

Я громко произнесла: «Я в годах!» До войны я была слишком молодой, чтобы годы тяготили меня; затем в течение пяти лет я полностью о себе забывала. И вот я обретаю себя, чтобы узнать: я осуждена, меня подстерегает старость, и нет никакой возможности скрыться от нее; я уже замечаю ее в глубине зеркала{30}. О! Пока я все еще женщина, каждый месяц я все еще теряю кровь, ничто не изменилось; но теперь я знаю. Я приподнимаю волосы: белые полоски — это уже не диковинка и не примета, это начало; голова моя заживо обретет цвет моих костей. Лицо мое пока еще может казаться гладким и упругим, но маска, того и гляди, упадет, обнажив слезящиеся глаза старой женщины. Времена года приходят и уходят, поражения искупаются, но нет никакого средства остановить дряхление. «Даже беспокоиться уже поздно, — подумала я, отворачиваясь от своего отражения. — Слишком поздно даже для сожалений; остается только продолжать».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Несколько вечеров кряду Надин заходила в газету за Анри; однажды ночью они даже снова поднялись в гостиничный номер, но без особого прока. Для Надин заниматься любовью было явно скучным времяпрепровождением, Анри тоже быстро соскучился. Но ему нравилось выходить с Надин, смотреть, как она ест, слышать ее смех, разговаривать с ней. Она была слепа ко многим вещам, но с живостью реагировала на то, что видела, и никогда не прибегала к уловкам; он говорил себе, что она была бы приятным спутником в поездке, и его трогало ее жадное стремление к путешествию.

— Ты поговорил?

— Нет еще.

Она опускала голову с таким сокрушенным видом, что он чувствовал себя виноватым; солнце, возможность поесть, настоящее путешествие — всего, чего она была лишена, теперь он лишал ее вновь. И раз уж он решился на разрыв, не разумнее ли дать Надин воспользоваться этим; впрочем, в интересах самой Поль ему лучше объясниться до отъезда, чем оставлять ее томиться

надеждой во время их разлуки. Вдали от нее он чувствовал себя правым: он почти не притворялся перед ней; она обманывала себя, когда делала вид, будто верит в возрождение мертвого и похороненного прошлого. Но когда он оказывался рядом с ней, то обнаруживал, что и он был в чем-то не прав. «Не подлец ли я, что перестал ее любить? — спрашивал он себя, глядя, как она ходит взад-вперед по квартире. — Или ошибкой было то, что я любил ее?» Они с Жюльеном и Луи отправились как-то в ресторан «Дом», и там за соседним столиком сидела эта красивая женщина, одетая во что-то цвета глицинии, с притворным интересом читавшая «Злосчастье»;{31} на круглый столик она положила длинные фиолетовые перчатки; проходя мимо нее, Анри сказал: «Какие у вас красивые перчатки!» — «Они вам нравятся? Они ваши». — «И что я буду с ними делать?» — «Сохраните на память о нашей встрече». У обоих смягчился взгляд; несколько часов спустя он прижимал ее к себе нагую со словами: «Ты слишком красива!» Нет, он не мог осуждать себя. Вполне естественно, что он был ослеплен красотой Поль, ее голосом, загадочностью ее речей, отрешенной мудростью ее улыбки. Она была немного старше него и знала множество мелких вещей, которых

он не знал и которые казались ему намного важнее крупных. Более всего его восхищало в ней презрение, с каким она относилась к благам этого мира; она парила в сверхъестественных мирах, где он терял надежду воссоединиться с ней; и он был потрясен, когда она соблаговолила стать плотью в его объятиях. «Конечно, я несколько взвинтил себя», — признавался он. Она поверила в клятвы вечной верности и в чудо быть самой собой; и, безусловно, он был виноват, когда без меры превозносил Поль, чтобы позднее весьма трезво оценить меру ее возможностей. Да, виноваты они оба, но вопрос не в этом, вопрос в том, как выбраться из такого положения. Мысленно он вертел фразы и так и эдак: догадывалась ли она? Обычно, когда он хранил молчание, она тут же начинала задавать вопросы.

— Почему ты переставляешь эти безделушки? — спросил он.

— Ты не находишь, что так красивее?

— Тебя не затруднит присесть на минутку?

— Я тебя раздражаю?

— Нисколько, но я хотел бы поговорить с тобой. Она натянуто улыбнулась.

— Какой у тебя торжественный вид! Уж не собираешься ли ты сказать, что разлюбил меня?

— Нет.

— Ну а все остальное мне безразлично, — заявила она, садясь; Поль наклонилась к нему с терпеливым, немного насмешливым видом: — Говори, любовь моя, я тебя слушаю.

— Любить или не любить друг друга — это не единственный вопрос, — сказал он.

— Для меня — единственный.

— Но не для меня, ты сама знаешь; другие вещи тоже имеют значение.

— Да, знаю: твоя работа, путешествия; я никогда тебя не отговаривала.

— Есть еще одна вещь, которой я дорожу, я часто напоминал тебе об этом: моя свобода.

Она снова улыбнулась:

— Не говори мне, что со мной ты не свободен!

— Свободен настолько, насколько позволяет совместная жизнь; но для меня свобода — это прежде всего одиночество. Вспомни, когда я поселился здесь, мы договорились, что это только на время войны.

— Я не думала, что обременяю тебя, — сказала Поль. Она уже не улыбалась.

— Никто не мог бы быть менее обременительным, чем ты. Но я считаю, что было лучше, когда каждый жил сам по себе.

Поль улыбнулась.

— Ты приходил сюда ко мне каждую ночь, говорил, что без меня не можешь заснуть.

Он говорил это в течение года, не больше, но возражать не стал, а только сказал:

— Согласен, но я работал у себя в комнате, в гостинице...

— Эта комната была одной из твоих юношеских причуд, — снисходительным тоном заметила она. — Никакого соседства, никаких любовных связей: признайся, что твои правила были довольно абстрактны; не могу поверить, что ты все еще принимаешь их всерьез.

— Да нет, тут нет ничего абстрактного. Совместная жизнь приводит к напряженности и в то же время к небрежности; я отдаю себе отчет, что часто бываю неприятен или невнимателен и что это причиняет тебе боль. Гораздо лучше видеться, когда действительно этого хочешь.

— Я всегда хочу тебя видеть, — с упреком сказала она.

— А я, когда устаю или бываю в плохом настроении либо работаю, предпочитаю быть один.

Голос Анри звучал сухо; и снова Поль улыбнулась:

— Ты будешь один целый месяц. Посмотрим,

когда вернешься, не переменишь ли ты свое мнение.

— Нет, не переменю, — твердо сказал он. Взгляд Поль внезапно дрогнул.

— Поклянись мне в одной вещи, — прошептала она.

— В чем?

— Что никогда не поселишься вместе с другой женщиной...

— Ты с ума сошла! Что за идея! Конечно, я клянусь тебе.

— В таком случае можешь вернуться к своим милым привычкам молодого человека, — смущенно сказала она.

Он с любопытством взглянул на нее.

— Почему ты спросила меня об этом?

И снова взгляд Поль заметался; помолчав немного, она сказала притворно спокойным тоном:

— О! Я знаю, никакая другая женщина не займет мое место в твоей жизни. Но я дорожу символами.

Она собралась было встать, словно боялась услышать еще что-нибудь; он остановил ее:

— Подожди, мне надо поговорить с тобой совершенно откровенно; я никогда не стану жить с

другой, никогда. Но, верно, из-за суровой жизни в последние четыре года мне хочется новизны, приключений, хочется легких интрижек с женщинами.

— Но у тебя уже есть одна, не так ли? — чинно заметила Поль. — С Надин.

— Откуда ты знаешь?

— Ты не умеешь лгать.

Порой она бывала так слепа! А иногда так проницательна! Он был озадачен и в замешательстве сказал:

— Я свалял дурака, не сказав тебе; но я боялся огорчить тебя, и напрасно; почти ничего и не было, к тому же это не продлится долго.

— О! Успокойся! Я не стану ревновать к девочке, особенно к Надин! — Поль подошла к Анри и села на ручку его кресла. — Я говорила тебе это в рождественскую ночь: такой человек, как ты, не может подчиняться тем же законам, что другие. Есть банальная форма верности, которой я никогда от тебя не потребую. Развлекайся с Надин или с кем пожелаешь. — Она весело погладила волосы Анри. — Видишь, я уважаю твою свободу!

— Да, — молвил он, испытывая облегчение и разочарование: чересчур легкая победа ничего ему не давала. Но надо хотя бы довести ее до

конца. — По сути, у Надин нет ни тени чувства ко мне, — добавил он. — Все, чего она хочет, это чтобы я взял ее в поездку; но, само собой разумеется, после возвращения мы расстанемся.

— В поездку?

— Она поедет со мной в Португалию.

— Нет! — сказала Поль. Внезапно ее безмятежная маска разлетелась на куски, Анри увидел перед собой живое лицо с дрожащими губами, с полными слез глазами. — Ты говорил, что не можешь взять меня с собой!

— Ты не стремилась к этому, я и не слишком старался.

— Я не стремилась! Да я бы руку дала на отсечение, чтобы только поехать с тобой. Но я поняла, что ты хочешь быть один. Я готова пожертвовать собой во имя твоего одиночества, — с возмущением воскликнула она, — но не ради Надин, нет!

— Раз ты не ревнуешь к ней, не вижу большой разницы — в одиночестве я или с Надин, — сказал он не без коварства.

— Разница огромнейшая! — взволнованно возразила Поль. — Будь ты один, я была бы с тобой, мы оставались бы вместе. Первое послевоенное путешествие: ты не имеешь права ехать с другой.

— Послушай, — сказал он, — если ты усматриваешь в этом какой-то символ, то совершенно напрасно. Надин хочется посмотреть мир, это несчастная девочка, которая никогда ничего не видела; мне доставляет удовольствие показать ей этот мир, вот и все.

— Если это и правда все, — медленно проговорила Поль, — тогда не бери ее. — Она с умоляющим видом смотрела на Анри. — Я прошу тебя об этом во имя нашей любви.

С минуту они пристально смотрели друг на друга; лицо Поль было воплощением мольбы; но Анри вдруг почувствовал прилив такого упорства, словно должен был противостоять не затравленной женщине, а вооруженным злодеям.

— Ты только что сказала, будто уважаешь мою свободу.

— Да, — с ожесточением ответила она, — но если ты собираешься уничтожить себя, я тебе помешаю. Я не позволю тебе предать нашу любовь.

— Иначе говоря, я волен делать только то, что хочешь ты, — с иронией сказал он.

— О, как ты несправедлив, — произнесла она, рыдая. — Я все принимаю от тебя, все! Но тут я знаю, что не должна соглашаться. Никто, кроме

меня, не должен ехать с тобой.

— Это ты так решила, — сказал он.

— Но это же очевидно!

— Только не для меня.

— Потому что ты заблуждаешься, вернее, хочешь заблуждаться! Послушай, — сказала она более спокойным тоном, — тебе не дорога эта девушка, и ты видишь, какое горе причиняешь мне: не бери ее.

Анри хранил молчание; против такого аргумента возразить особо было нечего, и он сердился за это на Поль, словно она использовала против него физическое принуждение.

— Ладно, я не возьму ее! — согласился он и, встав, шагнул к лестнице. — Только не говори мне больше о свободе!

Поль последовала за ним и положила руки ему на плечи:

— Твоя свобода — это заставлять меня страдать? Он резко отстранился.

— Если ты решила страдать, когда я делаю то, что хочу, мне придется выбирать между тобой и свободой.

Он сделал шаг, и она с тревогой окликнула его:

— Анри! — В глазах ее отражалась паника. — Что ты хочешь сказать?

— А что я такого сказал?

— Ты не станешь нарочно разрушать нашу любовь? Анри повернулся к ней.

— Хорошо! Раз уж ты стремишься к этому, давай объяснимся раз и навсегда! — сказал он, рассердившись на нее довольно сильно и решив наконец выложить всю правду. — Между нами возникло недоразумение. У нас разные представления о любви...

— Никакого недоразумения, — поспешно возразила Поль. — Я знаю, что ты мне скажешь: любовь — вся моя жизнь, а ты хочешь, чтобы она была лишь частью твоей жизни. Я это знаю, и я согласна.

— Да, но тут-то как раз и начинают возникать вопросы, — сказал Анри.

— Да нет же! — настаивала Поль. — Ах, все это глупо, — добавила она взволнованным голосом. — Ты не станешь подвергать сомнению нашу любовь из-за того, что я прошу тебя не ехать с Надин!

— Решено, я с ней не поеду. Но речь идет совсем, совсем о другом...

— О! Послушай, — внезапно перебила его Поль. — Прекратим это. Если тебе необходимо взять ее с собой, чтобы самому себе доказать, что ты

свободен, я предпочитаю, чтобы ты ее взял. Не хочу, чтобы ты думал, будто я тираню тебя.

— Я ее, конечно, не возьму, если ты будешь изводить себя в течение всего этого путешествия.

— Я гораздо больше изведусь, если от обиды тебе вздумается разрушить нашу любовь. — Она пожала плечами. — Ты вполне способен на это: малейшему своему капризу ты придаешь такое значение. — Она с умоляющим видом смотрела на него; ждала, что он ответит: «Я на тебя не в обиде», но ждать ей пришлось бы долго. — Ты любишь меня, — вздохнула Поль, — но ничем не хочешь пожертвовать ради нашей любви. Приходится мне отдавать все.

— Поль, — сказал он дружеским тоном, — если я поеду с Надин, повторяю тебе, что после возвращения я перестану с ней встречаться и что между тобой и мной ничего не изменится.

Она молчала. «С моей стороны это шантаж, — подумал Анри, — причем, пожалуй, подлый». Но самое забавное то, что Поль тоже отдавала себе в этом отчет; она собиралась изображать благородство, сознавая, что пошла на довольно гнусный торг. Но как быть? Надо знать, чего хочешь. Ему хотелось взять с собой Надин.

— Поступай как знаешь, — сказала Поль и

вздохнула: — Полагаю, я придаю слишком большое значение символам. По правде говоря, поедет с тобой эта девушка или нет, разницы почти нет.

— Разницы никакой, — убежденно заявил Анри.

В последующие дни Поль не возвращалась к этому вопросу, однако каждый ее жест, каждое молчание означало: «Я беззащитна, и ты злоупотребляешь этим». Что верно, то верно, оружия у нее не было никакого, даже самого ничтожного, однако сама эта скудость была ловушкой, не оставлявшей Анри другого выхода, как стать жертвой или палачом; у него не было ни малейшего желания изображать из себя жертву; беда в том, что не был он и палачом. И чувствовал он себя, пожалуй, не лучшим образом, когда встретился с Надин на перроне Аустерлицкого вокзала.

— Ты не слишком торопился, — с недовольным видом заметила она.

— Но и не опоздал.

— Давай поскорее сядем, а то вдруг поезд уйдет.

— Раньше времени не уйдет.

— Как знать.

Они поднялись в вагон и выбрали пустое купе.

Довольно долго Надин с озадаченным видом стояла между двумя вагонными полками, затем села у окна спиной к локомотиву; открыв свой чемодан, она начала устраиваться с кропотливым тщанием старой девы: надела халат, домашние туфли, укутала ноги одеялом, подложила под голову подушку; из кошелки, заменявшей ей сумочку, достала пачку жевательной резинки; тут она вспомнила наконец о существовании Анри и ободряюще улыбнулась:

— Поль ругалась, когда поняла, что ты и вправду берешь меня? Он пожал плечами:

— Разумеется, ее это не обрадовало.

— Что она сказала?

— Ничего, что касалось бы тебя, — сухо ответил он.

— Но мне интересно знать.

— А мне неинтересно тебе рассказывать.

Она достала из своей кошелки гранатовое вязанье и принялась стучать спицами, продолжая жевать резинку. «Ну это уж слишком», — в сердцах подумал Анри; быть может, она нарочно провоцирует его, догадываясь, что невеселые мысли Анри все еще в красной квартирке; на прощанье Поль поцеловала его без слез: «Счастливого путешествия». Но в эту минуту она плачет.

«Я напишу сразу же, как приеду», — пообещал он себе. Поезд тронулся, преодолевая печальные сумерки предместья, и Анри открыл полицейский роман. В настоящий момент он не в силах был помочь горю Поль, так зачем же в довершение лишать удовольствия Надин; сделав усилие, он с жаром сказал:

— Завтра в это время мы будем пересекать Испанию.

— Да.

— Меня не ждут в Лиссабоне так рано, у нас с тобой будет целых два дня. Надин ничего не ответила; какое-то время она продолжала прилежно вязать,

затем улеглась на полке, сунула в уши восковые шарики, завязала глаза шейным платком и повернулась к Анри спиной. «А я-то надеялся вознаградить себя за слезы Поль улыбками», — с насмешкой сказал он себе; дочитав свой роман, он выключил свет; на стеклах не было больше голубых росписей, под беззвездным небом долины лежали черным-черны, в купе стало холодно; зачем он в этом поезде, напротив чужой женщины, которая так шумно дышит? Внезапно встреча с прошлым показалась ему невозможной.

«Она могла бы все-таки быть чуточку любез-

нее!» — с обидой подумал Анри на следующее утро на дороге, ведущей в Ирун; Надин даже не улыбнулась, когда, выйдя с вокзала Эндае, они ощутили на своей коже солнце и легкий ветерок; пока ставили визу в их паспортах, она неудержимо зевала, а теперь по-мальчишески размашисто шагала впереди; он нес два тяжелых чемодана, ему было жарко под этим непривычным солнцем, и он без удовольствия смотрел на крепкие, слегка волосатые ноги, непривлекательную наготу которых подчеркивали носки. Барьер закрылся за ними, впервые за шесть лет Анри шел по не французской земле; но вот барьер открылся, и он услыхал возглас Надин: «О!» Именно такой страстный стон он напрасно пытался вырвать у нее своими ласками.

— О! Посмотри!

На обочине дороги, возле сгоревшего дома, стоял лоток: апельсины, бананы, шоколад;{32} Надин бросилась вперед, схватила два апельсина и один протянула Анри; при виде этой нехитрой радости, которую два километра неумолимо отделяли от Франции, он почувствовал, как та черная и твердая вещь в груди, которая на протяжении четырех лет заменяла ему сердце, превратилась в паклю; Анри без дрожи смотрел на фотографии

умирающих от голода голландских ребятишек, а тут вдруг ему захотелось сесть на краю канавы, закрыть лицо руками и не шевелиться.

К Надин вернулось хорошее настроение; с улыбкой глядя в испанское небо, она объедалась фруктами и конфетами в баскских деревнях и кастильских захолустьях. Еще одну ночь они провели в пыли вагонных полок; утром они ехали вдоль бледно-голубой речушки, извивавшейся среди олив и превратившейся затем в реку, а потом в озеро. Поезд остановился: Лиссабон.

— Сколько такси!

Вереница такси выстроилась во дворе вокзала; сдав чемоданы в камеру хранения, Анри сказал одному шоферу: «Прокатите нас». Надин сжимала его руку, вскрикивая от ужаса, пока они ехали с казавшейся головокружительной скоростью по круто спускавшимся улочкам, где громыхали трамваи: они отвыкли ездить в автомобиле. Анри смеялся, тоже сжимая руку Надин; он вертел головой то вправо, то влево, не веря себе от радости: встреча с прошлым состоялась. Южный город, обжигающий и несущий прохладу, с обещанием моря на горизонте и соленого ветра, разбивающегося о вздыбленные мысы: Анри узнавал его. Хотя поражал он его больше, чем когда-то

Марсель, Афины, Неаполь или Барселона, потому что сегодня любое новшество казалось чуть ли не чудом; она была прекрасна, эта столица с мудрым сердцем, беспорядочно разбросанными холмами, с ее прохладными домами нежных расцветок и большими белыми кораблями.

— Высадите нас где-нибудь в центре, — попросил Анри.

Такси остановилось на просторной площади, окруженной кинотеатрами и кафе; на террасах сидели мужчины в темных костюмах, но без женщин; женщины толкались на торговой улице, спускавшейся к эстуарию;{33} и сразу же Анри с Надин остановились как вкопанные.

— Ты только посмотри!

Кожа, настоящая толстая и мягкая кожа, запах которой угадывался; чемоданы из свиной кожи, перчатки из кожи пекари, рыжие кисеты для табака, а главное, башмаки на каучуковых подошвах, башмаки, в которых шагали бесшумно, не боясь промочить ноги. Настоящий шелк, настоящая шерсть, фланелевые костюмы, поплиновые рубашки. Анри вдруг осознал, что выглядит довольно убого в своем штапельном костюме и потрескавшихся ботинках с задравшимися носами; а среди женщин в мехах, шелковых

чулках и изящных туфлях-лодочках Надин походила на нищенку.

— Завтра займемся покупками, — сказал он, — купим кучу всяких вещей!

— Не верится, что все это настоящее. Как ты думаешь, что сказали бы при виде этого наши из Парижа?

— Точно то же, что мы, — со смехом ответил Анри.

Они остановились перед кондитерской, на этот раз не вожделение, а скандал заворожил взгляд Надин; Анри тоже на мгновение застыл, пораженный, он подтолкнул Надин плечом:

— Войдем.

Кроме старика с маленьким мальчиком за столиками сидели только женщины, женщины с маслянистыми волосами, обремененные мехами, драгоценностями и целлюлитом, которые с благоговением отдавали ежедневную дань своей страсти к гурманству. Две девочки с черными косичками, голубой лентой через плечо и множеством медальонов на шее смаковали со сдержанным видом густой шоколад, увенчанный огромной шапкой взбитых сливок.

— Хочешь? — спросил Анри.

Надин молча кивнула головой; когда офи-

цианткa поставила перед ней чашку и Надин поднесла ее к губам, лицо ее вдруг стало белым.

— Не могу, — вымолвила она и добавила извиняющимся тоном: — Мой желудок отвык от этого.

Однако причиной ее недомогания был не желудок, просто она подумала о чем-то или о ком-то. Анри не стал задавать ей вопросов.

Номер в гостинице был обтянут нарядным кретоном; в ванной комнате их ждали горячая вода, настоящее мыло, махровые халаты. Надин снова повеселела. Она пожелала растереть Анри перчаткой из конского волоса, и когда его тело с головы до ног стало горячим и красным, опрокинула его со смехом на кровать. Она отдавалась любви с такой радостью, что, казалось, получает от этого удовольствие. На следующее утро глаза ее блестели, когда своей шершавой рукой она трогала роскошную шерсть, шелка.

— А в Париже тоже были такие прекрасные магазины?

— И даже намного прекраснее. Ты не помнишь?

— Я не ходила в роскошные магазины, я была слишком маленькая. — Она с надеждой взглянула на Анри: — Ты думаешь, когда-нибудь это

вернется?

— Когда-нибудь, возможно.

— Но почему они здесь такие богатые? Я думала, это бедная страна.

— Это действительно бедная страна, где есть очень богатые люди.

Они купили для себя и для тех, кто остался в Париже, ткани, чулки, белье, туфли, свитера. Обедали они в подвале, увешанном красочными афишами, на которых тореро на лошадях бросали вызов разъяренным быкам. «Мясо или рыба — у них все-таки есть ограничения!» — со смехом заметила Надин. Они съели по бифштексу пепельного цвета. Затем, надев вызывающе-желтые башмаки на шикарных подошвах, стали взбираться вверх по вымощенным круглыми камнями улицам, ведущим к густонаселенным кварталам; на одном из перекрестков босоногие ребятишки без улыбки смотрели невыразительное кукольное представление; мостовая становилась все уже, дома были облупленные, и лицо Надин омрачилось.

— До чего отвратительная улица, и много таких?

— Я думаю, да.

— Похоже, тебя это не возмущает?

У него не было настроения возмущаться. По правде говоря, он с большим удовольствием вновь смотрел на цветное белье, которое сушилось у залитых солнцем окон над темной дырой. Они молча миновали клоаку, и Надин остановилась посреди лестницы с засаленными каменными ступеньками.

— До чего отвратительно! — повторила она. — Пошли отсюда.

— О! Пройдем еще немного, — сказал Анри.

В Марселе, Неаполе, Пирее и Барио-Сино он часами бродил по таким вот вопиющим о бедности улицам; разумеется, тогда, как и сегодня, он хотел, чтобы со всей этой нищетой было покончено; однако желание его оставалось абстрактным, никогда ему никуда не хотелось бежать: этот резкий человеческий запах дурманил его. Сверху донизу холма — все та же оживленная сутолока, то же голубое небо пылало поверх крыш; Анри казалось, что с минуты на минуту он вновь обретет во всей ее полноте былую радость; именно за ней он гонялся от улицы к улице, но не находил ее. Женщины, сидевшие на корточках у дверей, жарили сардины на кусках древесного угля; запах несвежей рыбы заглушал запах горячего масла; ноги их были босы, здесь все ходили босиком.

В открытых подвалах, выходивших на улицу, — ни одной кровати, никакой мебели, никаких картинок: убогие лежаки, покрытые струпьями ребятишки да кое-где коза; снаружи — ни одного веселого голоса или улыбки, потухшие взгляды. Быть может, нищета здесь более отчаянная, чем в других городах? Или же вместо того, чтобы очерстветь, со временем становишься более чувствительным к несчастью? Голубизна неба казалась жестокой над нездоровой тьмой, и Анри передалась безмолвная подавленность Надин. Им встретилась бежавшая с растерянным видом женщина в лохмотьях с ребенком, прилепившимся к ее обнаженной груди, и Анри вдруг сказал:

— А! Ты права, пошли отсюда.

Однако бегство ни от чего их не спасало, Анри понял это на другой же день во время коктейля, устроенного французским консульством. Стол был завален бутербродами и сказочными пирожными, на женщинах красовались платья забытых расцветок, все лица смеялись, вокруг говорили по-французски, Благодатный холм остался очень далеко, в совсем чужой стране, несчастья которой не касались Анри. Он вежливо смеялся вместе со всеми, когда старый Мендош даш Виернаш в крахмальном воротничке и при черном галстуке

отвел его в угол гостиной; он был министром до диктатуры Салазара{34}.

— Какое впечатление произвел на вас Лиссабон? — спросил он, остановив на нем недоверчивый взгляд.

— Очень красивый город! — сказал Анри. Взгляд его собеседника помрачнел, и Анри с улыбкой добавил: — Должен сказать, я пока еще мало что видел.

— Обычно французы, приезжающие сюда, ухитряются вовсе ничего не видеть, — с досадой заметил даш Виернаш. — Ваш Валери{35}, например: он восторгался морем, садами, а к остальному остался слеп. — Помолчав, старик добавил: — А вы тоже собираетесь на все закрыть глаза?

— Напротив! — возразил Анри. — Я хочу как можно больше всего увидеть.

— Ах! На основании того, что мне о вас говорили, я очень на это надеялся, — сказал даш Виернаш потеплевшим голосом. — Условимся встретиться завтра, и я берусь показать вам Лиссабон. Красивый фасад, да! Но вы увидите, что за ним!

— Вчера я уже побывал на Благодатном холме, — молвил Анри.

— Но вы не входили в дома! Я хочу, чтобы вы своими глазами увидели, что люди едят, как они живут, иначе вы мне не поверите. — Даш Виернаш пожал плечами: — Эта литература о португальской грусти и ее загадке! А ведь все очень просто: из семи миллионов португальцев только семьдесят тысяч едят досыта.

Увильнуть не представлялось возможным, и все следующее утро Анри посещал лачуги. Ближе к вечеру бывший министр созвал друзей, специально чтобы он с ними встретился: отказаться нельзя. Они все были в темных костюмах, в крахмальных воротничках, с котелками на голове, говорили церемонно, однако временами их благоразумные лица искажала ненависть. То были бывшие министры, бывшие журналисты, бывшие преподаватели, которых отказ примкнуть к режиму разорил; у каждого из них сосланы родные и друзья, они были бедны и затравленны; те, кто все еще пробовал что-то сделать, знали, что их подстерегает адский остров: на врача, который бесплатно лечил нищих, пытался открыть диспансер или ввести хоть какую-то гигиену в больницах, сразу ложилось подозрение; стоило кому-то организовать вечерние курсы, позволить себе проявить щедрость или просто милосердие,

и он становился врагом Церкви и Государства. Они тем не менее продолжали упорствовать. Им хотелось верить, что разгром нацизма повлечет за собой падение ханжеского фашизма. Они мечтали свергнуть Салазара и создать Народный фронт, подобный тому, какой был восстановлен во Франции. Они сознавали свое одиночество: у английских капиталистов были значительные интересы в Португалии, американцы вели переговоры с правительством о покупке авиабаз на Азорских островах. «Франция — наша единственная надежда», — твердили они. И умоляли: «Расскажите французам правду; они ничего не знают, а если бы знали, пришли к нам на помощь». Они навязывали Анри ежедневные встречи; его забрасывали фактами, цифрами, диктовали ему статистические данные, водили его по голодным предместьям: это были не те каникулы, о которых он мечтал, но у него не было выбора. Он обещал разбудить общественное мнение кампанией в прессе: политическая тирания, экономическая эксплуатация, полицейский террор, систематическое отупение масс, постыдное соучастие духовенства, он расскажет обо всем. «Если Кармона узнает, что Франция готова нас поддержать, он пойдет с нами», — утверждал

даш Виернаш. Прежде он был знаком с Бидо[36] и рассчитывал представить ему некий тайный договор: в обмен на его поддержку будущее португальское правительство сможет предложить Франции выгодные соглашения, касающиеся африканских колоний. Трудно было объяснить ему без грубости, насколько этот проект был несбыточным!

— Я встречусь с Турнелем, главой его кабинета, — пообещал Анри накануне своего отъезда в Алгарве[37]. — Это товарищ по Сопротивлению.

— Я подготовлю точный проект, который вручу вам после вашего возвращения, — сказал даш Виернаш.

Анри рад был покинуть Лиссабон. Французские службы предоставили ему автомобиль для удобства проведения его лекционного турне, ему предложили располагать машиной столько времени, сколько он пожелает: наконец-то его ожидали настоящие каникулы. К несчастью, новые его друзья очень рассчитывали, что последнюю неделю он проведет с ними за подготовкой заговора: они намеревались собрать исчерпывающую документацию и устроить встречи с некоторыми коммунистами верфей Заморы. Об отказе и речи быть не могло.

— Получается, что нам остается погулять всего две недели, — недовольным тоном сказала Надин.

Они ужинали в ресторанчике на другом берегу Тахо; официантка поставила на стол блюдо с кусками жареного хека и бутылку вина грязно-розового цвета; в окно им видны были огни Лиссабона, располагавшиеся ярусами между небом и водой.

— За неделю на машине можно увидеть всю страну! — сказал Анри. — Представляешь, какая для нас удача!

— Вот именно: жалко не воспользоваться ею.

— А как же эти люди, они ведь рассчитывают на меня, и было бы скверно разочаровать их, ты не согласна?

Она пожала плечами:

— Ты ничего не можешь для них сделать.

— Я могу говорить от их имени; это мое ремесло, иначе не стоит быть журналистом.

— Может, и не стоит.

— Не думай уже о возвращении, — примирительно сказал он. — Нас ждет потрясающее путешествие. Да посмотри же на огоньки на берегу, у самой воды, до чего красиво.

— Что тут красивого? — пожав плечами, спро-

сила Надин. Ей нравилось задавать такие вызывающие раздражение вопросы. — Нет, серьезно, — продолжала она, — почему ты находишь это красивым?

— Красиво, и все тут.

Она прижалась лбом к стеклу.

— Возможно, это было бы красиво, если не знать, что там, за ними; но когда знаешь... Еще один обман, — с досадой заявила она, — ненавижу этот гнусный город.

Без всякого сомнения, то был обман; а между тем Анри не мог помешать себе находить огни красивыми; жгучий запах нищеты, ее веселое разноцветье — его этим уже не обманешь; но маленькие огоньки, мерцавшие вдоль темных вод, его трогали вопреки всему: возможно, потому что напоминали ему время, когда он не знал, что скрывается за декорацией; а возможно, его привлекало здесь воспоминание о неком мираже. Он взглянул на Надин: восемнадцать лет — и ни одного миража в ее памяти! У него, по крайней мере, было прошлое. «И настоящее, и будущее, — мысленно возразил он себе. — К счастью, остались еще вещи, которые можно любить!»

Да, к счастью, они оставались! Какое наслаждение снова держать в руках руль, а эти дороги

впереди насколько хватает глаз! После минувших лет Анри в первый день оробел; автомобиль казался наделенным собственной жизнью; тем более что он был тяжелый, плохо подрессоренный, шумный и, пожалуй, капризный; однако повиновался он так же послушно, как рука.

— Потрясающая быстрота! — говорила Надин.

— Ты уже каталась на машине?

— В Париже, в джипах, но я никогда не ездила так быстро.

И это тоже, тоже был обман, давнишняя иллюзия свободы и могущества, но Надин без зазрения совести разделяла ее. Она опустила все стекла и жадно глотала ветер и пыль. Если бы Анри послушал ее, то они никогда бы не выходили из машины; больше всего ей нравилось мчаться как можно быстрее и видеть только дорогу и небо; она едва обращала внимание на пейзажи. А между тем они были прекрасны! Золотистое облако мимозы в лучах света, изначально скромные яблони, нашедшие свое бесконечное продолжение в рядах круглоголовых апельсиновых деревьев, каменный восторг Баталь[38], величественный дуэт лестниц, которые, переплетаясь, поднимаются к черно-белой церкви, улицы Бежи, где все еще слышатся древние отголоски криков монахини,

томившейся любовью[39]. На юге, пропитанном ароматом Африки, маленькие ослики неустанно ходили по кругу, дабы вырвать немного воды у иссохшей земли; средь голубых агав, пронзающих красную землю, изредка можно заметить обманную свежесть дома, гладкого и белого, как молоко. Они вновь направились на север по дорогам, где камни, казалось, украли у цветов их самые яркие расцветки: фиолетовые, красные, охру; но средь ласковых холмов Миньо[40] краски вновь были отданы цветам. Да, прекрасная декорация, которая разворачивалась слишком быстро, чтобы хватило времени подумать о том, что скрывалось за ней. Вдоль гранитных обочин, как и на раскаленных дорогах Алгарве, крестьяне шагали босые, но встречались они нечасто. Праздник закончился в Красном Порту[41], где грязь обретает цвет крови. На стенах кишащих голыми ребятишками лачуг, еще более мрачных и сырых, чем в Лиссабоне, повесили дощечки с надписью: «Опасно для здоровья. Проживание запрещено». Девочки от четырех до пяти лет, одетые в дырявые мешки, рылись в помойках. Во время обеда Анри с Надин укрылись в глубине плохо освещенного прохода, но все равно угадывали лица, прильнувшие к окнам ресторана.

«Ненавижу города!» — в ярости сказала Надин. Весь день она провела, запершись в своей комнате, и на следующее утро на дорогах почти не разговаривала. Анри не пытался ее развеселить.

В назначенный для возвращения день они остановились пообедать в маленьком порту, в трех часах езды от Лиссабона; оставив машину возле ресторанчика, они решили взобраться на один из холмов, возвышавшихся над морем; на вершине стояла белая мельница, крытая зеленой черепицей; на ее крылья прикрепили глиняные кувшинчики с узким горлом, в которых пел ветер. Анри с Надин бегом спустились с холма между зелеными оливами и цветущими миндальными деревьями, и им вдогонку летела незамысловатая музыка. Они рухнули на песок в бухте; на бледной глади моря покачивались лодки со ржавыми парусами.

— Здесь нам будет хорошо, — сказал Анри.

— Да, — согласилась Надин, насупившись, и добавила: — Я умираю с голода.

— Неудивительно: ты ничего не ела.

— Я прошу яйца всмятку, а мне приносят чашку теплой воды и сырые яйца.

— Треска была очень хороша, бобы тоже.

— Одна-единственная капля растительного

масла, и мой желудок переполнен. — Она сердито сплюнула. — В моей слюне и то масло.

Резким движением она сорвала с себя блузку.

— Что ты делаешь?

— А ты не видишь?

На ней не было бюстгальтера, и, лежа на спине, она подставила солнцу наготу своей небольшой груди.

— Нет, Надин, а если кто-то придет?

— Никто не придет.

— Тебе хочется так думать.

— Мне плевать; я хочу чувствовать солнце. — Подставив грудь ветру и разметав по песку волосы, она с упреком глядела в небо. — Надо пользоваться тем, что дано, раз это последний день.

Он не ответил, и она продолжала жалобным голосом:

— Ты в самом деле хочешь вернуться в Лиссабон нынче вечером?

— Ты прекрасно знаешь, что нас ждут.

— Мы не видели гор, а все говорят, что это и есть самое красивое: за неделю можно было бы еще совершить потрясающую поездку.

— Говорю тебе, что мне надо встретиться с людьми.

— Твои старые господа в крахмальных воротничках? Они выглядели бы великолепно в витринах Музея Человека{42}, но как революционеры — не смеши меня.

— Я нахожу их трогательными, — заметил Анри. — И знаешь, они идут на большой риск.

— Они много говорят. — Надин сыпала песок сквозь пальцы. — Слова, как говорит этот парень{43}, слова.

— Легко смотреть свысока на людей, которые пытаются что-то сделать, — сказал он с некоторым раздражением.

— В чем я их упрекаю, так это как раз в том, что всерьез они ничего и не пытаются делать, — сердито возразила она. — Вместо того чтобы болтать, я пришибла бы С ал аз ар а, и дело с концом.

— Это мало что дало бы.

— Дало бы: он был бы мертв. Как говорит Венсан, «смерть, она, по крайней мере, не щадит». — Надин задумчиво смотрела на море. — Если решиться взлететь вместе с ним, его наверняка можно было бы прикончить.

— Не пытайся! — с улыбкой сказал Анри; он положил свою ладонь на руку в песчинках. — Хорош я буду, представляешь!

— Это был бы неплохой конец, — молвила

Надин.

— Ты так спешишь покончить со всем? Она зевнула.

— Тебе нравится жизнь?

— Мне она не наскучила, — весело ответил он.

Надин приподнялась на локте и с любопытством посмотрела на него.

— Растолкуй мне. Царапать бумагу, как ты, с утра до вечера, это действительно заполняет твое существование?

— Когда я пишу, да, это заполняет мое существование, — сказал он. — И мне даже страшно хочется снова за это взяться.

— А как случилось, что у тебя появилось желание писать?

— О! Это было давно, — ответил Анри.

Это было давно, и он не знал, каким воспоминаниям отдать предпочтение.

— Когда я был молодым, книга казалась мне волшебством.

— Я тоже люблю книги, — с живостью отозвалась Надин. — Но их уже столько! Какой смысл сочинять еще одну?

— Каждый хочет сказать что-то свое, отличное от других: у всех своя жизнь, свои собственные отношения с окружающим миром, со словами.

— А тебя не смущает мысль, что другие написали вещи, намного превосходящие то, что «родишь» ты? — спросила Надин слегка раздраженным тоном.

— Сначала я так не думал, — с улыбкой ответил Анри. — Пока ничего не сделал, слишком много спеси. А потом, когда втянешься, бываешь поглощен тем, что пишешь, и не тратишь времени на сравнения.

— О, разумеется, так или иначе все приспосабливаются! — сказала она недовольным тоном, снова падая во весь рост на песок.

Он не сумел ей ответить: очень трудно объяснить, почему ты любишь писать, тому, кто этого не любит. Впрочем, мог ли он объяснить это самому себе? Он не воображал, что его будут читать вечно, а между тем, когда писал, чувствовал, что погружен в вечность; все, что ему удавалось облечь в слова, казалось спасенным целиком и полностью; что в этом истинного? В какой мере и это тоже было всего лишь миражем? Вот один из тех вопросов, которые ему следовало прояснить во время каникул, но на деле он решительно ничего не прояснил. Несомненно одно: он испытывал едва ли не хватающую за душу жалость ко всем этим жизням, которые даже и не пытались

выразить себя, — к жизни Поль, Анны, Надин. «А кстати, — подумал он, — сейчас как раз вышла моя книга!» Он давно уже не встречался с публикой, и ему было не по себе при мысли, что в эту минуту люди читают его роман и обсуждают. Он наклонился к Надин и улыбнулся ей:

— Все в порядке?

— Да, здесь так хорошо! — сказала она чуть ли не со стоном.

— Очень хорошо.

Его пальцы сплелись с пальцами Надин, и он прильнул к горячему песку; между беспечным морем, которое солнце лишило красок, и неодолимой голубизной неба повисло счастье; чтобы он мог ухватить его, возможно, довольно было бы улыбки Надин: она становилась почти красивой, когда улыбалась; но усеянное веснушками лицо оставалось безучастным.

— Бедная Надин, — сказал он. Она резко поднялась:

— Почему бедная?

Ее, конечно, следовало пожалеть, только он не знал за что.

— Потому что это путешествие разочаровало тебя.

— О! Знаешь, я многого и не ждала.

— А ведь были хорошие моменты.

— Могли бы быть и еще. — Холодная голубизна ее глаз потеплела. — Брось этих старых мечтателей, мы не за этим сюда приехали. Давай погуляем. Повеселимся, пока живы.

Он пожал плечами.

— Ты прекрасно знаешь, веселиться не так-то просто.

— Попробуем. Большая прогулка в горы, это ведь неплохо, ты же любишь разъезжать. А все эти собрания, расследования, они нагоняют на тебя тоску.

— Конечно.

— Ну и? Что тебя заставляет делать вещи, от которых тебя тошнит? Это что, призвание?

— Сама подумай: могу ли я объяснить им, этим бедным старикам, что их несчастья никого не интересуют, что Португалия слишком мала, что всем на нее плевать? — Анри с улыбкой склонился над Надин. — Разве я могу?

— Ты можешь позвонить им, сказать, что заболел, и мы рванем в Эвору.

— Это причинит им боль, — сказал Анри. — Нет, я не могу.

— Скажи лучше, что не хочешь, — отрезала она.

— Хорошо, — сказал он нетерпеливо, — не хочу.

— Ты еще хуже, чем моя мать, — проворчала она, уткнувшись носом в песок.

Анри вытянулся во весь рост рядом с ней. «Повеселимся». Раньше он умел веселиться; ради тех радостей, которые он изведал когда-то, он, не задумываясь, пожертвовал бы мечтами старых конспираторов. Анри закрыл глаза. Он лежал на другом пляже с женщиной с золотистой кожей в цветастой пляжной юбке, самой красивой из женщин — Поль; пальмы раскачивались у них над головами, и сквозь тростник они смотрели, как входят в море отягощенные своими платьями, своими накидками, своими драгоценностями толстые смеющиеся еврейки; а ночью они иногда подглядывали за арабскими женщинами, которые отваживались войти в воду, закутавшись в свои покрывала-саваны; либо пили густой кофейный сироп в тавернах на римском фундаменте; или садились на базарной площади, и Анри курил кальян, беседуя с Амуром Харсином; потом они возвращались в комнату, полную звезд, и падали на кровать. Но часы, о которых Анри вспоминал теперь поистине с ностальгией, были утренние часы, он проводил их на террасе гостиницы, меж-

ду голубизной неба и знойным запахом цветов; в прохладе нарождающегося дня, в полдневном жару он писал, и когда цемент у него под ногами становился горячим, он наконец, одурманенный солнцем и словами, спускался в тень патио выпить ледяной анисовки. Сюда он приехал искать небо, олеандры, бурные воды острова Джерба{44}, усладу проведенных за разговорами ночей, а главное, прохладу и жар утренних часов. Почему он не находил того жгучего и нежного вкуса, которым прежде была отмечена его жизнь? А между тем он так стремился к этому путешествию, целыми днями ни о чем другом не думал; целыми днями ему грезилось, что он лежит на солнце, на песке; и вот теперь он здесь, есть и солнце, и песок: это внутри у него чего-то недостает. Он уже толком не знал, что означают старинные слова: счастье, удовольствие. У нас всего пять чувств, и они быстро притупляются. Взгляд его томился скукой, скользя до бесконечности по этой голубизне, не переставшей быть голубой. Хотелось проткнуть ее атлас, разорвать нежную кожу Надин.

— Становится прохладно, — сказал он.

— Да. — Внезапно она прильнула к нему; сквозь ее блузку он чувствовал у своей груди ее юные

обнаженные груди. — Согрей меня.

Он тихонько оттолкнул ее.

— Одевайся. Пора возвращаться в деревню.

— Боишься, что нас увидят? — Глаза Надин блестели, щеки слегка порозовели; но он знал, что губы ее остаются холодными. — Что, ты думаешь, с нами могут сделать? Нас побьют камнями? — спрашивала она, пытаясь возбудить его.

— Вставай, пора возвращаться.

Она давила на него всей своей тяжестью, и ему трудно было противиться желанию, которое дурманило его; ему нравились ее юная грудь, ее прозрачная кожа; если бы она согласилась отдаться наслаждению, вместо того чтобы резвиться в кровати с нарочитым бесстыдством... Она наблюдала за ним с полузакрытыми глазами, рука ее спускалась к полотняным брюкам.

— Дай я... дай себе волю.

Ее рука, губы были искусны, но он ненавидел уверенное торжество, которое читал в ее глазах всякий раз, как уступал.

— Нет, — сказал он. — Нет. Не здесь. И не так.

Он высвободился и встал; блузка Надин лежала на песке, и он набросил ее ей на плечи.

— Почему? — с досадой спросила она и добавила, растягивая слова: — Может, на свежем воздухе

это было бы чуть забавнее.

Он стряхнул песок, прилипший к его одежде.

— Я вот думаю, станешь ли ты когда-нибудь женщиной, — прошептал он притворно-снисходительным тоном.

— О! Видишь ли, женщины, которые любят заниматься любовью, уверена, что таких не найдется и одной на сотню: они просто прикидываются из снобизма.

— Ладно, не будем ссориться, — сказал он, протягивая ей руку. — Пошли. Мы купим тебе пирожных и шоколада, ты съешь их в машине.

— Ты обращаешься со мной как с ребенком, — обиделась она.

— Нет. Я прекрасно знаю, что ты не ребенок. И понимаю тебя лучше, чем ты думаешь.

Она с недоверием взглянула на него, легкая улыбка тронула ее губы.

— О! Я не всегда тебя ненавижу, — молвила она.

Он чуть сильнее сжал ее руку, и они молча зашагали к деревне. Смеркалось; лодки возвращались в порт: быки вытаскивали их на берег. Деревенские жители смотрели, стоя или сидя кружком. Рубашки мужчин, широкие юбки женщин были расцвечены веселыми красками: но

эта веселость застыла в мрачной неподвижности; черные платки обрамляли окаменевшие лица; глаза, устремленные к горизонту, ни на что не надеялись. Ни одного движения, ни единого слова. Можно было подумать, что на их языки наложено заклятие.

— Они вызывают у меня желание кричать, — сказала Надин.

— Думаю, они тебя даже не услышали бы.

— Чего они ждут?

— Ничего. Они знают, что ждать нечего.

На главной площади слабо теплилась жизнь. Шумели ребятишки; сидя на краю тротуара, вдовы погибших в море рыбаков просили милостыню. Первое время Анри с Надин с гневом смотрели на богачек в шикарных мехах, величественно отвечавших нищим: «Наберитесь терпения!» Теперь они сами убегали, как воры, когда к ним протягивались руки: их было слишком много.

— Купи себе что-нибудь, — сказал Анри, остановив Надин у кондитерской. Она вошла; два бритых мальчика уткнулись носами в стекло; когда она

вышла с бумажными пакетиками в руках, они закричали. Надин остановилась.

— Что они говорят? Он заколебался.

— Что тебе повезло, ты можешь есть, когда голодна.

— О!

Резким движением она бросила им в руки набитые пакеты.

— Нет. Я дам им денег, — сказал Анри. Она потащила его.

— Оставь, они отбили у меня аппетит, эти паршивые сопляки.

— Ты хотела есть.

— Говорю тебе: больше не хочу.

Они сели в машину и какое-то время ехали молча.

— Надо было поехать в другую страну, — произнесла Надин сдавленным голосом.

— Куда?

— Не знаю. Но ты-то должен знать.

— Нет, и я не знаю, — ответил он.

— Должна же быть какая-то страна, где можно жить, — сказала она и вдруг расплакалась.

Он смотрел на нее с изумлением: слезы Поль были естественны, словно дождь; но видеть плачущую Надин было так же неловко, как если бы он застал врасплох рыдающего Дюбрея. Анри обнял ее за плечи и притянул к себе:

— Не плачь. Не плачь.

Он гладил ее жесткие волосы; почему он не сумел заставить ее улыбаться? Почему на сердце у него так тяжело? Надин вытерла слезы и шумно высморкалась.

— А ты был счастлив в молодости? — спросила она.

— Да, был.

— Вот видишь!

— Ты тоже, тоже когда-нибудь будешь счастлива.

Ему следовало сильнее прижать ее к себе и сказать: «Я сделаю тебя счастливой». В эту минуту у него было такое желание: минутное желание взять обязательство на всю жизнь. Он ничего не сказал. И вдруг подумал: «Прошлое не возвращается; прошлое не вернется».

— Венсан! — Надин ринулась к выходу. Венсан в форме военного корреспондента, улыбаясь, махал рукой. Поскользнувшись на каучуковых подошвах, Надин удержалась, ухватившись за руку Венсана. — Привет!

— Привет путешественникам! — весело сказал Венсан и присвистнул от восхищения: — Какая ты нарядная!

— Настоящая дама, а? — отвечала Надин, по-

ворачиваясь во все стороны: в меховом манто, чулках, туфлях она выглядела элегантной и почти женственной.

— Дай-ка мне! — сказал Венсан, хватая огромный вещевой мешок, который Анри волочил за собой. — Это что, труп?

— Пятьдесят килограммов жратвы! — отвечал Анри. — Надин снабжает свою семью; целая проблема, как их дотащить до набережной Вольтера.

— Никакой проблемы, — с торжествующим видом заявил Венсан.

— Ты украл джип? — спросила Надин.

— Ничего я не украл.

Он решительно пересек вокзальный двор и остановился перед маленькой черной машиной.

— Хороша, правда?

— Она наша? — спросил Анри.

— Да. Люк наконец изловчился; что ты на это скажешь?

— Она маленькая, — заметила Надин.

— Это здорово нам поможет, — сказал Анри, открывая дверцу. Они кое-как распихали багаж.

— Возьмешь меня покататься? — спросила Надин.

— Ты что, спятила? — возмутился Венсан. — Это

рабочий инструмент. Ну конечно, со всем вашим грузом тут тесновато, — согласился он, усаживаясь за руль; и машина тронулась с мучительными всхлипами.

— Ты уверен, что умеешь водить? — спросила Надин.

— Если бы ты видела меня в ту ночь, когда я без фар мчался на джипе по заминированным дорогам, ты не оскорбляла бы меня без причин. — Венсан взглянул на Анри: — Я высажу Надин и отвезу тебя в редакцию?

— Хорошо. Как дела в «Эспуар»? В этой проклятой стране я не видел ни одного номера. Мы все так же выходим в формате почтовой марки?

— Все так же; они дали разрешение двум новым газетам, а для нас не находят бумаги; Люк введет тебя в курс лучше меня: я только что вернулся с фронта.

— Но тираж не понизился?

— Не думаю.

Анри не терпелось вновь очутиться в редакции; вот только Поль наверняка звонила на вокзал и знает, что поезд не опоздал; она ждала, не сводя глаз со стрелок часов, прислушиваясь к малейшему шуму. Когда они оставили Надин с ее вещами в кабине лифта, Анри сказал:

— Пожалуй, сначала я заеду домой.

— Но ребята ждут тебя, — заметил Венсан.

— Скажи им, что я буду в редакции через час.

— В таком случае я оставляю тебе ролле, — заявил Венсан. Остановив машину перед собачьей лечебницей, он спросил: — Я выгружу чемоданы?

— Только самый маленький; спасибо.

Анри с сожалением толкнул дверь, с шумом задевшую мусорный ящик; залаяла собака консьержки; Поль открыла прежде, чем Анри успел постучать.

— Это ты! Наконец-то! — На мгновение она застыла в его объятиях, затем отступила. — Хорошо выглядишь, загорел! Возвращение было не слишком утомительным? — Она улыбалась, но маленький мускул судорожно дергался в уголке ее губ.

— Нисколько. — Он поставил на диван чемодан: — Это тебе.

— Какой ты милый!

— Открой его.

Она открыла: шелковые чулки, замшевые босоножки и сумочка в тон, ткани, шарфы, перчатки, каждую вещь он выбирал с тревожной заботливостью и был слегка разочарован, потому

что она смотрела, ни к чему не прикасаясь, не наклоняясь, с видом взволнованным и немного снисходительным.

— Какой ты милый! — повторила она, с живостью обратив взгляд на него. — А твой чемодан, где он?

— Внизу, в машине. Может, ты знаешь, у «Эспуар» теперь есть машина: Венсан приезжал на ней встречать меня, — оживленно рассказывал он.

— Я позвоню консьержке, чтобы она принесла твой чемодан, — сказала Поль.

— Не стоит, — возразил Анри и быстро продолжал: — Как ты провела месяц? Погода была не слишком плохая? Ты выходила иногда?

— Иногда, — уклончиво отвечала она. Лицо ее застыло.

— С кем ты встречалась? Что поделывала? Расскажи мне.

— О! Ничего интересного, — ответила она. — Не будем говорить обо мне. — И продолжала с живостью, но рассеянным тоном: — Знаешь, твоя книга — это настоящий триумф.

— Я ничего не знаю; действительно все хорошо?

— О! Критики, разумеется, ничего не поняли, но почуяли шедевр.

— Я очень доволен, — сказал он с вымученной улыбкой; ему страшно хотелось задать несколько вопросов, но манера выражаться Поль была ему нестерпима. Он переменил тему: — Ты встречалась с Дюбреями? Как они?

— Я мельком видела Анну, у нее много работы.

Отвечала она неохотно, а ему не терпелось вернуться к своей жизни!

— Ты сохранила номера «Эспуар»?

— Я их не читала.

— Нет?

— Ты же там не писал, а у меня на уме было другое. — Она искала его взгляд, лицо ее оживилось. — Я много думала и многое поняла за этот месяц. Я сожалею о сцене, которую устроила перед твоим отъездом, искренне сожалею.

— О! Не будем говорить об этом! — возразил он. — И прежде всего ты не устраивала никакой сцены.

— Нет! — настаивала она. — И, повторяю, я об этом сожалею. Видишь ли, я давно знала, что ни одна женщина не может быть всем для такого мужчины, как ты, и даже все женщины вместе взятые; знала, но по-настоящему не соглашалась с этим. Теперь я готова любить тебя с полной отдачей, любить ради тебя, а не ради себя. У тебя своя

миссия, и она должна быть на первом месте.

— Какая миссия?

Ей удалось улыбнуться.

— Я поняла, что нередко бывала тебе в тягость, и понимаю твое желание снова побыть немного наедине с самим собой. Но ты можешь быть уверен: одиночество, свобода, я обещаю их тебе. — Она выразительно смотрела на Анри. — Ты свободен, любовь моя, знай это; впрочем, разве ты не доказал это только что?

— Да, — согласился он и нерешительно добавил: — Но я объяснил тебе...

— Я помню, — сказала она, — но поверь, что я действительно изменилась и у тебя больше нет никаких причин переезжать в гостиницу. Послушай: тебе хочется независимости, приключений, но ведь ты хочешь и меня тоже?

— Разумеется.

— Тогда оставайся здесь; клянусь тебе, ты не пожалеешь об этом; ты увидишь, какая перемена произошла во мне и как легко тебе будет отныне со мной. — Она встала и протянула руку к телефонной трубке: — Племянник консьержки принесет твой чемодан.

Анри тоже встал и пошел к внутренней лестнице. «Позже», — подумал он. Нельзя же было с

первых минут снова начать ее мучить.

— Пойду приведу себя немного в порядок, — сказал он. — Меня ждут в редакции. Я заскочил лишь обнять тебя.

— Я прекрасно понимаю, — с нежностью ответила она.

«Она постарается доказать мне, что я свободен, — с неприязнью подумал он, садясь в маленькую черную машину. — О! Но это ненадолго, я не задержусь у нее, — зло пообещал он себе и решил: — Завтра же попробую разобраться с этим». А сейчас ему не хотелось больше о ней думать; он до того был рад снова очутиться в Париже! На улицах было пасмурно, минувшей зимой люди намерзлись и наголодались, но теперь наконец все ходили в башмаках; к тому же можно было говорить с ними и от их имени; в Португалии его больше всего угнетало то, что он чувствовал себя бесполезным свидетелем чужого несчастья. Выйдя из машины, Анри с нежностью взглянул на фасад здания. Как идут дела в «Эспуар»? Правда ли, что роман его пользуется успехом? Он торопливо поднялся по лестнице, и тут же раздались приветственные возгласы; на потолке в коридоре висел плакат: «Добро пожаловать, путешественник». Стоя у стены, они образовали

шеренгу, размахивая вместо шпаг своими авторучками и распевая неразборчивый куплет, где Салазар рифмовался с динозавром; отсутствовал один лишь Ламбер; почему?

— А теперь в бар! — крикнул Люк; он тяжело опустил руку на плечо Анри: — Все было хорошо?

— Ты здорово загорел!

— Вот это ботиночки!

— Ты привез нам репортаж?

— А ты видел его рубашку!

Пока бармен наполнял стаканы, они щупали костюм, галстук, восклицали, задавали вопрос за вопросом. Он, в свою очередь, тоже спрашивал; тираж немного понизился, но они снова будут выходить большим форматом, и это поправит дела; произошла одна история с цензурой, но ничего серьезного; все хорошо отзывались о его книге, с ума сойти, сколько писем ему пришло, на своем письменном столе он найдет подшивку «Эспуар», возможно, удастся втихомолку получить дополнительную бумагу через Престона, американку, это позволит выпускать воскресный иллюстрированный журнал, предстояло обсудить множество других тем. Анри чувствовал себя немного одуревшим из-за трех почти бессонных ночей, из-за

этого шума, этих голосов, смеха и свалившихся на него проблем, одуревшим и счастливым. Что за идея — отправиться в Португалию искать мертвое и похороненное прошлое, когда настоящее исполнено такой живой радости.

— Я страшно рад, что вернулся, — с жаром произнес он.

— Нельзя сказать, что мы не рады тебя видеть, — ответил Люк. И добавил: — Нам даже стало тебя недоставать; предупреждаю, тебя ждет работа, и немалая.

— Я очень на это надеюсь.

Стучали пишущие машинки; пошучивая и посмеиваясь, все разошлись по коридорам; какими они казались молодыми после страны, где ни у кого не было возраста! Анри толкнул дверь своего кабинета и с удовлетворением старой канцелярской крысы сел в кресло. Разложил перед собой последние номера «Эспуар»: привычные подписи, хорошая верстка, не пропадало ни дюйма бумаги. Он перескочил на месяц назад и стал просматривать номера один за другим; они прекрасно справлялись без него, именно это и доказывало его успех: «Эспуар» — не только приключение военных лет, то было весьма солидное предприятие; превосходны статьи Венсана о

Голландии, еще лучше статьи Ламбера о лагерях; они определенно сумели найти нужный тон: никакой глупости, никакой лжи или пустой болтовни; «Эспуар» трогала интеллигенцию своей честностью и привлекала широкую публику, потому что была такой живой. Единственное слабое место: посредственные статьи Сезенака.

— Можно войти?

В дверном проеме застенчиво улыбался Ламбер.

— Разумеется! Где ты прячешься? Вполне мог бы прийти на вокзал, подлый изменник.

— Я подумал, для четверых не хватит места, — смущенно сказал Ламбер. — А их маленький праздник... — добавил он, скривив губы, и тут же прервал себя: — Но теперь я, должно быть, тебе мешаю?

— Нисколько. Садись же.

— Хорошая была поездка? — Ламбер пожал плечами: — Тебя, верно, уже раз двадцать об этом спрашивали.

— И хорошая, и плохая; прекрасная декорация и семь миллионов голодающих.

— Ткани у них хорошие, — заметил Ламбер, с одобрением разглядывая Анри, и улыбнулся: — Там такая мода — ботинки апельсинового цвета?

— Апельсинового или лимонного, зато кожа хорошая. Для богатых есть все, и это самое скверное; я расскажу тебе, но сначала поведай здешние новости. Я только что прочитал твои статьи: знаешь, они хорошие.

— Похоже на сочинение по французскому языку, — с насмешкой в голосе произнес Ламбер: — Опишите ваши впечатления от посещения концлагерей; думаю, нас было больше двадцати, писавших на эту тему. — Лицо его просияло. — А вот твоя книга — это действительно здорово; не сомкнув глаз, я рулил всю ночь и весь день и был измотан, когда начал ее читать, а прочитал залпом, я не мог заснуть, пока не кончил ее.

— Ты меня очень обрадовал! — сказал Анри.

Комплименты всегда вызывают неловкость; однако Ламбер в самом деле порадовал его; именно об этом он и мечтал: чтобы всю ночь напролет, горя нетерпением, его читал юноша. Только ради одного этого стоило писать: особенно ради этого.

— Я подумал, тебе интересно будет взглянуть на критику, — сказал Ламбер и бросил на стол толстый желтый конверт. — Я тоже добавил сюда свой маленький куплет.

— Конечно, мне это интересно, спасибо, — ответил Анри. Ламбер с некоторой тревогой взглянул

на него.

— Ты там писал?

— Репортаж.

— Но теперь ты подаришь нам новый роман?

— Я примусь за него, как только появится время.

— Найди его, — сказал Ламбер. — Пока ты отсутствовал, я подумал... — Он покраснел. — Ты должен защищаться.

— От кого? — с улыбкой спросил Анри. И снова Ламбер заколебался.

— Похоже, Дюбрей ожидает тебя с нетерпением. Не позволяй втягивать себя в его начинания...

— Я уже так или иначе втянут, — ответил Анри.

— Так вот, торопись выбраться. Анри улыбнулся:

— Нет. Сегодня уже нельзя оставаться вне политики. Ламбер помрачнел:

— Значит, ты меня осуждаешь?

— Вовсе нет. Я хочу сказать, что для меня это уже невозможно. У нас разный возраст.

— При чем тут возраст? — спросил Ламбер.

— Сам потом разберешься. Начинаешь понимать какие-то вещи, меняешься. — Он улыбнулся: — Обещаю тебе, что найду время писать.

— Это необходимо, — настаивал Ламбер.

— Послушай, ты так хорошо проповедуешь, а где твои-то новеллы, о которых ты мне говорил?

— Они ничего не стоят, — ответил Ламбер.

— Принеси их мне, а потом поужинаем вместе в ближайшие дни, и я тебе скажу, что о них думаю.

— Хорошо, — согласился Ламбер. Он встал. — Думаю, ты не захочешь ее принять, но крошка Мари-Анж Визе непременно желает взять у тебя интервью, она ждет уже два часа, что ей сказать?

— Что я никогда не даю интервью и что у меня полно работы.

Ламбер закрыл за собой дверь, и Анри вытряхнул на стол содержимое желтого конверта. На распухшей папке секретарша сделала надпись: Отклики на роман. На секунду он застыл в нерешительности. Этот роман он писал во время войны, не думая о судьбе, которая его ждет, он даже не был уверен, что его вообще ждет какая-то судьба, а теперь книга напечатана, и люди прочли ее; Анри давали оценку, обсуждали, разбирали, как сам он довольно часто давал оценку и обсуждал других. Анри разложил вырезки и стал пробегать их глазами. Поль говорила: «Три-

умф», он решил, что она преувеличивает; однако и критики тоже употребляли громкие слова. Ламбер, конечно, был пристрастен, Лашом тоже, да и все эти только что появившиеся молодые критики со всей очевидностью благоволили к писателям — участникам Сопротивления; но теплые письма, отправленные друзьями и людьми незнакомыми, подтверждали вердикт прессы. Даже не возомнив о себе невесть что, действительно было чему радоваться: написанные с чувством страницы вызывали ответные чувства. Анри радостно потянулся. Произошло нечто вроде чуда. Два года назад плотные шторы занавешивали закрашенные синим окна; он был отрезан от темного города и от всей земли, его авторучка в нерешительности повисала над бумагой, а сегодня те неясные звуки в его горле обрели в мире живой голос; потаенные порывы его сердца превратились в истину для других сердец. «Мне следовало бы объяснить Надин, — подумал он. — Если другие не в счет, писать не имеет смысла. Но если их ценишь, это потрясающе — вызывать словами их дружбу, доверие; потрясающе видеть, как находят у них отклик твои собственные мысли». Он поднял глаза: открылась дверь.

— Я прождала два часа, — послышался жа-

лобный голос, — удели мне хоть четверть часа. — Мари-Анж решительно встала перед его письменным столом. — Это для газеты «Ландемен», большая статья с фотографией на первой странице.

— Послушай, я никогда не даю интервью.

— Вот именно, и потому мое будет бесценным.

Анри покачал головой, и она с возмущением продолжала:

— Не станешь же ты разрушать мою карьеру из-за какого-то принципа? Он улыбнулся; для нее это так много значило — четверть часа беседы, а

ему — почти ничего не стоило! По правде говоря, у него, пожалуй, появилось настроение говорить о себе. Среди людей, которым понравилась его книга, наверняка были такие, кто желал бы лучше узнать автора; ему хотелось дать им разъяснения. Чтобы их симпатия была действительно обращена к нему.

— Хорошо, — согласился он. — Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?

— Ну, прежде всего, откуда ты родом?

— Мой отец был аптекарем в Тюле.

— Дальше? — спросила она.

Анри заколебался; не так-то просто ни с того ни с сего начать вдруг рассказывать о себе.

— Ну же, — настаивала Мари-Анж. — Поведай мне одно-два детских воспоминания.

Воспоминания у него имелись, как у всех, но они казались ему незначительными, за исключением того ужина в столовой в стиле Генриха II, во время которого он избавился от страха.

— Ладно, вот, пожалуй, одно из них, — сказал он. — Вроде бы сущие пустяки, но для меня это было началом многих вещей.

Мари-Анж с ободряющим видом смотрела на него, ее карандаш повис над блокнотом, и он продолжал:

— Основной темой разговора у моих родителей были грозившие миру катастрофы: красная опасность, желтая опасность, варварство, декаданс, революция, большевизм; мне это представлялось в виде страшных чудовищ, которые должны сожрать все человечество. Тем вечером мой отец пророчествовал по своему обыкновению: революция неминуема, цивилизация гибнет, а мать с испуганным видом соглашалась с ним. И тут вдруг я подумал: «Но в любом случае те, кто одержит победу, будут людьми». Возможно, слова, которые я сказал себе, были другими, но смысл именно таков. — Анри улыбнулся. — Эффект оказался поразительным. Никаких чудовищ,

мы находились на земле, средь человеческих существ, в своем кругу.

— И что? — спросила Мари-Анж.

— С того дня я стал преследовать чудовищ, — ответил он. Мари-Анж озадаченно смотрела на Анри.

— Но как все-таки закончилась твоя история?

— Какая история?

— Та, которую ты начал рассказывать, — в нетерпении сказала она.

— Другого конца нет. Она закончена, — ответил Анри.

— А-а! — молвила Мари-Анж и жалобно добавила: — Мне хотелось чего-нибудь яркого!

— О! Ничего яркого в моем детстве не было, — сказал Анри. — Аптека нагоняла на меня смертельную скуку, и я досадовал, что живу в провинции. К счастью, в Париже у меня был дядя, который определил меня в «Вандреди»[{45}].

Анри умолк; о первых своих годах в Париже ему было что рассказать, но он не знал, что выбрать из множества разных вещей.

— «Вандреди», это же левое издание, — заметила Мари-Анж. — У тебя тогда уже были левые взгляды?

— У меня главным образом вызывали отвраще-

ние правые взгляды.

— Почему же? Анри задумался.

— В двадцать лет я был честолюбив и потому стал демократом. Хотел быть первым, но первым среди равных. Если соревнование фальсифицировано с самого начала, ставка теряла всякую ценность.

Мари-Анж царапала что-то в блокноте; вид у нее был не слишком умный. Анри искал доступные слова. «Между шимпанзе и последним из людей гораздо больше разницы, чем между этим человеком и Эйнштейном! Сознание, которое свидетельствует само за себя, это абсолют». Он собирался открыть рот, но Мари-Анж опередила его:

— Расскажи мне о своих первых шагах.

— Каких именно?

— О твоих первых шагах в литературе.

— Я всегда более или менее пописывал.

— Сколько тебе было, когда появилось «Злосчастье»?

— Двадцать пять.

— Тебя выдвинул Дюбрей?

— Он мне очень помог.

— Как ты с ним познакомился?

— Послали взять у него интервью, а он сам

заставил меня говорить, сказал, чтобы я пришел к нему еще, и я пришел...

— Приведи какие-нибудь подробности, — жалобным голосом попросила Мари-Анж. — Ты очень плохо рассказываешь. — Она посмотрела ему в глаза. — О чем вы говорите, когда бываете вместе?

Он пожал плечами.

— Обо всем и ни о чем, как другие.

— Он побуждал тебя писать?

— Да. И когда я закончил «Злосчастье», он дал почитать роман Мовану{46}, который тут же принял его...

— Книга принесла тебе большой успех?

— Довольно широкую популярность. Знаешь, до чего забавно...

— Да, расскажи мне что-нибудь забавное! — сказала она, заинтересовавшись. Анри ответил, подумав:

— Забавно вот что: поначалу тебя одолевают мечты о громкой славе, но потом довольствуешься и первым малым успехом...

Мари-Анж вздохнула.

— Названия других твоих книг и даты у меня есть. Тебя мобилизовали?

— В пехоту по второму призывному контин-

генту. Я не собирался становиться офицером. Был ранен девятого мая в Мон-Дьё, возле Вузье, эвакуирован в Монтелимар; в Париж вернулся в сентябре.

— Чем именно ты занимался в Сопротивлении?

— В тысяча девятьсот сорок первом году мы с Люком основали «Эспуар».

— Но у тебя были и другие обязанности?

— Это неинтересно, оставь.

— Ладно. Твоя последняя книга, когда в точности ты ее написал?

— Между сорок первым и сорок третьим.

— Ты уже начал что-нибудь другое?

— Нет, но скоро начну.

— Что? Роман?

— Роман, но пока все еще очень неопределенно.

— Я слышала разговоры о каком-то журнале?

— Да, вместе с Дюбреем я займусь ежемесячником, который выйдет у Мована и будет называться «Вижиланс».

— Что это за политическая партия, которую создает сейчас Дюбрей?

— Объяснять было бы долго.

— Но все-таки?

— Спроси лучше у него.

— К нему не подберешься. — Мари-Анж вздохнула: — Какие вы странные. Если бы я была знаменитой, я все время раздавала бы интервью.

— В таком случае у тебя не оставалось бы времени что-либо делать и ты никогда не стала бы знаменитой. А теперь, будь любезна, дай мне поработать.

— Но у меня еще куча вопросов: какие впечатления ты привез из Португалии? Анри пожал плечами:

— Это отвратительно.

— Почему?

— По всему.

— Объяснись хоть немного; не могу же я просто так сказать своим читателям: это отвратительно.

— Хорошо, скажи им, что патернализм Салазара — это гнусная диктатура и что американцам следует поскорее выгнать его, — торопливо проговорил Анри. — К несчастью, это произойдет не завтра: он собирается продать им военно-воздушные базы на Азорских островах.

Мари-Анж нахмурилась, и Анри добавил:

— Если тебя это смущает, не говори ничего; я обо всем расскажу в «Эспуар».

— Нет, я напишу об этом! — заявила Мари-Анж. И добавила, с глубокомысленным видом взглянув на Анри: — Какие внутренние причины побудили тебя предпринять это путешествие?

— Послушай, чтобы преуспеть в своем ремесле, тебе не обязательно задавать идиотские вопросы. И повторяю: хватит, будь любезна, уйди.

— Мне хотелось бы забавных историй.

— У меня их нет.

Мари-Анж удалилась мелкими шажками. Анри испытывал некоторое разочарование: она не задала вопросов, которые следовало бы задать, он не сказал ничего из того, что хотел бы сказать. Хотя что именно нужно было сказать? «Мне хотелось бы, чтобы мои читатели знали, кто я есть, но я ведь и сам хорошенько не определился». В конце концов, через несколько дней он снова возьмется за книгу и попытается по порядку разобраться в себе.

Анри принялся разбирать свою почту; сколько предстоит просмотреть телеграмм и газетных вырезок, написать писем, со сколькими людьми встретиться! Люк предупреждал его: работы много. Следующие несколько дней Анри провел, запершись в своем кабинете; к Поль он возвращался лишь спать, и у него едва хватало

времени на репортаж, за которым приходили из типографии, буквально вырывая страничку за страничкой. После чересчур долгих каникул Анри нравилась такая бурная деятельность. Он без энтузиазма узнал в телефонной трубке голос Скрясина.

— Послушай, злой изменник, вот уже четыре дня как ты вернулся, а тебя до сих пор не видно. Приезжай немедленно в «Избу», улица Бальзака.

— Сожалею, но у меня работа.

— Ни о чем не жалей, приезжай: тебя ждут, чтобы выпить дружеский бокал шампанского.

— Кто меня ждет? — весело спросил Анри.

— Я вместе с другими, — послышался голос Дюбрея, — и Анна, и Жюльен. Мне надо сказать вам множество вещей. Что вы там торчите? Неужели не можете вылезти из своей норы на час-другой?

— Я рассчитывал зайти к вам завтра, — сказал Анри.

— Приходите в «Избу» сейчас.

— Ладно, иду.

Анри с улыбкой повесил трубку; ему страшно хотелось встретиться с Дюбреем. Он позвонил Поль:

— Это я. Дюбрей и Скрясин ждут нас в «Избе». Да, «Изба»; я знаю не больше, чем ты; заеду за

тобой на машине.

Через полчаса он вместе с Поль спускался по лестнице между двумя рядами разнаряженных казаков; на Поль было длинное платье, совсем новое: пожалуй, зеленое не очень ей шло.

— Что за странное место, — прошептала она.

— Со Скрясиным всего можно ожидать.

На улице ночь была такой безлюдной и безмолвной, поэтому роскошь «Избы» вселяла тревогу: казалось, это некое извращенное преддверие комнаты пыток. Обитые стены были раскрашены кровью, кровь стекала в складки обивки, и рубашки цыганских музыкантов отливали красным.

— А, вот и вы! Вам удалось от них ускользнуть? — спросила Анна.

— Судя по виду, они целы и невредимы, — заметил Жюльен.

— Мы только что подверглись нападению журналистов, — пояснил Дюбрей.

— Журналистов, вооруженных фотоаппаратами, — добавила Анна.

— Дюбрей был неотразим, — заикаясь, восторженно заявил Жюльен.— Он сказал... Я уже не помню, что именно, знаю только, что он попал в точку. Еще немного, и он бы врезал им...

Они говорили все разом, все, кроме Скрясина, который улыбался с видом некоторого превосходства.

— Я правда думала, что Робер бросится на них, — сказала Анна.

— Он заявил: «Мы не ученые обезьяны», — словно в озарении вспомнил Жюльен.

— Я всегда считал свое лицо моей персональной собственностью, — с достоинством произнес Дюбрей.

— Дело в том, — заметила Анна, — что для таких людей, как вы, нагота начинается как раз с лица; показать ваш нос и глаза — это уже эксгибиционизм.

— Эксгибиционистов не фотографируют, — возразил Дюбрей.

— И напрасно, — заметил Жюльен.

— Пей, — сказал Анри, протягивая Поль рюмку водки. — Пей, мы сильно опоздали. — Выпив свою рюмку, он спросил: — Но как они узнали, что вы здесь?

— И верно? — подхватили они, удивленно переглядываясь. — Как?

— Полагаю, что позвонил метрдотель, — сказал Скрясин.

— Но он ведь нас не знает, — возразила Анна.

— Зато знает меня, — ответил Скрясин. И с видом провинившейся женщины смущенно прикусил нижнюю губу. — Мне хотелось, чтобы он воздал вам по заслугам, вот я и сказал ему, кто вы.

— Похоже, вы сделали глупость, — заметил Анри. Его всегда удивляло детское тщеславие Скрясина.

Дюбрей расхохотался.

— Он сам нас выдал! Такого не придумаешь! — Дюбрей с живостью повернулся к Анри. — Ну как путешествие? Вместо каникул вы, похоже, потратили свое время на лекции и расследования.

— О! Я все-таки и гулял тоже, — возразил Анри.

— Ваш репортаж скорее вызывает желание отправиться погулять куда-нибудь еще: печальная страна!

— Это было печально, но прекрасно! — весело сказал Анри. — Главным образом, это печально для португальцев.

— Не знаю, нарочно ли вы это сделали, — заметил Дюбрей, — но, когда вы говорите, что море было голубым, голубизна приобретает зловещий оттенок.

— Иногда так оно и было, но не всегда. — Анри улыбнулся: — Вы же знаете, как бывает, когда

пишешь.

— Да, — вмешался Жюльен. — Надо лгать, чтобы не быть правдивым.

— Во всяком случае, я рад, что вернулся, — признался Анри.

— Однако вы не торопитесь встретиться со своими друзьями?

— Напротив, я очень торопился, — сказал Анри. — Каждое утро я говорил себе, что заскочу к вам, а потом вдруг оказывалось, что уже полночь.

— Да, — ворчливым тоном произнес Дюбрей. — Ну что ж, постарайтесь завтра лучше следить за часами; мне необходимо ввести вас в курс многих вещей. — Он улыбнулся: — Думаю, старт у нас получится хороший.

— Вы начинаете вербовать? Самазелль принял решение? — спросил Анри.

— Он не со всем согласен; но мы найдем компромисс, — пообещал Дюбрей.

— Этой ночью никаких серьезных разговоров! — заявил Скрясин; он подал знак метрдотелю с надменным моноклем: — Две бутылки шампанского «Мумм» брют.

— Это совершенно необходимо? — спросил Анри.

— Он привык выполнять приказы. — Скрясин

следил глазами за метрдотелем. — После тридцать девятого года он здорово сдал; это бывший полковник.

— Ты завсегдатай здешнего притона? — спросил Анри.

— Каждый раз, как у меня появляется желание разбередить сердце, я прихожу слушать эту музыку.

— Существует столько других, менее дорогих способов! — заметил Жюльен. — Впрочем, все сердца давно разбиты, — заключил он с рассеянным видом.

— Мое сердце может тронуть только джаз, — сказал Анри, — цыгане навевают на меня скуку.

— О! — молвила Анна.

— Джаз! — подхватил Скрясин. — В «Сыне Авеля» у меня есть страницы с окончательным суждением о джазе.

— Вы думаете, можно написать что-нибудь окончательное? — высокомерным тоном спросила Поль.

— Я не спорю, прочтите сами, — ответил Скрясин. — В ближайшее время выйдет французское издание. — Он пожал плечами. — Пять тысяч экземпляров — это просто смешно! К значительным книгам следовало бы подходить с иными

мерками. Какой у тебя тираж?

— Все те же пять тысяч, — ответил Анри.

— Абсурд. Ведь в конце-то концов ты написал книгу об оккупации. У подобного произведения тираж должен бы быть сто тысяч.

— Объясняйся с министром информации, — ответил Анри. Не допускающий возражений энтузиазм Скрясина раздражал его; среди друзей не принято говорить о своих книгах: это смущает всех и никому не доставляет удовольствия.

— В следующем месяце мы собираемся выпустить журнал, — сказал Дюбрей. — Так вот клянусь вам, это была целая история — получить бумагу!

— А все потому, что министр не знает своего дела, — заметил Скрясин. — Уж я бы нашел ему бумагу.

Обрушиваясь с присущими ему нравоучительными интонациями на какую-нибудь техническую проблему, Скрясин бывал неистощим. Пока он услужливо наводнял Францию бумагой, Анна тихонько произнесла:

— Знаете, за последние двадцать лет, мне думается, ни одна книга не тронула меня так, как ваш роман; это... именно та книга, какую хотелось прочитать после минувших четырех лет. Она до

того меня взволновала, что я несколько раз вынуждена была закрывать ее и бродить по улицам, чтобы успокоиться. — Анна вдруг покраснела. — Когда говоришь такие вещи, то чувствуешь себя глупо, но еще глупее не говорить их; это ведь не может огорчить.

— Напротив, это доставляет удовольствие, — сказал Анри.

— Вы задели за живое многих людей, — продолжала Анна, — всех тех, кто не желает забывать, — добавила она с некоторым пылом. Он приветливо улыбнулся ей; в этот вечер на ней было платье из шотландки, которое молодило ее, и подкрашена она была хорошо; в каком-то смысле Анна выглядела гораздо моложе Надин. Надин никогда не краснела.

Скрясин повысил голос:

— Этот журнал может стать вполне весомым орудием и культуры, и действия, но при условии, что будет выражать не только интересы одной группки. Полагаю, в вашу команду должен войти такой человек, как Луи Воланж.

— И речи быть не может, — заявил Дюбрей.

— Слабость, проявленная интеллектуалом, не такая серьезная вещь, — заметил Скрясин. — Существует ли интеллектуал, который никогда не

ошибался? — И добавил мрачным тоном: — Неужели всю жизнь надо нести груз своих ошибок?

— Быть членом партии в СССР в тысяча девятьсот тридцатом году вовсе не ошибка, — возразил Дюбрей.

— Если нет права ошибаться, то это было преступлением.

— Дело тут совсем не в праве, — сказал Дюбрей.

— Как вы решаетесь брать на себя функции судей? — продолжал Скрясин, не слушая его. — А вам известны доводы Воланжа, его оправдания? Вы уверены, что все люди, которых вы принимаете в свою команду, лучше, чем он?

— Мы не судим, — возразил Анри. — Мы занимаем определенную позицию, это разные вещи.

Воланж был достаточно ловок, чтобы не скомпрометировать себя серьезно; но Анри поклялся себе никогда не подавать ему больше руки; впрочем, он ничуть не удивился, когда прочел статьи, которые Луи писал в свободной зоне: после окончания лицея их дружба обернулась чуть ли не явной враждой.

С разочарованным видом Скрясин пожал плечами и сделал знак метрдотелю:

— Еще бутылку. — Он снова украдкой разгля-

дывал старого эмигранта. — Вас не поражает это лицо? Мешки под глазами, морщинистый рот — все признаки упадка; до войны на нем еще сохранялись следы надменности; однако слабоволие и сословная подлость вместе с предательством подтачивают их.

Скрясин не спускал с метрдотеля завороженного взгляда, и Анри подумал: «Это его илот». Он тоже бежал из своей страны, и дома его называли предателем; этим-то, безусловно, и объяснялось тщеславие Скрясина: у него не было ни иной родины, ни иного свидетеля, кроме себя самого, и, следовательно, ему требовалось убедиться, что где-то в мире его имя что-то значит.

— Анна! — воскликнула Поль. — Какой ужас!

Анна вылила свою рюмку водки в бокал шампанского.

— Это оживляет шампанское, — пояснила она. — Попробуй, тебе понравится.

Поль покачала головой.

— Почему ты ничего не пьешь? — спросила Анна. — Когда пьешь, становится веселее.

— Когда пью, я пьянею. Жюльен рассмеялся.

— Вы напоминаете мне одну девушку — очаровательную девушку, которую я встретил у двери маленького отеля на улице Монпарнас. «О!

Жизнь меня убивает...» — говорила она.

— Она этого не говорила, — возразила Анна.

— Но могла бы сказать.

— Впрочем, она права, — заявила Анна поучительным тоном пьяницы. — Жить — это понемножку умирать...

— Да замолчите же ради Бога! — взмолился Скрясин. — Если сами не слушаете, дайте хоть мне послушать!

Оркестр как раз яростно заиграл «Очи черные».

— Пускай бередит себе сердце, — сказала Анна.

— На осколках разбитого сердца... — прошептал Жюльен.

— Да замолчите наконец!

Они умолкли. Устремив взор на танцующие пальцы скрипача, Скрясин с потерянным видом внимал какому-то давнишнему воспоминанию. Он считал проявлением мужества навязывать свои капризы; однако ему уступали, словно нервозной женщине, такая покорность должна была бы насторожить его, возможно, и настораживала. Анри улыбнулся, глядя на Дюбрея, барабанившего пальцами по столу; его учтивость казалась неиссякаемой, если ее не подвергали чересчур долгому испытанию, в противном случае

быстро замечали, что у нее есть пределы. Анри очень хотелось побеседовать с ним спокойно, но нетерпения он не испытывал; он не любил ни шампанское, ни цыганскую музыку, ни эту фальшивую роскошь: и все-таки чем не праздник — сидеть в два часа утра в общественном месте. «Мы снова у себя дома», — подумал он. Анна, Поль, Жюльен, Скрясин, Дюбрей: «мои друзья»; слово радостно искрилось в его сердце, словно рождественский огонек.

Пока Скрясин бешено аплодировал, Жюльен увлек Поль танцевать; Дюбрей повернулся к Анри:

— А люди, которых вы там видели, надеются на революцию?

— Надеются; к несчастью, Салазар не падет до тех пор, пока не прогонят Франко, а американцы, судя по всему, с этим не торопятся.

Скрясин пожал плечами:

— Я понимаю, что у них нет желания создавать коммунистические базы на Средиземном море.

— Из страха перед коммунизмом ты готов принять Франко? — с недоверием в голосе спросил Анри.

— Боюсь, что вы не совсем понимаете ситуацию, — сказал Скрясин.

— Успокойтесь, — весело ответил Дюбрей, — мы прекрасно ее понимаем. Скрясин открыл было рот, но Дюбрей со смехом остановил его:

— Да, вы смотрите далеко, и все-таки вы не Нострадамус; о том, что произойдет через пятьдесят лет, вам известно не больше, чем нам. Зато не вызывает сомнений тот факт, что в настоящий момент сталинская опасность — это американская выдумка.

Скрясин подозрительно взглянул на Дюбрея:

— Вы говорите в точности как коммунист.

— Прошу прощения! Коммунист не скажет вслух того, что я сейчас сказал, — возразил Дюбрей. — Когда нападают на Америку, они обвиняют вас в том, что вы играете на руку пятой колонне.

— Инструкция скоро изменится, — заметил Скрясин. — Вы опережаете их на несколько недель, вот и все. — Он нахмурился. — Меня часто спрашивают, по каким вопросам вы расходитесь с коммунистами, и, признаться, мне трудно ответить.

Дюбрей рассмеялся:

— А вы не отвечайте.

— Послушай! — вмешался Анри. — Я думал, что серьезные разговоры под запретом.

Раздраженным пожатием плеч Скрясин дал

понять, что легкомыслие уже не к месту.

— Вы уклоняетесь? — спросил он, устремив на Дюбрея обвиняющий взгляд.

— Да нет же, я не коммунист, и вы это прекрасно знаете, — сказал Дюбрей.

— Я этого совсем не знаю. — Лицо Скрясина изменилось; он улыбнулся со свойственным ему обаянием: — В самом деле, мне хотелось бы узнать вашу точку зрения.

— Я считаю, что в данный момент коммунисты ошибаются, — сказал Дюбрей. — Я прекрасно знаю, почему они поддерживают Ялту:{47} хотят дать время СССР оправиться, а в результате мир окажется разделенным на два лагеря, у которых будут все основания наброситься друг на друга.

— И это все, в чем вы их упрекаете? Ошибка в расчете? — сурово спросил Скрясин.

— Я упрекаю их в том, что они не видят дальше своего носа. — Дюбрей пожал плечами. — Восстановление — это очень мило, но не любыми способами. Они принимают американскую помощь, а потом локти себе будут кусать: Франция мало-помалу попадет под власть Америки.

Скрясин осушил свой бокал шампанского и с шумом поставил его на стол.

— Весьма оптимистическое предсказание! — И

продолжал уже серьезно: — Я не люблю Америку и не верю в атлантическую цивилизацию; но я желаю американского господства, потому что вопрос, который стоит сейчас, — это вопрос об изобилии, и дать его нам может только одна Америка.

— Изобилие? Для кого? Какой ценой? — спросил Дюбрей. И возмущенно добавил: — Хорош будет день, когда мы окажемся колонизированными Америкой!

— Вы предпочитаете, чтобы нас аннексировал СССР? — спросил Скрясин. И жестом остановил Дюбрея: — Я знаю, вы мечтаете о единой, независимой, социалистической Европе. Но если она откажется от покровительства США, то неизбежно попадет в руки Сталина.

Дюбрей пожал плечами:

— СССР решительно ничего не собирается аннексировать.

— В любом случае Европы, о какой вы мечтаете, не будет.

— Это вы так говорите! — возразил Дюбрей. И с живостью продолжал: — Во всяком случае, здесь, во Франции, перед нами стоит вполне определенная цель: создать настоящее правительство народного фронта; для этого требуются стойкие

некоммунистические левые силы. — Он повернулся к Анри: — Нельзя больше терять времени. В настоящий момент у людей создалось впечатление, что будущее принадлежит им, не будем ждать, пока они отчаются.

Скрясин проглотил рюмку водки и углубился в созерцание метрдотеля; он отказывался взывать к разуму безумцев.

— Вы говорили, что начало положено хорошее? — спросил Анри.

— Начало положено, но теперь надо продолжать. Мне хотелось бы, чтобы вы как можно скорее встретились с Самазеллем. А в субботу заседание комитета, и я на вас рассчитываю.

— Дайте мне прийти в себя, — сказал Анри. Он с некоторым беспокойством смотрел на Дюбрея. Нелегко будет противостоять этой доброй требовательной улыбке.

— Я отложил дискуссию, чтобы вы могли на ней присутствовать, — сказал Дюбрей не без упрека.

— И напрасно, — ответил Анри. — Уверяю вас, вы переоцениваете мою компетентность.

— А вы свою некомпетентность! — сказал Дюбрей. Он строго взглянул на Анри: — За эти четыре дня вы полностью изучили ситуацию, она страшно изменилась! Вы должны были понять, что

нейтралитет уже невозможен.

— Но я никогда не был нейтральным! — возразил Анри. — Я всегда готов был действовать заодно с СРЛ.

— Да полно: свое имя и лишь иногда присутствие — вот все, что вы мне обещали.

— Не забывайте, что у меня на руках газета, — поспешил возразить Анри.

— Вот именно; я прежде всего думал о вашей газете: она не может больше оставаться нейтральной.

— Да разве она нейтральна? — удивился Анри.

— А как же! — Дюбрей пожал плечами. — Быть на стороне Сопротивления — это уже не программа.

— У меня нет программы, — сказал Анри, — но каждый раз, когда требуется, «Эспуар» занимает определенную позицию.

— Да нет же, не занимает она никакой позиции; во всяком случае, не более других газет; вы спорите из-за ерунды, но прекрасно ладите друг с другом, напуская тумана. — В голосе Дюбрея слышался гнев. — От «Фигаро»[48] до «Юманите» все вы мистификаторы; вы говорите «да» де Голлю, «да» Ялте, всему «да»; вы делаете вид, будто верите, что есть еще Сопротивление и что мы

идем к социализму: одним из тех, кто в своих последних передовицах порол явную чушь, был ваш друг Люк. По правде говоря, мы топчемся на месте и даже начали идти на попятный, но ни один из вас не решается в этом признаться!

— Я думал, вы согласны с «Эспуар», — сказал Анри. Сердце его забилось чаще; он был ошеломлен; в течение этих четырех дней он составлял единое целое с газетой, как составляют единое целое со своей собственной жизнью; и вдруг теперь «Эспуар» обвиняют, и кто — Дюбрей!

— Согласен в чем? — спросил Дюбрей. — У «Эспуар» нет четкой линии. Вы ежедневно сожалеете о том, что не была проведена национализация. А дальше что? Интересно было бы рассказать, кто этому препятствует и почему.

— Я не хочу становиться на классовую позицию, — сказал Анри. — Реформы осуществятся, когда их потребует общественное мнение: я пытаюсь подготовить общественное мнение, а для этого не требуется, чтобы половину наших читателей я настраивал против...

— Уж не думаете ли вы, что классовая борьба осталась в прошлом? — с недоверчивым видом спросил Дюбрей.

— Нет.

— Тогда не говорите мне об общественном мнении, — сказал Дюбрей. — С одной стороны, есть пролетариат, который хочет реформ, с другой — буржуазия, которая их не хочет. Мелкая буржуазия колеблется, потому что не знает хорошенько, в чем ее интерес; но не надейтесь повлиять на нее: все решит ситуация.

Анри задумался. Классовая борьба не в прошлом: исключает ли это любое обращение к доброй воле людей, к их здравому смыслу?

— Интересы мелкой буржуазии многосложны, — сказал он. — Я вовсе не уверен, что на нее нельзя воздействовать.

Дюбрей поднял руку, но Анри остановил его.

— И еще одно, — с живостью продолжал он. — Рабочие, которые читают «Эспуар», — почему? Да потому, что это отвлекает их от «Юма»[{49}], проветривает; если я займу ту же позицию, что и коммунистические газеты, я либо стану повторять те же вещи, что и они, либо стану выступать против них, и тогда рабочие отвернутся от меня. — Он добавил примирительным тоном: — Я привлекаю гораздо больше людей, чем собираете их вы. И обязан занимать более широкую платформу.

— Да, вы привлекаете многих людей, — согла-

сился Дюбрей. — Но вы сами только что сказали почему! Если ваша газета нравится всем, значит, она никому не мешает. Она ни на кого не нападает, ничего не защищает, обходит все настоящие проблемы. Ее читают с удовольствием, как читают любую местную газетенку.

Наступило молчание. Поль вернулась и села рядом с Анной: она казалась оскорбленной, Анна выглядела очень смущенной; Жюльен исчез; Скрясин оторвался от своих размышлений и глядел по очереди то на Анри, то на Дюбрея, словно оценивая наносимые удары; но партия не состоялась. Анри привела в растерянность сила нападения.

— Куда вы клоните? — спросил он.

— Отбросьте попросту все церемонии, — сказал Дюбрей, — и определитесь по отношению к компартии.

Анри подозрительно смотрел на Дюбрея; тому часто случалось с жаром вмешиваться в дела других, потом столь же часто замечали, что в действительности он проворачивал свое собственное дело.

— Короче говоря, вы предлагаете мне программу СРЛ.

— Да, — сказал Дюбрей.

— Не хотите же вы все-таки, чтобы «Эспуар» стала газетой движения?

— Это было бы нормально, — ответил Дюбрей. — Слабость «Эспуар» заключается в том, что она никого не представляет; с другой стороны, без газеты у движения почти нет никаких шансов преуспеть. А так как цели у нас общие...

— Цели, но не методы, — возразил Анри. И с сожалением подумал: «Вот почему, оказывается, Дюбрею так не терпелось меня увидеть!» Вся его веселость улетучилась. «Неужели нельзя провести один вечер среди друзей без разговоров о политике?» — подумалось ему. Никакой особой срочности в этом разговоре не было; Дюбрей мог бы отложить его на день-другой: он стал таким же маньяком, как Скрясин.

— Кстати, вам было бы полезно изменить методы, — заметил Дюбрей. Анри покачал головой:

— Я покажу вам письма, которые получаю; в основном письма интеллектуалов: учителей, студентов; главное, что им нравится в «Эспуар», это ее искренность. Если я объявлю программу, то потеряю их доверие.

— Разумеется. Интеллектуалы рады, когда их поощряют быть ни рыбой ни мясом, — сказал Дюбрей. — Их доверие... Как говорил кто-то: с чем

его едят?

— Дайте мне два-три года, и я приведу их за руку в СРЛ, — сказал Анри.

— Вы в это верите? Значит, вы большой идеалист! — заметил Дюбрей.

— Возможно, — с некоторым раздражением согласился Анри. — В сорок первом меня тоже считали идеалистом. — И твердо добавил: — У меня собственные идеи относительно того, какой должна быть газета.

Дюбрей неопределенно махнул рукой:

— Мы поговорим об этом позже. Но поверьте мне: через полгода «Эспуар» будет равняться на нашу политику либо превратится в бульварный листок.

— Хорошо, поговорим об этом через полгода, — согласился Анри. Внезапно он почувствовал себя усталым и растерянным. Предложение

Дюбрея застало его врасплох. Он был решительно настроен не претворять его в жизнь. Однако ему требовалось остаться одному, чтобы прийти в себя.

— Мне пора возвращаться, — сказал он.

Всю дорогу Поль хранила молчание, но как только они оказались дома, она начала разговор:

— Ты не отдашь ему газету?

— Конечно нет, — ответил Анри.

— Ты действительно в этом уверен? — спросила она. — Дюбрей хочет ее получить, а он упрям.

— Я тоже упрям.

— Но в конце концов ты всегда ему уступаешь, — сказала Поль, причем голос ее вдруг сорвался. — Почему ты согласился вступить в СРЛ? Как будто у тебя и без того мало работы! Вот уже четыре дня, как ты вернулся, а мы и пяти минут не говорили, ты не написал ни строчки своего романа.

— Завтра утром я берусь за него. В газете все налаживается.

— Это не причина, чтобы взваливать на себя новые обязанности. — Голос Поль повышался: — Десять лет назад Дюбрей оказал тебе услугу, не заставит же он тебя расплачиваться за это всю жизнь.

— Но, Поль, я собираюсь с ним работать не для того, чтобы оказать ему ответную услугу: мне это интересно.

Она пожала плечами:

— Да будет тебе!

— Поверь, что это так.

— Ты веришь тому, что они говорят, будто снова начнется война? — спросила она с некоторой тревогой.

— Нет, — отвечал Анри. — В Америке, возможно, есть бесноватые, но там войну не любят. Однако правда и то, что мир должен серьезно измениться: к лучшему или к худшему. Надо попытаться, чтобы он изменился к лучшему.

— Мир все время менялся. До войны ты давал ему меняться не вмешиваясь, — заметила Поль.

Анри решительно стал подниматься по лестнице.

— Сейчас не довоенное время, — зевая, сказал он.

— Но почему нельзя жить, как до войны?

— Обстоятельства другие; и я тоже. — Он снова зевнул. — Я хочу спать. Ему хотелось спать; но когда он лег рядом с Поль, заснуть ему не удалось:

из-за шампанского, из-за водки, из-за Дюбрея. Нет, «Эспуар» он ему не уступит: то была одна из тех очевидных истин, которые не требуют доказательства; но ему тем не менее хотелось найти для себя какие-то веские оправдания. Идеалист: это правда? А главное, что это означает? Разумеется, он в какой-то мере верил в свободу людей, в их добрую волю, в могущество идей. «Уж не думаете ли вы, что классовая борьба осталась в прошлом?» Нет, он так не думал: но что из этого следует? Анри вытянулся на спине; ему хотелось

выкурить сигарету, но он разбудил бы Поль, а она была бы просто счастлива развеять его бессонницу; он не шелохнулся. «Боже мой! — с некоторой тревогой сказал он себе. — До чего же мы невежественны!» Между тем он много читал, однако знаниями, достойными этого имени, обладал лишь по литературе, да и то! До сих пор ему это не мешало. Для участия в Сопротивлении или для создания подпольной газеты не требуется особой компетентности, он думал, что так оно и будет продолжаться. И наверняка ошибался. Что такое общественное мнение? Что такое идея? Какова власть слов, над кем, при каких обстоятельствах? Если руководишь газетой, следовало бы уметь отвечать на такие вопросы, ведь рано или поздно наступит момент, когда все будет поставлено на карту. «А приходится решать в неведении!» — подумал Анри; даже Дюбрей со всеми его познаниями зачастую действовал вслепую; Анри вздохнул: не мог он примириться с этим поражением; есть разные степени невежества, но факт тот, что особенно плохо он подготовлен к политической жизни. «Остается приняться за дело», — сказал он себе. Однако если он хочет углубленных знаний, на это у него уйдут годы: экономика, история, философия, конца этому не будет! Ка-

кая работа, чтобы только кое-как разобраться с марксизмом! О том, чтобы писать, и речи быть не может. А он хотел писать. Так что же? Не бросать же ему «Эспуар» из-за недостаточных познаний в области исторического материализма. Он закрыл глаза. Была во всем этом какая-то несправедливость! Он чувствовал себя обязанным, как все, заниматься политикой, но в таком случае это не должно предполагать специального обучения; если же эта область отводится исключительно для специалистов, зачем требовать от него вмешательства в подобные дела.

«Время — вот что мне нужно! — подумал Анри, просыпаясь. — Единственная проблема — найти время».

Входная дверь только что открылась и вновь закрылась. Вернувшись с покупками, Поль осторожно двигалась по комнате. Он откинул одеяло. «Если бы я жил один, то выиграл бы немало часов!» Никаких пустых разговоров, никаких привычных трапез: просматривая свежие газеты, он пил бы кофе в маленьком бистро на углу и работал бы до того момента, когда надо было идти в редакцию: бутерброд заменял бы ему обед; закончив работу, он бы наспех ужинал и читал до глубокой ночи. Тогда ему удалось бы одно-

временно заниматься «Эспуар», своим романом и чтением. «Я поговорю с Поль прямо с утра», — решил он.

— Ты хорошо спал? — весело спросила Поль.

— Отлично.

Напевая, она ставила на стол цветы; после возвращения Анри она всегда была подчеркнуто веселой.

— Я приготовила тебе настоящий кофе, и осталось свежее масло. Он сел и стал намазывать маслом ломтик поджаренного хлеба.

— Ты ела?

— Я не хочу.

— Ты никогда не хочешь есть.

— О! Я ем, уверяю тебя; я прекрасно ем.

Он откусил бутерброд; как быть? Не мог же он кормить ее с помощью зонда.

— Ты рано поднялась.

— Да, я не могла больше спать. — Она положила на стол толстый альбом с золотым обрезом. — Я воспользовалась этим временем, чтобы вставить твои португальские фотографии. — Она открыла альбом, показав на лестницу в Браге: на ступеньке сидела улыбающаяся Надин. — Видишь, я не пытаюсь бежать от действительности, — сказала она.

— Я прекрасно это знаю.

Она не бежала от действительности, она ее просто не замечала, и это приводило в еще большее замешательство. Поль перевернула несколько страниц.

— Даже на детских фотографиях у тебя уже была эта недоверчивая улыбка; как ты на себя похож!

Когда-то он помог ей собрать эти воспоминания, сегодня они казались ему бесполезными; его раздражало, что Поль все еще упорствует, откапывая их и бальзамируя.

— Вот ты, когда я с тобой познакомилась!

— Вид у меня не шибко умный, — заметил он, отодвигая альбом.

— Ты был молод, ты был требователен, — сказала она.

Поль встала перед Анри и произнесла с неожиданным запалом:

— Зачем ты дал интервью «Ландемен»?

— А-а! Появился свежий номер?

— Да. Я принесла его. — Она сходила за журналом в глубь комнаты и бросила его на стол: — Мы решили, что ты никогда не будешь давать интервью.

— Если следовать всем решениям, которые принимаешь...

— Это было серьезным. Ты говорил, что, когда начинают улыбаться журналистам, значит, созрели для Французской академии.

— Я много чего говорил.

— Я ощутила физическую боль, когда увидела твою фотографию, выставленную напоказ в газете, — сказала она.

— Ты радуешься, когда видишь там мое имя.

— Прежде всего, я не радуюсь. К тому же это совсем другое.

То была не единственная непоследовательность у Поль, но эта вызывала у Анри особое раздражение: она желала, чтобы он был самым знаменитым из всех мужчин, и делала вид, будто презирает славу; а все потому, что упорно воображала себя такой, какой он некогда представлял ее себе: непостижимой, возвышенной, хотя она, разумеется, как все, жила на земле. «А это не очень веселая жизнь, — подумал Анри с неожиданной жалостью, — вполне естественно, что ей требуется компенсация».

— Я хотел помочь этой девчонке; она из начинающих и плохо справляется, — примирительным тоном сказал он.

Поль нежно улыбнулась ему:

— К тому же ты не умеешь говорить «нет».

В ее улыбке не таилось никакой задней мысли; он тоже улыбнулся:

— Я не умею говорить «нет».

Он раскрыл еженедельник. На первой странице — его фотография: он улыбался. Беседа с Анри Перроном. Ему было все равно, что думает о нем Мари-Анж; однако при виде этих печатных строк он обрел отчасти наивную веру крестьянина, читающего Библию, уповая на то, что с помощью фраз, которые он сам спровоцировал, ему удастся наконец узнать, кем он был на самом деле. «В сумраке аптеки Тюля магия красных и синих склянок... Но тихий мальчик ненавидит эту убогую жизнь, запах лекарств, жалкие улицы своего родного города... Он растет, и зов большого города становится все настоятельней... Он поклялся возвыситься над серой посредственностью; где-то в тайниках его души зреет надежда подняться когда-нибудь выше всех остальных... Посланная самим Провидением встреча с Робером Дюбреем... Ослепленный, смущенный, Анри Перрон, разрываясь между восхищением и вызовом, сменил свои отроческие мечты на истинно мужское честолюбие; он упорно работает... Совсем маленькая книжка — и этого оказалось довольно, чтобы внезапно к нему пришла слава. Двадцать пять

лет, темноволосый, с требовательным взглядом, суровой линией губ, прямой, открытый и в то же время загадочный...» Он отбросил газету. Мари-Анж была не дурой, она достаточно хорошо его знала и сделала из него этакое жалкое подобие Растиньяка{50}.

— Ты права, — сказал он. — Придется отказываться говорить с журналистами. Для них жизнь — всего лишь карьера и работа, только способ преуспеть, и ничего более. То, что они называют успехом, — это создаваемый ими шум и заработанные деньги. Невозможно отвлечь их от этого.

Поль снисходительно улыбнулась:

— Заметь, что эта крошка сказала милые вещи о твоей книжке; только она такая же, как другие. Они восхищаются не понимая.

— Знаешь, они не так уж и восхищаются, — заметил Анри. — Это первый роман, который вышел после Освобождения, и они просто обязаны отзываться о нем хорошо.

В конце концов всеобщие похвалы, пожалуй, только мешали; они доказывали своевременность его книги, но не давали ни малейшего представления о ее достоинствах. В конечном счете Анри даже стал думать, что своим успехом он обязан недоразумению. Ламбер полагал, буд-

то через коллективную борьбу он превозносил индивидуализм, а Лашом, напротив, — будто он проповедовал принесение в жертву коллективу личности. Все подчеркивали назидательный характер романа. Между тем Анри едва ли не случайно выбрал временем действия этой истории Сопротивление; он думал о некоем человеке, а также о ситуации;{51} об определенной связи прошлого своего персонажа и переживаемого им кризиса; и о многих других вещах, о которых ни один критик ничего не сказал. Была ли то его ошибка или ошибка читателей? Публике понравилась книга, совершенно непохожая на ту, какую хотел предложить ей Анри.

— Что ты собираешься сегодня делать? — с нежностью в голосе спросил он.

— Ничего особенного.

— А все-таки? Поль задумалась.

— Ну, я хочу позвонить своей портнихе, чтобы посмотреть вместе с ней прекрасные ткани, которые ты мне привез.

— А потом?

— О! У меня всегда есть дела! — весело ответила она.

— То есть иными словами, ты ничего не делаешь, — сказал Анри. Он строго посмотрел на Поль.

— В течение этого месяца я много думал о тебе. Я считаю преступлением, что ты целыми днями прозябаешь в четырех стенах.

— Ты называешь это прозябанием! — возразила Поль. Она ласково улыбнулась, и в ее улыбке, как в былые времена, отразилась вся мудрость мира. — Когда любят, не прозябают.

— Но любить — никакое не занятие.

— Прошу прощения, — перебила она его, — но меня это занимает.

— Я опять подумал о том, что говорил тебе в рождественский вечер, — продолжал Анри, — и уверен, что я прав: тебе снова надо начать петь.

— Уже много лет я живу так, как сейчас, — сказала Поль. — Почему ты вдруг забеспокоился?

— Во время войны можно было позволить себе убивать время, но война кончилась. Послушай, — сказал он повелительным тоном, — ты пойдешь к старику Грепену и скажешь, что хочешь снова начать работать; я помогу тебе выбрать песни; я даже попробую сам написать их для тебя и попрошу об этом приятелей: да взять хотя бы Жюльена, это как раз по его части, я уверен, что он напишет для тебя прелестные песни. Брюжер положит их на музыку: вот увидишь, какой у тебя получится репертуар через месяц! В тот день,

когда ты будешь готова, тебя прослушает Сабрио, и гарантирую, что он даст тебе выступить в «Клубе 45». А там уже дело пойдет.

Он понимал, что говорит слишком горячо и многословно; Поль смотрела на него с удивлением и укором.

— И что? — спросила она. — Я выиграю в твоих глазах, если мое имя будет значиться на афишах?

Он пожал плечами:

— До чего же ты глупая! Разумеется нет. Но лучше что-нибудь делать, чем не делать ничего. Я пытаюсь писать, а тебе следовало бы петь, раз у тебя такой дар.

— Я живу, я люблю: разве это ничего?

— Ты играешь словами, — в нетерпении сказал он. — Почему ты не хочешь попробовать? Ты стала такой ленивой? Или боишься? Или еще что?

— Послушай, — сказала она неожиданно жестким тоном, — даже если бы вся эта суета, успех, слава имели бы еще для меня смысл, я не стала бы в тридцать семь лет начинать второсортную карьеру. Когда я пожертвовала ради тебя гастролями в Бразилии, мой отказ был окончательным. Я ни о чем не жалею, но не будем к этому возвращаться.

Анри открыл было рот, собираясь возразить: ответственность за ту жертву, на которую Поль, не посоветовавшись с ним, с восторгом решилась, она, похоже, взваливает теперь на него! Но он сдержался и в растерянности взглянул на нее. Он так и не понял, действительно ли она презирает славу или просто боится не достичь ее.

— Твой голос по-прежнему красив, — сказал он. — И ты тоже.

— Да нет же, — нетерпеливо возразила она, пожав плечами. — Я знаю, найдется горстка интеллектуалов, которые в угоду тебе объявят на несколько месяцев, что у меня есть талант, а потом — до свидания. Я могла бы стать Дамией{52} или Эдит Пиаф, я упустила свой шанс, тем хуже для меня, на том и порешим.

Большой знаменитостью Поль, конечно, не станет, но хватило бы и малого успеха, чтобы она умерила свои притязания. Во всяком случае, ее жизнь была бы не такой жалкой, если бы она активно чем-то интересовалась. «И меня бы это здорово устроило!» — подумал Анри. Он прекрасно знал, что речь идет о его собственной жизни в гораздо большей степени, чем о жизни Поль.

— Даже если ты не затронешь широкую публику, стоит попробовать, — сказал он. — У тебя

голос, твое дарование. Интересно было бы попытаться извлечь из этого все, что можешь. Я уверен, что это принесет тебе истинную радость.

— В моей жизни и без того много радости, — возразила она. Ее лицо загорелось: — Ты как будто не понимаешь, что значит моя любовь к тебе.

— Напротив! — с живостью отозвался он. И сердито добавил: — Но из любви ко мне ты все-таки не соглашаешься сделать то, о чем я прошу.

— Если бы у тебя были настоящие причины просить меня о чем-то, я бы сделала это, — важно ответила она.

— Но ты предпочитаешь свои причины, а не мои.

— Да, — с невозмутимым видом ответила она, — потому что они лучше. Ты говоришь со мной со сторонней точки зрения, с точки зрения светской, которая в действительности не твоя.

— Я не понимаю, какова твоя собственная точка зрения! — вставая, в сердцах сказал Анри. Спорить бесполезно, он, пожалуй, попробует поставить ее перед свершившимся фактом: принесет ей песни, договорится о встречах для нее. — Ладно, не будем больше обсуждать это. Но ты не права.

Не ответив, она улыбнулась:

— Ты идешь работать?
— Да.
— Над своим романом?
— Да.
— Это хорошо, — сказала она.

Он поднялся по лестнице. Ему не терпелось снова начать писать. И он радовался тому, что этот роман ни капельки не будет поучительным: у него даже не было точного представления о том, что он собирается делать; единственная установка — быть искренним и просто получать от этого удовольствие. Анри разложил перед собой свои черновики: почти сто страниц; хорошо, что он на целый месяц оставил их отлеживаться, теперь можно прочесть их свежими глазами. Сначала он отдался удовольствию вновь пережить множество впечатлений и воспоминаний, вылившихся в продуманные фразы; но мало-помалу им овладело беспокойство. Что со всем этим делать? Тут нет ни начала, ни конца, просто каракули. Что-то общее они имели, некую атмосферу — довоенное время. Но это-то как раз и смутило внезапно Анри. Он расплывчато решил: «Попробовать передать вкус моей жизни», словно речь шла о каком-то определенном аромате с фабричной маркой, одном и том же на

протяжении всех лет. Но, к примеру, то, что он говорил о путешествиях, касалось исключительно молодого двадцатипятилетнего человека, каким он был в 1935 году; ничего общего с тем, что он испытал в Португалии. Его история с Поль тоже устарела: ни Ламбер, ни Венсан и никакой другой молодой человек из тех, кого он знал, не вели бы себя так сегодня; к тому же, имея за спиной пять лет оккупации, молодая женщина двадцати семи лет была бы совсем не такой, как Поль. Существовало одно решение: намеренно установить время действия романа где-то около 1935 года; но у него не было ни малейшего желания сочинять роман «в духе того времени», вспоминая оставшийся в прошлом мир. Напротив, набрасывая эти строки, он желал живьем перенести себя на бумагу; в таком случае следовало писать эту историю в настоящем времени и соответственно переместить героев и события. «Переместить: какое досадное слово! Какое идиотское слово! — подумал он. — Какое безумие эти вольности, которые позволяют себе по отношению к героям романа; их переносят из одного века в другой, кидают из одной страны в другую, склеивают настоящее того с прошлым этого, подключая туда свои собственные домыслы: если приглядеться к

ним получше, все они оказываются чудовищами, и все искусство состоит в том, чтобы помешать читателю вглядываться в них. Ладно, перемещать не будем; можно целиком и полностью придумать персонажей, у которых не останется ничего общего ни с Поль, ни с Луи, ни со мной самим; раньше я это делал, но на сей раз хотел поведать истину о моем собственном опыте...» Он отодвинул пачку набросков. Собирать материал по воле случая — плохой метод. Нужно приняться за дело как обычно, взять за основу общую форму, четкий замысел. Но какой? Какую истину я желаю выразить? Моя истина: что это в точности означает? Он тупо смотрел на чистую страницу. Ринуться в пустоту с пустыми руками — как тут не оробеть! «Быть может, мне нечего больше сказать», — подумал он. Однако ему, напротив, казалось, что он еще ничего не сказал. Ему только предстояло сказать все — как всем и во все времена. Все — это слишком много. Ему вспомнился старый разгаданный ребус на дне какой-то тарелки: «С криком пришел — это жизнь, с криком ушел — это смерть». Что тут добавишь? Мы все живем на одной планете, выходим из чрева и будем потом кормить червей; у всех одна и та же история: откуда взялось решение, что

она моя и что именно я должен ее рассказать? Анри зевнул; он мало спал, и от этого чистого листка голова у него шла кругом; он погрузился в пучину безразличия, а разве можно что-нибудь написать, оставаясь безразличным? Необходимо снова подняться на поверхность жизни, туда, где каждая минута и каждый индивид имеют свою значимость. Но нет, все, что он обретет, сбросив свое оцепенение, это тревогу. «Эспуар» — местная газетенка, так ли это? Если я пытаюсь воздействовать на общественное мнение, значит, я идеалист? Вместо того чтобы фантазировать перед этим листком, не лучше ли серьезно заняться изучением Маркса? Да, это срочно: ему необходимо выработать для себя программу и начать отчаянно вкалывать. Ему давно уже следовало так поступить. Извиняет лишь то, что события заставали его врасплох, и он делал самое неотложное. Однако не обошлось тут и без легкомыслия: с момента Освобождения он жил в каком-то упоении, ничем не оправданном. Анри встал. Этим утром он был не способен сосредоточиться ни на какой работе, разговор с Дюбреем слишком взволновал его. К тому же накануне он оставил неразобранной почту, и нужно поговорить с Сезенаком, и еще ему не терпелось узнать,

достанет ли Престон для него бумагу, а кроме того, он до сих пор не отнес на набережную Орсэ письмо старого даш Виернаша. «Ладно! Отнесу прямо сейчас», — решил он.

— Могу я увидеть господина Турнеля? Меня зовут Анри Перрон. Мне поручено передать ему послание.

— Напишите, пожалуйста, вашу фамилию и цель визита, — ответила секретарша, протягивая Анри отпечатанный бланк.

Он достал авторучку: цель? Уважение несбыточной мечты; Анри знал, насколько бесполезен его демарш; конфиденциально — написал он.

— Вот, пожалуйста.

Секретарша со снисходительным видом взяла карточку и направилась к двери; ее улыбка, достоинство ее движений яснее ясного показывали, что глава кабинета слишком важный господин, чтобы его беспокоили без предупреждения. Анри с жалостью взглянул на толстый белый конверт, который держал в руке; это конец комедии, но теперь уже нельзя было уйти от действительности: бедный даш Виернаш натолкнется на жестокий ответ или на молчание.

Вновь появилась секретарша:

— Господин Турнель с удовольствием назначит

вам встречу на ближайшее время; вы можете оставить мне ваше послание, я сейчас же передам его.

— Большое спасибо, — сказал Анри и протянул ей конверт: никогда он не казался ему таким нелепым, как в руках этой уверенной молодой женщины. Ладно, в конце концов он сделал то, что его просили сделать, остальное его уже не касалось. Он решил зайти в Красный бар; то было время аперитива, Лашом наверняка там, и ему хотелось поблагодарить его за статью. Открыв дверь, Анри увидел Надин, сидевшую между Лашомом и Венсаном.

— Тебя не часто встретишь, — сердито сказала она.

— Я работаю.

Он сел рядом с ней и заказал джин.

— Мы говорили о тебе, — весело заметил Лашом, — о твоем интервью в «Ландемен»; хорошо, что ты об этом сказал: я имею в виду союзническую политику в Испании.

— А почему вы сами об этом не говорите? — спросил Венсан.

— Мы не можем, по крайней мере сейчас, но хорошо, что кто-то это сделал.

— Забавно! — молвил Венсан.

— Ты не хочешь ничего понимать, — сказал Лашом.

— Я все прекрасно понимаю.

— Нет, не понимаешь.

Рассеянно слушая, Анри выпил свой джин. Лашом не упускал возможности объяснить настоящее, прошлое и будущее, исправленные и дополненные партией; но сердиться на него было нельзя: в двадцать лет он сразу открыл для себя в маки приключение, товарищество, коммунизм, это извиняло его фанатизм. «Он мне нравится, потому что я оказал ему услугу», — с усмешкой подумал Анри. В течение трех месяцев он прятал его в квартире Поль, достал ему фальшивые документы и на прощание сделал подарок: отдал свое единственное пальто.

— Послушай, — резко прервал их Анри, — я благодарю тебя за твою статью — очень симпатичная, правда.

— Я написал то, что думал, — заметил Лашом. — Впрочем, со мной все согласны: книга замечательная.

— Да, забавно, — сказала Надин. — Все критики разом согласны: можно подумать, что они кого-то хоронят или присуждают премию за добродетель.

— Пожалуй! — согласился Анри. «Гадючка, — подумал он не без досады. — Она в точности нашла те самые слова, которые я не хотел говорить себе». Он улыбнулся Лашому: — Ты обмишурился лишь в одном: никогда мой герой не станет коммунистом.

— А кем же другим, по-твоему, он станет? Анри засмеялся:

— Пожалуй, тем, кем стал я! Лашом тоже засмеялся:

— Вот именно! — Он посмотрел Анри в глаза: — Меньше чем через полгода СРЛ перестанет существовать, и ты поймешь, что индивидуализм не оправдывает себя. И вступишь в компартию.

Анри покачал головой:

— Так я приношу вам гораздо больше пользы. Ты очень доволен, что я заговорил вместо вас. Чему это поможет, если «Эспуар» будет твердить то же, что «Юма»? Я делаю более полезную работу, пытаясь заставить людей думать, поднимая вопросы, которых вы не ставите, говоря определенные истины, которых не говорите вы.

— Надо делать эту работу, став коммунистом, — сказал Лашом.

— Но мне тогда не дадут!

— Ну почему же. Разумеется, в настоящий

момент в партии слишком много сектантства; однако виной тому обстоятельства, это не продлится до бесконечности. — Лашом заколебался: — Не говори никому, но мы с ребятами надеемся вскоре получить свой журнал, журнал, так сказать, не совсем в русле, где можно будет выражать свое мнение совершенно свободно.

— Журнал — это не ежедневная газета, — возразил Анри. — А что касается свободы, хотелось бы посмотреть. — Он дружелюбно взглянул на Лашома: — И все-таки это будет здорово, если ты получишь свой собственный журнал. Думаешь, выйдет?

— Есть все шансы.

Венсан наклонился вперед и сказал, глядя на Лашома с вызовом:

— Если ты действительно волен в своих высказываниях, объясни товарищам, что гнусно принимать с распростертыми объятиями так называемых раскаявшихся мерзавцев.

— Мы? Мы принимаем с распростертыми объятиями коллаборационистов? Расскажи это читателям «Фигаро», пускай немного повеселятся.

— Есть куча подлецов, которых вы втихомолку оправдываете.

— Не вноси путаницу, — возмутился Лашом. — Когда решают забыть и простить, значит, человек не пропащий, его можно вернуть.

— Если так рассуждать, почем знать, а может, те парни, которых тогда прикончили, тоже не были пропащими?

— В тот момент вопроса не вставало: их следовало убить.

— В тот момент! Я их убивал на всю жизнь! — Венсан хитро улыбнулся. — Но скажу тебе одну бесспорную вещь: все они были дерьмом, все без исключения; а что остается сделать, так это прикончить тех, кого забыли.

— Что ты хочешь сказать? — спросила Надин.

— Я хочу сказать, что следует организоваться, — ответил Венсан. Его глаза искали взгляда Анри.

— Каким образом? Организовать карательные экспедиции? — со смехом сказал Анри.

— Тебе известно, что в Марселе они хватают всех участников Сопротивления как уголовников? — спросил Венсан. — Так что, позволить им это делать?

— Терроризм — это не средство, — возразил Лашом.

— Нет, — согласился Анри. Он взглянул на Венсана. — Мне рассказывали о бандах, которые

разыгрывают из себя поборников справедливости. Если речь идет о сведении личных счетов, я понимаю. Но те, кто воображает, будто спасет Францию, убивая то тут, то там коллаборациониста, — это больные люди или кретины.

— Я знаю: самое разумное вступить в компартию или СРЛ! — заметил Венсан и покачал головой. — Вы меня не заманите.

— Обойдемся без тебя! — дружеским тоном сказал Анри. Он встал, Надин следом за ним.

— Я пойду с тобой.

Она вошла во вкус и стала изображать из себя женщину; попыталась подкраситься; однако ее ресницы походили на колючки морского ежа и под глазами остались черные полосы. Как только они оказались на улице, она спросила:

— Ты пообедаешь со мной?

— Нет, у меня дела в редакции.

— В такое время?

— В любое время.

— Тогда поужинаем вместе.

— Нет, я допоздна задержусь в газете. А потом пойду к твоему отцу.

— О! Эта газета! У тебя на языке одно только слово и есть! И все-таки она не центр мироздания!

— Я этого и не говорю.

— Не говоришь, но думаешь именно так. — Она пожала плечами. — Когда же мы увидимся?

Он заколебался.

— В самом деле, Надин, в ближайшее время у меня не будет ни минуты.

— А разве тебе не случается садиться за стол и есть? Не понимаю, почему бы мне не сидеть напротив тебя. — Она посмотрела Анри прямо в глаза: — Разумеется, если тебе это не противно.

— Конечно нет.

— Так что же?

— Ладно. Заходи за мной завтра между девятью и десятью часами.

— Хорошо.

Он с большой симпатией относился к Надин, ему вовсе не противно было ее видеть, но вопрос не в этом; вопрос в том, что ему необходимо строжайшим образом организовать свою жизнь: для Надин в ней не было места.

— Зачем ты так сурово ответил Венсану? — продолжала Надин. — Не надо было.

— Боюсь, как бы он не наделал глупостей.

— Глупостей! Как только кто-то хочет действовать, вы называете это глупостями. Думаешь, писать книги — это не худшая чушь? Тебе аплодируют, тебя превозносят; а потом люди ставят

книжку в угол, и никто о ней больше не вспоминает.

— Это мое ремесло, — заметил он.

— Странное ремесло.

Они продолжали молча шагать, у входа в редакцию Надин сухо сказала:

— Ладно, пойду домой. До завтра.

— До завтра.

Она остановилась перед ним в нерешительности.

— Между девятью и десятью — это слишком поздно; ничего не успеешь сделать. Нельзя ли начать вечер чуть раньше?

— Раньше я не освобожусь. Она пожала плечами.

— Тогда в половине десятого. Но стоит ли быть знаменитым и все такое, если нет времени жить?

«Жить, — подумал он, когда она внезапно повернулась и пошла прочь, — в их устах это всегда означает заниматься только ими. Но существуют и другие способы жить!» Он любил запах застарелой пыли и свежих чернил. В помещениях было еще пусто, подвал безмолвствовал: но скоро целый мир возникнет из этого безмолвия, мир, который был его творением. «Никто не завладеет

"Эспуар"», — повторил он мысленно. Анри сел за свой письменный стол и потянулся. Ладно, не стоит нервничать. Газету он не отдаст, а время, время всегда удается найти; когда он хорошенько выспится, работа пойдет на лад.

Быстро разобрав почту, он взглянул на часы; через полчаса у него была назначена встреча с Престоном: вполне хватит времени, чтобы поговорить с Сезенаком. «Не могли бы вы позвать ко мне Сезенака?» — попросил он секретаршу и сел за письменный стол. Доверять людям — это прекрасно; вот только найдется куча ребят, которые охотно заняли бы место Сезенака и которые больше, чем он, заслуживают его. Шанса, упорно предоставляемого одному, необоснованно лишают другого, это недопустимо. «Жаль!» — подумал Анри. Ему вспомнилось, как внушительно выглядел Сезенак, когда Шансель привел его; в течение года он был самым усердным из всех связных; возможно, ему требовались чрезвычайные обстоятельства: мертвенно-бледный, опухший, с остекленевшими глазами, он таскался теперь за Венсаном и не в состоянии был написать двух вразумительных фраз.

— А! Вот и ты! Садись.

Сезенак молча сел; и Анри вдруг заметил, что

проработал с ним целый год, но совсем не знал его; с другими — иначе, он более или менее был в курсе их жизни, их вкусов, их мыслей, а этот всегда молчал.

— Мне хотелось бы знать, собираешься ли ты наконец давать нам что-нибудь, кроме халтуры, — сказал он более сухо, чем хотел.

Сезенак с беспомощным видом пожал плечами.

— В чем дело? Ты плохо себя чувствуешь? У тебя неприятности? Сезенак крутил в руках носовой платок и не отрываясь смотрел в пол; с ним

и в самом деле трудно было установить контакт.

— В чем дело? — повторил Анри. — Я готов дать тебе еще один шанс.

— Нет, — сказал Сезенак. — Журналистика не для меня.

— Первое время дела шли не так плохо. Сезенак усмехнулся:

— Шансель помогал мне немного.

— Не писал же он все-таки за тебя статьи?

— Нет, — неуверенно отвечал Сезенак. Он тряхнул головой: — Не стоит продолжать, работа мне не нравится.

— Ты мог бы сказать об этом раньше, — не без

досады заметил Анри. Снова наступило молчание, и Анри спросил: — Что ты собираешься делать?

— Не беспокойся, я выкручусь.

— Но все-таки?

— Я даю уроки английского, и потом, мне обещали переводы. — Сезенак встал. — С твоей стороны благородно было так долго держать меня.

— Если когда-нибудь у тебя появится желание прислать нам статью...

— При случае...

— Могу я для тебя что-нибудь сделать?

— Ты мог бы одолжить мне тысячу франков.

— Вот тебе две тысячи, — сказал Анри. — но это не выход. Сезенак сунул носовой платок в карман и в первый раз улыбнулся:

— Это временный выход и, стало быть, самый надежный. — Он открыл дверь. — Спасибо.

— Удачи, — сказал Анри.

Он был озадачен; казалось, Сезенак лишь ждал случая, чтобы сбежать. «Я получу о нем сведения через Венсана», — подумал Анри, успокаивая себя; однако его огорчало, что он не сумел разговорить его. Он достал авторучку и положил перед собой лист бумаги. Престон придет через четверть часа. Анри не хотелось до времени

слишком много думать об этом журнале, но планов было предостаточно; все выходившие в этот момент еженедельники выглядели жалко, тем более интересно было бы запустить что-нибудь действительно стоящее.

Дверь приоткрыла секретарша:

— Мистер Престон здесь.

— Пусть войдет.

В штатской одежде Престон вовсе не был похож на американца, немного настораживало лишь совершенство его французского. Он почти сразу же приступил к делу.

— Ваш друг Люк, должно быть, говорил вам, что мы с ним встречались несколько раз за время вашего отсутствия, — сказал он. — Мы вместе посетовали на состояние французской прессы, действительно плачевное. Для меня было бы большой радостью помочь вашей газете, предоставив вам дополнительную бумагу.

— Ах, нас бы это чрезвычайно устроило! — обрадовался Анри. — Разумеется, мы не можем рассчитывать изменить наш формат, — добавил он, — мы солидарны с другими газетами. Зато нам ничто не мешает выпускать по воскресеньям иллюстрированный журнал, а это открывает массу возможностей.

Престон ободряюще улыбнулся.

— Практически нет никаких проблем, — заявил он. — Эту бумагу вы можете получить хоть завтра. — Он долго прикуривал сигарету от черной лакированной зажигалки. — Но мне надо задать вам весьма откровенный вопрос: политическая линия «Эспуар» не изменится?

— Нет, — ответил Анри. — А в чем дело?

— На мой взгляд, «Эспуар» является тем наставником, какой требуется вашей стране, — сказал Престон, — а потому и я и мои друзья хотим вам помочь. Мы восхищаемся независимостью вашего духа, вашей смелостью, трезвостью суждений...

Он умолк, но в голосе его чувствовалась недосказанность.

— И что? — спросил Анри.

— Я с большим интересом следил за началом вашего репортажа о Португалии, однако сегодня утром был немного удивлен, прочитав в одном интервью, что в связи с режимом Салазара вы намереваетесь критиковать американскую политику на Средиземном море.

— Я действительно считаю эту политику достойной сожаления, — немного сухо заметил Анри. — Уже давно следовало бы сместить и

Франко, и Салазара.

— Все не так просто, и вы это прекрасно знаете, — возразил Престон. — Само собой разумеется, мы, конечно, собираемся помочь испанцам и португальцам вновь обрести демократические свободы, но в нужное время.

— Нужное время — это как раз сейчас, — сказал Анри. — В мадридских тюрьмах есть приговоренные к смерти. Каждый день на счету.

— Я того же мнения, — согласился Престон, — его наверняка будет придерживаться и Госдепартамент. — Он улыбнулся. — Вот почему мне кажется несвоевременным настраивать против нас французское общество.

Анри тоже улыбнулся:

— Политики никогда не спешат; мне кажется полезным растормошить их.

— Не стройте больших иллюзий, — любезно заметил Престон. — Вашу газету весьма ценят в американских политических кругах. Но не надейтесь повлиять на Вашингтон.

— О! Я и не надеюсь, — возразил Анри. И с живостью добавил: — Я говорю то, что думаю, вот и все. Вы хвалили меня за мою независимость...

— Вот именно, свою независимость вы собираетесь скомпрометировать, — сказал Престон.

Он с упреком взглянул на Анри. — Открывая эту кампанию, вы играете на руку тем, кто хочет представить нас как империалистов. — И добавил: — Вы становитесь на гуманную точку зрения, которой я полностью сочувствую, но политически она неприемлема. Дайте нам год, и республика в Испании будет восстановлена — при более благоприятных условиях.

— Я не собираюсь открывать кампанию, — возразил Анри, — я только хочу обратить внимание на некоторые факты.

— Но эти факты будут использованы против нас, — заметил Престон. Анри пожал плечами:

— Меня это не касается. Я — журналист. Я говорю правду, это мое ремесло. Престон пристально посмотрел на него.

— Если вы уверены, что некая правда повлечет пагубные последствия, вы станете говорить ее?

Анри заколебался.

— Если согласиться с тем, что правда вредна, в таком случае я не вижу другого выхода, кроме как отказаться от должности, оставить журналистику.

Престон с располагающим видом улыбнулся:

— Разве это не чисто формальная мораль?

— У меня есть друзья коммунисты, которые

задавали мне точно такой же вопрос, — сказал Анри. — Но я уважаю не столько правду, сколько своих читателей. Допускаю, что при некоторых обстоятельствах правда может стать роскошью: возможно, в СССР как раз тот случай, — с улыбкой заметил он, — но сегодня во Франции я ни за кем не признаю права присваивать ее. Быть может, для политика все не так просто, однако я не с теми, кто маневрирует, я на стороне тех, кем пытаются маневрировать; они рассчитывают, что я проинформирую их, насколько это в моих силах, и, если я промолчу или солгу, я предам их.

Анри остановился, немного устыдившись столь длинной речи; он адресовал ее не только Престону; смутно ощущая себя затравленным, он защищался наугад, от всех.

Престон покачал головой.

— Мы возвращаемся все к тому же недоразумению; в том, что вы называете информированием, я усматриваю способ воздействовать. Боюсь, что вы стали жертвой французского интеллектуализма. А я — прагматик. Вы не знаете Дьюи?{53}

— Нет.

— Жаль. Нас очень плохо знают во Франции. Это великий философ. — Престон помолчал. — Заметьте, мы вовсе не против того, чтобы нас

критиковали. Американец, как никто другой, открыт для конструктивной критики. Объясните нам, как сохранить симпатию французов, и мы выслушаем вас с огромнейшим интересом. Однако Франции не пристало судить о нашей средиземноморской политике.

— Я буду говорить лишь от собственного имени, — с раздражением заметил Анри. — Пристало или не пристало, но каждый имеет право высказать свое мнение.

Наступило молчание, и наконец Престон произнес:

— Вы, очевидно, понимаете, что, если «Эспуар» выступает против Америки, я уже не могу симпатизировать ей.

— Понимаю, — сухо сказал Анри. — Вы, со своей стороны, поймите, что я не могу подвергать «Эспуар» вашей цензуре.

— Но кто говорит о цензуре! — возмущенно воскликнул Престон. — Все, чего я желаю, — это чтобы вы остались верны тому нейтралитету, которого до сих пор придерживались.

— Вот именно, я остаюсь верен ему, — внезапно рассердившись, заявил Анри. — «Эспуар» не продается за несколько килограммов бумаги.

— О! Если вы принимаете это в таком духе! —

сказал Престон, вставая. — Поверьте, я сожалею.

— А я ни о чем не жалею, — заметил Анри.

Весь день он чувствовал себя слегка рассерженным: что ж, прекрасный повод разгневаться. Он был идиотом, вообразив, что Престон собирается стать рождественским Санта-Клаусом. Он был агентом Госдепартамента, и Анри проявил непростительную наивность, разговаривая с ним как с другом. Он встал и направился в редакцию.

— Ну что, мой бедный Люк, мечты о журнале развеялись, — сказал он, садясь на край большого стола.

— Неужели? — переспросил Люк. — Почему?

Лицо его казалось опухшим и старообразным, как у карлика; когда он бывал раздосадован, создавалось впечатление, будто он, того и гляди, расплачется.

— Потому что этот американка хочет запретить нам критиковать Америку: он почти предложил мне сделку.

— Не может быть! А на вид казался таким хорошим человеком!

— В каком-то смысле это лестно, — сказал Анри, — на нас все зарятся. Знаешь, что вчера вечером предложил Дюбрей? Чтобы «Эспуар» стала газетой СРЛ.

Люк с огорчением поднял взгляд на Анри:

— Ты отказался?

— Разумеется.

— Все эти партии, которые возрождаются, группировки, движения — надо оставаться в стороне от них, — умоляющим тоном произнес Люк.

Убеждения Люка были столь незыблемы, что, даже разделяя их, хотелось хоть чуточку поколебать его.

— А между тем единство Сопротивления стало пустым звуком, это правда, — сказал Анри, — и нам придется четко определить свою позицию.

— Они-то как раз и подрывают единство! — с неожиданной горячностью возразил Люк. — Взять хотя бы СРЛ — они называют это перегруппировкой, а на деле создают новый раскол.

— Нет, раскол создает буржуазия, и, когда хотят остаться вне классовой борьбы, рискуют сыграть на руку буржуазии.

— Послушай, — сказал Люк, — насчет политической линии газеты решать тебе, ты разбираешься лучше меня, но отдать себя в руки СРЛ — это другое дело, тут я против, решительно против. — Лицо его исполнилось решимости. — Я избавил тебя от подробностей о наших трудностях в финансовых вопросах, но предупредил, что дела

идут неважно. Если же мы пойдем на поводу какого-то движения, которое ни для кого ничего не значит, это нам не поможет.

— Ты думаешь, мы еще потеряем читателей? — спросил Анри.

— Конечно! И тогда нам крышка.

— Да, это более чем вероятно, — согласился Анри.

Покупая крохотный газетный листок, провинциалы предпочитали свои местные газеты парижским, и потому тираж сильно понизился; но даже если удастся обрести нормальный формат, Анри не был уверен, что «Эспуар» вернет своих читателей; во всяком случае, он не мог себе позволить довести дело до кризиса. «Выходит, я действительно идеалист!» — подумал Анри; возражая Дюбрею, он рассказывал истории о доверии, влиянии, предназначении, а настоящий ответ крылся в цифрах: мы обанкротимся. Это был один из тех неопровержимых аргументов, против которых не могли устоять ни софизмы, ни мораль; Анри не терпелось использовать его.

На набережную Вольтера он прибыл в десять часов, но ожидаемая атака началась не сразу. Как обычно, Анна привезла на сервировочном столике что-то вроде ужина: португальскую

колбасу, ветчину, рисовый салат и, чтобы отпраздновать возвращение Анри, бутылку мерсо. Перескакивая с одного на другое, они обменялись впечатлениями о поездке и последними парижскими сплетнями. По правде говоря, Анри не ощущал в себе бойцовского духа. Он был рад вновь очутиться в этом кабинете; потрепанные, но большей частью с посвящением книги, оставшиеся некупленными картины с подписью известных художников, экзотические безделушки — память о путешествиях, всю эту неуловимо привилегированную жизнь он любил на расстоянии, и в то же время именно здесь находился его настоящий домашний очаг; ему тут было тепло, в тесном кругу самых близких друзей.

— У вас чувствуешь себя по-настоящему хорошо, — сказал он Анне.

— Правда? Вот и я, стоит мне выйти, чувствую себя потерянной, — радостно откликнулась она.

— Надо сказать, Скрясин выбрал ужасное место, — заметил Дюбрей.

— Да, ну и притон! Но в общем вечер прошел хорошо, — сказал Анри и улыбнулся: — За исключением конца.

— Конца? Нет, «Очи черные» — вот что было для меня самым тяжелым, — с невинным видом

ответил Дюбрей.

Анри заколебался; возможно, Дюбрей решил не возобновлять так скоро своих попыток; оставалось воспользоваться его деликатностью, было бы жаль испортить такой момент; однако Анри не терпелось подтвердить свою тайную победу.

— Вы втоптали «Эспуар» в грязь, — веселым тоном заметил он.

— Да нет же... — с улыбкой возразил Дюбрей.

— Анна свидетельница! Хотя не все было ложным в вашем обвинении, — добавил Анри. — Но я хотел вам сказать: я думал над вашим предложением связать «Эспуар» с СРЛ и даже говорил с Люком — это совершенно невозможно.

Улыбка Дюбрея исчезла.

— Надеюсь, это не последнее ваше слово, — сказал он. — Потому что без газеты СРЛ никогда ничем не станет. И не говорите мне, что есть другие газеты: ни у одной нет нашего направления. Если откажетесь вы, кто согласится?

— Знаю, — сказал Анри. — Но поймите: в настоящий момент «Эспуар», как и большинство газет, переживает кризис; думаю, мы выберемся, но еще долгое время нам с трудом придется сводить концы с концами. Если же мы решим стать органом какой-либо политической партии,

тираж немедленно упадет: мы не в состоянии выдержать удара.

— СРЛ не партия, — возразил Дюбрей. — Это довольно широкое движение, и вашим читателям нечего бояться.

— Партия или движение, практически это одно и то же, — сказал Анри. — Все эти рабочие, коммунисты или сочувствующие им, о которых я вам говорил, охотно покупают вместе с «Юма» информационную газету, но не другой политический листок. Даже если СРЛ пойдет рука об руку с компартией, это ничего не изменит: «Эспуар» вызовет подозрения, как только приклеит себе ярлык. — Анри пожал плечами. — В тот день, когда нас станут читать лишь члены СРЛ, нам придется исчезнуть.

— Членов СРЛ станет намного, намного больше после того, как мы получим поддержку газеты, — заметил Дюбрей.

— Да, но до тех пор пройдет немало времени, — возразил Анри, — и этого вполне достаточно, чтобы разорить нас, а это никому не пойдет на пользу.

— Нет, это никому не пойдет на пользу, — согласился Дюбрей. Он умолк, постукивая по бювару кончиками пальцев, потом добавил: — Конечно,

риск есть.

— Риск, который нельзя себе позволить, — подхватил Анри. Дюбрей опять задумался на мгновение и со вздохом произнес:

— Нужны деньги.

— Вот именно, а у нас их нет.

— У нас их нет, — в раздумье повторил Дюбрей.

Разумеется, ему не так-то легко было признать себя побежденным, он еще лелеял в душе надежды; но аргумент достиг цели, в течение следующей недели Дюбрей не возвращался к этому вопросу; а между тем Анри виделся с ним часто, ему хотелось подтвердить свои добрые намерения: он дважды встречался с Самазеллем, присутствовал на собраниях комитета, обещал опубликовать в «Эспуар» манифест. «Делай что хочешь, — говорил Люк, — раз мы сохраняем независимость».

Независимость сохранили, то была вещь бесспорная: знать бы еще, что с ней делать, с этой независимостью. В сентябре все казалось таким простым: немного здравого смысла и доброй воли, и они чувствовали себя вроде бы защищенными. Теперь же без конца возникали проблемы, и каждая заново все ставила под вопрос. Лашом с таким

жаром отозвался о статьях Анри о Португалии, что «Эспуар» могла сойти за орудие компартии: следовало ли опровергать это? Анри не хотел терять ту интеллектуальную публику, которая любила «Эспуар» за ее беспристрастность; но ему не хотелось восстанавливать против себя и своих коммунистических читателей; между тем, стремясь оберегать всех, он обрекал себя на бессодержательность и тем самым способствовал усыплению людей. Как же быть? Анри обдумывал этот вопрос, шагая к «Скрибу», где Ламбер ждал его на ужин. Но что бы он ни решил, уступит он настроению, а не очевидности; несмотря на все свои решения, Анри всегда возвращался к одному и тому же: он недостаточно осведомлен, он ничего не знает. «Логичнее все-таки было бы сначала разузнать, а уж потом говорить», — думал он. На деле же все происходит совсем не так. Сначала приходится говорить, дело не терпит отлагательства; затем события подтверждают вашу правоту или не подтверждают. «Это как раз то, что называется обманом, — с неудовольствием подумал Анри. — Я тоже, тоже обманываю своих читателей». Он пообещал себе говорить людям вещи, которые просветят их, помогут им думать, правдивые вещи, а сам теперь обманывал. Что делать?

Не мог же он закрыть все отделы, распустить весь персонал и уединиться в какой-нибудь комнате с книгами! Газета должна жить, а чтобы она жила, Анри обязан посвящать ей себя целиком изо дня в день. Он остановился у «Скриба»; Анри был рад поужинать вместе с Ламбером; его немного смущал предстоящий разговор о новеллах, однако он надеялся, что Ламбер не придает им слишком большого значения. Анри толкнул крутящуюся дверь; можно было подумать, что внезапно он перенесся на другой континент: было жарко; на мужчинах и женщинах — американская форма, вокруг пахло светлым табаком, а в витринах были выставлены роскошные безделушки. Ламбер с улыбкой пошел ему навстречу, на нем тоже была форма лейтенанта; в зале ресторана, где питались военные корреспонденты, Анри увидел на столах сливочное масло и горки очень белого хлеба.

— Знаешь, здесь, в драгсторе можно взять французское вино, — радостно сообщил Ламбер. — Поедим не хуже немецкого военнопленного.

— Тебя возмущает, что американцы прилично кормят своих пленных?

— Не только, хотя это черт знает что, особенно там, где французы живут впроголодь. Скверно все вместе взятое: как они ублажают фрицев, в

том числе и нацистов, и как обращаются с теми, кто в концлагерях[54].

— Мне очень хотелось бы знать: правда ли, что они не допускают в лагеря французский Красный Крест? — спросил Анри.

— Это первое, что я собираюсь проверить, — ответил Ламбер.

— В последнее время мы определенно не питаем горячих чувств к американцам, — сказал Анри, накладывая себе в тарелку тушенку и лапшу.

— Нет оснований! — Ламбер нахмурился. — Жаль, что это доставляет такое удовольствие Лашому.

— Я думал об этом по дороге сюда, — сказал Анри. — Скажешь слово против компартии — играешь на руку реакции! Критикуешь Вашингтон — и ты уже коммунист. Если только тебя не заподозрят в принадлежности к пятой колонне.

— К счастью, одна истина опровергает другую, — заметил Ламбер. Анри пожал плечами:

— Не следует слишком полагаться на это. Помнишь, в рождественскую ночь мы говорили, что «Эспуар» не должна поддаваться никакой вербовке. Так вот, это нелегко.

— Нужно лишь продолжать выступать, руководствуясь нашей совестью! — сказал Ламбер.

— Ты только представь себе! — возразил Анри. — Каждое утро я объясняю сотне тысяч людей, что им следует думать: и чем же я руководствуюсь? Голосом моей совести! — Он налил себе стакан вина. — Это мошенничество.

Ламбер улыбнулся.

— Назови мне журналистов, которые были бы добросовестнее тебя, — с любовью сказал он. — Ты сам просматриваешь все телеграммы, ты контролируешь все.

— Изо дня в день я стараюсь быть честным, — ответил Анри. — Но именно поэтому у меня не остается ни минуты, чтобы досконально изучить те вещи, о которых я говорю.

— Да ладно! Твои читатели и так очень довольны, — возразил Ламбер. — Я знаю многих студентов, которые просто молятся на «Эспуар».

— И от этого я еще больше чувствую себя виноватым, — сказал Анри.

Ламбер посмотрел на него с беспокойством.

— Уж не собираешься ли ты целыми днями изучать статистические данные?

— Именно так мне и следовало бы поступить! — заметил Анри. Наступило молчание, и Анри вдруг решился: лучше поскорее избавиться от тяжелой обязанности.

— Я принес твои новеллы, — сказал он. И улыбнулся Ламберу: — Странно, у тебя такой богатый опыт, ты глубоко пережил столько событий и часто очень хорошо рассказывал мне о них; в твоих репортажах всегда так много интересного. А вот в своих новеллах ты ничего не отразил. Почему, спрашивается?

— Ты считаешь их плохими? — спросил Ламбер. Он пожал плечами: — Я тебя предупреждал.

— Дело в том, что ты не вложил в них душу. Ламбер молвил в нерешительности:

— То, что меня по-настоящему волнует, никому не интересно. Анри улыбнулся:

— Зато сразу чувствуется: то, о чем ты рассказываешь, совсем не волнует тебя. Кажется, будто эти истории ты писал, словно выполняя какую-то повинность.

— О! Я подозревал, что у меня нет способностей, — сказал Ламбер.

Он улыбался, но улыбка его была вымученной. У Анри сложилось впечатление, что на самом деле он придавал большое значение своим новеллам.

— Кто одарен, а кто нет? Неизвестно, что это означает в действительности, — сказал Анри. — Нет, ты напрасно выбрал столь чуждые для тебя

сюжеты, вот и все. В следующий раз постарайся выложиться по-настоящему.

— Я не сумею, — ответил Ламбер. И усмехнулся: — Я достойный образец убогого горемыки-интеллектуала, неспособного когда-нибудь стать творцом.

— Не пори чушь! — сказал Анри. — Эти новеллы ничего не доказывают; потерпеть неудачу по первому разу — дело обычное.

Ламбер покачал головой:

— Я себя знаю. Мне никогда не сделать ничего стоящего. Интеллектуал, который ничего не делает, — жалкое зрелище.

— Ты обязательно что-нибудь сделаешь, если действительно стремишься к этому. С другой стороны, быть интеллектуалом — это не порок.

— Но и не божья милость, — заметил Ламбер.

— Я один из них, и ты готов подарить мне свое уважение.

— Ты — другое дело, — сказал Ламбер.

— Вовсе нет. Я интеллектуал. Меня раздражает, когда это слово употребляют, как оскорбление: люди, похоже, считают, будто пустоту голов могут восполнить яйца.

Он искал взгляда Ламбера, но тот упорно смотрел в свою тарелку, потом наконец сказал:

— Я вот думаю, что со мной станет, когда закончится война.

— Ты не хочешь оставаться в журналистике?

— Военный корреспондент — дело понятное, но корреспондент мирного времени — как-то не вяжется, — сказал Ламбер. И добавил с воодушевлением: — Заниматься журналистикой, как делаешь это ты, имеет смысл: это настоящее приключение. Но быть редактором, даже в «Эспуар», имело бы смысл лишь в том случае, если бы мне нужно было зарабатывать на жизнь. С другой стороны, если позволить себе жить как рантье, — совесть будет нечиста. — Он заколебался. — Моя мать оставила мне слишком много денег: совесть у меня в любом случае нечиста.

— Все в таком же точно положении! — возразил Анри.

— О! У тебя есть только то, что ты зарабатываешь сам, тут нет вопросов.

— С совестью всегда непорядок, — заметил Анри. — Например, ужинать здесь и не позволять себе ходить в рестораны черного рынка — это ребячество. У всех у нас свои хитрости. Дюбрей делает вид, будто считает деньги естественным элементом; у него их чрезвычайно много, но он ничего не делает, чтобы заработать их, он никогда

никому не отказывает в деньгах и предоставляет Анне заботу управлять ими. Что касается ее, то она выходит из положения, не рассматривая их как свои: тратит деньги ради мужа и дочери, обеспечивая тем комфортабельное существование, которым пользуется и сама. Лично мне помогает то, что я с трудом свожу концы с концами, и потому появляется ощущение, будто ничего лишнего у меня нет; это тоже способ жульничать.

— И все-таки это совсем другое. Анри покачал головой:

— Если сложившаяся ситуация несправедлива, ты не можешь существовать в ней достойно; вот почему приходится заниматься политикой: надо попытаться изменить ситуацию.

— Порой я спрашиваю себя, не следует ли мне отказаться от этих денег, — сказал Ламбер, — но что это даст? — И добавил нерешительно: — К тому же, признаюсь, бедность путает меня.

— Постарайся лучше употребить их с пользой.

— Да, но как? Что я могу с ними сделать?

— Есть же какие-то вещи, которые тебе дороги?

— Не знаю... — молвил Ламбер.

— Ты дорожишь какими-то вещами? Или ничего не любишь? — спрашивал Анри, теряя

терпение.

— Я любил бы товарищей, но после Освобождения все только и делают, что ссорятся; женщины глупы или невыносимы; книги — у меня их и без того великое множество, а что касается путешествий — земля везде одинаково печальна. К тому же с некоторых пор я не умею отличать добро от зла, — заключил он.

— Почему?

— Год назад все было просто, как на лубочной картинке; теперь же начинаешь замечать, что американцы такие же грубые расисты, как нацисты, им плевать, что в концлагерях продолжают подыхать; лагеря и в СССР, говорят, есть, где тоже не сладко; одних коллаборационистов у нас расстреливают, других, таких же подлецов, встречают с цветами{55}.

— Если ты возмущаешься, значит, еще веришь в какие-то вещи.

— Нет, откровенно говоря, когда начинаешь задаваться вопросами, ничего не остается. Есть множество ценностей, которые принимают как данность, а почему? Почему свобода, почему равенство, и какая справедливость имеет в сущности смысл? Почему предпочитать других, а не себя? Неужели так уж не прав человек, который,

как мой отец, стремился наслаждаться жизнью? — Ламбер с тревогой взглянул на Анри: — Я тебя шокирую?

— Вовсе нет; вопросами надо задаваться.

— А главное, надо, чтобы кто-нибудь на них отвечал, — сказал Ламбер, все более горячась. — К нам пристают с политикой: но почему та политика, а не другая? Нам прежде всего нужна мораль, искусство жить. — Ламбер смотрел на Анри с некоторым вызовом. — Вот что тебе следовало бы нам дать; это было бы гораздо интереснее, чем помогать Дюбрею писать манифесты.

— Мораль неизбежно включает и политическое поведение, — сказал Анри. — И наоборот: политика — дело живое.

— Я не нахожу, — возразил Ламбер. — В политике проявляют заботу лишь о несуществующих вещах: о будущем, о коллективах, а на самом деле конкретен только настоящий момент и личность каждого поодиночке.

— Но личность заинтересована в коллективной истории, — заметил Анри.

— Беда в том, что в политике никогда не идут от истории к судьбе личности, — снова возразил Ламбер. — Погружаются в общие рассуждения, а на частные случаи всем плевать.

Ламбер говорил таким требовательным тоном, что Анри взглянул на него с любопытством.

— Например?

— Например, возьми вопрос виновности. Отвлеченно, с политической точки зрения индивид, который работал с немцами, — негодяй, на него плюют, тут нет проблем. Но если повнимательней разобраться в частном случае, получается совсем иное.

— Ты думаешь о своем отце? — спросил Анри.

— Да. Я давно хотел попросить у тебя совета: действительно ли я должен упорно отворачиваться от него?

— В прошлом году ты говорил о нем в таком тоне! — с удивлением сказал Анри.

— В тот момент я думал, что он донес на Розу; но он переубедил меня: он тут ни при чем; все знали, что она еврейка. Нет, мой отец занимался экономическим коллаборационизмом, и это само по себе скверно; его, конечно, потащат в суд и наверняка осудят; он старый...

— Ты с ним виделся?

— Один раз; с тех пор он прислал мне несколько писем, которые, признаюсь, потрясли меня.

— Если тебе хочется помириться с ним, ты волен это сделать, — сказал Анри. — Но мне ка-

залось, что вы были в очень плохих отношениях, — добавил он.

— Когда я с тобой познакомился — да. — Ламбер заколебался и с усилием произнес: — Это он меня вырастил. Думаю, он по-своему очень любил меня; вот только не слушаться его было нельзя.

— До знакомства с Розой ты ни разу его не ослушался?

— Нет. Это-то и привело его в ярость: впервые я не уступил ему, — сказал

Ламбер и пожал плечами. — Меня, пожалуй, устраивало думать, будто он на нее донес, так, по крайней мере, не возникало никаких проблем: в тот момент я мог бы убить его собственными руками.

— Но почему ты его заподозрил?

— Приятели вбили мне эту мысль в голову: Венсан среди прочих. Но я опять говорил с ним об этом: у него нет решительно никаких доказательств, ни малейших. Отец поклялся на могиле моей матери, что это ложь; и теперь, когда я могу рассуждать хладнокровно, я уже не сомневаюсь, что он никогда бы не сделал ничего подобного. Никогда.

— Это кажется чудовищным, — сказал Анри. Он колебался. Ламбер хотел, чтобы его отец был

невиновен, точно так же, как два года назад желал, чтобы он был виновен, — без доказательств; узнать истину безусловно нет никакой возможности.

— Венсан всегда готов поверить в самое худшее, — заметил Анри. — Послушай, если ты не подозреваешь больше отца, если лично ты не держишь на него зла, тебе не следует изображать из себя поборника справедливости. Встречайся с ним, делай, что тебе нравится, и ни на кого не обращай внимания.

— Ты действительно думаешь, что я могу? — спросил Ламбер.

— Кто тебе мешает?

— Тебе не кажется, что это будет проявлением инфантилизма? — Ламбер покраснел. — Я хочу сказать, подлости.

— Конечно нет. Ничего нет подлого в том, чтобы жить, как чувствуешь.

— Да, ты прав, я напишу ему, — сказал Ламбер. — Хорошо, что я поговорил с тобой, — добавил он с признательностью в голосе и погрузил ложку в дрожавшее на его тарелке розовое желе. — Ты очень мог бы помочь нам, — прошептал Ламбер. — Не только мне: есть много молодых, которые находятся в таком же положении, как я.

— Помочь вам в чем? — спросил Анри.

— У тебя есть чувство реальности. Тебе следовало бы научить нас повседневной жизни.

Анри улыбнулся:

— Мораль, искусство жить — это никак не входит в мои планы. Ламбер поднял на него сияющие глаза:

— О! Я неправильно выразился. Я вовсе не думал о теоретических трактатах. Но ты дорожишь разными вещами, веришь в определенные ценности. И потому должен бы показать нам, что есть хорошего на земле. А также сделать ее более пригодной для обитания, создавая прекрасные книги. Мне кажется, что в этом роль литературы.

Ламбер произнес свою маленькую речь на одном дыхании. У Анри сложилось впечатление, что он приготовил ее заранее и давно уже дожидался момента выложить ее.

— Литература не обязательно бывает радостной, — заметил Анри.

— Нет, обязательно! — возразил Ламбер. — Даже то, что печально, становится радостным, когда из этого делают искусство. — Он задумался. — Радостная, возможно, не то слово, но в общем-то оно оправдано. — Ламбер остановился и покраснел: — О! Я не хочу диктовать тебе твои книги. Просто

тебе нельзя забывать, что ты прежде всего писатель, деятель искусства.

— Я и не забываю, — сказал Анри.

— Знаю, но... — И снова Ламбер заволновался: — Например, твой репортаж о Португалии, он очень хорош, но я вспоминаю страницы о Сицилии прежних времен. Жаль немного, что теперь у тебя нет ничего похожего.

— Если когда-нибудь ты отправишься в Португалию, тебе не захочется описывать гранатовые деревья в цвету.

— Ах! Мне хотелось бы, чтобы у тебя вновь появилось такое желание, — настойчиво произнес Ламбер. — А почему нет? Имеем же мы право прогуливаться по берегу моря, не беспокоясь о цене сардин.

— Суть в том, что я не смог, — сказал Анри.

— В конце концов, — с жаром продолжал Ламбер, — мы участвовали в Сопротивлении, чтобы защитить личность и право индивида быть самим собой, быть счастливым; настало время пожинать, что посеяли.

— Беда в том, что существует несколько миллиардов индивидов, для которых это право остается мертвой буквой, — возразил Анри, пожав плечами. — Думаю, именно потому, что мы начали

проявлять интерес к ним, мы уже не можем остановиться.

— В таком случае каждый должен ждать, пока все станут счастливыми, прежде чем самому попытаться стать счастливым? — спросил Ламбер. — Искусство и литература отложены до золотого века? А между тем именно теперь мы, как никогда, нуждаемся в них!

— Я не говорю, что не надо писать, — ответил Анри. Он задумался. Упрек Ламбера задел его за живое; да, о Португалии можно было сказать множество других вещей, и он не без сожаления отказался от них. Деятель искусства, писатель: вот кем он хотел стать, не следует забывать об этом. Когда-то он дал себе грандиозные обещания: пришло время держать их. Успехи молодости, весьма своевременная книга, которую расхваливали на все лады: ему хотелось совсем иного. — Кстати, — продолжал он, — я как раз занят тем, что пишу роман по твоему вкусу. Роман, свободный решительно от всего, где я рассказываю разные вещи ради собственного удовольствия.

— Правда? — спросил Ламбер. Лицо его просияло. — Ты много написал? Как идет работа?

— Начало, как всегда, вещь немного неблагодарная, но дело движется! — сказал Анри.

— О! Я чрезвычайно доволен! — обрадовался Ламбер. — Так было бы жаль, если бы ты позволил съесть себя!

— Я не позволю себя съесть! — ответил Анри.

— Как продвигается твой веселый роман? — спросила Поль.

— Двигается потихоньку, — отвечал Анри.

Она улеглась на кровати у него за спиной, и он ощущал на своем затылке ее задумчивый взгляд; взгляд бесшумен, и со стороны Анри было бы несправедливо прогнать ее, но это тяготило его. Он сделал усилие, чтобы сосредоточить свое внимание на романе. В течение этого месяца он принял решение, он смирился, согласившись избрать временем действия своей истории 1935 год; возможно, то была ошибка, вот уже несколько дней фразы не сходили с кончика его пера, не желая ложиться на бумагу.

«Да, это ошибка», — пришел он к окончательному выводу. Анри собирался говорить о себе, так вот: теперь он совсем уже не тот, каким был в 1935 году. Его политическое равнодушие, его любознательность, честолюбие, предвзятый индивидуализм — как это быстро прошло, как это было глупо! Все это предполагало будущее без столкновений, с гарантированным успехом,

с немедленным братством между людьми, с дружелюбными потомками, а главное, в основе всего лежали эгоизм и легкомыслие. О! Ему наверняка удалось бы найти себе оправдание. Но он писал эту книгу, чтобы попытаться рассказать правду о своей жизни, а не для того, чтобы объяснить ошибки. «Надо писать ее в настоящем времени», — решил Анри. Он перечитал последние страницы. Досадно думать, что прошлое будет окончательно похоронено: приезд в Париж, первые встречи с Дюбреем, путешествие на Джербу. «О! Я прожил его, и этого достаточно! — сказал он себе. — Однако если так подходить, то настоящее тоже самодостаточно, да и жизнь самодостаточна, но суть в том, что это не так, раз я испытываю потребность писать, чтобы почувствовать себя по-настоящему живым». Ладно, тем хуже, ведь в любом случае спасти все нельзя. Вопрос в том, чтобы знать, что следует сказать о себе сегодня: «Так на чем я остановился? Чего я хочу?» Странная вещь: если так стремишься к самовыражению, то не потому ли, что чувствуешь себя особенным, хотя на деле ты не в силах даже определить, в чем она, твоя особенность. «Кто я?» Прежде он себя об этом не спрашивал; прежде давалось определение другим людям, которые

имели свои пределы: он — нет; впереди были его книги и его жизнь, это позволяло ему отводить все суждения, которые складывались о нем, и относиться ко всем, даже к Дюбрею, немного снисходительно, с высоты будущих своих творений. Но теперь ему следовало признать, что он уже сложившийся человек: молодые люди обращались с ним как со старшим, взрослые — как с одним из них, и некоторые даже выражают свое уважение к нему. Сложившийся, определенный, законченный, именно он, а не кто-то другой, так кто же он? В каком-то смысле все решат его книги; однако и наоборот: чтобы написать их, ему требовалось постичь собственную истину. На первый взгляд смысл только что прожитых месяцев был достаточно ясен, но если присмотреться повнимательнее, все становится менее отчетливым. Помогать людям правильно думать, лучше жить — его действительно это волновало или то были всего лишь человеколюбивые мечтания? Он действительно интересовался судьбой другого или только лишь спокойствием своей совести? А литература — чем она для него стала? Желание писать — вещь довольно абстрактная, если нет необходимости сказать что-то неотложное. Его перо так и повисло в воздухе, и Анри с досадой

подумал, что Поль видит: он ничего не пишет. Анри обернулся и спросил:

— Ты пойдешь завтра утром к Грепену? спросил он. Поль усмехнулась:

— Когда ты заберешь что-нибудь в голову?!

— Послушай, эта песня необычайно подходит тебе, ты говоришь, что она тебе нравится, музыка Бержера восхитительна, Сабририо послушает тебя, когда захочешь, могла бы постараться! Вместо того чтобы киснуть на кровати, ты будешь работать над голосом, и это ничуть не хуже, уверяю тебя.

— Я не кисну.

— Во всяком случае теперь, когда я договорился об этой встрече, ты пойдешь?

— Я с удовольствием пойду к Грепену и научусь хорошо петь твою песню, — согласилась она.

— Но не пойдешь на прослушивание, это ты хочешь сказать?

— Что-то вроде того, — улыбнулась она.

— Ты приводишь меня в уныние!

— Признайся, что я никогда тебя не вооду-шевляла! — Она снова улыбнулась, добавив с нежностью: — Не заботься больше обо мне!

Он предпочел бы позаботиться о ней раз и навсегда и не чувствовать больше, как она следит за

ним из-за спины; но, возможно, она все понимала. Он поговорил с Сабририо, написал две песни, составил целый репертуар и позвонил Грепену, он сделал для нее все, что мог. Она с восторгом готова была петь для него, на его вкус, пожалуй, даже слишком часто, но продолжала упорствовать в своем отказе. Анри снова стал безрадостно нанизывать мертвые фразы.

Два часа уже он томился над бумагой, когда в дверь громко постучали. Анри взглянул на часы: десять минут первого.

— Стучат.

Задремавшая на кровати Поль встала:

— Открыть?

Снова раздался стук, и они услыхали веселый голос:

— Это Дюбрей, я вам помешал?

Они вместе спустились по лестнице, и Поль открыла дверь:

— Ничего не случилось?

— С кем? — улыбаясь, спросил Дюбрей. — Я увидел свет и подумал, что могу зайти, ведь всего лишь полночь. Вы собирались ложиться?

Он уже сел в кожаное кресло, куда имел обыкновение садиться.

— Мне как раз хотелось выпить рюмочку! —

сказал Анри. — Но я не осмелился бы выпить ее в одиночку. Вас привел мой недобрый ангел.

— Коньяк? — спросила Поль, открывая шкаф.

— С удовольствием. — Дюбрей обратил к Анри сияющее лицо: — Я принес вам горяченькую новость, которая вас очень заинтересует.

— Что за новость?

— Мы более или менее отказались от мысли превратить «Эспуар» в газету СРЛ из-за финансового кризиса, который может последовать...

— Да, — согласился Анри. Он взял рюмку, которую протягивала ему Поль, и со смутным беспокойством отпил глоток.

— Так вот, я иду от человека, у которого полно денег, и он готов, в случае необходимости, поддержать нас. Вы не слыхали о некоем Трарье? Это крупный торговец ботинками, он принимал какое-то участие в Сопротивлении.

— Что-то я о нем слышал.

— У него миллионов видимо-невидимо и безграничное восхищение Самазеллем: удачное сочетание, которое заставляет его оказывать СРЛ весьма существенную помощь. Этим вечером Самазелль затащил меня к себе. Трарье готов профинансировать июньский митинг и предоставит все необходимые капиталы, если «Эспуар» станет

газетой движения.

— У Самазелля прекрасные связи, — заметил Анри, залпом выпив свою рюмку; он был слегка раздражен чересчур заразительной веселостью Дюбрея.

— Самазелль — весьма своеобразный тип, который имеет привычку ужинать в городе, — со смехом рассказывал Дюбрей. — От нас с вами такого не добьешься, лично я предпочел бы собирать пожертвования на площадях; но ему это нравится, и сам он всем нравится. Тем лучше, потому что таким образом он собирает денежки: не знаю, что с нами стало бы без него в финансовом отношении. Он познакомился с Трарье во время оккупации и просветил его.

— Он член СРЛ, этот сапожник со всеми его миллионами?

— Вас это удивляет?

Поль сидела напротив Дюбрея, она курила сигарету, пристально глядя на него с враждебным видом. Она собралась было открыть рот, но Анри, угадав возмущение Поль, опередил ее:

— Не скажу, что ваше предложение приводит меня в восторг. Дюбрей пожал плечами:

— Видите ли, всем газетам, рано или поздно, придется принимать частную денежную по-

мощь; свободная пресса — еще одно чудовищное вранье!

— «Эспуар» поправила свои дела, — сказал Анри. — Мы сможем долгое время обходиться без посторонней помощи, если останемся такими, как сейчас.

— Вы сможете обойтись без посторонней помощи, ну а дальше? — с живостью подхватил Дюбрей. — Я прекрасно понимаю: вы единолично создали «Эспуар» и хотите единолично удержаться; я понимаю, — повторил он. — Но подумайте о роли, которая вам предназначена! За этот месяц вы поняли, что СРЛ необходима своя газета, так?

— Да, — ответил Анри.

— И вы сознаете всю важность нашей попытки. Что дальше?

— Если этот господин профинансирует «Эспуар», он захочет сунуть к нам нос, — сказал Анри.

— Ну, об этом и речи быть не может! — возразил Дюбрей. — Он никоим образом не станет вмешиваться в управление газетой. По сути, с таким участником вы будете гораздо независимее, чем сейчас, ибо вас в общем-то связывает страх потерять своих читателей.

— Ваш человек представляется мне довольно странным филантропом.

— Если бы вы его видели, то сразу бы поняли, — сказал Дюбрей.

— И все-таки не могу поверить, что он не навяжет мне никаких условий, — настаивал Анри.

— Ручаюсь вам — никаких; вопрос окончательно улажен.

— А вы уверены, что все это не пустая болтовня?

— Послушайте, поговорите с ним сами! — предложил Дюбрей. — Вам остается только позвонить ему по телефону: он готов поставить свою подпись хоть завтра.

Дюбрей говорил с такой убежденностью, что Анри улыбнулся:

— Подождите немного! Прежде мне надо увидеться с Люком. И потом, даже если мы решимся заявить о своей поддержке СРЛ, то попробуем все-таки выкрутиться самостоятельно: я, конечно, предпочел бы такой вариант.

— Лично я уверен, что «Эспуар» не потеряет своих читателей, — заявил Дюбрей. — Я совершенно согласен с тем, чтобы попытать счастья без Трарье. — Он помолчал в нерешительности. — И все-таки вам лучше переговорить с ним.

— Он не скажет мне больше того, что сказал вам, — заметил Анри. — А я не горю желанием,

чтобы он предлагал мне свои деньги, пока я могу обойтись без этого.

— Как хотите. — Дюбрей с тревогой взглянул на Анри. — Только прошу вас, постарайтесь решиться поскорее. Мы и так уже потеряли столько времени!

— Видите ли, то, чего вы от меня требуете, очень серьезно, — возразил Анри, — ведь речь не только обо мне. Постарайтесь, со своей стороны, набраться терпения.

— Я вынужден это сделать, — со вздохом сказал Дюбрей. Он встал и широко улыбнулся Поль: — Вы не хотите пройтись со мной?

— И куда же? — спросила Поль.

— Не важно куда; ночь стоит прекрасная, настоящая летняя ночь.

— Нет, мне хочется спать, — весьма нелюбезно ответила Поль.

— Мне тоже, — сказал Анри.

— Ничего не поделаешь, пойду гулять один, — молвил Дюбрей, направляясь к двери. — До субботы.

— До субботы.

Анри запер дверь; когда он обернулся, Поль стояла перед ним с перекошенным лицом:

— Это безумие! Он хочет украсть твою газету!

— Послушай, речь идет не о краже, — запротестовал Анри. Он нарочито зевнул; именно в подобных случаях он не переносил споров с Поль: когда она разделяла его мнение. Он тоже был рассержен: что за странный фокус! Довольно было Дюбрею потребовать газету, чтобы у него появились права на нее. «Ему плевать на мое личное неприятие; его дружба немногого стоит, если он решил кого-то использовать».

— Тебе следовало выгнать его, — возмущалась Поль. — Никогда он не будет принимать тебя всерьез, для него ты вечно останешься юнцом, которого он ввел в литературу и который обязан ему всем.

— В конце концов, он не требует ничего сверхъестественного, — возразил Анри. — Я состою в СРЛ и руковожу «Эспуар»: скорее это нормально — объединить и то и другое.

— Ты уже не будешь хозяином самому себе, тебе придется получать от них приказы. — Голос Поль дрожал от возмущения. — К тому же ты по уши погрязнешь в политике, у тебя не останется ни минуты для себя. Ты и без того жалуешься, что у тебя не хватает времени на роман...

— Не волнуйся так, еще ничего не решено, — продолжал Анри. — Я же ведь не сказал, что

согласен.

Обида Анри рассеивалась по мере того, как он слушал протесты Поль; сама их горячность выявляла несерьезность доводов, а это были как раз те доводы, что перебирал в уме сам Анри. «Я восстаю, потому что опасаюсь быть затянутым политикой, потому что боюсь новой ответственности, потому что желаю иметь свободное время, а главное, оставаться хозяином своей газеты». Словом, причины весьма ничтожные. И когда на следующий день Анри пришел в редакцию, в глубине души он надеялся, что Люк подскажет ему что-нибудь получше. Но Люк был выбит событиями из колеи. Лашом, безусловно, оказал «Эспуар» недобрую услугу; шли разговоры, будто Анри находится под влиянием коммунистов; это тем более вызывало раздражение, что в настоящий момент он ставил им в упрек множество вещей: путаницу, которую они создавали, смешивая Сопротивление и партию, их шовинизм, демагогию их предвыборной пропаганды, бессовестное попустительство и необоснованную суровость в отношении коллаборационистов. Однако правые газеты с готовностью использовали создавшуюся двусмысленность; многие читатели жаловались, Ламбер требовал принять меры, большинство со-

трудников газеты испытывали неловкость, Люк — тоже. «Один ярлык вместо другого, — сказал он в ответ, когда Анри объяснил ему ситуацию, — уж лучше, пожалуй, представлять СРЛ, чем прослыть коммунистами». Таково примерно было всеобщее мнение. «Лично я не верю ни СРЛ, ни компартии, это одно и то же, — заявил Венсан. — Решай по своему усмотрению».

«Словом, все они согласны, — пришел к выводу Анри, когда вернулся в свой кабинет. — Они не видят причин отказываться». Сердце его сжалось: значит, ему придется согласиться. СРЛ нуждалось в газете и давало шанс, которого они не имели права упускать. Мир колебался между войной и миром, будущее, возможно, зависело от трудноучитываемых моментов, и было бы преступлением не испробовать все в пользу мира. Анри взглянул на письменный стол, кресло, прислушался к гулу ротационных машин, и ему вдруг почудилось, будто он очнулся от беспечного сна. До сих пор он рассматривал «Эспуар» как своего рода игрушку: полное снаряжение мелкого владельца типографии в натуральную величину — великолепная игрушка; а это был инструмент, оружие; у него с полным правом могли потребовать отчета о его использовании. Анри подошел

к окну. О! Он слегка преувеличивал: не таким уж он был несерьезным; сентябрьская эйфория давно рассеялась, он немало поволновался из-за газеты и тем не менее считал, что ответ держать должен лишь перед самим собой. Он сильно ошибался. «Странно, — подумал Анри, — как только сделаешь что-нибудь стоящее, вместо того чтобы давать права, это накладывает на тебя обязанности». Он основал «Эспуар», и это привело к тому, что его целиком грозит поглотить политическая ярмарка. Анри уже представлял себе вмешательство Самазелля, его проповеди, телефонные звонки Дюбрея, коллоквиумы, консультации, споры, соглашения. Анри обещал: «Я не позволю себя съесть». И вот жребий брошен: он будет съеден. Анри вышел из кабинета и спустился по лестнице. Окутанный туманом, город этой ночью походил на огромный вокзал: раньше Анри любил туман, вокзалы. Теперь он не любил ничего: он уже позволил себя съесть. Вот почему, когда он попытался рассказать о себе, ему нечего было сказать. «Ты дорожишь какими-то вещами, скажи какими». Так какими же? Он не любил ни Поль, ни Надин; путешествовать его совсем не тянуло; ему уже никогда не случалось читать для собственного удовольствия, гулять или слушать

музыку; он больше никогда ничего не делал для удовольствия. Никогда уже не останавливался внезапно на углу улицы, никогда не предавался какому-то воспоминанию. Встречи, дела: он жил, подобно инженеру{56}, живущему в мире приборов; неудивительно, что он очерствел и стал холоднее любого камня. Анри ускорил шаг; эта холодность внушала ему ужас. В рождественскую ночь он с таким жаром обещал непременно вновь обрести себя и не обрел ничего. Мало того, он все время чувствовал себя не в своей тарелке, все время был насторожен, раздражителен, напряжен, недоволен. Он прекрасно знал, что ту тяжелую работу, которую брал на себя, он выполнял плохо, она не давала ему ничего, кроме угрызений совести. «Мне не хватает знаний, я неважно во всем разбираюсь, принимаю решения, не подумав хорошенько, у меня нет времени, у меня никогда не будет времени». До чего назойлив был этот рефрен. И он уже не перестанет его слышать, все будет еще хуже, чем раньше, несравненно хуже. Съеден, проглочен, обглодан до костей. О том, чтобы писать, и речи быть не может. Писать — это некий образ жизни, ему предстоит избрать другой, и он уже никому ничего не сможет сказать. «Я не хочу», — возмутился Анри. Нет, его

неприятие не было пустым и ничтожным; напротив, с небольшой долей патетики он мог сказать себе, что для него это вопрос жизни и смерти, на карту были поставлены его жизнь или смерть как писателя: надо защищаться. «В конце концов, не от СРЛ зависит судьба человечества, так же как не от меня зависит судьба СРЛ». Он часто повторял: «Мы принимаем себя чересчур всерьез. По правде говоря, наши дела немногого стоят, да и мир этот немногого стоит: он волокнистый, пористый, непрочный». Прохожие торопились в тумане, как будто им было крайне важно прийти чуть раньше туда или сюда; а в конечном счете все они умрут, и я тоже: насколько это облегчает жизнь. От смерти не уйдешь, так что никто никому не в силах помочь, и никто никому ничего не должен: бесполезно отравлять себе существование. Надо делать то, что он умеет делать. Бросить «Эспуар» и СРЛ, уехать из Парижа, поселиться где-нибудь на юге и посвятить себя творчеству. «Пожинать то, что посеяно», — говорил Ламбер. Попробовать быть счастливым, не дожидаясь, пока все станут таковыми. А почему бы и нет? Анри представлял себе уединенный сельский дом, сосны, запах лесной чащи. «Но что я буду писать?» Он продолжал шагать, не в силах ни

на чем сосредоточиться. «Ловушка сработана на славу, — подумалось ему. — В тот момент, когда думаешь ускользнуть, она захлопывается». Вернуть прошлое и спасти настоящее с помощью слов — это очень мило, но осуществить можно, лишь поведав об этом другим; это имеет смысл лишь в том случае, если прошлое, настоящее, да и сама жизнь чего-то стоят. Есть же этот мир не имеет значения, если другие люди не в счет, зачем тогда писать? Остается лишь зевать от скуки. Жизнь не раскладывается на куски, ее надо принимать целиком, это все или ничего, но дело в том, что на все времени нет, вот в чем драма. И снова круговорот мыслей захлестнул Анри. Он дорожил газетой; и его тревоги по поводу войны, мира, справедливости не были чепухой. И речи нет выбросить все это за борт; однако он писатель, он хочет писать. До сих пор ему худо-бедно удавалось все совмещать: скорее, правда, худо. Но если он уступит Дюбрею, ему не выкрутиться. Что же делать? Уступить? Не уступать? Действовать? Писать? Он отправился домой спать.

Прошло несколько дней, Анри по-прежнему оставался в нерешительности. «Да или нет?» В конце концов такое наваждение приводило его в дурное расположение духа. Он понял это, когда

увидел в дверях улыбающееся лицо Лашома:

— Можешь уделить мне пять минут?

Лашом часто заходил в редакцию повидать Венсана, и, когда он появлялся в кабинете Анри, ему всегда были рады, но на этот раз Анри весьма сухо ответил:

— Я предпочел бы завтра, мне надо закончить статью.

— Но мне хотелось бы поговорить с тобой сегодня, — не смущаясь, заявил Лашом и решительно сел.

— О чем же?

Лашом смотрел на Анри с некоторой суровостью:

— Судя по словам Венсана, встает вопрос о том, что «Эспуар» перейдет в руки СРЛ?

— Венсан слишком много болтает, — сказал Анри. — Пустой вопрос, пустые слова.

— А! По мне, пусть лучше так! — заметил Лашом.

— Почему же? Тебе-то какое до этого дело? — спросил Анри немного агрессивным тоном.

— Это было бы серьезной ошибкой, — ответил Лашом.

— Что же тут такого серьезного? — снова спросил Анри.

— Я так и думал, что ты не совсем отдаешь себе отчет, — сказал Лашом, — и потому хотел предупредить тебя. — Голос его стал более жестким: — В партии считают, что СРЛ превращается в антикоммунистическое движение.

Анри рассмеялся:

— В самом деле? Один я бы, конечно, не догадался!

— Тут не над чем смеяться! — заметил Лашом.

— Тебя трудно рассмешить! — сказал Анри. Он насмешливо смотрел на Лашома: — Ты осыпаешь «Эспуар» похвалами, на мой вкус, пожалуй, чрезмерными, а Дюбрей, который говорит то же, что я, оказывается, против вас! Что случилось? — добавил он. — Лафори на прошлой неделе был воплощением дружелюбия.

— Такое движение, как СРЛ, весьма двусмысленно, — произнес Лашом своим неторопливым голосом. — С одной стороны, оно привлекает людей к левым силам, это факт; но если оно завладевает газетой, устраивает митинг, значит, там появилось намерение навредить нам. Сначала компартия стремилась к союзу, но раз они выступают против нас, мы вынуждены быть против них.

— Ты хочешь сказать, что если бы СРЛ пред-

ставляло собой маленькую безликую группу, и притом молчаливую, послушно работающую в вашей тени, вы бы ее терпели или даже поддерживали? Но если движение начинает существовать самостоятельно, священный союз отменяется?

— Повторяю, они хотят подорвать нас, — заявил Лашом, — так что священного союза больше нет.

— Да, именно так вы и рассуждаете! — сказал Анри. — Один совет стоит другого: не начинайте нападок на СРЛ. Вы никого не заставите поверить, будто это антикоммунистическое движение, зато подтвердите правоту всех тех, кто считает Народный фронт мистификацией. И, значит, правда то, что вы не терпите существования иных левых сил, кроме вас самих!

— Пока вопрос о публичных нападках на СРЛ не стоит, — возразил Лашом, — мы за ними следим, вот и все. — Он с серьезным видом взглянул на Анри: — Но если они получат газету, то станут опасны; не отдавай им «Эспуар».

— Послушай, да ведь это шантаж, — возмутился Анри. — Если СРЛ откажется от газеты, то может спокойно прозябать, ты это хотел сказать?

— Шантаж! — с упреком произнес Лашом. — Если СРЛ будет знать свое место, мы остаемся

друзьями; в противном случае — нет. Это логично.

Анри пожал плечами:

— Когда Скрясин говорил мне, что с вами нельзя работать, я не хотел ему верить. Выходит, он прав. Вам должно беспрекословно повиноваться, другого не дано.

— Ты не хочешь понять! — не отступал Лашом. И настойчиво добавил: — Почему не остаться независимым? В этом была твоя сила.

— Если я соглашусь работать вместе с СРЛ, я буду говорить те же самые вещи, что и раньше, — сказал Анри. — Вещи, которые я одобряю.

— Но ты будешь говорить их от имени определенной группы, и они получат иной смысл.

— В то время как до сих пор можно было предположить, что я полностью согласен с компартией? Это вас устраивало?

— Ты и правда согласен, — с жаром сказал Лашом. — Если тебе осточертела независимость, пошли с нами. У СРЛ в любом случае нет будущего: пролетариат они никогда не получат. В компартии есть люди, которые прислушиваются к тому, что ты говоришь; там ты можешь заниматься настоящей работой.

— Но эта работа мне не нравится, — возразил

Анри. И с раздражением подумал: «Они меня попросту аннексировали».

Лашом продолжал уговаривать его; должно быть, он понял, что такого рода истории не вызывают желания сблизиться с коммунистами. Зачем он пришел: предупредить Анри по-дружески или повлиять на него? Наверняка и то, и другое вместе, и это самое паршивое.

— Мы теряем время, — сказал вдруг Анри, — а мне надо закончить статью. Лашом встал.

— Пойми хорошенько: Дюбрей хочет заполучить «Эспуар», это в его интересах, но не в твоих.

— Положись на меня в защите моих интересов, — сказал Анри. Они довольно холодно пожали друг другу руки.

Дюбрей был предупрежден о резком изменении позиции компартии; Лафори вежливо повелел ему отказаться от мысли о митинге. «Они опасаются, что мы приобретем слишком большой вес, — сказал Дюбрей, — и пытаются запугать нас, но если мы будем держаться твердо, они не осмелятся подвергать нас нападкам, я имею в виду серьезным». Он был исполнен решимости держаться твердо, и Анри полностью согласился с ним. И все-таки требовалось вынести вопрос на обсуждение комитета: то была чисто формаль-

ная консультация, в конечном счете комитет всегда соглашался с мнением Дюбрея. «Сколько потерянного времени!» — думал Анри, слушая шум возбужденных голосов. Он взглянул в окно на прекрасное голубое небо. «Гораздо лучше было бы прогуляться!» — сказал он себе. Первый весенний день, первая мирная весна, а у него не нашлось и минуты, чтобы воспользоваться этим. Утром проходила конференция с американскими военными корреспондентами, потом — тайные переговоры с североафриканцами; в обед он съел бутерброд, пробежав глазами газеты, а теперь был заперт в этом кабинете. Он посмотрел на других: не нашлось никого, кому захотелось бы просто открыть окно. Голос Ленуара дрожал от возбуждения и робости, он чуть ли не заикался:

— Если этот митинг должен стать враждебным коммунистической партии, я считаю его губительным.

— Губительно будет, если он не разоблачит тиранию компартии, — сказал Савьер. — Именно из-за этой трусости левые силы начинают ослабевать.

— Я не считаю себя трусом, — возразил Ленуар. — Но я хочу иметь право петь вместе с моими товарищами в ту ночь, когда они устроят празд-

ничный салют.

— А может, хватит, ведь по сути у нас нет разногласий, весь вопрос в тактике, — вмешался Самазелль.

Как только он брал слово, все умолкали, рядом с его голосом места для другого не оставалось: он был звучным и благостным, и, когда его раскаты клокотали в горле у Самазелля, казалось, будто тот пьет красное вино. Самазелль объяснил, что митинг является провозглашением независимости от компартии и потому содержание речей должно быть нейтральным и даже дружелюбным. Он говорил так искусно, что Савьер подумал, будто речь идет об уловке, призванной обеспечить разрыв с коммунистами, свалив при этом вину на них, в то время как Ленуар решил, будто союз с ними собираются поддерживать любой ценой.

«Но чему служит эта ловкость? — спрашивал себя Анри. — Скрывать наши разногласия — не означает преодолевать их». Пока Дюбрей с легкостью проводил свои решения. «Но если ситуация обострится, если коммунисты станут нападать на нас, какова будет реакция каждого?» Ленуара неодолимо привлекали коммунисты; лишь литературные пристрастия и дружеские чувства

к Дюбрею удерживали его от вступления в их ряды. Савьер же, напротив, с трудом сдерживал свои обиды бывшего активиста-социалиста. Что думает Самазелль, Анри в точности не знал, но смутно опасался его. Это был законченный тип политикана. Из-за своего крупного телосложения и хриплой теплоты голоса он казался человеком, крепко стоящим на земле, представлялось, будто он сильно любит людей и многие вещи; на деле же это служило лишь подпиткой его горячей жизненной энергии: он упивался ею одною. Как он любил говорить! И не важно для кого! Ему чрезвычайно шло ужинать в городе. Если человек придает большее значение звучанию своего голоса, чем смыслу собственных слов, где его искренность? Брюно и Морен были искренни, но колебались; как раз те самые интеллектуалы, о которых говорил Лашом: они хотят ощущать себя деятельными, не жертвуя своим индивидуализмом. «Вроде меня, — подумал Анри, — вроде Дюбрея. До тех пор, пока можно идти вместе с коммунистами, не вступая в их ряды, все в порядке; но если когда-нибудь они решат отлучить нас, это создаст дьявольскую проблему». Анри поднял глаза на голубое небо. Бесполезно стремиться разрешить эту проблему сегодня, пока нельзя

даже ставить ее конкретно: все точки зрения изменятся, если изменится поведение компартии. Ясно было одно: не следовало позволять запугивать себя; с этим соглашались все, и споры были пустыми. «Есть люди, которые сейчас ловят на удочку рыбу», — подумалось Анри. Он не любил рыбалку, зато рыбаки любили ее, им здорово повезло.

Когда наконец комитет единодушно высказался в пользу митинга, Самазелль подошел к Анри.

— Необходимо, чтобы митинг прошел успешно! — сказал он. В голосе его звучал смутный упрек.

— Да, — согласился Анри.

— Для этого надо, чтобы темп пополнения движения новыми членами значительно ускорился.

— Желательно, чтобы так оно и было.

— Вы понимаете, что, если бы у нас была газета, мы обеспечили бы себе гораздо большее влияние.

— Знаю, — сказал Анри.

Он с хмурым видом разглядывал солидное лицо с широкой улыбкой. «Если я соглашусь, то буду иметь дело с ним, по крайней мере, не меньше, чем с Дюбреем», — подумал он. Самазелля отличала неутомимая активность.

— Хотелось бы поскорее узнать ваш ответ, —

сказал Самазелль.

— Я предупредил Дюбрея, что мне понадобится несколько дней для размышлений.

— Да, несколько дней назад, — заметил Самазелль.

«Он мне решительно не нравится, — повторил про себя Анри. И с осуждением подумал: — Вот она, реакция индивидуалиста!» Союзник — это не обязательно друг. «Впрочем, что такое друг?» — задался он вопросом, пожимая руку Дюбрею. Друзья: до какого предела? Какою ценой? Если я не уступлю, что станется с этой дружбой?

— Вы не забудете, что в «Вижиланс» вас дожидаются рукописи? — спросил Дюбрей.

— Я сейчас же заеду туда, — сказал Анри.

Он готов был бы проявить больший интерес к этому журналу, ему нравилось помогать Дюбрею в подборе текстов, но мешал все тот же рефрен: потребовалось бы время для тщательного прочтения рукописей, для ответа авторам, для беседы с ними. Об этом и речи быть не может; приходилось ограничиваться торопливым просмотром безыменных сочинений. «Я все делаю кое-как», — подумал Анри, садясь за руль маленькой черной машины. Этот великолепный день он тоже прожил кое-как. Изо дня в день одно и то же, в

конце концов и жизнь пройдет кое-как.

— Ты пришел за своей почтой? — спросила Надин. С важным видом она протянула ему толстый желтый конверт; свою роль секретарши она принимала всерьез. — А вот газетные вырезки, если хочешь взглянуть на них.

— В другой раз, — сказал Анри. Он с сочувствием просмотрел связки бумаг, сложенные на столе; черные, красные, зеленые тетради, плохо перевязанные пачки листков, книги записей: сколько рукописей, и каждая для автора — единственная...

— Дай мне список того, что ты уносишь, — попросила Надин, углубляясь в свои карточки.

— Я беру вот этот пакет, — сказал Анри. — И еще вот эту штуковину; пожалуй, это неплохо, — добавил он, показывая роман, первая страница которого ему понравилась.

— Книга малыша Пельвея? На вид этот рыжий очень мил, но что он может написать в таком возрасте? Ему не больше двадцати двух лет. — Она властно положила на тетрадь руку: — Оставь роман мне. Я отдам его тебе сегодня вечером.

— Я вовсе не уверен, что это хорошо...

— Мне хочется взглянуть, — сказала Надин. Единственной ее страстью была ненасытная лю-

бознательность. — Увидимся сегодня вечером? — добавила она недоверчивым тоном.

— Договорились. В десять часов в бистро на углу.

— А раньше не придешь к Маркони? Там празднуют падение Берлина, соберутся все ребята.

— У меня нет времени.

— Говорят, у Маркони есть самые последние пластинки; мне-то наплевать, но ты уверяешь, будто любишь джаз.

— Я люблю джаз, но у меня дела.

— Ты не можешь найти ни минуты между пятью и десятью часами?

— Нет. В семь часов я иду к Турнелю, который наконец назначил мне встречу. Надин пожала плечами:

— Он посмеется тебе в лицо!

— Не сомневаюсь. Но я хочу иметь возможность написать бедному даш Виернашу, что говорил с ним лично.

Надин молча закончила составлять список.

— Ладно, тогда до вечера, — сказала она, подняв голову. Анри улыбнулся ей:

— До вечера.

Он встретится с ней в десять часов; около одиннадцати они вместе поднимутся в маленький

отель напротив газеты: это она настояла, чтобы снова переспать с ним; утешительно было думать, что бесплодный день откроет через несколько часов дорогу теплой и розовой ночи. Анри снова сел в машину и поехал в редакцию. До ночи было еще далеко, а вторая половина невеселого дня близилась к концу. Послушать новый джаз, выпить с товарищами, улыбаться женщинам, да, ему бы этого очень хотелось, но каждая минута была на счету: в редакции уже находились люди, считавшие его минуты. Ему бы хотелось остановить машину на набережной и, облокотившись на парапет, смотреть на освещенную солнцем воду; либо катить по направлению к несмело окружавшим Париж полям, ему хотелось бы приобщиться ко множеству всяких вещей. Но нет. И в этом году старые парижские камни зазеленеют без него. «Никаких остановок: не существует ничего, кроме будущего, а оно отодвигается до бесконечности. И это называется действовать!» Дискуссии, конференции: ни один час не был прожит ради него самого. Сейчас Анри предстоит писать передовицу, встречаться с Турнелем, у него едва хватит времени закончить до десяти часов статью и спуститься в бистро. Он остановил машину перед зданием газеты; счастье еще, что

они получили этот автомобиль, без него Анри ни за что не успел бы справиться со всеми своими делами. Он открыл дверцу, и его взгляд скользнул по щитку приборов. 2327. Анри с удивлением еще раз посмотрел на цифру. Он был уверен, что вчера вечером счетчик показывал 2102. Ключ от гаража имелся только у четверых: Ламбер находился в Германии, Люк провел все утро в редакции, зачем понадобилось Венсану проехать 225 километров между полуночью и полуднем? Он не из тех, кто любит прокатиться со шлюхой, у него было исключительное пристрастие к борделям. К тому же где он мог найти бензин? И потом, он бы предупредил, они всегда предупреждали друг друга. Анри поднялся по лестнице и на пороге своего кабинета остановился. Эта история с километражем заинтриговала его. Он вошел в редакционное помещение и положил руку на плечо Венсана:

— Скажи мне...

Венсан с улыбкой обернулся; Анри заколебался. И дело даже не в подозрении, но недавно, читая заметку в самом низу первой страницы «Франс-Суар»[{57}], он вспомнил улыбку Венсана в Красном баре; и вот теперь Венсан улыбнулся, и Анри вспомнилась та заметка. Он не стал задавать

вопроса, а предложил:

— Пойдем выпьем по стаканчику?

— С удовольствием, — ответил Венсан.

Они поднялись в бар и сели за столик возле двери, ведущей на террасу. Анри заказал две порции белого вина и продолжил:

— Скажи мне, это ты брал машину сегодня утром?

— Машину? Нет.

— Странно; значит, у кого-то еще, кроме нас, есть ключи. Я поставил ее вчера в полночь, и с тех пор кто-то проделал на ней двести двадцать пять километров.

— Ты, должно быть, ошибся насчет цифр, — сказал Венсан.

— Нет, я уверен, что нет; я как раз отметил, что мы перевалили за две тысячи сто. — Анри помолчал. — Люк был здесь все утро. Если не ты брал машину, то спрашивается, кто же тогда? Придется прояснить.

— Почему это тебя так волнует? — спросил Венсан. Было в его голосе что-то настойчивое, и Анри с минуту молча смотрел на него. Потом сказал:

— Не люблю тайн.

— Ну какая же это тайна!

— Ты считаешь?

Снова наступило молчание, и Анри спросил:

— Машину ты брал? Венсан улыбнулся:

— Послушай, я попрошу тебя об одной услуге. Забудь эту историю, совсем забудь. Машина не покидала гаража со вчерашнего вечера, вот и все.

Анри осушил свой стакан; 225 километров; Аттиши приблизительно в 100 километрах от Парижа. В заметке «Франс-Суар» сообщалось, что доктор Бомаль, подозревавшийся в сотрудничестве с гестапо и только что оправданный за отсутствием состава преступления, был обнаружен на рассвете убитым в своем доме в Аттиши. Анри снова внимательно посмотрел на Венсана. Эта история смахивала на детективный роман, а Венсан улыбался — живой и во плоти он был вполне реален. Анри встал. В Аттиши обнаружили труп, тоже вполне реальный, и где-то — живые во плоти — скрывались убийцы.

— На террасе удобнее разговаривать, — сказал Анри.

— Да, день сегодня прекрасный, — согласился Венсан, подходя к парапету, через который виднелись блестящие крыши Парижа.

— Где ты был минувшей ночью? — спросил Анри.

— Тебе непременно надо знать? — Венсан улы-

бался собственным мыслям.

— Ты был в Аттиши, — заявил вдруг Анри.

Лицо Венсана изменилось, он посмотрел на свои руки: они не дрожали. Он с живостью поднял глаза на Анри:

— Почему ты так решил?

— Это совершенно ясно, — сказал Анри.

На самом деле он бросил слова, не веря тому, что говорил, и вдруг они стали правдой. Венсан входил в одну из банд, этой ночью он побывал в Аттиши.

— Так уж и ясно? — с досадой спросил Венсан. Его огорчало, что он с такой легкостью был разоблачен, а все остальное ему было полностью безразлично.

Анри схватил его за плечо:

— Ты, похоже, не понимаешь: такого рода истории никуда не годятся, это скверные истории.

— Доктор Бомаль, — спокойным тоном сказал Венсан, — это ведь его вызывали на улицу Помп приводить в чувство ребят, которые теряли сознание; он возвращал их к жизни, и им снова начинали выкручивать пальцы ног. Он занимался этой работой в течение двух лет.

Анри еще сильнее сжал костлявое плечо:

— Да, он был отъявленный негодяй. И что?

Одним негодяем меньше на земле, чему это поможет? Приканчивать коллаборационистов в сорок третьем — дело понятное. Но теперь это ничего не дает, риска почти никакого, это не действие, не работа и даже не спорт: всего лишь нездоровое развлечение. Есть дела поважнее.

— Согласись, что чистка — всего лишь омерзительная комедия, — сказал Венсан.

— То, чем ты занимаешься, тоже комедия, и тоже омерзительная, — заметил Анри. — Хочешь, я тебе скажу? — сердито добавил он. — У вас сердце разрывается оттого, что приключение закончилось, вы делаете вид, будто продлеваете его. Но Боже мой! Главным было не приключение, а те вещи, которые мы защищали.

— Защищают всегда одни и те же вещи, — спокойно возразил Венсан. Можно было подумать, что он обсуждает совершенно абстрактную проблему казуистики. — Знаешь, — продолжал он, — эти мелкие происшествия очень полезны, чтобы освежить память людей. Они в этом сильно нуждаются. Кстати, на прошлой неделе я встретил Ламбера, разгуливающего со своим отцом: есть тут большая доля несправедливости, тебе не кажется?

— Я сам посоветовал Ламберу встретиться с

ним, если ему так хочется, — сказал Анри. — Это касается только его. Освежить память людей! — продолжал он, пожав плечами. — Надо быть чокнутым, чтобы верить, будто это хоть что-то изменит.

— А кто что-то меняет и в чем? — насмешливо спросил Венсан.

— Ты знаешь, почему мы бездействуем? — сердито ответил Анри. — Потому что нас не так много. Это твоя вина и твоих приятелей, всех тех ребят, которые занимаются чепухой, вместо того чтобы делать настоящую работу.

— Хочешь, чтобы я вступил в СРЛ? — насмешливым тоном снова спросил Венсан.

— Это было бы куда лучше! — ответил Анри. — Пойми же наконец: какой смысл стрелять в негодяев, на которых всем плевать? Правым от этого ничуть не хуже.

Венсан оборвал его:

— Лашом говорит, что СРЛ служит делу реакции, а Дюбрей — что компартия предает пролетариат: поди тут разберись! — Он решительно шагнул к застекленной двери. — Забудь об этой истории. Обещаю тебе, что я не возьму больше автомобиль, — добавил он с улыбкой.

— Плевал я на автомобиль, — сказал Анри.

— Об остальном не беспокойся, — отрезал Венсан. Они пересекли бар, и Венсан спросил: — Ты пойдешь к Маркони?

— Нет. У меня слишком много работы.

— Жаль! В кои-то веки можно порадоваться всем вместе одному и тому же! Очень бы хотелось, чтобы ты пришел!

— Мне тоже хотелось бы.

Они молча спустились по лестнице; Анри желал бы добавить что-то еще, привести какой-то убедительный аргумент, но ничего не нашел. Он чувствовал себя крайне подавленным. У Венсана за спиной остались двенадцать трупов, он пытался забыть их, продолжая убивать, а в промежутках много пил: у Маркони он крепко напьется. Нельзя было позволять ему и дальше так жить. Но как этому помешать? «Где-то что-то подгнило»{58}, — подумалось Анри. Столько всего предстоит сделать! И столько типов, которые не знают, что делать. Все должно было бы пойти на лад, но не пошло. «Я отправлю его куда-нибудь очень далеко готовить длинный репортаж», — решил Анри. Но это всего лишь временное решение. Венсану надо бы предложить что-либо прочное, надежное. Если бы дела в СРЛ шли лучше, если бы движение действительно представляло собой

некую надежду, Анри мог бы сказать ему: «Ты нам нужен». А пока им трудно понять друг друга.

Когда через два часа Анри пришел на Кэ д'Орсэ[59], он был мрачен. Он правильно предугадал любезный прием Турнеля, его осторожную улыбку.

— Передай своему другу даш Виернашу, что его письмо будет принято во внимание, но посоветуй ему набраться терпения, — сказал Турнель. — Я берусь отправить твой ответ с дипломатической почтой, — добавил он, — тебе остается вручить его моей секретарше; и все-таки будь очень осторожен.

— Разумеется, бедный старик и без того на подозрении! — Анри взглянул на Турнеля с некоторым упреком: — Это мечтатели, они не понимают многих вещей; однако они правы, желая скинуть Салазара.

— Конечно правы! — согласился Турнель; в голосе его слышалась злость, и Анри более внимательно присмотрелся к нему.

— Ты не находишь, что следовало бы попытаться помочь им тем или иным способом? — спросил он.

— Каким способом?

— Ну, я не знаю, это твоя сфера. Турнель пожал

плечами:

— Ты знаешь ситуацию не хуже меня. Как ты хочешь, чтобы Франция сделала что-то для Португалии или для кого бы то ни было, если она ничего не может сделать для себя!

Анри с тревогой взглянул на рассерженное лицо. Турнель был одним из первых организаторов Сопротивления, он никогда не сомневался в победе: признание поражения — это так не похоже на него.

— И все-таки у нас есть какое-то влияние, — молвил Анри.

— Ты думаешь? Ты из тех людей, кто гордится тем, что Францию пригласили в Сан-Франциско?{60} Что ты вообразил? Правда в том, что с нами больше не считаются.

— Мы немногого стоим, согласен, — сказал Анри. — Но ведь мы можем говорить, отстаивать точку зрения, осуществлять давление...

— Я все помню, — с горечью сказал Турнель. — Мы хотели спасти честь, чтобы Франция могла говорить с союзниками с высоко поднятой головой; есть люди, которые ради этого погибли: и совершенно напрасно!

— Уж не хочешь ли ты сказать, что не следовало сопротивляться! — воскликнул Анри.

— Не знаю. Зато я знаю, что мы немногого достигли! — Турнель положил руку на плечо Анри: — Не повторяй того, что я тебе сказал!

— Конечно нет! — ответил Анри.

К Турнелю вернулась светская улыбка:

— Я рад случаю вновь встретиться с тобой!

— Я тоже, — сказал Анри.

Он торопливо прошел по коридорам, миновал двор. На душе у него было скверно. «Бедный даш Виернаш. Бедные старики!» Ему вспомнились их крахмальные воротнички, котелки на голове и этот благоразумный гнев в глазах; «Франция — наша единственная надежда», — говорили они; надежды не было — нигде, и во Франции не больше, чем в любом другом месте. Он пересек проезжую часть улицы и облокотился на парапет набережной. В Португалии казалось, что Франция все еще хранит упрямый блеск мертвых звезд, и Анри поддался этому обману. Но вот внезапно ему открылось, что он живет в умирающей столице крохотной страны. Сена текла в своем русле, церковь Мадлен, Палата депутатов стояли на прежних местах, обелиск тоже: война, казалось, чудесным образом обошла Париж стороной. «Нам хотелось в это верить», — подумал Анри, повернув машину на бульвар Сен-Жермен, где как и

встарь цвели каштаны; все они с готовностью позволили обмануть себя этим домам, деревьям, скамейкам, так точно имитировавшим прошлое; но на самом деле он был уничтожен, горделивый Град, вознесшийся над сердцем мира. Анри превратился в ничтожного гражданина малозначимой державы{61}, а «Эспуар» — в местную газетенку в духе «Пти Лимузен». Он с хмурым видом поднялся по лестнице в редакцию. «Франция ничего не может». Информировать, возмущать, вдохновлять людей, которые ничего не могут, к чему это приведет? Взять хотя бы репортаж о Португалии, Анри работал над ним с таким тщанием, словно собирался всколыхнуть общественное мнение от одного полюса до другого. А Вашингтону на это плевать, и Кэ д'Орсэ ничего не может. Он сел за письменный стол и перечитал начало статьи: зачем? Люди прочтут ее, покачают головой, бросят газету в корзину для бумаг, и конец! Какое имеет значение, останется «Эспуар» независимой или нет, будет у нее больше или меньше читателей или даже она разорится? «Не имеет смысла упорствовать!» — подумал вдруг Анри. Дюбрей и Самазелль полагали, что могут использовать эту газету; они полагали также, что Франции предстоит еще сыграть определенную

роль, если она не останется в изоляции: все надежды на их стороне, зато на другой — пустота. «Так что же? Почему не позвонить и не сказать, что я согласен?» — спросил себя Анри; он довольно долго смотрел на телефонный аппарат на своем столе, однако рука не поднималась. Он снова принялся за статью.

— Алло, Анри? Это Надин. — Голос ее растерянно дрожал. — Ты не забыл про меня?

Он с удивлением посмотрел на часы.

— Конечно нет, я собирался спуститься, сейчас ведь всего десять с четвертью?

— Десять семнадцать.

— Ну и что, я работал.

В нетерпении он положил трубку. У нее был особый дар на это: она всегда умудрялась портить их встречи. В течение минувшего бесплодного дня ему нередко приходила мысль о той минуте, когда он сожмет в объятиях ее гладкое, свежее тело; тогда он получит наконец свою долю весны. И вот теперь злость разом одолела его желание. «Еще одна, которая считает, будто имеет права на меня? — думал он, спускаясь по лестнице. — Мне хватает Поль...» Он толкнул дверь маленького кафе; Надин с невозмутимым видом читала, попивая минеральную воду.

— Ну что? Ты не могла подождать двадцать минут? Она подняла голову:

— Извини. Я не хотела подгонять тебя. Но это сильнее меня. Как только я начинаю ждать, мне кажется, что я никогда больше не увижу человека, которого жду.

— Так просто не исчезают.

— Ты думаешь?

Анри отвернулся, немного смутившись; он вдруг вспомнил, что ей восемнадцать лет и у нее тяжелые воспоминания.

— Ты что-нибудь заказала?

— Да, сегодня у них бифштексы. — Примирительно улыбнувшись, она добавила: — Ты хорошо сделал, что не пошел к Маркони, невесело было.

— Венсан напился?

— Откуда ты знаешь?

— Он всегда напивается. Тебе следовало бы попробовать перевоспитать его.

— О, Венсан! У него на все есть право, — мечтательно сказала Надин. — Он так непохож на других: это архангел...

Она устремила взгляд на Анри:

— Ну что? Ты встречался с Турнелем?

— Встречался. Он говорит, что ничего не может сделать.

— Я прекрасно знала, что все впустую, — заметила Надин.

— Я тоже знал, — ответил Анри.

— В таком случае не стоило этим заниматься! — сказала Надин. Лицо ее опять приняло недовольное выражение; она протянула Анри черную тетрадь: — Я принесла тебе рукопись.

— Ну и как?

— Он рассказывает разные забавные вещи об Индокитае, — произнесла Надин бесстрастным тоном.

— Думаешь, можно напечатать отрывки в журнале?

— О, наверняка! Я бы даже напечатала все. — Она взглянула на рукопись с некоторой злостью: — Надо не иметь стыда, чтобы решиться говорить о себе вот так; я никогда бы не смогла.

Анри улыбнулся:

— У тебя никогда не возникало желания писать?

— Никогда, — с пафосом заявила Надин. — Прежде всего я не понимаю, зачем пишут, если не имеют таланта.

— Иногда мне кажется, что тебе помогло бы, если бы ты писала, — сказал Анри.

Лицо Надин посуровело:

— Помогло бы? В чем?

— Справляться с жизнью.

— Спасибо, я отлично справляюсь, — ответила она, принимаясь за бифштекс. — Вы смешные, — добавила она, — еще хуже, чем наркоманы.

— Почему наркоманы?

— Наркоманы хотят приобщить к наркотикам всех; вам же хочется, чтобы все писали.

Анри открыл рукопись, и снова машинописные фразы отозвались в нем ясным, сухим и веселым звуком, похожим на дождь из мелких камешков.

— Для двадцатидвухлетнего парня это действительно хорошо, — сказал он.

— Да, хорошо, — согласилась она, пожав плечами. — Как ты можешь распаляться из-за типа, которого даже не знаешь?

— Я не распаляюсь, я констатирую, что у него есть талант.

— Ну и что? Разве на земле мало талантливых писателей? Объясни мне, — продолжала она с упрямым видом, — почему вы с папой испытываете потребность отыскивать будущие шедевры?

— Если пишешь, значит, веришь в литературу, — сказал Анри. — Радуешься, когда она обогащается какой-нибудь хорошей книгой.

— Ты хочешь сказать, что это отражается на

вашей собственной деятельности и оправдывает ее?

— В какой-то мере да.

— Так я и думала, — удовлетворенно сказала она. — Интерес, который вы проявляете к молодым, это, по сути, эгоизм.

— О! Какой дешевый цинизм!

— Разве не эгоизм лежит в основе всех действий?

— Скажем так: в любом случае существуют формы эгоизма более или менее приятные для другого.

Ему не хотелось ни о чем спорить; она как раз чистила зубы кончиком спички, и он почувствовал откровенное раздражение. Бросив спичку на пол, Надин спросила:

— Ты тоже считаешь, что я напрасно стала секретарем?

— Почему ты меня об этом спрашиваешь? Ты прекрасно справляешься.

— Я говорю не об интересах секретарства, а о своих собственных. Права я была или нет?

По правде говоря, ничего особенного он об этом не думал; несмотря на весь свой цинизм, Надин была бы удивлена, если бы узнала, до какой степени ее проблемы оставляли его равнодушным.

— Разумеется, ты могла бы продолжать учебу, — неохотно сказал он.

— Мне хотелось быть независимой.

Странная независимость — работать в журнале своего отца; на самом деле она старалась презирать своих родителей, вернее даже, ненавидеть, но не вынесла бы, если бы их жизнь перестала быть и ее тоже: она испытывала потребность каждодневно бросать им вызов.

— Тебе лучше судить, — вяло произнес он.

— Значит, ты считаешь, что я права?

— Ты права, когда делаешь то, что тебе нравится. — Он отвечал скрепя сердце, ибо знал, что Надин обожает разговоры о себе, хотя любое суждение, пускай даже благожелательное, ранит ее. По правде говоря, в этот вечер не было ничего, о чем ему хотелось бы говорить; все, чего он желал, — это лечь с ней в постель.

— Знаешь, что бы ты сделала, если была бы милой?

— Что?

— Пошла бы со мной на другую сторону улицы. Лицо Надин помрачнело.

— Если ты со мной встречаешься, то только для этого, — с досадой сказала она.

— Я не думал оскорбить тебя. Она жалобно

ответила:

— Я хотела поговорить.

— Давай поговорим! Хочешь коньяка?

— Ты прекрасно знаешь, что нет.

— Все такая же воздержанная, словно воспитанница приюта. И сигарету не хочешь?

— Нет.

Он заказал коньяк, закурил сигарету.

— Так о чем ты хотела поговорить?

Тон его был не слишком любезен, однако Надин это не смутило:

— Я хочу вступить в компартию.

— Вступай.

— Но что ты на это скажешь?

— А что тут сказать, — с живостью ответил он. — Тебе лучше знать, чего ты хочешь.

— Но я никак не могу решиться, это не так-то просто; вот почему мне хотелось бы поговорить об этом.

— Обсуждения никогда никого не убеждают.

— С другими ты что-то обсуждаешь, — сказала Надин, ее голос внезапно ожесточился. — Со мной — никогда не хочешь; полагаю, из-за того, что я — женщина; женщины годятся только на то, чтобы спать с ними.

— Все свои дни я провожу в разговорах, — ска-

зал он. — Если бы ты знала, как это в конце концов надоедает.

Суть в том, что с Ламбером или Венсаном он не уклонился бы от ответа; Надин нуждалась в помощи так же, как они; однако на собственном горьком опыте он научился, что прийти на помощь женщине — это всегда означает предоставить ей какое-то право; малейший дар они превращали в обещание; он держался настороже.

— Я думаю, что, если ты вступишь в партию, надолго ты там не останешься, — с усилием произнес он.

— О! Ваши интеллигентские сомнения меня не гложут. Зато бесспорно одно, — горячо продолжала она, — если бы я была в партии, то не испытывала бы таких угрызений совести, когда видела в Португалии подыхающих с голода ребятишек.

Он хранил молчание; да, весьма соблазнительно хоть один раз в жизни избавиться от всех угрызений совести; но если в партию вступаешь только ради этого, наверняка просчитаешься.

— О чем ты думаешь? — спросила Надин.

— Я думал, что если тебе хочется вступить, то надо это сделать.

— А ты сам предпочитаешь остаться в СРЛ и не вступать в компартию?

— Почему я должен менять свое мнение? — ответил Анри.

— Значит, ты считаешь, что для меня быть коммунистом хорошо, а для тебя — нет?

— Есть множество вещей, с которыми я не могу у них мириться, а если ты с ними миришься, вступай.

— Вот видишь, ты не хочешь обсуждать! — сказала она.

— Я обсуждаю.

— Сквозь зубы. Сразу видно, тебе со мной страшно скучно! — с упреком добавила она.

— Вовсе нет, совсем не скучно. Просто сегодня к вечеру я, правда, отупел.

— Ты всегда тупеешь, когда меня видишь.

— Потому что вижу тебя по вечерам; ты прекрасно знаешь, что у меня нет другой свободной минуты.

Они умолкли на мгновение, потом Надин заговорила:

— Послушай, я хочу попросить тебя об одной вещи, но ты, конечно, откажешь...

— О чем речь?

— Проведи со мной следующий уик-энд.

— Но я не могу, — возразил он. И снова его захлестнула злость; она отказывала ему в своем теле, столь для него желанном, но требовала времени, внимания... — Ты прекрасно знаешь, что я не могу.

— Из-за Поль?

— Именно так.

— Как может мужчина согласиться всю жизнь оставаться рабом женщины, которую больше не любит?

— Я никогда не говорил тебе, что не дорожу Поль.

— Ты жалеешь ее, и тебя мучают угрызения совести; до чего отвратительна вся эта сентиментальная кухня. Когда перестаешь получать удовольствие от общения с людьми, бросаешь их, и все тут.

— В таком случае никогда не следует никого ни о чем просить, — ответил он, вызывающе глядя на нее. — А главное не возмущаться, если тебе отвечают «нет».

— Я и не возмущалась бы, если бы вместо того, чтобы толковать о своем долге, ты откровенно сказал бы мне: я не хочу проводить с тобой уик-энд.

Анри усмехнулся.

«Нет, — подумал он, — на этот раз я не дам поймать себя на откровенности: она требует истины, она ее получит». И сказал вслух:

— Допустим, что я говорю тебе это откровенно.

— Тебе не придется дважды повторять одно и то же. Надин взяла со стола свою сумочку и резко захлопнула ее.

— Я не из породы пиявок, — сказала она, — и ни за кого не цепляюсь; к тому же будь спокоен: я тебя не люблю. — С минуту она молча смотрела на него. — Разве можно любить интеллектуала! У вас вместо сердца весы и крохотный мозг на кончике хвоста. А по сути, — заключила она, — все вы фашисты.

— Я что-то не понимаю тебя.

— Вы никогда не относитесь к людям как к ровне, вы располагаете ими согласно нехитрому понятию вашей совести; ваше великодушие отдает империализмом, а ваша беспристрастность — самодовольством.

Она говорила без гнева, задумчиво; потом поднялась и нарочито усмехнулась:

— О! Не принимай такой страдальческий вид. Тебе неприятно меня видеть, да и меня это в общем-то уже не радует, так что нет никакой драмы; встретимся — поговорим. Без обиды.

Она исчезла во тьме улицы, и Анри попросил счет. Он был недоволен собой. «Почему я так грубо обошелся с ней?» Она раздражала его, но относился он к ней очень хорошо. «Я слишком часто выхожу из себя, — подумал он. — Меня все раздражает: что-то, видно, неладно». Он выпил стакан вина. Что же тут удивительного: он проводил свои дни, занимаясь вещами, которыми ему не хотелось заниматься, с утра до вечера он жил скрепя сердце. «Как я дошел до этого?» На первый взгляд не так уж самонадеянно было то, что он намеревался делать сразу после Освобождения: вновь вернуться к своей довоенной жизни и обогатить ее кое-какой новой деятельностью; он верил, что сможет руководить «Эспуар» и работать в СРЛ, не переставая при этом писать и быть счастливым — и не смог. Почему? Тут дело не во времени; если бы он действительно хотел, то постарался бы освободиться во второй половине дня, чтобы побродить по улицам или пойти к Маркони. И вот теперь у него как раз появилось время для работы, он мог попросить у официанта бумаги, но эта мысль вызывала у него тошноту. «Странное ремесло!» — говорила Надин. Она была права. Русские в данный момент разрушали Берлин, заканчивалась война или начиналась

другая: ну можно ли сейчас развлекаться, рассказывая истории, которые никогда не происходили. Он пожал плечами — и это тоже своего рода предлог, который придумывают себе, когда не идет работа. Война близилась, война разразилась, а он продолжал развлекаться, рассказывая истории: так почему не сейчас? Он вышел из кафе. Ему вспомнилась другая ночь, ночь в тумане, когда он предсказал себе, что политика его проглотит: так оно и случилось, его уже проглотили. Но почему он не сумел защититься? Откуда эта внутренняя сухость, парализовавшая его? Почему этот мальчик, чью рукопись он держал в руках, находил, что сказать, а он нет? Ему тоже когда-то было двадцать два года, и он знал, что сказать, он бродил по этим улицам, думая о своей книге: книга... Анри замедлил шаг. То были совсем другие улицы. Прежде они сияли ярким светом и покрывали своей сетью столицу мира; а ныне свет одного фонаря изредка пробивался сквозь тьму, и тогда становилось заметно, насколько тесна мостовая и облуплены дома. Город Светоч угас. Если когда-нибудь он засверкает вновь, блеск Парижа станет блеском утративших былое величие столиц: Венеции, Праги, Мертвого Брюгге{62}. Другие улицы, другой город, другой мир. В рождественскую ночь

Анри пообещал себе передать словами сладость мира: однако мир этот был не сладок. Улицы казались хмурыми, тело Надин — неприветливым; весне нечего было ему предложить: голубое небо, почки повиновались привычной смене времен года и ничего не обещали. «Передать вкус моей жизни». У нее не было больше вкуса, потому что ни в чем не было смысла. И вот почему уже не имело смысла писать. И опять-таки Надин права: нельзя с удовольствием описывать огоньки вдоль Тахо, если знаешь, что они светят городу, подыхающему от голода. И подыхающие от голода люди не могут быть поводом для фраз. Прошлое оказалось всего лишь миражем: мираж рассеялся, что осталось? Несчастье, угрозы, неясные задачи, хаос. Анри утратил целый мир и ничего не получил взамен. Его окружала пустота, он ничем не владел да и сам был ничем, о чем же он мог говорить? «Что ж, — подумал он, — мне остается только молчать. Если я действительно приму решение, то перестану разрываться. Быть может, я с более легким сердцем буду выполнять работу, которую должен делать». Он остановился перед Красным баром и увидел через окно Жюльена, в одиночестве сидевшего у стойки. Анри толкнул дверь и услышал, как шепчут его имя. Еще вчера

он был бы тронут этим; но, прокладывая дорогу сквозь местную сутолоку, он ругал себя за то, что поддался на обман жалкого миража: быть великим писателем в Гватемале или Гондурасе, какой ничтожный триумф! Раньше он верил, что живет в привилегированном месте мира, откуда каждое слово разносится по всей земле, но теперь он знал, что все слова умирают у его ног.

— Слишком поздно! — сказал Жюльен.

— Почему поздно?

— Ты пропустил мордобитие. О! Ничего выдающегося, — добавил он. — Они даже морду набить друг другу прилично не умеют.

— По поводу чего?

— Один тип назвал Петена{63} «маршалом», — нетвердым голосом продолжал Жюльен. Он достал из кармана плоский флакон: — Хочешь настоящего шотландского виски?

— Хочу.

— Мадемуазель, еще стакан и содовой, пожалуйста, — попросил Жюльен. Он до половины наполнил стакан Анри.

— Замечательно! — сказал Анри и выпил весь стакан. — Мне необходимо было чуточку укрепляющего: день выдался такой наполненный, с ума сойти! Ты не заметил, каким себя чувствуешь

опустошенным после до краев наполненного дня?

— Дни всегда наполнены, и каждый час на своем месте, с бутылками, к несчастью, дело обстоит иначе.

Жюльен дотронулся до тетради, которую Анри положил на стойку:

— Это что такое? Секретные документы?

— Роман одного молодого человека.

— Скажи своему молодому человеку, чтобы сделал из него папильотки для младшей сестренки; пускай станет библиотекарем, как я, это прелестное ремесло, к тому же более здоровое. Заметь: если ты продал бошам{64} масло или пушки, тебя прощают, тебя обнимают, тебя награждают; но если ты написал лишнее слово там или тут, тогда: целься, огонь! Тебе следовало бы написать об этом статеечку.

— Я как раз над этим думаю.

— Ты обо всем успеваешь подумать, а? — Жюльен вылил остатки виски в стаканы. — Это надо же, ты можешь заполнить целые колонки, требуя национализации! Работа и справедливость: думаешь, будет весело? А когда придет черед национализировать мужские члены? — Он поднял стакан: — За берлинскую бойню!

— Бойню!

— А что, ты полагаешь, делают в Берлине этой ночью славные казаки? Убивают и насилуют! А ты говоришь: бедлам. Это победа, понял! Наша победа. Ты чувствуешь гордость?

— А-а! Ты тоже помешан на политике!

— Ну нет. К черту политику! — заявил Жюльен.

— Если ты хочешь сказать, что этот мир не слишком весел, — сказал Анри, — я полностью с тобой согласен.

— Я тоже. Взгляни на этот притон: а еще называется баром! Даже пьяницы только о том и говорят, как возродить Францию. А женщины! Ни одной веселой женщины во всем квартале, одни воительницы.

Жюльен слез со своего табурета:

— Слушай! Пошли со мной на Монпарнас. Там, по крайней мере, можно найти очаровательных девушек; может, и не настоящих, не совсем настоящих девушек, но за сущие гроши вполне любезных и ни с кем не воюющих.

Анри покачал головой:

— Я пойду спать.

— Ты тоже не веселый, — с отвращением сказал Жюльен. — Нет. Послевоенная жизнь явно не

удалась!

— Не удалась! — согласился Анри. Он следил глазами за Жюльеном, который с достоинством шел к двери; он тоже не был веселым, скорее совсем скис. Но вообще-то говоря, почему после войны должно быть особо весело? Да, во время оккупации то, что будет после, рисовалось необычайно прекрасным: старая история. Мы вволю наслушались про поющий завтрашний день{65}, завтрашний день стал сегодняшним, а песен-то и нет. По правде говоря, Париж был уничтожен, и все погибли на войне. «Я тоже», — подумалось Анри. Ну и что? Мертвым быть совсем не тягостно, если не притворяться, что живешь. Писать, жить — с этим покончено. Единственное правило: действовать. Действовать коллективно, не заботясь о себе, сеять и еще раз сеять, никогда не собирая урожая. Действовать, объединяться, способствовать, повиноваться Дюбрею, улыбаться Самазеллю. Позвонить и сказать: «Газета ваша». Способствовать, объединяться, действовать. Он заказал двойную порцию коньяка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Выжить, оказаться по другую сторону собственной жизни: в конце концов, это очень удобно; ничего больше не ждешь, ничего не боишься, и каждый час — это своего рода воспоминание. Вот что я обнаружила во время отсутствия Надин — какой покой! Двери в квартире больше не хлопали, я могла разговаривать с Робером, никого не лишая законных прав, могла бодрствовать в ночи, и никто не стучал ко мне в дверь; я пользовалась этим. Мне нравилось ловить прошлое, отыскивая его в каждом мгновении. Довольно было одной бессонной минуты: три звезды в окне воскрешали все зимы, замерзшие деревни, Рождество; с шума передвигаемых мусорных ящиков с самого детства начиналось каждое парижское утро. И всегда одна и та же застарелая тишина в кабинете Робера, когда он пишет — с покрасневшими глазами, глухой, бесчувственный; а как мне знаком этот привычный взволнованный шепот! У них были новые лица, сегодня их звали Ленуар, Самазелль; но запах серого табака, неистовые голоса, примиряющий смех — я узнавала все это. По вечерам я слушала рассказы

Робера, смотрела на наши неизменные безделушки, книги, картины и говорила себе, что смерть, возможно, более милосердна, чем мне казалось.

Вот только надо было забаррикадироваться в моей могиле. На мокрых улицах попадались мужчины в полосатых пижамах: возвращались первые узники концлагерей. На стенах, в газетах фотографии открывали нам, что в течение всех этих лет мы даже не могли предугадать истинного значения слова «ужас»; новые мертвецы пополняли толпу мертвых, тех, кого предавали наши жизни; в моем кабинете стали появляться выжившие, им-то не дано было искать отдохновения в прошлом. «Мне так хотелось бы поспать хоть одну ночь, ни о чем не вспоминая», — молила высокая девушка с еще не поблекшими щеками, но совсем седыми волосами. Обычно я умела защищаться; все невропаты, которые во время войны не давали воли своему безумию, сегодня брали бешеный реванш, к ним я проявляла лишь профессиональный интерес; но при виде этих призраков мне делалось стыдно: стыдно за то, что я недостаточно настрадалась и осталась невредимой, готовой давать им советы с высоты своего положения здорового человека. Ах! Вопросы, которыми я задавалась, казались

мне напрасными: каким бы ни стало будущее мира, нужно было помочь этим мужчинам и женщинам забыть, вылечиться. Единственная проблема заключалась в том, что, сколько бы я ни урывала у своих ночей, дни мои оказывались чересчур короткими.

Тем более что Надин вернулась в Париж. Она притащила огромную сумку-мешок, полную колбасы ржавого цвета, ветчины, сахара, кофе, шоколада; из чемодана она достала липкие от сахара и яиц пирожные, чулки, туфли, шарфы, ткани, водку. «Согласитесь, что я неплохо справилась!» — с гордостью говорила она. На ней была шотландская юбка, красная блузка хорошего покроя, пушистая меховая шуба, башмаки на каучуковой подошве. «Поторопись сшить себе платье, бедная моя мама, у тебя такой жалкий вид», — сказала она, бросив мне на руки мягкую ткань богатых осенних оттенков. В течение двух дней она с неудержимой горячностью описывала нам Португалию; рассказывала она плохо, широкими жестами дополняя фразы, которые не удавалось заполнить словами, и в голосе ее чувствовалась тревожная напряженность: казалось, ей требовалось поразить нас, чтобы насладиться воспоминаниями. Она с важным видом осмот-

рела дом.

— Ты понятия не имеешь! Что за кафель! Что за пол! Нет, теперь, когда повалили пациенты, ты не можешь справляться со всем одна.

Робер тоже настаивал; мне немного претило пользоваться чужими услугами, но Надин утверждала, что это мелкобуржуазная щепетильность; она сразу же нашла мне домработницу — молодую, аккуратную, усердную, звали ее Мари. Впрочем, я чуть было не уволила ее в первую же неделю.

Робер внезапно ушел, как это нередко случалось в последние дни, и оставил в беспорядке на столе свои бумаги; услыхав шум в его кабинете, я приоткрыла дверь и увидела Мари, склонившуюся над листками рукописи.

— Что вы тут делаете?

— Навожу порядок, — невозмутимо отвечала Мари, — я пользуюсь тем, что месье вышел.

— Я говорила вам, чтобы вы никогда не прикасались к этим бумагам; к тому же вы не раскладывали их, а читали!

— Я не могу разобрать почерка месье, — с сожалением сказала она и улыбнулась; у нее было бесцветное личико, которое улыбка не оживляла. — Так странно видеть месье, он пишет целыми

днями: неужели он все берет из головы? Мне хотелось посмотреть, как это выглядит на бумаге. Я ничего не испортила.

Я заколебалась, и в конечном счете у меня не хватило духа; целыми днями убирать и чистить — какая скука! Несмотря на свой сонный вид, Мари казалась неглупой, я понимала, что она пыталась развлечься.

— Ладно, — сказала я, — но больше этого не делайте. — И добавила: — Вас интересует чтение?

— У меня никогда не бывает для этого времени, — ответила Мари.

— Ваш рабочий день закончился?

— Дома шестеро ребятишек, а я — самая старшая.

«Жаль, что она не может научиться настоящему ремеслу», —думала я и даже собиралась поговорить с ней об этом, но почти не видела ее, к тому же она была очень сдержанной.

— Ламбер не позвонил, — заметила Надин через несколько дней после своего возвращения. — А ведь он знает, что Анри вернулся и я тоже.

— Перед отъездом ты двадцать раз повторила ему, что объявишься сама: он боится докучать тебе.

— О! Если он дуется, это его дело. Но ты же ви-

дишь, он может обходиться без меня.

Я не ответила, и она добавила агрессивным тоном:

— Я хотела сказать тебе: ты здорово промахнулась насчет Анри. Влюбиться в такого типа — поищите другую дуру! Он так уверен в себе и к тому же скучен, — в сердцах заключила она.

Наверняка она не питала к нему никакой нежности, однако в те дни, когда должна была встретиться с ним, подкрашивалась с особым тщанием, а когда возвращалась, бывала сварливее, чем обычно; мало сказать, любой предлог оказывался для нее хорош, чтобы вспылить. Однажды утром она явилась в кабинет Робера, с мстительным видом размахивая какой-то газетой:

— Взгляни на это!

На первой странице «Ландемен» Скрясин улыбался Роберу, который в ярости смотрел прямо перед собой.

— А! Они-таки подловили меня! — воскликнул Робер, хватая еженедельник. — Это было тем вечером в «Избе», — пояснил он Надин. — Я велел им убираться, но они-таки меня подловили!

— И сфотографировали тебя с этим гнусным типом, — сказала она, задыхаясь от гнева. — Явно

нарочно.

— Скрясин вовсе не гнусный тип, — возразил Робер.

— Всем известно, что он продался Америке; это мерзко; что ты собираешься делать?

— А что мне остается делать? — пожал плечами Робер.

— Подать в суд. Никто не имеет права фотографировать людей против их воли. Губы Надин дрожали; ей всегда претило, что ее отец — известный человек;

когда новый преподаватель или экзаменатор спрашивал ее: «Вы дочь Робера Дюбрея?» — она злобно отмалчивалась; между тем она гордится им, однако хотела бы, чтобы он был знаменит, но никто об этом не знал бы.

— Судебный процесс наделает много шума, — заметил Робер, — так что у нас нет оружия. — Он отбросил газету. — В тот день ты очень правильно сказала, что для нас нагота начинается с лица.

Я каждый раз удивлялась точности, с какой он напоминал мне слова, которые я начисто забыла; обычно он придавал им больше смысла, чем я в них вкладывала; точно так же он вел себя и в отношении других.

— Нагота начинается с лица, а непристойность

— со слова, — продолжал он. — Нас обрекают быть изваяниями или призраками и, как только увидят во плоти, обвиняют в обмане. Именно поэтому малейший жест с такой легкостью принимает обличье скандала: смеяться, разговаривать, есть — все это преступление.

— Так постарайтесь, чтобы вас не заставали врасплох, — вышла из терпения Надин.

— Послушай, — сказала я, — тут не из чего устраивать драму.

— Ну, конечно! Если тебе наступают на ногу, ты считаешь, что кто-то наступил на ногу, случайно оказавшуюся твоей.

На самом деле мне тоже не нравилась та шумиха, которую создавали вокруг Робера. Хотя с 1939 года он ничего не опубликовал — за исключением статей в «Эспуар», — его обсуждали еще более яростно, чем до войны. Его буквально упрашивали добиваться избрания в Академию и требовать ордена Почетного легиона, журналисты преследовали его, о нем печатали кучу всякой лжи. «Франция превозносит свои региональные достопримечательности: культуру и высокую моду», — говорил мне он. Робера тоже раздражал весь этот бесполезный шум вокруг него, но что поделаешь? Сколько бы я ни объясняла Надин,

что мы тут ничего не можем, она закатывала истерику каждый раз, как читала отзыв о Робере или видела в газетах его фотографию.

И снова в доме хлопали двери, вальсировала мебель, книги с грохотом падали на пол. Вся эта сумятица начиналась с раннего утра. Надин спала мало, она считала, что сон — это потеря времени, хотя и не знала толком, что делать со своим временем. Любое занятие казалось ей напрасным, если принять во внимание все те, которыми она жертвовала ради этого одного: ни на какое из них она не могла решиться; увидев ее сидящей с мрачным видом за пишущей машинкой, я спрашивала:

— Ты делаешь успехи?

— Лучше бы я занялась химией, а то провалюсь на экзамене.

— Так займись химией.

— Но секретарша должна уметь печатать. — Она пожимала плечами. — К тому же так глупо забивать голову формулами. Какое это имеет отношение к настоящей жизни?

— Брось химию, если она настолько тебя раздражает.

— Ты мне двадцать раз говорила, что нельзя вести себя как флюгер. Она обладала искусством

поворачивать против меня все советы, которыми
я допекала ее в детстве.

— Бывают случаи, когда глупо упорствовать.

— Да не бойся! Я не такая бездарная, как ты думаешь, сдам я этот экзамен. Однажды во второй половине дня Надин постучала в дверь моей комнаты:

— Ламбер пришел повидаться с нами, — сказала она.

— Повидаться с тобой, — поправила ее я.

— Послезавтра он опять едет в Германию, он хочет попрощаться с тобой. Иди же, — с живостью добавила она жалобным тоном. — Не прийти будет нелюбезно с твоей стороны.

Я последовала за ней в гостиную, хотя знала, что на самом деле Ламбер не любит меня. Наверняка — и не без оснований — он считал меня в ответе за все, что ранило его в Надин: ее агрессивность, ее коварство, ее упрямство. Я предполагала также, что он слишком склонен искать мать в женщине, которая старше его по возрасту и что он противится этому ребяческому искушению. Лицо его со вздернутым носом и немного рыхлыми щеками выдавало душу и тело, неотвязно преследуемые мечтами о подчинении.

— Знаешь, что рассказывает мне Ламбер? — с воодушевлением начала Надин. — Американцы не репатриируют каждого десятого узника, они оставляют их гнить на месте.

— Половина не выдержала в первые же дни, они отдали концы, потому что их пичкали колбасой и консервами, — сказал Ламбер. — Теперь по утрам им дают суп, а вечером — кофе с краюхой хлеба, и они как мухи мрут от тифа.

— Надо, чтобы об этом узнали, — сказала я, — надо протестовать.

— Перрон займется этим, но он хочет точных фактов, а их добыть трудно: в концлагеря не допускают французский Красный Крест. Как раз для этого я и еду туда снова.

— Возьми меня с собой, — попросила Надин.

— Лучшего я и не желал бы, — улыбнулся Ламбер.

— Что я сказала такого смешного? — рассердилась Надин.

— Ты прекрасно знаешь, что это невозможно, — отвечал Ламбер, — пропускают лишь военных корреспондентов.

— Женщины тоже бывают военными корреспондентами.

— Но не ты; к тому же теперь слишком поздно,

никого уже не принимают. Впрочем, не жалей, — добавил он, — такое ремесло я тебе не посоветовал бы.

Говорил он скорее для себя, но Надин почудился в его тоне покровительственный оттенок.

— Почему? То, что делаешь ты, могу делать и я, разве не так?

— Хочешь видеть фотографии, которые я привез?

— Покажи, — с жадностью попросила она.

Ламбер бросил фотографии на стол. Я предпочла бы не смотреть на них, но у меня не было выбора. Оссуарии на фотографиях — это еще можно вынести; их было слишком много, да и потом, можно ли жалеть кости? Но как быть перед изображениями живых? Все эти глаза...

— Я видела и похуже, — заметила Надин.

Ламбер молча собрал фотографии и сказал ободряющим тоном:

— Знаешь, если тебе хочется сделать репортаж, это будет нетрудно; поговори с Перроном, в самой Франции найдется множество сюжетов для расследования.

Надин прервала его:

— Я только хочу посмотреть мир, каков он есть, а вот выстраивать затем слова — мне это

неинтересно.

— Я уверен, что у тебя получится, — с жаром сказал Ламбер. — У тебя есть смелость, ты умеешь вызвать людей на разговор, ты находчивая и сможешь всюду пройти. А что касается бумагомарания, этому несложно научиться.

— Нет, — с упрямым видом ответила она. — Когда пишут, то не говорят всей правды; взять хотя бы репортаж Перрона о Португалии: все не так. С твоими, я не сомневаюсь, то же самое, я им не верю; вот почему я хочу видеть вещи своими глазами, только я не стану делать из этого бодягу, а потом продавать.

Лицо Ламбера помрачнело; я поспешила сказать:

— Мне статьи Ламбера кажутся очень убедительными, взять хотя бы санчасть в Дахау — такое впечатление, будто сам ее посетил.

— И что это доказывает, твое впечатление? — нетерпеливо возразила Надин. Потом после недолгого молчания спросила: — А что, Мари принесет чай, да или нет? — Она властно позвала: — Мари!

На пороге в синем рабочем халате появилась Мари, и Ламбер с улыбкой встал.

— Мари-Анж! Что ты тут делаешь?

Она страшно покраснела и повернулась, чтобы уйти; я остановила ее:

— Вы можете ответить.

Она сказала, пристально глядя на Ламбера:

— Я — домработница.

Ламбер тоже стал весь красный, и Надин подозрительно уставилась на них.

— Мари-Анж? Ты ее знаешь? Мари-Анж, а дальше как? Последовало подавленное молчание, затем она вдруг сказала:

— Мари-Анж Визе.

Я почувствовала, что заливаюсь краской от гнева:

— Журналистка?

— Да, — пожав плечами, ответила она. — Я ухожу, ухожу немедленно. Не трудитесь прогонять меня.

— Вы пришли шпионить за нами на дому? Какая гадость!

— Я не знала, что вы знакомы с журналистами, — сказала она, бросив взгляд на Ламбера.

— Чего ты ждешь, чтобы отхлестать ее по щекам! — закричала Надин. — Она слышала все наши разговоры, всюду рыскала, читала наши письма, она всем все расскажет...

— О! Вы своим громким голосом не испуга-

ете меня, — сказала Мари-Анж. Я едва успела удержать Надин, схватив ее за руки, она легко уложила бы

Мари-Анж на пол; со мной ей не хватало только смелости, чтобы вырваться.

Мари-Анж пошла к двери, я последовала за ней. В прихожей она спокойно спросила меня:

— Вы не хотите, чтобы я кончила мыть стекла?

— Нет. Зато я хочу знать: какая газета вас прислала?

— Никакая. Я пришла сама по себе. Я подумала, что напишу милую статейку, которую легко продам. Ну, знаете, то, что они называют зарисовкой, — профессиональным тоном заявила она.

— Да. Ну что ж, я извещу газеты, и тому, кто купит ваши выдумки, это дорого обойдется.

— О! Я даже не стану пробовать ее продавать, теперь все пропало. — Она сняла синий халат и надела пальто. — Придется довольствоваться неделей уборки. Я ненавижу заниматься уборкой! — в отчаянии добавила она.

Я ничего не ответила, но она несомненно почувствовала, что мой гнев стал ослабевать, ибо осмелилась едва заметно улыбнуться.

— Знаете, я вовсе не собиралась писать нескромную статью, — произнесла она детским голоском.

— Я только хотела уловить атмосферу.

— И потому рылись в наших бумагах?

— О! Я рылась ради собственного удовольствия. — Она добавила обиженным тоном: — Вам, конечно, легко ругать меня, я провинилась... А думаете, просто — пробиться? Вы — жена знаменитого человека. Это куда как просто. А мне надо выкручиваться самой. Послушайте, — сказала она, — дайте мне шанс: завтра я принесу вам эту статью, и вы вычеркнете все, что вам не понравится!

— А потом вы напечатаете ее без купюр!

— Нет, клянусь вам. Если хотите, я дам вам оружие против меня: самое заурядное признание, и с подписью, тогда я в ваших руках. Пожалуйста, согласитесь! Сколько посуды я вам перемыла! И ведь у меня хватило смелости, правда?

— У вас и сейчас ее хватает.

Я колебалась; если бы мне рассказали такую историю, в мечтах я схватила бы за волосы и сбросила бы с высокой лестницы бесстыдницу, вторгшуюся в нашу частную жизнь. И вот пожалуйста, она была здесь, чернявая и костлявая девочка, не отличавшаяся красотой и горевшая желанием пробиться. Наконец я сказала:

— Мой муж никогда не дает интервью. Он не

согласится.

— Попросите его: работа все равно уже сделана... Я позвоню завтра утром, — торопливо добавила она. — Вы ведь не сердитесь на меня? Я терпеть не могу, когда на меня сердятся. — Она смущенно засмеялась. — Я никогда ни на кого не сержусь — не могу.

— Я тоже не очень хорошо это умею.

— Ну это уж слишком! — воскликнула Надин, выходя из коридора вместе с Ламбером. — Ты позволяешь ей печатать статью! Улыбаешься ей! Этой стукачке...

Мари-Анж открыла входную дверь и поспешно захлопнула ее за собой.

— Она обещала показать мне свою статью.

— Стукачка! — пронзительным голосом повторила Надин. — Она читала мой дневник, читала письма Диего, она... — Голос у нее сорвался. Надин сотрясал неудержимый гнев, как во времена подобных приступов в детстве. — Ее следовало побить! А ее, видите ли, награждают!

— Я пожалела ее.

— Пожалела! Ты всегда всех жалеешь! По какому праву? — Она смотрела на меня чуть ли не с ненавистью. — По сути, это презрение; в отношениях с людьми у тебя никогда не бывает

настоящей меры.

— Успокойся, это не так уж важно.

— О! Я знаю, виновата, естественно, я, меня ты никогда не извиняешь. Ты совершенно права! Мне не нужна твоя жалость!

— Знаешь, она славная девушка, — сказал Ламбер, — отчасти карьеристка, но милая.

— Что ж, ступай и ты ее поздравить. Беги за ней.

Надин внезапно бросилась в свою комнату и с грохотом захлопнула дверь.

— Я сожалею, — сказал Ламбер.

— Вы ни в чем не виноваты.

— У нынешних журналистов нравы полицейских осведомителей. Я понимаю, почему Надин рассердилась, на ее месте я тоже пришел бы в ярость.

Ему не было нужды защищать ее от меня, но им двигали благие намерения.

— О! Я тоже понимаю, — согласилась я.

— Ну что ж, я пойду, — сказал Ламбер.

— Счастливого пути, — ответила я и добавила: — Вам следовало бы чаще навещать Надин, знаете, она очень расположена к вам.

Он смущенно улыбнулся:

— Верится с трудом.

— Она была огорчена, что вы раньше не дали о себе знать, и потому вела себя не очень любезно.

— Но она сказала, чтобы я не звонил первым.

— И тем не менее она была бы рада, если бы вы ей позвонили; ей необходима твердая уверенность в дружбе, чтобы отвечать тем же.

— Сомневаться в моей у нее нет никаких причин, — сказал Ламбер и внезапно добавил: — Я чрезвычайно дорожу Надин.

— Тогда постарайтесь, чтобы она поняла это.

— Я стараюсь изо всех сил. — Он остановился в нерешительности, потом протянул мне руку. — В любом случае я приду, как только вернусь, — сказал он.

Я пошла к себе в комнату, не решившись постучать в дверь Надин. Как она несправедлива! Это верно, что для других я охотно ищу извинения и что снисходительность сушит сердце; если к ней я требовательна, то потому, что она не отдельный случай, которым я занимаюсь; между нею и мной существует настоящая мера — тот самый подтачивающий звук, что не смолкает в моей груди, звук неизбывного беспокойства.

После появления бессодержательной статейки крошки Бизе Надин поворчала из принципа; однако ее настроение заметно улучшилось, когда

начала работать редакция «Вижиланс»; столкнувшись с конкретными задачами, она показала себя отличной секретаршей и очень гордилась этим. Первый номер журнала стал настоящим успехом, Робер и Анри были очень довольны и с увлечением готовили следующий. Робер был преисполнен нежных чувств по отношению к Анри с тех пор, как убедил его связать судьбу «Эспуар» с СРЛ, что меня радовало, ведь, по сути, это был его единственный настоящий друг. Жюльен, Ленуар, чета Пеллетье, Канжи — с ними мы проводили приятные минуты, но и только, дальше дело не шло. Из старых товарищей социалистов некоторые оказались коллаборационистами, другие погибли в концлагерях, Шар-лье лечился в Швейцарии, те, кто остался верен партии, осуждали Робера, который платил им тем же. Лафори досадовал, что Робер создал СРЛ, вместо того чтобы присоединиться к коммунизму; их отношениям не хватало теплоты. У Робера, по сути, не сохранилось связей с людьми своего возраста, но ему так больше нравилось: все свое поколение он считал ответственным за войну, которую оно не сумело предотвратить; он полагал, что и без этого слишком связан с прошлым; ему хотелось работать с молодыми; политика, борьба обрели сегодня

новые формы и методы, к которым он стремился приспособиться. Робер считал, что даже свои идеи ему следует пересмотреть: вот почему он с такой настойчивостью повторял, что его творчество еще впереди. В эссе, которое он сейчас писал, Робер пытался осуществить синтез своих старых мыслей и нового видения мира. Его цели были те же, что и раньше: выполняя непосредственные задачи, СРЛ намеревалось не отказываться от надежды на революцию, достойную его гуманистических замыслов; однако теперь Робер был убежден, что революция не свершится без тяжких жертв; человеком завтрашнего дня станет не тот, кому с излишним оптимизмом давал определение Жорес. Тогда какой смысл, какие шансы сохраняли старые ценности: правда, свобода, личная мораль, литература, идеи? Чтобы спасти их, надо было изобретать их заново. Именно это и пытался сделать Робер, его это воодушевляло, и я с удовлетворением отмечала про себя, что он вновь достиг счастливого равновесия между творчеством и действием. Разумеется, он был очень занят, но ему это нравилось. Мои дни тоже были наполнены. Робер, Надин, пациенты, моя книга: в жизни не оставалось места для сожаления или желания. Девушку с седыми волосами

не мучили теперь во сне кошмары; она вступила в коммунистическую партию, у нее были любовники, много любовников, и она неумеренно пила; это нельзя было назвать чудом душевного равновесия, но все-таки она спала. И еще я в тот день была довольна тем, что маленький Фернан нарисовал наконец виллу, у которой были окна и двери и в первый раз там не было решетки. Я только что позвонила его матери, когда консьержка принесла почту. Робер с Надин ушли в редакцию журнала, там был приемный день, я осталась одна в квартире. Распечатав письмо от Ромье, я страшно испугалась, словно меня вдруг запустили в стратосферу. В январе в Нью-Йорке должен состояться конгресс по психоанализу, меня туда приглашали; мне могли организовать лекции в Новой Англии, в Чикаго, в Канаде. Я расправила письмо на камине и с ощущением скандала перечитала его еще раз. Больше всего я любила путешествия! Ничего в мире, за исключением нескольких человек, я так не любила. Но то была одна из тех вещей, с которыми, как я думала, покончено навсегда. Если бы еще мне предложили прогулку в Бельгию или в Италию, но Нью-Йорк! Я не могла оторвать глаз от этого безумного слова. Нью-Йорк всегда казался мне

легендарным городом, а я давно уже не верила в чудеса; этого листка бумаги было недостаточно, чтобы опрокинуть ход времени, пространство и здравый смысл. Я сунула письмо в сумочку и размашистым шагом двинулась по улицам. Надо мной кто-то решил посмеяться в верхах; кто-то разыгрывал меня, и мне нужен был Робер, чтобы разоблачить мистификацию. Я торопливо поднялась по лестнице издательского дома Мована.

— Как, это ты? — молвила Надин с некоторым укором.

— Как видишь.

— Папа занят, — с важным видом сказала она.

Она сидела за столом, посреди большого кабинета, служившего приемной. Посетителей было много: молодые, старые, мужчины, женщины — настоящая сутолока. До войны к Роберу приходило немало людей, но у них не было ничего общего с этой толпой. Особое удовольствие ему наверняка доставило то, что пришли в основном молодые люди. Многие, безусловно, являлись сюда из любопытства, карьеризма, от безделья, но многие также любили книги Робера и интересовались его деятельностью. Что ж! Значит, он говорил не в пустыне, у современников еще были глаза, чтобы читать его, и уши, чтобы его

слушать.

Надин поднялась.

— Шесть часов! Закрываем! — крикнула она сердитым голосом. Проводив до двери разочарованных посетителей, она повернула ключ в замке. — Какая толчея! — со смехом сказала она. — Можно подумать, что они ожидали бесплатного угощения. — Надин открыла дверь в соседнюю комнату: — Путь свободен.

Робер улыбнулся мне с порога:

— Ты устроила себе каникулы?

— Да, мне захотелось пройтись. Надин повернулась к отцу:

— Так забавно смотреть, как ты вещаешь: можно подумать, священник в своей исповедальне.

Внезапно Надин, словно нажав на какую-то кнопку, громко расхохоталась: приступы веселья у нее бывали редки, но пронзительны.

— Взгляните! — Пальцем она показывала на чемодан с потертыми углами; к потускневшей коже была приклеена этикетка: «Жозефина Мьевр "Моя жизнь"». — Вот так рукопись! — едва выговорила Надин между взрывами хохота. — Это ее настоящее имя. А знаешь, что она мне сказала? — В повлажневших от удовольствия глазах Надин светилось торжество: смех был ее реваншем.

— Она заявила: «Мадемуазель, я — живой документ!» Ей шестьдесят лет. Живет в Орийаке. И рассказывает все как есть с самого начала.

Ногой Надин приподняла крышку: бесконечные пачки розовой бумаги, исписанной зелеными чернилами, без единой помарки. Робер взял один листок и, пробежав глазами, бросил его:

— Это даже не смешно.

— Может, есть какие-то непристойные места, — с надеждой сказала Надин. Она опустилась перед чемоданом на колени. Сколько бумаги, сколько часов! Уютных часов под лампой, у камелька, в окружении запахов провинциальной столовой, часов, таких наполненных и таких пустых, столь дивно оправданных, столь бездарно потерянных.

— Нет, это не смешно! — Надин в нетерпении поднялась, от веселости на лице ее не осталось и следа. — Ну что, сматываемся?

— Еще пять минут, — сказал Робер.

— Поторопись: здесь воняет литературой.

— И какой же запах у литературы?

— Запах неухоженного старого господина.

Это был не запах: в течение трех часов воздух пропитывался надеждой, страхом, досадой, и вместе с тишиной мы вдыхали ту неясную пе-

чаль, которая приходит на смену бесплодной горячке. Надин достала из ящика какое-то вязанье гранатового цвета и с важным видом начала стучать спицами. Обычно она была расточительна в отношении своего времени, но, как только ее просили немного подождать, она спешила доказать, что ни единое мгновение не должно быть потрачено впустую. Мой взгляд задержался на ее письменном столе. Было что-то вызывающее в черной обложке с написанными на ней большими красными буквами словами: «Избранные стихи. Рене Дус». Я открыла тетрадь.

«Ядовиты луга в дни осенней прохлады...»[{66}].

Я перевернула страницу.

«Я направлял свой бег к немыслимым Флоридам...»[{67}].

— Надин!

— Что?

— Тип, который посылает под своим именем избранные куски из Аполлинера, Рембо, Бодлера... Не может же он, в самом деле, предполагать, что тут ошибутся.

— А-а! Я знаю, о чем речь, — равнодушно ответила Надин. — Этот несчастный идиот дал Сезенаку двадцать тысяч франков, чтобы тот продал ему свои стихи: Сезенак, конечно, не станет

валять дурака, снабжая его неизданным.

— Но когда он явится, придется сказать ему правду, — заметила я.

— Это не важно, Сезенак его прощупал; меня удивит, если клиент осмелится протестовать; прежде всего, у него нет никаких возможностей и ему будет очень стыдно.

— Сезенак способен на такие вещи? — удивилась я.

— А как ты думаешь, он выкручивается? — сказала Надин. Она бросила свое вязанье в ящик. — Иногда его махинации бывают забавны.

— Заплатить двадцать тысяч франков, чтобы поставить подпись под стихами, которых ты не писал, это не укладывается в голове, — заметил Робер.

— Почему? Если хочешь видеть напечатанным свое имя, — возразила Надин и добавила сквозь зубы для меня одной, ибо в присутствии отца она следила за своим языком: — Уж лучше заплатить, чем ишачить.

Спустившись с лестницы, она настороженно спросила:

— Выпьем по стаканчику в бистро напротив, как в тот четверг?

— Ну конечно, — ответил Робер.

Лицо Надин прояснилось, и, усаживаясь перед мраморным столиком, она весело сказала:

— Согласись, что я здорово тебя защищаю!

— Да.

Она с беспокойством взглянула на отца:

— Ты недоволен мной?

— О! Я-то в восторге; а вот что касается тебя, многого ли ты добьешься?

— А чего можно добиться любым ремеслом? Ничего, — неожиданно жестко заявила Надин.

— Ну не скажи. Ты мне как-то говорила, что Ламбер предложил тебе сделать репортаж; на мой взгляд, это все-таки интереснее.

— О! Если бы я была мужчиной, спору нет, — согласилась Надин. — Но репортер-женщина — тут преуспеть один шанс из тысячи. — Жестом она остановила наши протесты. — Это совсем не то, что я называю преуспеть, — надменно заявила она. — Женщины всегда прозябают.

— Не всегда, — осмелилась возразить я.

— Ты думаешь? — усмехнулась Надин. — Погляди, например, на себя: хорошо, ты выкручиваешься, у тебя есть пациенты, но ты ведь никогда не станешь Фрейдом.

У нее сохранилась детская привычка высказывать обо мне недоброжелательное суждение в

присутствии отца.

— Между Фрейдом и ничегонеделанием есть много промежуточных положений.

— Я секретарша и, значит, что-то делаю.

— Если ты довольна, это, в конце концов, самое главное, — поспешно вмешался Робер.

Я пожалела, что он не сумел промолчать; он без всякой пользы испортил удовольствие Надин; я нередко поучала его, но он никак не решался отказаться от честолюбивых надежд, связанных с Надин.

— Во всяком случае, — агрессивным тоном заявила она, — судьба отдельной личности так мало значит сегодня.

— В моих глазах твоя судьба значит много, — с улыбкой заметил Робер.

— Но она не зависит ни от тебя, ни от меня; вот почему мне смешны все эти ребятишки, которые хотят кем-то стать. — Кашлянув, она сказала, не глядя на нас: — В тот день, когда я почувствую в себе решимость сделать что-нибудь трудное, я займусь политикой.

— Чего ты ждешь, чтобы работать в СРЛ? — спросил Робер. Она залпом выпила стакан минеральной воды.

— Нет, я не согласна. В конечном счете вы про-

тив коммунистов. Робер пожал плечами.

— Думаешь, Лафори проявлял бы столько дружелюбия, если бы считал, что я действую против них?

Надин чуть заметно улыбнулась:

— Похоже, Лафори собирается попросить тебя отказаться от митинга.

— Кто тебе это сказал? — спросил Робер.

— Лашом, вчера; они очень недовольны и считают, что СРЛ на ложном пути.

Робер пожал плечами.

— Вполне возможно, что Лашом и его группа мелких леваков недовольны: однако они напрасно принимают себя за Центральный комитет. Я виделся с Лафори всего неделю назад.

— Лашом виделся с ним позавчера, — сказала Надин. — Уверяю тебя, — продолжала она, — это серьезно. Они держали расширенный военный совет и решили, что следует принять меры. Лафори собирается поговорить с тобой.

Робер помолчал с минуту, потом сказал:

— Если это правда, то есть от чего прийти в отчаяние!

— Это правда, — сказала Надин. — Они говорят, что, вместо того чтобы работать в согласии с ними, твое СРЛ проповедует политику, враждебную

им, что этот митинг по сути является объявлением войны, что ты разъединяешь левые силы и что они вынуждены будут начать против тебя кампанию.

В голосе Надин слышались довольные нотки; она наверняка не сознавала всей важности того, что говорила; когда у нас случаются серьезные неприятности, она переживает, но маленькие помехи ее забавляют.

— Вынуждены! — повторил Робер. — Это восхитительно! И притом именно я разъединяю левые силы! Ах, они ничуть не изменились, — с гневом добавил он, — и никогда не изменятся! Им хотелось бы, чтобы СРЛ беспрекословно повиновалось им; при первых признаках независимости они приписывают нам враждебные действия!

— Если ты не согласен с ними, они неизбежно обвиняют в этом тебя, — резонно заметила Надин. — Ты поступаешь точно так же.

— Можно иметь различные точки зрения и сохранять единство действий, — сказал Робер, — в этом и есть смысл Народного фронта.

— Они считают тебя опасным, — продолжала Надин, — они говорят, что ты действуешь по принципу чем хуже, тем лучше и собираешься саботировать восстановление страны.

— Послушай, — сказал Робер, — хочешь — занимайся политикой, не хочешь — не занимайся, но главное, не будь попугаем. Если бы ты думала своей головой, то поняла бы, что их политика грозит катастрофой.

— Они не могут действовать иначе, — возразила Надин. — Если бы они попытались взять власть, тут же вмешалась бы Америка.

— Им надо выиграть время, согласен. Но они могли бы взяться за это иначе, — пожав плечами, сказал Робер. — Я готов признать, что у них трудное положение; их так или иначе загнали в угол. С тех пор как сошла со сцены СФИО{68}, им приходится играть все роли сразу, они поочередно изображают то левое крыло левых сил, то правое. Но именно поэтому они должны были бы приветствовать появление другой левой партии.

— Так вот! Они этого не приветствуют, — заявила Надин. Она вдруг поднялась; ее удовлетворял произведенный ею маленький эффект, и ей не хотелось втягиваться в дискуссии, в которых она, разумеется, не сумела бы одержать верх. — Пойду прогуляюсь.

Мы тоже встали и пошли пешком вдоль набережных.

— Я немедленно позвоню Лафори! — сказал

Робер. — Подумать только, ведь так необходимо держаться вместе! И они это знают! Но никогда не согласятся, чтобы помимо них существовали левые силы. Социалистическая партия сошла на нет, поэтому на Народный фронт они согласны. Но молодое движение, которое начинает, похоже, совсем неплохо, их не устраивает...

Он продолжал свою гневную речь, и, слушая Робера, я думала: «Не хочу покидать его». Прежде меня ничто не смущало при расставании с ним: мы любили друг друга так же, как жили, — на все времена. Но теперь я знаю, что у нас всего одна жизнь, большая часть которой уже прожита, а будущее чревато опасностью. Робер не только уязвим. Внезапно мне даже почудилось, будто он очень хрупок. Он сильно ошибся, положившись на доброжелательность коммунистов, и теперь, ввиду их враждебности, вставали серьезные проблемы. «Так и есть: вот он, тупик», — сказала я себе. Робер не мог отказаться от своей программы, но и поддерживать ее против коммунистов он тоже не мог, а промежуточного решения не было. Возможно, все как-то уладится, при условии, что коммунисты решатся смириться с митингом. Судьба Робера находилась не в его, а в их руках: я с ужасом об этом думала. Одним словом, они могли

нарушить то прекрасное равновесие, которого достиг Робер. Нет, момент выдался неподходящий, чтобы покидать его. Войдя в кабинет, я сказала насмешливым тоном:

— Посмотри, что я получила!

Я протянула Роберу письмо Ромье, и выражение его лица изменилось: я увидела на нем ту радость, которую должна была бы испытать сама.

— Но это же великолепно! Почему ты ничего мне не говорила?

— Я не собираюсь уезжать на три месяца, — ответила я.

— А почему? — Он с удивлением взглянул на меня. — Это будет потрясающее путешествие.

— У меня слишком много дел здесь, — прошептала я.

— Что на тебя нашло? К январю ты все успеешь уладить. Надин достаточно взрослая, чтобы обойтись без тебя, я — тоже, — с улыбкой добавил он.

— Америка так далеко, — молвила я.

— Я не узнаю тебя! — сказал Робер и окинул меня критическим взглядом. — Тебе полезно будет немного встряхнуться.

— Летом мы сможем покататься на велосипедах.

— Для перемены обстановки не так уж много!

— с улыбкой возразил Робер. — Одно несомненно: если бы тебе сообщили, что этот проект провалился, ты была бы сильно разочарована.

— Возможно.

Он был прав: я уже стремилась к этому путешествию, и это меня тревожило. Ожившие воспоминания, пробуждавшиеся желания — сколько всяких сложностей! Зачем нарушать мое размеренное, лишенное биения жизни существование? В тот вечер Робер вместе с Анри негодовал против Лафори, они убеждали друг друга держаться: если СРЛ станет настоящей силой, коммунисты вынуждены будут считаться с ней, возобновится союз. Я слушала, проявляя интерес к тому, о чем они говорили, а тем временем в голове у меня мелькали дурацкие картинки. На следующий день было не лучше; сидя за своим рабочим столом, я целый час задавалась вопросом: «Согласиться? Или не соглашаться?» В конце концов я встала и взяла телефонную трубку: бесполезно притворяться, что работаю. Я обещала Поль навестить ее в ближайшие дни, почему бы не сделать это сейчас же. Она, разумеется, была дома, одна, и я пошла к ней пешком. Я очень люблю Поль, и в то же время она пугает меня. Нередко по утрам я чувствую на себе гнетущую

тень надвигающихся несчастий и прежде всего думаю о ней; я открываю глаза, она открывает глаза, и сразу же на душе у нее делается черным-черно. Я говорю себе: «На ее месте я не вынесла бы такой жизни»; я прекрасно знаю, что это место занимает она, и это более терпимо, чем если бы на ее месте была я. Часами и даже неделями Поль способна сидеть взаперти, ничего не делая, ни с кем не встречаясь и не томясь скукой; ей все еще удается не признаваться себе в том, что Анри ее больше не любит, однако в самое ближайшее время истина в конце концов обнаружится, и что тогда с ней будет? Что все-таки можно ей посоветовать? Петь? Но этого недостаточно, чтобы ее утешить.

Я приближалась к ее дому, и сердце мое сжималось все сильнее. Ей очень подходила жизнь в этом гнездовье неудачников. Не знаю, где они прятались во время оккупации, но весна возродила их лохмотья, их болезни, их раны; они сидели втроем у ограды сквера, возле мраморной доски, украшенной поблекшим букетом; с лицами, покрасневшими от вина и гнева, мужчина и женщина вырывали друг у друга черную клеенчатую сумку; они с неистовой силой бормотали ругательства, но их руки, сжимавшие сумку, едва

шевелились; третий насмешливо наблюдал за ними. Я свернула на маленькую улочку; выцветшие деревянные двери преграждали вход на склады, куда старьевщики сваливали по утрам бумагу и железный лом; другие, застекленные, двери вели в приемные, где сидели женщины с собаками на коленях; я читала объявления о том, что в этих лечебницах врачуют и безболезненно убивают «птиц и маленьких животных». Я остановилась у вывески «МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ» и позвонила. Внизу, у лестницы, всегда стоял огромный мусорный ящик, и стоило подняться на первые ступеньки, как раздавался бешеный лай черной собаки. Поль, имевшая пристрастие к мизансценам, легко добивалась нужного эффекта, открывая новому посетителю дверь в свою квартиру: я сама каждый раз поражалась столь внезапному великолепию; ее нарядам тоже: свой мир мечтаний она предпочитала установленным правилам и всегда казалась немного ряженой. Когда она открыла дверь, на ней было просторное домашнее платье из переливающейся сиреневой тафты и туфли на очень высоких каблуках, ремешки которых опутывали ноги Поль от колена до ступни: ее коллекция туфель заставила бы побледнеть любого

фетишиста.

— Проходи скорее, согрейся, — сказала она, увлекая меня к ярко горевшему огню.

— На улице не холодно.

Поль бросила взгляд на занавешенные окна.

— Так говорят. — Она села и с небывалым участием наклонилась ко мне: — Как у тебя дела?

— Все в порядке, только очень много работы. У людей нет больше ежедневной порции ужасов, вот они и начинают мучить себя снова.

— А твоя книга?

— Продвигается.

Я отвечала так же, как она спрашивала, — из вежливости; я прекрасно знала, что ее никогда не заботила моя работа.

— И тебя это действительно интересует? — спросила она.

— Меня это увлекает.

— Тебе везет! — молвила Поль.

— Заниматься работой, которая меня интересует?

— Держать свою судьбу в собственных руках.

О себе я так отнюдь не думала, но речь шла не обо мне, и я с жаром сказала:

— Знаешь, что не дает мне покоя с тех пор, как я услыхала твое пение на Рождество? Тебе следует

заняться своим голосом. Посвящать себя Анри — это прекрасно, но в конце-то концов ты тоже что-то значишь...

— Вот как! Мы недавно горячо спорили по этому поводу с Анри, — равнодушно ответила она и покачала головой: — Нет, я не буду больше петь на публике.

— Почему? Я уверена, что тебя ждет успех.

— А что мне это даст? — спросила она и улыбнулась: — Мое имя на афишах: меня это совсем не интересует. Все это я могла бы иметь гораздо раньше, но не захотела. Ты плохо поняла меня, — добавила она, — я нисколько не стремлюсь к личной славе; большая любовь кажется мне гораздо важнее, чем карьера; я сожалею лишь о том, что ее успех зависит не только от меня.

— Ничто не обязывает тебя выбирать одно из двух, — сказала я. — Ты можешь продолжать любить Анри и петь.

Она с важным видом посмотрела на меня:

— Большая любовь не оставляет женщине свободы. Я знаю, какое согласие существует между Робером и тобой, — добавила она, — но это не то, что я называю большой любовью.

Мне не хотелось обсуждать с ней ни ее слова, ни мою жизнь.

— Ты целыми днями сидишь тут совсем одна, у тебя было бы время для работы.

— Дело не во времени. — Она с упреком улыбнулась мне. — Почему, ты думаешь, я отказалась от пения десять лет назад? Потому что поняла, что Анри требует меня всю целиком...

— Ты говорила, что он сам посоветовал тебе вернуться к работе.

— Но если я поймаю его на слове, он будет удручен! — радостно сообщила она. — Он не вынесет, если хоть одна из моих мыслей будет принадлежать не ему.

— Какой эгоизм!

— Любить — это не эгоизм. — Она с нежностью погладила свою шелковистую юбку. — О! Анри ничего от меня не требует и никогда ни о чем не просил. Но я знаю, что моя жертва необходима{69} не только для его счастья, но и для его творчества, для его реализации. И сейчас более, чем когда-либо.

— Почему его успех кажется тебе важнее, чем твой?

— О! Мне плевать, прославится он или нет, — с жаром сказала она. — Вопрос тут совсем не в этом.

— А в чем же?

Она внезапно поднялась.

— Я согрела вино, хочешь выпить?

— С удовольствием.

Я слушала, как она хлопочет на кухне, и спрашивала себя с чувством неловкости: «Что она на самом деле думает?» Поль утверждала, будто презирает славу, а между тем именно в тот момент, когда имя Анри стало приобретать вес, когда его начали прославлять как героя Сопротивления и надежду молодой литературы, она снова укрылась за маской влюбленной. Я вспоминала, какой мрачной и разочарованной она выглядела год назад. Как на деле она ощущала свою любовь? Почему отказывалась защититься от нее работой? Каким она видела мир вокруг себя? Я была замкнута вместе с ней меж этих красных стен, мы смотрели на огонь, обменивались словами, но я понятия не имела, что творится у нее в голове. Я встала, подошла к окну и приподняла занавеску. Близился вечер, оборванный мужчина прогуливал на поводке шикарного дога; под таинственной вывеской «Наличие редких и саксонских птиц» привязанная к оконной перекладине обезьяна тоже, казалось, в задумчивости вопрошала сумерки. Я опустила занавеску. На что я надеялась? Увидеть на мгновение глазами

Поль этот привычный пейзаж? Распознать по нему течение ее жизни? Нет. Никогда маленькая обезьянка не сможет взглянуть на мир глазами человека. Никогда мне не влезть в чужую шкуру.

Поль вернулась из кухни, торжественно шествуя с серебряным подносом, на котором дымились две чаши.

— Ты ведь любишь очень сладкое?

Я вдохнула обжигающий аромат красной лавы.

— Выглядит восхитительно.

С благоговением сделав несколько глотков, словно с помощью колдовского зелья пытаясь проникнуть в истину, Поль прошептала:

— Бедный Анри!

— Бедный? Почему?

— Он переживает тяжелый кризис, и, боюсь, прежде чем выйти из него, ему придется много страдать.

— Какой кризис? На вид он в отличной форме, и его последние статьи — лучшее из того, что он когда-либо написал.

— Статьи! — Она смерила меня гневным взглядом. — Раньше он презирал журналистику, рассматривал ее всего лишь как средство к существованию; он держался в стороне от политики,

хотел жить сам по себе.

— Но обстоятельства изменились, Поль.

— При чем тут обстоятельства, — с жаром возразила она. — Ему самому нельзя меняться, вот главное. Во время войны он рисковал жизнью — в этом было величие; но сегодня величие заключается в том, чтобы отринуть наше время.

— Почему же? — спросила я.

Она, не ответив, пожала плечами, и я не без раздражения добавила:

— Он наверняка объяснял тебе, почему занимается политикой; лично я полностью его одобряю. Тебе не кажется, что ты должна доверять ему?

— Он вступает на путь, который никак не может быть его путем, — категорическим тоном заявила она. — Я это знаю и могу даже привести тебе доказательство.

— Меня это удивило бы, — заметила я.

— Доказательство в том, — с пафосом произнесла Поль, — что он не способен больше писать.

— Возможно, в настоящий момент он не пишет, — сказала я, — но это не значит, что он не будет писать.

— Я не претендую на непогрешимость, — заявила Поль, — но пойми: это я создала Анри, создала его точно так же, как он создает персонажи своих

книг, и знаю его не хуже, чем он знает их. Сейчас он изменяет своему предназначению, и именно мне надлежит вернуть его на путь истинный. Вот почему я не могу и помыслить заняться собой.

— Видишь ли, человек сам определяет свой путь, другого не дано.

— Анри не такой писатель, как другие.

— Они все разные. Она покачала головой.

— Если бы он был только писателем, мне это было бы неинтересно: их столько! Когда я в двадцать пять лет взяла его в свои руки, он думал лишь о литературе; но я сразу же поняла, что смогу заставить его подняться гораздо выше. Мне удалось внушить ему, что его жизнь и его творчество должны составить единое целое и привести к успеху: столь чистому, столь абсолютному успеху, что он послужит примером миру.

Я с тревогой подумала, что если она и с Анри так разговаривает, то он, должно быть, в отчаянии.

— Ты хочешь сказать, что человеку следует относиться к своей жизни с таким же тщанием, как к книгам? — спросила я. — Но это не мешает ему меняться.

— При условии, что он меняется в согласии с самим собой. Я претерпевала серьезные изменения, но при этом следовала собственным путем.

— Не бывает заранее предначертанных дорог, — сказала я. — Мир уже не тот, и никто ничего не может с этим поделать; надо попытаться приспособиться. — Я улыбнулась ей. — В течение нескольких недель у меня тоже сохранялась иллюзия, будто мы вернемся в довоенное время, но то была глупость.

Поль с упрямым видом глядела на огонь.

— Время тут ни при чем, — молвила она и внезапно повернулась ко мне: — Да вот, к примеру! Представь себе Рембо, что ты видишь?

— Что я вижу?

— Да. Какой образ?

— Вижу его фотографию в молодости.

— Ну вот! Взять хотя бы Рембо, Бодлера, Стендаля; они были старше или моложе — не важно, но вся их жизнь воплощена в одном-единственном образе. Точно так же существует один Анри, да и я тоже навсегда останусь самой собой, время над нами не властно, предательство исходит не от него, а от нас.

— Ах, ты все путаешь, — сказала я. — Когда тебе будет семьдесят лет, ты по-прежнему будешь самой собой, но у тебя возникнут другие отношения с людьми, с вещами; и с твоим зеркалом, — добавила я.

— Я никогда не гляделась слишком часто в зеркала. — Она с некоторым недоверием посмотрела на меня. — Что ты хочешь доказать?

С минуту я молчала; отрицать бег времени: наверняка все пытаются это делать, я тоже пыталась, и не раз. Упрямая уверенность Поль вызывала у меня смутную зависть.

— Я хочу лишь сказать, что мы живем на земле и что следует с этим мириться. Ты должна предоставить Анри делать то, что ему нравится, и немного заняться собой.

— Ты говоришь так, словно Анри и я — это два разных существа, — задумчиво произнесла она. — Наверное, есть тут своего рода непередаваемый опыт.

Я потеряла всякую надежду переубедить ее, да и в чем, собственно? Я уже не знала. И все-таки сказала ей:

— Вы — разные, и доказательство тому то, что ты его критикуешь.

— Да, существует поверхностная часть его самого, с которой я борюсь и которая нас разделяет, — согласилась она. — Но по сути своей мы — единое существо. Раньше я часто это ощущала; я даже отчетливо помню свое первое озарение: я была почти напугана этим; знаешь, до чего

странно полностью растворяться в другом. Но зато какая награда, когда обретаешь другого в себе! — Она вперила в потолок вдохновенный взор: — Будь уверена в одном: мой час снова придет. Анри возвратится ко мне таким, каков он есть по своей сути, таким, каким я заставила его увидеть самого себя.

В голосе ее слышалась почти отчаянная пылкость, и я отказалась спорить дальше, но все-таки добавила:

— Все равно тебе пойдет на пользу встретиться с людьми, встряхнуться немного. Не хочешь в следующий четверг пойти вместе со мной к Клоди?

Взгляд Поль вернулся на землю, казалось, будто она достигла некоего внутреннего оргазма и теперь, освободившись, почувствовала облегчение; она улыбнулась мне.

— О нет! Не хочу, — сказала Поль. — Клоди приходила ко мне на прошлой неделе, и я сыта ею на долгое время. Ты знаешь, что она поселила у себя Скрясина? Не понимаю, как он согласился на это...

— Полагаю, у него не осталось ни гроша.

— Как подумаю об этом ее гареме! — молвила Поль.

Она громко рассмеялась, помолодев при этом

на десять лет: раньше она всегда бывала со мной такой. В присутствии Анри Поль пыжилась, и теперь создавалось впечатление, что она непрестанно чувствует на себе его взгляд. Быть может, она вновь обрела бы свою веселость, если бы имела мужество жить сама по себе. «Мне не удалось поговорить с ней, не хватило умения», — с упреком говорила я себе, покидая ее. Существование, какое вела Поль, было ненормальным, и временами она несла сущий вздор. Однако сегодня я была не способна преподать ей серьезный урок. Нормальное существование — что может быть безрассуднее? С ума сойти, сколько есть вещей, о которых приходится не думать, чтобы прожить весь день от начала до конца и не свихнуться, с ума сойти, от скольких воспоминаний надо отказаться и от скольких истин отрешиться. «Вот почему мне страшно ехать», — подумалось мне. В Париже, рядом с Робером, я без особого труда избегаю ловушек, я научилась их распознавать, существуют тревожные звоночки, предупреждающие меня об опасности. Но что со мной станется, когда я окажусь одна, под незнакомыми небесами? Какие откровения озарят меня внезапно? Какие разверзнутся пропасти? Пропасти сомкнутся, откровения померкнут, тут нет сомнений; я и

не такое видела. Мы сродни тем земляным червям, которых безуспешно разрезают надвое, или омарам, чьи клешни отрастают заново. Однако минута ложной агонии, минута, когда хочется скорее умереть, чем еще раз примириться, — как подумаю об этом, становится страшно. Я пытаюсь урезонить себя: почему со мной что-то должно случиться? А почему нет? Какой прок сворачивать с проторенных дорог? Верно, здесь я немного задыхаюсь, но и задыхаться тоже привыкаешь; а привычка, что бы там ни говорили, никогда не бывает скверной.

— Что с тобой? — подозрительно спросила Надин через несколько дней. Завернувшись в мой халат, она лежала на диване у меня в комнате; именно в таком виде я обычно заставала ее, когда возвращалась домой; только жизнь других, их одежда, мебель имели в ее глазах ценность.

— А что ты хочешь, чтобы со мной было? — спросила я.

Я не говорила ей о письме Ромье, но, хотя Надин плохо меня знала, она замечала малейшую перемену в моем настроении.

— Похоже, ты спишь на ходу, — сказала она.

И верно, обычно я с увлечением расспрашивала ее о проведенном дне, а тем вечером молча сняла

пальто и причесалась.

— Вторую половину дня я провела в Сент-Анн[{70}], думаю, немного одурела, — ответила я. — А ты? Что ты делала?

— Тебя это интересует? — зло спросила она.

— Разумеется.

Лицо Надин просияло; она решила не отказывать себе в удовольствии.

— Я только что встретила мужчину своей жизни! — вызывающим тоном заявила она.

— Настоящего? — с улыбкой спросила я.

— Да, настоящего, — серьезно сказала она. — Это приятель Лашома, потрясающий тип, не такой писака, как другие; борец, самый настоящий. Его зовут Жоли.

Некоторое время назад она поссорилась с Анри: его поведение столь нетрудно было предугадать, что я удивлялась, как она сама могла обмануться.

— Итак, на этот раз ты вступишь в партию? — спросила я.

— Он был возмущен, что этого не случилось до сих пор. Видишь ли, он не тратит времени на ерунду. Идет своим путем. Одним словом, мужчина.

— Мне давно кажется, что тебе следовало бы во

всем убедиться на собственном опыте.

— Потому что для тебя, разумеется, это всего лишь опыт, — заметила она язвительно. — Вступить мне в партию или выйти из нее — не важно, пускай перебесится. Так ведь?

— Конечно нет; ничего подобного я не говорила.

— Я знаю, что ты думаешь. Пойми, сила Жоли в том, что он верит в истины; его не интересуют опыты: он действует.

В течение какого-то времени я сносила агрессивные похвалы, которые она расточала в адрес Жоли; на своем письменном столе рядом с учебником по химии она держала раскрытый «Капитал», и ее взгляд тоскливо блуждал от одного тома к другому. Все мои поступки она принялась изучать с точки зрения исторического материализма; в начале этой холодной весны на улицах было много нищих, и, если я давала им немного денег, она усмехалась:

— Напрасно ты думаешь, что, подавая милостыню этому жалкому отбросу человечества, ты изменишь облик мира!

— Ничего такого я не думаю; ему — радость, и этого уже довольно.

— А ты успокаиваешь свою совесть, и все в

выигрыше. Она всегда приписывала мне темные расчеты:

— Тебе кажется, что, отказываясь бывать в свете и проявляя грубость в отношении людей, ты порываешь со своим классом: ты неотесанная представительница буржуазии, вот и все.

Однако истина заключалась в том, что мне просто не хотелось идти к Клоди; во время войны она присылала мне из своего бургундского замка кучу посылок, а теперь настоятельно приглашала на свои четверги; в конце концов пришлось-таки согласиться; и вот как-то снежным майским вечером я с большой неохотой села на велосипед. По своенравной прихоти зима вдруг воскресла посреди весны; притихшее белое небо просыпалось на землю большими хлопьями, теплыми на вид, холодными на ощупь. Я предпочла бы катить вперед, далеко-далеко, по ватным дорогам. Светские обязанности казались мне еще более ужасными, чем раньше. Но сколько бы ни прятался Робер, избегая журналистов, наград, академий, гостиных, генеральш, из него делали своего рода публичный монумент, из-за чего и я становилась публичным лицом. Я медленно поднималась по пышной лестнице. Я ненавижу ту минуту, когда все взоры обращаются в мою

сторону, когда одним молниеносным взглядом устанавливают, кто я есть, и разбирают меня по косточкам. Тогда и я осознаю себя как личность и ощущаю беспокойство.

— Какое чудо — встретить вас! — такими словами приветствовала меня Лора Марва. — Вы так заняты! Нельзя даже осмелиться пригласить вас.

Мы отклонили по крайней мере три ее приглашения; среди людей, которых я узнавала в этой сутолоке, мало было таких, по отношению к кому я не чувствовала бы себя в той или иной мере виноватой. Нас считали высокомерными, мизантропами или позерами. Мысль о том, что нас просто не привлекает свет, полагаю, даже не приходила в голову никому из тех, кто с жадностью стремился поскучать здесь. Скука была тем бедствием, которое с детства наводило на меня ужас. Чтобы избежать его, я в первую очередь и хотела поскорее вырасти, всю свою жизнь я строила на неприятии скуки; но, возможно, те, кому я пожимала руки, настолько привыкли к ней, что даже ее не замечали: возможно, они понятия не имели, что у воздуха может быть иной вкус.

— Робер Дюбрей не смог с вами прийти? — спросила Клоди. — Скажите ему, что его статья в «Вижиланс» восхитительна! Я знаю ее наизусть,

повторяю ее за столом, в ванной, в постели: сплю с ней; это мой нынешний любовник.

— Я скажу ему.

Она пристально смотрела на меня, и я почувствовала себя неловко; мне, разумеется, не нравится, когда о Робере говорят плохо; но когда его расхваливают, меня это смущает; я ощущаю на губах глупую улыбку, молчание кажется мне затянувшейся паузой, а каждое слово — несдержанностью.

— Появление такого еженедельника — заметное событие, — сказал художник Перлен, который как раз и был нынешним любовником Клоди.

Подошла Гита Вантадур; она писала удачные романы и чувствовала себя самой значительной персоной в этой гостиной; ее туалет и манера поведения указывали на то, что она сознает, что уже не молода, но все еще слишком хорошо помнит, что была красива; говорила она слегка патетично:

— Самое поразительное у Дюбрея то, что, столь глубоко погружаясь в чистое искусство, он не менее страстно интересуется сегодняшним миром. Любить одновременно и слова и людей — большая редкость.

— А вы ведете дневник его жизни? — спроси-

ла меня Клоди. — Какой документ могли бы вы предложить миру!

— У меня нет времени, — ответила я. — И к тому же я не думаю, что ему это понравится.

— Больше всего меня удивляет то, — заметила Югетта Воланж, — что, живя рядом с таким выдающимся человеком, вы не бросаете свою работу. Я бы попросту не смогла; мой дорогой супруг пожирает все мое время; впрочем, я нахожу это нормальным.

Я поспешно отбросила все приходившие мне на ум ответы и сказала как можно более невыразительно:

— Это вопрос организованности.

— Но я очень организованна, — ответила она обиженным тоном. — Нет, это скорее дело моральной обстановки...

Они пронзали меня взглядами, требовали отчета; и так всегда: они окружают меня, расспрашивают с хитрым видом, как будто я уже вдова; но Робер вполне живой и я не стану помогать им бальзамировать его. Они коллекционируют его автографы, оспаривают друг у друга его рукописи, расставляют на книжных полках его полные собрания сочинений, украшенные посвящениями; у меня же едва ли найдется больше двух

или трех его книг; безусловно, я намеренно не требовала назад все те, которые у меня брали на время; я намеренно не раскладывала по порядку его письма, некоторые из них даже затерялись: они были предназначены только мне и не являются отданными мне на хранение ценностями, которые я когда-нибудь должна буду передать им; я не наследница Робера и не свидетель его жизни: я его жена.

Возможно, Гита угадала мое смущение; с монаршей уверенностью государыни, которая повсюду чувствует себя дома, она положила мне на руку свою маленькую ласковую ладонь со словами:

— Но вам ничего не предложили! Позвольте мне проводить вас к столу. — Увлекая меня за собой, она улыбнулась с заговорщическим видом: — Мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами как-нибудь поболтали вдвоем: такая редкость — встретить умную женщину. — Казалось, она только что обнаружила единственного человека во всем собрании, который способен был понять ее, и продолжала: — Знаете, что было бы мило? Если бы вы вместе с Дюбреем пришли поужинать в мое скромное жилище.

Это, пожалуй, самый тягостный момент испытания: когда они с небрежным или высокомер-

ным видом требуют встречи. В ту минуту, когда я произношу привычные слова: «В настоящее время Робер так занят», — я чувствую их суровый взгляд, который обвиняет меня; и в конце концов я признаю себя виновной: да, я его жена, и все-таки по какому праву? Это ведь вовсе не причина, чтобы присваивать его: публичный монумент принадлежит всем.

— О! Я знаю, что значит с головой уйти в свое творчество, — заметила Гита. — Я тоже почти никогда нигде не бываю, и здесь вы меня встретили совершенно случайно! — Ее смех намекал, что я всего лишь приятно обманута, что на самом деле душой она вовсе не здесь. — Но это было бы совсем-совсем другое: скромненький ужин, куда я пригласила бы одних мужчин, — доверительно добавила она. — Не люблю общество женщин; я чувствую себя потерянной. А вы?

— Нет. Я прекрасно лажу с женщинами.

Она с сокрушенным видом удрученно взглянула на меня:

— Странно, очень странно. Должно быть, я ненормальная...

В своих книгах Гита охотно провозглашала более низкий уровень своего пола; она отрешалась от него, мнилось ей, мужественностью

своего таланта и даже превосходила мужчин, ибо, наделенная теми же качествами, что и они, обладала, кроме того, особой, очаровательной заслугой быть женщиной. Подобное лукавство раздражало меня.

— Вы абсолютно нормальны, — профессиональным тоном заявила я. — Почти все женщины предпочитают мужчин.

Взгляд ее стал ледяным, и она без всякого вызова, но решительно повернулась к Югетте Воланж. Бедная Гита! Она разрывалась между желанием отклонить любой упрек в самолюбовании и в то же время воздать должное своим заслугам; потому она и пыталась внушить другим то, что желала бы, чтобы говорили о ней; но как быть, если они этого не говорили? Надо ли соглашаться оставаться непризнанной? То была мучительная дилемма. Заметив, что я одна, Клоди, как хорошая хозяйка дома, поспешила бросить меня в чьи-то объятия.

— Анна, вы никогда не встречались с Люси Бельом? В прежние времена она хорошо была знакома с вашей приятельницей Поль, — добавила Клоди, тут же устремляясь к вновь прибывшему.

— Ах! Вы знаете Поль? — обратилась я к натянуто улыбавшейся мне высокой брюнетке в

брильянтах и черном полушелковом фае.

— Да, я очень хорошо ее знала, — насмешливым тоном сказала она. — Я одевала ее бесплатно, в качестве рекламы, когда открыла дом моды «Амариллис», в то время Поль дебютировала у Валькура; она была красива, но не умела носить туалеты. — Люси Бельом наградила меня одной из своих холодных улыбок. — Надо сказать, вкус у нее был неважный, а никаких советов она не слушала; бедный Валькур и я, мы оба настрадались.

— У Поль свой собственный стиль, — возразила я.

— В ту пору она его еще не нашла; она слишком восхищалась собой, чтобы понять себя; это вредило и ее ремеслу: у нее был красивый голос, но она не умела им пользоваться и совершенно не умела подать себя; ей так и не удалось добиться успеха.

— Я никогда ее не слышала, но мне говорили, что дела у нее шли весьма успешно; она получила ангажемент в Рио.

Люси Бельом рассмеялась.

— Она пользовалась неоправданным успехом, потому что была красива, но очень недолго и быстро сошла на нет; пение, как и все остальное, требует работы, а работа ее не увлекала. А что касается Бразилии, я помню эту историю; я должна

была сшить ей платья; однако парня интересовали отнюдь не ее сольные концерты, и она очень скоро поняла это. Поль была вовсе не такой безрассудной, какой хотела казаться. Она делала вид, будто принимает себя за Малибран{71}, но, по сути, все, чего она желала, это найти серьезного человека, который бы заботился о ней, и быстро забросила все остальное. И она была права, ей никогда не сделать бы карьеры. Что с ней сталось? — спросила Люси внезапно подобревшим тоном. — Мне сказали, что ее избранник вот-вот бросит ее, это правда?

— Ничего подобного, они обожают друг друга, — твердо заявила я.

— Ах так! Тем лучше, — с явным недоверием в голосе произнесла Люси, — она так долго дожидалась его, бедная девочка.

Я пришла в замешательство; Люси Бельом ненавидела Поль, я не могла согласиться с тем образом, какой Люси предлагала мне: спесивой и ленивой потаскушки, которая, распевая, искала покровителя. Однако я заметила, что Поль, по сути, никогда не рассказывала мне ни о своих первых годах в Париже, ни о своей молодости или детстве. Почему?

— Могу я поприветствовать вас? Вы на меня

больше не сердитесь? С притворно-смущенным видом мне улыбалась Мари-Анж.

— Мне было за что на вас сердиться! — ответила я, тоже улыбаясь. — Вы меня здорово одурачили!

— Я была вынуждена, — сказала она.

— Успокойте меня: у вас ведь нет шестерых братьев и сестер?

— Я, правда, старшая, — искренним тоном призналась она, — только у меня всего один брат, и он в Марокко. — Ее взгляд жадно вопрошал меня: — Скажите, что вам рассказывала Вантадур?

— Ничего особенного.

— Вы можете мне довериться, — взмолилась Мари-Анж. — Мне все можно говорить. Это входит сюда. — Она показала на уши. — И выходит отсюда. — Она показала на свой рот.

— Именно этого я и опасаюсь. Скажите лучше, что вам известно об этой долговязой мегере?

— О! Это потрясающая женщина! — отвечала Мари-Анж.

— Чем же?

— В своем возрасте она может заполучить всех мужчин, каких только пожелает, и притом умудряется мешать полезных с приятными. В настоящий момент у нее их трое, и все трое хотят на ней жениться.

— И каждый думает, что он один?

— Нет. Каждый думает, что один он знает, что есть двое других.

— А между тем она далеко не Венера.

— Говорят, что в двадцать лет она была еще безобразнее, но ухитрилась до неузнаваемости изменить себя. Такое бывает с некрасивыми женщинами, которые выбиваются в люди через постель, — с ученым видом заявила Мари-Анж, — только им приходится стараться изо всех сил. Люлю, верно, было уже где-то около сорока, когда при помощи капиталов папаши Бротто она открыла дом моды «Амариллис». Это стало приносить ей большой доход, и тут началась война. Теперь дело снова стремительно пошло на лад, но ей пришлось выложиться, — сочувственным тоном заметила Мари-Анж и добавила: — Вот почему она такая злая.

— Понятно. — Я внимательно смотрела на Мари-Анж. — Зачем вы сюда приходите? В надежде на скандальные сплетни?

— Я здесь ради собственного удовольствия. Обожаю посещать коктейли. А вы нет?

— Не вижу в этом ничего интересного: может, вы мне объясните...

— Пожалуйста: встречаешь кучу людей, с кото-

рыми нет ни малейшего желания встречаться.

— Это и так ясно.

— И потом, надо же себя показывать.

— Почему надо?

— Если хочешь, чтобы тебя заметили.

— А вы хотите быть замеченной?

— О да! В особенности люблю, когда меня фотографируют. Это ненормально? — спохватилась она. — Думаете, что мне следует пройти психоанализ?

— Понимаю! Внутри так и свербит.

— Что? Комплексы?

— Что-то вроде этого.

— Но если у меня их отнимут, что мне останется? — жалобно пролепетала она.

— Идите сюда, — сказала Клоди. — Теперь, когда зануды ушли, можно будет немного поразвлечься.

У Клоди всегда наступал момент, когда заявлялось, что зануды ушли, хотя порядок уходов менялся раз от раза.

— Мне очень жаль, — сказала я, — но придется и мне уйти вместе с ними.

— Как? Но вы должны остаться поужинать, — возразила Клоди. — Ужин за маленькими столиками — это будет так мило. И потом, придут

люди, которым я собиралась вас представить. — Она отвела меня в сторону. — Я решила заняться вами, — радостно сообщила она. — Это смешно — жить дикаркой; вас никто не знает: я имею в виду в тех кругах, где водятся деньги. Позвольте мне создать вам имя; я отведу вас к модельерам, привлеку к вам внимание, и через год у вас будет самая шикарная парижская клиентура.

— У меня и так чересчур много пациентов.

— Половина которых не платит, а другая половина платит очень мало.

— Вопрос не в этом.

— Именно в этом. С клиентом, который платит за десятерых, вы можете работать в десять раз меньше, и тогда у вас появится время, чтобы бывать в свете и одеваться.

— Мы поговорим об этом позже.

Я была удивлена, что она так плохо поняла меня; хотя, по сути, и я понимала ее немногим лучше. Она полагала, что работа для нас — всего лишь средство для достижения успеха и богатства, а я смутно была убеждена, что все эти снобы охотно променяли бы свое социальное положение на таланты и успехи интеллектуалов. В детстве учительница казалась мне гораздо более значительным лицом, чем герцогиня или

миллиардер, и эта иерархия с годами почти не изменилась. Зато Клоди воображала, будто для любого Эйнштейна высшая награда — быть принятым в ее гостиной. Вряд ли мы могли с ней поладить.

— Садитесь вот сюда: мы будем играть в правду, — предложила Клоди.

Я ненавижу эту игру; я всегда говорю одну лишь неправду, и мне тягостно бывает видеть моих партнерш, жаждущих, без опасения навредить себе, раскрыть сокровенную тайну и дотошно, коварно расспрашивать друг друга.

— Ваш любимый цветок? — обратилась Югетта к Гите.

— Черный ирис, — ответила та, нарушив окружавшее ее благоговейное молчание.

У каждой из них имелись любимый цветок, излюбленное время года, любезная сердцу книга, постоянный модельер. Югетта взглянула на Клоди:

— Сколько у вас было любовников?

— Не помню точно: двадцать пять или двадцать шесть. Подождите, пойду посмотрю список в ванной. — Она вернулась с торжествующим криком: — Двадцать семь!

— О чем вы думаете в этот момент? — задала

мне вопрос Югетта.

И для меня тоже правда вдруг оказалась неодолимо привлекательной:

— Что мне хотелось бы очутиться в другом месте. — Я встала. — Серьезно, у меня срочная работа, — сказала я, обращаясь к Клоди. — Нет, только прошу вас, не беспокойтесь.

Я вышла из гостиной, за мной последовала сидевшая в прострации на диване Мари-Анж.

— Это неправда, не так ли, что у вас спешная работа?

— У меня всегда много работы.

— Я приглашаю вас поужинать, — сказала она, украдкой бросив на меня молящий и многообещающий взгляд, который она тут же отвела.

— У меня действительно нет времени.

— Тогда в другой раз. Не могли бы мы видеться время от времени?

— Я так занята!

Она с недовольным видом протянула мне кончики пальцев; я села на велосипед и двинулась вперед, глядя прямо перед собой. Ужин с ней меня, пожалуй, даже позабавил бы, но я слишком хорошо знала, чем это обернется: она боялась мужчин, изображала из себя маленькую девочку и быстро предложила бы мне свое сердце и

свое хрупкое тельце; если я отстранялась, то не потому, что ситуация пугала меня, я просто предвидела ее неизбежность, чтобы забавляться этим. Было много правды в упреке, который сделала мне однажды Надин: «Ты никогда не идешь до конца». Я смотрела на людей глазами врача, и потому мне было трудно установить с ними человеческие отношения. Гнев, обида — я редко бывала на это способна, а добрые чувства по отношению ко мне меня почти не трогали: вызывать их — мое ремесло. Я безучастно должна преодолевать последствия совершаемых мной переходов из одного состояния в другое и ликвидировать их в нужный момент; даже в своей частной жизни я сохраняю эту привычку. Встретившись с больным, я сразу же ставлю диагноз, определяю у больных инфантильные расстройства, вижу себя такой, какой появляюсь в их фантазиях: матерью, бабушкой, сестрой, ребенком, кумиром. Мне не по душе волшебные превращения, которым подвергают мой образ, но приходится с этим мириться. Полагаю, что, если бы какой-нибудь нормальный человек имел неосторожность привязаться ко мне, я тотчас спросила бы себя: кто я для него? Какие неудовлетворенные желания он хочет утолить? И была бы не способна на от-

ветный порыв.

Должно быть, я выехала за пределы Парижа; я катила вдоль Сены по узкому шоссе, окаймленному слева парапетом, а справа — покосившимися домишками, кое-где освещенными очень старыми фонарями; дорога была грязной, но на тротуаре лежал белый снег. Я улыбнулась темному небу. Этот час я выиграла, сбежав из гостиной Клоди, и никому не была им обязана: вот почему, вне всякого сомнения, в воздухе ощущалось столько веселья. Я вспоминала: раньше довольно часто воздух пьянил меня, оглушая радостью, и тогда я говорила себе, что, если бы не существовало таких моментов, не стоило бы и жить. Неужели они возрождаются? Мне предложили пересечь океан, открыть для себя континент, и все, что я нашлась ответить, это «Мне страшно». Чего я боялась? Раньше я не была трусливой. В рощах Пайолив или в лесу Грезинь я подкладывала под голову мешок, закутывалась в одеяло и спала одна под открытым небом так же спокойно, как в своей кровати; мне казалось естественным карабкаться наугад, без проводника, по горным кручам и скользким ледникам; я отвергала осторожные советы, одна садилась за столик в притонах Гавра или Марселя, одна разгуливала по кабильским

деревням...{72} Внезапно я повернула назад. Какой смысл притворяться, будто едешь на край света; если я хочу обрести прежнюю свою свободу, не лучше ли вернуться домой и этим же вечером ответить Ромье «да».

Но я не ответила и несколько дней спустя с мучительным беспокойством все еще спрашивала совета, словно речь шла об экспедиции к центру земли.

— Вы согласились бы на моем месте?

— Конечно, — с удивлением отвечал Анри.

Было это в ту ночь, когда огромные светящиеся буквы V победоносно рассекали парижское небо; гости принесли шампанское, пластинки; я приготовила ужин и всюду поставила цветы. Надин осталась у себя в комнате под предлогом срочной работы: она бойкотировала праздник, который в ее глазах на деле был годовщиной смерти.

— Странный праздник, — говорил Скрясин. — Это не конец, это только начало: начало настоящей трагедии.

По его мнению, третья мировая война уже началась.

— Не изображайте Кассандру{73}, — весело сказала я ему. — В рождественскую ночь вы уже предрекали нам бедствия: думаю, вы проиграли

ваше пари.

— Мы не заключали пари, — возразил он, — да и года еще не прошло.

— Во всяком случае, пока что французы не утратили интереса к литературе. — Я призвала в свидетели Анри: — В «Вижиланс» получают невероятное количество рукописей, не так ли?

— Это лишь доказывает, что Франция выбрала судьбу Александрии, — сказал Скрясин. — Я предпочел бы, чтобы у «Вижиланс» не было такого успеха и чтобы столь значительной газете, как «Эспуар», не угрожала ликвидация.

— Что ты такое говоришь? — с живостью спросил Анри. — У «Эспуар» все в полном порядке.

— Мне сказали, что вам придется искать частных субсидий.

— Кто тебе это сказал?

— Ах, я уже не помню: ходит такой слух.

— Это ложный слух, — сухо заметил Анри.

Похоже, настроение у него было неважное, что выглядело странно: остальные, напротив, казались веселыми, даже Поль, даже Скрясин, которого хроническое отчаяние отнюдь не приводило в уныние. Робер рассказывал истории другого мира, истории из двадцатых годов; Ленуар и Жюльен вспоминали вместе с ним те

экзотические времена; два американских офицера, которых никто не знал, потихоньку напевали балладу Far West {Дальний Запад (англ.)} [empty link], и какая-то Wac {Женщина-военнослужащая (англ.)} [empty link] спала, забившись в угол дивана. Несмотря на прошлые драмы и грядущие трагедии, эта ночь была праздничной ночью, я в этом не сомневалась, и вовсе не из-за песен и фейерверков, а потому, что мне хотелось смеяться и плакать одновременно.

— Пошли посмотрим, что делается на улице! — предложила я. — Потом вернемся ужинать.

Все с восторгом согласились. Без особого труда мы добрались до входа в метро и вышли на станции площадь Согласия; но выбраться на саму площадь оказалось не так-то просто, лестница была заполнена людьми; чтобы не потеряться, мы крепко держались за руки, но в тот момент, когда мы поднялись на последнюю ступеньку, толпа всколыхнулась с такой силой, что я от толчка выпустила руку Робера и оказалась одна с Анри, нас развернуло спиной к Елисейским полям, тогда как мы собирались идти по ним вверх. Поток увлек нас к Тюильри.

— Не пытайтесь сопротивляться, — посоветовал Анри. — Скоро мы все опять соберемся у вас.

Остается следовать течению.

В окружении песен и смеха нас вынесло на площадь Оперы, багровую от огней и драпировок; было немного страшно: если споткнешься или упадешь, сразу затопчут ногами, и в то же время зрелище казалось волнующим; ничего еще не было завершено, прошлое не воскреснет, будущее неясно, но настоящее торжествовало, и оставалось лишь отдаться его власти — с ощущением пустоты в голове, с пересохшим ртом, с сильно бьющимся сердцем.

— Не хотите ли выпить по стаканчику? — предложил Анри.

— Если это возможно.

Медленно, со многими уловками нам удалось выбраться из толпы посреди улицы, поднимавшейся к Монмартру; мы вошли в какое-то кабаре, заполненное американцами в мундирах, бормотавшими песни, и Анри заказал шампанское; в горле у меня пересохло от жажды, усталости, волнения, и я залпом выпила два бокала.

— Ведь сегодня праздник, правда? — сказала я.

— Конечно.

Мы дружелюбно взглянули друг на друга; я редко чувствую себя с Анри непринужденно, нас разделяет чересчур много людей: Робер, Надин,

Поль; но этой ночью он казался таким близким, да и шампанское прибавило мне смелости.

— Однако вид у вас совсем невеселый.

— Да. — Анри протянул мне сигарету. Он и правда выглядел невеселым. — Я все думаю, кто распространяет слухи, будто «Эспуар» испытывает трудности. Вполне возможно, что это Самазелль.

— Вы его не любите? — спросила я и добавила: — Я тоже. До чего утомительны эти люди, которые нигде не появляются без своего персонажа.

— Однако Дюбрей высоко его ставит, — заметил Анри.

— Робер? Он считает его полезным, но не испытывает к нему симпатии.

— А разве есть разница? — спросил Анри.

Его интонация показалась мне не менее странной, чем вопрос.

— Что вы хотите сказать?

— В настоящее время Дюбрей настолько увлечен тем, чем занимается, что его симпатия к людям измеряется их полезностью — ни больше, ни меньше.

— Но это совсем не так, — с негодованием возразила я. Он насмешливо взглянул на меня:

— Я спрашиваю себя, питал бы он все еще дру-

жеские чувства ко мне, если бы я не открыл для СРЛ двери «Эспуар».

— Он был бы разочарован, — ответила я, — разумеется, он был бы разочарован, но лишь в силу тех причин, которые и вас заставили пойти на это, только и всего.

— О! Согласен, такого рода предположения просто глупы, — с излишней поспешностью заявил Анри.

Я задавалась вопросом, а не показалось ли ему, будто Робер поставил его перед выбором: он может быть резок, когда любой ценой желает добиться своего; мне было бы очень жаль, если бы Робер обидел Анри; он и сам достаточно одинок, ему ни в коем случае не следовало терять эту дружбу.

— Чем больше Робер дорожит людьми, тем большего он от них требует, — сказала я. — На примере Надин я отлично поняла это: с той минуты, как он перестал ожидать от нее слишком многого, он отчасти отстранился от нее.

— Ах, но это разные вещи — быть требовательным в интересах другого или в своих собственных; в первом случае — это доказательство привязанности...

— Но для Робера нет разницы между тем и дру-

гим! — возразила я. Обычно мне претит говорить о Робере; но я во что бы то ни стало хотела рассеять обиду, которую угадывала у Анри.

— Воссоединение «Эспуар» и СРЛ в его глазах было необходимостью, и, значит, вы должны были это признать. — Я спрашивала Анри взглядом: — Вы думаете, он слишком легко распорядился вами? Но это из уважения.

— Я знаю, — с улыбкой сказал Анри. — Он охотно навязывает другим свои убеждения: признайтесь, это в какой-то мере империалистическая форма уважения.

— В конечном счете он был не так уж неправ, раз вы согласились, — заметила я. — Я не совсем понимаю, в чем вы его упрекаете.

— Разве я сказал, что в чем-то упрекаю его?

— Нет, но это чувствуется. Анри заколебался.

— О! Это вопрос нюансов, — сказал он, пожав плечами. — Я был бы признателен Дюбрею, если бы он на минуту поставил себя на мое место. — Анри очень мило улыбнулся мне: — Вот вы бы поступили именно так.

— Я не человек дела, — ответила я и добавила: — Да, временами Робер нарочно заслоняется шорами; но это вовсе не значит, что он лишен бескорыстных чувств и, как правило, не проявляет

настоящей заботы о других: вы несправедливы.

— Возможно, — весело сказал Анри. — Знаете, когда нехотя на что-то соглашаешься, немного сердишься и на того, кто подтолкнул тебя к этому: признаю, это не совсем честно.

Я смотрела на Анри, испытывая нечто вроде угрызений совести.

— Вас сильно тяготят новые отношения «Эспуар» с СРЛ?

— О! Теперь уже нет, — сказал он, — я привык.

— Но у вас не было желания ввязываться в это?

— Безумного желания — нет, не было, — улыбнулся он.

Сколько раз он повторял, что политика наводит на него тоску, а теперь увяз в ней по уши; я вздохнула:

— И все-таки есть какая-то правда в том, что говорит Скрясин: никогда политика не была такой всепоглощающей, как сегодня.

— Этот монстр Дюбрей не позволит поглотить себя, — не без зависти сказал Анри. — Он пишет столько же, как раньше?

— Столько же, — ответила я; но, чувствуя полное доверие к Анри, поколебавшись, добавила: — Он пишет столько же, но менее свободно.

Помните воспоминания, отрывки из которых вы читали, так вот, он отказался публиковать их, говорит, там найдут немало оружия против него; разве это не печально — думать, что если ты стал общественным деятелем, то не можешь больше оставаться до конца искренним как писатель?

Помолчав немного, Анри ответил:

— Разумеется, исчезает отчасти непроизвольность письма; все, что сегодня публикует Дюбрей, читается в контексте, о котором он обязан помнить; но я не думаю, что это влияет на его искренность.

— То, что его мемуары не появятся в печати, приводит меня в отчаяние!

— Вы неправы, — дружеским тоном сказал он. — Творчество человека, который исповедуется с предельной искренностью, но безответственно, не станет правдивей и наполненней творчества того, кто берет на себя ответственность за все, что говорит.

— Вы думаете? — молвила я и добавила: — Для вас тоже вставал такой вопрос?

— Нет, не совсем так, — ответил он.

— Но другие вопросы вставали?

— Вопросы не перестают на нас сыпаться, разве нет? — уклончиво сказал он. Я продолжала

настаивать:

— Как продвигается ваш веселый роман?

— Дело в том, что я его больше не пишу.

— Он стал печальным? Я ведь вам говорила.

— Я больше не пишу, — виновато улыбнулся Анри. — Вообще не пишу.

— Да будет вам!

— Только статьи: они идут с колес; но настоящая книга — дело другое... Этого я уже не могу.

Он не мог: стало быть, в бреднях Поль таилась правда. А ведь он так любил писать! Как же это случилось?

— Но почему? — спросила я.

— Видите ли, не писать — это нормально; ненормально скорее обратное.

— Но не для вас, — возразила я. — Вы не представляли себе жизни без творчества.

Я смотрела на него с беспокойством. «Люди меняются», — сказала я Поль; но, даже зная, что они меняются, мы упорствуем, продолжая считать их неизменными по многим пунктам: еще одна незыблемая звезда начала вальсировать на моем небосклоне.

— Вы считаете, что в нынешних условиях в этом нет смысла?

— О нет! — ответил Анри. — Если есть люди, для

которых потребность писать сохраняет смысл, тем лучше для них. Лично мне больше не хочется, вот и все. — Он улыбнулся: — Я признаюсь вам во всем: мне нечего больше сказать; или точнее так: то, что я имею сказать, кажется мне ничтожным.

— Это настроение, оно пройдет, — заметила я.

— Не думаю.

Сердце у меня сжалось; должно быть, отказ от литературного творчества ужасно печален для него.

— Мы так часто видимся, — с упреком и сожалением сказала я, — а вы никогда не говорили нам об этом!

— Не было случая.

— И то верно, с Робером вы не говорите больше ни о чем, кроме политики! — Внезапно меня осенило: — А знаете, что было бы неплохо? Этим летом мы с Робером собираемся совершить путешествие на велосипедах, поедемте с нами на две-три недели.

— Это действительно может быть совсем неплохо, — в нерешительности согласился он.

— Наверняка так и будет! — Я вдруг тоже заколебалась: — Вот только Поль не ездит на велосипеде.

— О! В любом случае я не всегда провожу с ней

отпуск, — с живостью отозвался Анри. — Она поедет в Тур к своей сестре.

Мы немного помолчали, потом я неожиданно спросила:

— Почему Поль не хочет попытаться снова начать петь?

— Хотел бы я знать! Не понимаю, что у нее на уме в последнее время, — обескураженно молвил он, пожав плечами. — Возможно, она боится, что, если у нее появится своя жизнь, я воспользуюсь этим, чтобы изменить наши отношения.

— А вы как раз к этому и стремитесь? — спросила я.

— Да, — с жаром ответил он и добавил: — А что вы хотите, я давно уже не люблю ее; впрочем, она прекрасно понимает это, хотя настойчиво утверждает, что все осталось по-старому.

— У меня сложилось впечатление, что она живет сразу в двух мирах, — сказала я. — Она сохраняет полную ясность ума и в то же время убеждает себя, что вы ее безумно любите и что она могла бы быть величайшей певицей века. Думаю, победит здравый смысл, но что тогда с ней станется?

— Ах, я не знаю! — сказал Анри. — Не хотелось бы быть подлецом, но я не чувствую в себе при-

звания мученика. Иногда ситуация кажется мне простой: если больше не любишь, значит, не любишь. А в иные минуты мне кажется несправедливым перестать любить ее: ведь это все та же Поль.

— Полагаю, по-прежнему любить тоже несправедливо.

— Так как же? Что я могу поделать? — спросил он.

Он действительно выглядел расстроенным; и я в который раз подумала, что рада быть женщиной, так как имею дело с мужчинами, а с ними проблем гораздо меньше.

— Надо, чтобы Поль смирилась, иначе вы окажетесь в тупике. Нельзя жить с нечистой совестью{74}, но и жить против воли тоже нельзя.

— Быть может, следует научиться жить против воли, — сказал он с притворной непринужденностью.

— Нет! Я уверена, что нет! — возразила я. — Если человек недоволен своей жизнью, я не вижу, каким образом он может оправдать ее.

— А вы своей довольны?

Вопрос застал меня врасплох; я говорила, исходя из прежней убежденности, хотя не знала, в какой мере все еще придерживаюсь ее.

— Нельзя сказать, что я ею недовольна, — смущенно ответила я. Он, в свою очередь, внимательно посмотрел на меня.

— И вам этого достаточно: не быть недовольной?

— Это не так уж плохо.

— Вы изменились, — сочувственно сказал он. — Раньше вы едва ли не вызывающе радовались своей судьбе.

— Почему одна я не должна меняться? — возразила я. Но он тоже не отступался:

— Порой мне кажется, что ваша профессия интересует вас меньше, чем раньше.

— Она меня интересует. Но не находите ли вы, что в настоящее время врачевать состояние души в какой-то мере пустое занятие?

— Для тех, кого вы лечите, это важно, — заметил он. — Не менее важно, чем прежде: где разница?

Я заколебалась, потом ответила:

— Дело в том, что прежде я верила в счастье; то есть я хочу сказать: думала, что счастливые люди — на верном пути. Вылечить больного означало сделать его настоящей личностью, способной придать смысл своей жизни. — Я пожала плечами. — Необходимо верить в будущее, чтобы считать, будто у каждой жизни есть смысл.

Анри улыбнулся; в его глазах застыл вопрос.

— Будущее не так уж беспросветно, — заметил он.

— Не знаю, — сказала я. — Возможно, прежде оно рисовалось мне в розовом свете, поэтому серьга меня пугает. — Я улыбнулась: — Именно в этом я больше всего изменилась: я всего боюсь.

— Вы меня удивляете! — сказал он.

— Уверяю вас. Да вот, к примеру, уже несколько недель назад мне предложили поехать в январе в Америку на конгресс по психиатрии, а я никак не могу решиться.

— Но почему? — с возмущением спросил он.

— Не знаю; мне кажется это заманчивым и в то же время страшит. А вы не испугались бы? Вы согласились бы на моем месте?

— Конечно! — сказал он. — Что с вами может случиться?

— Ничего особенного. — Я заколебалась. — Наверное, странно видеть себя и людей, которыми дорожишь, из глубин другого мира...

— Это должно быть очень интересно. — Он ободряюще улыбнулся мне. — Вы наверняка сделаете какие-нибудь маленькие открытия; но меня удивило бы, если бы они сильно повлияли на вашу жизнь. То, что с нами случается или что

мы делаем, в конечном счете никогда не имеет большого значения...

Я опустила голову. «И верно, — подумалось мне. — Ничто никогда не имеет столь важного значения, как мне представляется. Я уеду, вернусь, все проходит, ничего не происходит». Вот и наш разговор тет-а-тет остался уже в прошлом. Пора было возвращаться домой к ужину. Доверительную близость этого часа мы могли бы продлить до зари, а может и дольше. Но из-за множества причин не стоило даже пытаться. Не стоило? Во всяком случае, мы не попытались.

— Пора идти на поиски остальных, — сказала я.

— Да, — согласился Анри, — пора.

Мы молча дошли до метро, где и встретились с остальными.

Встреча Робера и Лафори проходила с ярой учтивостью; ни один из них не повышал голоса, но оба именовали друг друга военными преступниками. В заключение Лафори сказал опечаленным тоном: «Мы будем вынуждены перейти к атаке». Это не помешало Роберу с воодушевлением готовить митинг, намеченный на июнь. Между тем как-то вечером, после долгого заседания с Анри и Самазеллем, он внезапно

спросил меня:

— Я прав или нет, организуя митинг? Я с изумлением взглянула на него:

— Зачем вы меня об этом спрашиваете?

— Затем, чтобы ты ответила, — улыбнулся он.

— Вам лучше знать.

— Никому ничего не дано знать.

Я не спускала с него недоуменного взгляда:

— Отказаться от митинга, не значит ли это отказаться от СРЛ?

— Так оно и есть.

— После вашего спора с Лафори вы подробнейшим образом объясняли мне, почему и речи не может быть о том, чтобы вы уступили. Что нового произошло?

— Ничего не произошло, — ответил Робер.

— В чем же дело? Почему вы изменили мнение? Вы не считаете больше возможным навязывать свою волю коммунистам?

— Напротив; в случае успеха не исключено, что они не станут порывать с нами отношения. — Запнувшись, Робер продолжал в нерешительности: — Я сомневаюсь относительно всего в целом.

— Относительно движения в целом?

— Да. Бывают моменты, когда я задаюсь во-

просом, а не утопия ли это — социалистическая Европа? Хотя любая не реализованная еще идея необычайно похожа на утопию; ничего никогда нельзя было бы добиться, если считать невозможным все, кроме того, что уже существует.

Казалось, он возражал невидимому собеседнику, а я спрашивала себя, отчего вдруг у него появились такие сомнения. Он вздохнул:

— Не так-то легко отличить действительную возможность от мечты.

— А разве Ленин не говорил: «Надо мечтать»?

— Да, но при условии, что серьезно веришь в свою мечту; и в этом весь вопрос: достаточно ли серьезно я в нее верю?

Я с удивлением смотрела на него.

— Что вы хотите сказать?

— В чем причина моего упорства, что это: вызов, гордыня или потворство самому себе?

— Странно, что у вас возникли такого рода сомнения, — заметила я. — Не в ваших правилах остерегаться самого себя.

— Но я остерегаюсь своих правил! — возразил Робер.

— В таком случае остерегайтесь и этого недоверия к себе. Быть может, вы склонны отступить, опасаясь поражения или из страха перед лавиной

осложнений.

— Возможно, — признал Робер.

— Думаю, вам не доставляет удовольствия мысль о том, что коммунисты собираются начать кампанию против вас?

— Нет, удовольствия мне это не доставляет, — согласился Робер. — Столько усилий приходится прилагать, чтобы тебя поняли! А с ними постоянно будут возникать наихудшие недоразумения. Да, — добавил он, — возможно, во мне говорит писатель, трусливо советуя политическому деятелю смириться.

— Вот видите, — сказала я. — Если вы начнете перебирать свои мотивы, вам не выйти из этого. Оставайтесь на объективной позиции, как сказал бы Скрясин.

— Увы! Такая позиция слишком неустойчива! — возразил Робер. — Особенно когда располагаешь неполной информацией. Да, я верю в успех европейских левых сил, но не потому ли, что я убежден в их необходимости?

Меня смущало то, что Робер ставит вопрос таким образом. Он рьяно упрекал себя в том, что простодушно поверил в добрую волю коммунистов, но разве этого достаточно, чтобы до такой степени заставить его усомниться в себе?

Впервые за всю нашу жизнь я видела, что его прельщает не требующее большой затраты сил решение.

— Когда вы надумали отказаться от СРЛ? — спросила я.

— О! Ничего определенного я не надумал, — ответил Робер. — Я просто задаюсь вопросом.

— С каких пор вы задаетесь таким вопросом?

— Да уже дня два-три, — сказал Робер.

— И без особой на то причины?

— Без особой причины, — улыбнулся он. Я внимательно посмотрела на него.

— А не означает ли это всего-навсего, что вы устали? — спросила я. — У вас усталый вид.

— Верно, я немного устал, — признался он.

Внезапно мне бросилось это в глаза: вид у него был очень усталый. Веки покраснели, лицо опухло и стало серым. «Ведь он не так уж молод!» — в тревоге подумала я. О! Он еще не был стар и все-таки не мог больше позволять себе прежние излишества; на деле же он их себе позволял и даже преумножал: возможно, чтобы доказать себе, что он все еще молод. Кроме СРЛ, «Вижиланс» и его книги, существовали визиты, письма, телефонные звонки; всем требовалось высказать ему что-нибудь срочное: одобрение, критику,

предложения, проблемы; если их не принимали, если их не печатали, то обрекали на голод, на нищету, на безумие, на смерть, на самоубийство. И Робер принимал их, урезая время сна, он почти никогда не спал.

— Вы слишком много работаете! — сказала я. — Если и дальше так пойдет, вы себя погубите, а уж обо мне и говорить нечего.

— Надо протянуть еще месяц, не больше, — сказал он.

— И вы полагаете, что месяца отпуска вам хватит, чтобы прийти в себя? — Я задумалась. — Надо попытаться найти дом в предместье. Вы будете приезжать в Париж раз или два в неделю, а в остальное время — ни визитов, ни телефонных звонков: покой.

— Ты сама найдешь дом? — насмешливым тоном спросил Робер.

Бегать по агентствам, осматривать виллы — у меня не было к этому склонности, а главное, страшно не хватало времени. Однако видеть, как надрывается Робер, тоже не было никаких сил. Он решил, что митинг все-таки состоится, но тревога не оставляла его: коммунистов может смутить лишь очевидный, неоспоримый успех; а что ожидает СРЛ, в случае если они пойдут на

разрыв отношений? Успех митинга волновал и меня. Еще в большей степени, чем для Робера, для меня значимы каждая личность в отдельности и все ценности частной жизни: чувства, культура, счастье; мне необходимо верить, что в бесклассовом обществе человечество сможет достичь свершений, не отрекаясь от самого себя.

Благодарение небу, Надин не передавала больше отцу упреки своих приятелей коммунистов; она перестала произносить обличительные речи против американского империализма и бесповоротно захлопнула «Капитал». Я ничуть не удивилась, когда она вдруг заявила мне:

— По сути, коммунисты ничем не отличаются от буржуев.

— Это почему?

Я как раз занималась вечерним туалетом, а Надин сидела на краю моего дивана; чаще всего именно в этот момент она говорила мне о вещах, которые больше всего ее волновали.

— Это не революционеры. Они за порядок, труд, семью, здравый смысл. Их справедливость — в будущем, а пока они, как и другие, мирятся с несправедливостью. И потом, их общество — это будет еще одно общество, вот и все.

— Разумеется.

— Если надо ждать еще пятьсот лет, чтобы мир в общем-то не изменился, меня это не интересует.

— Уж не думаешь ли ты, что мир можно переделать за один сезон.

— Смешно, ты рассуждаешь как Жоли. Мне ли не знать их болтовни. Но теперь я не понимаю, зачем мне вступать в компартию. Это такая же партия, как другие.

«Еще одна неудавшаяся любовная история, — с сожалением подумала я, заканчивая снимать с лица макияж. — А ей так необходима удача!»

— Самое лучшее — оставаться в одиночестве, как Венсан, — заявила она. — Он безупречно честный человек, настоящий ангел.

Ангел — слово, которое Надин употребляла по отношению к Диего; в Вен-сане она наверняка находила ту возвышенность и то сумасбродство, которые в свое время тронули ее сердце; только Диего вкладывал свое безрассудство в сочинения, а что касается Венсана, то можно было опасаться, что он свое перенес на жизнь. Спал ли он с Надин? Я так не думала, но в последнее время они виделись очень часто; я скорее радовалась этому, потому что Надин казалась мне взвинченной, но веселой. И потому у меня не возникло никаких опасений, когда однажды в пять часов утра я

услыхала звонок. Надин не ночевала дома, и я решила, что она забыла свой ключ. Но, открыв дверь, я увидела Венсана.

— Не беспокойтесь! — сказал он. И это сразу встревожило меня.

— Что-то случилось с Надин! — воскликнула я.

— Нет, нет, — ответил он. — Она в порядке. Все уладится. — Он решительно шагнул в гостиную. — Надин и та оказалась всего-навсего женщиной! — с отвращением произнес он. Из кармана куртки он вытащил карту и разложил ее на столе. — В двух словах: она ждет вас вот на этом перекрестке, — сказал он, указывая на пересечение двух проселочных дорог к северо-западу от Шантийи. — Вам надо раздобыть автомобиль и немедленно ехать за ней. Перрон наверняка даст вам редакционную машину. Только ничего ему не объясняйте, попросите машину, и все. А главное — ни слова обо мне.

Он выложил это на одном дыхании, спокойным и суровым тоном, который никак не мог унять мою тревогу; я не сомневалась, что он чего-то боится.

— Что она там делает? Несчастный случай?

— Говорю же вам: нет; она повредила ноги и не может идти, вот и все. Но вы приедете и вовремя

заберете ее; вы хорошо поняли, где это место? Я помечу крестиком. Вам надо только посигналить или позвать ее, она в маленьком лесочке справа от дороги.

— Что это за история? Что произошло? Я хочу знать, — настаивала я.

— Профессиональная тайна, — ответил Венсан. — Вам лучше немедленно позвонить Перрону, — добавил он.

Я ненавидела его мертвенно-бледное лицо, его налитые кровью глаза, красивый профиль, но то была бессильная ярость; я набрала номер Анри и услыхала его удивленный голос:

— Алло! Кто у телефона?

— Анна Дюбрей. Да, это я. Прошу вас срочно оказать мне услугу. Только, пожалуйста, не задавайте вопросов. Мне нужен немедленно автомобиль с запасом бензина на двести километров.

Последовала короткая пауза.

— Какая удача, вчера мы залили полный бак, — сказал он самым естественным тоном. — Машина будет у вашей двери через полчаса, вот только схожу за ней и приведу.

— Приезжайте на площадь Сент-Андре-дез-Ар, — сказала я. — Спасибо.

— Вот и прекрасно! — широко улыбаясь, заявил

Венсан. — Я не сомневался в Перроне. Только успокойтесь, — добавил он. — Надин ничто не угрожает, особенно если вы слегка поторопитесь. Никому ни слова, а? Она поклялась мне, что на вас можно положиться.

— Можно, — сказала я, провожая его до двери. — Но скажите, в чем дело?

— Ничего серьезного, клянусь вам, — ответил он.

У меня было желание с силой захлопнуть за ним дверь, однако я закрыла ее тихонько, чтобы не разбудить Робера; к счастью, он, верно, крепко спал, всего два часа назад я слышала, как он ложился. Я торопливо оделась. Мне вспоминались те две ночи, когда я ждала Надин, в то время как Робер искал ее по всему Парижу: ужасное ожидание. Теперь было еще хуже. Я не сомневалась, что они совершили нечто серьезное: Венсан явно боялся; речь шла о краже со взломом или вооруженном налете, Бог его знает; а после Надин не смогла дойти пешком до вокзала, и мне следовало приехать до того, как все обнаружится, до того, как обнаружат Надин, охваченную страхом Надин, не один час ожидавшую меня в одиночестве в промозглой темноте. То было прекрасное летнее утро, пропахшее гудроном и листвой, че-

рез несколько часов станет очень жарко; а пока в прохладе и безмолвии пустынных набережных распевали птицы; радужное утро, исполненное тревоги, наподобие утра массового бегства.

Анри прибыл на площадь через несколько минут после меня.

— Вот карета, — весело сказал он. И остался сидеть за рулем. — Вы не хотите, чтобы я проводил вас?

— Нет, спасибо.

— Вы уверены?

— Абсолютно уверена.

— Вы давно уже не водили машину.

— Я знаю, что справлюсь.

Он вышел, я села на его место.

— Это касается Надин? — спросил он.

— Да.

— А! Они используют ее, чтобы навязать нам свою волю! — с негодованием произнес он.

— Вы знаете, о чем идет речь?

— Более или менее.

— Скажите мне... Он заколебался:

— Это всего лишь предположение. Послушайте, я проведу дома все утро, звоните, если я хоть чем-то могу вам помочь.

«Главное, не попасть в аварию», — тверди-

ла я себе, направляясь к заставе Ла-Шапель. Я заставляла себя быть осторожной, пытаясь успокоиться. «Анри, похоже, считает, что Венсан солгал: возможно, меня ожидает несколько человек; возможно даже, Надин с ними нет». Как бы мне этого хотелось! Мне в тысячу раз милее было предположить их обман, чем представить себе Надин, в течение всей долгой ночи цепеневшую от холода, страха и досады.

На шоссе было пусто; я свернула вправо на проселочную дорогу, потом на другую. На перекрестке тоже никого не оказалось; я посигналила и стала изучать карту: я не ошиблась, но вдруг ошибся Венсан? Нет, он был очень точен, ошибка исключается. Я опять посигналила, затем выключила мотор, вышла из машины, свернула направо в маленький лесок и стала звать: «Надин», — сначала тихонько, затем все громче и громче. Тишина. Мертвая тишина: я поняла смысл этих слов. «Надин», — никакого ответа; все равно как если бы я позвала: «Диего»; она тоже исчезла, как он; она должна была находиться здесь, именно здесь, но ее не было. Я кружила на месте, наступая на сухие ветки и свежий мох, и даже уже не звала. «Ее арестовали!» — с ужасом подумала я. И вернулась к машине. Быть может, Надин устала ждать,

она так нетерпелива, и нашла в себе смелость направиться к ближайшему вокзалу; следовало догнать ее, догнать во что бы то ни стало, иначе ее заметят в столь ранний час на безлюдном перроне. В Шантийи она проскользнула бы незамеченной, но это очень далеко, к тому же я встретила бы ее на дороге, нет, она, должно быть, выбрала Клермон; я пристально вглядывалась в карту, словно надеялась вырвать у нее ответ; к Клермону вели две дороги, наверное, она пошла по самой короткой. Я снова включила зажигание, нажала на стартер, и сердце мое отчаянно заколотилось: мотор не оживал; наконец он решился, и автомобиль, слегка подпрыгивая, выехал на шоссе. Мои вспотевшие ладони скользили по влажному рулю. Вокруг царила упорная тишина; однако свет уже вступал в свои права, и скоро в деревнях откроются двери. «Ее арестуют». Молчание, безлюдье; этот покой выглядел ужасно. Надин не оказалось ни на дороге, ни на улицах Клермона, ни на вокзале. У нее наверняка не было карты, окрестностей она не знала и бродила наугад по полям, они найдут ее раньше меня. Я развернулась: надо вернуться на перекресток другой дорогой, а потом буду кружить по всем здешним дорогам до тех пор, пока не кончится

бензин. А дальше? Лучше не спрашивать себя: исследовать все дороги; та, по которой я ехала, поднималась к плато меж зеленеющих посевов. И вдруг я увидела Надин, она шла мне навстречу с улыбкой на губах, как будто мы давным-давно условились с ней об этой встрече. Я резко остановила машину, Надин неторопливо подошла и совершенно естественным тоном спросила:

— Ты приехала за мной?

— Нет, я прогуливаюсь для собственного удовольствия. — Я открыла дверцу: — Садись.

Надин села рядом со мной: причесанная, напудренная, она выглядела отдохнувшей; ногой я нажала на акселератор, а руками яростно вцепилась в руль.

— Ты сердишься? — с полунасмешливой-полуснисходительной улыбкой спросила Надин.

Выступившие у меня на глазах две горькие слезы действительно были слезами гнева; машину занесло, думаю, что мои руки дрожали; я сбавила скорость, попыталась расслабить пальцы и контролировать свой голос:

— Почему ты не осталась в лесу?

— Мне стало скучно. — Она сняла туфли и сунула их под сиденье. — Я не думала, что ты приедешь, — добавила она.

— Ты совсем идиотка? Конечно, я приехала.

— Я не знала; я хотела сесть на поезд в Клермоне; в конце концов я туда добралась бы. — Наклонившись вперед, она стала растирать себе ноги. — Бедные мои ноги!

— Что вы натворили? Она не ответила.

— Ладно, не раскрывай своих секретов, — сказала я, — это будет в вечернем выпуске газет.

— Это будет в газетах! — Надин выпрямилась, лицо ее исказилось. — Думаешь, консьержка заметила, что я не ночевала дома?

— Она не сможет доказать этого, а если понадобится, я поклянусь в обратном. Но я хочу знать, что вы натворили.

— Ладно, ты все равно узнаешь! В Азикуре есть баба, — угрюмо сказала Надин, — она выдала двух еврейских ребятишек, которых прятали на одной ферме: ребятишки погибли. Все знают, что это по ее вине, но она как-то вывернулась, и ее не тронули: еще одна мерзость. Венсан и его приятели решили наказать ее; я давно уже в курсе, и они знали, что я хочу помочь им. На этот раз им нужна была женщина, я поехала с ними. Та баба — содержательница бистро; мы дождались, пока ушли последние посетители, и как раз в тот момент, когда она собралась закрывать, я умолила

ее впустить меня на минутку выпить стакан и отдохнуть; пока она обслуживала меня, вошли остальные и набросились на нее; они отвели ее в погреб.

Надин умолкла, и я спросила:

— Они ее не...

— Нет, — с живостью ответила Надин и добавила: — Они ее обчистили... Я неплохо справилась, — с неожиданным вызовом в голосе сказала она, — закрыла дверь, погасила свет; только это показалось мне чересчур долгим, дожидаясь, я выпила рюмку коньяка; разумеется, я вымоталась: у меня нет навыка в таких делах. И потом, мы уже проделали немало километров, добираясь туда из Клермона, они хотели вернуться через Шантийи, но я не могла больше идти. Они дотащили меня до лесочка и велели дожидаться тебя. У меня было время очухаться... Я оборвала ее:

— Ты дашь мне слово порвать со всей этой бандой или сегодня же вечером покинешь Париж.

— Они в любом случае не возьмут меня больше, — сказала Надин с некоторой обидой.

— Этого мне недостаточно: я хочу заручиться твоим словом, иначе завтра ты будешь далеко.

Уже многие годы я не говорила с ней в таком тоне; она смотрела на меня с покорным, умоля-

ющим видом.

— Ты тоже обещай мне одну вещь: ничего не говори папе.

Мне крайне редко случалось умалчивать перед Робером о глупостях Надин, но на этот раз я решила, что ему и правда не нужны новые заботы.

— Обещание за обещание, — сказала я.

— Обещаю тебе все, что хочешь, — печально ответила она.

— Тогда и я ничего не скажу. Ты уверена, что не оставила следов? — с тревогой спросила я.

— Венсан уверяет, что за всем проследил. Что будет, если меня возьмут? — в страхе спросила она.

— Тебя не возьмут; ты всего лишь сообщница и к тому же слишком молода. Но Венсан крупно рискует; если он закончит свою жизнь в тюрьме, то так ему и надо, — в ярости добавила я. — До чего же отвратительная история, глупая и отвратительная.

Надин не ответила, а, помолчав, спросила:

— Анри дал тебе машину и ни о чем не спросил?

— Думаю, ему многое известно.

— Венсан слишком много болтает, — заметила Надин. — Анри и ты — не в счет. Но тип вроде

Сезенака может быть опасен.

— Сезенак в курсе? Какое безумие!

— Он не в курсе, Венсан все-таки понимает, что наркомана следует остерегаться. Но они очень привязаны друг к другу и все время вместе.

— Надо поговорить с Венсаном, надо убедить его бросить все это...

— Ты его не убедишь, — возразила Надин, — ни ты, ни я, вообще никто.

Надин улеглась спать, а я сказала Роберу, что выходила просто прогуляться. Он так был озабочен в последнее время, что не усмотрел в этом ничего подозрительного. Я позвонила Анри и успокоила его несколькими туманными фразами. Сосредоточиться на моих больных было трудным занятием. Я с нетерпением дожидалась вечерних газет: в них ничего не говорилось. И все-таки в ту ночь я почти не спала. «Об Америке и речи быть не может», — сказала я себе: Надин в опасности; она пообещала мне ничего не затевать больше, но Бог знает, что она еще придумает! Я с грустью думала, что, даже оставаясь подле нее, я не смогу ее защитить. Чтобы она перестала уничтожать себя, ей наверняка довольно было бы чувствовать себя любимой и счастливой, однако я не могла дать ей ни любви, ни счастья. Никакой пользы

от меня ей не было! Других, чужих я заставляю говорить, я распутываю нити их воспоминаний, перебирая их комплексы, а по окончании вручаю аккуратные моточки, которые они раскладывают по порядку в нужные отделения: иногда это им во благо. Что касается Надин, то для меня она — открытая книга, я без труда читаю в ней, но ничем не в силах ей помочь. Раньше я себе говорила: «Как можно спокойно дышать, когда знаешь, что люди, которых ты любишь, играют своей вечной жизнью?» Но верующий может молиться, может поторговаться с Богом. Для меня же не существует сообщества святых, и теперь я говорю себе: «Эта жизнь — единственный шанс моей дочери; не будет другой истины, кроме той, что ей суждено узнать, другого мира, кроме того, в который она, возможно, поверит». На следующее утро у Надин появились огромные синяки под глазами, и я продолжала изводиться. Весь день она провела за трактатом по химии, а вечером, когда я снимала с лица макияж, сказала с убитым видом:

— Какой кошмар эта химия, я наверняка провалюсь.

— Ты всегда сдавала свои экзамены...

— Но только не на этот раз; впрочем, провалюсь или сдам — какая разница! Химия — да разве

добиться мне там успеха? — Она задумалась на минуту. — Мне нигде не добиться успеха. Я не интеллектуалка, да и для действия не гожусь. Я нигде не нужна.

— В «Вижиланс» ты прекрасно со всем справлялась с первых же дней.

— Тут нечем особо гордиться, папа прав.

— Когда ты найдешь то, что тебе придется по душе, я уверена, ты хорошо будешь это делать, а найдешь обязательно.

Она покачала головой:

— Думаю, что мне, как и всем женщинам, лучше всего иметь мужа и детей. Я бы чистила свои кастрюли и приносила бы каждый год по ребятенку.

— Если ты выйдешь замуж только ради замужества, ты все равно не будешь счастлива.

— О, успокойся! Ни один мужчина не будет таким дураком, чтобы жениться на мне. Им нравится со мной спать, а потом — до свидания. Я непривлекательна.

Мне хорошо была знакома ее манера самым естественным тоном говорить о себе весьма неприятные вещи, как будто своей непринужденностью она хотела обезоружить, преодолеть горькую истину. К несчастью, истина оставалась

истиной.

— Ты просто не хочешь быть привлекательной, — возразила я. — И если кто-то, вопреки всему, привяжется к тебе, ты отказываешься в это верить.

— Ты опять станешь говорить мне, что Ламбер дорожит мной...

— Вот уже год ты — единственная девушка, с которой он где-то бывает, ты сама мне это сказала.

— Разумеется, потому что он педераст.

— Ты с ума сошла!

— Ведь он выходит только с парнями. И к тому же влюблен в Анри, это яснее ясного.

— Ты забываешь о Розе.

— О! Роза была такой красивой, — с грустью сказала Надин. — В Розу даже педик мог влюбиться. Ты не понимаешь, — нетерпеливо продолжала она, — Ламбер испытывает ко мне дружеские чувства, верно, но точно так же, как испытывал бы их к мужчине. Впрочем, оно и к лучшему. У меня нет желания замещать кого-то. — Она вздохнула: — Парням слишком везет; Ламбер по всей Франции намерен собирать материал для большого репортажа: восстановление разоренных регионов и прочее. Он купил себе мотоцикл. Ты бы видела его: он принимает себя за полковника

Лоуренса[75], когда разъезжает на своей железяке, — с раздражением добавила она.

В ее голосе было столько зависти, что это подсказало мне одну идею. На следующий день после обеда я зашла в «Эспуар» и спросила Ламбера.

— Вы хотите поговорить со мной? — любезным тоном сказал он.

— Да, если у вас есть минутка.

— Хотите подняться в бар?

— Хорошо.

Как только бармен поставил передо мной грейпфрутовый сок, я пошла в наступление:

— Говорят, вы будете собирать материал по всей Франции для большого репортажа?

— Да, я еду на мотоцикле через неделю.

— А не могли бы вы взять с собой Надин? Он взглянул на меня с некоторым упреком:

— Надин хочет ехать со мной?

— Она умирает от зависти, но никогда не попросит вас первой.

— Я не предложил ей этого, потому что был бы очень удивлен, если бы она согласилась, — сказал он напыщенно. — Она не часто соглашается с тем, что я ей предлагаю; впрочем, в последнее время я редко с ней виделся.

— Знаю, — сказала я, — она болтается в обще-

стве Венсана и Сезенака; для нее это не лучшая компания. — Поколебавшись, я торопливо добавила: — И даже опасная компания; потому-то я и пришла к вам: раз вы питаете к ней дружеские чувства, увезите ее подальше от этих людей.

Выражение лица Ламбера внезапно изменилось; он выглядел очень юным и очень беспомощным.

— Не хотите ли вы сказать, что Надин принимает наркотики? Такое подозрение вполне меня устраивало, я сдержанно сказала:

— Не знаю; я не думаю, но с Надин может случиться все что угодно. Она на перепутье. Скажу вам откровенно: мне страшно.

Ламбер с минуту молчал, он казался взволнованным.

— Я был бы очень счастлив, если бы Надин поехала со мной, — признался он.

— Тогда попробуйте. И не отступайте: полагаю, сначала она откажется, такая уж она есть. Но вы настаивайте, возможно, вы спасете ей жизнь.

Три дня спустя Надин небрежно сказала мне:

— Представь себе, этот несчастный Ламбер хочет взять меня с собой в поездку!

— По всей Франции в связи с репортажем? Это будет очень утомительно, — ответила я.

— О! На это мне плевать. Но не могу же я бросить редакцию на две недели.

— Ты имеешь право на отпуск, вопрос не в этом. Но если тебе не хочется...

— Заметь, это было бы очень интересно, — сказала Надин. — Но три недели с Ламбером — слишком дорогая цена.

Главное, не следовало показывать, что я подталкиваю ее к этому путешествию.

— С ним действительно так скучно? — невинным тоном спросила я.

— С ним вовсе не скучно, — с раздражением ответила она. — Но он до того боязливый, до того чопорный, его все шокирует. Если я вхожу в бистро с дыркой на чулке, он строит такую рожу! Да что там, настоящий папенькин сынок! Ты знаешь, что он помирился с отцом? — продолжала она. — Какая бесхарактерность!

— Боже мой! Как быстро ты готова осудить любого! — возмутилась я. — Что тебе доподлинно известно об этой истории? И об отце Ламбера, и об их отношениях?

Я говорила с таким жаром, что Надин на мгновение была сбита с толку. Когда я действительно в чем-то убеждена, я умею убедить и ее; таким образом я наложила отпечаток на ее детство, но

обычно, уступив мне, она хранила столько обиды, что я избегала использовать свое влияние. Однако сегодня меня приводило в отчаяние ее упрямое стремление перечить самой себе.

Она неуверенно сказала:

— Ламбер не может обойтись без своего дорогого папочки: сущий инфантилизм. Если хочешь знать, именно это меня и раздражает в нем: он никогда не станет мужчиной.

— Ему двадцать пять лет, и позади у него непростое отрочество. Ты на собственном опыте знаешь, как нелегко добиться самостоятельности.

— Ну я — совсем другое дело, я — женщина.

— И что? Быть мужчиной ничуть не легче. От мужчины сегодня столько всего требуют, и ты в первую очередь. У них молоко еще на губах не обсохло, а они должны изображать из себя героев. Это обескураживает. Нет, ты не имеешь права проявлять такую строгость по отношению к Ламберу. Скажи лучше, что ты не ладишь с ним, что это путешествие тебя не увлекает, тогда дело другое.

— О! В каком-то смысле путешествия всегда меня влекут.

Через два дня Надин заявила мне с то ли разъ-

яренным, то ли польщенным видом:

— Этот тип невыносим! Он меня шантажирует. Говорит, что быть корреспондентом мирного времени — такое ремесло наводит на него тоску, и, если я не поеду с ним, он тоже откажется.

— Как же быть?

— Что ты-то об этом думаешь? — спросила она с невинным видом. Я пожала плечами:

— Да умеет ли он водить мотоцикл? Эти штуки очень опасны.

— И вовсе не опасны, а просто замечательны, — заявила Надин и добавила: — Если я соглашусь;, то как раз из-за мотоцикла.

Против всякого ожидания Надин выдержала экзамен по химии, правда, письменный — едва-едва, зато на устном она с легкостью пускала пыль в глаза экзаменаторам своим хорошо подвешенным языком и непринужденностью. Мы втроем отпраздновали эту победу грандиозным ужином с шампанским в ресторане на открытом воздухе, затем она уехала с Ламбером. То была настоящая удача. Митинг СРЛ состоялся на следующей неделе, в доме все время толпился народ, и я чувствовала себя вполне счастливой, получив возможность безраздельно пользоваться редкими свободными минутами, остававшимися у

Робера. Анри помогал ему с усердием, которое трогало меня тем более, что мне известно было отсутствие у него энтузиазма в отношении такого рода работы. Оба они говорили, что митинг обещает быть очень удачным. «Если они так говорят, это должно быть правдой», — думала я, спускаясь по авеню Ваграм; и все-таки мне было тревожно. Уже много лет Робер не выступал на публике: сумеет ли он, как прежде, увлечь людей? Я миновала полицейские автобусы, стоявшие вдоль тротуара, и продолжала шагать вплоть до площади Терн; я пришла раньше времени. Десять лет назад в день митинга в Плейеле{76} я тоже была одна и явилась раньше срока, я долго кружила возле этой площади, а потом зашла выпить стаканчик лотарингского вина. Теперь заходить не стала. Прошлое есть прошлое: не знаю почему, но я вдруг пожалела о нем с такой щемящей тоской. О! Наверняка всего лишь потому, что это прошлое. Я вернулась назад, миновала унылый коридор. Мне вспомнилась охватившая меня тревога, когда в тот день Робер поднялся на трибуну: мне почудилось, будто у меня его крадут. Этим вечером меня тоже пугала мысль увидеть его на подмостках издалека. Народа в зале было еще немного. «Публика всегда приходит в последнюю

минуту», — успокаивали меня Канжи. Я пыталась разговаривать с ними спокойно, но с мучительным беспокойством следила за входом. Скоро мы наконец узнаем, идут ли люди за Робером, да или нет. Если идут, то это, разумеется, ничего пока не доказывает; но зато, если в зале будет пусто, это уже окончательный провал. Зал наполнялся. Все места оказались заняты, когда ораторы под громкие аплодисменты поднялись на эстраду. Странно было видеть столь знакомые лица, преобразившиеся в официальных представителей. Ленуар, похожий на сухое дерево, словно следуя законам мимикрии, растворялся средь столов и стульев; Самазелль, напротив, занимал всю трибуну, то было естественное для него место. Когда заговорил Анри, его голос превратил огромный зал в небольшую комнату: он видел перед собой не пять тысяч человек, но пять тысяч раз повторенное лицо одного и потому обращался к ним тоном задушевной беседы. Мало-помалу я оттаивала. Его слова пробуждали веру в ту дружбу, которую он предлагал нам: слушая его, мы уже не сомневались, что удел людей — не война и не ненависть. Ему долго аплодировали. Мерико произнес короткую невнятную речь, затем настала очередь Робера. Какая овация! Как

только он встал, присутствующие с криками принялись хлопать в ладони и стучать ногами. Робер терпеливо ждал, и я спрашивала себя, ощущает ли он волнение: я его ощущала. Изо дня в день я смотрела на Робера, склонявшегося над письменным столом с покрасневшими глазами, сгорбленной спиной, видела его одиноким и сомневающимся в себе: и это был тот самый человек, которого теперь бурно приветствовали пять тысяч собравшихся. Кем он в действительности для них был? Великим писателем и в то же время человеком, чье имя связывали с комитетами бдительности и антифашистскими митингами; интеллигентом, посвятившим себя революции и сохранившим в себе интеллектуала. Для стариков он олицетворял довоенное время, для молодых — сегодняшний день и обещание надежды; он олицетворял единение прошлого и будущего. Наверняка он представлял собой и тысячу других вещей, каждый любил его по-своему. Они продолжали аплодировать, шум аплодисментов ширился, находя отклик во мне. Известность, слава — все это обычно оставляло меня равнодушной, а в этот вечер показалось завидным. «Счастлив тот, — говорила я себе, — кто может, не отводя взгляда, с радостью смотреть в глаза

правде жизни; счастлив тот, кто читает эту правду на лицах друзей»[77]. Наконец они затихли. Как только Робер открыл рот, руки мои стали влажными, а лоб покрылся потом; хоть я и знала, что говорит он легко, но все-таки испытывала страх. К счастью, я очень скоро увлеклась. Робер говорил без пафоса, с такой безупречной логикой, что она напоминала натиск; он не предлагал никакой программы: он обозначал задачи. И они были столь неотложны, что мы просто обязаны были выполнить их; победа диктовалась самой необходимостью. Люди вокруг улыбались, глаза их блестели, каждый узнавал на лицах соседей собственную убежденность. Нет, война была не напрасной; люди поняли, чего это стоит — смирение и эгоизм, они возьмут свою судьбу в собственные руки, они заставят восторжествовать мир и завоюют на всей земле свободу и счастье. Это было ясно, бесспорно, это подсказывал простой здравый смысл: человечество не может желать ничего другого, кроме мира, свободы, счастья, и что ему мешает сделать то, что оно хочет? Только ему суждено царить на земле. Именно эта очевидность покоряла нас в словах Робера. Когда он умолк, мы долго аплодировали, аплодировали не чему-нибудь, а неоспоримой

истине. Я вытерла руки носовым платком. Мир был обеспечен, будущее гарантировано, как ближайшее, так и далекое, — это единое целое. Салева я не слушала. Он говорил так же нудно, как Мерико, но это не имело значения. Победа была одержана, и не только на митинге — во всем, что олицетворял собой этот митинг.

Самазелль выступал последним. И сразу же начал грохотать, надрываться: воистину ярмарочный зазывала. Я снова оказалась в своем кресле средь столь же беспомощной, как и я, толпы, нелепо упивавшейся словами. То были не обещания и не предсказания: всего лишь слова. Зал Плейель: когда-то я уже видела такие же точно сияющие, внимательные лица, но это не спасло ни Варшаву, ни Бухенвальд, ни Сталинград, ни Орадур{78}. Да, все знают, к чему ведут смирение, эгоизм, но знают давно и без всякой пользы. Предотвратить беду еще никогда не удавалось и быстро не удастся, во всяком случае, при нашей жизни. А что произойдет потом, в конце этого долгого доисторического периода, нельзя даже себе представить, приходится признаться в этом. Будущее неопределенно, как близкое, так и далекое. Я смотрела на Робера. Его ли истина светится в глазах окружающих? На него смотрят

отовсюду: из Америки, из СССР, из глубины веков. Кого они видят? Возможно, всего лишь старого мечтателя, мечта которого попросту несерьезна. Возможно, именно таким увидит он сам себя завтра; увидит и подумает, что его деятельность ничему не послужила или, хуже того, послужила обману людей. Если бы только я могла решить: истины не существует! Но какая-то все-таки должна быть. Существует наша жизнь, тяжелая, словно камень, и у нее есть обратная сторона, которая нам неведома: это страшно. На сей раз я была уверена, что нахожусь в своем уме, я ничего не пила, ночь еще не наступила, а страх душил меня.

— Вы довольны? — спросила я их с равнодушным видом.

Анри был доволен. «Это успех», — весело ответил он мне. Самазелль говорил: «Это триумф». Но Робер проворчал: «Митинг мало что доказывает». Десять лет назад, покидая зал Плейель, он ничего подобного не говорил, он сиял. Между тем тогда мы полагали, что война может в конце концов разразиться: откуда же бралась такая безмятежность? Ах, впереди у нас было время: за надвигающейся войной Робер провидел уничтожение фашизма; жертвы, которые это

повлечет, он уже оставлял позади. Теперь же он сознает свой возраст: ему требуется достоверная реальность, причем в недалеком будущем. В последующие дни Робер по-прежнему выглядел мрачным. Ему следовало бы радоваться, когда Шар-лье заявил о своем вступлении в СРЛ, а я никогда не видела его более растерянным, чем после встречи с ним; впрочем, я его понимала. Причиной тому был не физический вид Шарлье: волосы у него не отросли, кожа оставалась красной и шероховатой, но все-таки с марта он набрал десять килограммов и ему вставили зубы, и не те истории, которые он рассказывал, — теперь мы почти все уже знали об ужасах концлагерей; причина, скорее, крылась в невыносимом тоне его рассказов. Шарлье, в прошлом такой мягкий, но такой упрямый идеалист, вспоминал удары, пощечины, пытки, голод, рези в желудке, отупение, унижение со смехом, который даже не был циничным, он был инфантильным или старческим, ангельским или дурацким — мы не могли определить. И еще Шарлье смеялся при мысли, что социалисты ждут, когда он вольется в их ряды; между тем по отношению к коммунистам он сохранял прежнее отвращение; его привлекло СРЛ; он обещал Роберу привести с собой формиро-

вавшуюся вокруг него довольно многочисленную группу. Когда он ушел от нас, Робер сказал:

— Недавно ты удивлялась моим сомнениям. Понимаешь теперь, как ужасно сегодня приобщаться к действию, ведь мы слишком хорошо знаем, какой ценой приходится расплачиваться за ошибки.

Я знала, что всех людей своего возраста и себя самого он считает ответственными за войну; между тем он был одним из тех, кто с предельной трезвостью и настойчивостью боролся против нее; однако он потерпел неудачу и потому считал себя виновным. Но больше всего меня удивляло то, что встреча с Шарлье пробудила у него угрызения совести: обычно он реагировал на общие положения, а не на отдельные случаи.

— Пусть так, — сказала я, — но даже если СРЛ — ошибка, больших потрясений не последует.

— С мелкими бедствиями тоже нельзя не считаться, — возразил Робер и в нерешительности добавил: — Надо быть моложе, чем я есть, чтобы верить в то, что будущее спасет все. Я ощущаю свою ответственность в более ограниченных временных пределах, нежели раньше, однако считаю ее и более тяжкой, окончательной.

— Как это?

— Ну, я думаю отчасти так же, как ты: что нельзя сбрасывать со счетов смерть или несчастье отдельной личности. О! Я иду против течения, — добавил он. — Молодежь более сурова, чем были мы в свое время, она попросту цинична, а я становлюсь сентиментальным.

— А нельзя ли сказать, что вы скорее становитесь более конкретным, чем раньше?

— Я в этом не уверен: в чем заключается конкретность? — спросил Робер.

Да, разумеется, он стал более уязвим, чем прежде. К счастью, митинг приносил свои плоды, ежедневно регистрировались новые сторонники. И в конечном счете коммунисты не стали объявлять войну СРЛ, они говорили о движении со сдержанной недоброжелательностью, но не более того. Можно было надеяться, что оно приобретет значительный размах. Единственным черным пятном было то, что «Эспуар» потерялатаки многих своих читателей и потому возникала необходимость прибегнуть в скором времени к помощи Трарье и его капиталов.

— Вы уверены, что он раскошелится? — спрашивала я, с неодобрением разглядывая себя в зеркале.

— Абсолютно уверен, — заявил Робер.

— Тогда зачем вы идете на этот ужин? Зачем тащите туда меня?

— Не мешает все-таки поддержать Трарье в его благих намерениях, — сказал Робер, с неудовольствием завязывая галстук. — Приходится потворствовать причудам человека, которого собираешься обчистить на восемь миллионов.

— Восемь миллионов!

— Да! — молвил Робер. — Вот до чего они дошли. А все из-за Люка. Каков упрямец! И все равно они будут вынуждены взять деньги у Трарье. Самазелль, который провел свое небольшое расследование, говорит, что им дальше не выдержать.

— В таком случае я покоряюсь, — сказала я. — «Эспуар» стоит ужина в городе!

Мы были сама любезность, когда вошли в просторную гостиную-библиотеку, где уже находился Самазелль с супругой; он нарядился в светло-серый фланелевый костюм, который подчеркивал его дородность. Трарье тоже был сама любезность, официальной супруги не наблюдалось, зато присутствовала долговязая девица с блеклыми волосами, напомнившая мне моих набожных подруг в коллеже. В столовой, где пол был выложен черной и белой плиткой, нам

подали вполне умеренный ужин; за кофе Трарье предложил ликеры, но не сигары; Самазелль наверняка обрадовался бы сигаре, однако без всякой задней мысли ликовал, наслаждаясь выдержанным коньяком. Я давно уже не бывала у настоящих буржуа, и это испытание, пожалуй, утешило меня; порой я говорю себе, что во всех интеллектуалах, которых я знаю, есть нечто подозрительное; но когда я встречаю буржуа, то прихожу к выводу, что они не уступают нам ни в чем. Надин и жизнь, которую я позволяю ей вести, выходят, разумеется, за рамки привычного; однако поблекшая дева, с угнетенным видом разливавшая кофе, казалась мне намного чудовищней; я не сомневалась, что, если бы я уложила ее на свой диван, она порассказала бы мне невероятные вещи. А сам Трарье! Несмотря на его наигранную банальность, мне он представлялся в высшей степени подозрительным. Его едва сдерживаемое тщеславие никак не вязалось с чересчур восторженным восхищением, которое он афишировал по отношению к Самазеллю. Они довольно долго обменивались воспоминаниями о Сопротивлении, затем выразили свое удовлетворение по поводу митинга, и Самазелль заявил:

— Прекрасным предзнаменованием является тот факт, что мы начали завоевывать провинцию. Через год у нас будет двести тысяч сторонников, в противном случае мы проиграем.

— Мы не проиграем! — возразил Трарье. Он повернулся к Роберу, до тех пор молчавшему больше, чем следовало бы: — Несомненная удача нашего движения в том, что оно было создано как раз в нужный момент. Пролетариат начинает понимать, что компартия предает истинные его интересы. А многие проницательные буржуа осознают так же, как и я, что должны согласиться ныне с ликвидацией своего класса.

— Несмотря на то, что через год у нас не будет двухсот тысяч сторонников, мы, однако, не проиграем, — с неохотой произнес Робер, — у нас нет ни малейшего интереса обманывать себя.

— Мой опыт научил меня тому, что, довольствуясь малым, нельзя добиться многого, — заметил Трарье. — Не в наших интересах и ограничивать свои чаяния!

— Главное, — сказал Робер, — что мы не ограничивали своих усилий.

— Ах! Позвольте вам заметить, что мы использовали далеко не все возможности, — авторитетно заявил Трарье. — Прискорбно, что печатный ор-

ган СРЛ не справляется со своей задачей; тираж «Эспуар» смехотворно низок.

— Он понизился из-за присоединения газеты к СРЛ, — заметила я. Трарье взглянул на меня с недовольным видом, и я подумала, что, если бы у него была жена, ей не часто следовало бы вмешиваться в разговор, когда ее не спрашивали.

— Нет, — почти грубо возразил он, — это из-за отсутствия динамизма.

— Факт остается фактом, — твердо произнес Робер, — раньше у «Эспуар» был широкий круг читателей.

— Редакция воспользовалась всеобщим воодушевлением, последовавшим за Освобождением, — осторожно вставил свое слово Самазелль.

— Надо смотреть на вещи прямо, — сказал Трарье, — мы все с достаточной долей восхищения относимся к Перрону, чтобы иметь право выражаться на его счет с полной откровенностью; это чудесный писатель, но он не политик и не деловой человек; а присутствие рядом с ним Люка и вовсе не способствует делу.

Я прекрасно знала, что Робер почти готов был разделить такое мнение, однако он покачал головой:

— Присоединившись к СРЛ, Перрон оттолкнул

от себя правых и коммунистов, а его финансовые возможности весьма ограничены, чтобы он мог плыть против течения.

— Я абсолютно убежден, — сказал Трарье, отчеканивая каждый слог, — что, если бы «Эспуар» возглавил такой человек, как Самазелль, тираж удвоился бы за несколько недель.

Скользнув взглядом по лицу Самазелля, Робер коротко заметил:

— Но его там нет!

Помолчав, Трарье заговорил вновь:

— А если я предложу Перрону выкупить «Эспуар» в пользу Самазелля? Дав хорошую цену?

Робер пожал плечами:

— Попытайтесь.

— Вы думаете, он не согласится?

— Поставьте себя на его место.

— Хорошо. А если я попрошу продать лишь долю Люка? Или же в крайнем случае третью часть их общей доли?

— Поймите, это их газета, — сказал Робер, — они ее создали и хотят быть у себя хозяевами.

— Это достойно сожаления, — заметил Трарье.

— Возможно, но тут уж никто ничего не в силах поделать. Трарье прошелся по гостиной.

— Я не из тех, кто легко смиряется, — с усмеш-

кой сказал он. — Когда меня уверяют, что какая-то вещь невозможна, у меня сразу же появляется желание доказать обратное. Добавлю, что интересы СРЛ кажутся мне значительнее, чем личные чувства, пускай даже самые достойные, — с важным видом добавил он.

Самазелль забеспокоился:

— Если вы имеете в виду ваш позавчерашний план, то я вам уже говорил, что не могу согласиться с вами.

— А я вам ответил, что уважаю вашу щепетильность, — с улыбкой ответил Трарье и не без вызова взглянул на Робера: — Я выкуплю все долги «Эспуар» и поставлю Перрона перед выбором: или он берет в помощники Самазелля, или я доведу его до банкротства.

— Перрон выберет скорее банкротство, чем уступит шантажу, — с презрением ответил Робер.

— Ладно, он обанкротится, а я запущу другую газету, руководить которой будет Самазелль.

— Нет! — простонал Самазелль.

— Вы прекрасно понимаете, что СРЛ не будет иметь никаких дел с этой газетой; такой образ действий повлечет за собой ваше немедленное исключение.

Трарье внимательно посмотрел на Робера, словно проверяя на прочность силу его сопротивления, и, должно быть, быстро все усвоил, ибо сразу поспешил отступить.

— Я никогда и не думал приводить этот план в исполнение, — весело заявил он. — Я собирался использовать его для устрашения Перрона. А между тем успех газеты должен бы интересовать вас, — добавил он с упреком, — удвойте тираж, и вы удвоите свои силы!

— Знаю, — сказал Робер, — но повторяю вам, что, на мой взгляд, единственной ошибкой Перрона и Люка является упорное стремление работать с чересчур ограниченными финансовыми средствами. В тот день, когда они получат капиталы, которые вы щедро предоставите в их распоряжение, вы увидите разницу.

— Безусловно, — с улыбкой ответил Трарье, — потому что вместе с капиталами они будут обязаны принять и Самазелля.

Выражение лица Робера стало жестким.

— Прошу прощения! В апреле вы мне говорили, что готовы поддержать «Эспуар» без всяких условий.

Краешком глаза я наблюдала за Самазеллем: казалось, он ничуть не смутился; его жена выгля-

дела страдалицей, но у нее всегда был такой вид.

— Я этого не говорил, — возразил Трарье, — я сказал, что политическое руководство газетой, разумеется, будет принадлежать уполномоченным СРЛ и что я не буду в это вмешиваться. Ни о чем другом речи не шло.

— Потому что ни о чем другом вопрос и не вставал, — с негодованием сказал Робер. — Я пообещал Перрону полнейшую независимость, и, только поверив в это обещание, он пошел на огромный риск — отдать «Эспуар» во власть СРЛ.

— Согласитесь, что я не обязан считать себя в ответе за ваши обещания, — любезным тоном заметил Трарье. — Впрочем, я не вижу причин, по которым Перрон отказался бы от такой комбинации, ведь Самазелль — его друг.

— Вопрос не в этом; если он вообразит, будто мы что-то затеваем у него за спиной, дабы навязать свою волю, он заупрямится, и я его понимаю, — с жаром сказал Робер.

Он выглядел очень огорченным, и я была огорчена не меньше, особенно потому, что знала истинные чувства Анри по отношению к Самазеллю.

— Я тоже, тоже упрям, — заметил Трарье.

— Положение Самазелля будет весьма щекот-

ливым, если он окажется в «Эспуар» против воли Перрона, — молвил Робер.

— Я совершенно согласен! — заявил Самазелль. — И, безусловно, считаю, что при других обстоятельствах мне вполне было бы по силам дать новый импульс газете, которая близка к краху. Но никогда я не соглашусь быть навязанным Перрону против его воли.

— Вы извините меня, если я рассматриваю это дело в какой-то мере как свое личное, — с насмешкой заметил Трарье. — Я не собираюсь получать финансовую прибыль, однако решительно отказываюсь тратить миллионы впустую: я требую результатов; если Перрон откажется от вашего сотрудничества или вы ему в нем откажете, — обратился он к Самазеллю, — я все готов бросить. Никогда я не стану ввязываться в дело, если считаю его обреченным на провал. Такая точка зрения кажется мне здравой; и в любом случае ничто не заставит меня изменить ее, — сухо закончил он.

— Мне думается, бесполезно продолжать спор, пока вы не поговорили с Перроном, — сказал Самазелль. — Я убежден, что он пойдет на уступки. В конце концов, мы все заинтересованы в одном: в успехе движения.

— Да, Перрон наверняка поймет своевременность определенных уступок, в особенности если вы постараетесь заставить его понять это, — обратился Трарье к Роберу.

— На меня не рассчитывайте, — пожав плечами, ответил Робер.

Беседа тянулась еще какое-то время; когда через полчаса, спустившись с лестницы, мы оказались внизу, я сказала:

— Эта история дурно пахнет! Что в точности говорил вам Трарье в апреле?

— Мы обсуждали лишь политический аспект дела, — ответил Робер.

— А вы пообещали Анри другое? Вы зашли слишком далеко?

— Возможно, — сказал Робер. — Если бы я хоть чуточку усомнился, то не уговаривал бы его; так или иначе порой мы вынуждены заходить слишком далеко, без этого никогда ничего не удалось бы сделать!

— Почему сейчас вы не поставили Трарье перед выбором? — спросила я. — Либо он держит свои обещания без всяких условий, либо это разрыв и вы выгоняете его из СРЛ.

— И что дальше? — сказал Робер. — Представь себе, что он выбирает разрыв. В тот день, когда

Анри понадобятся деньги, что с ним станется? — Мы молча продолжали шагать, и вдруг Робер сказал: — Если из-за меня Анри потеряет газету, я себе этого не прощу.

Мне вспомнилась улыбка Анри в ночь победы; я спросила его: «У вас не было желания ввязываться в это?» — «Безумного желания — нет, не было». Ему нелегко было подчинить «Эспуар» СРЛ; он любил газету, любил свою свободу и не любил Самазелля. Это отвратительно — то, что с ним случилось. Но у Робера был такой мрачный вид, что я оставила при себе свои замечания и только сказала:

— Не понимаю, почему вы поверили Трарье, он мне совсем не нравится.

— Я был неправ! — коротко ответил Робер. И задумался: — Я попрошу денег у Мована.

— Мован не даст вам денег, — сказала я.

— Я попрошу у других. Они существуют — люди, у которых есть деньги. Найдется же среди них хоть один, кто согласится.

— Мне кажется, чтобы согласиться на это, надо быть одновременно и миллиардером, и членом СРЛ, — заметила я. — А это, пожалуй, уникальное сочетание.

— Я поищу, — настаивал Робер. — И в то же

время попробую воздействовать на Трарье через Самазелля. Самазелль не может пойти на то, чтобы его навязали.

— Похоже, его это не так уж смущает, — сказала я, пожав плечами. — Но все-таки попробуйте.

Робер встретился с Мованом на следующий день: Мован заинтересовался, но, разумеется, ничего не обещал. Робер встречался и с другими людьми, которых вовсе не удалось заинтересовать. Я очень беспокоилась, эта история не выходила у меня из ума; с Робером я ни о чем не говорила, потому что стараюсь, по мере возможности, не превращаться в одну из тех женщин, что приумножают заботы мужчины, разделяя их, но думала о случившемся постоянно. «Роберу не следовало так поступать, — говорила я себе. И добавила: — Раньше он так не поступил бы». Странная мысль: что она означала в действительности? Он говорил, что ощущает свою ответственность в более ограниченных временных пределах и считает ее более тяжкой, нежели раньше, ибо не может уже использовать будущее в качестве оправдания, вот почему он слишком торопился добиться результата и оттого был менее щепетильным. Подобная мысль мне не нравилась. Когда живешь в такой близости с

человеком, как я с Робером, судить его — значит предавать.

Через несколько дней вернулись Надин с Ламбером; для меня их возвращение стало счастливым предлогом, чтобы отвлечься; они загорели, выглядели веселыми и смущенными, словно молодожены.

— Надин будет первоклассным репортером, — говорил Ламбер. — Проникнуть всюду и разговорить кого угодно — тут ей нет равных.

— Иногда это ремесло бывает забавным, — с важным видом соглашалась Надин.

Но главная ее гордость заключалась в том, что во время путешествия в тридцати километрах от Парижа она обнаружила загородный дом, о котором я тщетно мечтала вот уже несколько недель. Мне сразу же приглянулись неухоженные лужайки, желтый фасад с голубыми ставнями, маленький павильончик, дикие розы. Роберу тоже понравилось, и мы подписали арендный договор. Внутри все обветшало, дорожки заросли крапивой; но Надин заявила, что берется всюду навести порядок; внезапно она утратила интерес к секретарской должности, уступив ее еще на какое-то время своей заместительнице, и поселилась с Ламбером в павильоне: они занимались

редактированием своей книги, садоводством и стенной росписью. Загорелый, с руками, натруженными за рулем мотоцикла, и волосами, которые Надин постоянно взъерошивала, Ламбер немного меньше, чем раньше, походил на денди и все-таки вовсе не похож был на работника физического труда; однако я вынуждена была оказать им доверие.

Время от времени Надин наведывалась в Париж, но лишь накануне нашего отъезда в Овернь разрешила нам приехать в Сен-Мартен. По телефону она торжественно пригласила нас на ужин:

— Скажи папе, что будет майонез, это фирменное блюдо Ламбера. Но Робер отклонил приглашение.

— Когда Ламбер встречается со мной, он считает своим долгом непременно нападать на меня; я вынужден отвечать ему, это докучает всем и в первую очередь мне, — с сожалением сказал Робер.

И верно, в его присутствии Ламбер всегда бывал агрессивен; редко встречались люди, которые не считали своим долгом придумать себе какую-то манеру поведения в присутствии Робера. «В сущности, он так одинок!» — подумала я. Разговаривали обычно не с ним, а с неким далеким,

лишенным жизни, напыщенным персонажем, у которого, кроме имени, не было с Робером ничего общего. Прежде он так любил анонимную солидарность с толпой, а теперь не мог помешать тому, что его имя становилось преградой между ним и другими: ему все об этом безжалостно напоминали; зато человек во плоти, каковым в действительности был Робер, с его радостями, его нежностью и гневом, его бессонницей — никого не интересовал. Уже собравшись идти на автобус, я все-таки продолжала настаивать, чтобы он поехал со мной.

— Уверяю тебя, вечер будет не из приятных, — сказал в ответ Робер. — Заметь, что я не питаю антипатии к Ламберу.

— С Надин он явно добился успеха, — заметила я. — Впервые она соглашается работать вместе с кем-то.

Робер улыбнулся:

— Она так ненавидела литературу, а как возгордилась, увидев свое имя напечатанным!

— Тем лучше, — сказала я. — Это вдохновит ее на продолжение. Такая работа ей полностью подходит.

Робер положил руку мне на плечо:

— Теперь ты немного успокоилась насчет судь-

бы дочери?

— Да.

— Так чего же ты ждешь, чтобы написать Ромье? — с жаром сказал Робер. — У тебя больше нет никаких причин для колебаний.

— До января много чего может случиться, — поспешно ответила я. Ромье во что бы то ни стало требовал ответа, но меня страшило окончательное решение.

— Послушай, ты же видишь, что Надин отлично справляется без тебя, — сказал Робер. — Впрочем, ты мне часто говорила, что для нее самое лучшее — это научиться обходиться без нас.

— Верно, — без восторга согласилась я. Робер в замешательстве посмотрел на меня.

— В конце концов, ты хочешь совершить это путешествие или нет?

— Конечно! — ответила я. И тотчас меня охватила паника: — Но я не хочу уезжать из Парижа. Я не хочу покидать вас.

— До чего же ты глупа, ну просто глупа, — с нежностью сказал он. — Покидая меня, ты обретаешь меня потом точно таким же. Ты даже призналась мне как-то, что не скучала без меня, — со смехом добавил он.

— То было раньше, — возразила я. — Но теперь,

со всеми свалившимися на вас заботами, меня это тревожит.

Робер с серьезным видом взглянул на меня:

— Ты слишком часто волнуешься; вчера — по поводу Надин, сегодня — из-за меня. Это становится манией, а?

— Возможно, — ответила я.

— Наверняка! У тебя тоже наблюдается небольшой невроз мирного времени. Раньше ты никогда такой не была!

Улыбка Робера была нежной; однако мысль, что мое отсутствие может омрачить его существование, казалась ему измышлением больного разума; он прекрасно обойдется без меня в течение трех месяцев, самое малое трех месяцев. Одиночество, на которое обрекали его имя, возраст, поведение людей, я могла только разделить, но не устранить: оно отяготит его ни больше ни меньше, даже если я не разделю его.

— Брось все свои сомнения! — сказал Робер. — Поторопись написать это письмо, или путешествие уплывет у тебя из-под носа.

— Я напишу его после возвращения из Сен-Мартена, если там действительно все хорошо, — сказала я.

— Даже если не все хорошо, — властным тоном

заявил Робер.

— Посмотрим. — Я заколебалась. — Как у вас дела с Мованом?

— Я говорил тебе: он уезжает в отпуск, окончательный свой ответ даст мне в октябре. Но практически он пообещал мне деньги. — Робер улыбнулся: — Ему, конечно, тоже хотелось бы обезопасить себя от ударов слева.

— Он в самом деле обещал?

— Да. А если Мован обещает, он держит слово.

— Это снимает камень с моей души! — призналась я.

Мован не был флюгером; я действительно почувствовала себя успокоенной. И спросила:

— Вы пока не собираетесь поговорить об этом с Анри?

— К чему? Что он может поделать? Это я впутал его в опасную историю, мне и вытаскивать его. — Робер пожал плечами: — К тому же он может здорово рассердиться и все послать к черту. Нет, я поговорю с ним, когда получу деньги.

— Хорошо, — сказала я, вставая. Робер тоже встал и улыбнулся мне:

— Не тревожься больше и проведи приятный вечер.

— Постараюсь.

Робер наверняка прав; эта тревога появилась у меня после Освобождения и не находила выхода; подобно многим другим, мне трудно было вновь приспособиться к жизни. Вечер в Сен-Мартене не принесет ничего нового. Не из-за Надин и не из-за Робера я все не решалась ответить Ромье; моя тревога касалась только меня. В продолжение всего пути на автобусе я задавалась вопросом, соглашусь я, несмотря ни на что, или нет. Я толкнула калитку сада. Стол был накрыт под липой, из дома доносились громкие голоса; я пошла прямо на кухню. Надин стояла рядом с Ламбером, который, повязав вокруг шеи полотенце, яростно взбивал жидкий соус.

— Ты явилась в разгар драмы! — весело сказала Надин. — Майонез не удался!

— Добрый день, — с хмурым видом произнес Ламбер. — Да, не удался, хотя всегда мне удавался!

— Говорю тебе, это можно поправить, продолжай, — говорила Надин.

— Да нет же, он пропал!

— Ты слишком сильно взбиваешь.

— Говорю тебе, он пропал, — сердито повторил Ламбер.

— Сейчас я вам покажу, как поправляют май-

онез, — сказала я. Вылив в помои испорченный соус, я протянула Ламберу два новых яйца. — Выпутывайтесь.

Надин улыбнулась.

— Иногда тебя осеняют хорошие идеи, — бесстрастным тоном заявила она и, взяв меня за руку, спросила: — Как чувствует себя папа?

— О! Он очень нуждается в отпуске!

— Когда вы вернетесь из путешествия по Франции, дом будет окончательно готов, — сказала Надин. — Поди посмотри, как мы хорошо поработали!

От заставленной лесенками и ведрами с краской будущей гостиной веяло тоской строек; но стены моей комнаты были покрыты пепельно-розовой краской, а у Робера — бледной охрой; работа была вполне приличная.

— Как чудесно! Кто это делал: он или ты?

— Оба; я даю указания, он выполняет. Он старается вовсю и очень послушен, — сказала она с радостным видом.

— Тебя это полностью устраивает, — рассмеялась я.

Чтобы обрести уверенность, Надин необходимо было командовать: добиваясь повиновения, она переставала задаваться вопросами. Я давно уже

не видела ее такой сияющей. Ее забавляла роль хозяйки дома. Между салатницами и тарелками с холодным мясом Ламбер поставил большую чашу густого маслянистого майонеза, и мы на глазах Надин выпили бутылку белого вина. Они с воодушевлением рассказывали мне о своих планах: сначала Бельгия, Голландия, Дания — все оккупированные страны; затем остальная Европа.

— Подумать только, ведь я решил было отказаться от репортажа, — сказал Ламбер. — Без Надин я бы наверняка и бросил. Впрочем, она гораздо одареннее меня и скоро не захочет, чтобы я сопровождал ее.

— Вот почему ты не желаешь позволить мне вести твой гнусный мотоцикл, — пожаловалась она. — А ведь это совсем нетрудно!

— Нетрудно сломать себе шею, сумасшедшая.

Он улыбнулся ей, что называется, глубиной души; в его глазах она была наделена очарованием, абсолютно недоступным моему пониманию. Я всегда знала ее лишь с одной стороны — как свою дочь. На мой взгляд, у нее было всего два измерения, она казалась мне заурядной. Ламбер открыл вторую бутылку белого вина; он совсем не умел пить; глаза его уже блестели, щеки рас-

краснелись, на лбу выступили капли пота.

— Не пей слишком много, — сказала Надин.

— Ах! Не изображай из себя мать семейства. Знаешь, что бывает, когда ты изображаешь мать семейства?

Лицо Надин посуровело.

— Не говори глупостей. Ламбер сбросил пиджак:

— Мне слишком жарко.

— Ты простудишься.

— Я никогда не простужаюсь. — Он повернулся ко мне: — Надин не желает верить: я не силач, но очень крепкий. Я не сомневаюсь, что в некоторых случаях сумею справиться с трудностями намного лучше, чем какой-нибудь тренер из Жуэнвилля{79}.

— Посмотрим, когда пересечем Сахару на мотоцикле! — весело сказала Надин.

— Мы ее пересечем! — заявил Ламбер. — Мотоцикл всюду пройдет! — Он взглянул на меня: — Вы думаете, это невозможно выполнить?

— Понятия не имею, — ответила я.

— Во всяком случае, мы попробуем, — решительно произнес он. — Надо попытаться кое-что сделать! Если ты интеллектуал, это вовсе не резон, чтобы вечно сидеть дома.

— Решено, — со смехом сказала Надин, — мы пересечем Сахару и тибетские плато и отправимся исследовать джунгли Амазонки. — Она перехватила руку Ламбера, протянутую к бутылке: — Ты и так уже много выпил.

— Вовсе нет. — Он встал и сделал два шага: — Разве я шатаюсь? Нет, я чудо равновесия.

— Попробуй пожонглировать, — предложила Надин.

— Жонглировать — это тоже по моей части, — сказал Ламбер. Схватив три апельсина, он подбросил их в воздух, один уронил и во весь рост растянулся на траве. Надин рассмеялась своим громким грубым смехом.

— Вот дурак! — с нежностью произнесла она и концом фартука вытерла мокрый от пота лоб Ламбера, который со счастливым видом предоставил ей это делать. — У него и правда светские таланты, — сказала Надин, — он поет такие забавные песни! Хочешь послушать одну из них?

— Я спою вам «Поросячье сердце», — со всей решимостью заявил Ламбер.

Пока он пел, Надин смеялась до слез, а я усматривала в веселости Ламбера трогательную неуклюжесть; казалось, с помощью неловких вывертов он пытается вырваться из своей шкуры,

но она крепко прилепилась к его телу. Его ужимки, шутовской голос, струившийся по щекам пот, беспокойный блеск глаз приводили меня в замешательство. Я была рада, когда он рухнул у ног Надин, которая с видом счастливой собственницы гладила его по голове.

— Ты хороший мальчик, — приговаривала она. — А теперь успокойся, отдохни!

Ей нравилось изображать сестру милосердия, а он с удовольствием отдавался ее ласкам. У них было много общего: их прошлое, юность, обида на слова и идеи, мечты о приключениях, неясные амбиции. Возможно, они сумеют придумать что-то, добиться взаимного доверия, успехов, счастья. Девятнадцать и двадцать пять лет: каким юным было будущее! Они не просто выжившие. «А я? — подумалось мне. — Неужели я действительно заживо погребена в прошлом? Нет, — с горячностью ответила я, — нет!» Надин, Робер могли обойтись без меня; они были всего лишь предлогом, а я — жертвой собственной трусости, и внезапно я ее устыдилась. Самолет, который меня уносит, огромный город и в течение трех месяцев никаких иных установок, кроме как просвещаться и развлекаться: столько свободы, столько новизны, ведь я этого желала!

Безусловно, то была безумная опрометчивость — затеряться в мире живых, мне, свившей себе гнездо под миртами:{80} тем хуже! Я перестала противиться той радости, что поднималась во мне. Да, сегодня же вечером я отвечу: да. В конце концов, выжить — это означает непрестанно вновь начинать жить. Я надеялась, что еще способна на это.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Анри повернулся на своем ложе; ветер проникал сквозь стены, сложенные из галечника, одеяла и свитера не спасали; ему не спалось из-за страшного холода, только разгоряченная голова пылала и в ушах звенело, как во время лихорадки: может, она и впрямь его посетила — сладостная лихорадка, вызванная солнцем, усталостью и красным вином; где же он все-таки очутился? Вернее всего там, где никому не положено быть, и это очень успокаивало. Никаких сожалений, никаких вопросов, даже бессонница казалась не менее безмятежной, чем сон без сновидений. Он отрешился от многих вещей, он больше не писал и не каждый день наслаждался жизнью, но зато получил взамен спокойную совесть, и это было замечательно. Далеко от земли и ее проблем, далеко от холода, ветра и своего усталого тела он купался в невинности, а невинность может пьянить не меньше, чем сладострастие. На мгновение он приподнял веки и, увидев темный стол, свечу и пишущего человека, с удовлетворением подумал: «Так, значит, я в Средневековье!» — и ночь сомкнулась над этим радостным озаре-

нием.

— Мне не приснилось? Я действительно видел минувшей ночью, как вы писали?

— Я немного поработал, — ответил Дюбрей.

— А я принял вас за доктора Фауста.

Завернувшись в одеяла, которые трепал ветер, они сидели на пороге своего пристанища; пока они спали, солнце встало, и небо сияло безупречной голубизной, зато у их ног стелилась пелена облаков; временами ветер разрывал ее, и тогда можно было увидеть кусок долины.

— Он работает ежедневно, — сказала Анна. — Окружающая обстановка его не волнует: пускай это будет хлев, дождь или городская площадь, но ему необходимо писать положенные четыре часа; затем он может делать все что угодно.

— А что нам угодно сейчас? — спросил Дюбрей.

— Я думаю, нам не мешало бы спуститься; панораму можно найти и получше. Через вересковые заросли они добрались до темной деревни, где сидевшие

на пороге домов старухи с ощетинившимися шпильками подушками на коленях уже орудовали своими коклюшками; они выпили мутное пойло в бистро-бакалее, где оставили свои велосипеды, потом оседлали их; то были старые,

потрепанные войной, неказистые на вид машины с облупившейся краской, помятыми крыльями и странными вздутиями на шинах; велосипед Анри тащился с таким трудом, что он с тревогой спрашивал себя, удастся ли тому продержаться до вечера, и тут с облегчением увидел, что чета Дюбрей остановилась на берегу какого-то ручья, оказавшегося Луарой; вода была чересчур холодной для купания, но он окропил себя ею с головы до ног и, когда снова сел в седло, заметил, что вопреки всему колеса вертятся: оказалось, тело его заржавело больше и требовалась немалая работа, чтобы привести его в исправность; однако, преодолев первую усталость, Анри почувствовал себя совсем счастливым, вновь обретя такой хороший инструмент; он уже забыл, сколь деятельным может быть тело; цепной привод и колеса умножали его усилия, но во всей этой механике единственным двигателем были его мускулы, его дыхание, и машина оставляла за собой приличную порцию километров, отважно преодолевала перевалы.

— Дело вроде идет на лад, — сказала Анна. С развевающимися по ветру волосами, загорелая, с обнаженными руками, она выглядела намного моложе, чем в Париже; Дюбрей тоже покрылся

загаром, похудел; в своих шортах, с мускулистыми ногами, с глубоко врезавшимися в его потемневшее лицо морщинами, он походил на последователя Ганди[81].

— Сегодня лучше, чем вчера! — заметил Анри. Притормозив, Дюбрей поравнялся с Анри.

— Похоже, вчера дела шли неважно, — весело заговорил он. — Вы ничего нам не рассказали. Что там происходило в Париже после нашего отъезда?

— Ничего особенного, было жарко, — отвечал Анри. — Боже! Какая стояла жара!

— А газета? Вы так и не встретились с Трарье?

В голосе Дюбрея звучало жадное любопытство, которое смахивало на беспокойство.

— Нет. Люк вбил себе в голову, что если мы продержимся два-три месяца, то сами выйдем из положения.

— Стоит попытаться это сделать; только не следует залезать в еще большие долги.

— Знаю, мы уже не занимаем. Люк рассчитывает налечь на рекламу.

— Признаюсь, я не думал, что тираж «Эспуар» упадет до такой степени, — сказал Дюбрей.

— О! Видите ли, — с улыбкой ответил Анри, — если придется все-таки воспользоваться капи-

талами Трарье, я не заболею с досады. Не такая уж дорогая цена за успех СРЛ.

— Суть в том, что своим успехом, пускай умеренным, движение обязано только вам, — сказал Дюбрей.

В голосе его ощущалась еще большая сдержанность, чем в словах; его не удовлетворяло СРЛ: он был слишком честолюбив; нельзя в одночасье создать на ровном месте движение, не уступающее по значимости прежней Социалистической партии. Анри же, напротив, был радостно удивлен успехом митинга; конечно, митинг мало что доказывает, однако он не скоро позабудет пять тысяч лиц, обращенных к нему. Анри улыбнулся Анне:

— У велосипеда свой шарм. В каком-то смысле это даже лучше, чем автомобиль.

Ехали они уже не так быстро, но запах травы, вереска, пихты, сладостная прохлада ветра пронимали до костей, да и пейзаж был не просто декорацией: они отвоевывали его постепенно, силой; в усталости подъемов, в захватывающей радости спусков они послушно следовали каждой складке местности, проживая этот пейзаж, вместо того чтобы любоваться им, словно спектаклем. И главным открытием, которое с удовлетворением

сделал для себя в тот первый день Анри, было то, что подобная жизнь заполняла собой все до краев: какой покой в мыслях! Горы, луга и леса брали на себя труд существовать вместо него. «Это такая редкость, — говорил он себе, — покой, не смешанный со сном!»

— Вы удачно выбрали этот уголок, — сказал он вечером Анне, — красивый край.

— Завтра тоже будет хорошо; хотите посмотреть на карте завтрашний маршрут?

Отужинав в ресторанчике, они пили крепкий белый напиток со смертоносным привкусом; Дюбрей уже разложил свое снаряжение на краешке покрытого клеенкой стола.

— Покажите, — попросил Анри. Он послушно следил глазами за концом карандаша, следовавшего вдоль красных, желтых и белых линий. — Как вам удается разбираться в таких маленьких дорожках?

— Это самое забавное.

Самое забавное, подумал на следующий день Анри, — видеть, как будущее в точности накладывается на ваши планы: каждый спуск, каждая деревушка оказывались на предусмотренном месте — какая надежность! Появлялось ощущение, будто сам воспроизводишь свою историю, а меж-

ду тем превращение напечатанных обозначений в настоящие дороги, настоящие дома давало вам то, чего не дает ни одно творение: реальность. Вот этот каскад, он был указан на карте маленьким синим значком, однако нельзя было не прийти в изумление, встретив в глубине причудливого ущелья огромный пенистый водопад.

— Какое удовольствие созерцать это, — молвил Анри.

— Да, вот только конца этому нет, — с сожалением сказал Дюбрей. — Вроде бы получаешь все и в то же время ничего, просто любуешься.

Его привлекало не все, но если уж что-то завораживало, то до бесконечности; Анри с Анной пришлось спускаться вслед за ним со скалы на скалу, к подножию текучего утеса; босиком Дюбрей входил в кипящий водоем, пока вода не коснулась его шорт; вернувшись, он сел на краю каменной плиты и заявил непререкаемым тоном:

— Это самый красивый каскад, какой мы когда-либо видели.

— Вы всегда предпочитаете то, что у вас перед глазами{82}, — со смехом сказала Анна.

— И вот что поражает, — продолжал Дюбрей, — он весь черно-белый; я искал другие краски:

никакого намека; впервые я собственными глазами видел, что черное и белое — это совершенно одно и то же. Вам надо войти в воду и добраться вон до того большого камня, — обратился он к Анри, — и вы отчетливо различите черноту белого и белизну черного, это видно.

— Я верю вам на слово, — сказал Анри.

В устах Дюбрея прогулка по набережным становилась столь же рискованной, как экспедиция на Северный полюс. Анри с Анной часто смеялись над этим: он не делал разницы между восприятием и открытием;{83} ничьи глаза до него не созерцали каскада, никто не знал, что такое вода, что такое черное и белое; предоставленный самому себе, Анри наверняка не заметил бы всех тонкостей этой игры испарений и пены, этих превращений, рассеиваний, небольших водоворотов, которые Дюбрей внимательно изучал, словно хотел постичь судьбу каждой капли воды. «Можно сердиться на него, — думал Анри, с нежностью глядя на Дюбрея, — но нельзя без него обойтись». Рядом с ним все обретало значимость, жизнь казалась огромной привилегией, и они жили с удвоенной силой. Прогулку по французской сельской местности он преображал в научную экспедицию.

— Вы очень удивили бы своих читателей, — с улыбкой обратился Анри к Дюбрею, сосредоточенно следившему за последними всполохами закатного солнца.

— Это почему же? — спросил Дюбрей с негодованием, которое охватывало его всякий раз, когда с ним заводили разговор о нем самом.

— На основании ваших книг складывается впечатление, будто вас интересуют только люди, а природа почти не в счет.

— Но люди живут на природе, разве не так?

Для Дюбрея пейзаж, камень, краски — все это некая человеческая истина; никогда действительность не затрагивала его посредством воспоминаний, мечтаний или удовольствий и даже эмоций, которые они пробуждали в нем, для него важен был лишь смысл, который он угадывал во всем этом. Разумеется, он гораздо охотнее останавливался перед крестьянами, косившими отаву, нежели перед пустым лугом; а когда он попадал в деревню, любопытство его становилось ненасытным; ему хотелось знать все: что едят сельские жители, как они голосуют, подробности их работы, характер их мыслей; чтобы проникнуть на ферму, все предлоги казались ему хороши: купить яиц, попросить стакан воды;

и как только представлялась возможность, он заводил долгий разговор.

Вечером пятого дня посреди спуска у Анны лопнула шина; после часа пути им попался уединенный дом, где проживали три молодые беззубые женщины; каждая держала на руках более или менее подросшего младенца, очень грязного; Дюбрей расположился посреди двора, сплошь заваленного навозом, чтобы починить камеру, и, приклеивая резиновые заплатки, с жадностью оглядывался по сторонам.

— Три женщины и ни одного мужчины, ну не странно ли?

— Мужчины в поле, — сказала Анна.

— В такой час? — Дюбрей опустил в лохань толстую кишку ржавого цвета, и на поверхности воды появились воздушные пузырьки. — Еще одна дырка! Послушай, как ты думаешь, не разрешат ли они нам переночевать у них в сарае?

— Пойду спрошу.

Анна исчезла внутри дома и почти сразу же вернулась:

— Они поражены, что мы хотим спать на сене, но ничего не имеют против, только настаивают, чтобы мы непременно выпили сначала чего-нибудь горячего.

— Мне нравится идея заночевать здесь, — сказал Анри. — Уж если нам хочется быть вдали от всего, то дальше некуда.

При свете коптящей лампы они выпили ячменного кофе, пытаясь завязать беседу. Женщины были замужем за тремя братьями, вместе владевшими этой жалкой фермой; десять дней назад их мужья спустились в Нижний Ардеш, где нанялись на сбор лаванды, а сами они проводили долгие безмолвные дни за кормлением скотины и ребятишек; улыбаться они еще немного умели, но почти разучились разговаривать. Здесь росли каштаны, и ночи были прохладными; внизу росли кусты лаванды, и, чтобы заработать несколько франков, приходилось изрядно попотеть: это примерно все, что им было известно об окружающем мире. Да, отсюда так далеко до всего, так далеко, что, утопая в сене, одурманенный всеми этими запахами и накопленным сухой травой солнцем, Анри грезил о том, что нет больше ни дорог, ни городов, а стало быть, нет и возвращения.

Средь каштановых рощ извивалась дорога, спускавшаяся в долину крутыми зигзагами; они весело въехали в маленький городок, чьи платаны уже предвещали жару и южные партии игры в шары; Анна и Анри сели на безлюдной террасе

самого большого кафе и заказали бутерброды, а Дюбрей тем временем пошел за газетами; они видели, как он обменялся несколькими словами с продавцом и медленно стал пересекать площадь, читая на ходу. Он положил газеты на столик, и Анри увидел огромный заголовок: «Американцы сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму». Они молча прочитали статью, и Анна взволнованно произнесла:

— Сто тысяч мертвых! Почему?

Япония, безусловно, должна капитулировать, то был конец войны: «Пти Севеноль» и «Эко де л'Ардеш» ликовали; но они, все трое, испытывали лишь одно чувство: ужас.

— Разве нельзя было сначала пригрозить, запугать, — говорила Анна, — продемонстрировать это где-нибудь, ну я не знаю, в пустынном уголке... Неужели им действительно так уж необходимо было сбрасывать эту бомбу?

— Разумеется, сначала им следовало попытаться оказать давление на правительство, — сказал Дюбрей и пожал плечами: — На немецкий город, на белых — не думаю, что они осмелились бы! Но на желтых! Они ненавидят желтых.

— Исчез целый город, — заметил Анри, — это должно все-таки смущать их!

— Я думаю, причина тут в другом, — сказал Дюбрей. — Они рады показать всему миру, на что способны: теперь они смогут проводить нужную им политику, и никто не посмеет возразить.

— И ради этого они убили сто тысяч человек! — молвила Анна.

Оторопев, они продолжали сидеть перед своим кофе со сливками, не отрывая глаз от страшных слов, повторяя по очереди и вместе все те же бесполезные фразы.

— Боже мой! Если бы немцы успели создать эту бомбу! Мы счастливо отделались! — сказала Анна.

— Мало радости и в том, что она в руках американцев, — заметил Дюбрей.

— Они тут пишут, что можно взорвать всю землю, — сказала Анна.

— Ларге объяснил мне, — добавил Анри, — что, если по прискорбной случайности освободят атомную энергию, она не взорвет землю, а поглотит ее атмосферу: земля превратится в своего рода луну.

— Это тоже не так уж весело, — заметила Анна.

Нет, это было совсем невесело. Но когда они снова понеслись на велосипедах по залитой солнцем дороге, ужасный припев лишился всякого

смысла: город с четырьмя сотнями тысяч душ исчез, природа уничтожена — это не пробуждало больше отклика. День был в полном порядке — голубизна небес, зелень листвы, желтизна жаждущей влаги почвы, — и часы бежали один за другим от прохлады зари до полуденного стрекота; Земля вертелась вокруг предписанного ей Солнца, не проявляя интереса к грузу путешественников без определенного назначения: как поверить под этим спокойным, словно сама вечность, небом, что отныне в их власти превратить ее в отжившую свое луну? Безусловно, разгуливая в течение многих дней на природе, нельзя было не заметить, что она чуточку безумна; ощущалась некая необычайность в причудливых формах облаков, в возмущениях гор и их застывших битвах, в несмолкаемом звоне насекомых и в неистовом размножении растений; но то было сладостное и привычное безумие. Странно думать, что, пройдя через мозг человека, оно преображается в смертоносный бред.

— И у вас еще достает мужества писать! — сказал Анри, когда они уселись на берегу какой-то речки и он увидел, что Дюбрей вынимает из дорожной сумки свои бумаги.

— Это чудовище, — заметила Анна. — Он рабо-

тал бы и посреди руин Хиросимы.

— Он и работает средь руин Хиросимы.

— А почему нет? — возразил Дюбрей. — Руины всегда существовали где-то.

Он схватил авторучку и надолго устремил взгляд куда-то в пустоту; наверняка не так-то просто было писать среди совсем свежих руин; вместо того чтобы склониться над бумагой, Дюбрей неожиданно сказал:

— Ах! Если бы они не лишали нас возможности быть коммунистами!

— Кто они? — спросила Анна.

— Коммунисты. Вы только представьте себе: эта бомба, какое чудовищное средство давления! Я не думаю, что американцы сбросят ее завтра на Москву, но, в конце концов, у них есть возможность это сделать, и они не позволят о ней забыть. Они себя уже не будут помнить! Это ли не момент, чтобы сплотиться, а вместо того мы опять повторяем все довоенные ошибки!

— Вы говорите: мы, — возразил Анри. — Но ведь начали-то не мы.

— Да, с совестью мы в ладах. А дальше что? — продолжал Дюбрей. — Какой нам от этого прок! Если произойдет раскол, мы будем за это в ответе наравне с коммунистами, и даже более, потому

что они сильнее.

— Я вас не понимаю, — сказал Анри.

— Они отвратительны, согласен; но что касается нас, не вижу никакой разницы; как только они сделают из нас врагов, мы и станем врагами; бесполезно говорить: виноваты они; виноваты или нет, но мы будем врагами единственной большой пролетарской партии Франции; наверняка мы не этого хотим.

— Значит, следует уступить шантажу?

— Я никогда не считал сообразительными людей, которые готовы погубить себя, лишь бы не уступать, — сказал Дюбрей. — Шантаж или нет, но теперь нужен союз.

— Единственный союз, на который они искренне уповают, это роспуск СРЛ и вступление всех его членов в компартию.

— Может статься, что мы к этому придем.

— Вы могли бы вступить в компартию? — удивленно спросил Анри. — Но вас столько всего разделяет с коммунистами!

— О! Дело поправимое, — сказал Дюбрей. — При необходимости я сумею молчать.

Схватив бумаги, он принялся строчить слова. Анри разложил на траве книги, которые достал из своей сумки; с тех пор как он перестал пи-

сать, он прочитал кучу книг, заставивших его прогуляться по всему миру; в последние дни он открывал для себя Индию и Китай: в этом не было ничего веселого. Стоило лишь задуматься о сотнях тысяч голодных людей, и многие вещи начинали казаться не заслуживающими внимания. Возможно, его настороженность в отношении компартии тоже не заслуживала внимания. Более всего он ставил в упрек коммунистам то, что люди для них — все равно что неодушевленные предметы; если не доверять их свободе, их суждению, их доброй воле, то не стоит ими и заниматься; впрочем, ими почти и не занимались. Но такой упрек имел смысл только во Франции, в Европе, где люди достигли определенного уровня жизни, минимума самостоятельности и трезвости взглядов; когда же речь идет о толпах отупевших от нищеты и суеверий, имеет ли смысл обращаться с ними как с людьми? Их надо накормить, и все. Американское господство: это значит недоедание и бесконечное угнетение для всех стран Востока; единственный их шанс — СССР: единственный шанс для человечества избавиться от нужды, рабства и скудоумия — это СССР, и, стало быть, следует сделать все, чтобы помочь ему. Когда миллионы людей превраще-

ны нуждой в скотину, гуманизм — смешон, а индивидуализм — низок; как можно осмелиться требовать для себя высших прав: свободно обо всем судить, решать, обсуждать? Сорвав травинку, Анри стал медленно ее жевать. Раз уж в любом случае нельзя жить по своему усмотрению, почему бы вовсе не отказаться от этого? Затеряться внутри какой-нибудь большой партии, растворить свою волю в огромной коллективной воле: какой покой, какая сила! Стоит только открыть рот, и ты уже говоришь от имени всей земли, будущее становится твоим личным делом: это ли не причина, чтобы сносить многие вещи. Анри вырвал еще одну травинку. «Хотя сносить их изо дня в день мне будет очень трудно, — сказал он себе. — Нельзя думать то, чего не думаешь, желать того, чего не желаешь; чтобы стать хорошим борцом, нужна слепая вера, у меня ее нет. К тому же вопрос стоит совсем не так», — с раздражением подумал Анри. Он определенно был идеалистом. «Чему послужит мое присоединение: вот единственная конкретная проблема. Ни одному индусу оно безусловно не принесет ни единого зернышка риса».

Дюбрей больше не задавался никакими вопросами: он писал. И продолжал писать ежедневно.

В этом отношении его ничто не могло поколебать. Однажды во второй половине дня, когда они обедали в деревне у подножия Эгуаль, разразилась такая сильная гроза, что опрокинулись велосипеды, унесло две сумки, а рукопись Дюбрея подхватил поток грязи; когда он выловил ее, слова стекали по пропитанным желтой водой листкам длинными черными полосами. Дюбрей преспокойно высушил бумагу и переписал наиболее пострадавшие куски, создалось впечатление, что при надобности он с такою же точно безучастностью заново переписал бы от начала до конца всю книгу. И, продолжая упорствовать, он, несомненно, был прав, ибо имел на то свои соображения; порой, глядя, как его рука скользит по бумаге, Анри ощущал в своей собственной кисти нечто вроде ностальгии.

— Нельзя ли прочитать несколько страниц вашей рукописи? К чему вы, собственно, пришли? — спросил Анри, когда они во второй половине дня сидели в одном из кафе Баланса, дожидаясь, пока спадет жара.

— Я пишу главу об идее культуры, — ответил Дюбрей. — Что означает тот факт, что человек не перестает говорить о себе? И почему некоторые люди решают говорить от имени других:

иными словами, кто такой интеллектуал?{84} Не превращает ли его подобное решение в некую особую породу? И в какой мере человечество может распознать себя в том изображении, какое дает о себе?

— И к какому заключению вы приходите? — спросил Анри. — Что литература сохраняет свой смысл?

— Разумеется.

— Писать, чтобы доказать свою правоту! — со смехом сказал Анри. — Это великолепно.

Дюбрей с любопытством взглянул на него.

— Полагаю, вы вскоре снова начнете писать?

— О! Во всяком случае не сегодня, — ответил Анри.

— Сегодня или завтра, какая разница?

— Ну что ж, завтра, безусловно, этого тоже не случится.

— Но почему? — спросил Дюбрей.

— Вы пишете эссе, ладно; но сочинять в настоящий момент роман, согласитесь, что это хоть кого обескуражит.

— Не соглашусь! Я так и не понял, почему вы забросили свой роман.

— По вашей вине, — с улыбкой ответил Анри.

— Как это по моей вине! — Дюбрей с возмуще-

нием повернулся к Анне. — Ты слышишь?

— Вы призывали меня к действию, и действие отвратило меня от литературы. — Анри сделал знак официанту, стоя дремавшему у кассы. — Я хотел бы еще пива, а вы?

— Нет, мне слишком жарко, — сказала Анна. Дюбрей кивнул головой в знак согласия.

— Объяснитесь, — продолжал он.

— Какое людям дело до того, что лично я думаю или чувствую? — отвечал Анри. — Мои мелкие истории никого не интересуют, а большая история не сюжет для романа.

— Но ведь у каждого из нас свои мелкие истории, которые никому не интересны, — возразил Дюбрей, — вот почему мы узнаем себя в историях соседа, а если он умеет их рассказывать, в конечном счете это заинтересует всех.

— Начиная свою книгу, я тоже так думал, — сказал Анри, отхлебнув пива. У него не было ни малейшего желания объясняться. Он посмотрел на двух стариков, игравших в триктрак на краю красной банкетки. Какой покой в этом зале кафе: еще одна ложь! Сделав над собой усилие, он заговорил: — Беда в том, что любой личный опыт состоит из ошибок и миражей. Когда понимаешь это, пропадает желание делиться им.

— Не понимаю, что вы хотите сказать, — молвил Дюбрей. Анри заколебался.

— Предположим, ночью вы видите у кромки воды огоньки. Это красиво. Но если вы знаете, что они освещают предместье, где люди подыхают с голоду, огоньки теряют всю свою поэзию, превращаясь в обман. Вы скажете, что можно рассказывать о других вещах: например, о людях, которые подыхают с голоду. Но об этом я предпочитаю говорить в статьях или на митинге.

— Я вовсе не то хотел сказать, — с живостью возразил Дюбрей. — Эти огоньки, они сияют для вас. Разумеется, люди прежде всего должны есть, но какая польза в еде, если у вас отнимут все те мелочи, которые и составляют радость жизни. Почему мы путешествуем? Да потому что считаем: пейзажи — это не обман.

— Думается, наступит день, когда все это снова обретет смысл, — сказал Анри. — А пока есть столько других, более важных вещей!

— Но это и сегодня имеет смысл, — опять возразил Дюбрей. — Это имеет значение в нашей жизни, а следовательно, имеет значение и в наших книгах. — И с внезапным раздражением добавил: — Можно подумать, что левые обречены на создание пропагандистской литературы, где

каждое слово должно поучать читателя!

— О! У меня нет склонности к такого рода литературе, — сказал Анри.

— Знаю, но другого вы не пытаетесь делать. А между тем заняться есть чем! — Дюбрей не спускал с Анри настойчивого взгляда. — Разумеется, если расписывать красоты этих огоньков, забывая о том, что они означают, станешь подлецом; а вы найдите способ рассказать о них иначе, чем правые эстеты; заставьте почувствовать одновременно и то, что есть в них красивого, и нищету предместий. Вот что должна предложить литература левых, — с воодушевлением продолжал он, — заставить нас видеть вещи под новым углом зрения, отводя им надлежащее место; но не будем обеднять мир. Личный опыт и то, что вы называете миражами, все это существует.

— Существует, — неуверенно повторил Анри.

Возможно, Дюбрей был прав; возможно, существовал способ все восстановить, возможно, литература сохраняла смысл. Но в данный момент Анри казалось, что более неотложно понять этот мир, а не воссоздавать его словами; он предпочитал достать из сумки уже готовую книгу, а не чистую бумагу.

— А знаете, что произойдет? — с горячностью

продолжал Дюбрей. — Книги правых в конце концов будут цениться больше наших, и молодежь, черпая знания, будет толпиться вокруг Воланжей.

— О! Молодежь никогда не пойдет за Воланжем! — возразил Анри. — Молодежь не любит побежденных.

— Это мы рискуем вскоре выглядеть побежденными, — заметил Дюбрей. Он не сводил глаз с Анри. — Меня крайне огорчает, что вы больше не пишете.

— Быть может, я вернусь к этому, — сказал Анри.

Было слишком жарко, чтобы спорить. Однако он знал, что к литературе вернется не скоро; и вот преимущество: наконец у него появилось время для самообразования, за четыре месяца он восполнил немало пробелов. Через три дня, по возвращении в Париж, он составит подробный план занятий, и, возможно, через год-два ему удастся обрести, по крайней мере, зачаток политической культуры.

«Только бы Поль не вернулась раньше! — говорил он себе на следующее утро, вяло пробираясь на велосипеде через лес, слабая тень которого едва смягчала неистовую ярость небес. Он предо-

ставил Дюбрею с Анной катить впереди и был один, когда выехал на прогалину; на зеленой траве дрожали солнечные круги, и он не понял, отчего сердце его вдруг сжалось. Конечно не из-за сожженного строения, которое походило на многие другие руины, слегка подточенные равнодушием и временем; возможно, из-за тишины: ни одной птицы, ни одного насекомого, не слышно было ничего, кроме шума камешков, поскрипывающих под шинами, лишнего шума. Анна и Дюбрей спустились со своих велосипедов и что-то разглядывали. Присоединившись к ним, Анри увидел, что то были кресты: белые кресты — без имени, без цветов. Веркор[{85}]. Это слово цвета опаленного золота, цвета жнивья и пепла, сухое и жесткое, словно пустошь, но оставляющее за собой дуновение горной свежести, перестало быть названием легенды. Веркор. То была страна гор с влажной рыжей растительностью, прозрачными лесами, где беспощадное солнце вздыбило кресты.

Они удалились в молчании, дорога становилась все круче, и приходилось идти, толкая велосипеды. Жара проникала сквозь скудную тень; Анри чувствовал, как по лицу его катится пот, струившийся и по лбу Анны и по загорелым

щекам Дюбрея; и в душе каждого из них — одни и те же слова. Такая зеленая долина, которая так и манит к себе. Это было одно из тех безгрешных, сокровенных мест, о которых прежде думали: сюда-то уж войне, ненависти никогда не проникнуть; теперь известно, что спасения нет нигде. Семь крестов.

— Вот перешеек! — воскликнула Анна.

Анри любил эти мгновения, когда после слепого подъема взгляду открывается большое пространство освоенной земли с ее полями, изгородями, дорогами, с ее деревушками; лучи света омывают шифер или покрывают патиной розовую черепицу. Сначала он увидел подпиравшую небо горную гряду, а потом обнаружил обширное плато, жарившееся, ничем не прикрытое, на солнце; как на всех других французских плато, там были фермы, поселки, деревни, но ни черепицы, ни шифера и ни одной крыши. Только стены; неравной высоты, причудливо развороченные стены, не укрывавшие ничего.

— Можно знать, — молвила Анна. — Или думать, что знаешь.

С минуту они не двигались; потом осторожно начали спускаться по каменистой дороге, которую нещадно бичевало солнце; в течение всей

недели они говорили о Хиросиме, называли цифры, обменивались фразами, смысл которых был страшен, но ничто не шелохнулось в них; а тут вдруг довольно оказалось одного взгляда, и ужас вставал рядом, и сердце сжималось.

Внезапно Дюбрей затормозил.

— Что происходит?

Сквозь дымку, дрожавшую над деревней, прорвался звук трубы; остановившись, Анри увидел внизу выстроившиеся вдоль большой дороги военные грузовики, транспортеры, автомобили, двуколки.

— Это праздник! — сказал он. — Я не обратил внимания, но слышал, как люди в гостинице говорили о каком-то празднике.

— Военный праздник! Что будем делать? — спросил Дюбрей.

— Мы ведь не можем подняться назад, не так ли? — сказала Анна. — И оставаться под этим солнцем тоже не можем.

— Не можем, — удрученно согласился Дюбрей.

Они продолжили спуск; слева от сожженной деревни находился участок с белыми крестами, украшенными красными букетами; солдаты-сенегальцы чеканили парадный шаг, их фески сияли. И снова фанфары нарушили безмолвие

могил.

— Похоже, что это конец, нам еще повезло, — заметил Анри.

— Поехали направо, — предложил Дюбрей.

Солдаты бросились на приступ грузовиков, и толпа рассеялась; мужчины, женщины, дети, старики — все были одеты в черное и буквально задыхались, едва не сварившись в своих красивых траурных одеждах; в автомобилях, двуколках, на велосипедах, на мотоциклах, пешком они явились из всех деревень и поселков, их было пять, а может, и десять тысяч, тех, кто искал места в тени высохших деревьев и обгоревших стен; усевшись в канавы или прислонившись, полулежа, к машинам, они доставали караваи хлеба и бутылки красного вина. После того, как мертвых подобающим образом почтили цветами, речами и военной музыкой, живые принялись за еду.

— Я вот думаю, где бы нам пристроиться, — сказала Анна.

После трудного утреннего перехода хотелось растянуться в тени, выпить ледяной воды; они уныло толкали свои велосипеды вдоль дороги, кишащей вдовами и сиротами; ни единого дуновения ветерка; грузовики, спускавшиеся назад, в долину, поднимали клубы белой пыли.

— Где отыскать тень? Где? — твердила Анна.

— Вон те столы внизу стоят в тени, — сказал Дюбрей.

Он указал на длинные столы, накрытые рядом с деревянным строением, однако все места там, казалось, были заняты; женщины разносили тазы с пюре, которое накладывали половниками.

— Здесь банкет или ресторан? — спросила Анна.

— Пошли поглядим; я охотно съел бы что-нибудь кроме крутых яиц, — сказал Дюбрей.

Это был ресторан, и люди слегка раздвинулись на скамьях, чтобы освободить места; Анри сел напротив Дюбрея, рядом с женщиной в тяжелых траурных покровах, с красными ячменями на веках. Белая жижа шлепнулась в его тарелку, и какой-то мужчина концом вилки бросил поверх кусок мяса с кровью; корзинки с хлебом, бутылки вина передавались из рук в руки; люди ели молча, и их чопорное обжорство напоминало Анри крестьянские похороны, на которых ему доводилось присутствовать в детстве; только здесь их были сотни — вдов, сирот, опечаленных родственников, которые смешивали под солнцем свою скорбь и запах своего пота. Сидевший рядом с Анри старик протянул ему бутылку красного

вина:

— Налейте ей, пусть выпьет, — сказал он, указывая на женщину в ячменях, — это вдова повешенного из Сен-Дени.

Какая-то женщина спросила через стол:

— Это ее мужа повесили за ноги?

— Нет, не ее; ее тот, у которого не было обоих глаз.

Анри налил вдове стакан вина, он не решался взглянуть на нее и внезапно почувствовал, что тоже обливается потом в своей легкой рубашке; он повернулся к старику:

— Вассье сожгли парашютисты?

— Да, их притащилось четыре сотни, сами понимаете, им не составило труда. В Вассье было больше всего погибших, вот почему они имеют право на большое кладбище.

— Большое кладбище для всего Веркора, — с гордостью сказала сидевшая напротив него женщина. — Вы ведь дядя долговязого Рене? — добавила она. — Того, что нашли в пещере вместе с сыном Феврие?

— Да, я его дядя, — ответил старик.

Языки у сидящих за столом развязались, и, распивая красное вино, они ворошили страшные воспоминания; в Сен-Роше немцы заперли

мужчин и женщин в церкви, а затем подожгли ее, разрешив женщинам выйти; две из них остались.

— Скоро вернусь, — сказала Анна, внезапно поднявшись. — Я...

Сделав несколько шагов, она рухнула во весь рост у стены строения. Дюбрей бросился к ней, Анри последовал за ним. Побледнев, Анна закрыла глаза, на лбу ее выступил пот.

— Тошнит, — прошептала она, прикрыв рот носовым платком. Через минуту она снова открыла глаза. — Пройдет, это все красное вино.

— Вино, солнце, усталость, — сказал Дюбрей; он помогал ей придумывать отговорки, хотя прекрасно знал, что она вынослива, как першерон.

— Вам надо прилечь в тени и отдохнуть, — сказал Анри. — Поищем спокойный уголок. Вы сможете проехать пять минут?

— Да-да, уже все в порядке, извините.

Падать в обморок, плакать, жаловаться на тошноту — у женщин есть такая возможность, но это ведь ничего не дает. Перед лицом мертвых все беззащитны. Они сели на велосипеды; воздух обжигал, словно деревня пылала во второй раз; под каждым стогом, под каждым кустом лежали люди; мужчины сбросили свои церемонные пи-

джаки, женщины засучили рукава, расстегнули блузки; слышались песни, смех, игривые возгласы. Чем они могли заниматься другим, если не пить, не смеяться, не заигрывать? Раз уж они остались в живых, значит, следовало жить.

Они проехали пять километров, прежде чем отыскали у ствола полуиссохшего дерева чахлую тень; на земле, ощетинившейся жнивьем и камнями, Анна расстелила непромокаемый плащ и легла, свернувшись калачиком. Дюбрей вынул из сумки промокшие, казалось, от слез, пропахшие грязью бумаги. Анри сел рядом с ними, прислонясь головой к коре дерева; он не мог ни спать, ни работать. Внезапно ему показалось глупым стремление к самообразованию. Политические партии во Франции, экономика Дона, нефть Ирана, актуальные проблемы СССР — все это уже в прошлом; открывавшаяся новая эра не была предусмотрена в книгах; какое значение имела солидная политическая культура по сравнению с атомной энергией? СРЛ, «Эспуар», действие — какая мрачная шутка! Так называемые люди доброй воли могут преспокойно устраивать забастовки, а тем временем ученые и специалисты создают бомбы, антибомбы, супербомбы: это они держат в своих руках будущее. Веселое будущее!

Анри закрыл глаза. Вассье; Хиросима. За год пройден немалый путь. Грядущая война многое обещает. А послевоенное время: оно будет еще более тщательно подготовлено, чем нынешнее. Если только оно наступит, это послевоенное время. Если только побежденный не решит позабавиться, взорвав земной шар. Такое вполне может статься. Положим, шар не разлетится на куски, он будет вертеться вокруг своей оси, безлюдный, оледенелый: картина тоже не из радостных. Мысль о смерти никогда не смущала Анри, но внезапно это воображаемое безмолвие ужаснуло его: людей больше не будет! Перед лицом этой глухонемой вечности имеет ли смысл нанизывать слова, устраивать митинги? Оставалось лишь молча ждать вселенского бедствия или своей малозначимой личной смерти. Ничто не имело смысла.

Он открыл глаза. От земли исходило тепло, небо сияло, Анна спала, а Дюбрей писал о том, почему следует писать. Две крестьянки в трауре, в побелевших от пыли туфлях торопливо направлялись к деревне с охапками красных роз в руках. Анри следил за ними глазами. Были ли то женщины из Сен-Роша, украшавшие цветами могилы своих мужей? Вполне вероятно. Должно быть,

они стали достойными уважения вдовами. Или, может, на них показывали пальцем? А в глубине души как они с этим справлялись? Забыли уже слегка, совсем или вовсе нет? Год — это и мало, и много. Ведь были же забыты мертвые товарищи, забыто будущее, которое обещали августовские дни: к счастью; нездорово упрямо цепляться за прошлое; между тем не слишком гордишься собой, когда замечаешь, что более или менее отрекся от него. Вот потому-то они и придумали такой компромисс: отмечать день памяти; вчера — кровь, сегодня — красное вино, слегка подсоленное слезами; многих людей это успокаивает, другим же должно казаться отвратительным. Предположим, что одна из этих женщин всей душой любила мужа: что значат для нее эти фанфары и речи? Анри сосредоточенно смотрел на рыжие горы. Он видел ее, стоящую перед шкафом и прилаживающую траурное одеяние, звучат фанфары, и она кричит: «Я не могу, не хочу». Ей отвечают: «Так надо». Они дают ей в руки красные розы, умоляют ее во имя деревни, во имя Франции, во имя мертвых. А там, снаружи, начинается праздник. Она срывает свои покровы. А дальше? Видение затуманилось. «Будет, — сказал себе Анри, — я решил не писать больше». Однако

он не шевелился, взгляд его словно застыл. Ему непременно надо было додумать, что станется с этой женщиной.

Анри вернулся в Париж раньше Поль. Он снял комнату напротив газеты, и так как «Эспуар» сбавила свой темп в это знойное лето, часами сидел за письменным столом. «До чего интересно писать пьесу!» — говорил он себе. Это тяжкое послеполуденное время, красное от вина, цветов, жары и крови, превратилось в пьесу, его первую пьесу. Да, руины никуда не делись, никуда не делись и причины, по которым не следовало писать, но они мало что значат, когда вас снова охватывает желание писать.

Поль без возражений согласилась с тем, что отныне Анри будет делить свои ночи между красной квартиркой и гостиницей, но когда он не пришел ночевать в первый раз, то увидел на другой день такие глубокие круги у нее под глазами, что вынужден был обещать себе не делать этого впредь; но все равно время от времени он укрывался в своей комнате, и тогда ему казалось, будто он отчасти освободился. «Нельзя требовать слишком многого», — говорил он себе; достаточно быть скромным, чтобы получать кучу маленьких удовольствий.

Между тем положение «Эспуар» оставалось шатким; Анри всерьез забеспокоился, когда однажды в четверг обнаружил, что касса пуста, но Люк посмеялся над ним; он обвинял Анри в том, что в денежных вопросах у него сохранился менталитет мелкого лавочника; возможно, то была правда; во всяком случае, порешили, что финансы — это сфера Люка, и Анри охотно предоставлял ему свободу действий. И Люк действительно нашел способ расплатиться в субботу с персоналом. «Аванс по рекламному контракту», — объяснил он.

Других тревожных сигналов не поступало. Тираж «Эспуар» не увеличивался, но они каким-то чудом держались. С другой стороны, СРЛ не стало большим массовым движением, но зато завоевывало позиции в провинции; утешало и то, что коммунисты больше не нападали: пробуждалась надежда на прочный союз. И в ноябре комитет единодушно решил поддержать Тореза против де Голля{86}. «Это очень облегчает жизнь, когда живешь в согласии с друзьями, союзниками, с самим собой», — думал Анри, урывками ведя беседу с Самазеллем, который принес ему статью по поводу кризиса; урчали печатные машины, на улице стоял прекрасный осенний вечер, и где-то

фальшиво и весело напевал Венсан; в итоге оказалось, что даже у Самазелля были свои хорошие стороны; его книге о маки, отрывки из которой печатались в «Вижиланс», предсказывали большой успех, и он с таким простодушием радовался будущему триумфу, что его сердечность казалась почти искренней.

— Я хочу задать вам нескромный вопрос, — сказал Самазелль. — Кто-то заметил, — широко улыбнулся он, — что нескромными бывают не вопросы, а только ответы; вы не обязаны отвечать мне. Меня интригует одна вещь, — продолжал он, — как «Эспуар» ухитряется выживать со столь ограниченным тиражом?

— У нас нет тайных капиталов, — весело отвечал Анри. — Мы даем больше рекламы, чем прежде, вот и все объяснения; короткие объявления среди прочего — это немалые средства.

— Думаю, я имею довольно точное представление о вашем рекламном бюджете, — сказал Самазелль. — Так вот, по моим подсчетам, вы определенно должны испытывать дефицит.

— У нас довольно значительные долги.

— Я знаю, как знаю и то, что с июля они не увеличились; это-то и кажется мне чудом.

— Должно быть, в ваших расчетах есть ошибка,

— беспечно отвечал Анри.

— Приходится согласиться с этим, — сказал Самазелль.

Вид у него был не очень уверенный, и, оставшись один, Анри рассердился на самого себя; ему следовало назвать точные цифры. «Чудо», именно это слово пришло ему на ум, когда Люк извлек из пустой кассы деньги на выплату жалованья. «Аванс по рекламному контракту». Анри проявил легкомыслие, удовлетворившись подобным объяснением. Какой контракт? На какую сумму аванс? И правду ли сказал Люк? Анри снова почувствовал беспокойство. Самазелль не имел на руках всех данных, но он умел считать. Каким образом Люку удавалось все-таки выкручиваться? Кто знает, не делал ли он тайных займов от своего имени? Никогда бы он не пошел на нечестные махинации, и все-таки следует знать, откуда берутся деньги. Когда к двум часам утра письменные столы опустели, Анри вошел в редакционную комнату; Люк занимался расчетами; как бы поздно Анри ни уходил из газеты, Люк всегда оставался после него и считал.

— Послушай, если у тебя есть минутка, давай вместе посмотрим реестры, — предложил Анри. — Мне как-никак хотелось бы разобраться в на-

ших финансах.

— У меня разгар работы, — ответил Люк.

— Я могу подождать. Я подожду, — сказал Анри, садясь на край стола.

Люк был в одной рубашке, он носил подтяжки, которые Анри внимательно разглядывал какое-то время: желтые подтяжки. Люк поднял голову.

— Зачем тебе вникать в денежные истории? — спросил он. — Доверься мне.

— Зачем тебе просить моего доверия, когда так просто показать мне книги? — ответил Анри.

— Ты ничего не поймешь в них. Бухгалтерия — это отдельный мир.

— В другие разы ты объяснял мне, и я все понимал; тут нет ничего мудреного,

— Мы потеряем уйму времени.

— Время не будет потерянным. Меня смущает то, что я не знаю, каким образом ты выкручиваешься. Давай показывай мне бухгалтерские книги. Почему ты не хочешь?

Люк пошевелил под столом ногами; его больные ноги лежали на большой кожаной подушке.

— В книгах не все отмечено, — с раздражением сказал он.

— Как раз это меня и интересует, — с живостью отозвался Анри, — то, что не отмечено. — Он

улыбнулся: — Что ты от меня скрываешь? Ты сделал заем?

— Ты запретил мне это, — проворчал Люк.

— Так в чем же дело? Ты кого-то шантажируешь? — сказал Анри лишь наполовину шутливым тоном.

— И ты полагаешь, что я подвигну «Эспуар» на путь шантажа, это я-то! — Люк покачал головой. — Ты явно не выспался.

— Послушай, — сказал Анри, — меня не интересуют загадки. Я не хочу, чтобы «Эспуар» жила за счет махинаций. Храни свои секреты, а я позвоню завтра утром Трарье.

— Это шантаж, — заметил Люк.

— Нет, всего лишь осмотрительность. Происхождение денег Трарье мне известно, а вот откуда взялись деньги, которые свалились в кассу в прошлую субботу, я не знаю.

Люк заколебался.

— Это был... некий добровольный взнос.

Анри с опаской взглянул на Люка; некрасивая жена, трое детей, брюшко, подтяжки, подагра, широкое сонное лицо, с виду — сама безмятежность; но в сорок первом все обнаружили, что ветер безумия мог при случае всколыхнуть эту груду мяса: именно благодаря этому и появилась

«Эспуар»; неужели ветер сумасбродства повеял вновь?

— Ты выманил у кого-то деньги?

— Я был бы на это не способен, — со вздохом отвечал Люк. — Нет, речь идет о даре, просто-напросто о даре.

— Подобные суммы просто так никто не дает. Чей дар?

— Я обещал хранить секрет, — сказал Люк.

— Уж не Ламбер ли случаем?

— Ламбер! Ему плевать на газету; он и носа сюда никогда не показывает, разве что приходит повидать тебя; Ламбер!

— Тогда кто же? А ну выкладывай, — в нетерпении сказал Анри, — или я звоню.

— Ты не скажешь, что я тебе рассказал? — хриплым голосом спросил Люк. — Обещаешь мне это?

— Клянусь твоей собственной головой.

— Так вот, это Венсан.

Анри с изумлением посмотрел на Люка, сосредоточенно глядевшего на свои ноги.

— Ты что, спятил? Разве ты не понимаешь, как Венсан добывает деньги? Тебе сколько лет?

— Сорок, — с мрачным видом ответил Люк. — И я знаю, что Венсан отобрал золото у дантистов-коллаборационистов: не вижу в этом

ничего плохого. Если ты боишься, что тебя сочтут сообщником, успокойся, я принял меры предосторожности.

— А Венсан? Полагаю, он тоже весьма осмотрителен! Он сломает себе шею в этих гнусных играх, неужели ты не понимаешь? У тебя разжижение мозгов или как? Тебе будет чем гордиться, когда этот чокнутый попадется.

— Я ни о чем его не просил, — сказал Люк. — Если бы я отказался от его денег, он отдал бы их лечебнице для собак.

— А ты не понимаешь, что, принимая их, ты поощряешь его начать все снова? Сколько раз он выручал нас?

— Три раза.

— И ты рассчитывал, что это будет продолжаться? Ты такой же ненормальный, как он!

Анри встал и подошел к окну. В мае, узнав, что Венсан вовлек Надин в свою банду, он крепко отчитал его. А потом на месяц отправил в Африку. По возвращении Венсан утверждал, что начал новую жизнь: и вот, пожалуйста!

— Надо найти способ запугать его, — сказал Анри.

— Ты обещал мне хранить секрет, — возразил Люк. — Он заставил меня поклясться, что ты

ничего не узнаешь, в особенности ты.

— Разумеется! — Анри вернулся к столу. — В любом случае, скажу я ему или нет, это дела не меняет.

— Через десять дней надо платить по векселю, — заметил Люк, — мы не сможем его оплатить.

— Я завтра же поговорю с Трарье, — сказал Анри.

— Если бы только можно было выиграть месяц или два: мы уже почти выкарабкались.

— Почти — это мало, — возразил Анри. — К чему упрямиться? Тираж не увеличивается, и есть риск, что Трарье со временем передумает. — Анри положил руку на плечо Люка. — В чем разница, если мы все равно будем свободны, как раньше?

— Все будет по-другому, — сказал Люк.

— Все будет точно так же, за исключением того, что мы избавимся от денежных неприятностей.

— Но это было самое интересное, — со вздохом заметил Люк.

Анри же, напротив, скорее почувствовал облегчение при мысли о том, что денежный вопрос будет решен окончательно; и два дня спустя он с легким сердцем входил в кабинет Трарье: кабинет, полный книг, свидетельствовавший о том, что хозяин скорее интеллектуал, нежели деловой

человек; однако сам Трарье, худощавый, элегантный, наполовину лысый, в точности походил на богатого промышленника.

— Подумать только, во время оккупации мы все время работали поблизости друг от друга и ни разу не встретились! — сказал он, энергично пожимая руку Анри. — Вы очень хорошо знали Вердлена, не так ли?

— Конечно; а вы работали в его организации?

— Да. Это был замечательный человек, — сказал Трарье с едва заметным траурным оттенком в голосе; горделивая улыбка по-детски округлила его лицо. — Именно благодаря ему я встретил Самазелля. — Жестом он предложил Анри сесть и сел сам. — В то время значение имели человеческие ценности, а не деньги.

— Это уже в прошлом, — заметил Анри, чтобы что-то сказать.

— Впрочем, утешением служит возможность использовать деньги для защиты определенных ценностей, — сказал Трарье с поощрительным видом.

— Дюбрей обрисовал вам ситуацию? — спросил Анри.

— Да, в общих чертах.

Во взгляде Трарье ощущался настоятельный

вопрос: он знал точные факты, но ему хотелось получить возможность изучить Анри, и приходилось вести свою игру. Анри начал говорить без особой убежденности. Он, со своей стороны, тоже наблюдал за Трарье; тот слушал его с несколько снисходительной любезностью; уверенный в своих преимуществах, довольный тем, что на словах отказался от них, он чувствовал свое превосходство и над теми, кто не владел ничем, и над теми, кто внутренне не соглашался позволить лишить себя собственности. Совсем не таким представлял его себе Анри по описаниям Дюбрея; в его лице не наблюдалось ни малейших следов слабости или беспокойства; и никакого благородства тоже; если он и принадлежал к левым, то не иначе как по причине оппортунизма.

— Тут я прерву вас, — неожиданно сказал Трарье. — Вы говорите, что понижение тиража было неизбежно. — Он посмотрел Анри в глаза, словно собираясь изречь опасную истину: — Я не верю в неизбежность, именно в этом кроется одна из тех причин, что мешают мне согласиться с марксистской диалектикой. Мой опыт отличается от вашего; это опыт делового человека, человека действия; он научил меня тому, что ход событий всегда можно изменить вмешательством подхо-

дящего фактора в подходящий момент.

— Вы хотите сказать, что этого понижения можно было бы избежать? — спросил Анри несколько натянутым тоном.

Трарье ответил не сразу.

— Во всяком случае, я уверен, что сегодня можно повысить тираж, — произнес он наконец. — И дело тут совсем не в деньгах, — с живостью добавил он. — Но, учитывая, что представляет собой «Эспуар», мне кажется важным, чтобы она вновь завоевала широкий круг читателей.

С интересом отметив мимоходом свойственные Самазеллю выражения, Анри сказал:

— Я желаю этого так же, как вы; нам мешало отсутствие денег; с капиталом я берусь подготовить репортажи и расследования, которые помогут нам привлечь широкую публику.

— Репортажи, расследования — да, разумеется, — безучастным тоном произнес Трарье, — но не это главное.

— А что же главное? — спросил Анри.

— Я буду говорить с вами откровенно, — сказал Трарье. — Вы человек очень известный и даже очень популярный. Но позвольте вам заметить, что ваш друг Люк — это никто, у него нет имени. А кроме того, я читал его статьи, они на редкость

неумелы.

Анри сухо оборвал его:

— Люк превосходный журналист, и газета принадлежит ему наравне со мной; если вы собирались устранить его, даже не думайте об этом.

— А нельзя ли заставить его уйти самого — выкупив его долю по сходной цене и обеспечив ему хорошее положение?

— И речи быть не может! — заявил Анри. — Он никогда не согласится, да, впрочем, и я его об этом не попрошу. «Эспуар» — это Люк и я; вы либо финансируете нас, либо не финансируете, середины нет.

— Разумеется, для того, кто втянут в какое-то начинание, любой раздел кажется более сложным, чем для внешнего наблюдателя, — с усмешкой заметил Трарье.

— Я вас не понимаю.

— Никакой закон не ограничивает двумя членами состав руководящего совета газеты, — с улыбкой сказал Трарье. — Учитывая дружбу, которая вас связывает, я уверен, что вы не будете против присоединения к вам Самазелля.

Анри хранил молчание; вот, значит, почему Самазелля так интересовала судьба «Эспуар»! Наконец он холодно сказал:

— Не вижу в этом необходимости. Самазелль может писать у нас когда ему вздумается: этого, я думаю, ему достаточно...

— Не он, а я хочу этого сотрудничества, — надменно заявил Трарье. Голос его стал жестким: — Я полагаю, что рядом с вашим именем требуется другое, столь же популярное имя; Самазелль сейчас резко пошел в гору, завтра о нем заговорят все: Анри Перрон и Жан-Пьер Самазелль — в этом есть социальный смысл; к тому же вашей газете требуется новый динамизм; Самазелль — это сила самой природы. Вот что я вам предлагаю. Я ликвидирую ваши долги, выкуплю половину акций «Эспуар» на условиях, которые мы обсудим, а вы с Люком и Самазеллем поделите другую половину; решения будут приниматься большинством голосов.

— Я питаю глубокое уважение к Самазеллю, — сказал Анри, — но тоже буду говорить с вами откровенно: Самазелль слишком сильная личность, чтобы я все еще чувствовал себя хозяином там, где и он тоже хозяин; а я непременно хочу чувствовать себя в газете хозяином.

— Это чересчур личное соображение, — возразил Трарье.

— Возможно; но ведь, в конце-то концов, речь

идет о газете, которая принадлежит лично мне.

— Это газета СРЛ.

— Одно не исключает другого.

— Вот это как раз под вопросом, — сказал Трарье. — Я финансирую газету СРЛ и намереваюсь обеспечить ей максимум возможностей. — Он подтвердил свои слова решительным взмахом руки. — «Эспуар» — это необычайное творение, поверьте, я по достоинству ценю ее; но мы оказались перед лицом новых трудностей, и речь идет о том, чтобы преуспеть на еще более высокой ступени: сил одного-единственного человека будет недостаточно.

— Повторяю вам, что я не один, — сказал Анри, — и чувствую себя в силах противостоять вместе с Люком этой новой ситуации.

Трарье покачал головой:

— Я льщу себя надеждой, что всегда умел довольно точно оценить возможности того или иного человека; предстоит одолеть сильное течение, и понадобится кто-то вроде Самазелля, чтобы помочь вам в этом.

— Я придерживаюсь иного мнения.

— А я именно такого, — неожиданно резким тоном заявил Трарье, — и никто не заставит меня изменить его.

— Вы хотите сказать, что, если я откажусь от вашей комбинации, вы не станете финансировать «Эспуар»? — спросил Анри.

— У вас нет никаких причин от нее отказываться, — возразил Трарье, выражение лица которого смягчилось.

— Вы обязались помочь мне без всяких условий, — сказал Анри, — на основании вашего обещания я сделал «Эспуар» органом СРЛ.

— Послушайте, я не навязываю вам никаких условий, само собой разумеется, что политическая линия газеты остается прежней; я только прошу вас принять необходимые меры для ее обновления, которого вы должны желать так же, как я.

Анри встал.

— Я собираюсь объясниться с Самазеллем!

— Самазелль наверняка не согласится прийти в газету против вашей воли, — сказал Трарье, — вот почему предпочтительней, чтобы этот разговор остался между нами; от кого будет исходить отказ — от вас или от него, не важно: я профинансирую газету лишь в том случае, если он примет участие в ее управлении.

— Тем не менее я поставлю его в известность, — сказал Анри; он старался контролировать свой

голос: — Поверив вашему слову, я поставил под угрозу «Эспуар», я довел ее чуть ли не до банкротства, и вы, пользуясь этим, идете на шантаж. Если человек способен на столь вероломный поступок, я в любом случае предпочитаю обойтись без его услуг.

— Вы не имеете права обвинять меня в шантаже! — сказал Трарье, поднимаясь в свою очередь. — Все дела, которыми я занимаюсь, я веду честно, в том числе и это. Я никогда не скрывал, что определенная реорганизация кажется мне неизбежной для правильного управления «Эспуар».

— Дюбрей говорил мне совсем другое, — заметил Анри.

— Я не отвечаю за то, что он вам сказал, — заявил Трарье, повысив голос, — я знаю то, что сам говорил ему; очень жаль, если произошло недоразумение, но я выразился ясно.

— Вы поставили его в известность относительно своей комбинации?

— Разумеется, мы даже довольно долго обсуждали это!

В голосе его звучала столь убедительная искренность, что Анри на мгновение умолк. Потом наконец произнес:

— Во всяком случае, он не понял, что это sine qua

non {Непременное условие (лат.)} [empty link].

— Полагаю, он понял то, что хотел понять, — довольно резко возразил Трарье. — Послушайте, — примирительным тоном продолжал он, — почему мое предложение кажется вам совершенно неприемлемым? Вы рассердились, потому что сочли себя жертвой бесчестного манипулирования; вам достаточно будет побеседовать с Дюбреем, чтобы убедиться в моей доброй воле; и тогда вы наверняка поймете, какой шанс дает вам мое предложение. Потому что, будьте уверены, никто не рискнет взять на себя «Эспуар» с ее шестью миллионами долга: надо быть преданным делу СРЛ вроде меня, чтобы пойти на это. Иначе вам навяжут совсем не такие условия, как мои, — политические условия.

— Я не теряю надежды найти бескорыстную поддержку, — сказал Анри.

— Но вы нашли ее! — возразил Трарье. Он улыбнулся: — Я рассматриваю эту беседу всего лишь как первое знакомство. Что касается меня, то я готов к дальнейшим переговорам. Подумайте.

— Спасибо за совет! — молвил Анри.

Он ответил с досадой, но сердился не на Трарье. Оптимизм Дюбрея! Его неисправимый оптимизм! Впрочем, нет, оптимизм тут ни при чем, Дюбрей

не был так глуп: Анри вдруг открылась истина. «Дюбрей обманул меня!» Он рухнул на скамейку на проспекте Марсо: у него в голове, во всем теле началось такое, что он едва не лишился чувств. «Дюбрей умышленно солгал мне, потому что хотел заполучить "Эспуар", а я угодил в ловушку». Полночь, он стучит, улыбается, капиталы без всяких условий, пойдем прогуляемся, такая прекрасная ночь, а сам с улыбками раскидывал сети. Анри встал и торопливо зашагал прочь, если бы он шел не так быстро, то мог бы не удержаться на ногах.

«Что он сможет ответить? Ему нечего будет ответить». Анри пересек Париж, почти не заметив этого, и очутился у дома Дюбрея; на мгновение он остановился на лестничной площадке, чтобы умерить сердцебиение; он не был полностью уверен, что с его губ сорвется членораздельный звук.

— Могу я поговорить с месье Дюбреем? — спросил Анри; он удивился, услышав свой голос, нормальный голос.

— Его нет дома, — ответила Иветта, — никого нет.

— Когда он вернется?

— Понятия не имею.

— Я подожду, — сказал Анри.

Иветта проводила его в кабинет, быть может, Дюбрей вернется только вечером, а у Анри было много работы; но для него не существовало ничего — ни «Эспуар», ни СРЛ, ни Трарье, ни Люка, ничего, кроме Дюбрея; с той давней весны, когда он влюбился в Поль, Анри никогда так страстно не жаждал чьего-то присутствия. Он сел в кресло, в которое садился обычно; но сегодня мебель, книги насмехались над ним: все сообщники! На сервировочном столике Анна привозила ветчину, салаты, и они весело, по-дружески, ужинали: какой фарс! У Дюбрея были союзники, ученики, орудия, но ни одного друга. Как хорошо он умел слушать! Как доверительно говорил! И при первом же случае готов был наплевать на вас. Его пылкое радушие, и эта улыбка, этот взгляд, на которые вы попадались, они всего-навсего отражали тот горячий интерес, который он проявлял ко всему миру. «Он знал, как я дорожу газетой! И украл ее у меня!» Возможно, это он предложил заменить Люка Самазеллем; вам надо встретиться с Трарье, советовал он, так он обезопасил себя, а сам дал Трарье инструкции. «Заговор, ловушка. А раз попав в западню, как из нее выбраться? Выбирая между Самазеллем и банкротством, я должен

предпочесть Самазелля: вот тут он здорово удивится». Анри искал резкие слова, чтобы бросить в лицо Дюбрею свое решение; однако не было в его гневе ничего стимулирующего; напротив, он чувствовал себя опустошенным, измученным и даже слегка напуганным и униженным, словно после долгих часов борьбы его только что вытащили из зыбучих песков. Хлопнула входная дверь, и он вцепился ногтями в подлокотники кресла: ему отчаянно хотелось заставить Дюбрея разделить тот ужас, который он ему внушал.

— Давно вы меня ждете? — спросил Дюбрей, протягивая ему руку. Анри машинально пожал ее: та же рука, то же лицо, что и вчера; даже все зная, ничего нельзя было разглядеть сквозь маску.

— Не очень давно, — прошептал он. — Мне надо было срочно поговорить с вами.

— Что случилось? — спросил Дюбрей тоном, великолепно изображающим участие.

— Я только что от Трарье. Выражение лица Дюбрея переменилось.

— Ах, вот в чем дело! Вы уже не выдерживаете? А Трарье чинит препятствия? — с тревогой в голосе спросил он.

— Теперь все ясно! Вы утверждали, будто он

готов поддержать «Эспуар» без всяких условий, а он требует, чтобы я взял Самазелля. — Анри пристально смотрел на Дюбрея: — Похоже, вы были в курсе.

— Я в курсе с июля, — сказал Дюбрей. — И сразу же принялся искать деньги в другом месте. Я думал, Мован даст мне их, он почти обещал; но я только что виделся с ним, он вернулся из путешествия и, похоже, так и не принял решения. — Дюбрей с тревогой взглянул на Анри. — Вы можете продержаться еще месяц?

Анри покачал головой.

— Это исключено. Почему вы не предупредили меня? — сердито спросил он.

— Я рассчитывал на Мована, — ответил Дюбрей. Он пожал плечами: — Должно быть, мне следовало предупредить вас. Но вам известно, что я не люблю признавать себя побежденным. По моей вине вы попали в трудное положение, и я поклялся вытащить вас из него.

— Вы говорите об июле, но Трарье утверждает, что вообще никогда не собирался оказывать нам ничем не обусловленную поддержку, — сказал Анри.

— В апреле, — с живостью возразил Дюбрей, — речь шла лишь о политической линии газеты,

и он целиком принимал ее.

— Вы гарантировали мне гораздо большее, — заметил Анри. — Трарье не должен был ни во что вмешиваться, ни в какой области.

— Ах, послушайте! Насчет апреля мне не в чем себя упрекнуть! — сказал Дюбрей. — Я сразу же посоветовал вам пойти и лично объясниться с Трарье.

— Вы говорили с такой уверенностью, что всякое объяснение казалось излишним.

— Я говорил то, что думал, и так, как думал, — возразил Дюбрей. — Я мог ошибаться: никто не безгрешен. Но я не обязывал вас верить мне на слово.

— Обычно вы не совершаете столь грубых ошибок, — заметил Анри. Дюбрей вдруг улыбнулся:

— Что вы хотите сказать? Что я умышленно солгал вам?

Он сам произнес это слово; достаточно было ответить: «Да» — как просто; но нет, это невозможно: во всяком случае, не в ответ на эту улыбку, не в этом кабинете, не так.

— Я думаю, что вы приняли свои желания за действительность, не заботясь при этом о моих интересах, — сдержанно произнес Анри. — Трарье платил: на каких условиях, вам, по сути, было

все равно.

— Возможно, я принял свои желания за действительность, — согласился Дюбрей. — Но клянусь вам, что, если бы я хоть на секунду заподозрил то, что затевал Трарье, я тут же отказался бы от него со всеми его миллионами.

В голосе его звучала горячая уверенность, однако Анри она не убедила.

— Сегодня же вечером я поговорю с Трарье, — сказал Дюбрей, — а также с Самазеллем.

— Это ничего не даст, — возразил Анри.

Ах, разговор пошел не по тому пути; нелегко перейти от слов, которые говоришь про себя, к тем, которые произносишь вслух. «Заговор!» Это показалось вдруг чудовищным, едва ли не безумным. Дюбрей, разумеется, никогда не говорил себе, потирая руки: «Я готовлю заговор». Если бы Анри осмелился бросить ему в лицо это слово, Дюбрей только улыбнулся бы.

— Трарье неуступчив, но Самазелля можно уломать, — сказал Дюбрей.

— Не уломаете, — покачал головой Анри. — Нет. Есть только одно решение: я все брошу.

Дюбрей пожал плечами:

— Вы прекрасно знаете, что не можете сделать этого.

— Тут вы будете удивлены, — возразил Анри. — Я это сделаю.

— И вы пустите ко дну СРЛ? Вы отдаете себе отчет, как обрадуются наши противники! «Эспуар» обанкротилась, СРЛ больше не существует! Хорошо, нечего сказать.

— Я могу отдать «Эспуар» Самазеллю и куплю себе ферму в Ардеше; СРЛ ничуть не пострадает, — с горечью возразил Анри.

Дюбрей с сокрушенным видом посмотрел на Анри.

— Я понимаю ваш гнев. И признаю свою вину. Я был неправ, поверив с такой легкостью Трарье, и мне следовало поговорить с вами еще в июле. Но я все сделаю, чтобы исправить это. — В голосе его появилась настойчивость: — Прошу вас, не упорствуйте. Мы вместе будем искать способ выйти из положения.

Анри молча смотрел на него: признать свои ошибки — это был ловкий ход, наилучший способ преуменьшить их; но о самой серьезной из них Дюбрей старательно умалчивал; на самом деле он виноват в беспримерном злоупотреблении доверием; взамен жертв, которых он требовал от вашей дружбы, он делал вид, будто дарит вам свою, а, по сути, не давал ничего. Следовало

сказать ему: «Вам наплевать на меня и на всех остальных; ради любви к истине и к добру вы пожертвовали бы кем угодно: однако для вас истина — это лишь то, что думаете вы, а добро — то, чего вы хотите. Вы рассматриваете вселенную как свое творение, и нет ничего общего между человеческими созданиями и вами. Вы изображаете благородство, но это опять-таки во имя вашей собственной славы». Можно было сказать ему еще тысячу других вещей, но тогда пришлось бы захлопнуть за собой эту дверь и никогда уже не открывать ее. «Что мне и следует сделать», — думал Анри; как бы он ни решил относительно газеты, с Дюбреем ему надо было порвать немедленно. Он встал. Взглянул на сервировочный столик, книги, фотографию Анны и почувствовал себя подлецом. В течение пятнадцати лет этот кабинет был для него центром мироздания и его домашним очагом; здесь истина казалась бесспорной, счастье — важным, и право быть самим собой представлялось огромной привилегией. Он не мог вообразить себя идущим по улицам с этой оставленной позади дверью, закрытой навсегда.

— Все бесполезно; мы загнаны в угол, — произнес он безучастным тоном. — Я не упорствую, но при таких условиях мне уже неинтересно

заниматься «Эспуар». Наверняка можно сделать так, чтобы мой уход не причинил вреда ни газете, ни СРЛ.

— Послушайте, дайте мне два дня, — попросил Дюбрей. — Если через два дня я ничего не добьюсь, вы решите, как вам поступить.

— Хорошо. Но все и так решено, — ответил Анри.

Когда Анри вышел на улицу, голова у него шла кругом; он сделал несколько шагов по направлению к редакции, но то было последнее место, куда ему хотелось бы пойти: встретиться с Люком, с Люком, который начнет жаловаться или предложит новый налет на какого-нибудь дантиста, это было свыше его сил; о Поль с ее пророчествами, ее причитаниями тоже не могло быть и речи. А между тем ему необходимо было выговориться. Он чувствовал себя обманутым, словно после одного из тех сеансов, когда хитрый фокусник раскрывает будто бы перед вами тайну своих трюков. Дюбрей мошенничал, его уже собирались поймать с поличным, ан нет, не вышло, подтасованной карты не оказалось ни у него в руках, ни в карманах. В какой мере он лгал, а в какой обманывал себя? Между цинизмом и недобросовестностью где найти место

его предательству? Оно имело место, тут нет сомнений, но докопаться до него невозможно. «Я опять позволил манипулировать собой». И снова очевидность бросилась ему в глаза: речь шла о преднамеренном заговоре, Дюбрей, посмеиваясь, управлял всем. Анри остановился посреди моста и оперся о парапет руками. Может, сейчас он впадает в бред? Или, напротив, проявил слабоумие, когда усомнился в вероломстве Дюбрея? В любом случае, если он и дальше будет метаться в одиночестве от одной очевидности к другой, его голова расколется. Ему во что бы то ни стало требовалось обсудить с кем-нибудь случившееся. Он вспомнил о Ламбере. «Если бы я последовал его советам, то не дошел бы до этого», — сказал он себе. Ламбер не любил Дюбрея, однако претендовал на беспристрастность; и он был единственным, с кем Анри мог рассчитывать поговорить на эту тему. Он пересек мост и вошел в телефонную будку какого-то кафе.

— Алло! Это Перрон. Могу я заглянуть к тебе?

— Конечно. Это чертовски хорошая идея! — В пылком тоне Ламбера сквозило некоторое удивление. — Как дела?

— В порядке. До скорого, — ответил Анри.

Встревоженное участие этого голоса успо-

коило его. Привязанность Ламбера выглядела несколько неуклюжей, но для него, по крайней мере, Анри хоть не был пешкой. Он торопливо поднялся по лестнице: странный день, который он провел, то и дело поднимаясь по лестницам, словно был кандидатом в академию{87}.

— Привет. Проходи сюда, — радостно встретил его Ламбер. — Извини за этот бардак: я не успел навести порядок.

— Послушай, ты весьма недурно устроился! — сказал Анри.

Большая светлая комната, продуманный беспорядок, проигрыватель, дискотека, книги в переплетах, расставленные по именам авторов; на Ламбере был черный спортивный свитер с желтым шелковым фуляром: в столь непривычной обстановке Анри чувствовал себя слегка смущенным.

— Коньяк, виски, минеральная вода, фруктовый сок? — спросил Ламбер, открывая шкафчик под книжными полками.

— Виски, и покрепче.

Ламбер пошел за водой в ванную комнату бледно-зеленого цвета; Анри успел заметить толстый махровый халат, целый набор щеток и мыла.

— Как случилось, что ты в такой час не в редак-

ции? — спросил Ламбер.

— В газете большие трудности.

— Какие трудности?

Неправда, что Ламбер не интересовался газетой; скорее между ним и Люком существовала прочная антипатия, которую легко было понять, увидев их рядом; он выслушал рассказ Анри с негодующим вниманием.

— Конечно, это уловка! — сказал Ламбер и, поразмыслив, добавил: — Ты не думаешь, что Дюбрей постарается проникнуть в газету вместе с Самазеллем? Или вместо Самазелля?

— Нет, не думаю, — ответил Анри. — Журналистика его не интересует, и в любом случае он контролирует «Эспуар» от имени СРЛ. Но это ничего не меняет, он расставил мне подлую ловушку. — Анри взглянул на Ламбера. — Как бы ты поступил на моем месте?

— Если хочешь, брось все, чтобы побольше насолить им, — сказал Ламбер, — но вот чего ни в коем случае нельзя делать, так это отдавать им газету по-хорошему. Им только того и надо.

— Я не хочу скандала, — возразил Анри, — но бросил бы все потихоньку.

— Это значит признать себя побежденным, они будут очень довольны, — сказал Ламбер.

— Ты сам всегда отговаривал меня от политики, вот удобный случай оставить ее.

— «Эспуар» — это совсем другое дело, а никакая не политика, — заметил Ламбер. — Ты создал ее, это дело твоей жизни... Нет, защищайся, — с жаром сказал он. — Если бы у меня были настоящие деньги! Но у меня их как раз столько, чтобы не знать, куда девать.

— И мне нигде не найти их, они прекрасно это знают.

— Соглашайся на Самазелля и договорись с Люком нейтрализовать его.

— Если они объединятся с Трарье, то будут не слабее нас.

— Откуда у Самазелля деньги, чтобы выкупить акции? — спросил Ламбер.

— Аванс за книгу или Трарье поможет.

— Почему он так держится за Самазелля?

— Откуда мне знать? Я даже не знаю, почему этот тип в СРЛ.

— Надо дать отпор, — сказал Ламбер; он задумчиво ходил взад и вперед по комнате, когда послышались два настойчивых звонка. Ламбер покраснел до корней волос: — Мой отец! Я не ждал его так рано!

— Я ухожу, — сказал Анри.

Ламбер смотрел на него со смущенным, умоляющим видом.

— Ты не хочешь поздороваться с ним?

— Ну конечно, разумеется, — с живостью откликнулся Анри.

Поздороваться — это ни к чему не обязывает; между тем Анри удалось изобразить лишь вынужденную улыбку, когда он увидел, как к нему подходит человек, который, возможно, отправил Розу на смерть и наверняка всеми силами служил немцам. Под седеющими волосами желтое, опухшее лицо освещали глаза фарфоровой голубизны, неистребимо нежной голубизны, удивлявшей на этом состарившемся лице. Месье Ламбер подождал, пока Анри сам протянет ему руку, однако заговорил первым.

— Я горел желанием встретиться с вами, — сказал он. — Жерар столько рассказывал мне о вас! — На его лице появилось подобие улыбки, которую он тут же погасил. — Как вы молоды!

Для него Ламбер звался Жераром и был всего лишь мальчиком; это выглядело естественным и в то же время странным; они были не похожи друг на друга, но по той или иной причине казалось неудивительным, что они отец и сын.

— Ламбер, вот кто действительно молод, а вовсе

не я, — с воодушевлением сказал Анри.

— Вы молоды для человека, о котором так много говорят. — Месье Ламбер сел. — Вы беседовали... Я не хотел бы мешать тебе, — сказал он, поворачиваясь к сыну, — но я закончил свои дела раньше, чем предполагал, и не знал, куда пойти; вот я и поднялся...

— И очень хорошо сделали! Хотите чего-нибудь выпить? Фруктового сока? Минеральной воды?

В предупредительности Ламбера чувствовалось явное замешательство, что еще более усугубляло неловкость Анри.

— Нет, спасибо; четыре этажа чересчур суровое испытание для моих старых костей; но здесь так покойно, — сказал он, с одобрением оглядываясь по сторонам.

— Да, Ламбер прекрасно устроился, — сказал Анри.

— Это фамильная традиция. Признаюсь, мне меньше нравятся его фантазии в одежде, — добавил месье Ламбер; голос звучал робко, но взгляд, который он остановил на черном свитере, был суров.

— У каждого свой вкус, — смущенно буркнул Ламбер. Воспользовавшись наступившим молчанием, Анри встал:

— Сожалею, но, когда вы позвонили, я как раз собирался уходить: у меня срочная работа.

— Очень жаль, — сказал месье Ламбер. — Я прочитал все, что вы написали, причем весьма внимательно, и хотелось бы обсудить с вами некоторые вещи. Боюсь только, что такой разговор интересен был бы лишь мне, — добавил он, снова пряча улыбку. В его ровном голосе, сдержанных улыбках и жестах ощущалось некое поблекшее очарование, которым, судя по всему, он отказывался пользоваться, и эта сдержанность придавала ему высокомерный и в то же время неуверенный вид.

— Нам обязательно представится случай побеседовать подольше, — сказал Анри.

— Вряд ли, — произнес старый человек.

Через несколько месяцев он несомненно окажется в тюрьме и, возможно, не выйдет оттуда живым. В свое время он был, верно, отъявленным негодяем, но теперь эта коллаборационистская шишка оказалась по другую сторону черты, из виновных месье Ламбер перешел в стан осужденных; на этот раз, пожимая ему руку, Анри улыбнулся без всякого усилия.

— Могу я встретиться с тобой завтра? — спросил Ламбер, провожая Анри в прихожую. — У меня

появилась идея.

— Хорошая идея?

— Тебе судить. Но подожди на что-то решаться, пока я не поговорю с тобой. Если я зайду около десяти часов вечера, подойдет?

— Вполне. Но только не позже, у меня встреча со Скрясиным.

— Хорошо, — сказал Ламбер. — Вторую половину дня я обещал Надин, но жди меня около десяти.

В любом случае Анри не собирался ничего решать сегодня; ему даже не хотелось думать о том, что он будет делать, и еще меньше обсуждать это. Пришлось зайти в редакцию, чтобы закончить дела, но Люку он холодно объявил, что его встреча с Трарье отложена, и сразу углубился в редактирование почты. Поль он тоже ничего не станет рассказывать; поворачивая ключ в замочной скважине ее квартиры, он желал лишь одного, чтобы она уже спала: но в какое бы время он ни возвращался, она никогда не спала. Сидя на диване в своем переливчатом шелковом платье, свежеподкрашенная, она протянула ему губы, которых он едва коснулся.

— Хорошо провел день? — спросила она.

— Очень хорошо, а ты?

Ничего не ответив, она улыбнулась.

— Что сказал Трарье?

— Он согласен.

— Тебя это действительно не смущает? — спросила она с проникновенным видом.

— Что именно?

— Что придется принять его капиталы?

— Да нет, это давно решенный вопрос, — сухо произнес он. Поколебавшись, она так ничего и не сказала. Два дня уже она пребывала в

нерешительности. Анри знал, что она думает, но не хотел помогать ей высказаться; ее осторожность раздражала его. «Она щадит меня, не хочет задевать, ждет своего часа», — с неприязнью думал он. «Полгода назад, — говорил он себе, стараясь быть беспристрастным, — когда она была веселой и агрессивной, я упрекал ее за это». И тут же делал вывод: «По сути, меня раздражает то, что она умеет вести себя». Поль чувствовала себя в опасности и пыталась защищаться, это естественно, однако ее жалкие уловки делали из нее врага. Он не уговаривал ее больше петь; она разгадала его игру и упорно отказывалась от всех встреч, о которых он для нее договаривался; но тут она просчиталась: он сердился на нее за это упрямство и, чтобы избавиться от нее, решил

теперь обойтись без ее помощи.

— Пришло письмо от Понселя, — сказала она, протягивая ему конверт.

— Полагаю, он отказывает, — молвил Анри. Пробежав глазами письмо, он передал его Поль. — Да, разумеется, он отказывает.

Дважды уже ему возвращали рукопись с испуганными комплиментами: очень значительное произведение, но скандальное, несвоевременное, невозможно брать на себя такой риск; позже, когда страсти улягутся. Разумеется, пьеса не нравилась всем тем, кому хотелось забыть прошлое, а также тем, кто желал исправить его на свой лад. Анри же очень хотел, чтобы ее поставили; ему она нравилась больше, чем любая другая его вещь. Роман перечитать нельзя, слова липнут к глазам; а вот диалог, который воплотится однажды в живые голоса, он слышал на расстоянии с отстраненным удовлетворением художника, который бросает на полотно понимающий взгляд.

— Надо, чтобы твою пьесу сыграли, — вдохновенным тоном сказала Поль.

— Я только об этом и мечтаю.

— Успеху я придаю не больше значения, чем ты, — продолжала она, — но чувствую, что ты не вернешься к своему роману до тех пор, пока не

избавишься от этой пьесы.

— Что за мысль! — удивился Анри.

— Ты так и не взялся за роман?

— Нет, но пьеса тут совсем ни при чем.

— Тогда почему? — спросила она, внимательно глядя на Анри и всем своим видом давая понять, что ей многое известно.

— Скажем, из-за лени, — улыбнулся он.

— Ты никогда не знал, что такое лень, — важно заявила она и покачала головой: — Дело тут явно во внутреннем сопротивлении.

— Работа над романом не пошла, — сказал Анри. — У меня есть желание вернуться к нему, но я знаю, что это огромный труд: вот я и не тороплюсь, больше ничего.

Она опять покачала головой:

— Где это видано, чтобы ты отступал перед препятствием.

— Ну вот, на этот раз отступаю.

— Почему ты так и не показал мне свою рукопись? — спросила Поль. — Возможно, я смогла бы дать тебе совет.

— Я сто раз говорил тебе, что мои черновики абсолютно бесформенны.

— Да, ты так сказал, — с задумчивым видом произнесла она.

— Я показал тебе свою пьесу.

— Действительно, первые черновые наброски были бесформенны, но ты показывал их мне.

Анри не ответил; в этом наброске он слишком откровенно писал о себе, о ней; роман, который он попробует извлечь из этого в ближайшее время, будет не столь нескромен. Поль надо всего лишь подождать немного. Он зевнул.

— Я засыпаю на ходу. Завтра я сюда не приду, буду ночевать в гостинице: предвижу, что Скрясин не отпустит меня до рассвета.

— Не понимаю, в чем преимущество гостиницы, будь то рассвет или сумерки, но поступай как хочешь.

Он встал, она тоже встала; это был опасный момент; поцеловав ее наспех в висок, он отворачивался к стене, притворяясь, будто мгновенно погрузился в сон; но иногда она вцеплялась в него, начинала дрожать или бормотать, и единственным способом успокоить ее было переспать с ней; ему не каждый раз это удавалось и всегда с трудом; она не могла не знать этого и, чтобы компенсировать его холодность, не щадила своего пыла, что заставляло сомневаться в истинности ее наслаждения; еще более, чем ее самозабвенное бесстыдство, Анри ненавидел ее недобросовест-

ность и смирение. К счастью, в ту ночь она вела себя спокойно, должно быть, почувствовала: что-то не так. Прислонившись щекой к прохладной подушке, Анри лежал с открытыми глазами и, перебирая минувший день, не испытывал больше гнева, а только печаль; виноват был не он, виноват Дюбрей, и эта вина, которую он не мог смягчить ни раскаянием, ни обещаниями, давила на сердце Анри тяжелее, чем если бы была его собственной.

Все бросить — такова была первая мысль Анри после пробуждения; он не позвонил Дюбрею, и в течение всего дня повторял про себя эти слова, подобно успокаивающему припеву. Обсуждать, идти на уступки, договариваться, тогда как газета была его неоспоримой вотчиной, — нет, такая перспектива вызывала у него отвращение. Анри безусловно предпочитал удалиться на лоно природы, снова вернуться к своему роману, к писательскому ремеслу: он не без интереса будет читать у камелька «Эспуар». Это был такой заманчивый проект, что, когда в десять часов вечера открылась дверь его кабинета, ему захотелось, чтобы идея, которую Ламбер пришел ему предложить, оказалась негодной.

— Вчера ты проявил великодушие, оставшись

ненадолго! — произнес Ламбер скорее с извинением, чем с благодарностью в голосе. — Отец был так доволен!

— Мне интересно было познакомиться с ним, — сказал Анри. — Вид у него усталый, однако в нем чувствуется былой шарм, да и сейчас еще кое-что осталось.

— Шарм? — удивился Ламбер. — Нет, он был властным и полным презрения; впрочем, по сути, он и сейчас такой же.

— О! Нетрудно себе представить, что с ним было нелегко!

— Нет, совсем нелегко, — согласился Ламбер, махнув рукой, словно прогоняя воспоминания. — Есть что-нибудь новое относительно газеты?

— Ничего.

— Тогда слушай, что я тебе предлагаю, — сказал Ламбер; он вдруг смутился: — Ты, может быть, не захочешь.

— Давай выкладывай.

— Ты и Люк против Самазелля и Трарье: вы рискуете быть съеденными, но предположим, что я буду вместе с вами?

— Ты?

— У меня хватит денег, чтобы выкупить столько же акций, что и Самазелль; тогда, при условии,

что решения принимаются большинством голосов, нас будет трое против двух, мы выиграли.

— Ты сомневался, оставаться ли тебе в журналистике?

— Это ремесло не хуже любого другого; и потом, «Эспуар» и для меня тоже была маленькой эпопеей, — заметил Ламбер с притворной иронией в голосе.

Анри улыбнулся:

— Мы не всегда сходимся политически.

— Плевал я на политику, — сказал Ламбер. — Я хочу, чтобы ты сохранил свою газету; во всяком случае, у тебя будет мой голос. Впрочем, я не теряю надежды, что ты переменишься, — весело добавил он. — Нет, главное, это знать, согласится ли Трарье.

— Он должен быть доволен, заполучив такого прекрасного репортера, — сказал Анри. — Хорошо, что ты не отказался от репортажа, — добавил он, — твои статьи о Голландии необычайно удачны.

— А все благодаря Надин, — сказал Ламбер, — ее это так увлекает, что и я вместе с ней увлекаюсь. — Он с тревогой взглянул на Анри. — Думаешь, Трарье согласится?

— Полагаю, если я уйду, им будет досадно; а

если я соглашусь на Самазелля, они наверняка сделают мне уступку.

— Судя по виду, ты не в восторге? — немного разочарованно спросил Ламбер.

— Ах, вся эта история мне осточертела! — ответил Анри. — Я сам не знаю, чего хочу... Ты на мотоцикле? — спросил он, намеренно переводя разговор на другую тему.

— Да, хочешь, чтобы я подвез тебя куда-нибудь?

— Отвези меня на улицу Лилля, Скрясин проживает у матушки Бельзонс.

— Он спит с ней?

— Не знаю. Клоди всегда привечает кучу писателей и артистов, не знаю, с кем из них она спит.

— Ты часто видишь Скрясина? — спросил Ламбер, когда они спускались по лестнице.

— Нет, — отвечал Анри, — время от времени он настоятельно требует меня; раз десять увильнув, я под конец являюсь.

Они сели на мотоцикл, который с шумом проследовал по набережным Сены. Анри с некоторым сожалением смотрел в затылок Ламберу. Это было мило, то, что он предложил; ему совсем не хотелось входить в состав газеты, он делал это исключительно ради того, чтобы оказать услугу

Анри. «А я не поблагодарил его как следует, — подумал Анри; но, по правде говоря, он вовсе не был ему признателен. — Самое лучшее — бросить. Я, конечно, предпочел бы все бросить», — твердил он про себя. Сохранить газету, остаться в СРЛ — это означало продолжать работать рука об руку с Дюбреем, разве можно работать рука об руку, когда на сердце столько обиды; он не нашел в себе силы порвать с треском, но и дружбу изображать не станет. «Нет, этому конец», — сказал он себе, когда мотоцикл остановился перед особняком Бельзонс.

— Что ж, я покидаю тебя, — разочарованно сказал Ламбер.

Анри заколебался; ему не хотелось так быстро расставаться с Ламбером после того, как он столь холодно принял его предложение, сделанное от всего сердца.

— Тебе интересно будет пойти со мной? — спросил Анри.

Лицо Ламбера просияло: он обожал встречаться с известными людьми.

— Очень было бы интересно, но, может, это бестактно?

— О! Вовсе нет. Будем пить водку в каком-нибудь цыганском кабаке, и, если ему захочется,

Скрясин пригласит всех музыкантов. С ним нечего стесняться.

— Мне кажется, он меня недолюбливает.

— Зато любит компанию людей, которых не любит. Пошли, — с чувством сказал Анри.

Они обогнули большое здание, во всех окнах которого горел свет; слышалась джазовая музыка. Анри позвонил в маленькую боковую дверь, и Скрясин открыл. Он тепло улыбнулся, причем присутствие Ламбера его, казалось, никоим образом не удивило.

— Клоди устроила коктейль, это ужасно, в доме полно всяких проходимцев, так что некуда податься. Входите, а потом потихоньку сбежим.

Ворот его рубашки был широко распахнут, застывший взгляд затуманился. Они поднялись на несколько ступенек; в глубине коридора открылась какая-то дверь в ярко освещенную комнату, послышалось чье-то шушуканье.

— У тебя кто-то есть? — спросил Анри.

— Это сюрприз, — с довольным видом ответил Скрясин.

Анри не без опаски последовал за ним. Увидев их, он невольно отпрянул: Воланж и Югетта. Луи радушно протянул ему руку. Он почти не изменился; морщины на лбу стали немного глубже,

чем раньше, подбородок более твердый: прекрасное лицо, тщательно выточенное для потомства. Анри мгновенно вспомнил, как не раз обещал себе, читая угодливые статьи, которые писал Луи в свободной зоне, двинуть когда-нибудь ему кулаком в челюсть, но тоже протянул ему руку.

— Я страшно рад тебя видеть, старина, — сказал Луи. — Я никогда не решаюсь беспокоить тебя, знаю, как ты сильно занят; но мне часто хочется поболтать с тобой.

— Вы совсем не изменились, — заметила Югетта.

Она тоже не изменилась; такая же белокурая, прозрачная, элегантная, как прежде, и улыбалась все той же приторной улыбкой; она никогда не изменится, но однажды ее слегка коснутся пальцем, и она рассыплется в прах.

— Дело в том, что я никого не вижу, — сказал Анри. — Работаю как зверь.

— Да, у тебя, должно быть, скверная жизнь, — посочувствовал Луи. — Но зато ты создал себе первоклассное положение в литературе. Впрочем, меня это не удивляет, я всегда был убежден, что ты в конце концов добьешься признания. Тебе известно, что на черном рынке твоя книга стоит около трех тысяч?

— В настоящее время все книги продаются как сосиски, — ответил Анри.

— Это верно. Но на тебя были удивительные рецензии, — заметил Луи поощрительным тоном; он улыбнулся. — Надо сказать, что ты напал на золотой сюжет; тебе везет. С таким сюжетом книга пишется сама собой.

У Луи сохранилась его беспечная улыбка, однако в голосе появилась некая услужливость, которая никак не вязалась с его прежними решительными манерами.

— А ты? Что с тобой сталось? — спросил Анри.

Он испытывал смутный стыд, не слишком хорошо понимая, кого стыдится: Луи или самого себя.

— Надеюсь на литературную рецензию в еженедельнике, который скоро выйдет, — ответил Луи, разглядывая ногти.

— Бежим отсюда, — в нетерпении предложил Скрясин. — Эта музыка невыносима. Пошли выпьем немного шампанского в «Избе».

— Я думал, ты больше не заглядываешь в этот притон после того, как они выпотрошили твой бумажник.

Скрясин ухмыльнулся:

— Красть — это их ремесло; дело клиента — защищаться.

Анри заколебался; он покажется грубияном, но почему ему пытаются навязать свою волю? Он решительно не желал проводить вечер с Луи.

— Я, во всяком случае, не смогу с тобой пойти, — сказал он. — Я забежал потому, что обещал прийти, но мне надо вернуться в редакцию.

— Я не терплю ночных кабаре, — заявил Луи. — Останемся лучше здесь.

— Как хотите, — ответил Скрясин. Он с несчастным видом взглянул на Анри: — У тебя есть время выпить стаканчик?

— Ну конечно, — сказал Анри.

Открыв шкаф, Скрясин достал оттуда бутылку виски.

— Осталось немного.

— Я не пью, Югетта тоже, — сказал Луи. На пороге появилась Клоди.

— Это прелестно! — заявила она, указывая на Скрясина. — Он является на мой коктейль полупьяный, нападает на моих гостей и разных интересных людей, уводит их потихоньку! Никогда больше я не приму у себя русского...

— Не кричите так, — попросил Скрясин. — А то явится сверчок. Сверчок — это трубный глас, — со вздохом добавил он.

Клоди закрыла дверь.

— Я остаюсь с вами, — решительно заявила она. — Хозяйкой дома будет моя дочь.

Наступило неловкое молчание. Луи предложил всем американские сигареты.

— А что вы делаете в настоящий момент? — благосклонно обратилась к Анри Клоди.

— Обдумываю другой роман, — ответил Анри.

— Анна сказала мне, что вы написали великолепную пьесу, — сказала Клоди.

— Я написал пьесу и уже от трех директоров получил отказ, — весело отвечал Анри.

— Надо вас познакомить с Люси Бельом, — сказала Клоди.

— Люси Бельом? Это еще кто?

— Вы поразительны; вас все знают, а вы никого не знаете. Она руководит домом моды «Амариллис», большим домом моды, о котором все говорят.

— Не понял.

— Лулу — любовница Риштера, жена которого развелась, чтобы выйти за Вернона; а Верной — директор «Студии 46».

— Я опять-таки не понял. Клоди рассмеялась.

— Верной беспрекословно повинуется своей жене, чтобы та простила его мужские привязанности, потому что он самый настоящий педик; а

Жюльетта осталась в приятельских отношениях с бывшим мужем, который беспрекословно слушается Лулу. Улавливаете?

— Ясно, — сказал Анри. — Но какой интерес в этой истории вашей Лулу?

— У нее прелестная дочь, из которой она пытается сделать актрису. В вашей пьесе наверняка есть женская роль?

— Да. Но...

— С вашими «но» далеко не уедешь. Говорю вам, малютка прелестна. Когда вы придете ко мне, я вам ее представлю. Вы всегда пропускаете мои четверги, но я попрошу вас об одной услуге, в которой вы не сможете мне отказать, — напористо заявила Клоди. — Я занималась приютом для детей депортированных, а это стоит дорого, слишком дорого для меня одной. И вот я организую ряд лекций с добровольными лекторами. Снобы, готовые выложить две тысячи франков, чтобы увидеть вас живьем, прибегут толпой, я не сомневаюсь. Я записываю вас на одну из первых встреч.

— Ненавижу такого рода рауты.

— Для детей депортированных вы не можете отказать; даже Дюбрей согласится.

— А ваши филантропы не могут выложить две

тысячи франков, никому не досаждая?

— Могут, но только один раз, а не десять. Милосердие — вещь прекрасная, но оно должно окупаться. Таков принцип благотворительных праздников. — Клоди засмеялась: — Посмотрите на Скрясина, какой у него сердитый вид; он считает, что я завладела вами!

— Прошу прощения, — сказал Скрясин. — Но мне действительно хотелось бы поговорить с Перроном.

— Говорите! — заявила Клоди. Она села на канапе рядом с Югеттой, и они принялись болтать вполголоса.

Скрясин подошел к Анри.

— Ты утверждал недавно, что, присоединившись к СРЛ, «Эспуар» не перестанет говорить правду.

— Да, — сказал Анри. — И что?

— А то, что именно поэтому я и хотел срочно с тобой увидеться. Если я предоставлю тебе неопровержимые факты, изобличающие советский режим, в которых ты не сможешь усомниться, ты обнародуешь их?

— О! «Фигаро» наверняка обнародовало бы их раньше меня, — со смехом возразил Анри.

— У меня есть друг, который вернулся из Бер-

лина, — продолжал Скрясин. — Он сообщил мне точные факты относительно того, каким образом русские задушили в зародыше немецкую революцию. Огласить их должна левая газета. Ты готов это сделать?

— Что он рассказывает, твой приятель? — спросил Анри. Скрясин обвел взглядом всех присутствующих.

— В самых общих чертах вот что, — начал он. — Некоторые берлинские предместья даже при Гитлере упорно оставались коммунистическими. Во время берлинской битвы рабочие Кепеника, Красного Веддинга заняли заводы, подняли красный флаг и организовали комитеты. Это могло бы стать началом большой народной революции, освобождением трудящихся своими силами, оно уже разворачивалось; комитеты готовы были предоставить кадры для нового режима. — Скрясин сделал паузу. — А что случилось вместо этого? Из Москвы явились бюрократы, разогнали комитеты, уничтожили первооснову и установили государственный аппарат, а иными словами — оккупационный аппарат. — Скрясин остановил свой взгляд на Анри: — Это о чем-то говорит? Пренебрежение к людям, бюрократическая тирания в чистом виде!

— Ты не сообщил мне ничего нового, — возразил Анри. — Но забыл сказать, что этими бюрократами были укрывшиеся в СССР немецкие коммунисты, которые давно уже создали в Москве комитет свободной Германии: у них все-таки было больше прав, чем у людей, которые восстали лишь во время падения Берлина. Да, среди рабочих наверняка были настоящие коммунисты, но поди разберись в этом, когда шестьдесят миллионов нацистов хором твердят, что они всегда были против режима! Я понимаю, почему русские не поверили. Это, однако, не доказывает, что они вообще пренебрегают первоосновой.

— Я в этом не сомневался! — воскликнул Скрясин. — Нападать на Америку — это пожалуйста, вы всегда готовы, но открыть рот против СССР никого не найдется.

— Это же очевидная истина: они были правы, действуя таким образом! — сказал Анри.

— Я не понимаю! — возмутился Скрясин. — Ты действительно слеп? Или просто боишься? Дюбрей подкуплен, это всем известно. Но ты!

— Дюбрей подкуплен! Ты сам в это не веришь! — возразил Анри.

— О! Компартия покупает вас не деньгами, —

сказал Скрясин. — Дюбрей старый, он знаменит, буржуазную публику он уже завоевал, теперь ему нужны массы.

— Ступай расскажи активистам СРЛ, что Дюбрей коммунист! — предложил Анри.

— СРЛ! Сущее надувательство! — сказал Скрясин, с усталым видом откинув голову на спинку кресла.

— Тебе не кажется удручающим, что нельзя больше провести вечер в кругу друзей, не обсуждая политику? — с улыбкой обратился Луи к Анри. — Заниматься политикой — ладно, куда ни шло, но зачем постоянно говорить о ней?

Через голову Скрясина он пытался вернуть согласие, объединявшее его с Анри в молодости; Анри тем более это раздражало, что он и сам придерживался того же мнения.

— Я совершенно согласен, — с досадой произнес он.

— В конце концов все забудут, что на земле существуют иные вещи, — сказал Луи, стыдливо разглядывая свои ногти. — Вещи, которые зовутся красотой, поэзией, истиной. Никто этим больше не интересуется.

— Есть еще люди, которых это интересует, — возразил Анри. А про себя подумал: «Мне сле-

довало бы высказаться, следовало бы заявить ему, что у нас больше нет ничего общего». Однако нелегко без очевидного повода оскорбить старинного своего друга. Он поставил стакан, собираясь встать и уйти, но тут слово взял Ламбер.

— Кто же, например? — с жаром произнес он. — Во всяком случае, не в «Вижиланс». Чтобы вы приняли текст, он должен быть напичкан политикой, если же он просто красив и поэтичен, вы никогда его не опубликуете.

— Такой упрек я тоже готов сделать в адрес «Вижиланс», — заметил Луи. — Разумеется, можно писать великолепные книги на политические темы, пример тому твой роман, — добавил он учтиво. — Но я счел бы желательным, чтобы чистой литературе вернули ее права.

— Для меня эти слова лишены всякого смысла, — сказал Анри. И добавил язвительно: — Известно, куда это ведет, когда пытаются отделить литературу от всего прочего.

— Все зависит от времени, — возразил Луи. — В сороковом я безусловно был не прав, решив, что можно отстраниться от политики; поверь, я понял всю глубину своей ошибки, — добавил он проникновенным тоном. — Но сегодня, мне кажется, вновь появилась возможность писать

просто так, для собственного удовольствия.

Он смотрел на Анри вопросительно и в то же время с почтением, словно и в самом деле добивался у него разрешения; эта притворная почтительность окончательно вывела Анри из себя; однако устраивать скандал было ни к чему.

— Каждый волен выбирать, — сухо сказал он.

— Не так уж волен! — возразил Ламбер. — Ты не отдаешь себе отчета, как трудно идти против течения.

Луи сочувственно кивнул:

— Это тем более трудно, что сегодня все направлено к тому, чтобы убедить личность: она ничего собой не представляет; если бы она вновь обрела себя, то вместе с тем обрела бы множество вещей; однако это порочный круг: ей не дают никаких возможностей.

— Нет, не дают, — с жаром подхватил Ламбер. Он с воодушевлением взглянул на Анри. — Помнишь, однажды в «Скрибе» мы об этом спорили; я говорил тебе, что каждый должен проявлять к себе интерес: я и сейчас так думаю. Если человек считает, что ни на что не годен, ничего собой не представляет и ни на что не имеет права, как ты думаешь, что из него получится? Посуди сам: Шансель нарочно дал себя убить, Сезенак при-

нимает наркотики, Венсан пьет, Лашом продал свою душу компартии...

— Ты все путаешь! — возразил Анри. — Не вижу, что могла бы дать литература Венсану или Сезенаку. Что же до твоих историй с потерянной и обретенной личностью, — сказал он, обращаясь к Луи, — то это пустая болтовня. Есть личности, которые что-то собой представляют, и есть другие, ничего собой не представляющие: все зависит от того, что они делают со своей жизнью. Когда ты молод, то еще не знаешь, что из нее получится, и потому досадуешь, но как только чем-то заинтересуешься — чем-то, кроме себя, — проблемы исчезают сами собой.

Он говорил с возмущением. Его раздражало то, что Ламбер придавал значение разглагольствованиям Луи. Он встал:

— Мне пора идти. Скрясин выпрямился.

— Ты действительно решил не принимать во внимание мою информацию?

— Никакой информации ты мне не сообщил, — ответил Анри.

Скрясин налил себе стакан виски и залпом выпил его; потом снова схватил бутылку. Поспешно подошла Клоди и положила ладонь ему на руку.

— Думаю, папаша Виктор уже достаточно вы-

пил!

— Вы что же думаете, я пью для собственного удовольствия? — громко крикнул Скрясин.

— А что, тоже неплохая была бы причина, — улыбнулся Анри.

— Только так я могу забыть! — сказал Скрясин, наполняя свой стакан.

— Забыть о чем? — растерянно спросила Югетта.

— Через два года русские оккупируют Францию, и вы встретите их на коленях, — заявил Скрясин.

— Через два года! — воскликнула Югетта.

— Да ничего подобного, — возразил Анри.

— Вы уже начали отдавать им Европу, вы все пособники! — заявил Скрясин. — Вот она, правда: вы боитесь, вы предаете, потому что боитесь.

— Правда в том, что твоя ненависть к СССР ударяет тебе в голову, — заметил Анри. — Ты извращаешь факты, распространяешь всякие небылицы. Это грязное дело. Нападая на СССР, ты нападаешь на социализм.

— Ты прекрасно знаешь, что СССР не имеет больше ничего общего с социализмом, — заплетающимся языком произнес Скрясин.

— Только не говори мне, что Америка ближе к нему! — возразил Анри. Скрясин посмотрел на

Анри покрасневшими от злости глазами.

— И ты считаешь себя моим другом! А сам защищаешь режим, который приговорил меня к смерти! В тот день, когда они расстреляют меня, ты объяснишь в «Эспуар», что у них были на то веские причины!

— Боже мой! — сказал Анри. — То бывшие борцы, которые и так уже всем набили оскомину! А теперь еще объявились и будущие расстрелянные!

Скрясин посмотрел на Анри с ненавистью. Он схватил свой наполовину полный стакан и с силой запустил им в него; Анри увернулся, и стакан разбился о стену{88}.

— Тебе следовало бы пойти спать, — сказал Анри, направляясь к двери. Он помахал рукой: — Привет.

— Не стоит на него сердиться, — вмешалась Клоди. — Он пьян.

— Это заметно.

Обхватив голову руками, Скрясин снова упал в кресло.

— Ну и сцена! — сказал Анри, очутившись с Ламбером во дворе особняка.

— Да. Я согласен с Воланжем: политические споры следовало бы запретить.

— Скрясин не спорит, он пророчествует.

— О! В любом случае всегда все только так и происходит, — заметил Ламбер. — Бросают друг другу стаканы в голову и даже не знают, о чем речь. Вы оба не знаете, что творится в Восточной Германии. Он пристрастен, выступая против СССР, а ты пристрастен, выступая за.

— Я не пристрастен. Я сильно подозреваю, что в СССР не все гладко, удивительно было бы, если было б иначе. Но, в конце концов, именно они на правильном пути.

Ламбер поморщился и ничего не ответил.

— Я задаюсь вопросом, чего ожидал Скрясин от этой встречи, — сказал Анри. — Должно быть, Луи подбросил ему эту мысль: он надеется, что я помогу ему реабилитировать себя.

— Возможно, он снова хочет стать твоим другом, — молвил Ламбер.

— Луи? Скажешь тоже.

Ламбер с недоумением смотрел на Анри.

— Прежде это был твой лучший друг?

— Забавная дружба, — ответил Анри. — В лицей Тюля он приехал из Парижа и, конечно, пустил мне пыль в глаза, а меня счел не такой деревенщиной, как другие. Но мы никогда не любили друг друга.

— Я нахожу его симпатичным, — заметил Ламбер.

— Ты находишь его симпатичным, потому что политика наводит на тебя тоску, а он защищает чистую литературу. Но разве ты не понимаешь, почему он это делает?

Ламбер заколебался.

— Не важно, по какой причине, но то, что он говорит, — правда. Существуют личные проблемы, и их нелегко разрешить, когда все вокруг твердят, что вы напрасно ставите их перед собой.

— Я никогда не утверждал этого, — сказал Анри, — их надо ставить, согласен. Я только говорю, что их нельзя отделять от других проблем. Чтобы знать, кто ты есть и что хочешь делать, надо определить, какую позицию ты занимаешь в мире.

Ламбер сел на мотоцикл, Анри — позади него. «Прошел всего один год, — подумал он, — и вот уже люди, подобные Воланжу, возвращаются с надменностью грешника, уверенного в том, что он стоит девяноста девяти праведников. А так как говорят они не то, что мы, Ламбер и парни его возраста поверят, будто они несут им нечто новое. Их это прельстит. Нельзя этого допускать, — подумал Анри. — Надо помешать им всеми способами». Как только мотоцикл остановился,

он тепло сказал Ламберу:

— Знаешь, я с признательностью принимаю твое предложение; у тебя появилась замечательная идея: мы останемся хозяевами у себя!

— Ты согласен? — со счастливым видом спросил Ламбер.

— Разумеется. Вся эта история расстроила меня, потому-то я и не запрыгал от радости. Но конечно же я очень доволен возможностью сохранить газету!

— Думаешь, Трарье пойдет на это? — спросил Ламбер.

— Вынужден будет, — сказал Анри. Он горячо пожал руку Ламберу: — Спасибо. До завтра.

«Нет, сейчас не время задирать друг друга», — подумал Анри, входя к себе в номер. Его обида на Дюбрея угаснет не скоро; однако это не препятствует общей работе, вопросы чувств стоят на втором месте. Главное — помешать возвращению Воланжей, выиграть дело. Он закурил сигарету. Хорошая вещь для Ламбера — войти в состав совета «Эспуар»; Анри постарается теснее приобщать его к жизни газеты; Ламбер сформируется политически, почувствует себя гораздо менее потерянным в мире, и, полностью погрузившись в работу, уже не будет спрашивать себя, что делать

со своей жизнью.

«И то верно, нелегко быть молодым в наше время», — подумал Анри. Он решил провести в ближайшие дни серьезную беседу с Ламбером. «Но что мне ему все-таки сказать?» Он начал раздеваться. «Если бы я был коммунистом или христианином, то не испытывал бы подобного затруднения, — говорил он себе. — Мораль универсальную можно попытаться навязать. Но смысл, который придают собственной жизни, — это дело другое. В нескольких фразах на сей счет не объяснишься: пришлось бы заставить Ламбера видеть мир моими глазами». Анри вздохнул. Вот чему служит литература: показывать другим мир, каким видишь его сам; беда в том, что он попытался это сделать и потерпел неудачу. «А я действительно пытался?» — спросил себя Анри. Он закурил вторую сигарету и сел на край кровати. Ему хотелось написать книгу, ничем не мотивированную: просто так, без необходимости, без причин, неудивительно, что она быстро ему надоела. К тому же он обещал себе быть искренним, но был всего лишь снисходительным; он намеревался говорить о себе, не относя себя ни к прошлому, ни к настоящему, в то время как правда его жизни заключалась не в нем самом, а в

событиях, в людях, в разных вещах; чтобы рассказать о себе, надо говорить и обо всем остальном. Он встал и выпил стакан воды. В данный момент он заявляет, потому что его это устраивает, будто литература не имеет больше смысла, однако он написал пьесу, которой остался доволен. Пьесу, которая расположена во времени и пространстве и которая что-то означала: вот почему он ею доволен. А почему бы не начать роман, расположенный во времени и пространстве, который что-то будет означать? Поведать сегодняшнюю историю, в которой читатели найдут отражение своих забот, своих проблем. Не доказывать, не поучать, а свидетельствовать. Он долго не мог заснуть.

Дюбрею не удалось переубедить Трарье и Самазелля. Но они безусловно не поняли, какую гарантию давало Анри присутствие в редакционном совете Ламбера, а может, они опасались скандала, который пагубно отразился бы на СРЛ, либо вообще не питали никаких коварных замыслов: во всяком случае, они без труда согласились с предложенной Анри комбинацией. В газете никто не обеспокоился переменой, казавшейся чисто административной. Никто, за исключением Венсана. Он явился в редакционную комнату

в тот момент, когда Анри с Люком находились там одни, и зло набросился на них:

— Я не понимаю, что происходит.

— Все очень просто! — отвечал Анри.

— Я не знаю этого Трарье, но человек, у которого столько денег, наверняка опасен. Лучше было бы обойтись без него.

— Мы не могли, — сказал Анри.

— А зачем ты ввел в совет Ламбера? — спросил Венсан. — Тебя ждут неприятные неожиданности. Как подумаю, что он помирился с отцом, зная то, что знает он!

— Нет никаких доказательств того, что старик выдал Розу, — сказал Анри. — Перестань судить о людях сгоряча. Я знаю Ламбера и полностью доверяю ему.

Венсан пожал плечами:

— Это дело приводит меня в уныние!

— Надо признать, что мы просчитались, — вздохнул Люк.

— В чем? — спросил Анри.

— Во всем, — ответил Люк. — Можно было надеяться, что какие-то вещи изменятся, и вот опять: только деньги имеют значение.

— Не могло все так быстро измениться, — заметил Анри.

— Ничего никогда не меняется! — сказал Венсан. Внезапно повернувшись, он пошел к двери.

— Венсан не знает, что я поставил тебя в известность? — с тревогой спросил Люк.

— Нет, — ответил Анри. — Я ничего ему не сказал и ничего не скажу. Зачем?

В день, назначенный для подписания контракта, Поль, несмотря на мягкость ноябрьской погоды, развела в камине большой огонь и, рассеянно помешивая угли, спросила:

— Ты окончательно решил подписать?

— Окончательно.

— Почему?

— У меня нет выбора.

— Выбор всегда есть, — сказала она.

— Но не в данном случае.

— Почему же? — Выпрямившись, она повернулась лицом к Анри: — Ты мог бы уйти!

Ну вот, наконец-то она исторгла эти слова, которые многие дни неловко удерживала; неподвижная, сжимая руками концы своей шали, она казалась мученицей, предлагавшей свое тело на съедение хищникам. Голос ее окреп:

— Я считаю, что элегантнее было бы просто уйти.

— Если бы ты знала, до какой степени мне пле-

вать на элегантность.

— Пять лет назад ты бы не колебался, ты бы ушел. Он пожал плечами:

— За пять лет я многому научился, а ты нет?

— Чему ты научился? — произнесла она театральным тоном. — Договариваться, идти на уступки.

— Я объяснил тебе, по каким причинам я согласился.

— О! Причины всегда найдутся, без причины никто себя не компрометирует. Однако надо уметь отметать причины. — Лицо Поль исказилось, в глазах застыла растерянная мольба. — Ты все предвидел, ты выбирал самые трудные пути, одиночество, чистоту: святой Георгий Пизанелло{89} в бело-золотых одеждах, мы говорили, что это ты...

— Это ты говорила...

— Ах! Не отрекайся от нашего прошлого! — воскликнула она.

— Я ни от чего не отрекаюсь, — в сердцах ответил он.

— Ты отрекаешься от самого себя, ты изменяешь своим убеждениям. И я знаю, кто в этом виноват, — с негодованием добавила она. — Придется мне как-нибудь с ним объясниться.

— Дюбрей? Но это же нелепо; ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понять: меня нельзя заставить делать то, чего я не хочу.

— Иногда у меня создается впечатление, будто я тебя совсем не знаю, — сказала она, с отчаянием глядя на Анри, и растерянно добавила: — Это действительно ты?

— Думается, да, — ответил он, пожав плечами.

— Но ты сам в этом не уверен. Я вспоминаю тебя... Он резко оборвал ее:

— Перестань искать меня в прошлом. Сегодня я не менее реален, чем вчера.

— Нет. Я знаю, в чем наша истина, — вдохновенно произнесла она. — И я буду отстаивать ее вопреки всему.

— В таком случае мы никогда не перестанем спорить! Я изменился, постарайся понять это. Люди меняются, Поль. Идеи тоже меняются, и чувства тоже. Придется тебе в конце концов смириться с этим.

— Никогда, — сказала она. Слезы выступили на глазах Поль. — Поверь, я больше тебя страдаю от этих споров; я не боролась бы с тобой, если бы меня не вынуждали.

— Никто тебя не вынуждает.

— У меня тоже есть свое предназначение, — с

ожесточением сказала она, — и я выполню его. Я не позволю, чтобы тебя сбивали с твоего пути.

Против столь громких слов он ничего не мог возразить и лишь угрюмо пробормотал:

— Знаешь, что произойдет? В конце концов мы возненавидим друг друга.

— Ты сможешь возненавидеть меня? — Поль закрыла лицо руками, потом подняла голову. — Если надо, во имя любви к тебе я вынесу даже ненависть, — заявила она.

Ничего не ответив, он пожал плечами и пошел к себе в комнату. «Надо кончать с этим. Я хочу покончить с этим», — с жаром сказал он себе.

В ноябре СРЛ поддержало требования Тореза; взамен коммунисты снова проявили к движению некоторую благосклонность, и на заводах опять начали читать «Эспуар»; но идиллия продолжалась недолго. Коммунисты злобно раскритиковали статью, в которой Анри упрекал их за голосование в пользу ста сорока миллиардов военных кредитов, и статью, где Самазелль подчеркивал их разногласия с социалистами в отношении политики трех великих держав. Они отреагировали, стараясь подорвать СРЛ изнутри и подвергая его всевозможным нападкам. Самазелль хотел откровенно отмежеваться от них: по

его мнению, СРЛ следовало преобразиться в партию и выставить на июньских выборах{90} своих кандидатов. Его предложение было отвергнуто, но комитет решил воспользоваться выборами, чтобы выработать по отношению к компартии менее пассивную политику и начать кампанию.

— Мы не хотим ослаблять компартию, однако желаем, чтобы она изменила свою линию, — заключил Дюбрей. — Вот удобный случай получить перевес над ней. То, что мы говорим лишь от своего имени, ее почти не трогает; но что касается рядовых масс, она вынуждена с ними считаться. Мы будем склонять людей голосовать за левые партии, но выставляя свои условия. В настоящий момент у пролетариата множество претензий к коммунистам: если мы направим это недовольство в определенное русло, если нам удастся обратить его в конкретные требования, у нас появится шанс заставить руководство изменить образ действий.

Когда Дюбрей принимал какое-то решение, создавалось впечатление, будто вся предыдущая его жизнь была подчинена именно ему: Анри еще раз удостоверился в этом, когда после конца заседания они, как всегда по субботам, отправились ужинать в маленький ресторанчик на

набережной. Дюбрей изложил Анри статью, которую собирался написать той же ночью; можно было подумать, что он давно замышлял ее, собираясь опубликовать именно сейчас. В первую очередь он ставил в упрек коммунистам поддержку англосаксонского займа: да, это ускорит возвращение благополучия, однако рабочие не получат никаких преимуществ.

— И вы считаете, что эта кампания действительно может оказать влияние? — спросил Анри.

Дюбрей пожал плечами:

— Посмотрим. Во время Сопротивления вы утверждали, что действовать следует так, словно эффективность предстоящего действия гарантирована: это был хороший принцип, и я его придерживаюсь.

Внимательно посмотрев на Дюбрея, Анри подумал: «Не такой ответ дал бы он в прошлом году». В последнее время Дюбрей определенно был озабочен.

— Иными словами, вы ни на что особо не надеетесь? — спросил Анри.

— О! Послушайте: надеяться, не надеяться — это так субъективно, — сказал Дюбрей. — Если следовать своим настроениям, конца этому не будет,

мы станем похожи на Скрясина. Когда принимаешь решение, смотреть следует не внутрь себя.

В его голосе, его улыбке ощущалась некая отрешенность, которая прежде растрогала бы Анри; но после ноябрьского кризиса он целиком утратил по отношению к Дюбрею сердечную теплоту. «Если он так доверительно говорит со мной, то потому, что нет Анны; ему нужно проверить на ком-то свою мысль», — подумал он. В то же время Анри немного упрекал себя за неприязнь.

Дюбрей опубликовал в «Эспуар» серию крайне суровых статей, на которые коммунисты ответили с раздражением. Позицию СРЛ сравнивали с позицией троцкистов, отказавшихся участвовать в Сопротивлении под предлогом того, что оно служит английскому империализму. Но, несмотря на все это, полемика, в которой компартия и СРЛ взаимно обвиняли друг друга в непонимании истинных интересов рабочего класса, сохраняла относительно вежливый тон. Но однажды в четверг Анри с изумлением прочитал в «Анклюм» статью, где Дюбрей подвергался крайне резким нападкам. Критиковали эссе, которое он начал публиковать в «Вижиланс»: ту самую главу из книги, о которой Дюбрей рассказывал Анри несколько месяцев назад и которая лишь

косвенно затрагивала политические вопросы; на основании этого против него без видимой причины выдвинули настоящее обвинение: оказывается, он был сторожевым псом капитализма, врагом рабочего класса[91].

— Что на них нашло? И как Лашом допустил публикацию этой статьи? Она отвратительна, — сказал Анри.

— С его стороны тебя это удивляет? — спросил Ламбер.

— Да. И тон статьи тоже меня удивляет. В настоящий момент веет скорее взаимной терпимостью.

— А я не так уж удивлен, — заметил Самазелль. — За три месяца до выборов они не станут обливать грязью такую газету, как «Эспуар», ее читают тысячи рабочих, в том числе и коммунисты. В отношении самого СРЛ — то же самое, в их интересах пощадить движение. Другое дело Дюбрей: скомпрометировать его в глазах левой интеллектуальной молодежи — польза немалая.

Явное удовлетворение Самазелля и Ламбера раздосадовало Анри. Он почувствовал, что разозлился немного, когда два дня спустя Ламбер сказал ему с радостным и чуть ли не задорным видом:

— Я от души повеселился, написав ответ на статью в «Анклюм». Вот только не знаю, пропустишь ли ты ее?

— А в чем дело?

— Видишь ли, я не высказался ни за, ни против Лашома или Дюбрея: Дюбрей получил по заслугам, впредь будет знать, как вести двойную игру. Если он интеллектуал, то пусть не приносит в жертву политике добродетели интеллектуала, а если он считает их ненужной роскошью, то пусть предупредит, и тогда мы поищем свободную мысль в другом месте.

— Я и правда сомневаюсь, смогу ли напечатать это в «Эспуар», — сказал Анри. — Впрочем, ты несправедлив. Но все-таки покажи.

Статья была написана ловко, язвительно и порой по существу, несмотря на всю свою недоброжелательность; Ламбер был невоздержан в нападках на коммунистов и крайне оскорбителен по отношению к Дюбрею.

— У тебя дар памфлетиста, — сказал Анри. — Блистательная штука, но для публикации непригодна.

— То, что я говорю, — неверно? — спросил Ламбер.

— Верно, что Дюбрей раздваивается, но меня

удивляет, что ты упрекаешь его за это. Знаешь, я ведь такой же, как он.

— Ты? Но это лишь из лояльности к нему, — возразил Ламбер. Он положил бумаги в карман. — Заметь, я вовсе не держусь за свою статейку, и все-таки забавно: если бы я захотел опубликовать ее, у меня нет возможности. Для «Эспуар» или «Вижиланс» я слишком ярый антикоммунист, а для правых я чересчур левый.

— Это первая статья, которую я отказываюсь принять у тебя, — заметил Анри.

— О! Репортажи, критические заметки — это годится везде. Но как только я захочу сказать то, что думаю, о чем-то важном, ты сможешь выразить мне лишь сожаление.

— Тебе остается попробовать, — дружески посоветовал Анри. Ламбер улыбнулся:

— К счастью, мне нечего особо сказать, во всяком случае, ничего важного.

— Ты не пробовал писать другие новеллы? — спросил Анри.

— Нет.

— Ты слишком быстро пришел в уныние.

— Не знаю, что приводит меня в уныние, — с внезапной враждебностью ответил Ламбер. — Довольно, пожалуй, увидеть в «Вижиланс» рассказ

юного Пельвея. Если тебе нравится такая литература, я уже больше ничего не понимаю.

— Тебе не кажется это интересным? — удивился Анри. — Есть ощущение Индокитая, ощущение того, что такое колонист, и в то же время ощущение детства.

— Скажите прямо, что «Вижиланс» не печатает ни романов, ни новелл, а только репортажи, — заметил Ламбер. — Достаточно, чтобы человек провел свое детство в колониях и был против: вы сразу объявите, что у него талант.

— У Пельвея он есть, — сказал Анри. — Суть в том, что гораздо интереснее рассказывать что-нибудь, чем не рассказывать ничего, — добавил он. — Недостаток твоих новелл в том, что ты предпочел ничего не рассказывать. Если бы ты поведал о твоем опыте так, как этот парень говорит о своем, возможно, ты написал бы отличную вещь.

Ламбер пожал плечами:

— Я тоже собирался рассказать о своем детстве, а потом бросил. Мой опыт не ставит под вопрос мироустройство, он чисто субъективен и, следовательно, с вашей точки зрения неинтересен.

— Неинтересного не бывает, — возразил Анри. — У твоего детства тоже есть смысл: ты должен найти его и дать его нам почувствовать.

— Знаю, — с усмешкой сказал Ламбер. — Из всего можно сделать человеческий документ. — Он тряхнул головой. — Меня это не интересует. Если бы я стал писать, то лишь для того, чтобы поведать о вещах в их ничтожности: я попытался бы сделать их интересными только своею манерой рассказывать о них. — Он пожал плечами. — Успокойся, я этого не сделаю, иначе совесть у меня была бы нечиста. Только я не люблю литературу, которую любите вы, потому и не буду ничего писать: так гораздо проще.

— Послушай, в следующий раз, когда пойдем куда-нибудь вместе, давай поговорим обо всем серьезно, — сказал Анри. — Если это я отбил у тебя охоту писать, то мне жаль.

— Не жалей, не стоит того, — ответил Ламбер и, даже не улыбнувшись, вышел из кабинета; казалось, еще немного, и он хлопнул бы дверью; он и правда был обижен.

«Это у него пройдет!» — убеждал себя Анри. Он решил больше не переживать: всегда все оборачивалось не так плохо, как думалось. Самазелль оказался вовсе не столь обременительным, как опасался Анри; своей сердечностью он привлек к себе весь коллектив, за исключением Люка; Трарье никогда не заглядывал в редакцию; тираж

намного повысился, и в конечном счете Анри был так же свободен, как прежде. Но главное, новый роман придавал ему оптимизма; он ожидал больших трудностей, а книга организовалась чуть ли не сама собой. На этот раз Анри был почти уверен, что положил хорошее начало, и писал с радостью. Единственным огорчением было то, что Поль требовала, чтобы он работал подле нее. И хотела видеть его черновики. Он отказывал, она сердилась. В то утро, когда они заканчивали завтрак, она снова взялась за него:

— Ну как твоя работа, продвигается?

— Потихоньку.

— Когда ты мне что-нибудь покажешь?

— Я двадцать раз говорил тебе, что читать пока нечего, все еще не оформлено.

— Да, но с тех пор, как ты говоришь мне это, все должно бы уже оформиться.

— Я начал опять сначала.

Поль оперлась локтями о стол и положила подбородок на ладони.

— Ты перестал доверять мне, не так ли?

— Ничего подобного!

— Нет, ты не доверяешь. Это после путешествия на велосипеде, — задумчиво сказала она.

Анри с удивлением посмотрел на нее:

— Что могло изменить это путешествие в наших отношениях?

— Факт остается фактом, — сказала она.

— Какой факт?

— Ну, ты не веришь больше тому, что я тебе говорю. — Он пожал плечами, и она с живостью добавила: — Я могу привести тебе двадцать случаев, когда ты не поверил мне.

— Например?

— Например, в сентябре я сказала тебе, что ты можешь спать в своей гостинице, когда захочешь, а ты каждый раз с виноватым видом спрашиваешь у меня разрешения. Ты не хочешь верить, что своему счастью я предпочитаю твою свободу.

— Послушай, Поль, в первый раз, когда я ночевал в гостинице, на следующее утро у тебя были опухшие глаза.

— Имею я право плакать или нет? — вызывающим тоном сказала она.

— Но я не хочу заставлять тебя плакать.

— А ты думаешь, я не плачу, когда вижу, что ты не доверяешь мне, когда вижу, как ты запираешь на ключ свою рукопись: потому что ты запираешь ее...

— Действительно, есть о чем плакать, — с раздражением заметил он.

— Это оскорбительно, — сказала Поль; она испуганно, почти по-детски смотрела на Анри. — Иногда я спрашиваю себя, уж не садист ли ты.

Ничего не ответив, он налил себе вторую чашку кофе.

— Ты опасаешься, что я роюсь в твоих бумагах? — с возмущением спросила она.

— Это как раз то, что я сделал бы на твоем месте, — сказал Анри, силясь придать своему голосу веселые интонации.

Поль встала, оттолкнув стул:

— Так ты признаешься! Ты запираешь свои ящики из-за меня. Вот до чего мы дошли!

— Хочу избавить тебя от соблазна, — ответил он; на этот раз веселая интонация звучала и вовсе фальшиво.

— Вот до чего мы дошли! — повторила она, глядя Анри прямо в глаза. — Если я поклянусь не прикасаться к твоим бумагам, ты мне поверишь? Оставишь ящик открытым?

— Ты до того сосредоточена на этой несчастной рукописи, что не можешь отвечать за свои поступки; конечно, я верю в твою искренность, но ящик запру.

Наступило молчание, затем Поль медленно произнесла:

— Никогда ты не обижал меня так, как сейчас.

— Если не можешь выносить правду, не вынуждай меня говорить ее, — сказал Анри, с силой отталкивая стул.

Поднявшись по лестнице, он сел за свой стол. Поль вполне заслужила, чтобы он показал ей эту рукопись, тогда бы он избавился от нее. Разумеется, в момент публикации ему придется исправить эти страницы, если только она не умрет тем временем; а пока, перечитывая их, Анри чувствовал себя отмщенным! «В каком-то смысле литература более истинна, чем сама жизнь, — подумал он. — Дюбрей наплевал на меня, Луи — подлец, Поль отравляет мое существование, а я улыбаюсь им. На бумаге же идешь до конца, пишешь то, что чувствуешь». Он еще раз пробежал глазами сцену разрыва: как легко расстаются на бумаге! Ненавидят, кричат, убивают себя или другого, словом, идут до конца: вот почему это неправда. «Пусть так, — сказал он себе, — но это чертовски утешает. В жизни постоянно отрекаешься от себя, и другие люди тебе противоречат. Поль приводит меня в отчаяние, между тем я очень скоро ее пожалею, а она думает, что в глубине души я люблю ее. Зато на бумаге я останавливаю время и навязываю всему миру свои убеждения: они становятся

единственной реальностью». Анри отвинтил колпачок авторучки. Поль никогда не прочтет этих страниц; а между тем он торжествовал, как если бы заставил ее узнать себя в том портрете, который списал с нее: притворно влюбленная женщина, которая любит лишь свои комедии и свои мечты; женщина, которая изображает величие, благородство, самоотверженность, в то время как на деле лишена гордости и мужества, погрязла в эгоизме своих мнимых страстей. Такой он ее видел, и на бумаге она полностью совпадала с этим видением.

В последующие дни Анри сделал все возможное, чтобы избежать новых столкновений. Поль нашла еще один повод для возмущения: лекцию, которую он согласился прочитать у Клоди. Сначала он попробовал оправдаться: даже Дюбрей выступал у Клоди, речь шла о том, чтобы собрать деньги для детского приюта, отказаться было нельзя. Но так как она не успокоилась, он решил не отвечать. Подобная тактика явно выводила Поль из себя; она тоже молчала, но, судя по всему, обдумывала важные решения. В день, когда должна была состояться лекция, она так сурово смотрела на него, пока он завязывал галстук перед зеркалом в их спальне, что Анри с надеждой

подумал: «Она сама предложит мне расстаться». И любезным тоном спросил:

— Ты решительно не хочешь пойти со мной?

Она так неожиданно рассмеялась, что если бы он не знал ее, то подумал бы, что она сошла с ума.

— Ну и шутка! Идти с тобой на этот карнавал!

— Как хочешь.

— У меня есть дела поважнее, — произнесла она тоном, напрашивающимся на вопрос; он покорно спросил:

— Что ты собираешься делать?

— Это моя забота! — высокомерно ответила она.

Анри не стал настаивать, но, когда он причесывался перед самым уходом, она с вызовом сказала:

— Хочу зайти в «Вижиланс», встретиться с Дюбреем.

Поль произвела должный эффект, он с живостью обернулся:

— Зачем ты хочешь встретиться с Дюбреем?

— Я предупреждала тебя, что в ближайшие дни собираюсь объясниться с ним.

— По поводу чего?

— Мне многое надо ему сказать от меня лично

и от тебя.

— Прошу тебя не вмешиваться в мои отношения с Дюбреем, — потребовал Анри. — Тебе не о чем говорить с ним, и ты никуда не пойдешь.

— Прошу прощения, — ответила она, — но я и так слишком долго медлила. Этот человек — твой злой гений, и только я могу освободить тебя от него.

Анри почувствовал, как лицо его вспыхнуло; что она собирается сказать Дюбрею? В минуты гнева и тревоги Анри не стеснялся в выражениях в присутствии Поль: невозможно смириться с тем, что некоторые из его слов будут переданы Дюбрею; но как разубедить ее? Его ждали у Клоди, за пять минут ему не найти способа отговорить ее, оставалось привязать ее или запереть.

— Ты бредишь, — пробормотал он.

— Видишь ли, когда живешь очень одиноко, вроде меня, появляется много времени для раздумий, — сказала Поль. — Я размышляю о тебе и обо всем, что тебя касается, и порой меня посещает прозрение. Несколько дней назад я с поразительной ясностью представила себе Дюбрея и поняла: он сделает все, чтобы окончательно погубить тебя.

— А! Теперь у тебя появились прозрения! — ска-

зал Анри. Он искал способ запугать Поль и нашел только один: пригрозить ей разрывом.

— Я полагаюсь не только на свои прозрения, — заявила Поль нарочито таинственным голосом.

— А на что же еще?

— Я навела справки, — призналась она, остановив на Анри игривый взгляд.

Он растерянно смотрел на нее.

— Ведь не Анна же сказала тебе, что Дюбрей хочет меня погубить.

— Кто говорит об Анне? — удивилась Поль. — Анна! Она еще более слепа, чем ты.

— Кто же тот ясновидящий, с которым ты консультировалась? — спросил он, ощущая легкое беспокойство.

Взгляд Поль стал серьезным.

— Я говорила с Ламбером.

— С Ламбером? Где ты с ним встречалась? — спросил Анри. От гнева у него пересохло в горле.

— Здесь. Это преступление? — спокойно произнесла Поль. — Я позвонила ему и попросила прийти.

— Когда?

— Вчера. Он тоже не любит Дюбрея, — с удовлетворением отметила она.

— Это злоупотребление доверием! — возму-

тился Анри.

От одной мысли, что она говорила с Ламбером своим смешным языком да еще со смехотворной горячностью, хотелось отхлестать ее по щекам.

— Ты все время твердишь о чистоте, об элегантности, — продолжал он в ярости, — но женщина, которая делит жизнь с мужчиной, знает его мысли, его секреты и, не предупредив, располагает ими у него за спиной, такая женщина поступает гнусно, слышишь, — сказал он, схватив ее за руку, — гнусно.

Она покачала головой.

— Твоя жизнь — это моя жизнь, ибо я посвятила ей свою; я имею на нее права.

— Я никогда не просил тебя ни о какой жертве, — сказал он. — В прошлом году я пытался помочь тебе устроить твою собственную жизнь, ты не захотела; это твое дело, но у тебя нет никаких прав на меня.

— Я не захотела из-за тебя, — возразила она, — потому что я нужна тебе.

— Ты думаешь, мне нужны эти бесконечные сцены? Ты сильно ошибаешься! Бывают минуты, когда из-за тебя у меня появляется желание навсегда уйти отсюда. И хочу сказать тебе одну вещь: если ты пойдешь к Дюбрею, я тебе этого не

прощу. Ты меня больше не увидишь.

— Но я хочу спасти тебя! — с жаром сказала она. — Ты не понимаешь, что губишь себя! Ты идешь на все компромиссы, соглашаешься выступать в гостиных... И я знаю, почему ты не осмеливаешься больше показывать мне то, что пишешь: твой крах отражается на твоей работе, и ты это чувствуешь. Тебе стыдно. До того стыдно, что ты запираешь свою рукопись на ключ: должно быть, это что-то очень мерзкое.

Анри с ненавистью посмотрел на нее.

— Если я покажу тебе рукопись, ты дашь мне слово, что не пойдешь к Дюбрею?

Внезапно выражение ее лица смягчилось:

— Ты покажешь мне рукопись?

— А ты дашь мне слово? Она задумалась.

— Я дам тебе слово, что не пойду к нему сегодня.

— Этого довольно, — сказал Анри. Он открыл ящик, достал оттуда толстую серо-зеленую тетрадь и бросил ее на кровать.

— Я могу прочитать ее? Это правда? — в замешательстве спросила Поль; трагедийная самоуверенность оставила ее, и вид у нее вдруг стал скорее жалким.

— Можешь.

— О! Я так рада, — сказала она и робко улыбнулась: — Сегодня вечером мы это обсудим, как раньше.

Он не ответил. Только смотрел на тетрадь, которую Поль поглаживала ладонью. Всего лишь бумага, чернила, на вид столь же безобидные, как порошки, запиравшиеся на ключ в аптеке отца; но по сути он был подлее любого отравителя.

— До свидания, — крикнула она через перила, пока он убегал из квартиры.

— До свидания.

Он и на лестнице продолжал бежать, напрасно пытаясь гнать от себя все мысли. Этим вечером, когда он снова встретится с Поль, она уже прочтет. Прочтет каждую фразу, перечтет каждое слово: это было убийство. Анри остановился. Взявшись рукой за перила, он медленно поднялся вверх на несколько ступенек, и огромный черный пес с лаем бросился на него. Он ненавидел этого пса, эту лестницу, фанатичную любовь Поль, ее умолчания, ее взрывы, ее несчастья. Он снова бросился вниз по лестнице и стремительно выбежал на улицу.

Это был один из тех прекрасных зимних дней, немного туманных, когда в глубине воздух кажется розовым; сквозь широкое окно Анри видел

кусок шелковистого неба; он перевел взгляд на своих слушателей, но, глядя на них, говорить было труднее. Маленькие шляпки, драгоценности, меха: в основном собрались женщины, из тех, у кого сохранились остатки былой красоты и кто полагал, что умеет подать их должным образом. Какой интерес представляла для них история французской журналистики? Было слишком жарко, пахло духами; взгляд Анри наткнулся на сдержанную улыбку Мари-Анж, а Венсан состроил смешную гримасу; где-то между аргентинской миллиардершей и горбатым меценатом сидел Ламбер, Анри опасался встретиться с ним лицом к лицу: ему было стыдно; он снова опустил глаза, предоставив словам литься из его уст.

— Великолепно!

Клоди подала сигнал, и все зааплодировали, они хлопали в ладоши, дали волю своим голосам, устремились к эстраде. Югетта Воланж открыла за спиной Анри маленькую дверцу:

— Проходите сюда. Клоди выставит дамочек за дверь, она пригласила лишь ваших друзей и нескольких близких знакомых. Вы, верно, умираете от жажды, — добавила она, увлекая Анри к столу, где Жюльен, сидя в одиночестве напротив двух слуг, опустошал бокал шампанского.

— Ты уж извини меня, я ничего не слышал, — громко сказал он. — Если я пришел, то лишь для того, чтобы бесплатно напиться.

— Ты полностью прощен; лекции одинаково скучны как для слушателей, так и для тех, кто их читает, — заметил Анри.

— Пардон! Я вовсе не скучал, — возразил Венсан, — пожалуй, это было поучительно. — Он засмеялся: — Однако я тоже выпил бы стаканчик.

— Пей, — сказал Анри; он поспешно изобразил на своем лице любезную улыбку: к нему устремилась седая дама с орденом Почетного легиона на груди:

— Спасибо за вашу помощь! Это было чудесно! Вам известно, что вы сделали больше сборов, чем Дюамель?{92}

— Я в восторге, — ответил Анри. Он искал глазами Ламбера. Что сказала ему Поль? Никогда Анри не посвящал Ламбера в свою частную жизнь; разумеется, через Надин он знал о нем какие-то личные вещи, но на это Анри было наплевать, история с Надин — сущие пустяки. Другое дело Поль. Он улыбнулся Ламберу:

— Тебя не затруднит подбросить меня на мотоцикле, когда закончится этот карнавал?

— Мне это доставит удовольствие! — ответил Ламбер совершенно естественным тоном.

— Спасибо! Сможем поговорить немного.

Анри умолк, ибо в гостиную стремительно вошла Клоди и бросилась прямо к нему:

— Вы будете совсем душкой, если оставите автограф на нескольких книгах: эти дамы — ваши страстные поклонницы.

— С удовольствием, — сказал Анри и добавил вполголоса: — Но я не могу задерживаться, меня ждут в редакции.

— Вы должны встретиться с семейством Бельомов, они едут специально из-за вас и должны явиться с минуты на минуту.

— Через полчаса я сбегу, — сказал Анри. Он взял книгу, которую протягивала ему высокая блондинка. — Как ваше имя?

— Вы его не знаете, — ответила блондинка с чуть заметной надменной улыбкой, — но наверняка узнаете: Колетта Массой.

Она поблагодарила его еще одной таинственной улыбкой, а он, уже на другой книге, поставил другое имя. Что за комедия! Анри надписывал, улыбался, улыбался и надписывал; маленькая гостиная заполнилась, их было бесчисленное множество, близких знакомых Клоди. Они

тоже улыбались и пожимали руку Анри, их глаза светились любопытством, похожим на непристойность, они твердили слова, которые в прошлый раз говорили Дюамелю и в следующий раз повторят Мориаку или Арагону. Время от времени какой-нибудь ревностный читатель считал себя обязанным выразить свое восхищение: этот был потрясен описанием бессонницы, тот — фразой о кладбищах: речь всякий раз шла о незначительных кусках, написанных без особой заинтересованности. Гита Вантадур с упреком спросила у Анри, почему он выбирает своих героев среди таких жалких господ, а сама улыбалась стоявшим вокруг несравнимо более жалким людям. «Как они суровы к персонажам романа! — думал Анри. — Им не прощают ни одной слабости. И как странно они все читают! Полагаю, вместо того чтобы следовать начертанными для них путями, большинство листает страницы вслепую; время от времени одно слово находит у них отклик, пробуждая бог весть какие воспоминания или тоску; или вдруг в каком-нибудь образе они обнаруживают, как им кажется, некое отражение самих себя: они останавливаются на мгновение, любуются собой и снова на ощупь пускаются в путь. Лучше было бы никогда не

видеть своих читателей вблизи», — подумалось ему. Он подошел к Мари-Анж, с насмешливым видом глядевшей на него.

— Над чем посмеиваешься?

— Я не посмеиваюсь, я наблюдаю. — Она ухмыльнулась: — Ты правильно делаешь, что живешь взаперти; ты не блистаешь.

— А что надо делать, чтобы блистать?

— Смотри на своего друга Воланжа и бери уроки.

— У меня нет такого дара, — сказал Анри.

Ему неинтересно было добиваться их восхищения, но и шокировать тоже казалось бессмысленным. Жюльен горланил, подчеркнуто напоказ опустошая бокал, вокруг него снисходительно посмеивались.

— Если бы у меня было подобное имя, — вопил он, — я поскорее избавился бы от него. Бельзонс, Полиньяк, Ларошфуко — это мелькало на всех страницах французской истории{93} и здорово пропылилось.

Он мог оскорблять их, изрекать страшные нелепости, они все равно были в восторге; пускай он не обласкан званиями, наградами, орденами: поэт может быть шутом, это совсем неплохо. Жюльен полагал, что властвует над ними, а на деле утвер-

ждал их в сознании собственного превосходства. Нет, единственный способ — не посещать таких людей. Светские писатели и псевдоинтеллектуалы, толпившиеся вокруг Клоди, производили еще более гнетущее впечатление. Им не доставляло радости писать, неинтересно было думать, и на их лицах отражалась та скука, на которую они обрекали себя. Единственной их заботой было создание собственного имиджа и успешная карьера, и ходили они друг к другу лишь для того, чтобы завидовать вблизи. Ужасное отродье. Заметив Скрясина, Анри с симпатией улыбнулся ему: он был фанатиком, невыносимым путаником, но зато вполне живым, и когда прибегал к словам, то пользовался ими со страстью, а не для того, чтобы разменять на деньги, комплименты, почести; тщеславие приходило после и было у него поверхностной, неглубокой чертой.

— Надеюсь, ты на меня не сердишься, — сказал Скрясин.

— Конечно нет, ты выпил. Как дела? Ты по-прежнему живешь здесь?

— Да. Я спустился, чтобы поздороваться с тобой, надеялся, что бомонд разошелся. Ты выступал перед ними? И Клоди хочет, чтобы я тоже выступил перед ними?

— Это неплохая публика, — заметил Воланж, с непринужденным видом подходя к ним. Одарив окружающих чуть заметной надменной улыбкой, он остановил взгляд на Ламбере. — Люди с большими деньгами притворяются легкомысленными, но на деле отлично понимают, чего стоят истинные ценности. Роскошь Клоди, например, очень искусна.

— От роскоши меня тошнит, — сказал Скрясин. Мари-Анж прыснула со смеху, и Луи строго взглянул на нее.

— Вы имеете в виду фальшивую роскошь, — снисходительно заметила Югетта.

— Фальшивая, настоящая — какая разница, не люблю роскошь, и все.

— Как можно не любить роскошь? — спросила Югетта.

— Я не люблю людей, которые любят роскошь, — уточнил Скрясин. — В Вене, — добавил он вдруг, — мы жили в лачуге втроем, и у нас на всех было одно пальто; мы подыхали с голода. Это было самое прекрасное время в моей жизни.

— Это свидетельствует о весьма любопытном комплексе вины, — с насмешкой молвил Воланж.

— Я знаю свои комплексы, они тут ни при чем,

— сухо ответил Скрясин.

— Очень даже при чем! Вы оба пуритане, как все люди левых взглядов, — сказал Воланж, оборачиваясь к Анри. — Роскошь вас шокирует, потому что вы не выносите мук совести. Такая суровая требовательность опасна; сначала отказываются от роскоши, потом постепенно отказываются от искусства и поэзии.

Анри ничего не ответил; он не придавал значения словам Воланжа, но с интересом наблюдал, как он изменился с момента их последней встречи: в его голосе, улыбках не осталось и следа приниженности. К нему полностью возвратилось его былое высокомерие.

— Искусство и роскошь — это не одно и то же, — робко заметил Ламбер. Нет, — согласился Луи. — Но если никого больше не будет мучить совесть,

если зло исчезнет с земли, искусство тоже исчезнет. Искусство — это попытка интегрировать зло. Организованные прогрессисты хотят устранить зло: они обрекают на смерть искусство. — Он вздохнул: — Мир, который они нам обещают, будет очень скучным. Анри пожал плечами:

— До чего же вы чудные, противники организованных прогрессистов. То вы предрекаете, что

никогда не удастся устранить несправедливость, то заявляете, что жизнь станет пресной, вроде пасторали. Ваши аргументы можно обратить против вас!

— Мысль о том, что зло необходимо искусству, кажется мне очень интересной, — сказал Ламбер, устремляя на Луи вопросительный взгляд.

Клоди положила ладонь на руку Анри.

— Вот Люси Бельом, — сказала она, — вон та высокая, очень элегантная брюнетка; пойдемте, я представлю вас ей.

Она указывала на долговязую сухую женщину в черном; была ли она элегантна? Анри никогда хорошенько не понимал смысла этого слова: на его взгляд, существовали женщины привлекательные и другие, которые таковыми не являлись; эта относилась к числу последних.

— А вот мадемуазель Жозетта Бельом, — сказала Клоди.

Малютка была безусловно красивой, но на роль Жанны этот светский силуэт совсем не подходил; меха, духи, высокие каблуки, красные ногти, скрученные жгутом янтарные волосы — роскошная кукла среди всех прочих.

— Я прочитала вашу пьесу, она великолепна, — уверенным тоном заявила Люси Бельом. — И

я не сомневаюсь, что она может принести много денег: у меня нюх на такие вещи. Я говорила об этом Вернону, директору «Студии 46», он мой большой друг. Пьеса его очень заинтересовала.

— Он не находит ее слишком скандальной? — спросил Анри.

— Скандал может пойти на пользу пьесе или провалить ее; это зависит от многих вещей. Думаю, я смогу убедить Вернона пойти на риск. — Наступило молчание, затем, без всякого перехода, едва ли не нагло, Люси продолжала: — Верной будет склонен дать шанс Жозетте; пока она играла лишь маленькие роли, ей всего двадцать один год, но она владеет мастерством и поразительно чувствует образ; мне хотелось бы, чтобы вы послушали ее в большой сцене из второго акта.

— С удовольствием, — сказал Анри. Люси обратилась к Клоди:

— У вас нет спокойного уголка, где малютка могла бы показать сцену?

— О! Только не теперь, — взмолилась Жозетта.

Она испуганно смотрела на мать и на Анри; у нее не было уверенности, столь привычной роскошным манекенам; казалось, ее скорее смущала собственная красота; она была по-настоящему красива с этими огромными темными глазами,

тяжеловатым ртом и чистой, матовой кожей под рыжеватыми волосами.

— Это дело десяти минут, — заметила Люси.

— Но я не могу вот так, неожиданно, — возразила Жозетта.

— Нет никакой спешки, — сказал Анри. — Если Верной действительно возьмет пьесу, мы назначим встречу.

Люси усмехнулась:

— Могу вас заверить, что он согласится, если Жозетта получит роль. Нежная кожа девушки вспыхнула от шеи до самых корней волос. Анри

мило улыбнулся Жозетте:

— Хотите, назначим день. Вторник, около четырех часов, вам подойдет? Она кивнула головой.

— Приходите ко мне, — сказала Люси. — У вас будут все условия для работы.

— Роль вас интересует? — учтиво спросил Анри.

— Конечно.

— Признаюсь, я не представлял себе Жанну такой красивой, — весело сказал он.

Вежливая улыбка блуждала вокруг трагических губ, не решаясь тронуть их; Жозетту научили необходимой для успеха мимике, но она плохо пользовалась ею; ее выразительное лицо с без-

донными глазами ломало все маски.

— Актриса никогда не бывает слишком красивой, — возразила Люси. — Когда ваша героиня является на сцену наполовину раздетая, публика прежде всего хочет видеть вот это, — сказала она, внезапно поднимая юбку Жозетты и открывая чуть ли не до самого бедра длинные шелковистые ноги.

— Мама!

Удрученный тон Жозетты растрогал Анри. «Неужели она в самом деле всего лишь роскошная кукла, похожая на всех остальных? С неба звезд она, конечно, не хватает, — подумал Анри, — и все-таки с трудом верится, что это патетическое лицо может ничего не отражать».

— Не изображай из себя инженю, это не твое амплуа, — сухо сказала Люси Бельом и добавила: — Ты запишешь время встречи?

Жозетта покорно открыла сумочку и достала записную книжку; Анри заметил кружевной носовой платок и маленькую золотую пудреницу: когда-то внутренность женской сумочки казалась ему полной тайн. На мгновение он удержал в своей ладони длинные пальцы с похожими на леденцы ногтями:

— До вторника.

— До вторника.

— Она вам нравится? — с пошловатым смешком спросила Клоди, когда обе женщины удалились. — Если у вас появится охота, не стесняйтесь: она не слишком строга, бедная девочка.

— Почему бедная?

— У Люси тяжелый характер; видите ли, женщины, которым пришлось претерпеть слишком многое, прежде чем преуспеть, добрыми не бывают.

В другое время Анри с любопытством послушал бы сплетни Клоди, но рядом Воланж с Ламбером оживленно о чем-то беседовали; Воланж разглагольствовал, изящно разводя руками, а Ламбер с улыбкой кивал головой. Анри хотел было вмешаться, но с облегчением, увидел что Венсан отходит от стола.

— Я хотел бы задать один вопрос, один-единственный: что здесь делает такой человек, как вы? — громко крикнул Венсан.

— Как видите, сейчас я разговариваю с Ламбером, — спокойно ответил Луи. — В то время как вы пьете, что не менее очевидно.

— Возможно, вас не предупредили, — продолжал Венсан, — речь идет о благотворительном вечере в пользу детей депортированных. Вам

здесь не место.

— Кто знает свое истинное место в этом мире? — сказал Луи. — Если вы полагаете, что знаете свое, то это наверняка потому, что на пьяниц распространяется особая благодать.

— О! Венсан — важная персона! — язвительным тоном заметил Ламбер. — Он все знает, всех судит, причем никогда не ошибается, вам даже нет нужды платить ему, он и без того преподаст вам урок.

Никогда Венсан не был так бледен; казалось, вот-вот из глаз его польется кровь.

— Я умею отличить подлеца... — пробормотал он.

— Думаю, этот молодой человек нуждается в лечении, — сказал Луи. — Удручающий спектакль: в таком возрасте парень весь пропитан алкоголем.

Анри поспешил подойти.

— Ты так отважно готов интегрировать зло, а тут вдруг стал пуританином! Венсан по-своему снисходителен к человеческим слабостям, понимая, что бессилен; почему бы и не напиться?

— Подлец и сын подлеца, — прошептал Венсан с оскорбительной усмешкой, — как тут не поладить, это неизбежно.

— Что ты сказал? Повтори! — не выдержал

Ламбер. Голос Венсана окреп:

— Я говорю, что ты, должно быть, порядочный негодяй, если помирился с типом, который выдал Розу. Ты помнишь Розу?

— Спустись во двор вместе со мной, там объяснимся, — сказал Ламбер.

— Незачем спускаться.

Анри удержал Венсана, в то время как Луи положил руку на плечо Ламбера.

— Брось, — сказал Луи.

— Я хочу набить ему морду.

— В другой раз, — сказал Анри. — Ты обещал отвезти меня на мотоцикле, я спешу. А ты оставь нас в покое, — дружески посоветовал он Венсану, издававшему нечленораздельные звуки.

Ламбер позволил увести себя, но, пересекая двор, мрачно произнес:

— Тебе не следовало мешать мне, я задал бы ему хороший урок. Знаешь, я умею драться.

— Я нисколько не сомневаюсь, только драться глупо.

— Вместо того чтобы болтать, я должен был сразу ударить его, — сказал Ламбер. — У меня нет рефлексов. Когда надо бить, я веду разговоры.

— Венсан выпил, и ты прекрасно знаешь, что он немного чокнутый, — ответил Анри. — Не

обращай внимания на его слова.

— Это очень удобно! Если бы он действительно был полоумным, ты не был бы его приятелем, — с возмущением сказал Ламбер. Он сел на мотоцикл. — Тебе куда?

— Домой. Я заеду в редакцию чуть позже, — ответил Анри.

Внезапно он представил себе Поль; с застывшим взглядом она неподвижно сидит посреди квартиры: она прочитала. Сцена разрыва — она ее прочитала, фразу за фразой, слово за словом; она знала все, что Анри о ней думает. Ему необходимо было снова увидеть ее, немедленно. Ламбер в ярости мчался по набережным. Когда он остановился у последнего светофора, Анри спросил:

— Выпьем по стаканчику?

Ему необходимо было немедленно снова увидеть Поль, но при мысли очутиться с ней лицом к лицу он смалодушничал.

— Как хочешь, — угрюмо ответил Ламбер.

Они вошли в кафе на углу набережной и заказали у стойки белое вино.

— Неужели ты все-таки станешь дуться на меня за то, что я не дал тебе подраться с Венсаном? — добродушно спросил Анри.

— Не понимаю, как ты можешь выносить этого

типа, — запальчиво сказал Ламбер. — Его попойки, грязные рубашки, истории в борделях и вместе с тем этакий надутый вид отчаянного головореза, меня тошнит от этого. В маки ему довелось убивать людей, такое со многими случалось, однако это не причина разгуливать по жизни с истерзанной душой на перевязи. Вот и Надин называет его архангелом под предлогом того, что он наполовину импотент! Нет, я не понимаю, — повторил Ламбер. — Если он чокнутый, пускай ему вкатят хорошую порцию электрошоков, чтобы он перестал приставать к нам.

— Ты очень несправедлив! — возразил Анри.

— Скорее, думаю, ты сам пристрастен.

— Я хорошо отношусь к нему, — немного сухо ответил Анри. И добавил: — Но я не о Венсане хотел поговорить с тобой. Поль сказала мне странную вещь, будто она пригласила тебя вчера, чтобы расспросить о Дюбрее. Я счел это совершенно неуместным; пожалуй, ты попал в затруднительное положение.

— Вовсе нет, — с живостью отозвался Ламбер. — По правде говоря, я не понял, чего она от меня хотела, но вела она себя очень мило.

Анри внимательно посмотрел на Ламбера, вид у него был вполне искренний; возможно, в его

присутствии Поль сдержалась.

— В настоящий момент Поль ненавидит Дюбрея, а женщина она очень экспансивная, возможно, ты и сам это понял.

— Да, но так как я тоже не слишком-то люблю Дюбрея, меня это не смутило, — сказал Ламбер.

— Тем лучше! Я боялся, что эта встреча была тебе неприятна.

— Вовсе нет.

— Тем лучше! — повторил Анри. — Пока! Спасибо, что подвез.

Анри медленным шагом двинулся по улочке. Отсрочка уже невозможна: через две минуты он окажется лицом к лицу с Поль, почувствует на себе ее взгляд, и надо будет подыскивать слова. «Я отрекусь. Скажу ей, что у Иветты нет ничего общего с ней, что я позаимствовал у нее слова, жесты, но все переиначил». Он стал подниматься по лестнице. «Она ни за что не поверит мне!» — подумал он. Возможно, она даже не даст ему говорить. Возможно... Он ускорил шаг; горло его сжалось, и последние ступеньки он преодолел бегом. Ни звука, ни лая, ни звонка, ни музыки радио. «Мертвое молчание», — сказал он себе. И с ужасом подумал: «Она покончила с собой!» Он остановился у двери; слышался чей-то шепот.

— Входи.

Поль улыбалась, она была жива; сидевшая на краешке дивана консьержка поднялась:

— Я отняла у вас столько времени своими историями.

— Да нет, — возразила Поль. — Вы очень заинтересовали меня.

— Будьте покойны, я завтра же скажу об этом домовладельцу, — сказала консьержка.

— Потолок, того и гляди, обрушится, — весело говорила Поль, пока консьержка закрывала дверь. — Симпатичная женщина, — добавила Поль. — Она рассказала мне удивительные истории о клошарах квартала, хватит на целую книгу.

— Представляю себе, — сказал Анри.

Он смотрел на Поль со смешанным чувством разочарования и облегчения; после обеда она проболтала с консьержкой и не успела прочитать рукопись, все надо начинать сначала, а он знал, что у него недостанет мужества.

— Она помешала тебе прочитать мой роман? — спросил Анри невыразительным голосом и заставил себя улыбнуться: — А стоило!

Поль с оскорбленным видом взглянула на него:

— Конечно я прочитала!

— Вот как! И что ты об этом думаешь?

— Написано мастерски, — просто сказала она.

Он взял тетрадь, полистал ее с напускным равнодушием.

— Как ты находишь образ Шарваля? Он кажется тебе симпатичным?

— Не совсем; но в нем чувствуется настоящее величие, — сказала Поль. — Думаю, ты этого хотел?

Анри кивнул головой.

— Тебе понравилась сцена четырнадцатого июля? Поль задумалась.

— Нельзя сказать, что она мне понравилась больше всего. Анри открыл тетрадь на роковой странице.

— А разрыв с Иветтой, что ты об этом думаешь?

— Потрясающая сцена.

— Ты находишь?

Она посмотрела на него с некоторым подозрением.

— Почему это тебя удивляет? — Она усмехнулась: — Ты думал о нас, когда писал ее?

Он бросил тетрадь на стол.

— Глупая!

— Это будет лучшая твоя книга, — заявила Поль не терпящим возражения тоном. Она с нежностью провела рукой по волосам Анри. — По правде говоря, я не понимаю, почему ты скрытничал.

— Я и сам теперь не понимаю, — ответил он.

Непроницаемая тишина внушила Анри чуть ли не робость; ковры, шторы, обивка оберегали от шума богато убранную большую комнату; через закрытые двери не доносилось ни единого живого звука, так что Анри задумался: а не придется ли ему перевернуть мебель, чтобы разбудить кого-нибудь.

— Я заставила вас ждать?

— Совсем немного, — вежливо ответил он.

Жозетта остановилась перед ним с испуганной улыбкой на губах; на ней было платье янтарного цвета, легкое и очень нескромное; «она не слишком строга», сказала Клоди; эта улыбка, тишина, покрытые мехом диваны ясно давали понять, пожалуй даже чересчур ясно, что допускаются всякого рода вольности; если бы Анри воспользовался таким пособничеством, у него могло сложиться впечатление, будто он совращает малолетнюю под насмешливым взглядом сводницы.

— Если вы согласны, — сказал он несколько жестко, — мы примемся за работу немедленно; я немного спешу. У вас есть текст?

— Я знаю монолог наизусть, — ответила Жозетта.

— Начнем.

Он положил свой экземпляр на круглый столик, а сам устроился в глубоком кресле; монолог — это было самое трудное; Жозетта ничего в нем не понимала и была напугана до смерти; Анри смущенно смотрел, как она усердствует изо всех сил с отчаянной надеждой понравиться ему; он определенно видел себя в роли богатого маньяка, который в борделе высокого класса присутствует на специальном показе.

— Попробуем третью сцену из второго акта, — предложил он, — я буду подавать вам реплики.

— Это трудно — играть, читая, — сказала Жозетта.

— Попробуем.

С любовной сценой Жозетта справилась немного лучше; у нее была хорошая дикция; ее лицо, голос были действительно волнующими: кто знает, чего удастся добиться от нее хорошему режиссеру?

— У вас ничего не получается, — весело сказал

Анри, — но есть надежда.

— Вы думаете?

— Уверен в этом. Садитесь сюда, я расскажу вам немного о персонаже.

Она села рядом с ним. Как давно ему не случалось сидеть рядом с такой красивой девушкой! Не переставая говорить, он вдыхал аромат ее волос; ее духи пахли духами, как все духи, но у нее казались едва ли не естественным запахом, и это вызывало у Анри ужасное желание вдыхать тот, другой запах, влажный и нежный, который он угадывал у нее под платьем; взъерошить ее волосы, погрузить свой язык в ее алый рот: это было легко, даже чересчур легко. Он чувствовал, что Жозетта ожидает его согласия с поистине обескураживающей покорностью.

— Вы поняли? — спросил он.

— Да.

— Тогда начнем сначала.

Они снова прошли всю сцену; она пыталась вложить душу в каждую реплику, и было еще хуже, чем в первый раз.

— Вы слишком стараетесь, — сказал он. — Будьте попроще.

— Ах! Мне никогда не суметь! — огорченно сказала она.

— Будете работать и сумеете.

Жозетта глубоко вздохнула. Бедная девочка! Кроме всего прочего, мать станет упрекать ее за то, что она не сумела отдаться. Анри встал. Он слегка сожалел о своей щепетильности: как желанны были эти губы! Спать с поистине желанной женщиной: он помнил, какую это доставляло радость.

— Назначим еще одну встречу, — сказал он.

— Я заставляю вас терять время!

— Для меня это время не потеряно, — возразил Анри. И улыбнулся: — Если вы не боитесь потерять ваше, может быть, в следующий раз мы могли бы пойти куда-нибудь вместе после работы?

— Конечно могли бы.

— Вы любите танцевать?

— Конечно.

— Хорошо, я поведу вас танцевать.

В следующую субботу Анри встретился с Жозеттой у нее дома, на улице Габриэль, в гостиной с мебелью, обитой розовым и белым атласом. Увидев ее вновь, он испытал небольшое потрясение. Стоит отвести взгляд от настоящей красоты, как тут же искажаешь ее: кожа Жозетты была бледнее, а волосы темнее, чем ему помнилось, а

в глазах отражались искорки, словно в глубине горного потока в Пиренеях. Рассеянно подавая ей реплики, Анри скользил глазами по юному телу, затянутому в черный бархат, и говорил себе, что такой внешности и такого голоса довольно, чтобы извинить многие погрешности. Впрочем, если ею хорошо руководить, неясно, почему у Жозетты таких погрешностей будет больше, чем у кого-нибудь другого. Временами она даже находила волнующие интонации. Он решил попытать счастья.

— Все получится, — с жаром сказал он. — Конечно придется много работать, но все получится.

— Мне так хотелось бы! — молвила она.

— А теперь пошли танцевать, — сказал Анри. — Я думаю, мы могли бы остановиться на Сен-Жермен-де-Пре: что вы на это скажете?

— Как хотите.

Они вошли в какое-то кабаре на улице Сен-Бенуа и сели под портретом женщины в полумаске. На Жозетте было платье с сюрпризом: она сняла болеро, обнажив вполне зрелые круглые плечи, которые контрастировали с ее детским личиком. «Вот чего мне не хватало для того, чтобы радоваться жизни, — весело сказал себе Анри, — красивой девки рядом».

— Потанцуем?

— Потанцуем.

Его слегка пьянило это теплое, податливое тело, которое он держал в своих объятиях. Как ему нравилось такого рода опьянение! Все еще нравилось. И снова он полюбил джаз, дым, молодые голоса, веселость других. Он готов был полюбить и эти груди, и это чрево. Только прежде чем решиться, ему все-таки хотелось почувствовать, что Жозетта испытывает к нему хоть немного симпатии.

— Вам здесь нравится?

— Да. — Она заколебалась. — Это ведь что-то особенное?

— Думаю, да. Какие места вы предпочитаете?

— О! Здесь очень хорошо, — поспешно сказала она.

Как только он пытался разговорить ее, вид у нее становился испуганный. Мать, должно быть, предусмотрительно научила ее молчать. Так они промолчали до двух часов утра, танцевали, пили шампанское. Вид у Жозетты был не грустный и не веселый. В два часа она попросила отвезти ее, причем он так и не узнал, почему: из-за скуки, усталости или скромности. Анри проводил ее до дома. В машине она сказала с прилежной веж-

ливостью:

— Мне хотелось бы почитать одну из ваших книг.

— Это просто. — Он улыбнулся ей. — Вы любите читать?

— Когда у меня есть время.

— А его у вас не бывает? Она вздохнула:

— Конечно нет.

Была ли Жозетта круглой дурой? Или немного тупой? А может, просто оробела? Определить было трудно. Она была настолько красива, что согласно всем правилам должна была быть глупой, но в то же время из-за своей красоты казалась загадочной.

Люси Бельом решила, что контракт будет подписан у нее после дружеского ужина. Анри позвонил Жозетте, чтобы попросить ее отпраздновать вместе с ним эту добрую новость. Светским тоном она поблагодарила его за книгу, которую он прислал ей с любезным посвящением, и назначила ему свидание на вечер в маленьком баре Монмартра.

— Ну, вы довольны? — спросил Анри, задержав на мгновение руку Жозетты.

— Чем? — спросила она. Вид у нее был не такой юный, как обычно, и совсем недовольный.

— Контракт. Мы его подписываем, все решено, вас это не радует? Она поднесла к губам стакан минеральной воды «виши».

— Меня это пугает, — тихо сказала она.

— Верной не сумасшедший, я тоже; не бойтесь: вы очень хорошо сыграете.

— Но вы ведь совсем не такой представляли себе героиню?

— Я уже не смогу представить ее себе другой.

— Это правда?

— Правда.

То было правдой; она сыграет роль более или менее хорошо; но ему не хотелось и думать, что у Жанны могли быть другие глаза, другой голос.

— Вы такой добрый! — сказала Жозетта.

Она смотрела на него с неподдельной признательностью; но отдалась бы она из признательности или по расчету, разницы не было никакой, это совсем не то, чего хотел Анри. Он не шелохнулся. С томными, сладостными паузами они поговорили о возможных режиссерах, о желательном для Анри распределении ролей и декорациях; Жозетта все никак не могла успокоиться; он проводил ее до двери, она задержала его руку.

— Значит, до понедельника, — сказала она сдавленным голосом.

— Вы больше не боитесь? — спросил он. — Будете спать спокойно?

— Нет, — ответила она, — мне страшно. Он улыбнулся.

— Вы не предложите мне последний стакан виски? Она со счастливым видом посмотрела на него:

— Я не осмеливалась!

Жозетта живо поднялась по лестнице, сбросила меховую накидку, открыв свою затянутую в черный шелк грудь; она протянула Анри большой стакан, в котором весело позвякивал лед.

— За ваш успех! — сказал он.

Она торопливо коснулась дерева стола:

— Не говорите так! Боже мой! Будет ужасно, если я плохо сыграю!

— Вы сыграете хорошо! — повторил он. Она пожала плечами:

— Мне ничего не удается! Он улыбнулся:

— Так уж и ничего.

— Да, именно так. — Она заколебалась. — Мне не следовало говорить вам этого: теперь и вы перестанете верить. Сегодня я была у гадалки, она сказала, что меня ждет серьезное разочарование.

— Гадалки всегда преувеличивают, — твердо заявил Анри. — Вы случаем не заказывали себе

нового платья?

— Да, на понедельник.

— Так вот, оно окажется неудачным; это и есть ваше разочарование.

— О! Какая неприятность! — вздохнула Жозетта. — Что я тогда надену на ужин?

— Разочарование всегда неприятно, — со смехом сказал Анри. — Успокойтесь, вы все равно будете самой красивой, — добавил он, — и в понедельник, как всегда; к тому же это менее важно, чем плохо сыграть, разве нет?

— Вы так мило умеете все преподнести! — сказала Жозетта. — Жаль, что вы не можете похитить место у Господа Бога.

Она находилась так близко от него; только ли признательность заставляла дрожать ее губы и туманила взгляд?

— Но я не уступил бы ему своего! — молвил он, заключая ее в объятия. Открыв глаза, Анри увидел в полумраке обитую бледно-зеленым стену, и

радость наступившего завтра пронзила ему сердце; она требовала ярких и терпких удовольствий: холодного душа, жесткой перчатки для растирания; он соскользнул с кровати, не разбудив Жозетту, и, когда вышел из ванной комнаты,

умытый, одетый и голодный, она еще спала; Анри на цыпочках пересек комнату и склонился над ней; она лежала в окружении своего аромата, влажной испарины, с сияющими волосами, ниспадавшими ей на глаза, и он почувствовал себя удивительно счастливым оттого, что у него такая женщина и что он — мужчина; она приоткрыла один глаз, один-единственный, словно в другом пыталась удержать сон.

— Ты уже встал?

— Да. Пойду выпью кофе в бистро на углу и вернусь.

— Нет! — сказала она. — Нет! Я приготовлю тебе чай.

Она терла заспанные глаза, вылезая из простынь, такая теплая в своей пушистой сорочке. Он обнял ее:

— Ты похожа на маленького фавна.

— На фавниху.

— На маленького фавна.

Жозетта с пленительным видом протянула ему губы. Персидская принцесса, маленькая индианка, лисичка, вьюнок, прекрасная кисть глицинии — им всегда доставляло удовольствие, когда им говорили, что они на что-то похожи: на что-то другое. «Мой маленький фавн», — повторял он,

нежно целуя ее. Она надела пеньюар, домашние туфли, и он последовал за ней на кухню; небо сияло, белый кафель сверкал, Жозетта неуверенно хлопотала.

— Молоко или лимон?

— Немного молока.

Она поставила чайный поднос в будуаре телесного цвета, и он с любопытством разглядывал столики, пуфы с воланами. Почему Жозетта, которая так хорошо одевалась, чей голос и движения были столь гармоничны, почему она жила в этой скверной фальшивой декорации?

— Это ты обустраивала квартиру?

— Мы с мамой.

Она с беспокойством взглянула на него, и он торопливо сказал:

— Здесь очень красиво.

Когда она перестала жить у матери? Почему? Ради кого? Ему вдруг захотелось задать ей множество вопросов. У нее за спиной было целое существование, каждый день, каждый час которого прожит один за другим, и каждая ночь тоже; а он ничего не знал. Сейчас не время было устраивать ей допрос, но ему было не по себе среди всех этих безвкусных безделушек, среди невидимых воспоминаний.

— Знаешь, что мы должны сделать? Пойти вдвоем прогуляться: утро такое чудесное.

— Прогуляться? Где?

— По улицам.

— Ты хочешь сказать пешком?

— Да; пройтись пешком по улицам. Она выглядела смущенной.

— Тогда мне надо одеться? Он засмеялся:

— Это было бы желательно; но тебе нет нужды наряжаться дамой.

— А что я надену?

Как одеваются, чтобы пройтись пешком по улицам в девять часов утра? Она открывала шкафы, ящики, щупала шарфы и блузки. Потом натянула длинный шелковистый чулок, и в ладонях Анри проснулась память о том натянутом шелке плоти, который обжигал.

— Так подойдет?

— Ты очаровательна.

На ней был темный костюм, зеленый шарф, она подняла волосы, словом, выглядела очаровательно.

— Ты не находишь, что этот костюм меня полнит?

— Нет.

Жозетта с озабоченным видом смотрела на

себя в зеркало: что она видела? Быть женщиной, быть красивой, как это ощущается изнутри? Как ощущается шелковистая ласка вдоль бедер и у теплого живота, ласка блестящего атласа? И он задался вопросом: «Какой вспоминается ей наша ночь? Называла ли она другие имена таким же вот ночным голосом и какие? Пьер, Виктор, Жак? И что значит для нее имя Анри?» Он показал на свой роман, стоявший на видном месте на круглом столике.

— Ты его прочитала?

— Я посмотрела. Это глупо, но я не умею читать, — добавила она в нерешительности.

— Тебе скучно?

— Нет, но я сразу же начинаю мечтать о чем-то другом. Отталкиваюсь от какого-нибудь слова.

— И куда тебя это приводит? Я хочу сказать, о чем ты мечтаешь?

— О! Это смутно; мечты всегда смутны.

— Ты думаешь о каких-то местах, о людях?

— Ни о чем: я просто мечтаю.

Он обнял ее, спросив с улыбкой:

— Ты часто бывала влюблена?

— Я? — Она пожала плечами. — В кого?

— В тебя многие влюблялись: ты так красива.

— Красивой быть унизительно, — сказала она,

отвернувшись.

Анри разомкнул объятия; он и сам не знал, почему она внушала ему такое сострадание; жила она в роскоши, не работала и руки у нее как у благородной девицы, но в ее присутствии он таял от жалости.

— Как странно оказаться на улице в столь ранний час, — сказала Жозетта, поднимая к нему подкрашенное лицо.

— Странно быть здесь, с тобой, — ответил он, сжимая ее руку.

Он радостно вдыхал уличный воздух; этим утром все казалось новым, неизведанным. Новорожденная весна едва пробивалась, но в воздухе уже ощущалось ее теплое участие; площадь Аббатис благоухала капустой и рыбой, женщины в халатах подозрительно разглядывали первые салаты; их слипшиеся со сна волосы отливали небывалыми красками, подаренными не природой и не художеством.

— Взгляни на эту старую ведьму, — сказал Анри, указывая на размалеванную, увешанную драгоценностями старуху в засаленной шляпе.

— О! Я ее знаю, — сказала Жозетта без тени улыбки, — возможно, и я когда-нибудь стану такой.

— Меня это удивило бы.

Они молча спустились на несколько ступенек; Жозетта оступилась на чересчур высоких каблуках.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Двадцать один год.

— Я имею в виду по-настоящему? Она заколебалась.

— Мне двадцать шесть. Но только не говори маме, что я тебе сказала, — со страхом попросила она.

— Я уже забыл, — ответил он. — У тебя такой юный вид!

— Это потому, что я слежу за собой, — вздохнула она, — до чего утомительно.

— Так не утомляй себя! — с нежностью сказал он, сильнее сжав ее руку. — И давно ты хочешь играть в театре?

— Я никогда не хотела быть манекеном и не люблю стариков, — сквозь зубы сказала она.

Разумеется, мать сама выбирала ей любовников; может, и правда, что она никогда не любила; двадцать шесть лет, такие глаза, такие губы и не знать любви: она заслуживала жалости! «А я, кто я для нее? — спросил он себя. — И кем стану?» Во всяком случае, ее наслаждение минувшей ночью

было искренним, как искренен этот доверчивый свет в глазах. Они вышли на бульвар Клиши, где дремали ярмарочные балаганы; двое ребятишек катались на маленькой карусели; под брезентом уснули американские горки.

— Ты знаешь японский бильярд?

— Нет.

Она покорно остановилась вместе с ним перед поддоном с отверстиями, и он спросил:

— Ты не любишь ярмарки?

— Я никогда не бывала на ярмарках.

— И никогда не каталась на американских горках? Или на поезде-призраке?

— Нет. Когда я была маленькая, мы были бедны; потом мама поместила меня в пансион; а когда я оттуда вышла, я была уже взрослой.

— Сколько лет тебе было?

— Шестнадцать.

Она старательно направляла деревянные шары к круглым ячейкам.

— До чего трудно.

— Вовсе нет, смотри, ты почти выиграла. — Он снова взял ее за руку. — Как-нибудь вечером мы покатаемся на карусели.

— Ты катаешься на карусели? — недоверчиво спросила она.

— Когда не один — конечно.

Она снова оступилась на круто спускавшемся шоссе.

— Ты устала?

— Туфли жмут.

— Зайдем сюда, — сказал Анри, толкнув дверь первого попавшегося кафе; то было маленькое бистро с покрытыми клеенкой столами. — Что ты будешь пить?

— Стакан «виши».

— Почему всегда «виши»?

— Из-за печени, — грустно сказала она.

— Стакан «виши» и стакан красного вина, — попросил Анри. Он показал на плакат, висевший на стене: — Посмотри!

Своим тягучим, глубоким голосом Жозетта прочитала:

— Боритесь с пьянством, пейте вино. — Она громко рассмеялась: — Забавно! Ты знаешь такие забавные места.

— Я никогда не бывал здесь, но, видишь ли, когда прогуливаешься, можно обнаружить кучу всяких вещей.

— У меня нет времени.

— Чем же ты занимаешься?

— Столько всего надо успеть: уроки дикции,

магазины, парикмахер: ты не представляешь себе, сколько уходит времени на парикмахера; а еще чаепития, коктейли.

— Тебя радует все это?

— Ты знаешь людей, которые радуются?

— Я знаю таких, кто доволен своей жизнью; например, я. Она ничего не ответила, и он ласково обнял ее.

— Что требуется, чтобы ты была довольна?

— Не нуждаться больше в маме и быть уверенной, что никогда не стану снова бедной, — не задумываясь ответила она.

— Так и случится. Что ты тогда сделаешь?

— Я буду довольна.

— Но что ты будешь делать? Путешествовать? Ходить куда-нибудь?

Жозетта пожала плечами:

— Я об этом не думала. — Она достала из сумочки золотую пудреницу и подкрасила губы. — Мне пора идти; у меня примерка в мамином заведении. — Она с тревогой взглянула на Анри: — Ты правда думаешь, что мое платье будет испорчено?

— Конечно нет, — со смехом ответил он, — я думаю, что гадалка полностью ошиблась: знаешь, такое с ними случается. Платье красивое?

— В понедельник увидишь. — Жозетта вздохнула: — Мне предстоит появляться на людях, для рекламы, так что придется одеваться.

— А тебе это не скучно?

— Если бы ты знал, как утомительны примерки! После этого у меня весь день болит голова.

Он встал, и они пошли к стоянке такси.

— Я провожу тебя.

— Не беспокойся.

— Мне это доставит удовольствие, — с нежностью сказал он.

— Какой ты милый.

Его трогало до глубины души, когда она таким тоном и с таким выражением говорила: «Какой ты милый». В такси он положил голову Жозетты себе на плечо и задумался: «Что я могу для нее сделать?» Помочь ей стать актрисой, да, но она не так уж любит театр, это не заполнит ту пустоту, какая чувствовалась в ней; а если она не добьется успеха? Ее не удовлетворяла жестокая суетность ее жизни, но чем заинтересовать ее? Попробовать говорить с ней, способствовать развитию ее ума... Не станет же он все-таки водить ее по музеям, таскать на концерты, давать ей книги, показывать мир. Он ласково поцеловал ее волосы. Надо любить ее: с женщинами всегда одно и то же; их

всех надо любить небывалой любовью.

— До вечера, — сказала она.

— Да. Я буду ждать тебя в нашем маленьком баре.

Она ласково сжала его руку, и он понял, что они вместе подумали: до ночи в нашей постели. После того, как она исчезла в помпезном здании, он пешком стал спускаться к Сене. Половина двенадцатого. «Я приду к Поль раньше времени, ей это доставит удовольствие», — сказал он себе. Этим утром ему хотелось всем доставлять удовольствие. «Однако, — с некоторым беспокойством подумал он, — мне необходимо поговорить с ней». После того как он держал в объятиях Жозетту, мысль о ночах с Поль стала ему невыносима. «Возможно, ей это будет все равно: она прекрасно знает, что я ее больше не хочу», — с надеждой говорил он себе. Поль не пожелала узнать себя в унылой героине его романа; а между тем после этого чтения она изменилась; никогда не устраивала больше сцен, не возражала при виде того, как Анри постепенно переносил в гостиницу свои бумаги и одежду; он очень часто ночевал там. Кто знает, не согласится ли она с некоторым облегчением примириться со спокойной дружбой? Весеннее небо было таким радостным, что каза-

лось возможным жить искренне, не заставляя никого страдать. На углу улицы Анри остановился в нерешительности перед торговкой цветами: у него был соблазн принести Поль, как раньше, большую охапку бледных фиалок, но он боялся удивить ее. «Бутылка хорошего вина не так обязывает», — решил он, входя в соседнюю лавку. Поднимаясь по лестнице, Анри был весел. Ему хотелось пить, он был голоден и уже чувствовал во рту крепкий вкус старого бордо, он прижимал бутылку к сердцу, словно она вобрала в себя всю дружбу, которую ему хотелось предложить Поль.

Без стука, потихоньку, как прежде, он вставил ключ в замочную скважину и толкнул дверь; Поль ничего не слышала; она стояла на коленях на ковре, усыпанном старыми бумагами: он узнал свои письма; в руках она держала его фотографию, глядя на нее с таким выражением, какого он у нее никогда не видел; она не плакала, и при виде ее сухих глаз становилось ясно, что в слезах всегда теплится толика надежды; она смотрела в лицо своей судьбе и ничего от нее больше не ждала, мало того, она мирилась с этим. Поль казалась такой одинокой перед безжизненным изображением, что Анри почувствовал себя лишенным собственного я. Он закрыл дверь, не в силах про-

тивиться раздражению, парализовавшему его жалость; когда он постучал, послышался встревоженный шорох смятого шелка и бумаги, затем она неуверенно сказала: «Войдите».

— Что ты тут делала?

— Перечитывала старые письма; я не ждала тебя так рано.

Она бросила бумаги в кресло и спрятала фотографию; лицо ее было спокойным, но хмурым; ему пришлось вспомнить, что она давно уже не бывала веселой; он с досадой поставил бутылку на стол.

— Тебе лучше не зарывать себя в прошлом, а немного больше жить настоящим, — сказал он.

— О! Настоящее! — Она окинула стол невидящим взглядом. — Я не накрыла.

— Хочешь, пойдем в ресторан?

— Нет! Нет! Я быстро.

Она пошла на кухню, а он протянул руку к письмам.

— Оставь их! — резко сказала Поль.

Она схватила письма и бросила их в шкаф. Он пожал плечами; в каком-то смысле она была права, эти старые застывшие слова стали ложью. Он молча смотрел на Поль, хлопотавшую вокруг стола: нелегко будет говорить с ней о дружбе.

Они сели напротив друг друга перед блюдом с закусками, и Анри откупорил бутылку.

— Ты ведь любишь красное бордо, верно? — спросил он предупредительным тоном.

— Ну конечно, — безучастно ответила она.

Разумеется, для нее это не был праздничный день; намерение торжественно отметить вместе с Поль его новую любовь было верхом слепоты и эгоизма, но, осуждая себя, Анри ощущал скрытую обиду.

— Тебе следовало бы хоть иногда выходить, — заметил он.

— Выходить? — изумленно спросила она.

— Да, высовывать нос на улицу, встречаться с людьми.

— Зачем?

— А сидеть целый день в своей норе, что тебе это даст?

— Я очень люблю свою нору, — с грустной улыбкой ответила она. — Я не скучаю.

— Не может же так продолжаться всю твою жизнь. Ты не хочешь петь, хорошо, это дело решенное. Но тогда попытайся делать что-то другое.

— Что например?

— Поищем.

Она покачала головой.

— Мне тридцать семь лет, и у меня нет никакой профессии. Я могу стать старьевщицей, да и то!

— Профессию можно получить; ничто не мешает тебе чему-нибудь научиться.

Она с тревогой посмотрела на Анри:

— Ты хочешь, чтобы я зарабатывала себе на жизнь?

— Вопрос не в деньгах, — с живостью возразил он. — Мне хотелось бы, чтобы ты чем-то интересовалась, чем-нибудь занималась.

— Я интересуюсь нами, — сказала она.

— Этого недостаточно.

— Мне этого достаточно вот уже десять лет. Он собрал все свое мужество:

— Послушай, Поль, ты прекрасно знаешь, что многое в наших отношениях изменилось, к чему обманывать себя. У нас была большая прекрасная любовь; признаемся друг другу, что она переходит теперь в дружбу. Это не значит, что мы будем реже видеться, вовсе нет, — поспешно добавил он, — но тебе надо обрести независимость.

Она пристально смотрела на него.

— Никогда я не смогу относиться к тебе дружески. — Слабая улыбка коснулась ее губ. — И ты ко мне тоже.

— Напротив, Поль...

— Сам подумай, — прервала она его, — сегодня утром ты не смог дождаться назначенного часа, ты пришел на двадцать минут раньше и стучал так возбужденно. Ты называешь это дружбой?

— Ты ошибаешься.

От ее упрямства его снова охватил гнев; однако он вспомнил, какую скорбь только что видел на этом лице, и враждебные слова застряли у него в горле; они молча закончили есть; выражение лица Поль не располагало к болтовне. Выйдя из-за стола, она спросила бесстрастным тоном:

— Вечером ты придешь?

— Нет.

— Ты не часто теперь приходишь, — заметила она и добавила с печальной улыбкой: — Это составляет часть твоего нового плана дружбы?

Он заколебался.

— Так случилось.

Она довольно долго напряженно всматривалась в него, потом медленно произнесла:

— Я уже говорила тебе, что теперь люблю тебя со всем великодушием, с полным уважением твоей свободы. Это означает, что я не требую у тебя отчета; ты можешь спать с другими женщинами и не говорить мне об этом, не чувствуя себя

виноватым передо мной. Все, что есть в твоей жизни обыденного и банального, меня все более и более оставляет равнодушной.

— Но мне нечего от тебя скрывать, — сказал он в замешательстве.

— Главное, что я хочу сказать тебе, — с важным видом заявила она, — так это то, что у тебя не должно быть угрызений совести; что бы с тобой ни случилось, ты можешь приходить спать сюда, не считая себя недостойным нас. Я буду ждать тебя сегодня ночью.

«Тем хуже! — подумал Анри. — Она сама этого хотела!», а вслух сказал:

— Послушай, Поль, я буду говорить с тобой откровенно: я считаю, что мы не должны больше проводить ночи вместе. Ты так дорожишь нашим прошлым и отлично знаешь, какие прекрасные ночи были у нас раньше; не будем портить воспоминания. У нас больше нет прежнего желания.

— Ты меня не хочешь? — с недоверием спросила Поль.

— Не так сильно, как раньше. Да и ты меня тоже, — добавил он. — Не говори обратное; у меня пока есть память.

— Но ты ошибаешься! — сказала Поль. — Это трагическая ошибка! Ужасное недоразумение! Я

не изменилась!

Он знал, что она лжет, но наверняка и себе так же, как ему.

— Я, во всяком случае, изменился, — мягко сказал он. — Возможно, у женщин все иначе, но мужчина не может до бесконечности желать одно и то же тело. Ты такая же красивая, как раньше, только стала для меня привычной.

Он с мучительным беспокойством искал взгляда Поль, пытаясь улыбнуться ей; она не плакала, но, казалось, была парализована ужасом.

— Ты не будешь больше спать здесь? — с усилием прошептала она. — Ты это хочешь мне сказать?

— Да, но разницы большой не будет...

Поль жестом остановила его; она верила только в обман, который придумывала для себя; смягчить для нее правду было столь же трудно, как и заставить согласиться с ней.

— Уходи, — без гнева сказала она. — Уходи, — повторила она, — мне надо побыть одной.

— Позволь мне объяснить тебе...

— Прошу тебя! — сказала она. — Уходи. Он встал.

— Как хочешь; но завтра я вернусь, и мы поговорим, — сказал он.

Она не ответила; он закрыл за собой дверь и постоял какое-то время на лестничной площадке, пытаясь уловить звук рыдания, падения, какого-то движения, но было тихо. Спускаясь по лестнице, Анри думал о тех собаках, которым перерезают голосовые связки, прежде чем подвергнуть мукам вивисекции: ни единого признака их страдания в мире; было бы не так нестерпимо слышать их вой!

Они не поговорили ни завтра, ни в последующие дни; Поль делала вид, будто забыла об их разговоре, а Анри не стремился возвращаться к нему. «Придется в конце концов рассказать ей о Жозетте, но не сразу», — убеждал он себя. Все ночи он проводил в бледно-зеленой спальне, то были страстные ночи, но, когда он вставал по утрам, Жозетта ни разу не пыталась удержать его. В день подписания контракта они условились подольше оставаться вместе после полудня: это она покинула его в два часа, отправившись к своему парикмахеру. Была ли тому причиной деликатность? Или безразличие? Не так-то просто определить чувства женщины, щедро дарующей свое тело и не имеющей ничего другого. «А я? Стану ли я по-настоящему дорожить ею?» — спрашивал он себя, рассеянно разглядывая

витрины на Фобур-Сент-Оноре. Анри чувствовал себя немного растерянным. Было слишком рано, чтобы отправиться в редакцию, и он решил пойти в Красный бар. Раньше, когда выдавалась свободная минута, он шел именно туда, но теперь уже несколько месяцев не заглядывал. Однако ничего не изменилось. Венсан, Лашом, Сезенак сидели за своим обычным столиком. Сезенак все с тем же сонным видом.

— Рад тебя видеть! — широко улыбаясь, сказал Лашом. — Ты изменил кварталу?

— Более или менее. — Анри сел и заказал кофе. — Мне тоже хотелось тебя повидать, но не только ради удовольствия, — заметил он с едва уловимой улыбкой. — Скорее для того, чтобы высказать тебе свое мнение: гнусно было печатать месяц назад ту статью о Дюбрее.

Лицо Лашома помрачнело.

— Да, Венсан говорил мне, что ты против. А в чем дело? Многие вещи, сказанные Фико, верны, разве не так?

— Нет! Портрет в целом настолько лжив, что ни одна деталь не верна. Дюбрей — враг рабочего класса! Да будет вам! Ты забыл? Год назад за этим самым столом ты объяснял мне, что мы должны работать бок о бок, ты, твои друзья, Дюбрей и я. А

сам публикуешь такую мерзость!

Лашом взглянул на него с упреком:

— Против тебя «Анклюм» никогда ничего не печатала.

— Придет и мой черед! — сказал Анри.

— Ты прекрасно знаешь, что нет.

— Зачем нападать на Дюбрея таким образом да еще в такой момент? — спросил Анри. — Другие ваши газеты более или менее соблюдали вежливость по отношению к нему. И вдруг, без всякой причины, из-за статей, даже не политических, вы начинаете грубо оскорблять его!

Лашом заколебался.

— Согласен, — сказал он, — момент был неподходящий, и Фико немного перестарался. Но надо понять! Он надоел нам, этот старик, с его дурацким гуманизмом. В плане политическом СРЛ не слишком мешает; но как у теоретика язык у Дюбрея подвешен неплохо, он может повлиять на молодежь, а что он ей предлагает? Совместить марксизм со старыми буржуазными ценностями! Признайся, не это нам сегодня нужно!

— Дюбрей защищает не буржуазные ценности, а совсем иное, — возразил Анри.

— Так он утверждает; но это и есть обман. Анри пожал плечами:

— Я не согласен. Но в любом случае, почему не сказать то, что говоришь мне сейчас ты, вместо того чтобы изображать Дюбрея сторожевым псом буржуазии?

— Приходится упрощать, если хочешь быть понятым, — ответил Лашом.

— Да будет тебе! «Анклюм» обращается к интеллектуалам: они прекрасно бы поняли, — с раздражением сказал Анри.

— Ах! Не я же написал эту статью, — возразил Лашом.

— Но ты ее принял. Тон Лашома изменился:

— Думаешь, я делаю все, что хочу? Я ведь сказал тебе, что считал момент неподходящим и, на мой взгляд, Фико перестарался. Мне кажется, следует спорить с таким человеком, как Дюбрей, а не оскорблять его. Мы так и поступили бы, если бы у меня и моих друзей был собственный журнал.

— Журнал, где бы ты мог выражать свое мнение совершенно свободно, — с улыбкой сказал Анри. — Речь об этом больше не идет?

— Нет.

Наступило молчание; Анри взглянул на Лашома:

— Я знаю, что такое дисциплина. И все-таки тебя не смущает, что ты остаешься в «Анклюм»,

хотя не согласен с его линией?

— Думаю, уж лучше пускай там буду я, чем кто-нибудь другой, — ответил Лашом. — Я останусь до тех пор, пока меня будут держать.

— Думаешь, тебя там не оставят?

— Видишь ли, компартия — это не СРЛ, — сказал Лашом. — Когда сталкиваются два направления, проигравшие легко попадают в разряд подозрительных.

В его голосе было столько горечи, что Анри спросил:

— Послушай, ты так призывал меня вступить в компартию, а теперь сам, возможно, выйдешь из нее.

— Я знаю таких, кто только этого и дожидается! Партийные интеллектуалы — да это самое настоящее осиное гнездо! — Лашом тряхнул головой: — Ну и ладно, я все равно не уйду. Бывают моменты, когда очень хочется так поступить, — добавил он. — Мы не святые. Но учимся терпеть.

— У меня ощущение, что я никогда не научусь, — сказал Анри.

— Ты только так говоришь, — возразил Лашом. — Но если бы был убежден, что в целом именно партия на верном пути, то решил бы, что твои мелкие личные истории немногого стоят по

сравнению с тем, что поставлено на карту. Понимаешь, — с воодушевлением продолжал он, — есть одна вещь, в которой я уверен: только коммунисты занимаются полезной работой. Так что презирай меня, если хочешь, но я готов стерпеть что угодно, лишь бы не уходить оттуда.

— О! Я тебя понимаю! — сказал Анри. А сам подумал: «Кто же по-настоящему честен? Я примыкаю к СРЛ, потому что одобряю его линию, но пренебрегаю тем обстоятельством, что, весьма вероятно, движение потерпит неудачу. Лашом нацелен на продуктивность и соглашается с методами, которых не одобряет. Никто не вкладывает себя целиком в каждое из своих деяний, само дело препятствует этому».

Он встал:

— Пойду в редакцию.

— Я тоже, — сказал Венсан. Сезенак приподнялся на стуле:

— Я провожу вас.

— Нет, мне надо поговорить с Перроном, — непринужденным тоном сказал Венсан.

Когда они вышли из бара, Анри спросил:

— Как дела у Сезенака?

— Никак. Он говорит, что переводит, но никому не известно, что именно; ночует он у приятелей

и ест, что ему дают. В настоящее время он спит у меня.

— Остерегайся.

— Чего?

— Наркоманы — опасная штука, — сказал Анри, — они не пожалеют и отца с матерью.

— Я не сумасшедший, — ответил Венсан. — Он никогда ни о чем не знал. Сезенак мне нравится, — добавил он, — с ним никаких компромиссов: это безысходность в чистом виде.

Они молча спустились по улице, и Анри спросил:

— Ты действительно хочешь поговорить со мной?

— Да. — Венсан пытался заглянуть в глаза Анри. — Это правда, то, что рассказывают, будто твою пьесу должны ставить в октябре на «Студии 46» и что звездой будет малютка Бельом?

— Сегодня вечером я подписываю контракт с Верноном. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Ты наверняка не знаешь, что матушку Бельом обрили, и она это вполне заслужила. У нее был замок в Нормандии, там она принимала кучу немецких офицеров, спала с ними, возможно, и малютка тоже.

— Зачем ты рассказываешь мне эти сплетни?

— спросил Анри. — С каких пор ты принимаешь себя за сыщика и почему ты думаешь, что я люблю сплетни?

— Это не сплетни. Существует досье, у меня есть приятели, которые его видели: письма, фотографии, которые один парень постарался заполучить, полагая, что это может когда-нибудь ему пригодиться.

— Ты сам-то видел досье?

— Нет.

— Вот именно. Но мне в любом случае плевать, — с негодованием сказал Анри. — Меня это не касается.

— Помешать негодяям вновь верховодить страной, не общаться с ними и не компрометировать себя — это всех нас касается.

— Ступай читать свою проповедь кому-нибудь еще.

— Послушай, не сердись, — сказал Венсан. — Я хотел предупредить тебя, что матушка Бельом под прицелом, за ней приглядывают, и будет глупо, если у тебя появятся неприятности из-за этой сволочи.

— Обо мне не беспокойся, — сказал Анри.

— Ладно, — ответил Венсан. — Я хотел, чтобы ты знал, вот и все.

Они закончили путь молча; но в душе Анри поселился голос, непрерывно повторявший: «И малютка тоже». Всю вторую половину дня он твердил этот припев. Жозетта почти призналась, что мать не раз продавала ее; впрочем, все, чего Анри ждал от нее, это еще несколько ночей, да, еще несколько ночей.

Между тем на протяжении нескончаемого ужина, наблюдая, как она с вялой любезностью улыбается Вернону, он до стеснения в груди испытывал мучительное желание очутиться с ней наедине и расспросить ее.

— Итак, вы довольны, контракт подписан! — говорила Люси.

Ее платье и драгоценности плотно прилегали к ее коже, так же как волосы, можно было подумать, что она родилась, спала и умрет в платье с маркой «Амариллис»; позолоченная прядь оттеняла черноту ее волос, и Анри зачарованно смотрел на нее: как выглядела Люси с бритым черепом?

— Я очень доволен.

— Дюдюль вам скажет, что если я беру дело в свои руки, то можно быть спокойным.

— О! Это поразительная женщина, — спокойно подтвердил Дюдюль. Клоди заверила Анри, что

Дюдюль, официальный любовник, потрясающе честный человек. Действительно, его серебристые волосы обрамляли такое свежее, правдивое лицо, какое встречается лишь у крупных мошенников: тех, кто достаточно богат, чтобы купить собственную совесть; возможно, впрочем, он был честен согласно своему особому кодексу.

— Скажите Поль, что она поступила гадко, отказавшись прийти.

— Она действительно слишком устала, — ответил Анри.

Прощаясь, он поклонился Жозетте; все женщины были в черном и сверкали драгоценностями; она тоже была в черном и казалась придавленной массой своих волос; улыбаясь, она с заученной вежливостью протянула ему руку; в течение всего вечера ни одно неверное движение ресниц не изобличило ее напускного равнодушия. Значит, лицемерить ей было легко? Ночью в своей наготе она казалась такой бесхитростной, такой открытой, такой невинной. Со смешанным чувством нежности, жалости, ужаса Анри задавался вопросом, есть ли в досье и ее фотографии тоже.

Вот уже несколько дней такси работали снова; три машины стояли на площади де ла Мюетт, и Анри сел в одну из них, чтобы подняться на

Монмартр; он едва успел заказать виски, когда Жозетта опустилась рядом с ним в глубокое кресло.

— Верной был превосходен, — сказала она, — к тому же он педик, мне повезло, значит, не будет приставать.

— Как ты поступаешь, когда к тебе пристают?

— В зависимости от обстоятельств; иногда бывает трудно.

— Во время войны немцы не очень к тебе приставали? — спросил Анри, пытаясь сохранить естественный тон.

— Немцы? — Она покраснела, как однажды он уже видел, от шеи до самых корней волос. — Почему ты об этом спрашиваешь? Что тебе рассказали?

— Что твоя мать принимала немцев в своем нормандском замке.

— Замок был оккупирован; это не по нашей вине. Я знаю. Люди в деревне распространяли скверные слухи, потому что ненавидели маму, впрочем, она сама была виновата, она не очень любезна. Но ничего плохого она не сделала и всегда держала немцев на расстоянии.

Анри улыбнулся:

— К тому же, если бы это было иначе, ты бы мне

все равно не сказала.

— О! Зачем ты так говоришь? — молвила она. Жозетта смотрела на него с трагическим выражением, глаза ее подернулись влагой. Он был напуган властью, какую имел над этим прекрасным лицом.

— Твоей матери надо было поддерживать свой дом моды, и угрызениями совести она не мучилась; она могла попытаться использовать тебя.

— Что ты выдумываешь? — с испуганным видом сказала Жозетта.

— Полагаю, ты была неосторожна, например, прогуливалась с офицерами.

— Я была учтива, не более того; разговаривала с ними, а иногда они привозили меня из деревни домой. — Жозетта пожала плечами. — Я ничего не имела против них, видишь ли, они вели себя прилично, а я была молода, я ничего не понимала в этой войне, мне хотелось, чтобы она кончилась, вот и все. — Она поспешила добавить: — Теперь я знаю, какие они были ужасные с этими концлагерями и всем остальным...

— Ты мало что знаешь, но это неважно, — ласково сказал Анри.

В 1943 году она была не так молода: Надин тогда было всего семнадцать лет. Но разве можно их

сравнивать; Жозетта плохо воспитана, никто ее особо не любил и никто ничего не объяснил. Она чересчур любезно улыбалась немецким офицерам, когда встречала их на улицах деревни, садилась в их машину: этого достаточно, чтобы потом уже, задним числом, привести в негодование население. «Было ли что-то большее? Лгала ли она? Жозетта так откровенна и так лицемерна: как знать? Да и по какому праву?» — подумал он вдруг с отвращением. Ему стало стыдно за то, что он изображал полицейского.

— Ты мне веришь? — робко спросила она.

— Я тебе верю. — Он прижал ее к себе. — Не будем больше говорить об этом, — сказал он, — не будем говорить ни о чем. Пойдем к тебе. Пойдем скорее.

Судебный процесс над месье Ламбером начался в Лилле в конце мая; безусловно, ему помогло выступление сына, к тому же он, верно, пустил в ход немалые связи и был оправдан. «Тем лучше для Ламбера», — подумал Анри, узнав о решении суда. Четыре дня спустя Ламбер работал в редакции, когда ему позвонили из Лилля: его отец, который собирался приехать в Париж вечерним скорым поездом, выпал из вагонной двери; его состояние было очень тяжелым. Однако через час стало из-

вестно, что умер он сразу. Не вымолвив ни слова, Ламбер сел на мотоцикл, а когда вернулся после похорон в Париж, спрятался у себя и не подавал признаков жизни.

«Надо зайти повидать его, сегодня же и зайду», — решил Анри после нескольких дней молчания; напрасно он пытался звонить, Ламбер выключил телефон. «Скверное дело», — твердил Анри, бросая растерянный взгляд на лежавшие на столе бумаги. Этот человек был стар и не очень симпатичен, к тому же Ламбер испытывал к нему больше жалости, чем любви, однако Анри не удавалось отмахнуться от этой истории. Странная прихоть судьбы: сначала приговор, а затем несчастный случай. Он попытался сосредоточить свое внимание на машинописных страницах.

«Полдень. Придет Жозетта, а я так и не успел пробежать досье», — с раскаянием корил он себя. Караганда, Чарджоу, Узбекистан: ему не удавалось вдохнуть жизнь в эти варварские названия и цифры. Между тем желательно было, чтобы он ознакомился с бумагами до собрания, которое должно состояться во второй половине дня. По правде говоря, если они не заинтересовали его, то потому, что он не очень им доверял. Да и какое доверие может вызвать документ, переданный

Скрясиным? Существовал ли этот таинственный советский служащий, сбежавший из красного рая специально для того, чтобы огласить подобную информацию? Самазелль утверждал, что да, он уверял даже, будто установил его личность, но Анри сомневался. Он перевернул страницу.

— Ку-ку.

То была Жозетта, закутанная в широкое белое пальто с распущенными по плечам прекрасными волосами; не успела она закрыть дверь, как Анри встал и заключил ее в объятия. Обычно, с самого первого их поцелуя, он попадал в замкнутый миниатюрный мир с бессмысленными игрушками; сегодня перевоплощение проходило труднее, чем всегда, заботы не отпускали его.

— Так это здесь ты обитаешь? — весело сказала она. — Я понимаю, почему ты никогда не приглашал меня: здесь очень некрасиво! А куда ты ставишь книги?

— У меня их нет. Прочитав книгу, я даю ее друзьям, а они, как правило, ее не возвращают.

— Я считала, что писатель живет среди стен, уставленных книгами. — Она с сомнением смотрела на него: — Ты уверен, что ты настоящий писатель?

Он рассмеялся.

— Во всяком случае, я пишу.

— Ты работал? Я пришла слишком рано? — спросила она, усаживаясь.

— Дай мне пять минут, и я полностью твой, — ответил он. — Хочешь посмотреть газеты?

Она слегка поморщилась:

— Есть колонки происшествий?

— Я думал, ты начала наконец читать политические статьи, — с упреком сказал он. — Нет? С этим уже покончено?

— Я не виновата, я пыталась, — оправдывалась Жозетта. — Но фразы бегут у меня перед глазами. Мне кажется, что все это меня не касается, — с несчастным видом добавила она.

— Тогда развлекайся историей с повешенным в Понтуазе, — сказал он. Норильск, Игарка, Абсагашев. Названия, цифры по-прежнему оставались

мертвыми. У него тоже фразы бежали перед глазами, и ему казалось, что все это его не касается. События происходили так далеко, совсем в другом мире, о котором очень трудно судить.

— У тебя есть сигарета? — тихонько спросила Жозетта.

— Да.

— И спички.

— Вот. Почему ты говоришь шепотом?

— Чтобы не мешать тебе.

Он со смехом поднялся.

— Я кончил. Куда мы пойдем обедать?

— В «Иль Борроме», — решительно заявила она.

— Это то самое сверхмодное кабаре, которое открылось позавчера? Нет, прошу тебя, найди что-нибудь другое.

— Но... я заказала для нас столик, — сказала она.

— Можно и отказаться.

Он протянул руку к телефону, она остановила его:

— Нас там ждут.

— Кто ждет?

Она опустила голову, и он повторил:

— Кто нас ждет?

— Это мамина идея; мне надо сразу же начинать рекламу. «Иль» — это то место, о котором все говорят. Мама попросила журналистов устроить мне интервью с фотографиями в духе того, что: «Автор беседует с исполнительницей...»

— Нет, дорогая, — сказал Анри. — Фотографируйся сколько угодно, но только без меня.

— Анри! — В глазах Жозетты стояли слезы; она плакала с детской непосредственностью, которая

переворачивала ему душу. — Я специально сшила это платье, я была так довольна...

— Есть другие приятные рестораны, где нам будет хорошо.

— Но раз меня ждут! — с отчаянием сказала Жозетта; она смотрела на него своими огромными, полными слез глазами. — Послушай, ты ведь можешь что-нибудь сделать для меня.

— Любовь моя, а что ты для меня делаешь?

— Я? Но я...

— Да, ты... — весело ответил он. — Но ведь и я тоже... Она не смеялась.

— Это разные вещи, — серьезно сказала она. — Я женщина.

Он снова засмеялся, подумав: «Она права, тысячу раз права: это разные вещи».

— Тебе так нужен этот обед? — спросил он.

— Ты не понимаешь! Это необходимо для моей карьеры. Если хочешь добиться успеха, надо бывать на людях и заставлять говорить о себе.

— Главное, надо хорошо делать то, что делаешь; играй хорошо, и о тебе будут говорить.

— Я хочу, чтобы все шансы были на моей стороне, — сказала Жозетта. Выражение ее лица стало суровым: — Ты думаешь, это весело, просить у мамы милостыню? И чтобы, когда я прихожу

в ее салоны, она мне при всех выговаривала: «Почему ты носишь сабо?» Думаешь, это весело?

— А что такое с твоими туфлями? Они очень красивые.

— Они хороши для завтрака на природе, но для города чересчур спортивны.

— Ты всегда казалась мне такой элегантной...

— Потому что ты ничего в этом не понимаешь, дорогой, — с грустью сказала она. И пожала плечами. — Ты не знаешь, что такое жизнь женщины, которая не добилась успеха.

Он положил ладонь на ее нежную руку со словами:

— Ты добьешься успеха. Поехали фотографироваться в «Иль Борроме». Когда они спустились с лестницы, она спросила:

— У тебя есть машина?

— Нет. Мы возьмем такси.

— А почему у тебя нет своей машины?

— Ты еще не заметила, что у меня нет денег? Думаешь, у тебя не было бы самых красивых в Париже туфель?

— Но почему у тебя нет денег? — спросила она, когда они сели в такси. — Ты еще умнее, чем мама и Дюдюль. Ты не любишь деньги?

— Деньги все любят; но, чтобы их действи-

тельно иметь, нужно любить их больше всего на свете.

Жозетта задумалась.

— Я не люблю деньги больше всего на свете, но люблю вещи, которые на них покупают.

Он обнял ее за плечи.

— Возможно, моя пьеса сделает нас богатыми, тогда мы купим тебе вещи, которые ты любишь.

— И ты будешь водить меня в красивые рестораны?

— Иногда, — весело отвечал Анри.

Однако он чувствовал себя неуютно, когда шел по цветущему саду под взглядами шикарно разодетых женщин и мужчин с холеными лицами. Кусты роз, старая липа, радужная веселость залитой солнцем воды — вся эта продажная красота оставляла его равнодушным, и он спрашивал себя: «Какого черта я здесь делаю?»

— Красиво, правда? — с жаром спросила Жозетта. — Обожаю природу, — добавила она. Радостная улыбка преобразила ее приученное к смирению лицо, Анри тоже улыбнулся:

— Очень красиво. Что ты будешь есть?

— Думаю, грейпфрут и жареное мясо, — с сожалением сказала Жозетта. — Из-за фигуры.

В зеленом полотняном платье, открывавшем ее

бархатистые, упругие руки, она выглядела очень юной, и если отбросить личину утонченной женщины, как, по сути, она была естественна! Вполне нормально, что ей хотелось преуспеть, показать себя, красиво одеваться и развлекаться; у нее было то огромное преимущество, что она со всей искренностью признавалась в своих желаниях, не заботясь о том, какие они: благородные или гнусные. Даже если ей случалось лгать, она была более правдивой, чем Поль, которая никогда не лгала; было много лицемерия в возвышенных правилах, которые придумала себе Поль; Анри представил себе тот надменный вид, с каким она взглянула бы на эту мишурную роскошь, и удивленную улыбку Дюбрея, испуганный взгляд Анны. Они все с удрученным видом покачают головой, когда появятся эти фотографии и это интервью.

«Что и говорить, мы все немного пуритане, — подумал он. — В том числе и я. А все потому, что терпеть не можем, когда нам тычут в лицо наши привилегии». Ему хотелось избежать этого обеда, чтобы не признаваться самому себе в том, что у него есть возможность позволить себе такое. «А между тем в Красном баре в кругу друзей я не считаю денег, которые спускаю за один вечер».

Он наклонился к Жозетте:

— Ты довольна?

— О! Какой ты милый! Ты один такой.

Надо быть дураком, чтобы ради нелепых запретов пожертвовать ее улыбкой. Бедная Жозетта! Ей нечасто случалось улыбаться. «Женщины невеселы», — подумал, глядя на нее, Анри. Его история с Поль кончилась плачевно; Надин он ничего не сумел дать. Жозетта... На сей раз все будет по-другому. Она хочет добиться успеха: он ей поможет. Анри любезно улыбнулся двум приближавшимся журналистам.

Когда двумя часами позже он вылез из такси у дома Ламбера, из ворот выходила Надин. Она приветливо улыбнулась ему; Надин полагала, что в их истории она с честью вышла из игры, и всегда бывала с ним очень любезна.

— А-а! Ты тоже здесь! С ума сойти — какой заботой окружен бедный сиротинушка!

Анри взглянул на нее с некоторой долей возмущения:

— Ничего смешного в том, что случилось, нет.

— Какое ему дело до того, что этот старый подлец умер? — возразила Надин, пожав плечами. — Я прекрасно знаю, что мне следовало бы изображать сестру милосердия, утешительницу и все

такое, но я не могу. Сегодня меня одолели благие намерения, и вот нате вам: явился Воланж.

— Воланж наверху?

— Ну да. Ламбер часто с ним видится, — сказала она, и Анри не смог разобрать, крылось ли в ее небрежном тоне вероломство.

— Я все-таки поднимусь, — сказал он.

— Желаю приятно провести время.

Анри медленно поднялся по лестнице. Ламбер часто встречался с Воланжем: почему он не сказал ему об этом? «Боялся, что я рассержусь», — подумал Анри. Его и вправду это сердило. Он позвонил. Ламбер вяло улыбнулся ему:

— А, это ты? Очень мило...

— Какой счастливый случай, — сказал Луи. — Мы так давно не виделись!

— Давно! — Анри повернулся к Ламберу; в своем фланелевом костюме с черным крепом на лацкане тот выглядел весьма сиротливо: месье Ламбер, должно быть, одобрил бы строгую элегантность его костюма. — У тебя, верно, нет сейчас большого желания двигаться, — сказал Анри, — но на сегодня у Дюбрея назначено важное собрание. «Эспуар» предстоит принять серьезные решения. Мне очень хотелось бы, чтобы ты поехал со мной.

По правде говоря, Ламбер ему был не нужен, но он хотел оторвать его от печальных раздумий.

— Мысли у меня совсем о другом, — сказал Ламбер и, опустившись в кресло, мрачно добавил: — Воланж уверен, что мой отец умер не от несчастного случая, его убили.

Анри вздрогнул:

— Убили?

— Дверцы сами собой не открываются, — сказал Ламбер, — и он не убивал себя, ведь его только что оправдали.

— Ты не помнишь историю с Молинари между Лионом и Балансом? — спросил Луи. — А с Пералем? Они тоже упали с поезда вскоре после оправдательного приговора.

— Твой отец был немолод, измучен, — сказал Анри, — волнения судебного процесса могли помутить его разум.

Ламбер покачал головой.

— Я узнаю, кто это сделал! — заявил он. — Непременно узнаю.

У Анри судорожно сжались руки; вот уже неделю ему не давало покоя именно такое подозрение. «Нет! — молил он мысленно. — Только не Венсан! Не он и никто другой!» Молинари, Пераль — его это не касалось; не исключено, что старый месье

Ламбер был таким же подлецом, как они, но Анри слишком отчетливо видел его окровавленное лицо на железнодорожном полотне, пожелтевшее лицо, которое освещала удивленная голубизна глаз; пускай это будет несчастный случай.

— Во Франции существуют банды убийц, это факт, — сказал, поднимаясь, Луи. — До чего ужасна эта ненависть, которая никак не желает умирать! — Помолчав, он продолжал любезным тоном: — Приходи как-нибудь вечером отужинать дома, а то мы никогда не видимся, это слишком глупо; есть множество вещей, о которых мне хотелось бы поговорить с тобой.

— Как только появится время, — уклончиво отвечал Анри. Когда дверь за ним закрылась, Анри спросил:

— Дни, которые ты провел в Лилле, были очень мучительны? Ламбер пожал плечами.

— Похоже, не слишком мужественно испытывать потрясение, когда у вас убивают отца! — с обидой в голосе произнес он. — Тем хуже! Признаюсь, меня это действительно потрясло!

— Понимаю, — сказал Анри и добавил с улыбкой: — А насчет мужественности, это все женские выдумки.

Какие чувства испытывал Ламбер по отноше-

нию к отцу? Он признавался лишь в жалости, угадывалась и обида: наверняка к этому примешивалось и другое — преклонение, отвращение, уважение, обманутая нежность; во всяком случае, этот человек что-то для него значил. Анри продолжал со всей сердечностью, на какую вообще был способен:

— Не сиди взаперти, не терзай себя. Сделай усилие, пойдем со мной, тебе будет интересно, и ты окажешь мне услугу.

— О! Ведь ты в любом случае располагаешь моим голосом, — возразил Ламбер.

— Мне хотелось бы знать твое мнение, — сказал Анри. — Скрясин утверждает, что какой-то высокопоставленный чиновник, сбежавший из СССР, предоставил ему будто бы сенсационные сведения, изобличающие режим, разумеется; он предложил Самазеллю, чтобы «Эспуар», «Вижиланс» и СРЛ помогли распространить эти сведения. Но какова их ценность? Я просмотрел кое-какие обрывки, но не имел возможности разобраться.

Лицо Ламбера оживилось.

— Ну это-то меня интересует, — сказал он, внезапно поднимаясь. — И даже очень.

Когда они вошли в кабинет Дюбрея, тот нахо-

дился там вдвоем с Самазеллем.

— Вы только представьте себе: опубликовать подобную информацию раньше всех, да это будет сенсацией! — говорил Самазелль. — Последний пятилетний план датирован мартом месяцем, и о нем практически ничего не известно. Вопрос о трудовых лагерях{94} особенно поразит общественное мнение. Заметьте, что до войны он уже поднимался; в частности, этим была озабочена фракция, к которой я принадлежал; но в ту пору мы почти не нашли отклика. Сегодня все вынуждены занять определенную позицию в отношении СССР, и вот мы, оказывается, в состоянии представить эту проблему в новом свете.

После его басовитых раскатов голос Дюбрея казался едва слышным.

— Априори такого рода свидетельство вдвойне подозрительно, — заметил он. — Прежде всего потому, что обвинитель долгое время уживался с режимом, который теперь разоблачает; к тому же вряд ли можно ожидать, что, раз отмежевавшись от него, он взвешенно соразмеряет свои нападки.

— Что о нем доподлинно известно? — спросил Анри.

— Его зовут Георгий Пелтов. Он был директором

Сельскохозяйственного института, — ответил Самазелль, — и месяц назад сбежал из русской зоны Германии в западную зону. Его личность полностью установлена.

— Но не его характер, — заметил Дюбрей. Самазелль нетерпеливо отмахнулся:

— Во всяком случае, вы изучили досье, которое передал нам Скрясин. Сами русские признают существование лагерей и административное интернирование.

— Согласен, — сказал Дюбрей. — Но сколько людей в этих лагерях? Вот в чем вопрос.

— Когда в прошлом году я был в Германии, — вмешался Ламбер, — ходили слухи, что никогда в Бухенвальде не было столько пленников, как после русского освобождения.

— Пятнадцать миллионов мне кажутся вполне умеренным предположением, — заметил Самазелль.

— Пятнадцать миллионов! — повторил Ламбер.

Анри почувствовал, что его охватывает паника. Он уже слышал разговоры о лагерях, но смутно и не задумывался об этом: столько всего рассказывают! Что же касается досье, то он перелистал его без всякой убежденности; он не доверял

Скрясину; на бумаге цифры казались столь же нереальными, как и названия с причудливыми созвучиями. Но вот, оказывается, русский чиновник действительно существует, и Дюбрей принимает это дело всерьез. Неведение — вещь очень удобная, но оно не дает представления о реальности. Несколько часов Анри провел с Жозеттой в «Иль Борроме», стояла прекрасная погода, он позволил себе некую совестливость, легко, впрочем, преодоленную. А тем временем во всех уголках земли людей эксплуатировали, морили голодом, убивали.

В комнату торопливо вошел Скрясин, и все взоры обратились к незнакомцу с проседью в черных волосах, с блестящими, словно осколки антрацита, глазами, который следовал за ним без улыбки, с лицом неподвижным, как у слепого от рождения. Его черные точно уголь брови сходились над переносицей острым гребнем; он был высокого роста и одет безукоризненно.

— Мой друг Жорж, — сказал Скрясин. — Временно мы будем придерживаться этого имени. — Он огляделся вокруг: — Место абсолютно надежное? Никакой возможности подслушать наш разговор? Кто живет наверху?

— Совершенно безобидный учитель музыки,

— ответил Дюбрей. — А внизу люди уехали в отпуск.

Впервые Анри и не думал улыбаться при виде многозначительных повадок Скрясина; высокий темный силуэт рядом с ним придавал сцене внушающую тревогу торжественность. Когда все сели, Скрясин сказал:

— Жорж может говорить по-русски или по-немецки. У него с собой документы, которые он вкратце изложит и прокомментирует для вас. Из всех вопросов, на которые он готов пролить ужасающий свет, самый непосредственный интерес представляет вопрос о трудовых лагерях. С этого и надо начать.

— Пусть говорит по-немецки, я переведу, — с живостью предложил Ламбер.

— Как вам будет угодно.

Скрясин сказал несколько слов по-русски, и Жорж кивнул головой, причем ни одна черта на его лице не дрогнула; казалось, оно было сковано мучительной, неизгладимой горечью. Внезапно он заговорил; взгляд его оставался неподвижным, устремленным куда-то внутрь, к нездешним видениям; но с его омертвелых губ срывались выразительные, страстные слова, то сухие, то патетические. Ламбер не спускал глаз с его уст,

словно расшифровывал язык глухонемого.

— Он говорит, что мы должны прежде всего хорошенько понять: существование трудовых лагерей — не случайное явление, на отмену которого когда-нибудь можно было бы надеяться, — переводил Ламбер. — Программа капиталовложений Советского государства требует дополнительных средств, которые могут быть получены только за счет изнурительного труда. Если потребление свободных рабочих опустится ниже определенного уровня, то настолько же снизится и производительность труда. Вот почему приступили к систематическому созданию контингента неквалифицированной рабочей силы, получающей в обмен на максимальный труд ничтожный прожиточный минимум: подобное соотношение затрат возможно лишь при концентрационной системе.

В кабинете воцарилась могильная тишина; никто не шелохнулся; Жорж заговорил снова, и Ламбер снова стал облекать в слова трагический голос:

— Исправительные работы существовали с самого начала установления режима; но в тысяча девятьсот тридцать четвертом году НКВД наделили правами в административном порядке

отдавать распоряжение о заключении в трудовой лагерь на срок, не превышающий пяти лет; для более длительного наказания необходимо предварительное судебное постановление. Между сороковым и сорок пятым годами лагеря частично опустели; многие узники были зачислены в армию, другие умерли от голода. Но за последний год они пополнились снова.

Теперь Жорж указывал на разложенных перед ним бумагах названия, цифры, и Ламбер постепенно переводил. Караганда, Чарджоу, Узбекистан. Это не были просто слова: то были куски ледяной степи, болота, прогнившие бараки, где мужчины и женщины работали по четырнадцать часов в день за шестьсот граммов хлеба; они умирали от холода, от цинги, от дизентерии, от истощения. Как только они становились слишком слабыми, чтобы работать, их помещали в больницы, где систематически насмерть морили голодом. «Да правда ли все это?» — с возмущением спрашивал себя Анри. Жорж казался подозрительным, Россия так далеко, а рассказывают столько всего! Он посмотрел на Дюбрея, замкнутое лицо которого не выражало ничего. Дюбрей выбрал позицию сомнения: сомнение — это первая защита, но и ему не следует

доверяться. Среди многих вещей, о которых рассказывают, попадаются и правдивые. В тридцать восьмом Анри сомневался, что война начнется завтра; в сороковом он сомневался в газовых камерах… Жорж наверняка преувеличивал, но выдумал он, конечно, не все. Анри открыл на коленях досье: то, что он рассеянно читал несколько часов назад, обрело вдруг страшный смысл. Тут были переведенные на английский официальные тексты, допускавшие существование лагерей. И если быть честным, то нельзя полностью отвергать все эти свидетельства, одни доставленные американскими наблюдателями, другие — насильно угнанными, оказавшимися на каторге у нацистов. Невозможно отрицать это: в СССР тоже одни люди до смерти эксплуатировали других людей!

Когда Жорж умолк, воцарилось долгое молчание.

— С естественным для интеллектуалов мазохизмом вы приняли идею диктатуры духа, — сказал Скрясин. — Но можете ли вы согласиться с этими преступлениями, направленными против человека, против всех людей?

— Мне кажется, что ответ не вызывает сомнений, — сказал Самазелль.

— Прошу прощения, — сухо возразил Дюбрей, — но у меня есть сомнение. Я не знаю ни почему ваш друг сбежал, ни почему он так долго сотрудничал с режимом, который теперь разоблачает перед нами; полагаю, причины у него были веские; однако я не хочу рисковать, потворствуя некой антисоветской махинации. К тому же мы неправомочны давать вам ответ от имени СРЛ: присутствует лишь половина комитета.

— Если бы мы сами были согласны, то наверняка добились бы и решения всего комитета, — сказал Самазелль.

— Как вы можете колебаться! — Лицо Ламбера пылало от возмущения. — Даже если четверть из того, что он рассказывает, правда, надо сразу же кричать об этом во все громкоговорители. Вы не знаете, что такое лагерь! Будь то русский или нацистский, разницы никакой: мы не для того сражались против одних, чтобы поощрять других...

Дюбрей пожал плечами:

— В любом случае для нас речь идет не о том, чтобы изменить режим в СССР, а лишь о том, чтобы повлиять сегодня во Франции на представление, которое складывается об СССР.

— Это как раз то самое дело, которое касается

нас непосредственно, — заявил Ламбер.

— Согласен, но мы были бы преступниками, впутавшись в это без достаточной информации, — сказал Дюбрей.

— Иначе говоря, вы сомневаетесь в словах Жоржа? — спросил Скрясин.

— Я не принимаю их за непреложную истину.

Скрясин ударил рукой по досье, лежавшему на письменном столе:

— А это все, как вы относитесь к этому? Дюбрей покачал головой:

— Я считаю, что ни один факт не находит серьезного подтверждения. Скрясин, не останавливаясь, принялся говорить что-то по-русски; Жорж

отвечал ему бесстрастным тоном.

— Жорж говорит, что берется предоставить вам неопровержимые доказательства. Пошлите кого-нибудь в Западную Германию: там у него есть друзья, которые подробно расскажут вам о лагерях в советской зоне. К тому же в архивах рейха обнаружили некоторые документы, переданные Советским Союзом после германо-советского пакта: там указаны цифры, которые вы сможете получить.

— Я поеду в Германию, — вызвался Ламбер. — И

немедленно. Скрясин одобрительно посмотрел на него.

— Зайдите ко мне, — сказал он. — Это деликатная миссия, которую надо тщательно подготовить. — Скрясин повернулся к Дюбрею: — Если мы доставим вам доказательства, которых вы требуете, вы готовы рассказать об этом?

— Принесите ваши доказательства, и комитет решит, — нетерпеливо ответил Дюбрей. — А пока все это болтовня.

Скрясин встал, Жорж тоже.

— Я прошу всех вас держать в строжайшем секрете беседу, которая только что у нас состоялась. Жорж хотел во что бы то ни стало лично встретиться с вами, однако вы понимаете, какие опасности ему угрожают в таком городе, как Париж.

Все они с успокаивающим видом закивали, Жорж напряженно поклонился и, не прибавив ни слова, последовал за Скрясиным.

— Я сожалею об этой отсрочке, — сказал Самазелль. — По существу вопроса нет ни малейших сомнений. Мы могли бы сразу опубликовать выдержки из положений о труде, одного этого было бы уже достаточно, чтобы возбудить общественное мнение.

— Возбудить общественное мнение против СССР! — молвил Дюбрей. — Это именно то, чего нам следует избегать, особенно теперь!

— Но ведь эта кампания пойдет на пользу не правым, а СРЛ, а движение в этом очень нуждается! — заметил Самазелль. — После выборов ситуация изменилась, и, если мы будем упорствовать, желая угодить и волкам, и овцам, СРЛ крышка, — с жаром добавил он. — Успех коммунистов заставит многих колеблющихся вступить в компартию, а многие бросятся от страха в объятия реакции. С первыми ничего не поделаешь, зато другие могут прийти к нам, если мы открыто атакуем сталинизм и пообещаем перегруппировку независимых от Москвы левых сил.

— Странные левые, которые сплотят антикоммунистов вокруг антикоммунистической программы! — заметил Дюбрей.

— Вам известно, что нас ждет? — рассерженно спросил Самазелль. — Если и дальше так пойдет, то через два месяца СРЛ будет представлять собой всего лишь маленькую группу интеллектуалов, порабощенных коммунистами, одновременно презираемых и управляемых ими.

— Никто нами не управляет! — возразил Дюбрей.

Анри будто сквозь туман слышал эти взволнованные голоса. В настоящий момент на судьбу СРЛ ему было наплевать. Единственный вопрос заключался в том, в какой мере Жорж говорил правду. Если только он не солгал от начала и до конца, отныне невозможно будет думать об СССР так, как думали прежде, придется все пересмотреть. Дюбрей ничего не желал пересматривать, он укрывался за скептицизмом; Самазелль только и ждал подобного случая, чтобы выступить против коммунистов. Анри вовсе не хотел порывать с коммунистами, но и обманывать себя тоже не хотел.

Он встал:

— Весь вопрос в том, чтобы знать, правду сказал Жорж или нет. А пока все разговоры впустую.

— Я того же мнения, — сказал Дюбрей.

Ламбер и Самазелль вышли вместе с Анри. Едва закрылась дверь, как Ламбер проворчал:

— Дюбрей и правда подкуплен! Он хочет замять это дело. Но на этот раз номер не пройдет.

— К несчастью, комитет всегда поддерживает его, — заметил Самазелль. — По сути, СРЛ — это он.

— Но «Эспуар» не обязана подчиняться СРЛ! — возразил Ламбер.

— А! Вы поднимаете важный вопрос! — улыбнулся Самазелль и добавил мечтательно: — Разумеется, если бы мы решились заговорить прямо сейчас, никто не смог бы нам помешать!

Анри удивленно посмотрел на него:

— Вы планируете разрыв между «Эспуар» и СРЛ? С чего вдруг?

— Если и дальше так будет продолжаться, то через два месяца СРЛ перестанет существовать, — сказал Самазелль. — Я хочу, чтобы «Эспуар» пережила его.

Широко улыбаясь, он удалился, и Анри облокотился на парапет набережной.

— Я спрашиваю себя, что он затевает! — сказал Анри.

— Если он хочет, чтобы «Эспуар» снова стала свободной газетой, он прав! — заметил Ламбер. — Там снова устанавливают рабство, здесь убивают! И кто-то еще хочет, чтобы мы не протестовали!

Анри посмотрел на Ламбера:

— Если Самазелль предложит разрыв, не забывай, ты обещал мне: в любом случае ты поддержишь меня.

— Хорошо, — сказал Ламбер. — Но предупреждаю тебя: если Дюбрей надумает замять дело, я уйду из газеты и продам свои акции.

— Послушай, нельзя ничего решать до тех пор, пока не подтвердятся факты, — возразил Анри.

— А кто будет решать, что они подтвердились? — спросил Ламбер.

— Комитет.

— То есть Дюбрей. Если он пристрастен, то не даст переубедить себя!

— Пристрастие и в том, чтобы дать убедить себя без доказательств! — с некоторым упреком сказал Анри.

— Не говори мне, что Жорж все это выдумал! Не говори, что все эти документы поддельные! — с жаром возразил Ламбер. Он подозрительно взглянул на Анри: — Ты действительно согласен с тем, что если это правда, то о ней надо рассказать?

— Да, — ответил Анри.

— Тогда все в порядке. Я поеду в Германию как можно скорее и клянусь тебе, что не буду там терять времени даром. — Он улыбнулся: — Тебя подвезти?

— Нет, спасибо, я немного пройдусь, — ответил Анри.

Он шел ужинать к Поль и не торопился с ней встретиться. Он медленно пустился в путь. Говорить правду: до сих пор с этим никогда не возникало серьезных проблем; он без колебаний

ответил Ламберу «да»: это был чуть ли не рефлекс. Но на самом деле Анри не знал ни что ему следует думать, ни что следует делать, он ничего не знал: он все еще был оглушен, словно получил сильный удар по голове. Разумеется, Жорж не все выдумал. Возможно даже, что все было правдой. Существовали лагеря, где пятнадцать миллионов тружеников были доведены до состояния недочеловеков; однако благодаря этим лагерям был побежден нацизм и строилась великая страна, в которой воплощался единственный шанс миллионов и миллионов недочеловеков, погибающих от голода в Китае и Индии, единственный шанс миллионов рабочих, обреченных на бесчеловечный удел, наш единственный шанс. «Неужели и его мы тоже упустим?» — со страхом спрашивал себя Анри. Он отдавал себе отчет в том, что никогда всерьез не ставил под сомнение этот шанс; ошибки, заблуждения СССР, он их знал: но все равно однажды социализм, истинный, тот, в котором соединялись бы справедливость и свобода, в конце концов победит в СССР и с помощью СССР; если сегодня эта уверенность его покинет, то будущее исчезнет во мраке: нигде больше не маячил даже призрак надежды. «Не потому ли я ищу прибежища в сомнении? — зада-

вался вопросом Анри. — Неужели я отказываюсь признать очевидное из трусости, потому что нельзя будет больше дышать, если на земле не останется уголка, к которому можно было бы обратить свой взор хоть с малой толикой доверия? Или, напротив, — подумал он, — с готовностью принимая картины ужаса, я, наверное, как раз и жульничаю. За неимением возможности примкнуть к коммунизму, каким облегчением стала бы открытая ненависть к нему. Если бы только можно было быть целиком за или полностью против! Но чтобы быть против, необходимо располагать другими шансами, дабы предложить их людям: ведь слишком очевидно, что революция свершится с помощью СССР или вообще не свершится. Меж тем, если СССР лишь подменил одну систему угнетения другой, если он восстановил рабство, как сохранить по отношению к нему хоть малейшее чувство дружбы? Должно быть, зло повсюду», — пришел к выводу Анри. Ему вспоминалась та ночь в Севеннах, когда в лачуге он с наслаждением погружался во сне в негу невинности: если зло повсюду, невинности не существует. Как бы он ни поступил, он все равно окажется неправ: неправ, если предаст гласности неполную истину, и неправ, если скроет, пускай

неполную, но все же истину. Анри спустился на берег реки. Если зло повсюду, выхода нет никакого — ни для человечества, ни для него самого. Неужели придется дойти до подобных мыслей? Он сел и тупо стал смотреть, как течет вода.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я была вне себя от радости и любопытства в тот вечер, когда приземлилась в Лагардиа; зато потом всю неделю изнывала от тоски. Да, мне предстояло многое узнать о последних достижениях американского психоанализа; заседания конгресса были очень плодотворны, так же как и беседы с моими коллегами; но мне хотелось увидеть и Нью-Йорк, а они с удручающим рвением препятствовали этому. Меня держали в заточении в раскаленных гостиницах, в ресторанах с кондиционированным воздухом, в официальных служебных кабинетах, в роскошных квартирах, и сбежать оттуда было нелегко. Когда после ужина меня привозили в гостиницу, я торопливо пересекала холл и выходила через другую дверь; я вставала на рассвете и шла прогуляться до начала утреннего заседания; однако эти краткие мгновения свободы мало что давали; я понимала, что в Америке одиночество не оправдывает себя, и беспокоилась, покидая Нью-Йорк. Чикаго, Сент-Луис, Новый Орлеан, Филадельфия, снова Нью-Йорк, Бостон, Монреаль: отличное путешествие, однако будет ли у меня возможность

воспользоваться им по-настоящему. Коллеги снабдили меня адресами местных уроженцев, которые с удовольствием покажут мне свой город; но речь шла исключительно об ученых, профессорах, писателях, и я опасалась.

Во всяком случае, в отношении Чикаго дело было проиграно заранее; я останавливалась там всего на два дня, а в аэропорту меня ожидали две престарелые дамы; они повезли меня обедать к другим престарелым дамам, которые не отпускали меня весь день. После моей лекции я ела омара в обществе двух накрахмаленных господ, и скука до того была утомительна, что, вернувшись в гостиницу, я сразу легла спать.

Утром я проснулась в страшном гневе. «Так продолжаться не может», — решила я. И стала звонить по телефону: «Я сожалею, я прошу прощения, но из-за насморка вынуждена оставаться в постели». Затем радостно соскочила с кровати. Однако на улице радости у меня поубавилось; было очень холодно; между трамвайными рельсами и надземным метро я чувствовала себя совершенно потерянной; бесполезно шагать целыми часами: я все равно никуда не приду. Я открыла свою записную книжку: Льюис Броган{95}, писатель; возможно, это лучше, чем ничего. Я снова

позвонила, сказала Брогану, что я друг Бенсонов, что они наверняка написали, сообщили о моем приезде. Хорошо, он будет в холле моей гостиницы в два часа пополудни. «Я сама за вами заеду», — сказала я и повесила трубку. Я ненавидела свою гостиницу, ее дезинфицирующий и долларовый запах, мне хотелось взять такси и поехать в какое-то определенное место, с кем-то встретиться.

Такси миновало мосты, рельсы, склады, проследовало по улицам, где все магазины были итальянскими, и остановилось на углу аллеи, где пахло жженой бумагой, намокшей землей, бедностью; шофер показал на кирпичную стену, к которой прикреплен был деревянный балкон. «Это здесь». Я прошла вдоль изгороди. Слева от меня находилась таверна, украшенная красной вывеской с погашенными огнями: «ШИЛТЦ»; справа на огромном плакате идеальная американская семья со смехом втягивала носом аромат овсяной каши на блюде; у подножия деревянной лестницы дымился мусорный ящик. На балконе я обнаружила застекленную дверь, прикрытую желтой занавеской: должно быть, это здесь. И вдруг я почувствовала, что оробела. В богатстве всегда есть что-то открытое для обозрения, но жизнь бедняка — вещь интимная; мне казалось

нескромным стучать в это стекло. Я в нерешительности смотрела на кирпичные стены, за которые монотонно цеплялись другие лестницы и серые балконы; над крышами я заметила огромный красно-белый цилиндр: газовый резервуар; у моих ног, посреди квадрата голой земли стояли почерневшее дерево и маленькая мельница с голубыми крыльями. Вдалеке прошел поезд, и балкон вздрогнул. Я постучала, в ответ на мой стук появился довольно молодой и довольно высокий мужчина с негнущимся из-за кожаной куртки торсом; он с удивлением смотрел на меня:

— Вы нашли дом?

— Вроде бы да.

Черная печка гудела посреди желтой кухни; линолеум был усеян старыми газетами, и я заметила, что нет холодильника. Неопределенным жестом Броган указал на бумаги:

— Я наводил порядок.

— Надеюсь, я вам не помешаю.

— Конечно нет. — Он стоял передо мной со смущенным видом. — Почему вы не захотели, чтобы я заехал за вами в гостиницу?

— Это ужасное место.

На губах Брогана появилось наконец подобие

улыбки:

— Это самая лучшая гостиница Чикаго.

— Вот именно. Слишком много ковров, слишком много цветов, слишком много людей, слишком много музыки, слишком много всего.

Улыбка Брогана коснулась его глаз:

— Входите же.

Сначала я увидела мексиканское покрывало, желтый стул Ван Гога{96}, потом книги, проигрыватель, пишущую машинку; наверное, хорошо жить в такой комнате, это не студия эстета и не образчик идеального американского домашнего очага.

— У вас очень мило, — с восторгом сказала я.

— Вы находите? — Броган окинул стены вопросительным взглядом. — Здесь не слишком просторно. — Снова воцарилось молчание, и он поспешил сказать: — Вы не хотите снять пальто? Что вы скажете о чашке кофе? У меня есть французские пластинки, не хотите их послушать? Пластинки Шарля Трене?{97}

Наверняка из-за большой гудящей печки или же потому, что на позолоченной холодным февральским солнцем занавеске подрагивала тень почерневшего дерева, я сразу же подумала: «А хорошо было бы провести день, сидя на

мексиканском покрывале». Однако я позвонила Брогану, чтобы посмотреть Чикаго. И потому твердо сказала:

— Мне хотелось бы увидеть Чикаго: я завтра уезжаю.

— Чикаго большой город.

— Покажите мне маленький кусочек.

Он потрогал свою кожаную куртку и с тревогой в голосе спросил:

— Мне надо переодеться?

— Что за идея! Я ненавижу крахмальные воротнички!

— Никогда в жизни я не носил крахмальных воротничков... — с жаром возразил он.

Впервые наши улыбки встретились, однако он, похоже, не совсем успокоился:

— Вы не стремитесь увидеть бойни?

— Нет. Погуляем по улицам.

Улиц было много, и все похожие друг на друга; их окаймляли обшарпанные домики и пустыри, пытавшиеся походить на пригородные садики; прошлись мы и по прямым унылым авеню; всюду было холодно. Броган в тревоге трогал свои уши:

— Они уже затвердели, пожалуй, сломаются пополам. Я пожалела его:

— Зайдем согреться в какой-нибудь бар.

Мы вошли в бар; Броган заказал имбирное пиво, а я — бурбон. Когда мы вышли, было все так же холодно; мы зашли в другой бар и разговорились. После высадки он провел несколько месяцев в лагере в Арденнах и задавал мне множество вопросов о Франции, о войне, об оккупации, о Париже. Я тоже его расспрашивала. Казалось, он был счастлив, что его слушают, но со смущением рассказывал о себе; он с трудом выдавливал фразы, а потом так порывисто бросал их мне, что каждый раз я словно получала подарок. Родился он в южной части Чикаго, отец его был мелким лавочником финского происхождения, а мать — венгерская еврейка; во времена великого кризиса ему было двадцать лет, прячась в товарных вагонах, он скитался по всей Америке, работал попеременно разносчиком, мойщиком посуды, официантом, массажистом, землекопом, каменщиком, продавцом, а случалось и взломщиком; на затерянной стоянке в Аризоне, где он мыл стаканы, Броган написал новеллу, которую напечатал левый журнал; потом он писал другие новеллы; после успеха его первого романа издатель назначил ему пансион, который позволял как-то жить.

— Мне очень хотелось бы прочитать эту книгу,

— сказала я.

— Следующая будет лучше.

— Но эта уже написана.

Броган задумчиво посмотрел на меня:

— Вы правда хотите ее прочитать?

— Да, правда.

Он встал и пошел к телефону в глубине зала. А через три минуты вернулся:

— До ужина книга будет в вашей гостинице.

— О! Спасибо! — с жаром поблагодарила я.

Живость его действий тронула меня; он сразу стал мне симпатичен из-за свойственной ему непосредственности; ему неведомы были готовые фразы и обычаи учтивости; свою предупредительность он импровизировал, и она походила на изобретательную нежность. Сначала я радовалась тому, что мне встретился классический американский экземпляр собственной персоной: левый-писатель-сделавший-себя-сам. Теперь же меня заинтересовал лично Броган. Из его рассказов явствовало, что он не признавал за собой никакого права на жизнь, а между тем ему всегда страстно хотелось жить; мне это нравилось — смесь скромности и ненасытности.

— Откуда у вас явилось желание писать? — спрашивала я.

— Я всегда любил печатную бумагу: когда я был ребенком, то сооружал газету, наклеивая газетные вырезки в тетрадь.

— Были, верно, и другие причины? Он задумался.

— Я знал множество разных людей: мне хотелось показать каждому, каковы на деле другие. Рассказывают столько всякой лжи. — Он помолчал. — В двадцать лет я понял, что весь мир мне лжет, и это повергло меня в страшный гнев; думаю, именно поэтому я и начал писать и пишу до сих пор...

— Вы все еще гневаетесь?

— Пожалуй, — сказал он со сдержанной усмешкой.

— Вы не занимаетесь политикой? — спросила я.

— Кое-что делаю.

Короче говоря, он находился примерно в той же ситуации, что и Робер с Анри; но он к ней приноровился с каким-то диковинным спокойствием; писать, выступать по радио, а иногда на митингах, разоблачая некоторые злоупотребления, этого ему вполне хватало; мне уже говорили: интеллектуалы могут жить здесь в безопасности, потому что сознают свое бессилие.

— У вас есть друзья писатели?

— О нет! — порывисто ответил он. И улыбнулся: — У меня есть друзья, которые начали писать, когда увидели, что я зарабатываю деньги, всего лишь садясь за пишущую машинку, но писателями они не стали.

— А деньги они заработали? Он откровенно рассмеялся.

— Один настучал за месяц пятьсот страниц; ему дорого пришлось заплатить за их публикацию, и жена запретила ему продолжать; он снова взялся за свое ремесло карманника.

— Это хорошее ремесло? — спросила я.

— Когда как. В Чикаго существует большая конкуренция.

— У вас много знакомых карманников? Он взглянул на меня с легкой насмешкой:

— С полдюжины.

— А гангстеров?

Лицо Брогана сделалось серьезным.

— Все гангстеры негодяи.

Он скороговоркой стал рассказывать мне о роли, которую сыграли в последние годы гангстеры как штрейкбрехеры; затем поведал множество историй об их взаимоотношениях с полицией, с политикой, с деловыми кругами. Говорил он

быстро, и мне не без труда удавалось следить за его мыслью, но это было не менее волнующе, чем какой-нибудь фильм с Эдвардом Робинсоном{98}. Внезапно он умолк.

— Вы не проголодались?

— Пожалуй. Сейчас, когда вы навели меня на эту мысль, я поняла, что страшно голодна, — призналась я. И весело добавила: — Сколько разных историй вы знаете.

— О! Если бы я их не знал, то придумал бы, — ответил он. — Ради одного удовольствия смотреть, как вы слушаете.

Был уже девятый час, время бежало быстро. Броган повел меня ужинать в итальянский ресторан, и, уплетая пиццу, я спрашивала себя, почему мне так уютно с ним; я почти ничего о нем не знала, а между тем он вовсе не казался мне чужим; возможно, это из-за его беспечной бедности. Крахмал, элегантность, хорошие манеры — все это создает дистанцию; когда Броган расстегнул свою куртку, приоткрыв оказавшийся под нею выцветший свитер, а потом снова ее застегнул, рядом с собой я почувствовала доверчивое присутствие тела, которое испытывало жар и холод, — живого тела. Он сам чистил свои ботинки: достаточно было взглянуть на них, чтобы приоб-

щиться к его интимной жизни. Когда, выходя из пиццерии, он взял меня за руку, чтобы помочь мне шагать по скользкой дороге, его тепло сразу же показалось мне привычным.

— Ладно! Я все-таки покажу вам кое-какие уголки Чикаго, — сказал он.

Мы зашли в одно заведение посмотреть, как раздеваются под музыку женщины; послушали джаз в маленьком дансинге черных; выпили в каком-то похожем на ночлежку баре; Броган знал всех: пианиста из того заведения с татуировками на руках, черного трубача в дансинге, бродяг, негров и старых проституток в баре; он приглашал их за наш столик, втягивал в разговор и смотрел на меня со счастливым выражением лица, потому что видел, что мне это интересно.

Когда мы снова очутились на улице, я с жаром произнесла:

— Я обязана вам своим лучшим вечером в Америке.

— Есть много всего другого, что мне хотелось бы показать вам! — сказал Броган.

Ночь подходила к концу, близился рассвет, и Чикаго суждено было скоро исчезнуть навсегда; но сталь надземного метро скрывала от нас расползавшееся по небу пятно проказы. Броган

держал меня за руку. Впереди нас и за нами уходили в бесконечность черные арки, казалось, они опоясывают землю и мы будем шагать так целую вечность.

— Один день — это очень мало, — сказала я. — Мне надо вернуться.

— Возвращайтесь, — откликнулся Броган. И торопливо добавил: — Не хочется думать, что я вас больше не увижу.

Мы молча дошли до стоянки такси. Когда он приблизил свое лицо к моему, я невольно отвернулась, но успела почувствовать у своих губ его дыхание.

Несколькими часами позже в поезде, пытаясь читать роман Брогана, я все корила себя: «Это смешно, в моем-то возрасте!» Однако губы мои трепетали, как у девушки. Я никогда не целовала других мужчин, кроме тех, с которыми спала; но, мысленно представляя себе этот мимолетный поцелуй, я ощущала, что где-то в глубине моей памяти вот-вот отыщу жгучие воспоминания любви. «Я обязательно вернусь», — решила я. А потом подумала: «Зачем? Придется опять расставаться, и тогда уже у меня не будет возможности сказать себе: я вернусь. Нет. Уж лучше сразу не входить в издержки».

Я не сожалела о Чикаго. Скоро я поняла, что это составляет часть путевых удовольствий: дружеские связи без будущего и неглубокая печаль отъездов. Я решительно устраняла скучных людей и посещала только тех, кто был мне интересен; во второй половине дня мы гуляли, ночами пили и спорили, а затем расставались, чтобы никогда больше не встретиться, и никто ни о чем не жалел. Какой легкой казалась жизнь! Ни сожалений, ни обязательств, ни один из моих поступков не в счет, у меня не спрашивали совета, и я не знала другого принуждения, кроме своих капризов. В Новом Орлеане, выйдя из патио, где я напилась дайкири, я вдруг села в самолет на Флориду. В Линсберге я взяла напрокат машину и разъезжала целую неделю по красным землям Виргинии. Во время второго моего пребывания в Нью-Йорке я почти не смыкала глаз; я вперемежку видела множество людей и бродила повсюду. Дэвисы предложили мне поехать вместе с ними в Хартфорд, и через два часа я уже садилась вместе с ними в машину: провести несколько дней в американском загородном доме — какая удача! Это был очень красивый деревянный дом, весь белый, покрытый лаком, с маленькими окошками повсюду. Мэрием занималась скульптурой,

дочь брала уроки танцев, сын тридцати лет писал герметические стихи; у него была кожа ребенка, большие трагические глаза и прелестный нос. В первый вечер, рассказывая мне о своих сердечных страданиях, Нэнси забавлялась тем, что нарядила меня в широкое мексиканское платье и заставила распустить по плечам волосы. «Почему вы всегда так не причесываетесь? — спросил Филипп. — Можно подумать, что вы нарочно старите себя». Он танцевал со мной до глубокой ночи. Чтобы понравиться ему, я и в последующие дни изображала молодую женщину. Я прекрасно понимала, почему он ухаживал за мной: я приехала из Парижа, и потом мне было столько же лет, сколько Мэрием в его отроческие годы. И все-таки я была тронута. Он придумывал для меня развлечения, приглашал на коктейли, играл мне на гитаре очень красивые ковбойские песни, возил по старинным пуританским деревням. Накануне моего отъезда мы задержались в гостиной дольше других, пили виски, слушая пластинки, и он с огорчением сказал:

— Как жаль, что в Нью-Йорке я не познакомился с вами поближе! Я был бы счастлив показать вам Нью-Йорк!

— Такая возможность существует, — отвечала я.

— Через десять дней я возвращаюсь в Нью-Йорк, быть может, и вы там будете.

— Во всяком случае, я могу приехать. Позвоните мне, — сказал он, многозначительно глядя на меня.

Мы послушали еще несколько пластинок, и он проводил меня через холл до двери моей комнаты; я протянула ему руку, но он тихонько спросил меня:

— Вы не хотите поцеловать меня?

Он обнял меня; с минуту мы стояли неподвижно, щека к щеке, охваченные желанием; потом мы услыхали легкие шаги и поспешно отстранились друг от друга.

Мэрием посмотрела на нас со странной улыбкой.

— Анна уезжает рано утром, не задерживай ее допоздна, — сказала она своим нежным голосом.

— Я как раз собиралась пойти спать, — ответила я.

Но я не спала. Я осталась стоять у открытого окна, вдыхая ночь, которая ничем не пахла: казалось, луна заморозила аромат цветов. Мэрием спала или бодрствовала в соседней комнате, и я знала, что Филипп не придет. Иногда мне чудилось, будто я слышу шаги, но это лишь ветер

бродил меж деревьев.

Канада не представляла особого интереса; я была безмерно счастлива, когда снова оказалась в Нью-Йорке, и тотчас подумала: «Я позвоню Филиппу». Тем же вечером меня пригласили на коктейль, где мне опять предстояло встретиться с большинством из моих друзей; из окна открывался внушительный вид на небоскребы: однако мне этого уже было недостаточно. Я спустилась в бар гостиницы: при темно-синем освещении пианист наигрывал приглушенно-томные мелодии, пары шептались, официанты ходили на цыпочках; закурив сигарету, я заказала мартини, сердце мое стучало. То, что я собиралась сделать, было не очень разумно; после недели, проведенной с Филиппом, я наверняка не смогу расстаться с ним без грусти, но тем хуже; прежде всего я хотела его; что же до грусти, то ее все равно не избежать. Она уже поселилась во мне. Куинсбридж, Сентрал-парк, Вашингтон-сквер, Ист-Ривер: через неделю я их больше не увижу; но вообще-то я предпочитала сожалеть скорее о ком-то, чем о камнях, мне казалось, что это будет не так мучительно. Я выпила глоток мартини. Неделя — слишком мало для новых открытий, слишком мало для удовольствий без будущего;

мне не хотелось больше бродить по Нью-Йорку туристом; мне необходимо было жить в этом городе по-настоящему, тогда он стал бы немного моим и я оставила бы в нем что-то от себя. Необходимо, чтобы я шагала по улицам рука об руку с мужчиной, который на короткий срок стал бы моим. Я допила свой стакан. Один раз за время всего путешествия мужчина держал мою руку в своей; это было зимой, я скользила из-за гололеда, но подле него чувствовала себя в тепле. Он говорил: «Возвращайтесь. Не хочется думать, что я вас больше не увижу». А я не вернусь; я буду сжимать в своей руке другую руку. На мгновение я почувствовала себя виновной в предательстве. Но сомнений не было: это Филиппа я желала целую ночь напролет, я все еще его желала, и он ждал моего звонка. Я встала, вошла в телефонную кабину и попросила Хартфорд.

— Мистера Филиппа Дэвиса.

— Я позову его.

Внезапно сердце мое отчаянно заколотилось. Минутой раньше я располагала Филиппом по своему усмотрению, я вызывала его в Нью-Йорк, я укладывала его в мою постель. Но он существовал сам по себе, и теперь я зависела от него; в этом узком застенке я была одна, без защиты.

— Алло!

— Филипп? Это Анна.

— Анна! Как я рад вас слышать!

Он говорил по-французски с медлительным совершенством, показавшимся мне вдруг зловещим.

— Я звоню из Нью-Йорка.

— Знаю. Дорогая Анна, после того, как вы уехали, в Хартфорде стало так скучно! Ваши путешествия были удачными?

Как близок его голос! Он касается моего лица. Но сам Филипп внезапно стал очень далек; рука моя на черном эбоните телефонной трубки повлажнела. Я бросаю слова наугад:

— Мне хотелось бы рассказать вам о них. Вы говорили, чтобы я дала вам знать о своем возвращении. Вы могли бы приехать в Нью-Йорк до моего отъезда?

— Когда вы уезжаете?

— В субботу.

— О! — молвил он. — О! Так скоро! — Наступило короткое молчание. — На этой неделе я должен ехать к друзьям на Кейп-Код, я обещал.

— Как жаль!

— Да, жаль! Вы не можете отложить отъезд?

— Не могу. А вы не можете перенести эту по-

ездку?

— Нет, это невозможно! — ответил он удрученно.

— Ну что ж, встретимся летом в Париже, — сказала я с притворным оживлением. — Лето не так далеко.

— Мне очень жаль!

— Мне тоже жаль. До свидания, Филипп. До лета.

— До свидания, дорогая Анна. Не забывайте меня совсем.

Я повесила влажную от пота трубку. Сердце мое успокоилось, и я почувствовала какую-то пустоту внутри. Я пошла к Вильсонам. Было много народа, мне дали в руки стакан, мне улыбались, называли меня по имени, ловили за руку, за плечо, приглашали направо, налево, я записывала назначенные встречи в записную книжку, а в груди ощущала все ту же пустоту. С разочарованием своего тела я смирилась, но выносить эту пустоту было тяжело. Они улыбались, говорили, я говорила, улыбалась, в течение всей следующей недели мы будем говорить и улыбаться, а потом никто из них не вспомнит больше обо мне, да и я о них; страна эта была вполне реальной, я тоже — вполне живой, и вот я уеду, ничего не оставив

позади и ничего не взяв с собой. Не переставая улыбаться, я вдруг подумала: «А если позвонить в Чикаго?» Я могла позвонить Брогану тем же вечером и сказать ему: «Я еду». Если он не хочет больше меня видеть, что ж, он об этом скажет: какая разница? Два отказа ничуть не хуже, чем один. Снова кому-то улыбаясь, я с возмущением подумала о себе: мне не удалось заполучить Филиппа, и теперь я собираюсь броситься в объятия Брогана! Что за нравы самки в период течки? По правде говоря, мысль о том, чтобы переспать с Броганом, меня особо не грела, я полагала, что в постели он скорее неловок; я даже не была уверена, что новая встреча с ним доставит мне удовольствие; я провела с ним всего полдня и подвергалась риску испытать глубочайшее разочарование. Без всякого сомнения, план этот был глупым, мне хотелось двигаться, суетиться, чтобы скрыть от себя свою неудачу, именно так и делают настоящие глупости. Я решила остаться в Нью-Йорке и продолжала записывать намеченные встречи: выставки, концерты, ужины, увеселительные прогулки — неделя пролетит быстро. Когда я вновь очутилась на улице, большие часы на Гремерси-сквер показывали полночь; в любом случае звонить было поздно.

Нет, не поздно; в Чикаго всего лишь девять часов, Броган читал у себя в комнате или писал. Я остановилась у светящейся витрины драгстора. «Не хочется думать, что я вас никогда не увижу». Я вошла, разменяла в кассе деньги и попросила соединить меня с Чикаго.

— Льюис Броган? Это Анна Дюбрей. Никакого ответа.

— Это Анна Дюбрей. Вы меня слышите?

— Прекрасно слышу. — Он добавил на безобразном французском, радостно запинаясь на каждом слоге: — Здравствуйте, Анна. Как дела?

Голос был не так близок, как голос Филиппа, но сам Броган казался менее далеким.

— На этой неделе я могу приехать в Чикаго на три-четыре дня, — сказала я. — Как вы на это смотрите?

— В Чикаго сейчас отличная погода.

— Но если я приеду, то лишь для того, чтобы встретиться с вами. У вас есть время?

— У меня полно времени, — весело отвечал он. — Все время — мое.

На секунду я заколебалась; это оказалось чересчур легко: один говорил нет, а другой — да, причем с одинаковым безразличием, но отступать было слишком поздно, и я сказала:

— Тогда я прилечу завтра утром первым же самолетом. Закажите мне номер в гостинице, но чтобы она была не самой лучшей в Чикаго. Где мы встретимся?

— Я приеду за вами в аэропорт.

— Хорошо. До завтра.

Наступило молчание; и вдруг я узнала голос, который три месяца назад сказал мне: «Возвращайтесь», он произнес:

— Анна! Я так рад, что снова вас увижу!

— Я тоже рада. До завтра.

— До завтра.

Это был его голос, это был действительно он, такой, каким я помнила его, и он меня не забыл; подле него я буду ощущать тепло, как минувшей зимой. Внезапно я обрадовалась, что Филипп ответил: «нет». Все будет просто. Мы поговорим немного при рассеянном свете какого-нибудь бара; он скажет: «Вы отдохнете у меня». Мы сядем рядом на мексиканское покрывало, я буду покорно слушать Шарля Трене, и Броган обнимет меня. Нас ждет не бог весть какая потрясающая ночь, но он будет счастлив ею, я в этом не сомневалась, и этого довольно для моего счастья. Я легла спать, волнуясь при мысли, что меня ждет мужчина, собираясь прижать к своему сердцу.

Он меня не ждал; в зале никого не было. «Плохое начало». — подумала я, садясь в кресло. Я была явно растеряна и с тревогой говорила себе, что поступила неосмотрительно. «Звонить Брогану или не звонить?» Я одна играла в эту игру и вот теперь оказалась брошенной в безрассудное предприятие, успех которого зависел уже не от меня; все, что я могла сделать, это следить за движением стрелок на циферблате, которые никуда не спешили; такая пассивность испугала меня, и я попыталась успокоить себя. В конце концов, если все обернется плохо, я смогу найти предлог, чтобы завтра же вернуться в Нью-Йорк; в любом случае через неделю скобки будут закрыты: в безопасности привычной жизни я снисходительно улыбнусь своим воспоминаниям, смешным или трогательным. Моя тревога улеглась. Когда я открыла сумочку, чтобы найти в записной книжке номер телефона Брогана, я уже проверила все запасные выходы и была защищена от любых случайностей. Подняв голову, я увидела, что он стоит передо мной{99}, обволакивая меня целиком своей сдержанной усмешкой. Я была удивлена не меньше, чем если бы на другом конце света встретила его призрак.

— Ну, как дела? — спросил он на своем ужасном

французском.

Я встала. Он был более худощав, чем его образ, и глаза у него были живее.

— Все в порядке.

По-прежнему улыбаясь, он приблизил свои губы к моим. Этот публичный поцелуй меня смутил и оставил на подбородке Брогана красное пятно.

— Ну вот, вы испачканы, — сказала я. И, вытерев пятно носовым платком, добавила: — Я прилетела в девять часов.

— О! — вымолвил он тоном упрека, обращенного, казалось, ко мне. — По телефону мне сказали, что первый самолет приземляется в десять часов.

— Они ошиблись.

— Они никогда не ошибаются.

— Во всяком случае, я здесь.

— Вы здесь, — согласился он и сел, я тоже села.

Двадцать минут десятого. Он пришел с опозданием на двадцать минут и на сорок минут раньше. На нем был красивый фланелевый костюм, белоснежная рубашка; я догадывалась, как он в тревоге стоял перед зеркалом, опасаясь ударить в грязь лицом, неумело разглядывая себя, вопрошая свое отражение то довольным, то растерянным взглядом попеременно; он с беспо-

койством следил за часами, а я предательски уже дожидалась его! Я улыбнулась:

— Мы не станем проводить здесь все утро.

— Нет, — сказал он и, подумав, добавил: — Хотите, пойдем в зоопарк.

— В зоопарк?

— Это совсем рядом.

— И что мы там будем делать?

— Будем смотреть на животных, а они будут смотреть на нас.

— Я приехала сюда не для того, чтобы выставлять себя на обозрение вашим животным. — Я поднялась. — Пойдем лучше в какое-нибудь спокойное место, где я смогу получить кофе, бутерброды и где мы будем смотреть друг на друга.

Он тоже встал:

— Это идея.

Мы были одни в лимузине, уносившем нас к центру города; Броган держал на коленях мою дорожную сумку, он молчал, и снова я почувствовала беспокойство: «Как долго — целых четыре дня с этим незнакомцем; а для знакомства четыре дня — слишком мало».

— Сначала надо заехать ко мне в гостиницу, чтобы оставить вещи, — сказала я. Броган смущенно улыбнулся.

— Вы заказали мне номер?

Он по-прежнему виновато улыбался, однако было в его голосе что-то вызывающее:

— Нет!

— Нет! Я же просила вас по телефону!

— Я не слышал половину того, что вы говорили, — скороговоркой произнес он. — Ваш английский стал еще хуже, чем зимой, и вы строчили как из пулемета. Но это не имеет никакого значения. Мы сдадим вашу сумку в камеру хранения. Подождите меня здесь, — добавил он, когда мы вышли из машины у авиакасс. Он толкнул крутящуюся дверь, и я подозрительно следила за ним. Что означает такая забывчивость — небрежность или хитрость? Безусловно, для него, как и для меня, было ясно, что эту ночь я проведу в его постели; однако меня охватывала паника при мысли, что этим вечером у нас, возможно, не появится истинного желания. А я поклялась себе, что никогда больше не совершу такой ошибки: без желания лечь с мужчиной в постель. Когда Броган вернулся, я нервно сказала:

— Надо позвонить в гостиницу. Я не спала всю ночь; после обеда мне хотелось бы отдохнуть, принять ванну.

— Найти номер в Чикаго очень трудно, — от-

ветил он.

— Поэтому надо попытаться найти его немедленно.

Ему следовало бы сказать: «Вы сможете поехать отдохнуть ко мне». Но он ничего не сказал. И кафетерий, куда он меня привел, вовсе не походил на уютный и теплый бар, который я себе вообразила: он был похож на привокзальный буфет. Бар, где мы очутились затем, тоже напоминал зал ожидания. Неужели весь день мы проведем в ожидании? Чего мы ждали?

— Виски?

— С удовольствием.

— Сигарету?

— Спасибо.

— Пойду поставлю пластинку.

Если бы, по крайней мере, мы могли поговорить спокойно, как раньше! Но Брогану не сиделось на месте: он ходил к стойке за бутылкой кока-колы, опускал жетон за жетоном в автомат для пластинок, покупал сигареты. Когда же наконец я заставила его позвонить, он так долго отсутствовал, что я решила, будто он исчез навсегда. Я определенно ошиблась в своих ожиданиях! Можно было подумать, что он нарочно старается обмануть их; он почти не имел ничего общего

с тем человеком, который мне запомнился. Весна растопила твердую глыбу, в которую зима замуровала его; конечно, он не стал ни более миловидным, ни более гибким, однако выглядел почти элегантно, волосы у него были определенно светлые, глаза явно серо-зеленого цвета; на этом лице, показавшемся мне тогда бесцветным, я обнаружила выразительный рот, трепетные ноздри, утонченность, которая приводила меня в замешательство.

— Я ничего не нашел, — заявил Броган, когда снова сел рядом со мной. — В конце концов я обратился в ассоциацию гостиниц. Я должен позвонить туда немного погодя.

— Спасибо.

— Что вы хотите делать теперь?

— А если нам посидеть спокойно здесь?

— Тогда еще виски?

— Хорошо.

— Сигарету?

— Спасибо.

— Хотите, я поставлю какую-нибудь пластинку?

— Нет, прошу вас.

Наступило молчание, потом я начала разговор:

— Я видела ваших друзей в Нью-Йорке.

— У меня нет в Нью-Йорке друзей.

— Ну как же, а Бенсоны, которые нас познакомили.

— О! Это не друзья.

— Тогда почему два месяца назад вы согласились встретиться со мной?

— Потому что вы француженка и у вас имя, которое мне нравится: Анна. На мгновение он одарил меня улыбкой, которую тут же и отнял. Я сделала еще одно усилие:

— Что с вами сталось, как вы жили это время?

— Ежедневно я старел на один день.

— Мне кажется, вы скорее помолодели.

— Это потому, что на мне летний пиджак.

Снова воцарилось молчание, на этот раз я отступилась.

— Хорошо. Пойдем куда-нибудь. Но куда?

— Зимой вам хотелось увидеть игру в бейсбол, — с готовностью откликнулся он, — сегодня можно это сделать.

— Хорошо, пошли.

Очень мило было вспомнить о моих прежних желаниях; но он мог бы догадаться, что в данную минуту бейсбол нисколько не интересовал меня. Не важно. Самое лучшее, что нам оставалось, это убить время в ожидании... в ожидании чего?

Растерянным взглядом я следила за людьми в шлемах, которые бегали по лужайке ярко-зеленого цвета, и с тревогой твердила про себя: убить время! А ведь нам нельзя было терять ни единого часа. Четыре дня — это так мало, надо спешить: когда же мы наконец встретимся?

— Вам скучно? — спросил Льюис.

— Я немного замерзла.

— Уйдем отсюда.

Он повел меня сначала в зал для боулинга, где мы пили пиво, глядя, как падают кегли, потом в таверну, где механические пианино числом пять по очереди отбивали затасканные музыкальные такты, затем в аквариум, где зло гримасничали рыбы. Мы садились в трамваи, в метро; в метро мне нравилось: уткнувшись лбом в стекло первого вагона, мы ныряли в умопомрачительные туннели, расцвеченные бледно-голубыми лампочками, рука Брогана поддерживала меня за талию, и наше молчание походило на доверительное молчание любовников; зато по улицам мы шагали на расстоянии друг от друга, и я с тоской чувствовала: мы молчим, потому что нам нечего друг другу сказать. Где-то во второй половине дня мне пришлось признаться, что мои расчеты были ошибочны: через неделю, даже

завтра этот день уйдет в прошлое, и вот тогда я возрадуюсь; но сначала надо было прожить его час за часом, и на протяжении всех этих часов какой-то незнакомец по своему усмотрению располагал моей судьбой. Я испытывала такую усталость и такое разочарование, что мне захотелось остаться одной.

— Прошу вас, — попросила я, — позвоните еще раз; мне надо немного поспать.

— Я позвоню в ассоциацию гостиниц, — сказал Броган, открывая дверь в драгстор. Я осталась стоять, рассеянно разглядывая книжки в глянцевых обложках, и почти сразу же он вышел из кабины с довольной улыбкой. — Вас ждет комната в двух кварталах отсюда.

— Ах! Спасибо.

Мы молча дошли до гостиницы. Почему он не солгал? Именно теперь ему следовало бы сказать: «Вы можете отдохнуть у меня». Значит, он тоже не был уверен в своих желаниях? Я рассчитывала на его тело, на его отвагу, чтобы нарушить одиночество моего тела; но он держал меня в плену, и я ничего не могла для нас сделать. Льюис подошел к бюро администратора:

— Я только что заказывал номер. Служащий заглянул в регистрационную книгу:

— На два лица?

— На одно, — сказала я. И написала свое имя на карточке. — Мой чемодан в камере хранения.

— Я схожу за ним, — предложил Льюис. — Когда он вам понадобится?

— Позвоните мне через два часа.

Уж не померещилось ли мне? Или он действительно обменялся со служащим странным взглядом? Может, он заказал комнату на два лица? Но тогда ему нужно было найти предлог, чтобы подняться вместе со мной. Я подсказала бы их ему хоть двадцать. Эти жалкие хитрости тем более раздражали меня, что я хотела бы попасться на них. Наполнив ванну, я погрузилась в теплую воду, не уставая твердить себе, что мы плохо взялись за дело. Моя ли в том вина? Безусловно есть женщины, которые сразу же сумели бы сказать: «Поедем к вам». Надин сказала бы. Закрыв глаза, я лежала на атласном покрывале. И уже опасалась того момента, когда придется встать посреди этой комнаты, где меня не ждет даже привычная близость зубной щетки. Столько разных и неотличимых комнат, столько открытых и закрытых чемоданов, столько приездов и отъездов, пробуждений, ожиданий, столько хождений, беготни: я устала воссоздавать свою

жизнь каждое утро, каждый вечер, каждый час. Я страстно желала, чтобы некая посторонняя сила навсегда придавила меня к этой кровати. Пускай он поднимется, пускай постучит в мою дверь, пусть войдет. Я подстерегала его шаги в коридоре с таким страстным нетерпением, что оно имитировало желание. Ни единого звука. Я провалилась в сон.

К тому времени, когда я встретилась с Броганом в холле, я уже успокоилась; вскоре судьба этого приключения будет решена, и в любом случае через несколько часов я посплю. Старый немецкий ресторан, где мы ужинали, показался мне уютным, и я беспечно болтала. Бар, куда мы перешли потом, окутывал фиолетовый туман: там я чувствовала себя хорошо. И Броган говорил со мной прежним тоном.

— Такси унесло вас, — рассказывал он, — и я ничего о вас не знал. Возвратившись, я нашел под дверью номер «Нью-Йоркера», и вот в середине какой-то статьи о конгрессе психиатров наткнулся на ваше имя. Словно вы вернулись посреди ночи, чтобы сказать мне, кто вы есть.

— Разве Бенсоны вам не сообщили?

— О! Я никогда не читаю их писем. — И он с усмешкой добавил: — В статье о вас говорили как

о блестящем докторе.

— Вас это очень удивило?

Ничего не ответив, он с улыбкой смотрел на меня; когда он так улыбался, мне казалось, я чувствую на своих губах его дыхание.

— Я подумал, что у вас во Франции странные доктора.

— А я, вернувшись в гостиницу, нашла вашу книгу. Я пыталась читать ее, но мне очень хотелось спать. Мне удалось прочитать ее на следующий день в поезде. — Я внимательно смотрела на Льюиса. — Берти — это ведь во многом вы сами?

— О! Я никогда не стал бы поджигать ферму, — насмешливым тоном возразил Броган. — Я слишком боюсь огня и жандармов тоже. — Он вдруг встал: — Пойдемте сыграем партию в двадцать шесть.

Блондинка с печальными глазами, сидевшая за игорным столом, протянула нам стаканчик с игральными костями; Броган выбрал шестой номер и поставил полдоллара; я уныло смотрела на маленькие костяшки, катавшиеся по зеленому сукну. Почему он ускользнул как раз в тот момент, когда мы начали вновь обретать друг друга? Может, и я тоже внушала ему страх?

Его лицо казалось мне очень суровым и в то же время весьма уязвимым, я плохо разбиралась в нем. «Выиграл!» — радостно воскликнул Броган и протянул мне стаканчик. Я с силой встряхнула его. «Ставлю на нашу ночь», — в озарении решила я. И выбрала пятый номер; мои губы стянуло как пергамент, ладони взмокли; пять выпало семь раз за первые тринадцать ударов, потом еще три раза: проигрыш!

— Глупая игра, — сказала я, снова садясь на свое место.

— Вы любите играть?

— Я ненавижу проигрывать{100}.

— Я обожаю покер и всегда проигрываю, — с грустью признался Броган. — Похоже, выражение моего лица легко разгадать.

— Я не нахожу, — сказала я, с вызовом глядя на него. Вид у него был смущенный, но я не отвела глаз. Я поставила на нашу ночь и проиграла ее, Броган отказывал мне в помощи, и кости приговорили меня; я восставала против такого поражения с неистовой силой, преобразившейся вдруг в смелость.

— С самого утра я спрашиваю себя, довольны ли вы, что я приехала, и не могу получить ответа.

— Конечно доволен, — сказал он таким серьез-

ным тоном, что я устыдилась своей агрессивности.

— Хотелось бы этому верить, — сказала я, — потому что я тоже рада вновь встретиться с вами. Сегодня утром я испугалась, что мои воспоминания обманули меня: но нет, мне запомнились именно вы.

— Я тоже уверен в своей памяти, — ответил он; и снова его голос стал теплым, как дыхание. Я взяла его руку и произнесла слова, какие говорят все женщины, пытаясь приобщиться к нежности:

— Мне нравятся ваши руки.

— А мне нравятся ваши. Именно с их помощью вы мучаете мозг несчастных, беззащитных больных?

— Доверьте мне ваш, думаю, он в этом нуждается...

— О! Он грешит лишь в одном отношении.

Наши руки не размыкались, я с волнением смотрела на этот шаткий мостик, соединяющий наши жизни, и с пересохшим ртом задавалась вопросом: «Доведется ли мне узнать ласку этих рук?» Молчание затянулось, и Броган предложил:

— Хотите, вернемся послушать Биг Билли?

— Очень хочу.

На улице он взял меня за руку; я знала, что с минуты на минуту он обнимет меня; груз этого тяжкого дня упал с моих плеч, и я наконец устремилась навстречу покою и радости. Внезапно он оставил мою руку; широкая, незнакомая мне улыбка осветила его лицо:

— Тедди!

Мужчина и две женщины остановились и тоже радостно улыбнулись; в мгновение ока мы очутились за столиком какого-то унылого кафетерия; все они говорили очень быстро, и я ничего не понимала из их слов. Броган много смеялся, взгляд его оживился, судя по виду, он испытывал облегчение, нарушив наше долгое уединение, что казалось естественным: эти люди были его друзьями, им надо было рассказать друг другу множество всяких историй; а что общего было у нас с ним? Сидевшие рядом женщины были молоды и красивы: нравились ли они ему? Я сообразила, что в его жизни наверняка были молодые красивые женщины: как я могла испытывать такое страдание, ведь мы еще не успели обменяться ни одним настоящим поцелуем! Но я страдала. Далеко, очень далеко, в глубине некоего туннеля я видела один из запасных выходов, которые поутру казались мне такими надежны-

ми: однако я слишком устала, чтобы дотащиться туда, пускай даже на коленях. Я попробовала прошептать: «Сколько сложностей из-за того, что не удается переспать с мужчиной!» Однако и цинизм не помогал; выглядеть так или иначе смешной, заслужить собственное одобрение или порицание — это уже не имело никакого значения; история эта разворачивалась не только со мной: связанная по рукам и ногам, я была отдана на милость другого. Какое безумие! Я уже даже не понимала, что я приехала сюда искать; наверняка надо было потерять разум, чтобы вообразить, будто мужчина, который был для меня ничем, мог что-то для меня сделать. «Сейчас же пойду спать», — решила я, когда на улице Броган снова взял меня за руку.

— Я рад, что показал вам Тедди, — говорил он, — это писатель-карманник, о котором я вам рассказывал, помните?

— Помню. А женщины, кто они?

— Я их не знаю. — Броган остановился на углу улицы. — Если трамвай не придет, мы возьмем такси.

«Такси, — подумалось мне, — это наш последний шанс; если придет трамвай, я отступлюсь, вернусь в гостиницу». С минуту, тянувшуюся

целую вечность, я не спускала глаз с угрожающе поблескивающих рельсов. Броган остановил такси:

— Садитесь.

У меня не было времени сказать себе: «Теперь или никогда», он уже прижимал меня к себе, оковы из плоти сомкнулись на моих губах, язык жадно шарил у меня во рту, и тело мое восставало из мертвых. Я входила в бар, пошатываясь, так должен был пошатываться воскресший Лазарь; музыканты отдыхали, и Биг Билли подсел к нашему столику; Броган шутил с ним, глаза его блестели; мне хотелось бы разделить его веселость, но меня обременяло мое обновленное тело, оно было слишком громоздким, слишком горячим. Оркестр заиграл снова; я рассеянно смотрела на одноногого с напомаженными волосами, исполнявшего чечетку, и рука моя, подносившая к губам стакан с виски, дрожала: как поступит Броган? Что он скажет? Я же не сумею исторгнуть ни единого жеста, ни единого слова. По прошествии какого-то времени, показавшегося мне нескончаемо долгим, он оживленно спросил:

— Вы хотите уйти?

— Да.

— Хотите вернуться в гостиницу?

Шепотом, с трудом вырвавшимся из горла, мне удалось пробормотать:

— Я не хочу расставаться с вами.

— Я с вами тоже, — с улыбкой сказал он.

В такси он снова поцеловал меня, потом спросил:

— Вы согласитесь переночевать у меня?

— Конечно.

Неужели он думал, что я выброшу на помойку это тело, которое он только что подарил мне? Я положила голову ему на плечо, и он обнял меня.

В желтой кухне, где печь уже не гудела, он с силой прижал меня к себе:

— Анна! Анна! Это сон! Весь день я был таким несчастным!

— Несчастным? Это вы меня мучили, вы никак не решались поцеловать меня.

— Я вас поцеловал, а вы вытерли платком мне подбородок: я подумал, что я на ложном пути.

— Кто же целуется в зале! Надо было привезти меня сюда.

— Но вы требовали номер в гостинице. А я так хорошо все устроил, купил большой бифштекс на ужин и в десять часов вечера собирался сказать: слишком поздно искать гостиницу.

— Я прекрасно все поняла, но я осторожна: пред-

ставьте себе, что мы не обрели бы друг друга.

— Как это не обрели? Я вас никогда не терял.

Мы говорили, прильнув друг к другу, и я чувствовала на губах его дыхание.

— Я так боялась, что придет трамвай, — прошептала я. Он с гордостью засмеялся:

— Я решил во что бы то ни стало взять такси. — Он целовал мой лоб, глаза, щеки, и я чувствовала, что земля кружится. — Вы умираете от усталости, вам надо лечь, — сказал он. И удрученно добавил: — Ваш чемодан!

— Он мне не нужен.

Пока я раздевалась, Броган оставался в кухне; я завернулась в простыни под мексиканским покрывалом; я слышала, как он бродит, наводит порядок, открывает и закрывает шкафы, словно мы уже были давнишней супружеской парой; после стольких ночей, проведенных в гостиничных номерах, в комнатах для друзей, так приятно было чувствовать себя дома в этой чужой постели; мужчина, которого я выбрала и который выбрал меня, ляжет сейчас рядом со мной.

— О! Вы уже расположились! — сказал Броган. Руки его были нагружены белоснежным бельем, он в замешательстве смотрел на меня. — Я хотел поменять простыни.

— Это лишнее. — Он стоял на пороге со своей пышной ношей. — Мне очень хорошо, — сказала я, натягивая до подбородка теплую простыню, завернувшись в которую он спал минувшей ночью. Броган ушел и снова вернулся.

— Анна!

Он рухнул на меня, его интонация потрясла меня. Впервые я назвала его по имени:

— Льюис!

— Анна! Я так счастлив!

Он был обнажен, я тоже обнажена и не испытывала ни малейшего стеснения; его взгляд не мог ранить меня; он меня не судил и ничему не отдавал предпочтения. От волос до пальцев ног его руки запоминали меня. И снова я сказала:

— Мне нравятся ваши руки.

— Они вам нравятся?

— Весь вечер я спрашивала себя, почувствую ли я их на своем теле.

— Вы будете их чувствовать всю ночь, — ответил он.

Внезапно он перестал быть неловким и робким. Его желание преобразило меня. Я, давно уже утратившая ко всему охоту и внешний вид, снова обладала грудью, чревом, лоном, плотью, я была питательной, точно хлеб, и душистой, как земля.

Это было так чудесно, что я не знала меры ни времени, ни своему наслаждению; я только знаю, что, когда мы заснули, уже доносились слабые звуки нарождающегося дня.

Меня разбудил запах кофе; я открыла глаза и улыбнулась, увидев на соседнем стуле свое синее шерстяное платье в объятиях серого пиджака. Тень темного дерева пустила листья, трепетавшие на ярко-желтой занавеске. Льюис протянул мне стакан, и я залпом выпила апельсиновый сок, который этим утром имел вкус выздоровления: как будто нега наслаждения была болезнью; или как будто вся моя жизнь была долгой болезнью, от которой я начала избавляться.

Это было воскресенье, и в первый раз за год над Чикаго сияло солнце; мы отправились на лужайку на берег озера. В кустах ребятишки играли в индейцев, было много влюбленных, которые держались за руки; по роскошной воде скользили яхты, карликовые самолеты, красные, желтые и блестящие, словно игрушки, кружили у нас над головой. Льюис вытащил из кармана листок бумаги.

— Два месяца назад я написал о вас стихотворение...

— Покажите.

Я почувствовала легкий укол в сердце; сидя у окна под репродукцией Ван Гога, он написал эти стихи для целомудренной незнакомки, отказавшей ему в поцелуе; в течение двух месяцев он думал о ней с нежностью, а я уже была не той женщиной; он наверняка заметил тень на моем лице, ибо с тревогой сказал:

— Я не должен был показывать вам его.

— Напротив, оно мне очень нравится. — Я с трудом улыбнулась: — Но теперь эти губы ваши.

— Наконец-то, — молвил он.

Тепло его голоса успокоило меня; минувшей зимой моя сдержанность тронула его, но, конечно, он гораздо больше радовался теперь, так что бесполезно мучить себя; он гладил мои волосы, говорил мне простые, ласковые слова, надел на палец старинное медное кольцо;{101} я смотрела на кольцо, слушала непривычные слова; щекой я ловила знакомый стук незнакомого сердца. От меня ничего не требовалось: довольно было того, чтобы я оставалась такой, какая есть, и желание мужчины превращало меня в прекраснейшее чудо. Это так успокаивало, что, если бы солнце остановилось посреди неба, я предоставила бы вечности идти своим путем, не обращая на нее внимания.

Но солнце клонилось к земле, трава становилась прохладной, в кустах все смолкло, яхты уснули.

— Вы простудитесь, — сказал Льюис. — Пройдемся немного.

Казалось странным снова очутиться на ногах, согреваясь лишь собственным теплом, странно, что мое тело умело двигаться, занимая свое особое место, тогда как весь день оно являло собой отсутствие, негатив: оно дожидалось ночи и ласк Льюиса.

— Где вы хотите ужинать? — спросил он. — Можно вернуться домой или куда-нибудь пойти.

— Пошли куда-нибудь.

Этот день был таким голубым, таким ласковым, что я чувствовала: меня переполняет нежность. Наше прошлое ограничивалось тридцатью шестью часами, наш горизонт сводился к одному лицу, и наше будущее — это наша постель: мы слегка задыхались в этой спертой атмосфере.

— А если нам попробовать клуб черных, о котором вчера говорил Бит Билли?

— Это далеко, — сказал Льюис.

— Зато мы немного прогуляемся.

Мне хотелось развлечений. Чересчур напряженные часы утомили меня. В трамвае я дремала

на плече Льюиса. Я не пыталась освоиться в этом городе, не сомневаясь, что тут не существовало, как в других городах, четких магистралей и привычных транспортных средств. Надо было следовать известным обычаям, к которым Льюис приноровился, и места словно возникали из небытия. Клуб «Делиса» возник из небытия в окружении сиреневого сияния. Возле двери находилось огромное зеркало, и мы вместе улыбнулись нашему отражению. Моя голова доходила как раз до его плеча, вид у нас был счастливый и молодой. «Какая красивая пара!» — весело сказала я. И сердце сразу сжалось: нет, мы не были парой и никогда не будем. Мы могли бы любить друг друга, в этом я не сомневалась, но в какой точке мира и в какое время? Во всяком случае, нигде на земле и ни в какой момент будущего.

— Мы хотели бы поужинать, — сказал Льюис.

Метрдотель с очень темным цветом кожи, похожий на чемпиона по кечу{102}, посадил нас в бокс возле сцены, перед нами поставили целые корзинки с жареной курицей. Музыканты еще не пришли, но зал был полон: несколько белых, много черных, у некоторых из них на голове были фески.

— Что означают эти фески?

— Это одна из тех лиг, которых не счесть, — ответил Льюис. — Мы попали на их конгресс.

— Но это будет очень скучно.

— Боюсь, что да.

Голос его звучал уныло. Конечно, его тоже утомила наша долгая оргия счастья; со вчерашнего дня мы измотались, отыскивая и находя друг друга, заключая друг друга в объятия; слишком мало сна, слишком много волнений, слишком много томления и неги. Пока мы молча ели, высокий негр в феске поднялся на сцену и с пафосом начал свою речь.

— Что он там рассказывает?

— Он говорит о лиге.

— Но будут какие-то развлечения?

— Да.

— Когда?

— Не знаю.

Он отвечал сквозь зубы; наша общая усталость не сближала нас, и внезапно я почувствовала, что в моих венах течет всего лишь серая водица. Возможно, стремление покинуть наш застенок было ошибкой: воздух там был чересчур тяжел, чересчур насыщен, но снаружи было безлюдно и холодно. Оратор радостно выкрикнул какое-то имя, женщина в красном головном уборе встала,

и все захлопали; другие лица, одно за другим, поднимались из толпы; неужели собираются по очереди представлять всех членов лиги? Я повернулась к Льюису. Он уставился в пустоту помутневшим взглядом; его нижняя челюсть отвисла, и он стал похож на злобных рыб из аквариума.

— Если это рассчитано надолго, нам лучше уйти, — сказала я.

— Мы ехали так далеко не для того, чтобы тут же уйти.

Голос его был резким; мне даже почудилась в нем некая враждебность, которую нельзя было объяснить одной усталостью. Быть может, когда мы покидали берег озера, он хотел вернуться домой; возможно, его ранило то, что я не пожелала сразу же вновь очутиться в нашей постели; эта мысль огорчила меня. Я попыталась сблизиться с ним при помощи слов.

— Вы устали?

— Нет.

— Вам скучно?

— Я жду.

— Не станем же мы ждать вот так еще два часа?

— А почему нет?

Он прислонился головой к деревянной перегородке, лицо его казалось непроницаемым и далеким, словно лик луны; похоже, он готов был дремать, не произнося ни слова, в течение двух часов. Я заказала двойную порцию виски, но и это не оживило меня. На сцене старые чернокожие дамы в красных фесках приветствовали под аплодисменты друг друга и публику.

— Давайте вернемся, Льюис.

— Это нелепо.

— Тогда поговорите со мной.

— Мне нечего сказать.

— Я не могу больше оставаться здесь, мне не вынести.

— Вы же хотели прийти сюда.

— Это не причина.

Он снова погрузился в свое оцепенение. Я пыталась думать: «Я сплю, это кошмар, я сейчас проснусь». Но нет, сном было чересчур голубое послеполуденное время, а вот теперь мы проснулись. На берегу озера Льюис говорил со мной так, словно я никогда не должна была покидать его, он надел мне на палец обручальное кольцо; а через три дня я уеду, уеду навсегда, и он это знал. «Он сердится на меня, и справедливо, — думалось мне. — Зачем я приехала, раз не могу остаться?

Он сердится на меня, и его обида разлучит нас навеки». Довольно самой малости, чтобы навсегда разлучить нас: еще совсем недавно мы были разлучены навсегда! Слезы выступили у меня на глазах.

— Вы сердитесь?

— Да нет.

— Тогда в чем дело?

— Ни в чем.

Напрасно искала я его взгляда; я могла бы сломать пальцы, разбить голову об эту слепую стену, но не пошатнула бы ее. На сцене выстроились девушки в праздничных платьях; одна светло-шоколадная худышка подошла к микрофону и начала жеманно напевать.

— Я ухожу! — в отчаянии прошептала я.

Льюис не шелохнулся, и я с недоверием подумала: «Возможно ли, что все уже кончилось? Неужели я так быстро его потеряла?» Я попыталась призвать на помощь благоразумие: я его не теряла, я никогда не владела им и не имею права жаловаться, потому что всего лишь одолжила себя ему. Ладно, я не жаловалась, но зато страдала. Я потрогала свое медное кольцо. Существовал только один способ прекратить страдания: от всего отступиться. Я верну ему кольцо, завтра

утром сяду на самолет до Нью-Йорка, и этот день станет всего лишь воспоминанием, которое время позаботится стереть. Кольцо скользнуло по моему пальцу, и я снова увидела голубое небо, улыбку Льюиса, он гладил мои волосы и звал меня: «Анна!» Я прильнула к его плечу: «Льюис!» Он обнял меня, и слезы хлынули из моих глаз.

— Я действительно был так жесток?

— Вы напугали меня, — сказала я. — Мне было так страшно!

— Страшно? Вы боялись немцев в Париже?

— Нет.

— А я напугал вас? Есть чем гордиться...

— Вам следовало бы стыдиться. — Он тихонько целовал мои волосы, рука его гладила мою руку. — Я хотела отдать вам кольцо, — прошептала я.

— Я видел, — серьезно ответил он. — И подумал: я все порчу, но не мог заставить себя произнести ни слова.

— Почему? Что случилось?

— Ничего не случилось, совсем ничего. Настаивать я не стала, а только спросила:

— Хотите, чтобы мы сейчас же вернулись?

— Конечно.

В такси он внезапно сказал:

— Вам никогда не случается испытывать жела-

ние убить всех, в том числе и себя?

— Нет. Особенно если я с вами.

Он улыбнулся и положил мою голову себе на плечо; я вновь обрела его тепло, его дыхание, но он молчал, и я подумала: «Я не ошиблась; этот кризис разразился не без причины; он решил, что наша история нелепа, он и сейчас так думает!» Когда мы легли, он сразу же выключил свет; он овладел мною в темноте, в полном молчании, не называя моего имени и не одарив меня своей улыбкой. Потом отвернулся, не говоря ни слова. «Да, — с ужасом сказала я себе, — он на меня сердится, я потеряю его».

— Льюис! — взмолилась я. — Скажите, по крайней мере, что вы питаете ко мне дружеские чувства!

— Дружеские чувства? Но я люблю вас, — с жаром произнес он. Льюис повернулся к стене, а я долго плакала: то ли оттого, что он любил меня, то ли оттого, что сама не могла любить его, или потому, что когда-нибудь он перестанет меня любить.

«Надо поговорить с ним», — решила я утром, едва открыв глаза; теперь, когда слово «любовь» было произнесено, следовало объяснить Льюису, почему я отказываюсь пользоваться этим словом.

Но он привлек меня к себе: «Какая вы розовая! Какая теплая!» — и у меня не хватило духа; ничто уже не имело значения кроме как быть в его объятиях теплой и розовой. Мы отправились в город; обнявшись, мы шагали по улицам, окаймленным обветшалыми домишками, возле которых стояли роскошные автомобили; местами дома, построенные ниже, отделялись от шоссе канавами с перекинутыми через них лестницами, и создавалось впечатление, будто идешь по дамбе. Под тротуарами Мичиган-авеню я обнаружила город без солнца, где весь день сияли неоновые вывески; мы катались в лодке по реке. Мы пили мартини на самом верху башни, откуда видно было безбрежное озеро и окрестности, обширные как озеро. Льюис любил свой город и рассказывал мне о нем; прерии, индейцы, первые лачуги, улочки, где хрюкали свиньи, большой пожар, первые небоскребы: можно было подумать, что он при всем при этом присутствовал.

— Где будем ужинать? — спросил он.

— Где хотите.

— Я подумал, а не поужинать ли нам дома?

— Да, поужинаем дома, — согласилась я.

Сердце мое сжалось; он сказал «дома», словно мы были муж и жена, а ведь жить вместе нам

оставалось всего два дня. «Надо поговорить», — твердила я себе. Мне предстояло сказать ему, что я могла бы его любить, но не могу: поймет ли он меня или возненавидит?

Мы купили ветчины, салями, бутылку кьянти, ромовый бисквит. Мы свернули за угол улицы, где пламенела вывеска «ШИЛТЦ». У подножия лестницы, посреди помойных ящиков, он прижал меня к себе.

— Анна! А знаете, почему я так люблю вас? Да потому что делаю вас счастливой. — Я протянула губы, чтобы выпить вблизи его дыхание, как вдруг он отстранился от меня. — На балконе кто-то есть, — сказал Льюис.

Он торопливо поднялся по лестнице впереди меня, и я услыхала его радостное восклицание:

— Мария! Какой приятный сюрприз! Входите. Он улыбнулся мне:

— Анна, Мария моя давнишняя подруга.

— Я не хочу мешать вам, — сказала Мария.

— Вы нисколько не мешаете мне.

Она вошла; молодая, слегка полноватая, она была бы красива, если бы немного подкрасилась и более тщательно причесалась; синий домашний халат оставлял открытыми ее белые руки, одна из которых была разукрашена огромными

синяками; должно быть, она пришла по-соседски, не дав себе труда переодеться. «Давнишняя подруга» — что это в сущности означало? Она села и сказала немного хриплым голосом:

— Мне надо поговорить с вами, Льюис.

Соленая волна подступила у меня к горлу. Льюис. Она произнесла это имя так, словно оно было ей очень привычно, да и смотрела она на Льюиса с подчеркнутой нежностью, а он тем временем открывал бутылку кьянти.

— Вам долго пришлось ждать? — спросил он.

— Два или три часа, — небрежно сказала она. — Люди снизу были очаровательны, они угостили меня кофе. С ума сойти, сколько всего хорошего они о вас думают. — Она залпом выпила стакан кьянти. — Мне надо сказать вам очень важные вещи. — Она метнула взгляд в мою сторону. — Личные вещи.

— Вы можете говорить в присутствии Анны, — сказал Льюис и добавил: — Анна француженка, она приехала из Парижа.

— Париж! — молвила Мария, пожав плечами. — Дайте мне еще немного вина. — Льюис наполнил ее стакан, и она сразу выпила его. — Вы должны помочь мне, — сказала она, — кроме вас некому...

— Я попробую.

Поколебавшись, она решилась:

— Хорошо, я введу вас в курс дела.

Я, в свою очередь, налила себе немного вина, в тревоге спрашивая себя: «Неужели она останется здесь на всю ночь?» Мария встала и, прислонившись к печке, с пафосом изложила историю, где речь шла о замужестве, о разводе, о несбывшемся призвании.

— Вы-то добились своего, — говорила она требовательным тоном. — Для женщины все не так просто; мне надо закончить книгу, а там, где я нахожусь, невозможно писать.

Я едва слушала ее и в ярости думала, что Льюису следовало найти способ избавить нас от нее; он говорил, что любит меня, и прекрасно знал, что наши часы сочтены, так как же? Но он вежливым тоном спросил:

— А ваша семья?

— Почему вы меня об этом спрашиваете? Моя семья! — Мария нервно собрала лежавшие на столе бумаги, скатала их в комок и с силой швырнула к мусорному ящику. — Ненавижу беспорядок! Нет, — продолжала она, пристально глядя на Льюиса, — я могу рассчитывать только на вас.

Он встал со смущенным видом:

— Вы не голодны? Мы собирались ужинать.

— Спасибо, — сказала она. — Я ела сандвичи с сыром, с американским сыром, — подчеркнула она слегка вызывающим тоном.

— А где вы будете спать этой ночью? — спросил он. Мария расхохоталась:

— Я не буду спать: я выпила десять чашек кофе.

— Но где вы проведете ночь?

— Вы ведь меня пригласили, не так ли? — Она взглянула на меня. — Разумеется, если я соглашусь, другим женщинам в доме не место.

— Беда в том, что здесь есть другая женщина, — сказал Льюис.

— Надо выставить ее вон, — заявила Мария.

— Это трудно, — весело отозвался Льюис.

Сначала мне захотелось рассмеяться: Мария сбежала из сумасшедшего дома, это должно было броситься мне в глаза, как только она открыла рот. Но потом моя слепота ужаснула меня. До чего же я уязвима, если увидела в этой фантазерке соперницу! А через два дня я уеду, оставив Льюиса своре женщин, которым позволено его любить. Эта мысль была мне нестерпима.

— Я десять лет его не видела, — повелительным тоном обратилась ко мне Мария. — Отдайте мне

его на эту ночь и можете располагать им всю оставшуюся жизнь. Разве это не справедливо?

Я не ответила, и она повернулась к Льюису:

— Если я уйду отсюда, то никогда не вернусь, а если уйду завтра, то выйду замуж за другого.

— Но Анна здесь у себя дома, — возразил Льюис. — Мы женаты.

— Ах! — Лицо Марии застыло. — Извините меня. Я не знала. — Она схватила бутылку кьянти и жадно стала пить из горлышка. — Дайте мне бритву.

Мы обменялись с Льюисом беспокойным взглядом, и Льюис сказал:

— У меня нет бритвы.

— Как же так! — Она встала и шагнула к раковине. — Это лезвие мне вполне подойдет. Вы позволите? — с насмешливым видом спросила меня она, усаживаясь и широко раздвинув колени; с исступленным старанием она принялась брить ноги. — Так будет лучше, гораздо лучше. — Она снова поднялась и, встав перед зеркалом, одну за другой побрила себе подмышки. — Теперь совсем другое дело, — заявила она, потягиваясь перед зеркалом со сладострастной улыбкой. — Так вот! Завтра я выйду замуж за доктора. Почему бы мне не выйти замуж за негра, если я работаю

как негр?

— Мария, уже поздно, — сказал Льюис. — Я отведу вас в гостиницу, где вы спокойно сможете отдохнуть.

— Я не хочу отдыхать. — Она сердито смотрела на него. — Зачем вы настаивали, чтобы я вошла? Я не люблю, когда надо мной насмехаются. — Ее кулак взметнулся, остановившись у самого лица Льюиса. — Это самая гнусная штука, какую со мной сыграли в этой жизни. Как подумаю обо всем, что я из-за вас вынесла, — добавила она, показывая на свои синяки.

— Пошли, уже поздно, — спокойно повторил Льюис. Взгляд Марии остановился на раковине.

— Хорошо. Я пойду. Но сначала согрейте воды, я помою посуду, терпеть не могу грязи.

— Горячая вода есть, — покорно сказал Льюис.

Схватив чайник, Мария с безмолвной торопливостью принялась мыть посуду; закончив, она вытерла руки о халат.

— Все в порядке. Я оставляю вас с вашей женой.

— Я провожу вас, — сказал Льюис. Он незаметно подал мне знак, в то время как она, не взглянув на меня, направилась к двери.

Накрыв на стол, я закурила сигарету. Теперь

уже никаких отсрочек, с минуты на минуту Льюис вернется и я поговорю с ним. Однако слова, которые я пережевывала с самого утра, показались мне вдруг лишенными всякого смысла. Между тем Робер, Надин, моя работа, Париж — все это было правдой и одного дня недостаточно, чтобы она превратилась в обман.

Льюис прошел в кухню и тщательно запер дверь.

— Я посадил ее в такси, — объяснил он. — Она мне сказала: «В конце концов, самое лучшее для меня — вернуться спать к чокнутым». Она сбежала после обеда и явилась прямо сюда.

— Я не сразу поняла.

— Я это заметил. Она там уже четыре года. В прошлом году она написала мне, попросив мою книгу, и я послал ей ее с маленькой записочкой. Я едва знал ее. — Он с улыбкой оглянулся вокруг: — С тех пор, как я живу здесь, творятся странные вещи. Такое уж место. Оно притягивает кошек, сумасшедших, наркоманов. — Он обнял меня. — И блаженных.

Он поставил пластинки на проигрыватель и вернулся к столу; оставалось немного кьянти, и я разлила его по стаканам; ирландская баллада крутилась на проигрывателе, а мы тем временем

молча ели бок о бок; под мексиканским покрывалом нас ожидала постель; казалось, это был обычный вечер, за которым последует тысяча точно таких же вечеров. Льюис выразил мою мысль вслух:

— Можно подумать, что я не солгал Марии. — Он остановил на мне вопросительный взгляд: «Кто знает?» Я-то знала, и отвернулась; я уже не могла отступать и прошептала:

— Льюис, я мало рассказывала вам о себе, мне надо объяснить вам...

— Да? — В его глазах сквозил страх, и я подумала: «Все кончено!» В последний раз окинула я взглядом печку, стены, окно, всю окружающую обстановку, где через минуту стану непрошеной гостьей, чужой. И наугад, вперемешку стала бросать фразы. Однажды в горах я ехала вдоль оползня, я готовилась умереть и не ощущала ничего, кроме безразличия; в эту минуту я узнавала в себе тогдашнее смирение. Мне только хотелось иметь возможность закрыть глаза.

— Я не понял, что этот брак все еще имеет для вас такое значение, — сказал Льюис.

— Имеет.

Он долго молчал, и я прошептала:

— Вы меня понимаете? Он обнял меня за пле-

чи.

— Вы стали мне еще дороже, чем до этого разговора. С каждым днем вы все дороже и дороже для меня. — Я прислонилась щекой к его щеке, и слова, которые я отказывалась говорить ему, теснились в моем сердце.

— Вам надо поспать, — сказал он наконец. — Я слегка наведу порядок и приду к вам.

Долгое время я слышала шум передвигаемой посуды, потом ничего уже не слышала: я заснула. Когда я открыла глаза, он спал рядом со мной. Почему он не разбудил меня? О чем он думал? Что подумает завтра? Что будет думать, когда я уеду? Я тихонько спустилась с кровати, открыла дверь кухни и облокотилась на балконные перила; подо мной вздрагивало дерево; между небом и землей сиял венец красных ламп — газовый резервуар. Было холодно, я тоже вздрогнула.

Нет, я не хотела уезжать. Только не послезавтра, не так быстро. Я телеграфирую в Париж; я могу остаться еще дней на десять, на две недели... Я могу остаться, а дальше? В конце концов все равно придется уехать. И вот доказательство того, что надо ехать немедленно: мне уже это дорого обходится. Пока речь шла всего лишь о дорожном приключении, а если я останусь, оно

станет настоящей любовью, невозможной любовью, и тогда мне придется страдать. Я не хотела страдать; слишком близко я видела страдания Поль; на свой диван я укладывала слишком много измученных женщин, которым не удавалось вылечиться. «Если я уеду, то забуду, — думалось мне, — вынуждена буду забыть; люди забывают, это как дважды два, забывают все, забывают быстро: четыре дня легко забыть». Я пыталась думать о Льюисе как об уже забытом: он ходил по дому, и он меня забыл. Да, он тоже меня забудет. Сегодня это моя комната, мой балкон, моя кровать, сердце, полное мной, а после все будет так, словно меня никогда и не существовало. Я закрыла дверь, думая со страстью: «Это случится не по моей вине; по своей вине я его не потеряю».

— Вы не спите? — спросил Льюис.

— Нет. — Я села на край кровати, поближе к его теплу. — Льюис, если я захочу остаться еще на неделю или две, это возможно?

— Я думал, вас ждут в Париже, — ответил он.

— Я могу телеграфировать в Париж. Вы оставите меня еще ненадолго?

— Ненадолго? Да я готов оставить вас на всю жизнь! — сказал он.

Он бросил мне эти слова с такой силой, что я

растворилась в его объятиях. Я целовала его глаза, губы, мои губы спустились вниз по его груди; они коснулись младенческого пупка, звериной шерсти, сокровенной плоти, где ощущались тихие удары сердца; его запах, его тепло пьянили меня, и я чувствовала, что жизнь покидает меня, прежняя моя жизнь с ее заботами, ее усталостью, стершимися воспоминаниями. Льюис прижимал к себе обновленную женщину. Я застонала: не только от наслаждения — от счастья. Наслаждение — раньше я по достоинству ценила его; но я не знала, что плотская любовь может быть такой волнующей. Прошлое, будущее, все, что нас разделяло, умирало у подножия нашей кровати: нас ничто больше не разделяло. Какая победа! Льюис целиком растворялся в моих объятиях, я — в его, мы не желали ничего другого: мы обладали всем навсегда. Вместе мы говорили: «Какое счастье!» И когда Льюис сказал: «Я люблю вас», я повторила это вместе с ним.

В Чикаго я провела две недели. В течение двух недель мы жили, не думая о будущем и не задаваясь вопросами; из нашего прошлого мы извлекали истории, которые рассказывали друг другу. Говорил в основном Льюис: он говорил торопливо и даже отчасти лихорадочно, словно

хотел отыграться за целую жизнь молчания. Мне нравилось слушать, как слова, толкая друг друга, срывались с его уст; мне нравилось, что он говорил и как говорил. Я без конца отыскивала резоны любить его: быть может, потому что все, обнаруженное в нем, служило для моей любви новым предлогом. Стояла хорошая погода, и мы много гуляли. Устав, мы возвращались к себе в комнату; то был час, когда тень от дерева на желтой занавеске исчезала; Льюис ставил на проигрыватель стопку пластинок, надевал свой белый халат, я ложилась в рубашке ему на колени, и мы дожидались пробуждения желания. Я, всегда с подозрением относившаяся к чувствам, которые внушаю, я никогда не спрашивала себя, кого Льюис во мне любит: я была уверена, что меня. Он не знал ни моей страны, ни моего языка, ни моих друзей, ни моих забот, ничего, кроме моего голоса, моих глаз, моей кожи; но у меня и не было другой истины, кроме этой кожи, этого голоса, этих глаз.

За два дня до моего отъезда мы поужинали в старом немецком ресторане и спустились на берег озера. Вода под молочно-серыми небесами была черной; стояла жара; парни и девушки, полуобнаженные и насквозь мокрые, суши-

лись у походного огня; чуть дальше поставили свои удочки рыбаки, они расположили на прибрежных плитах спальные мешки и термосы. Мало-помалу набережная пустела. Мы молчали. Озеро тихонько вздыхало у наших ног, оно было столь же диким, как во времена, когда на его болотистых берегах раскидывали лагерь индейцы, как во времена, когда индейцы вообще еще не существовали. Слева над нашими головами слышался густой городской гул, автомобильные фары подметали авеню, где сверкали огнями высокие билдинги. Земля казалась бесконечно старой и совсем юной.

— Какая прекрасная ночь! — сказала я.

— Да, прекрасная ночь, — отозвался Льюис. Он показал на скамейку: — Может быть, присядем здесь?

— Как хотите.

— До чего приятно, когда женщина неизменно отвечает: «Как хотите!» — весело сказал Льюис. Он сел рядом со мной и обнял меня. — Странно, что мы так хорошо понимаем друг друга, — с нежностью добавил он. — Мне ни с кем никогда не удавалось ладить.

— Наверняка это было по вине других людей, — ответила я.

— Нет, по моей. Со мной нелегко ужиться.

— Мне кажется, что наоборот.

— Бедная маленькая уроженка Галлии: вы не слишком требовательны! Положив голову на грудь Льюиса, я слушала, как бьется его сердце. Чего

же еще мне требовать? Щекой я ощущала биение этого сильного терпеливого сердца, нас окружала жемчужно-серая ночь, созданная специально для меня. Невозможно представить себе, что я могла бы не прожить ее. «А между тем, — говорила я себе, — если бы Филипп приехал в Нью-Йорк, меня здесь не было бы». Филиппа я, безусловно, не полюбила бы, но я не встретилась бы вновь с Льюисом, и нашей любви не существовало бы. Думать такое было столь же дико, как пытаться вообразить, будто ты мог не родиться или стать кем-то другим.

— Как подумаю, что я могла бы не позвонить вам! Или что вы могли бы не ответить мне! — прошептала я.

— О! — молвил Льюис. — Я не мог не встретить вас!

В его голосе звучала такая убежденность, что у меня дух захватило. Я прижалась губами к тому месту, где билось его сердце, и пообещала себе:

«Никогда я не пожалею об этой встрече!» Через два дня я должна была уехать; будущее существовало вновь, но мы сделаем его счастливым. Я подняла голову:

— Льюис, если хотите, я вернусь через два или три месяца, весной.

— Когда бы вы ни вернулись, это всегда будет весна, — отозвался Льюис. Обнявшись, мы долго глядели на звезды. Одна покатилась по небу, и я сказала:

— Загадайте желание!

— Я загадал, — улыбнулся Льюис.

У меня перехватило дыхание. Я знала, что он загадал, как знала и то, что это желание не исполнится. Там, в Париже, меня ждала моя жизнь, жизнь, которую я созидала в течение двадцати лет, и речи не было о том, чтобы ставить ее под вопрос. Весной я вернусь, но лишь для того, чтобы уехать вновь.

Следующий день я провела в бегах. Я вспоминала Париж, его жалкие витрины, неухоженных женщин и покупала все подряд для всех. Ужинали мы вне дома, и, когда я, опершись на руку Льюиса, поднималась по лестнице, я подумала: «Это в последний раз!» Рубины газового резервуара сверкали между небом и землей в последний

раз. Я вошла в комнату. Казалось, что какой-то потрошитель только что убил женщину и разграбил шкафы. Два мои чемодана были раскрыты, и на кровати, на стульях, на полу валялись чулки, нейлоновое белье, губная помада, ткани, туфли, шарфы; все это источало запах любви, смерти, стихийного бедствия. По сути, это был похоронный зал: все эти вещи были реликвиями усопшей, предсмертным причащением, которое она возьмет с собой в мир иной. Я застыла на месте. Льюис подошел к комоду, выдвинул ящик и достал сиреневую картонку, которую стыдливо протянул мне:

— Я купил это для вас!

Под розовой бумагой я увидела большой белый цветок с необычайно сильным запахом. Взяв цветок, я прижала его к губам и, рыдая, бросилась на кровать.

— Не надо его есть, — сказал Льюис. — Разве во Франции едят цветы?

Да, кто-то умер: веселая женщина, со смехом просыпавшаяся каждое утро, розовая и теплая. Я коснулась зубами цветка, мне хотелось раствориться в его запахе, умереть совсем. Но я заснула живой, и на рассвете Льюис проводил меня до угла широкой авеню: мы решили проститься

там. Он подозвал такси, я села, хлопнула дверца, такси свернуло за угол. Льюис исчез.

— Это ваш муж? — спросил шофер.

— Нет, — ответила я.

— У него был такой печальный вид!

— Он мне не муж.

Льюис был печален, а я! Но то была уже совсем иная печаль; каждый остался в одиночестве. Льюис один возвращался в пустую комнату. Я одна садилась в самолет.

Двадцать восемь часов — это мало, чтобы перескочить из одного мира в другой, чтобы сменить одно тело на другое. Я все еще пребывала в Чикаго, прижимая пылающее лицо к цветку, когда мне вдруг улыбнулся Робер; я тоже улыбнулась, взяла его за руку и стала рассказывать. В письмах я о многом ему писала. Между тем, едва открыв рот, я почувствовала, что вызываю чудовищное стихийное бедствие: такие живые, дни, прожитые мной недавно, внезапно окаменели; у меня за спиной осталась лишь глыба застывшего прошлого; улыбка Льюиса приобрела неподвижность бронзовой гримасы. Я была тут, разгуливала по улицам, которых никогда не покидала, прижавшись к Роберу, с которым никогда не расставалась, и подробно рассказывала

историю, ни с кем не случившуюся. Конец мая месяца был таким голубым, на всех перекрестках продавали ландыши, на зеленом брезенте тележек торговцев зеленью лежали пучки спаржи: на этом континенте ландыши, спаржа представлялись великими сокровищами. Женщины носили хлопчатобумажные юбки веселых расцветок, но до чего же их кожа и волосы казались мне тусклыми! Автомобили, встречавшиеся на узких шоссе, были старыми, маленькими, увечными, а какой жалкий товар лежал на выцветшем бархате витрин! Ошибки быть не могло: эта скудость возвещала мне, что я возвратилась к действительности. И вскоре я получила еще более неоспоримое свидетельство тому: ощущение забот. Робер говорил со мной только обо мне, избегая моих вопросов: все явно шло не так, как ему хотелось бы. Бедность, беспокойство: сомнений нет, я дома.

Уже на следующий день мы уехали в Сен-Мартен; стояла теплая погода, и мы расположились в саду. Как только Робер заговорил, я сразу поняла, что не ошиблась: на сердце у него было тяжело. Коммунисты начали против него кампанию, которой он опасался год назад: в числе прочего они опубликовали в «Анклюм» статью, которая

задела его за живое. Меня она тоже покоробила. Робера изобразили старым идеалистом, неспособным примениться к суровым требованиям настоящего времени; я же считала, что он скорее сделал чересчур много уступок коммунистам и отказался от слишком многого из своего прошлого.

— Это нечестно, — сказала я. — Никто о вас так не думает, даже сам автор статьи.

— Ах, не знаю! — пожав плечами, ответил Робер. — Иногда я говорю себе, что действительно стал стар.

— Ничего подобного! — возразила я. — Вы не были старым, когда я уезжала, и обещали мне не меняться.

Он улыбнулся:

— Скажем так: моя молодость устарела.

— Вы ничего не ответили им?

— Нет. Слишком многое пришлось бы сказать. А момент неподходящий. После 5 мая многие из так называемых сочувствующих воспользовались

поражением коммунистов, чтобы отвернуться от них. МРП{103} торжествовала, де Голль проявлял активность, проамериканская партия выжидала; более чем когда-либо левым следовало сплотить свои ряды; ввиду октябрьского референдума и

предстоящих затем выборов{104} самое лучшее, что могло сделать СРЛ, это приостановить свою работу. Однако такое решение далось Роберу нелегко. По вине коммунистов нельзя было продолжать перегруппировку левых сил, не нанося им ущерба: он упрекал коммунистов за сектантство. И если запрещал себе высказываться публично, то в своем кругу не стеснялся: за последние два дня он не раз давал волю своему гневу. Ему явно приносила облегчение возможность поговорить со мной. И я признавалась себе, что, вероятно, не во мне лично он нуждался, однако ему безусловно была полезна женщина, чье место я занимала: несомненно то было мое место, мое истинное место на земле.

Но тогда почему я не находила себе покоя? Откуда эти слезы? Стояла редкой красоты весна, я бродила по лесу, я была в добром здравии, у меня никто ничего не отнимал, но временами я останавливалась, мне хотелось стонать от боли, словно я все потеряла. «Льюис!» — звала я тихонько. А в ответ молчание! Еще недавно от заката до зари, от зари до глубокой ночи мне дарованы были его дыхание, его голос, его улыбка, а теперь — ничего; существовал ли он еще?

Я вслушивалась: ни звука; я всматривалась:

никакого следа. Я сама себя не понимала. «Я плачу, — думала я, — а между тем я здесь: значит, я недостаточно люблю Льюиса? Я здесь и все-таки плачу: может, я недостаточно люблю Робера?» Меня восхищают люди, дающие жизни окончательные определения. «Плотская любовь — ничто», — заявляют они или же наоборот: «Не плотская любовь — ничто». Однако, встретив Льюиса, я по-прежнему была привязана к Роберу; а присутствие Робера, каким бы значимым оно для меня ни было, не восполняло отсутствия Льюиса.

Во второй половине дня в субботу приехали Надин с Ламбером. Она сразу же с подозрительным видом стала расспрашивать меня:

— Тебе, наверное, было очень весело, если ты настолько продлила свое пребывание там, ты ведь никогда не меняешь своих планов.

— Как видишь, при случае я их меняю.

— Странно, что ты надолго задержалась в Чикаго. Говорят, там ужасно.

— Это неверно.

За три месяца Надин сделала вместе с Ламбером несколько репортажей; жила она у него и говорила с ним с насмешливой, но подчеркнутой нежностью. Довольная своей жизнью, она со

скрытым недоброжелательством внимательно присматривалась к моей. Я успокаивала ее как могла рассказами о путешествии. Ламбер показался мне более умиротворенным и веселым, чем до моего отъезда. Они провели уик-энд в павильончике. Я оборудовала там кухню и провела телефон, чтобы Надин чувствовала себя независимой, но не оторванной от дома; ей до того все понравилось, что в воскресенье вечером она мне объявила о своем намерении провести в Сен-Мартен весь отпуск.

— Ты уверена, что Ламбер останется доволен твоим решением? — спросила я. — Он не испытывает большой любви ни к твоему отцу, ни ко мне.

— Прежде всего он вас достаточно любит, — резко возразила она. — А если ты сама боишься, что мы надоедим тебе, успокойся, мы будем сидеть у себя.

— Ты прекрасно знаешь, что я всегда рада тебе здесь. Я только опасалась, что вам будет не хватать уединения. Предупреждаю, между прочим, что из моей комнаты слышно все, что говорят в саду.

— Ну и что? Какое мне до этого дело? Я-то не скрытничаю, не окружаю себя тайной.

И верно, Надин, столь ревностно охранявшая свою независимость, столь нетерпимая к любой критике или совету, охотно выставляла свою жизнь напоказ; безусловно, то был способ доказать свое превосходство.

— Мама уверяет, что тебе осточертеет здесь в отпуске, это правда? — спросила она, садясь в седло мотоцикла.

— Вовсе нет, — ответил Ламбер.

— Вот видишь, — торжествующе сказала она. — Ты всегда все усложняешь. Прежде всего Ламберу доставляет удовольствие делать то, о чем я его прошу, он хороший мальчик, — сказала она, ероша его волосы. Обняв Ламбера за талию, она ласково положила подбородок на его плечо, и машина тронулась.

Через четыре дня после этого из заметки в «Эспуар» мы узнали, что отец Ламбера погиб, выпав из вагона; по телефону Надин уныло сообщила, что

Ламбер отбыл в Лилль и что она не приедет на уик-энд; я не стала задавать ей вопросов, однако мы терялись в догадках. Может, старик покончил с собой под впечатлением от судебного процесса? Или кто-то разделался с ним? В течение нескольких дней мы строили предположения, а потом у

нас появились другие заботы. Скрясин устроил встречу Робера с советским чиновником, только что преодолевшим «железный занавес» специально для того, чтобы разоблачить перед Западом преступные деяния Сталина; накануне свидания Скрясин явился к нам, он привез документы, которые хотел вручить непосредственно Роберу, чтобы он ознакомился с ними до завтрашнего дня. Мы почти перестали с ним встречаться, потому что каждый раз ссорились, но в то утро он старательно избегал щекотливых тем и быстро уехал; мы расстались друзьями. Робер тут же принялся листать толстую пачку бумаг: некоторые были написаны по-французски, многие по-английски, а кое-какие по-немецки.

— Взгляни вместе со мной, — попросил он меня.

Я села рядом с ним под липой, и мы молча стали читать; там было все: отчеты, рассказы, статистические данные, отрывки из советского законодательства, комментарии. Я плохо разбиралась в этом ворохе; однако попадались и очень ясные тексты: свидетельства мужчин и женщин, заключенных русскими в концлагеря, трагически напоминавшие нацистские лагеря; описания этих лагерей, сделанные американцами, кото-

рые посетили в качестве союзников обширные территории СССР. Согласно выводам, сделанным Скрясиным, от пятнадцати до двадцати миллионов человек томились там в чудовищных условиях, и это было одним из главных устоев той системы, которую мы именовали «русский социализм». Взглянув на Робера, я спросила:

— Что во всем этом является правдой?

— Наверняка многие вещи, — отрывисто ответил он.

До сих пор он не придавал большого значения завтрашнему собранию и шел туда лишь ради того, чтобы его не обвиняли в уклонении; он был уверен, что откровения русского оставят его равнодушным, ибо полагал, что не строит себе иллюзий относительно СССР. И что же, его это, похоже, взволновало: он был сбит с толку. Он не обманывался, когда в 30-е годы друзья коммунисты нахваливали ему исправительный режим в СССР; вместо того чтобы держать преступников в тюрьме, — говорили они, — их перевоспитывают, используя на полезных работах; профсоюзы защищают их и следят, чтобы им платили по профсоюзным тарифам. Робер объяснял мне, что на деле то был способ укрощать непокорных крестьян, приобретая вместе с тем почти бесплатную

рабочую силу; принудительная работа там, как и повсюду, — это каторга. Однако теперь, когда крестьяне стали составной частью режима, а война выиграна, можно было надеяться, что все изменилось, и вот нам открывали, что все, напротив, ухудшилось. Мы долго обсуждали каждый факт, каждую цифру, каждое свидетельство, каждое предположение; даже если сделать огромную скидку на преувеличение и ложь, напрашивались безусловно удручающие выводы. Лагеря превратились в институт для систематического пополнения контингента неквалифицированной рабочей силы; отнюдь не преступления карались принудительным трудом: с тружениками обращались как с преступниками, чтобы позволить себе их эксплуатировать.

— И что же вы собираетесь делать? — спросила я, когда мы ушли из сада, чтобы перекусить на кухне.

— Не знаю, — ответил Робер.

Идея Скрясина, разумеется, заключалась в том, чтобы Робер помог ему обнародовать эти факты: мне казалось, что замалчивать их нельзя. И я с некоторым упреком сказала:

— Вы не знаете?

— Нет.

— Когда речь идет только о вас или даже о СРЛ, я понимаю, почему вы, не дрогнув, готовы мириться со многим, — сказала я. — Но тут дело другое. Если не выступить против этих лагерей, то станешь их пособником!

— Я ничего не могу решить вот так, сразу, — ответил Робер. — И прежде всего мне нужна дополнительная информация.

— А если подтвердится то, что мы узнали, — продолжала я, — что вы станете делать?

Он не ответил, и я в тревоге смотрела на него. Молчание означало, что он готов все стерпеть от коммунистов. То есть отречься от всего, что он предпринял после Освобождения: от СРЛ, от своих статей, от книги, которую заканчивал.

— Вы всегда хотели быть одновременно интеллектуалом и революционером, — сказала я. — Как интеллектуал вы взяли на себя определенные обязательства и в том числе говорить правду.

— Дай мне время подумать, — сказал он немного нетерпеливо.

Мы молча поели; обычно Робер очень любит задаваться вопросами в моем присутствии; должно быть, он сильно переживал, если предавался раздумьям, не говоря ни слова. Я тоже была взволнована. Трудовые лагеря и лагеря смерти

— между ними, конечно, есть какая-то разница, но каторга остается каторгой; этих заключенных я представляла себе с такими же искаженными лицами и обезумевшими глазами, как у депортированных. И все это происходило в СССР!

— Мне не хочется работать, давай прогуляемся, — предложил Робер. Миновав деревню, мы поднялись на плато, покрытое посевами зерновых и цветущими яблонями. Было довольно жарко, но не слишком; маленькие облачка свертывались в небе клубками; видно было деревню с ее крышами цвета доброго хлеба, с ее выгоревшими на солнце стенами, с ее бесхитростной колокольней; земля казалась нарочно созданной для человека и счастья, доступного каждому. Можно было подумать, что Робер услыхал шелест моих мыслей и внезапно сказал:

— До чего же легко забыть, насколько суров этот мир.

— Да, легко, — с сожалением согласилась я.

Мне тоже хотелось бы воспользоваться такой легкостью. Зачем Скрясин растревожил нас? Однако Робер думал не о лагерях.

— Ты сказала, что если я промолчу, то стану пособником лагерей, — начал он. — Но если я заговорю, то стану пособником недругов СССР,

то есть всех тех, кто хочет сохранить мир таким, каков он есть. Лагеря вещь ужасная, это верно. Но не следует забывать, что ужас повсюду.

Внезапно он заговорил скороговоркой; и хотя Робер не склонен был к историческим фрескам и широким социальным полотнам, в этот послеполуденный час, когда слова, тесня друг друга, срывались с его уст, все беды мира, казалось, обрушились на залитые солнцем поля: усталость, нужда, отчаяние французского пролетариата, нищета Испании и Италии, рабство колонизованных народов, людей в глуши Китая и Индии, голод, эпидемии. Вокруг нас миллионы людей умирали, так и не успев пожить, их агония омрачала небо, и я спрашивала себя, как мы еще осмеливаемся дышать.

— Так что сама понимаешь, — говорил Робер, — мои обязанности интеллектуала, верность истине — все это вздор. Единственная проблема — это понять: за или против людей ты действуешь, изобличая лагеря.

— Согласна, — сказала я. — Но что вам дает основание думать, будто задачи СССР все еще совпадают с задачами человечества? Мне кажется, что существование лагерей заставляет поставить под вопрос все дело СССР целиком.

— Надо бы столько всего узнать! — возразил Робер. — Действительно ли речь идет о государственном институте, необходимом для режима? Или этот институт связан с определенной политикой, которая могла бы быть изменена? Можно ли надеяться, что он будет быстро упразднен, как только СССР начнет набирать силы? Во всем этом я хочу разобраться, прежде чем принимать решения.

Я не настаивала. Во имя кого я могла протестовать? У меня нет никаких прав. Мы вернулись домой и провели вечер каждый сам по себе, делая вид, будто работаем. Из Америки я привезла много документов, записей и книг о психоанализе, но я к ним не притронулась.

В десять часов утра Робер уехал на автобусе, а я подстерегала в саду почтальона: письма от Льюиса все не было. Он предупреждал меня, что напишет не раньше чем через неделю, а из Чикаго письма приходят не скоро; наверняка он меня не забыл и все-таки находился где-то бесконечно далеко. Бесполезно искать помощи с этой стороны. Помощи в чем? Я вернулась в кабинет и поставила на проигрыватель пластинку. Со мной происходило что-то невыносимое: я сомневалась в Робере. «Раньше он не стал бы молчать», — го-

ворила я себе. Раньше он выражал все напрямик, ничего не прощал ни СССР, ни коммунистической партии, и одним из мотивов существования СРЛ была возможность конструктивной критики. А теперь вдруг он выбрал молчание: почему? Его обидело то, что его называют идеалистом; как реалист, он пытался приспособиться к суровым требованиям настоящего времени. Однако приспособиться слишком легко. Я тоже приспосабливаюсь и не испытываю от этого гордости; ни на что не обращать внимания, всегда со всем мириться — ведь в конце концов это означает предательство. Я мирюсь с отсутствием Льюиса и предаю свою любовь, я соглашаюсь пережить мертвых, и я их забываю, я предаю их. Впрочем, пока речь идет о мертвых и обо мне самой, серьезных жертв нет. Но предавать живых — дело серьезное.

«Если я заговорю, то тем самым предам других», — отвечал мне Робер. А остальные хором подхватывали, что, не разбив яиц, яичницу не сделаешь. Но кто же все-таки ест эти яичницы? Разбитые яйца сгниют и отравят землю. «Она уже отравлена». Это верно; слишком много всего верного. Меня приводят в отчаяние истины, которые сражаются между собой, я спрашиваю себя: как

они во всем разбираются? Вот я не сумею сложить четыреста миллионов китайцев и пятнадцать миллионов каторжников. Впрочем, нужно-то, наверное, вычитать. В любом случае вычисления — вещь ложная. Один человек и один человек — это не два человека, а всегда лишь один и один. Ладно, напрасно я прибегаю к арифметике; чтобы навести порядок в хаосе, следует обратиться к диалектике. Речь идет о том, чтобы перебросить каторжников к китайцам. Ладно. Перебросим. Ничто не вечно под луной, все проходит, пройдет и это; останутся в прошлом лагеря, так же как и мое собственное существование; до чего смешно — такая недолговечная, коротенькая жизнь тревожится по поводу лагерей, которые будущее уже упразднило. История сама о себе позаботится да в придачу еще и о каждом из нас. Так будем сидеть спокойно, каждый в своей норе.

Тогда почему они не сидят спокойно? Этот вопрос я задавала Роберу больше двадцати лет назад, когда была студенткой; он смеялся надо мной; однако сегодня я далеко не уверена, что он убедил меня — ни тогда, ни сейчас. Они притворяются, будто верят, что человечество — это одна бессмертная личность, которая однажды будет вознаграждена за все свои жертвы, а значит, и я

тоже. Но я не согласна: смерть уничтожает все. Принесенные в жертву поколения не восстанут из своих могил, дабы принять участие в конечном веселье; однако их может утешить то, что по прошествии очень малого времени избранники, в свою очередь, присоединятся к ним под землей. Между счастьем и несчастьем, возможно, существует не такая уж большая разница, как принято думать.

Я выключила проигрыватель и легла на диван; отбросив все, я закрыла глаза. Сколько в нем беспристрастия и милосердия, в отблеске смерти! Льюис, Робер, Надин стали невесомыми, словно тени, они уже не ложились мне на сердце тяжелым грузом: я могла бы вынести тяжесть пятнадцати миллионов теней или даже четырехсот миллионов. Однако через какое-то время я все-таки пошла за полицейским романом: надо же как-то убить время; но и время тоже меня убьет — вот истинная предустановленная гармония. Когда вечером вернулся Робер, мне почудилось, будто я смотрю на него издалека, в бинокль, и вижу бесплотный образ с пустотой вокруг — как тогда Диего в окнах Дранси, Диего, который был уже не от мира сего. Робер говорил, я слушала, но ничто меня больше не касалось.

— Ты осуждаешь меня за то, что я потребовал отсрочку? — спросил Робер.

— Я? Нисколько.

— Тогда в чем же дело? Если ты думаешь, что меня не трогают эти лагеря, то глубоко ошибаешься.

— Совсем напротив, — возразила я. — Сегодня я подумала, что мы действительно напрасно изводимся по всякому поводу. Ничто никогда не имеет особого значения; все меняется, все проходит, а главное, в конечном счете все люди умирают, и это все улаживает.

— Ах! Но это как раз своего рода бегство от проблем, — сказал Робер.

— Если только проблемы не являются бегством от истины, — прервала я его. И добавила: — Разумеется, если принято решение, что истинна только жизнь, мысль о смерти кажется бегством. Но и наоборот...

Робер покачал головой:

— Есть разница. То, что отдано предпочтение вере в жизнь, доказывают, проживая ее; а если искренне считают, что истинна только смерть, следует убить себя. Но, по сути, даже самоубийства лишены такого смысла.

— Быть может, — возразила я, — жить про-

должают по легкомыслию или из трусости. Так гораздо легче. Но это решительно ничего не доказывает.

— Прежде всего важно, что самоубийство дается нелегко, — сказал Робер. — И потом, продолжать жить — это значит не только продолжать дышать. Никому не удается оставаться равнодушным. Ты любишь одни вещи и ненавидишь другие, ты негодуешь, ты восхищаешься: из этого следует, что ты признаешь ценности жизни. — Он улыбнулся. — Я спокоен. Мы продолжаем спорить о лагерях и обо всем прочем. Ты, как и я, как все остальные, чувствуешь себя бессильной перед лицом некоторых фактов, они угнетают тебя, и тогда ты прячешься за всеобъемлющим скептицизмом, но это же несерьезно.

Я ничего не ответила. Очевидно, завтра я снова буду спорить о разных вещах, но разве это доказывает, что они перестанут казаться мне малозначимыми? И если да, то, возможно, потому лишь, что я снова начну себя обманывать.

Надин с Ламбером вернулись в Сен-Мартен в следующую субботу: судя по всему, отношения между ними испортились, за время ужина Надин не проронила ни слова. Через два дня Ламбер должен был ехать в Германию, чтобы получить

сведения о лагерях в русской зоне; по обоюдному согласию Робер с Ламбером избегали затрагивать суть проблемы, но оживленно обсуждали практические стороны расследования.

За кофе Надин не выдержала:

— Вся эта история — полная ерунда! Разумеется, лагеря существуют. Конечно, это отвратительно и в то же время неизбежно: в чем дело, таково общество, и никто ничего не может с этим поделать!

— Как легко ты готова смириться! — сказал Ламбер, глядя на нее с упреком. — Избавляться от того, что тебе мешает, на это у тебя особый дар!

— А ты, разве ты не готов смириться! — вызывающим тоном отвечала Надин. — Да будет тебе! Ты обрадовался возможности плохо думать об СССР! Мало того: благодаря этому ты собираешься прогуляться, да еще важничаешь: сколько преимуществ.

Не ответив, он пожал плечами, однако ночью они, должно быть, ссорились в павильончике. Весь следующий день Надин провела в гостиной наедине с книгой, которую не читала. Бесполезно было разговаривать с ней, она отвечала односложно. Вечером Ламбер позвал ее из сада, и, так как она не шелохнулась, он пришел сам:

— Надин, пора ехать.

— Я не поеду, — ответила она. — Довольно того, что завтра я буду в «Вижиланс» в десять часов утра.

— Но я же говорил тебе, что должен вернуться в Париж сегодня вечером: мне надо встретиться с людьми.

— Встречайся. Я тебе для этого не нужна.

— Надин, не валяй дурака! — в нетерпении сказал он. — Я проведу с ними всего один час. Мы же собирались пойти в китайский ресторан.

— Я передумала, с тобой тоже такое бывает, — возразила Надин. — Я остаюсь здесь.

— Это наш последний вечер, — сказал Ламбер.

— Это ты так решил! — воскликнула она.

— Хорошо, до завтра, — заносчиво произнес он.

— Завтра я занята. До твоего возвращения.

— О! Если хочешь, прощай навсегда! — в ярости крикнул он и закрыл за собой дверь.

Взглянув на меня, Надин тоже принялась кричать:

— Только не говори мне, что я виновата, ничего мне не говори; я знаю все, что ты можешь сказать, и меня это не интересует.

— Я не открывала рта.

— Пускай едет куда хочет, мне плевать! — ска-

зала она. — Но он должен советоваться со мной, прежде чем решать: терпеть не могу, когда мне врут. С этим расследованием нет никакой спешки. Лучше бы он прямо сказал мне: я хочу побыть один. Потому что суть именно в этом: он хочет иметь возможность спокойно оплакать своего дорогого папочку.

— Это нормально, — заметила я.

— Нормально? Его отец был старым негодяем. Ему прежде всего не следовало мириться с ним, а теперь он плачет о нем как ребенок. Он плакал по-настоящему, я сама видела! — торжествующим тоном заявила она.

— Ну и что? Тут нет ничего постыдного.

— Ни один мужчина из тех, кого я знаю, не плакал бы. А самое интересное то, что для усиления трагедии он утверждает, будто старичка кокнули нарочно.

— Такое могло случиться, — заметила я.

— Но только не с отцом Ламбера! — вспыхнув, заявила она.

Сразу же после ужина она отправилась бродить по полям, и мы увидели ее только за завтраком. Именно тогда с укоризной и жадным любопытством во взоре она протянула мне первое письмо от Льюиса:

— Письмо из Америки. Из Чикаго, — добавила она, настойчиво глядя на меня.

— Спасибо.

— Ты его не откроешь?

— Тут нет ничего срочного.

Положив письмо рядом с собой, я стала пить чай, пытаясь унять дрожь в руке; мне было так же трудно удерживать мое распадавшееся на части тело, как в ту минуту, когда Льюис впервые сжимал меня в своих объятиях. На помощь мне пришел Робер, он стал задавать Надин вопросы по поводу «Вижиланс», пока я не нашла предлог, чтобы уйти к себе в комнату; пальцы мои до того онемели, что я разорвала, вынимая из конверта, желтый листок бумаги, который чудесным образом должен был подарить мне волнующее присутствие Льюиса; письмо, напечатанное на машинке, было веселым, милым и пустым, и я долгое время с изумлением смотрела на скрепившую его подпись, беспощадную, как надгробная плита. И сколько бы я ни перечитывала и ни терзала эту страницу, мне не удавалось выжать из нее ни одного нового слова, ни одной улыбки, ни одного поцелуя; мало того, я могла снова начать ждать, и в конце моего ожидания все равно получу лишь другой листок бумаги. Льюис остался

в Чикаго, он продолжал жить, он жил без меня. Я подошла к окну, посмотрела на летнее небо, на счастливые деревья и поняла, что я только теперь начинаю страдать. Меня окружало все то же молчание, но не было больше надежды, меня вновь и вновь ожидает такое же точно молчание. Когда наши тела не касались друг друга, когда взгляды не смешивались, что нас связывало? Прошлое у каждого было свое, дороги будущего не пересекались, вокруг нас говорили на разных языках, часы, и те смеялись над нами: здесь сияло утро, а чикагскую комнату окутывала ночная тьма, даже в небесах мы не могли назначить друг другу свидание. Нет, между ним и мной не существовало никакой связи: только эти сдерживаемые рыдания у меня в горле.

Счастье еще, что Поль умоляла меня по телефону навестить ее в тот день: быть может, разделив ее печаль, я сумею забыть свою. Сидя в автобусе рядом с Надин, замышлявшей какой-то подвох, я спрашивала себя: «Можно ли свыкнуться в конце концов? Свыкнусь ли я?» На парижских улицах я встречала сотни, тысячи мужчин, у которых, как у Льюиса, были две руки, две ноги, но ни у кого не было его лица: с ума сойти, сколько на поверхности земли есть мужчин, но нет другого

Льюиса; с ума сойти, сколько существует дорог, которые не ведут в его объятия, и любовных слов, не обращенных ко мне. Всюду обещания нежности, счастья соприкасались со мной, но ни разу эта весенняя ласка не проникла мне в душу. Медленно я шла по набережным. Поль сделала огромное усилие, дотащившись до меня через несколько дней после моего возвращения, и с радостью приняла свои подарки из Америки; однако слушала она мои рассказы и отвечала на вопросы с безучастным видом. Сама я еще не побывала у нее и не без удивления обнаружила, что привычная улица осталась такой, как прежде. Ничто не изменилось за время моего отсутствия, и ничего не произошло. Все та же странная вывеска: «Собрание редких и саксонских птиц» и привязанная к оконной раме обезьянка, которая по-прежнему лущила арахис. Сидя на ступеньках лестницы, какой-то клошар курил сигару, не спуская глаз с тюка лохмотьев. Когда я толкнула входную дверь, она, как всегда, ударилась о помойный ящик; каждая дырка на коврике была на своем месте; слышался настойчивый звонок телефона. Поль встретила меня в шелковистом, немного мятом халате.

— Ты очень любезна! Мне жаль, что приходится

докучать тебе, но пойти одной в эту клетку со львами у меня никогда не хватит мужества.

— Ты уверена, что я приглашена?

— Но ведь это из-за тебя Бельом звонила мне три раза и умоляла привести тебя; она заполучила Анри, теперь хочет Дюбрея...

Поль поднялась по лестнице, которая вела в ее спальню, я последовала за ней.

— Ты представить себе не можешь, до чего красив дом в Сен-Мартен, — сказала я. — Ты должна приехать.

— Это так далеко! — вздохнула она, открывая дверцы шкафа. — Что мне надеть? Я так давно никуда не выходила.

— Твое черное платье.

— Оно очень старое.

— Тогда зеленое.

— Я не уверена, что зеленое действительно идет мне. — Она сняла вешалку, на которой висело черное платье. — Не хотелось бы выглядеть изъеденной молью рухлядью.

— Зачем ты идешь к ней? Ведь ты никогда никуда не ходишь!

— Она ненавидит меня, — ответила Поль. — Прежде я была моложе и красивее ее, ко мне перешли несколько ее любовников; если я и даль-

ше буду отказываться от ее приглашений, она подумает, что я стала немощной, и обрадуется.

Поль подошла к зеркалу и провела пальцем по изгибу своих густых бровей.

— Надо было выщипать их, надо было следовать моде; они сочтут меня смешной!

— Не бойся, — сказала я. — Ты всегда будешь самой красивой.

— О! Теперь уже нет, — возразила она. — Нет. Теперь уже нет.

Она с неприязнью смотрела на свое отражение, и вдруг впервые за многие годы я тоже увидела ее чужими глазами; вид у нее был усталый; скулы приняли фиолетовый оттенок, подбородок отяжелел; две глубокие впадины вокруг рта подчеркивали мужественность ее черт. Раньше молочный цвет лица Поль, бархатистый взгляд, черный блеск волос смягчали ее красоту: лишенное этой банальной привлекательности, ее лицо выглядело необычно; оно было вылеплено слишком небрежно, чтобы можно было простить нечеткость линий, неопределенность цвета; вместо того чтобы вписаться в его черты незаметно, время наложило жестокий отпечаток на эту благородную, причудливую маску, которая все еще заслуживала восхищения, но была бы уместна

скорее в каком-нибудь музее, чем в гостиной.

Поль надела черное платье и провела щеточкой по длинным ресницам.

— Мне подвести глаза или не стоит?

— Не знаю.

Я прекрасно видела ее недостатки, но была не в силах предложить какое-то средство: я даже не была уверена, что таковое существует.

— Только бы у меня нашлась пара подходящих чулок! — Она лихорадочно рылась в ящике. — Как ты думаешь, эти два чулка одного и того же цвета?

— Нет. Этот более светлый, чем другой.

— А этот?

— На нем спущена петля сверху донизу.

Нам понадобилось минут десять, чтобы подобрать два целых чулка.

— Ты уверена, что они одинаковы? — в тревоге спрашивала Поль.

Я натянула тонкую сетку на растопыренные пальцы и, стоя у окна, проверила на свету:

— Не вижу никакой разницы.

— Знаешь, они все замечают.

Поль зашнуровала на икрах босоножки на высокой платформе и спросила меня:

— Я надену колье?

Это было тяжелое колье из меди, янтаря и кости, не имеющее цены экзотическое украшение, которое вызовет презрительную усмешку женщин в брильянтах.

— Нет, не надевай его.

Я колебалась. В любом случае с ее серьгами, с ее платьем без возраста, ее маской, ее котурнами Поль настолько отличалась от своих недругов, что, возможно, лучше было бы подчеркнуть ее оригинальность.

— Подожди. Пожалуй, лучше надеть его. Ах, я не знаю, — не выдержала я. — В конце концов, не съедят же они тебя.

— О нет! Обязательно съедят, — без тени улыбки ответила она.

Мы направились к автобусной остановке; на улице Поль теряла всю свою величавость; она шла крадучись, прижимаясь к стенам.

— Терпеть не могу появляться в этом квартале при всем параде, — сказала она извиняющимся тоном. — Утром я выхожу в старых туфлях, это совсем другое дело; но в такой час да еще в таком туалете я выгляжу живым укором.

Я пробовала отвлечь ее:

— Как дела у Анри?

Она ответила нерешительно:

— Он такой непредсказуемый.

— Непредсказуемый? — глупо повторила я.

— Да. Как странно: я только теперь начинаю узнавать его, это после десяти-то лет. — Помолчав, Поль продолжала: — За время твоего отсутствия он сделал странную вещь: сунул вдруг мне под нос отрывок из своего романа, где герой объясняет женщине, что она отравляет ему жизнь, и спросил меня: «Что ты об этом думаешь?»

— Чего он от тебя добивался? — сказала я в ответ, пытаясь придать своему голосу насмешливую интонацию.

— Я спросила его, уж не думал ли он обо мне, когда писал это, и он покраснел от смущения. Но я почувствовала, что в какой-то момент ему хотелось бы, чтобы я в это поверила.

— О! Ты меня удивляешь! — молвила я.

— Анри человек со странностями, — задумчиво произнесла она и добавила: — Он часто встречается с малюткой Бельом; еще и поэтому я решила пойти к Люси: пускай не воображают, будто я придаю значение его капризу...

— Да, я видела ее фотографию...

— Ее видели вместе с Анри в «Иль Борроме»! — Она пожала плечами. — Это грустно. Знаешь, он не слишком собой гордится. Мало того: он

попросил, чтобы мы не спали больше вместе, словно считает себя недостойным меня, — медленно проговорила она.

Мне хотелось сказать ей: «Перестань наконец обманывать себя!» Но по какому праву? В определенном смысле я восхищалась ее упрямством.

На лестнице, когда мы поднимались к Люси Бельом, она схватила меня за руку:

— Скажи мне правду: у меня действительно вид побежденной?

— У тебя? Ты выглядишь принцессой.

Но когда камердинер открыл дверь, я почувствовала, что паника Поль передалась и мне; доносился звук голосов, в воздухе пахло духами и неприязнью; меня тоже разнесут в пух и прах: об этом всегда неприятно думать. Однако Поль вновь обрела хладнокровие: в гостиную она вошла с царственным достоинством; а я вдруг усомнилась в том, что оба ее чулка одного и того же цвета.

Старинная мебель, ковры вроде бы персидские, покрытые патиной картины, книги в дорогих переплетах, хрусталь, бархат, атлас: чувствовалось, что Люси колеблется между своими буржуазными устремлениями, интеллектуальными претензиями и собственным вкусом, который

вопреки ее признанному хорошему вкусу был вульгарен.

— Как я рада, что вы пришли! — Одета она была с таким совершенством, которое наградило бы комплексом неполноценности и виндзорскую герцогиню; лишь приглядевшись можно было заметить невыразительную убогость ее губ, неуемное недоброжелательство взгляда: не нашлось пока визажиста, который сумел бы подправить взгляд; не переставая улыбаться, она пытливо оценивала меня, потом повернулась к Поль: — Моя дорогая Поль! Двенадцать лет как мы не виделись! Могли бы не узнать друг друга. — Бесстыдно разглядывая ее, она на мгновение задержала в своей руке руку Поль, затем потащила меня: — Пойдемте, я вас представлю.

Женщины были намного моложе и гораздо красивее, чем в гостиной у Клоди, и никакая духовная драма не искажала их тщательно обработанных лиц; было много манекенщиц, жаждущих стать подающими надежды звездочками-старлетками, и старлеток, жаждущих стать звездами; все они были в черных платьях, на очень высоких каблуках, с волосами оттенков фирмы «Лореаль», длинными ресницами, каждая со своей, отличной от других, индивидуальностью, но из-

готовленной в одних и тех же мастерских. Будь я мужчиной, мне не под силу было бы выбрать ни одну из них, я поискала бы товар в другом месте. Что касается прекрасных молодых людей, целовавших мне руку, то они, похоже, интересовались главным образом друг другом. Попадались, правда, и взрослые люди с мужскими повадками, но они напоминали оплаченных статистов. Среди них находился и официальный любовник Люси, которого все называли Дюдюль; он беседовал со смуглой дылдой с серебристыми волосами.

— Говорят, вы недавно вернулись из Нью-Йорка? — обратился он ко мне. — Какая изумительная страна, не правда ли? Можно подумать, грандиозный сон избалованного ребенка. А эти огромные рожки с мороженым, которые они так любят, я вижу в них символ всей Америки.

— А мне там совсем не понравилось, — сказала крашеная блондинка, — все слишком чисто, слишком безупречно; в конце концов хочется встретить мужчину в рубашке сомнительной чистоты, с двухдневной щетиной.

Я не возражала, позволив им с помощью избитых фраз рассказывать мне о стране, откуда я только что вернулась: «страна взрослых детей», «отвратительных любовников», «женский рай»,

«лихорадочный вихрь жизни». По поводу небоскребов Дюдюль даже отважился произнести слово фаллос. Слушая их, я думала, что на самом деле ни у кого нет права вменять в вину интеллектуалам утонченную чувствительность; ведь эти люди — светские и иже с ними — разгуливали по жизни, ослепленные скверными клише, с душой, задавленной штампами. В то время как Робер, Анри беспечно дают себе волю любить то, что любят, скучать от того, что наводит на них скуку, и, если какой-то король шествует совершенно голый, они не станут восторгаться вышивкой его платья; они прекрасно знают, что сами создают образцы, которым усердно будут подражать снобы, изображающие изысканные реакции; их слава дает им возможность оставаться естественными, в то время как ни Дюдюль, ни Люси, ни лощеные стройные молодые женщины, которые перед ней заискивают, никогда не позволяют себе ни минуты искренности. Я испытывала по отношению к ним острую жалость. Их удел — тщетная жажда успеха, жгучая зависть, пустые победы и поражения. А ведь на земле существует столько всего, что можно безгранично любить и ненавидеть! И тут меня озарило: «Робер прав. Равнодушия не существует». Даже здесь, хоть это и не

стоило того, меня сразу охватывало негодование или отвращение; я проникалась убеждением, что в мире есть множество вещей, которые следует любить и ненавидеть, и я прекрасно сознавала: ничто не искоренит во мне этой уверенности. Да, только из-за усталости, по лени, стыдясь своего невежества, я глупо утверждала обратное.

— Ты никогда не встречалась с моей дочерью? — спросила Люси, награждая Поль одной из своих недобрых улыбок.

— Нет.

— Скоро увидишь; она очень красива: по типу своей красоты она напоминает тебя, какой ты была раньше. — На губах Люси снова появилась улыбка, которая тут же угасла: — У вас много всего общего.

Я решила не уступать ей в грубости:

— Да, говорят, ваша дочь ничуть на вас не похожа.

Люси посмотрела на меня с нескрываемой враждебностью; в ее взгляде сквозило едва ли не тревожное любопытство, словно она спрашивала себя: «А нет ли иной манеры, чем моя, быть женщиной и извлекать из этого пользу? Может, я чего-то не понимаю?» И снова она обратила свой взгляд на Поль:

— Ты должна как-нибудь прийти ко мне в «Амариллис», я тебя немного приодену; быть хорошо одетой — это меняет женщину.

— Было бы очень жаль, если бы Поль изменилась, — возразила я. — Модных женщин тьма тьмущая, а Поль — одна.

Люси, казалось, немного опешила.

— Во всяком случае, если ты вдруг перестанешь презирать моду, ты всегда желанная гостья в моих салонах; к тому же я знаю одного косметолога, который творит чудеса, — добавила она, повернувшись на своих высоких каблуках.

— Тебе следовало бы спросить ее, почему она сама не воспользуется его услугами, — сказала я Поль.

— Я никогда не умела им отвечать, — возразила она. Ее скулы стали фиолетовыми, а нос заострился — то была ее манера бледнеть.

— Хочешь уйти?

— Нет, это будет выглядеть поражением.

К нам устремилась Клоди с сияющими глазами распаленной сплетницы.

— Видите вон ту маленькую, рыжеволосую, которая только что вошла, — это дочь Бельом, — сказала она.

Поль обернулась, я — тоже. Жозетта была не

маленькой и принадлежала к редкостному типу рыжеволосых, чья буйная шевелюра украшает молочной белизны кожу блондинок; ее чувственный, скорбный рот и огромные глаза вызывали ощущение, будто ее пугает собственная красота. Легко было понять, что любой мужчина испытывал желание не оставить равнодушной такую женщину. Я с тревогой взглянула на Поль; она застыла с бокалом шампанского в руках, глаза ее широко открылись, словно она услышала голоса, злобные голоса.

Сердце мое возмущалось: за какое преступление она расплачивалась? Почему ее сжигали живьем, в то время как вокруг нас все эти женщины улыбались? Я готова была признать, что она сама повинна в своем несчастье; она не пыталась понять Анри, жила несбыточными мечтами, выбрав лень и рабство, но ведь она никому никогда не причиняла зла и не заслуживала столь жестокого наказания. Мы всегда расплачиваемся за собственные ошибки, вот только бывают двери, куда никогда не стучат кредиторы, а есть и другие, которые они взламывают, — это несправедливо. Поль принадлежала к числу неудачников, и я не в силах была смотреть на слезы, катившиеся из ее глаз, которых она, казалось, не замечала; я

заставила ее очнуться, взяв за руку и сказав:

— Пошли отсюда.

— Да.

Когда, попрощавшись наспех, мы очутились на улице, Поль мрачно посмотрела на меня.

— Почему ты ни разу не предостерегла меня? — спросила она.

— Предостерегла? От чего?

— От того, что я выбрала неверный путь.

— Но я так не думаю.

— Странно, что ты об этом не подумала.

— Ты хочешь сказать, что жила слишком замкнуто? Она пожала плечами.

— Я не сказала своего последнего слова. Я знаю, что бываю отчасти глупа, но уж если понимаю, то понимаю.

Меж тем, выходя из автобуса, она заставила себя улыбнуться:

— Спасибо, что пошла со мной. Ты оказала мне большую услугу. Я не забуду.

Надин провела в Париже всю неделю. Когда она вновь появилась в Сен-Мартен, я спросила ее о Ламбере: он писал ей и должен был вернуться через неделю.

— Вот уж он разъярится, — ликующим тоном заявила она. — Я встречалась с Жоли, и мы с ним

переспали. Представляешь себе вид Ламбера, когда я расскажу ему об этом!

— Надин! Не рассказывай ему!

Она в замешательстве взглянула на меня:

— Ты мне тысячу раз повторяла, что приличные люди друг другу не лгут. Прежде всего — откровенность!

— Нет. Я говорила тебе, что отношения надо строить так, чтобы ложь была недопустима. Но у тебя с Ламбером пока еще все не так, совсем не так. К тому же, — добавила я, — речь идет не о том, чтобы поведать ему, из уважения к искренности, истинное событие твоей жизни: ты придумала эту историю нарочно, чтобы, рассказав, причинить ему боль.

Надин усмехнулась в нерешительности:

— О! Когда ты начинаешь изображать из себя колдунью!..

— Я ошибаюсь?

— Разумеется, я хотела наказать его; и он этого вполне заслуживает.

— Ты сама признаешь, что он всегда делает то, что тебе хочется: один-единственный раз, когда он не уступил, ты могла бы вести честную игру.

— Он делает то, что я хочу, потому лишь, что ему нравится изображать из себя маленького

мальчика, это не более чем комедия. А в действительности все что угодно значит для него больше, чем я: Анри, газета, его отец, расследование...

— Ты слепа. Для Ламбера ты дороже всего на свете.

— Это ты так считаешь. А он никогда ничего подобного мне не говорил.

— Ты, верно, не поощряла его.

— Разумеется, я не выпрашивала у него объяснений в любви. Я с некоторым любопытством посмотрела на нее:

— Вам ведь случается иногда говорить о своих чувствах?

— Это не те вещи, о которых говорят, — возмутилась она. — Что ты себе воображаешь?

— Разговор помогает понять друг друга.

— Но я и так прекрасно все понимаю.

— Тогда ты должна понимать, что Ламбер не вынесет твоей измены; ты причинишь ему страшную боль и бесповоротно погубишь ваши отношения.

— И все-таки забавно, что именно ты советуешь мне лгать. — Она усмехалась, но явно почувствовала облегчение. — Ладно, я ничего ему не скажу.

Ламбер приехал через день; о своем путеше-

ствии он говорил мало и рассчитывал снова поехать туда в сентябре, чтобы собрать более точные сведения; Надин, казалось, помирилась с ним. Вместе они подолгу загорали в саду, вместе гуляли, читали, спорили, строили планы. Ламбер позволял Надин нежить его и охотно подчинялся ее капризам; но иногда испытывал потребность доказать себе свою независимость, тогда он садился на мотоцикл и носился по дорогам со скоростью, которая явно пугала его самого. Надин всегда ненавидела чужое одиночество; к ее ревности на этот раз примешивалась зависть; из-за несогласия Ламбера и моего решительного сопротивления она отказалась от намерения водить мотоцикл, зато попыталась в какой-то мере приручить его: покрасила в ярко-красный цвет крылья и привязала к рулю талисманы; однако, несмотря на все усилия, мотоцикл оставался в ее глазах символом мужских удовольствий, источником которых была не она и которые к тому же не могла разделить сама; это был наиболее частый повод ее ссор с Ламбером, но речь тут шла о ругани без колкостей.

Однажды вечером, когда в своей комнате я готовилась ко сну, они вышли в сад.

— Короче, — говорил Ламбер, — ты считаешь,

что я неспособен самостоятельно руководить газетой?

— Я этого не говорила. Я сказала, что, если Воланж возьмет тебя в качестве подставного лица, ты ничем не будешь руководить.

— А то, что он может доверять мне, предложив без задней мысли подобный пост, кажется тебе невероятным!

— До чего ты наивен! Репутация у Воланжа все еще слишком подмочена, чтобы он осмелился афишировать свое имя, вот он и рассчитывает исподтишка манипулировать тобой.

— О! Ты веришь в свою проницательность, потому что изображаешь из себя циника, но неприязнь и тебя делает слепой. Воланж — это личность.

— Он подлец, — спокойно заметила Надин.

— Согласен, он совершил ошибку; но я отдаю предпочтение людям, у которых ошибки остались позади, а не тем, у кого они впереди, — со злостью сказал Ламбер.

— Ты имеешь в виду Анри? Я никогда не делала из него героя, но он честный, порядочный человек.

— Был таким, однако теперь отдает себя на съедение политике и собственному обществен-

ному лицу.

— Мне кажется, он скорее одержал победу, — бесстрастным тоном сказала Надин. — Пьеса, которую он написал, это лучшее из всего, что он сделал.

— Ну нет! — возразил Ламбер. — Я нахожу ее отвратительной. К тому же это скверная акция; мертвые мертвы, и надо оставить их в покое; не стоит разжигать ненависть среди французов...

— Напротив! — сказала Надин. — Люди чертовски нуждаются в том, чтобы им освежили память.

— Цепляться за прошлое — это ни к чему не ведет, — заметил Ламбер.

— А я не согласна, чтобы его забывали, — возразила Надин и сухо добавила: — Не понимаю, когда прощают.

— А кто ты такая и что ты сделала, чтобы проявлять такую суровость? — спросил Ламбер.

— Я сделала бы не меньше, чем ты, если бы была мужчиной, — ответила Надин.

— Если бы я сделал в десять раз больше, я все равно не позволил бы себе бесповоротно осуждать людей, — заявил он.

— Ладно! — сказала она. — Тут мы никогда не придем к согласию. Пошли спать.

Наступило молчание, потом Ламбер заявил решительным тоном:

— Я уверен, что Воланж совершит нечто грандиозное.

— Сомневаюсь, — сказала Надин. — Но в любом случае я не понимаю, какое отношение это имеет к тебе. Руководить непонятной газетенкой, которая по-настоящему даже не принадлежит тебе, в этом нет ничего грандиозного.

— А ты веришь, что я когда-нибудь совершу нечто грандиозное? — полушутливым тоном спросил Ламбер.

— О! Не знаю, — ответила она. — К тому же мне плевать на это. Почему обязательно надо стремиться к чему-то великому?

— Пускай уж я буду пай-мальчиком, во всем послушным тебе, это все, чего ты от меня ждешь?

— Но я ничего не жду, я принимаю тебя таким, какой ты есть.

Интонации ее были нежными, хотя ясно говорили о том, что она отказывается произносить слова, которые хотелось бы услышать Ламберу. Он не унимался, продолжая настаивать:

— А что я собой представляю? Какие способности ты у меня признаешь?

— Ты умеешь делать майонез, — весело отвеча-

ла она, — и водить мотоцикл.

— И кое-что другое, о чем я умолчу, — с усмешкой сказал он.

— Терпеть не могу, когда ты становишься вульгарным, — рассердилась она и громко зевнула. — Пойду спать.

Гравий заскрипел у них под ногами, и дальше в саду уже не было слышно ничего, кроме настырного хора кузнечиков.

Я долго слушала их хор: прекрасная ночь! Все звезды в небе были на своих местах, и все везде было на месте. А между тем внутри себя я чувствовала пустоту, бесконечную пустоту. Льюис написал мне еще два письма и разговаривал со мной гораздо лучше, чем в первом, однако чем больше я ощущала его живым, реальным, тем больше угнетала меня его печаль. Я тоже испытываю печаль, однако это нас не сближает. «Почему вы так далеко?» — шепчу я. И он, как эхо, вторит мне: «Почему вы так далеко?» — но в голосе его слышится упрек. Потому что мы разлучены, нас разделяет решительно все и даже наши усилия воссоединиться.

Зато эти двое могли бы обратить свою любовь в счастье; меня раздражала их неловкость. В тот день они решили поехать с ночевкой в Париж,

где-то в середине дня Ламбер вышел из павильончика в элегантном фланелевом костюме с изысканным галстуком. Надин лежала на траве, на ней была юбка в цветочек, вся в пятнах, хлопчатая блузка, грубые босоножки. Он крикнул ей немного сердито:

— Поторопись, пора собираться, а то мы опоздаем на автобус.

— Я же сказала тебе, что хочу ехать на мотоцикле, — ответила Надин, — это гораздо интереснее.

— Но мы приедем грязные как чушки; к тому же смешно переодеваться, когда садишься на мотоцикл.

— А я и не собираюсь переодеваться! — решительно заявила она.

— Неужели ты поедешь в Париж в таком виде? — Надин не ответила, и он огорченно призвал меня в свидетели: — Какая жалость! Она могла бы так замечательно выглядеть, если бы не ее анархизм! — Он окинул Надин критическим взглядом: — Тем более что неряшливость тебе совсем не к лицу.

Надин считала себя некрасивой и главным образом с досады не желала быть женственной; ее озлобленная небрежность не позволяла заподозрить, насколько она чувствительна к любым

замечаниям, касающимся ее внешнего вида; лицо ее исказилось:

— Если тебе нужна женщина, которая с утра до вечера занимается собой, обратись в другое место.

— Разве долго надеть чистое платье, — продолжал Ламбер. — Я никуда не могу вывести тебя, если ты будешь выглядеть дикаркой.

— А я не нуждаюсь в том, чтобы меня куда-то выводили. Ты воображаешь, что мне хочется щеголять с тобой под руку там, где нас будут окружать метрдотели и декольтированные женщины? К черту! Если хочешь изображать Дон Жуана, найми манекена сопровождать тебя.

— Не вижу ничего оскорбительного в том, чтобы пойти потанцевать в какое-нибудь приличное кабаре, где можно послушать хороший джаз. А вы видите? — обратился он ко мне.

— Думаю, Надин не любит танцевать, — осторожно ответила я.

— Она прекрасно танцевала бы, если бы захотела!

— Вот именно, а я не хочу, — заявила она. — Кривляться на танцевальной площадке — мне это не нравится.

— Тебе понравилось бы, как любой другой,

— возразил Ламбер; он слегка покраснел. — И понравилось бы одеваться, бывать где-нибудь, если бы только ты была искренна. Обычно говорят: мне это не нравится, и, конечно, лгут. Мы все зажаты и лицемерны. Не пойму отчего. Почему считается преступлением любить красивую мебель, красивую одежду, роскошь и развлечения? На самом деле все это любят.

— Клянусь тебе, мне на это плевать, — сказала Надин.

— Говорить можно что угодно! Забавно, — продолжал он со страстью, немного смутившей меня, — надо все время пыжиться, все время отказываться от своих убеждений. Нельзя ни смеяться, ни плакать, когда хочется, ни делать, что тебе нравится, ни думать, что думаешь.

— Но кто же вам это запрещает? — спросила я.

— Не знаю, и это хуже всего. Мы все обманываем друг друга, и никто не знает почему. Так сказать, приносят жертву ради чистоты: только где она, чистота? Пускай покажут мне! И во имя этой чистоты отказываются от всего, ничего не делают, ничего не добиваются.

— Чего же ты хочешь добиться? — с насмешкой спросила Надин.

— Вот ты смеешься, но это тоже лицемерие.

Ты гораздо более чувствительна к успеху, чем хочешь показать; ведь не с кем-нибудь, а именно с Перроном ты отправилась в путешествие, и со мной ты говорила бы другим тоном, если бы я был важной персоной. Все обожают успех, и все любят деньги.

— Говори за себя, — сказала Надин.

— А почему не любить деньги? — продолжал Ламбер. — Пока мир таков, каков он есть, лучше быть с теми, кто их имеет. Да будет тебе! Ты так гордилась, получив в прошлом году меховую шубу, и умираешь от желания попутешествовать в свое удовольствие; ты была бы рада проснуться миллионершей, только никогда не признаешься в этом: боишься быть самой собой!

— Я знаю, кто я есть, и меня это вполне устраивает, — язвительно сказала она. — Это ты боишься быть самим собой: буржуазным интеллигентиком. Ты прекрасно знаешь, что не создан для великих свершений. И вот теперь ставишь на социальный успех, деньги и прочее. Ты превратишься в сноба и гнусного карьериста, тем дело и кончится.

— Бывают минуты, когда ты просто-напросто заслуживаешь хорошей пощечины, — сказал Ламбер, поворачиваясь спиной.

— Попробуй! Клянусь тебе, это опасно.

Я следила за Ламбером глазами, спрашивая себя: в чем причина его вспышки, что он против воли подавляет в себе? Стремление выбрать самый легкий путь? Невысказанные амбиции? Или хочет, например, принять предложение Воланжа, не решаясь вызвать осуждение своих друзей? Быть может, он убедил себя, что запреты, которые, как он чувствовал, его окружают, мешают ему стать важной персоной? Или желает, чтобы ему спокойно разрешили быть никем?

— Я все думаю, что у него было на уме? — спросила я.

— О! Он любит предаваться пустым мечтам, — презрительно ответила Надин. — Но когда он хочет и меня приобщить к ним, нет уж, увольте!

— Должна сказать, что ты не слишком поощряешь его.

— Согласна, и это забавно. Когда я чувствую, что ему хочется услышать от меня что-то определенное, я тотчас говорю прямо противоположное. Тебе это непонятно?

— Почему же?

Я прекрасно все понимала; мне было знакомо такого рода сопротивление у Надин.

— Ему всегда хочется получить на что-то разре-

шение: надо самому решаться, и все тут.

— Но ты могла бы быть чуточку сговорчивее, — возразила я. — Ты никогда не делаешь никаких уступок, а надо бы уступить, если ему случается о чем-то тебя просить.

— О! Он просит больше, чем ты думаешь, — отвечала она, раздраженно пожав плечами. — Прежде всего он каждый вечер требует, чтобы я спала с ним: меня это изматывает.

— Ты можешь отказаться.

— Ты не понимаешь: если я откажу, это целая драма. — И она сердито добавила: — К тому же, если бы я не принимала меры, он каждый раз делал бы мне ребенка. — Она украдкой взглянула на меня, прекрасно зная, что я терпеть не могу такого рода откровения.

— Научи его быть осторожным.

— Спасибо! Если это превратится в уроки практических упражнений, то-то будет весело! Уж лучше я сама о себе позабочусь. Но не так забавно каждый раз, как трахаешься, вставлять себе затычку. Тем более что я сломала зубную щетку.

— Зубную щетку?

— Тебе разве не показали в Америке? Одна американка из армейского корпуса подарила мне такую штуковину. О! Это замечательно, похоже

на крохотную шляпу-котелок, но чтобы поставить ее себе как следует, нужно некое стеклянное приспособление, я называю его зубной щеткой; так вот я ее сломала. — Надин лукаво смотрит на меня: — Я тебя шокирую, да?

Я пожала плечами.

— Не понимаю, почему ты упорно стремишься заниматься любовью, если для тебя это такая тяжелая обязанность.

— А как, ты думаешь, я могу завязать с кем-то отношения, если не буду трахаться? Женщины наводят на меня тоску, мне интересно только с парнями; но если я хочу встречаться с ними, приходится с ними спать, у меня нет выбора. Вот только есть такие, кто делает это более или менее часто, более или менее долго. Ламбер же — все время, и этому нет конца. — Она засмеялась. — Думаю, как только он им не пользуется, ему начинает казаться, будто его и вовсе нет!

Один из парадоксов Надин заключается в том, что ей довелось узнать не одну постель, не моргнув глазом, она говорит грубые непристойности, а между тем в отношении своей сексуальной жизни отличается крайней обидчивостью. Когда Ламбер позволял себе, а делал он это нередко, намекнуть на их близкие отношения, она вся

ощетинивалась.

— Есть одна вещь, в которой ты, похоже, не отдаешь себе отчета, — сказала я. — Дело в том, что Ламбер любит тебя.

Она пожала плечами.

— Ты никак не хочешь понять, — рассудительно заметила она. — В своей жизни Ламбер любил только одну женщину — Розу. А после искал утешения и подобрал первую попавшуюся девушку — меня; но сначала у него не было даже желания спать со мной. Только когда он узнал, что Анри это делал, у него возникли такие мысли; я ведь совсем не в его вкусе. Иметь при себе женщину ему кажется более мужественным, чем бегать по шлюхам, и к тому же гораздо удобнее. Так что дело не во мне, я не в счет.

Она обладала даром так ловко мешать правду с ложью, что я была сражена тем, какое усилие от меня требовалось, чтобы опровергнуть ее слова, и потому едва слышно сказала:

— Ты все путаешь.

— Нет. Я знаю, что говорю, — ответила она.

Дело кончилось тем, что Надин надела чистое платье и они отправились в Париж, но вернулись еще угрюмее, чем когда бы то ни было. И вскоре разразилась новая сцена. В то утро я как

раз работала в саду, грозовое небо давило на меня, прижимая к земле. Ламбер читал рядом со мной, Надин вязала. «По сути, — сказала она мне накануне, — каникулы страшно утомительны, каждый день надо придумывать себе занятие». Она явно скучала; с минуту она не сводила глаз с затылка Ламбера, словно силой взгляда пыталась заставить его повернуть голову, потом не выдержала.

— Ты еще не кончил Шпенглера?{105}

— Нет.

— Когда кончишь, дашь мне.

— Ладно.

Надин не могла видеть в чьих-то руках книгу, чтобы не потребовать ее; она уносила ее к себе в комнату, и стопка произведений, населявших ее будущее, бесполезно росла; на самом деле читала она очень медленно, с какой-то неприязнью, и через несколько страниц уставала.

— Говорят, это в высшей степени глупо! На этот раз Ламбер поднял голову:

— Кто тебе это сказал? Твои дружки коммунисты?

— Всем известно, что Шпенглер дурак, — уверенно заявила она. И, растянувшись на земле, проворчала: — Ты бы лучше прокатил меня на

мотоцикле.

— О! Мне совсем не хочется, — сухо ответил Ламбер.

— Могли бы пообедать в Мениле и погуляли бы в лесу.

— И попали бы под дождь: посмотри на небо.

— Дождя не будет. Скажи уж лучше, что не желаешь поехать прогуляться со мной.

— Да, мне не хочется гулять, я только что сказал тебе это, — нетерпеливо ответил он.

Надин поднялась.

— Ну что ж, а мне не хочется торчать весь день на этой капустной грядке. Я возьму мотоцикл и прогуляюсь без тебя. Дай мне ключ от противоугонного устройства.

— Ты с ума сошла, ты же не умеешь водить мотоцикл.

— Я уже водила, дело нехитрое, и вот тебе доказательство — ты же умеешь это делать.

— На первом повороте ты сломаешь себе шею. Ничего не поделаешь. Ключ я тебе не дам.

— Да тебе плевать на то, что я сломаю себе шею! Ты боишься, что я испорчу твою игрушку, вот и все. Гнусный эгоист. Я желаю получить этот ключ!

Ламбер даже не ответил. Надин застыла на

мгновение, устремив взгляд в пустоту, затем встала, схватила большую корзинку, служившую ей сумкой, и бросила мне:

— Я проведу день в Париже. Мне здесь надоело.

— Повеселись хорошенько.

Она умело выбрала свою месть. Ламбер наверняка будет страдать, зная, что Надин проводит в Париже время с товарищами, которых он ненавидит. Он провожал ее глазами, пока она не вышла из сада, затем повернулся ко мне.

— Я не понимаю, почему наши споры так быстро обостряются, — огорченно сказал он. — А вы понимаете?

Впервые он заводил со мной интимный разговор. Я колебалась, но раз уж он готов был выслушать меня, самое лучшее, что можно было сделать, это, безусловно, попытаться поговорить.

— В значительной мере тут виновата Надин, — сказала я. — Любой пустяк ее возмущает, тогда она становится несправедливой и агрессивной. Но поймите хорошенько: именно потому, что Надин ранима, она и говорит обидные вещи.

— Могла бы понять, что и другие тоже ранимы, — с обидой произнес Ламбер. — Иногда она чудовищно бесчувственна.

Вид у него был такой растерянный и такой юный: свежий цвет лица, немного вздернутый нос и плотоядные губы — черты чувственные и беспомощные, в которых угадывалось колебание между чересчур сладкими мечтами и слишком строгими запретами. И я решилась:

— Видите ли, чтобы понять Надин, надо вернуться в ее детство.

То, что я тысячу раз повторяла про себя, я рассказывала Ламберу как могла; он молча слушал меня, вид у него был взволнованный. Когда я произнесла имя Диего, он жадно прервал меня:

— А правда, что он был необычайно умен?

— Правда.

— И он писал хорошие стихи? У него был талант?

— Думаю, да.

— И ему было всего семнадцать лет! Надин восхищалась им?

— Надин никогда не восхищается. Нет, больше всего ее привязывало к Диего то, что он принадлежал ей безраздельно.

— Я ведь тоже ее люблю, — с грустью сказал Ламбер.

— Она в этом не уверена, — заметила я. — Она всегда боится, что вы сравниваете ее с другой.

— Я гораздо больше привязан к Надин, чем когда-либо был привязан к Розе, — прошептал он.

Подобное заявление удивило меня: несмотря ни на что, я разделяла предубеждения Надин.

— А вы говорили ей об этом?

— Такие вещи не говорят.

— Как раз такие вещи ей и хотелось бы услышать. Он пожал плечами.

— Она прекрасно видит, что вот уже больше года я живу только для нее.

— Она уверена, что речь идет всего лишь о своего рода товариществе. Попробую вам объяснить. Как женщина, она не верит в себя: ей надо, чтобы ее любили как женщину.

Ламбер сказал в нерешительности:

— Но с ней и в этом плане трудно разобраться. Возможно, мне не следовало бы говорить вам это, но я ничего не понимаю, я теряюсь. Если в какой-то вечер между нами ничего не происходит, она чувствует себя оскорбленной; однако все любовные жесты ее шокируют, поэтому она остается ледяной и сердится на меня...

Мне вспомнились злобные откровения Надин, и я спросила:

— Вы уверены, что именно она хочет этого каждый вечер?..

— Абсолютно уверен, — угрюмо ответил он.

Меня не слишком удивили их противоречивые высказывания. Я встречала много таких примеров; это всегда означало, что ни одного из любовников не удовлетворяет другой.

— Надин чувствует себя обездоленной и когда примиряется со своей женственностью, и когда отрекается от нее, — сказала я. — Это и делает ваши отношения столь трудными для вас. Но если вы проявите терпение, все уладится.

— О! Терпение! Оно у меня есть. Если бы только я был уверен, что она не ненавидит меня!

— Что за мысль! Она отчаянно привязана к вам.

— Мне часто кажется, что она презирает меня, потому что я всего лишь, как она говорит, интеллигентик — интеллигентик, у которого нет даже творческого дара, — с горечью добавил он. — И который не решается стать самостоятельным.

— Надин может проявлять интерес только к интеллектуалу, — возразила я, — она обожает спорить, объясняться: ей требуется облекать свою жизнь в слова. Нет, поверьте мне, она ставит вам в упрек лишь то, что вы недостаточно любите ее.

— Я постараюсь убедить ее, — сказал он; лицо его просияло. — Если я пойму, что она хоть

немного любит меня, все остальное не важно.

— Она очень вас любит: я не стала бы говорить вам этого, если бы не была уверена.

Он снова взялся за книгу, а я — за свою работу. Небо темнело с каждым часом и стало совсем черным, когда во второй половине дня я поднялась к себе в комнату, чтобы попытаться написать Льюису; он-то научился разговаривать со мной, ему это было легче, чем мне; люди, вещи, которые он описывал, существовали для меня; с помощью желтых листков я вновь обретала пишущую машинку, мексиканское покрывало, окно, выходящее на деревья, роскошные автомобили, рулившие вдоль разбитого шоссе; зато эта деревня, моя работа, Надин, Ламбер ничего ему не говорили; и как рассказать о Робере, как умолчать о нем? То, что Льюис нашептывал мне между строками своих писем, были легкодоступные слова: «Я жду вас, возвращайтесь, я — ваш». Но как сказать: «Я далеко и вернусь не скоро, я принадлежу другой жизни?» Как сказать это, если я хочу, чтобы он прочитал: «Я люблю вас!» Он звал меня, а я не могла его звать; мне нечего было ему дать, если я отказывала ему в своем присутствии. Со стыдом перечитала я свое письмо: каким оно казалось пустым, в то время

как сердце было переполнено! И какие жалкие обещания: я вернусь; но вернусь очень не скоро и для того лишь, чтобы снова уехать. Моя рука застыла на конверте, которого через несколько дней коснутся его руки: живые руки — ведь я действительно чувствовала их на своей коже. Значит, он в самом деле был реален! Иногда он казался мне творением моего сердца; я слишком свободно располагала им: усаживала его у окна, освещала его лицо, пробуждала его улыбку, а он не противился. Мужчина, который удивлял меня и щедро одаривал, — обрету ли я его вновь живым? Оставив на столе письмо, я облокотилась на подоконник; спускались сумерки и надвигалась гроза; видны были полчища всадников, скачущих средь облаков с копьями в руках, в то время как ветер неистовствовал меж деревьями. Спустившись в гостиную, я развела яркий огонь и по телефону пригласила Ламбера прийти поужинать с нами; когда Надин отсутствовала и некому было разжигать конфликт, они с Робером с общего согласия избегали щекотливых вопросов. После ужина Робер вернулся к себе в кабинет, и, пока Ламбер помогал мне убирать со стола, явилась Надин с намокшими от дождя волосами. Он мило улыбнулся ей:

— Ты похожа на русалку. Хочешь чего-нибудь поесть?

— Нет, я ужинала с Венсаном и Сезенаком, — ответила она. И, взяв со стола салфетку, стала вытирать волосы. — Мы говорили о русских лагерях. Венсан полностью согласен со мной. Он считает это отвратительным, но если начать кампанию против, буржуи останутся очень довольны.

— Такие рассуждения могут далеко увести! — заметил Ламбер, раздраженно пожав плечами . — Он попытается убедить Перрона молчать!

— Разумеется, — согласилась Надин.

— Надеюсь, он только потеряет время, — сказал Ламбер. — Я предупредил Перрона, что, если он замнет дело, я покидаю «Эспуар».

— Веский аргумент! — с насмешкой заметила Надин.

— О! Не заносись! — весело отозвался Ламбер. — На самом деле ты не так плохо обо мне думаешь, как хочешь показать.

— Но, возможно, не так хорошо, как тебе кажется.

— Ты не очень любезна! — сказал Ламбер.

— А ты? С твоей стороны любезно отпустить меня одну в Париж?

— Тебе, похоже, не очень хотелось, чтобы я поехал с тобой! — возразил Ламбер.

— А я и не говорила, что хотелось. Я только говорю, что ты мог бы предложить мне это.

Я направилась к двери и вышла из комнаты. Но слышала, как Ламбер продолжал:

— Давай не будем ссориться!

— А я и не ссорюсь! — отвечала Надин.

Я решила, что они проспорят весь вечер.

На следующее утро я рано вышла в сад. Под просветлевшими после ночных дождей небесами земля казалась истерзанной; дорога была изрыта колдобинами, лужайка усыпана сухими ветками. Я раскладывала свои бумаги на мокром столе, когда услыхала треск мотоцикла. Надин с развевающимися по ветру волосами и высоко поднятой над голыми коленями юбкой неслась по разбитой дороге. Из павильончика вышел Ламбер и с криком «Надин!» бросился к калитке, потом вернулся ко мне.

— Она не умеет водить! — взволнованно говорил он. — А после такой грозы полно сломанных веток и деревьев, лежащих поперек дороги. Может случиться беда!

— Надин по-своему осторожна, — постаралась я успокоить его, хотя тоже, конечно, волнова-

лась: она дорожила жизнью, но не отличалась ловкостью.

— Пока я спал, Надин взяла ключ от противоугонного устройства. Она такая упрямая! — Ламбер смотрел на меня с упреком. — А вы говорили, что она меня любит, странная в таком случае манера любить! Вы же видели вчера вечером: я изо всех сил старался помириться. Но это мало что дало!

— Ах! Не так-то просто поладить друг с другом, — сказала я. — Наберитесь немного терпения.

— С ней его понадобится много!

Он ушел, и я с грустью подумала: «Какая неразбериха». Надин неслась по дорогам, вцепившись в руль и жалуясь ветру: «Ламбер не любит меня. Меня никто никогда не любил, кроме Диего, а он мертв». Тем временем Ламбер расхаживал по комнате, и сердце его полнилось сомнениями. Трудно стать мужчиной в то время, когда это слово несет в себе слишком тяжкий смысл: так много погибших, замученных, награжденных орденами, авторитетных людей служат примером этому двадцатипятилетнему мальчику, который все еще грезит о материнской ласке и о мужском покровительстве. Я думала о тех племенах, где с пятилетнего возраста маленьких мужчин учат

вонзать в живую плоть отравленные шипы: у нас тоже, дабы обрести достоинство взрослого человека, надо, чтобы мужчина умел убивать, заставлял страдать и мучился сам. Девочек угнетают запретами, мальчиков — требованиями, оба эти вида притеснения одинаково пагубны. Если бы Надин и Ламбер захотели помочь друг другу, вместе, возможно, им удалось бы примириться со своим возрастом, полом, своим реальным местом на земле; вот только захотят ли они? Ламбер обедал с нами; его обуревали страх и гнев.

— Это выходит за рамки простой шутки! — возбужденно говорил он. — Никто не имеет права так пугать людей. Это пахнет злобой и шантажом. Пару хороших затрещин — вот что она заслуживает!

— Она не думает, что вы так обеспокоены, — заметила я. — И знаете, это того не стоит. Она наверняка спит где-нибудь на лугу или принимает солнечную ванну.

— Если только она не в канаве с разбитой головой, — ответил он. — Она сумасшедшая! Просто сумасшедшая.

Ламбер действительно был встревожен. Я его понимала. И сама была далеко не так спокойна, как уверяла. «Если бы что-то произошло, нам

позвонили бы», — говорил мне Робер. Но, может быть, именно в эту минуту машину занесло и Надин разбилась о дерево. Робер пытался отвлечь меня, но с наступлением вечера и сам не скрывал своей тревоги; он собирался звонить местным жандармам, когда наконец послышался треск выхлопной трубы. Ламбер вышел на дорогу раньше меня; машина была покрыта грязью, Надин тоже; она со смехом спустилась на землю, и я увидела, как Ламбер закатил ей с размаху две пощечины.

— Мама! — Надин набросилась на него и в свою очередь тоже ударила, не переставая пронзительно кричать: — Мама! — Он схватил ее за руки. Когда я подбежала к ним, он был так бледен, что я подумала: он потеряет сознание. У Надин текла кровь из носа, но я знала, что она сделала это нарочно, то был трюк, которому она научилась в детстве, когда дралась с мальчишками у фонтанов Люксембургского сада.

— И не стыдно вам, — сказала я, вставая между ними, словно разнимая детей.

— Он ударил меня! — истерическим голосом кричала Надин. Обняв ее за плечи, я вытирала ей нос:

— Он ударил меня за то, что я взяла его гнусный мотоцикл. Я разобью его вдребезги!

— Успокойся! — повторяла я.

— Я его разобью.

— Послушай, — сказала я, — Ламбер очень виноват, ударив тебя. Но он был вне себя, и это естественно. Мы все страшно испугались. Мы думали, что с тобой случилось несчастье.

— Ему на это наплевать! Он думал о своей машине. Боялся, как бы я ее не повредила.

— Прошу прощения, Надин, — с трудом произнес Ламбер, — я не должен был. Но я так волновался. Ты могла убить себя.

— Лицемер! Тебе плевать на это! Я знаю. Даже если бы я сдохла, тебе было бы все равно, ведь похоронил же ты другую!

— Надин! — Его побледневшее лицо стало красным, ничего детского не осталось в его чертах.

— Похоронил, забыл и притом очень быстро, — кричала она.

— Как ты смеешь! Это ты-то, которая изменяла Диего со всей американской армией.

— Замолчи.

— Ты предала его.

Слезы ярости текли по щекам Надин:

— Может, я и предала его, но мертвого. А ты позволил своему отцу донести на Розу, когда она была живой.

С минуту он молчал, потом сказал:

— Я не хочу больше тебя видеть, никогда. Никогда больше.

Он вскочил на мотоцикл, и я не нашла слов, чтобы удержать его. Надин рыдала.

— Иди отдохни. Иди.

Оттолкнув меня, она с криком бросилась на траву:

— Человек, отец которого доносил на евреев. И я спала с ним! И он ударил меня! Так мне и надо! Так и надо!

Она все кричала. И нельзя было сделать ничего другого, кроме как позволить ей кричать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поль провела лето у Клоди де Бельзонс, а Жозетта вместе со своей матерью отправилась загорать в Канн. Анри на маленьком подержанном автомобиле уехал в Италию. Он так любил эту страну{106}, что сумел забыть «Эспуар», СРЛ и все проблемы. Вернувшись в Париж, он обнаружил в своей почте отчет Ламбера, отправленный им из Германии, и пачку документов, собранных Скрясиным. Всю ночь он посвятил их изучению: наутро Италия отодвинулась очень далеко. Можно было сомневаться в документах, найденных в архивах рейха, в которых говорилось о девяти миллионах восьмистах тысячах узников; можно было считать подозрительными сообщения польских заключенных, освобожденных в сорок первом году; но, чтобы упорно отвергать все свидетельства уцелевших в лагерях мужчин и женщин, надо было раз и навсегда решить ничего не видеть и ничего не слышать. К тому же, кроме известных Анри статей кодекса исправительных работ, существовал еще и отчет, появившийся в Москве в 1935 году, где перечислялись огромные работы, выполненные лагерями

ОПТУ; существовал пятилетний план 1942 года, который поручал МВД строительство 14% предприятий. Золотодобывающие шахты Колымы, угольные шахты Норильска и Воркуты, рудники Старобельска, рыбные промыслы Коми: как там в действительности жили люди? Каково было число подневольных рабочих? Относительно этого имелись большие возможности для сомнений; зато бесспорно было одно: такие лагеря существовали, причем масштабно и официально, в рамках определенных институтов. «Следует рассказать об этом, — пришел к заключению Анри, — иначе я стану сообщником, виновным перед своими читателями в злоупотреблении доверием». Он бросился одетым на кровать с одной лишь мыслью: «Весело, нечего сказать!» Придется поссориться с коммунистами, и тогда положение «Эспуар» окажется не из легких. Анри вздохнул. По утрам он бывал доволен, когда видел, как рабочие покупали «Эспуар» в киоске на углу: они перестанут покупать газету. И все-таки как умолчать? Он мог утверждать, что знаний его недостаточно для того, чтобы говорить об этом: только весь режим целиком раскрывал смысл этих лагерей, а мы так плохо информированы! Но в таком случае его знаний недостаточно и для то-

го, чтобы хранить молчание. Неосведомленность не может служить оправданием, он давно это понял. Ведь он обещал своим читателям правду, а значит, даже сомневаясь, следовало сказать им то, что ему известно; понадобились бы веские причины, чтобы заставить его скрыть это от них: его нежелание ссориться с коммунистами таковой причиной не являлось и касалось лишь его одного.

К счастью, обстоятельства давали ему небольшую отсрочку. Ни Дюбрея, ни Ламбера, ни Скрясина в Париже не было, а Самазелль ограничивался лишь смутными намеками на сей счет. Анри старался как можно меньше думать об этом; впрочем, существовало множество других вещей, о которых ему приходилось думать: вещи пустяковые, но неотложные. Репетиции его пьесы проходили бурно; С алев слишком часто давал волю своим славянским чертам характера, от этого его капризы не убавляли своей грозной силы, и Жозетта претерпевала их со слезами; Верной начал опасаться скандала, он требовал купюр и неприемлемых изменений; изготовление костюмов он поручил дому моделей «Амариллис», а Люси Бельом отказывалась понимать, что Жозетта должна появляться не из модного салона, а

из охваченной огнем церкви; Анри приходилось проводить в театре по многу часов.

«Надо все-таки позвонить Поль», — решил он однажды утром. Она лишь изредка присылала ему загадочные почтовые открытки; в Париж она вернулась вот уже несколько дней назад, но не подавала признаков жизни, хотя наверняка в тревоге ожидала телефонного звонка, ее молчание — это всего лишь уловка, и было бы жестоко злоупотреблять им. Но когда Анри позвонил ей, она таким спокойным голосом назначила ему свидание, что, поднимаясь по лестнице, он тешил себя надеждой: быть может, Поль действительно отказалась от него. Она с улыбкой открыла ему дверь, и Анри с изумлением подумал: «Что с ней стряслось?» Поль подняла волосы, обнажив толстую шею, выщипала брови, надела слишком тесный костюм и выглядела чуть ли не вульгарной.

— Почему ты так смотришь на меня? — спросила она, продолжая улыбаться.

Он тоже через силу улыбнулся:

— Ты странно одета.

— Я тебя удивляю? — Она достала из сумочки длинный мундштук для сигарет и сунула его в рот. — Я надеюсь еще больше удивить тебя, — ска-

зала она, глядя на него блестевшими от радости глазами. — И прежде всего хочу сообщить тебе великую новость: я пишу.

— Пишешь? — молвил он. — И что же ты пишешь?

— Когда-нибудь узнаешь, — ответила Поль.

С таинственным видом она покусывала мундштук, а он подошел к окну; Поль нередко разыгрывала перед ним трагедийные сцены, но такого рода комедия была недостойна ее; если бы Анри не опасался осложнений, то вырвал бы у нее этот мундштук, распустил бы волосы, хорошенько встряхнул ее.

— Каникулы прошли хорошо? — спросил он, повернувшись к ней.

— Очень хорошо. А ты? Как у тебя дела? — спросила она немного снисходительно.

— О, у меня! Целыми днями я пропадаю в театре; сейчас дело застопорилось. С алев хороший режиссер, но быстро выходит из себя.

— Малютка будет играть прилично? — спросила Поль.

— Думаю, она будет великолепна.

Поль втянула дым сигареты, задохнувшись, закашлялась.

— Твой роман с ней все еще продолжается?

— Продолжается.

Она участливо взглянула на него:

— Странно.

— Почему? — спросил он и, поколебавшись, решительно добавил: — Это не каприз, я влюблен в нее.

Поль улыбнулась:

— Ты действительно так думаешь?

— Я в этом уверен, я люблю Жозетту, — твердо сказал Анри.

— Почему ты говоришь мне это таким тоном? — с удивлением спросила она.

— Каким тоном?

— Странным.

Он нетерпеливо отмахнулся.

— Расскажи лучше о своих каникулах: ты так мало мне писала.

— Я была очень занята.

— Места красивые?

— Мне там понравилось, — отвечала Поль.

Утомительно было задавать вопросы, на которые она отвечала короткими фразами, полными таинственных намеков. Анри до того это надоело, что через десять минут он ушел; Поль не пыталась его удержать и не просила о новой встрече.

Ламбер приехал из Германии за неделю до

генеральной репетиции. После смерти отца он изменился, стал раздражительным и замкнутым. Он сразу же заговорил о своем расследовании и собранных им свидетельствах.

— Ты убедился или нет? — спрашивал Ламбер, подозрительно глядя на Анри.

— В главном — да.

— Уже неплохо! — заметил Ламбер. — А Дюбрей? Что он говорит?

— Я его больше не видел. Он не покидает Сен-Мартен, а у меня не было времени туда съездить.

— Однако пора уже переходить к делу, — сказал Ламбер и нахмурил брови: — Надеюсь, на этот раз он честно признает, что факты установлены.

— Разумеется, — согласился Анри.

И снова Ламбер с недоверием взглянул на него:

— Лично ты по-прежнему не намерен молчать?

— Лично я — да.

— А если старик воспротивится?

— Посоветуемся с комитетом. Ламбер помрачнел, и Анри добавил:

— Послушай, дай мне неделю. В настоящий момент я слишком занят, но поеду поговорю с ним сразу после генеральной, и мы уладим этот вопрос. Я собираюсь в театр, тебе интересно по-

ехать со мной? — дружеским тоном спросил он.

— Я читал твою пьесу: она мне не нравится, — ответил Ламбер.

— Это твое право, — весело сказал Анри. — Но, может быть, тебе интересно присутствовать на репетиции?

— У меня работа. Мне надо привести в порядок свои записи, — ответил Ламбер. Наступило неловкое молчание, затем Ламбер, казалось, решился. — Я встречался с Воланжем в августе месяце, — бесстрастным тоном произнес он. — Воланж собирается издавать большой литературный еженедельник и предлагает мне пост главного редактора.

— Я слышал об этом проекте, — сказал Анри. — «Бо жур», это ты имеешь в виду? Полагаю, он не осмеливается открыто брать на себя руководство.

— Ты хочешь сказать, что он намерен воспользоваться мной? В самом деле, он хочет, чтобы мы вместе занимались газетой; но это не делает его предложение менее интересным.

— Во всяком случае, ты не можешь работать одновременно в «Эспуар» и в правом издании, — сухо заметил Анри.

— Речь идет о чисто литературном еженедель-

нике.

— Так обычно говорят. Но люди, которые заявляют о своей аполитичности, неизбежно оказываются реакционерами. — Анри пожал плечами: — В конечном счете как ты надеешься примирить наши идеи с идеями Воланжа?

— Я не чувствую себя столь далеким от него и часто говорил тебе, что разделяю его презрение к политике.

— Как ты не понимаешь, что у Воланжа это презрение — опять-таки политическая позиция, единственно возможная для него в настоящий момент.

Анри умолк; Ламбер тоже молчал с упрямым видом. Воланж наверняка сумел польстить ему; к тому же он давал ему возможность смешивать добро со злом и тем самым снять вину с отца и найти оправдание своему значительному состоянию. «Надо постараться чаще видеться и разговаривать с ним», — подумал Анри. Однако сейчас у него не было времени.

— Поговорим обо всем после, — сказал он, пожав руку Ламберу.

Его немного огорчало то, что Ламбер так сухо отозвался о его пьесе. Ламберу, безусловно, не хотелось, чтобы ворошили прошлое — из-за отца;

но откуда такая враждебность? «Жаль!» — подумал Анри. Ему очень хотелось, чтобы кто-то из посторонних побывал на одной из последних репетиций и сказал ему, что об этом думает: сам Анри ничего уже не понимал. С алев и Жозетта, не переставая, рыдали, Люси Бельом упорно отказывалась рвать платья Жозетты, Вер-нон упрямо хотел устроить после генеральной ужин. Сколько бы Анри ни протестовал, ни волновался, никто не слушал того, что он говорил; у него складывалось впечатление, что близится катастрофа. «В конце концов, не так уж важно, провалится пьеса или будет иметь успех», — пытался он успокаивать себя; только вот беда: если лично он мог смириться с неудачей, то Жозетте требовался успех. Анри решил позвонить Дюбреям, которые только что вернулись в Париж, не могут ли они прийти завтра в театр. Пьесу прогоняли от начала до конца, и ему не терпелось узнать их мнение.

— Договорились, — сказала Анна. — Нам это очень интересно. К тому же Робер вынужден будет таким образом немного отдохнуть: он работает как сумасшедший.

Анри слегка опасался, что Дюбрей сразу же затронет вопрос о лагерях; но, возможно, он тоже не торопился принимать решение и ни словом об

этом не обмолвился. Когда началась репетиция, Анри просто оробел. Его всегда смущало, если он видел кого-то, кто читал один из его романов; но сидеть рядом с Дюбреями, когда они слушали его текст, — в этом было что-то непристойное. Анна казалась взволнованной, а Дюбрей — заинтересованным: но чем только он не интересовался! Анри не осмеливался ни о чем его спрашивать. Последняя реплика прозвучала в ледяной тишине. И тут Дюбрей повернулся к Анри.

— Можете быть довольны! — с жаром сказал он. — На сцене пьеса кажется еще лучше, чем при чтении. Я сразу вам говорил: это лучшее из того, что вы сделали.

— О! Безусловно! — с воодушевлением подхватила Анна.

Они продолжали рассыпаться в бурных похвалах: они говорили именно те слова, которые хотелось услышать Анри; ему это было очень приятно, хотя и немного пугало. В последние три недели он приложил все силы, чтобы пьесе сопутствовала удача; однако ему не хотелось задаваться вопросом ни о ее достоинствах, ни о ее успехе; он запрещал себе и надеяться, и страшиться, а теперь почувствовал: осторожность его тает. Лучшее, что он сделал. Значит, это хорошо?

Сочтет ли публика, что это хорошо? В день генеральной репетиции сердце его сильно билось, когда, спрятавшись за кулисой, он вслушивался в невнятный гул, доносившийся из невидимого зала. Тщеславие, миражи: вот уже долгие годы как Анри опасался подделок; однако он не забыл своих юношеских мечтаний; слава — он в нее верил, он обещал себе прижать ее когда-нибудь к груди изо всех сил, как прижимают любимую; ее трудно поймать, у нее нет лица. «Но, по крайней мере, — думал он, — ее можно услышать». Однажды Анри слышал такой шум; он поднялся на эстраду и спустился с полными книг руками, и его имя находило отклик в громе аплодисментов. Быть может, ему снова доведется изведать этот детский восторг торжества. Невозможно всегда быть скромным, гордым и пренебрегать всеми знаками внимания; если лучшие свои дни проводишь в попытках общения с «другим»{107}, то только потому, что он для тебя небезразличен, и порой тебе необходимо знать, что и ты сумел стать небезразличным для него; нужны минуты радости, когда настоящее вбирает в себя все прошлое и торжествует над будущим. Размышления Анри резко оборвались; прозвучали три удара. Занавес поднялся над темной пещерой,

где люди сидели молча, с застывшим взглядом; так мало было общего между этим безучастным присутствием и шумом зверинца, заполнявшим последние полчаса, что возникал вопрос, откуда взялись эти люди; они казались не совсем реальными. Зато истинной была эта обуглившаяся деревня, солнце, крики, немецкие голоса, страх. Кто-то кашлянул в зале, и Анри понял, что и они тоже реальные: Дюбрей, Поль, Люси Бельом, Ламбер, Воланжи, множество других, кого он знал, и множество тех, кого он не узнавал. Что же они здесь делали? Ему помнился тот багровый от солнца, вина и кровавых воспоминаний послеполуденный час; ему хотелось вырвать его у августа, вырвать у времени; он продлил его в своих мечтаниях, породивших эту историю, а также идеи, вылившиеся у него в слова; ему хотелось, чтобы слова, идеи, история ожили: может, это безмолвное собрание людей и призвано было дать им жизнь? Прозвучала пулеметная очередь, по пустынной площади прошла Жозетта в своем чересчур красивом платье от «Амариллис» и рухнула на передней части сцены, в то время как из-за кулис доносились крики и хриплые приказания. В зале тоже кричали; какая-то женщина с желтым плюмажем в волосах с шумом покинула

свое кресло: «Довольно этих ужасов!» Посреди свиста и аплодисментов Жозетта бросила на Анри затравленный взгляд, и он спокойно улыбнулся ей; она снова заговорила. Он улыбался, в то время как ему хотелось бы выскочить на сцену и подсказать Жозетте иные слова, убедительные, волнующие слова; чтобы коснуться ее, ему стоило только руку протянуть, однако огни рампы исключали его из этого мира, где драматические события неумолимо следовали одно за другим. И тут Анри понял, зачем их сюда позвали: чтобы вынести приговор. Речь шла не о торжестве, а о судебном процессе. Он узнавал фразы, которые с надеждой подбирал в потворствующей тишине своей комнаты: этим вечером в них ощущался привкус преступления. Виновен, виновен, виновен. Анри чувствовал себя не менее одиноким, чем подсудимый в зале суда, который молча слушает своего адвоката. Он признавал себя виновным и просил лишь одного — снисхождения присяжных. Снова послышался крик: «Какой позор», и он ни слова не мог вымолвить в свою защиту. Когда под аплодисменты, которые прорезали отдельные свистки, упал занавес, Анри заметил, что у него вспотели руки. Он покинул подмостки и закрылся в кабинете Вернона; через

несколько минут дверь отворилась.

— Мне сказали, что ты никого не хочешь видеть, — молвила Поль, — но я полагаю, что я не просто кто-то. — В голосе ее звучала нарочитая непринужденность; на ней было черное платье, и в этот вечер ее строгая элегантность опять выглядела необычной. — Ты должен быть доволен! — добавила Поль. — Отменный скандал.

— Да, у меня сложилось точно такое же впечатление, — ответил он.

— Знаешь, женщина, которая возмутилась, — швейцарка, она всю войну провела в Женеве. Еще одна хорошая стычка произошла в глубине партера. А Югетта Воланж притворилась, будто упала в обморок.

— Югетта упала в обморок? — улыбнулся Анри.

— Весьма элегантно. Но главное, надо было видеть его. Бедный Луи! Он чует триумф, на нем лица нет.

— Странный триумф, — заметил Анри. — Вот увидишь: во втором акте все те, кто аплодировал, начнут свистеть.

— Тем лучше! — величественно заявила Поль и добавила: — Дюбрей в восторге.

Разумеется, все друзья радовались этому весе-

лому скандалу: интеллектуалам скандал всегда кажется благотворным, если его вызывает кто-то другой. Только на одного Анри обрушивались и гнев, и ненависть, которые он всколыхнул. Людей живьем сожгли в церкви, а Жозетта предала мужа, которого страстно любила; волнение, обида публики делали реальными эти выдуманные преступления, и преступником был Анри. Снова опершись на подставку кулисы, оставаясь невидимым, он разглядывал своих судей и с удивлением думал: «Вот что сделал я! Именно я!» Прошел год; августовское солнце опять придавило обгоревший остов деревни, но над могилами выросли кресты, их орошали речами, воздух торжественно оглашали фанфары, и вдовы в черных одеждах шествовали с цветами в руках. И снова тьму зала прорезал враждебный ропот.

«Я насмехаюсь над торговцами трупами, а меня обвинят в том, что я глумлюсь над мертвыми», — подумал он. Теперь руки его были сухими, зато в горле ощущался налет серы. «Неужели я так уязвим?» — с отвращением спрашивал себя Анри. Другие, когда им пожимали за кулисами руку, всегда выглядели непринужденно, беспечно: неужели втайне они испытывали такие же детские муки? Как сопоставить себя с ними?

Относительно всего остального они объясняются охотно и без колебаний готовы представить миру подробный перечень собственных пороков и поведать о точном размере своего члена; но свои устремления, свои разочарования — ни один писатель не был настолько самонадеян или исполнен смирения, чтобы откровенно предать их огласке. «Наша искренность была бы столь же скандальной, как искренность детей, — думал Анри. — Мы лжем, как они, и, как они, каждый из нас втайне боится прослыть чудовищем». Занавес упал во второй раз, и Анри принял непринужденный, беспечный вид, чтобы пожать руку любопытным. Настоящее церковное шествие, вот только о чем речь: о свадебном торжестве или о похоронах?

— Это триумф! — воскликнула Люси Бельом, бросившись к нему, когда он вошел в большой ресторанный зал, где без умолку трещала надушенная толпа; Люси положила на плечо Анри свою затянутую в перчатку руку; на ее голове колыхалась большая поникшая черная птица.

— Согласитесь, Жозетта выглядит внушительно, когда появляется в своем красном платье.

— Завтра вечером я изваляю это платье в пыли и хорошенько поработаю над ним ножницами.

— Вы не имеете права, на нем имеется марка! — сухо заметила Люси. — Впрочем, решительно все нашли платье прекрасным.

— Не платье, а Жозетту они нашли прекрасной! — возразил Анри.

Он улыбнулся Жозетте, ответившей ему страдальческой улыбкой, их ослепила вспышка магния. Он попытался отмахнуться, но Люси сжала его руку:

— Окажите любезность: Жозетте нужна реклама.

Последовала еще одна вспышка, за ней другая. Поль наблюдала эту сцену с видом оскорбленной весталки. «Что за кривляка!» — раздраженно подумал Анри. Он не знал, проиграл или выиграл свой судебный процесс; благоразумная слава, уверенная в получении наград, — чтобы изведать ее, надо обладать сердцем ребенка; ему вдруг захотелось стать веселым; с ним что-то произошло, что-то такое, о чем он смутно мечтал пятнадцать лет назад, когда на рекламных тумбах разглядывал яркие афиши: сыграли его первую пьесу, и люди сочли ее хорошей. Издали он улыбнулся Дюбреям и направился к ним; по дороге его остановил Луи; в руках он держал стакан мартини, во взгляде сквозила растерянность.

— Ну что ж, пожалуй, это именно то, что называют настоящим парижским успехом.

— Как себя чувствует Югетта? — спросил Анри. — Мне сказали, что ей стало плохо, это правда?

— Ах! Ты подвергаешь нервы зрителей суровому испытанию! — ответил Луи. — Заметь, я не из тех, кто негодует; зачем заведомо отказываться от мелодраматических приемов, скажем даже вместе с твоими хулителями, от судилища? Но Югетта похожа на мимозу, она не выдержала и ушла после первого акта.

— Я сожалею! — сказал Анри. — Напрасно ты счел себя обязанным остаться.

— Мне хотелось поздравить тебя, — широко улыбаясь, ответил Луи. — Я здесь наверняка единственный, кто знал юного тюльского лицеиста, так упорно трудившегося. Если кто-то и заслужил успех, так это ты.

На языке у Анри вертелось несколько ответов, однако он не мог ответить коварством на коварство Луи, и без того малоприятно было воображать, что творится в данную минуту в этой завистливой душе, следовало поостеречься вызывать в ней любые бури. Анри прекратил разговор.

— Спасибо, что пришел, и тысяча извинений

Югетте, — сказал он, улыбнувшись на прощанье.

Да, воспоминания юности и детства, всплывшие этим вечером, разделить с ним мог только Луи, и Анри вдруг почувствовал к ним отвращение. С прошлым ему не повезло. Анри нередко казалось, что все минувшие годы остаются в его распоряжении, целые и невредимые, словно только что закрытая книга, которую можно снова открыть; он обещал себе, что до конца своей жизни непременно подведет ее итог; однако по той или иной причине такая попытка всегда кончалась провалом. В любом случае для того, чтобы попробовать собрать себя воедино, момент был выбран неудачно: слишком много рук следовало пожать, и под натиском двусмысленных комплиментов он терялся.

— Ну что ж, дело выиграно! — сказал Дюбрей. — Половина людей в ярости, другая половина в восторге, но все предрекают сотни три представлений.

— Жозетта была хороша, правда? — спросил Анри.

— Очень хороша, и притом она так красива, — немного поспешно сказала Анна и с раздражением добавила: — Но ее мать — до чего гнусная ведьма! Я только что слышала, как она сплетни-

чала с Верноном. У нее совсем нет стыда.

— Что она говорила?

— Я потом вам расскажу, — ответила Анна, бросив взгляд по сторонам. — У нее ужасные друзья!

— Это вовсе не ее и ничьи друзья, — возразил Дюбрей, — это весь Париж: нет ничего более жалкого. — Он виновато улыбнулся: — Я убегаю.

— А я останусь ненадолго, чтобы повидать Поль, — сказала Анна. Дюбрей пожал руку Анри:

— Вы зайдете к нам завтра или послезавтра?

— Да, нам надо принять решение, — ответил Анри. — Это срочно.

— Звоните, — сказал Дюбрей.

Он торопливо направился к двери, радуясь тому, что уходит, и не скрывал этого; да и Анна оставалась лишь из вежливости, она чувствовала себя неловко: что же все-таки сказала Люси? «Вот почему Лашом с Венсаном не пришли на ужин, — подумал Анри. — Они все меня осуждают за то, что я компрометирую себя с такими людьми». Он украдкой взглянул на Поль, застывшую немым укором, и, продолжая приветствовать элегантных гостей, которых представлял ему Верной, спрашивал себя: «Это я виноват? Или обстоятельства изменились?» Было время, когда они знали своих друзей и врагов, с риском для жизни лю-

били друг друга и до смерти ненавидели. Теперь любая дружба омрачалась оговорками и обидой, ненависть выветрилась; никто уже не был готов отдать свою жизнь или убить.

— Пьеса очень интересная, — напыщенно произнес Ленуар. — Сложная пьеса. — И добавил в нерешительности: — Я только сожалею, что вы не подождали немного с ее представлением.

— А чего ждать? Референдума? — спросил Жюльен.

— Вот именно. Сейчас не время подчеркивать слабости, которые могут проявить левые партии.

— К черту! По счастью, Перрон решился-таки наконец воспротивиться немного: конформизм ему не к лицу, даже окрашенный в красное. — Жюльен усмехнулся: — Теперь коммуняки устроят тебе такой разнос, что у тебя пропадет желание подпевать им.

— Не думаю, что Перрон злопамятен, — возразил Ленуар с горечью, в которой ощущалось беспокойство. — Одному Богу известно, сколько раз лично мне доводилось слышать грубые окрики со стороны компартии, однако я не позволю себя обескуражить. Они могут оскорблять, клеветать на меня, но им все равно не удастся склонить меня к антикоммунизму.

— Иначе говоря: меня пнут в задницу, а я подставлю другую половину, — со смехом сказал Жюльен.

Ленуар залился краской.

— Анархизм — это тот же конформизм, — ответил он. — Скоро ты станешь писать для «Фигаро».

Он с достоинством удалился, а Жюльен положил руку на плечо Анри со словами:

— Знаешь, твоя пьеса неплохая; но она была бы гораздо забавнее, если бы ты сделал из нее шутовскую комедию. — Неопределенно махнув рукой, он обвел взглядом присутствующих: — Новогоднее ревю со всем этим бомондом — вот была бы потеха.

— Так напиши сам! — с раздражением ответил Анри. Он улыбнулся Жозетте, демонстрировавшей свои золотистые плечи окружавшим ее почитателям; направившись к ней, Анри встретил затравленный взгляд Мари-Анж, которую Луи прижал к буфету; он говорил ей что-то, глядя прямо в глаза и глотая мартини. Мужчины обычно признавали за Луи интеллектуальную привлекательность, однако женщинам он никогда не умел нравиться. Угадывалось скупое нетерпение в улыбке, которой он одаривал Ма-

ри-Анж, чувствовалось, что он готов отобрать эту улыбку, как только она подействует; казалось, он говорил: «Я хочу вас, но торопитесь уступить, я не могу терять времени». В нескольких шагах от них Ламбер с мрачным видом предавался думам. Анри остановился возле него.

— Какой базар! — с улыбкой обратился он к нему, пытаясь отыскать в его глазах участие, которого не встретил.

— Да, странный базар, — ответил Ламбер. — Половина присутствующих здесь людей с радостью перебила бы другую половину. Это неизбежно, ты ведь хотел пощадить и волков, и овец.

— Ты называешь это пощадить? Я вызвал недовольство и тех, и других — всех.

— Все — это слишком громко сказано, — возразил Ламбер. — Одно уничтожает другое, и получается нуль. Такого рода скандал — это всего лишь реклама.

— Я знаю, что пьеса тебе не нравится, но это не причина для плохого настроения, — примирительным тоном сказал Анри.

— Ах! Но это так важно! — возразил Ламбер.

— Что именно? Даже если предположить, что пьеса не удалась, разве это так уж важно?

— Важно то, что ты опустился до такого рода

успеха! — сдержанно ответил Ламбер. — Сюжет, который ты выбрал, методы, какими ты пользуешься: не означает ли это поощрять самые низкие инстинкты публики? Мы вправе ожидать от тебя других вещей.

— Это смешно! — сказал Анри. — Вы все ждете от меня чего-то: чтобы я вступил в компартию, чтобы я боролся с ней, чтобы я стал менее серьезным или, напротив, более серьезным, чтобы я отказался от политики, чтобы я полностью посвятил себя только ей. И все вы разочарованы, все с укором качаете головой.

— Ты хотел бы, чтобы мы запретили себе судить тебя?

— Я хотел бы, чтобы меня судили по тому, что я сделал, а не по тому, чего я не сделал, — сказал Анри. — И вот что странно: когда начинаешь писать, то к тебе относятся с благожелательностью, и читатели признательны тебе за то позитивное, что ты им даешь; а потом, у тебя только и есть, что долги, и никакого доверия к тебе нет.

— Не беспокойся, критика наверняка будет превосходной, — недружелюбным тоном заметил Ламбер.

Пожав плечами, Анри подошел к Луи, который громко разглагольствовал перед Мари-Анж и Ан-

ной; он выглядел совсем пьяным; Луи не выносил спиртного, то была своего рода расплата за его воздержанность.

— Поглядите на нее, — говорил он, показывая на Мари-Анж, — спит со всеми подряд, малюет себе лицо, демонстрирует ноги, подкладывает себе груди и жмется к мужчинам, возбуждая их, а потом вдруг начинает строить из себя недотрогу.

— Но ведь имею же я право спать с кем мне нравится, — жалобным голосом произнесла Мари-Анж.

— Право? Какое право? Кто дал ей права? — воскликнул Луи. — Эта малявка ни о чем не думает, ничего не чувствует, едва дышит и еще требует права! Вот она — демократия! Нечего сказать.

— А право всем надоедать, откуда вы его берете? — вмешалась Анна. — Посмотрите-ка на этого человека, который мнит себя Ницше потому лишь, что поносит женщину{108}.

— Женщина, перед ней надо падать ниц! — не унимался Луи. — Богиня, да и только! Они принимают себя за богинь, однако это не мешает им писать и какать, подобно всем прочим.

— Ты слишком много выпил и говоришь грубости, шел бы ты лучше спать, — сказал Анри.

— Естественно! Ты их защищаешь! Женщины

— составная часть твоего гуманизма, — заплетающимся языком продолжал Луи. — Ты трахаешь их, как любой другой, опрокидываешь их на спину, лезешь на них, но ты их уважаешь. Забавно. Эти дамы всегда готовы раздвинуть ляжки, но хотят, чтобы их уважали. Так ведь, а? Уважайте меня, и я раздвину ляжки.

— А быть хамом составляет часть твоего мистицизма? — сказал Анри. — Если ты сейчас же не замолчишь, я тебя выведу.

— Ты пользуешься тем, что я выпил, — ответил Луи, удаляясь с мрачным видом.

— Он часто бывает таким? — спросила Мари-Анж.

— Он всегда такой, только редко сбрасывает маску, — ответила Анна. — А сегодня он обезумел от зависти.

— Хотите выпить, чтобы прийти в себя? — спросил Анри.

— Очень хочу. Я не осмеливалась пить.

Протянув стакан Мари-Анж, Анри заметил Жозетту, стоявшую напротив Поль, которая, не останавливаясь, что-то ей говорила: глаза Жозетты молили о помощи; он подошел и встал между двумя женщинами.

— У вас очень серьезный вид; о чем же вы бе-

седуете?

— Это разговор женщины с женщиной, — ответила Поль несколько вымученно.

— Она сказала, что не питает ко мне ненависти: я никогда и не думала, что вы ненавидите меня, — простонала Жозетта.

— Послушай, Поль! Оставь патетику, — сказал Анри.

— Никакой патетики, — высокомерно заявила Поль. — Я просто хотела объясниться. Ненавижу двусмысленность.

— Нет никакой двусмысленности.

— Тем лучше, — сказала Поль. И непринужденно направилась к двери.

— Она напугала меня, — сказала Жозетта. — Я смотрела на тебя, чтобы ты пришел освободить меня. Но ты был очень занят, ухаживал за этой чернявенькой.

— Я ухаживал за Мари-Анж? Я? Но, дорогая, посмотри на нее и посмотри на себя.

— У мужчин такие странные вкусы. — Голос Жозетты дрожал. — Эта толстая старуха рассказывает мне, что ты навсегда принадлежишь ей, а ты смеешься с девушкой, у которой ноги кривые!

— Жозетта, мой маленький фавн! Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя.

— Что я знаю? — возразила она. — Разве можно что-нибудь знать? После меня будет другая, может, она уже здесь, — сказала Жозетта, оглядываясь по сторонам.

— Уж кому следовало бы жаловаться, так это, пожалуй, мне, — весело сказал Анри. — За тобой чертовски ухаживали весь вечер.

Она вздрогнула.

— Ты думаешь, мне это нравится?

— Не грусти. Ты очень хорошо играла, клянусь тебе.

— Для красивой девушки я была недурна. Иногда мне хотелось бы стать уродиной, — с отчаянием сказала она.

— Да не услышит тебя небо, — улыбнулся он.

— О! Не бойся, оно ничего не слышит.

— Уверяю тебя, ты их удивила, — сказал он, показывая на окружающих.

— Вот уж нет! Они ничему не удивляются, они слишком злые.

— Пошли домой, тебе надо отдохнуть, — сказал он.

— Ты уже хочешь уйти?

— А ты нет?

— О! Конечно хочу, я устала. Подожди меня пять минут.

Анри следил за ней глазами, пока она прощалась со всеми, и думал: «Это правда, они ничему не удивляются; их нельзя ни взволновать, ни возмутить; то, что творится у них в голове, имеет не больше значения, чем их слова». До тех пор, пока они растворялись в далях будущего или во тьме зала, они еще могли создавать видимость, но стоит посмотреть на них вблизи, как сразу становится ясно: тут не на что надеяться и нечего опасаться. Самое печальное не то, что приговор непонятен, а то, что вынесен он вот этими людьми. В конечном счете ничего из того, что произошло этой ночью, не имело ни малейшего значения; его юношеские мечты не имели смысла. Анри пытался убедить себя: «Это не настоящая публика»; хорошо, время от времени в зал будут приходить несколько мужчин, несколько женщин, с которыми стоит вести разговор; но это будут единицы. Братскую толпу, до сердца которой дойдет его истина, ему никогда не встретить: она не существует, а если существует, то не в этом обществе.

— Не грусти, — сказал он, садясь в маленький автомобиль рядом с Жозеттой.

Ничего не ответив, она прислонила голову к спинке сиденья и в изнеможении закрыла глаза.

Правда ли, что публика приняла ее сдержанно? Во всяком случае, она так думала. А ему очень хотелось, чтобы Жозетта почувствовала свое торжество, пускай хоть на один вечер! Они молча ехали по узкой улочке и обогнали быстро идущую женщину. Узнав Анну, Анри затормозил:

— Садитесь! Я вас отвезу.

— Спасибо. Мне хочется пройтись, — ответила Анна.

Она дружески махнула ему рукой, и Анри нажал на акселератор: в глазах ее он увидел слезы. «Из-за чего? Наверняка просто так и из-за всего», — подумалось ему. Он тоже устал и от этого вечера, и от других, и от себя самого. «Не того я хотел!»— сказал он себе с внезапной тоской, сам не зная, о чем думал: то ли о слезах Анны, то ли о хмуром лице Ламбера, то ли о разочаровании Жозетты, о друзьях, о врагах, об отсутствующих, о двух минувших годах или обо всей своей жизни.

«Вот она, ваша добыча!» — думал Анри. Когда отдаешь на съедение критикам роман, они кусают по очереди; пьеса — дело другое, тут сразу получаешь в лицо всю грязь, где смешаны воедино цветы и плевки. Верной ликовал: даже разгромные статьи способствовали успеху пьесы. Но Анри смотрел на газетные вырезки, лежав-

шие у него на столе, с отвращением, похожим на стыд. Он вспоминал сказанные Жозеттой слова и думал: «Известность — это тоже унижение». Привлекать всеобщее внимание — это всегда означает открывать свою душу, унижаться. Любой имеет право пнуть ногой или наградить улыбкой. Анри научился защищаться, у него были свои хитрости; он в подробностях представлял себе лица своих хулителей: честолюбцев, злопыхателей, неудачников, глупцов; те, кто поздравлял его, были не лучше других, однако их симпатия могла сойти за здравое суждение, и таким окольным путем они обретали значимость, которую затем следовало придать их похвалам. «Как трудно дается искренность!» — думал Анри. Истина заключалась в том, что ни брань, ни комплименты ничего не доказывали; и самое обидное то, что они неумолимо заставляли Анри замкнуться в самом себе. Если бы его пьеса была явным провалом, он мог бы считать это случайностью и утешать себя обещаниями; но он узнавал в ней себя и угадывал свои пределы. «Это лучшее из того, что вы сделали» — слова Дюбрея все еще мучили Анри. Его отнюдь не радовало, когда он слышал разговоры о том, что его первая книга остается самой лучшей из всех; но думать, что

эта пьеса сомнительного качества превосходит все остальное его творчество, тоже было далеко не так приятно. Однажды он сказал Надин, что избегает сравнивать свои произведения: однако бывают моменты, когда ты обязан это делать, когда другие принуждают тебя к этому. И вот тогда начинаешь задаваться праздными вопросами: «Кто я есть на самом деле? Чего я стою?» Это мучительно и бесполезно, хотя, возможно, было бы трусостью никогда не задаваться ими. Анри с облегчением услышал скрип половиц в коридоре.

— Можно войти? — спросил Самазелль, за ним следовали Люк, Ламбер и Скрясин.

— Я ждал вас.

Все они, за исключением Люка, который с сонным видом волочил опухшие подагрические ноги, казалось, явились требовать отчета; они расселись вокруг стола.

— Признаюсь, я не очень понимаю смысл этого собрания, — начал Анри. — Я как раз собираюсь идти к Дюбрею.

— Вот именно. Решение должно быть принято до того, как вы с ним встретитесь, — сказал Самазелль. — Когда я разговаривал с ним, он проявил крайнюю сдержанность. Я уверен, что

он попросит новой отсрочки. Однако Пелтов и Скрясин требуют скорейших действий, и я с ними полностью согласен. Я хотел бы, чтобы в случае несогласия со стороны Дюбрея газета отмежевалась от СРЛ и самостоятельно обеспечила публикацию документов.

— Независимо от того, скажет Дюбрей «да» или «нет», мы вынесем вопрос на обсуждение всего состава комитета, мнению которого подчинимся, — сухо ответил Анри.

— Комитет последует за Дюбреем.

— Значит, и я сделаю то же самое. Впрочем, я не понимаю, почему мы теряем время, не узнав его ответа.

— Потому что ответ его слишком предсказуем, — заметил Самазелль.

— Чтобы уклониться, он использует в качестве предлога референдум и выборы.

— Я попытаюсь убедить его; но отмежевываться от СРЛ не стану, — заявил Анри.

— Да существует ли еще СРЛ? Вот уже три месяца как движение пребывает в спячке, — сказал Самазелль.

— За три месяца СРЛ ничего не сделало, чтобы остановить наступление коммунистов, — добавил Скрясин. — На протяжении трех месяцев

коммунистическая пресса не подвергает нападкам Дюбрея. Для этого есть основательная причина, которая проливает совершенно новый свет на сложившуюся ситуацию. — Скрясин сделал театральную паузу. — В конце июня Дюбрей вступил в компартию.

— Да будет вам! — возмутился Анри.

— У меня есть доказательства, — возразил Скрясин.

— Какие доказательства?

— Люди видели его удостоверение и карточку, — с довольной улыбкой заявил Скрясин. — После сорок четвертого года в партии появилось много ребят, которые, по сути, не больше сталинисты, чем ты или я, просто они искали способа реабилитировать себя; я знаю не одного такого, и в узком кругу они любят поговорить. Дюбрей давно вызывает у меня подозрение; я задал вопросы, и мне на них ответили.

— Твои осведомители ошиблись или солгали, — сказал Анри. — Если бы Дюбрей решил вступить в компартию, он для начала покинул бы СРЛ, объяснив почему.

— Он всегда стремился к тому, чтобы СРЛ не стало партией, — возразил Самазелль. — В принципе коммунист может состоять в каком-то движении.

И наоборот: член движения может полагать, что имеет право вступить в компартию.

— Так или иначе, но он предупредил бы, — сказал Анри. — Компартия не в подполье.

— Ты их не знаешь! — возразил Скрясин. — Компартия заинтересована в том, чтобы некоторые из ее членов слыли независимыми. И вот доказательство: если бы я не открыл тебе глаза, ты попал бы в ловушку.

— Я тебе не верю, — сказал Анри.

— Я могу свести тебя с одним из моих информаторов, — предложил Скрясин и протянул руку к телефону.

— Я спрошу об этом самого Дюбрея, и только его одного, — ответил Анри.

— И ты воображаешь, что он честно ответит? Ты или наивен, или у тебя есть причины уклоняться от истины, — заметил Скрясин.

— Полагаю, этот новый факт коренным образом изменит наши отношения с СРЛ, — сказал Самазелль.

— Это вовсе не факт, — возразил Анри.

— Зачем Дюбрею прибегать к такому маневру? — спросил Люк.

— Затем, что его просит об этом компартия, к тому же он честолюбив, — ответил Скрясин.

— Возможно, он по-стариковски считает, что счастье человечества в руках Сталина, — сказал Самазелль.

— Робер — старая лиса, он полагает, что коммунисты выиграли и лучше перейти на их сторону, — добавил Скрясин. — В каком-то смысле он прав; надо желать стать мучеником, чтобы занимать критическую позицию и ничего не делать для того, чтобы помешать им прийти к власти: когда они придут, ты увидишь, во что обойдется такая непоследовательность.

— Личные соображения меня не трогают, — ответил Анри.

— А трудовые лагеря — они тебя трогают или нет? — спросил Ламбер.

— Разве я отказывался говорить о них? Я только сказал, что сделаю это по согласованию с Дюбреем, вот и все; это мое последнее слово. Дальнейший спор совершенно бесполезен. В течение двух-трех дней мы посоветуемся с комитетом и сообщим тебе его ответ, — сказал Анри, обращаясь к Скрясину.

— Руководство «Эспуар», возможно, даст иной ответ, — сказал, вставая, Самазелль.

— Поживем — увидим.

Они направились к двери, но Ламбер остался

стоять у письменного стола Анри.

— Тебе следовало согласиться на встречу с информатором Скрясина, — молвил он. — Дюбрей твой друг, но он и главный руководитель движения; под предлогом того, что ты доверяешь ему, ты обманываешь тех, кто поверил тебе.

— Но вся эта история полнейший вздор! — сказал Анри.

По правде говоря, он не был так уж уверен в своих словах. Если Дюбрей решил в конечном счете вступить в компартию, то не стал бы советоваться с Анри. Он шел своим путем, не советуясь ни с кем, ни о ком не заботясь, насчет этого Анри не строил себе иллюзий. Припертый к стенке, он, возможно, не захочет лгать; но его пока еще ни о чем не спрашивали, а совесть его, безусловно, удовольствуется мысленной оговоркой.

— Ты поддашься на его софизмы, — с грустью сказал Ламбер. — Что касается меня, то я считаю, что не раскрыть в подобном случае истину, причем полностью и незамедлительно, — это преступление. В июне я предупредил тебя: если ты не опубликуешь эти тексты, я продам свои акции, и вы распорядитесь ими по своему усмотрению. Я вошел в правление газеты с надеждой, что ты вскоре прекратишь всякое сотрудниче-

ство с компартией. Если же нет, то мне остается только уйти.

— Я никогда не сотрудничал с компартией.

— Я называю это сотрудничеством. Если бы речь шла об Испании, Греции, Палестине, Индокитае, ты в первый же день отказался бы молчать. Пойми же наконец! Человека вырывают из семьи, из жизни без малейшего намека на суд; его бросают на каторгу, заставляют работать из последних сил, держат впроголодь, а если он заболеет, то попросту до смерти морят голодом. Ты с этим согласен? Все люди — рабочие, руководители, — все они знают, что это может случиться с каждым в любую минуту, и живут с таким страхом, нависшим над их головой! Ты с этим согласен? — повторил Ламбер.

— Конечно нет! — ответил Анри.

— Тогда торопись выступить против. Во время оккупации ты не слишком нежничал с теми, кто не выступал против!

— Я выступлю, это решено, — нетерпеливо отвечал Анри.

— Ты сказал, что последуешь за Дюбреем, — возразил Ламбер. — А Дюбрей воспротивится этой кампании.

— Ошибаешься, — сказал Анри. — Он не вос-

противится.

— Предположим, что я не ошибаюсь?

— Ах! Надо, чтобы я сначала поговорил с ним, а там посмотрим, — сказал Анри.

— Да, посмотрим! — отвечал Ламбер, направляясь к двери.

Анри слушал, как стихает в коридоре шум его шагов: ему казалось, что это его собственная юность только что взывала к нему; если бы он видел их глазами своих двадцати лет, эти миллионы рабов, опутанных колючей проволокой, он не молчал бы ни секунды. И Ламбер отчетливо понял: он колеблется. Почему? Ему претило выглядеть врагом в глазах коммунистов; а если смотреть глубже, то ему хотелось бы не признаваться самому себе, что и в СССР есть какая-то гниль; однако все это было подлостью. Он встал и спустился по лестнице. «Коммунист имел бы право выбрать молчание, — думал он, — его мнение заранее объявлено, и, даже когда он лжет, в каком-то смысле он никого не обманывает. Но я, я проповедую независимость, и если я использую свое влияние, чтобы замолчать истину, значит, я — мошенник. Я не коммунист именно потому, что хочу быть свободным и говорить то, что коммунисты не хотят и не могут сказать: такая роль

часто бывает неблагодарна, однако, по сути, они сами признают ее пользу. Конечно, Лашом, например, будет мне признателен, если я заговорю: он и все те, кто желал бы упразднения лагерей, но не имеет возможности открыто выступать против них. И как знать? Быть может, они попытаются официально что-то предпринять; быть может, давление, исходящее от самих коммунистических партий, заставит СССР изменить свой исправительный режим: совсем не одно и то же — угнетать людей тайно или перед лицом всего мира. Молчание с моей стороны было бы пораженчеством; это значило бы отказаться видеть вещи такими, какие они есть, и в то же время отрицать возможность изменить их; это значило бы бесповоротно приговорить СССР под предлогом нежелания судить его. Если действительно нет никаких шансов на то, чтобы он стал таким, каким должен был бы быть, тогда на земле не остается никакой надежды; то, что делают или говорят, уже не имеет значения. «Да, — повторял себе Анри, поднимаясь по лестнице к Дюбрею, — либо есть смысл в том, чтобы говорить, либо ни в чем нет никакого смысла. Надо говорить. И если только Дюбрей в самом деле не вступил в партию, он вынужден будет согласиться с таким

мнением».

— Ну как дела? — спросил Дюбрей. — Как пьеса? В целом критика очень хорошая, верно?

Анри почудилось, что этот сердечный голос звучит фальшиво, возможно потому, что у него самого внутри было что-то фальшивое.

— Хорошая, — согласился он и пожал плечами. — Признаюсь вам, что я сыт по горло своей пьесой. Все, чего я хочу, — это иметь возможность думать о чем-то другом.

— Мне знакомо это! — сказал Дюбрей. — Есть что-то тошнотворное в успехе. — Он улыбнулся. — Мы всегда недовольны: поражения тоже малоприятны.

Они сели в кабинете, и Дюбрей продолжал:

— Так вот, нам как раз предстоит говорить о другом.

— Да, и мне не терпится узнать, что вы думаете, — сказал Анри. — Лично я теперь убежден, что в общем Пелтов сказал правду.

— В общем — да, — согласился Дюбрей. — Лагеря существуют. Это не лагеря смерти, как у нацистов, но все-таки это каторга; и милиция имеет право без суда отправлять туда людей на пять лет. Но я хотел бы знать, сколько там заключенных, сколько из них политических, сколько

осуждено на пожизненную каторгу: цифры Пелтова совершенно абстрактны.

Анри кивнул головой.

— На мой взгляд, мы не должны публиковать его материалы, — сказал он. — Мы вместе установим факты, которые нам кажутся достоверными, и воздержимся от собственных выводов. Будем говорить от своего имени, строго определяя нашу точку зрения.

Дюбрей взглянул на Анри.

— Мое мнение — совсем ничего не публиковать. И я вам объясню почему. Анри почувствовал легкий удар в сердце. «Итак, правы оказались другие», —

подумал он. И прервал Дюбрея:

— Вы хотите замолчать это дело?

— Вы прекрасно понимаете, что замолчать его нельзя; правая пресса извлечет из него выгоду. Предоставим ей это удовольствие: нам не следует начинать судебный процесс против СССР. — Дюбрей, в свою очередь, жестом остановил Анри. — Даже если мы примем все мыслимые меры предосторожности, люди неизбежно увидят в наших статьях прежде всего обвинение советскому режиму. Я этого не хочу никоим образом.

Анри хранил молчание. Дюбрей говорил реши-

тельным тоном; он уже сделал свой выбор и не отступится от него, спорить бесполезно. Он принял свое решение один и навяжет его комитету: Анри останется лишь покорно согласиться.

— Мне надо задать вам один вопрос, — сказал он.

— Задавайте.

— Есть люди, которые уверяют, будто бы вы вступили недавно в коммунистическую партию.

— Так говорят? — спросил Дюбрей. — Кто именно?

— Ходят слухи. Дюбрей пожал плечами:

— И вы всерьез им поверили?

— Вот уже два месяца, как мы ничего не обсуждали вместе, — сказал Анри, — я полагаю, вы не стали бы посылать мне уведомление.

— Разумеется, я разослал бы уведомления! — с жаром возразил Дюбрей. — Это нелепо: как бы я мог вступить в компартию, не предупредив СРЛ и не объяснив публично своих мотивов?

— Вы могли бы отложить такое объяснение на несколько недель, — сказал Анри и с живостью добавил: — Должен заметить, что меня это удивило бы, но я все-таки хотел задать вам такой вопрос.

— Все это слухи! — молвил Дюбрей. — Люди

говорят невесть что.

Вид у него был искренний: но если бы он лгал, то именно с таким видом. По правде говоря, Анри плохо понимал, зачем бы Дюбрей это делал; а между тем Скрясин, судя по всему, был абсолютно уверен в том, что говорил. «Мне следовало встретиться с его информатором», — подумал Анри. Доверие подделать нельзя: оно есть или его нет. Его отказ был псевдоблагородным жестом, так как он уже не доверял Дюбрею.

— В газете все согласны с этой публикацией, — бесстрастным тоном продолжал Анри, — Ламбер решил покинуть «Эспуар», если мы промолчим.

— Невелика потеря, — заметил Дюбрей.

— Это создаст трудную ситуацию, ибо Самазелль с Трарье готовы порвать с СРЛ.

Дюбрей на секунду задумался.

— Ну что ж, если Ламбер уйдет, я куплю его акции, — сказал он.

— Вы?

— Журналистика меня не интересует. Но это наилучший для нас способ защититься. Вы наверняка убедите Ламбера продать мне свои акции. А с деньгами я разберусь.

Анри растерялся; ему эта идея не нравилась, совсем не нравилась. И вдруг его озарило: «Это

спланировано!» Дюбрей провел лето с Ламбером и знал, что тот собирается уйти. Все становилось на свои места. Коммунисты поручили Дюбрею не допустить досадную для них кампанию и захватить «Эспуар», вмешавшись в руководство газетой; преуспеть в этом он мог, лишь тщательно скрывая свое вступление в партию.

— Есть только одна неувязка, — сухо заметил Анри. — Я тоже не хочу молчать.

— Вы не правы! — сказал Дюбрей. — Представьте себе. Если референдум и выборы не станут триумфом для левых, мы рискуем получить диктатуру гол-листов: сейчас не время для антикоммунистической пропаганды.

Анри внимательно посмотрел на Дюбрея; вопрос заключался не в том, чтобы по достоинству оценить его аргументы, главное было понять, честен он или нет.

— А после выборов, — спросил Анри, — вы согласны все рассказать?

— К тому моменту дело в любом случае будет предано огласке, — ответил Дюбрей.

— Да. Пелтов отнесет свои материалы в «Фигаро», — сказал Анри. — Это означает, что на карту поставлена не судьба выборов, а лишь наша собственная позиция. И с этой точки зрения я не

вижу, что мы выиграем, позволив правым взять инициативу. Ведь нам все равно придется определить свое отношение: как мы будем выглядеть? Мы попытаемся смягчить антикоммунистические нападки, не оправдывая открыто СССР, и будем выглядеть двуличными

— Я прекрасно знаю, что мы скажем, — прервал его Дюбрей. — И я убежден, что эти лагеря не обусловлены режимом, как это утверждает Пелтов; они связаны с определенной политикой, о которой можно сожалеть, не ставя под вопрос весь режим. Мы разделим две вещи: осудим принудительный труд, но защитим СССР.

— Допустим, — сказал Анри. — Но ясно одно: слова наши приобретут гораздо больший вес, если мы первыми разоблачим лагеря. Тогда никто не подумает, что мы повторяем заученный урок. Нам поверят, и мы поставим в дурацкое положение антикоммунистов: их обвинят в предвзятости, если они станут усердствовать и пойдут дальше нас.

— О! Это ничего не изменит, — возразил Дюбрей, — им все равно поверят. А они используют в качестве довода наше вмешательство: даже сочувствующие до того, мол, возмутились, что выступили против СССР, вот что они скажут! Это

взбудоражит людей, которые иначе не поддались бы.

Анри покачал головой:

— Надо, чтобы левые взяли это дело в свои руки. Коммунисты привыкли к клевете правых, их это не трогает. Но если все левые силы, по всей Европе, выразят возмущение лагерями, то есть шанс поколебать их. Ситуация меняется, когда секрет становится скандалом: СССР, быть может, придет к тому, что пересмотрит свою исправительную систему.

— Это пустые мечты! — пренебрежительно заметил Дюбрей.

— Послушайте, — сердито сказал Анри, — вы всегда соглашались с тем, что мы можем оказывать некоторое давление на коммунистов: в этом, собственно, и состоит смысл нашего движения. Нам представился случай попытаться осуществить его на деле. Даже если у нас есть хоть один слабый шанс добиться успеха, надо воспользоваться им.

Дюбрей пожал плечами:

— Если мы развяжем эту кампанию, то лишим себя всякой возможности работать с коммунистами: они причислят нас к антикоммунистам и будут правы. Видите ли, — продолжал Дюбрей,

— роль, которую мы пытаемся играть, это роль оппозиционного меньшинства, не состоящего в партии, но ее союзника. Если мы призовем большинство бороться с коммунистами — не важно в связи с чем, — речь пойдет уже не об оппозиции: мы объявим им войну, а значит, сменим лагерь. Они получат право считать нас предателями.

Анри взглянул на Дюбрея. Он говорил бы не иначе, если бы был замаскированным коммунистом. Его сопротивление убеждало Анри в собственной мысли: раз коммунисты желают, чтобы левые сохраняли нейтралитет, это доказывает, что те имеют на них влияние и, следовательно, такое вмешательство имеет шансы оказаться действенным.

— Словом, — сказал он, — ради того, чтобы сохранить возможность когда-нибудь воздействовать на коммунистов, вы отказываетесь от той, которая представляется сейчас. Оппозиция нам позволена лишь постольку, поскольку она абсолютно нерезультативна. Что ж, я с этим не согласен, — решительно добавил Анри. — Мысль о том, что коммунисты заплюют нас, мне так же неприятна, как и вам, но я хорошенько все обдумал: у нас нет выбора. — Анри жестом остановил Дюбрея: он не даст ему слова, пока не выложит

все. — Быть некоммунистом — это что-то означает или не означает ничего. Если ничего не означает, — тогда станем коммунистами или удалимся от дел. Если же это имеет какой-то смысл, то и вменяет некоторые обязанности: среди прочего — умение при случае ссориться с коммунистами. Щадить их любой ценой, не присоединяясь к ним окончательно, — это значит выбрать самый удобный моральный комфорт, то есть трусость.

Дюбрей в нетерпении стучал пальцами по бювару.

— Это соображения морального порядка, которые меня не трогают, — ответил он. — Меня интересуют последствия моих действий, а не то, какой вид при этом я буду иметь.

— Вид тут ни при чем

— Очень даже при чем, — резко возразил Дюбрей, — суть дела в том, что вам неприятно выглядеть так, будто вы позволили коммунистам запугать себя.

Анри не уступал:

— Мне действительно будет неприятно, если мы позволим им запугать себя: это противоречило бы всему, что мы пытались сделать в течение двух лет.

Дюбрей с замкнутым видом продолжал стучать

по бювару, и Анри сухо добавил:

— Вы переводите разговор в странную плоскость. Я мог бы спросить вас, почему вы так боитесь не понравиться коммунистам.

— Мне плевать, понравлюсь я им или не понравлюсь, — возразил Дюбрей. — Я не хочу развязывать антисоветскую кампанию, особенно в данный момент: я счел бы это преступлением.

— А я счел бы преступлением не сделать все, что в моей власти, против лагерей, — сказал Анри. Он взглянул на Дюбрея: — Мне гораздо понятнее было бы ваше поведение, если бы вы вступили в партию; я даже допускаю, что коммунист не отрицает существования лагерей, что он их защищает.

— Я уже сказал вам, что не вступал в партию, — сердито заметил Дюбрей. — Вам этого недостаточно?

Он встал и прошелся по комнате. «Нет, — подумал Анри, — мне этого безусловно недостаточно. Ничто не мешает Дюбрею цинично лгать мне: он уже делал это. А моральные соображения его не трогают. Но на этот раз я не позволю ему провести меня», — со злостью сказал он себе.

Дюбрей молча продолжал ходить взад и вперед по комнате. Почувствовал ли он недоверие к себе?

Или его всего лишь раздражало сопротивление Анри? Казалось, он с трудом сдерживается.

— Что ж, остается только собрать комитет, — сказал Дюбрей. — Его решение рассудит нас.

— Они последуют за вами, вы это прекрасно знаете! — возразил Анри.

— Если ваши доводы правильные, они убедят их, — сказал Дюбрей.

— Да будет вам! Шарлье и Мерико всегда голосуют вместе с вами, а Ленуар преклоняется перед коммунистами. Их мнение меня не интересует.

— Так что же? Вы пойдете против решения комитета? — спросил Дюбрей.

— Если потребуется, — да.

— Это шантаж? — едва слышно произнес Дюбрей. — Вы получаете свободу действий или «Эспуар» порывает с СРЛ, так ведь?

— Это не шантаж. Я решил говорить о лагерях и буду говорить, вот и все.

— Вы отдаете себе отчет в том, что означает этот разрыв? — спросил Дюбрей. Лицо его побледнело. — Это конец СРЛ. А «Эспуар» переходит в лагерь антикоммунизма.

— В настоящее время СРЛ — это ноль, — ответил Анри. — А «Эспуар» никогда не станет антикоммунистической газетой, можете положиться на

меня.

С минуту они молча смотрели друг на друга.

— Я немедленно собираю комитет, — произнес наконец Дюбрей. — И если он согласится со мной, мы публично осудим вас.

— Комитет согласится, — сказал Анри и шагнул к двери. — Осуждайте: я вам отвечу.

— Подумайте еще, — сказал Дюбрей. — То, что вы собираетесь сделать, называется предательством.

— Я уже подумал, — ответил Анри.

Он прошел через прихожую и закрыл за собой дверь, которую ему никогда уже не суждено будет открыть.

Скрясин и Самазелль в тревоге дожидались его в редакции. Они не стали скрывать своего удовлетворения, но были немного разочарованы, когда Анри заявил, что собирается сам, по своему усмотрению, писать статьи о лагерях: другого выбора нет. Скрясин попытался спорить, но Самазелль быстро уговорил его согласиться. Анри тут же принялся за работу. С привлечением документов он описал в общих чертах исправительный режим в СССР, подчеркнув его скандальный характер; однако позаботился о том, чтобы сделать некоторые оговорки: что, с одной стороны, ошиб-

ки СССР никоим образом не извиняли ошибок капитализма, с другой стороны, существование лагерей обличало определенную политику, а не весь режим в целом; в стране, переживающей наихудшие экономические трудности, лагеря, несомненно, представляют собой непродуманное решение; можно рассчитывать на их упразднение; необходимо, чтобы люди, для которых СССР воплощает надежду, а также сами коммунисты использовали все средства для уничтожения лагерей. Само разоблачение их существования уже меняет ситуацию; вот почему он, Анри, заговорил: молчание означало бы отказ от борьбы и трусость.

Статья появилась на следующее утро; Ламбер заявил, что очень недоволен ею, а у Анри сложилось впечатление, что в редакционной комнате идут отчаянные споры. Вечером рассыльный принес письмо от Дюбрея; комитет СРЛ исключил Перрона и Самазелля, движение порывало всякую связь с «Эспуар»; там сожалели, что ради антикоммунистической пропаганды использовались факты, судить о которых можно лишь в свете общей оценки сталинского режима; какова бы ни была их точная значимость, компартия остается сегодня единственной надеждой

французского пролетариата, и попытки дискредитировать ее означают выбор в пользу реакции. Анри сразу же написал ответ; он обвинял СРЛ в уступке коммунистическому террору и измене своей изначальной программе.

«Как мы дошли до этого?» — с изумлением спрашивал себя Анри, купив на другой день «Эспуар». Он не мог оторвать взгляд от первой страницы. У него было одно мнение, у Дюбрея — другое; шум голосов, несколько нетерпеливых жестов меж четырех стен: и в результате на глазах у всех красовались эти два столбца взаимных оскорблений{109}.

— Телефон звонит непрерывно, — сказала секретарша, когда около пяти часов Анри пришел в редакцию. — И еще некий месье Ленуар сказал, что зайдет в шесть часов.

— Впустите его.

— И посмотрите эту почту: я даже не успела все разобрать.

«Ну что ж, значит, это дело волнует людей!» — говорил себе Анри, садясь за свой стол. Первая статья появилась накануне, и уже множество читателей поздравляли его, ругали, удивлялись. Пришла телеграмма от Воланжа: «Старик, жму твою руку», Жюльен тоже поздравлял его в небы-

вало возвышенном стиле. Досадно то, что все, казалось, верили, будто «Эспуар» станет дубликатом «Фигаро»: надо будет внести ясность. Анри поднял голову. Дверь кабинета открылась, перед ним стояла Поль в своем меховом манто, она была явно не в духе.

— Это ты? Что случилось? — сказал Анри.

— Об этом-то я и пришла тебя спросить, — ответила Поль; она бросила на стол номер «Эспуар». — Что случилось?

— Ну, все это объясняется в газете, — сказал Анри. — Дюбрей не хотел, чтобы я печатал статьи о советских лагерях, я тем не менее сделал это, и мы разошлись. — Он нетерпеливо добавил: — Я обо всем рассказал бы тебе завтра за обедом. Зачем ты пришла сегодня?

— Я тебе мешаю?

— Я рад тебя видеть. Но с минуты на минуту я жду Ленуара, и у меня много работы. Оставим подробности до завтра, это не так срочно.

— Нет, срочно. Мне надо понять, — сказала она. — Почему этот разрыв?

— Я только что объяснил тебе. — Он подчеркнуто улыбнулся: — Ты должна быть довольна, ты так давно этого хотела.

Поль озабоченно смотрела на него.

— Но почему именно теперь? С человеком, с которым дружат с двадцати пяти лет, не порывают из-за какой-то несчастной политической истории.

— Однако именно так и случилось. Кстати, эта несчастная история очень важна.

Поль, казалось, замкнулась в себе.

— Ты не говоришь мне правды.

— Уверяю тебя, что это не так.

— Ты давно уже ничего не говоришь мне, — заметила она. — Думаю, я догадалась почему. И потому я пришла поговорить с тобой: ты должен вернуть мне свое доверие.

— Я тебе полностью доверяю. Но только давай поговорим завтра, — сказал он. — Сейчас у меня нет времени.

Поль не двинулась с места.

— Тебе не понравилось, что я объяснилась с Жозеттой в тот вечер, прошу извинить меня, — сказала она.

— Это я прошу меня извинить: я был в плохом настроении.

— Только не извиняйся! — На лице ее отражалось трепетное смирение. — В ночь генеральной репетиции и в последующие дни я многое поняла. Нельзя проводить сравнений между тобой и

другими людьми, между тобой и мной. Хотеть, чтобы ты был таким, каким я тебя вообразила, а не таким, каков ты есть, это означало предпочесть себя тебе; то было самомнение. Но с этим покончено. Есть только ты: я — ничто. Я согласна быть ничем и принимаю от тебя все.

— Послушай, успокойся, — смущенно сказал Анри. — Говорю тебе: мы все обсудим завтра.

— Ты не веришь в мою искренность? — спросила Поль. — Это моя вина; меня одолевала гордыня. Видишь ли, отречение дается нелегко. Но теперь, клянусь тебе, я больше ничего не требую для себя. Есть только ты, и ты можешь требовать от меня всего.

«Боже мой! — подумал Анри. — Только бы она ушла до того, как придет Ленуар!» А вслух сказал:

— Я верю тебе, но все, о чем я прошу тебя сейчас, это потерпеть до завтра и дать мне поработать.

— Ты смеешься надо мной! — резким тоном сказала Поль. Лицо ее смягчилось: — Повторяю, я полностью принадлежу тебе. Что я могу сделать, чтобы убедить тебя? Хочешь, я отрежу себе ухо?

— А что мне с ним делать? — попытался отшутиться Анри.

— Это будет знак. — Слезы выступили на глазах

Поль: — Мне невыносимо, что ты сомневаешься в моей любви.

Дверь приоткрылась:

— Месье Ленуар. Пригласить его?

— Пускай подождет пять минут. — Анри улыбнулся Поль: — Я не сомневаюсь в твоей любви. Но видишь, у меня назначены встречи, тебе придется уйти.

— Неужели ты предпочтешь мне Ленуара! — возмутилась Поль. — Кто он тебе? А я тебя люблю. — Теперь она плакала горючими слезами. — Если я выходила в свет, если я пыталась писать, то это из любви к тебе.

— Я прекрасно знаю.

— Тебе, быть может, сказали, что я стала тщеславной, что придаю теперь значение только своей работе: человек, который сказал тебе это, преступник. Завтра я на твоих глазах брошу в огонь все свои рукописи.

— Это было бы глупо.

— Я сделаю это, — заявила она и громко добавила: — Я сделаю это немедленно, как только вернусь домой.

— Нет, прошу тебя; это лишено всякого смысла. Поль снова поникла:

— Ты хочешь сказать, будто ничто не в силах

убедить тебя в моей любви?

— Но я и так в этом уверен, — ответил он. — Я глубоко в это верю.

— Ах! Я надоела тебе, — со слезами сказала она. — Что делать! Но ведь надо же рассеять эти недоразумения!

— Никакого недоразумения нет.

— Ну вот, я опять продолжаю, — с отчаянием сказала Поль, — продолжаю надоедать тебе, и ты не захочешь больше меня видеть!

«Нет, — в порыве возмущения подумал он, — больше не захочу». А вслух сказал:

— Совсем напротив.

— В конце концов ты возненавидишь меня, и будешь прав. Подумать только, я устраиваю тебе сцену, я — тебе!

— Ты не устраиваешь сцену.

— Ты же видишь, что устраиваю, — сказала она, разражаясь рыданиями.

— Успокойся, Поль, — сладчайшим голосом сказал Анри. Ему хотелось ударить ее, но он принялся гладить ей волосы. — Успокойся.

Еще несколько минут он продолжал гладить ее волосы, и вот наконец она решилась поднять голову.

— Ладно, я ухожу, — заявила Поль. И с тревогой

взглянула на него: — Ты придешь завтра обедать, обещаешь?

— Клянусь.

«Совсем больше не встречаться с ней — это единственное решение, — сказал он себе, когда она закрыла за собой дверь. — Но как заставить ее брать деньги, если я перестану с ней видеться? Щепетильная женщина принимает помощь от мужчины, лишь навязывая ему свое присутствие, — это непременное условие. Я что-нибудь придумаю. Но видеть ее больше не хочу», — решил Анри.

— Извините, что заставил вас ждать, — сказал он Ленуару.

— Не имеет значения, — отмахнулся Ленуар. Он кашлянул и заранее весь покраснел; наверняка он приготовил каждое слово своей обличительной речи, однако присутствие Анри сбивало его. — Вы догадываетесь о причине моего визита.

— Да, вы солидарны с Дюбреем, и мое поведение возмущает вас. Я привел свои доводы: сожалею, что не убедил вас.

— Вы говорите, что не хотели скрывать правду от своих читателей. Но о какой правде идет речь? — спросил Ленуар; он вспомнил одно из ключевых слов своей речи, и все последую-

щее нанижется легко; двусмысленная правда, частичная правда — Анри знал эту песню; он очнулся, когда Ленуар отошел от общих мест. — Полицейское принуждение играет в СССР ту же роль, что экономическое давление в капиталистических странах; если оно и выполняет ее более систематически, то я вижу в этом лишь преимущества; режим, при котором рабочему не грозит увольнение, а руководителю — разорение, просто вынужден изобретать какие-то новые формы санкций.

— Необязательно такие, — возразил Анри, — не станете же вы сравнивать условия жизни безработного с условиями тех, кто работает в лагерях.

— По крайней мере, их повседневная жизнь обеспечена; и я убежден, что судьба их менее ужасна, чем это утверждает необъективная пропаганда; тем более что постоянно упускают из виду: мышление советского человека не такое, как у нас:{110} он, например, считает нормальным, когда его переселяют в соответствии с потребностями производства.

— Каким бы ни было его мышление, ни один человек не может считать нормальным то, что его эксплуатируют, морят голодом, лишают всех прав, заключают под стражу, изнуряют рабо-

той, обрекают умирать от холода, цинги или истощения, — сказал Анри. А про себя подумал: «Странная все-таки вещь — политика!» Ленуар буквально не мог выносить вида страдающей мухи, но с легким сердцем мирился с кошмаром лагерей.

— Никто не желает зла ради зла, — возразил Ленуар, — и СССР меньше, чем любой другой режим; если они принимают какие-то меры, значит, эти меры необходимы. — Ленуар раскраснелся еще больше. — Как вы осмеливаетесь осуждать институты страны, трудностей и нужд которой вы не знаете? Это недопустимое легкомыслие.

— Ее нужды и трудности — я сказал о них, — отвечал Анри. — И вы прекрасно знаете, что я вовсе не осуждал советский режим целиком. Но и принимать его целиком, слепо — это подлость. Вы что угодно оправдываете с помощью пресловутой идеи о государственной необходимости, но это палка о двух концах; ведь когда Пелтов говорит, что лагеря необходимы, он говорит так, чтобы доказать: социализм — не более чем утопия.

— Лагеря могут быть необходимыми сегодня, но отнюдь не всегда, — сказал Ленуар. — Вы забываете, что положение СССР — это военное положение; капиталистические державы только

и ждут момента, чтобы напасть на него.

— Даже при таких условиях ничто не доказывает их необходимость, — возразил Анри. — Никто не желает зла ради зла, и тем не менее нередко случается, что его творят напрасно. Вы не станете отрицать, что в СССР, как и везде, были допущены ошибки: голод, мятежи, побоища, которых можно было избежать. Так вот я думаю, что эти лагеря — тоже ошибка. Знаете, — добавил он, — даже Дюбрей того же мнения.

Ленуар покачал головой.

— Необходимость или ошибка, в любом случае вы поступили плохо, — сказал он. — Нападки на СССР ничего не изменят в том, что там происходит, зато они идут на пользу капиталистическим державам. Вы предпочли работать на Америку и на войну.

— Да нет же! — возразил Анри. — Коммунизм можно критиковать, ему от этого хуже не станет, он достаточно крепок.

— Вы только что еще раз доказали, что нельзя стремиться быть экстракоммунистом, не став объективно антикоммунистом, — сказал Ленуар, — третьего не дано; СРЛ изначально было обречено на союз с реакцией или на гибель.

— Если вы так думаете, то вам не остается ни-

чего другого, как вступить в компартию.

— Да, только это мне и остается, и именно это я собираюсь сделать, — сказал Ленуар. — Я хотел прояснить ситуацию: отныне вам следует считать меня противником.

— Я сожалею, — ответил Анри.

С минуту они смущенно смотрели друг на друга, потом Ленуар произнес:

— Ну прощайте.

Да, таков один из возможных вариантов: отрицать факты, цифры, доводы и собственное мнение, заслоняясь актом слепой веры — все, что делает Сталин, хорошо. «Ленуар — не коммунист и потому проявляет чрезмерное рвение», — решил Анри. Ему интересно было бы поговорить с Лашомом или с любым другим умным и не слишком фанатичным коммунистом.

— Ты видел в последние дни Лашома? — спросил он у Венсана.

— Да.

Венсана взволновало дело о лагерях; сначала он считал, что говорить не следует, а потом согласился с мнением Анри.

— Что он думает о моих статьях? — спросил Анри.

— Пожалуй, он сердится на тебя, — сказал

Венсан. — Говорит, что ты занимаешься антикоммунизмом.

— Ах, так! — молвил Анри. — А лагеря? Это его не смущает? Что он думает о лагерях?

Венсан улыбнулся:

— Что их не существует, что это превосходные учреждения, что они исчезнут сами собой.

— Ясно! — сказал Анри.

Люди определенно не любят задаваться вопросами. Все так или иначе стараются сохранить свои установки. Коммунистические газеты дошли до того, что стали восхвалять институт, который они именовали исправительным лагерем и исправительной работой; а антисталинисты усматривали в этом деле лишь предлог для разжигания вполне обоснованного возмущения.

— Еще поздравительные телеграммы! — сказал Самазелль, бросив их на стол Анри. — Можно смело сказать, что мы всколыхнули общественное мнение, — добавил он с радостным видом. — Скрясин ждет в приемной, с ним Пелтов и еще два человека.

— Его проект меня не интересует.

— И все-таки их надо принять, — заметил Самазелль. Он указал на бумаги, которые положил перед Анри: — Мне очень хотелось бы, чтобы вы

взглянули на замечательные статьи, которые прислал нам Воланж.

— Воланж никогда не будет печататься в «Эспуар», — заявил Анри.

— Жаль! — сказал Самазелль.

Дверь открылась, и с обольстительной улыбкой вошел Скрясин:

— У тебя найдется пять минут? Наши друзья в нетерпении. Я привел Пелтова, Беннета — американского журналиста, который пятнадцать лет работал корреспондентом в Москве, и Молтберга — когда я вышел из партии, он все еще оставался коммунистом и продолжал быть активистом в Вене; могу я их пригласить?

— Пусть войдут.

Они вошли, взгляд их был исполнен упрека — то ли потому, что Анри заставил их ждать, то ли потому, что мир не воздавал им должное; жестом пригласив их сесть, Анри сказал, обращаясь к Скрясину:

— Боюсь, что наше собрание будет совершенно напрасным; я уточнял это в состоявшихся у нас беседах и в своих статьях: антикоммунистом я не стал. Твой проект следует отнести в Союз голлистов{111}, а не ко мне.

— Не говори мне о де Голле, — возразил Скря-

син. — Когда он пришел к власти, то первым делом полетел в Москву: о таких вещах забывать нельзя.

— У вас наверняка не было времени внимательно посмотреть нашу программу, — с упреком сказал Молтберг. — Мы — представители левых сил, а голлистское движение поддерживает крупный капитал, о нашем союзе с ним и речи быть не может. Мы хотим поднять против русского тоталитаризма живые силы демократии. — Учтивым жестом он отмел возражения Анри. — Вы говорите, что не стали антикоммунистом, вы разоблачили некоторые злоупотребления и не хотите идти дальше; но, по сути, вы не можете останавливаться на полпути: против тоталитарной страны наша ангажированность тоже должна быть тотальной.

Скрясин поспешно взял слово:

— Не говори мне, что ты так уж далек от нас. Ведь СРЛ было создано для того, чтобы Европа не попала в руки Сталина. И мы тоже хотим независимой Европы. Только мы поняли, что без помощи Америки ей не обойтись.

— Ерунда! — возразил Анри, пожав плечами. — Европа, колонизированная Америкой, — именно этого хотелось избежать СРЛ, мало того, то была

первейшая наша задача, ибо мы никогда не думали, что Сталин собирается захватить Европу.

— Я не понимаю этого предубеждения против Америки, — угрюмо сказал Беннет. — Надо быть коммунистом, чтобы стремиться видеть в ней лишь оплот капитализма: это ведь и огромная рабочая страна, к тому же страна прогресса, процветания, будущего.

— Это страна, которая всегда и всюду постоянно принимает сторону привилегированных: в Китае, в Греции, в Турции, в Корее — что они защищают? Ведь не народ, нет? Они защищают капитал и крупную собственность. Как подумаю, что они поддерживают Франко и Салазара...

В то утро Анри как раз узнал, что его старые португальские друзья устроили мятеж{112}, в итоге — девятьсот арестованных.

— Вы говорите о политике Госдепартамента, — возразил Беннет. — Вы забываете, что есть еще и американский народ; левым профсоюзам и той части нации, которая искренне отстаивает свободу и демократию, можно доверять.

— Никогда профсоюзы не отмежевывались от политики правительства, — заметил Анри.

— Надо смотреть на вещи прямо, — сказал Скрясин. — Европа может защитить себя от СССР

лишь при поддержке Америки; если запретить европейским левым силам принять ее, возникнет прискорбная путаница между интересами правых и интересами демократии.

— Если левые проводят политику правых, это уже не левые, — возразил Анри.

— Словом, — угрожающим тоном произнес Беннет, — между Америкой и СССР вы делаете выбор в пользу СССР.

— Да, — сказал Анри. — И я никогда не делал из этого тайны.

— Как вы можете сравнивать злоупотребления американского капитализма и ужас полицейского гнета, — продолжал Беннет. Повысив голос, он начал пророчествовать, и Молтберг поддакивал ему, в то время как Скрясин и Пелтов, не останавливаясь, о чем-то говорили по-русски. Эти люди совсем не походили друг на друга, но у всех у них был одинаковый взгляд, погруженный в страшный, неотступный сон, от которого они не желали очнуться, все они, одержимые ужасом прошлого, по собственной воле оставались слепы и глухи к миру. Пронзительные, низкие, торжественные или вульгарные, их голоса пророчествовали. Быть может, из всех свидетельств, которые они выдвигали против СССР, самым

впечатляющим было вот что: настороженное, мрачное, неизгладимо затравленное выражение, каким пережитое при Сталине отметило их лица. Не следовало пытаться останавливать их, когда они начинали бросать вам в лицо свои воспоминания; они были слишком умны, чтобы надеяться вырвать решение путем таких рассказов: скорее речь шла о словесном излиянии, необходимом для их личной гигиены. Беннет внезапно умолк, будто выдохся.

— Не понимаю, что мы здесь делаем! — сказал он вдруг.

— Я вас предупреждал, что мы только потеряем время, — ответил Анри. Они встали; Молтберг долго не отрывал взгляда от глаз Анри.

— Возможно, мы встретимся раньше, чем вы думаете, — сказал он почти ласково.

Когда они вышли из кабинета, Самазелль не выдержал:

— До чего трудно спорить с этими фанатиками. Но самое интересное то, что они ненавидят друг друга: каждый считает предателем того, кто оставался сталинистом дольше, чем он. И главное, все они вызывают недоверие. Беннет пятнадцать лет проработал в Москве корреспондентом: какая подлость, если его до такой степени возмущал

режим, как он уверяет сегодня! На них на всех клеймо, — заключил он с довольным видом.

— Во всяком случае, они поступают честно, не желая вступать в союз с голлизмом, — сказал Анри, — иначе они скомпрометировали бы себя.

— У них отсутствует политическое чутье, — заметил Самазелль.

К левым Самазелль попал совершенно случайно: ничто не казалось ему более естественным, чем примкнуть к правым, ибо его интересовало лишь число слушателей, а не смысл собственных речей. Он предлагал статьи Воланжа и со сдержанной симпатией говорил о программе Союза голлистов. Анри делал вид, будто не понимает его намеков, но хитрость оказалась тщетной: Самазелль колебался недолго и перешел в открытое наступление.

— Представляется прекрасная возможность для тех, кто искренне хотел бы создать независимые левые силы, — сказал он не таясь. — Скрясин прав, полагая, что Европа не сможет существовать без поддержки США. Наша роль должна заключаться в объединении в интересах подлинного социализма всех сил, противостоящих советизации Запада: принять американскую помощь, поскольку она исходит от американского народа,

пойти на альянс с Союзом голлистов, поскольку его можно направить в русло левой политики, — вот программа, которую я предлагаю нам.

Он устремил на Анри строгий, повелительный взгляд.

— На меня не рассчитывайте для ее исполнения, — сказал Анри. — Я всеми силами буду продолжать борьбу против американской политики. И вы прекрасно знаете, что голлизм — это реакция.

— Боюсь, вы не очень хорошо представляете себе ситуацию, — возразил Самазелль. — Несмотря на все ваши предосторожности, нас зачислили в антикоммунисты; из-за этого мы потеряли половину своих читателей. Но зато газета приобрела других, и в этом ее единственный шанс. Потому-то нам и не следует останавливаться на полпути: надо двигаться в том направлении, которое мы выбрали.

— То есть действительно стать антикоммунистической газетенкой! — сказал Анри. — И речи быть не может. Если нам грозит банкротство, пускай будет банкротство, но мы сохраним свою линию до конца.

Самазелль ничего не ответил; Трарье, безусловно, придерживался того же мнения, что и он,

однако Самазелль знал, что Ламбер с Люком обязательно поддержат Анри: против такой коалиции он был бессилен.

— Вы видели «Анклюм»? — с радостным видом спросил он через два дня. И бросил еженедельник на стол Анри. — Прочтите.

— Что такого особенного есть в «Анклюм»? — небрежно спросил Анри.

— Статья Лашома о вас, — ответил Самазелль. — Прочтите, — повторил он.

— Прочту попозже, — сказал Анри.

Как только Самазелль покинул кабинет, Анри раскрыл газету. «Маски долой» — так называлась статья. По мере того, как он читал, Анри чувствовал, что к горлу подступает комок от охватившего его гнева. При помощи урезанных цитат и тенденциозного изложения Лашом объяснил, что все творчество Анри выдает фашистское мироощущение и подразумевает реакционную идеологию. В частности, пьеса Анри — это надругательство над Сопротивлением. Ему свойственно глубокое презрение к другим людям: гнусные статьи, которые он только что опубликовал в «Эспуар», — яркое тому свидетельство. Было бы гораздо честнее с его стороны откровенно объявить себя антикоммунистом, вместо того чтобы убеждать

в своей симпатии к СССР в тот момент, когда он разворачивает клеветническую кампанию: такая грубая уловка прекрасно показывает то неуважение, с каким он относится к своим ближним. Слова «предатель» и «продажный» не были написаны черным по белому, но читались между строк. И это написал Лашом. Лашом. Анри вспоминалось, как он с радостным видом натирал паркет Поль в ту пору, когда скрывался в ее квартире; он представлял его себе на Лионском вокзале, утопавшего в чересчур длинном пальто, смущенного от волнения в минуту расставания. И еще. Потрескивали рождественские свечи; сидя за столиком в Красном баре, Лашом заявлял: «Надо работать бок о бок», и потом, чуть позже, говорил со смущенным видом: «На тебя никогда не нападали». Анри пытался урезонивать себя: «Он не виноват. Виновата партия, которая нарочно выбрала именно его для этой неприятной работы». Но потом его захлестнула безудержная ярость. Ведь не кто иной как Лашом придумывал фразу одну за другой: нельзя ограничиться одним повиновением, всегда приходится все создавать самому. И у Лашома еще меньше извинений, чем у его сообщников, потому что он прекрасно знает, что лжет. Он знает, что я не фашист и никогда

таковым не стану.

Анри поднялся. Отвечать на статью не стоит: ему нечего сказать, кроме того, что Лашом и так уже знал. Когда слова утрачивают смысл, остается сделать лишь одно — пустить в ход кулаки. Анри сел в машину. В этот час Лашом должен находиться в Красном баре. Анри двинулся к Красному бару. Он застал там Венсана, который пил с приятелями. Лашома не было.

— Лашома здесь нет?

— Нет.

— Тогда, значит, он в «Анклюм», — сказал Анри.

— Не знаю, — отвечал Венсан. Он встал и пошел за Анри к двери. — Ты на машине? Я еду в редакцию.

— Я не туда, — сказал Анри. — Я еду в «Анклюм». Венсан вышел вслед за ним.

— Да брось ты это.

— Ты читал статью Лашома? — спросил Анри.

— Читал. Он показал ее мне до того, как напечатал, и я с ним поссорился. Это жуткая мерзость. Но какой смысл устраивать скандал?

— У меня не часто появляется желание драться, — ответил Анри. — Но на этот раз я чувствую такую потребность. Тем лучше, если будет скандал.

— Ты не прав, — возразил Венсан. — Они воспользуются этим, чтобы начать все сначала, и пойдут еще дальше.

— Еще дальше? Но они назвали меня фашистом, — сказал Анри. — Куда же дальше? И в любом случае мне на это плевать. — Он открыл дверцу машины. Венсан схватил его за руку.

— Знаешь, если они решают расправиться с кем-то, то не останавливаются ни перед чем, — сказал Венсан. — В твоей жизни есть слабое место, они достанут тебя таким способом.

Анри посмотрел на Венсана:

— Слабое место? Ты имеешь в виду Жозетту и те сплетни, какие о ней рассказывают?

— Да. Возможно, ты не подозреваешь, но все в курсе.

— И все-таки они не осмелятся, — сказал Анри.

— Не думай, что они постесняются. — Венсан заколебался. — Я так ругал Лашома, когда он показал мне свою статью, что он выкинул десять строчек. Но в следующий раз он молчать не станет.

Анри безмолвствовал. Бедная Жозетта, такая ранимая! У него мороз пробежал по спине, когда он представил себе, как она читает те десять строчек, которые выкинул Лашом. Анри сел за руль:

— Садись, ты выиграл, мы едем в редакцию. — Он включил сцепление и добавил: — Спасибо тебе!

— Такого от Лашома я не ожидал, — сказал Венсан.

— Лашом или другой, не важно, — возразил Анри. — Нападать на кого-то в его частной жизни, да еще таким образом, это все-таки слишком мерзко.

— Мерзко, — согласился Венсан. Он заколебался. — Но есть одна вещь, которую ты должен понять: у тебя больше нет частной жизни.

— Как! — воскликнул Анри. — Конечно есть, у меня есть частная жизнь, и она никого не касается, кроме меня.

— Ты общественный деятель; все, что ты делаешь, становится достоянием общественности, и вот доказательство! Тебе надо быть безупречным — во всех отношениях.

— От клеветы не убережешься, — возразил Анри. Какое-то время они ехали молча, потом Анри сказал: — Как подумаю, что они выбрали для этого дела Лашома, именно Лашома! Какая изощренность! — И добавил: — Значит, они ненавидят меня!

— Не воображай, что они тебя любят, — сказал

Венсан.

Они остановились у здания газеты, и Анри вышел из машины.

— Мне надо кое-что сделать. Я приду через пять минут, — сказал он.

У него не было никакого дела, но ему хотелось побыть пять минут одному. Он пошел вперед. «Не воображай, что они тебя любят!» Нет, он такого не воображал и все-таки не оценил степени их враждебности; устаревшие лозунги будоражили душу: честный противник, сражаться друг с другом, не теряя уважения, — то были слова двухлетней, нет, вековой давности, смысл которых уже никто не понимал. Анри знал, что официально коммунисты станут подвергать его нападкам, однако втайне тешил себя надеждой, что многие из них сохранят к нему уважение и он даже сумеет заставить их задуматься. «По сути, они меня ненавидят!» — сказал себе Анри. Он шел куда глаза глядят, Париж был прекрасен и печален, как Мертвый Брюгге в золотистой дымке осени, и ненависть следовала за ним по пятам. То было неведомое доселе и довольно страшное испытание. «Любовь никогда не бывает целиком обращена к вам, — подумал Анри, — дружба полна случайностей, как сама жизнь,

зато ненависть своего не упустит и неумолима, как смерть». Отныне, куда бы он ни шел, что бы ни делал, эта уверенность будет сопровождать его всюду: «Меня ненавидят!»

Скрясин ожидал Анри в его кабинете. «Он прочитал "Анклюм" и думает, что надо ковать железо, пока оно горячо!» — сказал себе Анри. А вслух спросил:

— Ты хочешь поговорить со мной? — И добавил с притворным участием: — Что-то случилось? Выглядишь ты неважно.

— У меня страшно болит голова: мало спал и много выпил водки, ничего серьезного, — ответил Скрясин. Он выпрямился на стуле, на лице его появилась решимость: — Я пришел спросить тебя, не переменил ли ты своего мнения со вчерашнего дня?

— Нет, — ответил Анри. — И не переменю.

— Тебя не заставило задуматься то, как относятся к тебе коммунисты? Анри рассмеялся:

— О! Я задумался. Я много думал. Я только и делаю, что думаю! Скрясин тяжело вздохнул:

— Я надеялся, что ты в конце концов во всем разберешься.

— Да ладно! Не отчаивайся. Я тебе вовсе не нужен, — сказал Анри.

— Ни на кого нельзя положиться, — сказал Скрясин. — Левые утратили свой пыл. Правые ничему не научились. — И мрачно добавил: — Бывают минуты, когда мне хочется уединиться на природе.

— А что тебе мешает?

— Я не имею права, — ответил Скрясин. Он устало провел рукой по лбу: — Как болит голова!

— Хочешь таблетку ортедрина?

— Нет, нет. Мне предстоит встретиться с людьми, со старыми приятелями — это всегда не слишком приятно; так что я не стремлюсь сохранять полную ясность ума.

Наступило молчание.

— Ты собираешься отвечать Лашому? — спросил Скрясин.

— Конечно нет.

— Жаль. Когда ты хочешь, ты умеешь дать отпор. Ответ Дюбрею — это был хороший удар.

— Да. Но правильно ли я поступил? — сказал Анри, вопросительно глядя на Скрясина. — Я все думаю, насколько надежен твой информатор?

— Какой информатор? — спросил Скрясин, проводя рукой по измученному лицу.

— Тот, что уверяет, будто видел удостоверение Дюбрея и его карточку.

— О! — усмехнулся Скрясин. — Его вовсе не существует!

— Не может быть! Ты это выдумал?

— На мой взгляд, Дюбрей — коммунист, и не важно, вступил он в партию или нет; но у меня не было способа заставить тебя разделить мою убежденность, и тогда я немного сплутовал.

— А если бы я согласился встретиться с тем типом?

— Элементарная психология гарантировала мне, что ты откажешься. Анри растерянно смотрел на Скрясина; ему не удавалось даже рассердиться

на него за ложь, в которой тот так непринужденно признался! Скрясин смущенно улыбнулся:

— Ты сердишься?

— У меня в голове не укладывается, как можно делать подобные вещи! — сказал Анри.

— По сути, я оказал тебе услугу, — возразил Скрясин.

— Ты позволишь мне не благодарить тебя, — сказал Анри.

Молча улыбнувшись, Скрясин встал:

— Мне пора на встречу.

Анри долго сидел неподвижно, с застывшим взглядом. Если бы Скрясин не выдумал эту небы-

лицу, что произошло бы? Быть может, случилось бы то же самое, а может, и нет. Во всяком случае, ему невыносимо было думать, что он играл краплеными картами: это вызывало жгучее желание вернуть свой ход обратно. «Почему бы мне не попробовать объясниться с Надин?» — внезапно спросил он себя. Венсан иногда встречался с ней; Анри решил спросить у него о времени их ближайшей встречи.

Войдя в следующий четверг в кафе, где в ожидании сидела Надин, Анри ощутил смутное волнение; между тем он никогда не придавал большого значения суждениям Надин. Анри встал перед ее столиком:

— Привет.

Она подняла глаза и равнодушно ответила:

— Привет.

Казалось, она даже не удивилась.

— Венсан немного опоздает: я пришел предупредить тебя. Могу я сесть? Она, не ответив, кивнула.

— Я рад возможности поговорить с тобой, — с улыбкой сказал Анри. — У нас с тобой свои, личные отношения, и мне хотелось бы знать, означает ли ссора с твоим отцом, что и мы тоже поссорились.

— О! Что касается личных отношений, то мы видимся, только когда встречаемся, — холодно ответила Надин. — Ты не приходишь больше в «Вижиланс», мы практически больше не видимся, так что проблем никаких нет.

— Прошу прощения, но для меня есть, — возразил Анри. — Если мы не ссорились, что нам мешает иногда выпить вместе стаканчик.

— Но и ничто не обязывает, — сказала Надин.

— Насколько я понимаю, мы в ссоре? — спросил Анри. Она ничего не ответила, и он добавил: — Однако ты встречаешься с Венсаном, который разделяет мое мнение.

— Венсан не писал письмо, которое написал ты, — сказала Надин.

— Признайся, — поспешил возразить Анри, — что письмо твоего отца тоже не отличалось любезностью!

— Это не причина. А твое было просто отвратительно.

— Согласен, — сказал Анри. — А все потому, что я был зол. — Он посмотрел Надин в глаза: — Мне поклялись, ссылаясь на доказательства, что твой отец вступил в коммунистическую партию. Я был в ярости, что он скрыл это от меня: поставь себя на мое место.

— Тебе всего-навсего не надо было верить такой глупости, — сказала Надин.

Когда она упрямилась, нечего было надеяться переубедить ее; впрочем, Анри не сумел бы оправдаться, не обвинив Дюбрея: он отступился.

— Так ты сердишься на меня исключительно из-за этого письма? — спросил он. — Или твои дружки коммунисты убедили тебя, что я — социал-предатель?

— У меня нет дружков коммунистов, — ответила Надин. Она устремила на Анри ледяной взгляд. — Социал-предатель или нет, но ты уже не тот, каким был раньше.

— То, что ты говоришь, — глупость, — рассердился Анри. — Я точно такой же.

— Нет.

— В чем же я изменился? И с каких пор? Что ты мне ставишь в упрек? Объяснись.

— Прежде всего, ты посещаешь гнусных людей, — сказала Надин. Она вдруг повысила голос: — Я думала, что ты-то, по крайней мере, хочешь, чтобы помнили; в своей пьесе ты говоришь очень хорошие вещи: что нельзя забывать и прочее. А на самом деле ты такой же, как другие!

— А! Венсан наплел тебе всяких небылиц! — сказал Анри.

— Не Венсан — Сезенак. — Глаза Надин сверкали: — Как ты можешь касаться руки этой женщины! Лично я скорее согласилась бы содрать с себя кожу живьем.

— Я скажу тебе то, что сказал недавно Венсану: моя частная жизнь касается только меня. С другой стороны, вот уже год, как я знаком с Жозеттой: это не я изменился, а ты.

— Я не изменилась; только в прошлом году я не знала того, что знаю теперь; к тому же я доверяла тебе! — вызывающим тоном ответила она.

— А почему перестала? — в ярости спросил Анри. Надин угрюмо опустила голову.

— У тебя иная позиция, чем моя, в деле о лагерях? Это твое право. Но считать меня из-за этого подлецом — не слишком ли? Наверняка таково мнение твоего отца, — сердито добавил он. — Однако обычно ты не принимала все, что он говорит, за истину в последней инстанции.

— Подло не то, что ты рассказал о лагерях; я считаю, что само по себе это допустимо, — спокойно ответила Надин. — Вопрос в том, чтобы знать, зачем ты это сделал.

— Разве я не объяснил?

— Ты привел общеизвестные причины, — возразила Надин. — Но твои личные причины

неизвестны. — Она снова устремила на Анри ледяной взгляд: — Все правые превозносят тебя — это неприятно. Ты скажешь, что с этим ничего не поделаешь, и тем не менее это так.

— Но, в конце концов, Надин, не думаешь же ты всерьез, что эта кампания была маневром, чтобы мне сблизиться с правыми?

— Во всяком случае, они с тобой сблизились.

— Какая глупость! — сказал Анри. — Если бы я хотел перейти к правым, то уже сделал бы это! Ты же видишь, что «Эспуар» не изменила направление, и клянусь тебе: в этом есть моя заслуга. Венсан не говорил тебе, как все происходит?

— Венсан слеп, когда дело касается его друзей. Конечно, он тебя защищает: это доказывает чистоту его сердца, и ничего другого.

— А у тебя, когда ты обвиняешь меня в подлости, у тебя есть доказательства? — спросил Анри.

— Нет. И потому я тебя не обвиняю: я просто не доверяю, вот и все. — Она невесело улыбнулась: — Я от рождения недоверчива.

Анри встал.

— Ладно: не доверяй сколько угодно. Лично я, когда испытываю к кому-то хоть какие-то дружеские чувства, пытаюсь скорее доверять человеку, но это и правда не в твоем характере. Напрасно я

пришел, извини.

«Недоверие — нет ничего хуже, — думал он, возвращаясь к себе. — Мне даже больше по душе, когда меня обливают грязью, как Лашом, это более откровенно».

Анри представлял себе, как они сидят в кабинете за чашкой кофе: Дюбрей, Надин, Анна; они не говорили: «Он подлец», нет, для этого они чересчур щепетильны: они не доверяли, и все; что можно ответить тому, кто не доверяет? Преступник может, по крайней мере, искать себе оправдание, но подозреваемый? Он полностью безоружен. «Да, вот что они из меня сделали, — в ярости говорил себе Анри в последующие дни. — Подозреваемого. Да к тому же еще все они упрекают меня за то, что у меня есть частная жизнь!» А между тем он не был ни трибуном, ни знаменосцем, и он дорожил своей жизнью, частной жизнью. Зато политика ему осточертела, от нее никак не отделаться; каждая жертва влечет за собой новые обязательства; сначала газета, а теперь ему хотят запретить все удовольствия, все желания. Во имя чего? Впрочем, никто никогда не делает того, что хочется делать, и даже совсем наоборот, так что не стоит стесняться. Анри решил не стесняться и делать то, что ему нравится:

в том положении, в каком он оказался, это уже не имело ни малейшего значения.

Тем не менее в тот вечер, когда он очутился за столом между Люси Бельом и Клоди де Бельзонс за бутылкой слишком сладкого шампанского, Анри вдруг удивился: «Что я здесь делаю?» Он не любил шампанское, не любил ни люстры, ни зеркала, ни бархат банкеток, ни этих женщин, которые щедро выставляли напоказ свою потасканную кожу, не любил ни Люси, ни Дюдюля, ни Клоди, ни Вернона, ни молодого старообразного актера, которого считали его любовником.

— И вот она вошла в спальню, — рассказывала Клоди, — увидела его лежащим на кровати, совсем голого, с маленьким хвостиком, вот такусеньким, — сказала она, показывая свой мизинец, — и спросила: куда это себе запихивают? В нос?

Трое мужчин громко рассмеялись, а Люси немного сухо сказала: «Очень смешно!» Ей льстила дружба с женщиной благородного происхождения, но раздражал грубый тон, к которому охотно прибегала Клоди в обществе тех, кто занимал более низкое положение. Люси делала невообразимые усилия, чтобы продемонстрировать благовоспитанность, которая была бы на высоте ее элегантности; она повернулась к Анри.

— Рюер был бы хорош в роли мужа, — шепнула она, показывая на юного красавца, тянувшего через соломинку шерри-коблер Вернона.

— Какого мужа?

— Мужа Жозетты.

— Но мы его не видим: он умирает в начале пьесы.

— Я знаю; но для кино ваша история слишком печальна: Бриё предлагает другое: мужу удалось спастись, он бежит в маки и под конец прощает Жозетту.

Анри пожал плечами:

— Бриё будет снимать мою пьесу, и ничего другого.

— Неужели вы готовы наплевать на два миллиона только из-за того, что вас просят воскресить мертвого!

— Он делает вид, будто презирает деньги, — сказала Клоди. — А между тем они очень нужны при нынешних ценах на масло: во времена фрицев оно стоило даже немного дешевле.

— Не говори так в присутствии сопротивленца, — сказала Люси.

На этот раз они все дружно засмеялись, и Анри улыбнулся вместе с ними. Если бы их могли слышать и видеть с ними его, то его в один голос

осудили бы решительно все: Ламбер и Венсан, Воланж, а также Лашом, Поль, Анна, Дюбрей и Самазелль, и даже Люк, а вместе с ними и вся безымянная толпа тех, кто ждет от него чего-то. Но потому-то он и находился здесь, с этими людьми: именно потому, что не должен был бы тут находиться. Он виноват, виноват целиком и полностью, безоговорочно и бесповоротно: какая благодать! Надоело без конца спрашивать себя: прав я или виноват? Этим вечером он, по крайней мере, знал ответ: да, я виноват, безусловно виноват. Он навсегда поссорился с Дюбреем, СРЛ выразило ему свое неодобрение, и большинство прежних товарищей содрогаются от возмущения, думая о нем. В «Анклюм» Лашом со своими приятелями — и сколько еще других в Париже и в провинции — называли его предателем. За кулисами «Студии 46» трещали автоматы, немцы жгли французскую деревню, и в оцепеневших сердцах просыпались гнев и ужас. Всюду пылала ненависть. Это и есть его вознаграждение: ненависть, и нет никакой возможности победить ее. Оставалось только пить! Он понял Скрясина и снова наполнил свой бокал.

— Вы совершили смелый поступок, — сказала Люси.

— Какой именно?

— Разоблачили все эти ужасы.

— О! Таких героев во Франции тысячи, — ответил Анри. — Нападая сегодня на СССР, никто не рискует быть расстрелянным.

Она посмотрела на Анри с недоумением:

— Да, но вы занимали определенное положение на стороне левых; эта история должна была вас скомпрометировать.

— А вы представьте себе положение, какое я могу занять у правых!

— Правые, левые — такие понятия сильно устарели, — заметил Дюдюль. — Главное, в чем надо убедить страну, так это в том, что сотрудничество капитала и труда необходимо для ее возрождения. Вы сделали полезное дело, развеяв один из мифов, который противопоставляют их примирению.

— Не торопитесь поздравлять меня! — сказал Анри.

Вот оно самое страшное одиночество: получить одобрение этих людей. Половина двенадцатого — самое ужасное время; театр пустел, и сознание всех тех, кого в течение трех часов он держал в плену, разом срывалось с цепи и оборачивалось против него: какое побоище!

— Старина Дюбрей, должно быть, в ярости, — с довольным видом заметила Клоди.

— Скажите-ка, а с кем спит его жена? — спросила Люси. — Ведь в конце-то концов он почти старик.

— Не знаю, — ответил Анри.

— Однажды она оказала мне честь и пришла, — сказала Люси. — Ну и воображала! Ах, терпеть не могу женщин, которые одеваются как билетерши, чтобы продемонстрировать свои социальные взгляды.

Анна была воображалой; Дюдюль, повидавший мир, объяснял, что Португалия — это рай, и все они считали богатство заслугой, полагая, что заслужили свои богатства; но раз уж Анри сидел рядом с ними, ему оставалось только молчать.

— Добрый вечер, — сказала Жозетта, положив на стол усыпанную блестками сумочку; на ней было зеленое платье с глубоким декольте; Анри никак не мог понять, почему она так щедро выставляет себя напоказ мужчинам, желание которых раздражает ее; ему не нравилось, что это нежное тело было, под стать имени, общественным достоянием. Жозетта села рядом с ним в конце стола, и он спросил:

— Как прошел спектакль? Не свистели?

— О! Для тебя — это триумф, — ответила она.

В целом критика отзывалась о ней неплохо: дебют, каких много; с такой внешностью и терпением у нее были все шансы сделать достойную карьеру, но она казалась разочарованной. Вдруг лицо ее оживилось:

— Ты видел? За столиком в глубине — Фелисиа Лопес, какая она красивая!

— У нее главным образом очень красивые драгоценности, — заметила Люси.

— Она красива!

— Милая моя, — улыбаясь, сквозь зубы сказала Люси, — никогда не говори в присутствии мужчины, что другая женщина красива, ибо он может вообразить, будто ты не такая красивая; и не сомневайся, никакая другая никогда не сделает такой глупости, ответив тебе тем же.

— Жозетта может позволить себе быть откровенной, — возразил Анри, — ей нечего бояться.

— С вами — возможно, — с легким презрением заявила Люси, — но есть и другие, которым не понравится видеть напротив себя плаксу; налейте-ка ей выпить: красивая женщина должна быть веселой.

— Я не хочу пить, — сказала Жозетта; голос ее дрогнул: — У меня прыщик в углу рта, наверняка

из-за печени: я возьму стакан виши.

— Что за поколение! — пожав плечами, сказала Люси.

— Самое хорошее, когда пьешь, — заметил Анри, — это то, что в конце концов пьянеешь.

— Ты не пьян? — с тревогой спросила Жозетта.

— О! Напиться шампанским — гигантский труд.

Он протянул руку к бутылке, Жозетта остановила ее.

— Тем лучше. Потому что мне надо кое-что сказать тебе. — Она заколебалась. — Но сначала обещай мне не сердиться.

Он засмеялся:

— Не могу же я обещать, не зная. Она нетерпеливо взглянула на него:

— Значит, ты меня больше не любишь.

— Ладно, рассказывай.

— Так вот, недавно я дала интервью для «Эв модерн».

— Что ты там еще наговорила?

— Я сказала, что мы помолвлены. Это вовсе не для того, чтобы заставить тебя жениться на мне, — с живостью сказала она. — Мы сообщим о нашем разрыве, когда пожелаешь. Но нас все время видят вместе, и помолвка придает мне вес,

понимаешь? — Из своей блестящей сумочки она достала журнальную страницу и с довольным видом разложила ее. — На этот раз они дали хорошую статью.

— Покажи, — сказал Анри. — Ах! Я действительно хорош! — прошептал он. Перед бокалами шампанского Жозетта в глубоком декольте смеялась рядом

с Анри, он тоже смеялся. «Точно так, как сейчас, — с досадой подумал Анри. — Тут недолго вообразить, будто я ночи напролет пью шампанское, а дальше всего один шаг и до того, будто я продался Америке: они быстро сделают этот шаг». Между тем Анри вовсе не любил весь этот жалкий шум и гам; он посещал модные места, чтобы доставить удовольствие Жозетте, но это ничего для него не значило, такие моменты оставались в стороне от его настоящей жизни. Он пристально разглядывал снимок: «Факт тот, что это я и что я — здесь».

— Ты рассердился? — спросила Жозетта. — Ты обещал не сердиться.

— Нисколько я не рассердился, — ответил Анри, решив про себя: «Пускай все идут куда подальше!» Он никому ничего не должен и как раз сейчас брал всю вину на себя: это ли не истинная свобода!

— Пойдем танцевать, — сказал он.

Они сделали несколько шагов на танцплощадке, заполненной мужчинами в смокингах и женщинами с глубокими декольте.

— Это правда, что тебя огорчает, когда я выгляжу грустной? — спросила Жозетта.

— Меня огорчает, что ты грустишь. Она пожала плечами:

— Я не виновата.

— И все-таки меня это огорчает; к тому же для грусти нет причин: отзывы о тебе в печати превосходные, уверяю тебя, ты получишь ангажемент.

— Да. Это глупо, а все потому, что я глупа: мне казалось, что на другой день после генеральной репетиции все вдруг изменится; например, мама не осмелится больше разговаривать со мной так, как раньше; а главное, в душе я почувствую себя иной.

— Когда ты будешь много играть и почувствуешь уверенность в своем таланте, только тогда тебе все покажется иным.

— Нет, то, что я себе представляла... — Жозетта заколебалась. — Это было волшебство. — Она выглядела трогательной, когда пыталась облечь в слова свои неясные мысли. — Когда кто-то

влюбляется в вас, по-настоящему влюбляется, это волшебство, все преображается; я думала, что после генеральной репетиции так и будет.

— Ты мне говорила, что в тебя никто не был влюблен. Она покраснела.

— О! Один раз, это случилось всего один раз, когда я была совсем молоденькой, я только что вышла из пансиона, я даже не помню хорошенько.

— Однако, судя по твоему виду, ты все помнишь, — с улыбкой заметил Анри. — Кто это был?

— Один молодой человек; но он уехал в Америку, я забыла его, это было давно.

— А мы с тобой? — спросил Анри. — Тут нет хоть чуточки волшебства? Она взглянула на него с некоторым укором:

— О! Ты очень мил и говоришь мне милые вещи, но это не на всю жизнь.

— Молодой человек — тоже, раз он уехал, — не без досады возразил Анри.

— Ах! Оставь меня в покое с этой историей, — сказала Жозетта сердитым голосом, какого Анри никогда у нее не слышал. — Он уехал, потому что не мог поступить иначе.

— Но он ведь не умер?

— Откуда ты знаешь? — сказала она.

— Прости меня, дорогая, — молвил он, удивленный ее резкостью. — Он умер?

— Умер. Умер в Америке. Ты доволен?

— Я не знал, не сердись, — прошептал Анри, возвращаясь с ней к столику. Стало быть, по прошествии десяти лет она все еще хранила столь жгучие воспоминания? «Может ли она любить сильнее, чем любит меня? — с досадой спрашивал себя Анри. — Тем лучше, если она не любит, в таком случае на мне нет ответственности и я не виноват». Он выпил один за другим несколько бокалов. Внезапно все предметы вокруг него обрели способность говорить: до чего пленительны были высказываемые ими с невероятной быстротой суждения, которые улавливал он один; к несчастью, он тут же забывал их; деревянная палочка, небрежно положенная поперек одного из бокалов, — он уже не помнил, что она означала; а люстра, эта огромная хрустальная подвеска, что она собой представляет? Птица, которая раскачивалась на голове Люси, да это же погребальная стела: мертвая, набитая соломой, она сама была собственным надгробным памятником — как Луи. Почему бы Луи не преобразиться в птицу? По сути, все они были зверушками-оборотнями; время от времени в их мозгу происходил ма-

ленький электрический толчок, и тогда слова срывались с губ.

— Посмотри, — обратился он к Жозетте. — Их всех превратили в людей: шимпанзе, пуделя, страуса, тюленя, жирафа, и они говорят, говорят, но никто не понимает, что говорят ему другие. Видишь, и ты меня не понимаешь: мы с тобой тоже не одной породы.

— Нет, я не понимаю, — отвечала Жозетта.

— Это не важно, — снисходительно сказал он, — совсем не важно. — Анри встал: — Пойдем танцевать.

— Но что с тобой происходит? Ты наступил мне на платье. Ты слишком много выпил?

— Слишком никогда не бывает, — отвечал он. — Ты правда не хочешь немного выпить? Это так хорошо. Можно сделать что угодно: ударить Дюдюля или поцеловать твою мать.

— Не станешь же ты целовать маму? Что с тобой? Я никогда тебя таким не видела.

— Еще увидишь, — сказал он. Множество воспоминаний причудливо кружилось у него в голове, на память пришли слова Ламбера, и он торжественно произнес: — Я интегрирую зло!

— Что ты такое говоришь? Давай сядем.

— Нет, потанцуем.

Они танцевали, садились и снова танцевали; Жозетта мало-помалу развеселилась.

— Посмотри на высокого человека, который только что вошел, это Жан-Клод Сильвер, — с восхищением сказала она. — Это действительно очень хорошее кабаре, надо будет вернуться сюда.

— Да, здесь хорошо, — согласился Анри.

Он с удивлением огляделся вокруг. Что он, собственно, здесь делал? Предметы вдруг смолкли, его мутило и хотелось спать. «Должно быть, это и есть загул». По крайней мере, таким образом можно ускользнуть, на одну ночь можно ускользнуть: немного везения — много виски, говорил Скрясин, а он знал в этом толк; с шампанским это тоже удавалось: забывались собственные провинности и мотивы, забывалась ненависть, забывалось все.

— Здесь хорошо, — повторил Анри и мысленно продолжил: «Ведь, развлекаются, как они говорят, не ради развлечений, не так ли? Мы вернемся, дорогая, мы сюда вернемся».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До чего странная затея — жить любовью, отказываясь от нее. Письма Льюиса разрывали мне сердце. «Неужели я буду любить вас с каждым днем все сильнее и сильнее?» — писал он мне. И еще в другой раз: «Странную шутку вы со мной сыграли. Я не могу больше приводить к себе женщин на одну ночь. Тем, кому я мог бы подарить кусочек своего сердца, мне нечего больше предложить». Как мне хотелось, читая эти слова, броситься в его объятия! А раз этого нельзя, я должна была бы сказать ему: «Забудьте меня». Но я не желала говорить этого; я хотела, чтобы он любил меня, я хотела той боли, какую причиняла ему, я претерпевала его печаль с раскаянием и сама тоже страдала. Как медленно движется время, как быстро оно пролетает! Льюис по-прежнему находился далеко от меня, а я день ото дня приближалась к своей старости; наша любовь старела, однажды она умрет, так и не успев пожить. Эта мысль была невыносима. Я радовалась, покидая Сен-Мартен и вновь обретая в Париже своих больных, друзей, шум, занятия, которые мешали мне думать о себе.

С июня я почти не видела Поль. Клоди занялась ею и пригласила на лето в свой бургундский замок: к величайшему моему удивлению, Поль согласилась. Когда по возвращении в Париж я позвонила ей, то была сбита с толку наигранной учтивостью и сдержанностью ее тона:

— Разумеется, я буду рада тебя видеть. Мы могли бы пойти на вернисаж Маркадье, ты свободна завтра?

— Я бы предпочла встретиться с тобой в более спокойной обстановке; у тебя нет другого времени?

— Дело в том, что я очень занята. Подожди. Ты можешь зайти завтра после обеда?

— Меня это вполне устраивает. Договорились.

Впервые за долгие годы Поль, открывая мне дверь, была одета по-городскому; на ней был серый шерстяной костюм по последней моде и черная блузка, волосы подняты вверх и подстрижены челкой на лбу; она выщипала брови; лицо ее располнело и слегка покрылось красными прожилками.

— Как дела? — сердечно спросила она. — Хорошо провела каникулы?

— Превосходно. А ты? Ты осталась довольна?

— Я в восторге, — сказала она тоном, пока-

завшимся мне исполненным намеков. Она смотрела на меня со смущенным и в то же время вызывающим видом. — Ты не находишь, что я изменилась?

— Ты великолепно выглядишь, — ответила я. — И у тебя отличный костюм.

— Мне подарила его Клоди: это костюм от Бальмена{113}.

Возразить было нечего ни против столь изысканного покроя, ни против ее элегантных лодочек. И, возможно, лишь потому, что я не привыкла к ее новому стилю, Поль казалась мне еще более странной, чем в своих вышедших из моды туалетах, которые она изобретала для себя прежде. Поль села, скрестив ноги, и закурила сигарету.

— Знаешь, — сказала она с усмешкой, — я стала другой женщиной. Я не знала хорошенько, что отвечать, и тупо спросила:

— Это влияние Клоди?

— Клоди была всего лишь предлогом. Хотя она очень значительная личность, — ответила Поль и задумалась на секунду. — Люди гораздо интереснее, чем я думала. Как только перестаешь держать их на расстоянии, они сразу стараются проявить любезность. — Она окинула меня кри-

тическим взглядом. — Тебе следовало бы чаще бывать где-то.

— Возможно, — трусливо согласилась я. — А кто туда приезжал?

— О! Все, — произнесла она восторженным тоном.

— Ты тоже собираешься открыть салон? Она засмеялась:

— Думаешь, я на это не способна?

— Напротив.

— Напротив? — с высокомерным видом повторила она. И, немного помолчав, сухо заметила: — Во всяком случае, речь сейчас о другом.

— О чем же?

— Я пишу.

— Прекрасно! — с подчеркнутым воодушевлением поспешила сказать я.

— Я никак не представляла себя писательницей, — с улыбкой сказала Поль, — но там все в один голос заявили, что это преступление — позволить пропасть стольким талантам.

— И что же ты пишешь? — спросила я.

— Можно назвать это как угодно: новеллы или поэмы. Это не укладывается в определенные рамки.

— Ты показывала свою работу Анри?

— Конечно нет. Я только сказала ему, что пишу, но ничего не показывала. — Она пожала плечами: — Я уверена, что его это смутит. Он никогда не пытался придумать новые формы. Впрочем, свой опыт я должна осуществить сама. — Взглянув мне прямо в лицо, она торжественно произнесла: — Я открыла для себя одиночество.

— Ты больше не любишь Анри?

— Конечно люблю, но как свободная личность. — Она бросила сигарету в пустой камин. — Его реакция была любопытной.

— Он осознал, что ты изменилась?

— Разумеется: он неглуп.

— В самом деле.

Зато я чувствовала себя глупой и вопросительно смотрела на Поль.

— Прежде всего, после его возвращения я не давала о себе знать, — с удовлетворением заявила она. — Я дождалась, пока он сам позвонит, что он тут же и сделал. — Она на секунду сосредоточилась. — Я надела свой лучший костюм, с очень спокойным видом открыла ему дверь, и он сразу переменился в лице; я почувствовала, что он взволнован; он уставился в окно, повернувшись ко мне спиной, чтобы спрятать свое лицо, пока я не спеша говорила ему о нас, о себе. А потом он

с очень странным видом взглянул на меня. И я поняла, что он принял решение испытать меня.

— Зачем ему понадобилось тебя испытывать?

— В какой-то момент он готов был предложить мне снова начать совместную жизнь, но потом взял себя в руки. Анри хочет быть уверенным во мне. Он вправе сомневаться: в последние два года ему нелегко пришлось со мной.

— И что?

— Он с серьезным видом объяснил мне, что влюблен в малютку Жозетту. — Она громко рассмеялась. — Ты можешь себе представить?

— У него с ней роман, так ведь? — в нерешительности отозвалась я.

— Разумеется. Но зачем ему было приходить и рассказывать мне, что он ее любит. Если бы он любил ее, то, конечно, не сказал бы мне этого. Понимаешь, он проверял меня. Но я заранее выиграла, потому что самодостаточна.

— Понимаю, — сказала я, собрав все свое мужество, дабы наградить ее полной доверия улыбкой.

— Самое забавное, — весело продолжала Поль, — что он в то же время невообразимо кокетничал: он не хочет, чтобы я была ему в тягость, но если я перестану любить его, то, думаю, он был

бы способен убить меня. Да, он заговорил о музее Гревена.

— В связи с чем?

— Просто так, ни с того ни с сего. Вроде бы у какого-то академика — Мориака или Дюамеля — будет своя восковая фигура в музее Гревена; сама понимаешь, Анри на это наплевать. По сути, это был намек на тот знаменитый день, когда он влюбился в меня. Он хочет, чтобы я не забывала.

— Это как-то сложно, — заметила я.

— Да нет, — возразила она. — Это наивно. Впрочем, есть одна очень простая вещь, которую надо сделать. Через четыре дня генеральная репетиция: я поговорю с Жозеттой.

— Что ты собираешься ей сказать? — с тревогой спросила я.

— О! Все и ничего. Я хочу завоевать ее, — с непринужденным смехом сказала Поль. Она поднялась: — Ты действительно не желаешь пойти на вернисаж?

— У меня нет времени.

Она водрузила на голову черный берет, натянула перчатки.

— Только откровенно: как ты меня находишь?

Теперь уже не в своей душе, а на ее лице я находила ответы. И потому твердо заявила:

— Ты великолепна!

— Увидимся в четверг на генеральной, — сказала она. — Ты придешь на ужин?

— Разумеется.

Я вышла вместе с ней. У Поль изменилась даже походка. Она уверенно шла своим путем, но то была уверенность лунатика.

За три дня до генеральной мы с Робером присутствовали на одной из репетиций «Тех, кто выжил». И оба пришли в восторг. Мне нравятся все книги Анри, они затрагивают меня лично; но я признала, что никогда еще он не создавал ничего столь прекрасного. Для него были новы и эта словесная сила воздействия, и этот лиризм — и шутовской, и мрачный. К тому же на сей раз не было никакого разрыва между интригой и идеями: достаточно было внимательно следить за развитием сюжета, и смысл пьесы захватывал вас, ибо полностью соответствовал необычному и убедительному сюжету, обладал богатством реальности. «Вот это настоящий театр!» — говорил Робер. Я надеялась, что все зрители воспримут спектакль как мы. Правда, эта драма, сочетавшая в себе трагедию и фарс, говорила напрямик обо всем, что могло их отпугнуть. Когда в день генеральной репетиции поднялся занавес, я ощущала

сильное беспокойство. У малютки Жозетты явно недоставало способностей, но, когда люди стали шуметь, она держалась отлично. После первого акта много аплодировали. И еще больше в конце, это был настоящий триумф. Действительно, в жизни писателя, даже довольно удачливого, бывают нешуточные моменты подлинной радости; должно быть, это очень волнует, если осознаешь вдруг, что дело твое удалось.

Когда я вошла в ресторан, то сразу почувствовала огромный прилив симпатии к Анри; истинная простота — это такая редкость! Вокруг него все дышало фальшью — улыбки, голоса, слова, а он был точно такой, как всегда; вид у него был счастливый и немного смущенный, я хотела сказать ему множество самых приятных вещей, но, видно, мне не следовало мешкать: не прошло и пяти минут, как в горле у меня встал ком. Надо сказать, мне не повезло, я столкнулась с Люси Бельом в тот момент, когда она говорила Воланжу, показывая на двух молоденьких актрис-евреек: «У немцев были не кремационные печи, а инкубаторы!» Шутка была мне знакома, но я ни разу не слышала ее собственными ушами: я пришла в ужас и от Люси Бельом, и от себя самой. И рассердилась за это на Анри. В своей пьесе он говорил прекрасные

вещи о забвении, однако и он тоже оказался, пожалуй, забывчивым. Венсан уверял, что матушку Бельом в свое время побрили, и она вполне это заслужила. А Воланж, что он здесь делал? У меня пропало желание поздравлять Анри. Думаю, он почувствовал мое смущение. Я осталась ненадолго из-за Поль, но ощущала такую неловкость, что пила без меры: мне это почти не помогло. На память пришли слова, сказанные Ламбером Надин. «По какому праву я упрямо вспоминаю? — спрашивала я себя. — Сделала я меньше, чем другие, и страдала меньше других: если они забыли, если надо забыть, мне тоже остается только забыть». Но напрасно я ругала себя: мне хотелось оскорбить кого-нибудь или заплакать. Примириться, простить! Какие лицемерные слова. Люди просто забывают, и все. Забыть мертвых — этого оказалось недостаточно. Теперь мы забываем убийства, мы забываем убийц. Ладно, права у меня нет, но, если слезы подступают к моим глазам, это касается только меня.

В тот вечер Поль долго разговаривала с Жозеттой; я так и не узнала, что она ей сказала. В последующие недели мне показалось, что Поль избегает меня; она куда-то ходила, что-то писала, была важной и занятой. Я почти не интересова-

лась ею: меня заботило слишком много других вещей. Вернувшись как-то после полудня домой, я застала Робера в ярости, он был вне себя: таким я видела его впервые в жизни; он только что поссорился с Анри. В нескольких отрывистых фразах Робер поведал мне о случившемся и резким тоном добавил:

— Не пытайся оправдать его. Ему нет прощения.

Сразу я и не пыталась, я лишилась дара речи. За какой-то час зачеркнуть пятнадцать лет дружбы! Анри никогда больше не сядет в это кресло, и мы не услышим его веселого голоса. Каким одиноким станет Робер! А Анри: какая пустота в его жизни! Нет, это не может быть окончательным. Я обрела дар речи.

— Это нелепо. Вы оба погорячились. В подобном случае вы могли выдвинуть политические обвинения против Анри, не лишая его своей дружбы. Я уверена, что он искренен. Не так-то просто во всем разобраться. Должна сказать, что, если бы мне надо было принимать решения под свою ответственность, я оказалась бы в большом затруднении.

— Похоже, ты думаешь, будто я выгнал Анри пинками, — сказал Робер. — Я хотел уладить все

полюбовно. Это он ушел, хлопнув дверью.

— Вы уверены, что не предъявили ему требование: уступить или расстаться? — спросила я. — Когда вы хотели сделать «Эспуар» газетой СРЛ, Анри был убежден, что в случае отказа он потеряет вашу дружбу. На этот раз он решил не уступать и наверняка предпочел покончить со всем разом.

— Ты не присутствовала при этой сцене, — возразил Робер. — С самого начала он явно был настроен враждебно. Я не говорю, что примириться было легко, но можно было, по крайней мере, попытаться избежать разрыва. А вместо этого он отверг все наши аргументы, отказался от обсуждения в комитете; мало того, он стал намекать, будто я тайно вступил в коммунистическую партию. Скажу тебе прямо: он стремился к разрыву.

— Да будет вам! — не поверила я.

Анри наверняка затаил обиду на Робера, но случилось это давно. Зачем же ссориться именно теперь?

Робер с суровым видом смотрел куда-то в сторону.

— Я его стесняю, понимаешь?

— Нет, не понимаю, — отвечала я.

— Он выбрал странный путь. Ты видела круг людей, с которыми он встречается? Мы для него — живой укор, и он хочет от нас избавиться.

— Вы несправедливы! — возразила я. — В тот вечер я тоже испытывала отвращение; однако вы сами внушали мне, что постановка пьесы требует сегодня определенных компромиссов, но Анри ведь не заходит слишком далеко. Да, он изредка встречается с этими людьми. Он спит с Жозеттой, но можно не сомневаться: не она оказывает на него влияние.

— Согласен, сам по себе этот ужин не страшен, — сказал Робер. — Но это знак. Анри из тех, кто отдает предпочтение в первую очередь себе, он хочет делать это спокойно, не желая ни перед кем отчитываться.

— Отдает предпочтение себе? — удивилась я. — Да он все время занимается неприятными ему вещами. Вы часто признавали, что он на редкость самоотверженный человек.

— Когда ему это нравится — да. Но дело в том, что политику он не любит. Всерьез он занят только самим собой. — Нетерпеливым движением Робер остановил меня: — И вот главное, в чем я его упрекаю: в этом деле он думал лишь о том, что скажут о нем люди.

— Только не говорите мне, что существование лагерей оставляет его равнодушным, — возразила я.

— Меня они тоже не оставляют равнодушным, вопрос не в этом, — пожав плечами, сказал Робер. — Анри не хочет, чтобы его обвиняли в том, будто он позволил коммунистам запугать себя; он действительно предпочитает перейти в лагерь антикоммунистов. При таких условиях ссора со мной его устраивает. Он беспрепятственно сможет изображать из себя интеллектуала широкой души, которому будут аплодировать все правые.

— Анри не стремится нравиться правым, — возразила я.

— Он хочет нравиться самому себе, а это неизбежно заставит его перейти к правым, потому что среди левых не так много любителей прекраснодушия. — Робер протянул руку к телефону. — Я созову комитет на завтрашнее утро.

Весь вечер Робер с недобрым видом сочинял письмо, которое собирался представить комитету. Я очень огорчилась в то утро, когда, развернув «Эспуар», увидела напечатанными два письма, в которых они с Анри обменивались оскорбительными выпадами. Надин тоже была удручена; она сохранила искренние дружеские чувства к Анри,

но, с другой стороны, она не выносит публичных нападок на отца.

— Это Ламбер надавил на Анри, — в ярости заявила Надин.

Мне очень хотелось понять, что произошло в душе Анри. Толкования Робера были чересчур предвзятыми. Более всего его возмущало то, что у Анри не было доверия в разговоре с ним. «Но в конце-то концов, — подумала я, — Робер сам дал ему повод для недоверия. Он ответит мне, что Анри давно уже должен был забыть все. Это очень мило, но прошлое так просто не забывается! И я по опыту знаю, как часто мы бываем несправедливы к людям, которых не привыкли судить. Мне самой, под предлогом того, что в кое-каких мелочах Робер немного постарел, случалось сомневаться в нем: теперь я понимаю, что, если он решил молчать о лагерях, значит, на то были веские причины, но тогда я подумала: это из-за слабости. Так что я вполне понимаю Анри; он тоже слепо восхищался Робером, и хотя отдавал себе отчет в его стремлении господствовать, всегда и во всем следовал за ним, даже если это вынуждало его поступать против воли. Видимо, дело Трарье не прошло бесследно именно потому, что однажды Робер обманул его ожидания. И Анри решил, что

теперь он способен на что угодно».

Впрочем, какой толк рассуждать впустую, вернуться назад все равно уже было нельзя. Вопрос, который вставал теперь, — это что станется с СРЛ. Расколотое, дезорганизованное, лишенное газеты, движение было обречено на скорый распад. Через Ленуара Лафори предложил осуществить его слияние с близкими коммунистам группами. Робер ответил, что хочет дождаться выборов, прежде чем что-либо решать; но я-то знала, что он не согласится. Это правда, что дело с лагерями не оставило его равнодушным: у него не было ни малейшего желания сближаться с коммунистами. Члены СРЛ смогут свободно вступать в компартию, но движение как таковое просто-напросто перестанет существовать.

Ленуар вступил первым. Он радовался тому, что развал СРЛ открыл ему глаза. За ним последовали многие другие: с ума сойти, у скольких людей открылись глаза в ноябре, после успеха коммунистов на выборах. Крошка Мари-Анж явилась просить у Робера интервью для «Анклюм».

— С каких это пор вы стали коммунисткой? — спросила я.

— С тех пор, как поняла, что следует занять определенную позицию, — ответила она, глядя

на меня с видом усталого превосходства.

Робер отказал ей в интервью. Все разговоры вокруг вызывали у него раздражение. И, несмотря на обиду, статья Лашома против Анри возмутила его. Ленуар попытался переубедить Робера, но он едва слушал его.

— Успех на выборах — это наилучший ответ, какой коммунисты могли дать на столь грязную кампанию, — восторженно заявил Ленуар. — Перрону и его клике не удалось отобрать у них ни одного голоса. — Он с надеждой смотрел на Робера. — Теперь члены СРЛ все, как один, последуют за вами, если вы предложите слияние, о котором недавно шла речь.

— СРЛ больше не существует, — отвечал Робер. — И я уже не занимаюсь политикой.

— Да будет вам, — с улыбкой произнес Ленуар. — Члены СРЛ еще живы; достаточно одного вашего слова, чтобы они примкнули.

— Я не собираюсь произносить его, — сказал Робер. — Я не был согласен с коммунистами еще до дела о лагерях и уж конечно не брошусь к ним в объятия теперь.

— Лагеря: но позвольте, вы же отказались участвовать в этом надувательстве, — возразил Ленуар.

— Я отказался говорить о лагерях, но отнюдь не верить в их существование, — ответил Робер. — Априори всегда следует верить в худшее, в этом и заключается настоящий реализм.

Ленуар нахмурился.

— Согласен, нужно уметь готовиться к худшему и все-таки, невзирая ни на что, идти своим путем, — сказал он. — Но в таком случае упрекайте коммунистов в чем угодно: это не должно мешать вам действовать с ними заодно.

— Нет, — повторил Робер. — С политикой для меня покончено. Я отхожу от дел.

Я прекрасно знала, что СРЛ больше не существует и что у Робера нет никаких новых планов, и все-таки испытала легкий шок, услыхав его заявление о том, что он окончательно отходит от дел. Как только Ленуар ушел, я спросила:

— Вы действительно покончили с политикой?

Робер улыбнулся:

— Мне кажется, это она покончила со мной. Что я могу поделать?

— Я уверена, что если вы поищете, то найдете выход, — сказала я.

— Нет, — отвечал он. — Есть одна вещь, в которой я все больше убеждаюсь: сегодня у меньшинства нет больше шансов. — Он пожал

плечами: — Я не хочу работать ни с коммунистами, ни против них. А что тогда?

— Тогда посвятите себя литературе, — обрадовалась я.

— Да, — без восторга согласился Робер.

— Вы по-прежнему можете писать статьи для «Вижиланс».

— При случае напишу. Однако то, что пишут, определенно не имеет большого значения. Ленуар прав: статьи Анри никак не повлияли на выборы.

— Ленуар, похоже, думает, будто Анри огорчен этим, — заметила я. — Но он несправедлив: судя по тому, что вы сами говорили мне, Анри этого и не хотел.

— Не знаю, чего он хотел, — заносчиво сказал Робер. — Я не уверен, что он и сам это знает.

— Во всяком случае, — с живостью продолжала я, — признайте, что «Эспуар» не ударилась в антикоммунизм.

— До сих пор — нет, — ответил Робер. — Подождем, что будет дальше.

Я с раздражением думала о том, что Робер и Анри поссорились из-за истории, окончившейся ничем. О примирении и речи не могло быть, но Робер явно чувствовал себя очень одиноким.

Зима выдалась нерадостной. Письма, которые я получала от Льюиса, были веселые, но они меня не утешали. В Чикаго шел снег, люди катались по озеру на коньках, Льюис целыми днями не выходил из комнаты, придумывая разные небылицы: он тешил себя надеждой, что в мае мы поплывем на пароходе вниз по Миссисипи, что мы вместе будем спать в каюте, убаюканные шумом воды; похоже, он в это верил; еще бы: от Чикаго до Миссисипи не так уж, наверное, далеко. Но я-то знала, что для меня этот холодный, серый день, начинавшийся с каждым пробуждением, будет длиться до бесконечности. «Никогда мы не встретимся, — думала я, — и весна не придет».

И вот в один из таких вечеров без будущего я услышала по телефону голос Поль; она говорила повелительным тоном:

— Анна! Это ты? Приезжай немедленно, мне надо поговорить с тобой, дело срочное.

— Мне очень жаль, — ответила я, — но к ужину мы ждем гостей; я заеду завтра утром.

— Ты не понимаешь: со мной происходит что-то ужасное, и только ты могла бы мне помочь.

— Ты не можешь приехать сюда? Помолчав, она спросила:

— Кого ты ждешь на ужин?

— Пеллетье и Канжей.

— Анри не у тебя?

— Нет.

— Ты уверена?

— Разумеется, уверена.

— Тогда я еду. Только не говори никому.

Через полчаса она позвонила, и я провела ее в свою комнату; на волосы ее был наброшен платок, пудра, на которую она не поскупилась, не скрывала распухшего носа. От нее исходил тяжелый запах мяты и дешевого вина. Поль была удивительно красива, я и представить себе не могла, что она может стать иной: было в ее лице нечто такое, что должно сохраниться вопреки всему; и вдруг стало ясно: лицо ее, как и все прочие, состоит из пористой плоти, в нем более 80% воды. Поль сорвала свой платок и рухнула на диван.

— Посмотри, что я сейчас получила.

Это было письмо от Анри, несколько строчек четкого почерка на белом листке бумаги: «Поль. Мы причиняем друг другу только боль. Лучше совсем не видеться. Постарайся не думать больше обо мне. Я хочу, чтобы когда-нибудь мы смогли стать друзьями. Анри».

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросила она.

— Он не решился поговорить с тобой, — сказала я, — и предпочел отправить письмо.

— Но что оно означает?

— Письмо мне кажется ясным.

— Тебе везет.

Она вопросительно смотрела на меня, и я в конце концов прошептала:

— Оно означает разрыв.

— Разрыв? Ты уже видела письма, означающие разрыв, написанные таким образом?

— Тут нет ничего особенного.

Она пожала плечами:

— Да полно! И потом, что между нами разрывать? Он готов на дружбу, а я ничего другого и не желаю.

— Ты уверена, что не говорила ему о своей любви?

— Я люблю его неземной любовью: чем это мешает нашей дружбе? К тому же он требует этой любви, — сказала она резким тоном, напомнившим мне тон Надин. — Это письмо возмутительно лицемерно! Да вот, прочти: Постарайся не думать больше обо мне. Почему он не говорит попросту: не думай больше обо мне? Он выдает себя, он хочет, чтобы я мучилась, стараясь, но не хочет, чтобы мои старания удались. И в то же время,

вместо того чтобы назвать меня банально: дорогая Поль, он пишет «Поль». — Голос ее дрогнул, когда она произносила свое имя.

— Он боялся, что слово дорогая покажется тебе лицемерным.

— Вовсе нет. Ты прекрасно знаешь, что в любви, в самые волнующие ее моменты, произносят одно лишь имя. Он хотел заставить меня услышать его интимный голос, понимаешь?

— Но почему? — спросила я.

— Вот это-то я и пришла спросить у тебя, — сказала она, глядя на меня с укором, потом отвела глаза. — «Мы причиняем друг другу только боль». Это уж слишком! Он считает, что я его мучаю!

— Думаю, Анри страдает из-за того, что заставляет страдать тебя.

— И он воображает, что это письмо доставит мне удовольствие? Да будет, будет тебе! Он не настолько глуп.

Наступило молчание, и я спросила:

— Что ты предполагаешь?

— Я не могу разобраться, — отвечала она. — Совсем не могу. Я не думала, что он может быть таким садистом. — Она в изнеможении провела ладонями по щекам. — Мне казалось, что я почти выиграла: он снова стал доверчивым, доброже-

лательным; я не раз чувствовала, что он готов был сказать мне: испытание окончено. А потом я, верно, допустила какую-то ошибку.

— Что произошло?

— Журналисты объявили о его женитьбе на Жозетте. Естественно, я не поверила в это ни на минуту. Как он может жениться на Жозетте, если у него есть жена — я? То была часть испытания, я сразу поняла. Он пришел сказать мне, что это ложь.

— Да?

— Ну раз я говорю тебе! И ты тоже мне не веришь?

— Я сказала «да»; это не было вопросом.

— Ты сказала: да? Впрочем, оставим. Он пришел. Я пыталась объяснить ему, что он может положить конец этой комедии, что все происходящее с ним в этом мире отныне не задевает меня, что я люблю его с полнейшей отрешенностью. Не знаю, то ли я проявила неловкость, то ли он сошел с ума. Вместо слов, какие я произносила, он каждый раз слышал что-то другое: это было ужасно...

Наступило долгое молчание, потом я осторожно спросила:

— Но, как ты думаешь, чего он все-таки доби-

вается? Подозрительно взглянув на меня, она спросила:

— Какую игру ты ведешь, в конце-то концов?

— Я не веду никакой игры.

— Ты задаешь мне глупые вопросы. — И, снова помолчав, она продолжала: — Ты прекрасно знаешь, чего он добивается. Он хочет, чтобы я отдавала ему все, ничего не требуя от него, это ясно. Вот только я не знаю, написал ли он это письмо потому, что думает, будто я все еще требую его любви, или потому, что боится, не откажу ли я ему в своей. В первом случае это продолжение комедии. Во втором...

— Во втором?

— Это месть, — мрачно произнесла Поль. И снова взгляд ее остановился на мне — неуверенный, подозрительный и вместе с тем повелительный. — Ты должна помочь мне.

— Как?

— Ты должна поговорить с Анри и убедить его.

— Но, Поль, ты прекрасно знаешь, что мы с Робером поссорились недавно с Анри.

— Знаю, — нерешительно сказала она. — Но ты с ним все-таки видишься.

— Конечно нет. Она заколебалась.

— Пусть так. Во всяком случае, ты можешь с

ним встретиться: не спустит же он тебя с лестницы.

— Он решит, что это ты послала меня к нему, и мои слова не убедят его.

— Ты мне друг?

— Разумеется.

Она с обреченным видом взглянула на меня, и вдруг лицо ее обмякло, она разразилась слезами.

— Я во всем сомневаюсь, — вымолвила она.

— Поль, я твой друг, — сказала я.

— Тогда поговори с ним, — попросила она. — Скажи ему, что я совсем без сил, что хватит уже: я могла провиниться. Но зачем он так долго мучает меня. Скажи ему, что пора перестать!

— Предположим, я сделаю такой шаг, — сказала я. — Когда я передам тебе то, что ответит Анри, ты мне поверишь?

Она встала, вытерла глаза, накинула платок.

— Поверю, если ты скажешь мне правду, — ответила она, направляясь к двери.

Я знала, что с Анри говорить совершенно бесполезно, а что касается Поль, то любая дружеская беседа станет отныне напрасной; надо было бы уложить ее на мой диван и подвергнуть расспросам; к счастью, нам не разрешается лечить человека, с которым мы в близких отношениях:

у меня сложилось бы впечатление, что я злоупотребляю доверием. Я почувствовала трусливое облегчение, когда она перестала снимать телефонную трубку, а на два моих письма ответила коротенькой запиской: «Извини. Мне надо побыть одной. В нужное время я с тобой свяжусь».

Зима все тянулась. После разрыва с Ламбером Надин стала крайне неуравновешенной, кроме Венсана, она ни с кем не встречалась. Журналистикой она больше не занималась, ограничиваясь работой в «Вижиланс». Робер очень много читал, часто водил меня в кино и часами слушал музыку: он с увлечением стал покупать пластинки. Когда вдруг у него появляется новое пристрастие, это значит, что работа не идет.

Однажды утром мы завтракали, листая газеты, и мне попалась статья Ленуара; он впервые писал в коммунистической прессе и старался изо всех сил; с прежними своими друзьями он расправлялся по всем правилам, Роберу досталось меньше других, зато Ленуар обрушился на Анри.

— Взгляни, — сказала я.

Робер прочитал и отбросил газету.

— Надо отдать должное Анри: антикоммунистом он не стал.

— Я же говорила вам: он выдержит!

— Дела в газете, должно быть, неважные, — заметил Робер. — По статьям Самазелля чувствуется, что он явно стремится переметнуться вправо; Трарье, разумеется, тоже, да и Ламбер весьма сомнителен.

— О! Анри попал в затруднительное положение! — сказала я. И улыбнулась: — По сути, у него та же ситуация, что у вас: вы оба в плохих отношениях со всеми.

— Ему приходится тяжелее, чем мне, — заметил Робер.

В голосе его звучало чуть ли не сочувствие; мне показалось, что его обида на Анри улетучивается.

— Мне никогда не понять, почему он поссорился с вами таким образом, — сказала я. — Не сомневаюсь, что сейчас он в этом раскаивается.

— Я часто об этом думал, — ответил Робер. — Вначале я ставил ему в вину то, что он слишком заботился о себе в этом деле. Теперь же начинаю понимать, что он был не так уж неправ. По сути, нам предстояло решить, какой может и должна стать сегодня роль интеллектуала. Промолчать — означало выбрать весьма пессимистическое решение: в его возрасте он, естественно, воспротивился.

— Парадокс в том, что Анри гораздо меньше вас стремился играть политическую роль, — заметила я.

— Возможно, он понял, что под вопросом и другие вещи.

— Какие же? Робер заколебался.

— Хочешь знать, что я на самом деле думаю?

— Разумеется.

— Для интеллектуала не остается больше никакой роли.

— Почему? Он ведь может писать, разве нет?

— О! Можно развлекаться, нанизывая слова, как нанизывают жемчужины, но по сути ничего не говорить. Хотя даже это опасно.

— Позвольте, — возразила я, — но в своей книге вы защищаете литературу.

— Надеюсь, то, что я там пишу, когда-нибудь станет правдой, — сказал Робер. — А пока, думается, самое лучшее, что нам остается делать, это заставить забыть о себе.

— Неужели вы действительно перестанете писать? — спросила я.

— Да. После того, как закончу это эссе, писать я больше не буду.

— Но почему?

— А почему я пишу? — сказал в ответ Робер.

— Потому что не хлебом единым жив человек и потому что я верю в необходимость чего-то еще. Я пишу, чтобы спасти все то, чем пренебрегает действие: правду момента, правду личного и непосредственного. До сих пор я думал, что эта работа способствует делу революции. Но нет: она ему мешает. В настоящее время любую литературу, которая стремится дать людям что-то иное, кроме хлеба, эксплуатируют, дабы доказать, что они прекрасно могут обойтись без хлеба.

— Вы всегда умели избегать такого несоответствия, — возразила я.

— Но все изменилось, — ответил Робер. — Видишь ли, — продолжал он, — сегодня революция в руках коммунистов, и никого другого; ценностям, которые мы защищали, нет теперь больше места; возможно, к ним снова когда-нибудь вернутся: будем надеяться; но если мы станем упорствовать, продолжая поддерживать эти ценности, то в данный момент тем самым окажем услугу контрреволюции.

— Нет, не хочу этому верить, — сказала я. — Стремление к истине, уважение личности — в этом нет ничего вредоносного.

— Если я отказался говорить о трудовых лагерях, то потому, что истина показалась мне

вредоносной, — ответил Робер.

— Это был частный случай.

— Частный случай, похожий на сотни других. Нет, — продолжал он, — правду говорят или не говорят совсем. Если нет решимости говорить ее всегда, то не стоит и впутываться в это дело: самое лучшее — молчать.

Я смотрела на Робера.

— Знаете, что я думаю? Вы продолжаете считать, что следовало хранить молчание о русских лагерях, но это вам дорого обошлось. А принесенные жертвы мы не любим — вы в этом отношении похожи на меня: у нас появляются угрызения совести. И чтобы наказать себя, вы отказываетесь писать.

Робер улыбнулся:

— Скажем лучше, что, жертвуя определенными вещами — а именно тем, что ты назвала моим долгом интеллектуала, — я осознал их бессмысленность. Помнишь Рождество сорок четвертого? — добавил он. — Мы говорили, что наступит, быть может, момент, когда литература утратит свои права. Так вот, мы к этому пришли! В читателях недостатка нет. Но книги, которые я мог бы им предложить, были бы или вредны, или ничтожны.

— Тут что-то не так, — нерешительно сказала я.

— Что именно?

— Если бы старые ценности казались вам бессмысленными, вы присоединились бы к коммунистам.

Робер покачал головой.

— Ты права, тут что-то не так. И я скажу тебе что: я слишком стар.

— При чем здесь ваш возраст?

— Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что многие вещи, за которые я держался, теперь не в ходу; я вынужден желать будущего, весьма отличного от того, какое воображал; только сам я не могу уже измениться и потому не вижу для себя места в этом будущем.

— Иначе говоря, вы желаете победы коммунизма, сознавая, что не сможете жить в коммунистическом мире?

— Примерно так оно и есть. Мы еще поговорим, — добавил он. — Я собираюсь об этом написать: таков будет вывод моей книги.

— А когда книга будет закончена, что вы станете делать? — спросила я.

— То же, что все. Существуют два с половиной миллиарда людей, которые не пишут.

Я решила не слишком расстраиваться. Роберу надо было пережить поражение СРЛ, у него наступил переломный момент, он его преодолеет. Но, признаюсь, мне не нравилась такая идея: поступать как все. Есть, чтобы жить, жить, чтобы есть, — то был кошмар моего отрочества. Если придется возвращаться к этому, лучше уж сразу открыть газ. Только, думается, и другие тоже так считают: откроем сразу газ, но не открывают.

В последующие дни я чувствовала себя подавленной и не хотела никого видеть. Я очень удивилась, когда однажды утром рассыльный вручил мне огромный букет красных роз. К прозрачной обертке было приколото маленькое письмо от Поль:

«Lux! {Свет, жизнь, спасение (лат.)} [empty link] Недоразумение развеялось! Я счастлива и посылаю тебе розы. До вечера, у меня». Я сказала Роберу.

— Дела неважные.

— Никакого недоразумения?

— Никакого.

Он повторил мне то, что говорил уже несколько раз:

— Тебе надо бы отвести ее к Мардрю.

— Нелегко будет уговорить ее.

Я не была ее врачом и уже не была подругой, когда поднималась к ней по лестнице с ложью на кончике языка и профессиональным взглядом, затаившимся в глубине моих глаз. Улыбка, которую я изобразила, постучав в ее дверь, казалась мне предательством, и я еще больше смутилась, когда при встрече Поль поцеловала меня, что было не в наших привычках. Она надела одно из своих длинных платьев без возраста, приколола красную розу к распущенным волосам, другую — на сердце; в квартире было полно цветов.

— Как мило, что ты пришла! — сказала Поль. — Ты всегда так любезна. По правде говоря, я этого не заслуживаю: я отвратительно вела себя с тобой. Я совсем растерялась, — добавила она извиняющимся тоном.

— Это я должна благодарить тебя: ты прислала мне роскошные розы.

— Ах! Это великий день! — сказала Поль. — Мне хотелось, чтобы и ты участвовала в празднике. — Она со счастливым видом улыбнулась мне. — Я жду Анри с минуты на минуту: все начинается снова.

Начинается? Я в этом сильно сомневалась; скорее я предполагала, что Анри решился на этот визит из милосердия. Но в любом случае я не

хотела с ним встречаться и шагнула к двери.

— Я тебе говорила, что мы поссорились с Анри. Он рассердится, застав меня здесь. Я приду завтра.

— Прошу тебя! — взмолилась Поль.

В ее глазах было столько страха, что я бросила на диван свою сумочку с перчатками. Тем хуже, я останусь. Широким, летящим шагом Поль направилась в кухню и принесла поднос с двумя бокалами и бутылкой шампанского.

— Выпьем за будущее.

Пробка выскочила, и наши бокалы со звоном ударились друг о друга.

— Что случилось? — спросила я.

— Должно быть, я и правда глупа, — весело сказала Поль. — Все доказательства у меня в руках с давних пор. И только минувшей ночью головоломка нашла разгадку. Я не спала, но закрыла глаза и вдруг увидела так же отчетливо, как на почтовой открытке, большой бассейн замка Бельзонс. На рассвете я отправила Анри письмо по пневматической почте.

Я с тревогой смотрела на нее; да, я хорошо сделала, что осталась: все не только не улаживалось, а, напротив, шло из рук вон плохо.

— Ты не понимаешь? Это до ужаса глупо! — ска-

зала Поль. — Анри ревнует. — Она рассмеялась по-настоящему весело. — Это кажется невероятным, да?

— Пожалуй.

— Так вот, это правда. Ему доставляет удовольствие садистски мучить меня, и теперь я знаю почему. — Она поправила в волосах красную розу. — Когда он внезапно заявил мне, что мы не должны больше спать вместе, я подумала, что это из-за моральной деликатности; я полностью ошибалась: на самом деле он вообразил себе, будто я охладела, и его самолюбие это страшно задело; я недостаточно настойчиво протестовала, что еще больше рассердило его. Потом я начала всюду бывать, одеваться, его это раздосадовало. Я весело простилась с ним, слишком весело, на его взгляд. А очутившись в Бургундии, я совершала чудовищные ошибки, одну за другой. Клянусь тебе, я делала это не нарочно.

В эту минуту в дверь тихонько постучали. Поль посмотрела на меня с таким видом, что я встала, чтобы открыть. Это была женщина, державшая в руках корзинку.

— Прошу прощения, извините, — сказала она, — я не нашла консьержку. Мне надо кастрировать кота.

— Лечебница на первом этаже, — сказала я, — вход слева.

Я закрыла дверь, смех застрял у меня в горле, когда я встретила потерянный взгляд Поль.

— Что это значит? — спросила она.

— Что консьержки нет на месте, — весело отвечала я, — такое с ней часто бывает.

— Но почему постучали сюда?

— Случайно: надо же было куда-то стучать.

— Случайно? — повторила Поль.

Я с ободряющим видом улыбнулась:

— Ты рассказывала мне о своих каникулах. Что же такого ты сделала, чтобы обидеть Анри?

— Ах да! — В голосе ее не осталось и следа оживления. — Так вот, я послала ему первую открытку. Рассказывала о своих занятиях и написала злосчастную фразу: «Я совершаю длительные прогулки по здешним местам, которые, говорят, похожи на меня». Разумеется, он тут же подумал, что у меня любовник.

— Я не понимаю...

— Говорят, — нетерпеливо сказала она. — Говорят — это подозрительно. Кто сравнивает обычно женщину с пейзажем, кто, как не ее любовник. Мало того, я послала ему в Венецию еще одну открытку с изображением парка Бельзонс с бас-

сейном посредине.

— И что?

— Ты сама мне говорила, что фонтаны, водоемы, бассейны — это психоаналитический символ. Анри понял, что я бросаю ему в лицо: у меня любовник! Он должен был знать, что туда приезжал Луи Воланж: ты не заметила за ужином после генеральной репетиции, как он испепелял меня взглядом, когда я разговаривала с Воланжем? Это ясно, как дважды два четыре. Отсюда все и пошло.

— Ты написала ему об этом в своем письме?

— Да. Теперь ему все известно.

— Он тебе ответил?

— Зачем? Он придет, он прекрасно знает, что я его жду.

Я хранила молчание. В глубине души Поль знала, что Анри не придет: вот почему она умоляла меня остаться; в какой-то момент ей придется признаться, что он не пришел, и тогда она рухнет. Единственная моя надежда была на то, что Анри понял: она сходит с ума{114}, и зайдет навестить ее из жалости. А пока я не находила, что сказать; Поль так пристально смотрела на дверь, что мне стало не по себе; запах роз казался мне похоронным.

— Ты по-прежнему работаешь? — спросила я.

— Да.

— Ты обещала мне что-нибудь показать, — сказала я, словно в озарении. — А потом так ничего и не показала.

— Тебе действительно это интересно?

— Разумеется.

Поль подошла к письменному столу, достала пачку голубых листков, исписанных круглым почерком, и положила их мне на колени; она всегда делала орфографические ошибки, но никогда в таком большом количестве; я пробежала один листок, это помогало мне сохранять самообладание, но Поль упорно смотрела на дверь.

— Я плохо разбираю твой почерк, — сказала я. — Тебя не затруднит прочитать вслух?

— Как хочешь, — ответила Поль.

Я закурила сигарету. Пока она читала, я, по крайней мере, слышала ее голос. Многого я не ожидала и все-таки была удивлена: это было удручающе. Посреди какой-то фразы внизу раздался звонок. Поль поднялась. «Вот видишь!» — торжествующим тоном сказала она и нажала на кнопку, с помощью которой открывалась дверь. Она осталась стоять с выражением восторга на лице.

— Письмо.

— Спасибо.

Мужчина закрыл дверь, и она протянула мне голубой листок:

— Разверни. Прочитай его мне.

Она села на диван; ее щеки и губы стали фиолетовыми.

«Поль. Не было никакого недоразумения. Мы станем друзьями, когда ты согласишься с тем, что наша любовь умерла. А пока не пиши мне больше. До лучших времен».

Поль рухнула во весь свой рост с такой силой, что на камине облетели лепестки с розы.

— Я не понимаю, — стонала она. — Я больше ничего не понимаю.

Она рыдала, спрятав лицо в подушки, а я бросала слова, лишенные всякого смысла, лишь бы слышать звук своего голоса: «Ты вылечишься, надо вылечиться. Любовь — это далеко не все...», прекрасно сознавая, что на ее месте я ни за что не захотела бы вылечиться и похоронить мою любовь собственными руками.

Я только что вернулась из Сен-Мартен, где провела уик-энд, когда пришло ее письмо по пневматической почте: «Ужин состоится завтра в восемь часов». Я сняла телефонную трубку. Голос

Поль показался мне ледяным.

— Ах, это ты? В чем дело?

— Я только хотела сказать тебе, что насчет завтрашнего вечера мы договорились.

— Разумеется, договорились, — ответила она и повесила трубку.

Я готовилась к тяжелому вечеру, и тем не менее, когда Поль открыла мне дверь, поразилась; никогда я не видела ее лица без макияжа; на ней была старая юбка, старый серый свитер, волосы она зачесала назад некрасивым шиньоном; на раздвинутом от одной стены комнаты до другой столе стояли двенадцать тарелок и столько же рюмок. Протянув мне руку, она криво усмехнулась:

— Ты явилась принести мне соболезнования или поздравления?

— По какому поводу?

— По поводу моего разрыва с любовником.

Я ничего не ответила, и она спросила, показав через мое плечо на пустой коридор:

— Где они?

— Кто?

— Остальные?

— Какие остальные?

— Ах! Я думала, вас гораздо больше, — сказала

она неуверенно, закрывая дверь. Бросив взгляд на стол, Поль спросила: — Что ты будешь есть?

— Это не имеет значения. То, что у тебя найдется.

— Но у меня ничего нет, — отвечала она, — разве что лапша?

— Не важно, я вообще не голодна, — поспешила сказать я.

— Я могу угостить тебя лапшой, никого не разоряя, — с явным намеком произнесла она.

— Нет, правда; мне часто случается не ужинать.

Я села, не в силах оторвать взгляд от банкетного стола. Поль тоже села и стала молча смотреть на меня. Мне уже доводилось видеть в ее глазах упрек, подозрение, нетерпение, но сегодня нельзя было ошибиться: то была ненависть — мрачная, холодная, жестокая. Сделав над собой усилие, я заговорила:

— Кого ты ждала?

— Я ждала вас всех! — Она пожала плечами: — Должно быть, я забыла послать приглашения.

— Всех: кого именно? — спросила я.

— Ты прекрасно знаешь, — отвечала она. — Тебя, Анри, Воланжа, Клоди, Люси, Робера, Надин: всех заговорщиков.

— Заговорщиков?

— Не строй из себя святую невинность, — сурово произнесла она. — Вы все сговорились. И сегодня вечером я хотела задать вам только один вопрос: с какой целью вы действовали? Если ради моего блага, то я поблагодарю вас и уеду в Африку лечить прокаженных. Если же нет, то мне остается лишь отомстить за себя. — Она пристально смотрела на меня: — Прежде всего я должна отомстить тем, кто был мне дороже всего. Поэтому действовать следует только наверняка. — В голосе ее звучала такая зловещая страсть, что я украдкой кинула взгляд на сумочку, которую она поставила себе на колени, нервно перебирая застежку-молнию. Внезапно все показалось возможным. Эта красная комната — какая прекрасная декорация для убийства! Я решилась на ответный удар:

— Послушай, Поль, в последнее время ты выглядишь страшно усталой. Ты даешь ужин и забываешь пригласить гостей, ты забываешь приготовить еду. А теперь у тебя начинается мания преследования. Ты должна немедленно пойти к врачу. Я устрою тебе встречу с Мардрю.

На мгновение она, казалось, растерялась.

— У меня головные боли, — призналась она,

— но это не главное. Сначала мне надо все выяснить. — Она задумалась. — Я знаю, что склонна ошибочно толковать события. Но факт остается фактом.

— О каких фактах идет речь?

— Почему Клоди отправила последнее письмо с Обезьяньей улицы? Почему в соседнем доме обезьяна строила мне гримасы? Почему, когда я сказала, что не сумею держать салон моды, ты ответила: «Напротив!» Вы обвиняете меня в том, что, пытаясь писать, я обезьянничаю, подражая Анри, обезьянничаю, подражая Клоди с ее туалетами и светской жизнью. Вы упрекаете меня за то, что я принимаю деньги Анри и пренебрегаю бедными. Вы объединились, чтобы убедить меня в моей низости. — Она снова обратила на меня угрожающий взгляд. — Зачем все это: чтобы спасти или погубить меня?

— То, что ты называешь фактами, на деле всего лишь ничего не значащая случайность, — сказала я.

— Ну да, как случайная встреча облаков! Не отрицай, — нетерпеливо добавила Поль. — Ответь мне откровенно, иначе нам никогда не разобраться.

— Никто никогда не думал губить тебя, — ска-

зала я. — Послушай, почему вдруг я стану желать тебе зла? Мы ведь друзья.

— Так и я говорила себе раньше, — ответила Поль. — Стоило мне вас увидеть, и я переставала верить своим подозрениям; это было как наваждение. — Она вдруг поднялась, и тон ее изменился. — Я плохо принимаю тебя, — сказала она. — У меня наверняка есть где-то остатки портвейна. — Она пошла за портвейном и наполнила две рюмки, изобразив улыбку: — Как дела у Надин?

— Неважно. После разрыва с Ламбером она несколько подавленна.

— С кем она спит?

— Думаю, сейчас у нее никого нет.

— У Надин? Согласись, что это странно, — сказала Поль.

— Не так уж странно.

— Она часто встречается с Анри?

— Я же говорила тебе, что мы поссорились, — ответила я.

— Ах, я и забыла об этом! — рассмеялась Поль. Но вдруг перестала смеяться: — Не думай, меня не обманешь.

— Ты же сама читала в «Эспуар» письма Анри и Робера.

— Да, я читала их в номере «Эспуар», который держала в руках. Я с удивлением взглянула на нее.

— Ты хочешь сказать, что этот номер сфабриковали нарочно?

— Разумеется! — молвила Поль, пожав плечами. — Для Анри это детская игра. Я молчала; спорить не имело смысла. Она же твердила свое:

— Значит, по-твоему, Надин не встречается больше с Анри?

— Нет.

— Она ведь никогда его не любила?

— Никогда.

— А почему она поехала с ним в Португалию?

— Ты прекрасно знаешь: ее увлекал роман с ним, а главное, ей хотелось попутешествовать.

Мне казалось, я нахожусь на допросе в полиции; с минуты на минуту на меня могли наброситься и избить.

— И ты позволила ей уехать просто так, — не унималась Поль.

— После смерти Диего я всегда предоставляла ей свободу.

— Ты странная женщина, — заметила Поль. — Мы много говорим обо мне и слишком мало о тебе. — Она снова наполнила мою рюмку. — До-

пей же этот портвейн.

— Спасибо.

Я не понимала, куда она клонит, но чувствовала себя все более неловко. Что она все-таки имела против меня?

— Ведь ты давно уже не спишь с Робером, не так ли? — спросила она.

— Очень давно.

— И у тебя никогда не было любовников?

— У меня случались... незначительные истории.

— Незначительные истории, — медленно повторила Поль. — А сейчас ты тоже переживаешь какую-нибудь незначительную историю?

Не знаю почему, но я почувствовала себя обязанной ответить, словно надеялась, что правда сумеет обезоружить ее безумие.

— В Америке у меня произошла одна очень важная встреча, — отвечала я. — И начался роман с американским писателем, его зовут Льюис Броган...

Я готова была все рассказать ей, но она остановила меня:

— О! Америка — это так далеко. Я имею в виду Францию.

— Я люблю этого американца, — сказала я. — В

мае я поеду к нему. Ни о каких других романах речи быть не может.

— А что говорит об этом Анри? — спросила Поль.

— Анри-то тут при чем? Поль встала со словами:

— Довольно! Прекратим эту игру. Тебе прекрасно известно, что я знаю о том, что ты спишь с Анри. Единственно, чего я хочу, это чтобы ты сказала мне, когда все началось.

— Послушай, — возразила я, — с Анри спала Надин. Надин, а не я.

— Ты бросила его в объятия Надин, чтобы удержать. Я давно это поняла, — сказала Поль. — Ты очень предусмотрительна, но все-таки допустила ошибки.

Взяв свою сумочку, Поль продолжала играть молнией, и я не могла уже оторвать глаз от ее рук. Я тоже встала.

— Если ты так думаешь, — сказала я, — то мне лучше уйти.

— Я угадала правду той ночью в мае сорок пятого, когда вы уверяли, будто потерялись в толпе, — сказала Поль. — Но потом я решила, что это бред: какой идиоткой я была!

— Это действительно был бред, — заметила

я. —Ты и сейчас бредишь. Поль прислонилась к двери.

— Давай кончать, — сказала она. — Вы устроили эту комедию, чтобы избавиться от меня или в моих интересах?

— Иди к врачу, — отвечала я, — к Мардрю или к любому другому. Но обязательно пойди и признайся ему во всем: он тебе скажет, что это самый настоящий бред.

— Ты отказываешься помочь мне? — спросила Поль. — О! Я этого ожидала. Не важно. В конце концов, я разберусь во всем и без твоей помощи.

— Я не в силах помочь тебе, ты не хочешь мне верить.

С минуту, показавшуюся мне вечностью, она пристально смотрела мне в глаза.

— Ты хочешь уйти? Они ждут тебя?

— Никто меня не ждет. Но оставаться бесполезно. Она отошла от двери.

— Уходи. И можешь все повторить им: мне нечего скрывать.

— Поверь мне, Поль, — сказала я, протягивая ей руку, — ты больна, тебе надо лечиться.

Она тоже протянула мне руку.

— Спасибо, что пришла. До встречи.

— До встречи, — ответила я.

На следующий день, когда после обеда мы пили кофе, к нам позвонили. То была Клоди.

— Прошу извинить меня: очень невежливо являться вот так, неожиданно. — Голос у нее был взволнованный и исполнен значения. — Я пришла к вам по поводу Поль; мне кажется, с ней что-то неладно.

— В чем дело?

— Поль должна была обедать у меня; в половине второго она не пришла; я позвонила, но в ответ она громко рассмеялась; я сказала, что мы собираемся садиться за стол, а она закричала: «Садитесь за стол! Пожалуйста, садитесь!», продолжая истерично смеяться.

Огромные глаза Клоди блестели от боязливой радости. Я встала.

— Надо зайти к ней.

— Я так и подумала, но только не решилась пойти одна, — сказала Клоди.

— Пойдем вместе! — предложила я.

Через две минуты машина Клоди доставила нас к дому Поль. Сегодня привычная вывеска «МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ» казалась мне исполненной зловещего смысла. Я позвонила. Дверь не открылась. Я снова нажала на звонок и долго не отпускала; послышались гулкие шаги

по каменной плитке, и появилась Поль; на волосы ее была наброшена фиолетовая шаль; она засмеялась:

— Вас только двое? — Она держала дверь полуоткрытой и глядела на нас злыми глазами. — Вы мне больше не нужны, спасибо.

Она резко захлопнула дверь, и я услыхала, как, удаляясь, она очень громко кричала: «Что за комедия!»

Мы так и остались стоять на тротуаре.

— Я думаю, надо предупредить семью, — сказала Клоди; глаза ее уже не блестели. — В таких случаях это лучшее, что можно сделать.

— Да, у нее есть сестра. — Я колебалась. — Попробую все-таки поговорить с ней.

На этот раз я нажала на первую кнопку, и дверь открылась автоматически; у лестницы меня остановила консьержка; это была маленькая, тщедушная и очень скромная женщина, которая с давних пор вела хозяйство у Поль.

— Вы идете к мадемуазель Марёй?

— Да. С ней, кажется, не все в порядке.

— Вот именно. Я была очень огорчена, — сказала консьержка. — Дней пять, по крайней мере, она совсем ничего не ест, и нижние жильцы говорили мне, что всю ночь она ходит взад-вперед.

Когда я убираю у нее, она всегда что-то бормочет вслух: к этому я привыкла; но в последнее время она стала совсем странной.

— Я попробую отвезти ее отдохнуть.

Я поднялась по лестнице, Клоди — следом за мной. На последней площадке было сумрачно; во тьме что-то светилось: большой белый лист, приколотый кнопками к двери. На бумаге печатными буквами было написано: «Светская обезьяна». Я постучала, но напрасно.

— Какой ужас! — сказала Клоди. — Она убьет себя!

Я прильнула глазом к замочной скважине; Поль стояла на коленях перед камином, вокруг нее лежали пачки бумаги, и она бросала их в огонь. Я снова громко постучала.

— Открой, или я велю сломать дверь!

Поль встала и открыла дверь, спрятав руку за спину.

— Чего от меня хотят?

Она снова опустилась на колени перед огнем; слезы струились по ее щекам, из носа текло, она бросала в огонь свои рукописи и письма. Я положила руку на ее плечо, она с ужасом отпрянула.

— Оставь меня.

— Поль, ты немедленно поедешь со мной к

доктору. Ты сходишь с ума.

— Уходи. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Я тоже тебя ненавижу. Уходи. — Она встала и принялась кричать: — Убирайтесь.

Еще минута, и она готова была завыть. Я направилась к двери и вышла вместе с Клоди.

Клоди телеграфировала сестре Поль, а я позвонила Мардрю, чтобы спросить у него совета, и послала записку Анри. Вечером, во время ужина звонок в дверь заставил нас вздрогнуть. Надин бросилась открывать: это был всего лишь мальчик, который протянул мне клочок бумаги. «Это от мадемуазель Марёй. Я — племянник ее консьержки», — сказал он. Я прочитала вслух: «У меня нет к тебе ненависти, я жду тебя. Приходи сейчас же».

— Неужели ты пойдешь? — спросила Надин.

— Конечно пойду.

— Это ничего не даст.

— Кто знает.

— Но она опасна, — сказала Надин. — Ладно, — добавила она. — Если ты пойдешь, то и я с тобой.

— Пойду я, — заявил Робер. — Надин права, лучше быть вдвоем. Я слабо возражала:

— Поль сочтет это странным.

— Ей столько всего кажется странным.

На самом же деле, когда я вновь очутилась перед домом этой обезумевшей женщины и стала снова подниматься по лестнице с дырявым ковром, я была очень довольна тем, что Робер находится рядом со мной. Надписи на двери больше не было. Поль не протянула нам руки, но лицо ее прояснилось; с церемонным поклоном она сказала:

— Извольте войти.

Я едва удержалась от возгласа: все зеркала были разбиты и палас усыпали осколки стекла; комнату наполнял едкий запах жженых тканей.

— Вот, — заговорила торжественно Поль, — я хотела поблагодарить вас. — Она указала на стулья: — Я хочу всех вас поблагодарить, потому что теперь я поняла.

Голос ее звучал искренне; однако адресованная нам улыбка корчила ее губы, словно она уже не способна была заставить их повиноваться.

— Тебе не за что благодарить меня, — ответила я. — Я ничего не сделала.

— Не лги, — сказала она. — Признаю, вы действовали на благо мне. Только не надо больше лгать. — Она внимательно смотрела на меня. — Ведь это на благо мне, не так ли?

— Да, — молвила я.

— Да, я знаю. Я заслужила это испытание, и вы правильно сделали, что подвергли меня ему. Благодарю вас, что вы поставили меня лицом к лицу с самой собой. Но теперь следует дать мне совет: должна ли я принять синильную кислоту или попытаться искупить свою вину.

— Никакой синильной кислоты, — сказал Робер.

— Хорошо. Но как тогда мне жить?

— Прежде всего ты выпьешь успокоительное и поспишь, — ответила я. — Ты на ногах не стоишь.

— Я не хочу больше заниматься собой, — с силой возразила она. — Я чересчур много думала о себе, не давай мне плохих советов.

Она упала на стул; оставалось только ждать, с минуты на минуту она обмякнет, и с двумя таблетками я уложу ее в постель. Я огляделась по сторонам. Была ли у нее и правда под рукой синильная кислота? Я вспомнила, что в сороковом году она показывала мне маленький коричневатый пузырек, объяснив, что раздобыла яд — «на всякий случай». Пузырек, возможно, находился у нее в сумочке. Я не решалась притронуться к этой сумочке. И снова взглянула на Поль. Ее нижняя челюсть отвисла, все черты расплылись, мне

доводилось наблюдать немало лиц в подобном состоянии; однако Поль была не просто больной, то была Поль, и мне тяжело было видеть ее такой. Она сделала усилие и произнесла:

— Я хочу работать. Хочу вернуть долг Анри. И не хочу больше, чтобы бродяги оскорбляли меня.

— Мы найдем вам работу, — сказал Робер.

— Я думала пойти в прислуги, — продолжала она. — Но конкуренция была бы несправедливой. Какая работа никому не составит конкуренцию?

— Поищем и найдем. Поль провела рукой по лбу:

— Все так трудно! Только что я начала жечь свои платья. Но я не имею права. — Она посмотрела на меня: — Если я продам их старьевщикам, думаешь, они перестанут меня ненавидеть?

— Никто не испытывает к тебе ненависти.

Внезапно она встала, подошла к камину и подобрала тюк одежды: шелковые блестящие платья, серый шерстяной костюм превратились в помятые тряпки.

— Я сейчас же пойду раздам их, — сказала она. — Спустимся все вместе.

— Уже очень поздно, — заметил Робер.

— Кафе бродяг открыто допоздна.

Она набросила на плечи пальто: как помешать

ей выйти? Мы с Робером переглянулись, наверняка Поль это заметила.

— Да, это комедия, — устало сказала она. — Теперь я подражаю сама себе. — Сняв пальто, она бросила его на стул. — И это тоже комедия: я увидела себя, бросающей пальто. — Поль прижала к глазам кулаки: — Я не перестаю видеть себя со стороны!

Я налила в стакан воды и растворила в ней таблетку.

— Выпей, — сказала я. — И ложись!

Взгляд Поль дрогнул; она упала мне на руки:

— Я больна. Я очень больна!

— Да. Но ты будешь лечиться и выздоровеешь, — успокоила я ее.

— Полечите меня, меня надо лечить!

Она дрожала, слезы катились у нее по щекам, ее била лихорадка, и она так вспотела, что, казалось, еще немного — и она растает вся целиком, оставив вместо себя лужицу смолы, черной, как ее глаза.

— Завтра я отвезу тебя в клинику, — сказала я. — А пока выпей. Поль взяла стакан:

— Это поможет мне заснуть?

— Несомненно.

Она залпом выпила стакан.

— Теперь ступай и ложись

— Иду, — послушно сказала она.

Я поднялась наверх вместе с ней и, когда она пошла в туалет, открыла ее сумочку на молнии: в глубине лежал маленький коричневый пузырек, который я спрятала в свой карман.

На следующее утро Поль покорно пошла со мной в клинику, и Мардрю обещал мне, что она выздоровеет: это было делом нескольких недель или нескольких месяцев. Она вылечится; однако, вновь очутившись на улице, я с тревогой спрашивала себя: от чего все-таки ее собираются лечить? Какой она станет потом? О! Догадаться было совсем нетрудно. Она станет такой, как я, как тысячи других: женщиной, которая дожидается смерти, сама уже не зная, зачем живет.

И вот наконец пришел-таки месяц май. Там, в Чикаго, я снова превращусь в женщину влюбленную и любимую: мне это казалось почти невероятным. Даже в самолете я все еще этому не верила. Самолет был старый и летел очень низко; он прибыл из Афин и был забит греческими лавочниками, отправлявшимися искать счастья в Америку; а я не знала, что еду туда искать, ни одного живого образа в моем сердце и никакого желания в теле; совсем не такую странницу в

перчатках ждал Льюис: меня не ждал никто. «Я знала: никогда больше мне его не увидеть», — думала я, когда самолет развернулся над океаном. Остановился мотор, и мы вернулись в Шеннон. Два дня я провела на берегу фиорда, в ненастоящей деревне с игрушечными домиками; по вечерам я пила ирландское виски, днем гуляла по зеленым и серым равнинам, до невозможности грустным. Когда мы приземлились на Азорских островах, на шасси лопнула шина, и нас целые сутки держали в обтянутом кретоном холле. После Гандера самолет угодил в грозу, и, чтобы избежать опасности, пилот взял курс на Новую Шотландию. У меня складывалось впечатление, что остаток своей жизни я проведу, вращаясь вокруг земли и питаясь холодной курятиной. Мы пролетели над пучиной темной воды, которую прочесывал луч маяка, и снова самолет совершил посадку: еще одна эспланада, холл. Да, я обречена была без конца блуждать от эспланады к эспланаде с гудевшей от шума головой и синим чемоданчиком у ног.

И вдруг я увидела его: Льюис. Мы условились, что он будет ждать меня дома, но он оказался там, в толпе, дожидавшейся у двери таможни; странно: он был в крахмальном воротничке и золотых

очках; но еще более странно то, что, заметив его, я ничего не почувствовала. Целый год ожидания, сожалений, угрызений совести, потом это долгое путешествие: и вот теперь я, возможно, узнаю, что не люблю его больше. А он? Любил ли он меня еще? Мне хотелось бежать к нему. Но таможенники не спешили; мелкие греческие лавочники набили свои чемоданы кружевами, и таможенники, пошучивая, изучали их один за другим. Когда наконец они освободили меня, Льюиса уже не было. Я взяла такси и хотела дать адрес шоферу, но забыла номер дома; в ушах у меня звенело, в голове не смолкал шум. Наконец я вспомнила: 1211. Такси тронулось с места; авеню, неоновые вывески, еще и еще авеню. Никогда бы я не освоилась в этом городе, и все-таки мне казалось, что путь не должен быть таким длинным. Наверное, шофер завезет меня в глубь какого-то тупика и убьет: в том настроении, в каком я пребывала, это показалось бы мне гораздо более нормальным, чем возможность вновь увидеть Льюиса. Шофер обернулся:

— Тысяча двести одиннадцать — такого номера нет.

— Есть: я хорошо знаю дом.

— Возможно, они поменяли номера, — сказал

шофер. — Проедем еще раз авеню в другом направлении.

Он медленно ехал вдоль тротуара. Мне почудилось, я узнаю перекрестки, пустыри, рельсы: однако и рельсы, и пустыри так похожи друг на друга. Водоем, виадук показались мне знакомыми; можно было подумать, что все вещи еще существуют, но поменяли свои места. «Какое безумие!» — думала я. Уезжая, люди говорят: «Я вернусь», потому что слишком тяжело уезжать навсегда, только они обманывают себя: никто не возвращается. Проходит год, все меняется, и ничего уже не узнаешь. Сегодня Льюис носил крахмальный воротничок, и, когда я увидела его, сердце мое не дрогнуло, а теперь и дом его исчез. Я опомнилась, сказав себе: «Надо просто позвонить. Какой номер?» Оказывается, я забыла. Внезапно я увидела красную вывеску: «ШИЛТЦ» и уродливые лица, смеявшиеся на какой-то афише.

— Остановитесь! Остановитесь! Это здесь, — крикнула я.

— Это номер тысяча сто двенадцать, — сказал шофер.

— Тысяча сто двенадцать: так и есть!

Я выскочила из такси и в светящемся проеме окна заметила наклонившийся силуэт; он ждал,

ждал меня и тут же бросился ко мне, это был именно он: ни крахмального воротничка, ни очков, зато на голове — бейсбольный шлем, его руки уже сжимали меня:

— Анна!

— Льюис!

— Наконец-то! Я столько ждал! Как долго!

— Да, долго, очень долго!

Я знаю, он меня не нес, но не помню, чтобы я поднималась по лестнице на своих ватных ногах, и вот уже мы обнимались посреди желтой кухни: печка, линолеум, мексиканское покрывало — все вещи были на своих местах. Я пробормотала:

— Зачем вам этот шлем?

— Не знаю. Просто он был здесь. Сорвав шлем, Льюис бросил его на стол.

— Я видела в аэропорту вашего двойника: на нем были очки и накладной крахмальный воротничок. Он напугал меня: я думала, что это вы, и ничего не почувствовала.

— Я тоже испугался. Час назад под окном прошли двое мужчин, они несли женщину — мертвую или в обмороке, и я подумал, что это вы.

— Но теперь это действительно вы и это я.

Льюис крепко прижал меня к себе, потом разомкнул объятия:

— Вы устали? Хотите пить? Хотите есть?

— Нет.

Я снова прильнула к нему; мои губы онемели, застыли и не давали произнести мне ни слова; я прижала их к его губам, он положил меня на кровать:

— Анна! Я каждую ночь ждал вас!

Я закрыла глаза. Снова я ощущала на себе тело мужчины, тяжесть переполнявшего его доверия и желания; это был Льюис, он не изменился, не изменились ни я, ни наша любовь. Я уехала, но вернулась; я вновь обрела свое место и освободилась от себя.

Следующий день мы провели, занимаясь багажом и любовью: долгий день, длившийся до утра. В поезде мы спали щека к щеке. Я еще не совсем проснулась, когда на пристани Огайо увидела пароход с гребными колесами, о котором рассказывал мне в своих письмах Льюис; я столько о нем думала, хотя и не принимала всерьез, что даже теперь с трудом верила своим глазам. Между тем пароход был вполне реален, и я поднялась на борт. Я с умилением осматривала нашу каюту. В Чикаго я жила у Льюиса, а здесь была наша каюта, общая на двоих: стало быть, мы действительно стали парой. Да, теперь я знала:

вернуться можно, и я буду возвращаться каждый год; каждый год нашей любви предстоит преодолевать ночь, более долгую, чем полярная: но в один прекрасный день взойдет счастье, чтобы уже не заходить месяца три-четыре; из глубины ночи мы будем ждать восхода этого дня, будем ждать его вместе, отсутствие больше не разлучит нас: мы соединились навеки.

— Отплываем, идите скорее! — позвал Льюис.

Он бегом поднялся по лестнице, я — следом за ним; наклонившись над леером, он вертел головой во все стороны:

— Посмотрите, как красиво: небо и земля сливаются в воде.

Огни Цинциннати сверкали под бескрайними, усеянными звездами небесами, и мы скользили по огонькам. Мы сели и долго не двигались, глядя, как бледнеют и исчезают неоновые рекламы. Льюис прижал меня к себе.

— Подумать только, ведь я никогда не верил во все это, — сказал он.

— А все — это что?

— Любить и быть любимым.

— Во что же вы верили?

— Постоянная комната, регулярная еда, женщины на одну ночь: надежность. Я думал, что не

следует требовать большего. Думал, все одиноки и навсегда. И вдруг — вы!

У нас над головами по громкоговорителю выкрикивали цифры: пассажиры играли в бинго. Все они были такими старыми, что я утратила половину своего возраста. Мне было двадцать лет, я переживала свою первую любовь, и это было первое мое путешествие. Льюис целовал мои волосы, глаза, губы:

— Давайте спустимся: хотите?

— Вы прекрасно знаете, что я никогда не говорю нет.

— Но я так люблю, когда вы отвечаете: да. Вы так мило это говорите!

— Да, — сказала я. — Да.

Какая радость — говорить только да. С моей уже потрепанной жизнью и с не очень свежей шкурой я давала счастье человеку, которого любила: какое счастье!

Шесть дней мы плыли вниз по Огайо и Миссисипи. На стоянках мы сторонились других пассажиров и до изнеможения бродили по раскаленным черным городам. В остальное время мы беседовали, читали, курили, лежа под солнцем на палубе и ничего не делая. Каждый день нас встречал все тот же пейзаж, состоявший из воды

и травы, все тот же шум машин и воды: но нам нравилось, что по утрам возрождалось все то же утро, а по вечерам — все тот же вечер.

Это и есть счастье: нам все было в радость. Мы весело покидали пароход. Нам обоим знаком был Новый Орлеан, но для Льюиса и для меня это был не один и тот же город. Он показал мне густонаселенные кварталы, где пятнадцать лет назад он торговал вразнос туалетным мылом, показал пакгаузы, где питался краденными бананами, улочки с борделями, по которым он ходил с бьющимся сердцем, пылающим членом и пустыми карманами. Порой он, казалось, едва ли не сожалел о том времени нищеты, гнева, буйства и неутоленных желаний. Но когда я водила его по французскому кварталу, когда он расхаживал туристом по этим барам и патио, он ликовал, словно сыграл с судьбой отличную шутку. Раньше он никогда не летал на самолете, и во время всего перелета сидел, уткнувшись носом в окно, и смеялся облакам.

Я тоже радовалась. Какая новизна! Когда неподвижные звезды начинают вальсировать в небе и земля преображается, то кажется, будто и сам ты родился заново. Для меня Юкатан был лишенным реальности названием, написанным мелкими

буквами в атласе; ничто не связывало меня с ним, даже стремление попасть туда или картинка, и вот он воочию представал передо мной. Самолет отяжелел, устремившись к земле, и я увидела, как от одного края неба до другого развертывается равнина серо-зеленого бархата, где тень от облаков казалась впадинами черных озер. Я ехала по неровной дороге между полями голубых агав, над которыми время от времени неожиданно возникали плоские кроны цезальпиниевых деревьев с ярко-красными цветами. Мы проследовали по улице, окаймленной глинобитными домиками под соломенными крышами; солнце сияло вовсю. Оставив чемоданы в вестибюле гостиницы, своего рода пышной гниющей оранжерее, где, стоя на одной ноге, дремали розовые фламинго, мы снова отправились в путь. На белых площадях в тени блестящих деревьев мужчины в белом предавались мечтам под сенью соломенных шляп. Я узнавала небо, тишину Толедо и Авилы; вновь увидеть Испанию по эту сторону океана — это ошеломляло меня еще больше, чем возможность сказать себе: «Я на Юкатане».

— Возьмем один из этих маленьких фиакров, — предложил Льюис.

На углу площади стояла вереница черных фи-

акров с жесткими спинками. Льюис разбудил одного кучера, и мы сели на узенькую скамейку. Льюис засмеялся:

— А теперь куда нам ехать? Вам известно?

— Скажите кучеру, чтобы он покатал нас и отвез на почту: я жду писем.

В Южной Калифорнии Льюис выучил несколько испанских слов. Он обратился к кучеру с маленькой речью, и лошадь не спеша двинулась в путь. Мы проследовали по роскошным и обветшалым улицам; дождь, нищета подточили виллы, построенные в суровом кастильском стиле; статуи разрушались за проржавевшими оградами садов; пышные цветы — красные, фиолетовые и синие — умирали у подножия наполовину голых деревьев; выстроившись в ряд на гребне стен, застыли в ожидании большие черные птицы. Всюду веяло смертью. Я была рада очутиться на краю индейского рынка: под тентами, истерзанными солнцем, копошилась оживленная толпа.

— Подождите меня пять минут, — сказала я Льюису.

Он сел на ступеньку лестницы, а я вошла в почтовое отделение. Пришло письмо от Робера; я тут же распечатала его. Робер правил гранки своей

книги, писал статью для «Вижиланс», политическую статью. Хорошо. Я была права, не слишком тогда встревожившись: остерегаясь политики и литературы, он вовсе не был готов отказаться от них. Робер писал, что в Париже пасмурно. Я положила письмо в сумочку и вышла: как далек был от меня Париж! Каким голубым было небо! Я взяла Льюиса за руку:

— Все в порядке.

Мы затерялись в толпе под сенью тентов. Продавали фрукты, рыбу, сандалии, хлопковые ткани; женщины носили длинные вышитые юбки, мне нравились их блестящие косы и застывшие лица; маленькие индейцы много смеялись, показывая свои зубы. Мы сели в таверне, где пахло свежей рыбой, на бочку перед нами поставили черное пенистое пиво; там находились одни лишь мужчины, все молодые; они болтали без умолку и смеялись.

— У них счастливый вид, у этих индейцев, — заметила я. Льюис пожал плечами:

— Легко сказать. В Италии тоже, когда прогуливаешься под ярким солнцем, люди выглядят счастливыми.

— Это верно, — согласилась я. — Надо получше присмотреться.

— Я думал об этом, пока ждал вас, — сказал Льюис. — Для нас все выглядит празднично, потому что путешествие — это праздник. Но я уверен, что у них — никакого праздника. — Он выплюнул оливковую косточку. — Когда приезжаешь вот так, туристом, то решительно ничего не понимаешь. Я улыбнулась Льюису:

— Купим маленький домик. Будем спать в гамаках, я буду плести вам сандалии, и мы научимся говорить по-индейски.

— Мне хотелось бы, — сказал Льюис.

— Ах! — вздохнула я. — Понадобилось бы иметь несколько жизней. Льюис взглянул на меня.

— Вы неплохо устраиваетесь, — с усмешкой заметил он.

— Каким образом?

— Ухитряетесь, мне кажется, иметь две жизни.

Кровь бросилась мне в лицо. В голосе Льюиса не было враждебности, но и большой нежности тоже. Может, это из-за парижского письма? Внезапно мне стало ясно, что не одна я думаю о нашей истории: он тоже о ней думал, но только на свой лад. Я говорила себе: я вернулась, я всегда буду возвращаться. Но он, возможно, говорил себе: она всегда будет уезжать. Что ему ответить? Я растерялась и в страхе спросила:

— Льюис, ведь мы никогда не станем врагами?

— Врагами? Кто смог бы стать вашим врагом?

Он буквально оторопел; разумеется, слова, сорвавшиеся с моих губ, были глупыми. Он улыбнулся мне, я улыбнулась ему и внезапно испугалась: неужели когда-нибудь я буду наказана за то, что осмелилась любить, не отдавая себя целиком?

Мы поужинали в гостинице между двумя розовыми фламинго. Туристическое агентство Мериды направило к нам маленького мексиканца, которого Льюис едва слушал от нетерпения. Я же и вовсе не слушала, продолжая спрашивать себя: что творится у него в голове? Мы никогда не говорили о будущем, Льюис не задавал мне вопросов: быть может, мне самой следовало задать их ему. Но год назад я ведь сказала ему примерно все, что имела сказать. Ничего нового добавить было нельзя. К тому же слова — дело опасное, обычно рискуешь все запутать. Надо было жить этой любовью; позже, когда у нее образуется долгое прошлое, еще будет время обо всем поговорить.

— Мадам не может ехать в Чичен-Ицу на автобусе, — заявил маленький мексиканец, широко улыбаясь мне. — Автомобиль будет в вашем

распоряжении целый день, шофер покажет вам развалины, он будет вашим гидом.

— Мы терпеть не можем гидов и любим ходить пешком, — возразил Льюис.

— Отель «Майя» делает скидки для клиентов агентства.

— Мы остановимся в «Виктории», — заявила я.

— Это невозможно: «Виктория» — туземный постоялый двор, — сказал туземец.

В ответ на наше молчание он поклонился с унылой улыбкой:

— Вам предстоит очень скверный день!

На самом деле автобус, доставивший нас на следующий день в Чичен-Ицу, оказался вполне комфортабельным, и мы почувствовали гордость за свое упрямство, когда, проходя мимо парка отеля «Майя», услыхали американскую речь.

— Вы слышите их! — сказал мне Льюис. — Не для того же я все-таки приехал в Мексику, чтобы смотреть на американцев!

Он держал в руке небольшую дорожную сумку, и мы наугад продвигались по топкой дорожке; тяжелые капли падали с деревьев, скрывавших от нас небо; мы ничего не видели, меня оглушил волнующий запах перегноя, гнилых листьев, умирающих цветов. Во мраке прыгали невиди-

мые кошки с горящими глазами; я показала на их зрачки без туловища:

— Что это такое?

— Светлячки. Они есть и в Иллинойсе. Если штук пять поместить под стекло от лампы, то можно читать при их свете.

— Это было бы весьма кстати! — заметила я. — Я ничего не вижу. Вы уверены, что существует другая гостиница?

— Абсолютно уверен!

Я начинала сомневаться в этом. Ни одного жилища или человеческого звука. Наконец мы услышали испанскую речь; смутно виднелась какая-то стена: без единого огонька. Льюис толкнул калитку, однако войти мы не решились: хрюкали свиньи, кудахтали куры и откуда-то доносился хор лягушек.

— Это разбойничий притон, — прошептала я. Льюис крикнул:

— Здесь гостиница?

Послышался какой-то шум, мелькнула свеча, потом вдруг зажегся свет; мы находились на постоялом дворе, нам вежливо улыбался мужчина. Он что-то сказал по-испански. Льюис перевел мне:

— Он извиняется; произошла небольшая ава-

рия с электричеством. У него есть комнаты.

Наша комната с одной стороны выходила во двор, с другой — на джунгли, в ней было пусто, но простыни под кисейными занавесками от москитов оказались белыми. На ужин нам подали прилипавшие к зубам тортильи {Тортильи — маисовые лепешки в Центральной Америке. (Примеч. пер.)} [empty link], фиолетовые бобы и костлявую курицу под соусом, от которого у меня горело горло. Столовую украшали лубочные картинки и ярмарочный фарфор. На календаре полуобнаженные индейцы в перьях играли в баскетбол посреди древнего стадиона. Сидевший на скамейке во дворе в окружении свиней и кур мексиканец бренчал на гитаре.

— Как далеко до Чикаго! — сказала я. — И до Парижа. Все так далеко!

— Да, теперь мы начинаем по-настоящему путешествовать, — оживленно отозвался Льюис.

Я сжала его руку. В это мгновение я прекрасно знала, что у него в голове: звук гитары, хор лягушек и я. Я слушала лягушек, гитару и целиком принадлежала ему. Для него, для меня, для нас не существовало ничего, только мы.

Всю ночь лягушачье пение наполняло нашу комнату; на рассвете защебетали тысячи птиц.

Когда мы вошли на территорию старинного города, то оказались там одни. Льюис бросился к храмам, я не спеша последовала за ним. Я была еще более растерянна, чем по прибытии на Юкатан. До сих пор древность олицетворяло для меня Средиземное море; на Акрополе, на Форуме я без удивления созерцала свое собственное прошлое, но ничто не связывало с моей историей Чичен-Ицу. Неделей раньше я не знала даже названия этой гигантской геометрической Мекки с напоенными кровью камнями. А теперь она была тут, громадная, безмолвная, давившая на землю тяжестью своих правильной формы сооружений и неистовых изваяний. Храмы, алтари, изображенный на календаре стадион, рынок с тысячью колонн, еще храмы с четкими углами и немыслимыми барельефами. Поискав Льюиса глазами, я обнаружила его на самом верху большой пирамиды; он махал рукой и выглядел таким маленьким. Лестница была крутой, и я поднималась по ней, не глядя под ноги, устремив взгляд на Льюиса.

— Где мы? — спросила я.

— Я и сам не знаю.

За крепостными стенами, насколько хватал глаз, простирались зеленые джунгли, где места-

ми вспыхивали красные цветы цезальпиниевых деревьев. И никаких полей.

— А где они выращивают свой маис? — спросила я.

— Чему же вас учили в школе? — ответил самодовольным тоном Льюис. — Во время сева они выжигают часть джунглей; после сбора урожая деревья сразу вырастают, и следов не видно.

— Откуда вы это знаете?

— О! Я всегда это знал. Я рассмеялась.

— Неправда! Вы наверняка вычитали это в какой-нибудь книге минувшей ночью, пока я спала. Иначе вы сказали бы мне это еще вчера в автобусе.

Он с виноватым видом ответил:

— Странно все-таки, даже в мелочах вы всегда разоблачаете меня. Да, вчера вечером я нашел книгу в гостинице и хотел произвести на вас впечатление.

— Продолжайте в том же духе. Что еще вы узнали?

— Маис растет сам по себе. Крестьянам приходится работать всего несколько недель в году. Вот откуда у них бралось время, чтобы построить столько храмов. — И с неожиданной запальчивостью он добавил: — Представляете себе такую

жизнь! Есть тортильи и таскать камни под этим солнцем! Есть и потеть, надрываясь на работе, потеть и есть, и так изо дня в день! Человеческих жертв было не так уж много, и они — не самое худшее. Но подумайте о миллионах несчастных, которых воины и жрецы превратили во вьючных животных! И почему? Из-за дурацкого тщеславия!

Он с неприязнью смотрел на пирамиды, некогда устремлявшиеся к солнцу, а ныне, как нам казалось, тяготившие землю; я не разделяла его гнева, быть может, потому, что мне никогда не приходилось надрываться ради того, чтобы есть, и еще потому, что все эти бедствия были слишком давними. Тем не менее я не могла, как сделала бы это десять лет назад, предаться без задней мысли созерцанию раскинувшейся передо мною мертвой красоты. Эта цивилизация, которая ради каменных игр принесла в жертву столько человеческих жизней, ничего после себя не оставила; еще более, чем жестокость, меня оскорбляло ее бесплодие. Существует лишь горстка археологов и эстетов, интересующихся монументами, которые машинально фотографируют туристы.

— Может, спустимся? — предложила я.

— А как?

Казалось, все четыре стены, поддерживавшие площадку, были вертикальными; одну из них бороздили полосы света и тени, нечего было и думать поставить туда ногу. Льюис рассмеялся:

— Я никогда не говорил вам, что у меня страшно кружится голова, стоит мне на два метра оторваться от земли? Я сам не заметил, как поднялся, но ни за что не смогу спуститься.

— И все-таки придется!

Льюис отступил на середину площадки:

— Невозможно.

Он снова улыбнулся:

— Десять лет назад в Лос-Анджелесе я умирал с голода и вдруг нашел работу: надо было оштукатурить верхушку заводской трубы; меня подняли в люльке; я провел в ней три часа, не решаясь выйти. В конце концов меня спустили, и я ушел с пустыми карманами. А между тем я два дня ничего не ел. Вот что это значит!

— Странно, что вы подвержены головокружениям! — сказала я. — Вы столько всего повидали, хлебнули горя: я считала вас более закаленным! — Я приблизилась к лестнице. — Там целое семейство американцев готовится подняться: спускаемся!

— Вы не боитесь?

— Конечно боюсь.

— Тогда пустите меня, я пойду впереди вас, — сказал Льюис.

Мы спустились по лестнице наискосок, держась за руки, и обливались потом, когда добрались до низа; какой-то гид объяснял туристам тайны души майя.

— Какая странная вещь — путешествия, — прошептала я.

— Да, очень странная, — согласился Льюис, увлекая меня за собой: — Пойдем к себе, выпьем по стаканчику.

После полудня стояла сильная жара, мы дремали в гамаках у двери нашей комнаты. Потом вдруг неодолимое, как тропизм{115}, любопытство заставило меня повернуть голову в сторону леса.

— Мне очень хочется прогуляться по этим лесам, — сказала я.

— Почему бы и нет? — отозвался Льюис.

Мы углубились во влажную, величавую тишину джунглей; ни одного туриста; красные муравьи несли на плечах острые травинки, группками направляясь к невидимым цитаделям; еще нам встретилось скопление бабочек — розовых, голубых, зеленых, желтых, — улетевших при шорохе наших шагов; дремлющая в

лианах вода падала на нас крупными каплями. Время от времени в конце тропинки появлялся некий таинственный холм: погребенный под каменистой оболочкой какой-нибудь храм или разрушенный дворец; некоторые наполовину были откопаны, но их душила трава.

— Можно подумать, что никто никогда не приходил сюда, — заметила я.

— Да, — без энтузиазма ответил Льюис.

— Посмотрите в конец тропинки: какой-то большой храм.

— Да, — снова сказал Льюис.

Это был очень большой храм. Золотистые ящерицы грелись среди камней; изваяния были разрушены, за исключением корчившего гримасы дракона. Я показала на него Льюису, лицо которого оставалось безучастным:

— Вы видите?

— Вижу, — ответил Льюис.

Внезапно он пнул ногой в морду дракона.

— Что вы делаете?

— Я ударил его ногой, — сказал Льюис.

— Почему?

— Мне не понравилось, как он глядел на меня. Льюис присел на камень, и я спросила:

— Вы не хотите осмотреть храм?

— Осматривайте без меня.

Я обошла храм, но без особого интереса: душа не лежала; я видела лишь камни, нагроможденные друг на друга, которые ничего не означали. Вернувшись, я увидела, что Льюис так и не шелохнулся, выражение его лица было до того отсутствующим, что, казалось, будто душа его покинула свою бренную оболочку.

— Вы достаточно насмотрелись? — спросил он.

— Хотите вернуться?

— Если вы достаточно насмотрелись.

— Вполне, — ответила я. — Вернемся.

Смеркалось. Появились первые светлячки. Я с тревогой подумала, что в итоге плохо знала Льюиса. Он был таким непосредственным, таким искренним, что казался мне простым! Но бывает ли кто-нибудь прост? Когда он ударил ногой по камню, вид у него был недобрый. А эти головокружения, что они означали? Шли мы молча: о чем он думал?

— О чем вы думаете? — спросила я.

— Я думаю о доме в Чикаго. Я оставил включенную лампу, проходя мимо, люди полагают, что там кто-то есть, а никого нет.

В голосе его звучала печаль.

— Вы сожалеете, что находитесь здесь? — спро-

сила я.

— Да разве я здесь? — усмехнулся Льюис. — Странно: вы как ребенок, вам все кажется реальным, а для меня это похоже на сон: сон, приснившийся кому-то другому.

— А ведь это действительно вы, — возразила я. — И это я.

Льюис не ответил. Мы вышли из джунглей. Стемнело; в небе знакомые созвездия висели в непривычном положении среди россыпи совсем незнакомых звезд. Заметив огни постоялого двора, Льюис улыбнулся:

— Наконец-то! Я чувствовал себя потерянным!

— Потерянным?

— Эти руины такие старые! Слишком старые.

— Я люблю чувствовать себя потерянной, — сказала я.

— А я — нет. Я чересчур долго ощущал себя потерянным, даже думал, что не найду к себе дорогу. И теперь ни за что на свете не примусь за старое.

В его голосе слышался вызов, и я смутно почувствовала угрозу для себя.

— Иногда надо уметь терять себя, — сказала я, — если ничем не рискуешь, ничего не получишь.

— Я предпочитаю ничего не иметь, чем подвергаться риску, — резким тоном ответил Льюис.

Я его понимала: он с таким трудом добился некоторой безопасности, что стремился во что бы то ни стало сохранить ее. А между тем как опрометчиво он полюбил меня. Неужели он пожалеет об этом?

— Ваш пинок — это следствие того, что вы чувствовали себя потерянным? — спросила я.

— Нет. Мне не понравился зверюга.

— Вид у вас и правда был злой.

— А я такой и есть.

— Но не со мной.

— С вами это трудно, — улыбнулся Льюис. — Один раз я попробовал, в прошлом году, и вы сразу заплакали.

Мы вошли к себе в комнату, и я спросила:

— Льюис, вы не сердитесь на меня?

— За что? — сказал он.

— Не знаю. За все и ни за что. За две мои жизни.

— Если бы у вас была только одна жизнь, вы бы здесь не оказались, — возразил Льюис.

Я с беспокойством смотрела на него:

— Вы сердитесь на меня за это?

— Нет, — ответил Льюис. — Я на вас не сержусь. — Он притянул меня к себе: — Я вас хочу.

Откинув кисейную занавеску от комаров, он

бросил меня на кровать. Когда мы, нагие, тесно прижались друг к другу, он радостным тоном произнес:

— Вот самые прекрасные наши путешествия!

Лицо его просияло; он уже не чувствовал себя потерянным; ему было хорошо там, где он находился, в моем лоне. И я тоже ни о чем не тревожилась. Покой, радость, которые мы обретали в объятиях друг друга, пересилят все остальное.

Путешествовать, странствовать по свету, чтобы своими глазами видеть то, чего больше нет, что вас не касается, — занятие сомнительное. Мы с этим были согласны, и Льюис, и я; хотя обоим было чрезвычайно интересно. В Уксмал мы попали в воскресенье, в тени храмов индейцы вынимали из корзинок припасы для пикника; держась за цепи, мы вслед за женщинами в длинных юбках взобрались по стершимся ступенькам. Двумя днями позже мы пролетали над лесами, вдоволь нахлебавшимися дождя; самолет поднялся высоко в небо и не опустился: сама земля ринулась нам навстречу; она преподнесла нам лежавшее среди зелени синее озеро и плоский город с ровным рисунком в клетку, похожим на школьную тетрадь: Гватемалу, крайнюю нищету ее улиц с длинными приземистыми домами по бокам,

ее роскошный рынок, ее одетых в царственные лохмотья босых крестьянок, которые несли на голове корзины цветов и фруктов. В саду гостиницы в Антигуа лавина красных, фиолетовых и синих цветов свисала вдоль стволов деревьев и полностью закрывала стены; неистово хлестал теплый дождь, и привязанный попугай со смехом сновал вверх-вниз по своей жердочке. На берегу озера Атитлан мы спали в бунгало, украшенном огромными охапками гвоздик; пароход, на котором женщины, увенчанные красными лентами, баюкали грудных младенцев, завернутых с головы до плеч в цилиндрический капюшон, доставил нас в Сантьяго. В один из четвергов мы высадились на рынке Чичикастенанго. Площадь была заполнена палатками и лотками; женщины в вышитых блузках и отливающих всевозможными красками юбках продавали зерно, муку, хлеб, сушеные фрукты, тощую птицу, глиняную посуду, мешки, пояса, сандалии и километры тканей таких красивых расцветок — сродни витражам и керамике, что даже Льюис ликовал, ощупывая их.

— Купите эту красную материю! — говорил он. — Или же зеленую с птичками.

— Подождите, — отвечала я. — Надо все по-

смотреть.

Самые чудесные из всех чудес были очень старые huipils {Сорочки, рубашки индейцев (исп.)} [empty link], которые носили некоторые крестьянки. Я показала Льюису на одну из тех блузок со старинной вышивкой, где небесно-голубой цвет смешивался с приглушенным красным и золотым:

— Вот что я хотела бы купить, если бы это продавалось.

Льюис внимательно посмотрел на старую индеанку с длинными косами:

— Может, она и продала бы.

— Никогда я не осмелилась бы предложить ей это. Да и на каком языке?

Мы пошли бродить дальше. Женщины месили ладонями тесто для тортильи, на огне томились кастрюли с желтым рагу; семейства закусывали. По бокам площади стояли две белые церкви, к которым поднимались по лестницам; на ступеньках мужчины, одетые опереточными тореадорами, размахивали кадилами. До большой церкви мы добрались сквозь густой дым, напомнивший мне мое благочестивое детство.

— Имеем ли мы право войти? — спросила я.

— А что они могут нам сделать? — отвечал

Льюис.

Мы вошли, и я чуть не задохнулась от тяжелых пахучих ароматов. Ни стульев, ни скамеек, ни одного сиденья. Покрытый плиткой пол походил на цветник, состоявший из свечей с розовым пламенем; индейцы бормотали молитвы, передавая из рук в руки маисовые колосья. На алтаре лежала мумия, украшенная парчой и цветами; напротив, увешанный тканями и драгоценностями, находился большой окровавленный Христос с измученным лицом.

— Если бы можно было, по крайней мере, понять, что они говорят! — сказал Льюис.

Он смотрел на старика с шершавыми ступнями, который благословлял стоявших на коленях женщин. Я потянула Льюиса за руку:

— Пошли. От этого фимиама у меня разболелась голова. Когда мы вновь очутились на улице, Льюис сказал:

— Знаете, я не думаю, что индейцы очень счастливы. Одежда у них веселая, но сами они — нет.

Мы купили пояса, сандалии, ткани; старуха в чудесной huipil была по-прежнему там, но я не решилась подступиться к ней. На площади в кафе-бакалее несколько индейцев пили, собравшись вокруг стола; жены сидели у их ног.

Мы заказали текилу {Текила — водка из мексиканской агавы. (Примеч. пер.)} [empty link], нам подали ее с солью и маленькими зелеными лимонами. Два молодых индейца, шатаясь, танцевали ради собственного удовольствия; они настолько не способны были веселиться, что душа разрывалась на них глядя. Снаружи торговцы начали складывать свои лотки; из глиняной посуды они делали сложные сооружения, которые водружали себе на спину; накинув на лоб кожаный ремень, помогавший им поддерживать ношу, они неторопливо пускались в путь.

— Вы только посмотрите! — сказал Льюис. — Они принимают себя за вьючных животных.

— Наверное, они слишком бедны, чтобы держать ослов.

— Думаю, да. Но посмотрите, с какой покорностью они принимают свою нищету: это-то больше всего и раздражает. А что, если нам вернуться?

— Давайте вернемся.

Мы пошли в гостиницу, но у двери он меня оставил:

— Я забыл купить сигареты. Сейчас приду.

У нас в камине ярко горел огонь; этот маленький солнечный городок взобрался выше, чем любая, самая высокая французская деревушка, и

ночь обещала быть прохладной. Я легла возле огня, приятно пахнувшего смолой. Мне нравилась эта комната с розовой штукатуркой на стенах и всеми ее коврами. Я думала о Льюисе: меня радовала возможность побыть пять минут одной, потому что это позволяло мне думать о нем. Нет, красочный фасад не действовал на Льюиса. Покажи ему храмы, пейзажи, рынки, он сразу заглянет дальше: за всем этим он видел людей, и у него были свои мысли насчет того, каким должен быть человек: прежде всего это личность, которая не смиряется, личность, у которой есть желания и которая борется, чтобы удовлетворить их. Сам он довольствовался малым, но горячо воспротивился тому, чтобы его лишили всего. Его романы отражали странную смесь нежности и жестокости, потому что чересчур податливые жертвы внушали ему почти такую же ненависть, как их угнетатели. Он отдавал свою симпатию людям, которые пытались, по крайней мере, осуществить свое личное бегство в литературу, искусство, наркотик, на худой конец преступление, но лучше в счастье. И по-настоящему он восхищался лишь великими революционерами. Он не больше меня был склонен к политике, но весьма сентиментально относился к Сталину,

Мао Цзэдуну, Тито. Американские коммунисты казались ему глупыми и мягкотелыми, но мне думалось, что во Франции он стал бы коммунистом: по крайней мере, попытался бы. Я посмотрела на дверь: почему он не возвращается? И уже начинала терять терпение, когда он вошел с пакетом в руках.

— Что вы там делали? — спросила я.

— Я получил особое задание.

— От кого?

— От себя самого.

— И вы его выполнили?

— Разумеется.

Он бросил мне пакет; я развернула бумагу. И небесно-голубой цвет бросился мне в глаза: то была чудесная huipil.

— Она довольно грязная.

Я с наслаждением водила пальцем по причудливому, но продуманному рисунку вышивки.

— Какая красота! Как вам удалось заполучить это?

— Я взял с собой привратника из гостиницы. Старуха никак не желала продавать свои лохмотья, но, когда ей предложили поменять старую huipil на новую, она сдалась. Похоже, она даже приняла меня за идиота. Но затем мне пришлось

угостить стаканчиком привратника, и он не отпускал меня: хочет отправиться на поиски счастья в Нью-Йорк.

Я повисла на шее Льюиса:

— Почему вы так добры ко мне?

— Я уже говорил вам: я вовсе не добрый. Я большой эгоист. Дело в том, что вы — кусочек меня самого. — Он обнял меня еще крепче. — Вас так сладко любить.

Ах! Как полезны нам были наши тела в те минуты, когда нежность переполняла нас. Я прильнула к Льюису. Отчего его тело могло быть столь привычным и вместе с тем столь волнующим? Внезапно его ласка пронзила меня до мозга костей. Мы рухнули на ковер перед потрескивавшими язычками пламени.

— Анна! Вы знаете, как я люблю вас? Знаете, хоть я не часто говорю вам об этом?

— Я знаю. Вы тоже ведь знаете?

— Знаю.

Мы разбросали свою одежду по всем четырем углам комнаты.

— Почему я так вас хочу? — сказал Льюис.

— Потому что я так хочу вас.

Он овладел мной на ковре, потом снова — на кровати, и я долго еще лежала, ткнувшись ему

под мышку.

— Как я люблю быть рядом с вами!

— Как я люблю, когда вы рядом со мной!

Через некоторое время Льюис приподнялся на локте:

— У меня пересохло в горле. А у вас?

— Я охотно выпила бы стаканчик.

Он снял телефонную трубку и заказал две порции виски. Я надела домашнее платье, а он — свой старый белый халат.

— Вы должны выбросить эту гадость, — сказала я. Он плотно завернулся в махровую ткань:

— Ни за что! Дождусь, когда он меня покинет.

Льюис вовсе не был скупым, но терпеть не мог выбрасывать вещи, а главное, свою старую одежду. Нам принесли виски, и мы сели у огонька. На улице начался дождь, дожди шли каждую ночь.

— Мне хорошо! — молвила я.

— Мне тоже, — сказал Льюис. Он обнял меня за плечи: — Анна! Останьтесь со мной.

У меня перехватило дыхание.

— Льюис! Вы знаете, как мне этого хотелось бы! Так хотелось бы! Но я не могу.

— Почему?

— Я уже объясняла вам в прошлом году.

Я залпом выпила свой стакан, и на меня разом

обрушились все прежние страхи: испуг в клубе Делиса, в Мериде, в Чичен-Ице и многие другие, которые я поспешила погасить. Именно это я и предчувствовала, однажды он скажет мне: останьтесь, а мне придется ответить нет. Что тогда произойдет? Если бы я потеряла Льюиса в прошлом году, я еще могла бы утешиться, теперь же лишиться его — это все равно, что быть погребенной заживо.

— Вы замужем, — сказал он. — Но вы можете развестись. Мы можем жить вместе неженатыми. — Он наклонился ко мне: — Вы — моя жена, единственная моя жена.

Слезы выступили у меня на глазах.

— Я люблю вас, — сказала я. — Вы знаете, как я вас люблю. Но в моем возрасте нельзя отречься от всей своей жизни: слишком поздно. Мы встретились слишком поздно.

— Для меня нет, — возразил он.

— Вы думаете? — сказала я. — А если я попрошу вас переехать жить в Париж навсегда, вы приедете?

— Я не говорю по-французски, — с живостью возразил Льюис. Я улыбнулась:

— Этому можно научиться. В Париже жизнь не дороже, чем в Чикаго, а перевезти пишущую

машинку совсем нетрудно. Так вы приедете?

Лицо Льюиса помрачнело:

— В Париже я не смогу писать.

— Думаю, что нет, — согласилась я. — Вот видите, за границей вы не смогли бы писать и ваша жизнь потеряла бы всякий смысл. Я не пишу, но и для меня определенные вещи имеют такое же значение, как для вас ваши книги.

Помолчав, Льюис спросил:

— И все-таки вы меня любите?

— Да, — ответила я. — И буду любить вас до самой смерти. — Я взяла его за руки. — Льюис, я могу приезжать к вам каждый год. И если мы будем уверены, что станем встречаться каждый год, разлука нам не грозит, а только лишь ожидания. Если любишь достаточно сильно, ожидание может быть счастливым.

— Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем тратить три четверти нашей жизни на ожидание? — сказал Льюис.

Поколебавшись, я ответила:

— Затем, что любовь — это не все. Вы должны понять меня: для вас любовь тоже не все.

Голос мой дрожал, а взгляд умолял Льюиса: пусть поймет! Пусть оставит мне эту любовь, которая была не всем, но без которой сама я стану

ничем.

— Нет, любовь не все, — согласился Льюис.

Он в нерешительности смотрел на меня. Я с жаром продолжала:

— Я люблю вас не меньше из-за того, что дорожу также и другими вещами. Не надо на меня за это сердиться. Не надо любить меня из-за этого меньше.

Льюис коснулся моих волос:

— Думаю, что, если бы любовь была для вас всем, я бы не любил вас так сильно: это были бы уже не вы.

Глаза мои наполнились слезами. Если он принимал меня целиком, с моим прошлым, моей жизнью, со всем, что отделяло меня от него, наше счастье было спасено. Я бросилась в его объятия:

— Льюис! Это было бы так ужасно, если бы вы меня не поняли! Но вы понимаете. Какое счастье!

— Почему вы плачете? — спросил Льюис.

— Я испугалась: если я потеряю вас, то не смогу больше жить. Он смахнул слезу с моей щеки:

— Не плачьте. Мне страшно, когда вы плачете.

— Теперь я плачу, потому что счастлива, — сказала я. — Потому что мы счастливы. Когда мы будем вместе, мы станем запасаться счастьем на

весь год. Правда, Льюис?

— Да, моя милая уроженка Галлии, — с нежностью ответил он, целуя мою мокрую щеку. — Странно, иногда вы кажетесь мне весьма разумной женщиной, а иногда — маленькой девочкой.

— Думаю, я глупая женщина, — сказала я. — Но мне это безразлично, если вы любите меня.

— Я люблю вас, глупая милая уроженка Галлии, — отвечал Льюис.

На следующий день в автобусе, который увозил нас в Кесальтенанго, у меня было праздничное настроение; я уже не боялась ни будущего, ни Льюиса, ни слов, я ничего больше не боялась; впервые я осмеливалась вслух строить планы: в будущем году Льюис снимет дом на озере Мичиган, и мы проведем там лето; через два года он приедет в Париж, я покажу ему Францию, Италию... Я сжимала его руку в своей, и он с улыбкой соглашался. Мы пересекали густые леса, шел дождь, такой теплый и такой благоуханный, что я опустила стекло, чтобы чувствовать его на своем лице. Нас провожали взглядом пастухи, застывшие под соломенными накидками: можно было подумать, что они несут на своей спине хижину.

— Мы и правда находимся на высоте четырех

тысяч метров? — спросил Льюис.

— Вроде бы да.

Он покачал головой:

— Я в это не верю. У меня кружилась бы голова.

Издалека мне всегда казались невозможным чудом эти плоскогорья, такие же высокие, как ледники, и к тому же покрытые пышными деревьями; теперь я их видела воочию, и они казались столь же обычными, как любая французская долина. По правде говоря, расположенная на высоте Гватемала с ее уснувшими вулканами, с ее озерами, пастбищами и суеверными крестьянами походила на Овернь. Мне она уже наскучила, и я была рада, когда через два дня мы спустились на побережье: потрясающий спуск! На рассвете мы дрожали от холода на извилистой дороге, окаймленной пастбищами. А потом отцветающие растения захлестнула волна темных зарослей с блестящими жесткими листьями; у подножия высокогорных пастбищ, покрытых белой изморозью, появилась иссохшая андалусская деревня, украшенная гибискусом и бугенвилеями; несколько поворотов колес, и мы снова пересекли несколько параллелей, небо запылало, мы миновали плантации банановых

деревьев, усеянные хижинами, вокруг которых бродили индеанки с обнаженной грудью. Вокзал Мосатенанго был базарной площадью; женщины сидели на рельсах посреди своих юбок, тюков и птицы. Вдалеке раздался звонок, служащие закричали, и появился маленький поезд, которому предшествовал старомодный выброс пара и лязг железа.

Нам понадобилось десять часов, чтобы преодолеть сто двадцать километров, отделявших нас от города Гватемала; на следующий день над темными горами и сияющим побережьем самолет за пять часов перенес нас в Мехико.

— Наконец-то настоящий город! Город, где что-то происходит! — сказал в такси Льюис. — Люблю города! — добавил он.

— Я тоже.

Мы заранее выбрали себе гостиницу, и там нас ожидала почта. Свои письма я прочитала в номере, сидя рядом с Льюисом: отныне я могла вспоминать о своей жизни в Париже, не думая о том, будто ворую у него что-то; отныне я делила с ним все, даже то, что нас разделяло. Робер, казалось, пребывал в хорошем настроении, он писал, что Надин печальна, но миролюбива, а Поль почти выздоровела: все шло хорошо. Я улыбнулась

Льюису:

— Кто вам пишет?

— Мои издатели.

— Чего они хотят?

— Они требуют подробностей о моей жизни: для выпуска моей книги; они рассчитывают на шумный успех.

Голос Льюиса звучал уныло. Я вопросительно смотрела на него.

— Это означает, что вы заработаете много денег, не так ли?

— Будем надеяться! — ответил Льюис. Он сунул письмо в карман: — Мне надо немедленно послать им ответ.

— Почему немедленно? — спросила я. — Давайте сначала посмотрим Мехико. Льюис рассмеялся:

— Такая маленькая головка! И глаза, которые никогда не устают смотреть! Он смеялся, но что-то в его тоне меня смущало.

— Если вам не хочется выходить, давайте останемся, — сказала я.

— Вас это сильно огорчило бы! — ответил Льюис.

Мы прошли вдоль Аламеды; на тротуаре женщины сплетали огромные надгробные венки, другие прохаживались взад-вперед; слово

«Алькасар» радостно светилось на фронтоне похоронного зала; мы проследовали по широкой многолюдной авеню, затем по маленьким сомнительным улочкам. На первый взгляд Мехико мне нравился. Но Льюис выглядел озабоченным. Меня это не удивляло. Есть вещи, которые он решает с разбега, сразу, однако ему нередко случается задумываться над несобранным чемоданом или письмом, которое предстоит написать. За ужином я дала ему возможность молча размышлять. Как только мы вернулись в номер, он уселся перед чистым листком бумаги: с полуоткрытым ртом, остекленевшим взглядом он походил на какую-то рыбу. Я заснула до того, как он успел написать хотя бы слово

— Ваше письмо готово? — спросила я его на следующее утро.

— Да.

— Почему вам так трудно было писать его?

— Вовсе не трудно. — Он засмеялся: — Ах! Не смотрите на меня, как на одного из ваших больных. Пошли лучше прогуляемся.

На той неделе мы много гуляли. Взбирались на огромные пирамиды и плавали на разрисованных лодках, слонялись по авеню Халиско, по жалким рынкам, дансингам, мюзик-холлам, мы

бродили по окраинам и пили текилу в пользующихся дурной славой барах. Мы собирались еще ненадолго остаться в Мехико, потом поездить месяц по стране и вернуться на несколько дней в Чикаго. Но однажды, когда мы возвращались к себе в номер отдохнуть после обеда, Льюис вдруг резко сказал:

— В четверг мне надо быть в Нью-Йорке. Я с удивлением посмотрела на него:

— В Нью-Йорке? Почему?

— Мои издатели этого требуют.

— Вы получили еще одно письмо?

— Да. Они приглашают меня на две недели.

— Но вы не обязаны соглашаться, — возразила я.

— Вот именно что обязан, — сказал Льюис. — Возможно, во Франции все происходит иначе, — добавил он, — но здесь книга — это целое дело и, если хочешь, чтобы она приносила доход, ею нужно заниматься. Я должен встречаться с людьми, ходить на вечеринки, давать интервью, ничего не поделаешь, но так уж оно есть.

— Вы не предупредили их, что будете заняты до июля? Нельзя ли перенести все это на июль?

— Июль — плохое время; пришлось бы ждать до октября, а это слишком поздно. — Льюис нетер-

пеливо добавил: — Вот уже четыре года я живу за счет своих издателей. Если они хотят возместить свои расходы, то не мне ставить им палки в колеса. Да и мне тоже нужны деньги, если я хочу продолжать писать то, что мне нравится.

— Понимаю, — сказала я.

Я понимала и все-таки ощущала странную пустоту под ложечкой. Льюис рассмеялся:

— Бедная милая уроженка Галлии! Какой у нее жалкий вид, стоит лишь раз не исполнить ее прихоти!

Я покраснела. В самом деле, Льюис всегда думал только о том, чтобы доставить мне удовольствие. И теперь, когда ему надо позаботиться о своих собственных интересах, я не должна чувствовать себя обиженной; он считал меня эгоисткой, вот почему тон его был слегка агрессивным.

— Это вы виноваты, — сказала я. — Вы меня слишком избаловали. — Я улыбнулась: — Признаюсь, для меня было ударом изменить все наши планы, а вы сообщили мне об этом внезапно, без предупреждения.

— А как вам надо было об этом сказать?

— Я вас ни в чем не упрекаю, — весело ответила я и вопросительно взглянула на Льюиса: — Они уже в первом своем письме приглашали вас?

— Да, — молвил Льюис.

— Почему вы мне ничего не сказали?

— Я знал, что это вас не обрадует, — ответил Льюис.

Его виноватый вид растрогал меня; теперь я понимала, почему он так мучился со своим письмом; он пытался спасти наше путешествие по Мексике и так твердо рассчитывал преуспеть в этом, что ему показалось ненужным тревожить меня. Но у него ничего не вышло. Теперь он пытался примириться с неизбежностью, и мои сожаления немного раздражали его: он предпочитает сердиться, а не печалиться, и я его понимаю.

— Вы могли бы сказать мне, не такая уж я слабая, — сказала я, нежно улыбнувшись ему. — Вы же сами видите, что слишком балуете меня.

— Возможно, — согласился Льюис.

И снова я пришла в замешательство.

— Мы это исправим, — сказала я. — В Нью-Йорке я буду выполнять все ваши прихоти.

Льюис со смехом посмотрел на меня.

— Правда?

— Да, правда. Каждому свой черед.

— Тогда не будем дожидаться Нью-Йорка. Начнем сейчас же. — Он взял меня за плечи.

— Исполняйте мои прихоти, — сказал он с некоторым вызовом.

Впервые, протягивая ему губы, я подумала: «Нет». Но у меня не было привычки говорить нет, я просто не умела. И было уже слишком поздно приниматься за это без осложнений. Разумеется, мне случалось два или три раза говорить да, не имея на то желания, однако сердце мое всегда выражало согласие. Сегодня было иначе. В голосе Льюиса звучала дерзость, которая парализовала меня; его жесты, слова никогда не шокировали меня, потому что были так же непосредственны, как и его желание, его наслаждение, его любовь; сегодня же я со стеснением принимала участие в привычных упражнениях, показавшихся мне вдруг странными и фривольными, нелепыми. К тому же я обратила внимание, что Льюис ни разу не сказал мне: «Я люблю вас». Когда он в последний раз произносил эти слова?

Не говорил он их и в последующие дни. Он говорил только о Нью-Йорке. Льюис провел там один день в 1943 году, когда отправлялся в Европу, и теперь горел желанием снова попасть туда. Он надеялся встретиться со старыми чикагскими друзьями; надеялся на множество всяких вещей. В глазах Льюиса будущее и прошлое имеют го-

раздо большее значение, чем настоящее; я была рядом с ним, а Нью-Йорк — далеко, и Нью-Йорк занимал все его помыслы. Я не слишком близко принимала это к сердцу, и все-таки его радость огорчала меня. Неужели он вовсе не сожалел о нашем прерванном уединении? Слишком много было воспоминаний, и притом совсем недавних, которые не давали повода для опасений, вряд ли я уже наскучила ему, зато, быть может, отчасти стала слишком для него привычной.

В Нью-Йорке стояла страшная жара. Конец проливным ночным дождям. С самого утра небо пылало. Льюис ушел из гостиницы очень рано, а я осталась дремать под монотонное жужжание вентилятора. Я читала, принимала душ, написала несколько писем. В шесть часов я была одета и ждала Льюиса. Он явился в половине восьмого очень оживленный.

— Я отыскал Фелтона! — заявил он.

Льюис много рассказывал мне об этом Фелтоне, который ночью играл на барабане, днем водил такси и принимал наркотики и ночью, и днем; его жена была уличной проституткой и принимала наркотики вместе с ним. Они покинули Чикаго из-за серьезных проблем со здоровьем. Льюис не знал их точного адреса. Покончив со своими аген-

тами и издателями, он кинулся искать Фелтона и после тысячи превратностей добрался наконец до него по телефону.

— Он ждет нас, — сказал Льюис. — Он покажет нам Нью-Йорк.

Я предпочла бы провести вечер наедине с Льюисом, но с жаром заявила:

— Мне очень интересно познакомиться с ним.

— К тому же он отведет нас в такие уголки, которых без него нам никогда бы не найти. Уголки, каких ваши друзья психиатры наверняка вам не показывали! — весело добавил Льюис.

На улице было страшно жарко и влажно. Еще жарче оказалось в мансарде Фелтона. Это был высокий человек с мертвенно-бледным лицом, сжимая руки Льюиса, он смеялся от удовольствия. На самом деле он мало что показал нам в Нью-Йорке. Явилась его жена с двумя молодыми парнями и банками пива; они опустошали банку за банкой, рассказывая о куче разных людей, которых я вовсе не знала: одних только что посадили в тюрьму, другие собирались оттуда выйти, одни искали возможности как-то устроиться, другие такую возможность нашли. Еще они говорили о торговле наркотиками и о том, сколько стоят здешние полицейские. Льюис веселился

вовсю. Мы отведали свиных отбивных в каком-то бистро на Третьей авеню. Они все говорили и говорили. Я отчаянно скучала и чувствовала себя подавленной.

В дальнейшем дело обстояло не лучше. В одном я не ошиблась: очутившись в Нью-Йорке, Льюис немного разочаровался. Ему не нравился образ жизни, который ему здесь навязывали, светские развлечения, реклама. Он без восторга отправлялся на свои обеды, вечеринки, коктейли и возвращался оттуда хмурым. Я же не знала толком, куда себя девать. Льюис вяло предлагал мне сопровождать его, но в этом году меня не интересовали знакомства без будущего, мне даже не хотелось встречаться с прежними своими друзьями. Я бродила по улицам в одиночестве и без особого интереса: было слишком жарко, асфальт плавился у меня под ногами, я сразу покрывалась потом и томилась без Льюиса. Но хуже всего то, что, когда мы встречались вновь, было не намного веселее. Льюису надоедало рассказывать о скучных заседаниях, а мне рассказывать было нечего. Поэтому мы шли в кино, на матч по боксу, на партию бейсбола, и Фелтон часто сопровождал нас.

— Вы не испытываете большой симпатии к Фел-

тону, правда? — спросил меня однажды Льюис.

— Главное, что мне нечего ему сказать, так же как и ему мне, — отвечала я. И с любопытством взглянула на Льюиса: — Почему все лучшие ваши друзья — карманники, наркоманы или сутенеры?

Льюис пожал плечами:

— Я нахожу их забавнее остальных.

— А сами вы никогда не пытались принимать наркотики?

— О нет! — с живостью ответил Льюис. — Вы прекрасно знаете: я обожаю все, что опасно, но издалека.

Он шутил, но говорил правду. Все, что опасно, чрезмерно, безрассудно, его завораживает; однако сам он хотел жить без риска, умеренно и разумно. Такая противоречивость делает его зачастую беспокойным и нерешительным; не она ли обнаруживалась в его поведении по отношению ко мне? Я с тревогой спрашивала себя об этом. Льюис полюбил меня сразу, не задумываясь: быть может, теперь он ставил себе это в упрек? Во всяком случае, я уже не могла больше скрывать от себя: с некоторых пор он изменился.

В тот вечер, когда он вошел в номер, настроение у него, судя по всему, было хорошее; во второй по-

ловине дня он записывал интервью для радио, и я готовилась к худшему, но он весело обнял меня:

— Скорее одевайтесь! Я ужинаю с Джеком Марри, и вы пойдете со мной. Он умирает от желания познакомиться с вами, а я хочу, чтобы вы познакомились с ним.

Я не скрывала своего разочарования.

— Сегодня вечером? Льюис, неужели мы никогда больше не будем проводить вечера вдвоем, только вы и я?

— Мы рано уйдем от него! — сказал Льюис. Он выложил на стол содержимое карманов своего пиджака и достал из шкафа новый костюм. — Мне не часто случается испытывать симпатию к какому-нибудь писателю, — сказал он. — Если я говорю, что Марри вам понравится, то можете мне поверить.

— Я вам верю, — ответила я и села перед туалетным столиком, собираясь навести красоту.

— Ужинать будем на свежем воздухе в Сентрал-парке, — сказал Льюис. — Похоже, место очень красивое и кормят там очень хорошо. Что вы на это скажете?

Я улыбнулась:

— Скажу, что, если мы с вами действительно рано освободимся, это замечательно.

Льюис смотрел на меня в нерешительности.

— Мне очень хотелось бы, чтобы Марри вам понравился.

— Это почему?

— Ах! У нас появились планы! — радостным тоном сообщил Льюис. — Но надо, чтобы он вам понравился, иначе ничего не выйдет.

Я вопросительно смотрела на Льюиса.

— У него есть дом в маленькой деревушке, под Бостоном, — продолжал Льюис. — Он приглашает нас туда, и мы сможем оставаться у него, сколько захотим. Это намного лучше, чем возвращаться в Чикаго: в Чикаго, верно, еще жарче, чем здесь.

И снова я почувствовала огромную пустоту под ложечкой.

— Сам он живет в этом доме или не живет?

— Живет вместе с женой и двумя ребятишками. Но не бойтесь, — слегка насмешливым тоном добавил Льюис, — у нас будет своя отдельная комната.

— Но, Льюис, у меня нет желания проводить этот последний месяц с другими людьми! — возразила я. — Я предпочитаю сильную жару в Чикаго, но быть наедине с вами.

— Я не понимаю, почему день и ночь надо быть только вдвоем под предлогом того, что мы любим

друг друга! — резким тоном сказал Льюис.

Прежде чем я успела ответить, он вошел в ванную комнату и закрыл дверь.

«Что это значит? Может, ему и правда скучно со мной?» — в тревоге спрашивала я себя. Я надела кружевную блузку и шуршащую юбку, которые купила в Мехико, золотистые сандалеты и в полной растерянности остановилась посреди комнаты. Ему скучно? Или тут что-то еще? Я потрогала ключи, которые он бросил на стол, бумажник, пачку «кэмел»: как могла я так плохо знать Льюиса, если так сильно любила его! Среди разбросанных бумаг я заметила письмо на бланке издателей и развернула его: Дорогой Льюис Броган. Раз вы предпочитаете немедленно приехать в Нью-Йорк, мы согласны. Мы сделаем все необходимое. Условимся на полдень в четверг. Продолжение я читала как сквозь туман, дальнейшее не имело значения. Вы предпочитаете немедленно приехать в Нью-Йорк, вы предпочитаете, вы... В тот вечер, когда Поль устроила свой призрачный банкет, я почувствовала, как почва уходит у меня из-под ног. Сегодня все оказалось еще хуже. Льюис не был безумным, а значит, безумной стала я сама! Я рухнула в кресло. Это письмо он написал всего лишь через неделю

после ночи в Чичикастенанго, той ночи, когда он говорил: «Я люблю вас, глупая милая уроженка Галлии». Я помнила все: языки пламени, ковры, его старый халат, дождь, стучавший в окна. И он говорил: «Я люблю вас». Это было за неделю до нашего приезда в Мехико: за минувшее время ничего не случилось. Тогда почему? Почему он решил сократить наше пребывание вдвоем? Почему он мне солгал? Почему?

— О! Не стройте такую кислую физиономию! — сказал Льюис, выходя из ванной комнаты.

Он думал, что я сержусь из-за приглашения Марри, я не разуверяла его; невозможно было выдавить из себя ни слова. За время поездки в такси мы не произнесли ни слова.

В ресторане Сентрал-парка было прохладно. По крайней мере зелень, камчатные скатерти, ведерки, полные льда, обнаженные плечи женщин создавали ощущение прохлады. Я выпила одну за другой две порции мартини и благодаря этому, когда появился Марри, смогла пристойно произнести несколько фраз. В ту пору, когда мне нравились знакомства без будущего, я наверняка была бы рада встрече с Марри. У него все было круглое — голова, лицо, тело, и, возможно, поэтому за него хотелось ухватиться, как за спа-

сательный круг; а какой приятный был у него голос! Услыхав его, я поняла, как сухо звучал теперь голос Льюиса. Марри говорил со мной о книгах Робера, о книгах Анри, казалось, он был в курсе всего, с ним легко было беседовать. А в голове моей, подобно ударам молота, по-прежнему звучали слова: «Вы предпочитаете приехать в Нью-Йорк, вы предпочитаете Нью-Йорк». Однако этот кошмар продолжался без меня, а я тем временем ела салат из креветок и пила белое вино. Марри спросил, что думают французы о предложениях Маршалла{116}, и стал обсуждать с Льюисом возможное поведение СССР: он считал, что Советский Союз пошлет Маршалла к черту и будет, безусловно, прав. Похоже, в политике он разбирался лучше Льюиса, да и голова у него работала лучше, и образование было солиднее; Льюис страшно обрадовался, услышав свои собственные суждения из уст человека, так хорошо умевшего их отстаивать. Да, во многих отношениях Марри мог дать ему гораздо больше, чем я. И я понимала, что Льюису хочется сделать его своим другом; я даже могла понять, почему он хочет провести с ним целый месяц. Но это не объясняло мне той лжи в Мехико, это не объясняло главного.

— Могу я вас куда-нибудь подвезти? — спросил

Марри, направляясь на стоянку автомобилей.

— Нет, мне хочется пройтись, — поспешила ответить я.

— Если вы любите ходить, вы непременно должны приехать в Рокпорт, — с улыбкой сказал Марри. — Места для прогулок у нас восхитительные. Я уверен, что вам там понравится. И мне доставит огромное удовольствие, если вы оба приедете!

— Это было бы чудесно! — с жаром сказала я.

— Начиная со следующего понедельника вы можете приехать в любое время, — ответил Марри. — Даже предупреждать не стоит.

Он сел в свою машину, а мы пошли пешком через парк.

— Думаю, Марри хотелось провести вечер с нами, — с некоторым упреком сказал Льюис.

— Возможно, — ответила я. — А мне — нет.

— Однако вы, похоже, нашли с ним общий язык? — заметил Льюис.

— Я нахожу его очень симпатичным, — ответила я. — Но мне надо кое-что сказать вам.

Льюис нахмурился:

— Должно быть, это не так уж важно!

— Напротив. — Я показала на плоский камень посреди лужайки: — Присядем. В траве бегали

серые белки; вдали сияли огромные билдинги. Я начала бесстрастным тоном:

— Только что, когда вы пошли принимать душ, вы оставили на столе письма. — Я старалась поймать взгляд Льюиса. — Ваши издатели вовсе не требовали от вас, чтобы вы приехали в Нью-Йорк именно сейчас. Вы сами предложили им это. Почему вы сказали мне обратное?

— А-а! Вы читаете мои письма у меня за спиной! — рассердился Льюис.

— Почему бы и нет? Зато вы мне лжете.

— Я вам лгу, а вы роетесь в моих бумагах: мы квиты, — неприязненно сказал Льюис.

Внезапно силы оставили меня, я с изумлением смотрела на него; это был он, и это была я: как же мы дошли до такого?

— Льюис, я ничего больше не понимаю. Вы меня любите, я вас люблю. Что с нами происходит? — в растерянности спросила я.

— Решительно ничего, — отвечал Льюис.

— Не понимаю! — повторила я. — Объясните мне. Мы были так счастливы в Мехико. Почему вы решили поехать в Нью-Йорк? Вы прекрасно знали, что мы почти не сможем видеться.

— Все время индейцы, развалины, мне это начинало надоедать, — пожав плечами, сказал

Льюис. — Мне захотелось переменить обстановку, не вижу в этом ничего трагического.

Это был не ответ, но я решила временно удовольствоваться им.

— Почему вы мне не сказали, что вам наскучила Мексика? К чему такие ухищрения? — спросила я.

— Вы не позволили бы мне приехать сюда, вы заставили бы меня остаться там, — ответил Льюис.

Я вздрогнула, как от пощечины: какая злость в его голосе!

— Вы думаете, что говорите?

— Да, — ответил Льюис.

— Но послушайте, Льюис, когда я хоть раз помешала вам сделать то, что вы хотели? Да, вы постоянно стремились доставить мне удовольствие, но и вам, похоже, это тоже доставляло удовольствие. У меня не было ощущения, что я вас тираню.

Я перебирала в уме наше прошлое: сплошная любовь, согласие и радость давать друг другу счастье. Какой ужас думать, что за любезностью Льюиса скрывалось недовольство.

— Вы до того упрямы, что даже не отдаете себе в этом отчета, — сказал Льюис. — Мысленно вы

все улаживаете по своему усмотрению и уже не отступаетесь от этого, надо делать то, что вы хотите.

— Когда это случалось? Приведите примеры, — попросила я. Льюис заколебался.

— Мне хотелось провести этот месяц у Марри, а вы отказывались.

— Это нечестно, — перебила я его. — Когда такое случалось до Мехико?

— Я прекрасно знаю, что если бы я не поступил так, то мы остались бы в Мексике, — сказал Льюис. — Согласно вашим планам, мы должны были провести там еще месяц, и вы убедили бы меня, что так и следует поступить.

— Прежде всего, это были наши общие планы, — возразила я. И задумалась. — Полагаю, что я поспорила бы, но так как вам очень хотелось поехать в Нью-Йорк, я наверняка в конце концов уступила бы.

— Легко сказать, — молвил Льюис. Он остановил меня жестом: — Во всяком случае, понадобилась бы серьезная работа, чтобы убедить вас. Я пошел на маленькую ложь, чтобы выиграть время: это не так уж важно.

— Мне, напротив, это кажется важным, — сказала я. — Я думала, вы никогда мне не лжете.

Льюис улыбнулся, немного смутившись:

— Да, так оно и есть, это в первый раз. Но вы напрасно волнуетесь. Лгут друг другу или нет, какая разница, правду все равно никогда не говорят.

Я с недоумением смотрела на Льюиса. В голове у него, и верно, творится что-то странное! И на душе тяжело. Но почему все-таки?

— Я так не думаю, — покачала я головой. — Можно поговорить друг с другом. Можно узнать друг друга. Только надо сделать небольшое усилие.

— Я знаю, это ваша любимая идея, — сказал Льюис. — Но на деле — это и есть наихудшая ложь: утверждать, будто люди говорят друг другу правду.

Он встал.

— Хотя в данном случае я вам ее сказал, и мне нечего прибавить. Наверное, мы можем уйти отсюда.

— Пошли.

Мы молча пересекли парк. Это объяснение решительно ничего не объясняло. Единственная вещь была мне ясна: враждебность Льюиса. Но откуда она взялась? Он был слишком враждебно настроен, чтобы сказать мне это, расспросы ни к чему не приведут.

— Куда мы идем? — спросил Льюис.

— Куда хотите.

— Не знаю, что и предложить.

— Я тоже.

— А ведь у вас, похоже, были планы на этот вечер, — сказал Льюис.

— Ничего особенного, — отвечала я. — Я думала, мы пойдем в какой-нибудь маленький спокойный бар и побеседуем.

— Нельзя беседовать просто так, по заказу, — в сердцах сказал он.

— Можно послушать джаз в кафе «Сосайети», — предложила я.

— Вы еще не наслушались джаза за свою жизнь? Кровь бросилась мне в лицо.

— Хорошо, пошли спать, — сказала я.

— Мне не хочется спать, — невинным тоном ответил Льюис.

Он развлекался, подтрунивая надо мной, но не по-дружески... «Льюис решил нарочно испортить этот вечер; он нарочно все портит!» — с обидой подумала я и сухо сказала:

— Тогда пойдем в кафе «Сосайети», раз мне этого хочется, ведь вам не хочется ничего.

Мы взяли такси. Мне вспоминались слова Льюиса, сказанные им год назад, будто он ни с кем не ладил по своей вине. Значит, это правда! Он

сохранял хорошие отношения с Тедди, Фелтоном, Марри, потому что редко их видел. Но долго выносить совместную жизнь он не в состоянии. Он безумно любил меня, но вот прошло время, и любовь уже кажется ему принуждением. Меня снова охватил гнев, что, пожалуй, служило утешением. «Он должен был предвидеть, что с ним случится, — думала я. — Ему не следовало позволять мне отдаваться этой истории целиком, душой и телом. И у него нет права вести себя так, как он ведет себя сейчас. Если я ему в тягость, пускай скажет. Я могу вернуться в Париж, я готова вернуться».

Оркестр играл отрывок из Дюка Эллингтона; мы заказали виски. Льюис взглянул на меня с некоторым беспокойством:

— Вы грустите?

— Нет, — ответила я, — не грущу. Я в гневе.

— В гневе? У вас удивительно спокойная манера гневаться.

— Не обманывайтесь.

— О чем вы думаете?

— Я думаю, что, если эта история тяготит вас, вам следует всего лишь сказать мне. Я завтра же могу улететь в Париж.

Льюис усмехнулся:

— То, что вы предлагаете, — дело серьезное.

— В кои-то веки мы выходим одни, и вам это, судя по всему, невыносимо, — сказала я. — Думаю, это ключ к вашему поведению: вам со мной скучно. Так не лучше ли мне уехать?

Льюис покачал головой.

— Мне с вами не скучно, — серьезным тоном ответил он.

Гнев отхлынул так же, как нахлынул на меня, и снова я чувствовала себя без сил.

— Тогда в чем дело? — спросила я. — Что-то есть, но что? Помолчав, Льюис произнес:

— Скажем так, время от времени вы меня слегка раздражаете.

— Я это прекрасно понимаю, — сказала я. — Но мне хотелось бы знать: почему?

— Вы мне объяснили, что любовь для вас — это не все, — заговорил он внезапно скороговоркой. — Ладно, но тогда почему вы требуете, чтобы для меня она была всем? Если я хочу поехать в Нью-Йорк, встретиться с друзьями, это вас сердит. Считаться следует только с вами, ничего другого существовать не должно, я обязан подчинить вам всю свою жизнь, тогда как вы не хотите пожертвовать ничем. Это несправедливо!

Я хранила молчание. В упреках его чувствовались злонамеренность и непоследовательность,

однако вопрос заключался в другом. Впервые за вечер я заметила проблеск: в нем не было ничего обнадеживающего.

— Вы ошибаетесь, — прошептала я. — Я ничего не требую.

— Ну как же! Вы уезжаете и возвращаетесь, когда вам заблагорассудится. Но пока вы здесь, я обязан обеспечивать безоблачное счастье...

— Это вы несправедливы, — возразила я. У меня перехватило горло. Внезапно мне стало ясно: Льюис сердился на меня, потому что я отказалась остаться с ним навсегда. И пребывание в Нью-Йорке, и планы, придуманные с Марри, — все это было в отместку. — Вы сердитесь на меня! — сказала я. — Почему? Я ни в чем не виновата, вам это прекрасно известно.

— Я на вас не сержусь. Я только думаю, что не следует требовать больше того, что можешь дать сам.

— Вы сердитесь на меня! — твердила я, с отчаянием глядя на Льюиса. — А ведь когда мы говорили в Чичикастенанго, мы были согласны, вы меня понимали. Что произошло с тех пор?

— Ничего, — отвечал Льюис.

— В чем же дело? Вы сказали, что не любили бы меня так, если бы я была другой. Вы говорили,

что мы будем счастливы...

Льюис пожал плечами:

— Я сказал то, что вы хотели от меня услышать.

И снова мне почудилось, будто я получила пощечину.

— Как же так? — пробормотала я.

— Я хотел сказать вам много всего другого, но вы заплакали от радости, и это заставило меня замолчать.

Да, я припоминала. Потрескивал огонь, и глаза мои наполнились слезами; это правда, что я поспешила заплакать от радости на плече у Льюиса, я навязала ему свою волю, это правда.

— Я так боялась! — призналась я. — Я так боялась потерять вашу любовь!

— Знаю. Вид у вас был затравленный. Это тоже помешало мне говорить, — сказал Льюис. И с обидой добавил: — Как вы были довольны, когда поняли, что я сделаю все по вашему желанию! Остальное вам было безразлично!

Я закусила губу; на этот раз плакать было нельзя, ни в коем случае. А между тем со мной случилось нечто ужасное. Пламя, ковры, стучавший в окно дождь, Льюис в своем белом халате: все эти воспоминания оказались обманом. Я

снова видела себя плачущей на его плече: мы были вместе навек, а на деле я осталась одна. Он прав: мне следовало подумать о том, что творится у него в голове, вместо того чтобы довольствоваться исторгнутыми у него словами. Я вела себя трусливо, эгоистично и трусливо. И теперь жестоко наказана за это. Я собрала все свое мужество: уклоняться уже было нельзя, и спросила:

— Что бы вы тогда сказали, если бы я не плакала?

— Я сказал бы, что нельзя одинаково любить того, кто целиком принадлежит вам, и того, кто вам принадлежит не полностью.

Собравшись с силами, я попыталась защищаться:

— Вы сказали прямо противоположное: вы сказали, что, если бы я была другой, вы не любили бы меня так.

— Тут нет никакого противоречия, — возразил Льюис, пожав плечами. — Или же чувства могут быть противоречивыми.

Спорить бесполезно, логика тут ни при чем; наверняка чувства Льюиса сначала были смутными, и, чтобы выиграть время, он сказал мне успокаивающие слова, а рассердился, возможно, уже потом. Не это главное. Сегодня он не любил

меня как раньше: смогу ли я смириться с этим? Отчаяние душило меня. Я продолжала говорить, чтобы помешать себе думать:

— Вы меня уже не любите, как прежде? Льюис заколебался.

— Мне кажется, что любовь не так важна, как мне представлялось раньше.

— Понимаю, — молвила я. — Раз я опять должна уехать, то здесь я или меня нет, разница невелика.

— Что-то вроде этого, — сказал Льюис. Он взглянул на меня, и внезапно голос его изменился. — А между тем я так вас ждал! — с волнением сказал он. — Весь год я не думал ни о чем другом. Как я желал вас!

— Да, — с грустью отозвалась я. — А теперь... Льюис обнял меня за плечи:

— Я и теперь все еще желаю вас.

— О! Только в определенном смысле... — ответила я.

— Не только. — Он сжал мою руку. — Я готов сейчас же жениться на вас.

Я опустила голову. Мне вспомнилась падающая звезда над озером. Он загадал желание, это желание не исполнилось; я ведь обещала себе никогда не обманывать его надежд и бесповоротно

обманула его ожидания. Я одна во всем виновата. Никогда уже я не смогу на него сердиться — ни за что.

Мы больше ни о чем не говорили. Послушали немного джаз и вернулись в гостиницу. Я не могла заснуть. Все спрашивала себя с тревогой, удастся ли мне спасти нашу любовь; она могла еще восторжествовать над отсутствием, ожиданием, над всем, но при условии, что мы оба хотим этого; захочет ли Льюис? «Пока он колеблется, — успокаивала я себя. — Он стремится защитить себя от сожалений, страданий, от меланхолии, однако ему претит выбросить старый халат, и, стало быть, ему не так-то легко будет избавиться от нашего прошлого; он скорее великодушен, чем горделив, — говорила я еще, чтобы подбодрить себя, — он скорее ненасытен, чем осторожен, и хочет, чтобы в его жизни что-то случалось». Только я знала, какое значение придает он своей безопасности, своей независимости и как упорно стремится жить правильно и разумно. Любить через океан — такое может показаться неразумным. Да, именно это представлялось мне самым опасным у Льюиса: его помешательство на благоразумии, неожиданно бравшее над ним власть. Именно его я должна побороть. Следовало

доказать Льюису, что он больше выиграет, чем проиграет в этой истории. За завтраком я завела разговор:

— Льюис! Я всю ночь думала о нас.

— Лучше бы вы спали.

Голос его звучал приветливо, и выглядел он спокойным; ему наверняка принесло облегчение то, что он высказал мне все, что лежало у него на сердце.

— Вчера вы говорили, что сердитесь на меня за то, что я требую больше, чем даю, — сказала я. — Да, я виновата, больше этого не повторится. Я приму то, что вы мне дадите, и никогда ничего не потребую.

Льюис хотел прервать меня, но я не останавливалась и продолжала говорить. Прежде всего, мы поедем к Марри, это дело решенное. И потом, я не хотела, чтобы он считал себя обязанным хранить верность, которую до сих пор навязывал себе: в мое отсутствие он должен чувствовать себя таким же свободным, как если бы меня не существовало. Если когда-нибудь ему случится по-настоящему полюбить другую женщину, тем хуже для меня, я возражать не стану. И если наша история не принесла ему всего, чего он хотел, то, по крайней мере, она ничего не лишит его.

— Так что не думайте больше, будто я расставила вам ловушку, — сказала я. — Не надо ничего портить только ради одного удовольствия портить!

Внимательно меня выслушав, Льюис покачал головой:

— Все не так просто!

— Знаю, — сказала я. — Если любишь, то уже несвободен. Однако совсем не одно и то же — любить кого-то, кто считает, что имеет на вас права, или того, кто не чувствует за собой никаких прав.

— О! Мне было бы совершенно безразлично, если бы женщина считала, будто имеет на меня права, которых я за ней не признаю, — отвечал Льюис. И добавил: — Не будем больше говорить об этом. Когда говоришь, то все только путаешь.

— Молчать — значит тоже все путать, — возразила я. И наклонилась к нему: — Есть одна вещь, о которой я хочу вас спросить: вы сожалеете, что встретили меня?

— Нет, — сказал он. — Будьте покойны. Никогда я об этом не пожалею. Его тон придал мне отваги:

— Льюис, мы ведь увидимся снова? Он улыбнулся:

— Вернее ничего нет на свете.

В душе моей возродилась надежда. Я знала, что моя речь не вполне его убедила; и в самом деле, разве не лицемерие говорить ему о свободе, требуя от него в то же время не прогонять меня из сердца. «Но довольно и того, — убеждала я себя, — чтобы он не упорствовал в своей досаде, и я докажу ему, что наша любовь может быть счастливой». Наверняка я уже затронула в нем чувствительную струну, либо его обиды улетучились, как только он их высказал, ибо после обеда он повел меня в Кони-Айленд и был так же весел и ласков, как в самые лучшие дни. Внезапно у него нашлось множество всяких вещей, о которых ему хотелось рассказать мне: о литературной жизни в Нью-Йорке, о людях, о книгах; он говорил не переставая, словно мы только что встретились с ним. И если бы он сказал «Я люблю вас», в ту ночь я могла бы подумать, что все осталось в точности как прежде.

— Вы действительно не имеете ничего против того, чтобы поехать к Марри? — не без сомнения спросил он меня в понедельник.

— Решительно ничего: мне это интересно.

— Тогда поедем сегодня вечером. Я с удивлением смотрела на него.

— Мне казалось, у вас здесь много дел? Льюис рассмеялся:

— Я их не сделаю.

На следующее утро с четой Марри мы пили кофе в просторной комнате с широкими окнами; дом стоял в стороне от деревни, на скалистом выступе, синева небес и шум моря проникали в окна. Льюис говорил, не умолкая ни на минуту, успевая в то же время поглощать поджаренные ломтики хлеба с маслом: при виде радостного выражения его лица можно было подумать, что наконец-то осуществилась самая заветная его мечта. Надо признать, что все было безупречно: место, время, breakfast {Завтрак (англ.)} [empty link], улыбка наших хозяев; однако чувствовала я себя неловко. Несмотря на всю свою любезность, Эллен внушала мне робость; ее неброская элегантность, прелесть ее домашней жизни, двое пышущих здоровьем ребятишек свидетельствовали о том, что она превосходная молодая мать семейства: женщины, которые так удачно сочетают все детали своего существования, всегда немного пугали меня. И вот теперь я попаду в плотное кольцо этой жизни, где мне нет места: я ощущала себя привязанной и в то же время плывущей куда-то в сторону.

Мальчику было восемь лет, его звали Дик: он сразу же проникся великой дружбой к Льюису и проводил нас по крутой тропинке к маленькой бухточке у подножия скал. Льюис все утро играл с ним в мяч — и в воде, и на песке. Я плавала, читала, мне не было скучно, но я по-прежнему спрашивала себя: «Что я здесь делаю?» После обеда Марри повез нас на машине вдоль берега; Эллен с нами не было. Вернувшись, мы с Льюисом долгое время провели за виски вдвоем в той самой просторной комнате; я вдруг осознала, что нам часто предстоит оставаться одним: Марри собирался целыми днями сидеть за пишущей машинкой, а у Эллен явно не было ни минуты для себя. Выпив глоток виски, я почувствовала себя хорошо.

— Какой красивый край! — сказала я. — И как Марри любезен! Я довольна.

— Да, здесь хорошо, — согласился Льюис.

По радио звучала старая мелодия, мы молча слушали ее какое-то время. Лед позвякивал у нас в стаканах, доносился смех ребятишек, к запаху моря примешивался приятный аромат сладких пирожков.

— Вот как следует жить! — сказал Льюис. — Свой собственный дом, жена, которую любят не

слишком сильно и не слишком мало, дети.

— Вы думаете, что именно так Марри привязан к Эллен? Не слишком сильно и не слишком мало? — с любопытством спросила я.

— Это сразу видно, — ответил Льюис.

— А она? Как любит его она? Льюис улыбнулся:

— Думаю, слишком сильно и слишком мало, как все женщины.

«Он снова на меня сердится», — с грустью подумала я. И наверняка это из-за той мимолетной мечты о семейном счастье, которая осенила его сейчас.

— Вы думаете, что были бы счастливы таким образом? — спросила я.

— По крайней мере, я никогда не был бы несчастен.

— Необязательно. Есть люди, которые делаются несчастными, оттого что не чувствуют себя счастливыми: думаю, вы из их числа.

Льюис улыбнулся:

— Возможно. — Он задумался. — И все-таки я завидую Марри, что у него есть дети. Устаешь жить всегда один, для себя одного, в конце концов, все начинает казаться совершенно напрасным. Я любил бы детей.

— Ну что же, когда-нибудь вы женитесь и у

вас будут дети, — сказала я. Льюис неуверенно посмотрел на меня.

— Это случится не завтра и не послезавтра, — сказал он. — Но позже, через несколько лет, почему бы и нет?

— Да, — улыбнулась я в ответ. — Почему бы и нет? Через несколько лет... Это все, чего я просила: несколько лет; для клятв в вечной любви я жила слишком далеко и лет мне было слишком много; требовалось только, чтобы наша любовь просуществовала достаточно долго, чтобы тихо угаснуть, оставив в наших сердцах незапятнанные воспоминания и беспредельную дружбу.

Ужин был таким обильным, а Марри — таким сердечным, что я в конце концов освоилась. За кофе я находилась в приятном расположении духа, и тут пришли люди. В начале сезона отдыхающих в Рокпорте было еще мало, все они знали друг друга и жаждали увидеть новые лица; нам устроили торжественную встречу. Льюис быстро отошел от разговора, он помог Эллен готовить сандвичи и смешивать коктейли. Я старалась по мере сил отвечать на все вопросы, которыми меня осаждали. Марри завел разговор о взаимосвязи психоанализа и марксизма; на сей счет я знала больше других, и, так как они

подталкивали меня, я много говорила. Когда мы оказались у себя в комнате, Льюис посмотрел на меня с любопытством.

— В конце концов я поверю, что в этой маленькой головке есть мозги, — сказал он.

— Неплохо было сымитировано, правда? — спросила я.

— Нет, у вас действительно есть мозги, — сказал Льюис. Он продолжал разглядывать меня, и в глазах его отражалось что-то вроде упрека: — Странно, никогда я не думал о вас как об умной женщине. Для меня вы совсем другое!

— С вами я чувствую себя совсем, совсем другой! — сказала я, бросившись в его объятия.

Как крепко он меня обнял! Ах, никаких вопросов больше не вставало! Он был рядом, и этого оказалось достаточно. Его ноги сплелись с моими, его дыхание, его запах, его сильные руки я ощущала на своем теле, он говорил «Анна!» прежним тоном, и, как прежде, его улыбка вместе с телом дарила мне его сердце.

Когда мы проснулись, небо и море сверкали. Мы взяли велосипеды супругов Марри и поехали в деревню; мы гуляли по мосту, долгое время смотрели на лодки, на рыбаков, на сети, на рыбу; я наслаждалась свежим запахом прилива, солнце

ласкало меня, Льюис держал меня за руки, он смеялся.

— Прекрасное утро! — с воодушевлением сказала я.

— Бедная милая уроженка Галлии, — с нежностью отозвался Льюис. — Как мало ей нужно, чтобы вообразить себя в раю!

— Небо, море, человек, которого я люблю: это не так уж мало. Он сжал мою руку:

— Ладно! Вы не слишком требовательны.

— Я довольствуюсь тем, что имею, — ответила я.

— Вы правы, — сказал Льюис. — Нужно довольствоваться тем, что имеешь.

Небо стало еще голубее, солнце — еще жарче, и в душе у меня начался радостный перезвон. «Я выиграла!» — подумалось мне. Я была права, согласившись приехать сюда. Льюис чувствовал себя свободным, он понимал, что моя любовь ничего не лишает его. Во второй половине дня он снова какое-то время играл на пляже с Диком, и я восхищалась его терпением. Давно уже я не видела Льюиса таким спокойным. После ужина Марри отвез нас к друзьям, и на этот раз Льюис не пытался держаться в стороне: он усердствовал, не жалея сил. Определенно он никогда не

перестанет удивлять меня; я не думала, что он может блистать в обществе: он блистал. О нашем путешествии Льюис рассказывал с такими удачными сокращениями и с такой счастливой изобретательностью, что его Гватемала казалась правдивее, чем настоящая; всем захотелось туда поехать. Когда он изобразил маленьких индейцев, семенящих под тяжестью своей ноши, женщины воскликнули:

— Вы были бы чудесным актером!

— Как хорошо он рассказывает! Льюис внезапно остановился.

— Как вы терпеливы! — с улыбкой сказал он. И добавил: — Я терпеть не могу рассказов о путешествии.

— О! Продолжайте, — попросила одна блондинка.

— Нет, я закончил свой номер, — ответил Льюис, направляясь к столу. Он выпил большой стакан манхэттена в окружении толпившихся вокруг

него красивых девушек с золотистыми от загара плечами и не очень красивых женщин с исполненным возвышенных чувств взглядом. Я не без досады обнаружила, что он нравится женщинам. Я-то считала, что меня исподволь прельстило

в нем отсутствие привлекательности, а теперь выяснилось, что он привлекателен. Но в любом случае ни для кого другого он не был тем, чем был для меня. «Для меня одной он — единственный и неповторимый», — не без гордости подумала я.

Я тоже пила, танцевала, беседовала с каким-то гитаристом, которого только что выгнали с радио за передовые идеи, и еще с музыкантами, художниками, интеллектуалами, литераторами. Рокпорт летом — это своего рода приложение к Гринвич-виллидж[117], там полно артистов. Внезапно я заметила, что Льюис исчез.

— Куда делся Льюис? — обратилась я к Марри.

— Понятия не имею, — невозмутимо, как всегда, отвечал Марри.

У меня сжалось сердце: может, он пошел прогуляться в сад с одной из своих прекрасных поклонниц? В таком случае его не очень обрадует мое появление: тем хуже! Я заглянула в холл, на кухню и вышла из дома. Слышалась лишь терпеливая песнь кузнечиков. Сделав несколько шагов, я заметила огонек сигареты; он сидел на садовом стуле один.

— Что вы тут делаете? — спросила я.

— Отдыхаю. Я улыбнулась:

— Мне казалось, эти тетки съедят вас живьем.

— Знаете, что следовало бы сделать? — мстительным тоном сказал Льюис. — Посадить их на какое-нибудь судно и выбросить всех в море, а взамен привезти из Чичикастенанго побольше индеаночек, благоразумно сидящих на полу у ног своих мужей: как они были молчаливы; и лица у них были такие неподвижные.

— Я помню.

— У них все те же красивые лица и черные косы, а мы никогда их больше не увидим, — сказал Льюис. И вздохнул: — Как все это далеко!

В голосе его звучала такая же точно печаль, как в джунглях Чичен-Ицы, когда он говорил мне о доме в Чикаго. «Если я стану воспоминанием в его сердце, он будет думать обо мне с такою же нежностью», — подумалось мне. Но я не хотела становиться воспоминанием.

— Быть может, когда-нибудь мы вернемся и снова увидим индеаночек.

— Уверен, что нет, — сказал Льюис, вставая. — Пойдем прогуляемся. Ночь так хорошо пахнет.

— Надо вернуться к тем людям, Льюис. Они заметят наше отсутствие.

— И что? Мне нечего им сказать, точно так же, как им мне.

— Но это друзья Марри: не слишком любезно

исчезнуть вот так. Льюис вздохнул:

— Как бы мне хотелось иметь супругу индеаночку, которая беспрекословно следовала бы за мной всюду, куда я захочу!

Мы вернулись в дом. Льюис утратил всю свою веселость. Он много пил и отвечал лишь каким-то ворчанием на вопросы, которые ему задавали. Сев рядом со мной, он с неодобрительным видом прислушивался к разговору. Я сказала Марри, что во Франции многие писатели задаются вопросом, имеет ли смысл сегодня писать. Все с жаром принялись обсуждать это. Лицо Льюиса становилось все более мрачным. Он питал отвращение к теориям, системам, обобщениям. Я знала почему: для него идеи — это не набор слов, а что-то живое; те, что он принимает, шевелятся у него внутри и все сдвигают, ему приходится проделывать тяжелую работу, чтобы навести порядок у себя в голове, и это немного пугает его; и в этой области он тоже стремится к надежности и безопасности, ему претит чувствовать себя потерянным; он часто замыкается. И сейчас явно отгораживался от всех. Но в какой-то момент не выдержал:

— Почему пишут? Для кого пишут? Если начать спрашивать себя об этом, то ничего уже не напишешь! Пишешь, и все тут, и люди тебя чита-

ют. Пишут для тех людей, которые тебя читают. Такими вопросами задаются писатели, которых никто не читает!

Это вызвало неловкость. Тем более что там действительно присутствовало немало писателей, которых никто не читал и не прочтет. К счастью, Марри все сгладил. Льюис опять замкнулся в своей скорлупе. Через четверть часа мы распрощались.

Весь следующий день Льюис хмурился; когда Дик, размахивая револьвером, с криком явился на пляж, он смотрел на него недобрым взглядом; со злобой в душе Льюис преподал ему урок бокса и повел плавать. Вечером, пока я беседовала с Эллен и Марри, он погрузился в чтение газет. Я знала, что Марри не станет обижаться на такую малость, но беспокоилась из-за Эллен. «Вчера он слишком много выпил, завтра настроение его улучшится», — с надеждой говорила я себе, засыпая.

Я ошибалась. На следующее утро Льюис ни разу мне не улыбнулся. Эллен была растрогана, потому что он отобрал у нее пылесос и пропылесосил весь дом от погреба до чердака: однако этот хозяйственный раж внушал подозрение. Льюис старался отвлечься: от чего он бежал? За

обедом он был довольно любезен, но, очутившись наедине со мной на пляже, тотчас сказал резким тоном:

— Если этот мерзкий молокосос снова будет приставать ко мне, я сверну ему шею.

— Вы сами виноваты! — сердито ответила я. — В первый день вам не следовало быть с ним таким любезным.

— В первый день я всегда поддаюсь, — ответил Льюис злым голосом.

— Да, но существуют и другие люди, — с живостью возразила я. — Вам надо помнить об этом.

Сверху посыпались камушки, по тропинке спускался Дик; на нем были штаны в черную и белую клетку, белоснежная рубашка и ковбойский пояс; он подбежал к Льюису:

— Почему ты пошел сюда? Я ждал тебя наверху. Вчера ты сказал, что после обеда мы поедем кататься на велосипеде.

— Мне не хотелось никуда ехать, — ответил Льюис. Дик с упреком посмотрел на него:

— Вчера ты сказал: поедем завтра. Завтра — это сегодня.

— Если это сегодня, то, значит, не завтра, — сказал Льюис. — Чему тебя учат в школе? Завтра — это завтра.

Дик открыл рот с несчастным видом; он схватил Льюиса за руку.

— Ну давай! Поедем, — просил он.

Льюис резко высвободил руку: примерно такой вид был у него в тот день, когда он пнул каменного дракона. Я положила руку на плечо Дика:

— Послушай, хочешь, я возьму тебя кататься на велосипеде? Мы поедем в деревню, будем смотреть на пароходы и есть мороженое.

Дик без восторга взглянул на меня.

— Он обещал поехать, — сказал мальчик, показывая на Льюиса.

— Он устал.

Дик повернулся к Льюису:

— Ты остаешься здесь? Ты собираешься купаться?

— Не знаю, — отвечал Льюис.

— Я останусь с тобой: будем боксировать, — предложил Дик. — А потом — плавать...

Он снова обратил к Льюису доверчивое лицо.

— Нет! — ответил Льюис. Я взяла Дика за плечо.

— Пойдем, — сказала я. — Его надо оставить. Ему нужно о чем-то подумать. А я должна ехать в Рокпорт, и мне будет скучно одной: проводи меня. Ты что-нибудь расскажешь мне. А я куплю

тебе журналы с картинками, куплю все, что ты захочешь! — говорила я с отчаянной настойчивостью.

Дик повернулся к Льюису спиной и стал подниматься по тропинке. Я рассердилась на Льюиса: с ребенком не ведут себя так! А кроме всего прочего, мне вовсе не улыбалось заниматься Диком. К счастью, в силу своей профессии, я умею вызвать доверие ребенка, мальчик вскоре повеселел. Мы устроили соревнование на велосипедах, и в последний момент я позволила ему обогнать меня; я накормила Дика мороженым с черной смородиной, мы поднимались на рыбачью лодку, словом, я так старалась, что он не хотел отпускать меня до самого ужина.

— Что ж, можете поблагодарить меня, — сказала я Льюису, входя в комнату. — Я освободила вас от этого мальчика. — И добавила: — Вы были отвратительны с ним.

— Это он должен благодарить вас, — ответил Льюис. — Еще минута, и я переломал бы ему кости.

Он лежал на своей кровати в старых полотняных брюках и рубашке с короткими рукавами и курил, глядя в потолок. Я с обидой думала, что ему действительно следовало бы поблагодарить

меня. Сняв пляжное платье, я начала поправлять прическу.

— Вам пора одеваться, — сказала я.

— Я одет, — отвечал Льюис. — Разве вы не видите на мне одежды? Я кажусь голым?

— Вы же не собираетесь идти в таком виде, правда?

— Очень даже собираюсь. Не понимаю, почему следует менять костюм под предлогом того, что солнце село.

— Марри с Эллен делают это, а вы находитесь у них, — заметила я. — А кроме того, на ужин придут люди.

— Опять! — сказал Льюис. — Я приехал сюда не для того, чтобы и здесь вести дурацкую нью-йоркскую жизнь.

— Вы приехали сюда не для того, чтобы со всеми быть нелюбезным! — возразила я. — Уже вчера Эллен стала довольно странно поглядывать на вас. — Я вдруг умолкла. — О! В конце-то концов мне плевать! — продолжала я. — Поступайте как знаете.

Дело кончилось тем, что Льюис с ворчанием переоделся. «Он сам навязал мне это пребывание здесь, а теперь нарочно делает его невыносимым», — со злостью думала я. Я старалась изо

всех сил, а он все портил. Я решила, что этим вечером не буду обращать на него внимания, слишком утомительно без конца следить за его настроениями.

Я выполнила то, что обещала себе: беседовала со всеми и не обращала внимания на Льюиса. В целом я находила друзей Марри симпатичными и провела приятный вечер. Около полуночи почти все гости разошлись, Эллен ушла, Льюис — тоже; я осталась с Марри, гитаристом и двумя другими людьми, мы проговорили до трех часов утра. Когда я вошла к нам в комнату, Льюис включил свет и сел на кровати:

— Ну что? Вы кончили болтать языком? Не думал, что женщина одна может наделать столько шума, за исключением, возможно, госпожи Рузвельт.

— Мне нравится разговаривать с Марри, — ответила я, начав раздеваться.

— Именно это я и ставлю вам в упрек! — сказал Льюис. И повысил голос: — Теории, вечно одни теории! Только хорошие книги делаются не с помощью теорий! Есть люди, которые объясняют, как писать книги, и есть те, кто их пишет, но это всегда разные люди.

— Марри вовсе не стремится быть романистом,

он — критик, превосходный критик, вы сами это признаете.

— Он великолепный болтун! А вы тут как тут, готовы слушать его с умной улыбкой! Глядя на это, хочется стукнуть вас головой о стену, чтобы вложить в нее немного здравого смысла!

Я нырнула в постель, сказав:

— Спокойной ночи.

Он выключил свет, не ответив.

Я лежала с открытыми глазами. И даже не злилась: я ничего не могла понять! Эти сборища наводили тоску на Льюиса, пусть так, но ведь на весь день нас оставляли в покое, и, по правде говоря, Марри отнюдь не был педантом; до сих пор Льюису тоже доставляло удовольствие разговаривать с ним. Откуда эта внезапная враждебность? Вне всякого сомнения, Льюис метил в меня, решив испортить нам пребывание здесь; его обиды оказались живучими, но в таком случае его дурное настроение должно было бы предназначаться лишь мне. Видимо, он был зол на самого себя, если вот так винил во всем целый свет; быть может, он корил себя за те мгновения, когда, казалось, отдавал мне свою нежность: эта мысль была мне до того невыносима, что я хотела позвать его, поговорить с ним. Однако голос

мой наткнулся на стиснутые зубы. Я слушала ровное дыхание Льюиса, он спал, это выглядело так безобидно, так невинно: все становилось возможным; казалось, все можно начать или начать заново. Он откроет глаза и скажет: «Я люблю вас, моя милая уроженка Галлии». Но нет, он так не скажет, и эта невинность всего лишь мираж: завтра все будет так же, как сегодня. «Неужели нет никакого способа выбраться из этого?» — с отчаянием спрашивала я себя. Меня охватило возмущение. «Чего он хочет? Что он собирается делать? О чем думает?» Я терзалась вопросами, а он тем временем спокойно отдыхал, далекий от всяких мыслей: это было слишком несправедливо! Я попыталась ни о чем не думать, но нет, заснуть мне не удавалось. Я тихо поднялась. Дик помешал мне искупаться после полудня, и мне вдруг захотелось прохлады воды. Я надела купальник, пляжное платье, взяла старый халат Льюиса и босиком пересекла спящий дом. Какой глубокой была ночь! Надев полотняные туфли, я добежала до пляжа и легла на песок. Было очень тепло, я закрыла глаза при свете звезд, и плеск воды усыпил меня. Когда я проснулась, большое красное светило вставало из воды; то был четвертый день Творения: солнце только

что родилось, страдание людей и животных еще не было изобретено. Я слилась с морем; лежа на спине, я колыхалась на волнах, в глазах у меня отражалось небо, и я ощущала свою невесомость.

— Анна.

Я повернулась лицом к берегу: обитаемая земля, человек, который звал меня, — это был Льюис в пижамных брюках, с обнаженным торсом; я вновь обрела тяжесть своего тела и поплыла к нему: «Я здесь!»

Льюис пошел мне навстречу, вода доходила ему до колен, когда он заключил меня в объятия.

— Анна! — повторял он. — Анна!

— Вы насквозь промокнете! Дайте мне обсохнуть, — говорила я, увлекая его на берег.

Он не размыкал объятий.

— Анна! Как я испугался!

— Я напугала вас? Теперь моя очередь!

— Я открыл глаза, кровать оказалась пуста, и вы не возвращались. Я спустился, в доме вас нигде не было. Я пришел сюда и сначала вас не заметил...

— Не подумали же вы, что я утонула? — сказала я.

— Не знаю, о чем я думал. Это был настоящий кошмар! — признался Льюис. Я подняла белый халат.

— Разотрите меня и обсохните сами.

Он повиновался, и я натянула платье; он закутался в халат.

— Сядьте подле меня! — попросил он. Я села, он снова меня обнял:

— Вы здесь! Я не потерял вас.

— Никогда вы меня не потеряете по моей вине! — с жаром ответила я. Долгое время он молча гладил мои волосы, потом вдруг сказал:

— Анна! Вернемся в Чикаго!

Солнце взошло в моем сердце, еще более ослепительное, чем то, что поднималось в небесах:

— Мне очень хотелось бы!

— Вернемся, — продолжал он. — Мне так хочется побыть с вами наедине! В тот же вечер, когда мы приехали, я понял, какую совершил глупость!

— Льюис! Мне тоже очень хотелось бы вновь оказаться с вами наедине! — сказала я. И улыбнулась ему: — Вот почему вы были в таком плохом настроении. Вы жалели, что приехали сюда?

Льюис кивнул головой:

— Я чувствовал себя в ловушке и не находил никакого способа из нее выбраться: это было ужасно!

— А теперь вы нашли способ? — спросила я.

Льюис посмотрел на меня с вдохновенным видом:

— Они спят, соберем наши чемоданы и сбежим.

Я улыбнулась.

— Попытайтесь лучше объясниться с Марри, — предложила я. — Он поймет.

— А если не поймет, то тем хуже, — сказал Льюис. Я смотрела на него с некоторым беспокойством:

— Льюис! Вы действительно уверены, что хотите вернуться? Это не прихоть? Вы не пожалеете?

Льюис усмехнулся:

— Я прекрасно знаю, когда действую из прихоти. Клянусь вашей головой, что это не прихоть.

И снова я искала его взгляда:

— А когда мы окажемся в нашем доме, вы думаете, мы обретем и все остальное? Все будет, как в прошлом году? Или почти?

— Точно так же, как в прошлом году, — с серьезным видом сказал Льюис. Он обхватил мою голову руками и долго смотрел на меня. — Я попытался меньше любить вас и не смог.

— Ах! Не пытайтесь больше, — попросила я.

— Не буду.

Не знаю точно, что рассказал Льюис Марри, только тот улыбался, провожая нас следующим

вечером в аэропорт. Льюис не солгал: в Чикаго мне все было возвращено. Когда мы расставались на углу улицы, он сказал, крепко обняв меня:

— Никогда я вас так не любил.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Секретарша открыла дверь:

— Письмо по пневматической почте.

— Спасибо, — сказал Анри, схватив голубой листок. «Поль покончила с собой», — подумал он. Напрасно Мардрю уверял его, что она почти вылечилась и не вынашивает никаких мыслей о самоубийстве, отныне в каждом телефонном звонке и особенно в письмах по пневматической почте таилась опасность. Увидев почерк Люси Бельом, Анри почувствовал облегчение: «Мне необходимо срочно встретиться с вами, зайдите ко мне завтра утром». В недоумении он перечитал властное послание. Никогда Люси не позволяла себе с ним такого тона. Жозетта чувствовала себя превосходно, ей нравилась роль, в которой она снималась в «Прекрасной Сюзон», этой ночью она собиралась танцевать на празднике кружев в роскошном платье марки «Амариллис»; Анри и правда не понимал, чего от него хочет Люси. Он сунул письмо в карман: наверняка его ждет какая-нибудь неприятность, но одной больше или меньше — какая разница? Мысль его снова вернулась к Поль, и он протянул было руку к теле-

фону, но тут же опустил ее: «Мадемуазель Марёй чувствует себя прекрасно», — ответ никогда не менялся, точно так же, как ледяная интонация медсестры. Ему запретили видеться с Поль, ведь это он сделал ее безумной, с этим все были согласны: тем лучше, они избавляли Анри от тяжелой обязанности винить себя самому. Поль так давно навязала ему роль палача, что его угрызения совести как бы застыли в своего рода столбняке: он их больше не чувствовал. Впрочем, с тех пор, как Анри понял, что в любом случае виноват всегда он, даже если думал, что поступает хорошо, на сердце у него стало удивительно легко. Словно горячее молоко, он проглатывал свою ежедневную порцию оскорблений.

— Я явился первым? — спросил Люк.

— Как видишь.

Люк рухнул на стул; он нарочно приходил без пиджака и в войлочных тапочках, потому что знал: Трарье терпеть не может неряшливости.

— Послушай, — начал он, — что мы будем делать, если Ламбер нас бросит?

— Он нас не бросит, — живо отозвался Анри.

— Он стопроцентно за Воланжа, — возразил Люк. — Я уверен, что Самазелль для того и предложил эти статьи: чтобы вынудить Ламбера

оставить нас в меньшинстве.

— Ламбер обещал мне свой голос, — сказал Анри. Люк вздохнул:

— Я все время спрашиваю себя: какую игру ведет этот щеголь? Я на его месте давно бы слинял.

— Думаю, в ближайшее время он уйдет, — согласился Анри, — но не станет выступать против меня. Я сдержал свои обязательства, он держит свои.

Анри взял за правило всегда защищать Ламбера от Люка, а Люка — от Ламбера; но факт оставался фактом: положение создалось двусмысленное; Ламбер не станет до бесконечности голосовать вопреки своим убеждениям.

— Тихо! Враг уже тут! — сказал Люк.

Трарье вошел первым, за ним — Самазелль и Ламбер с хмурым видом; никто не улыбался, кроме Люка. Он один забавлялся этой изматывающей войной, в которой никто еще пока не вымотался.

— Прежде чем приступить к обсуждению вопроса, ради которого мы собрались сегодня, я хотел бы обратиться к доброй воле каждого, — начал Трарье, устремив на Анри настойчивый взгляд. — Мы все привязаны к «Эспуар», — горячо продолжал он, — а между тем, из-за нашего несо-

гласия, мы ведем газету к банкротству. В один день Самазелль говорит — белое, на следующий день Перрон говорит — черное: читатель теряется и покупает другую газету. Необходимо, чтобы мы немедленно, вопреки нашим разногласиям, установили общую платформу.

Анри покачал головой:

— Я в сотый раз повторяю, что не пойду ни на какие уступки, вам остается лишь одно: отказаться от нападок на меня. Я придерживаюсь той линии, какая всегда была свойственна «Эспуар».

— Эта линия устарела, ее осудило поражение СРЛ, — возразил Самазелль. — Сегодня и речи не может быть о том, чтобы сохранять нейтралитет перед лицом коммунистов, надо выступать решительно за или против. — Он неуверенно попытался использовать свой жизнерадостный смех: — Принимая во внимание то, как они обращаются с вами, меня удивляет, что вы упорствуете, продолжая щадить их.

— А меня удивляет, что люди, называвшие себя левыми, поддерживают партию капиталистов, военных и клерикалов, — заметил Анри.

— Давайте уточним, — сказал Самазелль. — Всю свою жизнь я боролся против милитаризма, против Церкви и против капитализма. Однако

следует признать, что де Голль определенно не что иное, как просто военный, поддержка Церкви необходима сегодня для защиты ценностей, которыми дорожим мы сами; и голлизм может стать антикапиталистическим режимом, если возглавят его левые.

— Разумеешь то, чего желаешь, — отвечал Анри. — Но и только!

— Однако мне думается, что в ваших интересах найти с нами общий язык, — сказал Трарье. — Потому что в конце концов вы можете оказаться в меньшинстве.

— Меня это удивило бы, — ответил Анри, он едва заметно улыбнулся Ламберу, но тот не улыбался; разумеется, лояльность тяготила его, и он стремился показать это. — Во всяком случае, если такое случится, я подам в отставку, — продолжал Анри, — но на компромисс не пойду. — И в нетерпении добавил: — Бесполезно спорить до завтра, нам предстоит принять решение, давайте примем его. Что касается меня, то я категорически отказываюсь печатать статьи Воланжа.

— Я тоже, — сказал Люк.

Все взоры обратились к Ламберу, который, не поднимая глаз, произнес:

— Их публикация мне кажется несвоевремен-

ной.

— Но вы находите их превосходными! — воскликнул Самазелль. — Вы даете запугать себя!

— Я только что сказал: их публикация мне кажется несвоевременной, разве не ясно? — высокомерно произнес Ламбер.

— Вы надеялись подорвать нас изнутри? Вы просчитались, — насмешливо сказал Люк.

Трарье внезапно встал, он испепелял Анри взглядом:

— В самое ближайшее время «Эспуар» обанкротится. Такова будет награда за ваше упрямство!

Он направился к двери, Самазелль и Люк вышли вслед за ним.

— Могу я поговорить с тобой? — мрачным тоном спросил Ламбер.

— Я собирался задать тебе тот же вопрос, — сказал Анри. Он чувствовал на своих губах фальшивую улыбку. Вот уже много месяцев и даже, пожалуй, целый год, как у него с Ламбером не было по-настоящему дружеского разговора; и не то чтобы он не пытался, но Ламбер все время дулся; Анри понятия не имел, как к нему подступиться.

— Я знаю, что ты собираешься сказать мне, — продолжал он. — Ты считаешь, что ситуация

становится невыносимой?

— Она уже невыносима, — ответил Ламбер. И с упреком взглянул на Анри: — У тебя есть право не любить де Голля, но ты мог бы соблюдать по отношению к нему доброжелательный нейтралитет. В статьях, которые ты отверг, Воланж блестяще разделил идею голлизма и идею реакции.

— Разделять идеи, да это детская игра! — сказал Анри. И добавил: — Итак, ты хочешь продать свои акции.

— Да.

— И будешь работать с Воланжем в «Бо жур»?

— Точно.

— Тем хуже! — сказал Анри. Он пожал плечами: — Вот видишь, оказывается, я был прав. Воланж проповедовал невмешательство, но он дождался-таки своего часа. И теперь поспешил окунуться в политику.

— Это ваша вина, — живо возразил Ламбер. — Вы во все привнесли политику! Если хочешь помешать тому, чтобы мир целиком политизировался, приходится заниматься политикой.

— Вы все равно ничему не помешаете! — сказал Анри. — Впрочем, спорить бесполезно: теперь мы говорим на разных языках, — добавил он. — Продавай свои акции. Только тут возникает

одна проблема. Если мы поделим их на всех четверых, ситуация вновь станет такой, какую ты помог мне избежать. Надо бы договориться Люку, тебе и мне относительно человека, способного выкупить их.

— Выбирай кого хочешь, мне все равно, — сказал Ламбер. — Только постарайся найти такого человека поскорее; мне не хочется повторения того, что я сделал сегодня.

— Я буду искать, но дай мне время сообразить, — сказал Анри. — Тебя так сразу не заменишь.

Он произнес последние слова наобум, но Ламбер, казалось, был тронут; он обижался на невинные фразы, зато ему случалось приписывать теплоту ничего не значащим словам.

— Раз уж мы говорим теперь на разных языках, любой окажется лучше меня, — сказал он недовольным тоном.

— Ты прекрасно знаешь, что вместе с идеями какого-то человека существует еще и сам человек, — заметил Анри.

— Знаю, и это все усложняет, — сказал Ламбер. — Ты и твои идеи — это далеко не одно и то же. — Он встал. — Пойдешь со мной на праздник Ленуара?

— Может, нам лучше сходить в кино? — пред-

ложил Анри.

— Ну нет! Я не хочу пропустить такое зрелище.

— Ладно, заходи за мной в половине девятого.

Коммунистические газеты возвестили о чтении шедевра в четырех актах и шести картинах, где Ленуар «примирял требования чистой поэзии со стремлением обратиться к людям с поистине гуманным посланием». Во имя прежней парагуманитарной группы Жюльен намеревался сорвать этот сеанс. В статьях, опубликованных Ленуаром после его обращения в новую веру, было столько раболепного фанатизма, он вершил суд над своим прошлым и своими друзьями с таким злобным рвением, что Анри не без удовольствия готовился увидеть, как его загонят в угол. К тому же это был способ не хуже любого другого убить вечер: с тех пор как Поль заболела, он с трудом выносил одиночество. А кроме всего прочего, существовало еще и письмо Люси Бельом, которое сулило ему неприятности.

Зал был полон; коммунистическая интеллигенция собралась в полном составе: старая гвардия и многочисленное пополнение. Год назад многие из этих неофитов с возмущением изобличали ошибки и проступки коммунистов, а в ноябре вдруг прозрели; они поняли, что членство в пар-

тии может принести пользу. Анри спускался по центральному проходу в поисках места, и лица на его пути выражали злобное презрение. В этом отношении Самазелль был прав: его честность не вызывала у них ни малейшей признательности. Весь год он из сил выбивался, защищая «Эспуар» от давления голлистов, он решительно выступил против войны в Индокитае, против ареста мальгашских депутатов, против плана Маршалла: словом, он целиком поддерживал их точку зрения. Однако это не мешало им считать его продажным фальсификатором. Он дошел до первых рядов. Скрясин едва заметно улыбнулся ему, но молодые люди, окружавшие Жюльена, взглянули на Анри с неприязнью. Он вернулся назад и сел в глубине зала на ступеньку лестницы.

— Должно быть, я человек в духе Сирано де Бержерака{118}, — заметил он. — У меня одни враги.

— Ты сам виноват, — сказал Ламбер.

— Обзаводиться друзьями — поистине дорогое удовольствие.

Анри нравились товарищество, коллективная работа: но то было в другое время, в другом мире, а сегодня лучше находиться в полном одиночестве, тогда хоть нечего терять; правда, и выиграешь немного, но кто что выигрывает на этой земле?

— Взгляни на крошку Визе, — молвил Ламбер. — Она быстро усвоила местный стиль.

— Да, отличный тип активистки, — весело отозвался Анри.

Четыре месяца назад он отказал ей в репортаже по немецким проблемам, и она плакалась: «Чтобы добиться успеха в журналистике, надо непременно продаться либо "Фигаро", либо "Юманите". — И добавила: — Не могу же я нести свои статьи в "Анклюм". А через неделю позвонила: «Я все-таки отнесла статьи в "Анклюм". Теперь она писала там каждую неделю, и Лашом с чувством цитировал: «Наша дорогая Мари-Анж Визе». В туфлях без каблуков, небрежно подкрашенная, она шла по центральному проходу, с важным видом обмениваясь рукопожатиями. Когда она поравнялась с Анри, он встал и схватил ее за руку:

— Здравствуй!

— Здравствуй, — без улыбки ответила она. И хотела высвободить руку.

— Ты, видно, спешишь: это партия запрещает тебе разговаривать со мной?

— Не думаю, что у нас есть о чем говорить, — сказала Мари-Анж, детский голосок которой прозвучал резко.

— Позволь мне все-таки поздравить тебя: ты делаешь карьеру.

— Главное, мне кажется, я делаю полезную работу.

— Браво! Ты уже приобрела все коммунистические добродетели.

— Надеюсь, что вместе с тем я утратила и кое-какие буржуазные недостатки.

Она с достоинством удалилась, и в это мгновение раздались аплодисменты. На эстраду поднимался Ленуар, он сел за стол, его встретили дисциплинированными хлопками. Разложив на сукне стола листки, он стал читать своего рода манифест, делая на каждом слове отчаянный рывок, словно видел, как между слогами открываются головокружительные расщелины; видимо, он сам внушал себе страх, а между тем относительно социальной миссии поэта и поэзии реального мира Ленуар излагал лишь самые затертые общие места. Когда он остановился, раздался гром аплодисментов: вражеский лагерь не шелохнулся.

— Ты только подумай! — сказал Ламбер. — До чего они докатились, если аплодируют такому!

Анри ничего не ответил. Разумеется, стоило лишь посмотреть прямо в глаза этим недобросо-

вестным интеллектуалам, чтобы обезоружить их презрение, ведь переметнулись-то они либо из карьеризма, либо из страха, а то и ради морального комфорта, и не было пределов их раболепству. Однако надо не иметь совести, чтобы удовлетвориться слишком легкой победой. Не об этих людях думал Анри, когда со сжимающимся сердцем говорил себе: «Они ненавидят друг друга». Они были искренни, те тысячи людей, которые читали «Эспуар», а теперь не читают и для которых имя Анри стало именем предателя; смехотворность этого вечера ничуть не убавит ни их искренность, ни их ненависть.

Успокоившись, Ленуар начал читать сцену, написанную александрийским стихом. Молодой человек сетовал на беспричинную грусть в душе; он хотел покинуть родной город, а родные, возлюбленные, товарищи призывали его к смирению, но он отвергал буржуазные соблазны, в то время как хор комментировал его отъезд туманными стансами. Несколько смутных образов и несколько искусных слов подчеркивали безмерную плоскость тирад. Внезапно раздался громкий голос:

— Обманщик! Жюльен встал.

— Нам обещали поэзию: где поэзия? — кричал

он.

— А реализм? — послышался другой голос. — Где реализм?

— Шедевр: мы требуем шедевра!

— А когда примирение?

Они принялись стучать ногами скандируя: «Примирение!», в то время как в зале кричали: «Вон! Позовите полицию! Провокаторы! Расскажите нам о лагерях! Да здравствует мир! Смерть фашистам! Не оскорбляйте Сопротивление! Да здравствует Торез! Да здравствует де Голль! Да здравствует свобода!»

Ленуар бесстрашно смотрел на своих палачей; казалось, будто он вот-вот падет на колени, обнажив свою грудь, или как одержимый пустится в пляс. Однако, неизвестно почему, волнение улеглось, и он продолжил чтение. Теперь герой странствовал по свету в поисках невозможных перемен. Над залом пронесся чуть слышный, но дерзкий звук губной гармоники; немного погодя послышался зов рожка. Каждый стих Жюльен сопровождал взрывом смеха, заставлявшего судорожно сжиматься губы Ленуара. Смех передавался от одного к другому, и вот уже смеялись всюду, Анри тоже засмеялся: ведь он пришел сюда за этим. Кто-то крикнул: «Подлец!», и он

засмеялся еще громче. Средь всеобщего смеха и свистков раздались аплодисменты. Опять стали кричать: «В Сибирь! В Москву! Да здравствует Сталин! Доносчик! Предатель!» Кто-то даже выкрикнул: «Да здравствует Франция!».

— Я думал, что будет забавнее, — сказал, выходя из зала, Ламбер.

— И в самом деле, ничего забавного тут не было, — ответил Анри. Он обернулся, услыхав за спиной запыхавшийся голос Скрясина:

— Я заметил тебя в зале, а потом ты исчез. Я всюду тебя искал.

— Ты меня искал? — спросил Анри. У него перехватило дыхание: чего ему от меня надо? Весь вечер Анри знал: должно случиться что-то ужасное.

— Да, пошли выпьем по стаканчику в Нью-Бар, — предложил Скрясин. — Надо спрыснуть этот маленький праздник. Ты знаешь Нью-Бар?

— Я знаю, — ответил Ламбер.

— Тогда до скорого, — сказал Скрясин, мгновенно растворившись.

— Что это за Нью-Бар? — спросил Анри.

— Ну да, ты же больше не бываешь в этом квартале, — сказал Ламбер, садясь в машину Анри. — С тех пор как коммуняки присвоили себе Красный

бар, прежние клиенты, не из их числа, укрылись по соседству, в новом бистро.

— Пускай будет Нью-Бар, — согласился Анри.

Они сели в машину и через несколько минут свернули за угол маленькой улочки.

— Это здесь?

— Здесь.

Анри резко затормозил, он узнал кровавый отблеск Красного бара.

— Место, пожалуй, невзрачное.

— Да, но посетителей бывает больше, чем по соседству.

— О! В этом я не сомневаюсь, — сказал Анри и пожал плечами: — К счастью, меня не пугают подозрительные знакомства!

Они сели за столик: много молодежи, много шума, много дыма; Анри никого здесь не знал; с Жозеттой он посещал совсем иные места, к тому же это случалось не часто.

— Виски? — спросил Ламбер.

— Давай.

Две порции виски Ламбер заказал тем элегантно-пресыщенным тоном, который он позаимствовал у Воланжа; они молча ждали заказанный напиток. Как грустно: Анри нечего было больше сказать Ламберу. Он сделал усилие:

— Вышла как будто бы книга Дюбрея.

— Та, отрывки из которой он печатал в «Вижиланс»?

— Да.

— Любопытно почитать.

— Мне тоже.

Прежде Дюбрей всегда давал ему первые гранки, а эту книгу Анри придется купить в книжной лавке, он сможет говорить о ней с кем угодно, но только не с Дюбреем: единственным человеком, с которым ему хотелось бы поговорить о ней.

— Я нашел ту статью о Дюбрее, которую, помнишь, ты отверг, — сказал Ламбер. — Знаешь, она не так плоха.

— Я никогда не говорил, что статья плохая, — возразил Анри.

Ему памятен был тот разговор, тогда впервые он почувствовал у Ламбера некую враждебность.

— Я собираюсь вернуться к ней и сделать расширенный очерк о Дюбрее, — продолжал Ламбер. И, чуть поколебавшись, добавил: — Воланж попросил его у меня для «Бо жур».

— Постарайся быть не слишком пристрастным, — улыбнулся Анри.

— Я буду объективен, — сказал Ламбер. — И еще в «Бо жур» появится одна моя новелла.

— А! Ты написал новые новеллы?

— Целых две. Воланжу они очень понравились.

— Мне хотелось бы почитать их, — сказал Анри.

— Тебе они не понравятся, — ответил Ламбер.

В дверях показался Жюльен и направился к их столику. Он вел под руку Скрясина; их обоюдная ненависть временно заменяла им дружбу.

— За работу, друзья! — громко сказал Жюльен. — Настал наконец момент примирить человека и виски.

Он сунул себе в петлицу белую гвоздику, его взгляд обрел частицу былого блеска: возможно, потому что он еще ничего не пил.

— Бутылку шампанского! — крикнул Скрясин.

— Шампанское, здесь! — возмутился Анри.

— Пошли в другое место! — предложил Скрясин.

— Нет, нет, давай шампанское, но только не цыган! — вмешался Жюльен, поспешно усаживаясь. — Прекрасный вечер, не правда ли? — улыбнулся он. — В высшей степени культурный вечер! Я только об одном жалею: скандала не получилось.

— Прекрасный вечер, но требуется продолже-

ние, — сказал Скрясин, не сводя пристального взгляда с Анри и Жюльена. — Во время заседания мне пришла одна мысль: надо бы создать лигу, чтобы при каждом удобном случае любыми способами выступать против интеллектуалов-перебежчиков.

— А что, если создать лигу, которая будет выступать против всех лиг? — предложил Жюльен.

— Послушай, — сказал Анри, обращаясь к Скрясину, — уж не грешишь ли ты чуточку фашизмом?

— Ну вот, — отвечал Скрясин. — Вот почему у наших побед нет будущего.

— Плевать на будущее! — заявил Жюльен. Лицо Скрясина помрачнело:

— И все-таки надо что-то делать.

— Зачем? — спросил Анри.

— Я напишу о Ленуаре статью, — сказал Скрясин. — Это восхитительный случай политического невроза.

— О, не скажи! Я знаю таких, кто мог бы дать ему сто очков вперед, — заметил Анри.

— Мы все страдаем неврозом, — сказал Жюльен. — И все-таки никто из нас не пишет александрийским стихом.

— Это верно! — засмеялся Анри. — Послушай,

ну и вид у тебя был бы, если бы пьеса Ленуара оказалась хорошей.

— А представь себе, что Торез пришел бы танцевать канкан? Какой вид был бы у тебя? — спросил Жюльен.

— В конце концов, Ленуар писал когда-то хорошие стихи, — заметил Анри. Ламбер раздраженно пожал плечами:

— До того, как отказался от своей свободы.

— Свобода писателя — неплохо бы выяснить, что это значит, — сказал Анри.

— А ничего не значит, — ответил Скрясин. — Быть писателем теперь ничего не значит.

— Точно, — согласился Жюльен. — У меня даже появилось желание снова начать писать.

— Вы непременно должны это сделать, — с внезапным воодушевлением сказал Ламбер. — Теперь такая редкость — писатели, которые не считают себя облеченными особой миссией.

«Это в мой огород»,— подумал Анри, но ничего не ответил. Жюльен засмеялся:

— Ну вот! И сразу же меня облекают миссией: свидетельствовать, что писатель не облечен миссией.

— Да нет! — возразил Ламбер. Жюльен приложил палец к губам.

— Надежно одно лишь молчание.

— Боже мой! — возмутился вдруг Скрясин. — Мы только что присутствовали на потрясающем спектакле, мы видели доведенного коммунистической партией до низости человека, который был нашим другом, а вы говорите о литературе! Да вы просто не мужчины!

— Ты воспринимаешь мир чересчур серьезно, — сказал Жюльен.

— Да? Ну что ж, если бы не было таких людей, как я, принимающих мир всерьез, к власти пришли бы сталинисты, и я не знаю, где бы ты был сейчас.

— Успокойся, наверняка на несколько футов под землей, — ответил Жюльен.

Анри засмеялся:

— Ты воображаешь, что коммунистам нужна твоя шкура?

— Но моя шкура их не терпит, — сказал Жюльен. — Я очень чувствительный. — Он повернулся к Скрясину: — Я ни у кого ничего не прошу. Я радуюсь жизни, пока жизнь радует меня. Если она станет невозможной, я отдам концы.

— Ты покончил бы с собой, если бы коммунисты пришли к власти? — с интересом спросил Анри.

— Да. И настоятельно посоветовал бы тебе сде-

лать то же самое, — ответил Жюльен.

— Невероятно! — сказал Анри. Он с изумлением взглянул на Жюльена. «Тебе кажется, что ты шутишь с приятелями, и вдруг замечаешь, что один из них принимает себя за Наполеона!» — А скажи мне, что ты сделаешь в случае голлистской диктатуры?

— Я не люблю ни речей, ни военной музыки, но как-нибудь выкручусь с помощью небольшого количества ваты в ушах.

— Ясно. Так вот, я скажу тебе одну вещь: ты кончишь тем, что вынешь вату и станешь аплодировать речам.

— Тебе известно, что меня нельзя заподозрить в любви к де Голлю, — сказал Скрясин. — Но ты не можешь сравнить, какой была бы Франция голлистов и Франция сталинизированная.

Анри пожал плечами:

— О! Ты тоже, тоже скоро начнешь кричать: «Да здравствует де Голль!»

— Не моя вина, что антикоммунистические силы сплотились вокруг военного, — возразил Скрясин. — Когда я хотел объединить левые силы против коммунистов, ты отказался.

— Раз уж ты стал антикоммунистом, почему бы тебе не стать милитаристом? — спросил Анри. И

раздраженно добавил: — Какие левые силы! Ты говорил: есть американский народ, профсоюзы. А в своих статьях ты защищаешь Маршалла и иже с ним.

— В настоящий момент разделение мира на два лагеря является фактом, и мы вынуждены выбирать либо Америку, либо СССР.

— И ты выбираешь Америку! — сказал Анри.

— В Америке нет концентрационных лагерей, — ответил Скрясин.

— Опять эти лагеря! Вы заставляете меня жалеть о том, что я поднял о них вопрос! — сказал Анри.

— Не говори так: это самый достойный поступок, который ты когда-либо сделал, — заметил Ламбер, еле ворочая языком; он пил уже второй стакан, а спиртное выносил плохо.

Анри пожал плечами:

— И чему это послужило? Правые использовали лагеря, дабы заставить коммунистов мучиться нечистой совестью, словно находили в этом оправдание себе! Стоит завести разговор об эксплуатации, о безработице, о голоде, как они тут же отвечают: а трудовые лагеря? Если бы их не существовало, они бы выдумали эти лагеря.

— Но дело в том, что они существуют, — сказал

Скрясин, — как это ни прискорбно.

— Мне жаль людей, которые не скорбят по этому поводу! — ответил Анри. Ламбер внезапно встал:

— Прошу прощения, у меня встреча.

— Я с тобой, — сказал Анри, поднимаясь вслед за ним. — Пойду спать.

— Спать! В такое-то время! И в такую ночь! — воскликнул Жюльен.

— Это великая ночь! — сказал Анри. — Но я хочу спать. — Кивнув, он направился к двери.

— Где у тебя встреча? — спросил он Ламбера.

— Нет у меня никакой встречи. Но мне надоело. С ними неинтересно, — сказал Ламбер и со злостью добавил: — Когда можно будет провести вечер без разговоров о политике?

— А мы и не разговаривали, мы несли чепуху.

— Несли чепуху о политике.

— Я предлагал тебе пойти в кино.

— Политика или кино! — возмутился Ламбер. — Неужели на земле действительно нет ничего другого?

— Думаю, есть, — ответил Анри.

— Что?

— Очень хотелось бы это знать!

Ударив ногой об асфальт тротуара, Ламбер

спросил довольно настойчиво:

— Не хочешь выпить по стаканчику?

— Давай выпьем.

Они сели на террасе кафе; вечер стоял прекрасный, люди за столиками смеялись: о чем они говорили? Маленькие машины сновали по шоссе, парни и девушки шли, обнявшись, на тротуарах танцевали пары, доносились звуки какого-то очень хорошего джаза. Разумеется, кроме политики и кино, на земле существовало много других вещей, но — для других людей.

— Две двойные порции виски, — заказал Ламбер.

— Двойные! Куда ты спешишь! — удивился Анри. — Ты тоже пристрастился к выпивке?

— Почему тоже?

— Жюльен пьет, Скрясин пьет.

— Воланж не пьет, а Венсан пьет, — возразил Ламбер. Анри улыбнулся:

— Ты сам везде видишь политические задние мысли, я говорил просто так.

— Надин тоже не хотела, чтобы я пил, — сказал Ламбер, на лице его уже отражалось смутное упрямство. — Она считала меня не способным на это, она считала меня ни на что не способным: в точности как ты. До чего забавно: я не внушаю

доверия, — мрачно заключил он.

— Я всегда тебе доверял, — возразил Анри.

— Нет. Какое-то время ты был снисходителен ко мне, вот и все. — Ламбер выпил полстакана виски и сердито продолжал: — В вашей шайке если ты не гений, то должен быть чудовищем; Венсан — чудовище, согласен. Но я-то и не писатель, и не человек действия, и не большой распутник, всего-навсего молодой человек из хорошей семьи и даже не умею напиваться как следует.

Анри пожал плечами:

— Никто от тебя не требует быть гением или чудовищем.

— Ты ничего от меня не требуешь, потому что презираешь меня, — заявил Ламбер.

— Ты совсем спятил! — сказал Анри. — Я сожалею, что у тебя идеи такие, какие есть, но презирать тебя — чего нет, того нет.

— Ты считаешь, что я буржуа, — сказал Ламбер.

— А я? Разве я — нет?

— О! Но ты — это ты, — со злостью произнес Ламбер. — Ты уверяешь, будто не чувствуешь себя выше других, но на деле ты презираешь всех: Ленуара, Скрясина, Жюльена, Самазелля, Воланжа и всех остальных, в том числе и меня. Разумеется,

— добавил он восторженно и вместе с тем озлобленно, — у тебя такая высокая нравственность, ты бескорыстен, честен, лоялен, отважен, ты последователен с самим собой: ни единого изъяна! Ах! Это, должно быть, потрясающе — чувствовать себя безупречным!

Анри улыбнулся:

— Могу тебе поклясться, что это не про меня.

— Да будет тебе! Ты непогрешим и сам это знаешь, — обескураженно произнес Ламбер. — А мне прекрасно известно, что я не безгрешен, — сердито добавил он, — но мне плевать: я такой, какой есть.

— Кто тебя в этом упрекает? — сказал Анри. Он смотрел на Ламбера с некоторым раскаянием. Анри ставил ему в упрек то, что он поддался искушению пойти по легкому пути, но ведь у Ламбера были оправдания: трудное детство, Роза умерла, когда ему было двадцать лет, а Надин не могла стать для него утешением. По сути, то, чего он просил, было более чем скромно: чтобы ему позволили пожить немного для себя. «А я ничего ему не предлагал, только все время чего-то требовал», — подумал Анри. Вот почему Ламбер переметнулся к Воланжу. Быть может, еще не поздно предложить ему что-то другое.

— Мне кажется, — ласково сказал Анри, — у тебя ко мне куча претензий: не лучше ли высказать их раз и навсегда, мы могли бы объясниться.

— У меня нет претензий, это ты все время винишь меня; ты постоянно винишь меня, — мрачно отвечал Ламбер.

— Ты сильно заблуждаешься. Если я бываю иного мнения, чем ты, это вовсе не значит, что я виню тебя. Прежде всего у нас разный возраст. То, что важно для меня, не обязательно важно для тебя. У меня тоже была молодость, и я прекрасно понимаю, что тебе хочется немного попользоваться твоей.

— Ты это понимаешь? — спросил Ламбер.

— Ну конечно.

— О! Впрочем, даже если ты меня осуждаешь, мне плевать, — сказал Ламбер. Голос у него дрожал, он слишком много выпил, чтобы разговор стал возможен, к тому же торопиться было некуда. Анри улыбнулся ему:

— Послушай, уже поздно, и мы оба немного устали. Давай пойдем куда-нибудь вместе в один из ближайших вечеров и попробуем поговорить по-настоящему, с нами так давно этого не случалось!

— Поговорить по-настоящему — думаешь, та-

кое возможно?

— Возможно, если этого хочешь, — сказал Анри, вставая. — Я провожу тебя?

— Нет, я попытаюсь найти приятелей, — туманно отвечал Ламбер.

— Тогда до встречи, — сказал Анри. Ламбер протянул ему руку:

— До встречи!

Анри отправился к себе в гостиницу; на своей полке у портье он нашел пакет: эссе Дюбрея. Поднимаясь по лестнице, он сорвал тесемки и открыл титульную страницу: разумеется, она была пуста; что он себе вообразил? Это Мован прислал ему книгу, точно так же, как присылал кучу других.

«Почему, — спрашивал себя Анри, — почему мы поссорились?» Он часто задавался этим вопросом. Тон статей Дюбрея в «Вижиланс» соответствовал тону передовиц Анри: по сути, их ничто не разделяло. И все-таки они поссорились. Это было одно из тех событий, которые нельзя вернуть, но и объяснить тоже нельзя. Коммунисты ненавидели Анри, Ламбер покидал «Эспуар», Поль сошла с ума, мир стремительно приближался к войне; в ссоре с Дюбреем смысла было ничуть не больше.

Сев за стол, Анри стал разрезать страницы

книги, многие куски он знал. И тут же открыл последнюю главу: длинную главу, которая, видимо, была написана в январе, после ликвидации СРЛ. Он пришел в некоторое замешательство. Чем хорош был Дюбрей, так это тем, что всегда без колебаний ставил под вопрос свои суждения;{119} каждый раз он двигался вперед очертя голову. Но на сей раз поворот оказался радикальным. «Сегодня французский интеллектуал бессилен», — заявлял он. Разумеется: СРЛ провалилось; статьи Дюбрея в «Вижиланс» поднимали шум, но не оказывали никакого влияния — ни на кого; Дюбрея обвиняли и в том, что он тайный коммунист, и в том, что он опора Уоллстрита, у него были только враги: радоваться решительно нечему. Анри находился примерно в таком же положении, ему тоже нечему было радоваться, но с ним дело обстояло иначе; он жил изо дня в день, не заглядывая в будущее, и как-то приспосабливался, Дюбрей с его фанатизмом наверняка не умел приспосабливаться. Впрочем, он шел дальше Анри. Он осуждал даже литературу. Анри продолжал читать. Дюбрей пошел еще дальше: он осуждал свое собственное существование. Прежнему гуманизму, который исповедовал он сам, Дюбрей противопоставлял новый гуманизм{120},

более реалистичный, более пессимистический, предоставлявший обширное место насилию и почти никакого — идеям справедливости, свободы, истины; он успешно доказывал, что это единственная мораль, соответствующая нынешним взаимоотношениям людей между собой; но, чтобы принять ее, надо отбросить столько всяких вещей, что лично он на это не способен. Очень странно было видеть Дюбрея, проповедующего истину, которую он не мог сделать своей: значит, он считает себя мертвым. «Это моя вина, — думал Анри. — Если бы я не заупрямился, СРЛ продолжало бы существовать и Дюбрей не считал бы себя окончательно побежденным». Бездействующий, одинокий, сомневающийся в том, что его творчество имеет смысл, отрезанный от будущего, оспаривающий свое прошлое — от одной мысли об этом сжималось сердце. «Я ему напишу!» — решил вдруг Анри. Возможно, Дюбрей не ответит или ответит гневно — какое это имеет значение? Самолюбие — Анри перестал уже понимать, что это такое. «Я напишу ему завтра», — решил он, ложась спать. И еще он сказал себе: «Завтра у меня состоится настоящий разговор с Ламбером». Анри выключил свет. «Завтра. Почему мамаша Бельом хочет видеть меня завтра утром?»— спро-

сил он себя.

Горничная удалилась, и Анри вошел в гостиную; медвежьи шкуры, ковры, низкие диваны — все та же заговорщическая тишина, как в тот день, когда он встретил здесь молчаливо предлагавшую себя Жозетту. Однако не для того же пригласила его Люси, чтобы предложить ему свои пятидесятилетние прелести! «Чего ей от меня надо?»— повторял он, стараясь уклониться от ответов.

— Спасибо, что пришли, — сказала Люси. На ней было строгое домашнее платье, волосы были хорошо уложены, но она не подвела брови, и эта своего рода плешивость странно старила ее. Жестом она пригласила его сесть.

— Хочу попросить вас об одной услуге и не столько для себя: для Жозетты. Вы ведь привязаны к ней, не так ли?

— Вы прекрасно знаете, что да, — ответил Анри. Тон Люси был таким нормальным, что он смутно почувствовал облегчение: она хочет, чтобы я женился на Жозетте или принял участие в какой-то комбинации; но почему в правой руке она держала маленький кружевной платочек, почему так судорожно сжимала его?

— Не знаю, как далеко вы пойдете, чтобы ока-

зать ей помощь, — сказала Люси.

— Расскажите мне, в чем дело.

Люси колебалась; обеими руками она теребила смятый лоскуток.

— Я скажу вам все, у меня нет выбора. — Она усмехнулась. — Вам, должно быть, рассказывали, что во время войны мы вовсе не были участницами Сопротивления?

— Мне говорили об этом.

— Никто никогда не узнает, чего мне стоило заполучить дом моды «Амариллис» и сделать из него шикарное заведение, — сказала Люси. — Впрочем, это никого не интересует, и я не стремлюсь растрогать вас своей судьбой. Но вы должны понять, что после этого я скорее рискнула бы своей головой, чем дала бы погибнуть этому заведению. Спасти дом моды я могла, лишь прибегнув к помощи немцев: я воспользовалась их помощью и не стану уверять вас, что жалею об этом. Разумеется, просто так ничего не дается; я принимала их в Лионе, устраивала празднества: словом, сделала все необходимое. За это я поплатилась кое-какими неприятностями после Освобождения, но все в прошлом, и все забыто.

Оглядевшись по сторонам, Люси перевела взгляд на Анри; он прошептал спокойным тоном:

«Что дальше?» Ему казалось, что эта сцена уже имела место. Когда? Возможно, в его снах. С тех пор как он получил письмо по пневматической почте, он знал, что скажет ему Люси; вот уже год он ждал этой минуты.

— Есть один человек, который вместе со мной занимался моими делами, некий Мерсье; он часто наведывался в Лион: ему удалось стащить фотографии, письма, он собрал сплетни; если он заговорит, нас с Жозеттой ожидает лишение гражданских прав.

— Значит, история с досье — правда? — спросил Анри. Он не чувствовал ничего, кроме страшной усталости.

— Ах! Вы в курсе? — с удивлением произнесла Люси; лицо ее немного оттаяло.

— Вы воспользовались помощью Жозетты? — спросил Анри.

— Воспользовалась! Жозетта никогда ни в чем мне не помогала, — с горечью сказала Люси, — она скомпрометировала себя без всякой пользы, влюбилась в одного капитана, красивого сентиментального парня без малейшего влияния, который посылал ей пламенные письма до того, как его убили на Восточном фронте; она оставляла их всюду на виду вместе с фотографиями,

где они красовались оба; отличные документы, уверяю вас. Мерсье быстро понял, какую пользу можно из них извлечь.

Анри вдруг встал и подошел к окну. Люси наблюдала за ним, но ему было наплевать. Он вспоминал беспечное лицо Жозетты в то утро, то первое утро, и этот правдивый голос, который лгал: «Влюблена, я? В кого?» Она любила, любила другого: красивого парня, который был немцем. Анри повернулся к Люси и с усилием спросил:

— Он шантажирует вас? Люси усмехнулась:

— Надеюсь, вы не думаете, что я прошу у вас денег? Я плачу уже три года и была готова продолжать. Я даже предлагала Мерсье большие деньги, чтобы выкупить досье, но он хитер, он далеко смотрел. — Она заглянула Анри в глаза и вызывающим тоном сказала: — Мерсье был осведомителем гестапо, его только что арестовали. Он дал мне знать, что, если я не вытащу его оттуда, он впутает и нас.

Анри хранил молчание; до сих пор шлюхи, которые спали с немцами, принадлежали к другому миру, и единственной связью с этим миром могла быть только ненависть. Но вот, Люси говорила, а он слушал ее; оказывается, этот гнусный мир был и его миром, мир был один. Руки немецкого

капитана — Жозетта прошла через его руки.

— Вы понимаете, что представляет собой эта история для Жозетты? — спросила Люси. — С ее-то характером ей этого ни за что не пережить, она откроет газ.

— Что вы хотите, чтобы я сделал? Чего вы от меня ждете? — с раздражением произнес Анри. — Я не знаю адвоката, который мог бы вытащить осведомителя гестапо. Единственный совет, который я могу вам дать, это как можно скорее бежать в Швейцарию. Люси пожала плечами:

— В Швейцарию! Говорю вам, что Жозетта откроет газ! В последнее время она так была довольна, бедняжка, — сказала Люси с внезапным умилением. — Все говорят, что на экране она проявила себя удивительнейшим образом. Садитесь, — в нетерпении добавила она, — и слушайте меня.

— Я слушаю, — сказал, садясь, Анри.

— Адвокат у меня есть! Мэтр Трюффо, не знаете такого? Это весьма надежный друг, у которого есть по отношению ко мне кое-какие обязательства, — с усмешкой произнесла Люси. Она посмотрела Анри прямо в глаза. — Мы вместе изучили дело вдоль и поперек. Он говорит, что единственное решение — это доказать, что Мер-

сье был двойным агентом, но, разумеется, такое возможно лишь в том случае, если найдется серьезный участник Сопротивления, который подтвердит это.

— А! Понимаю! — сказал Анри.

— Понять нетрудно, — холодно заметила Люси.

— Вы полагаете, что это так просто! — усмехнулся Анри. — Беда в том, что все товарищи знали: Мерсье никогда со мной не работал.

Люси закусила губу; внезапно она перестала храбриться, и он испугался, что она расплачется, картина будет отвратительной. Он с недобрым удовольствием наблюдал за ее поникшим лицом, а в голове его, точно ветер, проносились мысли: возлюбленная немецкого капитана, она здорово меня провела. Идиот! Несчастный идиот! Он безоглядно поверил в ее наслаждение, ее нежность: идиот! Она всегда рассматривала его как инструмент. Люси была умной женщиной и заглядывала далеко вперед; если она взялась блюсти интересы Анри, если она бросила в его объятия Жозетту, то вовсе не для того, чтобы обеспечить карьеру дочери, на которую ей было наплевать, а для того лишь, чтобы заполучить полезного союзника, и Жозетта подыгрывала ей; она рассказывала Анри, будто никогда никого

не любила, дабы оправдать сдержанность своего сердца, но всю любовь, на какую это пустое сердце было способно, она отдала немецкому капитану, который был таким красивым парнем. Анри хотелось нанести ей оскорбление, ударить, а его просили спасти ее!

— Разве работа не была тайной? — спросила Люси.

— Да, но между собой мы друг друга знали.

— А следователь не поверит вам на слово? Если вам сделают очную ставку с вашими друзьями, они станут опровергать вас?

— Не знаю и не хочу идти на такой риск, — с раздражением ответил Анри. — Вы как будто не понимаете, что лжесвидетельство — дело серьезное. Вы дорожите своим домом моды; я тоже дорожу кое-какими вещами.

Люси вновь обрела спокойствие.

— Главное обвинение против Мерсье, — сказала она бесстрастным тоном, — это то, что он выдал двух девушек на мосту Альма двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года. — Она подняла на Анри вопросительный взгляд: — В подполье их звали Ивонна и Лиза, они провели год в Да-хау, вам это ничего не говорит?

— Нет.

— Жаль. Если бы вы их знали, это могло бы нам помочь. Во всяком случае, они вас, конечно, знают. Если вы скажете, что в тот день Мерсье находился в другом месте с вами, они не откажутся от своих показаний? А если вы заявите, что тайно использовали Мерсье как осведомителя, кто-нибудь осмелится вам возразить?

Анри задумался; да, ему, безусловно, верили, обман может сойти. Люк в сорок четвертом находился в Бордо, а Шансель, Варье и Галтье уже мертвы. Ламбер, Сезенак, Дюбрей если и усомнятся, то оставят свои сомнения при себе. Но он не станет давать ложного показания из-за твари, которая ему приглянулась. Она крепко хранила свой секрет, святая невинность!

— Поторопитесь-ка лучше бежать в Швейцарию! — сказал Анри. — Вы встретите там кучу весьма достойных людей. В Швейцарию, в Бразилию или в Аргентину: мир велик. Это предрассудок: думать, будто жить можно только в Париже.

— Вы знаете Жозетту? Она только-только начала вновь обретать вкус к жизни. Ей ни за что не выдержать! — сказала Люси.

Анри подумал с болью в сердце: «Мне надо ее увидеть! Немедленно!» — и внезапно поднялся.

— Я подумаю.

— Вот адрес мэтра Трюффо, — сказала Люси, доставая из кармана листок бумаги. — Если решитесь, свяжитесь с ним.

— Предположим, я соглашусь, — сказал Анри, — можно ли быть уверенным в том, что этот тип отдаст досье?

— А что ему с ним делать? Прежде всего не в его интересах сердить вас. И потом, в тот день, когда узнают о досье, ваше свидетельство поставят под сомнение. Нет. Если вы поможете ему выпутаться, руки у него будут связаны.

— Я позвоню вам сегодня вечером, — сказал Анри.

Люси поднялась и с минуту стояла перед ним в нерешительности, и снова он испугался, что она разразится слезами или бросится к его ногам; она ограничилась вздохом и проводила его до двери.

Анри торопливо спустился по лестнице. Сел за руль своего автомобиля и поехал на улицу Габриэль. В кармане он всегда носил маленький ключ, который дала ему Жозетта год назад, прекрасной ночью; он открыл дверь квартиры и без стука вошел в спальню.

— Что такое? — молвила Жозетта; она открыла глаза и смутно улыбнулась: — Это ты? Который

час? Как мило, что ты пришел поцеловать меня.

Он не поцеловал ее; раздвинув шторы, он сел на пуф с оборками. Меж этих обитых тканью стен, средь этих безделушек, атласа, диванных подушек с трудом верилось в скандал, в тюрьму, в отчаяние. Лицо ее улыбалось, чересчур розовое под рыжеватыми волосами.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал Анри. Жозетта слегка приподнялась на подушках:

— О чем?

— Почему ты не сказала мне правду? Твоя мать только что все мне рассказала, и на этот раз я хочу знать правду, — сказал он резким тоном. — Она решила, что когда-нибудь я смогу оказать вам услугу, и потому бросила тебя в мои объятия?

— Что случилось? — спросила Жозетта, с испуганным видом глядя на Анри.

— Отвечай! Ты согласилась спать со мной повинуясь матери?

— Мама давно уже говорит, чтобы я бросила тебя, — сказала Жозетта. — Ей хочется, чтобы я сошлась со стариком. Что случилось? — умоляющим голосом повторила она.

— Досье, — ответил он, — ты что-нибудь слышала об этом досье? Типа, который держит в руках досье, арестовали, и он угрожает все рассказать.

Жозетта ткнулась лицом в подушку.

— Видно, это никогда не кончится! — с отчаянием проговорила она.

— Помнишь, именно здесь, в первое утро, ты мне сказала, что никогда никого не любила; позже что-то неопределенное рассказывала о молодом человеке, который умер в Америке: немецкий капитан — вот он кто, твой молодой человек. А! Ты хорошо посмеялась надо мной.

— Почему ты так разговариваешь со мной? — спросила Жозетта. — Что я тебе сделала? Когда я жила в Лионе, я тебя не знала.

— Но когда я спрашивал тебя, ты меня знала и солгала мне с таким невинным видом!

— А зачем было говорить тебе правду? Мама запретила мне это, к тому же ты был чужой.

— И в течение целого года я оставался для тебя чужим?

— А почему мы должны были ворошить все это? — Закрыв лицо руками, она тихонько заплакала. — Мама говорит, что если на меня донесут, то я пойду в тюрьму. Я не хочу! Скорее я убью себя.

— Сколько времени продолжалась твоя история с капитаном?

— Год.

— Это он обставил твою квартиру?

— Да. Все, что у меня есть, дал мне он.

— И ты его любила?

— Он любил меня, любил так, как ни один мужчина никогда меня не полюбит. Да, я любила его, — рыдая, сказала она, — это не причина, чтобы сажать меня в тюрьму.

Анри встал, сделал несколько шагов между вещами, выбранными красивым капитаном. В глубине души он всегда знал, что Жозетта способна была отдаться немцам. «Я ничего не понимала в этой войне», — признавалась она; Анри предполагал, что она улыбалась им и даже отчасти флиртовала с ними, и прощал ее; искренняя любовь должна была бы показаться ему еще более простительной. Однако он не в силах был представить себе в этом кресле серо-зеленую форму и мужчину, который лежал рядом, тесно прижавшись к Жозетте, слившись с ней в поцелуе.

— А знаешь, на что надеется твоя мать? Что я дам ложные показания, чтобы спасти вас. Ложные показания: думаю, тебе это ничего не говорит, — добавил он.

— Я не пойду в тюрьму, я покончу с собой, — повторила сквозь слезы Жозетта.

— И речи нет о том, что ты пойдешь в тюрьму, — смягчившись, сказал Анри. Да ладно! Хватит

играть в поборника справедливости: он просто-напросто

ревновал. По совести говоря, он не мог сердиться на Жозетту за то, что она полюбила первого полюбившего ее мужчину. И по какому праву ставил он ей в упрек ее молчание? Не было у него такого права.

Жозетта продолжала рыдать; не было, разумеется, никакого смысла и в том, что он наговорил. Позор, бегство, изгнание: Жозетта ни за что этого не выдержит, она и без того не слишком дорожит жизнью. Он оглянулся вокруг, и страх подступил к горлу. В этой комедийной декорации жизнь казалась фривольной; но если однажды Жозетта откроет газ, то умрет как раз средь этих обитых тканью стен, под розовыми простынями, и похоронят ее в ворсистой мягкой сорочке; легкомысленная беспечность этой комнаты была всего лишь обманом, зато слезы Жозетты были настоящими, и под надушенной кожей скрывался настоящий скелет. Анри сел на край кровати со словами:

— Не плачь. Я вытащу тебя.

Она отвела пряди волос, ниспадавшие на ее мокрое лицо.

— Ты? У тебя такой сердитый вид!..

— Да нет, я не сержусь, — сказал он. — Обещаю, что вытащу тебя, — с жаром повторил он.

— Да, да! Спаси меня! Умоляю тебя! — просила Жозетта, бросаясь в его объятия.

— Не бойся. Ничего плохого с тобой не случится, — ласково сказал он.

— Ты такой милый! — ответила Жозетта. Прильнув к нему, она протянула ему губы; он отвернулся. — Я противна тебе? — прошептала она таким униженным тоном, что Анри вдруг стало стыдно: стыдно оказаться на стороне тех, кто прав. Мужчина перед лицом женщины, человек, у которого есть деньги, имя, культура и главное! — мораль. Несколько поблекшая за последнее время мораль, которая, однако, могла еще создать иллюзию; иногда он и сам поддавался на этот обман. Анри поцеловал соленые от слез губы Жозетты:

— Я сам себе противен.

— Ты?

Она подняла на него глаза, ничего не понимающие глаза, и он снова поцеловал ее в порыве жалости. Какое оружие ей дали? Какие принципы? Какие надежды? Были пощечины ее матери, грубость мужчин, унизительная красота, а теперь в ее сердце поселили изумленное раскаяние.

— Мне следовало сразу быть милым, вместо того чтобы ругать тебя, — сказал он.

Она с тревогой взглянула на него:

— Ты правда на меня не сердишься?

— Не сержусь. И я вытащу тебя.

— Как ты это сделаешь?

— Я сделаю что надо.

Вздохнув, она положила голову Анри на плечо; он погладил ей волосы. Лжесвидетельство: при этой мысли его бросало в дрожь. Но почему? Дав ложные показания, он никому не причинит вреда; он спасет голову Мерсье — это прискорбно, но сколько других заслуживают смерти и чувствуют себя прекрасно! Если же он откажется, Жозетта вполне способна убить себя, или, во всяком случае, жизнь ее пойдет прахом. Нет, колебаться он не мог: с одной стороны — Жозетта, с другой — угрызения совести. Он намотал на палец прядь ее волос. Как бы там ни было, спокойная совесть пользы почти не приносит. Он уже думал об этом: не лучше ли откровенно упорствовать в своей неправоте? И вот ему представилась прекрасная возможность послать мораль к черту, и он эту возможность не упустит. Анри высвободил руку и провел ею по лицу. Нечего изображать из себя одержимого. Он даст эти ложные показания ,

потому что не может поступить иначе, вот и все. «Как я дошел до этого?» Все казалось ему вполне логичным и в то же время совершенно невозможным; никогда он не чувствовал такой печали.

Анри не стал писать Дюбрею, и у него не состоялась душевная беседа с Ламбером. Друзья — это значит в чем-то отчитываться: нет, чтобы совершить то, что он собирался сделать, ему следовало остаться одному. Теперь, когда решение его было принято, он запрещал себе мучиться совестью. И страха он тоже не испытывал. Разумеется, он шел на большой риск, проверка фактов путем сопоставления была возможна, какой скандал, если его когда-нибудь уличат в лжесвидетельстве! Приготовленный под голлистским или коммунистическим соусом, это будет лакомый кусок. Однако Анри не строил себе иллюзий относительно значимости своего поступка, а что касается его личного будущего, то на это ему было наплевать. Вместе с мэтром Трюффо он сочинил предполагаемую карьеру Мерсье и испытывал лишь легкое отвращение в тот день, когда вошел в кабинет следователя. Этот кабинет, похожий на тысячи других кабинетов, казался менее реальным, чем театральная декорация; следователь, секретарь были всего лишь актерами некой абстрактной

драмы: они играли свою роль, Анри сыграет свою; слово правды ничего здесь не значило.

— Разумеется, двойной агент вынужден предоставлять врагу доказательства своей преданности, — непринужденным тоном объяснял он, — вам это известно не хуже, чем мне. Мерсье не в силах был помочь нам, не скомпрометировав себя; однако сведения, которыми он снабжал немцев, мы всегда обсуждали вместе; ни разу не было ни малейшей утечки, касающейся истинной деятельности подпольной организации; и если сегодня я здесь, если столько товарищей избежали смерти, если «Эспуар» смогла просуществовать в подполье, то это благодаря ему.

Анри говорил с жаром, казавшимся ему убедительным, и улыбка Мерсье подкрепляла его слова. Это был довольно красивый малый лет тридцати, скромного вида, с лицом, вызывавшим скорее симпатию. «А между тем, — думал Анри, — возможно, именно он выдал Бореля или Фонгуа да и многих других: без любви, без ненависти, за деньги; их убили, они погибли, а он будет продолжать жить — уважаемый, богатый, счастливый». Но средь этих четырех стен они были так далеки от мира, где люди живут и умирают, что это не имело большого значения.

— Всегда бывает трудно определить тот момент, когда двойной агент становится предателем, — заметил следователь. — Вам неизвестно, что, к несчастью, Мерсье перешел эту границу.

Он подал знак приставу, и Анри напряг все свои силы; он знал, что Ивонна и Лиза провели в Дахау двенадцать месяцев, но сам их никогда не видел; теперь он увидел их; Ивонна была брюнеткой, она, казалось, оправилась; у Лизы были темно-русые волосы, все еще худая и бледная, она походила на воскресшую из мертвых; месть не вернула бы ей краски, но обе они были вполне реальны, и тяжело будет лгать у них на глазах. Их показания, не отрывая глаз от лица Мерсье, повторила Ивонна:

— Двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года в два часа пополудни у меня была назначена встреча на мосту Альма с присутствующей здесь Лизой Пелу. В тот момент, когда я подошла к ней, к нам направились трое мужчин, двое немцев и вот этот, он показал им на нас; он был в коричневом пальто, без шляпы и побрит, как сегодня.

— Тут ошибка в отношении личности, — твердо заявил Анри. — Двадцать третьего февраля в два часа Мерсье находился со мной в Ла-Сутеррен; на-

кануне мы прибыли туда вместе; друзья должны были передать нам план складов, которые через три дня разбомбили американцы, весь день мы провели с ними.

— И все-таки это точно он, — сказала Ивонна; она взглянула на Лизу, та подтвердила:

— Точно он!

— Вы не могли ошибиться датой? — спросил следователь. Анри покачал головой.

— Бомбардировка состоялась двадцать шестого, сведения были переданы двадцать четвертого, и я провел там двадцать второе и двадцать третье; такие даты не забываются.

— А вы были арестованы именно двадцать третьего февраля? — спросил следователь, повернувшись к молодым женщинам.

— Да, двадцать третьего февраля, — произнесла Лиза. Они выглядели ошеломленными.

— Вы видели вашего доносчика всего одну минуту, да еще в такой момент, когда были взволнованы, — сказал Анри, — тогда как я работал с Мерсье два года, и речи быть не может о том, чтобы я спутал его с кем-то другим. Все, что мне известно о нем, подтверждает, что никогда он не выдал бы двух участниц Сопротивления: это всего лишь мнение. Но в чем я клянусь под прися-

гой, так это в том, что двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года он был в Ла-Сутеррен вместе со мной.

Анри сосредоточенно смотрел на Ивонну и Лизу, и они в отчаянии переглянулись. Они были столь же уверены в личности Мерсье, как в преданности Анри, и в глазах у них отражалась паника.

— Тогда это был его брат-близнец, — сказала Ивонна.

— У него нет братьев, — возразил следователь.

— Тогда кто-то, похожий на него, как брат.

— Множество людей похожи друг на друга по прошествии двух лет, — заметил Анри.

Наступило молчание, и следователь спросил:

— Вы настаиваете на своих показаниях?

— Нет, — ответила Ивонна.

— Нет, — повторила Лиза.

Чтобы не заподозрить Анри, они согласились усомниться в собственных, самых что ни на есть достоверных воспоминаниях; но вместе с прошлым пошатнулось вокруг них и настоящее, и даже сама реальность. Анри пришел в ужас от того растерянного недоумения, что затаилось в глубине их глаз.

— Прочтите, пожалуйста, и подпишите, — ска-

зал следователь.

Анри перечитал страницу; изложенные нечеловеческим языком, его показания теряли всякую силу, и он без смущения подписал их, однако с сомнением следил глазами за выходившими молодыми женщинами; Анри хотелось броситься вслед за ними, но ему нечего было сказать им.

То был самый обычный день, похожий на все остальные, и никто не мог угадать по его лицу, что он совершил сейчас клятвопреступление. Ламбер встретил его в коридоре без улыбки, но это совсем по другим причинам: он был обижен тем, что Анри до сих пор не предложил ему встречу наедине. «Завтра я приглашу его на ужин». Да, дружба снова была позволена, конец предосторожностям и угрызениям совести: все так хорошо прошло, что можно было считать, будто вовсе ничего не случилось. «Так и будем считать», — сказал себе Анри, садясь за письменный стол. Он просмотрел почту. Письмо от Мардрю: Поль выздоровела, но было желательно, чтобы Анри не пытался встретиться с ней. Прекрасно. Пьер Леверрье писал, что готов выкупить акции Ламбера. Тем лучше. Он был честен и суров, ему не вернуть «Эспуар» утраченной молодости, но с ним можно будет работать. А! Принесли дополнительные сведения

о мадагаскарском деле. Анри прочел напечатанные страницы. Сто тысяч убитых мальгашей против ста пятидесяти европейцев, террор царит на острове, все депутаты арестованы, хотя они и осудили мятеж, их подвергли пыткам, достойным гестапо, на их адвоката совершено покушение с гранатой, судебный процесс заранее подтасован, и ни одной газеты, чтобы изобличить скандал. Анри достал авторучку. Надо послать кого-нибудь туда: Венсан будет доволен. А пока он займется своей передовицей. Анри едва успел написать первые строчки, когда в дверях появилась секретарша: «К вам посетитель». Она протянула ему карточку: мэтр Трюффо. У Анри защемило сердце. Люси Бельом, Мерсье, мэтр Трюффо — что-то случилось: у него были сообщники.

— Пусть войдет.

Адвокат нес в руках толстый кожаный портфель.

— Я не задержу вас надолго, — сказал он и довольным тоном добавил: — Ваше показание произвело сенсацию; отсутствие состава преступления обеспечено. Я глубоко счастлив. Ошибки, которые совершил этот молодой человек, ему пришлось бы искупать не в тюрьме. Вы дали ему возможность начать новую жизнь.

— И совершать новые подлости! — сказал Анри. — Но вопрос не в этом. Все, на что я надеюсь, это никогда больше не слышать о нем.

— Я посоветовал ему уехать в Индокитай, — сказал мэтр Трюффо.

— Прекрасная идея, — ответил Анри. — Пускай убьет столько индокитайцев, сколько погубил французов, и станет знаменитым героем. Ну а пока вернул ли он досье?

— Именно, — сказал мэтр Трюффо. Он достал из портфеля объемистый пакет, завернутый в коричневую бумагу. — Я хотел вручить его вам в собственные руки.

Анри взял пакет.

— Почему мне? — в нерешительности спросил он. — Его надо было отдать мадам Бельом.

— Вы поступите с ним по своему усмотрению. Мой клиент обязался отдать его вам, — бесстрастным тоном сообщил мэтр Трюффо.

Анри бросил пакет в ящик; у адвоката были по отношению к Люси таинственные обязательства, однако это не означало, что он питает к ней нежные чувства. Быть может, он решил доставить себе удовольствие, отомстив таким образом.

— Вы уверены, что здесь все?

— Безусловно, — ответил мэтр Трюффо. — Этот

молодой человек отлично понял, что неудовольствие с вашей стороны может ему дорого обойтись. Мы о нем больше не услышим, я в этом уверен.

— Спасибо, что пришли, — сказал Анри.

— Вы не думаете, что нам следует опасаться опровержения?

— Не думаю, — сказал Анри. — К тому же вокруг этой истории не было никакой шумихи.

— Нет, к счастью, она очень быстро прекратилась.

Наступило молчание, которое Анри и не пытался нарушить, мэтр Трюффо в конце концов решился:

— Ну что ж, оставляю вас работать. Надеюсь встретиться с вами в ближайшее время у мадам Бельом. — Он встал. — Если когда-нибудь у вас возникнут хоть малейшие неприятности, дайте мне знать.

— Спасибо, — сухо сказал Анри.

Как только адвокат вышел, Анри открыл ящик: рука его замерла над коричневой бумагой. Ни к чему не прикасаться, отнести пакет к себе в номер и сжечь не глядя. Но уже он срывал тесемки и раскладывал на столе бумаги: письма на немецком, на французском, отчеты, показа-

ния, фотографии: декольтированная, усыпанная драгоценностями Люси в окружении немцев в мундирах; сидя между двумя офицерами перед ведерком для шампанского, Жозетта смеялась во весь рот; а вот она в светлом платье посреди лужайки, ее обнимал красивый капитан, и она улыбалась ему с тем видом счастливого доверия, который так часто поражал Анри; волосы ее свободно ниспадали на плечи, она казалась моложе, чем сейчас, и гораздо, гораздо веселей! Как она смеялась! Положив фотографии на стол, Анри заметил, что пальцы его оставили на глянцевой поверхности влажные следы. Он всегда знал, что Жозетта смеялась в то время, как Ивонны и Лизы тысячами агонизировали в концлагерях; но то была давняя история, надежно скрытая за удобной завесой, которая смешивает воедино прошлое, разлуку и небытие. Однако теперь он видел собственными глазами: прошлое было настоящим, стало настоящим.

«Моя любовь». Капитан старательно писал французские фразы, перемежая их короткими фразами на немецком, короткими страстными фразами. Казалось, он был очень глуп, очень влюблен и очень печален. Она любила его, он погиб, она, должно быть, много плакала. Но сначала

она смеялась, как она смеялась!

Анри снова завязал пакет и бросил его в ящик, который запер на ключ. «Завтра я все сожгу». А пока ему надо было закончить статью. Он снова взялся за перо. Анри собирался писать о справедливости, о правде, протестовать против убийств и пыток. «Надо», — настойчиво говорил он себе. Если он откажется делать то, что надо было делать, он станет виновным вдвойне; что бы он ни думал о себе, существовали эти люди там, которых следовало попытаться спасти.

Анри работал до одиннадцати часов вечера, не выбрав времени для ужина; ему не хотелось есть; как и в былые вечера, он поехал за Жозеттой к концу спектакля и ждал ее в своей машине. На ней было воздушное манто цвета тумана, она была сильно накрашена и очень красива. Жозетта села рядом с ним и заботливо уложила вокруг себя облако, которое ее обволакивало.

— Мама сказала, что все прошло хорошо: это правда? — спросила она.

— Да, успокойся, — ответил он, — все бумаги сожжены.

— Это правда?

— Правда.

— И тебя не заподозрят в том, что ты солгал?

— Не думаю.

— Я так боялась весь день! — сказала Жозетта. — Я совсем без сил. Отвези меня домой.

— Хорошо.

Они долго ехали молча, направляясь к улице Габриэль. Жозетта положила руку ему на рукав:

— Ты сам сжег бумаги?

— Да.

— Ты их смотрел?

— Да.

— Что же там все-таки было? Наверняка никаких гадких фотографий, — с тревогой в голосе сказала она. — Меня никогда не снимали на гадкие фотографии.

— Не знаю, что ты называешь гадкими фотографиями, — с усмешкой ответил он. — Ты была с немецким капитаном, и ты была очень красива.

Она ничего не ответила. Это была все та же Жозетта, та самая; но за ней он вновь видел слишком веселую красивую девушку, которая смеялась на фотографии, безразличная ко всем несчастьям; отныне она всегда будет между ними.

Он остановил машину и проводил Жозетту до подъезда.

— Я не стану подниматься, — сказал он. — Я тоже устал, а мне еще многое надо сделать.

Она широко открыла растерянные глаза:

— Ты не поднимешься?

— Нет.

— Ты сердишься? — спросила она. — В тот день ты сказал, что нет, а теперь рассердился?

— Я не сержусь. Этот человек любил тебя, и ты любила его, ты была свободна. — Он пожал плечами. — Возможно, это из-за ревности: у меня нет желания подниматься к тебе сегодня.

— Как хочешь, — сказала Жозетта.

Она грустно улыбнулась ему и нажала на кнопку; когда Жозетта исчезла, он долго стоял, глядя на освещенный лестничный пролет. Да, возможно, это просто-напросто ревность: ему было бы невыносимо обнимать ее этим вечером. «Я несправедлив», — говорил себе Анри. Но справедливость была тут ни при чем, разве с женщиной спят ради справедливости! Он уехал.

Когда на другой день Анри пригласил его поужинать, Ламбер все с тем же хмурым видом ответил:

— Сожалею, я занят.

— А завтра?

— Завтра тоже. На этой неделе все вечера у меня заняты.

— Тогда отложим до следующей недели, — ска-

зал Анри.

Невозможно объяснить Ламберу, почему он не пригласил его раньше; но через несколько дней Анри решил возобновить свою попытку: Ламбер наверняка будет тронут его настойчивостью. На языке его вертелись слова маленькой убедительной речи, когда, поднимаясь по лестнице в редакцию, он встретил Сезенака.

— А! Вот и ты! — дружески сказал Анри. — Как дела?

— Ничего особенного, — ответил Сезенак.

Он располнел и стал далеко не так красив, как прежде.

— Ты не вернешься назад на минутку? Мы не виделись целую вечность, — сказал Анри.

— Не сегодня, — ответил Сезенак и вдруг торопливо сбежал по лестнице. Анри поднялся на последние ступеньки. В коридоре его, похоже, поджидал

Ламбер, прислонившись к стене.

— Я только что встретил Сезенака, — сказал Анри. — Ты его видел?

— Да.

— Ты встречаешься с ним иногда? Что с ним сталось? — спросил Анри, открывая дверь своего кабинета.

— Я думаю, он осведомитель полиции, — странным тоном произнес Ламбер. Анри с удивлением взглянул на него: на лбу Ламбера выступил пот.

— Что тебя навело на эту мысль?

— Вещи, которые он говорил мне.

— Разумеется: наркоман, который нуждается в деньгах, — это как раз тот тип, из которого можно сделать осведомителя, — согласился Анри. И с любопытством добавил: — Так что же он тебе рассказал?

— Он предложил мне забавную комбинацию, — отвечал Ламбер. — Обещал выдать мне негодяев, которые убили моего отца, в обмен на некоторые сведения.

— Какие сведения?

Ламбер посмотрел Анри прямо в глаза:

— Сведения о тебе.

Анри почувствовал, как у него засосало под ложечкой.

— Чем же я заинтересовал полицию? — с удивлением в голосе спросил он.

— Ты интересуешь Сезенака. — Ламбер не спускал глаз с Анри. — Говорят, ты на днях свидетельствовал в пользу некоего Мерсье, парня, промышлявшего на черном рынке где-то в Лионе и посещавшего семейство Бельом. Ты уверял, буд-

то в сорок третьем и сорок четвертом он работал в нашей подпольной организации и двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года сопровождал тебя в Ла-Сутеррен.

— Верно, — сказал Анри. — И что?

— Никогда ты не встречался с Мерсье до этого месяца, — торжествующим тоном заявил Ламбер. — Сезенак это прекрасно знает, я — тоже. В тот год я следовал за тобой, словно тень: не было никакого Мерсье. Твоя поездка в Ла-Сутеррен состоялась двадцать девятого февраля, речь шла о том, что сопровождать тебя буду я, и дата поразила меня. Ты взял с собой Шанселя.

— Ты совсем спятил! — сказал Анри; он действительно чувствовал возмущение, как если бы Ламбер несправедливо заподозрил его. — Я дважды ездил в Ла-Сутеррен, первый раз с Мерсье, которого никто, кроме меня, не знал. Ты не заслуживаешь того, чтобы я отвечал тебе, — сердито добавил он, — потому что, по сути, ты сейчас обвиняешь меня в лжесвидетельстве, ни больше, ни меньше!

— Двадцать третьего ты был в Париже, — продолжал Ламбер, — все отмечено в моих блокнотах, я проверю, хотя знаю, что ездил ты всего один раз, это столько обсуждалось! Нет, не рассказывай

мне сказки; истина в том, что Мерсье так или иначе держит в руках семейство Бельом, и, чтобы спасти этих двух бритых, ты помог оправдать осведомителя гестапо!

— Другому на твоем месте я набил бы морду, — сказал Анри. — Выйди сейчас же из этого кабинета и никогда здесь больше не показывайся.

— Подожди! — отвечал Ламбер. — Я должен еще кое-что сказать тебе. Я ничего не выложил Сезенаку, хотя, клянусь, мне хотелось, чтобы он заговорил. Я ничего ему не выложил, — повторил он, — зато теперь я чувствую себя в расчете. Я возвращаю себе свободу!

— Ты давно искал предлога! — сказал Анри. — И в конце концов выдумал его себе: поздравляю!

— Ничего я не выдумывал! — возразил Ламбер. — Боже мой! — добавил он. — Каким я был кретином! Я считал тебя таким честным, таким бескорыстным! Меня это приводило в смущение! Я воображал, что должен быть лояльным по отношению к тебе. Какая тут лояльность! Ты судишь всех, хотя самого тебя угрызения совести терзают не больше, чем любого другого.

Он пошел к двери с таким достоинством, что Анри едва не улыбнулся, гнев его утих; он не чувствовал больше ничего, кроме смутной тревоги.

Объясниться откровенно? Нет, Ламбер слишком неустойчив, слишком подвержен влияниям; сегодня он отказался дать сведения Сезенаку, но завтра признание могло стать в его руках, в руках Воланжа грозным оружием. Надо все отрицать: опасность и без того была достаточно велика. «Сезенак ищет улики против меня, он знает, что сможет дорого их продать», — подумал Анри. Дюбрей никогда не слышал о Мерсье; возможно, он помнит, что 23 февраля 1944 года Анри находился в Париже; если Сезенак застанет его врасплох, у него нет никаких причин подтасовывать истину. «Надо предупредить его». Но Анри было противно испрашивать пособничества Дюбрея, даже не попытавшись до этого помириться с ним; впрочем, он не предполагал открывать ему правду. Странное дело, Анри говорил себе: «Если бы потребовалось повторить все сначала, я бы повторил»; а между тем ему нестерпимо было даже подумать, что кто-нибудь другой узнает о том, что он сделал, тогда ему стало бы стыдно. Он будет чувствовать себя невиновным до тех пор, пока его не разоблачат: как долго это продлится? «Я в опасности», — повторил он себе. А вместе с ним и другой человек: Венсан. Даже если и не его банда казнила старика, Сезенак многое о нем

знал; надо предупредить его. И надо немедленно пойти к Люку, который слег с приступом подагры, чтобы составить вместе с ним письмо об отставке. Люк давно уже ожидал перелома и не слишком удивится. Анри встал. «Я больше не сяду за этот стол, — подумал он. — Все кончено, "Эспуар" уже не моя!» Он сожалел, что придется оставить начатую им кампанию относительно мадагаскарских событий: те наверняка заболтают ее, напустят тумана. А в остальном он был гораздо менее взволнован, чем можно было бы предположить. Спускаясь по лестнице, Анри как-то неопределенно говорил себе: «Это расплата». Расплата за что? За то, что он спал с Жозеттой? За то, что хотел спасти ее? Что вознамерился сохранить частную жизнь, в то время как действие требует всего человека целиком? За то, что упорно стремился к действию, хотя и не отдавался ему безоглядно? Он не знал. Но даже если бы и знал, это ничего не изменило бы.

В ночь, когда ротационные машины печатали его письмо об отставке, Анри заявил портье гостиницы: «Завтра меня ни для кого нет, я никого не принимаю и не отвечаю на звонки». Он нерадостно открыл дверь своей комнаты: больше он так и не спал с Жозеттой, а она, похоже, не

слишком опечалилась этим, да так, пожалуй, и лучше; хотя эта кровать, где он спал один, казалась ему суровой, вроде больничной. До чего хорошо мешать свой сон со сном другого тела, такого теплого, такого доверчивого: просыпаешься насытившийся. Теперь же, проснувшись, он чувствует себя опустошенным. Анри долго не мог заснуть; его заранее доводили до исступления все толки, которые вызовет его отставка.

Поднялся он поздно; едва он закончил свой туалет, как ему принесли письмо, отправленное по пневматической почте: у него дрогнуло сердце, когда он узнал почерк Дюбрея: «Только что я прочитал в "Эспуар" ваше прощальное письмо. Поистине нелепо, что наше поведение подчеркивает лишь наши разногласия, тогда как нас столько всего объединяет. Что касается меня, то я по-прежнему ваш друг». И еще был постскриптум: «Хотелось бы как можно скорее поговорить с вами об одном человеке, который, похоже, желает вам зла». Долгое время Анри не отрывал взгляда от иссиня-черных строк; он только собирался написать, а Дюбрей сделал это. Его благородство можно было расценить как гордыню, но в таком случае гордыня его сродни благородной добродетели. «Я сейчас же еду к

нему», — решил Анри, и ему показалось, что в груди его орудует целое полчище красных муравьев. Что сказал Сезенак? Если он заронил в душу Дюбрея подозрения, как солгать с достаточной страстью, чтобы их развеять? Солгать наверняка еще не поздно, раз Дюбрей предлагал ему свою дружбу, но не гнусно ли ответить на подобное предложение злоупотреблением доверием? А что остается делать? Даже Дюбрей придет в негодование после такого признания, и тогда Анри почувствует себя виноватым. Он сел в машину. Впервые его тяготило сокрытие некоего секрета: это влечет обман другого и предательство себя самого; дружба становится почти невозможной. Перед дверью Дюбрея Анри долго колебался, не решаясь позвонить. Дюбрей открыл ему с улыбкой.

— Как я рад вас видеть! — сказал он естественным и в то же время нетерпеливым тоном, как если бы им предстояло обсудить важные вещи после недолгого отсутствия.

— И я рад, — ответил Анри. — Когда я получил вашу записку, мне это доставило огромное удовольствие. — И добавил, когда они вошли в кабинет: — Я часто собирался писать вам.

— Что случилось? — прервал его Дюбрей.

— Ламбер вас бросил? Прежнее любопытство светилось в его глазах, глазах ненасытных и лукавых, которые не изменились.

— Вот уже не первый месяц Самазелль и Трарье хотят переметнуться на сторону голлизма, — ответил Анри. — Ламбер в конце концов поддался им.

— Маленький негодяй! — сказал Дюбрей.

— У него есть оправдание, — смущенно заметил Анри. Он сел в привычное кресло и, как обычно, закурил сигарету; истинное оправдание Ламбера ему следовало хранить в тайне. Дюбрей не изменился, кабинет и обычаи — тоже, но сам Анри был уже не тот; раньше с него можно было содрать шкуру, разобрать его по косточкам — и никаких сюрпризов; зато теперь он скрывал под кожей постыдную опухоль. — Мы поспорили, и я довел его до крайности, — торопливо добавил Анри.

— Этим должно было кончиться! — сказал Дюбрей. И рассмеялся: — Что ж, крутой вираж закончен. СРЛ мертво, у вас украли вашу газету: мы вернулись в исходное положение.

— Это я виноват, — сказал Анри.

— Никто не виноват, — с живостью возразил Дюбрей. Он открыл шкаф: — У меня есть очень хороший арманьяк, хотите выпить?

— С удовольствием.

Дюбрей наполнил две рюмки и одну из них протянул Анри. Они улыбнулись друг другу.

— Анна все еще в Америке? — спросил Анри.

— Она возвращается через две недели. Как она будет довольна! — радостно добавил Дюбрей. — То, что мы не видимся, она считала большой глупостью.

— Это действительно было очень глупо, — согласился Анри.

Он хотел объясниться, ему казалось, что их ссора не будет забыта окончательно, если они не поговорят о ней начистоту, и он был совершенно готов признать свои ошибки. Но Дюбрей снова перевел разговор:

— Мне сказали, что Поль выздоровела. Это правда?

— Вроде да. Она больше не желает меня видеть, да оно и к лучшему. Поль хочет поселиться у Клоди де Бельзонс.

— Словом, вы теперь свободны как ветер? — спросил Дюбрей. — Что вы собираетесь делать?

— Хочу закончить роман. А в остальном — не знаю. Все произошло так быстро, я еще не могу опомниться.

— Вас не радует мысль, что у вас наконец-то

появится время для себя? Анри пожал плечами:

— Не особенно. Думаю, это придет. А пока я в основном терзаюсь муками совести.

— Но почему, спрашивается? Не понимаю, — возразил Дюбрей.

— Напрасно вы так говорите, — возразил Анри. — Я в ответе за все, что произошло. Если бы я не упорствовал, вы купили бы акции Ламбера, «Эспуар» была бы наша и СРЛ выстояло бы.

— СРЛ было бы потеряно в любом случае, — сказал Дюбрей. — «Эспуар» — да, ее можно было бы спасти, а что дальше? Противостоять двум лагерям, сохранять независимость — это как раз то, что я пытаюсь делать в «Вижиланс», хотя и не вижу, куда это ведет.

Анри растерянно взглянул на Дюбрея. Может, он из деликатности спешил оправдать Анри? Или хотел избежать обсуждения собственного поведения?

— Вы полагаете, что в октябре у СРЛ уже не было шансов? — спросил Анри.

— Я думаю, что их у него никогда не было, — резким тоном ответил Дюбрей.

Нет, он говорил так не из вежливости: он был убежден в этом, и Анри пришел в замешательство. Ему очень хотелось бы сказать себе, что

в поражении СРЛ нет его вины, а между тем заявление Дюбрея повергло его в смятение. В своей книге Дюбрей констатировал бессилие французских интеллектуалов, однако Анри не предполагал, что свои умозаключения он распространял и на прошлое.

— С каких пор вы так думаете?

— Уже очень давно. — Дюбрей пожал плечами: — С самого начала партия разворачивалась между СССР и США; мы были вне игры.

— Однако то, что вы говорили, не кажется мне до такой степени ошибочным, — заметил Анри. — Европе предстояло сыграть определенную роль, а Франция — в Европе.

— Это было ошибочно; нас загнали в угол. Вы отдаете себе отчет, — нетерпеливым тоном добавил Дюбрей, — какое влияние мы имели? Ровным счетом никакого.

Дюбрей определенно остался точно таким, каким был раньше; он властно вынуждал вас следовать за ним и потом внезапно бросал{121}, чтобы самому устремиться в новом направлении. Анри нередко говорил себе: «Мы ничего не можем»; однако его смущало, что Дюбрей утверждал это с такой уверенностью.

— Нам всегда было известно, что мы всего лишь

меньшинство, — сказал Анри, — но согласитесь, что меньшинство может быть действенным.

— В некоторых случаях — да, но не в этом, — ответил Дюбрей. Он заговорил очень быстро; на сердце у него явно накипело, и притом давно. — Сопротивление — прекрасно, для этого достаточно горстки людей; все, к чему мы в итоге стремились, — это вызвать волнение; волнение, диверсии, сопротивление — это задача меньшинства. Но когда намереваются созидать, тут дело иного рода. Мы полагали, что можем воспользоваться нашим порывом, нашим разбегом, тогда как существовал коренной разрыв между периодом оккупации и последовавшим затем Освобождением. Отказаться сотрудничать — это зависело от нас, но последующее нас уже не касалось.

— В какой-то мере все-таки касалось, — возразил Анри. Он прекрасно понимал, почему Дюбрей утверждал обратное; старику не хотелось думать, что у него были возможности действовать и он плохо использовал их: он предпочитал скорее винить себя в ошибочном суждении, чем признать поражение. Но Анри по-прежнему был убежден, что в 1945 году будущее перед ними было еще открыто; не ради собственного удовольствия он

занялся политикой, тогда он ясно почувствовал: все, что происходит вокруг, касается и его. — Мы упустили случай, — сказал он, — но это вовсе не доказывает, что мы напрасно пытались воспользоваться им.

— О! Мы никому не причинили зла, — ответил Дюбрей, — можно заниматься политикой, а можно напиваться — какая разница, хотя первое, пожалуй, менее вредно для здоровья. И все-таки мы сильно ошибались! Когда перечитываешь то, что мы писали между тысяча девятьсот сорок четвертым и тысяча девятьсот сорок пятым годами, хочется смеяться: попробуйте, и вы увидите!

— Полагаю, мы были слишком большими оптимистами, — сказал Анри, — и это понятно.

— Я готов признать любые смягчающие обстоятельства, какие только пожелаете! — продолжал Дюбрей. — Успех Сопротивления, радость Освобождения — это полностью нас извиняет; правое дело торжествовало, будущее подавало надежды людям доброй воли; с нашим застарелым идеализмом лучшего мы и не желали. — Он пожал плечами: — Мы были детьми.

Анри молчал; он действительно дорожил этим прошлым, как дорожат детскими воспоминаниями. Да, то время, когда без колебаний отличали

друзей от врагов, добро от зла, то время, когда жизнь была простой, словно лубочная картинка, походило на детство. Само нежелание Анри отречься от него доказывало правоту Дюбрея.

— По-вашему, что же нам следовало сделать? — спросил он и улыбнулся: — Вступить в коммунистическую партию?

— Нет, — отвечал Дюбрей. — Как вы мне однажды сказали, нельзя помешать себе думать то, что думаешь: невозможно вылезти из своей шкуры. Мы были бы очень скверными коммунистами. Впрочем, — внезапно добавил он, — что они сделали? Решительно ничего. Они тоже были загнаны в угол.

— И что же тогда?

— Ничего. Делать было нечего.

Анри снова наполнил свою рюмку. Дюбрей, возможно, был прав, но в таком случае это просто смешно. Анри вспомнился тот весенний день, когда он с тоской наблюдал за рыбаками; он говорил Надин: «У меня нет времени». У него никогда не было времени: слишком много дел. А по сути, делать было нечего.

— Жаль, что мы не догадались об этом раньше. Мы избежали бы многих неприятностей.

— Раньше мы не могли догадаться! — возразил

Дюбрей. — Согласиться с тем, что принадлежишь к второразрядной нации и минувшей эпохе: такое за один день не происходит. — Он покачал головой: — Требуется большая работа, чтобы примириться с бессилием.

Анри с восторгом посмотрел на Дюбрея: отличный фокус! Не было поражения, была лишь ошибка, да и сама ошибка вполне оправданна, а стало быть, ее и не существует. Прошлое было четким и гладким, как рыбья кость, и Дюбрей — безупречная жертва исторической неизбежности. Да, но Анри отнюдь не считал это приемлемым; его не прельщала мысль, что в этом деле он от начала до конца шел на поводу. Он пережил страшные душевные муки, сомнения, восторги, а по словам Дюбрея, все было предрешено заранее. Анри часто спрашивал себя, кто он, и вот какой напрашивается ответ: он был французским интеллигентом, опьяненным победой 1944 года и доведенным ходом событий до ясного осознания своей бесполезности.

— Вы, как я вижу, стали настоящим фаталистом! — сказал Анри.

— Нет. Я не говорю, что действие вообще невозможно. Оно невозможно в данный момент, для нас.

— Я прочитал вашу книгу, — продолжал Анри. — По сути, вы считаете, что сделать что-то можно, лишь попросту присоединившись к коммунистам.

— Да. Не потому, что их позиция блестяща; но суть в том, что, кроме них, ничего нет.

— И притом вы к ним не присоединяетесь?

— Я не могу переделать себя, — ответил Дюбрей. — Их революция слишком далека от той, на которую я уповал когда-то. Я ошибался; к несчастью, недостаточно признать свои ошибки, чтобы внезапно стать кем-то другим. Вы молоды, возможно, вы способны решиться, я — нет.

— О, я! У меня давно уже пропало желание во что-либо вмешиваться, — сказал Анри. — Мне хотелось бы уединиться в деревне или вообще махнуть за границу и писать. — Он улыбнулся: — По вашему мнению, у нас даже нет больше права писать?

Дюбрей тоже улыбнулся:

— Возможно, я немного преувеличил. В конце концов, литература не так уж опасна.

— Но вы считаете, что в ней нет больше смысла?

— А вы считаете, что есть? — спросил Дюбрей.

— Да, если я продолжаю писать.

— Это не аргумент.

Анри с сомнением посмотрел на Дюбрея:

— Вы продолжаете писать или уже нет?

— Никогда еще никого не удавалось излечить от мании, доказав, что в ней нет смысла, — ответил Дюбрей. — Иначе дома умалишенных опустели бы.

— Ах, так! — молвил Анри. — Значит, вам не удалось убедить себя самого: это мне больше по душе.

— Когда-нибудь я, возможно, приду к этому, — сказал Дюбрей с лукавым видом. И решительно переменил тему: — Послушайте, я хотел вас предупредить: вчера у меня была странная встреча. Явился малыш Сезенак. Не знаю, что вы ему сделали, но он не желает вам добра.

— Я выставил его из «Эспуар», но уже давно, — ответил Анри.

— Он начал с того, что стал задавать мне множество бессмысленных вопросов: не знал ли я некоего Мерсье, находились ли вы в Париже уж не помню в какой день в тысяча девятьсот сорок четвертом году. Прежде всего, я ничего не помню, и потом, какое ему до этого дело? Я довольно сухо оборвал его, и тогда он выдумал несуразную историю.

— Обо мне?

— Да. Этот парнишка фантазер, он может быть опасным. Он рассказал мне, что вы дали ложные показания, дабы оправдать осведомителя гестапо; вас будто бы шантажировали через малютку Бельом. Надо помешать ему распространять подобные слухи.

По тону Дюбрея Анри с облегчением понял: он ни на минуту не предположил, что Сезенак сказал правду; достаточно было с улыбкой бросить небрежную фразу, и дело было бы улажено, но ему не приходила на ум нужная фраза. Дюбрей не без любопытства взглянул на него:

— Вы знали, что он до такой степени ненавидит вас?

— Не то что он особо меня ненавидит, — ответил Анри. И вдруг добавил: — Дело в том, что его история правдива.

— Вот как? Правдива? — повторил Дюбрей.

— Да, — отвечал Анри. Он вдруг почувствовал себя униженным при мысли о лжи. В конце концов, раз сам он довольствуется правдой, остальным тоже не следует проявлять отвращение: то, что было достаточно хорошо для него, сойдет и для них. И он продолжал с некоторым вызовом: — Я дал ложные показания, чтобы

спасти Жозетту, которая спала с немцем. Вы так часто упрекали меня за мой морализм, теперь вы видите: я делаю успехи, — добавил он.

— Так это правда, что Мерсье осведомитель? — спросил Дюбрей.

— Правда. Он полностью заслуживал расстрела, — сказал Анри и взглянул на Дюбрея: — Вы находите, что я совершил подлость? Но я не хотел, чтобы жизнь Жозетты была погублена. Если бы она открыла газ, я себе этого не простил бы. В то время как, признаюсь, мне не мешает спать, если на земле одним Мерсье будет больше или меньше.

Дюбрей произнес в нерешительности:

— И все-таки лучше, если одним меньше, а не больше.

— Разумеется, — согласился Анри. — Но я уверен, что Жозетта покончила бы с собой: разве мог я позволить ей погибнуть? — с жаром сказал он.

— Нет, — согласился Дюбрей. Он казался растерянным. — Вам, верно, пришлось пережить скверный момент!

— Я решился почти сразу же, — отвечал Анри. Он пожал плечами: — Я не говорю, что горжусь содеянным.

— А знаете, что доказывает вся эта история?

— внезапно оживился Дюбрей. — Что никакой внутренней морали не существует. Еще одна из тех вещей, в которые мы верили и которые не имеют ни малейшего смысла.

— Вы думаете? — сказал Анри. Ему определенно не нравился тот способ утешения, к которому прибегал сегодня Дюбрей. — Я оказался зажатым в угол, это правда, — продолжал он. — В тот момент у меня не было выбора. Но ничего бы не случилось, если бы не моя связь с Жозеттой. Думаю, тут и крылась ошибка.

— Ах, нельзя же во всем себе отказывать, — с некоторым нетерпением возразил Дюбрей. — Сам по себе аскетизм — это хорошо, если он, конечно, не навязан; но тогда необходимо получать позитивное удовольствие где-то еще, а в мире, таком, каков он есть, удовольствий не так уж много. Скажу вам больше: если бы вы не спали с Жозеттой, то вас мучили бы сожаления, которые заставили бы вас наделать другие глупости.

— Вполне возможно, — согласился Анри.

— В искривленном пространстве нельзя провести прямую линию, — сказал Дюбрей. — Невозможно достойно жить в обществе, лишенном достоинства. Тебя всегда прижмут тем или иным способом. Еще одна иллюзия, от которой нам

следует избавиться, — пришел он к выводу. — Нет приемлемого личного спасения.

Анри в растерянности посмотрел на Дюбрея.

— Что же нам в таком случае остается?

— Думаю, мало что, — отвечал Дюбрей.

Наступило молчание. Анри не чувствовал удовлетворения от такой обобщенной снисходительности.

— И все-таки мне хотелось бы знать, что бы вы сделали на моем месте? — спросил он.

— Не могу вам этого сказать, потому что я не был на вашем месте, — ответил Дюбрей. — Вы должны мне все подробно рассказать, — добавил он.

— Я все вам расскажу, — сказал Анри.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Без посадки в Гандере самолет направился прямо в Париж и прибыл на два часа раньше срока. Я оставила багаж на вокзале Инвалидов и села в автобус. Этим ранним утром, безлюдным и серым, мое тайное прибытие — ибо все думали, что я еще далеко в облаках, — граничило с нескромностью; какой-то мужчина подметал тротуар перед закрытыми воротами, мусорные ящики стояли полные: я явилась раньше, чем были установлены декорации и загримированы актеры. Разумеется, ты не посторонняя, если возвращаешься в свою собственную жизнь, и все-таки, когда я потихоньку, чтобы не разбудить Надин, открывала и закрывала дверь квартиры, мои осторожные движения создавали у меня смутное ощущение вины и опасности. Ни единого звука в кабинете Робера; я повернула фаянсовую ручку: он почти тут же поднял голову и, отодвинув кресло, с улыбкой обнял меня:

— Бедняжка моя! Ты являешься вот так, совсем одна! Я как раз собирался ехать за тобой.

— Самолет прилетел на два часа раньше, — сказала я, целуя его плохо выбритые щеки; он

был в халате, всклокоченный, с отекшими от бессонницы глазами. — Вы работали всю ночь? Это очень плохо.

— Я хотел кое-что закончить до твоего возвращения. Перелет прошел хорошо? Ты не устала?

— Я все время спала. А вы? Когда за вами не следят, вы ведете себя неразумно.

Мы весело разговаривали, но вот Робер пошел в ванную комнату, и на меня опять нахлынула та тишина, от которой у меня перехватило дыхание в тот момент, когда через полуоткрытую дверь я увидела склоненную голову писавшего Робера, такого далекого от меня. Какая наполненность в этом кабинете, где я отсутствовала! Воздух насыщен табаком и работой; всемогущая мысль призывала сюда по своей прихоти прошлое, будущее, целый мир: все было на месте, никакого отсутствия. На полке — моя фотография, где я улыбаюсь, давнишняя фотография, которая никогда не постареет; она стояла на своем месте, а вот, чтобы для меня найти место в своих наполненных до краев днях, Роберу пришлось не спать всю ночь, и что-то он не успел закончить, потому что я вернулась слишком рано. Я встала. В дни возвращения или отъезда делаешь открытия, которые на деле, я знаю, не правдивее повседнев-

ной истины, но что толку знать и какой толк замечать расставленные ловушки, ведь все равно глупейшим образом в них попадаешь; только вот беда, мало было говорить себе это: выйти из такого состояния мне не удавалось. Какой нежилой казалась моя комната! И она оставалась такой же точно нежилой, пока я неуверенно бродила между окном и диваном. На столе лежали письма, люди спрашивали меня, когда я снова открою свой кабинет; Поль вышла из клиники и приглашала меня навестить ее. Я отметила, что ее почерк стал не таким детским, как раньше, и что она не делала больше орфографических ошибок; Мардрю в своем коротеньком письме подтверждал, что она выздоровела. Я пошла поцеловать Надин, она встретила меня снисходительно; ей надо было рассказать мне тысячу разных вещей, и я обещала ей свой вечер. Робер, Надин, друзья, работа, а между тем я застыла в прихожей, с изумлением спрашивая себя: «Что я здесь делаю?»

— Ты ждала меня? — спросил Робер. — Я готов.

Я была рада уйти из квартиры, прогуляться по улицам, не многолюдным и не пустынным; набережные, мануфактура Гобеленов, площадь Италии: мы долго шли, останавливаясь то тут, то там на террасах кафе, и пообедали в ресторане

парка Монсури.

Робер почувствовал, что у меня нет желания говорить, а ему надо было рассказать мне так много всего, и он рассказывал. Он был гораздо веселее, чем до моего отъезда: не то чтобы международная обстановка казалась ему блестящей, но он снова обрел вкус к жизни. Много значило для него примирение с Анри; и книга его вызывала столько откликов, что, вопреки всякой логике, он начал писать другую. Политическая деятельность оставалась невозможной, но он определенно не отказывался размышлять; у него даже сложилось впечатление, что он только-только стал понемногу во всем разбираться. Я слушала его. И он был таким заразительно живым, что заставлял принять то прошлое, о котором говорил мне: это было мое прошлое, другого не существовало, так же как не существовало и никакого другого будущего, кроме того, о котором он возвещал. Скоро я увижу Анри и тоже буду радоваться этому; письма, которые Робер получил по поводу своей книги, — скоро я их прочту вместе с ним и буду потешаться или умиляться, как он, и, как он, буду рада отправиться вскоре в Италию.

— Тебе не в тягость снова пуститься в странствие после стольких путешествий? — спросил

он меня.

— Вовсе нет. У меня нет ни малейшего желания оставаться в Париже.

Я смотрела на лужайки, на озеро, на лебедей; скоро настанет день, когда я снова полюблю Париж; у меня появятся неприятности, удовольствия, предпочтения, моя жизнь выплывет из тумана, настоящая, здешняя моя жизнь поглотит меня целиком. Внезапно я заговорила, мне требовалось подтверждение, что он тоже реален, тот мир, от которого меня отделяли океан, ночь; я рассказала о своей последней неделе. Но оказалось, что это еще хуже, чем хранить молчание; как и в прошлом году, я почувствовала себя ужасно виноватой. Робер все понимал, слишком хорошо понимал. А там Льюис просыпался в комнате, опустошенной моим отсутствием, он безмолвствовал, у него никого больше не было. Он остался один с моим пустым местом в своей кровати, в своих объятиях. Ничто никогда не искупит для него безутешную печаль этого утра: боль, которую я ему причиняла, была неискупима.

Когда мы вернулись вечером, Надин сказала:

— Звонила Поль, хотела узнать, дома ли ты.

— Это уже третий раз, — сказал Робер, — тебе надо повидаться с ней.

— Я пойду завтра. Мардрю уверяет, что она здорова, — добавила я, — а вы не знаете, что с ней на самом деле? Анри ее не видел?

— Нет, — ответила Надин.

— Мардрю не отпустил бы ее, если бы она действительно не выздоровела, — заметил Робер.

— Выздоровление выздоровлению рознь, — сказала я.

Перед тем как лечь спать, я долго беседовала с Надин; она снова встречалась с Анри и была этим очень довольна; меня она осаждала вопросами. На следующий день я позвонила Поль, чтобы предупредить о своем визите: голос у нее был отрывистый и спокойный. Около десяти часов вечера я появилась на улице, показавшейся мне столь трагичной минувшей зимой, и была сбита с толку ее располагающим видом; окна были открыты навстречу теплому вечеру, люди перекликались от дома к дому, маленькая девочка прыгала через веревочку. Под вывеской «МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ» я нажала на кнопку, и дверь открылась нормально.

Чересчур нормально. К чему весь этот бред, эти гримасы, если все пришло в норму, если рассудок и рутина восторжествовали? К чему мои пылкие угрызения совести, если в один прекрасный день

я должна проснуться ко всему безучастной? Я почти желала увидеть на пороге квартиры Поль враждебной, растерянной.

Но меня встретила улыбающаяся располневшая женщина в элегантном черном платье; она ответила на мой поцелуй без восторга и без сухости; комната была в безупречном порядке, зеркала заменили, и впервые за многие годы окна были широко распахнуты.

— Как дела? Ты совершила прекрасное путешествие. Какая красивая у тебя блузка: ты там ее купила?

— Да, в Мехико; тебе бы понравились эти страны. — Я протянула ей пакет: — Держи! Я привезла тебе ткани.

— Как мило с твоей стороны! — Она развязала тесемки, открыла коробку: — Какие чудесные расцветки!

Пока она распаковывала вышитые ткани, я подошла к окну; как всегда, оттуда был виден собор Парижской Богоматери с его садами: сквозь пожелтевшую от времени шелковую занавеску — тяжелое нагромождение камней; вдоль парапета тянулись разнообразные лавчонки на замке, из расположенного напротив кафе доносилась арабская музыка, лаяла собака, и Поль

выздоровела; то был далекий вечер из прошлого, я никогда не встречала Льюиса, и мне не могло недоставать его.

— Ты должна рассказать мне об этих странах, — попросила Поль. — Ты все мне расскажешь, но только не здесь: я отведу тебя в одно очень забавное заведение — «Анж нуар»; оно только что открылось, и там можно встретить всех.

— Кого всех? — не без опаски спросила я.

— Всех, — повторила Поль. — Это недалеко, мы пойдем туда пешком.

— Хорошо.

— Вот видишь, — начала Поль, когда мы спускались по лестнице, — полгода назад я сразу же спросила бы себя: почему она мне сказала: «Кого всех?», и нашла бы кучу всяких ответов.

Сделав над собой усилие, я улыбнулась:

— Ты сожалеешь?

— Пожалуй, это слишком сильно сказано. Но ты не можешь себе представить, каким богатым был в то время мир; любая вещь имела десять тысяч граней. Я раздумывала бы над красным цветом твоей юбки; да вот этого бродягу я приняла бы сразу за двадцать разных особ. — В ее голосе звучало что-то вроде ностальгии.

— Значит, теперь мир кажется тебе скорее

тусклым?

— О! Конечно нет, — решительно возразила она. — Я рада иметь такой опыт, вот и все. Но обещаю тебе, что мое существование не будет тусклым, у меня уйма планов.

— Скажи скорее, каких?

— Прежде всего, я собираюсь покинуть эту квартиру, она наводит на меня тоску. Клоди предложила мне поселиться у нее, и я согласилась; и я решила стать знаменитой, — добавила она, — хочу выходить, путешествовать, знакомиться с людьми, хочу славы и любви, я хочу жить. — Последние слова она произнесла торжественным тоном, словно давая зарок.

— Ты собираешься петь или писать? — спросила я.

— Писать, но только не такой вздор, какой я тебе показывала, а настоящую книгу, где я буду говорить о себе. Я уже много размышляла над этим. Ничего забавного там не будет, но, думаю, это произведет сильное впечатление.

— Да, — сказала я, — ты, конечно, о многом можешь рассказать, и надо обязательно это сделать!

Я говорила с жаром, хотя настроена была скептически. Вне всякого сомнения, Поль выздорове-

ла, однако ее голос, жесты, мимика вызывали у меня такое же точно смущение, как те фальшиво молодые лица, которые перекраивают из старой плоти; возможно, она до самой смерти будет играть роль нормальной женщины, но это труд, который никак не располагает к искренности.

— Мы пришли, — сказала Поль.

Мы спустились в жаркий и влажный, как джунгли Чичен-Ицы, подвал; там было очень шумно, дымно и полно парней и девушек в одежде совсем не для нашего возраста. Поль выбрала столик возле оркестра, на виду у всех, и уверенно заказала две двойных порции виски. Она, казалось, не чувствовала, что наше присутствие здесь совершенно неуместно.

— Я не хочу возвращаться к пению, — сказала она. — У меня нет комплекса неполноценности: если физически я уже не обладаю в полной мере прежними достоинствами, зато я знаю — у меня есть другие; но в карьере певицы слишком велика зависимость от множества людей. — Она весело взглянула на меня. — В этом отношении ты права: зависимость — это отвратительно. Я хочу деятельности, требующей мужества.

Я кивала головой; на мой взгляд, у нее уже не было необходимых качеств, чтобы пленять

публику, конечно, ей лучше попробовать что-то другое.

— Ты собираешься придать своей истории форму романа или просто рассказать как таковую? — спросила я.

— В настоящий момент я думаю над формой, — ответила она, — над новой формой, чего Анри как раз никогда не удавалось изобрести; его романы смертельно классические.

Она залпом осушила свой стакан.

— Да, кризис был жестоким, но если бы ты знала, какая радость для меня найти наконец себя!

Мне хотелось бы сказать ей сердечные слова, например, что я рада видеть ее счастливой или еще что-нибудь, но слова застывали у меня на губах; меня парализовали и ее волевой голос, и непреклонное выражение ее лица; Поль казалась мне теперь более чужой, чем в ту пору, когда она была безумна. Я с трудом произнесла:

— Тебе пришлось пережить довольно странные минуты.

— Пожалуй! — Она огляделась вокруг с некоторым удивлением. — Бывали дни, когда все казалось мне таким смешным! Я умирала со смеху; а бывали моменты страха; на меня приходилось надевать смирительную рубашку.

— Тебя подвергали электрошоку?

— Да. Я находилась в таком необычном состоянии, что в тот момент даже не испугалась; но следующей ночью мне снилось, будто стреляют из револьвера мне в висок, и я почувствовала невыносимую боль. Мардрю сказал, что это наверняка какое-то воспоминание.

— Мардрю славный, правда? — неуверенно спросила я.

— Мардрю! Это замечательный человек! — пылко воскликнула Поль. — Поразительно, с какой точностью он нашел ключ ко всем событиям моей жизни; надо сказать, что я, со своей стороны, мало сопротивлялась, — добавила она.

— С психоанализом покончено?

— Не совсем, но главное сделано.

Я не решилась расспрашивать, но она продолжала сама:

— Я никогда не рассказывала тебе о моем брате?

— Никогда, я не знала, что у тебя есть брат.

— Он умер пятнадцати месяцев от роду, мне было четыре года; легко понять, почему моя любовь к Анри сразу приняла патологический характер.

— Анри тоже был на два или три года моложе тебя, — сказала я.

— Точно. После смерти брата моя детская ревность породила чувство вины, которое объясняет мой мазохизм в отношении Анри; я сделалась рабой этого человека, ради него я согласилась отказаться от всякого личного успеха, я выбрала безвестность, зависимость: чтобы искупить свою вину; чтобы через него мой умерший брат согласился наконец простить меня. — Она рассмеялась: — Подумать только, ведь я сделала из Анри героя, святого! Иногда я смеялась над этим сама с собой!

— Ты виделась с ним? — спросила я.

— Ах, нет! И никогда не увижусь! — с жаром сказала она. — Он злоупотребил ситуацией.

Я хранила молчание; мне хорошо знаком был род объяснений, к которым прибегал Мардрю, я тоже пользовалась ими при случае и ценила их по достоинству. Да, чтобы освободить Поль, необходимо было разрушить ее любовь вплоть до прошлого; но я думала о тех микробах, которых можно истребить, лишь уничтожив организм, который они пожирают. Анри умер для Поль, но и она тоже умерла; я не знала этой толстой женщины с мокрым от пота лицом и тупыми глазами, которая жадно пила виски рядом со мной. Она пристально смотрела на меня.

— А ты? — спросила она.

— Я?

— Что ты делала в Америке? Я заколебалась.

— Не знаю, помнишь ли ты, — начала я. — Я говорила тебе, что там у меня была одна встреча.

— Помню. С американским писателем. Ты снова с ним встретилась?

— Эти три месяца я провела с ним.

— Ты любишь его?

— Да.

— Что ты собираешься делать?

— Я вернусь к нему на следующее лето.

— А потом?

Я пожала плечами. По какому праву задавала она мне вопросы, на которые я так отчаянно хотела не ведать ответов? Она оперлась подбородком на сжатый кулак, и взгляд ее стал еще настойчивее.

— Почему тебе не начать с ним свою жизнь заново?

— У меня нет ни малейшего желания переделывать свою жизнь.

— Но ведь ты его любишь?

— Да. Но моя жизнь — здесь.

— Решение за тобой, — возразила Поль. — Ничто не мешает тебе начать ее заново в другом

месте.

— Ты прекрасно знаешь, что значит для меня Робер, — неохотно отвечала я.

— Я знаю, что ты воображаешь, будто не можешь обойтись без него, — сказала Поль, — но не знаю, откуда у него такое влияние на тебя, да и сама ты этого не знаешь. — Она по-прежнему не сводила с меня глаз. — Ты никогда не думала снова подвергнуться психоанализу?

— Нет.

— Боишься?

Я пожала плечами:

— Вовсе нет, но только зачем?

Разумеется, психоанализ мог бы поведать мне множество незначительных вещей на мой счет, но я не видела, куда меня это продвинет; а если бы вознамерились заглянуть поглубже, я бы воспротивилась: мои чувства — не болезнь.

— У тебя уйма комплексов, — задумчиво произнесла Поль.

— Возможно, но они мне не мешают.

— Ты никогда не признаешь, что они тебе мешают: это и составляет часть твоих комплексов. Твоя зависимость по отношению к Роберу — это ведь комплекс. Я уверена, что психоанализ освободит тебя.

Я рассмеялась:

— Почему ты хочешь, чтобы я ушла от Робера?

Официант поставил перед нами еще два стакана виски, и Поль наполовину выпила свой.

— Нет ничего более пагубного, чем жить в тени чужой славы, — продолжала она, — начинаешь чахнуть. Тебе тоже следует найти самое себя. Пей же, — сказала она вдруг, указывая на мой стакан.

— Тебе не кажется, что мы слишком много пьем? — спросила я.

— Почему слишком? — удивилась она.

Действительно, почему? Я тоже очень люблю круговерть, которую спиртное вызывает в моей крови. Тело, пожалуй, слишком тесное и даже обуженное, так и хочется порвать швы; правда, они никогда не рвутся, но порой создается иллюзия, что ты вот-вот выскочишь из своей шкуры. Я выпила вместе с Поль; она с жаром сказала:

— Ни один мужчина не заслуживает поклонения, которого они требуют от нас, ни один! Ты тоже жертва обмана; дай Роберу бумагу и время, чтобы писать, и ему ничего больше не нужно.

Она говорила очень громко, чтобы перекрыть грохот оркестра, и мне казалось, что на нас смотрят с удивлением; к счастью, большинство людей танцевало, охваченное леденящим исступле-

нием.

— То, что я остаюсь с Робером, — не самопожертвование, — раздраженно прошептала я.

— А если только по привычке, то это ничуть не лучше, — возразила она. — Мы еще слишком молоды для безропотного смирения. — Голос ее повысился, глаза повлажнели. — Я возьму реванш; ты не можешь представить, какой счастливой я себя чувствую!

Слезы оставляли глубокие следы на ее вспотевшем лице, она их не замечала; наверное, она пролила столько слез, что ее кожа стала бесчувственной. Мне хотелось плакать вместе с ней над этой любовью, которая в течение десяти лет была смыслом и гордостью ее жизни, а теперь превратилась в постыдную язву. Я выпила глоток виски и с силой сжала стакан в руке, словно он был талисманом. «Лучше смертельно страдать, — говорила я себе, — чем когда-нибудь со смехом развеять по ветру пепел моего прошлого»[{122}].

Мой стакан громко стукнул о блюдце; я подумала: «И я тоже кончу этим! Все посмеиваются, но кончают всегда так, прошлое нельзя спасти целиком. Я хочу сохранить верность Роберу, значит, когда-нибудь мои воспоминания предадут Льюиса; отсутствие убьет меня в его сердце, а

я похороню его в глубине моей памяти». Поль продолжала говорить, но я ее больше не слушала. «Почему я обрекла именно Льюиса?» Я сразу ответила ей: «Нет», в ту минуту другой ответ казался мне немыслимым, но почему? «Дай Роберу бумагу и время, и ему ничего больше не нужно», — сказала Поль; мне вспомнился кабинет, такой наполненный — без меня. Порой, ну хотя бы в прошлом году, мне хотелось придать себе веса, но даже тогда я знала, что во всех значимых для Робера областях я ничем не в силах помочь ему; перед лицом настоящих проблем он всегда оказывался один. А там, в Америке, находился человек, который жаждал моего присутствия, у меня было свое место в его объятиях, мое место, оставшееся пустым: почему? К Роберу я была привязана всей душой, я жизнь отдала бы за него, но он не просил ее у меня, по сути, он у меня никогда ничего не просил; радость, которую мне давало его присутствие, касалась только меня; остаться или покинуть его: мое решение касалось только меня. Я допила свой стакан. Поселиться в Чикаго, приезжать сюда время от времени: в конце концов, это не так уж невозможно; каждый раз Робер будет мне улыбаться, словно мы никогда и не расставались, он едва заметит, что я не дышу больше

одним воздухом с ним. Какой вкус будет у моей жизни без него? Трудно себе представить, зато я слишком хорошо знала вкус грядущих дней, если я проведу их здесь: это угрызения совести и ощущение нелепости — совершенно невыносимо.

Вернулась я очень поздно, я много выпила и плохо спала; за завтраком Робер строго посмотрел на меня:

— Ты скверно выглядишь!

— Я плохо спала и слишком много выпила.

Он обошел мой стул сзади и положил руки мне на плечи:

— Ты жалеешь, что вернулась?

— Не знаю, — ответила я. — Порой мне кажется нелепым не быть там, где кто-то нуждается во мне, нуждается по-настоящему, как никто и никогда не нуждался во мне. А меня там нет.

— Ты думаешь, что могла бы жить там, так далеко от всего? Думаешь, ты была бы счастлива?

— Если бы вас не существовало, я попробовала бы, — ответила я. — Наверняка попробовала бы.

Руки оторвались от моих плеч; Робер сделал несколько шагов и в замешательстве взглянул на меня:

— У тебя не будет больше профессии, друзей, тебя будут окружать люди, которые не разделяют

ни одну из твоих тревог и даже не говорят на твоем языке, ты будешь отрезана от своего прошлого и от всего, что имеет для тебя значение. Не думаю, что ты долго сможешь выдержать.

— Может, и нет, — сказала я.

Да, моя жизнь рядом с Льюисом была бы сильно урезана; иностранка, никому не ведомая, я не смогла бы ни создать свою личную жизнь, ни влиться в эту огромную страну, которая никогда не станет моей; я была бы всего лишь влюбленной, прильнувшей к тому, кого она любит. Я не чувствовала себя способной жить исключительно ради любви. Но как же я устала взваливать на себя каждое утро столь бесполезный груз дня, когда я никем не была востребована! Робер не сказал мне в ответ, что нуждается во мне. Он никогда мне этого не говорил. Только раньше никаких вопросов не вставало; моя жизнь не была ни необходимой, ни бессмысленной: то была моя жизнь. Теперь Льюис спрашивал меня: «Почему не остаться навсегда? Почему?» И я, обещавшая себе не разочаровывать его, ответила: «Нет»; надо было оправдать это нет, а я не находила оправдания. Почему? Почему? Его голос преследовал меня. И вдруг меня озарило: «Нет ничего непоправимого!» Льюис пока еще жив, я

— тоже; мы можем разговаривать через океан. Он обещал написать мне первым через неделю; если в своем письме он все еще зовет меня, если в его сожалениях слышится призыв, я найду силы отказаться от привычной безопасности; я отвечу: «Да, я еду. Еду, чтобы остаться подле вас столько времени, сколько вы захотите».

Мы с Робером составили план путешествия, и я, тщательно все подсчитав, телеграфировала Льюису, чтобы он послал свое письмо в Амальфи, до востребования: в течение двенадцати дней моя судьба будет в подвешенном состоянии. Через двенадцать дней я, быть может, решусь на безумный шаг и ринусь в неведомое будущее либо снова свыкнусь с отсутствием, с ожиданием. А пока я была ни здесь и ни там, ни собой, ни другой, всего лишь машиной по убиванию времени, времени, которое обычно умирает так быстро, а тут до бесконечности агонизировало. Мы летели на самолете, ехали в автобусах, плыли на пароходах, я вновь увидела Неаполь, Капри, Помпеи, мы открыли для себя Геркуланум, остров Искиа; я следовала за Робером, он приобщал меня к тому, что интересовало его, я жила его воспоминаниями; но стоило ему оставить меня одну, и наступало отупение! Я едва делала вид, будто

читаю или любуюсь подвернувшейся декорацией; временами я с настырностью шизофреника воскрешала свое прибытие в Чикаго, ночь в Чичикастенанго, наше прощание; но чаще всего я спала, никогда я столько не спала.

Роберу понравился Искиа, мы там задержались и прибыли в Амальфи на три дня позже предусмотренной даты. «По крайней мере я спокойна, — говорила я себе, выходя из автобуса, — письмо уже здесь». Я бросила Робера и наши чемоданы на площади и отправилась на почту, стараясь не бежать; как на всякой почте, здесь пахло пылью, клеем, скукой; было ни светло, ни темно; служащие едва шевелились в своих клетушках, словом, это было одно из тех мест, где дни, похожие друг на друга, повторяются на протяжении всего года, а одни и те же движения — в течение дня, где никогда и ничего не происходит; я не могла понять, почему, когда я встала в очередь перед одним из окошечек, мое сердце билось так сильно, что готово было разорваться. Молодая женщина вскрыла конверт, и широкая улыбка озарила ее лицо: меня это подбодрило. С приветливым видом я протянула свой паспорт. Не взглянув на перегороженные полки, расположенные за его спиной, служащий достал из шкафа пакет

и, перебрав его содержимое, протянул мне один конверт: письмо Надин.

— Должно быть еще одно, — сказала я.

— Ничего другого нет.

Письмо Надин свидетельствовало, что почта работает, что письма приходят, если их посылают. Я продолжала настаивать:

— Я знаю, что есть другое письмо.

С любезной итальянской улыбкой он положил пакет передо мной:

— Посмотрите сами.

Деналь, Доленкур, Деллер, Деспе; я вернулась назад, проверила пакет от начала до конца алфавита: сколько писем! Были и такие, которые дожидались не одну неделю, и никто их не требовал: почему ничего нельзя выторговать? Или обменять? Я с отчаянием спросила:

— А на букву Д на полке ничего нет на мое имя?

— Все письма для иностранцев лежат в этом пакете.

— И все-таки посмотрите.

Он посмотрел и покачал головой:

— Нет, ничего.

Я вышла на улицу и в недоумении остановилась на тротуаре. Какая ужасная пропажа! Я уже

не знала, на какой земле стою, не помнила ни числа, ни собственного имени. Льюис писал, письма приходят, значит, его письмо должно быть здесь, но его нет. Было слишком рано, чтобы телеграфировать: «Нет известий, беспокоюсь», слишком рано, чтобы расплакаться, речь, конечно, шла всего лишь о нормальной задержке, мне не давалось возможности для полного отчаяния; я плохо сосчитала, вот и все: ошибка в расчете — из-за этого не умирают. А между тем, когда я ужинала с Робером на увитой цветами террасе над морем, живой я, безусловно, не была. Он говорил мне о Надин, которая часто встречалась с Анри, я отвечала, мы пили вино из Равелло, на этикетке улыбался усатый господин; на море поблескивали огни рыбацких лодок; нас окружал густой запах пышных растений, нигде никаких изъянов, разве что на каком-нибудь желтом листке черные отметины — знаки отсутствия чего-то; но отсутствие отсутствия — это попросту ничто, однако оно пожирало все.

Письмо пришло на следующий день. Льюис писал из Нью-Йорка. Издатели устроили большой прием в честь выхода его книги, он встречался с разными людьми, очень радовался. О! Он меня не забыл, он был весел, он был нежен; но невозмож-

но углядеть между строк ни малейшего намека на призыв. Я села на террасе кафе напротив почты, у самой воды; девочки в синих блузах с круглыми шляпами на голове играли на пляже, и я долго смотрела на них с ощущением пустоты в сердце. В течение двух недель я мысленно распоряжалась Льюисом, его лицо выражало то упрек, то любовь, он прижимал меня к себе, он говорил: «Никогда я вас так не любил». Он говорил: «Возвращайтесь»; а Льюис тем временем находился в Нью-Йорке, и его лицо казалось мне незнакомым, а улыбки предназначались не мне, и сам он был так же реален, как проходивший мимо меня господин. Льюис не просил меня вернуться; желал ли он еще моего возвращения? Довольно было малейшего сомнения, чтобы лишить меня сил хотеть этого. Я подожду, как в прошлом году; вот только неизвестно, почему я обрекала себя на кошмар ожидания.

Были и другие письма: в Палермо, в Сиракузе; Льюис посылал их по одному каждую неделю, как прежде, и, как прежде, все они заканчивались одним и тем же словом: «Love» {«С любовью» (англ.)} [empty link], которое хочет сказать все и не значит ничего. Было ли то по-прежнему слово любви или банальнейшая из формул? Нежность

Льюиса всегда была такой сдержанной, и я не знала, что именно можно отнести за счет его сдержанности. Прежде, когда я читала фразы, придуманные им для меня, я вновь обретала его руки, его губы: его ли то вина или моя, если они не согревали меня больше? Солнце Сицилии обжигало мою кожу, но внутри у меня постоянно стоял холод. Я сидела на балконе или лежала на песке, я смотрела на знойное небо и чувствовала озноб. Бывали дни, когда я ненавидела море, оно было монотонно и бесконечно, как отсутствие; воды его были такими голубыми, что казались мне приторными; я закрывала глаза или убегала.

Когда я снова очутилась в Париже, в своем доме, с делами и заботами, я подумала: «Надо взять себя в руки». Встряхнуться, как встряхивают свернувшийся соус: это делают, это осуществимо. Надо отойти немного назад и взглянуть на свои заботы и неприятности оценивающим взглядом со стороны. Можно было сесть рядом с Робером и поговорить или пить виски за откровенным разговором с Поль. Впрочем, я и самостоятельно вполне могла прочитать себе нотацию. Льюис был в моей жизни всего лишь эпизодом, которому обстоятельства заставили меня придать особую ценность. После стольких лет воздержа-

ния мне захотелось новой любви, и я совершенно сознательно спровоцировала эту; я преувеличенно возносила ее, потому что знала, что моя жизнь женщины подходит к концу, но, по сути, я могла обойтись без нее. Если Льюис отдалится от меня, я легко возвращусь к прежнему своему аскетизму либо буду искать новых любовников, а все говорят, что, когда ищешь, — находишь. Моя ошибка в том, что я так серьезно воспринимала свое тело: мне нужен психоанализ, который научил бы меня непринужденности. Ах! Как же трудно страдать, никого не предавая. Раз или два я пыталась сказать себе: «Когда-нибудь все это кончится, и у меня останется прекрасное воспоминание о прошлом, так не лучше ли смириться сразу». Однако я взбунтовалась. Что за смешная комедия! Вознамериться держать нашу любовь лишь в собственных руках — это значит подменить Льюиса неким символом, это значит превратить меня в призрака, а наше прошлое — в безжизненные воспоминания. Наша любовь — это не занятная история, которую я могу извлечь из своей жизни, дабы поведать ее себе, она существует вне меня, Льюис и я, мы переживаем ее вместе. Мало закрыть глаза, чтобы упразднить солнце: отрицать эту любовь — означает всего

лишь ослеплять себя. Нет, я отказывалась от благоразумных мыслей, ложного одиночества и его гнусных утешений. И я поняла, что отказ этот тоже был притворным: на самом деле я не располагала своим сердцем; я не в силах была справиться с той тревогой, которая охватывала меня всякий раз, когда я распечатывала письмо Льюиса; мои мудрые речи не смогут заполнить пустоту внутри меня. Я была беспомощна.

Какое долгое ожидание! Одиннадцать месяцев, девять месяцев, и все это время нас разделяло столько земли, и воды, и неуверенности. И вот однажды в октябре Надин сказала мне:

— У меня есть для тебя новость.

Была в ее взгляде внушающая тревогу смесь вызова и смущения.

— Какая новость?

— Я беременна.

— Ты уверена?

— Абсолютно. Я была у врача.

Я в упор смотрела на Надин; она умела защищаться, да и в глазах ее блестел лукавый огонек.

— Ты сделала это нарочно? — спросила я.

— Ну и что? — отвечала она. — Это преступление — хотеть ребенка?

— Ты забеременела от Анри?

— Полагаю, что да, раз я сплю именно с ним, — усмехнулась она.

— И он согласен?

— Он пока ничего не знает.

— Но он хотел ребенка? — настаивала я. Она заколебалась.

— Я его не спрашивала. Помолчав, я спросила:

— И что ты собираешься делать?

— Что, по-твоему, можно сделать из ребенка? Куличики?

— Я хочу сказать: ты рассчитываешь выйти замуж за Анри?

— Это его дело.

— Но ведь у тебя есть какие-то планы.

— Мои планы — родить ребенка. А в остальном я никого ни о чем не прошу. Ни разу Надин ни словом не обмолвилась о своем желании стать матерью;

может, это неприязнь навела меня на мысль о том, что главной ее задачей было заставить Анри таким путем жениться на ней?

— Тебе придется попросить, — сказала я. — По крайней мере, на какое-то время либо твой отец, либо Анри — кто-то из них — должен будет взять на себя эту заботу.

Она снисходительно усмехнулась:

— Ладно, дай мне совет. Я прекрасно вижу, что ты умираешь от желания это сделать.

— Ты долго будешь упрекать меня за такой совет.

— И все-таки скажи.

— Не побуждай Анри жениться на тебе, если не будешь уверена, что он действительно этого хочет: я имею в виду, что он хочет этого эгоистично, для себя самого, а не только из-за ребенка или из-за тебя. Иначе это будет губительный брак.

— Я не собираюсь ни к чему его побуждать, — ответила она крайне резким тоном. — Но кто тебе сказал, что он этого не хочет? Разумеется, если ты спросишь мужчину, хочет ли он ребенка, то он испугается; но стоит ребенку появиться, и он уже в восторге. Лично я считаю, что для Анри гораздо лучше быть женатым, иметь семью. Богемная жизнь вышла из моды. — Она умолкла, с трудом переводя дух.

— Ты попросила у меня совета, я дала его тебе, — ответила я. — Если ты искренне думаешь, что женитьба не будет тяготить ни Анри, ни тебя, поженитесь.

Я сомневалась, что Надин может обрести счастье в семейной жизни, я плохо представляла ее себе поглощенной служением мужу и ребенку.

А если Анри женится на ней из чувства долга, не затаит ли он на нее обиду? Я не решалась его расспрашивать. Он сам устроил нам встречу наедине. Как-то вечером, вместо того чтобы войти, по обыкновению, в кабинет Робера, он постучал в дверь моей комнаты:

— Я не помешаю?

— Конечно нет. Он сел на диван.

— Это здесь вы священнодействуете? — с интересом спросил он.

— Да. Хотите попробовать?

— Как знать? — отвечал он. — Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили мне, почему я чувствую себя таким безнадежно нормальным: это подозрительно, да?

— Нет ничего более подозрительного! — ответила я с таким пылом, что он взглянул на меня с некоторым удивлением.

— В таком случае мне действительно придется лечиться, — весело сказал он. — Но я не об этом хотел с вами поговорить, — добавил он и улыбнулся: — Я пришел в каком-то смысле просить руки вашей дочери.

Я тоже улыбнулась:

— А вы будете хорошим мужем?

— Я постараюсь. Вы опасаетесь меня? Поколе-

бавшись, я откровенно сказала:

— Если вы женитесь только потому, что это устраивает Надин, то отчасти опасаюсь.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, — ответил он. — Не бойтесь. История с Поль послужила мне уроком. Нет. Прежде всего, я привязан к Надин; и потом, я, возможно, удивлю вас, но мне кажется, что у меня призвание быть отцом семейства.

— Вы немного удивляете меня, — согласилась я.

— А между тем это правда. Я сам был удивлен, но, когда Надин сказала мне, что беременна, у меня подскочило сердце. Не знаю, как объяснить вам. Претерпеваешь столько мук, чтобы написать книгу, которую все критикуют, или пьесу, которая возмущает людей, и вдруг, всего лишь доверившись своему телу, я с такой легкостью создал кого-то живого; и это не бумажный персонаж, а настоящий ребенок во плоти.

— Надеюсь, что я не замедлю обнаружить в себе призвание бабушки, — сказала я. — Полагаю, вы собираетесь пожениться как можно скорее? Где вы думаете устроиться? Вам понадобится квартира.

— У нас нет желания оставаться в Париже, — отвечал Анри. — Мне бы даже хотелось покинуть

Францию на какое-то время. Говорят, в некоторых уголках Италии можно снять дом, и недорого.

— Ну а пока?

— Знаете, у нас не было времени строить какие-то планы.

— Во всяком случае, вы можете поселиться в Сен-Мартен, — сказала я, — дом достаточно большой.

Надин благосклонно отнеслась к этой идее; она не пожелала жить в павильончике, думаю, у нее с ним были связаны скверные воспоминания, и велела оборудовать две большие комнаты на третьем этаже. Надин оставила пост секретарши, начала изучать книги по уходу за грудными детьми и вязать приданое для новорожденного, яркие расцветки которого радостно опрокидывали все традиции, ее это увлекало. Судя по всему, это был счастливый период. Анри радовался тому, что вырвался из пут политической жизни, Робер, казалось, не слишком о них сожалел. Поль заявляла, что она в восторге от своей новой жизни. Теперь она жила в особняке Бельзонс, где исполняла загадочные обязанности секретарши; Клоди одалживала ей свои платья и водила с собой повсюду; Поль, захлебываясь, рассказывала мне о своих выходах, о своих любовниках и

хотела приобщить меня к своей славе.

— Сделай же себе наконец вечернее платье, — сказала она мне. — У тебя нет желания одеться, показаться?

— Показаться кому?

— Во всяком случае, тебе нужно выходное платье. Та чудесная индейская ткань, что ты с ней сделала?

— Не знаю, она в моих картонках.

— Надо найти ее.

Смешно, но она принялась искать в моем шкафу царственное рубище, которое укрывало плечи старой индеанки на другом конце земли и времени.

— Вот она! Из этого можно скроить потрясающую блузку!

Я с изумлением трогала ткань, отливающую красками витража и мозаики. Однажды в далеком городе, где курился ладан, мужчина, любивший меня, бросил ее мне на руки: как могла она материализоваться здесь, сегодня? От этого далекого сна к моей реальной жизни не было хода. Однако huipil тут. И внезапно я перестала понимать, где нахожусь в действительности: здесь, во власти безрассудных воспоминаний, или в другом месте, где мне только снится, будто

я здесь, и уже близится пробуждение, которое вернет меня на индейские рынки и в объятия Льюиса?

— Доверься мне, — сказала Поль. — Клоди даст поручение какому-нибудь модельеру, и я постараюсь, чтобы тебе принесли это до четверга. Ты придешь в четверг, договорились?

— Мне это правда неинтересно.

— Я обещала Клоди привести тебя. Мне так хотелось бы хоть немного отплатить ей за то, что она для меня сделала! — Голос Поль звучал столь же патетично, как в то время, когда она умоляла меня помирить ее с Анри.

— Я приду ненадолго, — согласилась я.

Чтобы придать новый блеск своим четвергам, Клоди надумала финансировать литературную премию, присуждаемую женским жюри, которое она, разумеется, и возглавит; ей не терпелось сообщить об этом великом событии миру, и, хотя проект оставался пока туманным, на следующий четверг она приглашала журналистов и «весь Париж». Клоди прекрасно обошлась бы без меня, но картонку с преображенной старой huipil, которую я получила в среду вечером, сопровождала повелительная записка Поль. Теперь huipil превратилась в модную блузку моего размера,

которая таила в себе запах утраченного прошлого, и, надев ее, я почувствовала, как в мою кровь проникает что-то похожее на надежду; своей кожей я ощущала доказательство того, что между исчезнувшим счастьем и моим нынешним оцепенением есть связующая нить: значит, возвращение может состояться. В зеркале мой образ, обновленный свежим туалетом, выглядел довольно привлекательно: за оставшиеся полгода я не так уж сильно постарею; я увижу Льюиса, он снова полюбит меня. И, входя в гостиную Клоди, я была недалека от мысли: «В конце концов, я все еще молода!»

— Я так боялась, что ты не придешь! — сказала Поль, увлекая меня в глубь вестибюля. — Мне надо поговорить с тобой, — продолжала она с видом озабоченным и значительным. — Я хотела бы, чтобы ты сделала для меня еще одну вещь.

— Что именно?

— Клоди необычайно заинтересована в том, чтобы ты была членом нашего жюри.

— Но это не по моей части, и у меня нет времени.

— Тебе ничего не придется делать.

— Тогда почему она так заинтересована во мне? — со смехом спросила я.

— Ну как же, из-за имени, — сказала Поль.

— Это имя Робера, мое немногого стоит.

— Но имя-то одно и то же, — поспешила сказать Поль. Она потащила меня в маленькую гостиную. — Боюсь, я плохо рассказала тебе об этом проекте, речь идет не о светской игре.

Я покорно села: с тех пор, как Поль вылечилась, она без удержу разглагольствовала о разных пустяках; удручающе было наблюдать, какой страстью, ничуть не меньшей, чем некогда к судьбе Анри, прониклась она к этой дурацкой затее; она долго нахваливала мне достоинства числа семь: для жюри требовалось непременно семь членов.

Почувствовав прилив энергии, я запротестовала:

— Нет, Поль, мне там нечего делать. Нет.

— Послушай, — с испугом сказала она, — скажи, по крайней мере, Клоди, что ты подумаешь.

— Хорошо; но тут и думать нечего.

Она встала и небрежным тоном спросила:

— Правду говорят, что Анри собирается жениться на Надин?

— Это правда. Она рассмеялась:

— До чего забавно! — И, снова став серьезной, добавила: — С точки зрения Анри — забавно. Но

мне жаль Надин. Тебе следовало бы вмешаться.

— Ты же знаешь, она делает что хочет, — возразила я.

— На этот раз используй свою власть, — сказала Поль. — Он погубит ее, как хотел погубить меня. Видимо, Анри заменяет ей в какой-то мере Робера, — задумчиво добавила она.

— Вполне возможно.

— В конце концов, мне все равно, — заявила Поль и направилась к двери. — Я задержала тебя! Пошли скорее! — заволновалась она вдруг.

В гостиной было полно народа; маленький оркестр вяло исполнял джазовые мелодии, несколько пар танцевали; большинство людей были увлечены едой и питьем. Клоди танцевала с молодым поэтом, на нем были бархатные брюки цвета лаванды, хлопчатобумажный спортивный свитер, а в одном ухе — золотое кольцо; надо сказать, он вызывал некоторое удивление; молодых людей было много: все, безусловно, кандидаты на новые литературные премии, и все своей одеждой напоминали посольских атташе. Я обрадовалась, увидев знакомое лицо — Жюльена; он тоже был прилично одет и по виду не пьян; я улыбнулась ему, и он склонился передо мной:

— Могу я пригласить вас на танец?

— О нет! — ответила я.

— Почему?

— Я слишком стара.

— Не старее других, — заметил он, кинув взгляд на Клоди.

— Нет, но почти такая же, — со смехом отвечала я. Он тоже засмеялся, но Поль серьезно сказала:

— У Анны полно всяких комплексов! — Она кокетливо взглянула на Жюльена. — А у меня — нет.

— Вам повезло! — удаляясь, заметил Жюльен.

— Слишком стара! Что за идея! — недовольным тоном произнесла Поль. — Никогда я не чувствовала себя более молодой.

— Каждый чувствует себя по-своему, — ответила я.

Тот краткий порыв молодости, который на мгновение одурманил меня, быстро улетучился. Стеклянные зеркала чересчур снисходительны: вот оно, истинно правдивое зеркало — лица женщин моего возраста, их дряблая кожа, поблекшие черты, провалившийся рот и эти странно узловатые тела, которые угадываются под их сбруей. «Старухи, — подумала я, — а ведь мне столько же лет». Оркестр умолк, и Клоди накинулась на меня:

— Как мило, что вы пришли. Кажется, вас очень заинтересовали наши планы? Я была бы просто счастлива, если бы вы присоединились к нам.

— И я была бы рада, — отвечала я. — Но в настоящий момент у меня так много работы!

— Я слышала; похоже, вы становитесь модным специалистом по психоанализу. Позвольте представить вам некоторых моих протеже.

Я была довольна, но немного удивлена тем, что она не стала настаивать: не так уж ее интересовала моя помощь, Поль все нафантазировала. Я пожимала множество рук: молодым людям и другим, менее молодым. Они несли мне бокалы шампанского, печенье, усердствовали, кое-кто деликатно прибегал к комплиментам; и все с улыбочками поверяли мне какую-нибудь пустяковую мечту: добиться встречи с Робером или его статьи для начинающего молодежного журнала, рекомендации к Мовану, благоприятной рецензии в «Вижиланс», и еще им так хотелось увидеть напечатанным там свое имя! Некоторые, более наивные или более циничные, просили у меня совета: как взяться за дело, чтобы получить премию и вообще преуспеть? По их мнению, я должна была знать такого рода уловки! Я сомневалась в их будущем; нельзя определить на глаз,

имеется у кого-то талант или нет, но сразу можно распознать, есть ли у человека истинные причины писать: все эти салонные завсегдатаи пишут лишь потому, что трудно поступить иначе, если имеешь пристрастие к литературному образу жизни, но никто из них не любит проводить время наедине с чистым листом бумаги; они желают успеха в его самом абстрактном виде и, несмотря ни на что, это не лучший способ его добиться. Я находила их отталкивающими, так же как их жажду успеха. Один из них едва ли не открыто заявил мне: «Я готов платить». Многих Клоди заставляла платить натурой; она сияла, объясняясь с журналистами в окружении своих юных поклонников. Поль не воспользовалась удачным случаем, она остановила свой выбор на Жюльене; сидя рядом с ним и положив ногу на ногу, высоко обнажив все еще очень красивые ноги, она с пылающим взором говорила без умолку; какому-нибудь новичку, одурманенному таким количеством слов, устоять было бы весьма затруднительно, но Жюльену знакома была эта песня. А я тем временем, слушая настойчивый голос высокого старика, полысевшая голова которого изображала привычный образ гения, давала себе клятву: если я потеряю Льюиса — ко-

гда я потеряю Льюиса, — то сразу же и навсегда перестану считать себя женщиной: я не хочу походить на них.

— Видите ли, мадам Дюбрей, — говорил старик, — это не вопрос моей личной амбиции, но то, что я говорю, должно быть услышано; никто не осмеливается говорить таких вещей: только старый безумец вроде меня может на это отважиться. И есть только один достаточно мужественный человек, чтобы поддержать меня: ваш муж.

— Он наверняка будет очень заинтересован, — отвечала я.

— Но надо, чтобы его интерес был действенным, — с жаром продолжал он. — Мне все говорят: это замечательно, захватывающе! А в момент публикации пугаются. Если Робер Дюбрей поймет важность моей работы, которой я посвятил— могу сказать это, не покривив душой, — годы своей жизни, он обязан принять ее для печати. Достаточно будет его предисловия.

— Я поговорю с ним, — сказала я.

Старик раздражал меня, но мне было его жаль. Когда добьешься успеха, появляется масса проблем, однако их не меньше и в случае, если не добьешься успеха. Как, должно быть, тоскливо — говорить и говорить, никогда не находя от-

клика. В свое время он опубликовал две или три невразумительные книги, эта представляла для него последний шанс, и я боялась, что она тоже не очень хороша: я питала недоверие ко всем находившимся там людям. Пробравшись сквозь толпу, я тронула Поль за руку:

— Думаю, я полностью выполнила свой долг. Ухожу. Позвони мне.

— У тебя есть секунда? — Она с заговорщическим видом схватила меня за руку: — Мне нужен твой совет по поводу моей книги; я мучилась этим все последние ночи. Как ты думаешь, правильно было бы напечатать первую главу в «Вижиланс»?

— Это зависит от главы и от общего содержания книги, — отвечала я.

— Книга, безусловно, написана так, чтобы быть прочитанной сразу целиком, — сказала Поль. — Она должна поразить читателя прямо в сердце, не дав ему времени опомниться. Но, с другой стороны, публикация в «Вижиланс»— это гарантия ее серьезности. Я не хочу, чтобы меня принимали за светскую женщину, которая занимается дамским рукоделием.

— Дай мне рукопись, — предложила я. — Робер скажет тебе свое мнение.

— Я пришлю тебе экземпляр завтра утром, — сказала она и, оставив меня, бросилась к Жюльену: — Вы уже уходите?

— Сожалею, мне пора идти.

— Вы не забудете позвонить мне?

— Я никогда ничего не забываю.

Спускаясь вместе со мной по лестнице, Жюльен произнес любезным тоном:

— Поль Марёй очаровательная женщина, вот только испытывает слабость к мужскому полу. Заметьте, само по себе это неплохо, но коллекционеры наводят на меня тоску.

— Мне кажется, у вас хватает своих коллекций, — ответила я.

— Нет! Что отличает коллекционера, так это каталог; я никогда не обзаводился каталогом.

С Жюльеном я рассталась в плохом настроении: мне было больно, что Поль дает повод говорить о себе в таком тоне. Но, снимая свой парадный туалет и надевая домашний халат, я спрашивала себя: «А почему, в конце-то концов? Ей плевать на то, что о ней думают, и она, безусловно, права». Я хотела быть иной, чем эти перезрелые людоедки, но, по сути, у меня были другие хитрости, ничуть не лучше их собственных. Я спешу сказать себе: я свое отжила, я старая; таким образом я отметаю

те двадцать или тридцать лет, которые мне, отжившей и старой, придется жить с сожалением об утраченном прошлом; меня ничего не лишат, раз я сама от всего отказалась, но в моей суровости больше осмотрительности, нежели гордости, и, по сути, она прикрывает грубую ложь: на деле я отрицаю старость, отказываясь от подобных сделок. Я утверждаю: под моей поблекшей плотью живет молодая женщина с неувядающими потребностями, которая не идет ни на какие уступки и свысока смотрит на жалких сорокалетних старух; однако этой женщины не существует, она никогда не возродится, даже от поцелуев Льюиса.

На следующий день я прочитала рукопись Поль: десять страниц таких же пустых, таких же бесцветных, как любая книга из серии «Конфиданс»{123}. Не стоит расстраиваться: по сути, она не так уж дорожила своим творением, неудача не станет для нее трагедией, она раз и навсегда застраховала себя от трагизма, заранее со всем смирившись. Но я отказывалась мириться с ее смирением. Меня так это удручало, что я испытывала все большее отвращение к своему ремеслу; у меня нередко появлялось желание сказать своим больным: «Не пытайтесь исцелиться, исцеления

и без того хватает». У меня было много пациентов, и как раз в ту зиму мне удалось успешно провести несколько трудных курсов лечения, но радости это не приносило. Я решительно не понимала, почему это хорошо, когда люди спят по ночам, когда они с легкостью занимаются любовью, когда они способны действовать, выбирать, забывать, жить. Раньше мне казалось, что надо как можно скорее прийти на помощь всем этим маньякам, погрязшим в своих мелких несчастьях, ведь мир так велик; теперь же я лишь следовала старым инструкциям, пытаясь избавить их от навязчивых идей: я стала похожей на них! Мир был все так же велик, но у меня пропал к нему интерес.

«Это возмутительно!» — сказала я себе в тот вечер. Они спорили в кабинете Робера, говорили о плане Маршалла, о будущем Европы, вообще о будущем, утверждали, что опасность войны возрастает; Надин слушала с испуганным видом. Война, это касается всех, и я не могла отмахнуться от их взволнованных голосов, а между тем все мои мысли были сосредоточены на одной лишь строчке письма: «Через океан даже самые нежные руки кажутся холодными»{124}. Зачем, признаваясь в не имеющих значения случайных встречах, Льюис писал мне такие недобрые

слова? Я не требовала от него соблюдать мне верность, это было бы глупо — столько воды и пены пролегло между нами. Разумеется, он сердился на меня за мое отсутствие: простит ли он мне его когда-нибудь? Обрету ли я вновь его настоящую улыбку? Рядом со мной Анри с Робером задавались вопросом о страшной участи, уготованной миллионам людей, а меня заботила лишь одна-единственная улыбка, улыбка, которая не остановит атомные бомбы, которая никому и ничему не в силах помочь, но мне она заслоняла все. «Это возмутительно», — повторила я себе. В самом деле, я себя не понимаю. В конце концов, быть любимой — это не цель и не смысл бытия, это решительно ничего не меняет и никуда не продвигает: даже меня это никуда не ведет. Я тут, Робер с Анри разговаривают, какое значение имеет для меня то, что думает там Льюис? Поставить свою судьбу в зависимость от какого-то сердца, которое является всего лишь одним сердцем среди миллионов других, — для этого надо потерять рассудок! Я пыталась прислушиваться, но безуспешно, и только твердила себе: мои руки холодны. «В конечном счете, — подумала я, — достаточно спазма моего сердца, одного из миллионов других сердец, чтобы этот огромный

мир навсегда перестал интересовать меня. Мера моей жизни — это в равной степени и одна-единственная улыбка, и вся вселенная; выбрать то или другое — это, по сути, произвол». Впрочем, выбора у меня все равно не было.

Я ответила Льюису и, должно быть, нашла нужные слова, ибо следующее его письмо было спокойным и доверчивым. Отныне о своей жизни он рассказывал мне тоном дружеского соучастия. Он продал свою книгу Голливуду, у него появились деньги, он снял дом на берегу озера Мичиган. И казался счастливым. Наступила весна. Надин с Анри поженились: они тоже, видимо, были счастливы. А почему не я? Собрав все свое мужество, я написала: «Мне очень хотелось бы увидеть дом на озере». Он мог оставить без внимания эту фразу или сказать мне: «В следующем году вы увидите дом», или же еще: «Думаю, вы никогда его не увидите». Когда я взяла в руки конверт, в котором заключался ответ, я напрягла все силы, словно в ожидании расстрела. «Не надо строить иллюзий, — говорила я себе. — Если он ничего не скажет, значит, не хочет встречи со мной». Я развернула желтый лист бумаги, и в глаза мне сразу бросились слова: «Приезжайте в конце июля, дом как раз будет готов». Я рухнула

на диван: в последнюю секунду меня помиловали. Я так боялась, что поначалу не испытала никакой радости. Потом внезапно почувствовала руки Льюиса на своем теле и чуть не задохнулась, вымолвив: «Льюис!» Сидя подле него в нью-йоркском номере, я тогда спросила: «Мы встретимся вновь?» Теперь он отвечал: «Приезжайте». Между нашими двумя репликами ничего не произошло, просто миновал призрачный год, и я вновь обрела свое ожившее тело. Какое чудо! Я чествовала его, как блудного сына; я, которая обычно так мало заботилась о нем, лелеяла его в течение целого месяца; я хотела навести на него лоск и блеск, украсить его; я заказала себе пляжные платья, купальники; в цветастых хлопковых тканях я уже владела и голубым озером, и поцелуями. В тот год в витринах красовались нелепые юбки, длинные, шелковистые: я их купила; я согласилась принять в подарок от Поль самые дорогие парижские духи. На этот раз я доверяла туристическим агентствам, паспорту, визе и небесным путям. Когда я поднялась на борт самолета, он показался мне не менее надежным, чем пригородный поезд.

Робер сумел устроить так, чтобы в Нью-Йорке я получила доллары. Я возвратилась в гостиницу,

где останавливалась во время первого своего путешествия, и мне дали точно такую же комнату, но только на другом этаже. В коридорах с едва уловимым запахом, освещенных тусклым красным светом, меня встретила та же тишина, что и в ту пору, когда любопытство было единственной моей страстью; на несколько часов я снова ощутила беззаботность. Париж уже не существовал, Чикаго — пока еще нет, я ходила по улицам Нью-Йорка и ни о чем не думала. На следующее утро я спокойно занялась хлопотами в конторах и банках. Потом снова поднялась к себе в номер за чемоданом. Я увидела в зеркале женщину, которую сегодня вечером Льюис заключит в объятия. Он спутает мои волосы, под его поцелуями я сорву с себя блузку, скроенную из индейской huipil; я приколола к ней розу, которая вскоре будет растоптана, коснулась шеи духами, подаренными Полы меня охватило смутное ощущение, что я готовлюсь принести в дар жертву, которая была не мной. В последний раз я рассматривала ее: мне казалось, что ее можно любить, если любили меня.

Через четыре часа я приземлилась в Чикаго. Я взяла такси и на этот раз нашла дом без всяких осложнений; декорация стояла на своем

месте; вывеска «ШИЛТЦ» пламенела напротив огромной афиши; Льюис сидел на балконе за столиком и читал. Он с улыбкой помахал мне и бегом спустился вниз; заключив меня в объятия, он произнес положенные слова: «Вы вернулись! Наконец-то!» Возможно, сцена разворачивалась с чересчур неотвратимой точностью: она казалась не совсем реальной и была похожа на несколько размытую копию прошлогодней. А может быть, я просто была сбита с толку голыми стенами комнаты: ни одной гравюры, ни одной книги.

— Какая пустота! — сказала я.

— Я все отправил в Паркер.

— Дом готов? Как он выглядит?

— Увидите сами, — отвечал он. — Скоро увидите. — Он прижимал меня к себе. — Какой странный запах, — с удивленной усмешкой молвил он. — Это роза?

— Нет, это я.

— Но раньше у вас не было такого запаха?

Внезапно я устыдилась самых дорогих парижских духов, хорошо продуманного покроя моей блузки и моих шелковых юбок: к чему все эти ухищрения? Он не нуждался в них, чтобы желать меня. Я искала его губы; я не так уж стремилась заниматься любовью, но мне надо было удосто-

вериться, что он все еще хочет меня. Его руки смяли шелк моих юбок, роза упала на пол, моя блузка тоже, и я уже не задавала себе никаких вопросов.

Спала я долго; когда я проснулась, было уже за полдень. Пока я завтракала, Льюис рассказывал мне о наших соседях в Паркере и в числе других — о Дороти, давней приятельнице, которая развелась после неудачного брака и жила со своими двумя детьми у сестры и ее мужа, в двух-трех милях от нашего дома. Меня не слишком интересовала Дороти, и, возможно, он это почувствовал, ибо вдруг спросил меня:

— Вам будет неприятно, если я послушаю по радио бейсбольный матч?

— Вовсе нет. Я почитаю газеты.

— Я сохранил для вас все номера «Нью-Йоркера», — поспешно сказал Льюис, — и отметил интересные статьи.

Он положил на ночной столик пачку журналов и включил радио. Мы улеглись на кровати, и я начала листать «Нью-Йоркер». В предыдущие годы нам нередко случалось читать или слушать радио молча, бок о бок, но сегодня я только что приехала, и мне казалось странным, что Льюис думал лишь о бейсболе, когда я лежала рядом

с ним. В прошлом году мы весь первый день целиком занимались любовью. Я перевернула страницу, но читать не могла. Минувшей ночью, прежде чем овладеть мною, Льюис, не подарив мне своей улыбки, погасил свет и не произнес моего имени: почему? Я заснула, не задаваясь вопросом, но забыть вопрос — вовсе не означает ответить на него. «Возможно, он до конца не обрел меня, — подумала я. — Обрести друг друга после целого года разлуки — это трудно. Терпение, он меня отыщет». Я начала читать статью и остановилась, у меня перехватило горло; мне было наплевать на последний роман Фолкнера и на все остальное, я должна была находиться в объятиях Льюиса, но этого не случилось: почему? Бейсбольный матч все не кончался. Прошел не один час, Льюис продолжал слушать; если бы хоть я могла спать, но я насытилась сном, и я решилась.

— А знаете, Льюис, я проголодалась, — весело сказала я. — Вы не хотите есть?

— Потерпите еще десять минут, — отвечал Льюис. — Я поставил три бутылки шотландского виски на Гигантов: три бутылки виски — это важно или нет?

— Очень важно.

Я узнавала улыбку Льюиса и его насмешливый ласковый голос. В другой день все это было бы вполне нормально. В конце концов, возможно, нормально и то, что сегодняшний день походил на любой другой; однако последние минуты показались мне страшно долгими.

— Я выиграл! — радостно заявил Льюис. Он встал, выключил радио. — Бедненькая голодающая, сейчас мы вас накормим!

Я тоже встала и причесалась.

— Куда вы меня поведете?

— Что вы скажете о старом немецком ресторане?

— Прекрасная идея.

Мне нравился этот ресторан, с ним у меня были связаны хорошие воспоминания. Мы весело болтали за сосисками с красной капустой. Льюис рассказал мне о своем пребывании в Голливуде. Затем повел меня в бар бродяжек и маленький дансинг черных, где некогда играл Биг Билли; он смеялся, я смеялась, прошлое возвращалось. Внезапно я подумала: «Да, неплохо сымитировано!» Почему я так подумала? Что не так? Ничего, все так. Наверное, я все выдумывала, путешествие в самолете утомило меня, а тут еще волнение прибытия. Я просто бредила. Год назад Льюис

сказал мне: «Я больше не буду пытаться разлюбить вас. Никогда я вас так не любил». Он сказал мне это, это было вчера, и это по-прежнему я, и это по-прежнему он. В такси, которое несло нас к нашей кровати, я прильнула к нему: да, это был он, я узнавала шероховатое тепло его плеча, но мне не дано было вновь обрести его губы, он меня не поцеловал, и у себя над головой я услышала, как он зевает.

Я не шелохнулась, но зато почувствовала, что качусь куда-то в бездну мрака, и я подумала: «Должно быть, так бывает, когда сходишь с ума». Два слепящих огня прорезали потемки, две истины, одинаково верные, хотя вместе они не могли быть подлинными: Льюис любит меня; и, когда обнимает меня, зевает. Я поднялась по лестнице, разделась. Надо было задать Льюису один вопрос, один очень простой вопрос; он заранее раздирал мне горло, но любой ответ лучше, чем этот смутный ужас. Я легла. Он лег рядом со мной и завернулся в простыню:

— Спокойной ночи.

И сразу повернулся ко мне спиной; я вцепилась в него:

— Льюис. Что происходит?

— Ничего. Я устал.

— Я хочу сказать: что происходило весь день? Вы не узнали меня?

— Я вас узнал, — отвечал он.

— Тогда, значит, вы меня больше не любите?

Воцарилось молчание: решающее молчание, и я замерла. Весь вечер я боялась, хотя всерьез не верила, что мой страх может быть оправдан, и вдруг никаких сомнений не осталось.

— Вы меня больше не любите? — повторила я.

— Я по-прежнему очень привязан к вам, я испытываю к вам огромную нежность, — задумчиво произнес Льюис. — Но это уже не любовь.

Ну вот он и сказал это; я слышала его слова своими ушами, ничто и никогда не сможет их изгладить. Я хранила молчание. Я не знала, что теперь с собой делать. Я осталась точно такой, как прежде; но прошлое, будущее, настоящее — все покачнулось. Мне казалось, что даже мой голос и тот уже не принадлежит мне.

— Я знала! — вымолвила я. — Знала, что потеряю вас. С первого дня я это знала. Вот почему я плакала в клубе «Делиса»: я знала. А теперь это случилось. Как это случилось?

— Вернее сказать, ничего не случилось, — ответил Льюис. — В этом году я ждал вас без нетерпения. Да, женщина — это приятно; с ней

разговариваешь, спишь вместе, потом она уезжает: не из-за чего терять голову. Но я говорил себе, что, возможно, когда я увижу вас, что-то произойдет.

Он говорил отстраненно, словно все это меня не касалось.

— Понимаю, — тихо сказала я. — И ничего не произошло.

— Нет.

Я подумала в растерянности: «Это все из-за странного запаха, из-за шелков; надо просто начать все сначала: я надену прошлогодний костюм». Но, разумеется, мои юбки были тут ни при чем. Из далекого далека я услышала свой голос:

— Так что же мы будем делать?

— Я очень надеюсь, что мы проведем приятное лето! — сказал Льюис. — Разве мы не провели хороший день?

— Кошмарный день!

— Правда? — Он, казалось, расстроился. — Я думал, вы ничего не заметили.

— Я все заметила.

Я лишилась голоса и не могла больше говорить, да и зачем? В прошлом году, когда Льюис пытался разлюбить меня, сквозь его обиды и дурное настроение я чувствовала, что ему это плохо

удается: у меня все время сохранялась надежда. В этом году он себя не заставлял, он просто не любил меня больше, это бросалось в глаза. Почему? Как? С каких пор? Это не имело значения, все вопросы были напрасны; понять важно, когда еще надеешься, а я не сомневалась, что надеяться мне не на что.

— Что ж, спокойной ночи, — прошептала я. На мгновение он прижал меня к себе.

— Мне не хотелось бы, чтобы вы грустили, — сказал он и погладил мои волосы. — Это не стоит того.

— За меня не беспокойтесь, — ответила я. — Я буду спать.

— Спите, — сказал он. — Спите спокойно.

Я закрыла глаза; да, конечно, я буду спать. Я чувствовала себя обессиленной, словно после целой ночи лихорадки. «Ну вот, — холодно рассуждала я, — ничего не случилось; это нормально; ненормально было тогда, когда в один прекрасный день что-то случилось. Что? Почему?» По сути, я так никогда и не понимала: любовь всегда бывает незаслуженной; Льюис полюбил меня без особой на то причины, я этому не удивилась; теперь он перестал меня любить, и это тоже было неудивительно, скорее даже вполне естественно.

Внезапно слова взорвались у меня в голове. «Он больше не любит меня». Речь шла обо мне, я должна была бы выть от ужаса. Я заплакала. Каждое утро он говорил: «Почему вы смеетесь? Почему вы такая розовая, такая теплая?» Я больше не буду смеяться. Он говорил: «Анна!» Никогда больше он этого не скажет таким тоном. Никогда больше мне не увидеть страстного и нежного выражения его лица. «Надо все возмещать, — думала я сквозь рыдания. — За все, что было мне дано, хоть я этого и не просила, придется сполна расплатиться слезами». Вдалеке простонала сирена, доносились гудки поездов. Я плакала. Содрогаясь, мое тело отдавало свое тепло, я становилась холодной и дряблой, как давнишний труп. Если бы я могла полностью уничтожить себя! Пока я плакала, у меня, по крайней мере, не было будущего и в голове было пусто: мне казалось, что я без труда могу рыдать до скончания веков. Первой утомилась ночь; занавеска на кухне пожелтела, на ней четкими линиями отпечаталась густая тень. Скоро мне придется стоять на ногах, произносить слова, оказаться лицом к лицу с человеком, который спал без слез. Если бы я могла хотя бы сердиться на него, это сблизило бы нас. Но нет: это был всего лишь человек, с которым ничего не

произошло. Я встала; утро на кухне было привычным и тихим, похожим на многие другие, точно такие же. Я налила себе стакан виски и выпила его с таблеткой бензедрина.

— Вы спали? — спросил Льюис.

— Недолго.

— И совершенно напрасно!

Он начал хлопотать на кухне, повернувшись ко мне спиной, это помогло мне заговорить.

— Есть одна вещь, которой я не понимаю, — сказала я. — Почему вы позволили мне приехать? Вы должны были бы предупредить меня.

— Но мне хотелось вас увидеть, — с живостью отозвался Льюис. Он повернулся ко мне и простодушно улыбнулся: — Я рад, что вы здесь, я рад провести это лето с вами.

— Вы забываете одну вещь, — возразила я. — Ведь я люблю вас. Совсем невесело жить с человеком, которого любишь и который тебя не любит.

— Вы не всегда будете любить меня, — беспечным тоном сказал Льюис.

— Возможно. Но сейчас я вас люблю. Он улыбнулся:

— У вас слишком много здравого смысла, чтобы это длилось долго. Серьезно, — продолжал он,

— чтобы любить кого-нибудь по-настоящему, надо потерять голову; если в игре участвуют двое, тогда стоит рискнуть; но играть в одиночку — глупо.

Я смотрела на него с недоумением. Он действительно не отдавал себе отчета или просто делал вид? Возможно, он говорил искренне, возможно, любовь в его глазах утратила всякое значение с тех пор, как он разлюбил меня. Во всяком случае, намеренный или бессознательный, его эгоизм доказывал мне, что я для него почти не в счет. Я легла на кровать. У меня болела голова. Льюис стал укладывать в ящик книги, и я вдруг осознала, что не выяснила самого главного. Я лежала на мексиканском покрывале, смотрела на желтую занавеску, стены: меня уже не любили, но я еще чувствовала себя дома, а быть может, все это принадлежало другой. Быть может, Льюис любил другую женщину. В этом году в его жизни были женщины, он писал мне о них, но ни одна не внушила мне настоящего беспокойства; а возможно, он встретил такую, о которой как раз и не написал мне.

— Льюис!

Он поднял голову:

— Да?

— Мне надо задать вам один вопрос: у вас есть другая женщина?

— О великие боги, нет! — с жаром ответил он. — Я никогда больше не полюблю.

Я вздохнула. Худшее меня миновало! Лицо, которое я больше не увижу, голос, который я больше не услышу, не существуют ни для кого другого.

— Почему вы так говорите? — спросила я. — Заранее ничего не известно. Льюис покачал головой.

— Думаю, я не создан для любви, — сказал он немного нерешительно. — До вас ни одна женщина не имела для меня значения. Я встретил вас в тот момент, когда моя жизнь казалась мне совершенно пустой, вот почему я с такой поспешностью устремился навстречу этой любви; но в конце концов все кончилось. — Он молча смотрел на меня. — Между тем, если есть кто-то, созданный для меня, так это вы, — добавил он. — После вас не может быть больше никого.

— Понимаю, — сказала я.

Дружеский тон Льюиса окончательно привел меня в отчаяние. Если бы он был резок, несправедлив, я, безусловно, попыталась бы защищаться, но нет; казалось, он был почти так же, как я, опечален тем, что с нами случилось. Голова у меня

совсем разболелась, и я не стала расспрашивать его дальше. Единственный решающий вопрос: «Льюис, если бы я осталась, вы продолжали бы меня любить?» — был бесполезен именно потому, что я не осталась.

Льюис купил мне успокоительные таблетки, я выпила их две и уснула. Проснувшись, я вскочила. «И все-таки это кончилось!» — тут же сказала я себе. Я села у окна; за моей спиной Льюис упаковывал тарелки; было уже очень жарко; ребятишки играли в мяч среди крапивы, маленькая девочка неуверенно каталась на трехколесном велосипеде, а я кусала губы, чтобы не расплакаться. Я проводила глазами длинный роскошный автомобиль, который ехал вдоль тротуара, и отвернулась: все тот же вид, та же комната, на желтой занавеске, словно вышивка, лежала черная тень; Льюис в своих старых залатанных брюках насвистывал; прошлое бросало мне вызов, я не могла больше этого выносить и встала.

— Пойду прогуляюсь, — сказала я.

Взяв такси, я велела отвезти меня до Луп и потом долго шагала: шагать — почти то же, что плакать, очень отвлекает. Улицы казались мне враждебными. Я полюбила этот город, полюби-

ла эту страну, но за два года все изменилось, и любовь Льюиса не защищала меня больше. Теперь Америка означала атомную бомбу, военные угрозы, нарождающийся фашизм; большинство встречавшихся мне людей были недругами, я осталась одна, заброшенная, потерянная. «Что я здесь делаю?» — спрашивала я себя. К вечеру я очутилась под вывеской «ШИЛТЦ»; в тупике дымились мусорные ящики, отчего приятно пахло осенью. Я поднялась по деревянной лестнице, пристально глядя на красно-белые квадраты, прикрывавшие газовый резервуар; вдалеке прошел поезд, и балкон задрожал. Все было точно так, как в первый день, как в другие дни. «Мне лучше вернуться в Париж», — сказала я себе. Я увидела угол улицы, где меня уже дожидался мой отъезд; такси, которое увезет меня, катило где-то по городу; Льюис остановит его знакомым мне жестом, хлопнет дверца — она уже хлопала один, два, три раза, но теперь это будет навсегда. К чему три месяца агонии? «Пока я буду видеть Льюиса, пока он будет улыбаться мне, у меня ни за что недостанет силы убить в себе нашу любовь, зато убить на расстоянии все способны». Я ухватилась за перила. «Я не хочу ее убивать». Нет, я не хотела, чтобы когда-нибудь Льюис умер для меня так же,

как Диего.

— Надеюсь, что дом в дюнах вам понравится! — сказал мне Льюис на следующее утро.

— О! Наверняка, — отвечала я.

Он втискивал в ящики последние книги, последние банки консервов. Я была рада покинуть Чикаго. По крайней мере, в Паркере ничто не будет с таким упорством пародировать прошлое, а будет сад и две кровати, все не так гнетуще. Я стала собирать свой чемодан и спрятала поглубже индейскую huipil: никогда больше я ее не надену, мне казалось, было что-то пагубное в ее вышивках; я с отвращением прикасалась ко всем этим юбкам, блузкам, купальникам, которые с таким старанием выбирала. Закрыв чемодан, я налила себе большой стакан виски.

— Вы не должны столько пить! — сказал Льюис.

— Почему?

Я проглотила таблетку бензедрина, мне требовалась помощь, чтобы преодолеть эти дни, когда мне час за часом придется привыкать к тому, что он меня больше не любит. И вскоре друзья заехали за нами на машине, так что у меня не оставалось ни минуты, чтобы пойти куда-нибудь спокойно поплакать.

— Анна. Эвелина. Нед.

Я пожимала руки. Я улыбалась. Машина миновала город, парки, предместье; Эвелина говорила со мной, я отвечала. Мы пересекли огромную равнину с ее доменными печами, земельными наделами, аккуратно причесанными лесами и остановились в конце какой-то дороги, перегороженной гигантскими травами; усыпанная гравием аллея вела к белому дому, перед ним находилась лужайка, полого спускавшаяся к пруду. Я во все глаза смотрела на искрящиеся дюны, на украшенную кувшинками воду, на завесу густых деревьев; я буду жить здесь два месяца, словно у себя дома, а потом уеду, чтобы никогда уже не вернуться!

— Ну как? — спросил Льюис.

— Великолепно!

В конце лужайки рядом с кирпичной печью, труба которой дымилась, сидели люди; они радостно закричали: «Добро пожаловать, новые жильцы!»

Я пожала руки: Дороти, ее сестра Вирджиния, муж сестры Вилли, который работал по соседству на доменных печах, и толстяк Берт, учитель из Чикаго. Гамбургеры подрумянивались на черной печной жести, вкусно пахло жареным луком и

горящими поленьями. Кто-то протянул мне стакан виски, и я залпом осушила его: мне это было совершенно необходимо.

— Дом просто прелесть, не правда ли? — сказала Дороти. — Озеро сразу за дюнами; есть маленькая лодка, чтобы переплывать вот этот пруд: пять минут — и вы на пляже.

Это была черноволосая женщина с утомленным строгим лицом и восторженным голосом. Прежде она любила Льюиса и, возможно, любит до сих пор; между тем в ее взгляде отражалась искренняя теплота.

— По вечерам, — говорила она, — вам так чудесно будет готовить ужин на открытом воздухе; в лесу полно сухих веток, остается лишь подобрать их.

— Я куплю вам маленький топорик, — весело сказал мне Льюис, — и, если вы будете плохо вести себя, в наказание вам придется рубить дрова. — Он схватил меня за руку: — Пойдемте посмотрим дом.

На его лице я вновь увидела радостное возбуждение и нетерпение; раньше с такой вот горделивой улыбкой он смотрел на меня.

— Последнюю мебель доставят завтра. Здесь мы поставим кровати; комната в глубине будет

библиотекой.

Нас можно было и в самом деле принять за влюбленную пару, которая обустраивает свое гнездышко, и, когда мы вернулись в сад, во взглядах окружающих я заметила сочувственное любопытство.

— Вы сохраните свое пристанище в Чикаго? — спросила Вирджиния.

— Да, мы его сохраним.

Их взгляды смешивали нас; и я говорила «Льюис и я», я говорила «мы». Мы останемся здесь на все лето, нет, машины у нас нет, мы очень надеемся, что вы приедете навестить нас. Льюис тоже говорил «мы». Он говорил с воодушевлением; со времени моего приезда мы очень мало разговаривали, и я в первый раз видела его веселым: теперь, чтобы стать веселым, ему нужны были другие. Было гораздо прохладнее, чем в Чикаго, и запах травы дурманил меня. Мне хотелось сбросить давившую на сердце тяжесть и тоже стать веселой.

— Анна, хотите прокатиться на лодке?

— О! Конечно, хочу.

Светлячки вспыхивали в сумерках, когда мы спускались по маленькой лестнице; я села в лодку, и Льюис оттолкнулся далеко от берега;

студенистые водоросли накручивались на весла. На пруд, на дюны спустилась настоящая сельская ночь; но над мостом небо было красно-фиолетовым, неестественное небо большого города: огни доменных печей воспламеняли его.

— Это так же красиво, как небо над Миссисипи, — сказала я.

— Да. А через несколько дней наступит полнолуние.

Костер потрескивал на склоне дюн; кое-где сквозь деревья светилось окно; одно из них было нашим. Подобно всем окнам, которые сияют издалека в ночи, оно обещало счастье.

— Дороти симпатичная, — сказала я.

— Да, — отвечал Льюис. — Бедная Дороти. Она работает в драгсторе в Паркере, и муж платит ей маленькое пособие; двое детей, вся жизнь здесь, без собственного очага — это тяжело.

Мы говорили между собой о других, темная вода отделяла нас от мира, голос Льюиса был нежным, улыбка заговорщицкая; и я вдруг спросила себя: «Действительно ли все кончено?» Я сразу из гордости впала в отчаяние, чтобы не быть похожей на всех тех женщин, которые обманывают себя, а также из осторожности — чтобы избавить себя от мук сомнения, ожидания, разо-

чарования: быть может, я слишком поспешила. Непринужденность Льюиса, его чрезмерная откровенность были неестественны: по сути, в нем нет ни легкомыслия, ни грубости, он не стал бы открыто проявлять свое равнодушие, если бы оно не было следствием определенного решения. Он решил разлюбить меня, ладно: но принять решение, а потом выполнять его — это далеко не одно и то же.

— Нужно дать имя нашей маленькой лодке, — сказал Льюис. — Как вы посмотрите на то, чтобы назвать ее Анна?

— Я буду очень гордиться!

Он смотрел на меня с таким же точно выражением, как прежде; он сам предложил эту прогулку влюбленных. Быть может, его начало утомлять собственное ложное благоразумие; быть может, он не решался изгнать меня из своего сердца. Мы вернулись на берег, и вскоре наши гости ушли. Мы легли рядом на узкую кровать, временно поставленную в глубине библиотеки. Льюис выключил свет.

— Думаете, вам здесь понравится? — спросил он.

— Я в этом уверена.

Я прислонилась щекой к его обнаженному

плечу; он тихонько погладил мою руку, и я прижалась к нему. Его ладонь лежала на моей руке, это были его тепло, его запах, и у меня не осталось ни гордости, ни осторожности. Я нашла его губы, и мое тело затопило желание, в то время как рука ползла по теплому животу; он тоже хотел меня, а между нами желание всегда означало любовь; что-то вновь начиналось этой ночью, я в этом не сомневалась. Внезапно он лег на меня и овладел мною без единого слова, без единого поцелуя. Все произошло так быстро, что я осталась как бы в стороне.

— Спокойной ночи, — первой сказала я.

— Спокойной ночи, — ответил Льюис, поворачиваясь к стене. Отчаянная ярость охватила меня. «Он не имеет права», — шептала я. Ни на

мгновение он не проявил своих чувств, он обошелся со мной как с машиной для удовольствия. Даже если он разлюбил меня, ему не следовало так поступать. Я встала, я ненавидела его тепло. И пошла в гостиную, чтобы выплакаться всласть. Я ничего не понимала. Как наши тела могли стать настолько чужими — ведь они так любили друг друга? Он говорил: «Я так счастлив, я так горд»; он говорил: «Анна!» Руками, губами, своим сексом, всей своей плотью он отдавал мне свое сердце:

это было вчера. Эти ночи, воспоминание о которых все еще обжигало меня: под мексиканским покрывалом, на нашей койке, которую баюкала Миссисипи, под сенью кисеи от москитов, перед пылающим огнем камина с запахом смолы, все эти ночи... Неужели они никогда не возвратятся?

Когда я, обессиленная, вернулась в кровать, Льюис приподнялся на локте и с раздражением спросил:

— Это ваша программа на лето? Хорошо проводить дни, а потом плакать всю ночь?

— Ах! Не говорите таким высокомерным тоном! — с жаром отвечала я. — Я плачу от злости. Спать вместе вот так, на холодную голову — это ужасно: вы не должны были...

— Я не могу давать тепло, которого не чувствую, — сказал Льюис.

— Тогда не надо было спать со мной.

— Вам так этого хотелось, — миролюбиво сказал он, — я не мог отказать.

— Лучше было бы отказать. Я предпочитаю, чтобы мы решили никогда больше не спать вместе.

— Так будет, конечно, лучше, если после этого вам приходится плакать всю ночь. Попытайтесь заснуть.

В его голосе не было вражды, одно лишь рав-

нодушие. Его спокойствие сбивало меня с толку; я лежала на спине с закрытыми глазами; шум озера вдалеке походил на гул завода. Правду ли говорил Льюис? Значит, это я была виновата? Да, я виновата, вне всякого сомнения: не столько тем, что выпрашивала его ласки, а тем, что тешила себя ложными надеждами. Льюис наверняка не был до конца честен с самим собой, этим-то и объяснялись внезапные перемены в его поведении, но для такого человека, как он, почти нет разницы между отказом любить и отсутствием любви; он сознательно решил не любить меня, и вот результат: он меня больше не любил. Прошлое окончательно мертво. Смерть без трупа, как в случае с Диего: вот почему в это трудно поверить. Если бы только я могла поплакать на могиле, мне бы это очень помогло.

— Начало вашего пребывания здесь складывается весьма неудачно, — с обеспокоенным видом сказал мне на следующий день Льюис.

— Да нет! — возразила я. — Ничего серьезного не произошло. Дайте мне привыкнуть, и все пойдет отлично.

— Мне так хотелось бы, чтобы все шло хорошо! — сказал Льюис. — Мне кажется, что мы могли бы очень неплохо провести время вместе. Когда

вы не плачете, мы отлично с вами ладим.

Он вопросительно смотрел на меня; разумеется, его оптимизм не отличался честностью, Льюис недорого ценил мои чувства, однако тревога его была искренней: причиняя мне боль, он сокрушался.

— Я уверена, что мы проведем прекрасное лето, — сказала я.

И лето действительно могло быть прекрасным. Каждое утро мы пересекали в лодке пруд со студенистыми травами и взбирались на песчаные дюны, обжигавшие мне ступни; справа до бесконечности простирался пустынный пляж; слева он пресекался доменными печами, украшенными огненными султанами. Мы плавали, загорали, наблюдая за белыми птицами на длинных лапах, искавшими себе в песке корм, а потом возвращались к дому, нагруженные, словно индейцы, сухой древесиной. Я часами читала на лужайке в окружении серых белок, голубых соек, бабочек и больших коричневых птиц с красной грудкой; издалека до меня доносился стук пишущей машинки Льюиса. По вечерам мы разводили огонь в кирпичной печи, я размораживала кусок льда с расплющенной в нем курицей либо Льюис отрезал пилой застывший бифштекс, а в золе мы

жарили завернутые во влажные листья кукурузные початки. Сидя рядом, мы слушали пластинки либо смотрели на телеэкране какой-нибудь старый фильм или соревнования по боксу. Наше счастье было такой хорошей подделкой, что мне нередко казалось, будто с минуты на минуту оно превратится в настоящее.

Дороти попалась на эту приманку, которая ее приворожила; она часто приезжала по вечерам на красном велосипеде, она наслаждалась запахом гамбургеров, вдыхала дым от горящей виноградной лозы: «Какая чудесная ночь! Вы видите светлячков? Видите звезды? А эти костры на дюнах?» Она жадно описывала мне эту жизнь, которая никогда не станет ее жизнью и не была по-настоящему моей. Дороти не давала мне покоя своими комплиментами, советами и самоотверженностью. Это она меблировала дом, она снабжала нас продовольствием, а кроме того, оказывала множество бесполезных услуг. Она всегда имела в запасе массу чудесных сообщений: то кулинарный рецепт, то новый сорт мыла, то рекламу, расхваливающую новомодную стиральную машину, то критическую статью, возвещавшую о потрясающей книге; она неделями могла мечтать о преимуществах какого-то

усовершенствованного холодильника, способного в течение шести месяцев сохранять тонну сметаны; у нее не было своей крыши над головой, а она подписалась на дорогой архитектурный журнал, где с упоением разглядывала сказочные жилища миллиардеров. Я терпеливо слушала ее бессвязные планы, ее восторженные крики, всю неистовую болтовню женщины, которая ни на что уже не надеется. Льюис нередко раздражался. «Никогда я не смог бы жить с ней!»— говорил он мне. Нет, он не смог бы жениться на Дороти, а я не смогла выйти за него замуж, и он меня больше не любил: этот сад, этот дом обещали счастье, не доступное никому из нас.

Естественно, не кто иной как Дороти вытащила нас в воскресенье на ярмарку в Паркер: она обожала коллективные походы. Берт приехал за нами на машине, а Дороти повезла на своем стареньком автомобиле Вирджинию, Вилли и Эвелину. Льюис не сумел отказаться, но был далеко не в восторге. Что касается меня, то перспектива этого послеполуденного ликования, за которым должен был последовать ужин у Вирджинии, приводила меня в уныние. Слишком долго оставаясь под прицелом чужих взглядов, я все время боялась не выдержать до конца отве-

денную мне роль счастливой женщины.

— Боже мой! Сколько народа! Какая пыль! — сказал Льюис, входя в парк аттракционов.

— Ах! Перестаньте ворчать, — возмутилась Дороти и повернулась ко мне: — Когда он начинает хмуриться, то ему хочется погасить солнце!

Лицо ее светилось немного безумной надеждой, когда она устремилась к тиру с дротиками; от палатки к палатке она, казалось, надеялась на необычайные откровения. Я же старательно улыбалась; призвав на помощь всю свою любознательность, я смотрела на ученых обезьян, на обнаженных танцовщиц, на человека-тюленя, на женщину без рук и без ног; я предпочитала игры, которые требовали напряжения всего тела: со страстью опрокидывала кегли и консервные банки, двигала по движущимся дорожкам карликовые автомобили и направляла самолеты в нарисованное небо. Наблюдавший за мной Льюис лукаво заметил:

— С ума сойти, как серьезно вы ко всему относитесь! Можно подумать, что вы рискуете головой!

Надо ли было усматривать намек в его улыбке? Думал ли он, что и в любовь я привнесла такую же бессмысленную серьезность, такой же ложный пыл? Дороти с живостью возразила:

— Это лучше, чем по всякому поводу без стеснения афишировать свою пресыщенность. — Она властно взяла меня за руку. Когда мы проходили мимо стенда фотографа, Дороти погладила своей шершавой рукой шелк моего платья: — Анна! Сфотографируйтесь с Льюисом! У вас такое красивое платье, и вам так идет эта прическа!

— О да! Нам очень хочется получить вашу фотографию! — добавила Вирджиния.

Я колебалась; Льюис схватил меня за руку.

— Давайте увековечим вас, — весело сказал он. — Раз уж, оказывается, вы так обворожительны.

«Для других, — с грустью подумала я, — и никогда уже для него».

Я села рядом с ним в нарисованный аэроплан, и мне стоило большого труда улыбнуться; он не замечал моих платьев, для него больше не существовало моего тела, разве что лицо. Если бы, по крайней мере, я могла думать, что меня изуродовало какое-то стихийное бедствие! Но я все та же, кого он любил, а теперь больше не любит, порыв Дороти тому свидетельство — вот почему он вывел меня из равновесия: я слабела, стремительно теряла силы. А мне надо было держаться и сохранять улыбку до глубокой ночи.

— Льюис, вы должны составить компанию Эве-

лине, — сказала Дороти, — солнце ее утомляет. Она хочет посидеть в тени; когда она вернется из туалета, предложите ей стаканчик, а мы тем временем пойдем взглянуть на восковые фигуры.

— Ну нет! Только не я! — воскликнул Льюис.

— Но ей нужен мужчина, который позаботился бы о ней. Берта он не знает, а Вилли терпеть не может.

— А я терпеть не могу Эвелину, — сказал Льюис.

— Хорошо, я сама с ней останусь, — сердито заявила Дороти. Я было вызвалась, но она сказала: — Нет, только не вы, Анна. Ступайте, ступайте, вы все мне расскажете.

Когда мы отошли, я спросила Льюиса:

— Почему вы перестали быть любезным с Дороти?

— Но ведь это она пригласила Эвелину; никто не просил приглашать ее. Я не стала спорить и погрузилась в созерцание убийц, которые замерли в

момент убийства вслед за своими жертвами, застывшими в смертельной агонии; сидя на кровати роженицы, маленькая мексиканка пяти лет баюкала новорожденного; Геринг умирал на носилках, а на виселицах раскачивались

повешенные в немецких мундирах. За колючей проволокой громоздились восковые трупы. Я смотрела на них в изумлении. Вот уже и Бухенвальд, и Дахау отступали в глубь истории, подобно скормленным львам христианам из музея Гревена. Когда я, оглушенная солнцем, очутилась на улице, Европа, вся целиком, отодвинулась куда-то на край света. Я смотрела на женщин с обнаженными плечами, на мужчин в разрисованных рубашках, которые хрустели хотдогами или лизали мороженое: никто не говорил на моем языке, да и сама я забыла его; я утратила все свои воспоминания и даже собственный образ: у Льюиса не было зеркала на высоте моих глаз, и я красилась чуть ли не вслепую перед карманным зеркальцем; я едва помнила, кто я есть, и задавалась вопросом: существует ли еще Париж.

До меня донесся сердитый голос Дороти:

— Вы решили вернуться и даже не спросили мнения Анны. Говорят, в семь часов будут показывать старые немые фильмы, и еще рассказывали о каком-то потрясающем фокуснике.

В голосе ее звучала мольба, но лица окружающих не дрогнули.

— Давайте все-таки вернемся! — сказал Вилли. — Нас ждет мартини, и все проголодались.

— Мужчины такие эгоисты! — прошептала Дороти.

Я села между ней и Вилли в ее старый автомобиль; она была до того огорчена, что всю дорогу хранила молчание, я — тоже. Выйдя из машины, она схватила меня за руку и неожиданно спросила:

— Почему вы не останетесь здесь? Вы должны остаться.

— Я не могу.

— Но почему? Это очень жаль!

— Я не могу.

— Но вы, по крайней мере, вернетесь? Приезжайте весной: здесь это самое прекрасное время.

— Я попробую.

«По какому праву она так разговаривает со мной? — с раздражением думала я, входя в дом. — К чему эта праздная доброжелательность, в то время как Льюис ни разу не спросил меня: "Вы вернетесь?"» Я поспешно взяла стакан мартини, который протягивал мне Вилли. Нервы у меня были на пределе. Я с тоской смотрела на стол, заставленный паштетами, салатами, пирогами: на уничтожение всего этого уйдет немало времени! Дороти исчезла, потом вернулась, густо напудренная, в жалком длинном платье в цве-

точек. Смеясь, прибыли, в свою очередь, Берт, Вирджиния, Эвелина и Льюис. Они говорили все вместе, и я не пыталась следить за ходом разговора; я смотрела на Льюиса, снова ставшего очень веселым, и спрашивала себя: «Когда я останусь с ним наедине?» Так я некогда дожидалась ухода Тедди или Марии. Но сегодня мое нетерпение казалось глупым: вдали от других Льюис не станет ближе ко мне. Берт поставил мне на колени тарелку с сандвичами, он улыбался, и я услышала его вопрос:

— Вы были в Париже двадцать второго августа тысяча девятьсот сорок четвертого года?{125}

— Анна всю войну провела в Париже, — не без гордости произнес Льюис.

— Что за день! — сказал Берт. — Мы думали найти город вымершим, а всюду — женщины в цветастых платьях, с красивыми загорелыми ногами, совсем не похожие на француженок, какими их представляют здесь!

— Да, — ответила я, — ваших репортеров разочаровало наше доброе здоровье.

— О! Каких-нибудь глупцов! — сказал Берт. — Легко понять, что больных и стариков на улицах не было, не говоря уже об узниках концлагерей и мертвых. — На его толстом лице появилось

мечтательное выражение: — Все-таки это был необыкновенный день!

— Когда прибыл я, — с сожалением произнес Вилли, — нас уже никто не любил.

— Да, мы поспешили сделать все, чтобы нас возненавидели, — подхватил Берт, — мы вели себя как скоты.

— Такое неизбежно, — заметил Льюис.

— Этому можно было помешать, довольно было бы побольше дисциплины.

— Вы считаете, что мало повесили людей? — с живостью отозвался Льюис. — Людей ввергают в войну, а потом, когда они проявляют насилие, их вешают!

— Повешенных слишком много, согласен, — сказал Берт, — но именно потому, что с самого начала не приняли необходимых мер.

— Каких мер? — спросил Вилли.

— Ах! Если они начнут пережевывать свою войну, конца этому не будет! — вмешалась Дороти.

Лица трех воинов оживились, они все время перебивали друг друга; их симпатия по отношению к Франции не вызывала сомнений, к своей стране они не проявляли никакой снисходительности, а между тем я слушала их в замешательстве: то была их война, о которой они рассказывали друг

другу, война, в которой мы оказались ничтожным предлогом; их щепетильность в отношении нас походила на ту, что мужчина может испытывать перед слабой женщиной или безответным животным; из нашей истории они уже творили восковые легенды. Когда наконец они замолчали, Эвелина обратилась ко мне томным голосом:

— А каков Париж сейчас?

— Забит американцами, — отвечала я.

— Вам это, похоже, не нравится? — сказал Льюис. — Какой неблагодарный народ! Мы пичкали его сухим молоком, собираемся наводнить кока-колой и танками, а он не падает к нашим ногам! — Льюис рассмеялся: — Греция, Китай, Франция — с ума сойти, скольким мы помогаем: нация бойскаутов, да и только.

— Вы находите это смешным? — резким тоном сказала Дороти. — Юмор — это прекрасно! — Она пожала плечами: — Когда мы забросаем атомными бомбами всю землю, Льюис и тогда преподнесет нам несколько милых шуточек, довольно мрачных.

Льюис весело взглянул на меня:

— Ведь это какой-то француз сказал, что лучше над чем-то смеяться, чем плакать?

— Вопрос не в том, плакать или смеяться, — за-

метила Дороти, — а в том, чтобы действовать.

Лицо Льюиса изменилось:

— Я голосую за Уоллеса{126}, агитирую за него, что я еще должен, по-вашему, сделать?

— Вам известно, что я думаю об Уоллесе, — сказала Дороти, — никогда этот человек не создаст настоящую левую партию; он служит всего лишь оправданием людям, которые по дешевке хотят купить себе спокойную совесть...

— Боже мой! Дороти, — возразил Вилли, — ведь не Льюис же может создать настоящую левую партию, ни он и никто из нас...

— А между тем, — сказала я, — таких, кто думает, как вы, много: у вас нет возможности объединиться?

— Прежде всего, нас становится все меньше и меньше, — ответил Льюис, — и потом, мы оторваны друг от друга.

— А главное, вы находите гораздо более удобным посмеиваться, чем пытаться что-то сделать, — заметила Дороти.

Меня тоже благодушная ирония Льюиса иногда раздражала; он был проницателен, критичен, нередко даже возмущался; однако с ошибками и пороками, за которые он упрекал Америку, у него установились такие же близкие отношения, как

у больного со своей болезнью, как у бродяги со своей грязью: этого было довольно, чтобы мне он показался в какой-то мере соучастником. Я вдруг подумала: он ставил мне в вину то, что я не предпочла его страну, но никогда он не обосновался бы в моей, это ли не высокомерие? «Ни за что на свете я не стала бы американкой!» — возмутилась я мысленно. И пока они продолжали ругаться, я с усмешкой спросила себя, откуда вдруг взялась во мне эта разгневанная Колетта Бодош?{127}

Автомобиль Берта отвез нас домой, и Льюис нежно обнял меня:

— Вы провели хороший день?

Его ласковая улыбка диктовала мне ответ, а мои душевные переживания никого не интересовали.

— Прекрасный, — сказала я и добавила: — Как агрессивно вела себя Дороти!

— Она несчастлива, — ответил Льюис и, подумав, продолжал: — Вирджиния тоже, и Вилли, и Эвелина. Нам с вами повезло, мы чувствуем себя в общем-то неплохо.

— Не могу сказать этого о себе.

— У вас бывают скверные минуты, как у всех, но ведь не всегда.

Он говорил с такой уверенностью, я просто не

нашлась что ответить. А он продолжал:

— Они все так или иначе рабы: своего мужа, своей жены, своих детей, и в этом их несчастье.

— В прошлом году вы говорили мне, что хотели бы жениться, — сказала я.

— Иногда я об этом думаю. — Льюис рассмеялся: — Но стоит мне оказаться запертым в доме с женой и детьми, как у меня появится только одна мысль: бежать.

Его веселый голос придал мне смелости:

— Льюис, вы думаете, мы когда-нибудь увидимся? Внезапно лицо его помрачнело.

— А почему нет? — легкомысленным тоном ответил он.

— Потому что мы живем очень далеко друг от друга.

— Да. Мы живем далеко.

Он исчез в туалетной комнате; и так всегда: как только я приближалась к нему, он ускользал; наверняка он боялся, как бы я не потребовала у него теплоты, или обмана, или обещаний, которых он не мог мне дать. Я начала раздеваться. Конечно, я предвидела, что это пребывание наедине окажется невеселым, и все-таки опечалилась. Счастье еще, что моя плоть настолько сочеталась с плотью Льюиса, что без труда свыклась с его

равнодушием; мы спали каждый в своей кровати, разделенные ледяной пропастью, и я даже перестала понимать смысл слова «желание».

Мне хотелось бы, чтобы и мое сердце стало таким же покладистым. Льюис утверждал: чтобы любить, надо потерять голову. А если, предположим, у меня наступит отрезвление? Льюис спал, я слушала его ровное дыхание и впервые пыталась увидеть его не своими, чужими глазами: недоброжелательными глазами Дороти. Он эгоист, это правда. Он решил извлечь из нашей истории как можно больше удовольствия и как можно меньше неприятностей, а что чувствовала я, ему было безразлично. Он позволил мне приехать в Чикаго, ни о чем не предупредив, потому что ему приятно было меня видеть; как только я оказалась в его власти, он без обиняков заявил мне, что разлюбил меня; мало того, он еще требовал, чтобы я выглядела довольной: он и правда заботился только о себе. К тому же почему он так упорно защищался от сожалений, от волнений, от страданий? Наверняка в его осторожности есть доля черствости. На следующее утро я попыталась утвердиться в своей суровости. Глядя на Льюиса, с серьезным видом поливавшего лужайку сада, я сказала себе: «Это человек такой

же, как все. Зачем я упорствую, считая его единственным?» Послышался шум почтовой машины. Почтальон сорвал маленький красный флажок, водруженный на почтовый ящик, и бросил его внутрь вместе с корреспонденцией. Я поднялась по усыпанной гравием аллее. Никаких писем, но куча газет. Почитаю газеты, потом выберу в библиотеке какую-нибудь книгу, пойду плавать, после обеда буду слушать пластинки: я могла делать множество приятных вещей, не терзая себе больше ни голову, ни сердце.

— Анна! — крикнул Льюис. — Идите посмотрите: я поймал радугу. — Он поливал лужайку, и радуга плясала в струе воды. — Идите скорее!

Я узнала этот настойчивый, заговорщицкий голос, это радостное лицо: лицо, не похожее ни на какое другое. Это был Льюис, это был он. Льюис перестал любить меня, но остался самим собой. Почему же вдруг я подумала о нем плохо? Нет, так просто мне не выкрутиться. По правде говоря, я его понимала. Я тоже терпеть не могу несчастья и испытываю отвращение к жертвам: я понимала, почему он отказывался страдать из-за меня и в то же время не хотел терять меня; я понимала, что он слишком занят, пытаясь разобраться со своим собственным сердцем, чтобы сильно тревожить-

ся о том, что творится в моем. И потом, я помнила его интонацию, когда он сказал, сжав рукой мое плечо: «Я готов сейчас же жениться на вас». И тут же отказалась от всякой обиды, раз и навсегда. Если любить действительно больше не хотят, то и не любят: сердцу не прикажешь.

Так что я продолжала любить Льюиса: это было нелегко. Достаточно было изменения интонации его голоса, чтобы я тут же вновь обретала его целиком; а минуту спустя я снова его теряла. Когда в конце недели он поехал на день в Чикаго, я, пожалуй, почувствовала облегчение: двадцать четыре часа одиночества — хоть какая-то передышка. Я проводила Льюиса до автобусной остановки и медленно пошла назад к дому вдоль дороги, окаймленной садами и загородными виллами. Я села на лужайке с книгами. Было очень жарко, ни один листок не шелохнулся; озеро вдали безмолвствовало. Я достала из сумки последнее письмо Робера; он подробно рассказывал мне о мадагаскарском процессе{128}. Анри написал статью, которая появится в ближайшем номере «Вижиланс», но этого, конечно, недостаточно; чтобы повлиять на общественное мнение, надо было располагать газетой или еженедельником с большим тиражом; они собирались организо-

вать митинг, но времени не хватало. Я сложила письмо и стала следить глазами за пролетавшим в небе самолетом: они летали все время; самолет мог бы унести меня в Париж. Но зачем? Если бы я находилась подле Робера, он говорил бы со мной, вместо того чтобы писать, но что бы это изменило? Я ничем не в силах ему помочь, да он и не призывал меня, так что не было никаких причин уезжать отсюда. Я огляделась вокруг: трава аккуратно скошена, небо гладкое, белки и птицы походили на домашних животных; оставаться у меня тоже не было никаких причин. Я взялась за книгу: «Литература в Новой Англии»; год назад меня это страшно заинтересовало бы; но теперь страна Льюиса, его прошлое меня уже не касались; все эти книги, лежавшие на лужайке, были немыми. Я потянулась: чем заняться? Мне абсолютно нечего было делать. В течение какого-то времени, показавшегося мне очень долгим, я сидела там, застыв неподвижно, и вдруг меня охватила паника. Быть парализованной, слепой, глухой, но с ясным сознанием — я часто говорила себе, что нет худшей участи: и вот теперь это моя участь. В конце концов я встала и пошла в дом. Я приняла ванну, вымыла голову, но я никогда не умела долго заниматься своим телом. Я от-

крыла холодильник: графин с томатным соком, еще один, полный апельсинового сока, готовые салаты, холодное мясо всех видов, молоко — мне стоило лишь руку протянуть; и шкафы ломились от консервов, волшебных порошков, риса-минутки, который достаточно было обдать кипятком: за четверть часа я поужинала. Наверняка существует искусство убивать время, но оно мне незнакомо. Чем заняться? Я послушала несколько пластинок, потом включила телевизор и стала развлекаться тем, что перескакивала с одной программы на другую, смешивая фильмы, комедии, приключения, информационные выпуски, полицейские драмы, фантастические истории. Но в какой-то момент что-то произошло там, в мире; сколько я ни крутила ручку, экран оставался пустым. Я решила лечь спать. Но впервые в жизни я боялась бродяг, воров, сбежавших сумасшедших, я боялась заснуть и боялась бессонницы. Теперь озеро рокотало, сухие ветки хрустели под лапами зверей; тишина в доме подавляла. Я забаррикадировала все двери и, взяв в своей комнате одеяло с подушкой, легла, не раздеваясь, на диван и оставила включенным свет. Я заснула; и тогда через запертые окна вошли люди и убили меня. Когда я проснулась, насвистывала какая-то птич-

ка, другая стучала клювом по дереву. И все-таки реальности я предпочитала свои кошмары, я снова закрыла глаза, но сомкнутые веки не смогли погасить ясный день. Я встала. Как пустынно в доме! Как будущее пусто! Раньше я с волнением смотрела бы на белый халат, брошенный на кресло, и старые домашние туфли, забытые под письменным столом, но теперь я уже не знала, что означают эти предметы. Они принадлежали Льюису, да, Льюис все еще существовал, но мужчина, который любил меня, бесследно исчез. Это был Льюис, но не тот. Я находилась в его доме, но у чужого человека.

Я вышла, поднялась по усыпанной гравием аллее: флажок с почтового ящика исчез, приходил почтальон. Я взяла корреспонденцию. Одно письмо было для меня: Мэрием путешествовала по Мексике с Филиппом, по возвращении они собирались остановиться в Чикаго и очень надеялись встретиться со мной. Я не видела их с 1946 года, но Нэнси приезжала в Париж в мае, и я дала ей мой адрес в Америке; в том, что Мэрием написала мне, не было ничего удивительного, а между тем я смотрела на письмо с изумлением. Оно напоминало мне время, когда Льюиса для меня не существовало: каким образом его отсутствие

превратилось в мучительную пустоту? Пустоту, которая поглощала все. Сад казался безжизненным, мои воспоминания — тоже; невозможно ни на секунду проявить интерес ни к Мэрием, ни к Филиппу, вообще ни к чему. Значение имел лишь один человек, которого я дожидалась, не зная даже, кто он такой. Я не знала, кто такая я сама. Я кружила по саду, ходила взад-вперед по дому, звала: «Льюис! Возвращайтесь! Помогите мне!» Я выпила виски и таблетку бензедрина — напрасно. Все та же невыносимая пустота. Я села у широкого окна и стала ждать.

«Льюис!» Было около двух часов, когда я услышала его шаги по гравию; я бросилась к нему; он был нагружен пакетами: книги, пластинки, китайский чай, бутылка кьянти; можно было подумать — подарки, то был праздник, праздничный день. Я взяла у него из рук бутылку.

— Кьянти — какая прекрасная идея! Вы хорошо повеселились? Выиграли в покер? Что вы будете есть: бифштекс? Курицу?

— Я пообедал, — ответил Льюис. Положив пакеты, он снимал ботинки, надевал домашние туфли.

— Без вас я всю ночь дрожала от страха: мне снилось, что меня убивают бродяги.

— Полагаю, вы выпили слишком много виски.

Он сел в кресло у окна, а я расположилась на диване:

— Вы все мне расскажете.

— Не случилось ничего особенного.

Я встретила его с обычной неуклюжестью нелюбимых женщин: слишком много пыла, много вопросов, много рвения. Он рассказывал, но сквозь зубы. Да, он играл в покер, ни проиграл, ни выиграл. Тедди в тюрьме все по тем же причинам. Нет, он не видел Марту. Видел Берта, но ни о чем особом они не говорили. Льюис раздражался, как только я требовала каких-нибудь подробностей. В конце концов он взял газету, а я открыла книгу, делая вид, будто читаю; я не обедала, но есть не могла.

«Ну чего я, собственно, ждала?» — спрашивала я себя. Я отказалась от надежды обрести когда-нибудь прошлое, так на что я рассчитывала? На дружбу, способную заменить утраченную любовь? Но какая же это любовь, если что-то может занять ее место? Нет, все было так же бесповоротно, как смерть. И снова я думала: «Если бы, по крайней мере, на руках у меня оставался труп!» Мне хотелось подойти к Льюису, положить руку ему на плечо и спросить: «Как такая любовь

могла улетучиться? Объясните мне». Но он бы ответил: «Тут нечего объяснять».

— Вам не хочется прогуляться на пляж? — спросила я.

— Нет, совсем не хочется, — ответил он, не поднимая глаз.

Прошло всего два часа; мне предстояло прожить еще весь конец дня, потом вечер, ночь и снова день, и все оставшиеся дни. Как убить их? Если бы только поблизости было кино либо настоящая сельская местность с лесами, лугами, где я могла бы ходить до изнеможения! Но прямые дороги, окаймленные садами, — да это похоже на тюремный двор. Я наполнила стакан. Солнце сияло, а между тем свет был не настолько ярок, чтобы вещи хранили дистанцию, они подавляли меня; буквы книги липли к глазам, ослепляя меня: какое уж тут чтение. Я пыталась думать о Париже, о Робере, о прошлом, о будущем — невозможно; я была замкнута в этом мгновении, как в железном ошейнике, да еще накрепко связана. Я задыхалась от давившей на меня тяжести, мое дыхание отравляло воздух: как я хотела бы убежать от себя, но как раз это-то и заказано мне навсегда. «Я готова никогда не заниматься любовью, — думала я, — одеваться,

как старая дама, иметь седые волосы, но навеки быть прикованной к себе — какая пытка!» Моя рука потянулась к бутылке, опустилась; я была слишком натренирована: спиртное разрушало мой желудок, не оглушая и не согревая меня. Что произойдет? Что-то должно было произойти: эта застывшая мука не могла длиться вечно. Льюис по-прежнему читал, и меня вдруг осенило: «Это совсем не он!» Человек, который любил меня, исчез, и Льюис тоже. Как я могла ошибиться! Льюис! Я прекрасно его помнила! Он говорил: «У вас красивая головка, такая круглая... Знаете, как я вас люблю?» Он дарил мне цветок и спрашивал: «Разве во Франции едят цветы?» Что с ним сталось? И кто обрек меня на это мрачное пребывание с глазу на глаз с самозванцем? Внезапно до меня донеслось эхо ненавистного воспоминания: он зевал.

— Ах, да не зевайте вы! — воскликнула я, разражаясь слезами.

— Ах, да не плачьте вы! — сказал он.

Я рухнула во весь свой рост на диван. Падала я вертикально, оранжевые пластинки кружились у меня перед глазами, и я тонула во мраке.

— Когда вы начинаете плакать, мне хочется уйти и никогда не возвращаться, — сердито ска-

зал Льюис.

Я слышала, как он уходит из комнаты; я выводила его из себя, я окончательно его теряла, мне следовало остановиться; с минуту я боролась, потом дала волю слезам. Где-то очень далеко раздавались шаги; Льюис ходил по подвалу, полив сад, он вернулся в дом. Я продолжала плакать.

— Вы все еще не кончили?

Я не ответила. Я была обессилена, но продолжала плакать. С ума сойти, сколько слез может скопиться в глазах женщины. Льюис сел за письменный стол, застучала пишущая машинка. «Собаке не дали бы мучиться, — думала я. — А я плачу из-за него, но он и пальцем не шевельнет». Я стиснула зубы. Я обещала себе, что никогда не возненавижу этого человека, без остатка отдавшего мне свое сердце. «Но это уже не он!» — повторяла я себе. У меня стучали зубы, того и гляди, я могла выйти из себя. Сердце у меня разрывалось, но, сделав усилие, я открыла глаза и уставилась в стену.

— Что вы хотите, чтобы я сделала? — воскликнула я. — Я заперта здесь, заперта с вами. Не могу же я пойти и лечь в канаву.

— Боже мой! — произнес он более дружеским тоном. — На какие страдания вы себя обрекаете.

— Это все вы, — сказала я. — Вы даже не пытаетесь мне помочь.

— Что можно сделать с женщиной, которая плачет?

— Любой другой вы бы помогли.

— Я терпеть не могу, когда вы теряете голову.

— Думаете, я делаю это нарочно? Думаете, это легко — жить с человеком, которого любишь и который тебя не любит?

Он остался сидеть в кресле и не собирался больше бежать, но я знала, что он не выдавит из себя ни слова, чтобы положить конец этой сцене, хотя мы оба так в этом нуждались; конец надлежало придумывать мне. Я бросала слова наугад:

— Я здесь только из-за вас, у меня кроме вас — никого! Если я вам в тягость, что со мной будет?

— Рыдать только потому, что мне не хочется разговаривать, когда вы того желаете, — это глупо, — сказал он. — Неужели надо выполнять все ваши желания?

— Ах, вы слишком несправедливы! — отвечала я, вытирая глаза. — Это вы пригласили меня провести лето с вами, вы говорили, что рады тому, что я здесь. Значит, вы не должны быть таким враждебным.

— Я вовсе не враждебен. Когда вы начинаете

плакать, мне хочется уйти, вот и все.

— Не так часто я плачу, — возразила я, теребя свой носовой платок. — Вы не отдаете себе отчета. Иногда кажется, будто я ваш враг, будто вы опасаетесь меня, мне это неприятно.

Льюис усмехнулся:

— Я действительно немного опасаюсь.

— Вы не имеете права! — сказала я. — Я прекрасно знаю, что вы меня не любите; никогда больше я не попрошу вас ни о чем, похожем на любовь; я стараюсь изо всех сил сохранить между нами хорошие отношения.

— Да, вы очень доброжелательны, — сказал Льюис. — Но как раз поэтому я и опасаюсь вас. — Он разгорячился: — Ваша доброжелательность — это и есть самая опасная ловушка! Именно таким образом вы провели меня в прошлом году. Защищаться от кого-то, кто на вас не нападает, кажется нелепым, ты и не защищаешься, а когда опять остаешься один, сердце снова в полном смятении. Нет. Я не хочу, чтобы это повторялось.

Я встала, сделала несколько шагов, пытаясь успокоиться. Ставить мне в упрек мою доброжелательность — это все-таки чересчур!

— Я не могу нарочно быть неприятной! — сказала я и добавила: — Вы действительно ставите

меня в затруднительное положение. Если так, то я вижу лишь один выход: мне надо уехать.

— Но я не хочу, чтобы вы уезжали! — возразил Льюис. Он пожал плечами: — Мое положение тоже далеко не простое.

— Знаю, — сказала я.

Я решительно не могла сердиться на него. Он хотел оставить меня подле себя навсегда, а я отказалась, и если сегодня его настроения были переменчивы, а желания противоречивы, мне не следовало этому удивляться; люди неизбежно вступают с собой в противоречия, когда вынуждены хотеть не того, чего хотят.

— У меня нет желания уезжать, — сказала я. — Только не надо меня ненавидеть.

— До этого мы не дошли! — улыбнулся Льюис.

— Только что вы готовы были оставить меня умирать на месте, и пальцем не пошевелив.

— Верно, — согласился он. — Я и пальцем не смог бы пошевельнуть. Но это не моя вина: я был парализован.

Я подошла к нему. Раз уж мы начали разговор, мне хотелось воспользоваться этой возможностью.

— Напрасно вы меня опасаетесь, — сказала я. — Есть одна вещь, которую вы должны знать:

я на вас не сержусь и никогда не сердилась за то, что вы меня разлюбили. Нет причин, чтобы вы с неприязнью относились к тому, что я о вас думаю, в душе моей нет ничего такого, что могло бы быть вам неприятно.

Я умолкла; он смотрел на меня с некоторой тревогой; его пугали слова, меня тоже. Я видела слишком много женщин, которые при помощи слов пытались усмирить страдания своей плоти; я знаю слишком много таких, кому, к сожалению, удалось снова завлечь в постель одурманенного фразами мужчину; какой ужас — женщина, которая из сил выбивается, чтобы, обращаясь к разуму мужчины, заставить его коснуться ее тела. Поэтому я только добавила:

— Мы друзья, Льюис.

— Разумеется! — Он обнял меня, прошептав: — Сожалею, что был так жесток.

— Сожалею, что была такой глупой.

— Да! До чего глупой! Однако мысль была неплоха: почему бы вам действительно не пойти и не лечь в канаву?

— Потому что вы не пошли бы туда за мной. Он засмеялся:

— Послезавтра я сообщил бы в полицию.

— Вы всегда в выигрыше, — сказала я. — Это

несправедливо: никогда я не могла бы заставить себя страдать два дня или попытаться заставить вас страдать хотя бы час.

— Да, правда. Не так много злости в этом бедном сердце. И не слишком много благоразумия в этой голове.

— Потому-то и надо быть добрым ко мне.

— Я постараюсь, — сказал он, весело прижимая меня к себе.

С этого момента мы стали ближе друг другу. Когда мы гуляли по пляжу, когда лежали на солнце или слушали по вечерам пластинки, Льюис доверчиво разговаривал со мной. Наше взаимопонимание возрождалось; он больше не боялся обнять или поцеловать меня. Два или три раза мы даже занимались любовью. Когда мои губы почувствовали прикосновение его губ, сердце мое отчаянно забилось: поцелуи желания так похожи на поцелуи любви! Но мое тело быстро спохватилось. Речь шла всего лишь о кратком супружеском совокуплении, событии столь незначительном, что трудно понять, как великие идеи сладострастия и греховности могли когда-либо ассоциироваться с ним.

Дни проходили без особых огорчений, но ночи были слишком тягостны. Дороти преподнесла

мне целый запас маленьких желтых капсул: у нее была коллекция пилюль, порошков, таблеток, капсул на все случаи; ложась в кровать, я все время принимала два-три снотворных, я спала, но видела скверные сны. И вскоре к моим страданиям прибавилась еще одна беда: вот уже через месяц, через две недели, через десять дней я должна уехать. Вернусь ли я когда-нибудь? Увижу ли когда-нибудь Льюиса? Ответа и сам он, безусловно, не знал: он не мог предугадать своих сердечных порывов.

Последнюю неделю мы решили провести в Чикаго. Однажды вечером Мэрием позвонила из Денвера, чтобы спросить, не сможем ли мы увидеться. Я согласилась, и мы с Льюисом договорились, что я приеду в Чикаго на день раньше него, мы встретимся с ним на следующий день дома около полуночи. В ту минуту все казалось очень простым. Но утром в день отъезда я почувствовала, как сжалось у меня сердце. Мы гуляли вдоль пляжа; зеленая вода озера выглядела такой твердой, что, казалось, можно было бы шагать по волнам. Мертвые бабочки валялись на песке; все коттеджи были закрыты, только рыбаки возле своего жилища сушили рядом с черной лодкой сети. Я думала: «Последний раз я вижу озеро.

Последний раз в моей жизни». Я смотрела во все глаза; я не хотела забывать. Но чтобы прошлое оставалось живым, его надо подпитывать сожалением и слезами. Как сохранить мои воспоминания и защитить сердце?

— Я позвоню своим друзьям, что не приеду, — заявила вдруг я.

— Почему? — удивился Льюис. — Что за идея!

— Я предпочитаю еще на день остаться здесь.

— Но вы были так рады встретиться с ними, — с упреком сказал Льюис, как будто ничто в мире не было ему более чуждым, чем внезапная перемена настроения.

— Мне больше не хочется, — ответила я. Он пожал плечами:

— Я нахожу это нелепым.

Я не стала звонить. В самом деле, нелепо оставаться, если Льюис находил это нелепым. Видеть меня днем больше или меньше — для него это почти не имело значения, а что мне в таком случае даст еще один день пребывания на этом пляже? Я простилась со всеми. «Вы вернетесь?» — спросила Дороти, и я ответила: «Да». Я собрала свои чемоданы и оставила их Льюису, взяв с собой лишь небольшую сумочку. Закрыв за нами дверь дома, он спросил меня: «Вы не хотите проститься

с прудом?» Я покачала головой и направилась к автобусной остановке. Если бы он любил меня, ничего драматичного в том, чтобы расстаться с ним на сутки, не было бы; но внутри у меня было слишком холодно, и только его присутствие согревало меня. В этом доме я свила себе неуютное гнездо, и все-таки это было гнездо, я к нему приспособилась. Я боялась отважиться на полет в открытом пространстве.

Остановился автобус. Льюис запечатлел на моей щеке привычный поцелуй: «Повеселитесь хорошенько», хлопнула дверца, он исчез. Скоро хлопнет другая дверца, и он исчезнет навсегда: как я вынесу такую уверенность вдали от него? Смеркалось, когда я села в поезд; оттенки чайной розы разливались по небу: теперь я понимала, что можно потерять сознание, вдыхая аромат розы. Мы пересекли прерию. И вот уже поезд шел по Чикаго. Я узнавала фасады из черного кирпича с деревянными лестницами и балконами: то был размноженный в тысячах экземплярах дом моей любви, который уже не был моим домом.

Я вышла на центральной станции. Загорались окна многоэтажных домов, начинали сиять неоновые рекламы. Фары, нарядные витрины, страшный шум оглушали меня. Я остановилась

на берегу реки. Мосты ее были подняты, грузовое судно с черными трубами торжественно рассекало надвое послушный город. Вдоль темных вод я медленно спустилась к озеру, где мерцали плененные огоньки. Эти прозрачные камни, раскрашенное небо, воды, откуда поднимался свет, и гул затонувшего города, все это не было сном, приснившимся кому-то другому, нет, это был реальный земной город с его человечностью и многолюдьем, по которому я шла собственной персоной. Как он был прекрасен в своей серебряной парче! Я смотрела на него во все глаза, и что-то робко пело в моем сердце. Принято думать, будто любовь придает миру весь его блеск, но и мир наполняет любовь своими богатствами. Любовь умерла, а земля все еще тут, нетронутая, со своим сокровенным пением, своими ароматами, своею нежностью. Я ощущала волнение, подобно выздоравливающему, который обнаруживает, что за время его болезни солнце не погасло.

Ни Мэрием, ни Филипп не знали Чикаго, но они ухитрились назначить мне встречу в самом изысканном ресторане города. Проходя по роскошному холлу, я остановилась перед зеркалом; впервые за много недель я видела себя во весь рост; я была причесана и подкрашена

по-городскому, я извлекла блузку из индейской ткани, ее краски были столь же восхитительны, как в Чичикастенанго, я не постарела, меня не изуродовали, мне было не противно обрести свой образ. Я села в баре и за стаканом мартини с удивлением обнаружила, что существуют спокойные ожидания и что одиночество может быть не тягостным.

— Дорогая Анна! — Меня обнимала Мэрием. Со своими серебристо-черными волосами она казалась моложе и решительнее, чем когда-либо. Рукопожатие Филиппа исполнено было невыразимых намеков. Он чуть-чуть пополнел, однако сохранил свое юношеское обаяние и неброскую элегантность. Мы бессвязно говорили о Франции, о замужестве Нэнси, о Мексике и потребовали стол в большом зале с сияющим хрусталем потолком, где правил заносчивый метрдотель. То было — Бог знает по чьей прихоти — точное воспроизведение зала в Бате под названием «Памп-рум», куда утонченные англичане восемнадцатого столетия приезжали на воды. Черные слуги, одетые индийскими магараджами, размахивали насаженными на копья дымящимися кусками баранины; другие же, наряженные лакеями восемнадцатого столетия, демонстрировали

огромных рыб.

— Что за маскарад! — молвила я.

— Мне нравятся смешные места, — сказал Филипп со свойственной ему деликатной улыбкой. Ему наконец предоставили заказанный им столик, и он с большим тщанием составил наши меню. Когда мы разговорились, я с удивлением обнаружила, что мы расходимся почти во всем. Они читали книгу Льюиса и находили ее недостаточно герметической; бой быков в Мехико вызвал у них отвращение, зато индейские деревни Гондураса и Гватемалы показались им поэтическим раем.

— Поэтическим для туриста! — возразила я. — Но разве вы не видели всех этих слепых ребятишек и женщин с их вздувшимися животами? Странный рай!

— Не следует судить об индейцах согласно нашим нормам, — заметил Филипп.

— Если подыхают с голода, то подыхают с голода, это для всех одинаково. Филипп поднял брови.

— Забавно, — сказал он. — Европа обвиняет Америку в том, что она материалистична; но вы придаете гораздо большее значение, чем мы, материальным аспектам жизни.

— Вероятно, надо испробовать американский комфорт, чтобы понять, как мало значит этот комфорт, — сказала Мэрием.

Она безучастно уничтожала свою порцию утки с вишнями, ее ярко-синее платье открывало красивые полные плечи: уж она-то наверняка способна была спать в каком-нибудь трейлере и соблюдать некоторое время тщательно выверенный вегетарианский режим.

— Речь не о комфорте, — возразила я с немного излишней горячностью, — быть лишенным самого необходимого — вот что важно, все остальное не в счет.

Филипп улыбнулся мне:

— То, что необходимо для одних, не нужно другим. Вам лучше меня известно, насколько субъективна такая вещь, как счастье. — Не дав мне возможности ответить, он продолжал: — Мы склоняемся к тому, чтобы провести год или два в Гондурасе и спокойно там поработать. Я уверен, что эти древние цивилизации многому могут научить нас.

— По правде говоря, я не вижу — чему. Учитывая то, что вы осуждаете все происходящее сейчас в Америке, не лучше ли было бы предпринять что-нибудь против этого здесь?

— И вы тоже поддаетесь этому психозу! — сказал Филипп. — Действовать — это сущее наваждение для всех французских писателей. Ведь они отлично знают, что решительно ничего не могут изменить, так что обнаруживаются любопытные комплексы.

— Все американские интеллектуалы ссылаются на бессилие, — возразила я, — вот где, мне кажется, кроется любопытный комплекс. У вас не будет права возмущаться, если Америка полностью фашизируется или развяжет войну.

Мэрием уронила на тарелку рисовый крокет, державшийся на кончике вилки.

— Анна, вы рассуждаете как коммунистка, — сухо заметила она.

— Америка не хочет войны, Анна, — сказал Филипп, устремив на меня полный упрека взгляд. — Растолкуйте это хорошенько вашим французским друзьям. И если мы активно готовим ее, то именно для того, чтобы не пришлось ее вести. И мы никогда не станем фашистами.

— Совсем не то вы говорили мне два года назад, — ответила я. — Вы полагали, что над американской демократией нависла нешуточная угроза.

Лицо Филиппа стало очень серьезным:

— С тех пор я понял, что нельзя защитить демо-

кратию демократическими методами. Фанатизм СССР вынуждает нас на соответствующее ужесточение; это приводит к крайностям, о которых я первый сожалею, но они не означают, что мы выбрали фашизм. Они лишь выражают общую драму современного мира.

Я с удивлением смотрела на него; два года назад мы понимали друг друга, тогда он твердо отстаивал независимость своей мысли, а теперь с такой легкостью поддался официальной пропаганде! Льюис, безусловно, был прав, когда говорил мне: «Нас становится все меньше и меньше...»

— Другими словами, — сказала я, — нынешняя политика Госдепартамента обусловлена ситуацией?

— Даже если можно было бы придумать другую, дорогая Анна, — мягко ответил он, — не в моих силах навязать ее. Нет, если хочешь отказаться от всякого пособничества этой удручающей эпохе, единственно возможное решение — удалиться в какой-нибудь затерянный угол и жить там вдали от мира.

Они хотели по-прежнему без забот вести свою удобную жизнь эстетов, никакой довод не затронет их благопристойный эгоизм. Я решила отступиться.

— Думается, мы могли бы проспорить всю ночь, не убедив друг друга, — сказала я. — Споры, которые ни к чему не приводят, — это пустая трата времени.

— Особенно в тот момент, когда мы так счастливы снова увидеть вас после того, как столь долго были лишены вашего общества! — с улыбкой сказал Филипп. И стал рассказывать о новом американском поэте.

Когда мы вышли из ресторана, Филипп сказал:

— Анна, эту ночь мы препоручаем вам. Я уверен, что вы восхитительный гид.

Мы сели в машину, и я привезла их на берег озера. «Это самая красивая из sky-lines {Панорама города (англ.)} [empty link] Америки, лучше нью-йоркской», — одобрил Филипп. Зато бурлески оказались хуже бостонских, а бары бродяг менее живописны, чем в Сан-Франциско. Такие сопоставления меня удивляли: с чем можно было сравнить эти места, которые однажды ночью Льюис извлек из небытия? Неужели они занимали собственное место в географии? Однако с помощью своих воспоминаний я легко отыскала пути, которые вели туда. Клуб «Делиса» принадлежал мертвому прошлому, ему не было места на земле, и вдруг он появился на углу улицы,

пересекавшейся с другой, обе имели название и были обозначены на карте.

— Обстановка превосходная, — с довольным видом сказал Филипп. И, глядя на жонглеров, танцовщиков, акробатов, я с тревогой спрашивала себя, что произошло бы, если бы два года назад Филипп ответил по телефону: «Я еду». Безусловно, нас ожидало бы несколько прекрасных ночей, но надолго я его не полюбила бы и никогда не любила бы по-настоящему. Мне казалось очень странным, что случай так безошибочно решил все за меня. Наверняка не было случайностью то, что Филипп предпочел мне уик-энд на Кейп-Код, что из почтения к своей матери он не пришел в мою комнату; более страстный, более великодушный, он и думал бы, и чувствовал, и жил бы иначе: он был бы другим человеком. Тем не менее чуть-чуть иные обстоятельства могли бы бросить меня в его объятия, лишить меня Льюиса; эта мысль вызывала негодование. Наша любовь стоила мне много слез; и все-таки ни за что на свете я не согласилась бы исторгнуть ее из моего прошлого. Неожиданно мне послужила утешением мысль, что даже конченная, обреченная, она всегда будет жить во мне.

Когда мы вышли из клуба, Филипп опять повез

нас к озеру; огромные билдинги растворились в рассветном тумане. Он остановил машину рядом с планетарием, мы спустились по уступам высокого мыса, чтобы вблизи услышать плеск голубеющих вод: какими обновленными они выглядели под сероватым отблеском небес! «И у меня, — с надеждой сказала я себе, — у меня жизнь начнется снова, это тоже будет моя жизнь, моя собственная жизнь». На следующий день после обеда я показывала Мэрием и Филиппу парки, авеню, рынки, принадлежавшие, со всей очевидностью, земному городу, где я могла ориентироваться без чьей-либо помощи. И если мне был возвращен мир, значит, и будущее в какой-то мере было возможно.

А между тем, когда в сумерках красный автомобиль направился к Нью-Йорку, я не решилась пойти в дом: меня страшили покинутая комната и скорбь моего сердца. Я посидела в кино, потом прошлась по улицам. Ни разу еще ночью я не разгуливала по Чикаго одна; в отблесках огней город утратил свой враждебный вид, но я не знала, как с ним быть. Я бродила в растерянности по празднеству, на которое не была приглашена, и глаза мои наполнились слезами. Я сжала губы. «Нет, не хочу плакать. На самом деле я не плачу,

— говорила я себе. — Это ночные огни дрожат во мне, и их мерцание, сгущаясь, превращается в соленые капли на моих ресницах. Потому что я здесь, потому что не вернусь сюда, потому что мир чересчур богат, чересчур беден, прошлое слишком тяжело, слишком легковесно; потому что я не могу превратить в счастье эту прекраснейшую минуту, потому что моя любовь умерла, а я пережила ее».

Я взяла такси и очутилась на углу аллеи, заставленной мусорными ящиками; в темноте я наткнулась на первую ступеньку лестницы; вокруг газового резервуара сиял красный венец, вдалеке просвистел поезд. Я открыла дверь; в комнате горел свет, но Льюис спал; я разделась, выключила свет, проскользнула в кровать, где мне недавно пришлось так плакать. Откуда я взяла столько слез? Зачем? Внезапно не осталось ничего, что заслуживало бы рыданий. Я прижалась к стене; меня так давно не согревало тепло Льюиса, что, казалось, какой-то незнакомец уступил мне из жалости часть своего убогого ложа. Он пошевелился, вытянул руку:

— Вы вернулись? Который час?

— Полночь. Мне не хотелось приходить раньше вас.

— О! Я был здесь уже в десять часов. — Он совсем проснулся. — Какой печальный дом, правда?

— Да. Похоронный зал.

— Заброшенный похоронный зал, — добавил он. — Здесь полно призраков: несчастная проститутка, сумасшедшая, карманный вор, все те люди, которых я больше не увижу. Туда они не придут: мне нравится дом в Паркере, но он очень благоразумен. Здесь же...

— Здесь существовала магия, — сказала я

— Магия? Не знаю. Но, по крайней мере, приходили люди, что-то случалось. Лежа в темноте на спине, он вспоминал вслух дни и ночи, проведенные в

этой комнате, и сердце мое сжалось. Его жизнь казалась мне поэтичной, как Филиппу жизнь индейцев, но для него — какое суровое испытание! Сколько недель, сколько месяцев без единой встречи, без единого приключения, без чьего-либо присутствия! На какой-то миг он понадеялся было избежать одиночества и осмелился пожелать чего-то другого, кроме безопасности, но был разочарован, страдал, потом опомнился. Я провела рукой по лицу: отныне глаза мои останутся сухими; я слишком хорошо понимала, что он не мог позволить себе роскошь сожаления или

ожидания; я не желала быть занозой в его жизни. И даже не имела права о чем-то сожалеть или жаловаться, я вообще ни на что не имела права. Внезапно он включил свет и улыбнулся мне:

— Анна, вы провели не слишком плохое лето? Я колебалась.

— Оно было не лучшим в моей жизни.

— Я знаю, — сказал он, — знаю. И есть много вещей, о которых я сожалею. Иногда вы думали, что я относился к вам свысока или враждебно; это вовсе не так. Но временами в груди у меня что-то сжималось. Я дал бы скорее умереть всему миру и себе вместе с ним, чем сделал бы хоть единый жест.

— Я тоже знаю, — сказала я. — Думаю, это уходит корнями в далекое прошлое и, наверное, связано с тем, что у вас была слишком суровая юность, ну и, конечно, с детством.

— Ах, только не вздумайте проводить психоанализ! — сказал он со смехом, но уже настороже.

— Нет, не бойтесь. Но я помню, когда два года назад в клубе «Делиса» я хотела вернуть вам кольцо и уехать в Нью-Йорк, вы сказали мне после: «Я не смог бы выдавить из себя ни слова...»

— Я так сказал? Какая у вас память!

— Да, у меня хорошая память, — заметила я.

— Но это не помогает. Вы не помните, что в тот вечер мы занимались любовью без единого слова, у вас был чуть ли не враждебный вид, и я спросила: «Питаете ли вы, по крайней мере, дружеские чувства ко мне?» Тогда вы прижались к стене и ответили: «Дружеские чувства? Но я люблю вас!»

Я изобразила его надменный тон, и Льюис расхохотался:

— Это кажется нелепым?

— Вы так сказали, и именно таким тоном.

Устремив глаза в потолок, он прошептал непринужденно:

— Быть может, я все еще люблю вас.

Несколькими неделями раньше я жадно ухватилась бы за эту фразу, с ее помощью я попыталась бы возродить надежду, но теперь она не нашла у меня отклика. Естественно, что Льюис задавался вопросом о состоянии своей души, можно было и дальше играть словами; но в любом случае нашей любви пришел конец, он знал это, и я тоже.

В последние дни мы не говорили ни о прошлом, ни о будущем, ни о наших чувствах: Льюис находился рядом, и я — подле него, этого было достаточно. А так как мы ничего не просили, нам ни в чем не было отказа: мы могли бы считать себя щедро вознагражденными. Возможно, так

оно и было. В ночь моего отъезда я сказала:

— Льюис, я не знаю, перестану ли я вас любить, но знаю одно: вы останетесь в моем сердце на всю жизнь.

Он прижал меня к себе:

— А вы в моем — на всю жизнь.

Увидимся ли мы когда-нибудь? Я не хотела больше спрашивать себя об этом. Льюис проводил меня в аэропорт, он простился со мной у входа, наспех поцеловав, и я осталась в одиночестве. Перед самой посадкой в самолет служащий вручил мне картонную коробку, в которой под покровом шелковистой бумаги лежала огромная орхидея. Когда я прилетела в Париж, она еще не завяла.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Пчела жужжала над пепельницей. Анри поднял голову и вдохнул сладкий запах флоксов. Рука его снова заскользила по бумаге, он кончил переписывать отредактированную страницу. Он любил эти утренние часы под сенью липы. Возможно, потому, что не занимался больше ничем другим, только писал: книга снова казалась ему чем-то важным. К тому же он был доволен тем, что Дюбрею понравился его роман; эта новелла тоже наверняка ему понравится. У Анри создавалось впечатление, что на сей раз он сделал именно то, что собирался: приятно быть довольным собой. В окне между двумя голубыми створками появилась голова Надин:

— Какой у тебя прилежный вид! Ты похож на школьника, выполняющего свои летние задания.

Анри улыбнулся; он испытывал счастливое ощущение чистой совести школьника.

— Мария проснулась? — спросил он.

— Да, мы спускаемся, — ответила Надин.

Он собрал бумаги. Полдень. Пора ехать, если он хочет избежать встречи с Шарлье и Мерико.

Они снова станут убеждать Дюбрея насчет еженедельника, и Анри устал повторять: «Я не хочу в этом участвовать».

— Вот и мы! — сказала Надин.

В одной руке она несла сумку с продуктами, а в другой — устройство, которым очень гордилась: что-то среднее между чемоданом и колыбелью. Анри схватил его.

— Осторожно! Не тряси ее! — сказала Надин.

Анри улыбнулся Марии; он все еще не мог надивиться тому, что извлек из небытия новоиспеченную девочку, маленькую девочку с голубыми глазами и темными волосами, его девочку. Она доверчиво смотрела в пространство, пока он устраивал ее в глубине машины.

— Поехали скорее! — сказал он.

Надин села за руль; она обожала водить машину.

— Сначала я заеду на вокзал купить газеты.

— Как хочешь.

— Конечно хочу. Тем более что сегодня четверг.

В четверг выходили «Анклюм» и «Эспуар-магазин», которая слилась с «Бо жур». Надин не желала упустить такой прекрасный случай повозмущаться.

Они купили кучу газет и направились к лесу. Надин не разговаривала за рулем, она была очень прилежна. Анри дружелюбно взглянул на ее упрямый профиль. Он находил ее трогательной, когда она на чем-то сосредоточивалась с такой серьезной увлеченностью. Именно это умилило его, когда он снова стал встречаться с ней, — ее необузданная добрая воля. «Знаешь, я изменилась», — сказала она ему в первый день. Не так уж сильно она изменилась, однако поняла: что-то у нее не ладится, и решила измениться к лучшему, Анри хотел помочь ей. Он подумал, что если сделает Надин счастливой, то избавит ее от той смутной озлобленности, которая отравляла ей жизнь; раз уж ей так хотелось, чтобы он женился на ней, Анри решил жениться: он достаточно был привязан к ней, чтобы попытать счастья. Странная девушка! Надин всегда хотелось с бою взять то, что ей и так согласны были дать. Анри не сомневался, что она подстроила свою беременность, сплутовав с датами, чтобы навязать ему свою волю; а после этого, разумеется, убедила себя, что, поставив Анри перед свершившимся фактом, лишь помогла ему осознать его истинные желания. Он в недоумении взглянул на нее. Надин отличало неисчерпаемое

вероломство, но и большая проницательность; в глубине души она наверняка сомневалась в том, что он действовал по доброй воле; в значительной степени именно поэтому ему не удалось сделать ее счастливой: она говорила себе, что он не любит ее по-настоящему, и сердилась на него за это. «Может, лучше было бы объяснить ей, что я всегда ощущал себя свободным, потому что не обманывался», — подумал Анри. Однако Надин почувствует себя страшно униженной, если узнает, что ее разоблачили; она будет убеждена, что Анри презирает ее и женился из жалости. Ничто не могло причинить ей большую боль; она не любила и когда ее осуждали, и когда осыпали слишком щедрыми подарками. Нет, если сказать ей правду, это ничему не поможет.

Надин остановила машину на берегу пруда.

— Это действительно хороший уголок: в будни здесь никогда никого не бывает.

— В воде будет еще лучше, — сказал Анри.

Она проверила, удобно ли устроена Мария, и они разделись; под полотняным платьем на Надин было очень тесное зеленое бикини. Ноги ее стали не такими тяжелыми, как раньше, а груди остались по-прежнему юными.

— Ты отменная красотка! — весело сказал он.

— О! Ты тоже еще ничего, — со смехом отвечала она.

Они побежали к пруду. Надин плыла на животе и величаво держала голову прямо над водой, казалось, она несла ее на подносе. Ему очень нравилось ее лицо. «Я привязан к ней, — подумал он. — Даже очень привязан: так, может, это и есть любовь?» Однако что-то настораживало его в Надин: ее недоверие, ее обиды, злая воля, враждебное одиночество, в котором она упрямо замыкалась. Но, возможно, если бы он больше любил ее, она стала бы более открытой, более радостной, более милой. Словом, настоящий порочный круг. Ни любви, ни доверию не прикажешь. Ни один из них не мог начать первым.

Они долго плавали, потом легли на солнце. Надин достала из сумки пакет с бутербродами. Анри взял один.

— Знаешь, — сказал он через какое-то время, — я думал о том, что ты рассказала мне вчера о Сезенаке. Не могу с этим смириться. Речь действительно идет о Сезенаке, Венсан в этом уверен?

— Абсолютно уверен, — ответила Надин. — Венсан потратил год, но в конце концов разыскал людей и заставил их говорить. Сезенак осуществлял переход через границу и выдал немцам тьму

евреев, это точно он.

— Но зачем? — удивился Анри.

Ему слышался восторженный голос Шанселя: «Я привел к тебе лучшего своего товарища». Он снова видел красивое лицо, суровое и ясное, которое сразу же внушало доверие.

— Думаю, из-за денег, — сказала Надин. — Никто не подозревал, но он, должно быть, уже тогда употреблял наркотики.

— А почему он к ним пристрастился?

— Этого я не знаю, — отвечала Надин.

— Где он теперь?

— Венсану очень хотелось бы это знать! В прошлом году, узнав, что тот связан с полицией, он выгнал Сезенака и с тех пор потерял его след. Но он его найдет, — добавила она.

Анри стал есть бутерброд. Он не хотел, чтобы нашли Сезенака. В случае неприятностей Дюбрей пообещал ему клятвенно подтвердить, что он прекрасно знал Мерсье; вдвоем они наверняка добьются своего, но лучше все-таки, чтобы эта история никогда больше не всплывала.

— О ком ты думаешь? — спросила Надин.

— О Сезенаке.

Он не рассказывал Надин о деле Мерсье. Конечно, она никогда не выдала бы секрет, однако

не располагала к откровениям: она проявляла слишком много любопытства и выражала слишком мало сочувствия. А чтобы примириться с подобной историей, требовалось много сочувствия: несмотря на снисходительность Дюбрея и Анны, Анри всегда вспоминал о случившемся с чувством неловкости. Впрочем, он добился, чего хотел. Жозетта не покончила с собой, она стала восходящей звездой, о которой много говорили; каждую неделю в той или иной газете можно было видеть ее фотографию.

— Сезенака найдут, — повторила Надин.

Она развернула газету; Анри тоже взял одну. Пока он находился во Франции, он не мог не просматривать газет, хотя охотно без них обошелся бы. Господство Америки над Европой, успех РПФ{129}, массовое возвращение коллаборационистов, просчеты коммунистов — все это скорее угнетало. В Берлине дела не налаживались, не сегодня завтра вполне могла разразиться война. Анри снова упал на спину и закрыл глаза. В Порто-Венере он не раскроет ни одной газеты. Зачем? Раз ничему нельзя помешать, не лучше ли со всей беспечностью воспользоваться остатком своих дней. «Это возмущает Дюбрея, однако сам он считает разумным жить так, словно нам никогда

не суждено умереть, выходит, все едино, — думал Анри. — Зачем готовиться? В любом случае никто никогда не бывает готов, и в то же время все мы достаточно к этому готовы».

— Невероятно, какой успех они создают жалкой книге Воланжа! — сказала Надин.

— А как же иначе: в настоящий момент вся пресса — правая, — заметил Анри.

— Даже правые далеко не все идиоты.

— Но им так нужен шедевр! — сказал Анри.

Книга Воланжа была на редкость убога; однако он выдвинул весьма хитроумный лозунг: «Интегрировать зло». И получалось, что быть коллаборационистом означало испить из живительных источников ошибки; линчевание в Миссури — это грех и, следовательно, Искупление; да будет благословенна Америка за все свои преступления и да здравствует план Маршалла. Наша цивилизация преступна: это самое высокое признание ее славы. Стремиться сделать мир более справедливым — какая грубость!

— Представь себе, мой ненаглядный, какую трепку они тебе зададут, когда выйдет твой роман! — сказала Надин.

— Представляю! — ответил Анри и зевнул. — Ах, это уже не смешно! Я заранее вижу статьи Волан-

жа и Ленуара. Хотя знаю, что скажут и другие, те, кто считает себя беспристрастным.

— Что? — спросила Надин.

— Они поставят мне в упрек то, что я не написал ни «Войну и мир», ни «Принцессу Клевскую»[{130}]. Заметь, что в библиотеках полно книг, которых я не писал, — весело добавил он. — Но почему-то всегда называют именно эти две.

— Когда Мован рассчитывает издать тебя?

— Через два месяца, в конце сентября.

— Незадолго до нашего отъезда, — сказала Надин. Она потянулась. — Мне хотелось бы уже быть там.

— Мне тоже, — отозвался Анри.

Нехорошо было бы бросить Дюбрея одного; он понимал, что Надин хотела дождаться возвращения матери, чтобы удрать. Впрочем, Анри нравилось в Сен-Мартен. Но еще больше ему понравится в Италии. Этот дом на берегу моря, среди скал и сосен, был тем самым местом, о котором, не веря в него, он часто мечтал, когда говорил себе: все бросить, уехать на юг, писать.

— Мы возьмем с собой хороший проигрыватель и много пластинок, — сказала Надин.

— И много книг, — добавил Анри. — Устроим себе прекрасную жизнь, вот увидишь.

Надин приподнялась на локте:

— Забавно. Мы поселимся в доме Пимиента, а он переедет жить в Париж. Лэнгстоун не желает больше и ногой ступить в Америку...

— Все трое в одинаковом положении, — сказал Анри. — Писатели, которые занимались политикой и сыты ею по горло. Уехать за границу — вот лучший способ сжечь все мосты.

— А ведь именно мне пришла в голову мысль об этом доме, — с довольным видом сказала Надин.

— Тебе. — Анри улыбнулся. — Иногда тебе приходят в голову хорошие мысли. Лицо Надин омрачилось; с минуту она с упрямым видом смотрела вдаль,

потом вдруг поднялась:

— Пойду покормлю Марию.

Анри следил за ней глазами. О чем она, в сущности, думала? Сомнений не вызывало лишь одно: ей трудно было мириться с тем, что она всего лишь мать семейства. С Марией на руках Надин присела на ствол дерева; терпеливо, со знанием дела она давала ей бутылочку с соской, Надин считала делом чести быть сведущей матерью и приобрела солидные навыки по уходу за детьми грудного возраста, а также множество гигиенических предметов; но ни разу, когда она занималась

Марией, Анри не заметил настоящей нежности в ее глазах. Да, именно поэтому ее трудно было любить: даже с ребенком она не допускала истинной близости и всегда замыкалась в себе.

— Хочешь опять в воду? — спросила Надин.

— Пошли.

Они поплавали еще какое-то время, высохли, оделись, и Надин снова села за руль.

— Надеюсь, они уже ушли, — сказал Анри, когда машина остановилась у ворот.

— Пойду посмотрю, — ответила Надин.

Мария спала. Анри отнес ее в дом и поставил колыбель на сундук в прихожей. Надин приложила ухо к двери кабинета, потом открыла створку:

— Ты один?

— Да. Входите, входите, — крикнул Дюбрей.

— Пойду уложу малышку, — сказала Надин. Анри вошел в кабинет и улыбнулся:

— Жаль, что вы не смогли поехать с нами: мы отлично поплавали.

— На днях обязательно поеду, — ответил Дюбрей. Он взял со стола листок бумаги: — У меня к вам поручение: звонил некий Жан Патюро, брат адвоката, с которым вы знакомы, и просил, чтобы вы срочно связались с ним. Брат прислал ему с Мадагаскара сведения, которые он хочет

сообщить вам.

— Почему непременно мне? — спросил Анри.

— Полагаю, из-за ваших прошлогодних статей, — сказал Дюбрей. — Вы единственный, кто об этом написал. — Дюбрей протянул листок Анри: — Если этот человек сообщит вам подробности о том, что там затевается, у вас будет время написать статью для «Вижиланс», а мы попридержим номер.

— Я сейчас же позвоню ему, — ответил Анри.

— Мерико рассказывал мне: они творят там что-то неслыханное, выносят приговор обвиняемым на месте, — продолжал Дюбрей. — Во всех аналогичных случаях судебные процессы проходили во Франции.

Анри сел.

— Завтрак прошел хорошо?

— Бедняга Шарлье все больше сдает, — сказал Дюбрей. — Грустно стареть.

— Они снова говорили о еженедельнике?

— За этим и приходили. Судя по всему, Мангейм во что бы то ни стало хочет меня видеть.

— Забавно все-таки, — сказал Анри. — Когда требовались деньги, никак нельзя было их найти. А теперь, когда мы ничего ни у кого не просим, объявился человек, который гоняется за вами,

чтобы вы взяли у него деньги.

Мангейм был сыном крупного банкира, который умер в концлагере, он и сам был депортирован и три года провел в Швейцарии в туберкулезном санатории; Мангейм написал книгу, очень плохую, но полную благих намерений. Он забрал себе в голову создать большой еженедельник левого толка и хотел, чтобы Дюбрей возглавил его.

— Я собираюсь встретиться с ним, — сказал Дюбрей.

— И что вы ему скажете? — спросил Анри и улыбнулся: — Похоже, вы начинаете испытывать искушение?

— Согласитесь, что это соблазнительно, — отвечал Дюбрей. — За исключением коммунистических газет, не существует ни одного еженедельника левого направления. Если действительно можно заполучить такую штуковину с большим тиражом, фотографиями, репортажами и так далее, стоит все-таки попытаться.

Анри пожал плечами:

— Большой популярный еженедельник — вы представляете себе, какая потребуется работа? Ничего общего с «Вижиланс». Этим надо заниматься день и ночь, особенно в первый год.

— Знаю, — сказал Дюбрей. Он вопросительно

смотрел на Анри. — Вот почему я могу пойти на это лишь в случае, если и вы согласитесь.

— Вам прекрасно известно, что я уезжаю в Италию, — с некоторым нетерпением возразил Анри. — Но если и правда все это представляет для вас интерес, вы без труда найдете сотрудников, — добавил он.

Дюбрей покачал головой.

— У меня нет ни малейшего опыта в журналистике, — сказал он. — Если еженедельник появится, мне нужно, чтобы рядом со мной был специалист, а вы знаете, как происходят такие вещи: руководить всем практически будет он. Необходимо, чтобы я доверял ему, как самому себе, так что кроме вас никого нет.

— Даже если бы я не уезжал, — отвечал Анри, — ни за что не взвалил бы я на себя подобную работу.

— Жаль, — с упреком сказал Дюбрей. — Потому что такого рода работа нам как раз по плечу. Могли бы сделать хорошее дело.

— А дальше? — спросил Анри. — Мы будем еще больше загнаны в угол, чем в прошлом году. Какое влияние это будет иметь? Никакого.

— Существуют все-таки вещи, которые зависят от нас, — сказал Дюбрей. — Америка хочет

вооружить Европу: вот исходная точка для организации сопротивления, и газета тут будет крайне полезна.

Анри рассмеялся:

— Словом, вы ищете лишь повод, чтобы снова вернуться в политику? — спросил он. — Завидное здоровье!

— У кого завидное здоровье? — спросила Надин, входя в кабинет.

— У твоего отца: его еще не отвратила политика. Он хочет вернуться к ней. Она опустилась на колени перед полками и стала перебирать пластинки.

«Да, — подумал Анри, — Дюбрею скучно, вот почему ему хочется движения». А вслух сказал:

— Никогда я не был так счастлив, пока не бросил политику. Ни за что на свете я туда не вернусь.

— Однако этот маразм никуда не годится, — сказал Дюбрей. — Левые силы полностью разрознены, коммунистическая партия изолирована: надо бы непременно попытаться объединиться.

— Вы думаете о новом СРЛ? — с недоверием спросил Анри.

— Нет, конечно нет! — сказал Дюбрей. И пожал плечами: — Я не думаю ни о чем определенном.

Я только констатирую, что мы попали в трудное положение, и хочу, чтобы мы из него выбрались.

Наступило молчание. Анри вспоминалась точно такая же сцена: Дюбрей давил на него, он сопротивлялся; ничего, думал он, скоро я буду далеко от Парижа, совсем в другом месте. Да, в ту пору он еще считал себя обязанным что-то сделать. А ныне был почти убежден в своем бессилии и потому чувствовал себя совершенно свободным. Скажу ли я «да», скажу ли я «нет», речь ведь идет не о судьбе человечества, а лишь о том, каким образом я связываю свою судьбу с его судьбой. Дюбрей стремится совместить и то, и другое — это его дело; а я — нет. В любом случае вопрос только в нем, только во мне, все остальное ни при чем.

— Могу я поставить пластинку? — спросила Надин.

— Разумеется, — ответил Дюбрей. Анри встал:

— А я пойду работать.

— Не забудьте позвонить тому человеку, — сказал Дюбрей.

— Не забуду, — ответил Анри.

Он пересек прихожую и снял телефонную трубку. Человек на другом конце провода казался растерянным от важности поручения и соб-

ственной робости; видимо, он получил срочное сообщение, которое должен был сразу же любой ценой передать адресату. «Брат написал мне: никто ничего не делает, но я уверен, что Анри Перрон предпримет что-нибудь», — торжественно заявил он, и Анри подумал: «Одной статьей мне не отделаться». Он назначил Патюро встречу в Париже на следующий день и снова уселся под липой. Вот почему он торопился уехать в Италию; здесь его опять ждет слишком много писем, слишком много визитов, слишком много телефонных звонков. Он разложил перед собой бумаги. Проигрыватель доносил звуки квартета Франка{131}, Надин слушала, сидя на подоконнике открытого окна; пчелы жужжали над флоксами; по дороге, словно в древности, прогромыхала повозка. «Какой покой!» — подумал Анри. Почему его заставляли заниматься тем, что творится в Антананариву?{132} На земле без конца происходят ужасные вещи, но не живут заботами всей земли; что за мрачное наслаждение — размышлять о далеких несчастьях, которым нельзя помочь. «Я живу здесь, а здесь — покой», — подумал он. И взглянул на Надин, вид у нее был непривычно сосредоточенный; она с трудом концентрировала свое внимание на книге, но могла

долгое время слушать музыку, которую любила, и в такие минуты чувствовалось, что в душе ее воцаряется спокойствие, похожее на счастье. «Я должен сделать ее счастливой, — сказал себе Анри. — Этот порочный круг можно разорвать». Сделать кого-то счастливым — это конкретная и основательная вещь, которая довольно глубоко захватывает вас, если вы принимаете ее близко к сердцу. Заняться Надин, воспитывать Марию, писать книги: совсем иная жизнь, чем та, к которой он стремился раньше. Раньше он думал, что счастье — это способ овладеть миром, тогда как это скорее возможность защитить себя от него. Однако разве это мало — слушать такую музыку, смотреть на дом, на липу, на листки рукописи на столе и говорить себе: «Я счастлив».

Статья Анри о Мадагаскаре появилась 10 августа. Он написал ее со страстью. Незаконная расправа с главным свидетелем покушения на адвокатов, пытки, применявшиеся к обвиняемым, чтобы вырвать у них ложные признания: правда оказалась еще чудовищнее, чем он себе представлял. И такие вещи происходили не только в Антананариву: здесь, во Франции, сообщниками были все. Сообщники — палаты депутатов, проголосовавшие за лишение неприкосновенности,

сообщники — правительство, кассационный суд и президент республики, сообщники — газеты, которые молчали, и миллионы граждан, мирившиеся с их молчанием. «Теперь, по крайней мере, есть несколько тысяч, которые знают», — сказал себе Анри, когда взял в руки номер «Вижиланс». И с сожалением подумал: «Не так уж это много». Он изучил мальгашское дело во всех подробностях и принял его так близко к сердцу, что оно стало касаться его лично. Каждое утро он искал в газетах скупые заметки, посвященные судебному процессу, и думал об этом весь день. Ему никак не удавалось закончить свою новеллу. Когда он писал под сенью липы, запах флоксов, деревенские шумы уже не имели прежнего смысла.

В то утро он как раз рассеянно работал, когда позвонили у калитки. Он пошел через сад, чтобы открыть: это был Лашом.

— Ты! — удивился он.

— Да. Мне хотелось бы поговорить с тобой, — спокойным тоном сказал

Лашом. — Ты, похоже, не рад меня видеть, но дай мне все-таки войти, — добавил он. — То, что я скажу, заинтересует тебя.

За прошедшие восемнадцать месяцев Лашом постарел, и под глазами у него появились круги.

— О чем ты хочешь поговорить со мной?

— О мальгашском деле. Анри открыл калитку:

— Что у тебя может быть общего с гнусным фашистом?

— Да брось! — сказал Лашом. — Ты же знаешь, что такое политика. Когда я писал ту статью, тебя надо было разнести. Эта история в прошлом.

— У меня хорошая память, — возразил Анри. Лашом виновато посмотрел на него.

— Обижайся на меня, если хочешь. Хотя, по правде говоря, ты должен бы понять! — вздохнул он. — Но сейчас речь не о тебе и не обо мне: надо спасти человеческие жизни. Так что можешь послушать меня пять минут.

— Я слушаю тебя, — сказал Анри, указывая ему на одно из плетеных кресел. По сути, он уже ничуть не сердился на Лашома: все прошлое было так далеко от него.

— Ты только что написал отличную статью, я бы даже сказал, потрясающую статью, — решительно заявил Лашом.

Анри пожал плечами:

— К несчастью, она мало кого потрясла.

— Да, это несчастье, — согласился Лашом. Он вопросительно взглянул на Анри: — Полагаю, если тебе предложили бы возможность более

широкого действия, то ты не отказался бы?

— О чем речь? — спросил Анри.

— В двух словах вот о чем. Мы как раз организуем комитет в защиту мальгашей. Лучше будет, если кто-то другой, а не мы, возьмет на себя эту инициативу; но у мелкобуржуазных идеалистов совесть не всегда бывает чувствительной; при случае они не дрогнув способны стерпеть многое. Факт тот, что никто и пальцем не пошевелил.

— До сих пор вы тоже мало что сделали, — сказал Анри.

— Мы не можем, — поспешно возразил Лашом. — Все это дело было организовано для того, чтобы ликвидировать МДРМ;{133} через мальгашских парламентариев хотят добраться до партии. Если мы будем защищать их слишком открыто, это обернется против них.

— Ладно, — сказал Анри. — И что дальше?

— У меня появилась идея создать комитет, в который вошли бы два-три коммуниста и большинство некоммунистов. Когда я прочитал твою статью, я решил, что никто лучше тебя не справится с его руководством. — Лашом вопросительно смотрел на Анри. — Товарищи не против. Только прежде, чем делать тебе официальное предложение, Лафори хочет быть уверен, что ты

согласишься.

Анри хранил молчание. Фашист, гад, подлец, стукач: они заклеймили его как предателя, и вот теперь возвращались с протянутой рукой. Это вызывало у него весьма приятное чувство одержанной победы.

— Кто все-таки войдет в этот комитет? — спросил он.

— Все мало-мальски значительные люди, которые захотят присоединиться, — ответил Лашом. — Их не так много. — Он пожал плечами: — Они до того боятся запятнать себя! И скорее позволят замучить до смерти двадцать невинных, чем скомпрометируют себя с нами. Если ты возьмешь дело в свои руки, это все изменит, — настойчивым тоном добавил он. — За тобой они пойдут.

Анри заколебался:

— Почему вы не обратитесь скорее к Дюбрею? Его имя имеет больше веса, чем мое, и он наверняка скажет да.

— Хорошо было бы иметь Дюбрея, — согласился Лашом. — Но во главе надо поставить твое имя. Дюбрей слишком близок к нам. Главное, нельзя, чтобы этот комитет выглядел коммунистической затеей, иначе все пропало. С тобой — никаких кривотолков.

— Ясно, — сухо заметил Анри. — Значит, я только в качестве социал-предателя могу быть вам полезен.

— Нам полезен! — сердито сказал Лашом. — Это обвиняемым ты можешь быть полезен. Что ты выдумал? Что мы выиграем во всей этой истории? Ты не отдаешь себе отчета, — продолжал он, с упреком глядя на Анри. — Каждый день, и даже сегодня утром, мы получаем с Мадагаскара душераздирающие письма и телеграммы: «Не молчите! Возбудите общественное мнение. Расскажите людям в метрополии, что здесь происходит». А у нас связаны руки! Что нам остается делать, кроме как попытаться действовать сообща?

Анри улыбнулся; горячность Лашома трогала его. Это верно, он был способен выполнять грязную работу, но не мог спокойно мириться с тем, что пытают и убивают множество невинных.

— Что ты хочешь! — примирительным тоном сказал Анри. — У вас все так перепутано: политическая ложь и истинные чувства, в которых трудно разобраться.

— Если бы вы не начинали сразу же обвинять нас в вероломстве, то лучше бы сумели разобраться, — ответил Лашом. — Вы всегда, похоже,

думаете, будто партия работает лишь на себя. Помнишь, в тысяча девятьсот сорок шестом году, когда мы выступили в защиту Кристино Гарсии, нас упрекали в том, будто мы сделали его казнь неизбежной. Сегодня мы решили сбавить тон, и тогда ты говоришь мне «Вы мало что делаете».

— Не горячись, — сказал Анри. — Ты стал что-то очень обидчив.

— Ты представить себе не можешь, какое недоверие мы встречаем повсюду! В конце концов это приводит в отчаяние!

Анри хотелось ответить ему: «Вы сами в этом виноваты», но он ничего не сказал; он не чувствовал себя вправе разговаривать свысока, это слишком легко. По правде говоря, он больше не сердился на Лашома. Разве Лашом не сказал ему однажды в Красном баре: «Скорее я стерплю что угодно, чем уйду из партии». Он полагал, что его собственная персона немногого стоит по сравнению с теми интересами, которые поставлены на карту: отчего же личность Анри он должен ценить выше? Разумеется, при таких условиях дружба уже невозможна. Но ничто не мешало работать вместе.

— Послушай, я с радостью готов работать с тобой, — сказал Анри. — Не думаю, что у нас много

шансов преуспеть, но в конце концов можно попытаться.

Лицо Лашома просияло:

— Я могу передать Лафори, что ты согласен?

— Да. Но расскажи мне немного, что вы предполагаете делать.

— Обсудим это вместе, — сказал Лашом.

«Ну вот! — подумал Анри. — Еще раз подтверждается: каждый достойный поступок влечет за собой появление новых обязанностей». Передовицы, написанные им в 1947 году, заставили Анри напечатать статью в «Вижиланс», что привело его к участию в этом комитете: он снова попался. «Но ненадолго», — решил Анри.

— Тебе надо лечь, у тебя усталый вид, — сердитым голосом сказала Надин.

— Меня утомил перелет на самолете, — виновато ответила Анна. — И к тому же разница во времени: я плохо спала минувшей ночью.

Кабинет выглядел празднично. Анна вернулась накануне, и Надин собрала в саду все цветы, чтобы расставить в доме. Но никто особо не веселился. Анна сильно постарела и пила много виски; Дюбрей, который в последнее время пребывал в приподнятом настроении, казался озабоченным: наверняка из-за Анны. Надин дулась понемногу

на все, не расставаясь с ярко-красным вязанием. Анри своим рассказом еще более омрачил вечер.

— Так что? Все кончено? — спросила Анна. — Нет никакой надежды спасти этих людей?

— Я не вижу никакой, — отвечал Анри.

— Было ясно, что палата напустит тумана, — заметил Дюбрей.

— Если бы вы присутствовали на заседании, то были бы тем не менее удивлены, — сказал Анри. — Уж на что, казалось, я закален, и то в определенные моменты у меня появлялось желание кого-то из них убить.

— Да, они не стеснялись, — согласился Дюбрей.

— Что касается политиков, то тут удивляться нечему, — сказала Анна. — Но вот чего я никак не могу понять: почему в массе своей люди так мало выступали против.

— Да они вообще не выступали, — заметил Анри.

Жерар Патюро и другие адвокаты приехали в Париж с намерением пустить в ход все средства; комитет помогал им всеми силами; однако они натолкнулись на всеобщее равнодушие.

Анна взглянула на Дюбрея:

— Вы не находите это удручающим?

— Да нет, — ответил он. — Это лишь доказыва-

ет, что выступлений без подготовки не бывает. А начали с нуля, так что...

Дюбрей вошел в комитет, но почти ничем там не занимался. Более всего в этой истории его интересовала возможность восстановить политические связи. Он присоединился к движению «Борцы за свободу»[{134}], принял участие в одном из их митингов и собирался продолжить начатое через несколько дней. Он не настаивал на том, чтобы Анри следовал за ним, и не возвращался к разговору о еженедельнике, но время от времени позволял себе высказывать более или менее скрытый упрек.

— Подготовленное или нет, любое выступление в настоящий момент ни к чему не ведет, — сказал Анри.

— Это вы так говорите, — возразил Дюбрей. — Если бы за нами стояли денежные средства, уже организованная группа, газета, нам, возможно, удалось бы всколыхнуть общественное мнение.

— В этом нет никакой уверенности, — сказал Анри.

— Главное, хорошенько понять: чтобы появились хоть какие-то шансы на успех нашего начинания, когда представится случай, надо все готовить заранее.

— Для меня случая не представится, — ответил Анри.

— Да полно! — возразил Дюбрей. — Мне смешно, когда вы говорите, что с политикой покончено. Вы такой же, как я. Вы слишком много ею занимались, чтобы не заняться вновь. Вы опять попадетесь.

— Нет, потому что я скроюсь, — весело отвечал Анри. Глаза Дюбрея загорелись:

— Предлагаю пари: вы и года не проживете в Италии.

— Я принимаю пари, — с живостью отозвалась Надин. Она повернулась к матери: — А ты как думаешь?

— Не знаю, — сказала Анна. — Это зависит от того, понравится ли вам там.

— Как же нам может там не понравиться? Ты видела фотографию дома: разве он не красив?

— Выглядит очень красиво, — ответила Анна. И вдруг поднялась: — Прошу прощения. Я очень хочу спать.

— Я поднимусь с тобой, — предложил Дюбрей.

— Постарайся заснуть этой ночью, — сказала Надин, целуя мать. — Уверяю тебя, ты скверно выглядишь.

— Я буду спать, — ответила Анна.

Когда за ней закрылась дверь, Анри вопросительно посмотрел на Надин:

— Анна действительно выглядит усталой.

— Усталой и мрачной, — с обидой заметила Надин. — Если она так сожалеет о своей Америке, могла бы там остаться.

— Она не рассказывала тебе, как там все прошло?

— Выдумал тоже! Она такая скрытная, — сказала Надин. — Впрочем, мне никогда ничего не говорят, — добавила она.

Анри с любопытством взглянул на нее:

— У тебя странные отношения с матерью.

— Почему странные? — с досадой спросила она. — Я очень люблю ее, но зачастую она меня раздражает, думаю, и я ее тоже. Не такая уж это редкость, таковы семейные отношения.

Анри не настаивал; однако его это всегда удивляло: обе женщины готовы были умереть друг за друга, а между тем что-то у них не ладилось. В присутствии матери Надин становилась гораздо агрессивнее и упрямее. В последующие дни Анна старалась казаться веселой, и Надин успокоилась; и все-таки по-прежнему создавалось впечатление, что гроза может разразиться с минуты на минуту.

В то утро Анри увидел их из своей комнаты, когда они рука об руку с громким смехом выходили из сада; а когда двумя часами позже они снова пересекали лужайку, Анна несла в руках батон хлеба, Надин — газеты, и похоже было, что они поссорились.

Наступило время обеда. Анри сложил свои бумаги, вымыл руки и спустился в гостиную. Анна с отсутствующим видом сидела на краю стула; Дюбрей читал «Эспуар-магазин», а Надин, стоя рядом с ним, поджидала Анри.

— Привет! Что нового? — спросил Анри, улыбаясь всем.

— Вот это! — сказала Надин, показав на газету. — Надеюсь, ты пойдешь и набьешь морду Ламберу, — сухо добавила она.

— А! Уже началось? Ламбер мешает меня с дерьмом? — с улыбкой спросил Анри.

— Если бы только тебя!

— Держите, — сказал Дюбрей, протягивая Анри газету.

Статья называлась «Сами во всем расписались». Ламбер начинал с того, что в который раз сожалел о пагубном влиянии, которое оказывал Дюбрей: это его вина, если после блестящего начала Анри утратил весь талант. Затем Ламбер вкратце изла-

гал роман Анри с помощью урезанных и нелепо склеенных цитат. Под предлогом дать разгадку книге с зашифрованными персонажами, хотя на самом деле она таковой не была, он приводил множество подробностей — частью верных, частью лживых — относительно личной жизни Анри, Дюбрея, Анны, Надин, отобранных таким образом, чтобы выставить их и отвратительными, и смешными.

— Какой негодяй! — сказал Анри. — Я помню этот разговор о наших взаимоотношениях с деньгами, и вот что он из него извлек: этот гнусный абзац о «лицемерии привилегированных левых». Какой негодяй! — повторил он.

— Ты не спустишь ему этого? — спросила Надин. Анри вопросительно взглянул на Дюбрея.

— Я с удовольствием набил бы ему морду, впрочем, это не трудно. Но чего мы добьемся? Скандала, откликов во всех газетах, новой статьи, похуже этой...

— Врежь ему покрепче, и он проглотит язык, — сказала Надин.

— Наверняка нет, — возразил Дюбрей. — Все, чего он хочет, это заставить говорить о себе: он воспользуется случаем. Я за то, чтобы Анри никак не реагировал, — заключил он.

— И что же, значит, когда ему заблагорассудится, он может беспрепятственно написать новую статью и пойти еще дальше? — возмутилась Надин. — Если он поймет, что бояться нечего, он стесняться не станет.

— Так уж всегда бывает, если берешься писать, — сказал Анри. — Каждый имеет право плюнуть тебе в лицо: многие даже считают это своей обязанностью.

— Но я-то не пишу, — возразила Надин. — Никто не имеет права плевать мне в лицо.

— Да, вначале это возмущает, — сказала Анна. — Но ты увидишь: к этому привыкаешь. — Она встала. — Пора обедать.

Они молча сели за стол. Надин подцепила вилкой кусок колбасы, и лицо ее немного смягчилось.

— Мне нестерпимо думать, что он будет спокойно торжествовать, — задумчиво произнесла она.

— Не так уж он торжествует, — возразил Анри. — Ему хотелось писать рассказы, романы, а, кроме его статей, Воланж ничего не напечатал после той пресловутой новеллы, причем довольно скверной.

Надин повернулась к Анне:

— Тебе сказали, что он осмелился написать на

прошлой неделе?

— Нет.

— Он заявил, что петеновцы по-своему любили Францию и что они ближе голлистам, чем какой-нибудь сепаратист, участник Сопротивления. Никто еще до этого не доходил! — с довольным видом сказала Надин. — Ах! Они здорово переменились, старые приятели, — добавила она. — Ты читала рецензию Жюльена на книгу Воланжа?

— Робер показывал мне ее, — сказала Анна. — Жюльен! Кто бы мог подумать!

— Что же тут удивительного, — возразил Дюбрей. — Кем, ты думаешь, может стать сегодня анархист? Мелкие разрушительные левацкие игры никому не интересны.

— Не понимаю, почему анархист непременно должен войти в РПФ, — сказала Надин.

Любое объяснение она принимала за оправдание и зачастую отказывалась понимать, чтобы не лишать себя удовольствия возмущаться. Наступило молчание. Их беседы вчетвером никогда не проходили гладко, и теперь дело обстояло еще хуже, чем обычно. Анри заговорил с Анной о только что прочитанном романе, который она привезла из Америки. Дюбрей думал о чем-то своем, Надин тоже. Все почувствовали облегчение, когда обед

подошел к концу.

— Могу я взять машину? — спросила Надин, выходя из-за стола. — Если кто-нибудь захочет присмотреть за Марией, я охотно прокатилась бы.

— Я позабочусь о Марии, — сказала Анна.

— Ты не берешь меня? — с улыбкой спросил Анри.

— Прежде всего, у тебя нет на это ни малейшего желания, — ответила Надин. — И потом, я предпочитаю побыть одна, — с улыбкой добавила она.

— Ладно, я не настаиваю! — сказал Анри. Он поцеловал ее: — Погуляй на славу и будь осторожна.

У него не было желания прокатиться, но и работать тоже не хотелось. Дюбрей уверял, что его первая новелла хороша, та, которую Анри собирался писать, была близка его сердцу, но в последние дни он чувствовал некоторую растерянность. Он был уже не во Франции, но еще и не в Италии, судебный процесс в Антананариву закончился, не начавшись, ибо обвиняемые отказывались защищаться, да и приговор был известен заранее; деятельность Дюбрея раздражала Анри, и, однако, он смутно завидовал тем радостям, которые тот получал от нее. Анри взялся за

книгу. Благодарение небу, часы и дни не были у него на счету, ему не надо было принуждать себя. Он дождется, когда они поселятся в Порто-Венере, чтобы начать свое новое повествование.

Около семи часов Анна позвала его выпить аперитив согласно заведенному ею обычаю. Дюбрей еще продолжал писать, когда Анри вошел в кабинет. Он отодвинул бумаги:

— Одна хорошая вещь сделана.

— А что это? — спросил Анри.

— План того, о чем я буду говорить в пятницу в Лионе. Анри улыбнулся:

— В отваге вам не откажешь. Нанси, Лион — какие мрачные города!

— Да, Нанси — это мрачно, — согласился Дюбрей, — однако у меня сохранилось хорошее воспоминание о тамошнем вечере.

— Я подозреваю, что у вас чуточку извращенный вкус.

— Возможно, — снова согласился Дюбрей. И улыбнулся: — Боюсь, не сумею вам объяснить. После митинга мы отправились тогда в бистро отведать кислой капусты со свининой и выпить пива, место было самое обычное, я едва знал людей, с которыми пошел, мы почти не разговаривали. Но мы вместе сделали одно дело,

которым остались довольны: это было здорово.

— Знаю, мне знакомо такое чувство, — сказал Анри. — Во время Сопротивления в редакции газеты бывали такие моменты, особенно в первый год. В СРЛ такого со мной никогда не случалось, — добавил он.

— Со мной тоже, — сказал Дюбрей. Он принял из рук Анны стакан мартини и отпил глоток. — Мы были недостаточно скромны. Чтобы получать подобные маленькие радости, надо работать в настоящем.

— Послушайте, мне не кажется таким уж скромным стремление помешать развязать войну! — сказал Анри.

— Это скромно, потому что у нас нет предвзятого мнения, которое мы хотим навязать миру, — возразил Дюбрей. — А СРЛ имело конструктивную программу, которая неизбежно оказалась утопией. То, что я делаю сейчас, гораздо больше похоже на то, что я делал в тысяча девятьсот сорок шестом году. Мы пытаемся защитить себя от определенной опасности подручными средствами. Это гораздо реалистичнее.

— Реалистично то, что приносит пользу, — возразил Анри.

— Это может принести пользу, — ответил Дюб-

рей.

Наступило молчание. «Что у него все-таки на уме?» — спрашивал себя Анри. Он слишком легко согласился с точкой зрения Надин: «Отец суетится, потому что ему скучно». Такой цинизм тут не к месту. Анри научился не принимать слова Дюбрея на веру; однако это не давало права считать его легкомысленным человеком.

— Есть одна вещь, которой я не понимаю, — сказал Анри. — В прошлом году вы говорили, что не можете принять то, что вы назвали «новым гуманизмом», а теперь до конца готовы идти с коммунистами. Значит, вас больше не смущает то, что смущало раньше?

— Вы знаете, — отвечал Дюбрей, — этот гуманизм всего-навсего отражает сегодняшний мир. Его нельзя устранить, как нельзя устранить мир. Можно быть на него в обиде, и только.

«Вот что он думает обо мне, — сказал себе Анри. — Я в обиде». До самой смерти Дюбрей по-прежнему будет одерживать верх над собственным прошлым и над прошлым других. «В конце концов, я сам приставал к нему», — решил Анри. Он хотел понять Дюбрея, а не защищаться от него. Да и зачем защищаться: он был уверен в своей безопасности. Анри улыбнулся:

— А почему вы перестали обижаться?

— Потому что в один прекрасный день почувствовал себя причастным, — ответил Дюбрей. — О! Это очень просто, — продолжал он. — В прошлом году я говорил себе: «Все плохо, наименьшее из зол все-таки слишком трудно переварить, чтобы считать его благом». Однако ситуация еще более обострилась. Худшее из зол стало настолько угрожающим, что мои колебания в отношении СССР и коммунизма показались мне весьма несущественными. — Дюбрей взглянул на Анри: — Меня удивляет, что вы не чувствуете того же, что я.

Анри пожал плечами:

— За последний месяц я видел немало коммунистов, я работал с Лашомом. Я хорошо понимаю их точку зрения, но быть с ними вместе — нет, этого я не смогу, никогда не смогу.

— Речь не о том, чтобы вступать в партию, — сказал Дюбрей. — И не обязательно со всем соглашаться, чтобы вместе бороться против Америки и против войны.

— Вы самоотверженней меня, — сказал Анри. — Я не собираюсь жертвовать жизнью, которую намереваюсь вести, ради дела, в которое верю лишь наполовину.

— Ах! Только не выдвигайте такого рода ар-

гументы! — возмутился Дюбрей. — Это наводит меня на мысль о Воланже, который говорит: «Человек не заслуживает того, чтобы интересоваться им».

— Это совсем другое дело, — с живостью возразил Анри.

— Не такое уж другое, как вам кажется. — Дюбрей вопросительно посмотрел на Анри: — Вы вполне уверены, что между СССР и Америкой следует выбирать СССР?

— Разумеется.

— Так вот, этого достаточно. Есть одна вещь, в которой надо убедить себя, — с жаром произнес Дюбрей, — нет другого членства, кроме выбора, нет другой любви, кроме предпочтения. Если для того, чтобы взять на себя обязательства, дожидаться абсолютного совершенства, то никого никогда нельзя любить и никогда ничего не сделаешь.

— Не требуя совершенства, можно тем не менее считать какие-то вещи скверными и не иметь желания связываться с ними, — возразил Анри.

— Скверными по сравнению с чем? — спросил Дюбрей.

— По сравнению с тем, что могло бы быть.

— То есть по сравнению с вашими представ-

лениями, — сказал Дюбрей и пожал плечами. — Такой Советский Союз, каким он должен был бы быть, и революция без слез — все это голые идеи, а иными словами — ноль. Конечно, по сравнению с идеей действительность всегда проигрывает; как только идея воплощается, она сразу же деформируется. Однако преимущество СССР перед всеми другими возможными формами социализма в том, что он существует.

Анри вопросительно взглянул на Дюбрея:

— Если правда всегда за тем, что существует, остается лишь сидеть сложа руки.

— Вовсе нет. Действительность — это не что-то застывшее. У нее есть будущее, возможности. Только для того, чтобы воздействовать на нее или даже осмыслить, надо обосноваться в ней, а не тешить себя жалкими мечтаниями.

— А я, знаете ли, не мечтаю, — отвечал Анри.

— Когда говорят «Это скверно» или как я в прошлом году: «Все плохо», это означает, что втайне мечтают об абсолютном благе. — Он посмотрел Анри прямо в глаза: — Обычно не отдают себе в этом отчета, но нужно обладать немалым высокомерием, чтобы свои мечты поставить превыше всего. А если быть скромнее, то поймешь, что с одной стороны существует реальность, с другой

— ничего. Предпочитать пустоту, а не наполненность — это, на мой взгляд, страшная ошибка, — добавил он.

Анри повернулся к Анне, которая молча пила второй стакан мартини:

— Что вы об этом думаете?

— Лично мне всегда было трудно в наименьшем из зол усматривать благо, — ответила она. — Верно, потому, что я слишком долго верила в Бога. Но думаю, Робер прав.

— Возможно, — согласился Анри.

— Я говорю со знанием дела, — сказал Дюбрей. — Я тоже пытался оправдать свою досаду гнусностью мира.

Анри снова наполнил свой стакан. Разве Дюбрей не оправдывал сейчас собственную досаду с помощью теорий? «Однако, если подходить с таких позиций, я тоже с досады пытаюсь недооценить то, что он говорит мне», — подумал Анри. И решил оказать доверие Дюбрею, по крайней мере, до конца разговора.

— Тем не менее ваша манера смотреть на вещи кажется мне скорее пессимистической, — сказал Анри.

— И тут опять она пессимистична лишь по сравнению с прежними моими идеями, — возразил

Дюбрей, — идеями чересчур радужными; история далеко не радужна. Но так как ускользнуть от нее нет никакой возможности, надо искать наилучший способ жить, а он, на мой взгляд, никак не в уклонении.

Анри собирался задать ему и другие вопросы, но в прихожей послышались шаги, и в дверях появилась Надин.

— Привет, шайка пьяниц! — весело сказала она. — Можете выпить за мое здоровье: я заслуживаю тоста в мою честь! — Она с торжествующим видом смотрела на них: — Угадайте, что я сделала?

— Так что же? — спросил Анри.

— Я была в Париже и отомстила за вас: дала Ламберу пощечину. На краткий миг воцарилось молчание.

— Где ты его встретила? Как это случилось? — спросил Анри.

— А вот так, — с гордостью начала рассказывать Надин. — Я поднялась в редакцию «Эспуар», они все там были: Самазелль, Воланж, Ламбер и куча новеньких с гнусными рожами — надо было видеть это! — Надин расхохоталась. — Ламбер был ошарашен, он что-то пробормотал, но я не дала ему говорить. «Я пришла вернуть тебе старый должок, — сказала я, — и рада, что ты предоста-

вил мне для этого случай». А потом ударила его по лицу.

— А он что? — спросил Анри.

— О! Он свое получил, — сказала Надин, — хотя и стал пыжиться с важным видом. Я поспешила уйти.

— Он не сказал, что свое поручение я мог бы выполнить сам? На его месте я бы так и сказал, — заметил Анри. Он не хотел бранить Надин, но был очень недоволен.

— Я не стала слушать, что он скажет, — ответила Надин. Она обвела всех несколько вызывающим взглядом. — Так что? Вы меня не поздравите?

— Нет, — сказал Дюбрей. — Я не нахожу, что ты поступила очень умно.

— А я нахожу, что очень умно, — отвечала Надин. — По дороге оттуда я встретила Венсана, и он сказал, что я молодец, — добавила она мстительным тоном.

— Если тебе хочется огласки, ты своего добилась, — заметил Дюбрей. — Все газеты натешатся вдоволь.

— Мне плевать на газеты, — заявила Надин.

— Напротив, ты как раз доказала, что тебе вовсе не плевать! Они с неприязнью смотрели друг на друга.

— Если вам нравится, чтобы вас мешали с дерьмом, тем лучше для вас, — сердито сказала Надин. — Лично мне не нравится. — Она повернулась к Анри: — Это ты во всем виноват, — заявила вдруг она. — Зачем ты всем поведал о нашей жизни?

— Послушай, я не говорил о нас, — возразил Анри. — Ты прекрасно знаешь, что все персонажи вымышленные.

— Да полно! Найдется не меньше пятидесяти разных черт, которые характерны для папы и для тебя; и я прекрасно узнала три своих фразы, — сказала она.

— Они произносятся людьми, которые не имеют к тебе ни малейшего отношения, — ответил Анри и пожал плечами. — Разумеется, я вывел сегодняшних людей, которые находятся примерно в том же положении, что и мы: но таких тысячи, это вовсе не твой отец и не я; напротив, мои персонажи по большей части совсем не похожи на нас.

— Я не возражаю, иначе опять сказали бы, что я поднимаю шум, — едким тоном заметила Надин, — но думаешь это приятно? С вами спокойно беседуют накоротке, считая себя ровней, а вы все это время наблюдаете, мысленно делаете заметки, и на тебе: в один прекрасный день ты

видишь черным по белому слова, которые были сказаны с тем, чтобы их забыли, жесты, которым не придавалось значения. Я называю это злоупотреблением доверием!

— Нельзя написать роман, не заимствуя кое-чего у окружающих, — сказал Анри.

— Возможно, но тогда с писателями не следует встречаться, — в ярости заявила Надин.

Анри улыбнулся:

— Тебе очень не повезло!

— Смейся надо мной теперь, — ответила она, став пунцовой.

— Я не смеюсь над тобой, — отвечал Анри. Он обнял Надин за плечи: — Не будем делать из этого драму.

— Вы сами делаете драму! — сказала Надин. — Ах! Ну и вид у вас, когда вы сидите тут все трое и осуждающе смотрите на меня!

— Ладно, никто тебя не осуждает, — примирительным тоном сказала Анна. Она вопросительно взглянула на Дюбрея: — Приятно все-таки думать, что Ламбер получил хорошую пощечину.

Дюбрей ничего не ответил. Анри попытался перевести разговор:

— Ты видела Венсана? Что с ним сталось?

— А что с ним должно статься? — надменно

спросила она.

— Он по-прежнему на радио?

— Да. — Надин заколебалась. — Собиралась рассказать вам кое-что интересное, но у меня пропало желание.

— Давай выкладывай! — сказал Анри.

— Венсан отыскал Сезенака! — заявила Надин. — В маленькой гостинице где-то возле бульвара Батиньоль. Раздобыв адрес, он сразу поехал туда и постучал к Сезенаку, хотел сказать ему, что он о нем думает. Сезенак отказался открыть. Венсан расположился у входа в гостиницу, а тот сбежал по пожарной лестнице. В течение трех дней он так и не появился: ни в гостинице, ни в ресторане, ни в барах, где он добывает наркотики, его никто не видел. — И торжествующим тоном Надин добавила: — Разве это не признание? Если бы совесть у него была чиста, он не прятался бы.

— Все зависит от того, что сказал ему Венсан через дверь, — заметил Анри. — Даже если на нем нет вины, он мог испугаться.

— Да нет. Невиновный попытался бы объясниться, — настаивала Надин и, повернувшись к матери, сказала резким тоном: — Тебя как будто это не интересует. А ведь ты прекрасно знала Сезенака.

— Да, — ответила Анна. — Мне он показался законченным наркоманом. Когда люди доходят до такого предела, они способны на все.

Повисло тягостное молчание. Анри с тревогой подумал: «Венсан найдет Сезенака. И что дальше?» Если Сезенак заговорит, если Ламбер достаточно зол на Анри, чтобы подтвердить свою версию, что произойдет? Анна и Дюбрей, возможно, задавались точно таким же вопросом.

— Ну что ж, если на вас это не произвело никакого впечатления, лучше было бы оставить мои новости при себе! — с досадой сказала Надин.

— Да нет же, — возразил Анри. — Это странная история, потому-то мы и задумались.

— Не утруждай себя и не старайся соблюдать вежливость! — сказала Надин. — Вы взрослые люди, а я всего лишь ребенок. Что интересно мне, неинтересно вам, это нормально. — Она направилась к двери: — Пойду проверю, как там Мария.

Она дулась весь вечер. «Эта жизнь вчетвером ей в тягость, — решил Анри. — В Италии дела пойдут лучше». И не без тревоги подумал: «Осталось больше десяти дней». Все было улажено. Надин с Марией поедут в спальном вагоне, он — впереди на машине. Через десять дней. Временами он уже чувствовал на своем лице теплый

ветер с ароматом смолы и соли, и волна радости подступала к сердцу. А бывали минуты, когда он испытывал сожаление, похожее на обиду, словно его высылали против воли.

Весь следующий день Анри обдумывал затянувшийся до глубокой ночи разговор, который у него состоялся с Дюбреем. Главное, утверждал Дюбрей, это решить, каким вещам из тех, что существуют, ты отдаешь предпочтение. И это не уступка: на уступку идут, если из двух реальных вещей приходится мириться с той, что хуже; но выше человечества, такого, как оно есть, нет ничего. Да, с некоторыми положениями Анри был согласен. Предпочитать пустоту, а не наполненность — это как раз то, в чем он упрекал Поль: она цеплялась за старые мифы, вместо того чтобы принимать Анри таким, каков он есть. И наоборот, он никогда не искал в Надин «идеальной женщины»; он сделал выбор, решив жить с ней, зная о ее недостатках. Но главным образом позиция Дюбрея казалась оправданной в том случае, когда речь идет о книгах, о произведениях искусства. Обычно не удается писать книги, какие хочется, и можно забавляться, рассматривая любой шедевр как неудачу; но мы ведь не предаемся мечтам о потустороннем искусстве:

произведения, которым мы отдаем предпочтение, мы любим абсолютной любовью. Однако в плане политическом убежденность Анри была не так сильна, ибо тут вмешивается зло, которое не только не является благом, пускай даже наименьшим, а напротив, представляет собой абсолют несчастья, смерти. Но если придаешь значение несчастью, смерти, людям, каждому в отдельности, то недостаточно сказать: «История в любом случае полна всяких бед», — и от этого почувствовать себя вправе полностью отказаться от ответственности — важно, больше или меньше будет она наполнена бедами. Смеркалось; Анри углубился в раздумья под сенью липы, когда на верхних ступеньках крыльца появилась Анна.

— Анри! — Голос ее был спокойным, но настойчивым, и он подумал с тоской: «Опять какая-нибудь драма с Надин». И пошел к дому.

— Да?

— Только что явился Сезенак, — сказала Анна.

— Сезенак?

— Он уверяет, что его хотят убить. Он скрывался в течение пяти дней, но больше не в силах держаться, он на пределе: еще бы — пять дней без наркотика. — Анна показала на дверь в столовую: — Он там, лежит на диване тяжело больной. Я

сделаю ему укол.

В руке она держала шприц, а на столе лежала аптечная коробка.

— Ты сделаешь ему укол после того, как он заговорит, — сурово заявила Надин. — Он надеялся, что мама проявит достаточно глупости, чтобы помочь ему, не задавая вопросов, — добавила она. — Но ему не повезло, я была тут.

— Он заговорил? — спросил Анри.

— Заговорит, — ответила Надин. Она быстро шагнула к двери и, открыв ее, почти любезным голосом позвала: — Сезенак!

Анри остановился на пороге рядом с Анной, в то время как Надин направилась к дивану; Сезенак не шелохнулся, он лежал на спине и стонал, руки его судорожно сжимались и разжимались.

— Скорее! — молил он. — Скорее!

— Ты получишь свой укол, — сказала Надин, — мама принесла тебе морфий, смотри.

Сезенак повернул голову, по лицу его струился пот.

— Только сначала ты мне ответишь, — продолжала Надин. — В каком году ты начал работать на гестапо?

— Я умираю, — произнес Сезенак; слезы текли по его щекам, и он сучил ногами. Трудно было

вынести эту картину, и Анри очень хотелось, чтобы Анна сейчас же положила этому конец, но она, казалось, оцепенела; Надин приблизилась к дивану.

— Отвечай, и тебе сделают укол. — Она наклонилась над Сезенаком: — Отвечай, или хуже будет. В каком году?

— Ни в каком, — шепотом выдохнул Сезенак. Он снова дернул ногой и безжизненно замер на диване, в уголках губ выступило немного белой пены.

Анри сделал шаг по направлению к Надин:

— Оставь его!

— Нет, я хочу, чтобы он заговорил, — резко произнесла она. — Он заговорит или сдохнет. Слышишь, — продолжала она, опять поворачиваясь к Сезенаку, — если не заговоришь, тебя оставят подыхать.

Анна с Дюбреем застыли на месте; ясно было одно: если они хотели знать, как относиться к Сезенаку, а лучше, конечно бы, знать, то другого такого случая не представится, спрашивать надо было теперь.

Надин схватила Сезенака за волосы:

— Нам известно, что ты выдавал евреев, многих евреев: когда ты начал? Говори. — Она трясла его

голову, а он стонал:

— Ты делаешь мне больно!

— Отвечай, сколько евреев ты выдал? — спрашивала Надин. Он вскрикнул от боли.

— Я помогал им, — сказал он, — я помогал им уйти. Надин отпустила его:

— Ты не помогал им, ты выдавал их. Скольких ты выдал? Сезенак начал рыдать в подушку.

— Ты выдавал их, признайся! — настаивала Надин.

— Одного время от времени, чтобы спасти других, иначе было нельзя, — вымолвил Сезенак. Он приподнялся и огляделся в растерянности. — Вы несправедливы! Я спасал их. И многих спас.

— Все наоборот, — сказала Надин. — Ты спасал одного из двадцати, чтобы он посылал к тебе клиентов, а других выдавал. Скольких ты выдал?

— Не знаю, — ответил Сезенак. И вдруг закричал: — Не дайте мне погибнуть!

— Ну хватит! — сказала Анна, подойдя к дивану; она наклонилась над Сезенаком и подняла рукав; Надин вернулась к Анри:

— Ты убедился?

— Да, — ответил он и добавил: — И все-таки никак не могу в это поверить.

Он часто видел Сезенака с остекленевшим

взглядом, с потными руками, видел его сейчас простертым на этом диване; однако все это не стирало образа молодого героя с красным платком на шее, который ходил от одной баррикады к другой с большим ружьем на плече. Когда они вернулись в кабинет и сели, Анри спросил:

— Ну и что мы будем делать?

— Какие могут быть вопросы, — с живостью отозвалась Надин, — он заслуживает пули в голову.

— Ты сама собираешься стрелять? — спросил Дюбрей.

— Нет, но я позвоню в полицию, — заявила Надин, протягивая руку к телефону.

— В полицию! Ты понимаешь, что говоришь? — сказал Дюбрей.

— Ты сдашь человека в полицию? — спросил Анри.

— Черт возьми! Этот негодяй выдал гестапо десятки евреев, и ты думаешь, я буду с ним церемониться! — возмутилась Надин.

— Оставь телефон в покое и сядь, — нетерпеливо сказал Дюбрей. — Ни о каких полицейских и речи быть не может. Исходя из этого и надо принимать решение. Однако мы не можем дать ему кров и лечить, чтобы потом он преспокойно

вернулся к своему милому ремеслу.

— Что было бы вполне логично! — заметила Надин. Прислонившись к стене, она смотрела на всех с мрачным видом.

Воцарилось молчание. Четыре года назад все было бы просто: когда действия — живая реальность, когда веришь в цели, слово «справедливость» имеет смысл: предателя убивают. Но что делать с бывшим предателем, когда уже ни на что не надеешься?

— Оставим его здесь на два-три дня, чтобы поставить на ноги, — сказала Анна, — он действительно очень болен. А потом отправим его в какую-нибудь отдаленную колонию, например во Французскую Западную Африку, у нас есть там знакомые. Он никогда не вернется: слишком боится, что его убьют.

— А что с ним станется? Не будем же мы давать ему рекомендательные письма, — возразил Дюбрей.

— Почему бы и нет? Дайте ему денежное пособие, раз уж на то пошло, — сказала Надин. Голос ее дрожал от возмущения.

— Видишь ли, ему никогда не избавиться от наркомании, он, по сути, уже не человек, а отребье, — заметила Анна. — В любом случае жизнь,

которая ждет его впереди, и без того достаточно ужасна.

Надин топнула ногой:

— Ему так просто не выкрутиться!

— Столько других, которые выкрутились! — сказал Анри.

— Это не причина. — Она подозрительно взглянула на Анри: — Уж не боишься ли ты его, случаем?

— Я?

— Похоже, он кое-что знает о тебе.

— Он полагает, что Анри входил в банду Венсана, — вмешался Дюбрей.

— Да нет, — возразила Надин. — Ты сам слышал. Он сказал мне: «Если я заговорю, твоему мужу грозят такие же неприятности, как мне».

Анри улыбнулся:

— Ты думаешь, я был двойным агентом?

— Не знаю, что я должна думать, — сказала она. — Мне никогда ничего не говорят. Впрочем, мне на это плевать, — добавила она. — Можете хранить свои секреты. Но я хочу, чтобы Сезенак поплатился! Вы хоть понимаете, что он сделал?

— Мы понимаем, — сказала Анна. — Но что тебе это даст, если ты заставишь его поплатиться? Мертвых не воскресить.

— Ты рассуждаешь как Ламбер! Их не воскресить, но это не причина, чтобы о них забывать. Мы живы и можем пока думать о них, а не пресмыкаться перед теми, кто их убил.

— Но мы забыли их, — резким тоном сказала Анна. — Возможно, это не наша вина, однако мы не имеем больше прав на прошлое.

— Я ничего не забыла, — возразила Надин, — только не я.

— И ты тоже, как все остальные. У тебя своя жизнь, маленькая дочка, ты забыла. И если ты так стремишься наказать Сезенака, то потому, что хочешь доказать себе обратное, а это нечестно.

— Отказаться обделывать ваши мелкие делишки, это, по-твоему, нечестно! — сказала Надин и направилась к наружной застекленной двери. — Так вот, ваши сомнения я считаю подлостью! — с жаром воскликнула она и хлопнула дверью.

— Я ее понимаю, — сказала Анна. — Когда думаю о Диего, я ее понимаю. — Она поднялась. — Пойду приготовлю Сезенаку постель в павильоне. Он спит, вам остается только перенести его...

Анна поспешно вышла, и Анри показалось, что она вот-вот заплачет.

— Раньше я был бы готов сам его убить, — сказал Анри. — Сегодня это не имело бы никакого

смысла. И все-таки какой стыд — помогать выжить такому типу, — добавил он.

— Да, любое решение неминуемо окажется скверным, — заметил Дюбрей. Он взглянул на Сезенака: — Нет человека — нет проблем. Если бы мы были участниками действия, то никакой проблемы не возникло бы. Только теперь мы вне игры, поэтому наше решение неизбежно будет незаконным. — Он встал. — Давайте уложим его.

Сезенак спал, лицо его выглядело спокойным; с закрытыми глазами к нему возвращалось немного былой красоты. Он оказался не тяжелым. Они отнесли его в павильончик и положили одетым на кровать. Анна прикрыла ему одеялом ноги.

— Каким безобидным кажется тот, кто спит, — прошептала она.

— Возможно, он не так уж безобиден, — заметил Анри. — Наверняка он знает кучу всяких вещей о Венсане и его приятелях. А в настоящий момент есть немало таких, кто охотно оправдал бы бывшего гестаповца, чтобы избавиться от бывших подпольщиков.

— Вам не кажется, что если бы он что-то знал, то у Венсана уже были бы неприятности? — спросила Анна.

— Послушай, — сказал Дюбрей, — лечение

лечением, но попробуй расспросить его с пристрастием: наркоманы болтливы, быть может, мы узнаем, что у него за душой. — Он задумался. — И все-таки я считаю, что в любом случае его лучше отправить подальше.

— Почему понадобилось, чтобы он пришел именно сюда! — сокрушалась Анна. Она казалась до того взволнованной, что Анри решил оставить ее наедине

с Дюбреем. Он поднялся к себе в комнату, сказав, что у него пропал аппетит и что он перекусит попозже вместе с Надин.

Анри облокотился на подоконник; вдали виднелась темная масса холма, а рядом — павильончик, где лежал Сезенак: точно так веселой рождественской ночью он лежал в квартире Поль. Все громко смеялись, поздравляли друг друга с победой, кричали вместе с Престоном «Да здравствует Америка» и пили за здравие СССР. Но Сезенак оказался предателем, услужливая Америка готовилась поработить Европу, а что касается СССР, лучше всего было не особенно присматриваться к тому, что там происходит. Не сдержав обещаний, которых оно никогда и не давало, прошлое стало всего лишь ловушкой для простаков. На темном холме фары какой-то машины проложи-

ли широкую сияющую борозду. Анри долго стоял неподвижно, глядя на эти извивающиеся в ночи световые пути. Сезенак спал, и его преступления вместе с ним. Надин бродила по полям; у Анри не было ни малейшего желания объясняться. Он лег, не дожидаясь ее возвращения.

Сквозь смутный сон Анри показалось, будто он вдруг услышал необычный шум, похожий на град; он открыл глаза, из-под двери сочилась полоска света: Надин вернулась, ее гнев не дремал, но шум доносился не из ее комнаты: по стеклам бил дождь мелких камешков. «Сезенак», — подумал Анри, соскакивая с постели. Он открыл окно и свесился: Венсан. Торопливо натянув одежду, Анри спустился в сад.

— Что ты здесь делаешь?

Венсан сидел на зеленой деревянной скамейке, прислонившись спиной к дому; лицо его было спокойным, но левая нога судорожно стучала по земле, штанина его брюк дрожала.

— Ты мне нужен. У тебя есть машина?

— Да, а в чем дело?

— Я только что убил Сезенака, надо убрать его отсюда. Анри с изумлением посмотрел на Венсана.

— Ты убил его?

— Другого выхода не было, — ответил Венсан, — он спал, я воспользовался своим револьвером с глушителем. — Венсан говорил четко и быстро, потом добавил: — Только этот подлец не пожелал сгореть.

— Сгореть?

— В маки мы стащили у фрицев фосфорные таблетки; обычно они не подводят, но, возможно, теперь они уже слишком старые, хотя я предусмотрительно держал их в сухом месте. Я без толку прождал три часа: живот едва затронуло. Скоро рассвет. Надо погрузить его в машину.

— Зачем ты это сделал! — прошептал Анри. Он опустился на скамью; он знал, что Венсан способен убить, что он убивал, но это было абстрактное знание; до сих пор Венсан был убийцей без жертвы; его мания, подобно пьянству или наркотику, представляла опасность лишь для него. И вот теперь он вошел в павильон с револьвером в руках, приставил дуло к живому виску, и Сезенак умер; в течение трех часов Венсан оставался наедине с приятелем, которого он убил и который не хотел сгорать. — Мы отправили бы его куда-нибудь в джунгли, откуда он никогда не вернулся бы!

— Ну да, как же! — сказал Венсан. Его нога успокоилась, но голос звучал не так твердо. — Се-

зенак! Изменник! Ты только представь себе! Как он обвел нас вокруг пальца! Шансель говорил: «Это мой братишка!», а я, несчастный идиот, поверил! Если бы я не остерегался из-за наркотика, он и меня сдал бы полицейским, а я столько для него сделал, сколько никогда ни для кого не делал. Даже если бы я знал, что поплачусь за это своей шкурой, я все равно заполучил бы его собственную.

— Как ты узнал, что он здесь?

— Я шел по следу, — неопределенно ответил Венсан. И добавил: — Я приехал на велосипеде и сложил бы останки в мешок, привязал бы к мешку камень и бросил бы все вместе в реку. Я прекрасно справился бы один. Не понимаю, почему он не сгорел! — в недоумении повторил Венсан. Молча поразмыслив с минуту, он встал: — Надо поторапливаться.

— Что ты хочешь делать?

— Отвезем его, пусть примет ванну, хорошенькую ванночку вечности. Я присмотрел отличное местечко.

Анри не шелохнулся; ему казалось, что его просят убить Сезенака собственными руками.

— Что-то не так? — спросил Венсан. — Не можем же мы оставить его тут, а? Но если ты не

хочешь помогать мне, ладно, одолжи хоть свою колымагу, и я попытаюсь справиться сам.

— Я помогу тебе, — сказал Анри, — но взамен попрошу тебя об одной вещи: обещай мне расстаться со своей бандой.

— То, что я сделал сейчас, это работа одиночки, — ответил Венсан. — А что касается моей банды, повторяю тебе то, что говорил раньше: ты не можешь предложить мне ничего лучше. Что вы предпринимаете против тех подлецов, которые теперь возвращаются как ни в чем не бывало? Ничего. Так что позволь нам защищаться.

— Это не способ защиты.

— Лучшего ты придумать не можешь. Идешь или нет, твое дело, — добавил Венсан, — но решайся.

— Ладно, — сказал Анри, — я иду.

Спорить было не время; впрочем, Анри сам не знал, что говорил, все казалось нереальным. Легкий ветерок играл ветками липы, запах увядающих роз поднимался к дому с голубыми створками, то была ночь, похожая на все другие ночи, когда ничего не происходит. Анри последовал за Венсаном внутрь павильона, и тут каждодневный мир опрокинулся в небытие. Запах не оставлял сомнений: густой, победонос-

ный запах, который наполняет кухни, где палят куриный пух. Анри взглянул на кровать и едва не вскрикнул: негр. У человека, лежавшего на белой простыне, было совсем черное лицо.

— Это фосфор, — сказал Венсан и откинул простыню: — Взгляни!

Маленькую дырочку в виске он заткнул ватой, ни единой капли крови: Венсан был аккуратен. Тело с выступающими ребрами было цвета подгоревшего хлеба, и посреди живота фосфор проделал глубокое отверстие{135} — ничего общего между Сезенаком и этой черноватой надгробной фигурой.

— А одежда? — спросил Анри.

— Я сложу ее в свои сумки и сам о ней позабочусь. — Венсан схватил труп под мышки. — Осторожно, как бы он не переломился пополам, а то будут неприятности, — сказал Венсан со знанием дела, будто санитар. Анри взял труп за ноги, и они отнесли его в гараж.

— Подожди, я захвачу свое снаряжение, — сказал Венсан.

Его велосипед был спрятан за кустарником, он принес оттуда веревку и мешок с тяжелым камнем.

— В мешке он не удержится, но я все улажу,

— сказал Венсан. К животу Сезенака он прочно привязал камень, завернутый в мешок, а мешок закрепил вокруг тела морским узлом. — Так он наверняка пойдет ко дну, — с удовлетворением сказал Венсан.

Все это они положили на заднее сиденье и накрыли пледом. Дом выглядел спящим, освещенным оставалось только окно Надин: догадывалась ли она о чем-то? Они толкали машину до самой дороги, Анри постарался бесшумно тронуться с места; деревня тоже, казалось, спала, но наверняка найдутся люди, страдающие бессонницей, которые подстерегают каждый шорох.

— Много евреев он выдал? — спросил Анри. Правосудие не имело большого отношения к этой истории, но ему необходимо было убедиться в преступлениях Сезенака.

— Сотни. Работа была массовая, вспомни все его переходы через линию. Негодяй! Как подумаю, что он едва не ускользнул от меня! — сказал Венсан. — Это я виноват, я допустил оплошность. Обнаружив его след, я имел глупость примчаться к нему в гостиницу, я мог бы прикончить его в номере, что было бы совсем не трудно. Он отказался открыть дверь и ускользнул от меня. Но я его все-таки прикончил!

Венсан говорил не совсем внятно, а машина тем временем катила по сонной дороге. Под этими молчаливыми небесами трудно было поверить, что где-то в эту минуту люди умирают, убивают и что все случившееся реально.

— Почему он работал с гестапо? — спросил Анри.

— Нужны были деньги, — ответил Венсан. — Я думал, он начал употреблять наркотики лишь после смерти Шанселя, когда день ото дня все вокруг становилось гнуснее и гнуснее, но нет, начало было положено давно. Бедняга Шансель! Он говорил, что Сезенак любит опасную жизнь, и восхищался им, он и не подозревал, что это означало наркотики и деньги любой ценой.

— Но почему он пристрастился к наркотикам? Молодой буржуа из хорошей семьи.

— Сбился с пути, — с пуританским видом ответил Венсан, — развратился и стал негодяем. — Он умолк и вскоре подал знак: — Вот мост.

Дорога была пустынна, река тоже; в одну секунду они швырнули через парапет то, что было когда-то Сезенаком. Послышался всплеск воды, на поверхности образовалось волнение, пошла рябь, и вот уже снова река безмятежна, дорога пустынна, небо, тишина. «Никогда мне не узнать,

кто сейчас пошел ко дну», — подумал Анри; эта мысль смущала его, словно он должен был Сезенаку хотя бы надгробное слово по всем правилам.

— Я благодарен тебе, — сказал Венсан, когда они развернулись.

— Оставь при себе свою благодарность, — ответил Анри. — Я помог тебе, потому что иначе было нельзя, но я против этого, больше чем когда-либо.

— Одним подлецом меньше — это одним подлецом меньше, — отвечал Венсан.

— Я понимаю, что ты сам хотел рассчитаться с Сезенаком, — сказал Анри, — но не говори мне, что у тебя есть истинные причины убивать людей, которых ты не знаешь: просто ты нашел своего рода наркотик — да, и ты тоже, — это стало манией.

— Ошибаешься, — с живостью возразил Венсан, — мне не нравится убивать, я не садист и не люблю кровь. Были в подполье люди, которым убийство фашистских полицейских доставляло удовольствие: из автоматов они разносили их на куски, а меня это приводило в ужас. Я нормальный человек, и ты прекрасно это знаешь.

— И все-таки что-то не так, — сказал Анри, — убивать ради убийства — это ненормально.

— Я убиваю не ради убийства, а для того, чтобы некоторые подлецы сдохли.

— А почему тебе так хочется, чтобы они сдохли?

— Если ты ненавидишь какого-то типа, нормальное дело хотеть, чтобы он сдох, а вот в противном случае ты — псих. — Он пожал плечами: — Враки все россказни о том, будто убийцы — это сексуально озабоченные люди и прочая чепуха. Я не говорю, что в банде нет одного или двух чокнутых, но самые остервенелые — это как раз славные отцы семейств, у которых с этим делом все в порядке и никаких проблем.

Какое-то время они ехали молча.

— Пойми, — сказал Венсан, — надо знать, на чьей ты стороне.

— Необязательно для этого убивать, — возразил Анри.

— Поневоле приходится впутываться.

— Когда Жерар Патюро идет защищать мальгашей, не боясь того, что его могут линчевать, он впутывается, и это имеет смысл. Постарайся впутываться во что-то полезное.

— Какой пользы ты хочешь, если все мы сдохнем в грядущей войне? Можно только свести счеты, и все.

— Войны, возможно, не будет.

— Ну да! Всем нам крышка! — сказал Венсан и добавил, когда они уже подъезжали к саду: — Послушай, если вдруг возникнут неприятности, ты ничего не знаешь, ничего не видел, ничего не слышал. Сезенак исчез, и вы подумали, что он смылся. Если тебе станут рассказывать, будто я раскололся, будь уверен, что это чистый обман. Отрицай все.

— Если возникнут неприятности, я тебя не брошу, — ответил Анри. — А сейчас сматывайся потихоньку.

— Сматываюсь.

Анри поставил машину в гараж; когда он вышел оттуда, Венсан исчез. Можно было действительно подумать, что Сезенак сбежал, что Венсан не приезжал в Сен-Мартен и вообще ничего не случилось.

Но что-то все-таки случилось. В тусклом свете раннего утра они все трое сидели посреди гостиной: Анна и Дюбрей в домашних халатах, Надин — полностью одетая; она плакала. Подняв голову, она растерянно спросила:

— Откуда ты приехал?

Анри сел рядом с ней и обнял ее за плечи:

— Почему ты плачешь?

— Это я виновата! — простонала Надин.

— В чем ты виновата?

— Это я позвонила Венсану. Я звонила из кафе. Только бы никто ничего не слышал!

Анна поспешно добавила:

— Она всего лишь хотела, чтобы Венсан донес на Сезенака полиции.

— Я умоляла его не приезжать, — сказала Надин, — но ничего не могла поделать. Я дождалась его на дороге, я испугалась. Он поклялся мне, что хочет поговорить с Сезенаком, и отослал меня в дом. Много времени спустя он бросил камешки в мое окно и спросил, где твое. Что случилось? — спросила она затравленно.

— Сезенак на дне реки с огромным камнем на шее, — ответил Анри, — его не скоро найдут.

— О Господи! — Надин плакала, от рыданий сотрясалось все ее крепкое тело.

— Сезенак заслуживал пули, ты сама говорила, — сказал Дюбрей. — И я думаю, это лучшее, что с ним могло случиться.

— Он был жив, а теперь он мертв! — вымолвила Надин. — Это так ужасно! Долгое время они безмолвствовали, давая ей выплакаться. Она подняла

голову:

— Что теперь будет?

— Решительно ничего.

— А если его найдут?

— Его не найдут, — ответил Анри.

— Станут беспокоиться о его исчезновении. Кто знает, не сказал ли он своей подружке или приятелям, что поехал сюда? А в деревне никто не заметил твоих передвижений или Венсана? А если рядом с Венсаном находится другой стукач, который обо всем догадается?

— Не волнуйся. Если случится самое худшее, я сумею защититься.

— Ты соучастник убийства.

— Я уверен, что с помощью хорошего адвоката меня оправдают, — сказал Анри.

— Нет, необязательно! — возразила Надин.

Она горько плакала, испытывая мучительные сожаления, приводившие Анри в уныние. Надин вошла в телефонную кабину с досады на своих родителей и на себя, неужели действительно нельзя искоренить в ней упрямую озлобленность, жертвой которой она первая и становилась? Какой несчастной она себя ощущала!

— Тебя на долгие годы посадят в тюрьму! — сказала она.

— Да нет! — успокоил ее Анри. Он взял Надин

за руку:

— Пойди отдохни. Ты не спала всю ночь.

— Я не смогу заснуть.

— Ты попытаешься. Я тоже.

Они поднялись по лестнице и вошли в комнату Анри. Надин вытерла глаза и громко высморкалась.

— Ты меня ненавидишь, да?

— Ты с ума сошла! — сказал Анри. — Знаешь, что я думаю? — добавил он. — Что ты сама всех слегка ненавидишь. До других мне нет дела, но меня-то не надо ненавидеть, потому что я люблю тебя, люблю, вбей себе это в голову.

— Ну нет, ты меня не любишь, — возразила Надин. — И ты прав: я недостойна любви.

— Сядь сюда, — сказал Анри. Он сел рядом с ней и положил свою ладонь ей на руку. Ему очень хотелось остаться одному, но он не мог бросить Надин с ее угрызениями совести, он и сам терзался из-за того, что не сумел завоевать ее доверие. — Посмотри на меня.

Она обратила к нему свое несчастное лицо с опухшими глазами, и он порывисто обнял ее. Да, что предпочитаешь всему остальному, то и любишь; к ней он был привязан больше, чем к кому бы то ни было: он любил ее, и надо было

убедить ее в этом.

— Ты, правда, думаешь, что я не люблю тебя? Это серьезно? Надин пожала плечами:

— А за что меня любить? Что я тебе даю? Я даже не красива.

— Ах, оставь эти дурацкие комплексы, — сказал Анри. — Ты мне нравишься такой, какая есть. А даешь ты мне себя: это все, чего я прошу, потому что люблю тебя.

Надин опечаленно взглянула на него:

— Очень хотелось бы тебе верить.

— Попробуй.

— Нет, — ответила она. — Я слишком хорошо себя знаю.

— Видишь ли, я тоже тебя знаю.

— Вот именно.

— Я тебя знаю и думаю о тебе только хорошее: так что?

— А то, что ты плохо меня знаешь. Анри рассмеялся:

— Отличный вывод!

— Я плохая! — сказала Надин. — Я все время делаю отвратительные вещи.

— Да нет. Сегодня вечером ты рассердилась, и это понятно. Ты не предвидела, что произойдет. Так перестань терзать себя.

— Ты добрый, — сказала Надин. — Но я этого не заслуживаю. — Она снова заплакала. — Ну почему я такая? Я сама себе противна.

— Ты не права, — ласково сказал Анри.

— Я сама себе противна! — повторила она.

— Не надо, дорогая, — сказал Анри. — Видишь ли, все было бы гораздо лучше, если бы ты не решила, что тебя никто не любит: ты сердишься на людей за их мнимое безразличие, и потому в наказание время от времени ты им лжешь или делаешь какую-нибудь пакость. Но это никогда не заходит слишком далеко и не является порождением черной души. Надин покачала головой:

— Ты не знаешь, на что я способна.

— Прекрасно знаю, — улыбнулся Анри.

— Нет, — произнесла она таким безнадежным тоном, что Анри обнял ее.

— Послушай, — сказал он, — если тебя что-то мучает, лучше скажи мне. После того, как скажешь, это покажется тебе менее ужасным.

— Я не могу, — ответила Надин. — Это отвратительно.

— Не говори, если не хочешь, — сказал Анри. — Но если это то, что я думаю, то все не так страшно.

Надин с тревогой посмотрела на него:

— Что ты думаешь?

— Речь идет об одной вещи, которая касается тебя и меня?

— Да, — призналась она, не спуская с него глаз. Губы ее дрожали.

— Ты нарочно забеременела? Тебя это мучает? Надин опустила голову.

— Как ты догадался?

— Ты должна была сплутовать, это единственное объяснение.

— Ты догадался! — сказала она. — Не говори мне, что я тебе не противна!

— Но, Надин, ты никогда бы не согласилась, чтобы я женился на тебе против воли, никогда ты не стала бы меня шантажировать! Это всего лишь маленькая игра, в которую ты играла сама с собой.

Она с умоляющим видом подняла на него глаза.

— Нет, я никогда не стала бы шантажировать.

— Я прекрасно знаю. По той или иной причине у тебя, верно, был приступ враждебности ко мне, и тогда ты затеяла эту игру. Ради забавы ты навязала мне ситуацию, которой я не хотел, но ты рисковала больше меня, так как никогда не желала всерьез принуждать меня.

— И все-таки это было отвратительно! — сказала Надин.

— Да нет. Главное, это было бесполезно: чуть раньше, чуть позже мы все равно поженились бы и завели ребенка.

— Это правда? — спросила Надин.

— Разумеется. Мы поженились, потому что оба хотели этого. И я не чувствовал никаких особых обязательств по отношению к тебе, так как догадывался: ты хотела того, что случилось.

— Думаю, если бы тебе не нравилось жить со мной, то ты и не стал бы этого делать, — в нерешительности произнесла Надин.

— Сделай еще одно усилие, — весело сказал Анри. — Пойми, что мне это не понравилось бы, если бы я не любил тебя.

— Ну, это другое дело, — возразила Надин. — Тебе может кто-то нравиться, но ты не обязательно его любишь.

— Это не про меня, — сказал Анри. — Послушай! Почему ты не хочешь верить, что я тебя люблю? — добавил он немного нетерпеливо.

— Я не виновата, — со вздохом ответила Надин. — Я подозрительна.

— Ты не всегда была такой, — сказал Анри. — С Диего ты такой не была. Надин сжалась.

— Это было по-другому.

— В чем?

— Диего был мой.

— Не больше, чем я, — с живостью отозвался Анри. — Разница в том, что он был ребенком, но он постарел бы. И если ты откажешься заранее видеть в каждом взрослом судью и, следовательно, врага, мой возраст перестанет тебя смущать.

— У нас с тобой никогда не будет так, как с Диего, — твердо заявила Надин.

— Любовь не бывает одинаковой, — сказал Анри. — Но зачем сравнивать? Разумеется, если ты ищешь в наших отношениях не то, что в них есть, то не найдешь этого.

— Я никогда не забуду Диего, — сказала Надин.

— И не забывай. Но не используй свои воспоминания против меня. А ты это делаешь, — добавил он. — По многим причинам ты в обиде на нынешнюю жизнь и потому ищешь убежища в прошлом. Прикрываясь прошлым, ты чувствуешь свое превосходство над настоящим.

Надин в нерешительности посмотрела на него.

— Да, я дорожу своим прошлым, — призналась она.

— Я хорошо тебя понимаю, — сказал Анри. — Только и тебе надо понять одну вещь: твоя

злонамеренность объясняется не тем, что у тебя очень яркие воспоминания, а наоборот; ты используешь свои воспоминания, чтобы оправдать себя.

Надин с минуту молчала, с сосредоточенным видом закусив нижнюю губу.

— Откуда у меня эта злонамеренность?

— От горечи, от недоверия. Получается порочный круг, — сказал Анри. — Ты сомневаешься в моей любви и потому сердишься на меня, и, чтобы наказать меня, ты не доверяешь мне и обижаешься. Но поразмысли, — настойчиво продолжал он, — если я люблю тебя, то заслуживаю твоего доверия, и ты несправедлива, лишая меня его.

Надин огорченно пожала плечами:

— Если это порочный круг, из него нельзя выйти.

— Можно, — возразил Анри. — Если ты захочешь, то сможешь. — Он прижал ее к себе. — Решись подарить мне свое доверие, даже если сомневаешься, что я его заслуживаю. Мысль быть обманутой внушает тебе ужас, но ведь это все-таки лучше, чем быть несправедливой. И ты увидишь, — добавил он, — я заслужу твое доверие.

— Ты считаешь, что я несправедлива по отношению к тебе? — спросила Надин.

— Да. Ты несправедлива, когда упрекаешь меня в том, что я не Диего. Несправедлива, когда видишь во мне судью, в то время как я человек, который любит тебя.

— Я не хочу, — с тоской в голосе сказала Надин, — не хочу быть несправедливой.

Анри улыбнулся:

— Так не будь больше. Если ты проявишь хоть немного доброй воли, я, в конце концов, сумею убедить тебя, — сказал он, целуя ее.

Она обвила его шею руками.

— Я прошу у тебя прощения, — сказала она.

— Мне нечего тебе прощать. Иди, — добавил он. — Теперь ты попробуешь поспать. Поговорим обо всем еще раз завтра.

Он помог ей лечь в постель и подоткнул одеяло. Потом пошел к себе в комнату. Никогда он так откровенно не говорил с Надин, и ему казалось, что в ней что-то дрогнуло. Надо быть настойчивым. Он вздохнул. И что дальше? Чтобы сделать ее счастливой, надо и самому стать таким. А он этим утром уже не понимал, что может означать на деле это слово.

Прошло два дня, газеты не сообщали об исчез-

новении Сезенака. Анри казалось, что он все еще чувствует вокруг павильона запах горелого, картина раздувшегося лица, живота с отверстием не стиралась; но на смену этому кошмару уже пришла другая тревога: три державы порвали с Москвой{136}, отношения между Востоком и Западом были до того напряженными, что война казалась неизбежной. Во второй половине дня Анри с Надин отвезли на машине Дюбрея на Лионский вокзал: он был мрачен, как и многие другие. Анри смотрел издали, как Дюбрей пожимает руки в зале вокзала: должно быть, он думал, что смешно именно сегодня ехать защищать мир с помощью речей. Однако, когда Дюбрей вместе с тремя спутниками направился на перрон, Анри провожал их глазами с некоторым сожалением. Он ощущал себя отлученным.

— Что будем делать? — спросила Надин.

— Прежде всего пойдем за твоим билетом и документами на машину.

— Мы все-таки едем?

— Да, — ответил Анри. — Если увидим, что ситуация осложняется, перенесем наш отъезд. Но, возможно, наступит разрядка. Мы назначили дату, пока будем ее придерживаться.

Они ходили по магазинам, купили пластинки,

зашли в «Вижиланс», потом в «Анклюм» повидать Лашома: коммунисты решили официально взять мальгашское дело в свои руки, как только вынесут приговор; политбюро сделает заявление, они пустят в ход петиции, организуют митинги. Лашом явно старался проявить оптимизм, хотя прекрасно сознавал, что никто ничего не добьется; в отношении международного положения он тоже был настроен невесело. Анри повел Надин в кино. На обратном пути, пока они ехали по автостраде сквозь влажные сумерки, она приставала к нему с вопросами, на которые он не мог ответить. «Если тебя мобилизуют, что ты сделаешь? Что будет, если русские оккупируют Париж? Что с нами станется, если выиграет Америка?» Ужин прошел мрачно, и Анна сразу поднялась в свою комнату. Анри остался в кабинете с Надин. Она достала из сумки два пухлых конверта и билет в спальный вагон.

— Хочешь посмотреть свою корреспонденцию?

— Да, давай.

Надин вручила ему один из конвертов и стала рассматривать свой билет:

— Ты только представь! Я буду путешествовать в спальном вагоне: мне стыдно.

— Ты недовольна? Раньше тебе так хотелось путешествовать в спальном вагоне.

— Когда я ездила третьим классом, я завидовала людям в спальных вагонах, но мне неприятно думать, что теперь завидовать станут мне, — сказала Надин. Она положила билет обратно в сумочку. — С тех пор, как у меня в руках этот билет, отъезд кажется мне страшно реальным.

— Почему ты говоришь: страшно?

— Отъезд всегда немного страшен, разве не так?

— Лично меня смущает неопределенность, — сказал Анри. — Мне хотелось бы быть уверенным, что мы сможем уехать.

— Во всяком случае, можно было бы перенести срок, — заметила Надин. — Тебя не огорчает, что ты не примешь участия в митинге, о котором говорил Лашом?

— Раз коммунисты собираются работать в полную силу, я больше не нужен, — отвечал Анри. — Если мы начнем откладывать отъезд, то нет причин останавливаться, — с живостью добавил он. — Четырнадцатого начинается новый судебный процесс. А когда покончат с Мадагаскаром, случится что-нибудь еще. Надо сразу обрубать концы.

— О! Это твое дело, — сказала Надин.

Она стала листать «Аргус»[137], а он развернул письмо: письмо от молодого человека, очень милое. Обычно такие письма доставляли ему удовольствие. Но этим вечером, сам не зная почему, он испытывал досаду при мысли, что в глазах некоторых людей он являет собой прекрасный пример для подражания. Часы пробили десять. Дюбрей в эту минуту выступал на митинге против войны. И Анри вдруг подумал, что хотел бы быть на его месте. Он часто говорил себе: «Война — как смерть, бессмысленно готовиться к ней». Но когда самолет пикирует, лучше быть пилотом, который пытается выровнять его, чем испуганным пассажиром. Что-то делать, пускай даже говорить, все лучше, чем сидеть в своем углу с необъяснимой тяжестью на сердце. Анри представил себе зал, заполненный народом, обращенные к Дюбрею лица, Дюбрея, устремленного к ним, бросающего им слова: там нет места для страха, тревоги, вместе они надеялись. После митинга Дюбрей пойдет есть колбасу и вместе с другими будет запивать ее божоле в случайном бистро, сказать им друг другу особо нечего, но им будет хорошо. Анри закурил сигарету. Словами войну не остановишь, но слово вовсе не стремит-

ся изменить ход истории, просто это своего рода манера жить в ней. В тиши кабинета, во власти своих душевных кошмаров Анри чувствовал, что живет он в ней плохо.

— В последнем номере прекрасные рецензии, — сказала Надин. — О твоей новелле говорят много хорошего.

— Да, журнал держится, — равнодушно ответил Анри.

— Единственный его недостаток как раз в том и заключается, что это журнал, — сказала Надин. — Разумеется, что касается текущих событий, все сложилось бы иначе, если бы речь шла о еженедельнике.

— Почему твой отец никак не решится? — спросил Анри. — Он горит желанием. Люди из его движения были бы в восторге, да и коммунисты весьма благосклонно смотрят на этот проект. Что его останавливает?

— Ты прекрасно знаешь, — ответила Надин. — Он не хочет ввязываться без тебя.

— Какая нелепость, — возразил Анри. — Он найдет любых сотрудников, если ему понадобится.

— Это не то, — поспешно сказала Надин. — Ему нужен человек, на которого он мог бы положиться с закрытыми глазами. Знаешь, он изменился,

— добавила она. — Должно быть, возраст. Он уже не верит, что способен на все что угодно.

— Думаю, в конце концов он решится, — сказал Анри. — Его все к этому подталкивают.

Надин вопросительно взглянула на Анри:

— Если бы мы не уезжали в Италию, тебе интересно было бы заняться этим?

— Мы уезжаем именно для того, чтобы избежать такого рода вещей, — ответил Анри.

— А я нет, — сказала Надин. — Я еду, чтобы жить на солнце в красивом месте.

— И это, конечно, тоже, — согласился Анри. Надин протянула руку к письмам:

— Могу я почитать?

— Если тебе интересно.

Анри неуверенно стал листать «Аргус»; «Вижиланс» он больше не занимается, все это его уже не касалось.

— Какое милое письмо молоденького студента, — сказала Надин. Анри рассмеялся:

— Того, кто пишет, что моя жизнь служит ему примером?

— Примеры берут, какие находят, — с улыбкой заметила Надин. — Серьезно, — продолжала она, — он кое-что понял.

— Да. Но какая глупость, эта его идея всесторон-

него человека. На самом деле я мелкобуржуазный писатель, который кое-как выкручивается, разрываясь между своими обязанностями и своими вкусами, и ничего более.

Лицо Надин омрачилось.

— А я, что я такое? Анри пожал плечами.

— Истина в том, что не следует доискиваться, кто ты есть. С такой меркой нельзя подходить.

Надин с сомнением посмотрела на него:

— А с какой другой меркой, ты считаешь, я могу определить свое место в жизни?

Анри ничего не ответил. А с какой меркой он сам будет определять свое место, находясь в Италии? Он снова увлеченно станет писать, и тогда уже у него не появится искушения ставить себя под вопрос как писателя. Ладно. Однако быть писателем — это не спасение от всего остального. Анри плохо себе представлял, как ему удастся не думать о своем месте.

— У тебя есть Мария, у тебя есть твоя жизнь, есть вещи, которые тебя интересуют, — весело сказал он.

— И все-таки у меня много свободного времени, — возразила Надин. — В Порто-Венере у нас будет уйма времени.

Анри внимательно посмотрел на Надин.

— Тебя это пугает?

— Не знаю, — отвечала она. — Я поняла, что до того, как у меня в кармане оказался этот билет, я никогда всерьез не верила в отъезд. А ты в него верил?

— Конечно, разве не ясно?

— Не так уж ясно, — ответила Надин немного агрессивно. — Люди ведут разговоры, обмениваются письмами, готовятся к отъезду, но до тех пор, пока не сядешь в поезд, это вполне может быть только игрой. — И она добавила: — Ты хоть уверен, что хочешь уехать?

— Почему ты об этом спрашиваешь? — удивился он.

— Просто у меня сложилось определенное впечатление, — сказала она.

— Ты думаешь, что я боюсь соскучиться с тобой?

— Нет. Ты мне двадцать раз повторял, что я не навожу на тебя скуку, и я решила поверить тебе, — серьезным тоном ответила она. — Я думаю обо всем в целом.

— О чем обо всем? — спросил Анри.

Он слегка рассердился. Это было так похоже на Надин: она чего-то хотела, безудержней, чем кто-либо, а когда добивалась своего, то теряла

голову. Именно у нее появилась идея такого дома, и она, казалось, так сильно стремилась к этому, что Анри ни на минуту не поставил под сомнение их план. А теперь она оставляла его одного перед лицом будущего, которого вдруг не стало.

— Ты говоришь, что не хочешь читать газет, но ты будешь их читать, — сказала Надин. — Представляешь, как странно будет получить «Вижиланс» или этот еженедельник, который когда-нибудь выйдет.

— Послушай, — сказал Анри, — когда уезжают вот так, надолго, всегда наступает трудный момент, который необходимо пережить. Это не причина, чтобы внезапно менять все наши планы.

— Глупо уезжать ради того лишь, чтобы не менять планов, — рассудительно заметила Надин.

— Ты слышала, что говорил на днях твой отец? Если я останусь, начнется все то же, что было раньше, когда ты упрекала меня за то, что у меня нет времени жить.

— Раньше я говорила много глупостей, — отвечала Надин.

— В этом году я не торопился и был очень счастлив, — сказал Анри. — Я еду в Италию, чтобы продолжить это.

Надин нерешительно взглянула на него:

— Если ты действительно думаешь, что будешь там счастлив...

Анри не ответил. Счастлив — пожалуй, это слово утратило свой смысл. Миром никогда не владеют, и защититься от него тоже нельзя. Ты внутри него, и все тут. В Порто-Венере или в Париже — какая разница, земля с ее несчастьями, ее преступлениями, ее несправедливостью все равно никуда не денется.

Остаток своей жизни он вполне может потратить на бегство, но убежища ему нигде не найти. Он все равно будет читать газеты, слушать радио, получать письма. Единственное, что он выиграет, это возможность сказать себе: «Я ничего не могу поделать». Внезапно что-то взорвалось в его груди. Нет. Одиночество, которое гнетет его этим вечером, и глухое бессилие вовсе не то, чего он хотел. Нет. Он не согласится вечно говорить себе: «Все происходит без меня». Надин ясно поняла: ни на мгновение он по-настоящему не выбирал это изгнание. Он вдруг осознал, что не один день уже с ужасом переносит мысль о нем.

— Ты будешь довольна, если мы останемся здесь? — спросил он.

— Я буду довольна везде, если будешь доволен

ты, — с жаром сказала она.

— Ты хотела жить на солнце, в красивом месте?

— Да. — Надин заколебалась. — Видишь ли, люди мечтают о рае, но, когда им предлагают его, они уже не спешат туда, — сказала она.

— Иными словами, ты будешь сожалеть об отъезде? Надин с серьезным видом взглянула на него:

— Я прошу тебя об одной вещи: делай то, что тебе хочется. Думаю, я осталась такой же эгоисткой, какой была раньше, — добавила она, — но не такой недальновидной. Если я буду думать, что навязала тебе свою волю, то это отравит мое существование.

— Я уже не знаю, чего хочу, — признался Анри. Он поднялся и поставил на проигрыватель одну из тех пластинок, которые только что купил. Если он не уедет, то у него не часто будет время, чтобы слушать их. Анри оглянулся вокруг. Если он не уедет, он знал, что его ждет, на этот раз он предупрежден. «По крайней мере, я сумею избежать некоторых ловушек, — сказал он себе и безропотно подумал: — Зато попаду в другие».

— Хочешь, послушаем немного музыку? — спросил Анри. — Нам необязательно решать все

сегодня вечером.

Но он знал, что все уже решено.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Неужели я предчувствовала, что дойду до этого? Когда я взяла пузырек из сумки Поль, я рассчитывала его выбросить, а сама спрятала на дне своей коробки для перчаток. Достаточно подняться к себе в комнату, достаточно одного движения, и я со всем покончу. Такая мысль меня утешает. Я прижимаюсь щекой к теплой траве и говорю тихонько: «Я хочу умереть»; горло мое разжимается, и я становлюсь вдруг очень спокойной.

Это не из-за Льюиса. Вот уже две недели, как огромная орхидея завяла и я ее выбросила, дело закрыто. Уже в Чикаго я начала выздоравливать, я выздоровею и не смогу помешать себе в этом. Люди, которых убивают везде понемногу, тоже тут ни при чем, так же как надвигающаяся война: быть убитой или умереть, разница невелика, все умирают приблизительно в одном и том же возрасте с разницей примерно в сорок лет. Нет. Все это меня не касается. Если бы что-то меня касалось, я бы чувствовала себя живой и не стремилась бы перестать быть таковой. Но меня снова настигает смерть, как в тот день, в пятнадцать лет, когда я закричала от страха. Мне уже

не пятнадцать лет. У меня уже нет сил бежать. Из-за нескольких дней ожидания приговоренный к смерти вешается в своей камере, а тут хотят, чтобы я терпеливо ждала целые годы! Зачем? Я устала. Когда устаешь, смерть кажется гораздо менее ужасной. Если я могу умереть от желания, которое испытываю к ней, воспользуемся этим.

Все началось две недели назад, с того момента, как я прилетела в Париж. Робер ждал меня на вокзале Инвалидов. Он не сразу меня увидел. Он ходил вдоль тротуара мелкими стариковскими шажками, и меня словно озарило: «Он стар!» Робер улыбнулся мне, взгляд его был по-прежнему все таким же молодым, но лицо начало сдавать и будет сдавать до тех пор, пока совсем не исказится. И с той минуты я непрестанно думаю: «Ему осталось десять или пятнадцать лет, может быть, двадцать: это мало — двадцать лет! А потом он умрет. Он умрет раньше меня». Сегодня утром он беседовал с Анри, они говорили, что надо все начать заново, что всегда все начинают заново, что иначе и быть не может, они строили планы, спорили. А я смотрела на его зубы; единственное, что сохраняет верность телу, — это зубы, в которых обнажается скелет. Я смотрела на скелет Дюбрея и говорила себе: «Он ждет своего часа». Час придет.

У нас есть возможность тянуть какое-то время, но пощады никогда не бывает. Я увижу Робера на кровати с восковым лицом, с фальшивой улыбкой на губах и буду одна перед его трупом. Какая ложь — умиротворенные каменные фигуры, которые спят бок о бок в склепах, и эти обнявшиеся супруги на своих погребальных урнах! Можно, конечно, смешать наш пепел, но смерть нашу соединить нельзя. В течение двадцати лет я думала, что мы живем вместе, но нет; каждый в одиночку заключен в собственном теле со своими артериями, которые затвердевают под усыхающей кожей, со своими печенью и почками, которые снашиваются, и своей кровью, которая бледнеет, со своей смертью, которая незаметно созревает в нем, отъединяя его от всех остальных.

Я знаю, что сказал бы мне Робер, он уже говорил это: «Я не приговоренный к смерти. Я живой». Он убедил меня. Но тогда ведь он разговаривал с живой, и жизнь — это истина живых. Я играла с мыслью о смерти: только лишь с мыслью; тогда я была еще жива. Сегодня дело другое. Я больше не играю. Смерть уже здесь; она заслоняет синеву неба, она поглотила прошлое и пожирает настоящее. Земля оледенела, небытие вновь завладевает ею. Скверный сон все еще плывет

сквозь вечность: пузырь, который я проткну.

Я поднимаюсь на локте, смотрю на дом, на липу, на колыбель, в которой спит Мария. День как день, похожий на все другие, и небо кажется голубым. Но как пусто! Все безмолвствует. Быть может, это молчание — всего лишь молчание моего сердца. Во мне нет больше любви — ни к кому, ни к чему. Я думала: «Мир велик, неистощим, жизни не хватит, чтобы насытиться им!» А теперь я смотрю на него равнодушно, он стал необъятным местом изгнания. Какое мне дело до далеких галактик и миллиардов людей, которые не знают и никогда не узнают меня! У меня всего лишь одна жизнь, значение имеет только она, но именно она теперь не в счет. Мне нечего больше делать на земле. Мое ремесло, какая насмешка! Как я посмею помешать какой-нибудь женщине плакать или заставить мужчину засыпать? Надин любит Анри, во мне она уже не нуждается. Робер был счастлив со мной, как был бы счастлив с другой или один. «Дай ему бумагу, время, и ему ничего больше не нужно». Конечно, он пожалеет обо мне, но на истинные сожаления он не способен, к тому же он и сам тоже скоро окажется под землей. Льюису я была нужна. Мне думалось: «Слишком поздно начинать все сначала», я приводила себе

разные доводы, и вот все доводы улетучились, я ему больше не нужна. Я прислушиваюсь: ни единого зова, ниоткуда. Ничто не защищает меня от того маленького пузырька, который ждет меня на дне коробки для перчаток. Я выпрямилась, поглядела на Марию. На ее замкнутом личике я опять вижу свою смерть. Когда-нибудь ей будет столько же лет, сколько мне, а меня уже здесь не будет. Она спит, дышит, она вполне реальна: она реальность и будущего, и забвения. Наступит осень, возможно, она пойдет гулять в этот сад или куда-то еще; если случайно она произнесет мое имя, никто ей не ответит, и мое молчание затеряется в общем молчании. Но она даже и не произнесет его, мое отсутствие станет таким полным, что никто и ведать о нем не будет. Эта пустота вызвала у меня головокружение.

Между тем я помню, что жизнь порой бывала чудесной, точно ярмарка, и сон ласковым, словно улыбка. В Гао мы спали на террасе гостиницы, на рассвете ветер врывался под противомоскитную сетку, и кровать раскачивалась, словно лодка; а с палубы парохода, пропахшей смолой, было видно, как из-за острова Эгина поднимается огромная оранжевая луна; небо и земля сливались в водах Миссисипи, гамак раскачивался во дворе, где ква-

кали жабы, и я видела, как теснились созвездия над моей головой. Я спала на песке в дюнах, на сене в крытом гумне, на мху, на сосновых иголках, в палатках, на стадионе в Дельфах{138} и под небом вместо крыши в древнем театре Эпидавра{139}, на полу в залах ожидания, на деревянных полках вагонов, на старинных кроватях под балдахином, на больших деревенских кроватях с пуховыми перинами, на балконах, скамейках, на крышах. И я спала в объятиях.

Довольно! Каждое воспоминание пробуждает тоску. Сколько смертей ношу я в себе! Умерла девочка, которая верила в рай, умерла девушка, считавшая бессмертными книги, идеи и человека, которого она любила, умерла молодая женщина, которая разгуливала, довольная, по миру, предназначенному для счастья, умерла влюбленная, со смехом просыпавшаяся в объятиях Льюиса. Они так же мертвы, как Диего и любовь Льюиса; у них тоже нет могилы, вот почему им заказан покой подземного царства. Они хоть и слабо, но все еще помнят себя и, томясь, призывают вечный сон. Сострадание к ним. Похороним их всех разом.

Я направилась к дому, бесшумно прошла мимо окна Робера. Он сидит за столом, работает: как

он близок! Как он далек! Достаточно окликнуть его, он улыбнется мне, а дальше? Он улыбнется мне на расстоянии: непреодолимом расстоянии. Между его жизнью и моей смертью нет связующей нити. Я поднялась к себе в комнату, открыла коробку для перчаток, взяла пузырек. Я держу в руке свою смерть: это всего-навсего маленький коричневатый пузырек.

Вдруг он перестал мне угрожать, он подчиняется мне. Сжимая пузырек, я легла на кровать и закрыла глаза.

Я дрожала от холода и в то же время обливалась потом, я боялась. Кто-то собирался отравить меня. Это была я и уже не я, опустилась черная ночь, все казалось таким далеким. Я сжимала пузырек. Мне было страшно. Но всей душой я хотела победить страх. Я одержу над ним победу. Я выпью. Иначе все начнется снова. Я не хочу. Все начнется снова. Мысли мои придут в порядок, все в тот же порядок, а также вещи и люди, Мария в своей колыбели, Диего неведомо где, Робер, спокойно шествующий к своей смерти, как Льюис к забвению, я вернусь к разуму, который поддерживает порядок: прошлое позади, будущее, пока невидимое, — впереди, свет, отделенный от тьмы, этот мир, победоносно выплывающий из

небытия, и мое сердце — как раз там, где оно бьется, ни в Чикаго, ни возле трупа Робера, а в своей клетке, у меня под ребрами. Все начнется снова. Я скажу себе: «У меня был приступ депрессии». Очевидность, приковавшую меня к этой постели, я объясню депрессией. Нет! Я достаточно всего отрицала, достаточно забывала, достаточно избегала, достаточно лгала; один раз, раз и навсегда, я хочу дать восторжествовать истине. Смерть победила: теперь она — настоящая. Достаточно одного движения, и эта истина станет вечной.

Я открыла глаза. Было светло, но разницы между ночью и днем не существовало. Я парила над безмолвием, великим религиозным безмолвием, как в те времена, когда лежала на своем пуховике в ожидании ангела, который должен был меня унести. Сад, комната молчали. Я тоже. Я перестала бояться. Все соглашалось с моей смертью. И я с ней соглашалась. Сердце мое ни для кого уже не бьется, как будто вообще перестало биться, как будто все другие люди уже обратились в прах.

Из сада донесся шум: шаги, голоса, но они не нарушали молчания. Я видела и была слепой, я слышала и была глухой. Надин очень громко сказала рассерженным голосом: «Мама не должна была оставлять Марию одну». Слова пронеслись

над моей головой, не коснувшись меня, их слова уже не могли затронуть меня. Внезапно во мне проснулось слабое эхо: тихий гложущий отзвук. «Что-то случилось?» Мария одна на лужайке: ее могла оцарапать кошка, укусить собака. Нет: в саду смеялись, но молчание уже не сомкнулось, чтобы отгородить меня. Эхо повторило: «Я не должна была». И я представила себе голос Надин, громкий и возмущенный: «Ты не должна была! Ты не имела права!» Кровь бросилась мне в лицо, и что-то живое обожгло сердце: «Я не имею права!» Ожог заставил меня очнуться. Я выпрямилась, тупо посмотрела на стены; в руках я держала пузырек, в комнате было пусто, но я была уже не одна. Они войдут в комнату; я ничего не увижу, но они меня увидят. Как я об этом не подумала? Не могу я навязать им свой труп и все, что за этим последует, отозвавшись в их сердцах: склонившийся над кроватью Робер, Льюис в доме в Паркере с пляшущими у него перед глазами фразами, неистовые рыдания Надин. Я не могу. Я встала, сделала несколько шагов, рухнула на стул перед своим туалетным столиком. Странно. Умру я — одна, а между тем переживать мою смерть будут другие.

Я долго сидела перед зеркалом, вглядываясь в

свое избегнувшее гибели лицо. Губы посинели бы, нос заострился, но не для меня: для них. Моя смерть не принадлежит мне. Пузырек все еще тут, под рукой, смерть по-прежнему рядом, но живые еще ближе. По крайней мере, пока Робер жив, я не смогу ускользнуть от них. Я убираю пузырек. Приговоренная к смерти; но и приговоренная к жизни — на какой срок? На десять, двадцать лет? Я говорила: двадцать лет — это мало. А теперь десять лет кажутся мне бесконечностью: длинным темным туннелем.

— Ты не спустишься?

Надин постучала, вошла, встала рядом со мной. Я чувствую, что бледнею. Она вошла бы и увидела на кровати меня, сведенное судорогой тело: какой ужас!

— Что с тобой? Ты больна? — с тревогой в голосе спросила она.

— У меня разболелась голова. Я поднялась принять аспирин.

Слова без усилий срываются с моих губ, и голос кажется мне нормальным.

— И ты оставила Марию одну, — проворчала Надин.

— Я сразу спустилась бы, но услыхала тебя и задержалась немного отдохнуть. Мне уже лучше,

— добавила я.

Надин подозрительно смотрит на меня, но все, что она подозревает, это неприятности с сердцем.

— Правда? Ты чувствуешь себя лучше?

— Аспирин помог мне. — Я встаю, чтобы укрыться от ее инквизиторского взгляда. — Давай спустимся{140}.

Анри протянул мне стакан с виски. Он просматривал бумаги вместе с Робером, который с радостным видом стал объяснять мне что-то. Я с изумлением спрашивала себя: «Как я могла быть такой легкомысленной? Как не подумала о бесконечных угрызениях совести, которые я готовила ему?» Нет, это не легкомыслие. На какое-то мгновение я действительно оказалась по ту сторону, там, где ничто не имеет значения, где все ничто.

— Ты слушаешь меня? — спросил Робер. И улыбнулся мне: — Где ты?

— Здесь, — отвечала я.

Я здесь. Они живут, они разговаривают со мной, и я жива. Очертя голову я снова бросилась в жизнь. Слова входят мне в уши и мало-помалу обретают смысл. Вот смета еженедельника и макеты, которые предлагает Анри. Нет ли у меня идеи для названия? Ни одно из тех, о которых

думали до сих пор, не подходит. Я ищу название. Я говорю себе, что, раз они оказались достаточно сильными, чтобы вырвать меня у смерти, быть может, они сумеют помочь мне снова начать жить. Они наверняка сумеют. Либо все мы становимся безучастными, либо земля заселяется вновь; я не безучастна. Раз мое сердце продолжает биться, надо, непременно надо, чтобы оно билось ради чего-то, ради кого-то. Раз я не глухая, то услышу, как меня снова позовут. Кто знает? Быть может, когда-нибудь я снова буду счастлива. Кто знает?

Приложения



Симона де Бовуар и ее роман «Мандарины»

Французская писательница Симона де Бовуар была для своего времени, как теперь принято говорить, знаковой фигурой. Всяческие ярлыки на нее навешивали еще при жизни: она и «верховная жрица экзистенциализма», и «французский экзистенциалист номер два». В США с 1948 года ее величали не иначе как «самой истовой экзистенциалисткой из всех экзистенциалистов» (Bair 1990: 354). Оценки личности де Бовуар колебались от восторженных до недоброжелательных, она не раз оказывалась объектом нападок, над писательницей посмеивались, называя ее «великой Сартрицей» или даже «Нотр-Дам де Сартр».

Обычно отсвет славы мужчины падает и на женщину, которая рядом с ним идет по жизненному пути. На Симону де Бовуар упала тень Сартра, и в этой тени померк блеск ее собственных заслуг. Хотя она всю себя посвятила литературе. На ее книгах воспитано не одно поколение женщин, которые видели в судьбе писательницы пример осуществленной мечты о свободной и наполненной творчеством жизни. Заслуги де Бовуар перед

французским и мировым женским движением огромны: когда она умерла, за гробом шли около пяти тысяч человек, в основном женщины. Она была «символической матерью» феминизма, и после ее кончины представительницы многих женских организаций выразили скорбь в таких словах: «Мы осиротели». Исследование женской судьбы, осуществленное писательницей в 1949 году в эссе «Второй пол» (см.: Бовуар 1997), принесло ей славу адвоката феминистского сознания и автора одного из самых значительных произведений феминизма. Однако высшую и самую престижную во Франции литературную премию — Гонкуровскую — ей по праву присудили за роман «Мандарины» (1954).

Встречаются люди, знакомство с жизнью которых заставляет нас уверовать в судьбу. Почему Симона де Бовуар, в высшей степени «благовоспитанная девица», делалась вдруг ниспровергательницей традиционных моральных устоев? Надо сказать, что в первых крупных работах, посвященных де Бовуар, поднимался именно этот вопрос (см.: Henry 1961; Hourdin 1962). Позднее де Бовуар привлекала всех главным образом как автор «Второго пола» (см., напр.: Schwarzer 1984). Еще позднее на смену интересу

к ее мировоззрению пришел интерес к ней самой как к исключительной личности (см.: Eaubonne 1986; Bair 1990), которая, по признанию Франсуа Миттерана, наложила отпечаток на все наше время. Иными словами, работы, посвящаемые ей теперь, можно охарактеризовать так же, как известный французский литературовед Ж. Бреннер охарактеризовал труды последних лет о Сартре: «Появившиеся посмертно книги о Сартре рассказывают нам больше о человеке, чем о писателе» (Бреннер 1994: 16). Бессмысленно выражать по этому поводу сожаление. Общественный интерес в этом случае, впрочем, как и во многих ему подобных, сместился с того, что делает интеллектуал, на то, какой он человек[1]. «Что можно знать о человеке сегодня?» — так обозначил поле подобных исследований Сартр. По сути, он и наметил движение литературоведческой науки в этом направлении, развивая идеи экзистенциального психоанализа в таких работах, как «Бодлер» («Baudelaire», 1946), «Святой Жене, комедиант и мученик» («Saint Genet, comédien et martyr», 1952) и, наконец, в фундаментальном труде «Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1857» («L'idiot de la famille: Gustave Flaubert de 1821 a 1857», 1971—1972). Следуя этой тенденции,

и мы постараемся подробнее рассказать, каким человеком была создательница «Мандаринов».

* * *

Симона де Бовуар родилась 9 января 1908 года, и, казалось, судьба этой малышки записана на небесах. Феи наворожили ей родиться в старинной, хотя и небогатой аристократической семье, которая вела свой род от Гийома де Шампо (1070—1121) — теолога и философа, учителя знаменитого Абеляра. Были все основания полагать, что со временем Симона превратится в очаровательную девушку, удачно выйдет замуж за принца и будет жить с ним долго и счастливо в окружении детей и внуков. Родители постарались, чтобы она получила надлежащее воспитание. В возрасте пяти с половиной лет ее определили в Кур Дезир — руководимое монахинями учебное заведение, из стен которого выходили в мир будущие добродетельные супруги, образцовые матери и ревностные прихожанки. Но, видимо, здесь не обошлось без вмешательства злой волшебницы, изощренно напакостившей в XX веке многим девицам. Отец Симоны вложил все деньги семьи в займы царскому правительству: уж очень соблазнительными показались условия, предложенные

Николаем П. Золотой ручеек богатств, накопленных рачительными де Бовуарами со времен крестовых походов, влился в реку французского золота, исчезнувшую в зыбучих песках пролетарской революции, так что и теперь, по прошествии столетия, спорадические требования дотошных французов возместить сторицей потерю этого теперь уже мифического золота не привели к приемлемому для них результату. Свою роль в судьбе Симоны сыграли и те подарки, которыми наградили ее благожелательно настроенные феи. Но и тут не обошлось без подвохов: цепкость ума и настойчивое стремление к ясности мысли[2] имели в качестве оборотной стороны категорическое неприятие любых половинчатых решений, тягу к крайностям и фантастическое упорство[3]. Обуреваемая стремлением раздвинуть горизонты собственной жизни, она, вместо того чтобы вяло влачить монотонное существование, «шла вперед, к невидимой цели, с плотно сомкнутыми губами и остановившимся взором» (Beauvoir 1958: 182).

Трудно отыскать другую судьбу, которая дала бы нам пример столь властного призвания, столь рано созревшего выбора и такого последовательного осуществления честолюбивых дерзаний

юности. И если ход жизни зависит от нашего отношения к миру, то Симона де Бовуар с рождения вела себя как удачливая завоевательница: с азартом одолевала препятствия, не теряя веры в свое призвание и тайное покровительство судьбы, а также в собственную исключительность и превосходство над другими людьми. Вспоминая о детстве, она писала: «Бог всегда был на моей стороне» (Ibid: 75). Чем старше становилась Симона, тем более истово она молилась. Девочка мечтала об апостольском служении, об экстаз ах и видениях, полагая, что «нет ничего ужаснее потери веры» (Ibid.: 137). Она была убеждена, что Божьим избранникам уготованы тяжкие испытания, а потому любимой игрой ее детства было воображать себя великомученицей. В ней, несомненно, присутствовали задатки героической личности: она с одинаковым успехом могла превратиться как в проповедницу, так и в воинствующую атеистку[4], ибо была скроена «из того материала, из которого творят святых», и «одинаково подходила и для того, чтобы написать "Второй пол", и для того, чтобы полновластно вершить дела в каком-нибудь монастыре» (Hourdin 1962: 56).

В переходном возрасте, когда дети становятся особенно требовательными по отношению к

родителям, Симона и к Отцу Небесному предъявляла серьезные претензии, ожидая, что тот явит себя в конкретном и узнаваемом действии. Долгое время она всерьез надеялась получить от Бога знак, что ее усилия замечены. Но Бог вел себя уклончиво и своего присутствия никак не обнаруживал. А потом настал момент выбора: путь веры или путь дальнейшего интеллектуального развития. Половинчатые решения были не в ее характере, и Симона раз и навсегда предпочла интеллект[5].

Всю жизнь Симону де Бовуар занимали поиски свидетельств уникальности или хотя бы реальности своего существования. Утрата религиозного чувства могла бы роковым образом сказаться на формировании ее личности, если бы место Бога в душе Симоны не заняла литература. Дневник заменил ей исповедь, а книги со временем стали значить то, что прежде значил Бог. Только литература могла подарить ей бессмертие взамен утраченной вечной жизни во Христе. Когда героиня «Мандаринов» Анна утверждала, что книги сохраняют для нее «привкус вечности» и она предпочитает их реальному миру, она высказывала то, в чем с давних пор была убеждена и сама де Бовуар. Эту же мысль де Бовуар дове-

рит развить другому герою «Мандаринов», Анри Перрону: «Он не воображал, что его будут читать вечно, а между тем, когда писал, чувствовал, что погружен в вечность» (с. 86 наст. изд.).

В детстве для нее было живо только то, что записано. «Если в сочинении я рассказывала какой-нибудь эпизод из моей жизни, то он ускользал от забвения, вызывал интерес других людей и был тем самым окончательно спасен»[6] (Beauvoir 1958: 71), — утверждала она. В юности и зрелости для того, чтобы понять смысл происходящего, ей необходимо было это описать[7]. Сколько же часов — «столь дивно оправданных, столь бездарно потерянных» — подарила она своим записям! В пятнадцать лет, отвечая на вопрос, кем она хочет стать в будущем, Симона де Бовуар записала в альбоме подруги: «Знаменитым писателем». В восемнадцать имена Мориса Барреса, Поля Клоделя, Андре Жида и Поля Валери звучали для нее «неземной музыкой». Эти виртуозы пера помогли открыть подлинные ценности: «искусство, искренность, неуспокоенность». Она, вслед за Валери, могла бы сказать о себе: «Тревога — истинное мое ремесло». Постепенно де Бовуар начала осознавать себя частью интеллектуальной элиты, которая во все времена

несла тяжкое бремя углубленного самопознания. Она перестала переживать поначалу мучительное для нее «выпадение» из привычной среды: наоборот, теперь Симоне казалось, будто она добровольно покинула ее ради братства мыслителей и ученых, увлеченных поисками истины. И она чувствовала сопричастность их усилиям: настал ее черед узнать, понять и выразить себя. Потеря приданого вынудила де Бовуар воспринимать учебу не как развлечение праздного ума, а как гарантию будущего независимого существования, Подобная позиция заставила бы перевернуться в гробу ее предков, и она не могла не вызывать досады ее родителей, которым казалась унизительной мысль о том, что их дочери придется продавать свой труд. Однако юная Симона со всей решительностью выбрала карьеру преподавателя философии и, несмотря на сопротивление родителей, отстояла право на получение необходимого образования.

Де Бовуар встретила Сартра, когда ей было двадцать лет, и сразу же признала в нем мужчину своей мечты: «Это был мой двойник, в нем я обнаружила доведенными до последнего предела и мои вкусы, и мои пристрастия» (Beauvoir 1958: 344), — признавалась она. Однажды де Бовуар

заметила: «Чтобы я признала мужчину равным себе, он должен доказать, что хоть в чем-то лучше меня». Напомним, что Сартр был маленького роста (меньше полутора метров; С. де Бовуар была чуть повыше), с редкими волосами и желтыми от никотина зубами (он безостановочно курил); его правый глаз жутко косил. Но зато он принадлежал к тем, кого женщины «любят ушами»: обладал завидным красноречием и вкрадчивым голосом. По-видимому, де Бовуар была из породы тех, кого стрела Амура поражает именно в ухо, ибо между Сартром и этой чопорной красавицей с яркими и пронзительными голубыми глазами немедленно вспыхнула страсть, сметающая на своем пути все преграды.

Ко времени знакомства с Сартром де Бовуар обладала вполне сложившимся характером. Ее отличали высокий творческий потенциал, вера в собственное призвание, индивидуализм и авантюризм. Проявлению этих черт отчасти способствовали питаемые книжной традицией настроения разочарованности и неудовлетворенности в среде интеллектуалов. Симоне недоставало кумира, и Жан Поль занял вакантное место на пьедестале. Речи Сартра и его друзей были дерзкими, а суждения безапелляционными,

вспоминала де Бовуар. Они безжалостно разоблачали любые проявления идеализма и осмеивали духовную жизнь; люди, по их представлениям, являлись всего лишь телами, наделенными потребностями. И Симона, внимая их разоблачениям, двинулась по маршруту жизни к станции под названием «тотальный индивидуализм»[8]. В эпоху модерна любые авангардные течения замешены на отрицании, и потому Сартр, с его едва ли не маниакальной склонностью к теоретизированию, с удовольствием взял на себя труд придумывать обоснования для «эстетики отрицания». С его помощью и де Бовуар все решительнее расправлялась со многими социальными, интеллектуальными и эстетическими ценностями, не замечая, что зачастую при этом терпит урон и незыблемая общечеловеческая мораль.

Де Бовуар была младше Сартра, но быстро догнала его в учебе. В студенческие годы Симону прозвали Кастором (Бобром) не только из-за того, что по-английски ее фамилия звучит как название этого зверька, но и потому, что она, подобно бобрам, очень много трудилась и, снедаемая неутолимой жаждой деятельности, беспрестанно находилась в движении. По свидетельству одного из бывших экзаменаторов, во время конкурсного

экзамена на право занимать должность преподавателя философии члены комиссии долго не могли решить, кому из них, ей или Сартру, присудить первое место. В итоге предпочтение отдали Сартру, поскольку он был выпускником Эколь Нормаль, а де Бовуар — студенткой менее престижной Сорбонны; вдобавок «этот бедняга» уже не в первый раз пытался сдать экзамен.

Когда, получив дипломы, Сартр и де Бовуар должны были либо пожениться, либо разъехаться по разным городам, перед ними серьезно встал вопрос о том, чтобы узаконить свои отношения. В воспоминаниях она описывала причины, побудившие их отказаться от брака: «По многим пунктам мы колебались, но наш анархизм был столь же ярко выражен и столь же агрессивен, как и анархизм анархистов былых времен; он предписывал нам, как и им, отвергать вмешательство общества в наши личные дела». Но после громких слов об обществе, которое душит свободу, вскользь приводится более правдоподобное объяснение: «Я видела, как это тяжело для Сартра...» (Beauvoir 1960: 81). Может быть, без этого печального личного опыта не было бы тех страниц «Второго пола», где психологически тонко и убедительно анализируются мотивы,

побуждающие мужчин страшиться брака...

В итоге Сартр и Симона заключили между собой договор, суть которого в том, что они обязались хранить «особого рода» верность друг другу. Каждый из них мог иметь любовные связи, но они не должны были влиять на их «союз», обусловленный общностью интеллектуальных устремлений.

Во время учебы и в первые годы самостоятельной жизни излюбленным способом устанавливать отношения с миром стала для них игра. Лишая жизнь реального содержания, игра убаюкивала и ее, и Сартра мыслью о том, что им удалось счастливо избежать диктата реальности, и они вольны не принадлежать ни одному классу, ни одному поколению. Граница между вымыслом и действительностью оставалась зыбкой, и ничто не сдерживало полета их фантазии. Воображение, нестесненное творческое воображение, осваивало все новые пласты опыта, чтобы позднее питать этим опытом книги. Своевольная и жестокая История вершила их судьбы, она таилась где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки, но до поры скрывала грозный лик, словно для того, чтобы в роковые минуты Сартр и Симона в полной мере ощутили силу ее железной хватки.

В так называемые «горькие годы» (с 1929-го по 1939-й), накануне всемирного катаклизма, мир пребывал в брожении; классовая борьба то усиливалась, то затихала; социальные идеи возникали и видоизменялись, а де Бовуар «доводила до крайней степени свое неприятие Истории» (Ibid: 372). Уже исходила кровью Испания — первая жертва заигрываний европейских демократий с фашистскими режимами, а Симона, словно зачарованная принцесса, все еще грезила наяву и видела красочные сны о литературе. «Моя шизофреническая приверженность к счастью лишала меня способности видеть политическую реальность» (Ibid.), — вспоминала она.

В 1947 году в эссе «Что такое литература?» Сартра увлекла идея «толкования сновидений», обволакивавших значительную часть французской интеллигенции предвоенной поры, и он создал не лишенную недостатков (но достойную упоминания здесь хотя бы потому, что де Бовуар ее полностью разделяла) теорию, согласно которой во Франции тогда сосуществовало «три поколения» писателей (об этом см.: Полторацкая 2000; Сартр 2000).

Для первого поколения авторов, начавших писать до войны 1914 года (Андре Жид, Франсуа

Мориак, Марсель Пруст, Жорж Дюамель, Жюль Ромен, Поль Клодель, Жан Жироду), литература была «маргинальным» занятием, и благодаря своей материальной независимости они сохраняли веру в «абсолютную бескорыстность искусства».

Писатели второго поколения — сюрреалисты — появились на сцене после 1918 года, и ценностная позиция этих «блудных детей» класса буржуазии строилась на отрицании. В ряду писателей сюрреалистического толка Сартр называл Пьера Дриё Ларошеля, Андре Бретона, Бенжамена Пере, Робера Десноса и Поля Морана и увязывал их искания с кризисом объективистского взгляда на мир. Сюрреализм был в «воздухе времени», которым дышали Сартр и де Бовуар. Именно его наследием стали эстетика скандала и пафос отрицания, и от него к ним позднее пришло убеждение в том, что подлинное искусство всегда революционно, а его требования спонтанно согласуются с требованиями Революции с большой буквы. Под влиянием сюрреализма сформировалось и опосредованное книжной традицией отношение де Бовуар к безумцам и маргиналам. Ее привлекала и раскрепощенность этих людей, и выставление ими напоказ самых подспудных устремлений, и отказ от моральных норм, и

неодолимая сила фантазии, порождающая бред и причудливые галлюцинации. Поль, героиня «Мандаринов», вспоминая о времени, когда она страдала психическим расстройством, говорит подруге Анне: «<...> ты не можешь себе представить, каким богатым был в то время мир; любая вещь имела десять тысяч граней» (с. 476 наст. изд.). Однако безумный герой романтической, символической и, наконец, сюрреалистической литературы — это, увы, совсем не то, что обычный пациент психиатрической больницы, в котором трудно разглядеть черты провидца, хранителя нетленной мудрости или поэта.

Писатели третьего поколения, к которому Сартр относил и себя, заявили о себе незадолго до Второй мировой войны, когда наметился разрыв между литературным мифом и исторической реальностью. Эти писатели «не уделяли внимания истории, хотя одни объявляли о своей принадлежности к прогрессивным левым, а другие — к революционным левым силам: первые оказались на уровне повторения в духе Кьеркегора, а вторые — на уровне мнимого синтеза вечности и бесконечно малой частицы настоящего» (Сартр 2000: 189—190). Де Бовуар, как и Сартр, полагала в те годы, что французский роман переживает

кризис, и предпочитала учиться писательскому ремеслу у заокеанских коллег, в первую очередь у Хемингуэя. Она ценила в его рассказах отказ от описаний, претендующих на объективность, простоту диалога и интерес к мелочам жизни. Американский автор детективов Хэммет научил ее и весьма полезному правилу: «<...> всякий диалог должен продвигать действие» (Beauvoir 1960: 353).

Важной особенностью мировосприятия де Бовуар была ее неизменная устремленность в будущее, и этим качеством она впоследствии наделит многих своих героев[9]. «Выбирать жизнь — значит всегда выбирать грядущее. Без этого порыва, который увлекает нас вперед, мы оказались бы всего лишь плесенью на поверхности земли» (Beauvoir 1945: 82), — настаивала она в 1945 году, уже после того, как на собственном печальном опыте познала, какие чудовищные формы способно явить нам будущее. Воистину, идеи, которые носятся в воздухе, не ведают границ. Устремленность к будущему охватила с начала XX века многомиллионные массы людей, подчинила себе настрой их мыслей, их желания и мечты. Вряд ли кто-нибудь успел позабыть, сколь притягательными оказались в ту пору образы

светлого будущего и для нашего народа!

Осмысливая позднее вместе с Сартром свои представления о необходимости жить наполненной жизнью, С. де Бовуар утверждала, что им всегда необходимо было, «чтобы всякая минута чему-то служила, чтобы тело доходило до предела своих возможностей, в том числе и та часть его, какой является мозг» (Beauvoir 1981: 452). В те годы они были верноподданными и законопослушными гражданами «книжного мира» и из дальнего далека взирали на грубую реальность столкновений политических сил.

В предшествовавшие Второй мировой войне десятилетия коммунизм был уже не призраком, бродившим по Европе, а, как заметил французский писатель Клод Руа, рослым, полным жизни детиной, который устрашал и воспламенял мир. Сартр и де Бовуар терпеливо ожидали всемирного пожара и очистительного катаклизма — на меньшее они не были согласны. Им глубоко претил реформизм, и они верили, что общество должно измениться сразу, кардинально и бесповоротно. Их общую позицию в 1936 году, в пору создания Народного фронта, Сартр оценивал так: «В теоретическом плане мы были экстремистами настолько, насколько это возможно» (Ibid.: 540).

Практически же революционная фраза существовала для них отдельно от революционного дела, и этих молодых интеллектуалов полностью удовлетворяла игра абстракциями. Они тогда были настолько интегрированы в «книжный мир», что им казалась курьезной мысль о непосредственном участии в политической жизни. «Я верила, что писательский труд должен оставаться аполитичным» (пит. по: SBSJC 1966: 209), — вспоминала об этом времени де Бовуар. Заметим попутно, что в 50-е годы подобная отстраненность казалась ей верхом политической наивности, а в 70-е снова увлекла. Завершая разговор об эволюции взглядов писательницы на перспективы изменения общества, приведем одно из последних ее высказываний на эту тему, относящееся к 1982 году: «Я не хочу <...>, во всяком случае теперь, совершения революции, жестокой и кровавой <...> И речи нет о том, чтобы изменить общественное устройство сверху донизу. Нужно просто немного улучшить во Франции то общество, которое уже существует» (Schwarzer 1984: 126-127).

С самого начала занятий литературой де Бовуар мечтала о создании романа: только такая форма подходила для выражения особого видения действительности, которое сформировалось у нее в

результате занятий философией. Преобладание умозрительных конструкций в ее произведениях во многом объясняет и слабые, и сильные стороны дарования писательницы, а потому не случайно в ее первой книге, задуманной как собрание тонких психологических зарисовок[10], издатель увидел (к изумлению де Бовуар) не вполне убедительную картину нравов. Когда де Бовуар обсуждала неудачу книги с Сартром, тот посоветовал ей: «Смелее наделяйте своих героинь собственными чертами; вы гораздо интереснее, чем все они вместе взятые». Писательница последовала этому совету при работе над романом «Гостья» («L'Invitée», 1943), за который ее впоследствии выдвинули на две литературные премии: «Ренодо» и Гонкуровскую (хотя ни одну не присудили).

В 1938 году, когда над Европой клубились темные тучи фашизма, грозясь пролиться огненным дождем, а История уже без утайки примеривалась «схватить за горло» принцессу книжного мира, де Бовуар это мало волновало. Симону буквально заворожил крах ее заветной мечты о чете писателей, чьи произведения влияют на общество, в котором они живут; о чете интеллектуалов, идущих рядом по дороге жизни. Оказалось, что

Сартр в любой момент может покинуть ее, определив ей место где-нибудь на обочине. Оказалось также, что есть ситуации, когда мы не властны над другим, какие бы усилия для этого ни прилагали. Осознание непрочности уз, связывавших ее с Сартром, повергло де Бовуар в ужас, и в ней навсегда поселился страх потерять самого близкого по духу человека. «Гостья» — свидетельство титанического труда, затраченного де Бовуар на то, чтобы оплакать свою разбитую мечту и заново склеить ее из обломков. Симоне это вполне удалось, но за это пришлось заплатить приятием хрупкости своей мечты и необходимостью до конца дней своих мириться со все новыми трещинами, покрывавшими ее тайное сокровище[11], и до последнего вздоха терпеливо скрывать их от посторонних глаз. С начала 1944 года она начала понемногу отдаляться от Сартра, между ними больше не существовало никакой иной близости, кроме близости интеллектуальной, и он все чаще тяготился ее обществом. А она... она упорно, до последних дней жизни, употребляла местоимение «мы» всякий раз, когда определяла свою позицию, подчеркивая тем самым неизменную солидарность с Сартром. «Мы всегда пытались помочь друг другу выпутаться из затруднитель-

ных положений, поскольку опасались, как бы взаимные претензии не привели нас к разрыву» (Beauvoir 1960: 579), — настаивала она в своих воспоминаниях. В действительности так вела себя только де Бовуар, а Сартр не слишком заботился о том, чтобы подобрать для своих поступков щадящие достоинство де Бовуар объяснения.

Симона де Бовуар начала работать над «Гостьей» в октябре 1938 года, а закончила роман летом 1941-го. За это время произошли события огромной важности: Европа вступила в войну. Однако эти события не нашли отражения в книге, написанной для того, чтобы выразить прошлое, с которым де Бовуар «только что покончила», как не нашли в ней отражения ни «странная война», ни оккупация Франции. Зато в этом произведении присутствуют идеи, сформировавшиеся у нее еще до войны, хотя от многих из них к середине 1941 года она уже успела отказаться. Вот почему разговор об этой книге уместно отнести к периоду жизни писательницы, предшествовавшему началу войны. «Я с упоением воплощала в жизнь свои мечты шизофренички, — писала она, вспоминая эти годы. — Мир существовал как сцепление мириадов извилин (и распутывание их всегда было приключением), а совсем не как

место приложения сил, способных мне противостоять» (Ibid.: 154). Ей понадобилось пережить войну и оккупацию, чтобы понемногу отказаться от «квазисолипсизма и иллюзорной независимости», чтобы почувствовать свою связь с другими людьми и оборотную сторону этой связи — ответственность. «То, что Сартр называл прежде моей "шизофренией", распалось под ударами разоблачений, осуществленных реальностью. Я наконец признала, что моя жизнь была не историей, которую я сама себе рассказывала, а компромиссом между миром и мною» (Ibid.: 498).

В пору создания романа де Бовуар умела многое: ею был разработан критический метод исследования психологии героев, сформулированы теоретические предпосылки объяснения поступков людей, она своим опытом дошла до разоблачения «дурной веры»[12]. Она с полным основанием считала, что ей есть о чем поведать миру, и требовался лишь толчок, сильное переживание, некий импульс, чтобы начать писать. Ведь литература, по ее мнению, возникает тогда, когда в жизни что-то разлаживается; главное условие — чтобы реальность перестала восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Случилось так, что влюбленность Сартра в Ольгу

Козакевич потрясла основы представлений де Бовуар о взаимоотношениях людей. Хотя годы, которые предшествовали началу Второй мировой войны, были на редкость богаты событиями общечеловеческого значения, де Бовуар занимали в первую очередь ее любовные неурядицы. В жизни каждого человека на первый план попеременно выходят то явления общественного порядка, то глубоко личные переживания. Тяжелая болезнь или несчастная любовь приобретают тогда первостепенную важность и способны (как это случилось с де Бовуар) безраздельно завладеть всеми мыслями человека, сведя до минимума интерес к мировым проблемам.

Герои романа «Гостья» — чета интеллектуалов, вступивших в пору зрелости, Пьер и Франсуаза, — имеют много общего с Сартром и Симоной. Исповедальность всей прозы писательницы обусловлена настоятельной потребностью в самоанализе. «Если мое существование станет достоянием тысяч сердец, тогда, казалось мне, это существование, обновленное и преображенное, будет, некоторым образом, спасено» (Beauvoir 1960: 578), — полагала де Бовуар. Итак, Пьер и Франсуаза сближаются с юной Ксавьер (прообразом которой стала Ольга Козакевич,

бывшая ученица де Бовуар, дочь белоэмигранта и француженки) и попадают под влияние этой девушки-подростка. В своих воспоминаниях писательница объяснит «культом молодости» и трудностями перехода к зрелости историю с Ольгой Козакевич, использованную в романе «Гостья»: историю странной зависимости двух взрослых людей от капризов юной и своенравной девицы. Пьер все сильнее тянулся к Ксавьер и заметно отдалялся от Франсуазы. В романе переданы тончайшие оттенки состояния, которое переживает женщина, теряя любовь. Испытанная героиней романа ревность — это еще и метафизическая тоска из-за невозможности «аутентичной коммуникации». Общение неизбежно скрывает желание утвердить собственную свободу, осуществление которой возможно только за счет свободы другого. Именно священная для экзистенциалистов вера в необходимость отстаивать автономию своего сознания от посягательств на нее другого, а вовсе не банальная женская ревность заставит главную героиню в финале романа убить соперницу.

В реальной жизни, утверждала де Бовуар, знакомство с Ольгой Козакевич натолкнуло ее и Сартра на дерзкую мысль: создать «трио» — союз

трех любящих, двух женщин и одного мужчины. Но весь этот глубоко продуманный план при воплощении в жизнь рухнул под действием незыблемых законов психологии: оказалось, что ревность невозможно устранить волевым решением[13]. И в этом смысле написание «Гостьи», по словам де Бовуар, было для нее своеобразным катарсисом, очищением от подавленной, но непобежденной враждебности по отношению к Ольге. Определяющая черта женского характера, настойчиво культивируемая воспитанием, — пассивность, в принципе исключающая стремление заставить мир считаться с нашими взглядами и волей. Эта заданная от рождения ситуация помешала бы осуществиться и призванию де Бовуар, но она преодолела ее так, как это делают люди исключительные: обратила себе на пользу. Женская судьба, женские горести и тайные муки стали источником ее вдохновения и главной темой творчества.

По замечанию французской исследовательницы Натали Иник, «Гостья» выглядит как попытка наметить переход от классической фигуры женщины — покорной жертвы, находящейся под угрозой разрыва с любимым, к современной фигуре независимой женщины, приемлющей та-

кую же свободу в любовных отношениях, какую нередко позволяет себе женатый мужчина. Но это лишь иллюзия перспективы: за этой версией просматриваются тупики нежизнеспособной ситуации и уловки самообмана. В результате свободная женщина готова защищать свое место рядом с любимым, не останавливаясь даже перед убийством соперницы (об этом см.: Heinich 1996).

Сартр и де Бовуар тяжело восприняли позорное поражение Франции в войне и, несмотря на трудности, связанные с оккупацией, не оставили писательской деятельности. Однажды, в начале 1943 года, писатель и публицист Жан Тренье в присутствии де Бовуар обсуждал с Сартром проект публикации сборника статей, в которых отразились бы идеологические тенденции времени. «А вы, мадам, вы — экзистенциалистка?» — спросил он у нее. Поначалу де Бовуар не уловила смысла этого слова, только что пущенного в обращение основоположником католического экзистенциализма Габриелем Марселем. Когда Гренье растолковал де Бовуар смысл поразившего ее определения, она согласилась написать эссе для его сборника и тем самым внести свою лепту в попытки мыслителей разного толка ис-

следовать становление человеческого мира в его зависимости от деятельности экзистенциального субъекта. Де Бовуар увлекла идея разработки «морали свободы в духе экзистенциализма», к тому же захотелось более отчетливо обозначить отличия собственной философской позиции от позиции Сартра. Если Сартр полагал, что только ситуации бывают разными, а свобода у всех одна, то, по мнению де Бовуар, и свобода свободе рознь.

Три месяца потратила она на написание «Пирра и Цинеаса» («Pyrrhus et Cinéas», 1944). Сюжет эссе заимствован у Плутарха: Пирр перечисляет страны, которые мечтает покорить, а Цинеас предлагает ему отказаться от бессмысленных завоеваний. Что предпочтительнее: деяние или созерцание? Де Бовуар приходит к заключению, что всякое действие чревато риском и угрозой поражения. Долг человека перед собой в том, чтобы соглашаться на риск, но отвергать даже мысль о грядущем поражении.

Когда в начале 1943 года во Франции усилилось «интеллектуальное» сопротивление, Сартр и де Бовуар, верные своим философским взглядам, приняли решение жить так, как если бы были уверены в том, что ситуация скоро изменится к

лучшему и цензура не помешает их произведениям найти своего читателя. Вот почему в самые трудные годы войны де Бовуар начала писать роман о Сопротивлении «Кровь других» («Le Sang des autres», 1945). Он проникнут атмосферой разочарования в обещаниях счастья и прогресса, щедро раздариваемых буржуазной цивилизацией. В нем де Бовуар рассмотрела проблемы ответственности человека за все, что делает он сам, и за поступки, на которые толкает других. Когда в 1948 году «Кровь других» опубликовали в США, роман восприняли там как «учебник экзистенциализма», и не без оснований. Морис Бланшо отнес это произведение к «романам идей», и де Бовуар была вынуждена признать справедливость его критики. Слишком сильным оказалось ее желание немедленно, в назидание всем, облечь опыт войны в слова, признавала она. Это желание заставило писательницу забыть о том, что «идейное произведение не только ничего не показывает, но и доказывает одни банальности» (Ibid.: 560). Идейный роман, полагает она, навязывает одну истину, которая затеняет все остальные и замалчивает бесконечный круг спорных вопросов.

Пьеса «Бесполезные рты», созданная де Бовуар

под непосредственным впечатлением оккупации, вобрала в себя ее мысли о смерти и цене человеческой жизни. Премьера состоялась 29 октября 1945 года в театре «Каррефур», и спектакль выдержал 50 представлений. Сюжет она заимствовала из итальянских хроник, но перенесла действие во Фландрию. Тиран осадил город, и, чтобы избежать голода, жители склоняются к тому, чтобы изгнать женщин, стариков и детей — короче, все бесполезные рты. В пьесе поднимается вопрос: можно ли пожертвовать конкретными людьми ради интересов всего общества? Поначалу усматривают выход в том, чтобы принести эту жертву, которую многие считают необходимой. «А потом они понимают, что не могут пожертвовать половиной населения и принимают решение выйти всем миром на битву, чтобы победить врага или умереть вместе» (цит. по: Bair 1990: 308), — поясняла де Бовуар сюжет пьесы в письме к матери. Критики подметили, что «Бесполезные рты» — не столько пьеса, сколько драматизированное по форме изложение позиции в вопросе о моральном выборе. «Средства неотделимы от цели, — утверждает де Бовуар, — вступая в противоречие с нею, они ее извращают» (Beauvoir 1945: 132).

В первые послевоенные годы долгие отлучки Сартра, который многие месяцы проводил в США, вынудили де Бовуар самостоятельно отстаивать в созданном ими журнале «Тан модерн» общие политические позиции. Это время, которое позднее было названо «эрой разрывов», требовало особой четкости формулировок и строгости в обосновании любого решения. Де Бовуар по-прежнему оставалась «излюбленным цензором» Сартра и с карандашом в руках прочитывала все его труды. Тогда, по разным причинам, ей нередко приходилось писать статьи, которые затем появлялись в «Тан модерн» за подписью Сартра. Тогда же ею были написаны и несколько собственных эссе. В определенном смысле де Бовуар оценивала их как «прелюдию» к самому главному из того, что она написала о себе — к «Мемуарам» и «Мандаринам».

Работа «Литература и метафизика» («Littérature et métaphysique»), опубликованная в «Тан модерн» 1 апреля 1946 года, — единственный ее труд в области литературной критики. По убеждению де Бовуар, только философия экзистенциализма предлагает систему, в рамках которой писатель может свободно выражать свой неповторимый жизненный опыт. Романист пишет для того,

чтобы понять себя, ибо процесс создания вымысла выявляет скрытые черты личности автора. И сама она всегда искала ответы на встающие перед нею вопросы и бралась за создание художественных произведений только тогда, когда не находила их в книгах.

«Литература и метафизика» послужила толчком для написания еще двух эссе, объединенных в книгу под названием «За мораль двусмысленности» («Pour une morale de l'ambiguïté», 1947), где рассматривается проблема свободы личности и невозможности достижения такой свободы в условиях, когда другие люди ее лишены. Реальность, в представлении де Бовуар, выходит за пределы всего, что можно сказать о ней. «Нужно противостоять ей в ее двусмысленности и непрозрачности, а не сводить ее к смыслам, которые позволяют выразить себя словами» (Beauvoir 1947: 15). По мнению Жоржа Урдена, де Бовуар в этой книге выдвигала на первый план противоречивость и двойственность человеческого удела. В системе ее взглядов человек является субъектом, наделенным сознанием, среди объектов и вещей, которые его окружают. При этом материализм отрицает сознание, идеализм отрицает вещи, а экзистенциализм отнюдь не выступает филосо-

фией абсурда: «это философия выбора» (Hourdin 1962: 15). В конце жизни де Бовуар признавалась, что только этот опус вызывал в ней недовольство собой.

Если профессиональная деятельность Симоны де Бовуар складывалась в послевоенные годы вполне успешно, то личная жизнь причиняла одни огорчения. Сартр пылко влюбился в американскую актрису Долорес Ванетти и отказывался участвовать в когда-то придуманной ими игре. Де Бовуар, упорно поддерживая миф о счастливой чете интеллектуалов, была вынуждена играть за двоих, изображая, под критическими взглядами публики, почти семейную жизнь в паре с актером, который то и дело пропускал свой выход и забывал необходимые реплики. Благодаря ее усилиям, за тринадцать лет (с 1947 по 1960 год) миф о чете писателей получил-таки всеобщее признание. В начале 60-х годов этот миф приобретет для нее первостепенное значение, и два последних тома воспоминаний писательницы свидетельствуют о ее горячем стремлении его поддержать и упрочить[14].

Но все это произошло позднее, а тогда, в 1946 году, не имея других способов справиться с отчаянием, которое внушало ей положение

брошенной женщины, де Бовуар преображала свою боль в чеканные строки, следуя правилам экзистенциализма. Мрачные мысли роились в голове, и писательница изливала их на бумагу. Так родился ее единственный фантастический роман «Все люди смертны» («Tous les hommes sont mortels», 1946).

«Мы умрем», — сказала женщина, чью мудрость восхваляет Священное писание во Второй Книге Царств. Фоска, герцог одного из итальянских городов начала XIV века, презрел божественный порядок и, желая возвыситься над человеческим уделом, выпил эликсир бессмертия. Однако вскоре выяснилось, что без перспективы смерти ему нечего желать и не на что надеяться. Ни одно из человеческих чувств, в том числе и любовь, не способно выдержать испытания вечностью: такой вывод не утешил де Бовуар, но работа над книгой помогла пережить черные дни. Если литература желает преодолеть отчуждение там, где оно кажется особенно несокрушимым, она должна говорить о тоске, об одиночестве, о смерти, потому что таковы в действительности ситуации, которые самым неотвратимым образом кладут предел нашей самобытности, полагал Сартр, и де Бовуар была с ним полностью согласна. Главной

героиней романа, чью жизнь разрушила встреча с бессмертным Фоской, стала актриса Режина — женщина, стремящаяся доминировать над себе подобными и не терпящая никаких ограничений[15].

Невольно возникает вопрос: почему даже тогда, когда любовь между ней и Сартром умерла и была похоронена, они не расстались? Ответ может быть только один: де Бовуар была Сартру идеальным товарищем в том, что было для него дороже всего: в интеллектуальной жизни. Мышление диалогично, и без умного собеседника наши идеи с трудом проклевываются из тьмы небытия. Сартру и де Бовуар повезло: они нашли и поддержали друг друга. Кто возьмет на себя труд определить, кому из них повезло больше?

Хотя критики встретили это фантастическое произведение де Бовуар холодно, ей оно нравилось куда больше, чем, например, тепло принятый роман «Кровь других». В 1982 году она признавалась, что «Гостья» и «Все люди смертны» затрагивали ее «непосредственно», тогда как «Кровь других» и «Бесполезные рты» — это «соединение вымысла с философией». В 1947 году в Голливуде рассматривался проект экранизации романа[16], но до съемок дело так

и не дошло. Однако созданный писательницей образ Бессмертного и полвека спустя не утратил привлекательности: в 1994 году роман «Все люди смертны» все-таки был экранизирован.

В начале 1947 года де Бовуар четыре месяца провела в США с курсом лекций по современной французской литературе. Для нее, как и для всей французской, да и европейской, интеллигенции важно было заново определить позицию по отношению к американцам и американской цивилизации. К тому же писательницу увлекла задача исследования культурного пространства, разделяющего Францию и США. Впечатления от поездки она использовала для создания эссе «Америка день за днем» («L'Amérique au jour le jour», 1948). Еще до посещения Соединенных Штатов ее, как и Сартра, не устраивали «конформизм американцев, их шкала ценностей, их мифы и фальшивый оптимизм», вкупе со склонностью закрывать глаза на трагические стороны бытия. Поездка помогла ей оценить, с позиций европейца, роль американской интеллигенции в политике. В романе «Мандарины» де Бовуар высказала свое мнение об этом устами Анны: интеллектуалы, заметила та, «могут жить здесь в безопасности, потому что сознают свое бессилие»

(с. 293 наст. изд.). Американцы, по ее наблюдениям, снисходили до Европы с высокомерной небрежностью, и спорить с ними оказалось столь же бессмысленным, как «спорить с параноиком».

В годы, когда Сартр и де Бовуар много сил и времени отдавали созданному ими журналу «Тан модерн», политика стала для них «семейным делом». Когда утром они разворачивали основанную участниками Сопротивления газету «Комба», у них было такое чувство, будто они распечатывают собственную корреспонденцию. Это ощущение вторжения политики в частную жизнь хорошо выразил Альбер Камю, высказывание которого де Бовуар приводит в своих воспоминаниях: «Политика неотделима более от индивидов. Она являет собой прямое обращение человека к другим людям» (Beauvoir 1963: 14). Но ведь как раз обращение к людям и составляет главный смысл писательского труда, и отсюда следует, что в подобной ситуации именно писателю должна быть отведена одна из ведущих ролей. Новая эпоха с надеждой взирала на творческую интеллигенцию. Интеллигенция поверила, что так будет всегда. Она ошиблась.

Уже в период между 1947 и 1960 годами у Сартра

и де Бовуар наметилось довольно значительное расхождение в жизненных позициях. В то время как Сартр мало-помалу отходил от литературы и его бойкое перо нацеливалось на объяснение собственной политической позиции в свете философии экзистенциализма, интересы де Бовуар все более смещались в сторону ее внутреннего мира. Однажды в юности Сартр заявил Симоне де Бовуар: «Я хочу быть Спинозой и Стендалем» (Beauvoir 1981: 203). Но тогда он еще и помыслить не мог о том, чтобы писать книги по философии: в его намерения входило выражать философию, которую он исповедовал, в романах. Что же касается Симоны де Бовуар, то духовный мир всегда привлекал ее сильнее, чем внешний, а потому она сразу и навсегда сделала выбор в пользу литературы в самом высоком смысле этого слова. Когда Сартр безоглядно увлекся политической борьбой, де Бовуар не последовала за ним по этому тернистому пути, и на то имелись по меньшей мере две причины. Во-первых, жизнь научила ее тому, что никто не станет с должной серьезностью воспринимать политические выступления женщины. И это была весьма разумная позиция: за последние полвека положение женщин изменилось заметнее, чем за предшествующие тысячелетия.

И как же обстоят дела теперь? «В большинстве стран политика по-прежнему остается областью, закрытой для женщин. <...> Напрашивается банальный вывод: политика — это все еще мужское занятие» (Lipovetsky 1997: 265—266), — констатирует французский философ и социолог Жиль Липовецкий. «Писатель сам по себе никогда не выполняет работу политика, однако когда я создавала эссе "Правая мысль" и "Долгий путь"[17], то делала это для того, чтобы рассеять некоторые заблуждения и выразить определенные политические идеи» (пит. по: SBSJC 1996: 210), — писала позднее Симона де Бовуар. Как бы то ни было, но ей потребовалось очень много энергии, упорства и настойчивости, чтобы, появившись на свет женщиной, прожить такую жизнь, какую прожила она. Другая причина отказа Симоны де Бовуар от активной политической деятельности была личного порядка: по натуре застенчивая, она не любила выступать перед людьми. А если и появлялась на публике, то только для того, чтобы поддержать Сартра. Она приходила в отчаяние из-за незначительности влияния, которое сам он мог оказать на развитие политических событий.

Написанное де Бовуар в 1949 году эссе «Второй пол» по праву считают «Библией феминизма».

В конце жизни она гордилась тем, что помогла современницам «лучше понять себя и свое положение». В этом полемически заостренном произведении избранная автором форма методичного анализа чувств сочетается с неизменной готовностью доходить в своих рассуждениях до крайностей и шокирующих подробностей, до неприятных истин, которые многие предпочитают замалчивать. При работе над книгой де Бовуар сознательно придерживалась установки на скандал, на обострение всех противоречий описываемой ситуации. Писательницу часто обвиняли в том, что тон ее высказываний излишне резок. «Если хочешь, чтобы воздушный шарик лопнул, надо вонзить в него ногти» (Beauvoir 1963: 342), — возражала она. Появление подобного произведения в творчестве де Бовуар отнюдь не случайно. С годами ее все настоятельнее интересовали способы обретения женщиной независимости, и в конце 40-х годов она почувствовала невозможность сочинять романы до тех пор, пока основательно не изучит, что это значит на самом деле — родиться женщиной. Де Бовуар отказывалась считать женственность сущностью женщины и ее природным качеством. Женственность, полагала она, — это результат ситуации,

созданной человеческим обществом на основе определенных психологических предпосылок. Ее раздумья над многообразием ситуаций, в которых оказывались в разное время женщины разных национальностей, как раз и привели к появлению «Второго пола» — исследования женской судьбы, основанного как на строгом рассмотрении данных медицины, истории, социологии и статистики, так и на блестящем анализе памятников культуры — от древнейших мифов до современных французских, американских и английских романов.

* * *

Симона де Бовуар никогда не заявляла о намерении написать автобиографический роман, но, по крайней мере, в «Гостье» и «Мандаринах» автобиографический элемент очень силен. Однако в отечественном литературоведении издавна сложилась традиция подчеркивать глубину различий между этими романами. Если, вслед за Е.М. Евниной, считать «Гостью» «типично экзистенциалистским произведением» и «прежде всего психологическим романом, раскрывающим интимную драму нескольких людей», то, по мнению той же исследовательницы, в «Мандаринах»

«объективно-реалистическое отображение действительности особенно настойчиво врывается в ткань произведения, взрывая и почти полностью уничтожая его экзистенциалистские предпосылки» (Евнина 1962: 123; см. так же: Зонина 1955). Однако подобные утверждения не согласуются с оценками самой де Бовуар. Так, в воспоминаниях она отмечала: «Перечитала с начала до конца "Гостью" и сделала пометки относительно того, что думаю об этой книге. Я нахожу в ней, почти слово в слово, то, о чем говорю <...> в "Мандаринах". Впрочем, у меня нет причин это отрицать: каждый человек всегда пишет только свои книги» (Beauvoir 1963: 439). С мнением Симоны де Бовуар можно согласиться, если принять во внимание установку ее творчества на передачу «особенностей пережитого» и «вкуса собственной жизни». Если же говорить об оценке Е.М. Евниной, то и она небезосновательна. Все дело в том, что со времени написания «Гостьи» значимые перемены, которые произошли в жизни де Бовуар, повлекли за собой изменения в самом характере «пережитого». Личные проблемы писательницы отошли на второй план, когда она, следуя по проложенному Сартром пути, сосредоточила усилия на решении грандиозной задачи создания

идеологии послевоенного времени. Эта новая идеология была призвана, раскрывая перед человеком его ситуацию, одновременно предлагать ему и образ действий. Как мы видим, де Бовуар не отказалась от передачи опыта «пережитого», просто «вкус» ее жизни стал иным. «Мандарины» — единственное произведение в ее творчестве, соединившее личный опыт с раздумьями о ключевых проблемах, волновавших умы всей творческой интеллигенции послевоенной поры. Себя в качестве автора этого романа она определяла как «писателя» и «женщину» — именно с таким распределением родов. Ей удалось создать верный по существу портрет французской интеллектуальной элиты конца 1940-х годов — с ее надеждами, противоречиями, борьбой и поражениями. И не случайно она обратилась к этой тематике именно в те годы: в истории Франции описанный ею 1946 год стал временем усиления конфронтации между различными политическими силами («эрой разрывов»).

Симона де Бовуар начала работать над «Мандаринами» в октябре 1948 года и потратила на создание этого произведения четыре года, ежедневно проводя за письменным столом от шести до семи часов и не отступая перед необходимо-

стью снова и снова возвращаться к тому, что уже сделано[18]. Изменению подверглось даже первоначальное название романа: «Выживших» сменили «Мандарины». Слишком искусно выстроенная интрига первой версии произведения не удовлетворила де Бовуар, которая, отвергая традиции современного ей «французского романа», хотела применить на практике то, чему научили ее «романы англоязычные», и постаралась «воспроизвести хаотичность жизни, ее случайность и незавершенность».

В начале 1950-х годов левые, по наблюдениям де Бовуар, интересовались политикой достаточно, чтобы обсуждать эту тему в барах, но не настолько, чтобы видеть в ней смысл жизни. Размежевание во французском обществе достигло крайних пределов, и де Бовуар чувствовала себя неуютно в условиях жесткой полярности политических взглядов. Ей казалось, что новый роман никому не будет нужен. «Не оставалось места для тех, кто отказывался примкнуть к одному из двух лагерей, — писала она. — Мы с Сартром думали[19], что я не сумею угодить ни левым, ни правым: хорошо еще, если у меня наберется три тысячи читателей! Этот провал, в котором не приходилось сомневаться, печалил и сам по себе,

и потому, что в нем проявлялась наша отверженность: всякое политическое действие стало для нас невозможным, и наша литература готова была кануть в Лету» (Ibid.: 274). Сартр и де Бовуар ошиблись: она сумела угодить и тем, и другим: «Мандарины» были благожелательно встречены прессой. «Против ожидания именно буржуазные критики посчитали, что мой роман имеет привлекательный налет антикоммунизма, тогда как коммунисты в нем-то и увидели свидетельство симпатии; что касается некоммунистических левых, то я как раз и пыталась говорить от их имени. Только некоторые социалисты и крайне правые с яростью обрушились на меня» (Ibid.: 336), — констатировала она. Возможно, причину успеха романа следует искать в том, что его «суперангажированная» создательница парадоксально воспринимала борьбу партий. В 1965 году Сартр писал, что его всегда поражало отношение де Бовуар к политике. «Она ни в грош ее не ставит. Нельзя сказать, что она относится к ней совсем уж наплевательски, но она и слышать о ней не хочет» (цит. по: Bair 1990: 368). Подобная внутренняя «невовлеченность» помогла де Бовуар рассматривать жгучие политические проблемы с импонирующим читателю объективизмом.

Одна из важнейших задач литературы, по мнению де Бовуар, состоит в том, чтобы обнаруживать двусмысленные и противоречивые истины, которые никогда не стыкуются; только в редких случаях их удается все-таки соединить, вписав в некий воображаемый объект. И, полагала она, лишь роман способен «выявить многочисленные и неустойчивые значения» изменившегося мира, в котором де Бовуар оказалась, в частности, в августе 1944 года: мира нестабильного и не стоящего на месте. «Он увлекал в своем движении и меня, а вместе со мною и то, во что я верила, — счастье, литературу» (Beauvoir 1963: 283), — писала она. Из глубины сердца шли слова, в которых выражены настроения де Бовуар тех лет: «Мне причиняет несчастье одно то, что я не чувствую себя счастливой»[20] (Ibid.: 275). Содержанием книги стала агония общих надежд после поражения Сопротивления. «Чтобы говорить о себе, нужно было говорить о нас в том смысле, какой вкладывали в это слово в 1944 году[21], — писала де Бовуар. — Опасность бросалась в глаза: мы были интеллектуалами, особой породой, с которой романистам не советуют связываться;[22] описывать специфическую фауну, авантюры которой представляют собой лишь анекдотический

интерес, — подобный проект меня не увлекал. Но мы, в конце концов, тоже люди, только несколько больше других озабоченные тем, чтобы облечь нашу жизнь в слова» (Beauvoir 1963: 283).

В определенном смысле Симона де Бовуар добровольно взяла на себя труд тех, кто пожелал бы сформулировать задачи, которые ставила перед собой писательница при работе над этой книгой: она сама их изложила в воспоминаниях и ответила на достойные внимания упреки прессы. С досадой восприняла де Бовуар распространенную критиками легенду о том, что она создала верную фактам хронику. «Мой вымысел в таком случае обретает черты бесстыдства или даже доносительства» (Ibid.: 339), — сокрушалась она. Как и сны, романы порой оказываются вещими, но только потому, что в них обыгрываются возможности[23]. Так, Камю и Сартр, прототипы главных героев «Мандаринов», поссорились[24] через два года после того, как она поведала о разрыве дружбы между Дюбреем и Перроном.

Чтобы полнее представить французскую интеллигенцию послевоенной поры, де Бовуар ввела в роман большое число персонажей, а в качестве главных героев выбрала двух писателей левых взглядов: Анри Перрона и Робера Дюбрея.

Хотя основную интригу книги составляет ссора, а затем примирение между этими героями, значительное место отведено и Анне — жене Дюбрея. Многое из того, о чем хотела рассказать писательница, связано с положением женщины в обществе. Рядом с Анной, от лица которой ведется повествование, де Бовуар поместила и мужчину-рассказчика — Анри Перрона, чтобы, пользуясь разными взглядами на мир — мужским и женским, показать сложность нашего мира. Кроме того, ей хотелось, чтобы историю отношений между Дюбреем и Перроном кто-нибудь пережил «изнутри». Нельзя было отдать весь личный опыт де Бовуар одной Анне еще и потому, что тогда книга сделалась бы исследованием частного случая, а это не входило в намерения автора. Анна наделена тягой к смерти, вкусом к абсолюту и пассивностью; в ее настроениях — острый привкус страхов самой писательницы, усиленных тем, что во время работы над романом у де Бовуар обнаружили опухоль, которая, к счастью, оказалась незлокачественной. Анри, в отличие от Анны, писательница изобразила активным и деятельным. Таким образом, две точки зрения, которые в тексте то и дело сменяют друг друга, даны очень непохожими людьми. Поднимая

завесу над частной жизнью Анри Перрона, де Бовуар желала показать писателя в его «величии и чудаковатости». Важное место отведено и другому писателю — Дюбрею, куда более, чем Анри, «вовлеченному» в политику: по отношению к Дюбрею определяются и Анна как его жена, и Анри как его друг. После публикации романа де Бовуар упрекали в том, что она не вывела в нем женщину, которая наравне с мужчинами участвовала бы в политической и профессиональной деятельности. Писательница отвечала, что и не ставила перед собой такой задачи.

Один эпизод, как признавала де Бовуар, оказался мало связанным с основной интригой романа: любовь между Анной и американским писателем Льюисом. В 1955 году Симона де Бовуар встречалась в Париже с Ильей Эренбургом, и тот поведал ей, что в Москве вся интеллигенция, владеющая французским, прочла «Мандарины». Хотя по цензурным соображениям публикация романа в СССР была в то время невозможна, наши соотечественники отзывались о нем одобрительно. Правда, любовная история многим показалась лишней. Однако нельзя упускать из виду, что книга родилась именно из потребности де Бовуар написать «своего рода воспоминания», в которых

отразился бы жизненный опыт, полученный ею во время поездки в США, и прежде всего ее любовь к Нелсону Олгрену (прототипу Льюиса). Кому-то эта история могла показаться «сором», но, как известно, из подобного «сора» и растут, «не ведая стыда», произведения искусства. И все-таки когда де Бовуар дошла в повествовании до встречи с Нелсоном Олгреном, то поняла, что у нее не хватит духу рассказать о своей любви от собственного лица. «Мне надо было найти способ сказать правду, не говоря ее; в конце концов, литература и есть не что иное, как обман, который исподтишка протаскивает правду», — писала она Нелсону Олгрену в октябре 1947 года. Найденный ею способ оказался не из простых: словно по иронии судьбы, «прекрасная и банальная любовная история» послужила отправной точкой для романа, ставшего классикой ангажированной литературы.

Отношения с Нелсоном Олгреном много значили для де Бовуар. Она, как и большинство представительниц ее круга, полагала, что даже тридцатилетняя женщина и то слишком стара для любви (самой ей было тогда 39 лет). Принято было считать, что опасный «бальзаковский» возраст пробуждает в женщине несвоевременные, а

потому разрушительные и достойные порицания страсти. Внезапно возникшее между Олгреном и де Бовуар пылкое чувство достойно изумления, оно, собственно, и не переставало изумлять всех, кто достаточно хорошо знал обоих любовников: Симону, которая из-за свойственной ей расчетливой рациональности получила от одной из подруг прозвание «часы в холодильнике», и Нелсона, замкнутого в своей скорлупе и не способного поддерживать сколько-нибудь длительные отношения с женщинами, истинного «волка-одиночку». Возможно, причиной их сближения как раз и было то, что, они, по замечанию прежней возлюбленной Нелсона, стали друг для друга «полной экзотикой». Свое чувство к Олгрену (и, соответственно, чувство Анны к Льюису) де Бовуар считала подарком богов и не уставала благодарить судьбу за обновление души, давно простившейся с любовью.

В какой мере можно отождествлять Анну с де Бовуар? Писательница утверждает, что отдала ей собственные вкусы, чувства, реакции и воспоминания. Часто она говорила устами Анны. «Однако у нее нет ни моей жажды жизни, ни, особенно, независимости, даруемой моей профессией» (Beauvoir 1963: 288), — отмечала де Бовуар. Анна

помогла ей выразить отрицательные стороны своего жизненного опыта: головокружение от предчувствия небытия, тщету земных радостей и стыд забвения. Зато с Анри де Бовуар поделилась опьянением деятельностью и удовольствием от творчества. «Он похож на меня, по крайней мере, так же, как Анна, а может быть, и больше» (Ibid.: 289), — утверждала писательница. Ибо Анри, что бы там ни говорили, это не Камю. Оба они молоды и темноволосы, оба возглавляют газету, и на этом сходство заканчивается, настаивала писательница. Глубокая враждебность, которую испытывал Камю к коммунизму, создавала между ними непроходимую пропасть. К тому же в политическом плане Анри Перрон ближе к Сартру и Мерло-Понти, чем к Альберу Камю.

Отождествление Дюбрея с Сартром не менее ошибочно, замечает де Бовуар. Дюбрей старше Сартра на двадцать лет, и, в отличие от Сартра, будущее его пугает, а политику он предпочитает литературе. Их жизни имели мало общего: если Дюбрей с энтузиазмом занимался созданием движения левых сил, то Сартр без особого рвения сотрудничал с группами, которые его об этом просили, и в те годы ни на один день не отказался бы от писательского труда ради этой деятельно-

сти. И он без колебаний опубликовал «Советский кодекс исправительных работ», как только познакомился с ним.

Второстепенные персонажи «Мандаринов» тоже отличны от своих прототипов. Все материалы, которые де Бовуар черпала из памяти, она дробила, искажала, перековывала, растягивала и перекручивала, иногда даже переставляла в обратном порядке и всегда воссоздавала заново. Писательница неоднократно подчеркивала желание, чтобы в ее романе видели не автобиографию и не репортаж, а «воскрешение в памяти».

Де Бовуар считала своей заслугой то, что ей удалось описать в книге определенный способ переживания послевоенной поры, не навязывая решения волновавших героев проблем. Одна из главных тем, выделенных в повествовании, — тема повторения в том смысле, какой придает этому слову Кьеркегор: чтобы по-настоящему овладеть благом, надо сначала его потерять, а потом вновь обрести. В конце романа Перрон и Дюбрей возобновляют прерванную дружбу и возвращаются к литературной и политической деятельности. Они опять оказываются в исходной точке, однако отныне, вместо того чтобы убаюки-

вать себя бездумным оптимизмом, принимают и трудности, и провалы, и скандалы, которые таит в себе любое начинание. «Суровость сознательных предпочтений приходит у них на смену энтузиазму слияния с общественным движением» (Ibid.: 289—290), — подчеркивала де Бовуар.

Главное кредо де Бовуар — быть искренней. Настаивать на своей искренности — давняя традиция французских писателей. «Это искренняя книга, читатель», — такими словами еще в XVI веке начинал Монтень свои знаменитые «Опыты». О намерении передать «вкус собственной жизни» возвещает и Анри Перрон, когда утверждает, что его «единственная установка — быть искренним и просто получать от этого удовольствие». Анри понимает, что нельзя сказать всего, но «все-таки можно попытаться передать истинный вкус своей жизни: у каждой жизни есть вкус, свой собственный, и надо рассказать о нем, иначе не стоит и писать. <...> Искренность — это и есть та самобытность, к которой должно стремиться, единственный наказ самому себе, которому необходимо следовать» (с. 45-46 наст. изд.). Однако в свои рассуждения об искренности де Бовуар вносит крохотное уточнение, которое способно определенным образом изменить всю картину:

цензуру ответственности за сказанное. Ответственность способна потребовать от искреннего человека замалчивания кое-каких фактов. Эту позицию выражает в романе Анри Перрон: «<...> все, что сегодня публикует Дюбрей, читается в контексте, о котором он обязан помнить; но я не думаю, что это влияет на его искренность <...> Творчество человека, который исповедуется с предельной искренностью, но безответственно, не станет правдивей и наполненней творчества того, кто берет на себя ответственность за все, что говорит» (с. 181 наст. изд.).

По мнению де Бовуар, опасность возникает тогда, когда часть истины недобросовестно пытаются выдать за истину в последней инстанции: частичная истина при этом превращается в ложь (см.: Beauvoir 1965: 82—85). В культурной традиции выбор между искренностью и достоверностью, в известном смысле, имеет решающее значение. Едва тяга к достоверности превысила стремление к искренности, как экзистенциализм уступил позиции структурализму. Искренность — это ориентация на науки о духе, тогда как достоверность — ориентация на естественные науки.

Роман, как ни странно может показаться, дает

автору возможность рассказать о своей жизни с большей полнотой, чем мемуары. Это подсознательно чувствовала де Бовуар; на это обращал внимание и Анд ре Жид, когда писал: «Мемуары всегда только наполовину искренни, как бы велика ни была забота о правдивости: все всегда сложнее, чем говорят. Может быть, ближе подходишь к правде в романе» (Gide 1972: 278). Об этом же толковал Франсуа Мориак, когда раздумывал, почему с такой неохотой работается над собственными воспоминаниями: «Не в том ли настоящая причина моей лени, что наши романы выражают главное в нас? Только вымысел не лжет; он приоткрывает в жизни человека потаенную дверцу, через которую проскальзывает без всякого контроля его непознанная душа» (Mauriac 1953: 14).

Подобные высказывания, по мнению французского литературоведа Филиппа Лежёна, представляют собой непрямую форму автобиографического обязательства. Читателя приглашают читать романы не только как «вымысел, отсылающий к истине человеческой природы», но и как «разоблачающие индивидуума фантазмы» (Lejeune 1975: 42). Если бы авторы не оставляли нам автобиографических текстов, никто никогда и не увидел бы, какого рода истину следует

искать в их романах. Суть не в том, где больше правды — в романе или в автобиографии. Суть в том, что эти тексты определяются один по отношению к другому, создавая «автобиографическое пространство», то есть реальность автора, обеспеченную всеми его текстами.

Заметим кстати, что в иных современных литературоведческих теориях интерпретацию любого произведения понимают как наполнение текста смыслом — вне постановки вопроса о соответствии «истинному» значению. Быть может, именно это и примирит искренность с достоверностью, установив между ними переход, подобный переходу между точными и гуманитарными науками, о котором говорил французский философ Мишель Серр. По его мысли, существует переход между точными науками и науками о человеке. И этот переход подобен узкому ледяному лабиринту, соединяющему Атлантику и Тихий океан, — Северо-Западному проходу (см.: Serres 1980: 18). На наших глазах происходит примечательная смена ролей, и в постмодернизме мы наблюдаем завязанность интерпретации не на фигуру Автора и не на сам Текст (как того требовал структурно-семиотический подход), а на Читателя.

В одной из ранних работ М. Бахтин справедливо подчеркивал: «Если <...> принять во внимание все случайные факторы, обусловливающие высказывания автора-человека о своих героях: критику, его настоящее мировоззрение, могшее сильно измениться, его желания и претензии <...> практические соображения и проч., становится совершенно очевидно, насколько ненадежный материал должны дать эти высказывания автора о процессе создания героя» (Бахтин 2000: 35). В этой связи полезно еще раз вспомнить о Камю как прототипе Анри Перрона. Когда Камю познакомился с Сартром, ему было 30 лет, то есть на восемь лет меньше, чем Сартру. Иными словами, возраст Камю приближался к возрасту большинства членов «семьи» Сартра — молодых людей, которые существовали в основном на деньги Сартра и де Бовуар и входили в их свиту. Однако Камю, как бы ни мечтал Сартр заполучить его в «семью», не считал себя «человеком свиты» и настоятельно подчеркивал это. Оба они — и Сартр, и де Бовуар — страдали вуайеризмом, испытывали нездоровое любопытство к личной жизни других людей. В юности, оставшись дома одна, Симона брала в руки отцовский театральный бинокль и часами смотрела в окна соседей.

Ей нравилось наблюдать, как люди занимаются повседневными делами, не подозревая о том, что за ними кто-то следит. Для нее «подглядывать за другими означало жить» (Bair 1990: 102). Камю вызывал у Сартра и де Бовуар особенно жадный интерес, но сам он в откровения не пускался и никаких возможностей удовлетворить страсть к вуайеризму не предоставлял. Это вызывало у них глухое раздражение. В романе де Бовуар предлагает в высшей степени изящное решение проблемы приручения подобной независимой личности: дочь Дюбрея Надин, словно «deus ex machina»[25], создает условия для естественного и безболезненного вхождения Анри Перрона в «семью».

Образ Поль, еще одной героини «Мандаринов», являет нам собирательный образ женщины, которая в игре под названием «жизнь» сделала ставку на любовь мужчины — и проиграла. Де Бовуар полностью разделяла мысль Байрона о том, что в области чувств не существует равенства между полами, ибо «в жизни мужчины любовь представляет собой лишь одно из занятий, тогда как для женщины она и есть жизнь»[26] (Бовуар 1997: 832). Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет объясняет такое неравенство различиями в

проявлении внимания у разных полов. Женская душа, по его наблюдениям, «более концентрична, более сосредоточена на своих интересах, более эластична», и она «предпочитает иметь не более одной оси заинтересованности». По сравнению с концентрической структурой женской души внутренний мир мужчины всегда имеет несколько эпицентров. Одна часть его души «отдана политике или коммерции, в то время как другая посвящена интеллектуальным интересам, а еще одна — плотским удовольствиям» (Ортега-и-Гассет 1991: 159).

Симона де Бовуар всегда гордилась тем, что с детства обладала, как заметил еще ее отец, «мужским умом». В юности она исповедовала культ «ясности ума» и, читая книги, зачастую идентифицировала себя с героями-мужчинами (такими как Франсуа Сорель из «Большого Мольна» (1913) Ален-Фурнье). Но, сколь бы «ясным» ни был ум Симоны, душа ее оставалась женской. Де Бовуар с возмутившей многих читательниц холодной отстраненностью исследовала уловки Поль, направленные на то, чтобы удержать мужчину, не замечая, что и ее ум, в полном соответствии с открытым известным моралистом XVIII века законом, с завидной регулярностью бывал «обма-

нут сердцем». Поль закрывает глаза на пугающую ее правду; Анна, в которой так много от де Бовуар, вроде бы старается трезво оценивать ситуацию. Но это только обманчивая видимость. Когда Анна теряет любовь Льюиса, она попадается в ту же ловушку и прибегает к тому же «шантажу чувств», что и Поль. После очередного мучительного объяснения Льюис признается, что ее поведение просто не оставляло ему возможности говорить ей правду: «Я сказал то, что вы хотели от меня услышать» (с. 431 наст. изд.). Описанный в романе крах любви Анны — это весьма отредактированная версия того, что довелось пережить де Бовуар. В действительности все было гораздо хуже[27]. То, что выглядит как доверительный разговор между двумя любовниками, настроенными на трезвый анализ своих отношений посредством «ясного ума», в реальности может оказаться придуманным интеллигентными женщинами на погибель интеллигентным мужчинам способом цепляться за мужчину. И даже осознание Анной того, что она действует «с обычной неуклюжестью нелюбимых женщин: слишком много пыла, много вопросов, много рвения», ничего не меняет: в чем-то она повторяет путь Поль. Де Бовуар утверждает, что намеренно придала Анне по-

добные черты, поскольку, избегая исключений, старалась описать женщин такими, какими их видела — лишенными цельности. Поль, любящая Анри, не способна удержать его с помощью традиционных женских уловок и страдает до безумия; Надин, дочь Анны и Дюбрея, не в состоянии ни приспособиться к своему женскому положению, ни отказаться от него; Анна больше, чем другие, приближается к истинной свободе, но и ей не дано ее достичь. И ни одна из этих женщин, с точки зрения феминизма, не может считаться положительной героиней.

Нетрудно увидеть сходство между Анной и Симоной, однако есть немало оснований говорить и о сходстве между Симоной и Надин. Максимализм, к которому тяготела де Бовуар в юности, наряду со стремлением и в добродетели, и в пороке до конца следовать избранному пути, роднили ее с юными бунтарками Ксавьер и Надин. Если бы она не использовала опыт собственной жизни, ей вряд ли удалось бы представить этих девиц с таким блеском и художественной убедительностью. Конечно, у них были прототипы, но все-таки свою закваску они получили от де Бовуар. Надин, несомненно, близка Симоне и тем, что «обожает разговоры о себе, хотя любое

суждение, пускай даже благожелательное, ранит ее» (с. 147 наст. изд.).

«Самооборона» — так хотела назвать свой первый роман де Бовуар, но по настоянию издателя его переименовали в «Гостью». По сути, если рассматривать созданные писательницей к тому времени произведения как глубоко личные[28] и исследующие положение женщины в нашем изменчивом мире, то нельзя придумать лучшего названия, способного объединить их в единую серию, чем «Самооборона». В этом смысле убийство Франсуазой разлучницы Ксавьер в «Гостье» предстает перед нами как пример одного из приемов «самообороны». В «Мандаринах» использованы другие, менее радикальные приемы, такие как «самоусмирение» Анны и «приручение» Надин посредством брака.

На протяжении романа существенно меняются взгляды главных героев на политику. Когда в начале 1945 года Робер Дюбрей заявлял: «<...> нельзя больше оставлять политику — политикам» (с. 9 наст, изд.), он выражал взгляды многих французских интеллектуалов. В иные моменты истории творческая интеллигенция действительно «приходит» в политику, но потом политика опять оказывается в исключительном ведении

профессионалов. Надо заметить, что чувство сопричастности истории появилось в 1945 году не только у французской интеллигенции: тогда ему отдали дань почти все европейские интеллектуалы разных убеждений. Политика заставляла писателей пренебрегать занятиями литературой[29], но так не могло продолжаться долго. Интеллигенция не способна длительно сохранять высокую политическую активность, как кризис не может долгое время пребывать в острой фазе. Обычно в этом случае довольно скоро в игру вступает извечный цинизм власти.

Роман начинается с описания встречи нового, 1945 года, который во Франции провозгласили «нулевым годом»: с ним связывали надежды на небывалую и счастливую жизнь. В те переломные годы, когда с окончанием войны должна была закончиться одна эпоха и начаться другая, на нее не похожая, интеллигенция видела в занятиях политикой свой высокий долг. Идеи социализма, который мыслился как отрицание бездуховности и культа наживы, мечты о «поющем завтрашнем дне» и о торжестве справедливости особенно манили людей в ситуации нестабильности и брожения общественных сил. Устами Дюбрея де Бовуар выражала энтузиазм тех прогрессивно

настроенных писателей, которые готовились принять на себя ответственность за идеологию послевоенного общества: «<...> впервые левые держат судьбу в своих руках, впервые можно попытаться создать объединение, независимое от коммунистов, не рискуя при этом сыграть на руку правым» (с. 35 наст. изд.). Занятия политикой представлялись французским писателям левого толка полезным и, главное, эффективным делом, в то время как литературный труд рассматривался в новых условиях как побочное увлечение. А тех, кто уклонялся от занятий политикой, дружно осуждали. В романе приговор им выносит Анри Перрон: «<....> люди, которые заявляют о своей аполитичности, неизбежно оказываются реакционерами» (с. 346 наст. изд.). В такие переломные эпохи никому — ни левым интеллектуалам, ни тем правым, которые старались держаться в стороне от политических битв, — не избежать искуса политикой: «Вы во все привнесли политику! Если хочешь помешать тому, чтобы мир целиком политизировался, приходится заниматься политикой» (с. 444 наст, изд.), — сетовал Ламбер. Минуло немного времени, и все погрязли в интригах, теперь «любая дружба омрачалась оговорками и обидой, ненависть выветрилась;

никто уже не был готов отдать свою жизнь или убить» (с. 351 наст. изд.). Однако и эта ситуация не затянулась надолго: скоро французские писатели пришли к осознанию своего бессилия и отступились от политики. «Для интеллектуала не остается больше никакой роли» (с. 393 наст, изд.), — с горечью признал Дюбрей. Примечательно, что поначалу французские писатели верили, что политическое бессилие — удел американских интеллектуалов, а во Франции влияние творческой интеллигенции неоспоримо. Но со стороны, наверное, виднее, и будущее незамедлительно доказало правоту американца Филиппа, который заметил: «Действовать — это сущее наваждение для всех французских писателей. Ведь они отлично знают, что решительно ничего не могут изменить, так что обнаруживаются любопытные комплексы» (с. 515 наст. изд.).

В 1949 году, в пору работы де Бовуар над романом, для левых писателей и журналистов был очень щекотливым вопрос об отношении к Советскому Союзу. Просочившаяся на Запад информация о сталинских репрессиях выглядела достоверной, но невероятной. Рассуждая в «Мандаринах» о возможности сделать эту информацию достоянием гласности, Дюбрей

утверждает, что «обязанности интеллектуала, верность истине — все это вздор. Единственная проблема — это понять: за или против людей ты действуешь, изобличая лагеря» (с. 322 наст. изд.). Сложность реальной жизни огорчает и Анри Перрона: «Если бы только можно было быть целиком за или полностью против!» (с. 289 наст, изд.) — восклицает он. Анри с трудом решился на публикацию материалов, порочащих Советский Союз как социалистическую державу. Однако его статьи, разоблачившие существование в Советском Союзе так называемых «трудовых лагерей», те самые, из-за которых велись столь жаркие споры, не сказались на результатах выборов. Французских интеллектуалов постепенно охватывало разочарование в роли, которую они, в частности писатели и журналисты, играли в современном им мире. Да и способна ли литература как-то влиять на политику? «А почему я пишу?» — спрашивает себя Дюбрей. «Потому что не хлебом единым жив человек и потому что я верю в необходимость чего-то еще. Я пишу, чтобы спасти все то, чем пренебрегает действие: правду момента, правду личного и непосредственного» (с. 394 наст. изд.). Таким образом, он отказывается от мысли «оседлать» действие и берет на себя

заботу об эфемерном, о том, что без его кропотливого труда осталось бы в тени, на периферии внимания.

Событием, потрясшим мир своей бессмысленной и чудовищной жестокостью, стала атомная бомбардировка американцами японских городов Хиросима и Нагасаки. Столь грубая и бесчеловечная демонстрация силы кардинально повлияла на отношение левой интеллигенции к политикам. «Они рады показать <...>, на что способны: теперь они смогут проводить нужную им политику, и никто не посмеет возразить» (с. 212 наст, изд.), — возмущался Дюбрей. Если в начале романа убеждения Дюбрея строились на том, что политику нельзя оставлять политикам, то в финале он думает иначе: «Для интеллектуала не остается больше никакой роли» (с. 393 наст. изд.). Не меньше разочарований выпало и на долю Анри Перрона; они заставили его в полной мере почувствовать себя «французским интеллигентом, опьяненным победой 1944 года и доведенным ходом событий до ясного осознания своей бесполезности» (с. 471 наст. изд.). В итоге сложилась ситуация, когда прогрессивный итальянский писатель переезжает в Париж, французский писатель (Анри Перрон) намерева-

ется уехать в Италию, а американский писатель «не желает больше и ногой ступить» в Америку. «Все трое в одинаковом положении. <...> Писатели, которые занимались политикой и сыты ею по горло. Уехать за границу — вот лучший способ сжечь все мосты» (с. 523 наст. изд.). Но похмельная горечь столь же преходяща, как и сладость опьянения. «Мне смешно, когда вы говорите, что с политикой покончено. Вы такой же, как я. Вы слишком много ею занимались, чтобы не заняться вновь. Вы опять попадетесь» (с. 530 наст, изд.), — говорит Дюбрей своему другу Перрону. Он не прав: попадутся не все. Правда, Сартр, прототип Дюбрея, попадется, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Анна говорит своему мужу: «Вы всегда хотели быть одновременно интеллектуалом и революционером» (с. 321 наст. изд.). Того же хотел и Сартр. Если до 1966 года он «не принимал в расчет ничего, что левее компартии» (Beauvoir 1981: 563), то с 1968 года Сартр начал вырабатывать новые представления о роли интеллигенции в современном мире. «Классическому интеллектуалу он противопоставил нового интеллектуала, который отрицает в себе интеллектуальный момент ради обретения статуса народного ин-

теллектуала; такой интеллектуал пытается раствориться в массе во имя торжества истинной всеобщности» (Ibid.: 13—14). Сколь же причудливые изгибы должна была претерпеть мысль Сартра, чтобы рафинированный интеллигент и почетный гражданин «книжного мира» дошел до отрицания в себе «интеллектуального момента»! Де Бовуар не оспаривала его позицию (это было против ее правил), но и не присоединялась к ней безоговорочно, как делала это раньше. Прежняя максималистка к старости научилась вести себя уклончиво. Зато Сартр открыто одобрял маоистов за желание «возродить революционную жестокость» вместо того, чтобы «усыплять ее», как это делали левые партии и профсоюзы. Разрешенные действия — петиции, митинги — бесполезны, утверждал он, надо переходить к незаконным действиям. В 1971 году, после поражения студенческого движения, когда Сартра увлекали поиски новой тактики действий, эти поиски привели его к убеждению в правомерности любых акций, выражающих протест против существующего строя, включая террористические акции. И теперь мы вдыхаем ядовитый аромат «цветов зла», взращенных не без участия Сартра.

О, волшебная сила искусства! Полвека назад

герои де Бовуар с горячностью обсуждали перспективы террористического действия. Надин, бунтарка дебовуаровского разлива, уже тогда обнаруживала пристрастие к политическому терроризму. «Если решиться взлететь вместе с ним (с Салазаром. — Н. П.), его наверняка можно было бы прикончить» (с. 85 наст, изд.), — утверждала она. Тему политического терроризма, обнаружившего столь печальную злободневность в наши дни, исследовал и Альбер Камю в эссе «Человек бунтующий» (1951). По приведенным им данным, «в 1892 году происходит более тысячи покушений динамитчиков в Европе и около пятисот — в Америке» (Камю 1990: 240). Современный терроризм имеет куда более грозный лик, чем в конце XIX века или в середине 20-го столетия: если покушений не стало меньше, то количество их невинных жертв выросло во много раз. И вряд ли кто-нибудь из современных прогрессивных интеллектуалов поддержал бы теперь подобные идеи.

* * *

Во всех произведениях, созданных после «Мандаринов», де Бовуар оставалась верна себе и своим предпочтениям. Так, эссе «Надо ли сжечь

маркиза де Сада?» («Faut-il brûler Sade?», 1955) создавалось, по ее признанию, с твердым намерением разрушить традицию представления де Сада бесцветным и замороженным, какими мы обычно видим изображения на гравюрах XVIII века. Передать «вкус жизни», если не своей, то чужой, — вот в чем видела она первейшую задачу. Де Бовуар всегда проявляла интерес к маргинальным личностям. В преступниках и она, и Сартр были склонны видеть жертву, а не виновника, а всю ответственность за злодеяния возлагали на общество, «на ужасную систему для производства безумцев, убийц, чудовищ» (Beauvoir 1960: 155). Из-за пронесенной через всю жизнь любви к маргиналам Симона и встанет на защиту творчества маркиза де Сада.

Самым значительным из того, что создала де Бовуар после «Мандаринов», стали ее воспоминания. Она была добросовестным летописцем, однако цель ее была не в том, чтобы создать документ эпохи, а в том, чтобы «разоблачить мир», год за годом фиксируя в мемуарах эволюцию поколения интеллектуалов, переживших один из самых страшных катаклизмов истории. Странная штука жизнь. В каждое отдельное мгновение она открыта нашему взору, но вместе с тем совершен-

но непроницаема. Она раздроблена на события, рассеяна, разрублена на кусочки, но, наперекор всему, сохраняет единство. Многоликая и текучая реальность ускользает от определений, и только самым отчаянным упрямцам хватает терпения плести словесные сети, пытаясь уловить неуловимое. К числу таких упрямцев с полным основанием можно отнести и де Бовуар, соблазненную однажды мыслью рассказать историю о том, как неотступным усилием воли она сотворила собственную необыкновенную судьбу. Рассказ получился, во-первых, объемистым: четыре тома воспоминаний и две примыкающие к ним автобиографические книги — «Очень легкая смерть» (см.: Бовуар 1968а) и «Церемония прощания» (см.: Beauvoir 1981), рассказывающая о последних годах жизни Сартра — насчитывают свыше двух с половиной тысяч страниц. Во-вторых, рассказ получился занимательным и весьма поучительным, ибо личная биография писательницы образовала прочнейший сплав и с литературной историей, и с историей идей ее времени.

Первый том мемуаров — «Воспоминания благовоспитанной девицы» (см.: Beauvoir 1958) — посвящен детским годам и юности Симоны де Бовуар. В книге описаны этапы духовного

становления незаурядной личности, проникнутой настроениями своей эпохи. Пятнадцать лет жизни, описанных де Бовуар во втором томе — «Зрелость» (см.: Beauvoir 1960), — тоже вместили в себя многое. Бунтарке, которая не видела разницы между сумасбродством и истинной независимостью, жизнь преподала суровые уроки. Де Бовуар эти уроки усвоила. Из женщины, отказывавшейся взрослеть из-за упрямого нежелания потерять хотя бы малую толику «радикальной свободы», она превратилась в философа и писательницу, утверждавшую ответственность перед лицом Истории каждого человека за всех людей. Третий том ее воспоминаний — книгу «Сила обстоятельств» (см.: Beauvoir 1963) — французский критик Пьер Абраам справедливо определил как историю женщины и историю событий, а через это — историю определенной части французской интеллигенции, группы интеллектуалов, в основном писателей и журналистов левого направления (об этом см.: Abraham 1963). «Я была обманута» (Beauvoir 1963: 686), — такими словами завершила она эту книгу. Вспоминая мечты юности, она пришла в ужас от их несостоятельности. Из-за того, что де Бовуар писала воспоминания, отбросив многие иллюзии, часть публики увиде-

ла в ней женщину разочарованную, сломленную наступлением старости. Она, однако, желала, чтобы пессимистические настроения, которыми отмечен эпилог «Силы обстоятельств», были расценены именно как настроения. В последнем томе воспоминаний — «В конечном итоге» (см.: Beauvoir 1972) — она подводит иной итог своему существованию: «Сопоставление моих прежних иллюзий и нынешнего трезвого взгляда на действительность жизни больше не шокирует меня» (Beauvoir 1972: 225). Много места в книге отводится философским принципам, положенным в основу творческой деятельности де Бовуар, рассказывается о смысле и содержании работы писателя; о его отношении к действительности, к языку и к своей роли в обществе. Симона де Бовуар различает два вида чтения: информативное и коммуникативное. В первом случае читателю предоставляется возможность сохранить свое место центра вселенной и он лишь понемногу пополняет свои знания о ней. Во втором — перед автором стоит другая задача: не сообщить информацию, а передать смысл прожитой жизни, и тогда в процессе чтения читатель «влезает в шкуру другого». Все свои художественные произведения она создавала в расчете на комму-

никативное чтение.

Фортуна переменчива, и постоянна в ней только легкость, с какой она меняет своих любимцев. Уже в начале 1960-х годов на интеллектуальном горизонте Франции в зените стояли три новых светила: Лакан, Деррида, Барт[30]. Однако, по мере того как влияние экзистенциализма падало во Франции, оно возрастало в мире. Об этом можно судить по количеству приглашений посетить разные страны, которые сыпались на Сартра и де Бовуар словно из рога изобилия. Жизнь де Бовуар в 1960-е годы легко можно представить в виде одного нескончаемого, с «политическим подтекстом», отчета о поездках. В 1960 году она посетила Бразилию и Кубу, в 1966-м — Японию, в 1967-м — Израиль и Египет, и это не считая ее пребывания в Югославии, Бельгии и Нидерландах. Писательница тогда часто давала интервью и публиковала статьи на политические темы.

В 1962—1967 годах она вместе с Сартром неоднократно посещала Советский Союз, и воспоминаниям об этих путешествиях отданы многие страницы книги «В конечном итоге». Ей довелось, в составе делегации Европейского сообщества писателей, встретиться с Н.С. Хрущевым в его летней резиденции в Грузии. Симона де Бовуар,

воспитанная в аристократических традициях и вдобавок болезненно обидчивая по характеру, сохранила об этой встрече незабываемые впечатления. Европейские писатели ожидали, что Хрущев встретит их радушно. Ничуть не бывало! «Он честил нас так, словно мы самые настоящие поборники капитализма, — вспоминала писательница. — А потом восхвалял прелести социалистического строя и взял на себя ответственность за советское вторжение в Венгрию. После всей этой головомойки он вдруг вымучил несколько любезных слов: "В конце концов, вы тоже против войны. Значит, мы все-таки можем вместе выпить и закусить"» (Beauvoir 1972: 324).

Вскоре события в Чехословакии побудили Сартра и де Бовуар навсегда отказаться от визитов в Советский Союз. Россия «интересовала и интриговала» писательницу, но — увы! — нельзя сказать, что она сумела полюбить нашу страну: «Как это ни парадоксально, но нас приворожила Америка, политический режим которой мы осуждали, а СССР, где накапливался опыт, которым мы восхищались, оставлял нас равнодушными» (Beauvoir 1960: 147), — признавалась она.

В прологе книги «В конечном итоге» де Бовуар замечает, что ни одно общественное или личное

событие истекшего десятилетия не оказало существенного влияния на нее. «Я не изменилась, — констатирует она. — У меня нет больше ощущения, что я двигаюсь к какой-то цели, я лишь неотвратимо приближаюсь к могиле» (Ibid.: 10). И в этом есть своя мудрость, которая оказалась недоступна Сартру, не желавшему мириться с собственной старостью и пытавшемуся забыть о ней, окружая себя плотным кольцом молодежи.

В первые послевоенные десятилетия главным в жизни де Бовуар были оказание помощи и поддержки Сартру и ее собственная писательская деятельность. Она публично выступала бок о бок с Сартром даже тогда, когда он сменил роль писателя, нацеленного в первую очередь на художественное творчество, на роль философа, признающего письмо лишь в качестве закономерного и общепринятого способа выражения политической ангажированности[31]. Когда он с головой ушел в политику, де Бовуар довольствовалась тем, что сочувственно следила за его деятельностью, по возможности в нее не вмешиваясь. Впоследствии она вспоминала об этом времени: «Я не хотела играть абсолютно никакой политической роли. Вот почему, когда я читала те же книги, что и Сартр, и рассуждала на те же

темы, что и он, для меня это было совершенно бесполезным занятием» (Beauvoir 1963: 351). Но де Бовуар предпочитала держать свое мнение на эту тему при себе, что было совсем нетрудно, поскольку никто (включая Сартра) этим мнением не интересовался. Однако в глазах других она не выглядела столь отстраненной, как это ей представлялось. Раймон Арон, французский философ и автор концепции индустриального общества, оказался в числе тех, кто критиковал ее с позиций своей теории. Он утверждал, что де Бовуар можно уподобить слепцу, который готов без колебаний судить о живописи, и что ее писания неоспоримо свидетельствуют о политическом невежестве (об этом см.: Aron 1956). По мнению американского литературного критика Дейдры Бэйр, теперь, когда осела пыль десятилетий истории и подробно проанализированы сложные отношения между Сартром и Ароном, видно, что это замечание в действительности имело своим адресатом Сартра (см.: Bair 1990: 418). В подобных нападках на де Бовуар проявлялось то, что можно было бы назвать «эффектом тени»: обрушивая удары на тень Сартра, контуры которой различались при взгляде на де Бовуар, многие мечтали поразить именно его.

Особое место в творчестве де Бовуар занимает книга «Очень легкая смерть», примыкающая к воспоминаниям и описывающая мучительную смерть от рака матери писательницы. Картина болезни воссоздана с убийственными подробностями, и некоторые критики даже обвинили писательницу в том, что она будто бы вела подробные записи у постели умирающей. Причины, побудившие де Бовуар взяться за перо, чтобы запечатлеть столь мучительное для нее событие, иного рода. По ее убеждению, несчастье, которое отыскало слова, чтобы поведать о себе, перестает быть полностью отчужденным и становится не таким уж нестерпимым, а боль, разделенная с другими людьми, перестает быть печатью изгнания.

В 1966 году де Бовуар опубликовала свой самый короткий роман «Прелестные картинки» (см.: Бовуар 1968б). В этом произведении нет традиционных для писательницы героев — интеллигентов левых взглядов. Симону де Бовуар увлекла идея исследовать феномены, сопутствовавшие формированию «общества потребления», начиная с диктата рекламы и заканчивая нормами поведения женщин, весьма отличными от манер «благовоспитанных девиц» поколения

де Бовуар.

В 1968 году увидела свет ее книга «Сломленная» («La Femme rompue»), куда вошли повести «Возраст молчания» («L'Age de discrétion»), «Монолог» («Monologue») и «Сломленная» (см.: Бовуар 1992), посвященные давно волновавшей писательницу теме: теме умирания любви и многообразия способов утешительного самообмана, к каким прибегают ее героини в кризисные периоды жизни. Все три повести описывают ситуации, в которых оказываются женщины, полностью посвятившие себя семье и мало что получившие взамен. Мужчины без особых мучений избавляются от старых жен, предпочитая им более молодых подруг, ибо, как давно замечено, то, что для женщин трагедия, для мужчин всего только драма.

Приверженность к самоанализу не оставила де Бовуар и тогда, когда она окончательно вступила в «третий возраст». У писательницы появился новый психологический опыт — опыт переживания старости. И потому в 1970 году появилось эссе «Старость» («La Vieillesse»). По замыслу де Бовуар это эссе должно было стать ее последней книгой. («Церемония прощания» писательницей не планировалась и создавалась с единственной

целью: как-то пережить смерть Сартра; это была ее манера «носить траур».) В работе о старости де Бовуар осуществила бесстрашный анализ будущего, навязываемого нам тем неоспоримым фактом, что «все люди смертны». В современном обществе, старательно насаждающем культ молодости, говорить о старости так же неприлично, как прежде неприлично было упоминать о сексе. Когда де Бовуар скрупулезно рассмотрела различные аспекты этой «запретной» темы и с помощью научных данных развеяла убаюкивающие иллюзии, к которым склонны прибегать люди на пороге старости, она вызвала у читающей публики нешуточное раздражение.

После 1970 года де Бовуар заметно изменилась. Она все чаще стала «выпадать» из «магического круга» «семьи» Сартра, неуклонно пополнявшейся юными членами. Для разговоров о политике, которая по-прежнему привлекала Сартра, у него теперь были другие собеседники. Де Бовуар не испытывала к ним особой симпатии. Ее затягивало женское движение, теперь она много времени уделяла сотрудничеству с различными феминистическими организациями. В книге «В конечном итоге» писательница объяснила, чем привлекла ее та новая разновидность феминизма, которая

сложилась в начале 70-х годов. Ее восхищал радикализм неофеминизма, который «берет на вооружение лозунг мая 1968 года: изменить жизнь сегодня же. Не рассчитывать на будущее, а действовать без промедления» (Beauvoir 1972: 492). Особенно активно писательница включилась в женское движение в 1974 году, когда создала «Лигу прав женщин» и начала вести в журнале «Тан модерн» рубрику «Обыкновенный сексизм»[32].

В течение шести лет, на которые де Бовуар пережила скончавшегося в 1980 году Сартра, память о нем не оставляла ее. «Его смерть нас разлучила, — писала она. — Моя смерть не соединит нас. Это так. И все-таки хорошо, что когда-то наши жизни на время переплелись» (Beauvoir 1981: 176). До последних дней жизни де Бовуар осталась верна «сартровской» теме: в 1981 году она опубликовала «Церемонию прощания» (воспоминания о последних годах его жизни) и «Беседы с Ж.-П. Сартром» (см.: Ibid.); в 1983 году — два тома писем Сартра («Письма к Кастору и к некоторым другим» — «Lettres au Castor et à quelques autres»). Искренность, доведенная до безжалостности к себе и близким людям, — такова отличительная черта книги «Церемония

прощания». Писательница старалась никогда не приукрашивать жизнь. Она не посмела приукрасить даже те отвратительные увечья, которые старость и болезни наносят духу человека. Для Сартра, каким он предстает перед нами в «Церемонии прощания», давно миновали дни, когда он нес восхищенным народам благую весть экзистенциализма. Сияние его славы померкло, но все еще окутывало слабым золотистым ореолом, отблески которого падали и на тех, кто держался поблизости. Эти золотые искры и притягивали к нему ретивых молодых людей, не брезговавших возможностью манипулировать им в собственных целях и изо всех своих недюжинных сил оттеснявших от Сартра прежних соратников. Под их напором приходилось отступать и де Бовуар.

Симона де Бовуар с молодых лет страдала своего рода «манией интерпретаторства»: поиски различных объяснений поступков и высказываний друзей и знакомых всегда увлекали и ее и Сартра. Множественность подходов к фактам биографии любого человека не могла смутить того, кто горячо ратовал «за двусмысленность морали». Вот почему, написав автобиографию, в которой, казалось бы, поведано о себе все, что достойно упоминания, Симона де Бовуар незадолго

до смерти согласилась помогать своему биографу, американской исследовательнице Дейдре Бейр — ради «игры биографических зеркал, ради бесконечных отражений и неуловимой правды этих многочисленных отсветов» (Bair 1990: 14). Согласиться с правом людей судить о ней иначе, чем она сама того хотела, — это был ее способ хранить верность себе. Может быть, именно поэтому она столь бережно относилась ко всему, что сберегала память. И может быть, поэтому о жизни писательницы, как и о жизни Сартра, сохранилось так много свидетельств, что существует мнение, будто таких свидетельств больше, чем о жизни любого другого деятеля XX века.

Трудно, очень трудно было де Бовуар, которая от избытка сил всегда готова была «гореть ярче, чем кто-либо другой, и не важно, в каком пламени» (Beauvoir 1958: 308), смиряться со все ближе подступающей после ухода Сартра тьмой, казавшейся ей особенно враждебной. Но она покорно сносила померкнувший свет своего существования. А потом и этот свет угас: 14 апреля 1986 года она, всего восемь часов не дожив до шестой годовщины со дня смерти Сартра[33], умерла. В течение пяти лет де Бовуар с особой торжественностью отмечала этот знаменательный день. Ей

было далеко не безразлично, когда умереть. Тогда, на пороге кончины, она, наверное, напрягала последние силы, чтобы дожить до заветного дня и тем самым сотворить красивый конец мифу о чете интеллектуалов, которые, как в сказке, жили счастливо и умерли в один день. Иными словами, в один и тот же весенний день — 15 апреля, пусть даже с разницей в шесть лет. Ей это почти удалось. Какая жалость, что это удалось ей почти.

Существование, по Сартру и де Бовуар, предшествует сущности, и смысл человеческой жизни как бы отложен до того момента, когда смерть все расставит по своим местам (ср.: Derrida, 1996). «Как физику невозможно определить одновременно положение частицы и длину волны, которая ей соответствует, так и у писателя нет способа говорить одновременно о событиях жизни и о ее смысле. Ни один из этих аспектов реальности не является правдивее другого» (Beauvoir 1963: 523). Мы довольно подробно рассказали о событиях жизни писательницы, и настало время сказать несколько слов о другом аспекте: о смысле прожитой ею жизни.

Те, кто хорошо знаком с историей далеко не простых отношений между Сартром и де Бовуар,

привыкли с большой легкостью употреблять выражение «миф о чете интеллектуалов», заслуга создания которого, несомненно, принадлежит де Бовуар. При этом слово «миф» используют в его приземленном значении, словно речь идет о какой-то фантазии или иллюзии. Однако если вдуматься, то в данном конкретном случае мы имеем дело именно с мифом. Начнем с того, что к созданию его де Бовуар приступила, имея за плечами солидный научный багаж. Ведь не напрасно же в эссе «Второй пол» она дотошно исследовала, начиная с древнейших времен, все мифы, связанные с положением женщины. Стоит перечитать посвященные этой теме страницы, и сразу станет понятно: писательнице отлично известно, что такое архетипы[34]. Она знает, что очень немногие из едва ли не сотни стереотипов поведения реализуются в нашей жизни, ибо, как заметил швейцарский психолог Адольф Гуггенбюль-Крейг, «для того чтобы активизировались архетипы, необходимы определенные условия, тенденции, которые, как правило, соответствуют духу времени» (Гуггенбюль-Крейг 1997: 50). Сотворенный де Бовуар миф о чете интеллектуалов был опережающей время попыткой активизировать женский стереотип «мудрой, мыслящей женщи-

ны, самостоятельной, несексуальной, но охотно помогающей мужчинам» (Там же: 48), которую в нашем восприятии символизирует Афина. В последние годы подобную роль пытаются исполнять супруги американских президентов; не так давно на нее претендовала Раиса Горбачева, и все мы помним, какое неприятие вызывали у многих ее усилия. Каково же было де Бовуар справляться с этой ролью полвека назад, без опоры на традицию! Но она сумела одолеть все трудности, и к 60-м годам XX века миф о чете интеллектуалов получил мировое признание. Мы уже вскользь касались вопроса о том, насколько этот миф отражал реальность. Сейчас для нас важно другое: его культурное значение. А оно бесспорно. Этот миф послужил одним из толчков для пробуждения пока довольно редкого женского архетипа, который, безусловно, получит широкое распространение в обществах третьего тысячелетия, когда на смену демократии придет обещанная нам футурологами меритократия. Иными словами, когда восторжествует социальная система, в которой вознаграждение и служебное положение будут распределяться в зависимости от заслуг, а не исходя из унаследованных факторов, таких как принадлежность к определенному классу

или полу.

* * *

Задержим внимание читателя еще немного и снова вернемся к роману «Мандарины», знакомство с которым происходит у нас в стране с опозданием на полстолетия. Следует признать, что такое опоздание поместило произведение в иной культурный контекст, решительно отличающийся от всего, с чем мы имели дело в 50-е годы XX века. «Мандарины» предстали перед современниками как подлинные «золотые плоды» модернистской литературы, а содержавшиеся в них «косточки» постмодернизма были до поры отброшены за ненадобностью. Капля, как известно, камень точит, и потому мерная капель лет, омывая произведение, проявляет в нем прежде незримые черты.

Как уже говорилось, главное достоинство романа «Мандарины», отмеченного в 1955 году Гонкуровской премией, — тонкое исследование умонастроений французской левой интеллигенции послевоенной поры. Возможно, для современного читателя это и не слишком животрепещущая тема, но произведение не утратило своего значения. Только акценты при его прочте-

нии теперь будут расставлены немного иначе: читатель увидит в нем контуры более общей проблемы, какой является проблема места интеллигента в мире. При этом особая ценность романа для российского читателя заключается в том, что в нем нашли отражение аспекты, которые, в силу исторических особенностей национальной ментальности, зачастую ускользают от нашего внимания. Со времен Некрасова утвердилось и на разные лады до сих пор повторяется мнение, что поэт в России больше чем поэт и что высокая гражданственность — его неотъемлемая черта. Во Франции, где традиции индивидуализма в высшей степени сильны, в многогранном облике поэта заметнее акцентированы иные черты: он — «проклятый», точнее даже «проклятый безумец». В обеих странах за Поэтом (читай: за творческой интеллигенцией) признают провидческий дар, но если в России на него по этой причине возлагают миссию Учителя жизни, то во Франции поэт выступает скорее в роли вещей Кассандры, не находящей отклика у сограждан; его голос — глас вопиющего в пустыне. История не пренебрегает ни одной возможностью: она создает и такие ситуации, когда народы прозорливцам верят и за ними идут, и такие, когда их клеймят

и преследуют.

Позволим себе небольшое отступление. Если идеология[35] устаревает, общество отбрасывает ее подобно тому, как змея во время линьки сбрасывает кожу: сначала эта кожа лопается у нее на голове, потом рептилия, томимая невыносимым зудом, трется о неровности рельефа, чтобы побыстрее от нее избавиться, — и вот уже, освобожденная, она влажно поблескивает на солнце новыми яркими узорами. Интеллектуал-маргинал — тот, кто начинает подспудно вырабатывать эту будущую радужную прелесть задолго до того, как змеиная кожа превратится в выползок. В гордом одиночестве подготавливает он неповторимый рисунок бытия. Но есть другие одиночки, и сотканные их воображением узоры способны создать иное расположение цветовых пятен[36]. Интеллектуалы-маргиналы предстают перед нами как «ересиархи» любой господствующей идеологии, они, по словам Сартра, «вечные отщепенцы», ремесло которых — критиковать, протестовать и изобличать, ибо «политик, предоставленный самому себе, всегда выбирает самое удобное средство, иначе говоря, скатывается по наклонной плоскости» (Сартр 2000: 246). Совсем другую позицию по отношению

к миру занимают интеллектуалы-«праведники». В одной из лекций о современной французской литературе писатель Жюльен Грак построил примечательную антитезу литературы по Клоделю и литературы по Сартру, которую уместно будет вспомнить. Известного писателя-католика Поля Клоделя отличает, по его мнению, не столько католицизм, сколько «определенное основательное отношение к миру», которое Грак называет ощущением принятия — глобальным «да» — без колебаний, почти ненасытным по отношению к Творению, взятому во всей его целостности. Здесь нет места для выбора, и, как замечает Грак, Клодель соглашается со всем — и с благородным, и с недостойным; он соглашается с Богом, с Творением, с Папой, с обществом, Францией, Петеном, де Голлем, деньгами, хорошо обеспеченной карьерой, с потомством патриарха, с крепким домом, на котором, как он говорит, он женился в присутствии нотариуса. У Сартра, утверждает Грак, все как раз наоборот. Его отношение — это инстинктивное «нет». Нет природе, нет другим, нет существующему обществу, нет сексуальности, нет даже литературной славе (об этом см.: Gracq 1961: 92—93).

Подобная позиция отрицания может быть

оправдана, ибо реальность становится жертвой ситуации, как только обретает окончательные формы. Современная философия учит: все, что заполнено, недоступно для творчества. Превратившись в нечто организованное, непроницаемое и жесткое, реальность выступает как тормоз. Прежде всего, данное предупреждение важно в политическом отношении: развитию реальности всегда препятствует избыток полноты, упорядоченной и насыщенной всякого рода запретами, которые, получая дальнейшее развитие, в конце концов тормозят развитие общества и исключают любую эволюцию в нем[37]. Вот почему реальность надо очистить от всех запретов и предписаний, вводя пустоту как основу для дальнейшего развития. Снятие кодификации — а любая кодификация есть не что иное, как паралич реальности — открывает простор для инициативы (об этом см.: Жюльен 1999: 136).

Дело интеллектуала-маргинала — продумывать возможности[38], и только история выносит окончательное суждение относительно того, какая из них будет реализована и какие формы изберет для себя переменчивый дух времени. Вот она, боль маргиналов: а ну как их жизнь пройдет на обочине истории, вдруг люди никогда не при-

знают правоты их суждений, навсегда определив им незавидный удел лжепророков? В романе «Мандарины» на эту тему размышляет Анна: «Робер твердо придерживался определенных идей, и до войны мы были уверены, что когда-нибудь они воплотятся, станут реальностью; он не жалел сил, чтобы обогатить их и претворить в жизнь: а если предположить, что это никогда не произойдет?» (с. 44 наст. изд.).

«Разве можно любить интеллектуала! — сетует Надин, дочь Дюбрея. — У вас вместо сердца весы и крохотный мозг на кончике хвоста» (с. 149 наст. изд.). У девушки злой язычок, но суть она уловила верно: интеллектуал-маргинал — довольно редкий («специфический», по выражению де Бовуар) вид в человеческой фауне, он может быть очаровательным и безобидным, но может быть и весьма неприятным; для одних его ценность сомнительна, для других — безусловна, и они настаивают на необходимости его защищать. И этот фантастический зверь способен принимать разные обличья. В одном из них явлен в романе Скрясин, примечательный тем, что «любит компанию людей, которых не любит» (с. 237 наст. изд.). Его позволительно ненавидеть, но нельзя изменить: созидая себя, он «воспользовался

своими пороками и недостатками; его можно разрушить, но не вылечить» (с. 64 наст. изд.). Для Симоны де Бовуар маргинальность — одна из отличительных черт истинного интеллектуала.

Получившее широкое распространение в эпоху постмодерна понятие «маргинальность» используют в социальной философии и социологии для анализа пограничного, накладывающего определенный отпечаток на психику и образ жизни положения личности по отношению к какой-либо социальной общности. Для французского философа-постструктуралиста Ролана Барта маргинальность синонимична стремлению к новому на пути отрицания самых разных культурных стереотипов и запретов, которые унифицируют власть всеобщности и «безразличия» над единичностью и уникальностью. Интеллектуалу-маргиналу свойственно воспринимать господствующую идеологию как нечто сковывающее и остро чувствовать ее ограниченность. Маргиналы отказываются принимать современную им господствующую парадигму мышления; нередко это помогает им обнаруживать реальные противоречия и парадоксы магистрального направления развития культуры. Маргинальный субъект и маргинальное существование возни-

кают в «просвете», «зазоре» между структурами, обнаруживая свою пограничную природу при любом изменении, сдвиге или взаимопереходе структур. Однако в постмодернистском искусстве понятие господствующей, доминирующей, «высокой» культуры исчезает, а потому влияние маргинальных течений усиливается.

Для маргиналов главным способом освобождения от пут господствующей идеологии может выступать «ускользание» от определенностей любого рода — определенностей как негативных, так и позитивных. «Ускользание революционно», — настаивали французские философы, создатели шизоанализа, Жиль Делез и Феликс Гватари (см.: НФС 1998: 817). Интеллектуал обязан делать выбор в пользу шизофрении, искусства и науки, то есть в пользу индивидуального поведения, ориентированного на процесс и производство, а не на цель и выражение.

Как мы видим, за годы, прошедшие со времени создания «Мандаринов», интерес французских интеллектуалов к политике не утихал. Они продолжали судить о ней (без этого они не могут), но делали это иначе, чем ангажированные интеллектуалы сартровской закалки. Так, интеллектуалы 80-х годов утратили всякий вкус

к участию в деле революции. Это приводит французского философа В. Декомба к весьма пессимистичным выводам: «Сегодня, после всего лицемерия ангажированного интеллектуала, проблематичным должно ощущаться именно понятие "политики" для философов, я хочу сказать — политики, строго ограниченной оценкой Причины, не принимая во внимание почтенность ее представителей и политическую своевременность принятых инициатив, своевременность, о которой следует судить только с позиции тех, кто испытывает на себе ее последствия» (Декомб 2000: 212). По его мнению, само понятие «политика интеллектуалов» хотя и обладало смыслом, подлежавшим обсуждению, но требовало своего исследования, коль скоро интеллектуалов связывали с какой-либо высокозначимой целостностью. Интеллектуалы либо способны образовать духовную власть — и в этом случае они составляют часть целого, объединяющего в себе власть преходящую и власть духовную, которую можно представить себе как земное приближение идеального Государства духа, — либо представляют собой авангард — в этом случае они, по сути, часть великой армии, работающей над созданием мирового Государства свободных

трудящихся. При этом интеллектуал, как пытался доказать в своих работах Мишель Фуко, не признает значения никакой целостности — ни идеальной, ни реально существующей.

Если вернуться на грешную Землю и вглядеться в идеальный образ общества, предлагаемый нам современными «праведниками», мы увидим такую картину. Сдвиг в идеологии, произошедший за последние полвека, очевиден: «Антитеза демократии и тоталитаризма сегодня принимается большинством людей, тогда как какие-то двадцать лет назад она отбрасывалась как американское изобретение. И точно так же лозунг "Вся власть трудящимся!" отныне заменен лозунгом "прав человека"» (Декомб 2000: 212). Но так же очевидно и то, что упрямые контр-эксперты («ересиархи») без устали созидают в тиши своих кабинетов небывалые определения реальности. И вчерне подобные определения уже готовы, ведь не случайно все чаще и громче звучат голоса тех, кто утверждает, что демократия полностью исчерпала себя и в третьем тысячелетии грядет переустройство общества на принципах меритократии. Конечно, в своем романе «Мандарины» Симона де Бовуар не предложила определения той реальности, которая ожидает нас в будущем.

Однако она показала (и показала психологически убедительно), каким трудом, какими борениями, ценой каких болезненных компромиссов и мучительных потерь разрушают старое и творят новое в образуемой идеологиями области символических значений: в той области, которая невидима глазу и чье воздействие узнают только по результатам. Спасибо де Бовуар за это.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Aron 1956 — Aron R. M-me de Beauvoir et la pensée de droite // Le Figaro littéraire. 1956. 12 janv. P. 6.

Abraham 1963 — Abraham P. Notre temps // L'Humanité. 1963. 12 déc. P. 7.

Bair 1990 — Bair D. Simone de Beauvoir. P., 1990.

Beauvoir 1945 — Beauvoir S. de. Les bouches inutiles. P., 1945.

Beauvoir 1947 — Beauvoir S. de. Pour une morale de l'ambiguite. P., 1947.

Beauvoir 1955 — Beauvoir S. de. La pensee de droite aujourd'hui // Privileges. P., 1955. P. 91-200.

Beauvoir 1957 — Beauvoir S. de. La Longue Marche. P., 1957.

Beauvoir 1958 — Beauvoir S. de. Memoires d'une jeune fille rangee. P., 1958.

Beauvoir 1960 — Beauvoir S. de. La Force de l'age. P., 1960.

Beauvoir 1963 — Beauvoir S. de. La Force des choses. P., 1963.

Beauvoir 1965 — Beauvoir S. de. Berger I., Faye J.P., Ricardou J., Sartre J.P., Semprun J. Que peut la litterature? P., 1965.

Beauvoir 1972 — Beauvoir S. de. Tout compte fait.

P., 1972.

Beauvoir 1979 — Beauvoir S. de. Quand prime le spirituel. P., 1979.

Beauvoir 1981 — Beauvoir S. de. La Ceremonie des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre. Aout-septembre 1974. P., 1981.

Beauvoir 1990 — Beauvoir S. de. Lettres a Sartre. 1940-1963. P., 1990.

Derrida 1996 — Derrida J. Mourir — s'entendre aux «limites de la verite». P., 1996.

Eaubonne 1986 — Eaubonne F. de. Une Femme nommee Castor: Mon ami Simone de Beauvoir. P., 1986.

Gerassi 1992 — Gerassi J. Sartre, Conscience haie de son siecle. P., 1992.

Gide 1956 — Gide A. Journal: En 2 vol. P., 1956. Vol. 1. 1889-1926.

Gide 1972 — Gide A. Si le grain ne meurt. P., 1972.

Gracq 1961 — Gracq J. Preferences. P., 1961.

Heinich 1996 — Heinich N. Etats de femme: L'identite feminine dans la fiction occidentale. P., 1996.

Henry 1961 — Henry A.-M. Simone de Beauvoir ou l'echec d'une chretiente. P., 1961.

Hourdin 1962 — Hourdin G. Simone de Beauvoir et la liberte. P., 1962.

Lejeune
1975 — Le jeune P. Le pacte autobiographique. P., 1975.

Lipovetsky 1997 — Lipovetsky G. La troisieme femme: Permanence et revolution du feminin. P., 1997.

Mauriac 1953 — Mauriac F. Ecrits intimes. Geneve; P., 1953.

Mauriac 1958 — Mauriac F. Bloc-notes. 1952-1957. P., 1958.

Sartre 1943 — Sartre J.-P. L'Etre et le Neant. P., 1943.

Sartre 1946 — Sartre J.-P. L'existentialisme est un humanisme. P., 1946.

SBSJC 1966 — Simone de Beauvoir par Serge Julienne-Caffie. P., 1966.

Schwarzer 1984 — Schwarzer A. Simone de Beauvoir aujourd'hui: Six entretiens. P., 1984.

Serres 1974 — Serres M. Jouvenence: Sur Jules Verne. P., 1974.

Serres 1975 — Serres M. Feux et signaux de brume. Zola. P., 1975.

Serres 1980 — Serres M. Le Passage du Nord-Ouest // Hermes: En 5 vol. P., 1980. Vol. V. P. 18.

Thibaudet 1935 — Thibaudet A. Gustave Flobert. P., 1935

Бахтин 2000 — Бахтин М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.

Бергер, Лукман 1995 — Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.

Бовуар 1968а — Бовуар С. де. Очень легкая смерть /Пер. с фр. Н. Столяровой. М.: Прогресс, 1968.

Бовуар 1968б — Бовуар С. де. Прелестные картинки /Пер. с фр. Л. Зониной. М.: Молодая гвардия, 1968.

Бовуар 1992 — Бовуар С. де. Сломленная / Пер. с фр. Б. Арзуманян // С. де Бовуар. Очень легкая смерть: Повести. Эссе. М.: Республика, 1992. С. 261— 360.

Бовуар 1997 — Бовуар С. де. Второй пол / Пер. с фр. А. Сабашниковой, И. Малаховой, Е. Орловой. М.; СПб., 1997.

Бреннер 1994 — Бреннер Ж. Моя история современной французской литературы. М., 1994.

Гегель 1999 — Гегель Г-В.-Ф. Феноменология духа/Пер. с нем. Г. Шпета. СПб., 1999.

Гуггенбюль-Крейг 1997 — Гуггенбюль-Крейг А. Брак умер — да здравствует брак! СПб., 1997.

Декомб 2000 — Декомб В. Современная французская философия. М., 2000.

Делез 1992 — Делез Ж. Представление Захер-

Мазоха // Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. Ж. Делез. Представление Захер-Мазоха. З. Фрейд. Работы о мазохизме. М., 1992. С. 189-313.

Евнина 1962 — Бенина Е.М. Современный французский роман: 1940—1960. М., 1962.

Жид 1991 — Жид А. Фальшивомонетчики. Тесные врата. М., 1991.

Жюльен 1999 — Жюльен Ф. Трактат об эффективности. М.; СПб., 1999.

Зонина 1955 — Зонина Л.А. Искания французской интеллигенции: О романе С. де Бовуар «Мандарины» // Иностранная литература. 1955. № 6. С. 177—183.

Камю 1990 — Камю А. Человек бунтующий // Иностранная литература. 1990. № 5. С. 240.

Ницше 1990 — Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1.

НФС 1998 — Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицианов. Минск, 1998.

Ортега-и-Гассет 1991 — Ортега-и-Гассет Х. Этюды о любви //Звезда. 1991. № 12. С. 139-174.

Полторацкая 1992 — Полторацкая Н.И. Большое приключение благовоспитанной девицы: Книги воспоминаний Симоны де Бовуар. СПб., 1992.

Полторацкая 2000 — Полторацкая Н.И. Меланхолия мандаринов: Экзистенциалистская

критика в контексте французской культуры. СПб., 2000.

Сартр 2000 — Сартр Ж.-П. Что такое литература? СПб., 2000.

Фокин 2000 — Фокин С. Альбер Камю: Роман. Философия. Жизнь. СПб., 2000.

Примечания (составила Н.И. Полторацкая)

1

Нелсон Олгрен (1909—1981) — американский прозаик; описывал людей чикагского «дна». Наиболее значительные его произведения — романы «Кто-то в сапогах» («Somebody in boots», 1935) и «Человек с золотой рукой» («The man with the golden arm», 1949).

2

Рундштедт Герд фон (1875—1953) — немецкий маршал, руководивший контрнаступлением германских войск в Арденнах зимой 1944/45 г.; успехи союзнических войск привели к тому, что в феврале 1945 г. он был смещен с должности.

3

Музей Гревена — известный парижский музей восковых фигур.

4

«Эспуар». — Как подчеркивала де Бовуар в своих воспоминаниях, А. Камю не принадлежал ни к редакции «Тан модерн», ни к Революционно-демократическому объединению; никогда не существовало соглашений между этим объединением и газетой «Комба», которой руководил Камю. И у «Эспуар» меньше сходства с «Комба», чем с другой газетой бывших участников Сопротивления, «Фран-Тирёр». Возможно, де Бовуар пришла в голову мысль дать это название газете Перрона потому, что в 1946 г. Камю основал в издательстве «Галлимар» тематическую серию «Эспуар» («Надежда») и сам руководил ею.

5

Альгамбра — древняя столица арабских правителей исторической провинции Гранада (Испания); для французов сады Альгамбры и дворец-замок халифов (середина XIII — конец XIV в.) были символом восточной роскоши.

6

Джанго Рейнхардт (1910—1953) — первый европейский джазовый музыкант-гитарист, признанный на родине джаза, цыган по происхождению.

7

...накануне высадки... — Во время Второй мировой войны (1939—1945) высадкой десанта на северо-западе Франции в июне 1944 г. войска США и Британии открыли второй фронт в Европе.

8

...Америка, Мексика, Бразилия... СССР, Китай... — К середине 1960-х гг. де Бовуар посетила все эти страны и описала свои путешествия в воспоминаниях; США и Китаю она посвятила пространные эссе.

9

Скрясин. — Прототип Скрясина не назван де Бовуар, однако у этого персонажа много общего с Артуром Кёстлером (1905—1983), английским писателем и психологом венгерского происхождения (писал также на немецком языке), человеком с изломанной судьбой. В 1922—1926 гг. он учился в Венском университете и примыкал к леворадикальной интеллигенции, в 1931 г. вступил в компартию Германии. Много путешествовал по Европе, был корреспондентом ряда газет в Советском Союзе. После гражданской войны в Испании перешел на антикоммунистические позиции. Как и Кёстлер, Скрясин разоблачал сталинский режим и считал, что западные интеллектуалы, воспитанные на принципах уважения прав личности, не способны понять реального положения дел в Советском Союзе. Как и Кёстлер, Скрясин не любил молодежи.

10

Я целовала его. — Описанная сцена, часто повторявшаяся в годы войны в жизни де Бовуар, наглядно показывает, как жила тогда «семья», которую содержали Сартр и де Бовуар и куда входили несколько молодых людей лет на восемь—десять моложе «родителей». В их числе были сестры Козакевич, бывший ученик Сартра Бост и бывшая ученица де Бовуар Наташа Сорокина. Прототипом Диего послужил еврей испанского происхождения по фамилии Бурла, которого ввела в «семью» Наташа Сорокина.

11

Мертвые мертвы… нам, живым, предстоит проснуться… — К этой мысли де Бовуар возвращалась много раз и в романе «Кровь других» (1945), и, особенно часто, в романе «Все люди смертны» (1946), где ее на все лады повторяет наделенный бессмертием Фоска; для де Бовуар эта констатация означает трагическую невозможность «постичь смерть других» (об этом см.: Beauvoir 1963: 78).

12

«Красный рай». — В Европе и в США большой известностью пользовался роман А. Кёстлера (прототипа Скрясина) «Слепящая тьма» (1940, его французское название — «Le Zéro et l'Infini»: «Ноль и бесконечность»), где описаны показательные судебные процессы в Москве в 1930-х годах.

13

...искусство и литература покажутся... не более чем устаревшими забавами. — На подобные аргументы Сартр ответил в работе «Что такое литература?» (1947), которую закончил такими словами: «Мир прекрасно может обойтись и без литературы. Но еще лучше он может обойтись без человека» (Сартр 2000: 274).

14

Александрийская поэзия — поэзия эпохи эллинизма (323—30 до н. э.), названная так по своему центру, Александрии Египетской; отличительные черты этой поэзии — отказ от гражданской тематики и «ученость», проявлявшаяся как в интересе к малоизвестным версиям мифов, так и в подражании языку гомеровского эпоса.

15

...для вас служить революции — это писать книги. — Такова была позиция Сартра и де Бовуар в предвоенные годы: «Мы хотели оказывать собственное воздействие через общение с людьми, преподавательскую деятельность и наши книги. Это было бы скорее разрушительное, нежели созидательное воздействие, но <...> мы полагали, что критика чрезвычайно полезна» (Beauvoir 1960: 141).

16

Мечты об абсолюте. — Подобные настроения были весьма характерны для французской интеллигенции середины 1920-х и 1930-х годов. В свое время Сартр и де Бовуар их разделяли, позднее жестко критиковали. Сартр осуждал сюрреалистов именно за «грезы об абсолюте»: «Все они отправились на поиски абсолюта, но, поскольку со всех сторон их обступало относительное, эти писатели отождествили абсолют с невозможным. Все они колебались между двумя ролями: ролью провозвестников нового мира и ролью разрушителей старого. Однако, поскольку в послевоенной Европе легче было различить приметы упадка, нежели приметы обновления, все они сделали выбор в пользу разрушения» (Сартр 2000: 182).

17

...разрыв с Кашеном через два года после Тура...

— В декабре 1920 г. в г. Туре состоялся съезд социалистической партии, который ознаменовался созданием Французской коммунистической партии. В 1922 г. в Париже состоялся II съезд ФКП, на котором Марсель Кашен (1869—1958), парламентарий и главный редактор газеты «Юманите», ратовал за единство партии, основанное на полном подчинении всех несогласных железной партийной дисциплине («тактика единого фронта»). Не все делегаты согласились с подобной позицией, и в результате съезд не принял никаких решений.

18

Жорес Жан (1859—1914) — французский историк, политический деятель, один из руководителей Французской социалистической партии, основатель газеты «Юманите» и убежденный борец против колониализма и милитаризма; под редакцией Жореса публиковалась «Социалистическая история Французской революции» (1901—1908), которой зачитывался Сартр в годы оккупации.

19

Амстердамский конгресс. — Имеется в виду состоявшийся в Амстердаме в 1904 г. конгресс II Интернационала, принявший историческое решение о создании единых национальных социалистических организаций.

20

Эль Уэд — оазис в алжирской Сахаре вблизи границы с Тунисом.

21

Ставло — бельгийский городок в Арденнах; во время Второй мировой войны — один из центров партизанского движения.

22

...походил на лишенного рассудка Рембо. — Рембо Артюр (1854—1891) — французский поэт, создатель нового поэтического языка, систему образов которого отличает затейливое переплетение «универсальных аналогий» с предельно субъективными ассоциациями. Рембо считал поэта ясновидцем, но таковым может стать только тот, кто изведал любые формы любви, страдания и безумия; кто изнурил себя всеми ядами; кто стал самым больным, самым преступным и самым проклятым. Последовательная реализация этих принципов привела поэта к наркомании, расстройству психики и ранней смерти. 19 ноября 1912 г. Андре Жид записал в своем дневнике рассказ очевидца о том, как выглядел Рембо в последние месяцы жизни. Все дни напролет он курил, по-восточному поджав под себя ноги, и сочинял, когда к нему приходили гости, дурацкие выдумки. Время от времени он подносил руку ко рту и сотрясался от беззвучного идиотского смеха (см.: Gide 1956: 384).

23

ФФИ — Французские внутренние силы движения Сопротивления.

24

Ааттр де Тассини Жан-Мари-Габриель де (1889—1952) — видный французский военный, которому поручено было подписывать 8 мая 1945 г. в Берлине акт о капитуляции немецких войск; с 1950 г. маршал Франции.

25

...солдат 1848 года. — Намек на события февральской революции 1848 г., когда на улицах Парижа можно было увидеть толпы вооруженных горожан. Народ восстал и добился отречения короля Луи-Филиппа и установления Второй республики.

26

СРЛ (Социалистическая лига). — В конце 1940 — начале 1950-х годов. Сартр (прототип Дюбрея) принял участие в организации движения, названного Революционно-демократическим объединением и призванного выражать настроения левой интеллигенции. Однако это движение возникло позднее, чем описанное в «Мандаринах» СРЛ.

27

Дух Локарно. — В октябре 1925 г. в швейцарском городе Локарно состоялась конференция европейских стран, на которой был подписан договор о соблюдении установленных Версальским договором границ. С этим договором связывались надежды на прочный мир в Европе, но Гитлер нарушил его в 1936 г., когда германские войска оккупировали демилитаризованную Рейнскую зону.

28

...упрекал де Голля за его поездку в Москву. — В ноябре—декабре 1944 г. французская правительственная делегация во главе с генералом де Голлем посетила СССР, где 10 декабря был подписан Договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Французской Республикой.

29

...я вернулась домой. — По свидетельству Франсуазы д'Обон, интимная близость между Анной Дюбрей и Скрясиным описана де Бовуар под впечатлением от любовного приключения, героем которого стал Кёстлер (об этом см.: Eaubonne 1986: 127).

30

...я осуждена, меня подстерегает старость, и нет никакой возможности скрыться от нее; я уже замечаю ее в глубине зеркала. — Де Бовуар наделяет свою героиню собственными страхами: «Моя старость вызревает, — сокрушалась писательница в своих воспоминаниях. — Она подстерегает меня в глубине зеркала» (Beauvoir 1963: 185).

31

...красивая женщина... с притворным интересом читавшая «Злосчастье»... — Здесь впервые названа книга, которая принесла раннюю славу Анри Перрону; упоминание «притворного интереса» является ключевым для понимания отношений между Анри и его любовницей как проявления «неискренности», «дурной веры» с ее стороны.

32

...апельсины, бананы, шоколад... — Весной 1945 г. де Бовуар пригласили выступить в Португалии с циклом лекций о положении Франции во время оккупации (А. Камю возложил на нее дополнительную миссию корреспондента «Комба» в этой стране). Впечатления от поездки использовались для описания путешествия Анри (об этом см.: Beauvoir 1963: 33—40).

33

Эстуарий — однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря.

34

Салазар Антониу ди Оливейра (1889—1970) — основатель фашистской партии в Португалии; в 1932 г. захватил власть в стране, завершив тем самым установление в ней фашистского режима.

35

Валери Поль (1871—1944) — французский поэт и эссеист, погруженный в мир «чистой поэзии» и потому чуждый реалиям политической жизни.

36

Бидо Жорж (18991983) премьер-министр Франции в 1946 и в 1949-1950 гг. В 1940—1944 гг. участник движения Сопротивления; один из основателей (1944 г.) и руководителей партии Народно-республиканское движение.

37

Алгарве — провинция на юге Португалии.

38

Баталья — городок в Португалии, главная достопримечательность которого — доминиканский монастырь XIV—XVI вв.

39

...отголоски криков монахини, томившейся любовью. — Намек на Мариану, героиню «Португальских писем» (1669) французского писателя Гийерага; она влачила печальное существование в монастыре Св. Зачатия в городе Бежа, откуда отправляла трогательные письма бросившему ее любовнику.

40

Миньо — историческая область на севере Португалии, колыбель португальской нации.

41

Порту — город и порт в Португалии, в устье реки Дору, на Атлантическом побережье.

42

Музей Человека — музей в парижском дворце Шайо.

43

Слова, как говорит этот парень... — Намек на шекспировского Гамлета (знаменитые «Слова, слова, слова...» — акт II, сц. 2) как на человека, предающегося саморефлексии в ущерб действию. «Да, слова!» — мог бы ответить на подобный упрек Сартр, в представлении которого слова наделены огромной силой (автобиографическая книга, за которую он был удостоен Нобелевской премии по литературе за 1964 г., так и называлась: «Слова»).

44

Джерба — остров в Средиземном море у берегов Туниса.

45

«Вандреди» — название еженедельника, который был печатным органом Народного фронта и выходил с 1935 г.; политическая позиция журнала — объективизм и пацифизм.

46

Мован. — Прототипом этому герою послужил Гастон Галлимар (1881—1975), создавший в 1911 г. крупнейшее парижское издательство; он горячо поддерживал Камю и в свое время оказал Сартру финансовую помощь при создании журнала «Тан модерн».

47

...коммунисты... поддерживают Ялту... — Речь идет о решениях состоявшейся в феврале 1945 г. Ялтинской конференции глав правительств трех держав: Сталина (СССР), Черчилля (Великобритания) и Рузвельта (США), в ходе которой были согласованы принципы послевоенной политики и принят документ, предполагавший создание в Германии зон оккупации трех держав (а также Франции, в случае ее согласия).

48

«Фигаро» — популярная среди французских консерваторов газета.

49

«Юма» — принятое сокращение от названия газеты французских коммунистов «Юманите».

50

Растиньяк — один из героев «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака (1799—1850); его имя стало нарицательным для обозначения беспринципного провинциала, готового употребить любые средства, чтобы добиться успеха в Париже.

51

Ситуация — понятие, используемое де Бовуар для определения материальных и психоаналитических условий, которые в данную эпоху формируют некое целое; впервые в таком значении сформулировано немецким философом-экзистенциалистом Карлом Ясперсом (1883—1969), для которого ситуация — это отличающая одну эпоху от другой уникальная и невоспроизводимая совокупность событий в каждый отдельно взятый момент исторического времени.

52

Дамия (наст. имя Луиза Мария Дамьен; 1889—1978) — известная французская певица, получившая за свой талант прозвание «трагедийной актрисы в песне».

53

Дьюи Джон (1859—1952) — американский философ, систематизатор прагматизма и создатель концепции инструментализма, полагавший, что функция интеллекта — в установлении наиболее эффективных и выгодных отношений с объектами окружающего мира.

54

...с теми, кто в концлагерях. — На территории Франции тогда насчитывалось более 25 концентрационных лагерей, где находились и несколько десятков тысяч советских людей.

55

...одних коллаборационистов... расстреливают, других... встречают с цветами. — Первые серьезные столкновения политических сил, положившие начало расколу движения Сопротивления, были вызваны разногласиями по вопросу о чистке государственного аппарата и о наказании бывших коллаборационистов.

56

...жил, подобно инженеру... — Это, на взгляд де Бовуар, серьезное обвинение. Инженер — воплощение чуждого ей отношения к миру: в железо и цемент заковывает он жизнь; инженер уверен в себе и в собственных формулах и готов все смести на своем пути. Де Бовуар вслед за Сартром отвергала инженера во имя искусства, культуры и свободы.

57

«Франс-Суар» — консервативная газета, враждебно настроенная по отношению к Сартру в 1946—1947 гг.; один из ее главных идеологов торжественно обещал: «Я спущу шкуру с экзистенциализма» (об этом см.: Beauvoir 1963: 159).

58

«Где-то что-то подгнило». — Реминисценция из трагедии Шекспира «Гамлет» («Какая-то в державе датской гниль...» — акт I, сц. 4. Пер. Б. Пастернака).

59

Кэ д'Орсэ. — Имеется в виду Министерство иностранных дел Франции, которое находится в Париже по указанному адресу.

60

...Францию пригласили в Сан-Франциско. — 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско состоялась учредительная конференция Организации Объединенных Наций, в работе которой принимали участие все государства, находившиеся тогда в состоянии войны с фашистской Германией.

61

...малозначимой державы... — После окончания Второй мировой войны французы болезненно переживали утрату Францией позиции великой державы и вершительницы судеб мира.

62

Мертвый Брюгге. — «Мертвый Брюгге» (1892) — название символистского романа бельгийского писателя Жоржа Роденбаха (1855—1898), истинным героем которого стал погруженный в дрему город Брюгге с его бесчисленными башенками, колокольнями и каналами.

63

Петен Анри-Филипп (1856—1951) — французский маршал, в 1940—1944 гг., во время оккупации Франции гитлеровцами, — глава капитулянского правительства, а позднее — коллаборационистского «режима Виши». В 1945 г. был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

64

Боши — пренебрежительное прозвание немцев, которое вошло в употребление во Франции с конца XIX в. Если проследить этимологию этого выражения и череду ассоциаций, которые привели к его возникновению, то получится что-то вроде русского «дубовая башка».

65

...поющий завтрашний день... — Строка Л. Арагона (1897—1982) из «Баллады о том, кто пел во время казни» (1943), посвященной герою Сопротивления Габриелю Пери (1902—1941). Для французской интеллигенции стала символом веры не только в победу над фашизмом, но и вообще над злом как таковым.

66

«Ядовиты луга в дни осенней прохлады...» — Строка стихотворения «Безвременник» в переводе М. Кудинова из сборника французского поэта Гийома Аполлинера (1880-1918) «Алкоголи» (1913).

67

«Я направлял свой бег к немыслимым Флоридам...» — Строка одного из самых знаменитых стихотворений Артюра Рембо (1854—1891) «Пьяный корабль» (1883) в переводе М. Кудинова. Существуют и другие варианты перевода на русский язык: «Понимаете, скольких Флорид я коснулся?» (П. Антокольский); «Я плыл вдоль берегов Флорид...» (Б. Лившиц); «Уж я ль не приставал к немыслимой Флориде...» (В. Набоков).

68

...сошла со сцены СФИО... — СФИО (Французская социалистическая партия) в первые послевоенные годы сильно ослабила свои позиции, поскольку многие из ее членов вступили в компартию, авторитет которой был тогда огромен.

69

...моя жертва необходима... — Подобная позиция великолепно исследована де Бовуар в эссе «Второй пол». Женщины, полагает она, любят позу страдалицы: чем больше вина мужчины, тем большего они потом от мужчины ожидают. Бесправность заставляет женщин обращать поражение в победу, доводя ситуацию до парадокса. Мужчина, в силу своей природы, всегда готов нанести удар, и, естественно, ожидает в ответ встретить хоть какое-то сопротивление. Вот почему, нарвавшись на женщину, которая не только не оказывает сопротивления, но проявляет полную и мгновенную готовность угадать и усилить любое его движение, он, с разгона, образно говоря, падает в пустоту, испытывая неприятную тяжесть в желудке и противное чувство вины, причем, очнувшись на дне пропасти, обнаруживает, что дама, в полете, успела надежно за него зацепиться (об этом см.: Бовуар 1997: 619—692).

70

Сент-Анн — основанная в XVII в. психиатрическая больница в XIV округе Парижа.

71

Малибран (наст, имя Мария де ла Фелисидад Гарсиа; 1808—1836) — французская певица испанского происхождения, обладательница красивого меццо-сопрано, дочь испанского тенора и композитора Мануэля Гарсиа (1775—1832) и сестра Полины Виардо. С большим успехом дебютировала в Лондоне в «Севильском цирюльнике» (1825). Вышла замуж за богатого французского негоцианта Малибрана; по роковому стечению обстоятельств через несколько месяцев после вступления во второй брак с бельгийским скрипачом Ш. де Берьо погибла в результате несчастного случая. Ее преждевременная кончина вдохновила французского поэта А. де Мюссе на «Стансы к Малибран» (1836).

72

...одна разгуливала по кабильским деревням... — Здесь нашел отражение личный опыт де Бовуар: она любила одинокие прогулки и не слушала тех, кто предостерегал ее от опасностей. Ни преследование собаки, которую она посчитала бешеной, ни опасные ситуации, в которые она попадала, путешествуя автостопом, ни тот случай, когда она забралась на слишком крутую скалу и долго не могла с нее спуститься, не отвратили ее от тяги к подобным прогулкам (об этом см.: Beauvoir 1963: 97—99, 337). Кабилия (в пер. с арабского — «Страна берберов») — горный массив в Алжире, часть Атласских гор. В воспоминаниях де Бовуар приводит совет сведущего человека: «Не посещайте Кабилию. Когда я вынужден там бывать, я беру с собой револьвер» (Beauvoir 1963: 180). Летом 1949 г. де Бовуар путешествовала по Алжиру вместе с Нелсоном Олгреном (см.: Ibid.: 171-202), а в 1950 г. с Сартром (см.: Ibid.: 222-227).

73

Кассандра — в греческой мифологии дочь царя Трои Приама, которую Аполлон наделил пророческим даром; когда Кассандра отвергла влюбленного бога, тот сделал так, что ее пророчествам никто не верил.

74

Нечистая совесть. — Так можно перевести французское выражение «mauvaise conscience», обозначающее одно из тех ключевых понятий, которые дают возможность прочтения «Мандаринов» как экзистенциалистского романа. Однако возможны и другие варианты перевода, например, «больная совесть», «несчастное сознание». Гегель по поводу «несчастного сознания» утверждал следующее: «В стоицизме самосознание есть простая свобода самого себя; в скептицизме эта свобода реализуется, уничтожает другую сторону определенного наличного бытия, но, напротив, удваивает себя, и есть для себя теперь нечто двоякое <...> удвоение самосознания внутри себя самого, которое существенно в понятии духа, имеется, таким образом, налицо, но еще не их единство, — и несчастное сознание есть сознание себя как двойной, лишь противоречивой сущности» (Гегель 1999: 112). Что же касается Сартра, то подробный анализ «нечистой совести» представлен им в трактате «Бытие и ничто» (см.: Sartre 1943: 18-44).

75

Лоуренс Томас Эдвард по прозванию Лоуренс Аравийский (1888—1935) — английский офицер и писатель, долгое время проживший в Сирии и в странах Междуречья; его книга «Семь столпов мудрости» (1926) — записки авантюриста высокого полета. Причиной смерти Лоуренса стала авария мотоцикла.

76

Плейель — парижский концертный зал на улице Фобур-Сент-Оноре, недалеко от площади Терн.

77

Счастлив... кто читает эту правду на лицах друзей. — Это «волнующее определение того, что есть в нашем мире счастье», Франсуа Мориак бережно переписал 28 января 1954 г. в свой блокнот, подчеркнув, что обязан им Симоне де Бовуар (см.: Mauriac 1958: 144).

78

Орадур. — В деревне Орадур-сюр-Глан, неподалеку от Лиможа, 10 июня 1944 г. гитлеровцы уничтожили 643 человека, в том числе 500 женщин и детей; все они погибли, запертые в подожженной церкви.

79

Жуэнвилль (Жуэнвилль-ле-Пон) — городок на реке Марна, где находится высшее учебное заведение (Эколь насьональ сюперьёр), занимающееся подготовкой французских спортсменов и тренеров.

80

...под миртами... — Иными словами, на кладбище. Во Франции мирт символизирует смерть; его принято высаживать у могил.

81

Ганди Мохандас Карамчанд (1869—1948) — идеолог и один из лидеров индийского национально-освободительного движения; был убит членом индуистской

экстремистской организации.

82

...предпочитаете то, что у вас перед глазами. — Это предпочтение настоящего прошлому де Бовуар подсмотрела у Сартра и в воспоминаниях иллюстрировала его красноречивым примером: за стаканчиком виски Сартр всегда приговаривал: «Ах! Этот стаканчик виски — просто чудо, он лучше, чем тот, что я выпил накануне».

83

...не делал разницы между восприятием и открытием... — Как подчеркивала де Бовуар в своих воспоминаниях, ни за одним пейзажем она не признавала реальности до тех пор, пока он не открывался ее собственным глазам.

84

…кто такой интеллектуал? — Содержание книги Дюбрея весьма близко к работам Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946) и «Что такое литература?» (см.: Sartre 1946; Сартр 2000).

85

Веркор. — Название этого плато в северной части предгорья Французских Альп стало символом Сопротивления, поскольку в 1943—1944 гг. оно служило убежищем для партизан. В конце июня 1944 г. многие из них погибли в боях с оккупационными войсками.

86

...поддержать Тореза против де Голля. — В речи по радио 17 ноября 1945 г. де Голль заявил, что предоставление коммунистам любого из главных министерских постов подорвет позиции Франции в мире. М. Торез ответил на это выступление протестом против попыток поставить под сомнение национальный характер Французской компартии.

87

...словно был кандидатом в академию. — Согласно традиции, выдвинутый в члены Французской академии должен перед выборами нанести визит каждому из «бессмертных».

88

...стакан разбился о стену. — В «Мандаринах» описана сцена, до деталей похожая на ту, что разыгралась между Кёстлером, Сартром и Камю (см.: Beauvoir 1963: 156). Эта же сцена описана в письме де Бовуар к Нелсону Олгрену (об этом см.: Bair 1990: 425).

89

Пизанелло (наст, имя Антонио Пизано; 1395—1455) — итальянский художник, автор хранящейся в Вероне картины «Св. Георгий, освобождающий принцессу Требизондскую» (ок. 1436).

90

...на июньских выборах... — 2 июня 1946 г. состоялись выборы во второе Учредительное собрание, в ходе которых СФИО получила 21,1% голосов, ФКП 26,4%, а партия де Голля МРП (Народно-демократическое движение) — 28,1%.

91

...врагом рабочего класса. — Подобные обвинения коммунисты выдвигали тогда и против Сартра.

92

Дюамель Жорж (1884—1966) — французский писатель-пацифист, выступавший против «механистической» цивилизации; автор циклов «Жизнь и приключения Салавена» («La Vie et les aventures de Salavin», 1920—1932) и «Хроника семьи Паскье» («La Chronique des Pasquier», 1933—1945). Наследие Дюамеля обширно, оно включает в себя, кроме романов, философские эссе, путевые очерки и мемуары.

93

Бельзонс, Полиньяк, Ларошфуко... на всех страницах французской истории... — Епископ Марселя Анри Франсуа Ксавье де Бельзонс де Кастельморон заслужил благодарную память потомков из-за своего подвижничества во время чумы 1720—1721 гг.; виконт Арман де Бельзонс был в начале XVIII в. прославленным генералом; граф де Бельзонс — французский военный, убитый в 1790 г. собственными солдатами; по слухам, был любовником Шарлотты Корде, убийцы Марата. Фамилию Полиньяк прославили французский кардинал и дипломат XVII в. Мелькиор де Полиньяк, графиня (позднее герцогиня) Иоланда Мартина Габриель де Полиньяк, бывшая близкой подругой и воспитательницей детей королевы Марии-Антуанетты; печальную известность заслужил носивший эту фамилию французский политик и сторонник Реставрации Жюль Огюст Арман Мари де Полиньяк, который в качестве министра короля Карла X вызвал народный гнев во время Июльской революции 1830 г. Кроме моралиста XVII в. герцога Франсуа де Ларошфу-

ко, эту фамилию носил политический деятель и роялист герцог Амбуаз Поликарп де Ларошфуко-Дудовилль, королевский министр времен Реставрации; в историю вошел также филантроп конца XVII в. герцог Франсуа де Ларошфуко-Лианкур.

94

Трудовые лагеря. — Так в романе де Бовуар, в соответствии с Советским кодексом исправительных работ, названы лагеря, где томились многочисленные жертвы сталинских репрессий. Этот «кодекс» стал предметом обсуждения в ООН только в начале августа 1949 г. О лагерях шла речь и во время процесса Кравченко против «Леттр франсез» по обвинению в клевете. В. Кравченко в годы Второй мировой войны был советским военпредом в США, после ее окончания отказался вернуться на родину и опубликовал книгу «Я выбираю свободу» (1947), «сфабрикованную», как утверждал названный журнал французских коммунистов, американскими спецслужбами. Сартр опубликовал Кодекс в журнале «Тан модерн» в 1949 г., тогда как в романе этот документ оказался в распоряжении Перрона в 1946 г. Как утверждает де Бовуар, в «Мандаринах» изложена отличная от реальных фактов «романтическая версия» событий, связанных с информацией о лагерях в Советском Союзе. Писательница представила дело так, будто уже тогда французская

интеллигенция открыла для себя масштабы системы ГУЛАГа в СССР. Этот анахронизм позволил ей основательнее исследовать отношение интеллигенции к Советскому Союзу.

95

Льюис Броган. — В письме к Сартру де Бовуар без особых эмоций рассказала о состоявшейся в конце февраля 1947 г. первой встрече с прототипом Льюиса Нелсоном Олгреном, который стал второй «большой любовью» ее жизни: «Это типичный американец с невозмутимым лицом и деревянным телом, лишенным экспрессии. <...> Мне он показался весьма симпатичным, умным и человечным, какими все они бывают, когда добьются успеха» (Beauvoir 1990: 314). Де Бовуар провела с Олгреном два дня; тогда же они стали любовниками.

96

...желтый стул Ван Гога... — Имеется в виду репродукция картины французского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Стул и трубка» (1888).

97

Шарль Трене (1913 г. р.) — французский актер, композитор и певец.

98

Эдвард Робинсон (наст. имя Эммануил Гольденберг; 1893—1973) — американский актер родом из Румынии, начавший с 1923 г. сниматься в Голливуде в ролях гангстеров.

99

...я увидела, что он стоит передо мной... — Первый день, проведенный де Бовуар с Олгреном, «похож на тот, который в "Мандаринах" Анна проводит с Льюисом: смущение, нетерпение, взаимное непонимание, усталость и наконец прорыв к глубокому единению» (Beauvoir 1963: 341). Писательница признавалась, что рассказала о любви Анны к американскому писателю ради удовольствия переложить на язык романа (то есть, в соответствии со взглядами де Бовуар, «спасти») событие, которое было у нее на сердце.

100

Я ненавижу проигрывать. — Де Бовуар наделила Анну собственным отношением к азартным играм. Она до такой степени не любила проигрывать, что предпочитала проигрышу отказ от игры. Во время путешествия по США ее ничуть не увлекла игра в Лас-Вегасе — «вещь совершенно неподконтрольная». Де Бовуар маниакально стремилась избегать вмешательства случая в любые ее проекты. «Вы — шизофреничка», — нередко повторял ей Сартр, имея в виду упрямый отказ считаться с тем, что жизнь способна внести самые неожиданные коррективы в задуманное. Симона всегда следовала своим планам до последней возможности, «невзирая ни на что, и относилась к реальности как к простому аксессуару» (Beauvoir 1960: 97).

101

...старинное медное кольцо... — До самой смерти де Бовуар носила красивое серебряное кольцо, подаренное ей ее любовником Нелсоном Олгреном.

102

Кеч — разновидность вольной борьбы, получившая распространение в 30-х годах XX в.

103

МРП (Народно-республиканское движение) — «партия верности» генералу де Голлю, образованная в ноябре 1944 г. и занявшая правое крыло движения Сопротивления; вместе с коммунистами и социалистами входила в первое послевоенное правительство (1946—1947 гг.).

104

...ввиду октябрьского референдума и предстоящих затем выборов... — Речь идет о референдуме, проведенном 21 октября 1945 г. с целью определения статуса и полномочий будущего представительного органа Франции. По спорному с коммунистами вопросу де Голль одержал победу, получив 66,3% голосов избирателей. Одновременно проводились выборы в Учредительное национальное собрание, на которых партии движения Сопротивления (компартия, СФИО, МРП) получили более 75% голосов.

105

Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ и историк, автор книги «Закат Европы» (1916—1920), в которой мифу о прогрессе исторического развития противопоставлено пессимистическое учение о культуре как множестве замкнутых «организмов».

106

...любил эту страну... — Италия — единственная страна, которую Сартр и де Бовуар по-настоящему любили и куда возвращались всякий раз, когда предоставлялась такая возможность.

107

«Другой» — Экзистенциалисты рассматривали «другого» и как необходимое дополнение к каждой индивидуальности (без «другого» человек не понимает самого себя, не знает своего тела), и как «врага», ограничивающего эту индивидуальность и свободу («ад — это другие»).

108

...мнит себя Ницше потому лишь, что поносит женщину. — Сартр изучал труды Ницше, когда анализировал, с позиций феноменологии, поведение людей; эти его заметки никогда не публиковались. Уничижительные высказывания Ницше по поводу женщин широко известны. Он утверждает: «Настоящий мужчина хочет двух вещей: опасности и игры. Поэтому ему хочется женщины, как самой опасной игрушки» (Ницше 1990: 54). Женщина, в его восприятии, — это отдых для героя, и не более того.

109

...два столбца взаимных оскорблений. — Такие зримые формы приняла и знаменитая ссора между Сартром и Камю. Камю был уверен, что его эссе «Человек бунтующий» (1951) понравилось Сартру, а тот не стал высказывать ему своих претензий и только предупредил, что рецензия в журнале «Тан модерн» будет сдержанной. Написать рецензию поручили журналисту Франсису Жансону, который в полемическом задоре не удержался от «инквизиторского» тона. Камю этот опус привел в ярость, и он обратился с открытым письмом к Сартру, как если бы именно Сартр был автором злополучной статьи. Письмо начиналось ужасно обидевшим Сартра обращением: «Господин директор!» И письмо Камю, и резкий ответ Сартра с обвинением Камю в том, что тот «повсюду носит с собой портативный пьедестал», были напечатаны в одном номере, «в два столбца». Однако разрыв между Перроном и Дюбреем, по утверждению де Бовуар, описан безотносительно к конфликту между Сартром и Камю: первая версия романа создавалась писательницей с 1950 г.,

тогда как «Человек бунтующий», послуживший поводом для разрыва, опубликован в 1951 г. В книге за ссорой последовало примирение, которого в действительности между Сартром и Камю не произошло.

110

...мышление советского человека не такое, как у нас... — Многие французские коммунисты, как об этом свидетельствует де Бовуар в своих воспоминаниях, искренне полагали, что советские люди, в отличие от других европейцев, легко переносят любые тяготы и что в интересах производства едва ли не с радостью готовы покинуть свои дома ради жизни в вагончиках и палатках.

111

Союз голлистов. — В этот союз вошли три партии: СФИО, МРП и ЮДСР. Демократический и социалистический союз Сопротивления — партия, созданная в середине 1945 г. в результате раскола некоторых организаций движения Сопротивления.

112

...португальские друзья устроили мятеж... — В апреле 1947 г. оппозиция организовала в Португалии военный заговор, во главе которого стоял адмирал Мендиш Кабесадаш; заговор провалился.

113

Бальмен Пьер (1914—1982) — известный французский кутюрье; одевал таких звезд кино, как Марлен Дитрих и — позднее — Софи Лорен.

114

...она сходит с ума... — Де Бовуар вспоминала, что ей стоило большого труда вдохнуть жизнь в образ Поль — женщины, которую разрыв с мужчиной доводит до безумия. И тогда на память ей пришла история любви ее подруги Рене Баллон; объектом этой любви, которая приняла болезненные формы, стал французский писатель Андре Мальро. В свое время бредни Рене поразили де Бовуар: они до неузнаваемости искажали смысл поступков бросившего ее мужчины и тем самым помогали ей обманывать себя.

115

Тропизм. — Для Анны, врача по профессии, этот термин мог обозначать реакцию живого организма на внешние раздражители, вызывающие направленное движение. Однако для де Бовуар, знакомой, по рекомендации Сартра, с книгой Натали Саррот «Тропизмы» (1939), это еще и игра тонких душевных движений. Стоило де Бовуар взяться за изображение нюансов любовных переживаний, как память услужливо подсказала ей нужное слово.

116

...о предложениях Маршалла... — Маршалл Джордж (1880—1959) — американский генерал и политик, чьим именем назван принятый шестнадцатью странами план помощи США странам Европы. 3 января 1948 г. было заключено франко-американское соглашение о «Временной помощи» в рамках «плана Маршалла»; 28 июня 1948 г. был подписан франко-американский договор об экономическом сотрудничестве в рамках этого же плана. В результате Франция получила от США крупные субсидии.

117

Гринвич-виллидж — квартал Нью-Йорка, где любит селиться богема.

118

Сирано де Бержерак Савиньон (1619—1918) — французский писатель и герой пьесы французского драматурга Эдмона Ростана (1868—1918), в которой создан романтизированный образ поэта, страдающего от грубости и пошлости окружающего мира. Ростан был любимым писателем отца де Бовуар, и в детстве она часто слышала в его исполнении отрывки из пьес этого автора.

119

...без колебаний ставил под вопрос свои суждения... — Де Бовуар эту особенность характера, несомненно, подсмотрела у Сартра, хотя признавала ее и за собой: «Без колебаний оспаривали мы собственные утверждения и противоречили себе всякий раз, когда того требовали обстоятельства; мы разоблачали и осуждали себя с легким сердцем, поскольку любое изменение казалось нам прогрессом» (Beauvoir 1960: 20).

120

Новый гуманизм. — Де Бовуар приписывает Дюбрею взгляды, изложенные Сартром в его эссе «Экзистенциализм — это гуманизм». В этой работе в сжатом виде повторяются основные тезисы трактата «Бытие и ничто», но при этом предлагается менее радикальная концепция свободы.

121

...властно вынуждал вас следовать за ним и потом внезапно бросал... — Такое качество характера было в высшей степени свойственно и Сартру как в отношениях с близкими людьми (де Бовуар называла его «империалистом в области чувств»), так и в политической деятельности.

122

Лучше смертельно страдать... чем... развеять по ветру пепел моего прошлого. — Эту печальную истину писательница, похоронившая к тому времени две «великие любовные страсти», постигла на собственном опыте. Когда Анна «с настырностью шизофреника» возвращается к воспоминаниям о потерянной любви, она повторяет путь де Бовуар.

123

«Конфиданс» («Признания») — название серии книг о любви, выпускаемых французским издательством «Л'Эрн».

124

Через океан даже самые нежные руки кажутся холодными. — Этот образ де Бовуар заимствовала из письма Нелсона Олгрена: «В объятиях нет тепла, если их для вас распахивают по другую сторону океана» (Beauvoir 1963: 186). Она так щедро расцвечивала повествование мельчайшими подробностями своих отношений с Олгреном, что, после прочтения романа, тот почувствовал себя глубоко оскорбленным и даже прекратил с ней переписку.

125

22 августа 1944 года. — В этот день в Париже разворачивалось победоносное восстание; к вечеру удалось освободить 70 кварталов города.

126

Уоллес Генри Эгард (1888—1965) — вице-президент США от Демократической партии в 1941—1945 гг.; приверженец политики Франклина Рузвельта.

127

Колетта Бодош — героиня романа «Колетта Бодош» (1909) французского писателя Мориса Барреса (1862—1923), молодая девушка из французского города Меца, который после поражения Франции в войне 1870 г. был аннексирован Германией. По мысли националиста Барреса, подобные ей молодые люди должны были взять на себя благородную миссию защиты и сохранения на утраченных территориях «духа Франции».

128

Мадагаскарский процесс. — Имеется в виду процесс над участниками восстания на Мадагаскаре, жестоко подавленного властями острова в ноябре 1946 г.

129

РПФ (Объединение французского народа) — созданная 14 апреля 1947 г. новая партия сторонников де Голля.

130

...ни «Воину и мир», ни «Принцессу Клевскую». — Иными словами, ни эпопею, как у Толстого, ни психологический роман, подобный «Принцессе Клевской» (1678) французской писательницы Мари Мадлен де Лафайет (1634—1699).

131

Франк Сезар (1822—1890) — французский композитор. Записи его произведений имелись в фонотеке де Бовуар, которую она начала собирать в пору работы над романом «Мандарины».

132

Антананариву — самый крупный город на острове Мадагаскар.

133

МДРМ (Демократическое движение за возрождение Мадагаскара) — организация, подготовившая и возглавившая ноябрьское восстание 1946 г. на Мадагаскаре.

134

«Борцы за свободу». — Имеется в виду созданная прогрессивными деятелями Франции в конце 1948 г. организация «Борцы за мир и свободу».

135

...посреди живота фосфор проделал глубокое отверстие... — Этот ужасный эпизод основан на реальных фактах. Один из бывших учеников Сартра позволил своему знакомому, некоему Франсису Вентенону, поселиться во флигеле загородного дома, где сам бывал только по выходным. Однажды он зашел туда и нашел труп гостя с простреленной головой, с покрытым копотью, черным, как у негра, лицом, и телом, наполовину сожженным фосфором. По слухам, Вентенон был участником Сопротивления и его убил кто-то из бывших коллаборационистов; убийцу так и не нашли (об этом см.: Beauvoir 1963: 119-120).

136

...три державы порвали с Москвой... — Намек на Московскую сессию Совета министров иностранных дел в марте—апреле 1947 г., когда французская делегация, в обмен на уступки со стороны США и Англии, поддержала их позиции и выступила против Советского Союза. США и Англия настаивали на возрождении военно-промышленного потенциала западных зон оккупации Германии.

137

«Аргус» («Аргус де ла пресс») — название основанного в 1879 г. французского справочно-информационного агентства, которое предоставляет клиентам обзоры печати по любым интересующим их вопросам.

138

Дельфы — древнегреческий город, религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона; при храме проводились Пифийские игры — вторые по значению после Олимпийских.

139

Эпидавр — город в Греции; традиционное место проведения театральных фестивалей.

140

Давай спустимся. — Отказавшись от попытки покончить жизнь самоубийством, Анна спускается по лестнице. Этот спуск исполнен для де Бовуар символического смысла. В новелле, написанной ею в восемнадцать лет, героиня в финале спускалась по лестнице, чтобы присоединиться к собравшимся в гостиной, подчиниться их условностям и обману, предав «подлинную жизнь», о которой мечтала в одиночестве. В романе Анна тоже выходит из комнаты, тоже спускается по лестнице и тем самым предает в себе нечто важное.

Примечания к статье Н.И. Полторацкой «Симона де Бовуар и ее роман «Мандарины»»

1

Словно в компенсацию этого, необычайный интерес к художественному творчеству демонстрирует в последние десятилетия философия. Если тяга к литературному способу выражения философских идей с особой силой проявила себя в экзистенциализме, то в эпоху постмодерна философия нередко берется за выражение философских идей посредством критического осмысления творчества писателей. Примером тому могут быть, в частности, книги современного французского философа М. Серра «Юность: о Жюле Верне» (см.: Serres 1974) и «Огни и сигналы в тумане. Золя» (см.: Serres 1975).

2

Ей оказались близки представления Сартра о том, что «в основе разума лежит веление». Основа разума, полагает де Бовуар, — это «не столько сообразительность или даже способность улавливать связи между явлениями, сколько веление: веление не останавливаться, идти все время дальше, все время вперед» (Beauvoir 1981: 232).

3

Нельзя в этой связи не посетовать на удручающую зыбкость границ между нашими достоинствами и недостатками. Де Бовуар писала: «Можно назвать волей, упорством, настойчивостью мое обыкновение полностью сосредоточиваться на работе и доводить до конца все намеченные планы. Можно увидеть в этом слепое упрямство и тупую настырность» (Beauvoir 1972: 47). Обеими возможностями с удовольствием пользовались ее друзья и враги, и де Бовуар не раз приходилось слышать упреки в свой адрес, подобные тому, с каким в романе «Мандарины» Льюис обратился к Анне: «Вы до того упрямы, что даже не отдаете себе в этом отчета <...> Мысленно вы все улаживаете по своему усмотрению и уже не отступаетесь от этого, надо делать то, что вы хотите» (с. 428 наст. изд.).

4

Симона де Бовуар избрала путь воинствующей атеистки. Но противоположности иной раз непостижимым образом сходятся, и решение ее биографа Дейдры Бейр повествовать о жизни писательницы как о жизни «современной святой» было не лишено основания.

5

«Если во мне есть что-то от гения <...>, то исключительно ясность мысли» (Beauvoir 1958: 263), — настаивала она.

6

Об этом же рассуждал в «Мандаринах» Анри Перрон: «Если другие не в счет, писать не имеет смысла. Но если их ценишь, это потрясающе — вызывать словами их дружбу, доверие; потрясающе видеть, как находят у них отклик твои собственные мысли» (с. 95 наст. изд.).

7

В старости ее преследовала мысль о том, что вся наша жизнь записана на каком-то божественном магнитофоне, однако и тогда, не вполне доверяя «потусторонней» технике, она не упускала возможности представить собственную запись событий. Когда в начале 1950-х годов в распоряжении де Бовуар оказался магнитофон, ее любимым развлечением стала запись случайных разговоров.

8

«Есть произвол в том, чтобы делить жизнь на куски, — признавала де Бовуар. — Однако 1929 год, на который приходится конец моей учебы, начало экономической независимости, уход из родительского дома, расставание со старыми друзьями и встреча с Сартром, несомненно, открыл для меня новую эру. В 1939 году мое существование изменилось радикально: История завладела мною, чтобы больше не отпускать; с другой стороны, я глубоко и навсегда связала свою жизнь с литературой» (Beauvoir 1960: 54).

9

«Необходимо верить в будущее, чтобы считать, будто у каждой жизни есть смысл» (с. 184 наст, изд.), — скажет Анна. В Дюбрее Анну покорило прежде всего то, что «у него время мчалось, он гнал вовсю» (с. 40 наст. изд.).

10

Сборник рассказов «Главенство духа» (1939); в переработанном виде был опубликован в 1979 г. под названием «Когда главенствует дух» (см.: Beauvoir 1979).

11

В 1982 г. Натали Саррот заметила, что де Бовуар легко научилась терпеть молодых недалеких женщин в окружении Сартра, однако «полагала, что в его жизни должна быть только одна умная женщина — она сама» (цит. по: Bair 1990: 364).

12

Так зачастую переводят французское выражение «mauvaise foi», которое имеет в философии экзистенциализма и другие значения: сокрытие истины от самого себя, неискренность, непорядочность, злонамеренность, недобросовестность. «Дурная вера» — излюбленное понятие Сартра, включающее в себя языковую путаницу, ошибки памяти, всяческие увертки сознания, попытки компенсации и сублимации. Для сравнения заметим, что у Фрейда «дурная вера» есть пространство, отделяющее «я-реальное» от «я-воображаемого». При создании романа де Бовуар широко использовала и другие понятия экзистенциалистской философии, такие как «видимость», «другой», «аутентичность восприятия» (подробнее об этом см.: Полторацкая 1992: 87—90).

13

Нет никаких сомнений в том, что идея создания «трио» целиком и полностью принадлежит Сартру. С двадцатилетнего возраста он любил бравировать тем, что абсолютно лишен чувства ревности (об этом см.: Gerassi 1992.).

14

Хотя с конца 1960-х годов они стали менее необходимы друг другу в повседневной жизни, де Бовуар и тогда упорно продолжала цепляться за этот миф.

15

Злые языки подмечали ее сходство с де Бовуар, которая, желая блистать в одиночестве, не терпела в своем близком окружении интеллектуалок, особенно писательниц, в которых (как настаивала, в частности, очень не любившая ее Натали Саррот) она видела соперниц.

16

Фильм должен был называться «Бессмертный», а на главные роли прочили Клода Рейна и Грету Гарбо.

17

Имеются в виду эссе де Бовуар «Правая мысль сегодня» из сборника «Привилегии» (см.: Beauvoir 1955) и книга «Долгий путь», посвященная впечатлениям от поездки в Китай (см.: Beauvoir 1957).

18

«Работа не дает себя описать», — сокрушалась позднее де Бовуар, сетуя на невозможность запечатлеть главное в жизни ее героев-писателей. Мы тоже не сумели воспроизвести процесс подвижнической работы Симоны де Бовуар за письменным столом и ограничились тем, что обозначили его временные рамки.

19

Они обсуждали тогда первую версию «Мандаринов», законченную к июню 1951 г.

20

Ср. с заявлением Анны Дюбрей: «<…> беда в том, что я делаюсь несчастной оттого, что не чувствую себя счастливой» (с. 59 наст. изд.).

21

Российскому читателю не надо напоминать, каким смыслом наполняются местоимения «мы» и «наши» в переломные моменты истории.

22

«Изображать в романах интеллигенцию всегда очень опасно, — предостерегал Андре Жид. — Они удручающе действуют на публику: изрекают одни глупости и всему, к чему прикасаются, придают абстрактный вид» (Жид 1991: 412).

23

Ср. высказывание на эту тему французского критика Альбера Тибоде: «Создатель романа оживляет возможное, а не воспроизводит реальное» (Thibaudet 1935: 87—88).

24

Любопытную оценку значения этой ссоры дает Артур Кёстлер: «Они были как две звезды-близнецы, блиставшие в зените экзистенциалистско-марксистского небосвода послевоенной французской интеллигенции. <...> На третьем месте была Симона де Бовуар, ее приглушенный блеск был блеском планеты, отражавшей свет этих звезд. Когда Сартр и Камю поссорились, весь этот космос рассыпался, и крайне левые стали уже не теми: во Франции очень серьезно относятся к интеллигентам и их размолвкам» (цит. по: Фокин 2000: 270).

25

«Бог из машины» (лат.).

26

В «Мандаринах» Поль заявляет: «Я знаю, что ты скажешь: любовь — вся моя жизнь, а ты хочешь, чтобы она была лишь частью твоей жизни. Я это знаю, и я согласна» (с. 76 наст. изд.). Когда де Бовуар говорит о том, в чем убеждена, она не боится повторов.

27

Это было хуже потому, что в жизни подобные мучительные события растягиваются надолго и обретают для человека свой окончательный смысл только в ретроспекции. Вот почему их так трудно описать в романе. Де Бовуар, устами Анри Перрона, в этом признается: «<...> как легко расстаются на бумаге! Ненавидят, кричат, убивают себя или другого, словом, идут до конца: вот почему это неправда» (с. 251 наст. изд.).

28

За исключением слишком «идейного романа» «Кровь других».

29

«Вы призывали меня к действию, и действие отвратило меня от литературы» (с. 215 наст, изд.), — признавался в романе Анри Перрон. Об этом же рассуждает и Скрясин: «Французские интеллектуалы в тупике. <...> Их искусство, их мысль сохранят смысл лишь в том случае, если сумеет удержаться определенная цивилизация; а если они захотят спасти ее, то у них не останется ни сил, ни времени ни для искусства, ни для мысли» (с. 29 наст. изд.).

30

Нам удобно все рассматривать по отдельности, как будто сначала место под солнцем полностью захватил экзистенциализм, а другие течения мысли, получившие широкое распространение позднее, оставались совсем без внимания. На самом деле их связывал единый дух времени; мощные потоки и тоненькие струйки взаимодействовали в нем самым причудливым образом. Так, де Бовуар познакомилась с Жаком Лаканом в начале 1944 г., да и в последующие годы постоянно следила за его работами.

31

Ангажированность (фр. engagement — букв, «вовлеченность») — понятие, введенное в обиход Сартром и обозначающее социально-политическую ответственность любого человека (особенно художника) за происходящее в мире, его сопричастность проблемам эпохи. Это понятие нередко переводили на русский язык как «вовлеченность» или даже «участность».

32

Слово, придуманное по аналогии со словом «фашизм».

33

Сартр умер 15 апреля 1980 г.

Иными словами, врожденные модели реакции и поведения.

35

Во избежание разночтений напомним, что под идеологией мы, вслед за французским философом В. Декомбом, понимаем «дискурс, представляющий фактическое положение как основанное на праве, традиционное преимущество как естественное превосходство» (Декомб 2000: 132).

36

Ибо, как утверждают социологи, определения реальности имеют потенциал самоосуществления.

37

Если говорить языком современной социологии, то многие вещи делаются не потому, что они работают, не потому, что так правильно, а именно потому, что это правильно в терминах предельных определений реальности, провозглашаемых универсальными экспертами. Универсальные эксперты — это интеллектуалы на службе господствующей идеологии («праведники»); контр-эксперты в деле определения реальности — это интеллектуалы-маргиналы («ересиархи»), их экспертиза не является желательной для общества в целом (об этом см.: Бергер, Лукман 1995: 192-205).

38

Необходимо отметить, что современный постмодернизм с особым и жадным любопытством энтомолога изучает подобные «личинки возможностей», не упуская из виду того, что лишь одна из них обернется реальностью перед лицом вечности.